

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН



ФРИДРИХ
ГОРЕНШТЕЙН



МЕСТО



ФРИДРИХ
ГОРЕНШТЕЙН

ИЗБРАННОЕ В ТРЕХ ТОМАХ

МЕСТО

Роман

I

Ex libris

Издания книжной редакции
Советско-Британского
совместного предприятия
СЛОВО/SLOVO
Москва 1991

ББК 84Р6
Г 67

Предисловие
Л. ЛАЗАРЕВА

Оформление художника
Валерия ЛОКШИНА

Горенштейн Ф.

Г 67 Избранные произведения. В 3 т. Т. 1: Место: Политический роман из жизни одного молодого человека.— М., СП «Слово», 1991.— 848 с., ил.

ISBN 5-85050-269-6

Фридрих Горенштейн родился в 1933 г. в Киеве. Его отец, профессор-экономист, в 1935 г. был арестован и погиб в лагерях. Мать, пережившая арест, эвакуировалась во время войны с сыном и умерла в дороге.

Ф. Горенштейн окончил Горный институт в Кривом Роге, затем учился в Москве на Высших сценарных курсах. Им написаны сценарии «Солярис», «Раба любви» и другие. Единственная публикация его прозы в нашей стране — «Дом с башенкой» («Юность», 1962).

С 1980 г. писатель живет в Германии. Его романы, повести, пьесы напечатаны во многих странах мира.

Г 4702010201—21 Без объявл.
М 128(03)—91

ББК 84Р6

ISBN 5-85050-269-6

© Фридрих Горенштейн, 1991
© Валерий Локшин, оформление, 1991
© Лазарев Л. И., предисловие, 1991

О РОМАНЕ Ф. ГОРЕНШТЕЙНА «МЕСТО»

Почти тридцать лет назад позвонила сотрудница одного из московских толстых журналов: какой-то начинающий писатель из Киева, слушатель Высших сценарных курсов, попросил ее передать мне рассказ — он хочет, чтобы я прочитал его. Она говорила извиняющимся тоном, — видно, рассказ ей «не показался» и ей было неловко обращаться ко мне. В тот же вечер я его прочитал: рассказ потрясал правдой и талантом, не было никаких сомнений, выражаясь высоким стилем прошлого века, что на небосклоне нашей литературы взошла звезда первой величины. Молодого писателя звали Фридрих Горенштейн.

Поразивший меня рассказ прочитали потом в «Новом мире» и в «Юности», напечатала «Дом с башенкой» в 1964 году в июньском номере «Юность». После этого Горенштейн сразу же стал, как написал о такой судьбе Борис Слуцкий, «широко известен в узких кругах»...

Но, увы, «Дом с башенкой» остался единственной вещью Горенштейна, опубликованной у нас. Насколько я знаю, он еще пытался напечатать повесть «Зима 53-го года», но ничего из этого тогда не вышло, даже «Новый мир», самый свободолюбивый журнал той поры, не отважился ее опубликовать; на заседании редколлегии один из руководителей журнала вынес повести суровый, не оставлявший никаких надежд приговор: «О печатании повести не может быть и речи — не только потому, что она непроходима. Это еще не вызывает ни симпатии, ни сочувствия к авторскому видению мира. Шахта, на которой работают вольные люди, изображена куда страшнее, чем лагеря; труд представлен как проклятие; поведение героя — сплошная патология...» И даже строго осудил поклонников дарования Горенштейна — а они были и среди сотрудников редакции: «Талант автора сильно преувеличен в известных мне устных отзывах».

Кажется, после этого Горенштейн не предпринимал попыток опубликовать что-либо из своих вещей, да и читать их давал лишь немногим людям, которые ценили его талант и вкусу которых он доверял; впрочем, среди них были и люди, известные в искусстве,— Юрий Трифонов и Юрий Нагибин, Виктор Розов и Марк Захаров. А работал Горенштейн много, неутомимо и необычайно плодотворно, одно за другим приносил новые и новые произведения: повести «Ступени» и «Искупление», пьесы для чтения — «Споры о Достоевском», «Бердичев», романы «Место» и «Псалом». Но хрущевская «оттепель» уже кончилась, возвратившиеся морозы все крепче сковывали духовную жизнь, и не было никаких шансов, что хоть что-нибудь из этих произведений увидит свет. И чем больше укреплялся брежневско-условский режим, тем яснее это было...

Как существовать писателю, которого не печатают, на что жить? Однажды в компании художников я услышал странную фразу: «Картину нужно кормить». Мне объяснили, что это значит: живописец должен каким-то образом заработать деньги, чтобы получить возможность написать большое полотно. Прозу Горенштейна в ту пору кормило кино. Но эта работа не стала для него отходным промыслом, халтурой. По-настоящему одаренный человек за что ни возьмется, все у него получается хорошо. По сценарию Горенштейна Али Хамраев поставил «Седьмую пулю», по сценарию, написанному Горенштейном вместе с Андроном Михалковым-Кончаловским, Никита Михалков снял «Рабу любви». Для Андрея Тарковского он сделал сценарий экранизации лемовского «Соляриса», я был редактором этого фильма и не из чужих уст знаю, как высоко ценил Тарковский талант Горенштейна. Потом они вместе с Тарковским еще писали сценарии, которые не были поставлены,— очень интересен был сценарий по мотивам «Ариэля» Александра Беляева.

Одно время казалось, что Горенштейна не очень-то беспокоит, что его читает весьма узкий круг людей — буквально по пальцам всех их можно было перечесать. Он писал, потому что не мог не писать,— это было его призвание, в этом заключался для него смысл существования. Не случайно он однажды сказал, что писательство — «смертельная борьба со своим собственным мозгом и собственным сердцем» (вспомним пастернаковские строки о «полной гибели всерьез»). И все-таки писатель не может годами жить в вакууме, оторженным от читателей, не чувствовать их «теплых, живых ладоней» (использую снова слова Горенштейна). Наступает момент, когда отсутствие контакта с читателями, читательского эха становится помехой творчеству — из-за этого рука перестает держать перо. Вот что заставило Горенштейна в сентябре 1980 года уехать сначала в Вену, а потом в Западный Берлин, где он живет и поныне. Поводом же для отъезда, последней каплей, переполнившей чашу терпения, была публикация его повести «Ступени» в альманахе «Метрополь» и все, что за

этим последовало: писательские собрания и газетная кампания по проработке этого далекого от политики и даже еще не ставшего книгой сборника, шельмование участвовавших в нем авторов. Впрочем, уезжал Горенштейн без всякого шума, который нередко служил отъезжающему писателю и своеобразной «рекламой», хотя бы на первых порах облегчавшей ему существование в эмиграции.

За рубежом, как и в Москве, Горенштейн, целиком поглощенный писательским трудом, вел затворническую жизнь. За эти годы созданы повести «Яков Каша», «Куча», «Улица Красных Зорь», «Последнее лето на Волге», пьеса «Детоубийца», несколько превосходных рассказов. Его вещи — и те, что были написаны еще на родине, и новые — стали печатать в разных эмигрантских изданиях, а затем и переводить — на французский, английский, немецкий и другие языки. Заметили их и критики, а в последнее время в эмигрантской прессе о Горенштейне заговорили как о писателе, который «является, быть может, самой большой надеждой русской литературы». Приходит наконец час для его книг и на родине...

Жестокое время наложило свою тяжелую печать не только на писательскую судьбу Горенштейна, но и на его дописательскую биографию. Да, долгим и мучительным был его путь к читателям — у нас одаренный писатель вообще уперся в стену, не легко было преодолеть препоны и эмигрантского литературного быта, но еще труднее было ему, сыну «врага народа», круглому сироте, просто выжить и тем более, как говорится, выбиться в люди. Его отец, киевский профессор, был репрессирован в 1935 году в связи с одним из состряпанных дел после убийства Кирова и погиб в застенках НКВД. Мать, опасаясь — вполне обоснованно, приходится удивляться ее прозорливости, — что ее ждет та же страшная участь, сбежала с трехлетним сыном из Киева, несколько лет скиталась без постоянного жилья и регулярного заработка в провинции, укрываясь у родственников и знакомых. В сорок первом во время эвакуации она в эшелоне заболела и умерла, Фридриха сдали в детский дом. После войны, окончив горный институт, Горенштейн работал на шахте и на стройках, на своей шкуре познав, как достается от жизни человеку без прав, без собственного угла, беззащитному перед любым произволом...

Автобиографические мотивы обычно громче всего звучат в первых произведениях писателя — наверное, неодолимая потребность поделиться пережитым и заставляет человека браться за перо. Первый рассказ Горенштейна «Дом с башенкой», в сущности, воспоминание о том, как во время эвакуации его с заболевшей матерью в незнакомом городе сняли с поезда, мать умерла в больнице, а он остался один на белом свете, лишенный не только заботливого попечения родителей или близких родственников, а какой-либо защиты от бездушия и жестокости встречающихся на его пути взрослых. Пожалуй, и самому автору нелегко теперь отделить то, что бы-

ло с ним в детстве, что заметил и понял он тогда, от того, о чем догадался потом, что додумал, когда писал рассказ, но автобиографическая основа изображаемого позволила ему очень глубоко проникнуть в одну из самых горьких и безысходных человеческих трагедий. Его маленький герой, оказавшийся после внезапной смерти матери среди чужих людей, которым нет до него дела, переживает крах детского представления о мире как о царстве добра и гармонии. На каждом шагу он сталкивается с равнодушием, враждебностью, цинизмом. Безжалостная река жизни несет его как щепку, захлестывая волнами с головой, увлекая в водовороты на дно.

Герой первой повести Горенштейна «Зима 53-го года», как и автор, человек с плохой анкетой, отбрасывающей его на обочину жизни,— у него репрессированы родители, за неосторожную фразу его вышибли из университета, даже на черную работу в шахте ему удалось устроиться с великим трудом, он хорошо понимает, что в случае чего его могут в два счета отправить вслед за родителями,— эта угроза постоянно висит над ним как дамоклов меч. Конечно, не все, что случилось с героем повести, загнанным несправедливостью и невзгодами в такой угол, из которого уже выбраться невозможно — только ценой собственной жизни, не все это испытал, работая на шахте, сам автор, но автобиографическая подлинность многих эпизодов не вызывает никаких сомнений.

В более поздних вещах Горенштейна автобиографизм отступает на второй план, он размыт и претворен и обычно служит лишь толчком для художественного исследования характеров и обстоятельств, психологических деформаций и скрытых конфликтов, причем «свое» может быть отдано и персонажу, чуждому автору, не вызывающему у него ни малейшей симпатии; и все-таки явный привкус автобиографизма ощущается почти во всем, что написано Горенштейном. Снова и снова возникают у него мотивы, навеянные собственной горемычной судьбой: раннее сиротство, заброшенность, безысходное одиночество в многолюдье равнодушных, несмыслаемое клеймо члена семьи «врагов народа», социальное и национальное «отщепенство».

Обращаясь к наболевшему, к самым жгучим социальным — а в более поздних вещах и идеологическим — проблемам современности, Горенштейн сосредоточивается на том, что Достоевский называл «последними вопросами» человеческого бытия. Две довольно далеко отстоящие друг от друга литературные традиции, существующие в читательском сознании обычно обособленно, переплелись, сплелись в его творчестве.

Одну из них для Горенштейна воплощает Чехов. «...Чехов,— писал он,— подытожил духовный взлет Российского XX века, да, пожалуй, и духовный взлет всей европейской культуры — эпоху Возрождения, юность свою проведшую в живописи Италии, Испании, Ни-

дерландов, молодость в шекспировской Англии, зрелые годы в музыке и философии Германии, и наконец, уже на излете, уже как бы последними усилиями родившую российскую прозу...» Чехов служит Горенштейну высоким примером художника, который чужд какому-либо, пусть даже самыми благородными устремлениями рожденному догматизму и не может стать рабом дорогой ему идеи, примером художника, для которого не было ничего выше истины. «Это не значит,— уточняет он свою мысль,— что у Чехова не было своих, в сердце выношенных идей, не было любви, не было ненависти, не было привязанности, но Чехов никогда не позволял себе жертвовать истиной, пусть во имя самого желанного и любимого, ибо у него было мужество к запретному, к тому, что не хотело принимать сердце и отказывался понимать разум». Чеховское бесстрашие, чеховское мужество в отношении к истине, какой бы она ни была, удручала или радовала, подавляла или возвышала, ввергала в отчаяние или утешала, вдохновляют Горенштейна на свободное от всяких шор исследование трагических противоречий нашего века, мятущегося, разорванного сознания современника, которое не справляется с обрушившимися на него непосильными перегрузками.

Более сложно относится Горенштейн к Достоевскому, который тоже в значительной степени определил направление его художественных исканий,— Достоевский и притягивает и отталкивает его. Одну из своих пьес—недавно она опубликована у нас журналом «Театр»—он назвал «Споры о Достоевском». Но о Достоевском спорят до хрипоты, до драк не только персонажи пьесы, автор тоже ведет с великим предшественником постоянный, до предела напряженный внутренний диалог о человеке и человечности, о судьбе и миссии России, о нравственном потенциале идеи религиозной и идеи национальной. Со многим Горенштейн несогласен, многое отвергает, но, противопоставляя тем или иным суждениям Достоевского свое знание жизни и психологии человека (иных аргументов нет и не может быть у художника), в разработке характеров, в построении сюжетов, воспроизводящих катастрофический слом действительности, он следует за Достоевским.

Известна формула, которой Достоевский определял своеобразие художественного строя своих романов: «У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив». Подобным образом, по этому же принципу, по таким же координатам организовано художественное пространство и в прозе Горенштейна. И так же, как Достоевский, он ищет характеры и обстоятельства—цитирую то же самое письмо Достоевского—«в наших оторванных от земли слоях общества—слоях, которые в дей-

ствительности становятся фантастическими». Восходящий к Достоевскому, «фантастический», порой нестерпимо жестокий реализм Горенштейна имеет, однако, одно очень важное отличие.

Автор «Зимы 53-го года» и «Места», за плечами которого уже исторический и духовный опыт заканчивающегося XX века, опрокинувшего многие надежды и развеявшего многие иллюзии, не приемлет исступленного проповедничества идей, даже когда их назначение — спасти или перестроить мир. И если брезжит все-таки какой-то свет в конце тоннеля, то обнаружить его было не Достоевскому, а Чехову, его «кристально честная объективность» по отношению к себе и к людям «рождала иногда вдруг и подчас в самом неподходящем для этого месте такой свет, такую веру в душу человека, такую любовь, что все ужасы бытия освещались поистине неземным, чистым прометеевым огнем». Горенштейн убежден, что это единственно верный путь для художника в наши дни, когда «сила и злоба разбойничают во всех углах нашей маленькой планеты, а милосердие, добродетель и душевную деликатность пытаются представить явно ли, тайно ли как признак чахоточной телесной хилости и подвергнуть всеобщему осмеянию».

Наверное, этих кратких сведений о биографии и литературной «родословной» Фридриха Горенштейна достаточно для первого, предварительного знакомства с ним, и теперь можно перейти к книге, которую держит в руках читатель,— к роману «Место».

Написан роман пятнадцать с лишним лет назад. Тогда я впервые прочитал его. Об этом можно было бы, конечно, не говорить. Но перечитав «Место» сейчас, я подумал, что у иных читателей поставленные автором в конце даты, пожалуй, могут вызвать сомнение: слишком уж злободневны изображенные в книге явления, не дописывался или переписывался роман в наши дни, по горячим следам сегодняшних, еще недавно казавшихся невозможными, немислимыми событий?

Должен признаться, что в свое время, при первом чтении романа, некоторые мотивы и эпизоды: подпольная группа новоявленных, доморощенных гитлеровцев, наследующих нацистскую программу и даже внешнюю атрибутику; воспаленный махровый национализм других кружков, возникающих то там, то тут в каких-то темных углах жизни, легко соединяющийся со сталинизмом; зоологический антисемитизм как политический лозунг и историческая концепция; сознательное подстрекательство к массовым беспорядкам, к расправам, к крови, чтобы в такой обстановке пробиться к власти,— все это показалось мне тогда чересчур дерзким полетом авторской фантазии, переступающей границы реально возможного.

Хочу оправдаться, напомнив, что все-таки я впервые читал «Место» задолго до того, как в центре Москвы, на Пушкинской площади, собралась толпа юнцов, несомненно кем-то организованная (так и не

выяснили кем), чтобы отметить день рождения Гитлера. Нет, тогда, когда передо мной лежала рукопись романа, я не мог и представить себе, что такое возможно в стране, которой нашествие гитлеровцев стоило миллионов человеческих жизней. Еще было далеко и до митингов, докатившихся и до Красной площади, «боевиков» из «Памяти» (полувоенная форма и стойка заимствованы у штурмовиков), кликушеских, поджигательских черносотенных речей и интервью их руководителя Сычева. Не было еще чудовищных кровавых расправ с инородцами в Сумгаите, Фергане, Баку...

Но, видимо, зерна были посеяны уже тогда, и автор «Места» провидел, какие страшные всходы они дадут. Однако для этого надо было не только понять логику развития тех или иных идей. Это даже не полдела и уж наверняка не самая трудная часть его, тем более что некоторые из зловещих идей не раз в истории «проигрывались» и теоретически и на практике. Чтобы провидеть будущее, надо угадать, на какую человеческую почву упадут идеи, в каких слоях общества и почему найдут питательную среду, укоренятся и пойдут в рост, а в каких заглохнут, не привьются. Кстати, герой «Места» приходит к выводу — похоже, что эту его мысль разделяет и автор романа,— что личностный и бытовой элемент «вообще есть основа политической борьбы и именно они усложняют ее до такой степени, что приводят к грани искусства, где лишь таланты добиваются успеха.

И насквозь идеологизированное и политизированное повествование, которое являет собой произведение Горенштейна (он сам в подзаголовке представляет его читателям как политический роман), включает в себя подробнейшее пластическое описание быта улицы, рабочего общежития, строительной конторы, районного отделения милиции и так далее, всего не перечислишь, и необозримую, как в реальной действительности, череду выразительных и завершенных психологических портретов людей разного общественного положения и жизненного опыта, добившихся жизненного успеха и потерпевших поражение, довольных своей судьбой и озлобившихся, опьяненных романтикой юнцов и прожженных ловцов человеческих душ, лагерных доходяг и разъевшихся карьеристов. И все это — идеологическое, бытовое, личностное — в книге Горенштейна не конгломерат, а сплав. Бытовое прорастает в идеологическое, в идеологическом прорастает личностное.

Я не знаю другого произведения, где бы пережитый нашим обществом в хрущевское десятилетие политический, идеологический и нравственный кризис, которому не дано было разрешиться естественным образом из-за упорного сопротивления командно-административной системы и он силой был на долгие годы загнан внутрь, тяжелейшие последствия чего мы в полной мере ощущаем сегодня,— не знаю, где бы этот глубочайший кризис был изображен

столь пронизательно, с таким ясным пониманием тенденций исторического развития, как в романе «Место».

Конечно, ни одна книга не может дать полной, исчерпывающей картины изображаемой эпохи, не претендует на это и роман Горенштейна. У автора своя конкретная задача, свой сектор обзора, прежде всего его интересует, что происходит, когда общественная мысль упирается в глухую государственную стенку и ее загоняют в подполье, когда под запретом свободное и гласное обсуждение больших проблем и альтернативных путей исторического развития, когда начинают создаваться нелегальные кружки и группы, среди которых немало таких — это неизбежно, — что решают любым путем добиваться осуществления своих целей, ни перед чем не остановятся, чтобы заполучить власть. В зеркале романа Горенштейна — современные «бесы»; то, что с ними не связано, в этом зеркале не отражается, впрочем, в другом зеркале, в другой книге, в свою очередь, могут быть они не видны. Но это не значит, что разные зеркала искажают действительность, каждое отражает свое. Одним из эпиграфов к «Месту», объясняющих авторскую задачу, стали слова из Евангелия: «И сказал Господь: Симон, Симон, се Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». И какие бы высокие слова ни произносили многие персонажи романа, в какие бы сияющие дали ни звали, все они, поставившие превыше всего свои цели, свои желания, свою волю, — порождения дьявола, его слуги.

Читая «Место», непременно вспоминаешь знаменитый роман Достоевского, — точно так же, как «Петербург» Андрея Белого заставляет мысленно возвращаться к тем же «Бесам». Но было бы ошибкой видеть тут прямую литературную зависимость (я уже говорил, что связь Горенштейна с традицией Достоевского носит во многом полемический характер) — это перекличка, родственная близость исторической ситуации и рожденных ею психологических типов.

«Место» представляет собой историю, исповедь некоего Гоши Цвибышева, молодого человека 50-х годов, еще в детстве попавшего из-за репрессированного отца под колесницу истории, задавленного, почти раздавленного унижительными, бесчеловечными условиями существования, приспособляющегося, но никак не приспособившегося к ним, сжигаемого внутренним огнем своей неполноценности и яростно жаждущего реванша, полной расплаты за выпавшие на его долю страдания. Он хочет не только занять достойное место в обществе, жить по-человечески, но и добраться до командных высот, завоевать право помыкать другими, унижать их. Это история человека из подполья, привыкшего тщательно скрывать свои мысли и чувства, постоянно лицедействующего, бдительно оберегающего свое «инкогнито», история, рассказанная им самим.

Читатель должен иметь в виду, что это исповедь нравственно искалеченного человека, что мир предстает в романе таким, каким он

воспринимает его. Человек вообще, а особенно такой, целиком поглощенный собой человек, как герой Горенштейна, склонен в большинстве случаев не осуждать, а оправдывать себя. Автор не мешает ему, и чем откровеннее герой это делает, чем горячее защищает себя, тем яснее проступает его эгоизм, цинично потребительское отношение ко всем людям, с которыми его сталкивает жизнь. Нигде, ни одним словом автор не оценивает побуждений и поведения героя, он, рассказывая о пережитом, сам того не желая, сам того не подозревая, обнажает свое душевное ничтожество.

Но все не так просто, Горенштейн создает не плоскую, одномерную фигуру, герой его порой вызывает и сочувствие. Он ведь жертва бесчеловечных общественных обстоятельств. Как тяжела, убога и совершенно беспросветна его жизнь! Он так бесправен, что не может претендовать даже на «койко-место» в рабочем общежитии, в любой момент его могут выбросить на улицу. «Койко-место» — долгое время это и есть его место под солнцем, вот за что он борется изо всех сил, изворачиваясь, хитря, проглатывая унижения и оскорбления, вот та соломинка, за которую он отчаянно цепляется, иначе конец. Что же представляет собой это его место под солнцем? «В нашей тридцать второй комнате было шесть коек, два платяных шкафа, три тумбочки и стол. Если смотреть со стороны двери, моя койка была в самом углу у стены справа. Ноги мои сквозь прутья упирались в платяной шкаф. С противоположной стороны шкафа, также у стены, было место Саламова. На расстоянии протянутой руки, отделенная лишь тумбочкой, стояла койка Берегового. Еще со времен наших хороших отношений тумбочка у нас была общая: верхняя полка моя, нижняя — его». Но даже это жалкое прибежище он получил из милости, и куда бы он ни двинулся, его ждет такая же «общага». И удел это не одних молодых, здесь обитают и люди в годах, вся жизнь которых прошла в общежитиях, где койка соседа на расстоянии вытянутой руки и тумбочка на двоих.

Из милости Цвибышева держат и на работе, и здесь все, кому не лень, им помыкают, а он должен все безропотно сносить — куда ему деваться? А что это за работа, если он раздет, разут, заработка хватает лишь на то, чтобы, экономя каждую копейку, питаться впроголодь: «Рыбные и мясные консервы, любимое блюдо молодежи, я давно не покупал. Дорого, а съедается в один присест. Не покупал я также дешевых вареных колбас, хоть они вкусны, спору нет, но быстро сохнут и съедаются в большом количестве... Сто граммов копченой сухой колбасы можно растянуть на четыре-пять завтраков или ужинов, двумя тонкими кружочками колбасы покрывается половина хлеба, смазанного маслом или животным жиром, на закуску чай с карамелью. Иногда к хлебу и колбасе что-нибудь остренькое. Сегодня к завтраку у меня, например, запечатанная еще банка томат-пасты: домохозяйки покупают ее как приправу к борщу. Но намазанная тон-

ким слоем поверх масла, она придает бутерброду особый аромат, такая банка, в зимних условиях поставленная на окно, может быть хороша всю неделю...»

Конечно, не хлебом единым жив человек, конечно, человек выше сытости, но как жить, когда нет хлеба, и можно ли возвыситься над голодом так же, как над сытостью? И разве не связано полуголодное существование героя с его постоянным ощущением неравенства, беззащитности, страха, зависимости от всего и всех вокруг, кто «причастен к порядку, к закону»,— от вахтерши в общежитии до дежурного в каком-нибудь бюро пропусков? Жизнь его словно бы за чертой каких-либо законов, на него они не распространяются, и на работе и в общежитии он пария. «Я любил и часто ходил пешком,— рассказывает Цвибышев,— во-первых, экономия на транспорте, а во-вторых, просто получал удовольствие от ходьбы и возможности побыть в одиночестве и в полном равноправии с остальными прохожими». Какая убогая жизнь воспитывает мироощущение человека, который себя равным другим чувствует лишь на улице, в толпе, где его никто не знает...

И вот перед таким человеком, забитым, ущербным, исполосованным невзгодами и обидами, вдруг открывается возможность иной жизни: XX съезд, реабилитирован его отец, выяснилось (ведь Цвибышев его не помнит), что он был крупным военным — комкором. Цвибышеву кажется, что пришел его час, что государство и люди должны с ним расплатиться сполна за все, что было, за все, что он претерпел. Но ему суждено пережить еще одно разочарование: и этим его надеждам не дано осуществиться. Государство, точнее власть предержавшие на разных уровнях не собираются идти навстречу его желаниям, считая, что с разоблачением Сталина, с реабилитацией «врагов народа» Хрущев и так наломал дров. А люди большей частью заняты своими заботами, им жилось и живется несладко, и им в общем-то нет дела до Цвибышева. К тому же, озлобленный унижениями, он стремился не к равенству и справедливости, а к превосходству, к возвышению, к тому, чтобы получить власть над другими. «Рано или поздно мир завертится вокруг меня, как вокруг своей оси» — вот что вызрело в том душевном подполье, в которое его загнали.

Принято считать — точка зрения эта довольно широко распространена, — что тяжкие испытания и мучительные страдания открывают сердце милосердию, любви к ближнему. Горенштейн не верит в целительность страданий — они не смягчают, а ожесточают души. В статье, написанной тогда, когда уже было задумано «Место», он писал: «Первая реакция человека, подавленного несправедливостью, на свободу и добро — это не радость и благодарность, а обида и злоба за годы, прожитые в страхе и узде». В этом ключ к характеру Цвибышева, суть той эволюции, которая происходит с ним и которая вскрыта в романе с непрекаемой психологической убедительно-

стью,— эволюции от забитости к наглости, от бесправности к вседозволенности, от страха к агрессивности. И нелегальная политическая деятельность— ей самоутверждения ради отдается Цвибышев— тоже носит мстительно эгоистический, 'выморочный характер. Общественные интересы ему глубоко безразличны, никакой программы у него нет— да и ни к чему она ему, единственная его цель— власть, которой он хочет упиться. В подполье у него оказалось немало соперников, так же жаждущих власти и столь же беспринципных. Они иступленно призывают спасти Россию, но только потому, что надеются, сыграв роль спасителей, стать правителями. Чтобы одолеть соперников, здесь под покровом конспиративной тайны в ход пускается все: ложь, шантаж, физические расправы, провокации. Это зловещая непрекращающаяся круговерть бесов, безжалостно растаптывающих себе подобных, цинично манипулирующих чистыми и искренними, подставляя их под удар, отдавая на заклятие.

С какой легкостью, не испытывая не то что угрызений совести, но даже смущения,— он давно, еще когда был всюду и всеми гоним, утратил нравственный иммунитет, оберегающий от падения,— по первому зову становится Цвибышев секретным сотрудником современной «охранки», штатным кагебешным провокатором. И грязные игры с «охранкой» ведет не только он,— подполье, вольно или невольно склоняющееся к тому, что цель оправдывает средства, толкает на этот позорный путь многих: одни сдаются «охранке» на милость, уповая на приличное вознаграждение; другие, боясь преследований, пытаются ее задобрить; третьи надеются ее хитроумно провести и использовать в своих целях. Но так или иначе попавшему в эти сети выбраться из них необычайно трудно, если вообще возможно...

И Цвибышев не сам порывает с КГБ, его оттуда выпроваживают— то ли слишком «засветился» и уже не годится для дела, то ли стал «переростком», которого не «внедришь» в молодежную компанию. Он становится вполне добропорядочным обывателем, от его горячечных властолюбивых планов ничего не остается. И здесь снова следует сказать о поразительном искусстве психологического анализа автора «Места». В первый момент метаморфоза героя кажется неожиданной и странной. Но это не нравственное перерождение, Цвибышев не способен судить себя и в главном не изменился. Он остается эгоцентриком, только эгоизм его перестал быть агрессивным, вылился в идею долголетия, которой Цвибышев посвящает свою жизнь,— другие цели, выходящие за пределы собственного физического существования, его не занимают. Как это ни парадоксально звучит, в данном случае одержимость идеей долголетия означает тупик, духовную смерть— таков закономерный финал Цвибышева, этой изуродованной, выгоревшей, убитой души.

Роман «Место» многое может сказать нашему насквозь политизированному времени, взбудораженному разноголосицей устремле-

ний и позиций, раздираемому драматическими конфликтами, где все смешалось и столкнулось — демократические идеи и популистская демагогия, требования правового государства и распоясывающийся экстремизм, проснувшееся свободолобие и непробиваемый догматизм. Роман помогает понять духовную подоплеку этой смуты, этой переворачивающейся жизни. Не надо только искать в нем практических уроков и назидательной проповеди. Автор не предлагает читателям свода правил жизненного поведения. Скорее — надеется на самостоятельный читательский анализ, на здравый смысл и мудрость тех, для кого пишет и кому не навязывает никаких предварительных оценок. Не зря эпиграфом к эпилогу романа стоят слова из Экклезиаста: «Говорить с глушцем, все равно, что говорить с мертвым. Когда окончишь последнее слово, он спросит: «Что ты сказал?»»

Л. Лазарев

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОТЦУ

Часть первая

КОЙКО-МЕСТО

Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь, Бог твой, дает тебе.

Второзаконие, 12, 9

И сказал Господь: Симон! Симон! се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу.

Евангелие от Луки, 22, 31.



Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда; а Сын человеческий не имеет, где приклонить голову.

Евангелие от Луки, 9, 58.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Всякий раз, когда наступала весна, вот уже три года подряд, я испытывал душевную тревогу, ожидая повестки о выселении. Собственно говоря, меня пугала не столько опасность выселения, сколько хлопоты по оставлению за мной койко-места в общежитии треста «Жилстрой». Выселения быть не могло, в это я твердо верил, так как у меня были знакомства в руководстве треста, которому принадлежало общежитие. Покровитель мой, Михаил Данилович Михайлов, был единственный человек, оказавший мне помощь, так как родители мои давно мертвы, а я в этом городе совершенно одинок и не могу нигде рассчитывать на длительное пристанище. Тем не менее я Михаила Даниловича не любил и не знал, о чем с ним разговаривать помимо просьб посодействовать и помочь. Впрочем, меня он действительно третировал и, помогая мне, относился ко мне небрежно и унижительно.

Это был близкий товарищ моего покойного отца, которого, судя по всему, очень любил, считал выдающейся личностью и безвременно погибшим талантом. Меня же считал, по сравнению с отцом, человеком мелким, ничтожным, чуть ли не туповатым. И дело даже дошло до того, что Михайлов как-то раз позволил себе в моем присутствии без стеснения сказать об этом одной из сотрудниц своего отдела, которая из жалости также начала принимать участие в моей судьбе.

— Отец его был редкий человек, удивительно талантливый человек, — сказал Михайлов, — а он... — и, странно усмехнувшись, Михайлов сделал эдакий пренебрежительный жест рукой.

Случилось это в прошлом году, когда в очередной раз стал вопрос о моем выселении и с помощью телефонных звонков и личных разговоров Михайлов улаживал дело.

И если до того я его недолюбливал, то после этого унижения я его попросту возненавидел.

Поблагодарил я его тогда за хлопоты каким-то злобным тоном, и он это, кажется, заметил не без удивления. Помню, выйдя тогда от Михайлова с головной болью, сел на трамвай и уехал к самой отдаленной окраине, где не мог встретить ни одного знакомого лица. В тот день я пораньше отпросился с работы и рассчитывал, потратив на Михайлова с полчаса, остальное время просидеть в читальном зале библиотеки республиканской Академии наук либо в газетном архиве. Это лучшее мое времяпрепровождение. Работу свою, на которую меня также устроил Михайлов, я ненавидел и в то же время боялся ее потерять, так как не мог рассчитывать ни на что другое и не мыслил себе, как приду к Михайлову сообщать о своем увольнении и просить его посодействовать об устройстве на новое место. Я знал, что, несмотря на все свое влияние, он устроил меня с трудом. Хотя теперь опасность увольнения меня меньше пугала. За три года, живя экономно, я накопил немного денег на сберкнижке, и с присланными мне дедом деньгами на пальто получалась довольно приличная сумма, на которую можно было прожить с полгода. Поэтому я решил не сопротивляться грозящему мне увольнению и приступить к подготовке для поступления на филологический факультет университета. Я понимал, что в случае неудачи мое положение станет отчаянным и безнадежным, которое неизвестно смогу ли как-то поправить ценой даже самых глубоких унижений перед Михайловым.

Дело в том, что, как ни тяжела моя нынешняя жизнь, она попросту блестяща по сравнению с тем, что довелось мне пережить в этом городе ранее, пока Михайлов не принял участия в моей судьбе. Но об этом скажу потом и подробнее... В ту прошлогоднюю весну, когда я испытал нескрываемые уже унижения от Михайлова, мне исполнилось двадцать восемь лет (теперь мне, следовательно, двадцать девять).

Как-то быстро и бесплодно пробежали эти восемь-девять лет, в течение которых юноши добывают себе положение в обществе, а также, утратив горячую мечтательность, достигают мужских взаимоотношений с женщиной. Я же превратился в «старееющего юношу», и то, что восемь лет назад было приятным и естественным, теперь становилось стыдным, а нужда в помощи и опеке, которой я обременял в сущности чужого и несимпатичного мне человека, становилась мучительной и озлобляла меня.

Этот перелом во мне и эти мысли появились как бы вдруг, в прошлом году, когда Михайлов меня публично унижил.

До того я прожил два года довольно спокойно и тихо, почти не нервничал и хоть уставал, но был доволен судьбой, считал, что все идет хорошо и по плану. Тогда, два года назад, живы и ярки еще были мои мытарства без жилья и работы, теперь же мое положение было более устойчивым, и к тому же мне удалось завести кое-какие знакомства, приобщившие меня к любимому поприщу, о котором я мечтал. Дело в том, что возмутило меня до головной боли, до слез, до покалывания сердца прошлогоднее поведение Михайлова потому, что я был о себе весьма высокого мнения. Случалось, оставшись один, я брал зеркало и смотрел на себя с таинственной улыбкой. Я мог сидеть долго, глядя себе в глаза. Скрытое тщеславие и внутренняя, постоянно живущая во мне самоуверенность о некоем временном моем «инкогнито», скрывающем нечто значительное, укрепляли мне душу, особенно когда я постарел, и не давали отчаянию овладеть мной.

Однажды, увлекшись собой перед зеркалом, я не заметил одного из жильцов комнаты, который спал на своей койке. Это был Саламов, азербайджанец, семнадцатилетний мальчишка, натура, по всей вероятности испытывающая одни лишь физиологические потребности. Очевидно, я что-то сказал вслух, и звук моего голоса разбудил его.

— Ты чего? — спросил он удивленно.

Я вздрогнул и испугался, точно меня поймали на непотребном и стыдном пороке. К счастью, Саламов был усталый после смены, он тут же вновь захрапел. А я сидел с колотящимся сердцем, с мокрым от испарины лбом и досадовал на себя за подобное неосторожное поведение. Будь вместо Саламова Петров или Береговой, я мог бы опозориться понастоящему и даже стать предметом насмешки. Особенно в этом смысле опасен был Пашка Береговой, так как в нем имелись какие-то зачатки духовности, и он, пожалуй, мог бы если не понять, то хотя бы ощутить подлинную причину моего поведения, а это было бы особенно ужасно и позорно. С Береговым мы одно время часто беседовали, и было у нас нечто похожее на коммунальную комнатную дружбу. Теперь же он подружился с новым жильцом Петровым, а мне стал в комнате злейший враг.

Как ни случайны люди, которые сходятся вместе жить в общежитиях, все ж в каждой комнате складывается что-то вроде особого «семейного» быта и даже некоторой «семейной» иерархии. В нашей тридцать второй комнате было шесть коек, два платяных шкафа, три тумбочки и стол. Если смотреть со стороны двери, моя койка была в самом углу у стены справа. Ноги мои сквозь прутья упирались в платя-

ной шкафа. С противоположной стороны шкафа, также у стены, было место Саламова. На расстоянии протянутой руки, отделенная лишь тумбочкой, стояла койка Берегового. Еще со времен наших хороших отношений тумбочка у нас была общая: верхняя полка моя, нижняя — его. Далее, у противоположной стены обитал Юрка Петров, сибиряк, сменивший несколько общежитий в разных концах Союза, кстати при родителях и очень большой родне где-то под Омском, то есть бродяга не по нужде, а по натуре. Это был скуластый, с татарщиной в лице парень, но светловолосый. Сам по себе был он неплохой и, кажется, с совестью, может и не постоянно в нем присутствующей, во всяком случае, с порывами совести, если позволено так выразиться. Но интересно, как только он появился в нашей комнате и как только Береговой с ним подружился, так сразу Береговой этот расторг дружбу со мной и начал совершенно неожиданно проявлять ко мне неприязнь, хотя со стороны самого Петрова я неприязни не замечал, разве что изредка поддержит усмешкой Берегового. Правда, я мог бы составить в комнате союз с Жуковым, жильцом, койка которого располагалась за вторым платяным шкафом слева у самой двери, но я Жукова недавно обидел глупо и нелепо.

Родом Жуков был из Грузии, из Кутаиси. Родился и вырос он в общежитии, в комнате, где жили четверо матерей-одиночек, то есть иного быта он в жизни и не знал. Вот Жуков этот был парень совестливый уже без оговорок. Мы с ним, случалось, довольно интересно беседовали. Правда, совесть он понимал по-своему, я в этом как-то убедился. Работал Жуков монтажником, заработок имел небольшой, но каждый месяц аккуратно высылал часть денег матери. За три года моей жизни в этой комнате мать приезжала к нему два раза и жила у него по несколько месяцев, вместе спала на одной койке. Жуков на это время оставлял учебу в вечерней школе и работал в две смены, чтоб создать матери условия и снабдить ее деньгами на обратную дорогу. Как-то после ее отъезда я заговорил с Жуковым. И вдруг, к моему удивлению, оказалось, что он недоволен тем, что приходится слать ей деньги и принимать у себя.

— Пьявка,— сказал он и вздохнул.

Я был так ошеломлен и обманут в своих приятных чувствах, которые я всегда испытываю, видя со стороны людей поступки честные и великодушные, что запомнил этот разговор даже в отдельных бытовых деталях.

Был вечер, я сидел у стола и ужинал сладким кипятком с теплым свежим хлебом. Жуков сидел на своей койке, гово-

рил негромко, задумчиво поблескивая металлическими протезными зубами, из которых у него состояла вся верхняя челюсть, хоть было ему не более двадцати пяти лет.

— Пьявка,— говорил он.— Камень на шее.

— Как же так,— сказал я,— ведь она тебя родила, растила... Вот я один, у меня матери давно нет... Чего хорошего...— И тут я, не зная, как продолжить, и не желая более ничего говорить о своей матери, замолчал, не доверяя Жукову, боясь, что он каким-либо нелепым словом оскорбит память моей матери, и тогда придется с ним драться, а он был сильнее меня и, как я предполагал, в гневе неразборчив в ударах, мог и покалечить.

Мы сидели некоторое время молча. Я доел последние куски теплого хлеба и запил кипятком.

— Все это верно,— сказал Жуков, прервав молчание,— но если разобраться, то мать мне камень на шее.

— Так что ж ты ей деньги посылаешь, раз ты так думаешь,— спросил я уже просто из любопытства,— и принимаешь мать у себя, вкалываешь по две смены?

И тут он меня вновь ошеломил ответом.

— А совесть,— сказал он,— как же иначе, иначе не по вести.

Причем сказал он не раздумывая и как-то удивленно посмотрел на меня. Я в этом разговоре не понял правоту подобных суждений, но ныне она кажется мне все более очевидной. Он понимал совесть и добро не как личные сердечные чувства, к которым, возможно, не был способен, а как закон. Закон пусть временами и неприятный, но неоспоримый, раз данный, с рождения, вместе со способностью дышать, возвышающийся над чувствами, высокими ли, низменными ли. Лишь позднее я понял, как опасно иное понимание совести и добра по сердцу, добра и совести эгоистически приятных, ставящих незыблемые ценности человека в зависимость от личных качеств, душевной зрелости и преходящих эмоций. К такой совести по сердцу способны лишь немногие...

Тогда же, после разговора, у меня остался на душе неприятный осадок, разочарование мое в Жукове вызвало к нему раздражение. Он же, будучи натурой грубой и простой, не замечал этого и по-прежнему обращался ко мне с вопросами или с просьбой о помощи в учебе. Я в свое время окончил строительный факультет металлургического техникума, и хотя кончил его по нужде, а не по любви, тем не менее математику я знал неплохо. Жуков же поставил себе задачу получить образование, и в математике я ему помогал. Усваивал он материал тяжело, но с какой-то вдохновенной, наивной ра-

достью, как глухонемой, который вдруг слышит смутные неясные шумы и из этих шумов у него начинают складываться его собственные членораздельные звуки речи. Эта чрезмерная наивная радость познания, к несчастью, направила его энергию по ложному пути. Жуков увлекся изобретательством, приняв элементарные познания в физике и механике за необычные озарения. Подобные искажения букварных познаний в литературе именуются графоманией. В технике оно, возможно, встречается реже, но тем не менее также довольно распространено. Это одно из опасных побочных явлений зачаточной духовной зрелости. Все свободное время Жуков чертил какие-то конструкции, трубы, зубчатые сцепления... Причем делал он это не совсем бескорыстно и по вдохновению, а интересовался и у меня, и у нашего «воспитателя» Юрия Корша, как оплачиваются изобретения.

Юрий Корш, выпускник пединститута, ведал в общезнании культмассовой работой. Ко мне он относился хорошо, старался по возможности помочь, но возможности его были незначительные. Вообще круглолицый молодой воспитатель мне казался человеком с добрыми намерениями, но красота (он был красив, хоть и начинал уже лысеть), красота и внимание женщин развратили его, и, по-моему, он воспринимал все вокруг подобно мистику, то есть как призрачный мираж по отношению к чему-то единственно подлинному, а подлинным в жизни для него были только взаимоотношения с женщинами. Его вдохновенные, полные эротических подробностей рассказы, признаюсь, я слушал с нездоровым интересом, но старался спрятать чисто юношеское удивление и зависть, порожденные ущербной жизнью, которая придавала чувственности стыдливость и форму горячечной мечты.

Как-то я зашел почитать газеты в Ленинский уголок, которым Корш заведовал. Он как раз крепил свежие номера к подшивкам.

— Гоша, — сказал он мне улыбаясь, — тут Жуков из твоей комнаты передал мне какие-то чертежи. Раз я местный городской житель, значит, у меня должны быть знакомства с инженерами. Так он решил... Просит познакомиться, но чтоб инженер этот был мне хорошо известен, иначе стащит изобретение... Ты посмотри...

На листе изображалось производство труб из металлических болванок. Я глянул мельком и сказал небрежно:

— Полная глупость... Вообще этот парень с приветом...

Я не заметил, что Жуков стоит в дверях и слушает. Мне стало ужасно неприятно, когда он вдруг явился из-за наших спин и разорвал чертежи.

— А я тебя человеком считал,— сказал он мне с горечью, и, кажется, даже слезы мелькнули у него на глазах.

С тех пор я полностью потерял в комнате авторитет и опору. Саламов был малоавторитетной личностью и не мог составить сильную партию, тем более что Жуков, который ранее недолюбливал Берегового, теперь объединился с ним на общей антипатии ко мне. Правда, существовал еще и шестой жилец, Володька Федорчук, но большую часть времени он пропадал и даже иногда ночевал в женском общежитии у своей «девахи», на которой собирался жениться, и потому влияния на комнатные взаимоотношения не оказывал. Володька этот, здоровенный парень с плоским рябым лицом и маленьким носиком, успел уже отслужить во флоте, как он рассказывал, на торпедных катерах, тем не менее краснел, как девушка, по любому поводу. Помню, залил он вином Береговому брюки и так покраснел, что тот, вместо того чтоб озлиться, расхохотался. Был еще случай. Каким-то образом попал в комнату кирпич. Кто его принес, неизвестно. Выясняли, выясняли, так и не выяснили.

— Да что там мозги ломать,— сказал Володька с некоторой, разумеется, шутливостью,— брось его, Пашка, в окно... Убей кого-нибудь... Какого-нибудь жида убей...

А в это время как раз ко мне зашел Сашка Рахутин из соседней комнаты. Фамилия у него русская, но он был еврей и с еврейской внешностью. Петров как толкнет локтем Володьку и на Рахутина незаметно показывает. Володька покраснел, прямо пятна какие-то влажные на лбу выступили, и из комнаты вышел...

Но особенно смешно проявил себя Володька во время чисто, правда, анекдотического случая. Недели за три до событий, к описанию которых я намерен приступить, где-то в феврале, когда мы уже лежали в постелях и собирались погасить свет и запереть дверь, в комнату вошел какой-то неизвестный нам пьяный мужчина. Даже не осматриваясь и ничего не говоря, он пошел к койке Федорчука, которая по обыкновению пустовала, не снимая пальто, улегся на нее и тут же захрапел. Мы поняли, что Володька прислал какого-то своего знакомого проспаться на свое пустующее место. Саламов погасил свет и запер дверь. Мы уснули. Однако часа в два ночи раздался стук и явился сам Володька, которого в этот раз комендантша женского общежития погнала от его «девахи».

— А это кто? — спросил он с искренним удивлением и даже растерянностью, указывая пальцем на мужчину.

— Мы думали, Володька, ты его прислал,— сказал я.

Володька подошел к своей койке, взял незваного гостя за

плечо, и тут все мы почувствовали дух, не оставляющий сомнения в том, что произошло и как гость отблагодарил хозяина. Всякий, кто знает, что такое ночной воздух рабочего общежития, где спят шестеро наработавшихся за день парней, питающихся грубой, несвежей пищей, тот поймет, почему мы не обратили внимания первоначально на некоторое усиление духоты. Но теперь, когда Володька, весь красный от стыда, рвал упирающегося гостя с койки, даже мы, привычные к дурным запахам, вынуждены были, несмотря на мороз, распахнуть окно.

— Как же так,— плачущим голосом говорил Володька,— ты же опозорился, сволочь... Зачем же так жидко ты опозорился?..

Это прозвучало грубо, но наивно и искренне. Володька, хоть был он ни в чем не виноват, так как гость мог лечь на любую свободную койку, испытывал подлинные муки глубокого позора. Он вытащил гостя, довольно грузного мужчину, в коридор, разбил ему в кровь лицо, сволок вниз по лестнице и выбросил на мороз. Дежурная сменила матрац и постель, но Володька ночевать не стал и вскоре поменялся комнатами с Кулиничем, сорокапятилетним тихим, вежливым и глупым мужиком, в свободное от работы время либо готовящим себе пищу, либо наигрывающим на баяне «Перепелочку».

Так что расстановка сил в комнате получалась такая, что мне и самому надо было меняться, тем более что в двадцать шестой комнате у меня появились друзья: Саша Рахутин, о котором я уже говорил, и Витька Григоренко, крановщик с башенного крана. Познакомился я с этими ребятами как-то само собой, кажется, «на телевизоре». (Все свободные обычно вечером спешили в Ленуголок занять места «на телевизор».) Чем-то эти ребята, Григоренко и Рахутин, были ближе к тому обществу, к которому я стремился. Мне понравилось, что они сами меня нашли, то есть выделили из других, и со мной заговорили, кажется, Витька, а Сашка Рахутин его подержал. Разумеется, я болезненно-нервно скрывал свое «инкогнито» и никогда б его не раскрыл даже намеком перед людьми, имеющими хоть какое-то касательство к моей насущной жизни, то есть работе и общежитию. Но тем не менее мне нравилось, когда меня «ощущали». Витька Григоренко, видя, какая хамская атмосфера складывается вокруг меня в тридцать второй, предложил мне перейти в двадцать шестую, где он жил. Эта комната была моей давней мечтой. Маленькая, уютная, где на ночь выключалось радио и рано гасился свет. Пока я пользовался авторитетом в тридцать второй, мне так же удавалось добиться выключения радио в двенадцать часов

ночи, так как оно работало до двух, а потом включалось в шесть, то есть у меня оставался промежуток для сна всего в четыре часа. Но потом Береговой, при поддержке общест-венности комнаты, решил, чтоб радио не выключать, мол, в противном случае он опаздывает на утреннюю смену. Я пы-тался приучить себя спать при звуках радио также безмяте-жно, как и остальные жильцы, но то самое «инкогнито», са-моуверенность и тщеславие, которые ранее в трудную минуту поддерживали мою душу, теперь также в трудную минуту терзали ее обидами, не давая покоя. Еще год назад, до случая с Михайловым, я умел терпеть обиды, и подобное изменение значило, что с возрастом организм начинает сдавать, а то, что самоуверенность и тщеславие мои начинают реагировать на бытовые обиды, говорило о том, что самоуверенность эта утрачивает идею, возвышающую ее над повседневностью, и организм мой, истощив жизненные плотские силы, садится в своей повседневной борьбе на неприкосновенный запас моих духовных сил. Это были опасные и неприятные для меня признаки близящегося предела. Для победы в жизни мне нужна была уже не просто удача, которая могла мне помочь еще год назад, а чудо. Об этом я думал по ночам, когда смол-кало наконец ненавистное радио и тишину нарушал лишь храп и сонное бормотанье моих сожителей. Сашка Рахутин был парень начитанный и добрый, но легкомысленный, Вить-ка же Григоренко был более чуткий, очевидно, от природы, и я несколько раз ловил на себе его тревожные взгляды, что было мне даже неприятно, так как я, разумеется, при всем при том не хотел его пускать к себе далее отведенной черты и раз-решать ему прикоснуться, не дай бог, к моему «инкогнито». Места в их двадцать шестой комнате не было, но Витька, че-ловек вообще несколько авантюрного склада, предложил просто перетащить мою койку и, подвинув шкаф в самый угол, установить ее четвертой. С третьим же жильцом, тихим старичком, доживающим свой век в общежитии, он обещал либо договориться, либо его запугать. Конечно, подобный выход был бы великолепен, но я отнекивался по разным при-чинам, будучи не вправе объяснить, что я живу здесь незакон-но, занимаю место по знакомству и всякое перетаскивание коек и нарушения привлекут ко мне дополнительное внима-ние, что было не в моих интересах, тем более перед ежегод-ным весенним выселением. Главное, я это знал по опыту, бы-ло продержаться до конца мая, когда все затихало, а зимой вообще нельзя было выселять по закону. Еще с конца фе-враля я начал обдумывать план борьбы. У меня было дерзкое желание обойтись в этот раз без Михайлова, ибо обращаться

к нему после прошлогоднего унижения было попросту мучительно. Но с другой стороны, борясь самостоятельно, я рисковал остаться без места, а с этим местом я связывал все свои дальнейшие жизненные планы, поскольку, теряя это место, я терял город, который любил, и принужден был бы ехать неизвестно куда без средств и опоры где бы то ни было. В моем возрасте это означало бы превратиться в провинциального неудачника, а я жил в провинции и знаю, что это означает для человека с моими планами и надеждами. «Поэтому,— думал я, лежа в бессоннице,— мое место в углу за платяным шкафом, моя железная койка с панцирной сеткой в этой шестикоечной комнате, среди грубых сожителей означает сейчас для меня слишком много... Койко-место это то, что закрепляет мою жизнь в общем определенном порядке жизни страны. Потеряв койко-место, я потеряю все». Так мне думалось. Рушился мир, а умирать мне не хотелось. Я чувствовал себя полным неистраченных жизненных соков, хотелось жить, и в бессоннице я перебирал тех, кто угрожает моему существованию. Прежде всего это была комендантша Софья Ивановна, грузная женщина с бородавкой на щеке. Она добросовестно и настойчиво в течение трех лет вела со мной борьбу в период весеннего выселения, но когда этот период проходил, она относилась ко мне довольно доброжелательно, даже с приязнью, поскольку я не пьянствовал, не производил никаких нарушений и платил аккуратно за койко-место. Начальника жилконторы Маргулиса я видел лишь издали, а он меня не знал в лицо вовсе. Бумажки о выселении приходили за его подписью, но, кажется, именно через него действовал Михайлов, договариваясь частным путем об оставлении койко-места за мной. Однако был у меня среди этих причастных к моему месту людей страшный враг, причем враг не столько по служебному положению, сколько по личному вдохновению. По сравнению с этим моим врагом не на жизнь, а на смерть мой комнатный враг Пашка Береговой просто шутник. Да если б был я человеком не гордым, поговорил бы с ним... Так, мол, и так, Пашка... С чего это ты?.. Вроде тебе я ничего плохого... Мы с тобой два года жили нормально, даже выпили раз вместе, когда отец твой приезжал... На стадион вместе ходили... А если есть какие обиды, скажи... Думаю, Петров меня бы поддержал. Он иногда, когда мы наедине оставались, пробовал заговаривать... Положение мое в комнате уладилось бы наверняка. Другое дело, что я этого не сделаю, мне отвратительно выяснять отношения, тем более подобным образом и по моей инициативе. Мне с моим тщеславием и «инкогнито» приходится унижаться,

если наступает крайняя нужда, как, например, с Михайловым, но не менее... И то с Михайловым подобное происходило, пока здоровы были мои нервы. Теперь же мысль о том, что снова придется пожертвовать своим достоинством, попросту приводит меня в ужас, в тупик, сердечную тоску... Но перед административным этим своим врагом я б, может, и унился, потому что тут не то что крайняя нужда, а попросту самое больное место в моей борьбе за крышу над головой, поскольку ведется эта борьба в обход закона, опираясь на знакомства, на бюрократическое исполнение своих обязанностей причастными к делу лицами, на их безразличное отношение ко мне как к личности. В таком шатком деле человеческая, а не административная страсть может оказаться для меня губительной, так как она может раскопать знакомства и нарушения и призвать на помощь закон.

Более всего я боялся, что кто-либо, находящийся вне сферы знакомств Михайлова, заинтересуется мной, а не вакантным койко-местом, и примется выяснять, кто я, собственно, такой, откуда здесь взялся и на основании каких прав... И пойдет по цепочке, от незаконного занятия койко-места в общежитии организации, в которой я не работал, к первоначальному фиктивному оформлению меня на должность баяниста в пригородном санатории «Победа», где директором был приятель Михайлова, что дало мне право на пригородную прописку, и еще далее по цепочке — к длительному проживанию без прописки в городе, а оттуда уже рукой подать до некоторых фактов моей биографии, которые я тщательно скрывал. Лгать, кстати, я научился очень рано, чуть ли не в раннем детстве, шести-семи лет, причем лгать не по-ребячьи, путано и мило, а по-взрослому, твердо и хитро, и мать моя меня в этом поощряла, дабы скрыть факт об арестованном отце. Факт, который я утаивал первоначально в ребячьих играх, спорах и рассказах, а повзрослев, не упоминал ни в одном из служебных листков: военкомата ли, отделов кадров ли, ни в одной биографии, и не из одного страха, а также из-за стыда.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Были, правда, случаи, когда на некоем душевном подъеме, например, поступая в комсомол, я хотел выложить все честно и прямо. Уже тогда человек необычайной фантазии, я весьма ярко представил себе, как встаю и говорю всю правду, прямо глядя ребятам в глаза, и честностью покрываю душевную му-

ку и стыд. Я даже вдохновлялся этим и представил, что это украсит торжественность момента и привлечет ко мне внимание и благодаря этому я выделюсь из общей среды поступающих. Но в то же время меня беспокоили несколько сомнения и даже легкий страх. Поскольку посоветоваться мне было не с кем, я посоветовался с теткой, личностью грубой и малограмотной. Она посмотрела на меня сердито и сказала:

— Молчи, дурак,— и постучала пальцем по лбу.

Я обругал ее в ответ, но тем не менее это «Молчи, дурак» подействовало на меня нехорошо, и в последний момент я струсил. Но поскольку вдохновение мое не было истрачено в честном и смелом направлении, я утешил свое тщеславие чересчур громкой ложью, изобразив своего отца крупнейшим деятелем и героем Отечественной войны. Я был глуп тогда и молод и бездумно вступал на путь, чреватый помимо неприятностей стыдными разоблачениями, которых я страшился более, чем неприятностей. Но даже постарев, я придерживался этой версии, я как бы сжился с ней. Самым близким друзьям моим я рассказывал именно эту версию, и постепенно в моем воображении она приобрела силу правды, я сам в нее поверил. Поэтому я не любил тех немногих, кто знал подлинную историю моего отца, и, даже еще не видя Михайлова, испытывал к нему неприязнь. Я обратился к нему три года назад, лишь когда положение мое стало безвыходным. Интересно, что эта детская ложь, выдуманная экспромтом, по-детски наивно и сложившаяся в случайную картину, росла вместе со мной, приобрела надо мной власть и даже создала некий дополнительный нравственный тупик в моей жизни. Я мог бы уйти от острого болезненного вопроса моего происхождения, распространив версию, что отец мой просто и обыденно умер. Тем более что это была бы не совсем ложь, а скорее полуправда, так как я не сомневался, что он давно мертв. Я же всем, кто знал меня, сообщал эту мою детскую версию героической гибели отца, несколько, правда, повзрослевшую и лишённую очевидных наивностей. Более того, я вдруг без всякой инициативы с их стороны сообщал людям, мнением которых обо мне я дорожил, что, например, получил письмо от фронтового друга отца и должен встретить его на вокзале... Или нечто подобное... В некоторых обществах я распространялся и о героической фронтовой жизни матери, которая, между тем, обыденно умерла от малярии. Но здесь я сумел, к счастью, обуздать себя и замять эту легенду где-то на задворках, среди случайных знакомств и людей, с которыми я либо встречался редко, либо вовсе перестал встречаться. Подобные легенды в детстве нередки, вполне объяснимы

и даже обаятельны, пока молодая жизнь находится скорее в области игры, чем подлинности. Но с годами в этом появляется нечто патологическое, неприятное. Порок, за который приходится платить беспокойством и напряжением. Меня постоянно терзали нелепые страхи. Я боялся, что Михайлов вдруг окажется в обществе моих друзей, хоть это было исключено... Или приедет тетка и сболтнет то, что не надо... Вообще у меня не было ясности на душе и я не любил, когда два человека, не знающих друг друга, но знающих меня, встречаются.

В последнее время пошли слухи, что некоторые аресты были произведены неправильно, подобно аресту врачей, о реабилитации которых публично сообщили в газетах и по радио... Я начал иногда задумываться в этом направлении, но, как это ни нелепо звучит, мне трудно было менять легенду моей жизни, которую я сам же придумал и под власть которой я попал. Вся эта разномастная ложь, незаконные махинации Михайлова, на которых держался мой быт, нелепые мои выдумки личного характера, весь этот сонм неправд, полуправд, закулисных деяний, наслаивающихся с годами, лежал так близко и был так плохо скрыт, что не разоблачен он был, мне кажется, лишь благодаря моему ничтожному положению, не могущему вызвать зависть, а лишь жалость, насмешку или безразличие у людей, обладающих административной властью. Правда, у некоторых, например у администрации по месту моей работы, я вызывал неприязнь, но это была некая насмешливая, несерьезная неприязнь, неприязнь к слабому, и она, по-видимому, вызывала желание не уничтожить меня, а попросту отмахнуться и освободиться от меня. Враг же, о котором я говорил, испытывал ко мне самую настоящую, серьезную неприязнь, лишенную насмешки. Правда, он занимал чрезвычайно низкую административную ступеньку, но что с того? Он был причастен к порядку, к закону, и его интересовало не лишнее койко-место, а я, которого без поддержки Михайлова он давно бы уничтожил. Враг мой была женщина. Я ее помню ясно и вижу досконально. Была она невысокого роста, несколько сутуловата, лицо круглое, говоря объективно, не лишенное внешней привлекательности. О возрасте сказать затрудняюсь, возможно, тридцать с небольшим, а может, и все сорок. Фамилия ее была Шинкаренко, имя Татьяна. Но произносила она свое имя «Тэтяна», может, потому, что родом была из Белоруссии.

— Надя,— кричала она уборщице,— пойди принеси ведомость из прачечной, скажи, Тэтяна велела.

Работала она зав.камерой хранения, где содержались

вещи жильцов, а также раз в неделю производила обмен белья. Должность ее как будто чисто техническая, тем не менее она занимала третье место в административной иерархии, во время отпуска комендантши заменяла ее и активно вмешивалась в судьбу жильцов. Я не знаю, откуда берет начало глубокая полнокровная ненависть Тэтяны ко мне. Впрочем, комендантша Софья Ивановна, по-моему, ее тоже недолго любила и немножко побаивалась.

Помимо Тэтяны определенную роль в расстановке сил играли трое дежурных, посуточно сменявших друг друга, и даже две уборщицы. Две из дежурных были сестры. Меня они из общей массы не выделяли. Третья, Дарья Павловна, выделяла, даже в хорошую сторону, всегда мне улыбалась и вежливо здоровалась, так как я единственный из жильцов ласкал и кормил кошку, ее любимицу, живущую при общежитии. Однако из-за этой кошки отношения у нас испортились. Кошка постоянно была беременна, и уборщицы топили ее котят в помойном ведре. Была она маленькой, тощей, хоть уже старой и опытной, понимала с полуслова, когда ей должно перепасть съестное, а когда надо убегать. Спала она в кубовой, а при дежурстве Дарьи Павловны — рядом с ней на диванчике у входа. Я говорю так много о кошке, потому что и она, бессловесная тварь, оказалась втянутой в события и сыграла роль в моей судьбе. Однажды, когда я по обыкновению подошел и принялся ласкать ее, она вдруг подпрыгнула, вонзила мне зубы в пальцы, а когтями задних ног глубоко распорол ладонь. Дарья Павловна, при этом присутствовавшая, даже вскрикнула от испуга. Я тут же ушел, держа раненую руку на весу. В комнате я залил рану, из которой сочилась кровь, тройным одеколоном и обмотал ладонь носовым платком. Помимо боли меня терзала обида. Конечно, глупо и смешно обижаться на животных, скажи я об этом, меня бы в комнате засмеяли. Но это была опытная и старая кошка, и она знала, я в это верю, как надо вести себя, если без прав хочешь прожить среди людей. За три года я не помню, чтоб она кого-нибудь укусила, хоть ее били, пинали, отнимали котят и таскали за хвост. «Значит, она ощутила мое бесправие», — думал я, лежа на койке... Как это ни смешно и глупо, но думал я именно так. У меня начала болеть голова (это случилось в последнее время все чаще) и к тому же сильно болела рука, не только ладонь, но и выше, до самого локтя. Я встал и пошел вниз. Кошка мирно и спокойно умывалась, сидя у ног улыбающейся и беседующей с ней Дарьи Павловны. Злоба стиснула мне грудь. Я подошел и изо всех сил ударил кошку здоровой рукой по спине, так что внутри у нее что-то

екнуло. Она тут же забилась под диван, однако я, став на четвереньки, принялся ее оттуда выгонять.

— Разве же можно так зверя? — сказала Дарья Павловна тоном, который я от нее не слыхал. — Зверь, ты ему хоть голову оторви, он тебе ничего не скажет...

На следующий день я слыхал, как Дарья Павловна говорила обо мне с Тэтяной. У меня появился еще один серьезный враг, так как именно у дежурных были ключи от входной двери и они контролировали вход. Я понимал, что подобные отношения с Дарьей Павловной затруднят мне тактику, которую я довольно успешно применял в прошлые годы, в период весенних выселений. Я уходил в шесть утра, а после работы шел к кому-либо, если была возможность, но так как знакомых у меня было мало и ходить к ним часто было неудобно, то я разрабатывал график: в понедельник, например, к школьному товарищу, жившему ныне в этом городе, вторник — кино, потом просто побродить по городу, а если плохая погода, пойти на вокзал, среда — удачный день, к Бройдам, в приятное общество, в которое я стремился и где можно было хорошо пообедать, четверг опять кино, гуляние, вокзал... Так всю неделю... Чаще всего именно гуляние и вокзал, куда я брал с собой книги. Была, правда, еще старушка Анна Борисовна, дальняя родственница, адрес которой дала мне тетка в надежде, что там по приезде я смогу остановиться. Остановиться у нее я не смог, но иногда заходил, вроде проведать, это Анну Борисовну даже радовало. Там можно было просидеть несколько часов, попить чаю, согреться, так как вечера ранней весны в нашем городе холодные, почти зимние.

Был еще дом, где три года назад меня приняли по родственному хорошо и где я жил месяц. Но туда я ходил уж из крайней нужды, потому что, во-первых, в конце месяца меня все-таки почти что выгнали, так как я засиделся свыше обещанного и стеснял их, а сейчас там меня принимали за ничего и угощали не чаем с печеньем, а позавчерашним супом, который я ел с отвращением и из вежливости. Впрочем, это были даже не родственники, а какие-то знакомые тетки, которые чем-то ей были обязаны. Фамилия их была странная — Чертог. Туда я ходил, когда уж очень уставал от вокзального своего пристанища. К тому же у Чертогов допоздна оставаться нельзя было, так как они рано ложились спать, и все равно приходилось ехать на вокзал. Согласно тактике, мне надо было возвращаться в общежитие не раньше ночи, поскольку комендантша иногда задерживалась в общежитии до десяти вечера, а Тэтяна и до половины двенадцатого. Тактика моя состояла в том, чтобы, получив повестку, исчезнуть и избе-

гать словесных предупреждений и вообще контактов до тех пор, пока Михайлов не улаживал дело. Теперь же, когда из-за проклятой кошки Дарья Павловна перешла в стан моих врагов, тактика моя, которая в прошлые годы давала хороший результат, ныне становилась под угрозу. Конечно, подобная тактика меня довольно сильно изматывала, но это продолжалось не более двух, от силы двух с половиной месяцев. Остальные же десять месяцев жизнь моя была более приятна и спокойна.

Вот так усложнилась обстановка в тот год, когда я решил отказаться от услуг моего покровителя Михайлова из-за того, что, помогая мне в предыдущий раз, он меня попросту откровенно унизил... Помню, когда я уехал тогда от него, униженный и впервые по-настоящему ощутивший свои нервы, был прекрасный день, первый по-настоящему весенний день, двадцать третье апреля, я запомнил число. Я доехал до загородного лесопарка и сел на одной из дальних просек. Остро пахло молодой хвоей, возбуждая почему-то во мне чувство голода, хоть перед посещением Михайлова я успел пообедать в столовой. То тут, то там мелькали белки. Эти зверьки были здесь почти ручными и ласковыми. Два зверька оказались передо мной, ожидая орехов. Они сидели, доверчиво подняв мордочки. Я нашел у скамейки прошлогоднюю шишку и с силой запустил в них. Я целил в голову той, что покрупней, но промахнулся. Я погнался за ними, ища глазами какую-нибудь палку или камень. Что творилось у меня тогда в душе, понять трудно. Это была душа злодея, порожденная дикой обидой на жизнь. В те страшные мгновения стыда, отчаяния и злобы я мог бы убить ребенка... Я осыпал проклятиями моих покойных родителей... Лицо мое было залито слезами, а правый кулак расшиблен в кровь, кажется, я ударил им о спинку скамьи либо о ствол дерева... Потом наступило новое состояние... Не могу сказать, что я чувствовал... Помню позор... Мне было стыдно перед собой за свою жизнь... Я закрыл глаза от стыда, мне захотелось исчезнуть, и вдруг стало легче, а затем совсем легко... Кажется, я забыл тогда такие земные мучительные слова, как самоубийство, смерть, сырая могила... Поэтому я не отношу этот случай к тем двум-трем нелепым приступам, когда я хотел убить себя (позднее, значительно позднее, уже совсем в другой жизни, подобное состояние возникло опять). Передо мной явилась не смерть, которой оканчивается жизнь, а то, что бывает после смерти, легкое «ничто», которое сродни жизни и из которого рождается жизнь... Возможность исчезнуть вселила в меня успокоение, и это успокоение вернуло меня в жизнь.

Вскоре я занялся своими обычными земными мыслями. То есть обычными в том смысле, что я избавился от нахлынувшего на меня безумия. Но были они все-таки новы и связаны с моим недавним состоянием. В частности, я с неприязнью подумал о своем отце. Не с проклятием в порыве безумия, что относилось не столько к родителям, сколько к моей судьбе, рожденной ими. Я подумал о своем отце как о человеке, совершенно независимо от факта моего рождения. Я не помнил его, и он являлся для меня всего лишь отцом-идеей, вне меня и без меня не существующей. Но Михайлов был его другом детства, юности и молодости. В студенческие годы они вместе спали на одной койке, о чем рассказывала мне тетка, давая адрес Михайлова. «Таким образом,— рассуждал я,— это были люди, душевно близкие друг другу, наверное, искренне любившие друг друга... Михайлов же человек глупый, я в этом убедился, любит, когда ему льстят сотрудники его отдела, к тому ж не без пошлячки... Например, застав меня раз в отделе разговаривающим с Вероникой Онисимовной Кошеровской, той самой сорокашестилетней сотрудницей, которая сочувствовала мне и приняла посильное участие в моей судьбе, он как-то неприятно засмеялся и выразился достаточно скользко, намекнув на странную ее привязанность ко мне, так что и мне, и Веронике Онисимовне стало неловко... И этого-то пошляка мой отец любил».

Подобное направление мыслей придало моему духу унылое, подавленное состояние, но это уже не опасно для жизни, так как это состояние случалось у меня всякий раз после неприятных разговоров в комнате, выговоров по работе или стычек с комендантшей. Я знал его и потому не пугался, так как оно всегда кончалось через несколько часов. Так что разочарование в моем отце, событие, казалось бы, серьезное, влилось в общий ряд бытовых неурядиц, думаю, благодаря именно тем предшествующим этому разочарованию минутам безумия, ненависти и желания потерять жизнь, минутам, отнявшим себе всю свежесть и остроту восприятий, так что разочарование в отце пришлось как бы уже на похмелье и было маловыразительным и не образным.

Постепенно все забылось, вернее, поблекло. Наступило лето. Я отдыхал в провинции, окреп, загорел... Потом зима... Тяжелые ночные смены на строительных объектах... Я отморозил ухо, так что оно время от времени распухало, становилось липким и чесалось... В свободное время сидел в библиотеке. Раз, иногда даже два раза в неделю бывал у Бройдов, в обществе мне приятном, где шла совсем иная, заманчивая жизнь... В конце февраля подули теплые весенние ветры, и

у меня тоскливо сжалось сердце. Кончалась моя защитница зима, начинался новый цикл моей борьбы за койко-место. С начала марта я начал с тревогой поглядывать на тумбочку у входа в общежитие, где оставляли почту. Я страшился повестки о выселении и в то же время ждал ее, чтобы исчезла последняя нелепая надежда на то, что меня, вопреки закону, в этом году выселять не будут... Подобная надежда вселяла смуту и неуверенность в мои планы... Как это ни глупо звучит, такая надежда вопреки здравому смыслу возникала у меня каждый год, и каждый год она не сбывалась, так как у меня не было на койко-место никаких прав. Мысль же о том, что придется вновь обращаться к Михайлову, лишала меня покоя, и с конца февраля именно мысль о новых унижениях перед Михайловым первой приходила мне всякий раз после пробуждения ото сна. Правда, мой друг Григоренко обещал разузнать насчет возможности «сунуть в лапу», то есть дать взятку кому-то в жилконторе. Это меня очень обрадовало. Денег, конечно, маловато, но в конце-то концов это лучший выход.

День, когда прибыла повестка, был совершенно зимний, падал снег, от беспокойных февральских оттепелей и намека не осталось. Может, поэтому, а может, оттого, что давно ждал эту повестку, особого волнения я не испытал. Просто взял и положил в боковой карман, не читая, так как знал содержание наизусть, оно повторялось из года в год.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В повестке значилось: «Гражданин Цвибышев Г. М. На основании параграфа... постановления Совета Министров о проживании в общежитиях и ведомственных домах государственных учреждений и организаций, предлагаю вам в двухнедельный срок, то есть до 21 марта 195... года освободить занимаемое вами койко-место. В противном случае к вам будут приняты административные меры. Зав. ЖКК треста Жилстрой Маргулис».

Моя фамилия Цвибышев какая-то неживая и явно придуманная. У деда моего другая фамилия, и он до сих пор относится к этой фамилии с возмущением. Но я-то здесь ни при чем, мне-то она досталась от отца. В обиходе зовут меня Гоша, хоть и это неточно. По паспорту я Григорий, а Гоша видоизменение другого имени — Георгий. Так что не только в жизни, но и в обычном наименовании у меня путаница и отсутствие порядка.

В то утро, когда прибыла повестка, проснулся я позже обычного, забывшись внезапным крепким сном, что случилось со мной редко. Даже радио, включенное на полную громкость, не смогло меня разбудить в шесть часов. Первым делом я, разумеется, подумал о Михайлове, о том, что если идея Григоренко со взяткой в жилконторе провалится, придется унизиться опять перед Михайловым. Но подумал без боли и стыда, то ли потому, что начал привыкать к мысли, то ли потому, что радость мешала этим дурным мыслям, так как сегодня был четверг, а я еще не использовал на этой неделе свою возможность посетить Бройдов, и это мне сегодня предстояло. Собственно, Бройды рады были мне всегда, и ограничивал свои посещения я сам, так как считал, что редкие мои посещения более ценны и не переводят наши взаимоотношения в быт, я видел, как эти люди радуются моему приходу, и частыми посещениями боялся эту радость потерять. Кроме того, редкие посещения поднимали мой престиж человека разностороннего и не одинокого, а такое впечатление я чрезвычайно боялся произвести на Бройдов, боялся дать им понять, что они мои единственные друзья.

Помимо всего прочего, меня сегодня должны были уволить с работы, мне о том уже намекали, а сегодня предстояла планерка, так что я должен был ехать не на объект, а прямо в управление, где, вероятно, мне и должны были все объявить официально. Откровенно говоря, по этому поводу я испытывал сложное чувство. Еще год назад мысль об увольнении вызвала во мне панику, как и потеря койко-места. Теперь же я был даже рад. Немного денег у меня есть, я начну интенсивно готовиться в университет, а там моя жизнь круто изменится, придет другое общество, интеллектуальная женщина, черный двубортный костюм. То есть я, может, и не так мелко думал, но в мечтах и это мелькало... Однако сам я бы никогда не собрался с духом пойти на такой опасный шаг, как увольнение, и сам бы не подал заявления, хотя работа эта отнимала у меня силы, не давала никаких перспектив, да и сам я чувствовал, что я — не на месте. Начальство же это чувствовало давно и давало мне о том понять в течение трех лет довольно грубо, но уволить меня не решалось, поскольку я устроился здесь также по знакомству, через приятеля Михайлова, занимавшего высокий пост. Причем относилось начальство ко мне одинаково грубо, не делая различия, и когда два года подряд, боясь быть уволенным, я работал со рвением, и теперь, когда я действительно начал работать спустя рукава. Два года подряд я с утра до ночи, иногда по две смены не уходил с объектов, в дождь, в мороз, больным... Я так уставал, что,

вернувшись в общежитие, я иногда по полчаса сидел в сушилке, не будучи в силах стащить грязные резиновые сапоги... Но поощрили меня всего раз небольшой денежной премией, когда вместе с экскаваторщиком я сутки без сна возился у провалившегося в котлован экскаватора. Правда, это быстро забылось. Кроме того, несмотря на усталость, генподрядчики на объектах, которые обслуживали наши механизмы, были мной недовольны, поскольку работы требовали не столько знаний, сколько «человеческих отношений». Так говорили мне те прорабы нашего управления, которые относились ко мне хорошо: Свечков, Шлафштейн и Сидерский. Но как я ни старался, у меня эти отношения не получались, взаимоотношения на стройках требуют какого-то особого выражения лица, как мне казалось, умения понять друг друга и нарушить закон. Я этого не умел и боялся, поскольку, нарушив закон, я мог лишиться работы и вообще могла выясниться вся моя личная незаконная жизнь. Поэтому я хоть и уставал, но должность свою так и не освоил и работал плохо. Думаю, освой я работу, начальство переменялось бы ко мне в лучшую сторону, о чем свидетельствует отношение к Свечкову. Но мало того, что работать я не умел, рвение мое основывалось на страхе быть уволенным и больше ни на чем. В нынешний же год и рвение угасло, благодаря небольшим денежным накоплениям. И мысль о том, что сегодня меня должны уволить, не вызывала страха, а наоборот, как-то приятно соединялась с мыслью о посещении Бройдов. Увольнение, на которое сам бы я тем не менее не решился, было помощью извне и толкало меня на новый путь, к новой жизни, борьбу за которую, судя по возрасту, откладывать более нельзя было...

Итак, проснувшись позднее обычного, я потянулся и, просунув ступни меж прутьев койки, почесал пятки о шкаф. Ни Петрова, ни Жукова, ни Кулинича уже не было. На столе валялись неприбранные остатки завтрака: куски хлеба, кожура колбасы, вскрытые, вкусно пахнущие банки из-под каких-то томатных рыбных консервов. Все это мокло в луже остывшего кипятка, очевидно, жестяной комнатный чайник снова распаялся. Из-за шкафа я слышал храп Саламова, а рядом, на одной койке, спали Береговой и его брат Николка, молодой парнишка, учащийся железнодорожного техникума. В отличие от Пашки, был он парень более добрый, но расхлябанный, ленивый, учиться не хотел, и отец, наезжавший из села, поручил его попечению Пашки. Уже некоторое время Николка оставался ночевать каждый раз в день выдачи стипендии. Стипендию Николка не получал, но в тот день в общежитии

бывали гулянки, и он пропивал присланные отцом деньги. За это Пашка бил его сложенным втрое электрическим проводом, бил сильно и до крови. Между ними якобы даже существовал полюбовный договор на этот счет, составленный в присутствии отца, который тратил на младшего сына деньги, пытаясь вывести его в люди. И Николка согласился, что в случае нарушений добровольно будет принимать от Пашки наказания его...

Я встал осторожно, стараясь не разбудить братьев, так как не любил, когда кто-либо присутствует во время моего завтрака. Не то чтоб из жадности, жили мы все самостоятельно, а не коммуной и по молчаливому уговору едой не делились. В некоторых комнатах, особенно среди молодых, только прибывших, существовали коммуны и дележ в еде, но этого я не люблю. И даже ушел из такой комнаты жить в другую. Одно дело угостить, другое — если это норма...

У каждого свои вкусы, свои запасы, свое распределение средств. Я, например, научился вкусно и экономно питаться, так что, тратя деньги скупно, редко бывал голоден. Рыбные и мясные консервы, любимое блюдо молодежи, я давно не покупал. Дорого, а съедается в один присест. Не покупал я также дешевых вареных колбас, хоть они вкусны, спору нет, но быстро сохнут и съедаются в большом количестве. Сто граммов копченой сухой колбасы можно растянуть на четыре-пять завтраков или ужинов, двумя тонкими кружочками колбасы покрывается половина хлеба, смазанного маслом или животным жиром, на закуску чай с карамелью. Иногда к хлебу и колбасе что-нибудь остренькое. Сегодня к завтраку у меня, например, запечатанная еще банка томат-пасты: домохозяйки покупают ее как приправу к борщу. Но намазанная тонким слоем поверх масла, она придает бутерброду особый аромат, такая банка, в зимних условиях поставленная на окно, может быть хороша всю неделю...

Отбросив одеяло, я начал торопливо, почти судорожно натягивать брюки, опасливо поглядывая на спящих братьев. Несмотря на мою долгую жизнь в общежитии, я стыдился стоять в белье, к тому ж давно не стиранном и лопнувшем в нескольких местах. Большинство холостяков отдавало стирать белье уборщицам, однако я почему-то этого стеснялся, да и средства требовались. Я предпочел бы стирать самостоятельно, как некоторые, в специально отведенной для этого комнатке, в подвале, рядом с душевой. Но роли прачки я стеснялся еще более, разве что улучу момент, когда в прачечной никого, а такое случалось редко. Если и стирал, то с оглядкой, вдруг войдет Надя или из семейных кто-нибудь...

Но особенно Надя... Так что занашивал я белье ужасно, пока оно не начинало рваться и лосниться.

Я почти уже застегнул брюки, когда неожиданно открылась дверь и вошел Кулинич с дымящейся кастрюлей в руках. Я даже вздрогнул, у меня екнуло сердце. Я думал, что Кулинич на работе, а он, оказывается, варил, и теперь мне нельзя будет позавтракать в одиночестве. Кулинич был высокого роста, голубоглазый, с большим, но вздернутым кверху носом, что придавало его лицу вид Иванушки-дурачка. Он был со всеми, даже с мальчишкой Саламовым и Николкой Береговым, на «вы».

— Что ж это вы заспали? — громко сказал он улыбаясь, и я понял, что своим поведением он разбудит и Саламова и братьев Береговых. Придется завтракать среди сонных потягиваний, зевков и прочих неприятных звуков и видов.

— Мне попозже надо сегодня, — сказал я и, взяв полотенце, вышел в коридор. Здесь было довольно пусто, так как часы пик, проходящиеся на 6—7 утра, уже прошли, и царил особый, привычный утренний запах — из кухни, где готовили еду жены семейных, и из двух туалетов в концах коридора. Я пошел к дальнему туалету, так как против него находилась 26-я комната, где жили мои друзья, но двери были закрыты, значит, Григоренко и Рахутин на смене, а старик где-то гулял. Умывшись, я, как делал обычно, если рядом никого не было, осмотрел свое лицо и нашел его выспавшимся, а после умывания довольно свежим. Возвращаясь, я встретил Надю из 30-й, молодую солдатку. Муж ее газосварщик, бывший жилец общежития, служил в армии, а она жила в комнате для семейных. Вообще все жильцы общежития были уродливы, провинциальны и старомодны. Надя же была смазлива, одета по столичной моде, и раз я даже встретил ее с какой-то девушкой на главной улице, в районе Главпочтамта, где обычно стояло много красивых женщин и молодых людей. Тогда она прошла, не заметив меня. Сейчас Надя покосилась на меня и, запахнув на груди халат, презрительно хмыкнула. Мне это было неприятно. Не то чтобы она мне нравилась или я о ней думал, как о некоторых моих фаворитках, но меня заботило впечатление, которое я произвожу на красивых женщин, которых я более или менее регулярно видел и которых, мысленно разумеется, выделил из общей массы, бросал на них взгляды, если они были недалеко, и думал о них в их отсутствие. Конечно, таких женщин не могло быть ни на работе, ни в общежитии. Некоторые из них встречались мне в библиотеке, одна, самая красивая, в газетном архиве. Была также фаворитка, которую я иногда встречал на улице, где располага-

лось общежитие, очевидно, из местных. Ни с одной, конечно, я никогда не говорил и не знал имен. Надя в фаворитках не числилась, была она слишком груба и ясна для меня и не могла составить предмет мечты в ночные часы. Но все же мне было неприятно ее презрительное ко мне отношение, так что у меня даже испортилось настроение, впрочем, я знал, ненадолго.

Войдя к себе в 32-ю, я застал Кулинича за едой. Он ел из глубокой эмалированной миски борщ, полнокровно-красный домашний борщ с большим куском мяса посередине. Красавец борщ даже по внешнему виду не шел ни в какое сравнение с тощими столовскими борщами цвета линялой розовой краски. От него вместе с паром исходил густой, крепкий аромат. Пашка Береговой и Саламов, к счастью, по-прежнему спали, а Николка Береговой сидел у стола в майке и трусах, всклокоченный и в состоянии сонной апатии смотрел мимо борща на свои руки, как-то лениво и небрежно лежащие на столе. Я достал из тумбочки хлеб, остаток колбасы, масло, кулек карамелек и банку томат-пасты. Тут же на тумбочке я открыл личной открывалкой банку и, отрезав кусочки колбасы, приготовил три аппетитных бутерброда из масла, колбасы и томат-пасты. Затем я перенес все это на стол, налил в одну из общих комнатных прибудных кружек кипятку.

Николка по-прежнему сидел не шевельнувшись, глядя теперь уже мимо не только борща Кулинича, но и мимо моих бутербродов.

— А вы все на масло нажимаете,— весело сказал мне Кулинич. Подобные обороты он употреблял постоянно, и я к ним привык.— А я,— продолжал он, зачерпывая борщ деревянной своей ложкой,— я, если сам не наварю, есть не могу... Воротит меня... Я только раз на стороне хороший борщ ел... Работали мы с партнером на даче у Хрущева... Столярная работа... И на кухне дали нам борща... Ну, борщ,— вино!.. Ложку поставишь — стоит...

Я торопливо и неожиданно без аппетита ел свои бутерброды, украдкой поглядывая на молчаливого, неподвижного Николку, который, конечно же, был голоден, я это чувствовал. Береговым, в отличие от меня, которому никто не помогал, отец еженедельно привозил или присылал с односельчанами огромные плетеные корзины яиц, сала и вкусного копченого мяса. Раза два, когда я был с Пашкой в хороших отношениях, меня угощали этой ароматной простой крестьянской провизией, которую я очень любил, более, чем тонкие и нежные кушанья. Тем не менее братья Береговые ели по-крестьянски много и быстро, особенно Николка, не умев-

ший вовсе экономить и часто ходивший голодным. Был он голоден и сейчас, я это видел и потому ел свои бутерброды без аппетита и мучился, что не имею возможности угостить его, так как это лишило бы меня ужина. Да и кроме того, угости я его, это стало бы нормой и повторялось бы всякий раз, когда он у нас бывал. Поэтому я ел без того удовольствия, на которое рассчитывал, и досадовал на Кулинич, своими глупыми, шумными разговорами разбудившего Николку.

— Едри ихнюю мать,—говорил Кулинич, кивая на радио, которое передавало обзор центральных газет, так что было довольно поздногато и надо было торопиться,—едрена мать,—повторил Кулинич,—только гавкают, а как пойдешь куда-нибудь, так ничего не добьешься... Пойдешь по этим начальникам, в горсовет, в райисполком, они сидят надутые... От так бы дал...—Он поднял огромный свой кулак.—Мне сорок пять лет... я инвалид второй группы... пойдешь насчет комнаты или насчет работы полегче... мне на стройке нельзя, у меня ревматизм спину ломает... в артель инвалидов какую-нибудь... там всюду евреи... они друг друга тянут, а нашему брату не пробиться. Насчет комнаты тоже, начальники от одного к другому гоняют... А я ж здоровье свое в плену потерял,—объяснял он обстоятельно,—бараки на сваях... доски на два пальца, а под низом вода... брить заставляют все места от вшей... бритва одна на тридцать человек, ржавая, аж по сердцу скребет... джем выдавали искусственный, из угля, говорят... ешь — вкусно, вкуснее настоящего, а послы изжога, грудь печет...

Кулинич вынул из кармана солдатских галифе, которые носил постоянно, дешевый складной нож с железной рукояткой и принялся разрезать им борщевое мясо. Я наспех съел бутерброды, выпил остывший кипяток и, посасывая карамельку, принялся одеваться. Я надел теплую ковбойку, синий полушерстяной свитер, почти новый, но, к сожалению, растянутый у ворота, так что ворот приходилось незаметно зашливливать «секреткой». Брюк у меня было три пары, как будто бы много, но носил я главным образом одну пару из черного сукна, которая при такой частой носке начала уже протираться сзади. Были у меня еще брюки из прекрасного английского бостона коричневого цвета, единственное наследство, доставшееся от отца. Однако брюки эти существовали уже лет десять, с тех пор как к окончанию школы тетка сшила мне костюм. Ныне брюки пришли в ужасную ветхость и не поддавались больше ремонту. Пиджак же сохранился лучше, почти не стал мне узок, но я его не носил, рассчитывая продать. К тому ж для рабочей одежды он не годился, а как выходной

он уже устарел. В качестве выходного у меня был чудесный импортный пиджак из синего вельвета, который очень хорошо смотрелся в сочетании с серыми выходными брюками. Брюки эти были скорее летние и для зимы тонкие, тем не менее я всякий раз надевал их, когда шел к Бройдам. Была у меня также хорошая байковая куртка, которую я надел сейчас. Пальто мое уже поношенное, но не потому, что давно куплено, а потому, что я трепал его по строительным объектам. За незначительную цену одна из уборщиц подкоротила мне его, и хоть накладные карманы оказались после этого чересчур низко, тем не менее пальто стало смотреться лучше, чем раньше, когда полы болтались намного ниже колен. А издали пальто вообще выглядело модным. Шапка у меня была хорошая, финского фасона, который редко встречался пока даже в нашем городе, столице республики. Так что на нее обращали внимание некоторые модники и молодые женщины, что мне чрезвычайно нравилось. А между тем пошил я ее в провинции у старого шапочника, который подобный фасон называл керенка. Материалом же для шапки послужили остатки синего теткиного жакета.

В тот момент, когда я надевал свою финскую шапку, Николка словно очнулся от полусонного, нелепого своего сидения у стола и сказал:

— Гоша, продай мне свою клетчатую кепку.

Была у меня и клетчатая кепка, которую я купил во время моей учебной практики на Урале, на последнем курсе техникума. Купил я ее из-за необычной, броской, почти клоунской расцветки, и на меня в ней также обращали внимание, что мне нравилось. Однако раз какая-то девушка, курносенькая блондиночка, по которой я с интересом скользнул взглядом на улице, а следовательно, вступил во взаимоотношения и придал определенный вес ее мнению, так вот эта девушка за спиной у меня сказала достаточно обидно своей подруге о моей кепке, и обе засмеялись. Я мгновенно переменял свое мнение об этой девушке, обозвал ее сельской кугуткой и дурой с трудностями, причем даже вслух и с горечью, но не особенно громко. В нашем общежитии, обитатели которого состояли главным образом из бывших колхозников или их детей, жителей окрестных сел, подобные ругательства употреблялись часто и были весьма обидны, так что, обругав таким манером блондинку, я несколько успокоился. Но кепку с тех пор носить перестал.

— Сколько дашь? — спросил я Николку.

— Трояк, — сказал Николка. Он тут же делово полез в свои висящие на спинке стула брюки, достал трояк, протя-

нул мне, потом обошел вокруг стула, открыл шкаф, сам взял кепку, напялил ее на свою всклокоченную голову и вновь, теперь уже в майке, трусах и кепке, уселся у стола. Проснулся Пашка.

— Пойдем в столовую,— сказал ему Николка,— жрать хочу, желудок под грудь давит.

Мне неприятен был Пашка, которого я считал не только врагом, но и предателем. Я вышел и спустился по лестнице на первый этаж. Тут-то на тумбочке, у входа, я и обнаружил среди почтовых конвертов повестку. Кроме меня, в наш корпус прибыло еще три повестки о выселении. Наде-солдатке, которую обычно брал под защиту военкомат, старичку-пенсионеру из двадцать шестой комнаты, которого защищал собес, и Саламову, который в этом году перешел работать из жилстроя на завод кирпичных блоков.

За столом дежурной сидела Оля, одна из сестер, не обращавших на меня внимания, а не Дарья Павловна. Камера хранения была закрыта, видно Тэтяна в прачечной или в соседнем корпусе.

«Хорошее начало»,— подумал я.

Правда, во дворе я едва не наткнулся на Софью Ивановну, комендантшу. Но быстро сориентировавшись, я прямо по запыленной снегом клумбе пересек палисадник, зашел за угол и переждал, пока Софья Ивановна в своем длинном зеленом пальто с лисьим воротником (один внешний вид этого пальто вызывал во мне чувство опасности), пока Софья Ивановна, по-утиному переваливаясь с ноги на ногу, с хозяйственной сумкой в руках проследует в сторону жилконторы.

«Хорошее начало»,— вновь подумал я, время, в которое я сегодня вышел, было чрезвычайно опасным, девять утра, тем не менее мне удалось уклониться от встречи с моими врагами и избежать словесных предупреждений... А вечером я у Бройдов, вернусь в безопасное время... В двенадцать, а то и позже... Вот завтра... Надо бы составить график... Завтра можно и на вокзал... Чувствую я себя хорошо, здоров... Пока не налажу другие места, где буду проводить вечера, можно даже несколько раз подряд на вокзал...

Хорошо бы в этом году обойтись без Чертогов... Ужасная, мерзкая семья... Моей тетке они чрезвычайно обязаны... Кажется, до войны жили у нее в течение года... Правда, в отличие от старушечки Анны Борисовны, они меня приняли, и я жил у них месяц и даже питался... Но в конце они меня почти выгнали, очевидно, забеспокоившись, что я останусь у них на очень долгий срок, чтоб сполна отплатить за проживание Чертогов у тетки. Так что ныне у меня со старушечкой Анной

Борисовной более приятные отношения, хоть по приезде она меня не приняла... Правда, не прими меня и Чертоги, положение мое стало б аховое... Живя у них, я осмотрелся, несколько обжился в городе, разыскал Михайлова... Если б Чертоги потерпели мое присутствие еще с недельку, мы б расстались с ними хорошо и я, может, всю жизнь был бы им благодарен. Но последняя неделя, когда они вдруг начали обращаться со мной грубо и чуть ли не показывали на дверь, все перечеркнула. А ведь я люблю быть благодарным за содеянное мне добро. Жаль, что Чертоги и Михайлов делали мне добро не из любви или хотя бы сострадания лично ко мне, а из неких нравственных норм и обязательств, со мной связанных не прямо, а косвенно. Словно ставили Богу свечку.

После того как мы расстались, я не был у Чертогов года полтора и появился лишь из крайней нужды в вечерних пристанищах, без которых моя тактика обречена на провал. Конечно, в этом году известную путаницу в мою тактику вносила Дарья Павловна, повздорившая со мной из-за проклятой кошки... Дарья Павловна дежурила раз в три дня и, следовательно, будет делать мне два словесных предупреждения в неделю. Я принужден буду чем-то отвечать, либо грубить, либо давать обещания. Сигналы о том будут поступать в контору. Фамилия моя окажется все время на виду. Если же со мной непосредственно не встречаются, то в текучке дел обо мне могут на некоторое время и забыть. Это главное, в чем я ныне нуждался, в том, чтоб обо мне хоть ненадолго забыли. Я отлично изучил местные нравы жилконторы. Даже Тэтяна говорила обо мне пакости и писала на меня докладные и даже в ней я вызывал особую ненависть лишь после того, как мы встречались, видели друг друга. Это уж точно. После каждой почти встречи с Тэтяной у меня были неприятности. Когда же мне удавалось избегать с ней встреч, меня как бы на время забывали.

Приходила Тэтяна не ранее семи, и об утренних встречах я не беспокоился, но вечером пристанища, где я бы мог переждать, чрезвычайно важны в моей тактике. Несколько путала, как я уже сказал, план Дарья Павловна. Впрочем, после двенадцати Дарья Павловна частенько уходила от входа спать вместе с кошкой на диванчик возле кубовой. Улучив момент, можно было и прошмыгнуть незаметно, однако в таких случаях она накладывала дверной крючок и надо было звонить... Крючок, пожалуй, не откроешь... Если его и удасться поддеть с улицы перочинным ножом, он упадет с грохотом, разбудит, переполошит.

Так думал я, торопливо и легко шагая. Я любил и часто

ходил пешком, во-первых, экономия на транспорте, а во-вторых, просто получал удовольствие от ходьбы и возможности побыть в одиночестве и в полном равноправии с остальными прохожими. Дорогой я всегда думал о чем-либо приятном ли, серьезном ли, а если мысли были неприятные, то в пути они рассеивались или смягчались.

Обычно я шел двумя путями: было время — более дальним, по широким асфальтированным улицам с магазинами, которые я любил посещать просто так, для интереса. Если же времени было мало, то я шел мимо стадиона, мимо кладбища, напрямик к крутой улице, по которой ходили трамваи. Сейчас, задумавшись, я механически пошел именно коротким путем и оказался на небольшой площади, где было трамвайное кольцо, конечная остановка. Площадь эта мне привычна, за три года я знал все здесь наизусть. С одной стороны она упиралась в шоссе, за которым высилось старинное здание военного училища с башнями наподобие шахматных тур. С другой стороны — пустырь перед кладбищем, а против пустыря огромное современное здание с колоннами — школа милиции.

На конечной остановке народу было немного, это меня обрадовало, терпеть не могу трамвайной толпы. Снег шел густо, но мягко, белой пеленой закрывая окрестные виды, так что школа милиции, расположенная совсем рядом, едва проглядывала. В некоторых окнах горело электричество. Я запрокинул назад голову, принимая снежные хлопья на лицо. Дышалось легко, глубоко, красота снегопада, бесконечной снежной пучины, в которой тонул мой взор, заморозила меня, белое однотонное небо проглядывало словно дно сквозь белые толщи снежных волн, все это обострило мои чувства, сделало более ясной голову, и тут меня осенило... Наше общежитие — двухэтажный дом барачного типа, сложенный из шлакоблоков. С обоих торцевых концов дома располагались во всю длину торца балконы-террасы, к которым вели пожарные лестницы. Если незаметно отклеить газетные полосы, которыми заклеены дверные щели, и приподнять шпингалеты, то можно легко через эти балконы проникнуть прямо в коридор второго этажа, минуя дежурную. Разумеется, делать это лишь по необходимости, когда дежурит Дарья Павловна. Таким образом, выход вполне найден и тактика, принесшая успех в прошлые годы, может быть применена и ныне...

Скрипя на закруглении, подошел трамвай. Успокоенный, я, как бы случайно, в чем даже сам себя уверил, уселся позади красивой девушки в меховом капоре и начал безразлично по-

глядывать мимо нее в окно. Я никогда не сажусь в общественном транспорте рядом с красивыми девушками. То есть ранее, будучи менее опытным, я садился, но всегда после этого оставался нехороший осадок, так как я невольно начинал принимать безразличные позы, напрягался, вел себя беспокойно и тревожно. Устроившись же сзади, я мог ее беспрепятственно рассматривать, но делал это, как бы хитря сам с собой, поглядывал лишь изредка, остальное же время был погружен в меланхолическую задумчивость, что делало меня в моих глазах недоступным для этой девушки, особенно если я в таких случаях молчаливо призывал свое «инкогнито», и тогда таинственная, тронутая легким цинизмом улыбка появлялась на моих губах.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Управление наше располагалось далеко, на так называемом железнодорожном пересечении, в часе езды двумя трамваями. За три года моей работы это было уже третье место, куда выселяли управление, и ходили слухи, что должны были выселить в четвертый раз на отведенное ему стационарное место, почти за город, где начинался новый жилмассив. Это меня не пугало, я был уверен, что сегодня меня уволят, и слухи о переезде управления за город, наоборот, были доводом в пользу моего спокойствия по поводу увольнения. Когда Михайлов устроил меня сюда на работу, управление располагалось в центре города, где ныне находился огромный дворец спорта.

Поначалу ко мне относились хоть и настороженно, но терпимо и начальство и прорабы-выдвиженцы, не понявшие еще, какой я человек. Лишь спустя дней десять ко мне начали относиться грубо, что меня здорово испугало, так как я думал, что меня немедленно уволят. Но, может, из-за заступничества Михайлова, который действовал через своего приятеля, меня не увольняли в течение трех лет, хоть грубость эта порой приобретала весьма насмешливый и унижительный характер. Впрочем, начальник управления Брацлавский, седой выдвиженец из бывших кузнецов, лет двадцать уже работавший на ответственных постах невысокого ранга: до управления строймеханизации он был директором маленького авторемонтного завода, так вот, этот Брацлавский невзлюбил не столько лично меня, сколько работника, негодного для выполнения плана. План же, при особой специфике нашего управления, был штукой весьма хитрой и своеобразной, во

имя дела требующей нарушения законов и приказов самого Брацлавского, то есть того, что у прорабов именуется личной инициативой. Так, например, при дефиците бульдозеров, которые безбожно ломались, кому-либо из влиятельных генподрядчиков требовалось незаконно выделить бульдозер, который не работал, а лишь использовался в качестве трактора для вытаскивания застрявших в грязи самосвалов с грунтом и стройматериалами. Я знал, что некоторые прорабы не брезгают и левыми работами за наличные, которыми они делились с бульдозеристами и экскаваторщиками. Должен сказать, что при отсутствии ритмичности, когда простой сменялись авралами, отсутствию запчастей, при путанице технической документации, сложных погодных условиях и десятках других всевозможных обстоятельств и отклонений, неизбежных на стройках, подобные нарушения, в общем, шли на пользу производству. Я же боялся и не умел нарушать закон и, хоть работал много и тяжело, особенно первые два года, все же считался плохим работником, что и было, очевидно, в действительности. Ибо хороший работник в России испокон веков тот, кто умеет нарушить закон для пользы дела.

Мои неуспехи радовали некоторых прорабов из выдвиженцев, особенно Лойко, огромного лысеющего парня с тонким бабьим голоском, бывшего экскаваторщика, который относился ко мне даже со злобой. Зав. производством Юницкий злобы на меня не имел, для этого я был в его глазах, наверно, слишком ничтожен, но он любил надо мной подтрунивать.

— Да,— говорил он, показывая свои прокуренные редкие зубы,— на работу его устроил дядя, кормит и одевает мама, техникум помог окончить папа... Учись, Лойко, жить...

А Лойко злобно поглядывал на меня и ругался. Правда, однажды заведующий отделом кадров Назаров, бывший районный прокурор, уволенный за пьянство, человек рябой и одноглазый, относящийся ко мне вполне терпимо, может благодаря контактам с приятелем Михайлова, сказал Юницкому:

— Родителей у него вроде бы нет, по крайней мере, согласно анкете.

— Ничего,— сказал улыбаясь Юницкий,— это такой народ... Они из того света ухитрятся... Верно, Цвибышев?

Я натянуто улыбнулся в ответ, презирая себя в душе за эту жалкую улыбку, но извиняло меня перед собой то, что я тогда очень боялся потерять работу. Однако иногда, не на людях, этот Юницкий говорил со мной другим тоном.

— Умей постоять за себя,— говорил он мне,— что ты такой беззубый, ей-богу, прямо смотреть на тебя противно.

Я боялся таких разговоров еще больше, чем насмешек. Мне казалось, что подобными разговорами он может нащупать подлинную причину моего страха и выяснить мое незаконное существование. Впрочем, иногда я огрызался, но в адрес людей, которых мог не опасаться, которые относились ко мне хорошо и с сочувствием: Свечкова или Шлафштейна. Раз, когда Шлафштейн сделал мне какое-то замечание, я крикнул ему нервно:

— Ясное дело... Ведь я не выпиваю с генподрядчиками, как ты... поэтому мне тяжело работать...

— Глупый ты парень,—негромко сказал Шлафштейн и отошел.

Дело происходило в конторе, в присутствии других прорабов и довольно большого числа рабочих. Шлафштейн, конечно, шел на определенные нарушения, так же как и Лойко; как сам Юницкий, как многие из присутствующих здесь экскаваторщиков, слесарей, бульдозеристов. Все это знали, но по неписанным нормам производственной морали об этом не следовало говорить вслух, так как, выраженное вслух, это приобретало форму сигнала о нарушении, то есть доноса. Каким-то образом крик мой хоть и привлек внимание, но последствий не имел. Я мучился несколько дней, пока Шлафштейн сам не подошел ко мне и не заговорил так, вроде ничего и не случилось.

Двор, где ныне располагалось управление, я ненавидел и боялся, поскольку здесь все трудности моей нелюбимой работы дошли до предела. Едва завидев его издали, я уже ждал новых бед и гадал, какие новые неприятности он мне преподнесет... Двор этот, обнесенный дощатым забором, был довольно обширен и покрыт потрескавшимся асфальтом, в который ввелись пятна солянки и мазута. Ранее здесь располагался один из гаражей главстроя и еще с тех времен сохранился дощатый прокопченный барак — мастерские, барак почище, оштукатуренный — контора, несколько каменных строений, смотровые ямы... Сейчас во дворе то тут, то там стояли экскаваторы, скрепера, бульдозеры, разутые, то есть без гусениц, со снятыми ковшами, облепленные снегом. У мастерских переоборудовали большой экскаватор, цепляли ему ковш на тросах, превращая в драгляйн. Вокруг ходили слесаря с черными лицами, в лоснящихся спецовках. Покуривали, посмеивались. Трещала электросварка. Экскаваторщик Чумак кричал главному механику, указывая на стоящего здесь же Иван Ивановича, бывшего фронтовика, однорукого начальника снабжения:

— Что это за снабженец... Едри его в пупа мать... Он же

ничего организовать не способен... Я три дня без подшипников простоял... Начальником снабжения, если на то пошло, должен быть какой-нибудь хороший еврей, деляга, а не эта рязанщина.

— Ты горло не дери,— горячился в общем-то тихий Иван Иванович,— куркуль какой... Бендера... Нация ему не нравится моя... Мы вас защищали...

— А ты меня не защищай,— говорил Чумак,— ты мне подшипники достань.

— А почему у тебя подшипники поплавились? Вот акт составим,— говорил главный механик.

— Ну едри его в пупа,— кричал Чумак,— теперь ты меня уж не заставишь без техосмотра работать.

Я прошел мимо всех этих криков и суеты и вошел в контору.

Планерка еще не начиналась. Из бухгалтерии слышен был стук арифмометров, в расположенном напротив производственном отделе что-то громко рассказывал Юницкий. Я приоткрыл дверь. За столами сидели инженер производственного отдела Коновалова и начальник второго участка Литвинов. Как ни тяжела для меня работа на объектах, на линиях, тем не менее там я себя чувствовал свободнее. В конторе же я попросту ощущал себя дворовой собакой, которую каждый может пнуть. Интересно, что даже своего тщеславия, даже своего «инкогнито» я здесь не ощущал, словно его и не было, того тщеславия, тайного, конечно, которое я ощущал в библиотеке, или даже явного, которое я ощущал у Бройдов. За три года я ужасно себя скомпрометировал и унизил, так что сама мысль о протесте, который может привести к потере единственного источника моего существования, получаемой здесь зарплаты, сама мысль о протесте казалась мне дикой. Впрочем, и в конторе некоторые относились ко мне с сочувствием, пусть и не постоянно, временами. Так, секретарша директора Ирина Николаевна и Коновалова по-бабьи вздыхали, говорили со мной, пытались за меня заступиться. Правда, как я понял, не всегда и в известных пределах, когда это не грозило их личному благополучию. Коновалова пыталась действовать в мою пользу на Юницкого, а Ирина Николаевна на и.о. главного инженера Мукало. Этот Мукало соответствовал своей фамилии, был толст и похож на рыхлую бабу.

Когда Михайлов устроил меня в управление, Мукало взял меня к себе на участок. Недавно Мукало удалось занять должность главного инженера, к которой, как узнал я от Ирины Николаевны, он давно стремился. Но его до сих пор не утвердили, так как этому якобы препятствует наш начальник Брац-

лавский. Я погрузился в сеть внутренних конторских взаимоотношений, когда прошлый месяц проработал в конторе, куда меня по протекции Ирины Николаевны устроил Мукало. Сделано было это из желания помочь мне, так как я был слаб здоровьем, замерзал и уставал на линиях, а также не мог сработаться с производственниками. Тут в конторе, в тепле, думали они, мне будет лучше. Но именно этот месяц в конторе и ускорил мое увольнение. На линиях, среди матерщины и грубости, все, однако, было посвободней и не все из случившегося доходило до конторы, многое исправлялось незаметно. В конторе же я постоянно находился перед начальством, и любой мой промах, самый незначительный, сразу служил поводом разноса. Именно в конторе я получил три выговора подряд. Должность мне Мукало выдумал на первый взгляд вполне простую — диспетчер. И как будто бы легкую, даже до обидного легкую. Состояла она, главным образом, в том, что я должен был по телефону обзванивать автопарки и заказывать автосамосвалы под наши экскаваторы на разных объектах. Однако проработав день-другой, я понял, что должность эта не такая уж легкая, а даже наоборот, весьма опасная для человека, которого хотят уволить, и вполне пригодная как последнее испытание... Я даже начал подумывать, что Ирина Николаевна, наверно, за меня хлопотала искренне, но Мукало, который и сам убедился в моей непригодности, махнул на меня рукой, а должность эту придумал по согласованию с Брацлавским. Невзирая на свои разногласия, по вопросу обо мне они, очевидно, сошлись наконец в общем мнении. Что и подтвердилось впоследствии. Оказалось, что автопарки принимают заявки почему-то лишь во второй половине дня. Таким образом, первую половину дня я слонялся без дела, что угнетало меня и делало в своих глазах и в глазах окружающих бездельником. Иногда, впрочем, меня использовали в качестве курьера, и это усиливало унижение. Во второй же половине дня я садился на телефон, который работал дурно, с перебоями, и начинал дозваниваться в десятки автопарков. Однако помимо меня туда дозванивалось множество других организаций. Случалось, мне везло, но чаще всего я тратил много времени, чтоб прорваться к диспетчеру автопарка. Потом оказывалось, что самосвалы нужных нам типов уже розданы... Я просил, нервничал, ругался, доказывал, что нельзя под небольшие экскаваторы БТ посылать огромные МАЗы... После трех-четырех автопарков я изнемогал, нервы сдавали, на лбу выступала испарина, болела голова, болело горло, горели уши от телефонной трубки, ныли руки. Это может показаться смешно, но я уставал от телефонной трубки, она слов-

но наливалась свинцом. Длинные номера телефонов путались у меня перед глазами, были случаи, когда я дозванивался с полчаса в какой-нибудь автопарк, а потом выяснялось, что я уже туда звонил ранее и все заказал. Были случаи, когда я путал и заказывал не то и не туда... В общем, через месяц меня с этой должности убрали... За три года мне не раз приходилось стоять на холодном ветру, на морозе, в плохих сапогах и дурно, неумело намотанных портянках из холодного холстяцкого тряпья, приходилось тонуть в грязи, выбиваться из сил, мокнуть под дождем, но никогда мне не было так тяжело и никогда я так плохо не справлялся со своими обязанностями, как на должности телефонного диспетчера. Так что Мукало придумал мне последнее испытание довольно умело, как хороший законный повод окончательно утопить.

Впрочем, перед тем как убрать с должности диспетчера, он вызвал меня к себе в кабинет, наверно, опять под воздействием Ирины Николаевны, долго смотрел на меня, по-бабьи вздыхая, и сказал наконец:

— О-хо-хо... Уволить бы тебя надо по закону... Да куда ж ты денешься, кому ты нужен... Кто тебя на работу возьмет...

Вместо Мукало на участке теперь работал Коновалов, брат Коноваловой из производственного и зять Брацлавского. Мукало вызвал Коновалова и направил меня вновь на участок, попросил подключить временно к Сидерскому.

Сидерский умелый прораб, и ко мне он относился неплохо. Коновалов согласился. Он был как будто бы начитанный парень и иногда разговаривал со мной о литературе и книгах, хотя я никогда не выказывал свое «инкогнито», свою тайну, и подобные разговоры Коновалова меня даже удивляли. Однако Брацлавский, натура прямая, несентиментальная, чисто производственная натура, решил, видно, раз и навсегда избавиться от меня, и Коновалову, как я узнал, влетело за то, что он принял меня на участок обратно. Не прими, я висел бы в воздухе без должности, находясь в распоряжении непосредственно конторы, причем с тремя выговорами за развал работы диспетчерской, что облегчало мое увольнение.

Я узнал о всех этих делах после того, как Коновалов неожиданно перестал разговаривать со мной о литературе, а наоборот, начал ко мне придирааться и искать повод, чтобы отчислить с участка. Дела мои стали совсем плохи, даже Ирина Николаевна перестала мне покровительствовать, и я окончательно понял, что меня должны уволить со дня на день, возможно, на сегодняшней планерке... Открыв дверь производственного отдела, я поздоровался и спросил, когда пла-

нерка. Юницкий ответил мне достаточно мягко и без враждебности. Коновалова приветливо кивнула, а Литвинов спокойно, делово поздоровался. Литвинов был начальник чужого участка, и у нас с ним было шапочное знакомство, вражды ко мне он никогда не чувствовал. Успокоенный и даже обрадованный такой встречей, я пошел далее по коридору. Опасность могла исходить из двух мест: из производственного отдела и из приемной начальника. Первую опасность я уже миновал благополучно, в секретарскую же входить не решался, желая продлить подольше спокойствие.

Я остановился в коридоре у свежей стенгазеты «Механизатор», выпущенной к женскому празднику 8 марта. В центре был цветной снимок первого искусственного спутника земли, а под ним стихотворение Ирины Николаевны. Я прочел: «Ленин. Смотрю, портрет Ильича, улыбка, взгляд прямой. Он мог все то замечать, что не умел другой. Он верил в Россию и в нас, живущих на светлой земле. Победы космических трасс он видел еще в Октябре».

Безграмотные стихи эти меня еще более успокоили и настроили на комический лад, как всегда успокаивало и вселяло бодрость, когда я видел чью-то глупость или нелепость, не опасную мне.

Далее в стенгазете был целый раздел: «Что кому снится».

Я не стал читать, мимо прошли Свечков и Лойко в теплых прорабских тулупах и в валенках, с прорабскими папками. Я пристроился к ним, чтоб войти в секретарскую не в одиночку, а производственной группой. Я как-то мгновенно сообразил, что, войдя к начальнику группой, особенно с опытными и уважаемыми Свечковым и Лойко, я словно придам себе вес и уменьшу неизвестные еще мне неприятности, которые я, однако, предчувствовал, надеясь, впрочем, что предчувствие мое ложное. Свечков приветливо положил мне руку на плечо, а Лойко отвернулся и не поздоровался.

— Где ты такой тулуп достал? — спросил я Свечкова, с которым был на «ты».

— Раньше выдавали, — сказал он, — лет пять назад, в счет зарплаты... И валенки... А в грязь надо яловые сапоги с двойной байковой портянкой... Разве в твоём пальтишке и тубельках устоишь на объекте? Я б дуба дал...

— Да он там и не бывает, — сказал Лойко, не глядя на меня, — он в конторе отирается...

— Ну почему? Ты, Костя, не прав, — миролюбиво сказал Свечков. — Помнишь, Гоша, как мы с тобой в грязи тонули на Кловском спуске?.. Когда девятиэтажный закладывали...

Мы вошли в секретарскую. Ирина Николаевна глянула на меня мельком, холоднее обычного.

«Плохой признак,—с тревогой подумал я,—впрочем, у нее много работы, она занята».

Ирина Николаевна печатала, быстро, механически ударяя по клавишам. В углу у телефона примостился Райков, новый человек, которого взяли вместо меня на должность диспетчера. Райков был из отставных военных, и прислал его сюда на работу райком партии. На Райкове аккуратно сидел военный китель с черными техническими кантами. Райков должность диспетчера из должности «мальчика на побегушках» в короткий срок поставил на солидную основу. Через партком он добился в свое распоряжение мотоцикл с коляской и объехал все автопарки, лично познакомившись с диспетчерами и с секретарями парторганизаций автопарков. Правда, постоянно оставить мотоцикл в своем распоряжении ему не удалось, мотоцикл был занят на участках, возил Мукало, а когда выходил из строя управленческий трофейный «опель», и самого Брацлавского. Но в экстренных случаях Райков мотоцикл получал. Такое мне даже в голову прийти не могло, да меня и слушать бы не стали. В первой половине дня, когда я не знал, куда деть себя, и посему использовался не по назначению, курьером, Райков занялся по собственной инициативе черчением графиков и схем. Твердым, аккуратным почерком бывшего саперного офицера он подписывал эти схемы и графики и развешивал их в производственном отделе, кабинете главного инженера и в парткоме, куда его сразу выбрали зам. секретаря и прочили в секретари, поскольку нынешний секретарь и зав. отделом кадров Назаров пил.

Схемы и графики эти на производство существенного влияния не оказали, но внутри конторы они придавали работе управления известную наглядность и серьезность, хоть и не соответствовали подлинному положению дел, которые при своеобразии и специфике работ чужды были преднамеренного планирования, а даже наоборот, давали хорошие результаты именно при личной инициативе и даже известном самотеке. Однако, несмотря на это, а может, и благодаря этому, графики были полезным нововведением, так как работе управления, разбросанной среди сотен котлованов, а подчас и вовсе не закрепленной на местности, как, например, уборка и вывоз грунта, такой работе придавался осязаемый характер, пусть даже не вполне соответствующий действительности. Таким образом, Райков за две недели завоевал авторитет, какой мне не снилось завоевать и за три года.

Впрочем, Свечков называл эти графики цветными картин-

ками и глупыми декорациями. Я первоначально не понимал, почему он так возмущается и невзлюбил Райкова почти так же, как Лойко ненавидит меня. Тем более что Райков человек более защищенный, чем я, с хорошей биографией, партийный, бывший майор. Зла он никому не желает, со мной, например, вежлив, на «вы». Однако, если Свечков его слишком допечет, он может ему и отплатить по-настоящему, как отплатил бы любой человек своему обидчику, как отплатил бы и я Лойко, если б имел возможность. Позднее я начал понимать, что Свечков, в отличие от меня, любил свою работу, болел за нее душой, невзирая ни на что, и считал меня человеком более полезным, чем Райков, которого даже вслух раз обозвал умелым бездельником...

Из секретарской вели две двери: справа, обитая кожей, к Брацлавскому, слева, более простая, крашенная масляной краской, к Мукало.

— Цвибышев,— поздоровавшись, сказал мне Райков и, кажется, устало опустил телефонную трубку на рычаг. (Я воспринял эту его усталость с некоторой эгоистической удовлетворенностью. Значит, не такой уж я никуда не годный, и при всем своем умении и инициативе Райков тоже устает и мучается с этими телефонными заказами.)— Цвибышев,— сказал он,— вас Коновалов ищет, зайдите, он у Мукало.

У меня тревожно екнуло в груди. Предчувствия сбывались. С тех пор как Коновалов поплатился за свою снисходительность ко мне, он мог разыскивать меня лишь с единственной, неприятной для меня, целью, пока еще мне не ясной. С колотящимся сердцем вошел я в кабинет, стараясь предугадать причины неприятности, чтоб хоть как-то организовать свою защиту, и поэтому мысленно перебирая в памяти свое поведение и свои поступки, которые могли стать известными. В частности, одним из последних проступков был мой отъезд с дальнего объекта, малопосещаемого начальством, на три часа ранее срока. Тот день был удивительно удачным, и я с радостью провел его в библиотеке за чтением. Но, на беду, Коновалов мог именно в тот день проконтролировать меня...

Войдя в кабинет, я поздоровался. Мукало сидел за столом, смотрел исподлобья. На жирном лице его была даже некоторая обида и раздражение. На приветствие мое не ответил. Коновалов, нескладный, с висящими тонкими усиками, в потертом кожаном пальто не по росту, смотрел на меня, в отличие от Мукало, взгляд которого был вял и медлителен, с какой-то бойкой подвижной неприязнью, поворачивая то ко мне, то к Мукало свое сухое, калмыцкого типа маленькое лицо.

— Ты был у Юницкого? — быстро спросил он меня.

У меня тут же сложилось в голове мое оправдание: почувствовал себя дурно, даже потерял сознание. Поэтому вынужден был уехать с объекта раньше срока. Должен заметить, что подобные казусы случались со мной чрезвычайно редко, однако и впрямь с головокружением и потерей сознания ненадолго, буквально на полминуты. Раз даже на планерке Ирине Николаевне пришлось растирать мне виски. Тогда мне было стыдно, ныне же это происшествие могло пригодиться для придания моему обману правдивого вида.

— Я к Юницкому заходил, — ответил я предварительной нейтральной фразой.

— И он тебе ничего не сказал? — спросил Коновалов.

— Нет, — ответил я, все более тревожась, раздумывая, не уволили ли меня заочно.

— Странно, — снова быстро повернулся Коновалов к неподвижному Мукало.

— Пойдем, — сказал он мне.

Мы вышли в секретарскую, а оттуда в коридор. Планерка, видимо, должна была начаться еще не скоро, так как в конторе по-прежнему царил тишина, слышались лишь отдельные звуки из бухгалтерии и производственного отдела. Основная масса прорабов, да и сам Брацлавский, пожалуй, еще не приехали с объектов.

— Что случилось, Петя? — интимно понизив голос, спросил я Коновалова, когда мы остались с ним наедине в коридоре. Это был дерзкий и в то же время унижительный ход с моей стороны, на который я отчаявшись решился. Ранее беседуя со мной о книгах, он называл меня по имени, называл его пару раз тогда по имени и я. Ныне, когда отношения наши приобрели форму преследователя и преследуемого, он называл меня только по фамилии, а наедине со мной вовсе не разговаривал. Переходя на доверительно-интимный тон, я делал попытку если не перетянуть его в союзники, то во всяком случае доказать, будто верю, что главная опасность для меня исходит не от него, а от неких внешних факторов, и намекал также на свою осведомленность в тех неприятностях, которые он, Коновалов, из-за меня испытал. Но Коновалов либо сделал вид, что не понял моего шага к нему навстречу, либо открыто не принял такой шаг, я не разобрался в оттенках его действий.

— Сейчас, Цвибышев, ты все поймешь, — громко и с плохо скрытой угрозой сказал он мне, открывая двери производственного отдела.

— Вот он, герой, — сказал Коновалов Юницкому, кивая на меня.

— Знаешь что, Коновалов,—сказал Юницкий,— разбирайся-ка ты в этом деле сам... А то еще его дядя меня по загравке,—добавил он, глядя на меня улыбающимися глазами и показывая прокуренные зубы.

Улыбнулась и Коновалова, и Литвинов. Слегка улыбнулся и сам Коновалов. И вдруг я почувствовал, что улыбаюсь тоже жалкой улыбкой в ответ на унижающую меня шутку. Помимо моей воли сработал инстинкт самосохранения. Я почувствовал, что перевод ситуации в шутливую плоскость, пусть даже за счет моего достоинства, является выходом из положения, и, может быть, даже Юницкий умышленно это сделал, чтоб прийти мне на помощь.

— А что случилось, Петя?—спросил у Коновалова Литвинов, почти той же фразой, какую задал Коновалову я.

— Да вот, у этого деятеля в Конча Заспе на объекте работал БТ «Белоруссик»... Вчера его сняли, перебросили на другой объект, а диспетчера он не предупредил... Туда шесть самосвалов заказаны на вторую смену. Они придут, а экскаватора нет... простой за наш счет...

Не знаю, что со мной произошло, я вдруг сам услышал свое учащенное дыхание. Я привык к несправедливостям, но это была наглая, бесстыдная ложь от начала и до конца, которая возмутила меня до того, что я даже забыл о том, что подлинный мой проступок и обман, преждевременный отъезд с дальнего объекта, остался нераскрытым. Во мне произошел странный перелом, и я чуть ли не на глазах у всех преобразился.

— Это неправда,—крикнул я (я хотел крикнуть: «ты врешь, Коновалов», но в последнее мгновение все ж сдержался),—это неправда,—повторил я,—во-первых, это не мой объект, а Сидерского... Я был там всего раз, помогая Сидерскому... Во-вторых, слышишь ты, во-вторых (тут я не смог сдержаться), это наглая ложь... То, что я не предупредил... Наоборот, меня не предупредили, сняли экскаватор... Я слышу об этом впервые. Это обязанности Райкова, предупредить и меня и автопарки... Я, когда работал диспетчером...—Говорил я несколько бессвязно, и все смотрели на меня с тревожным любопытством. Кроме Коновалова, который потемнел лицом, так как этот неожиданный бунт самого бесправного в управлении ставил под сомнение его авторитет.

— А ну, немедленно отправляйся в Конча Заспу и не возвращайся, пока не переправишь самосвалы на другие объекты,—сказал он мне.

— Не поеду,—твердо и решительно сказал я. Тут уж

складывалась своеобразная ситуация. Воля на волю. Чья крепче. Как говорится, «на характер» шло дело. Юницкий, Коновалова и Литвинов смотрели на нас, особенно на меня, с некоторым даже оттенком спортивного интереса.

— Немедленно отправляйся,— не очень громко, но глядя на меня в упор калмыцкими своими глазами, сказал Коновалов, вкладывая в этот напор всего себя, поставив на карту свой авторитет, так что я вдруг понял, что для этого человека в данную секунду важнее и серьезнее в жизни ничего нет, чем заставить меня поехать в Конча Заспу. Не заставь он меня ехать, он, начальник участка, зять Брацлавского, меня, на которого позволяет себе повышать голос даже уборщица управления, тетя Горпына, не заставь он меня поехать, завтра же об этом будут рассказывать как об анекдоте, так что авторитету Коновалова будет нанесен серьезный удар... А ведь этот Коновалов когда-то мне делал добро... И от этих мыслей что-то во мне сломалось, что-то обмякло во мне... Я повернулся и пошел к дверям, ничего не сказал, но, очевидно, по ссутулившейся моей спине все поняли, что я сдался и воля Коновалова одержала верх. Юницкий и Литвинов захохотали так громко, что я обернулся, хотя мне не хотелось показывать мое лицо в тот момент. Я понял, что оно удивительно ничтожно, по сочувствующему взгляду, который бросила на меня Коновалова. На брата же она посмотрела с негодованием.

— Доволен,— сказала она ему,— клоун, петрушка...

Почему она назвала его клоуном, не знаю, может, у Коновалова была такая кличка в семье, но сестра, видно, настолько была возмущена, что не постеснялась назвать брата так при всех. Я б на его месте вспылал, он же не обратил внимания и сказал мне даже с некоторой мягкостью, впрочем, едва уловимой:

— Три самосвала перебросишь на улицу Ветрова, деревообделочный завод... А три— Саперное поле, десять.

На улице Саперное поле жила семья Чертог, где я останавливался, приехав в этот город. Правда, жила она в противоположном конце, в трехсотых номерах... Это была длинная улица в старой части города, сплошь застроенная небольшими домиками. Конча Заспа, куда мне сейчас предстояло ехать, находилась в другой стороне. Это был совершенно необжитый район, где предстояло строить новый современный жилой массив со стадионом, крытым бассейном и широкоэкранным кинотеатром. Однако пока это сплошная песчаная пустошь с редкими соснами, и лишь проходящая вдали железная дорога несколько оживляет пейзаж. Между тем мо-

роз набирал силу и достигал, пожалуй, градусов десяти. Дело еще усугублялось тем, что оделся я не на объект, а на планерку, то есть не надел под свитер байковой фуфайки и не надел сапог, хоть и прохуdivшихся, но при намотанной портянке дававших гораздо более тепла, чем туфли, даже надетые на двойной носок. Правда, выйдя из управления и направившись к трамвайной остановке, я несколько утешился тем, что избежал планерки, где всегда чувствовал себя крайне неловко, и смогу теперь провести время не под взглядами начальства, а принадлежа самому себе. Ветер к тому же утих, и мороз я ощутил на улице гораздо менее сильно, чем предполагал в помещении. Тут же, очень кстати, выплыла совершенно забытая мной от мытарств радостная мысль о предстоящем вечере у Бройдов, в семье, где меня любили. Так что настроение мое вовсе улучшилось, и я даже подумал о поручении Коновалова как о невольной своей удаче, которую лишь ныне, после всех треволнений, сумел оценить.

Трамвай подошел очень быстро. Я сел и поехал. Ехать мне предстояло с тремя пересадками: два трамвая и пригородный автобус, а от автобуса еще пешком метров восемьсот...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Настоящий холод я почувствовал именно когда пересел на пригородный автобус. В трамваях, набитых битком, меня даже в жар бросало и начала одолевать какая-то вялость. Однако едва я вышел на трамвайном закруглении, как под свитером у меня сразу стало сухо и холодно. Здесь у конечной остановки высились последние дома-новостройки, а далее началась нетронутая дачная местность. Дачи и дома отдыха стояли среди запорошенных снегом сосен, изредка мелькала какая-либо заснеженная скульптура. Коновалову я соврал. Был я здесь не раз, а три раза. С Сидерским я приезжал на самосвале и два раза на пригородном автобусе, за свой счет. Поскольку объекты наши разбросаны были по всему городу, прорабам управление выдало проездные билеты. Однако поездки на загородные объекты не оплачивались. Правда, людей посолидней — Мукало, Юницкого, Коновалова — возил управленческий мотоцикл, у Литвинова и Шлафштейна вообще имелись собственные мотоциклы, и они получали за проездной билет компенсацию. Такие же опытные прорабы, как Сидерский, Свечков, Лойко, договаривались с шоферами,

и за две-три приписанные фальшивые ездки те возили их на объект и с объекта.

Я как-то тоже попробовал пуститься на подобные нарушения. Я договорился с шофером, тот привез меня на объект, сделал один оборот с грунтом и исчез до конца смены, когда приехал подписывать у меня путевку за полный рабочий день. Я подписал, поскольку опасался скандалов и разглашения моего проступка. Но после этого вступать в незаконные контакты с шоферами прекратил, предпочитая ездить на общественном транспорте. У меня была примета нужной мне остановки: скульптура оленя и, чуть в глубине от шоссе, круглая зеленая беседка. Я спрашивал у кондукторши, но, боясь, как бы она не перепутала или сказала невпопад, контролировал ее ответ приметам. Вообще на малознакомых маршрутах я бываю крайне недоверчив и беспокоен, и окружающая местность внушает мне тревогу. Такое было и с маршрутом к общежитию первое время, пока я не привык к нему за три года настолько, что ныне он кажется мне домашним и родным. Я знаю там каждую мелочь и когда, имея время, хожу пешком к центру, то узнаю даже отдельные бульжники на мостовой. Впрочем, привыкаю я сравнительно быстро и, например, глядя ныне из подмерзшего окна автобуса, уже вижу не сплошь чужое, а узнаю знакомый поворот с плакатом о защите леса, железные ворота пионерлагеря, лыжную базу... Тем не менее некоторая тревога не покидает меня, так как все это еще, наряду со знакомыми, мелькают чужие, незнакомые куски пейзажа. Особенно я встревожился, когда мимо пронеслась скульптура оленя, даже вскочил. К счастью оказалось, что это не тот олень. Наконец я благополучно выхожу на Конча Заспе. Название странное, я все не соберусь у кого-либо спросить. Может, искаженное татарское, оставшееся со времен монгольского ига. Под городом есть несколько таких местностей с татарским названием, например, Кагарлык, что переводится — место, проклятое для татар...

Смотрю на часы. Успел я вовремя. Самосвалы второй смены приходят не раньше трех, придется, пожалуй, даже с полчаса подождать...

За городом ветер и метель. Мои олень и беседка густо облеплены снегом. Я сгорбился, поднял воротник и пожалел, что на мне вместо финской шапки нет сейчас какой-либо плохонькой ушаночки. У финской же моей шапки хоть и опускаются наушники, однако сделаны они изнутри покустарному, крайне неряшливо, и портят вид. Так что я предпочитаю терпеть, тем более что первоначально приходится идти мимо какого-то дома отдыха, и я часто встречаю в лесу

раскрасневшихся от мороза женщин. Вторая беда — огибая дом отдыха, я почувствовал сильные запахи с преобладанием жареного лука.

Жареный лук я не бог весть как люблю, разве что приправой к картошке. Однако для голодного человека запах его чрезвычайно губителен, поскольку обладает способностью терзать голодный желудок, способностью, несравнимой с запахами даже самых вкусных блюд. Разве что жареный гусь может сравниться по запаху с жареным луком. Без запаха лука я совершенно не ощущал голода, теперь же голод усиливал мороз, а мороз усиливал голод. Так что я не выдержал и опустил свои неумело скроенные суконные наушники. Первоначально колючее сукно, к тому ж в нескольких местах пересеченное грубыми рубцами, неприятно терло уши и шею, но постепенно уши набухли, зачесались, стало теплей, и желудок тоже успокоился. Я ускорил шаг, чтоб не дать одеревенеть ступням ног, и поскольку дом отдыха давно остался позади и я был в лесу один, то несколько раз переходил на бег, отдавая себе отчет, что зрелище это далеко не спортивное, а скорей нелепое, так как бежал я сгорбившись, на негнущихся ногах, с замерзающими на ресницах слезами от мороза. Наконец впереди послышался гудок и шум проходящего поезда, обрадовавший меня, поскольку подтверждалось, что я иду правильно. Вскоре лес кончился, и передо мной открылось поле, за которым и находилась железная дорога. Поле это предназначалось под застройку новым современным жилмассивом. Конча Заспа, однако, в настоящее время представляла зрелище весьма странное и неприятное живому человеку. У меня была нелепая привычка, лежа на койке, в тепле, после приятного ужина, наевшись вдоволь хлеба с колбасой и напившись чая, перед сном иногда вспоминать подобные мертвые местности, виденные мной недавно или в прежние, даже отдаленные годы, и при этом вздрагивать, ощущая опасность. Здесь было именно мертво, иначе не скажешь. Снег лежал неглубоко, не знаю почему, может, из-за песчаного грунта он быстро стаял во время февральской оттепели. Сейчас снег располагался клочками на оледеневшем песке, производившем весьма холодное, до дрожи, впечатление, гораздо более холодное, чем вид снега. Наверно, по контрасту, так как для меня, например, песок еще с детских времен связан был с летом и теплом. Именно из-за ледяного песка, я понял это, местность казалась мне мертвой. Смерзшаяся глина или камни, которые припорошены снегом, производят весьма естественное зимнее впечатление. Мысли эти представились мне интересными, и я решил их пока запомнить, а позднее запи-

сать и прочесть у Бройдов. Таким образом, я придал своим мрачным, тяжелым для души впечатлениям весьма приятную концовку. Эта способность выручала меня в жизни и, может, спасала от гибели, так как я заметил, что стоило мне записать происшествия и обстоятельства не то что неприятные, но даже безвыходные, как становилось легче, и подчас мне даже удавалось как-то извлечь себя из-под ударов судьбы и спасти, как я уже говорил. Но, зная это, я почему-то прибегал к подобному методу не всякий раз и даже не часто, скорей как-то внезапно и по обстоятельствам, мне непонятным, при весьма определенном состоянии души, зависящей от десятков или тысяч неуловимых и, может, весьма случайных явлений. Дневника же я не вел никогда, да и вряд ли календарные записи его были способны бороться с моими бедами...

Поборов таким образом на этот раз душевный страх и смятение, я не мог, тем не менее, преодолеть и избавиться от телесных страданий, которые становились весьма ощутимы и, мне кажется, в какой-то степени также способствовали исчезновению душевных мук. Очень скоро я превратился в весьма простой и цельный организм, не имеющий возможности растрачивать силы на душевные терзания, а полностью всей своей жизнью направленный лишь на одно: на изыскание способов согреться... У противоположного края поля «Белоруссик» успел прокопать начало траншеи под водопровод, во многих местах, впрочем, уже полуобвалившейся.

Я прыгнул туда, надеясь укрыться от ветра, но траншея сковывала мои движения, не защищая меня от мороза, и к тому ж я мог прозевать самосвалы. С трудом выкарабкался я снова наружу, ушибив обо что-то ладонь, но главное, разодрав перчатку (перчатки были на мне хорошие, двойной вязки). Вылез я из траншеи очень вовремя, поскольку вдали показались самосвалы. Обрадованный концом своих мучений, я хотел побежать им навстречу, однако сумел удержать себя и солидно, по-прорабски ждал их, широко расставив ноги. Я мог бы выйти к шоссе, и тогда шоферам не пришлось бы буксовать по оледеневшему песку, но ждал здесь, поскольку шоферы находились в моем распоряжении. Со мной случались такие минуты наслаждения властью. Поэтому я любил работу на линии, где молодые неопытные шоферы и экскаваторщики не замечали неуверенности и беспорядка, постоянно присутствующих на моем лице и ощущаемых в моих жестах.

— А где остальные? — спросил я переднего шофера, подавляя возникшее беспокойство, так как из шести пришло только два самосвала.

— Задержались на заправке,— сказал шофер,— что-то я экскаватора не вижу.

— Поедете на Ветрова,— жестко скомандовал я, не обращая внимания на его вопрос,— деревообделочный завод...

Подъехал второй самосвал. На меня пахло теплом и вкусным запахом кабины: клеенки и бензина, в котором, тем не менее, ощущалось что-то съестное.

— В чем дело?— спросил второй шофер в кубанке.

— На Ветрова нам ехать,— ответил первый шофер.

— Да,— то ли спросил, то ли подтвердил шофер и перевел на меня веселый взгляд, скользя по туфлям и финской шапке,— а ты что-то, прораб, замерз.

Я сразу понял, что этот человек распознал меня. Этот в кубанке ничего более не сказал и вроде даже подчинился моему распоряжению, но неприятный осадок остался после его взгляда и его слов. Точно я хотел выдать себя за другого человека, который замерзает здесь по своей воле, болея душой за порученное дело, а он распознал, что нахожусь я здесь по принуждению. И от этой, казалось, мелочи, мной же выдуманной, едва самосвалы ушли, у меня начался приступ злобы, аналогичный тому, какой испытал я в прошлом году, после унижения от Михайлова. Я схватил валяющийся у траншеи обрывок шланга, подбежал к одинокой сосне и ударил им об ствол...

Это было глупо и ничтожно и, кроме того, неестественно. Оно лишь внешне было аналогично прошлогоднему приступу. Тогда было живое отчаяние, теперь же досада от обычной потери хитрости...

После отъезда двух самосвалов прошел час с лишним, но четыре остальных так и не появились... Помню белесое небо и светлое пятно, где за облаками пряталось солнце... Не знаю почему и в какой момент, не запомнил, но я вдруг побежал в направлении дома отдыха. Позднее, в тепле, я понял, что совершил ошибку и в своих страданиях во многом виноват был сам. Конечно, Коновалов поступил со мной несправедливо, даже подло, но он вовсе не желал, чтоб я оказался в подобном положении, на грани замерзания, поскольку рассчитывал на мою собственную инициативу или на мою хитрость, в которой был уверен.

Один из самосвалов я мог оставить себе, так поступил бы любой прораб и ждал бы остальные самосвалы в теплой кабине. Но я побоялся пойти на подобные производственные нарушения. Теперь же, не дождавшись остальных четырех самосвалов, доведя себя до изнеможения и не выполнив задания, я бежал в направлении дома отдыха. Я вбежал в калитку,

не обращая внимания на собаку (она гналась за мной), толкнул двери кухни, которую узнал по запотевшим окнам, и увидел испуганную женщину в клеенчатом переднике. Я тогда не сообразил, что испугана она именно мной. К счастью, женщина не закричала, хоть была близка к этому, а спросила шепотом:

— Тебе чего?

— Мне попить,— ответил я и уселся на табурет.

И тут меня начало по-настоящему ломать и корежить. Я совершал какие-то резкие движения, выбрасывал ноги, двигал локтями, подергивал головой, финская шапка свалилась с меня и ударилась о цементный пол с каменным звуком. Я дергался, совершенно потеряв чувство стыда, хоть на меня смотрели какие-то молодые женщины. Лишь одна пожилая кухарка или посудомойка не побоялась приблизиться ко мне и дать мне чашку горячего чая. Но я не мог взять, поскольку пальцы мои не гнулись. Поняв это, кухарка сама принялась поить меня сладким и крепким чаем, который совершил чудо, ибо, допив кружку всего до половины, я уже понял стыд и позор своего поведения. Я понял, что если замерзший внушал хорошеньким женским личикам страх, то, отогревшись, начну внушать смех.

Я, который привык, особенно когда бываю одет не то чтоб богато, но с вызовом, в вельветовый пиджак, галстук-бабочку, к тому, что на улице женщины меня замечали, не мог спокойно с пренебрежением относиться к женскому смеху надо мной и, зная эту свою слабость, понял — надо немедленно исчезнуть. Но тут иная мысль сверкнула — самосвалы!

Производственный страх подбросил меня, и я выбежал из теплой кухни гораздо раньше, чем выбежал бы мучимый лишь стыдом перед женщинами. Я бежал так быстро, точно за мной гнались (за мной действительно гналась собака, но я понял это не ранее, чем добежал до траншеи, когда, обернувшись, увидел эту собаку, убегающую прочь, к дому отдыха).

Самосвалов не было...

«Бог, милый Бог,— сказал я, подняв голову к верхушке одинокой, на отшибе, сосны (я не верил в Бога, но иногда, в минуты отчаяния вдруг начинал выпрашивать у него помощи),— милый Бог, сделай так, чтоб самосвалы еще не приходили... И чтоб они пришли сейчас... Через две минуты, через десять минут... Я подожду...»

— Беги на шоссе,— сказал чей-то голос у меня за спиной,— они там... Беги быстрее, они могут уехать...

Я вздрогнул и обернулся... Никого... Мела поземка... На-

чинало смеркаться... Не раздумывая и не анализируя, я побежал изо всех сил. Оледеневшее шоссе было пустынно, но вдали действительно мигал красный сигнальный огонек. Самосвал только лишь тронулся и осторожно буксовал, выбираясь на проезжую часть, так что у меня еще оставалась надежда его догнать.

— Стой! — закричал я каким-то чужим, бабьим голосом и, размахивая руками, понесся к сигнальному огоньку, балансируя и страшась упасть на оледеневший асфальт, так как тогда б уж точно упустил самосвал. — Стой! — кричал я, к счастью, одно лишь слово, поскольку длинные выкрики, которые могли прийти мне в голову, забили б дыхание и затруднили бег.

Сигнальный огонек выбрался на середину проезжей части, однако я сделал отчаянный бросок и ухватился за холодный железный кузов, рванувшийся из-под моей ладони с равнодушной, нечеловеческой силой.

— Стой! — испуганно выкрикнул я и тут же захлебнулся криком.

Однако мне повезло, шофер услышал, выглянул из кабины, приоткрыв дверцу.

— Тебе чего? — спросил он.

— Прораб, прораб, — повторял я, тяжело дыша, вскакивая на подножку, цепко ухватившись за дверцу и тесня шофера грудью внутрь кабины.

— Что прораб? — удивленно спросил шофер.

— Я прораб, — ответил я, — где другие самосвалы?..

— Ах, прораб, — повторил шофер, — что ж это такое получается, товарищ прораб... Мы уж уезжать собирались... Вон ребята впереди тянутся, сейчас их догоним, они с вами по душам потолкуют...

— Все будет нормально, — сказал я, радостно и успокоенно усаживаясь на сиденье и грея ноги у мотора, — за мной не пропадет...

Шофер поднажал и догнал три других самосвала на повороте.

— Ваня, — улыбнувшись крикнул он, выглянув из кабины, — прораб нашелся... В дороге подобрал...

Самосвалы остановились.

— Что ж это такое получается, — подходя, той же фразой начал Ваня и сунул в кабину голову в теплом танковом шлеме, — мы с трех часов на объекте торчим... Экскаватора нет, прораба нет... Полсмены прошло... Кто нам платить будет? Мы вон хотели сейчас по пути в автопарк к вашему Брацлавскому заехать... Пусть путевки подписывает...

Он нагло врал насчет полсмены, но я просидел на теплой кухне дома отдыха его приезд (с опозданием на три часа), и теперь не он был в моей власти, а я был в его власти, и он действительно мог поехать к Брацлавскому, наверно даже ехал, поскольку, по всему видно, был опытный производственник и не привык упускать удачные обстоятельства, чтоб сорвать дополнительный куш и покрыть к тому ж халтуру, которой они все эти три часа безусловно занимались.

Один из кузовов самосвалов был вымазан свежей краской, что-то они такое перевозили. Но за три года я также приобрел некоторый опыт, потому не стал уличать его в наглой лжи. Я сам был виноват, что эти «леваки» стали опасны для меня.

— Ребята,— сказал я каким-то даже просительным голосом,— все бывает... Работа, сами знаете... Задержался на другом объекте... Извините, ребята...

— А нам-то что?— жестоко сказал Ваня.— Нам твое «извините» к путевому листу не подколоть...

— Короче, пусть десять ездов лишнего подписывает,— подал голос шофер, кузов которого измазан был «левой» краской.

— Какой там десять,— злобно метнул на него взгляд Ваня,— полностью пусть подписывает... Мы здесь с трех часов торчим... Иначе к Брацлавскому поедем...

— Но, ребята,— просительно, словно разговариваю с начальством, сказал я,— ведь здесь вовсе экскаватора нет... Как же я подпишу...

— Да путевки эти через месяц оплачиваться будут... Они, ты думаешь, контролируют где, в какой день был экскаватор, а где не был...— сказал Ваня.

— Если б они каждую путевку контролировали,— сказал молчавший до этого шофер моего самосвала,— то не могли бы в своих кабинетах в шахматы играть и на футбол срываться...

— У тебя дети есть, прораб?— спросил уже помягче Ваня.

— Есть,— соврал я, чтоб придать разговору плавность и устранить лишние вопросы и закорючки.

— Ну вот видишь,— сказал Ваня,— и у меня есть... твои жрать просят, и мои жрать просят... Правильно я говорю, хлопцы?..

— Время идет,— сказал я,— на Саперное поле, десять надо ехать, ребята. Там экскаватор простаивает...

— Мы тебе путевки в кабину дадим,— сказал Ваня,— дорогой оформишь... А Филя тебя прямо к вашему управле-

нию доставит, а потом нас догонит... Ладно, ребята, двинули...

Он, видно, был у них за старшего, вроде бригадира, и, в конце концов, поступил не так уж беспредельно плохо по отношению ко мне. Сволочь похуже, имея в своих руках такой козырь — отсутствие экскаватора и прораба, уехала б немедленно, раздула б эту историю и устроила б скандал в управлении, а они все-таки ждали меня, разумеется, не три часа, а минут десять, пятнадцать... Тем более что в моей несостоявшейся версии я собирался изобразить этих шоферов перед начальством в их истинном дурном свете, что меня, впрочем, не оградило бы от наказания.

Таким образом, подобный оборот дела, то есть моя зависимость от этих шоферов спасала меня от необходимости писать на них рапорт, который всегда, даже при правдивом изложении, папахивал доносом, что было мне неприятно (какой парадокс. О доносах позднее, значительно позднее). Тем не менее, сложись дело по-иному, я был бы вынужден это сделать, чтоб спасти себя, особенно учитывая мое неустойчивое, почти трагическое положение. Сейчас же этот недобрый путь к спасению был закрыт, и несмотря на то что передо мной стояла фантастически трудная задача — изыскать нечто иное, отсутствие необходимости писать рапорт-донос меня радовало...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Я приехал в управление к концу планерки и долго колебался, входить ли мне в кабинет Брацлавского. В том, что я, не нарушая ритма многочасовой планерки и ее направления, тихо уйду, есть свои серьезные преимущества, но и свои минусы. Мое появление привлечет ко мне всеобщее внимание, досада от нарушения моим появлением слаженного ритма может повлиять на безусловно уставших в многочасовой духоте людей, и их досада на необходимость заниматься еще одной, моей, проблемой чего доброго перерастет в желание нервной разрядки, особенно у Брацлавского, человека молодого, так что я пострадаю на этом весьма серьезно, даже непоправимо, при дополнительных, непредвиденных факторах, которыми всегда полны подобные обстоятельства... Но, с другой стороны, мой уход без предупреждения даст козырь Коновалову, сегодня я понял твердо, что главная опасность для меня исходит именно от Коновалова, поскольку ему надо оправдаться перед своим тестем Брацлавским за доброе де-

ло, которое он совершил, взяв меня к себе на участок. Ни сам Брацлавский, ни Юницкий, ни Мукало не вспомнят сегодня обо мне, у них достаточно дел и неприятностей посерьезней, а для Коновалова лично я серьезная неприятность, поэтому он вспомнит.

Если я, в трудных условиях выполнив задание, войду в кабинет Брацлавского замерзший, уставший, только что вернувшийся с дальнего, загородного объекта, то кто его знает, может, самому Брацлавскому это даже понравится, он работага, из простых, ценит старательность и любовь к работе и, возможно, так именно это и воспримет. Меня поддержат Свечков, Сидерский, Шлафштейн... Вдруг доброе слово скажет и Юницкий, он человек неожиданный, и это было б здорово... Возможен даже положительный поворот в моей производственной судьбе, какой в свое время произошел со Свечковым... Какой вариант применить: первый (тихий уход домой... Опасность со стороны Коновалова, но не сегодня, завтра, когда многое может измениться) или второй (резкий, прямой приход мой с дальнего участка, после выполненного задания... Риск... Идти навстречу опасности, зато вдруг все разом разрешится и станет хорошо). Ах, если б знать обстановку в управлении и на планерке... Ирина Николаевна знает, но молчит, держится официально... Наверно, ей тоже влетело за покровительство мне...

Открылись обитые кожей двери Брацлавского, и вышел Райков.

— Спасибо вам большое,—сказал он мне,—я недавно звонил в автопарк, самосвалы работают на нужных объектах... Знаете, дозвониться днем не мог, а экскаватор-то срочно снял сам Брацлавский и по самому высокому распоряжению... Его во двор президиума Верховного Совета перебросили... Там у нас сейчас три «Белоруссика» работают...— Райков разоткровенничался, во-первых, по неопытности, а во-вторых, как я понял, потому что я его здорово выручил и он ощущал благодарность по отношению ко мне. Не послушайся я приказа Коновалова, кстати незаконного, и откажись от поездки в Конча Заспу, это пришлось бы сделать самому Райкову, хоть он и бывший майор и прислан на работу райкомом.

— Еще раз вам большое спасибо,—сказал мне Райков, и это меня ободрило так, что я решил на второй вариант, то есть идти в кабинет.

Когда Райков, взяв какую-то диаграмму, пошел назад, я вошел с ним. Но едва войдя, я понял, что совершил ошибку, приняв личную благодарность Райкова за всеобщее отноше-

ние. В кабинете, как я и предполагал по первому своему варианту, был тяжелый, спертый, прокуренный воздух, и все сидели с усталыми лицами, производившими впечатление невыспавшихся. Мой же внешний вид человека, явившегося со свежего воздуха, уж только этим вызвал у всех невольную зависть и неприязнь. Так что самый первый внешний фактор моего плана сработал как раз в обратную сторону, то есть я не произвел впечатление человека уставшего, производственного, явившегося в кабинет к заседающим в тепле, а наоборот, человека бодрого и удачно прошедшего день, явившегося к людям измученным и продолжавшим мучить друг друга. Почему так получилось, не знаю, но, несмотря на все недавние волнения и мороз, сейчас, отогревшись в кабине, физически я чувствовал себя хорошо. Войдя, я огляделся, ища свободное место, чтоб сесть незаметно, на ходу меняя план и рассчитывая, что Райков своими графиками возьмет все внимание начальства на себя...

Брацлавский сидел во главе стола, крепкоголовый, с седым курчавым волосом. По правую руку от него сидел Мукало, по левую — Юницкий. Далее у стола сидели по обе стороны Коновалов и Литвинов. Протокол вела Коновалова.

— Вот пожалуйста, Иван Тимофеевич,— сказал Коновалов Брацлавскому, едва заметив меня. (В первое мгновение он меня не заметил, разговаривая шепотом с Литвиновым и не обратив внимания на скрипнувшую дверь, думая, что вошел один Райков. Но Литвинов, улыбнувшись и сначала подмигнув мне, толкнул Коновалова и показал на меня.)

— Вот, Иван Тимофеевич, явился герой,— как-то даже оживленно, словно имея возможность отвлечься от многочасовых утомительных дебатов, сказал Коновалов,— взял я его на свою голову и теперь не знаю кому подарить...

Юницкий, Мукало, Литвинов и Лойко засмеялись.

— А знаешь, Цвибышев,— сказал вдруг Лойко,— тебя сегодня искали...

И тут я совершил еще одну ошибку. Я знал, что Лойко мне враг. Да он и подтвердил это секунду назад своим смехом. Но положение мое стало сейчас беспредельно тяжелым, а утопающий, как говорится, хватается за соломинку.

Свечков, Шлафштейн и Сидерский, то есть люди, на заступничество которых я рассчитывал, сидели, не глядя ни на меня, ни друг на друга. И вдруг пришла мне в голову дикая мысль найти поддержку у Лойко. Плохого я ему никогда ничего не делал. Может, и он, замученный совестью из-за своего недоброго ко мне отношения, решил помочь мне в трудную минуту и бытовым обращением ко мне (а все знали, и Брацлав-

ский тоже, что Лойко меня не любит), так вот, бытовым обращением ко мне, может, Лойко захотел сломать стену отчужденности между мной и планеркой.

— Кто меня искал?— посмотрев на Лойко, с доверием спросил я.

— Двое с тачкой, третий с лопатой,— с искренне радостным блеском в глазах, какой бывает после удачной охоты, выкрикнул Лойко.

Грохнул такой смех, что даже секретарша Ирина Николаевна приоткрыла дверь и заглянула.

Смеялись все. Не только мои недруги, но и Коновалова, и Райков. Даже Сидерский и Шлафштейн, правда, не так громко, как, например, сам Лойко, который весь покраснел и держал у глаз платок. Один Свечков сидел насупившись, но молчал. Брацлавский тоже не смеялся, однако едва заметно улыбнулся. Ирина Николаевна, которая непосредственно при шутке не присутствовала и Коновалова рассказала ей все на ухо, засмеялась позже всех, что снова вызвало некоторое оживление. Я был убит. Я опасался, что мне грозит опасность разноса, жестоких мер, вплоть до увольнения, а меня уничтожили весело, легко, как бы походя и без борьбы, без поддержки, в полном одиночестве.

— Ну, хватит,— сказал наконец Брацлавский,— смешного тут мало... Мы должны освободиться от людей, которые не любят работу и позорят управление.

— Эскаватор с его объекта ведь сняли,— сказал Коновалов,— а машины на свой объект он не отменил... Представляете, шесть самосвалов впустую...

— Напишите мне,— обернувшись к Коновалову, сказал Брацлавский,— ваши слова я к приказу об увольнении приложить не могу...

Коновалов сказал все хитро и неопределенно. Так что неясно было, а вернее нет, наоборот, даже ясно было, и складывалось впечатление, что самосвалы простояли впустую. И Райков молчал. Мне неудобно было самому себя выгораживать, а Райков мог сообщить о том, как я помог ему перебросить самосвалы на другие объекты. Сказать то, что сказал он мне в секретарской... Или хотя бы половину того... Но Райков улавливал общее настроение руководства уволить меня и потому молчал.

— Напишите мне,— снова сказал Брацлавский Коновалову.

И вдруг тот замялся. Надежда на спасение мне начала светить неожиданно с иного конца, не от моих приятелей и по-

кровителей, а от общей бумажно-бюрократической системы, которой все невольно были подчинены.

Коновалов очень хотел избавиться от меня и писал на меня немало рапортов, но этот рапорт, который должен был лечь в основу моего увольнения, остаться как документ, зарегистрированный в отделе кадров, пройти по инстанциям, он писать не решался. Не знаю почему, может, его смущали слухи о моем дяде-покровителе... Может быть, но все же не это главное. Его смущал какой-то всеобщий ведомственно-бюрократический инстинкт, требующий избегать личной инициативы в делах предельно неприятных, а таким предельно неприятным делом было в ведомственной системе насильственное увольнение. На такое мог решиться, причем не задумываясь, разве что Лойко, ненавидящий меня не в силу обстоятельств, а телесно... Но Лойко был совсем с другого участка и вообще не обладал никакой юридической властью. Коновалов же, невзирая на свой темперамент, ненавидел меня до определенного предела, не желая отдавать этой ненависти слишком много сил. Коллективный рапорт на меня он бы подписал с радостью.

— Я его пробовал использовать диспетчером,— сказал Мукало,— так он всю работу развалил... Вон Райков еле респутывает...

— Напишите,— обернулся к нему Брацлавский,— напишите мне все это на бумаге... Если у вас бумаги нет, то я вам дам,— добавил он несколько резковато.

Я вспомнил о слышанных мной от Ирины Николаевны противоречиях между Мукало и Брацлавским. Противоречиях, на которых мне не удалось сыграть, хоть я думал в этом направлении.

— Та что ж я буду писать,— ответил Мукало, задетый тоном Брацлавского и переходя на речь с сильным украинским акцентом,— та что ж я буду писать, як будучи диспетчером, он формально находился в распоряжении производственного отдела, у Юницкого.

— Вот наша полная обезличка,— сказал Брацлавский закуривая,— поэтому мы и работаем плохо, не боеем за дело... За что ни возьмись, даже за ерунду, даже за то, чтоб уволить негодного и ненужного нам работника, и то концов не найдешь...

— Ну это, Иван Тимофеевич, вы преувеличиваете,— встал Юницкий.

Он умел говорить «по правде матке» и не боялся вступать в прямые споры даже с Брацлавским. Надежда моя загорелась еще более. Я повернулся в его сторону, однако он сказал:

— Я давно считаю, что Цвибышева надо уволить,— и сердце мое упало. После этого внутренне я уже прекратил борьбу, надеясь лишь на обстоятельства.— Я давно считаю, что он нам не подходит как работник, и тут, Иван Тимофеевич, никакой проблемы нет,— продолжал Юницкий,— но Цвибышев работает в управлении три года, а в распоряжении производственного отдела он был всего месяц и то формально, как правильно сказал товарищ Мукало... Мы его на должность диспетчера не принимали, а устроил его, будем прямо и честно говорить, товарищ Мукало... С товарищем Мукало он на этой должности общался... Товарищ Мукало его и отчислил опять на участок. Как писал Тарас Бульба, чем тебя породил, тем тебя и убью...— Юницкий улыбнулся.

Лойко и Райков засмеялись, а Коновалова покраснела.

— А то, что у Цвибышева дядя в гдавке,— дополнил Юницкий, уже сидя,— так это нас не должно смущать...

— Да при чем тут дядя,— раздраженно сказал Брацлавский,— плевать мы хотели на дядю... Пусть они из гдавка придут и повернутся вместо нас...

Я слышал сплетню, работая диспетчером, о том, что Брацлавского гдавк уже несколько раз хотел снять, как не имеющего диплома, но у него есть поддержка в среднем звене, в тресте. И эта невольнo прорвавшаяся неприязнь к гдавку подтверждала правильность подобных слухов.

— Так что же решим по этому вопросу?— спросил Мукало.

— Коновалов должен писать рапорт для увольнения Цвибышева,— сказал Юницкий,— тут двух мнений быть не может...

— Если на то пошло,— встал и Коновалов,— то у меня он работал тоже не больше трех месяцев, поскольку на участке я недавно... А принял его на участок Мукало, который тогда был начальником... А подписал приказ о зачислении в должность прораба Юницкий, вот так... Я смотрел в отделе кадров... Юницкий исполнял тогда обязанность главного инженера, а Иван Тимофеевич был в отъезде...

— Иван Тимофеевич мне этот приказ, кстати, завизировал,— бросил с места Юницкий,— так что не в этом дело... Ты по существу говори, Коновалов, а не ссылайся на позапрошлый снег. Вопрос стоит прямо... Кто должен писать начальнику рапорт о необходимости увольнения Цвибышева...

Последнюю фразу он произнес, как бы отбивая каждое слово ребром ладони по столу... И тут на меня нахлынуло... Я уже сказал, что внутренне прекратил борьбу еще после первого выступления Юницкого, когда угасла надежда окончатс-

льно. Если б меня просто и ясно уволили, я б не нашел в себе смелость даже заикаться в свою защиту. Но то, что эти люди торговались, именно торговались друг с другом о моей судьбе, не обращая более на меня самого внимания, точно я был какой-то портящей вид кучей мусора, возмутило меня, а возмущение придало мне силы. Никто из этих лиц, имеющих административную власть, не хотел брать на себя столь грязную работу, а Лойко, который жаждал ее выполнить, я видел это по его глазам, не имел на то юридических прав... И я заговорил, заговорил впервые на планерке, звонким, чужим голосом в глубокой тишине, наступившей от неожиданности. И недруги мои, и сочувствовавшие мне, и те, кто были ко мне безразличны, например Литвинов, в первые мгновения испытали общее чувство—удивление... Думаю, если б вбежал и заговорил вдруг пудель Ирины Николаевны, которого иногда приводила в управление ее дочь, то удивление было бы не больше.

— Три года,—говорил я,—сколько раз по две смены... В мороз да в холод, а дождь... А когда тонул экскаватор на кирпичном заводе, кто рядом сутки... Я даже денежную премию тогда получил (это было неумно, поскольку не соответствовало моей задаче показать постоянное ко мне бездушие). А на Кловском спуске, во время аврала... Вот спросите у Свечкова (это было неблагоприятно. Я втягивал Свечкова в общую компанию с собой, в то время, как дела мои стали плохи). И диспетчером меня посадили специально, чтобы я сгорел... Думаете, я не понимаю... К Райкову совсем другое отношение, потому что он бывший майор и партийный (это было самое нелепое заявление в моей нелепой речи. Шлафштейн здесь посмотрел на меня и укоризненно покачал головой. К тому ж отныне Райков превращался из человека, по обстоятельствам не плохо ко мне относящегося, в моего врага). И вообще, за что вы издеваетесь надо мной, за что вы невзлюбили меня (это был единственный искренний, идущий от души какой-то евангельский кусок моей речи, который мог бы возыметь действие на колеблющихся и возбудить к активности сочувствующих мне, если б я не дополнил этот искренний кусок угрозами и намеками).— Это вам так не пройдет,—сказал я,—найдется на вас управа... Ваши махинации... Запомните, я не слепой... Подождите... Придет время.— К счастью, спазма перехватила мне горло, и я замолчал. Кажется, это заметили, потому что Коновалова заморгала ресницами и вздохнула.

В подобной концовке было, правда, и положительное зерно. Угрозы, исходящие от меня, человека в их глазах ничто-

жного, выглядели не только смешно, но, как это ни странно, могли внести известное беспокойство в тех, кому они были адресованы, хотя бы потому, что эти люди менее всего ожидали подобного от меня. Ошибка же была здесь в конкретности моих угроз, в намеке на разоблачение неких махинаций, который как бы сплывал против меня недругов и сочувствовавших мне. Я ведь знал, что известные нарушения совершают не только Коновалов, Юницкий или Лойко, но также и Шлафштейн, Сидерский, даже Свечков...

— Садись, Цвибышев,— сказал мне Брацлавский, еще раз доказав свою производственную закалку,— можешь писать куда хочешь, а пока не мешай нам проводить планерку... Действительно ерунда получается. У нас десятки сложных производственных вопросов, а занимаемся Цвибышевым...

Я прошел в угол, где оказался свободный табурет, и уселся подальше от моих бывших друзей: Свечкова, Сидерского и Шлафштейна. Я старался не смотреть на них, да и они не смотрели в мою сторону, занятые своими производственными делами, обсуждение которых, прерванное моим приходом, продолжалось. Едва усевшись, я сразу понял, что вел себя глупо и мне некого обвинять, кроме себя. У меня странная привычка. Как говорят французы, я становлюсь тотчас же умным «на лестнице», то есть через мгновение после совершенной глупости. Сидя в углу, я разобрал мою речь, тезис за тезисом, и сделал самые убийственные выводы, которые привел выше. Проанализировав все, я нашел, таким образом, что мои друзья не виноваты, как раз наоборот, перед Свечковым, например, виноват был я... Никто не имеет права во имя собственного спасения рисковать судьбой приятеля, не получив на то его согласия... Свечков любит свою работу, работает хорошо, начальство его уважает, ежемесячно получает премиальные, иногда даже два оклада... А ведь вначале отношение к нему было такое же, как и ко мне... О том рассказывала мне Ирина Николаевна... Даже стоял вопрос о его увольнении. Но парень сумел доказать свою пригодность и соответствие должности... Недавно он женился, родился ребенок... Какое же право я, человек одинокий, имею требовать от Свечкова каких-то действий в мою поддержку?.. Если он молчит сегодня, значит, понимает обстановку, сложившуюся на планерке, может, знает нечто, чего не знаю я... Может, ждет... (все это подтвердилось. Не только Свечков, но и Шлафштейн, и Сидерский, и даже Коновалова, сестра моего главного гонителя, на следующий день ходили к Брацлавскому просить за меня. Я об этом узнал от Ирины Николаевны.)

Планерка между тем кончилась. Я сидел в дальнем углу и,

поскольку не мог выйти первым, переждал, пока вышли все, не желая ни с кем встречаться, даже с друзьями, невзирая на анализ в их пользу. Вопрос обо мне повис, может, благодаря моей нелепой речи, которая какое-то воздействие, тем не менее, возымела. Все приняло неопределенный характер. Являться ли мне завтра на объект (что было мучительно) или получать расчет (что было страшно)? Я вышел в секретарскую.

— Цвибышев,— вежливо и мягко сказала мне Ирина Николаевна,— вас Мукало просил зайти.

Терять мне было нечего, я вошел.

— Присаживайся,— сказал мне Мукало. Он обошел кругом стола и сел напротив меня в кресло, так что обстановка сразу создалась полуофициальная.— Видишь, что творится,— сказал Мукало доверительным, домашним тоном,— они если захотят съесть человека — съедят... Это между нами... Я тебе старался помочь, как мог... Евсей Евсеевич (очевидно, приятель Михайлова, я же услышал это имя впервые), Евсей Евсеевич именно мне звонил три года назад насчет тебя... Это еще хорошо, что Брацлавский тогда в отъезде был, а Юницкого я уговорил... Я б на твоём месте пошел к Евсею Евсеевичу и сказал... Такое и такое, мол, дело... Три года мне Мукало помогал... Теперь нет возможности... Он тебя в другое место устроит... Ого... При его положении... Вон, новое управленис, Гидрострой организуется... А лучше всего, если он тебя в проектный институт... Там ты будешь на месте... А тут ты, извини меня, вроде между ног у всех болтаешься... Подай заявление, я тебе обещаю чистую трудовую книжку... Ни одного выговора не запишем... Я сам с Назаровым поговорю... Иначе Брацлавский тебе такое напишет... Уволен за развал работы и все... Тебе и так трудно устроиться на работу, а тут вовсе каюк...

— Когда писать заявление?— спросил я.

— А ты сейчас напиши,— тихо сказал Мукало все так же доверительно, глядя мне в глаза.

Я старался отвечать ему тем же, радуясь, что неопределенность позади и выход найден. Надо было торопиться. Меня действительно могли уволить с самой нелестной характеристикой, и это могло повредить даже моим тайным планам поступления в университет. Непонятно было только, как я ранее не понимал и потратил столько сил на, в сущности, ненужную уже и бесполезную свою защиту. Впрочем, то, что я поехал сегодня в Конча Заспу,— хорошо, иначе неприятности, завершающие мое пребывание на этой работе, приняли б еще более острый характер. Даже Мукало тогда, пожалуй,

не помог бы... Я взял бумагу со стола и написал: «Прошу уволить меня по собственному желанию». Это была глупая формулировка. Надо было написать: «Прошу уволить меня по личным обстоятельствам». Однако Мукало сразу же взял мое заявление, посмотрел и сказал:

— Вот и добре... Завтра же получите расчет.— Он впервые за три года сказал мне «вы». Я это отметил. «Вы» мне говорили, лишь только я устроился, как им казалось, по высокой протекции.— Возьмите у Ирины Николаевны бегунок.

Я вышел.

— Ну что?— спросила Ирина Николаевна.

— Дайте мне обходной лист,— сказал я.

Она как-то горестно вздохнула, доставая из ящика обходной.

— У вас с собой профсоюзный билет?— спросила она.

— Нет, но у меня все уплачено,— ответил я.

— Я вам верю,— снова вздохнув, сказала Ирина Николаевна и расписалась в графе — председатель месткома. Потом она расписалась пониже, в графе библиотека, которой заведовала по совместительству, но которой никто не пользовался.

Теперь, когда здешняя судьба моя решилась, Ирина Николаевна утратила свой холодный, официальный тон по отношению ко мне и снова смотрела на меня с участием, как некогда ранее, когда она мне покровительствовала.

Я вышел из конторы во двор, освещенный фонарями и вспышками электросварки... У ремонтировавшегося экскаватора высокий слесарь в распахнутой, несмотря на мороз, телогрейке бил молотом-балдой по металлической шайбе. От открытой груди его шел пар. Каждый удар он сопровождал резким выдохом-криком. Гулкий металлический звук лишь чуть ослабевал в воздухе, как слесарь вновь ударом доводил его до полной громкости, не давая угаснуть... По грязному, мазутному снегу, покрывающему комками асфальт двора, я пробрался, лавируя среди бочек, досок и обрезков металла, к воротам. Я шел быстро, чтоб как можно скорее оставить все это позади. Но едва я миновал ворота, как следом выехал грузовик, в кузове которого стояли Юницкий и Литвинов, держась руками за верх кабины.

— Цвибышев,— крикнул мне Юницкий, улыбаясь,— давай подвезем... Если тебе к центру...

Мне надо было к центру, и на грузовике я сэкономил не менее получаса, поскольку от центра шел к нашему общежитию прямой маршрут троллейбуса № 8 без пересадок. Мне предстояло еще переодеться и хоть что-либо перехватить, чтоб не

прийти к Бройдам совсем уж голодным и не есть вкусный обед, которым меня угостят, с жадностью. Я полез в кузов и сразу же, едва очутился там, понял, что не следовало этого делать, хоть я и опаздывал. Предстояло еще минут пятнадцать находиться в обществе этих людей, которые стали мне особенно неприятны сейчас, после того, как я написал заявление и избавился от них. Даже Свечков был бы мне сейчас неприятен, поскольку и он связывал мое воображение со всем этим враждебным мне комплексом. Тем более Юницкий, от робости и неуверенности перед которым я по-прежнему не мог избавиться, очевидно, поняв разумом, но не ощутив еще сердцем мое новое, независимое положение. И, откровенно говоря, питая некоторую надежду... Не буду кривить душой, из-за этой надежды, а не только из желания сэкономить полчаса, я и полез в кузов... Ибо едва написал заявление, как испытал приступ страха... Ведь вместе с моим унижительным, тяжелым положением я потерял твердый кусок хлеба...

— Ну что,— улыбаясь спросил Юницкий,— будешь жаловаться на нас дяде...

— Нет у меня никакого дяди,— тихо сказал я, мучительно обдумывая, как бы перевести разговор в доверительное русло.

Может, и хорошо, что я полез в кузов вопреки моему первому впечатлению, подумал я. У Юницкого достаточно власти, и то, что после его выступления против меня, такого резкого, он захотел меня подвезти... Может, именно здесь все и образуется... Утрясется... И я буду потом рассказывать: решил уже, что все кончено, написал заявление... Выхожу, вдруг меня догоняет грузовик...

— Коновалов завтра собирается к тебе на объект,— сказал Литвинов.

Значит, ни Литвинов, ни Юницкий не знают еще, что подал заявление, подумал я, пытаюсь определить, хороший ли это признак или плохой.

— Я подал заявление,— сказал я.

— Да ну,— искренне удивился Юницкий,— сам подал?

— Уволен по собственному желанию начальника,— сказал Литвинов и рассмеялся...

— По этому случаю надо выпить,— сказал Юницкий улыбаясь (глядя на меня, он постоянно улыбается),— ты все-таки начинаешь новую жизнь...

Он постучал по верху кабины. Грузовик остановился у обочины. Мы сошли и направилась к киоску.

— В разлив у нее нету,— сказал Юницкий, заглядывая внутрь,— придется целую бутылку покупать...

Я ощупью нашел в кармане две бумажки (сегодня я обедаю у Бройдов. Завтра можно обойтись без карамели к чаю, и, кроме того, Витька Григоренко получает зарплату и поведет ужинать в честь дня своего рождения. Сэкономленную сумму можно смело вычесть из сейчас потраченной, и, таким образом, окажется, что я потерял не очень много, ну два обеда, не более... Их можно вполне компенсировать, несколько урезав траты... Не брать, например, в обед компот... Правда, теперь я вечерами не смогу ужинать в общежитии, поскольку вынужден приходить поздно... А ужин на ходу, в общественном месте, всегда обходится дороже).

Погруженный в лихорадочное составление финансового баланса ввиду неожиданности и непредусмотренности серьезных затрат, я на какое-то время даже потерял Юницкого и Литвинова из виду.

А между тем Юницкийпил вино прямо из горлышка бутылки, облизывая языком губы.

— Хочешь?—спросил он Литвинова.

— Нет, нет,—сказал Литвинов,—ты меня в это дело не втягивай, я в этом деле не участвую... Чего я вообще в свидетели затесался?

И он пошел назад к грузовику. Юницкий допил вино и отдал мне пустую бутылку.

— Поставь куда-нибудь,—сказал он и тоже пошел к грузовику.—Тебе дальше, может?—спросил он, обернувшись.

— Нет,—ответил я.

Едва грузовик уехал, как я огляделся, подошел к мусорному ящику и бросил туда бутылку. Я стоял невдалеке от одного из любимых моих бульваров. Если пойти по нему вверх и свернуть направо, можно очень скоро дойти до библиотеки. И вдруг, словно я очнулся от кошмара и, как бывает в таких случаях, когда после ночного кошмара мы просыпаемся, обрадовался, что наяву все по-иному, даже негромко засмеялся всем своим глупостям и страхам. В течение дня я вел себя как неменяемый. Я ведь давно уже решил уволиться, это была часть моего плана, и на сегодняшнюю планерку шел с таким расчетом. Конечно, такой шаг не прост, кто ж противоречит, и может, то бытовое и мелкое, что сидит во мне, что выпирает наружу, что враждебно моей тайне, моему «инкогнито», моей идее, то бытовое, и мелкое, и жалкое, что сидит во мне, цеплялось за устойчивость и вселяло в меня страх перед решениями, губящими эту устойчивость. Тут-то и приходят на помощь нам случайные обстоятельства, совпадения, неудачи и опасности, против которых мы боремся из последних житейских сил, но если нам повезет, то боремся безуспеш-

но, боремся неудачно, и все это вместе заставляет нас идти той дорогой, о которой мы могли лишь мечтать, если бы выиграли борьбу с житейскими неудачами и добились бы устойчивости...

Я понял, что сегодня сделал серьезный шаг навстречу своей идее... Идея моя была пока неопределенна, что-то мелькало изредка и более конкретно, но в разных, часто противоположных ракурсах, и я вел себя по отношению к ней как скупец, не позволяя до поры до времени, даже в минуты душевного надлома, заглянуть внутрь и воспользоваться хоть крохой из моей идеи. Я не покривлю душой, если скажу, что для меня самого пока она была почти такой же тайной, как и для окружающих. Говоря образно, идея моя была чем-то вроде живого нежного существа, не приспособленного пока жить в окружающей меня суровой действительности, и я обогревал ее у себя на груди, не позволяя себе даже взглянуть на нее, а лишь ощущая... Впрочем, ощущения эти я иногда в последнее время позволял себе использовать в бытовой борьбе, о чем уже говорил выше... Это был опасный признак истощения жизненных сил... Но использовал я в быту лишь ощущение идеи, а не саму идею, которую, может потому, сам инстинктивно не хотел до поры до времени увидеть и понять... Идея — это было единственное, где я был математически точен и не совершил ни одного опрометчивого шага... Это я-то, с моим неустойчивым характером. Ощущение идеи мне было ясно: рано или поздно мир завертится вокруг меня, как вокруг своей оси. Но как, и в какой плоскости, и под каким углом, я не знал и не позволял себе знать, не доверяя своей твердости и умению соблюдать тайну. Одно я знал точно — выпусти я эту идею из своей души раньше времени, и она погибнет... Вот чего следовало опасаться...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Высидевшись из троллейбуса, я остановился, обдумывая маршрут к общежитию. Время было достаточно опасное, то есть семь часов вечера, когда открыта камера хранения Тэтяны, да и комендант Софья Ивановна в такое время частенько ходила по жилым корпусам. Кроме того, была опасность наткнуться на Софью Ивановну на небольшом отрезке улицы, ведущей от троллейбуса к жилконторе и далее к общежитиям. Следовало обойти вокруг, по параллельной улице, и двором пройти прямо к входу, но у меня было мало време-

ни, и я рискнул. Слегка пригнув голову и прижимаясь к стене, я быстро пошел, исподволь бросая по сторонам взгляды и особенно ускоряя шаг в промежутках меж подворотнями... Должен сказать, что влияние непосредственных встреч и контактов на мое положение я, может, несколько и преувеличивал. Независимо от этого, я фигурировал в списках тех, кому послана повестка, и мое койко-место числилось уже потенциально свободным от меня и пригодным для приема рабочей силы, в которой трест, кстати, испытывал затруднения. Но, безусловно, такие встречи в период весеннего выселения, нервный и неустойчивый, оказывали на мое душевное состояние пагубное воздействие, а отсюда уж рукой подать до скандалов и столкновений моих с Софьей Ивановной, не говоря уж о Тэтяне. При нынешнем положении дел отношения мои с этими людьми могут быть либо скандальными, либо унижительными с моей стороны. Но унижение мое они, особенно Тэтяна, и сами бы не приняли, и оно придало б их ожесточению против меня лишь большую уверенность. И вообще не знаю, нашел бы я сейчас для такого унижения силы в себе, хоть койко-место для меня вопрос жизни и будущее моей идеи. Это только в семнадцать лет можно смело повиснуть в воздухе и даже с веселостью принимать положение бродяги, веря при этом, что человек пропасть не может... Может пропасть, это я знаю твердо, тем более в двадцать девять лет...

Говорят, в Риме бездомные ночуют под мостами. У нас под мостами ночевать нельзя, особенно с двумя чемоданами... В первую ночь, допустим, на вокзале, а далее... К Бройдам я просить о ночлеге никогда не пойду, это значит осквернить и опоганить то единственное, что связывает меня с жизнью, о которой мечтаю и в которой должна развернуться и расцвести моя идея... Кроме того, вдруг они мне откажут... Нет, даже думать об этом не хочу, лучше уж к Чертогам... Ну день, ну два... Дальше-то что... В жизни наступает хаос, посещение библиотеки прекращается, в местах общественного питания быстро уходят сбережения... Ехать некуда... При моих-то нервах, плохом здоровье, к людям чужим, с которыми я не умею ладить... А здесь уже как будто все на мази, выстроен определенный порядок, нащупаны связи, построена концепция дальнейших действий и выработан план, который начал осуществляться сегодня первым важным и трудным шагом в направлении избранного пути... Только б из-под этой мечты, начавшей воплощаться в реальность, не выдернули опору, койко-место, эту железную односпальную кровать с панцирной сеткой, служащей основанием моей великой идее, как это ни парадоксально звучит. Нет, это не смешной парадокс,

это реальность... Вот почему у меня мелькали даже мысли об унижении перед теми, кто грозит лишить меня ночлега и крыши... Меня оправдывает моя идея... Но, как я сказал выше, в сложившейся ситуации унижение пойдет лишь во вред... Остаются скандалы... В первый год моей жизни в общежитии, будучи неопытным и злоупотребляя авторитетом и служебным положением Михайлова, я постоянно в своих отношениях с комендантом, как говорится, «лез в бутылку», кричал на нее и даже грозил увольнением... (Как я был глуп и молод всего три года назад.) Не имея никогда опоры и вдруг обретя покровителя с серьезным положением, я решил, что настал мой черед и найдена возможность обрести уверенность в себе. Отсюда вспышки грубости и угрозы об увольнении комендантши руками Михайлова за ее попытки выселить меня как жильца, не работающего в их ведомстве. Очень скоро это обольщение прошло (чему способствовало несерьезное и насмешливое отношение самого Михайлова ко мне, начавшее постепенно проявляться), обольщение прошло, и я понял, что поддержка Михайлова не утверждает меня в жизни, а просто позволяет мне хоть как-то незаконно существовать в обстоятельствах, при которых отсутствие поддержки вовсе лишило бы меня возможности даже неустойчивого существования. Учитывая вышеизложенное и опыт прошлых лет, я положил в основу своей тактики отсутствие контактов с должностными лицами, вроде меня не существовало на период весеннего выселения. Эту тактику я успешно применял в прошлом году, пока Михайлов не договорился и дело не утрясли.

Сейчас, пробираясь вдоль стены к общежитию, я приступил к осуществлению этой тактики. Правда, я начал с нарушения, позволив себе в столь опасный промежуток времени пойти дорогой, где вероятность встречи с комендантшей либо с Тэтяной была достаточно высока. (Встречи с Маргулисом я не боялся, так как он не знал меня в лицо.) Оправдывало меня то, что я чересчур торопился. Я миновал благополучно улицу, однако неприятный сюрприз ожидал меня у самого входа в общежитие. И комендантша Софья Ивановна, и Тэтяна в белом служебном халате, натянутом поверх телогрейки, и дворник, и уборщица, и дежурная — все стояли у входа, преграждая мне дорогу. Не буду скрывать, я испугался и растерялся чрезвычайно, метнувшись за угол соседнего корпуса. Но приглядевшись, понял, что относится это сборище не ко мне, а заметив, куда они смотрят, и уловив обрывки разговоров, понял и происшествие...

В нашем корпусе, кажется, в 27-й комнате жил каменщик Адам. Имя его я узнал лишь недавно, хоть в течение трех лет

мы встречались то в коридоре, то в кубовой, то в туалете, но, пожалуй, даже и не здоровались, как, впрочем, и с многими жильцами, которых знаешь лишь в лицо. Но однажды, сравнительно недавно, я встретил этого Адама в комнате у Витьки Григоренко, и Адам вдруг со мной заговорил. Слова его меня удивили и даже испугали, во-первых, от неожиданности и несоответствия его облику, а во-вторых — почему он заговорил о том именно со мной, не нащупал ли он мое «инкогнито».

— В мире, — говорил Адам, — есть родственные души. Каждой душе соответствует другая родственная душа, одна определенная, душа-близнец, ее половина, отделившаяся еще при сотворении жизни. Но судьбы человеческие, может, и движутся в определенном государственном порядке, однако в ином смысле движения их хаотичны, и потому встречи родственных душ, соединение обеих половин в единое целое редки... Чаще всего, если человеку повезет, он встречает душу, наиболее по качеству приближающуюся к своей половине, и живет с ней счастливо и хорошо именно потому, что не знает о том ангельском блаженстве, ожидавшем его, встретиться он с той, единственной, фактически своей собственной... Однако помимо родственных душ существуют души-антиподы, души-враги. Каждой из душ соответствует душа-антипод, душа-враг, то есть души, которые при сотворении жизни наиболее удалены были друг от друга... Обе они могут быть ангельски чистыми, но при встрече друг с другом в них просыпается дьявол... К счастью, такие встречи редки... Чаще мы встречаемся с теми, кто не очень от нас близок, но и не очень далек... Потому и души наши тронуты гнилью и застоем...

Я передаю его речь в более стройном виде, поскольку говорил он ломаными, неправильно построенными фразами и при этом сильно мигал обоими глазами, точно они были больны. Говорил он гораздо больше, но многого я не понял. Слушал я его в некоторой даже растерянности. Лишь когда Адам ушел и Витька рассмеялся, я опомнился и спросил:

— Кто это?

— Что, Адама не знаешь? — удивился Витька.

Оказывается, Адам был давно и всем известный в общезнании тихий дурачок.

Каменщик он неплохой, зарабатывал прилично, но большую часть своих денег тратил на рисованные портреты, которые заказывал в изомастерской. Эти портреты он дарил потом школам, яслям и детским садам.

— Пойдем, посмотришь, — сказал мне Витька.

Мы пошли. Я, впрочем, без особого энтузиазма. В моем положении любое отклонение от нормы может как-то совершенно неожиданно ударить по мне.

— Адам,— сказал Витька,— покажи Гоше портреты.

Адам охотно достал из чемодана большую аккуратную папку.

— Это монгольский маршал Чойболсан,— объяснял он,— это Чехов... Это Мао Цзедун... Это великий путешественник Нансен... Это Хрущев... Это Мичурин...

Было у него и два портрета Сталина, но после разоблачения культа личности он их заказывать перестал, доказав тем самым известную логичность в своей деятельности. Все портреты были выполнены одинаково, в карандаше на плотной ватманской бумаге.

— Витька,— сказал Адам,— ты у столяров ваших поспрашивай... Дерево бы такое достать, которое под полировку годно... Я б сам рамок наделал. Разве в мастерской рамочки делают? Барахло...

Мне этот Адам был неприятен, и я хотел побыстрее уйти, Витька же получал удовольствие. Позднее я начал замечать, что с Адамом многие жильцы разговаривают охотно. Я же людей психически больных не люблю: они вызывают у меня брезгливость и одновременно чувство какого-то внутреннего страха. Поэтому Адама я старался избегать. Сейчас, прячась за углом соседнего корпуса, я довольно ясно различал событие у нашего корпуса, ибо событие это освещено было светом двух уличных фонарей, а также светом из окон.

Оказывается, Адам повесил на фронте общежития три портрета в рамках. В центре он повесил большой поясной портрет своей матери. Этот портрет, очевидно, срисован был с фотоснимка, и деревенская женщина в платочке напряженно и растерянно таращила глаза, хоть художник с помощью ретуши пытался ей придать более величественное выражение, желая угодить заказчику. По бокам портрета матери висели два портрета поменьше. Слева—фельдмаршал Суворов, справа—академик Павлов. Великий физиолог особенно испугал комендантшу. Суворова она узнала, а этого старика в шляпе приняла бог знает за кого.

— Я выхожу,— громко говорила уборщица Люба любопытным,— гляжу— висят... Я гляжу, что такое, может, праздник какой-нибудь... Гляжу— Адам мать свою повесил...

— Ты зачем это сделал?— спрашивала у стоящего тут же Адама Тэтяна, но спрашивала весело. Она несла лишь материальную ответственность, а налицо было идейно-воспитательное нарушение, за которое должны расплачива-

ться комендантша Софья Ивановна и воспитатель Юрий Корш. Очевидно, дело принимало неприятный оборот, поскольку Корш, несмотря на присущий ему юмор, появился весьма встревоженный со стороны жилконторы.

— Зачем ты мать свою на общежитие повесил?— допытывалась у Адама Софья Ивановна.— Ну повесил бы у себя в комнате.

— Да еще рядом с известными людьми,—добавила Тэтяна.

— Тэтяна Ивановна,—сказала ей Софья Ивановна несколько раздраженно,—вы б давно распорядились лестницу принести.

Я знал, что между ними противоречия, и надеялся на этих противоречиях сыграть.

— Люба,—продолжала Софья Ивановна,—немедленно достать лестницу. Не могли давно снять? Надо было ждать, пока участковый придет?

— Я сначала не поняла,—оправдывалась Люба,—думала, может, так надо...

Люба была толстая, флегматичная девушка. Ко мне она относилась хорошо, в отличие от второй уборщицы Насти, измученной женщины лет тридцати, матери-одиночки, которая ко мне относилась плохо.

В смеющейся толпе были Николка Береговой, Жуков и Петров. В комнате, наверное, никого. Какая удача. Можно спокойно поесть, спокойно переодеться. Я решаюсь... Выждав, пока комендантша и Тэтяна отойдут в противоположный конец толпы, навстречу начальнику жэка Маргулису, прибывшему лично на место происшествия, покидаю свое убежище. Расстояние до входа не велико, но я иду медленно, поскольку слишком резким движением могу привлечь внимание. Благополучно прячась за спинами, миную опасный участок. Встречаюсь глазами с Жуковым. Тот с неприязнью отводит взгляд. Обиду помнит, но меня не выдаст, хотя бы потому, что не знает моей тактики. О ней никто не знает, кроме меня. И вдруг у самой почти двери меня замечает Адам. До того он стоял в толпе, словно происходящее его не касалось, не отвечая на вопросы, задумавшись, сильно моргая по обыкновению обоими глазами и с недовольным видом. Но заметив меня, вдруг заволновался, что-то закричал громко, показывая пальцами на портреты. Вместо того, чтоб осторожно проскользнуть внутрь, мягко приоткрыв дверь (за два года моей тактики я научился это делать хорошо), я вынужден рывком кинуться внутрь, так что дверь оглушительно хлопает за спиной. Безусловно комендантша и Тэтяна обратили

внимание и на крик Адама, и на сильно хлопнувшую дверь. Однако заметили они меня или не заметили? Вот почему я не люблю людей психически ненормальных. Психически больной не понимает бытовых подробностей окружающей жизни.

Делать нечего. Быстро бегу по лестнице на второй этаж. Так и есть, двери заперты. Нахожу ключ в условном месте под половицей. Зажигаю свет и запыхавшись некоторое время сижу на своей койке. Неожиданно ощутив усталость, сижу более, чем следовало бы, поэтому, вскочив, начинаю чрезвычайно торопиться. Цвета Бройда просила меня не опаздывать, и это вселяло надежду на нечто интересное. Может, я даже окажусь в обществе, куда Цвета вхожа и, пожалуй, составляет часть его. Поэтому не успеваю ужинать, колбаса и томат-паста останутся на завтра, и, значит, еще более уменьшается сумма, истраченная сегодня на вино Юницкому. Вместо ужина применяю испытанное средство — конфеты. Четыре-пять карамелей, которые можно сосать на ходу, запивая водой из графина, на полчаса или даже на час снимают ощущение голода...

У меня две белые рубашки. Но одна сильно грязная, вторая же вполне терпимая, если мокрой ваткой протереть воротник. Жаль, кончился тройной одеколон, он снимает грязные полосы вообще идеально. Рубашка мятая на рукавах и спине, но спереди выглядит хорошо, тем более надеваю я ее на байковое белье, которое она плотно облегает. Серые свои выходные брюки я заблаговременно, еще со вчерашнего вечера, аккуратно положил под простыню поверх матраца. Способ этот не лишен недостатков, можно так повернуться во сне, что смять брюки комком. Но если сложить их умело и заставить себя не ворочаться, спать эту ночь только на спине, то тяжестью тела брюки разглаживаются лучше, чем в любой мастерской бытового обслуживания. Наскоро побрившись холодной водой, я помыл лицо, заклеил порезы обрывками вошеной бумажки, в которую было завернуто лезвие, и заглянул в зеркало. Пока я понравился себе не очень, но знал, что когда сниму бумажки, причешусь и надену главную часть своего туалета, то вид совершенно преобразится. Я почистил сапожной щеткой туфли (воспользовавшись тем, что в комнате никого: во-первых, щетка Берегового, а во-вторых, чистить обувь полагалось на лестничной площадке, значит, подвергая себя опасности столкнуться с комендантшей), итак, я почистил туфли, вымыл руки, подошел к шкафу и извлек свой тяжелый плотный вельветовый пиджак, в котором сразу же исчезла и приобрела иной облик моя мятая рубашка, а за брюки я не опасался, они отлично держали стрелки. Из боко-

вого кармана пиджака я достал зеленый галстук-бабочку, прицепил его, пригладил волосы, снял с лица высохшие бумажки и глянул в зеркало. Как я и предполагал, вид мой совершенно преобразился. На меня смотрел довольно импозантный молодой человек заграничной внешности, одетый с вызовом и даже с известной роскошью. Я достал из-за шкафа трость и глянул на себя снова. Трость вовсе сделала меня необычным и непохожим на остальных. Это была хорошая полированная трость с серебряным орнаментом и надписью: «Привет из Евпатории». Подарила мне ее Ирина Бройда, старшая сестра Цветы Бройды, после того как, обнаружив эту трость однажды у них в доме, я не расставался с ней весь вечер, опираясь на нее, жестикулируя ею и незаметно принимая всевозможные позы. Трость эта принадлежала отцу сестер Бройдов, Петру Яковлевичу, неотвратимо слепнувшему уже несколько лет и ныне почти совсем уж ослепшему. Тем не менее, невзирая на столь тяжелую болезнь, был Петр Яковлевич человек веселый, ко мне относился хорошо и мне нравился...

Пройдясь в столь роскошном наряде по комнате, я не выдержал и, нарушая все правила конспирации, вышел в коридор. Я шел наугад, но Витька был дома и играл с Рахутиным в шахматы. В углу сидел их третий жилец, старичок, и что-то выпиливал лобзиком. Царили здесь уют и приятная обстановка, о которой можно было мечтать...

Григоренко и Рахутин встретили меня криками восторга.

— Сила,— сказал Витька, разглядывая мой наряд.

— Ты куда?— спросил Рахутин.

— По делам,— сказал я коротко.— Слышь, Витька?.. Ты насчет того помнишь?.. О чем мы говорили...

— Насчет того, чтоб подмазать в жилконторе?— спросил Витька.— Сунуть в лапу?..

— Ну, ей-богу,— сказал я,— странный ты парень,— и кивнул на старичка.

— Да он глухой,— махнул рукой Витька,— все будет нормально... Тот человек сейчас уехал на два дня... Приедет, оформим.

Успокоенный окончательно, я вышел в коридор и столкнулся с воспитателем Коршем.

— Здорово,— крикнул он мне,— извини, тороплюсь... Вот Адам — сволочь... Сейчас бегай, доставай справку, что он шизофреник... Определенные органы требуют... Знаешь, что он сделал?.. Бегай тут из-за него... Психопомешанного... А у меня ведь сегодня свидание... Девочка — такой я еще не

встречал... Говорит со мной по телефону, и от ее голоса я дрожать начинаю...

Хоть мы оба торопились, минут десять все же простояли в коридоре в весьма предосудительной беседе. Так что когда я вернулся в комнату, там уже были Жуков и Петров. Петров мне едва заметно кивнул, Жуков отвернулся. Я наскоро оделся, спрятал трость под пальто и вышел. Лишь на остановке троллейбуса я понял, какую совершил оплошность, кинувшись вниз без подготовки и предварительного наблюдения. Я вполне мог наткнуться на Софью Ивановну или Тэтяну, что, к счастью, не случилось. Но происшествие это заставило меня дать самому себе клятву отныне строго и твердо выполнять все правила выработанной мной тактики.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Город наш расположен частично на возвышенности, частично в низине. Если смотреть сверху, со склонов городского парка либо небольшого живописного и старого бульвара, открывается знаменитый вид на реку и прилегающую к ней низовую часть, вид, который спешит увидеть каждый приезжий. Особенно красив этот вид вечером. Тысячи подвижных и неподвижных огней, огни мигают, огни мягко плывут, и по ним угадывается река... Я люблю здесь бывать в теплые вечера, и у меня всегда при этом невольно появляется на лице какая-то улыбка превосходства и чувство гордости собой. Глядя на эту красоту, я ощущаю собственную значительность и необычность, и иногда, когда я стою в одиночестве особенно долго, а вечер не воскресный, по-настоящему тих и по-настоящему тепел, меня вдруг охватывает бесконечно сладкое чувство приобщения к своей «тайне», к своему «инкогнито», к своей идее, которая кажется мне чем-то родственна этой красоте, эти тысячи огоньков кажутся мне небесными звездами, над которыми я возвышаюсь, а подлинные небесные звезды, если вечер безоблачный, теряют свою недоступность при подобной картине... Какой там Михайлов, какой Юницкий, какой говорящий сальности Корш... Все, что меня волнует, пугает, интересуется, все, что даже я люблю, уважаю и чего хочу там, внизу, здесь кажется мне смешным... никто не может стать вровень со мной, и ничего я сюда с собой не беру оттуда... Мелькают иногда какие-то дорогие воспоминания, покойная мать, да и то в конце, когда я переваливаю через высший взлет своего чувства... Отец посещает меня здесь и того реже... Причем не тот подлинный отец, который связан

был дружбой с пошляком Михайловым, не тот отец, который родил меня, а тот, которого родил я в своем воображении... Повторяю, даже подобные воспоминания приходят редко и в конце, а на взлете — я со своей идеей, и мир вращается вокруг меня (это называется солипсизм — считать себя центром вселенной). Я узнал научное определение своего состояния, узнал в тот вечер, к описанию которого намерен приступить. Подобное открытие обрушилось на меня тяжелым ударом. То, что моя тайна, мое «инкогнито» оказалось явлением распространенным настолько, что даже имело научное определение, подобно ишиасу или подагре, повергло меня в душевное смятение и едва не погубило идею, а значит, и смысл моей жизни. К счастью, я растерялся ненадолго, нашел противоядие и даже укрепился в своей надежде. Хоть я к своей идее никого не допускаю, ни врагов, ни друзей, однако есть определенная закономерность в том, что Бройды, семья, где меня любят, живут именно в той части города, где идея моя, хотя бы пока в виде неопределенного символа, является мне. Я не могу себе представить, чтоб здесь располагалось наше общежитие или строительное управление механизации... Общежитий, конечно, здесь немало и управлений разного рода, но это не мое и меня не касается... Вообще низовая часть города считалась, а может, и ныне считается худшей по сравнению с верхней частью. Раньше ее заливали наводнения. Теперь, после современных технических новшеств, наводнения стали реже, но снег по-прежнему не тает здесь дольше, а дождевая вода, несмотря на водостоки, скапливается подчас в довольно больших количествах. Однако мне здесь все нравится, и, имея я выбор, перебрался бы жить сюда. Низовая часть менее разрушена войной и потому более самобытна, лишена стандартов современного скоростного строительства.

Дома здесь старые, либо одноэтажные, с железным крыльцом, либо в несколько этажей с витыми пузатыми балконами. Улицы не залиты асфальтом, а вымощены стертым булыжником, тротуары вымощены тоже стертой плиткой. Даже крышки канализационных колодцев здесь со старинными надписями через «ять». Здесь много башенок, портиков, арок, приземистых складских помещений, затянутых тяжелыми гофрированными жалюзи, много вывесок частных портных, зубных техников и сапожников. И все это тонет в зелени: сирень и акации во дворах, каштаны вдоль улиц. Низовая часть, в свою очередь, делится на более аристократическую, бывшую купеческую, расположенную ближе к центру, и менее аристократическую, в прошлом главным образом одноэтажную, вид которой во многом изменен современным строи-

тельством. Год назад у меня там был объект на заводе бытовых автоматов по продаже газводы. В путевых листах шоферов в качестве свалки по вывозу грунта указывался всемирно известный овраг, расположенный напротив завода бытовых автоматов, чуть повыше, по шоссе. В овраге этом лежит почти все довоенное еврейское население города. В грунте часто попадаются человеческие кости. Я сам видел, как окрестные подростки, раздобыв из оврага человеческий череп, пугали им девочек, убегающих со смехом и визгом. Рядом, еще чуть повыше, у кирпичных заводов до революции произошла всемирно известная история — убийство подростка, который найден был в одной из местных глинистых пещер со следами ритуального убийства, приписанного евреям... Местность эта, получившая столь всемирное звучание, хоть и в садах, но всегда какая-то ветреная, пыльная, неудобная, с большим числом строительных объектов, со столовыми, откуда несло даже не борщом, а щами. Заводы здесь были мелкие, но дымные, едкие... Правда, недалеко от оврага, полного костей, располагалась пекарня и фирменная ее булочная, где всегда продавали мягкие булочки, бойко раскупавшиеся. Но я брезговал их покупать... Эта часть города испокон веков служила сосредоточением жителей среднего и ниже среднего достатка, выбившихся из бедности, из окрестных деревень либо опустившихся сверху, из нагорной части вследствие разорения, и потому дома здесь были полугородские, полусельские, но всегда лишенные покоя. Жили здесь большей частью люди деятельные и недовольные. Отсюда накатывались вверх до революции и в революцию бунты и погромы...

В основном здесь виды пыльные и скучные. Но есть и замечательно красивые места, особенно когда цветет вишня... Бройды, как я уже говорил, жили в приятном и любимом мной месте, на тихой, мощенной булыжником улице, в сером пятиэтажном доме, на первом этаже... Войдя в подъезд, я вынул из-под пальто трость, оперся на нее и позвонил. Открыла мне мать Бройдов Надежда Григорьевна. На лице ее сразу же появилась радостная улыбка. Я поднял в знак приветствия обе руки вверх, хоть мне и мешала трость (этот жест радости я почерпнул на футболе. Он мне понравился, и я его в определенной приятной обстановке применял, так же как и футбольную разминку, легкое подпрыгивание с ноги на ногу, придающую мне в моих глазах и глазах этих далеких от лихостей улицы и спорта людей спортивный и физически крепкий вид). Пройдя коридор, я хотел пройти в комнату, однако навстречу мне выбежала Ира Бройда.

— Я по дверному звонку уже вас чувствую,— сказала она, блестя глазами (мы с ней были на «вы»).

— Ира, почему он сдается, когда приходит?— спросила Надежда Григорьевна.

— Каждый делает то, что ему нравится,— сказала Ира.— Почему вас так давно не было?— спросила она меня, не скрывая радости от моего прихода.

— Дела,— коротко, даже сухо ответил я ей. (Напоминаю, у меня был график, по которому я не позволял себе посещать Бройдов чаще раза в неделю, чтобы не обытовить отношения.)

В комнате Цвета Бройда, уже одетая в пальто, стояла перед зеркальным шкафом. Муж ее, Вава, тоже одетый, сидел на диване. Петр Яковлевич ел у стола винегрет, по-слепому тыча в тарелку вилкой и подсыпая то перчика, то соли. От вида винегрета у меня свело желудок, и, к стыду своему, я не мог побороть чувство тревоги и досады. Цвета уже в пальто, значит, надо уходить без обеда, на который я рассчитывал чрезвычайно. Этот обед нужен был мне, кстати, и с точки зрения своего генерального жизненного плана, к осуществлению которого я приступал.

Впервые Цвета вела меня в общество, куда я давно стремлюсь. Я умею терпеть голод, но при этом знаю, что становлюсь вял, малоинтересен, ненаходчив в мыслях и даже глуп. Предстать со всеми этими качествами перед людьми, в обществе которых я надеюсь найти себя, значит лишить свое «я» серьезных возможностей и преимуществ (в которые я верил. Разумеется, сам я не собирался выказывать свое «кинкогнито», свою тайну, но был убежден, что в том обществе это ощущается самопроизвольно).

— Знаешь, Гошенька,— сказала мне Цвета,— еще немного, и мы ушли бы без тебя... Разве можно так опаздывать?.. Приехал Арский (она назвала фамилию очень крупной столичной знаменитости). Приехал Арский, хочет меня видеть.

— Арский?— с невольным удивлением переспросил я.

— А что такое Арский?— саркастически сказал Вава (единственный, кто меня не любит в этой семье,— это Вава. Кажется, он ревнует ко мне Цвету. Смешно. Цвета сутула и худа. Несмотря на свою ущемленность в отношениях с женщинами, а может, и благодаря своей ущемленности я могу влюбиться только в по-настоящему красивую женщину. Поэтому и влюбленность Иры, не похожей на Цвету, но некрасивой по-своему, позволяет мне лишь обращаться с ней сурово, а не отвечать взаимностью.)

— Знаешь что,— повернулась к Ваве Цвета,— какой бы Генка ни был в быту, это личность и назаурядный талант. (Она назвала Геннадия Арского «Генка», и я отметил это про себя с приятностью и восторгом, но не позволил себе этот восторг приобщения к необычному выказать. Да, через знаменитость, названную при мне «Генкой», я начал приобщение к чему-то, во что всегда верил,— к жизни, не похожей на ту, где я ныне прозябал так, как будто пребывала эта жизнь на иной планете.)

— Арский дутая величина,— с некоторой даже злобой сказал Вава,— недавно ты сама говорила... А сейчас изменила мнение, потому что он тебя обласкал...

— Ты просто завидуешь Генке,— крикнула супругу Цвета,— а что касается обласкал— то когда Генка видит меня, бежит сразу навстречу... Если даже видит на другой стороне улицы... Всегда... (Кажется, Вава нащупал какое-то болезненное место своей жены. Более он уже ничего ей не говорил, а, удовлетворенный, попавший в цель колкостью, улыбался, показывая лошадиные зубы.)

Однако тут в дело вмешался добрейший Петр Яковлевич, который буквально преобразился, слушая своего зятя.

— Вы когда-нибудь клопов давили?— резко спросил он, подняв свою слепую голову. (Вопрос этот мне непонятен. Очевидно, между ними уже был разговор, содержание которого я не знаю. Вопрос этот связан, вероятно, с тем разговором.)

Вава сразу перестал улыбаться и крикнул, вскочив:

— Если бы вы не были слепы...

— Это единственный плюс в моей беде,— сказал Петр Яковлевич,— то, что я вас не вижу...

Вдруг Цвета, совершив в своих чувствах полный поворот, вызванный излишней откровенной резкостью отца, вступилась за мужа.

— Не ходи к ним,— сказала она Ваве,— зачем они тебе нужны?.. (Цвета и Вава жили отдельно от родителей.)

— Не надо вмешиваться, Бройда,— сказала Надежда Григорьевна (она своего мужа звала по фамилии),— ты ведь видишь, к чему это приводит.— Очевидно, в волнении она высказалась неточно, сказав слепому «видишь». При желании это могло быть истолковано в обидном смысле, и Вава немедленно воспользовался подобной оплошностью, громко засмеявшись.

— Возьми своего мужа и уходи,— всплыв, сказала сестре Ира.

Это не входило в мои планы и напугало и обозлило меня

(на Иру я мог злиться, чувствовал такое право), но тут же на помощь мне пришла Надежда Григорьевна.

— Ира, ты тоже перестань вести себя, как злая соседка, а не как сестра... (Надежда Григорьевна в младшей своей дочери Цвете души на чаяла, гордилась ею и собирала все вырезки, где упоминались ее сочинения, не говоря уж о самих сочинениях.)

— Пойдем, Гоша,— сказала мне Цвета.

— Гоша должен поесть,— сказала Ира.

— Мы опаздываем,— сказала Цвета.

Теперь прежде всего я должен сказать о своем состоянии во время семейного скандала, который я наблюдал здесь впервые (бывали они, как я понял, и раньше, но не в моем присутствии). Странно, но он был мне приятен. Не тем, конечно, приятен, что эти люди, которых я привык видеть улыбающимися и любящими, вдруг рассорились и предстали в ином качестве. Скандал этот, носивший домашний, бытовой характер, но разгоревшийся вокруг бытовых взаимоотношений с всесоюзной, а может, и всемирной знаменитостью, причем в моем присутствии, поднимал меня в моих собственных глазах на новую ступень общественной лестницы, и я становился участником событий, которые к моей прежней ничтожной жизни доходили лишь в виде обрывков анекдотов и сплетен.

— Идите, Гоша, мыть руки,— сказала мне Ира, и я подчинился с неприличной поспешностью, интуитивно чувствуя, что без обеда мне уходить никак нельзя, поскольку уже сейчас переставал от голода логически мыслить.

Я разделся, помыл руки и в ожидании обеда прошелся по комнате, опираясь на трость. Скандал как-то быстро утих, и каждый занялся собой. Вава углубился в газету, Петр Яковлевич, наверно от пережитого волнения, неточно попадал вилкой в винегрет, иногда скользя по краю тарелки. Цвета сняла пальто и сказала:

— Ну, лопай, Гошенька... Они ведь тебя любят больше, чем родную дочь... И сестру... Особенно эта старая дева...

У меня испуганно екнуло сердце после «старой девы» в ожидании нового скандала. Ире уже 36, но она не замужем. Однако на «старую деву» она не оскорбилась, а, наоборот, улыбнулась.

Странные у них отношения.

— Только трость оставишь здесь,— сказала мне Цвета,— там общество не аристократическое...

С Цветой меня познакомил мой земляк, ночевавший в позапрошлом году у меня на койке, в общежитии. Он учился с Цветой в столице, и там у нее была какая-то скандальная

история, папахивающая чуть ли не политикой. Через Цвету я и попал в семью Бройдов, где позволял вести себя как баловень, несколько лениво, чуть развязно, и позволял себе подтрунивать над Ирой, получая и от этого странное удовольствие, а иногда даже над Надеждой Григорьевной, тут, разумеется, в определенных рамках. Интересно, что я был доволен, когда не заставлял Цвету (не говоря уже о Ваве, который просто портил мне настроение, при Ваве я считал свое посещение несостоявшимся). Однако Цвета, которая считалась моей главной знакомой и с которой нас связывали общие духовные интересы, лишала меня своим присутствием подлинной радости в этом единственном месте, где я позволял себе даже капризы. В этом доме я занимал странное положение полугостя, полуприемыша, причем приемаши своенравного и любимого, которому позволено лишнее. Присутствие же Цветы, любимой дочери, не менее меня здесь капризной и своенравной, как бы отнимало у меня значительную часть внимания Надежды Григорьевны и Петра Яковлевича (особенно Надежды Григорьевны), и я начинал ловить себя на том, что испытываю что-то вроде смешной и глупой ревности, я чувствую, как ревную родителей Бройды к их родной дочери... С другой стороны, отсутствие Иры также ухудшало мои возможности, что-то пропадало в моих взаимоотношениях со стариками Бройда (им обоим было лет под 60), исчезала какая-то обязательность моего присутствия и вдруг появлялись какие-то отзвуки моего пребывания в семье Чертог — отзвуки приживала, разумеется, самые отдаленные, может быть, внушенные мне самим собой, которые совершенно искренне никто, кроме меня, не чувствовал.

Но за годы моей «висячей» жизни у меня на этот счет выработалось удивительное чутье, как у канарейки к угару. Я это чувствовал по таким ничтожно меркантильным деталям, даже деталечкам, как плохо подогретый вчерашний суп, или, по тому, например, если они, когда я, желая проверить их ко мне отношение, брал книгу и, насупившись, садился в угол, очень скоро обо мне забывали, занимаясь своими делами. А уж о том, чтоб покапризничать или подразнить Надежду Григорьевну, то у меня на этот счет все мысли пропадали. Совершенно по-иному ухудшалось мое пребывание, когда я заставлял Иру одну, без родителей. Я, правда, даже усиливал капризы и передразнивания, однако рано или поздно наступали некие паузы весьма щекотливого характера, которые я с нервной торопливостью пытался замять новыми капризами и передразниваниями, звучащими, однако, неестественно. Так что лучше всего было, когда присутствовали ро-

дители и старшая их дочь Ира (так оно чаще всего, кстати, и случалось), тогда я чувствовал себя особенно раскованно, свободно, лениво и ел прекрасные ароматные обеды (в моем бюджете они, эти обеды, занимали серьезное место, и, распределяя деньги на месяц, я попросту на них рассчитывал, пусть это и звучит грубо и выставляет меня ловким дельцом и человеком голого расчета даже в отношении моих друзей).

Во время угрызений совести и так называемого «духовного самотиранства» (такое случается со мной, иногда даже без повода или от настолько ничтожного повода, что и приводить нелепо), во время подобных приступов пессимизма я думаю и о моей искренности в отношении с Бройдами. Окончательно я себя не оправдываю, но нахожу смягчающие обстоятельства. Во-первых, я действительно искренне рад их видеть и, не существуя моего графика, рад бы видеть их ежедневно. Что касается обедов, то зарплата моя невелика, премию я получил раз за три года, к тому же, будучи человеком твердого характера и экономным, каждую лишнюю копейку старался придержать, что особенно важно ввиду моего неустойчивого положения и зависимости от разнообразных покровителей...

Сейчас, съев полную тарелку великолепного овощного супа с клецками, я приступил ко второму, незаметно ощупывая вилкой под грудой дымящегося картофеля мясо, чтоб знать, в каких пропорциях, то есть кусках, его распределить с картофелем. Даже если б беловато-желтый выступ был костью, то и тогда мяса оказалось бы столько, сколько в трех по крайней мере столовских порциях. Но, прощупав вилкой, я убедился, что и этот выступ был не костью, а мягким, клейким хрящом с прожилками жира. Три столовских порции почти покрывали мои издержки на вино Юницкому. Я как бы перебрасывал часть моих расходов на Бройдов. Но все-таки и этим прибыль моя не кончилась. На третье Ира принесла тарелку, вернее, крупное блюдо, полное варениками с капустой. Я люблю их более традиционных вареников с творогом...

Когда меня угощают вкусным обедом, особенно на голодный желудок, в душе появляется чувство глубокого умиления и жгучего желания сделать для этих людей что-либо по-настоящему хорошее, желание благодарности, которое превзошло бы все ожидания. Никогда ни по какому другому поводу я не испытываю подобной признательности и благодарности, а между тем жизнь научила меня ценить любой поступок, идущий мне на пользу, поскольку в этом городе ни один из подобных поступков не был сделан по необходимости, но исключительно по доброй воле людей, ничем мне не обязанных. Обеды Чертогов, например, я воспринимал с большей

благодарностью, чем их ночлег, что было нелогично, поскольку пообедать я мог бы, в конце концов, и в столовой, несколько потратившись, ночлег же мне было найти нигде. Очевидно, благодарность за обед возникала под воздействием момента и физиологического состояния организма, в благодарности за ночлег уже участвовал разум, а следовательно, и скептицизм. Сила этой физиологической благодарности организма (назовем ее так) иногда доходила до того, что в высший момент наслаждения, когда голод еще боролся с сытостью и не наступало чувство удовлетворения, я ловил себя на желании поцеловать руку, дающую еду, желании диком, собачьем каком-то желании, причем бесправных дворовых собак.

После удовлетворения голода и появления тяжести в животе разум мой, до того ведущий расчеты, которых я стыдился, пытался помочь уязвленному самолюбию, также пробуждающемуся от сытости, однако все это лениво и не смело, так что подобные борения приводили к нескольким мрачным минутам над пустыми тарелками... Чувство («физиологической благодарности») шло на убыль гораздо быстрее, чем возникало, а нравственно казнил я себя за него редко, почти что никогда. Я говорю о том с такой осторожностью потому, что был как-то случай, когда под воздействием этого постыдного чувства я совершил некое реальное движение (вот движение — уже непростительно) и после этого действительно испытал муки стыда... Однако случилось это, к счастью, не у Бройдов, и не у Чертогов, и не у Михайлова (я у него три раза обедал), а у совершенно иной моей знакомой — Нины Моисеевны, квартирохозяйки бывшей моей школьной знакомой, которая в этом городе оканчивала мединститут. Соученица окончила институт и уехала два года назад, но у Нины Моисеевны я еще некоторое время бывал, пока однажды, набегавшись, наголодавшись и устав, придя в ее уютную, теплую комнату, чуть не совершил свой нелепый собачий поступок. Бывать я, конечно, у нее перестал, тем более вскоре появились Бройды, так что каждая неудача улучшала мое положение.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Доехали мы с Цветой и Вавой на трамвае. Платил Вава. Я вел себя не совсем благородно и мучился этим. Еще на трамвайной остановке я стал рассеян, думая о складывающихся обстоятельствах. Два лишних билета равны бублику

или булочке. С кипятком это уже легкий ужин. Более того, будь я один, вполне мог, судя по адресу, дойти пешком. Хоть и вверх, но зато по хорошему тротуару, освещенному так, что не было опасности удариться о камень и разбить туфли (чего я чрезвычайно боялся). Вообще обувь — мое самое больное место. Порвись рубашка, я могу сам ее зашить или заменить другой. Обувь не зашьешь, и, порвись туфли, придется носить рабочие сапоги. Значит, я буду ограничен районом общежития, а при нынешних обстоятельствах бывать там днем мне нельзя. Тем не менее я все-таки чаще хожу пешком, если такая возможность есть. Хожу и ругаю себя за это, поскольку веду себя, как начинающий шахматист, не умеющий смотреть на два-три хода вперед. Стирание подметок, не говоря уже об опасности разорвать туфли, превышает в конечном итоге стоимость трамвайных и троллейбусных билетов, но покупка билета — это ведь реальные сегодняшние потери, и я не нахожу в себе силы психологически их преодолеть. В этом есть и свой резон. Ежедневные траты, которых можно было бы избежать, то есть не предельно необходимые, ведь также оказывают психологическое воздействие и уменьшают способность организма к максимальной собранности. Даже при подобном темпе затрат мне отпущено не более пяти месяцев, чтоб, сидя на сберкнижке и не рассчитывая на новые поступления, добиться перелома в своей жизни. Вот почему, сам ощущая неблагополучие своего поведения, я разработал на трамвайной остановке и осуществил план уклонения от оплаты проезда. Когда подошел трамвай, я начал смотреть по сторонам, словно кого-то увидел, так что даже Цвета меня окликнула. Тем временем, как я предполагал, Вава наткнулся на кондукторшу и расплатился. Беда была лишь в том, что Вава, кажется, понял мое поведение.

— Ты чего? — удивленно спросила Цвета, когда на ее оклик я побежал и вскочил на подножку (вскочил чрезвычайно рискованно, едва не поскользнувшись, и когда трамвай уже тронулся).

— Показалось, знакомого увидел, — сказал я.

— Странный ты, Гошенька, — сказала Цвета, — мы опаздываем, а ты ищешь знакомых.

И вот тут Вава как-то нехорошо улыбнулся, посмотрев на меня, и намотал три купленных им билетика на палец. Меня даже в пот бросило. Я чрезвычайно стыдлив, если какая-то моя ложь и внутренняя нелепость обнаруживается. Поэтому я не люблю людей, которые понимают некоторые тайные движения, а такое случается, если эти люди в подобных тайных движениях хоть чем-то похожи на меня. Вава похож.

Жизнь у него совершенно иная, но он так же тщеславен, правда, открыто и требовательно, и в то же время, как и я, нуждается в помощи, впрочем, получая ее от родной матери и тетки, которые его любят, то есть эту помощь обязаны ему оказывать, как благодетель Вова ее, наверно, не ощущает... Он окончил университет, но не работает, не знаю почему, и, так же как и я, нуждается материально. Уверен почти, что на трамвайной остановке он внутренне тоже уделил внимание вопросу об оплате за проезд, может, конечно, не так тщательно, как я. Предположение, что Вова понял мою нелепую копеечную ложь, испортило мне настроение, и, лишь прибыв на место и войдя в подъезд, я сразу как-то избавился от этого чувства (со мной такое бывает), начав, наоборот, ощущать некое торжественное волнение. Этому способствовал и сам подъезд, где ощущалась зажиточность жильцов. Было тепло, чисто, пахло вкусно, но не чем-то определенным, а именно зажиточностью, которую я уважал. (Есть тип бедных молодых людей, которые ненавидят зажиточность. Я же, при всем своем тщеславии, испытываю перед зажиточностью даже некую почтительную растерянность.)

Лифтерша с сытым, добрым лицом, отложив вязальные спицы, спросила нас, на какой этаж и к кому. Мы поднялись в лифте с полированными стенками и зеркалом, вышли на лестничную площадку. Цвета позвонила у обитой кожей двери. Открыла нам женщина лет пятидесяти. (Как выяснилось впоследствии — прислуга, но на серьезных правах в доме.) С Цветой она поцеловалась. Тут же вертелась большая сильная овчарка (также признак зажиточной и полной излишеств жизни). Я снял пальто, шапку и осторожно поправил перед зеркалом галстук-бабочку из зеленого матового шелка. В моем распоряжении были считанные секунды, чтоб найти выражение лица (внешний вид мой меня удовлетворил и не вступал в противоречие с роскошной передней, с ее зажиточными излишествами, рогами оленя и золотистыми обоями). Надо было немедленно убрать с лица восторженность, кстати, вполне искреннюю, но оглуляющую меня. Убрать ее можно было испытанным средством, слегка циничной улыбкой, которая, однако, в конкретном моем нынешнем состоянии была опасной, поскольку в сочетании с блестящими подетски глазами придавала лицу театральность и портила даже его внешние черты (я считал себя красивым). Поэтому лучше всего моменту соответствовала рассеянная грусть, которая могла бы побороть блеск глаз — следствие нелепо бьющегося в волнении сердца. Блеск глаз скрывал мысль. Мысли — вот чего не хватало моему лицу. Это было обидно, по-

скольку я догадывался, что рано или поздно Цвета поведет меня в общество, где мне могут представиться серьезные возможности проявить себя и одним ударом изменить свою жизнь. Догадывался и готовился, понимая значение первого впечатления. Оно либо является положительным стимулом, либо ты должен быть семи пядей во лбу, чтоб переломить его, если оно негативно. Все манипуляции перед зеркалом я, разумеется, проделал мгновенно, однако так и не пришел к окончательному решению и поэтому не знаю, как выглядел, знакомясь с хозяйкой, молодой женщиной, красота которой могла внушить робость. Тем не менее я быстро нашелся и поцеловал ей руку, впервые в жизни прикоснувшись таким образом губами к телу красивой женщины (Вава это понял, будь он проклят). Однако хозяйка отнеслась к моей смелости благово, как к должному. Мы прошли в комнату. Я сразу узнал Арского, хотя в комнате было много народу (его снимки часто печатались в периодической печати). Глянув на него, я понял, как устарел мой наряд с галстуком-бабочкой, который давил мне горло, и тяжелый пиджак, в котором мне было жарко. Я помню снимок Арского, правда, позапрошлогодний, где он был в галстук-бабочке. Но ныне он сидел в расстегнутой у ворота рубашке из тонкой шерсти и в маленьком, казавшемся ему тесным (но в этом и был шик) темно-песочном пиджаке.

В комнате стоял длинный стол, крытый клеенчатой скатертью в зигзагообразных линиях. (Термин «абстрактный рисунок» я узнал позднее.) Стояло несколько столов, составленных вместе. За столом сидело человек двадцать, и среди них несколько молоденьких женщин и девушек. Одной было не более шестнадцати, кстати, самой некрасивой. Все остальные были красивы чрезвычайно. (Тем не менее ни одна не шла в сравнение с хозяйкой.) Несмотря на такое обилие народа (что не соответствовало моим планам, ибо интуитивно я ощущал в этом скопище немало соперников, желающих проявить себя и привлечь к себе внимание Арского), несмотря на обилие народа, Арский сразу заметил Цвету и, улыбнувшись, приветствовал ее. Это меня обрадовало, так как я был с ней и внимание Арского выделяло и меня из массы. Но далее события начали развиваться вовсе не по плану. Я надеялся, что Цвета представит меня Арскому, а она в ответ на его приветствия, как бы получив на то право, начала пробираться к Арскому, сидевшему в углу. Пробиралась она, я бы сказал, с чрезмерной твердостью, тряся стулья сидящих у нее на пути. Вава также последовал за Цветой. Я остался один, не зная, что предпринять и в какой степени я имею право на оби-

ду. Но тут же был вознагражден и выведен из трудного положения, причем в прямом смысле выведен хозяйкой, взявшей меня за руку нежными своими пальчиками и улыбнувшейся мне такой улыбкой, от которой с сердцем моим произошло нечто странное и перед чем казались смешными и жалкими все самые удачные и смелые интимные мечтания. Взявши меня за руку, хозяйка (ее звали Гая) повела меня в дальний конец столов, усадила (кожа моя сохранила память о ее прикосновении) и ушла встречать новых гостей, которые, судя по звонку в передней, появились. (Я уже заранее ненавидел их как соперников, отвлекающих внимание Арского и Гаи.) Гая вернулась сразу с двумя гостями (они не составляли компании, случайно пришли одновременно). Один из гостей был лет сорока, седой блондин (блондины седеют весьма своеобразно и красиво). Второй, пожалуй, моложе меня и по виду страдающий какой-то хронической болезнью, с землистым курносом лицом и красными веками. Блондина Гая усадила в середине столов, а курносого взяла за руку, как и меня, и, улыбаясь ему, повела в наш конец, усадила на стул. Меня это неприятно поразило. Настроение снова начало портиться. Я хотел поймать своим взглядом мягкие, как бархат, карие глаза Гаи, но она не то что избегала меня, просто, захлопотавшись, ходила мимо, стараясь угодить каждому гостю. Я огляделся. В нашем конце не было ни одной женщины, из мужчин же никто, кажется, не был меж собой знаком, так что взаимоотношениям еще предстояло сложиться. Подумав, я нашел свое положение не только справедливым, но и полезным, так как мог исподволь ознакомиться и составить внутренний план действия, нащупать нерв компании — каждая компания, даже случайно возникающая, имеет свой нерв, то есть свои правила поведения, свои вкусы и особенности, которые устанавливаются как-то негласно, но не являются средневзвешенным всей компании, а скорее суммируют оттенки борения меж собой наиболее ее выдающихся членов, к которым другие должны подстраиваться. Но в нашей компании, по моему предположению, Арский был не в счет, он как бы существовал над ней в качестве судьи. Значит, надо было нащупать борющиеся стороны помимо Арского, однако, пожалуй, в его районе, где находился эпицентр компании.

Мысли мои и расчеты прервала прислуга в хорошем шерстяном платье, которая внесла блюдо весьма аппетитной селедки с луком и поставила это блюдо на наш конец стола. Вообще вся еда, кстати чрезвычайно вкусная, стояла в нашем конце. Здесь были два блюда дымящегося картофеля, маринованные грибочки, колбаса сервелат, огромная миска салата

из яиц, картофеля, горошка и майонеза. Стояла также бутылка водки, две бутылки коньяка, яблочный сидр и много хлеба в плетеном блюде. В районе Арского стояла только бутылка легкого вина, ваза крепких зимних яблок и коробка шоколадных конфет.

— Передайте, пожалуйста, грибочки,— сказал кто-то.

Я повернулся к говорившему. Это был курносый. Я передал. Потом сам попросил картофеля. Мы начали есть, за едой и начали составляться взаимоотношения. Водки я не люблю, но сейчас выпил с удовольствием. В конце Арского так же все оживилось. Кроме того, я заметил, казалось бы, небольшую мелочь, которая тем не менее окончательно опровергла очередное нагромождение неприятных мыслей. А именно, за нашим концом почти рядом со мной сидел полный парень моего возраста, причем одетый в шерстяную рубашку не хуже, чем у Арского. Они с Арским несколько раз переговаривались прямо через стол и называли друг друга по имени (полного звали Костя). Значит, понял я, никакой пропасти между двумя концами стола не существует и никакой обидной предвзятости в распределении мест за столом не существует. Оживление между тем все больше увеличивалось.

— Но милый мой,— сказал вдруг Арский громко (это, очевидно, было темпераментным продолжением спора, который велся в том конце стола уже давно, однако вполголоса.)— Но дорогой мой,— снова сказал Арский,— в 1956 году у нас впервые появилось общество и общественное мнение.

— Ну понятно,— сказала одна из красивых женщин, сидевших недалеко от Арского,— с двадцать седьмого года общество перекочевало в концлагерь...

Арский глянул на красавицу быстрыми, совершенно изменившимися, приобретшими какую-то дикость глазами.

— Наше общество погубило себя добровольно,— сказал он,— во имя великих целей, как оно думало.

— Позвольте,— нервно выкрикнул некто в очках, причем с нашего конца стола,— вы что ж, под общую реабилитацию хотите и Сталина подвести?.. Что значит добровольно? Наше общество умерло от пыток... Причем не каких-либо утонченных... До этого мы еще не дошли в своем развитии... Нашему обществу просто проломили голову табуретом... Как это делали при Иване Красное Солнышко... То есть, я хотел сказать, при Иване Грозном и Петре Первом...

Как-то быстро, почти мгновенно, создалась за столом взвинченная, напряженная атмосфера. Говорили сразу несколько человек. Я был вознагражден, чувство, испытанное мной у Бройдов, когда я присутствовал при ссоре вокруг име-

ни Арского, ныне получило дальнейшее развитие. Я слушал с удовольствием, сжимая под столом кулаки (у меня есть такая привычка, когда я испытываю переизбыток радостной энергии, которой не могу дать выход). Я впервые слышал эти страшные, радостные до жути, смелые споры, о которых ранее лишь доходили ко мне слухи. Сидя за столом, я испытывал буйно-радостное революционное чувство оплевывания бывших святых.

— Не следует путать экономику с нравственностью,— говорил седой блондин, подобным началом привлекая к себе всеобщее внимание. (Я сделал для себя открытие, вернее, я знал это и ранее, но не сосредотачивался на этом. А между тем — главное начать... Если найти удачную фразу, необычную, очень умную, очень острую, очень даже нелепую, но главное «очень»... Позднее можно молотить и чепуху, тебя будут слушать.)

— Крепостное право экономически было необходимо России,— говорил блондин,— но нравственно ему нет оправдания... Вот где основа трагедии...

Нервное напряжение первых минут спора несколько спало, разговор переходил в выгодное для меня русло публичного обнаружения собственной личности. Я начал обдумывать мысль, с которой должен был начаться мой триумф, а может, даже и личная дружба с Арским. Лучше всего сказать что-либо дурное о Сталине, но только если оно необычно и заключено в своеобразную форму, поскольку просто дурным о Сталине теперь не удивишь. Одна из ниточек в этом направлении — мой отец, тюремная смерть которого, висевшая надо мной позором, ныне вдруг становилась не менее почетной, чем смерть на фронте. (До живого тела святых тогда еще не дошло, и оплевывание вечных ценностей началось позднее, и такие древние античные слова, как, например, героизм, оптимизм, или такие библейские, как идея, авторитет, вера,— такие слова еще были в цене, даже в самых смелых компаниях.)

— Культ ставит все дразги между людьми на политическую основу,— говорил друг Арского, Костя.

«Я вполне мог бы высказать эту мысль,— с досадой думал я,— как просто сказал и привлек внимание... А на что оно ему?.. Он и так с Арским на «ты»...»

— Влюбленность ничего не имеет с любовью общего,— сказал парень в центре стола,— так же как физически разные проявления — смех и кашель... Смех может перейти в кашель, а вот кашель в смех — такое редко бывает...

«Это что-то из другой оперы,— подумал я,— значит, и так

можно... Впрочем, я прослушал начало... Очевидно, оно связано как-то с культом».

— А вот, например, стихи удивительно своеобразные...— крикнул Вава (он сидел рядом с Арским).— В тот вечер, хмурый и осенний, лежали рядом я и ты... И друг на друга, точно волки, урчали наши животы...

— Ну, это уже литературное хулиганство,— сказала одна из красивых женщин (некрасивой шестнадцатилетней девочке стихи, кажется, понравились: она радостно взвизгнула).

— Верно,— вынес приговор Арский,— отвратительное словоблудие.

— Я, собственно, не говорю, что они хороши,— пробовал ретироваться, сохраняя достоинство, Вава,— я их привел как образец...

«Хорошо тебя отщелкали по носу,— злорадно подумал я,— нет уж, так нелепо я не вылезу... Лучше уж промолчу весь вечер и уйду не замеченный обществом... А жаль... Возможность есть, чтоб сказать что-либо удачное... Необычное... Вот, например, у нас в обществе это любят... Несколько раз «на телевизоре» начинался разговор о политике, и все рабочее, как один, ругали Хрущева, а о Сталине говорили с почтением... Сталин войну выиграл и каждый год снижение цен делал... На Рахутина, который пробовал возражать, так накинулись, что он еле ноги унес».

— Мало что пишут,— крикнул кто-то рядом,— в тюрьмы сажал... А на то и власть, чтоб сажать...

«Конечно, мне не надо так примитивно высказываться, а со своим критическим к этому отношением... И в то же время поставить как бы вопрос, адресуя его непосредственно Арскому...»

— Какая-то жизнь пролетела по комнате,— начал читать нараспев без предупреждения Костя,— не муха, не моль, не комар, не жучок... А нечто иное, живое и маленькое...

Вдруг его голос дрогнул, он замолк, прикрыл глаза и залпом выпил полстакана коньяка. Встала Цвета. Весь вечер (впрочем, давно уже была ночь) она сидела молча и в непосредственной близости от Арского, но далее, чем Вава, и как-то неудобно, на углу стола. Она встала, некрасивая, близорукая, сутулая, и сказала:

— Мне передали подстрочник одного из недавно умерших поэтов. Он прожил на свободе три месяца с небольшим... Я сделала перевод...— Она начала читать:— Я видел убийцу, он шел мне навстречу, в зеленом, застегнутом наглухо френче. Он бил сапогом мои ноги больные, и тонко звенели подковы стальные...— Цвета читала нараспев, по-современному,

модерно, однако тишина воцарилась вдруг за многоликим, полным внутреннего самолюбия и соперничества столом. Стихи не были отмечены талантом, но в них были кусочки живой боли, и к тому же Цвета несколько придала им литературный порядок. Арский встал и расцеловал Цвету в обе щеки. Раздались аплодисменты. Правда, наряду с аплодисментами раздались и отдельные критические замечания в адрес некоторых строк. Но на меня эти замечания не возымели действия. Я был настолько переполнен чувствами, что потерял осторожность и, лишь сказав уже несколько фраз, понял, что высказываюсь, причем без подготовки, не упорядочив мысли, достаточно примитивно их формулируя.

— А у рабочих, например,—говорил я,—Сталин по-прежнему любим... Сталин для них генералиссимус, который Гитлера разгромил и Берлин взял...

Я чувствовал, что говорю в полной тишине и все смотрят на меня, в том числе и Арский. Я хотел было обрадоваться, поскольку далее начинало у меня складываться довольно интересное продолжение и план, можно сказать, неожиданно начинал осуществляться самым лучшим образом. Но какой-то в очках в середине стола (в нашем конце стола тоже сидел человек в очках, чем-то они даже похожи, оба одинаково горячи), но в данном случае этот в середине стола вдруг крикнул:

— Да что же это такое... У меня семья разрушена... Менягноили... У меня легкого одного нет... А вы здесь Сталина восхвалять... Мерзавец!—припадочно крикнул он мне (я страшно боюсь припадочных и теряюсь перед ними).—Мерзавец,—заваливаясь на стул, повторил очкастый.

Это была катастрофа. Я слышал, как Вава сказал Цвете громко:

— Я тебя предупреждал... Не надо было приглашать провинциала... А ты на своем... Теперь облизывайся...

Цвета сидела отвернувшись.

— Вы меня не поняли,—испуганно залепетал я очкастому, которого каплями отпаивала Гая,—я сам против Сталина... То есть мои взгляды противоположны... У меня самого...

Арский посмотрел на бледное лицо очкастого и раздраженно махнул на меня рукой.

— Хотя бы сели,—сказал он мне с неприязнью.

Это была уже не просто катастрофа, а полный конец. Дорога к новой жизни, на которую я так надеялся, отрезалась, если не навсегда, то надолго. К тому ж я опасался, что после произошедшего порвется моя связь с семьей Бройдов. К счастью, раздался звонок и вошел новый гость. Он был пьян

и бедно, неряшливо одет, однако пошел к Арскому, и они обнялись. Потом он опустился на колени перед Гаей и публично поцеловал ей ногу (ему и это было позволено. Чувствовалось, что он здесь баловень).

— Аким,— радостно крикнула шестнадцатилетняя,— прочтите про троллейбус.

Аким (оказывается, нового гостя звали Аким) посмотрел на девушку и, стоя посреди комнаты, начал басом (неожиданно басом. Я был уверен, что у него фальцет).

— Я попал под троллейбус, на улице имени Ленина... Я попал под троллейбус, но выдюжил... Вот я живой...

— Не надо, Аким,— сказал Арский.

— Что,— побагровев крикнул Аким,— в придворные выбился?.. (В последнее время в этой комнате чрезвычайно кричали.)

— По-моему, ваши вирши элементарно непристойны,— сказал Аким седеющий блондин.

Гая поспешила замять скандал:

— Просто, Аким, здесь присутствуют и чужие...

— Ваш солипсизм,— не унимался седеющий блондин,— ваше желание доказать, что мир вертится вокруг вас, смешно и наивно...— Это был тот самый нравственный удар, о котором я уже упоминал. Направленный не в меня, он поразил мою тайну, мою идею, оказывается, не оригинальную и имеющую даже научный термин. Я был настолько удручен, что не заметил вначале, как в дело вклинилось новое действующее лицо.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Собственно, оно было не новым. Речь идет о том самом курносом, который сидел рядом со мной и даже просил меня передать ему блюдо с грибочками. Но был курносый настолько болезненно-ничтожным, что я его в расстановке сил за столом во внимание не принял (хоть разок, кажется, мельком отметил, что курносый находился в протесте то ли к компании в целом, то ли к отдельным ее членам).

— Мне хотелось бы высказать мысли иного плана,— продолжал курносый, когда я обратил на него внимание,— тридцать лет мы жили в России без правды, без этого национального, русского блюда, такого же сытого и лакомого, как черный крестьянский хлеб... Пора быть честным... Время пришло.— Он говорил, странно запрокинув свое болезненное лицо, ни на кого не глядя, убежденно и страстно, и в короткий срок приковал к себе внимание.

— Не знаю, как лучше начать, — говорил он, — может, для завязки прочесть басню... Но беда в том, что первые ее строки не совсем литературно оформлены... Хоть можно их и своими словами... Речь в них идет о земле, вернее о поле, где каждый клочок полит потом наших предков и каждый злак добывается тяжелым трудом... Так вот, на это поле, калеча тяжелый крестьянский труд, забирается коза... Далее у меня переписано... Я прочту, — он вынул бумажку из бокового кармана, распахнув пиджак, так что я увидел довольно рваную подкладку и с горечью подумал, что курносый явился сюда с той же целью, что и я, а именно, завоевать общество, — так вот, — продолжал вдохновенно курносый, — кот Фома, сторож, хватает эту козу за загривок... Но... Сия коза не из простого рода. Она кормилицей была известной отрасли еврейского народа. Савицкий Меир с Голдой своей и целой кучею детей козы той молоком питался, народ еврейский ею размножался. Но кот Фома не знал, что та коза была столь знаменита. Он за рога ее поймал. В участок потащил открыто. Как вдруг (представьте сторожа испуг), как шавка, в него вцепилась Малка. Явилась Голда вслед за ней, бросая молнии из очей. За Голдой выскочила Хая. За Хаей Сура, Хана, Шая, за ними Меир, Янкель и Абрум, и поднялся великий гвалт и шум...

Думаю, курносый дочитал, пользуясь исключительно элементом внезапности. В обществах такого рода публичный честный антисемитизм вряд ли мог принести успех. В подобных антикультовских обществах, наоборот, публичное бичевание антисемитизма служило способом самоутверждения. И, действительно, едва прошла первая шоковая минута, как, не сговариваясь, человек пять вскочило одновременно. В их числе Арский, Вава, седеющий блондин, один из очкастых (не мой враг, который, очевидно, произошедшим был парализован, а тот очкастый, который спорил с Арским об обществе). Все они устремились к курносому, но, по-моему, не понявшему реакцию на свою басню и по-прежнему стоявшему с бумажкой в руках. Я же сразу сообразил, что они хотят дать курносому пощечину, но лишь когда это произошло, ужаснулся своему глупейшему поведению. Я сидел с курносым рядом и вполне мог дать ему пощечину сам, опередив остальных. Это был вернейший способ одним ударом (причем в прямом смысле) поправить свое положение в обществе, подмоченное моими неудачными рассуждениями о культуре. Причем это был честный способ, так как я испытывал к курносому с самого начала презрение, еще до чтения басни.

Ближе всех к курносому из тех, кто сообразил и не стерпел, сидел очкастый, но дотянуться рукой до щеки курносого

он не мог, завязнув ногами под столом и подпираемый плечом дремавшего в опьянении поэта Кости. Очень умело и гибко кинулся сам Арский, пружинисто перепрыгнув через стул. Однако в узком месте возле шкафа он столкнулся с Вавой, составившим конкуренцию самому Арскому. От двери бежала к курносому Гая, единственная женщина, решившаяся на прямые действия. Но первым возле курносого оказался сидящий блондин, шагнувший к нему просто и не суетливо. Он широко размахнулся своей крепкой ладонью народного интеллигента, имеющего рабочих и крестьян в самых ближайших поколениях. От этого широкого размаха не только на курносого, но даже и на меня, сидевшего рядом, повеяло ветром, и курносый невольно втянул голову в хилые свои, болезненные плечи. Однако дал пощечину все-таки не блондин, а некий иной молодой человек, одетый с бедной рокошью в какую-то толстовку и пестрый, явно единственный, выходной галстук. Этого молодого человека я не замечал ранее, что лишь говорило в его пользу и лишний раз выставляло передо мной глупость моего поведения. Этот молодой человек, безусловно, как и я (с первого взгляда узнаю своего брата, будь он проклят), этот молодой человек, безусловно, нуждался в протекции, в переломе своей жизни, но не влезал, подобно мне, в безрассудные разговоры, а терпеливо ждал своего часа. Зато, когда этот час настал, он сумел собрать всю свою энергию в кулак (именно правой руки) и буквально выложиться, выскочив в последнюю секунду из-за спины замешкавшегося на широком размахе блондина, и ударил резко и коротко, но довольно ощутимо, так, что курносый даже пошатнулся. И при этом как-то взрывом, громко захохотал Аким. Блондин в досаде опустил руку (вторую пощечину подряд в приличном обществе давать не положено, это уже избиение или драка). Набежавший в то же мгновение Арский лишь обнял неизвестного молодого человека за плечи, тяжело дыша и с неподдельной ненавистью глядя на курносого, у которого из разбитой губы текла кровь. Я погибал, задыхался от обиды и злобы на себя. Вот так же Арский мог стоять и обнимать меня, будь я расторопней и талантливей. Я глубоко бездарен, и это проявляется во всем и непрерывно (у меня кружилась голова от выпитой водки. Я выпил стакана два). А моя идея, моя тайна, которую я хранил под сердцем, называется солипсизм и является достоянием каждого бездарного болтуна...

Меж тем курносый, оправившись от пощечины, как-то изворачиваясь всеми членами, точно его трясло изнутри, крикнул:

— Лицемеры! Чем же вы лучше сталинских палачей?..

Сталинских чекистов... ЧК был еврейский орган, созданный для издевательства над Россией, над славянством... Моего отца пытал в концлагере еврей Брук... Я выяснил фамилию следователя... Сталин — эпизод, а они... Испокон веков они несли грязь в наш дом своими грязными галошами...

— Кто его привел? — гневно спросил Арский.

— Я, — ответил Костя, устало и тяжело. (Он вовсе не был пьян, как выяснилось.)

— И не в том дело, — вдруг смешавшись, сбитый, очевидно, криком Арского или вздохом Кости, сказал курносый, — вот Костя, например, еврей, но не в нем же суть... Я говорю об идее...

— Выгнать его вон, — крикнул припадочно очкастый (на этот раз не тот, что сидел близко от меня, а мой враг с середины стола).

Сердце мое сжалось в недобром предчувствии. То, что мой главный враг берет дальнейшую инициативу по расправе над курносым на себя, не предвещало для меня ничего хорошего... И мои предчувствия не обманули меня (дурные предчувствия редко обманывают).

— И того, — крикнул очкастый, указывая на меня, — это одна антисемитская компания...

Я хотел возразить, опровергнуть, призвать на помощь Цвету, но она сидела, по-чужому отвернувшись (в первые мгновения я обиделся, но впоследствии понял — не следовало. Слишком я себя запятнал).

Блондин положил свою тяжелую руку на шиворот курного, взяв его сзади, и повел из комнаты. Меня за шиворот не вели, это я точно помню, а все остальное забыл. Как одевался, как вышел. Очнулся лишь внизу, в подъезде рядом с курносым, который горько плакал от ненависти и обиды... Если б меня попросили дать один короткий символический образ того мутного времени, то я бы припомнил метельную мартовскую ночь, когда чуть ли не спущенный с лестницы людьми, к которым стремился и о дружбе с которыми мечтал, стоял у подъезда рядом с неприятным мне, злобно плачущим, сжимающим в гневе бледные кулачки, явно хронически большим активистом-антисемитом.

Мне бы молча повернуться и пойти к трамвайной остановке, ждать дежурного трамвая (оглядевшись, я узнал местность и определил: неподалеку остановка «четверки», идущей к вокзалу. Именно там я мог провести остаток ночи). О возвращении среди ночи в пьяном виде в общежитие не могло быть и речи. Звонком я должен был бы будить дежурную, а ею могла оказаться Дарья Павловна, мой враг. Конечно,

можно было бы и через балкон прямо в коридор второго этажа. Но, во-первых, впопыхах я забыл приподнять шпингалет балконных дверей, а во-вторых, лезть глубокой ночью через балкон чрезвычайно опасно. Вечером, попавшись, можно выдать это за шутку и при удачном поведении отделаться выговором. Поздней же ночью смешить некого, и провал мой окончится намеренной катастрофой. Значит, оставался вокзал. Но я был так сейчас измучен (внезапно наступил полный упадок сил), что не мог представить себя среди вокзального гула, духоты, плача детей. К тому ж в это время все скамьи, как правило, заняты транзитниками, а к пяти часам вовсе выгоняют из главного зала, поскольку там начинается уборка. Кроме того, я сильно ослабел не только физически, но и нравственно, поскольку со мной не было более моей идеи, я был — вот он весь, с потрохами: с измятым галстуком-бабочкой, криво, по-официантски сидевшим, в измятых брюках и нелепом пальто. И все. И никакой святой идеи, никакой невидимой миру внутренней силы, никакого внутреннего света за этим внешне жалким образом не стояло.

Все эти мысли пронеслись у меня как-то мгновенно, и не в виде конкретных образов или формулировок, мной здесь приведенных, а в виде двух-трех ощущений, на первый взгляд, далеких от ныне сформулированных мыслей. Да, это были мысли в виде физических ощущений. Я чувствовал во рту кисловатый привкус, какой бывает, когда долго не чистишь зубы, а на спине в нескольких местах холод, кожа лица была напряжена такой гримасой, какую увидишь разве что в ночном кошмаре. Интересно, что я видел вполне ясно эту гримасу, не имея перед собой ни зеркала, ни стекла. Видел мозгом, как видят во сне, и когда я ощутил все это, то мной овладел приступ такой черной злобы, при которой человек способен на все и которая порождена, как мне кажется, завистью к благополучию мертвых или еще не родившихся. Порочные ощущения, не поддающиеся формулировкам, содержат в себе дьявольскую силу и опасней любых, пусть самых преступных формулировок. Даже некоторые бытовые мысли, например, о мучениях в вокзальной духоте, лишённые под влиянием момента, под влиянием душевного надлома конкретной плоти и ощущаемые в качестве неких физических символов, могут стать страшным орудием слепой злобы. К счастью, мое физическое состояние лишило меня возможности действовать. Но злобное чувство мое выразилось весьма своеобразно. Человек, который был мне крайне неприятен еще несколько минут назад, вдруг вызвал во мне сочувствие. Я ощутил общность с ним, и мне показалось, что

с нами обоими поступили несправедливо. Меж тем человек этот продолжал плакать, размахивая кулаками уж как-то устало, не вытирая слез, совершенно не стесняясь меня. Видно, его часто выбрасывали и били, так что он привык не стесняться, и это дало мне возможность ощутить превосходство над ним, поскольку я никогда не показывал своих слез на людях.

— Тебя как зовут? — спросил я спутника своего, несколько покровительственно.

— Илиодор, — сказал он всхлипывая, — имя редкое, церковное... Отец мой был священник... Его убили сталинские палачи, еврей-чекисты... — Он вновь начал возбуждаться.

— А меня Гоша звать, — сказал я, — мой отец тоже был арестован (впервые в жизни я произнес это вслух и при посторонних).

— Ты где живешь? — спросил Илиодор.

Я соврал какой-то адрес.

— Далеко, — сказал Илиодор, — пойдем ко мне, переночуешь.

Это была просто удача. Я согласился...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Илиодор жил в коммунальной квартире, в небольшой комнатухе вместе со старухой матерью. Когда мы вошли, было уже начало четвертого утра, но мать Илиодора одетая сидела у окна. Видно, Илиодор не впервые приходил так поздно и приводил постояльцев, поскольку на меня мать его взглянула без удивления. Я торопливо с ней поздоровался, имея в голове свой план и стараясь завоевать хозяйкино расположение. Дело в том, что, как уже известно, наступало время, когда мне крайне нужны были пристанища, пока утрясется мое выселение, а сегодня я лишился главной моей явки — Бройдов. Это была огромная брешь в моем плане, и сейчас я мучительно думал, в какой степени смогу компенсировать потерю Бройдов. Илиодор жил даже в более удобном районе, чем Бройды, и приходы к нему могли быть обставлены меньшими церемониями. Но самым огромным преимуществом было то, что у Илиодора можно было на худой конец и переночевать. Однако в остальном, конечно же, нельзя было сравнивать его с Бройдами. Там был уют, чистота, приятные лица, вкусный обед, тут же все сыро, нечистоплотно, убого. В комнате стояла низенькая железная кровать и застланная раскладушка. Стоял явно кухонный стол. Ка-

кие-то книги были сложены на полу и прикрыты газетами. Диссонансом выглядела тяжелая бронзовая лампа на столе и небольшой плюшевый коврик, некая жалкая претензия на предметы, составляющие не первую необходимость, а излишества. Первоначально я решил завоевать расположение хозяйки вежливым вопросом: «Вы почему не спите? Ведь поздно уже...» Если она ответит: «Не хочется!..» — я могу продолжить разговор нейтральной фразой: «Два ночных часа сна равны пяти часам дневного сна...» Примерно таким участливым разговором, правда, по поводу слепоты Петра Яковлевича, я в первые же минуты завоевал расположение Надежды Григорьевны Бройда...

Однако тут произошел некий эпизод, изменивший мой план. Мать Илиодора что-то сказала ему, и он в ответ вдруг молча размахнулся. Я испугался, думая, что он ударит ее по лицу, но он ударил ее по руке, правда, достаточно резко и сильно, так что она сморщилась и второй рукой начала потирать ушибленное место. Я понял, что никакого значения мать здесь не имеет и всем заправляет Илиодор.

— Это из-за меня? — тихо спросил я Илиодора.

— Нет, — пренебрежительно махнул он, — совсем другое...

Мать встала, вышла в переднюю (у них была небольшая отгородка, этакая передняя-кладовая). И вскоре вернулась еще с одной раскладушкой, начала мне стелить.

Мать Илиодора была вся какая-то неопрятная, нечесаная, седые космы свисали с головы ее в беспорядке, но в то же время отдельные детали говорили о том, что это не старуха, как показалось мне первоначально, а сильно постаревшая и опустившаяся женщина лет пятидесяти трех — пятидесяти пяти, а может, и того менее... У нее, например, сохранилась еще довольно высокая грудь бывшей попадьи, ноги ее также не выглядели ногами старухи, были полны и приятной формы.

— Может, гость голоден? — спросила она у Илиодора, не глядя на меня.

— Нет, нет, — поспешно откликнулся я, не дав Илиодору ничего сказать и боясь, что меня могут здесь чем-либо угостить. Во-первых, я был сыт, поев в компании Арского, а во-вторых, от матери Илиодора исходил какой-то сладковатый тошнотворный запах мертвечины (впоследствии я понял, что этот запах общий для всех реабилитированных, который держался особенно сильно на первых порах и у некоторых держится по сей день).

Конечно, запах этот был воображаемый и порождался внешним видом этих людей, как бы побывавших в ином мире и воскресших, так что с трудом можно было угадать прежний

их человеческий облик. Тем, кто побывал ТАМ с конца сороковых — начала пятидесятих годов, еще иногда удается утратить следы своего потустороннего пребывания, но в облике попавших ТУДА в тридцатые годы эти мертвые черты неустрашимы.

Когда я лег в постель, неожиданно довольно свежую, то видел некоторое время, как Зинаида Васильевна (мать Илиодора), погасив большую лампу, чтоб не мешать нам спать, опустилась в углу, согнувшись у чадающей на полу свечи. Я думал, бывшая попадья молится на коленях, и даже с интересом приподнялся на локте (видеть мне мешал стол), но неожиданно обнаружил, что она не стоит на коленях, а сидит на очень низенькой табуреточке и читает детектив (я прочел название детективной повести довольно низкого пошиба). Я повернулся к стене и очень скоро уснул. Спал я совершенно без снов (во всяком случае, снов не помню) и, проснувшись, долго не мог сообразить, где я и что со мной. Первое, что я увидел, были четверо, нет, скорей даже пятеро незнакомых мне молодых людей, которые сидели вокруг стола за бутылками и закуской, то есть образуя некое подобие компании.

— Добрый вечер, — весело мне сказала Зинаида Васильевна, входя с шипящей сковородкой.

Компания за столом засмеялась. Улыбнулась и Зинаида Васильевна своей шутке. Выглядела она значительно лучше, чем ночью, даже волосы прихвачены синей ленточкой. За столом сидел и гость постарше, лет сорока трех, который, к моему удивлению, по всем признакам ухаживал за Зинаидой Васильевной. Ради него она, пожалуй, и шутила.

— Добрый вечер, — снова повторила Зинаида Васильевна, ставя сковородку на металлическую подставку, — ну и поспали же вы...

Оказывается, был уже вечер следующего дня. Я упустил день, в который планировал заняться расчетом. Завтра в управлении выходной. Значит, упустил два дня.

— Мама, выйди, — довольно резко сказал Илиодор (я его заметил не сразу, поскольку он рылся в книгах). — Гоша должен одеться, — добавил Илиодор, дружески мне подмигнув.

Зинаида Васильевна поспешно вышла. Мне было неудобно перед чужими людьми своего нижнего белья, поэтому, неловко прикрываясь одеялом, стараясь не выказать в то же время, что я стыжусь, стал в первую очередь натягивать брюки, лихорадочно тыча в них босые ноги, и, зацепившись большим пальцем ноги, что-то разорвал. («Хотя бы по шву», — с тоской подумал я, ругая себя, что не надел вначале носки.) К счастью, разрыв оказался по шву и незначительный.

Пройдя вслед за Илиодором в места общего пользования, мимо каких-то коммунальных лиц, я два раза вежливо поздоровался — со стариком и полной женщиной, резонно полагая, что в коммунальной квартире соседи играют определенную роль в разрешении ночевки. Ни старик, ни женщина мне не ответили. «Значит, у Илиодора с соседями натянутые отношения», — беспокоило отметил я про себя. Умывшись и причесавшись (у меня было довольно выпавшее, отдохнувшее лицо), я вернулся в комнату и застал разговор в самом накале. Ругали Арского. Особенно горячился молодой человек в такой же, как у Арского, расстегнутой у ворота дорогой рубашке тонкой шерсти. Такие рубашки входили в моду, что я и отметил про себя. За этим столом в такой рубашке был лишь один, с крепким и простым именем и фамилией — Геннадий Орлов (напоминаю, Арского тоже звали Геннадием). Был, правда, еще один в подобной рубашке, Семен Савчук (Илиодор нас всех перезнакомил), но я явно видел, что на нем обыкновенный крашеный трикотаж. Остальные были одеты и того хуже, так что я, в моей мятой рубахе, не очень выделялся. На Иване Пантелеевиче (ухажере Зинаиды Васильевны) вообще была утепленная ковбойка и хлопчатобумажный пиджачок. Все молодые люди были студентами (Иван Пантелеевич был с семьей классами, но, как опытный практик, работал техником на бетонном заводе): Орлов учился на факультете журналистики, а остальные на филфаке университета, куда я мечтал поступить. Илиодор тоже был студентом филологического факультета, но несколько месяцев назад его за что-то исключили.

— Совершенно ясно, — говорил Орлов, — что шабаш вокруг Арского раздули евреи... Сами они русского языка не знают и слишком уж открыто его ненавидят... Точно как в старой, но не утратившей сегодня соли пародии Буркова. — И он продекламировал шепеляво и картаво: — «Я с пеною у рта бездарно сочинял в стихах бездарных вопли и угрозы, хрипел, шипел, плевался и глотал с проклятием еврейской злобы слезы...» Да, слишком злобны их слезы, а наши почетные евреи умеют это сделать почувствительней, помягче, понациональней... Вот они и разводят шабаш вокруг Арского и компании... Причем, главным образом, эти... С русско-украинскими фамилиями.

— Это точно, — чокаясь с Зинаидой Васильевной, сказал Иван Пантелеевич, — они теперь все Иваны Ивановичи, Степаны Степановичи. — Этот техник-выдвиженец явно выделялся из остальных примитивностью и грубостью суждения. По-моему, он шокировал Илиодора.

— Удивительное дело,— сказал Орлов,— до чего все-таки прогнила и обюрократилась партийная верхушка... От начала и до конца... Мой отец такой же... Шехтмана или прочего Рабиновича (оборот из известного сатирического романа. При этом обороте один из компании, Лысиков, бедный студент, явно ищущий покровительства Орлова, засмеялся), прочего Рабиновича,— повторил Орлов,— стараются не брать... Не давать ему возможностей... Но стоит Рабиновичу стать Ивановым или Иваненко, так все дороги открыты... Всюду Ивановы сидят, а русского найти невозможно.

— Они даже под армян подделываются,— смеясь сказал Лысиков,— помню, был у нас пацан такой, Антонян-еврей...

— Ребята,— сказал Савчук,— между прочим, я готовлю сейчас курсовую работу и наткнулся на очень любопытную вещь... Листовка полтавской организации «Народная воля», где приветствуются еврейские погромы как признак пробуждения народных масс от политической спячки...

— Ну, потом народовольцы отошли от такой программы,— сказал черноволосый парень, имя и фамилию которого я не запомнил.

— Потому что организация объевреилась,— быстро ответил Савчук.

— Никто с тобой не спорит,— сказал черноволосый,— вся революция объевреилась... В этом ее трагедия... В этом крушение надежд... Помнишь мечты Шевченко?.. Тай нема краше, як на нашій України, що нема жида, що нема пана и Унии не буде...

— Между прочим,— сказал Савчук,— эту надпись намечалось выбить на пьедестале памятника Богдану Хмельницкому. А под копытами коня Хмельницкого поляк и еврей, сжимающий награбленную церковную утварь... Однако Александр Третий запретил и потребовал изменить проект... В знак протеста автор проекта скульптор Микешин, русский патриот, отказался даже присутствовать на открытии памятника.

— Интересный факт,— сказал черноволосый,— я этого не знал.

— За две тысячи лет,— сказал Орлов,— евреи научились умело стонать и плакать... Стоит нам что-либо предпринять в свою защиту против их пакостей, как они начинают громко плакать, и мы пугаемся... Если мы не научимся спокойно выслушивать их стоны, они с помощью таких, как Арский, нас полностью поработят.

— Чего?— громко спросил Иван Пантелеевич. Он выпил более других, а закуска здесь, в отличие от компании Арско-

го, самая бедная и дрянная: бычки в томате, колбаса дешевая и хлеб без масла. Правда, вкусна оказалась жареная картошка, я ее ел с удовольствием.

— Чего?— снова громко переспросил Иван Пантелеевич.

— Чего, чего,— передразнил Орлов,— пейсы будешь скоро носить, вот чего...

— Да я,— громко крикнул Иван Пантелеевич,— война начнется, сам тысячу убью... При оккупации...

— Так ведь американцы евреев не трогают,— насмешливо подкалывал Савчук,— как же ты...

— Чего?— напряженно и пьяно соображая, уставился Иван Пантелеевич.— А они впереди себя ФРГ пустят... Я в газете читал...

За столом засмеялись наивности и глупости Ивана Пантелеевича. Я ел жареную картошку, стараясь сообразить, как вести себя.

— Тебя Гоша звать?— спросил вдруг меня Орлов.— Значит, мы тезки...

— Нет,— ответил я,— меня по паспорту Григорий звать.

— А почему же Гоша?

— Так прозвали еще с детства.

— Понятно,— как-то певуче и не своим голосом произнес Орлов.

Я сообразил, что он в этой компании самый опасный, и испытал досаду на себя за то, что пооткровенничал.

— Илиодор,— сказал еще один член компании, до того молчавший, кстати, чем-то на Илиодора похожий, бледностью лица и каким-то страдальческим выражением лица, делающим их в определенные моменты похожими на евреев,— Илиодор, ты бы прочел свою работу.

— Не сейчас,— сказал Илиодор.

— У него удивительно интересная работа,— сказал бледный,— он анализирует те места наших классиков, наших гениев, где они высмеивают и разоблачают евреев...

— Но Гоголь был совершенно непоследователен,— сказал Илиодор,— например, в «Выбранных местах из переписки с друзьями» он пишет о евреях по-иному...

— В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь был в маразме,— сказал раздраженно Орлов,— об этом и Белинский писал... Кстати, русский патриотизм Белинского облюбован евреями...

Меж тем я заметил, что ко мне за столом начинают относиться плохо. Прямо это плохое отношение не выказывалось (Иван Пантелеевич мог бы выказать и прямо, но он был уже сильно пьян и не в состоянии принять участие в интриге).

Хоть плохое отношение и не выказывалось прямо, тем не менее становилось заметно, поскольку Илиодор подошел и сел со мной рядом, наверно, чтоб выказать свою поддержку. Не знаю почему, может, потому, что нас обоих одинаково жестоко и обидно выгнали из компании Арского, но Илиодор ко мне быстро привязался. Это было для меня главным, поскольку ночлег принадлежал Илиодору. Однако я не знал все ж, в какой степени Илиодор способен противостоять действиям приятелей своих, направленным против меня.

Меж тем Орлов вел себя все более вызывающе. Думаю, каждой компании для того, чтоб поддерживать ее существование, нужен спор, противоборство. Если бы эти люди, сидящие сейчас за столом, могли заговорить о спорте, или о литературе, или о породах собак, или о марках вин, или о чем-либо еще, то у них наверняка вышел бы спор и сохранился бы интерес. Однако о чем бы они ни заговаривали, все это переходило к еврейской проблеме. Но скука, вечная спутница постоянства, проникала и сюда, и мне кажется, эти люди, столь единодушные в ненависти к евреям, вдруг испытывали страх, что их единодушие подорвет их единство, тема, связывающая их, будет исчерпана и надо будет заговорить о чем-либо ином. Тогда они станут малоинтересны друг другу. А когда такое случается в выпивающих компаниях, то неизбежна драка. (Как я понял впоследствии, такое между ними довольно часто происходило.) И вот ныне за мой счет они хотели этого избежать. К тому времени выпито было довольно много. Пью я редко, и из-за недостатка материальных средств и вообще из-за нелюбви к алкоголю. В компаниях же пью, главным образом, из-за закуски: неудобно ведь есть и не пить. А когда человек пьет, не испытывая удовольствия, то он пьянеет не постепенно, а внезапно и тяжело, словно впадает в обморок, если исчерпаны силы, или в буйство, если силы на взлете. Я спал весь день и потому чувствовал, что если на этот раз опьянею, то впаду не в сонный обморок, а в буйство. Я уже заметил приближающиеся признаки буйства, ибо обратил внимание на пепельницу из керамики. Все время я ее не замечал, а сейчас понял, что именно этой пепельницей ударю Орлова.

— Какой ужас,— сказал Илиодор,— отойдем, Гоша, постоим у окна.

И без всякого перехода Илиодор далее начал рассказывать мне свою жизнь. Воспитывался он у деда (я тоже некоторое время воспитывался у деда и сказал о том Илиодору, перебив его). Отец был священник в Западной Украине, перед войной, в сорок первом, они переехали в этот город, и здесь

его арестовали как шпиона... Мать в прошлом году вернулась из заключения по реабилитации и получила эту комнату... Поступил в университет, но преподаватель политэкономии, конечно, еврей, начал к нему придирааться... Была неприятная история... Исключили, хотели судить... Я этому еврею в лицо плюнул...

— Что мне делать, Гоша?— говорил тоскливо Илиодор.— Мать свою я ненавижу... Лучше б она умерла в заключении... Нет у нее ни совести, ни чести... Что мне делать?.. Ради чего я родился?

Я уже понял, что пристанище здесь искать не буду и никогда сюда не зайду.

— Убей себя,— сказал я Илиодору,— повесся... Или лучше снотворных таблеток выпей...

Я посмотрел на него и вдруг понял, что он принимает мои слова всерьез, как добрый совет друга, а не как злобный выпад человека на грани бешенства. Он посмотрел на меня как-то внимательно и улыбнулся с благодарностью. Но тут же мягкое, кроткое выражение лица его изменилось. Вдруг он как-то быстро обернулся и заметил некую неприятную деталь во взаимоотношениях своей матери и Ивана Пантелеевича.

— Курва,— крикнул Илиодор матери и сделал то, чего я опасался еще вчера, то есть ударил мать непосредственно по лицу (время вообще-то было крикливое и скандальное, но два скандала подряд в течение суток не характерны даже для конца пятидесятых годов).

Произошел общий коловорот и головокружение. Все ж я сумел овладеть собой, поскольку мне необходимо было разыскать пепельницу. Я ее нашел, но вместо того чтоб ударить ею Орлова (Орлов шел со стаканом воды к упавшей в обморок Зинаиде Васильевне), начал натирать ему пепельницей лицо, как орудуют мылом. Тем не менее пепельница была с шершавыми краями, так что я успел нанести Орлову несколько царапин, прежде чем Лысиков шибанул меня в спину. Я вылетел из комнаты (боль в ребрах я почувствовал на улице). Схватив в передней свою одежду, одеваясь на ходу, я выбежал прямо в кучку возбужденных коммунальных соседей.

— Мерзавцы,— крикнула мне соседка,— каждый раз скандалы... Будете сюда ходить, мы участкового пригласим.

Я толкнул ее плечом и покрыл матом. (Интересно, что это было сделано уже не на уровне эмоциональной взвинченности, а согласно разумному плану. Я понимал, что обстоятельства с койко-местом моим могут сложиться так тяжело и ночевки мои на вокзале могут так сильно измотать меня, что я могу проявить слабость и спустя некоторое время, невзирая

ни на что, прийти сюда искать ночлег. Именно поэтому я окончательно портил отношения с соседями, чтоб сжечь все мосты.)

Толкнул еще одного соседа и, покричав перед ними некоторое время, чтоб они могли получше запомнить мое лицо, я по старой лестнице сбежал вниз.

На улице потеплело, не более градуса мороза. Я вполне мог погулять часок с небольшим до одиннадцати, а потом возвратиться в общежитие. Быстро подошел трамвай. Я сел (мест свободных было много), посмотрел на сонные, спокойные лица пассажиров и тоже начал успокаиваться. Я словно вырвался из ада (возник такой абстрактный образ, испугавший, а потом рассмешивший меня: вокруг меня прыгали черные черти и пинали меня коленями — хоть у чертей, кажется, колени назад,—пинали меня по-хулигански, наперекидки друг к другу). Этот комический образ как бы подытожил происшедшее и снял с меня душевное напряжение. Умение подытожить события комическим образом не раз выручало меня. Подобное же случилось и на холодном песке Конча Засып. Если же этого не происходит (а происходит — либо не происходит — это по непонятным и не зависящим от меня причинам и никогда не происходит искусственно, я пробовал), если этого не происходит, я рискую погрузиться в долгий анализ события и своего поведения в этом событии, анализ с душевными терзаниями и головной болью. К счастью, на сей раз мне повезло. Успокоенный, протрезвевший, не испытывая болей в животе (чего я опасался после компании), я к половине одиннадцатого добрался в район нашего общежития и чтобы дотянуть время до полностью безопасной черты, минут двадцать погулял по площади перед школой милиции на расстоянии пятнадцати минут хода от общежития, но тем не менее в месте практически безопасном от возможности встретить Софью Ивановну или Тэтяну. Поблескивали звезды, легкий ветерок освежал мне щеки и лоб. В церквушке нашего районного кладбища горел электрический свет (три года хожу здесь и лишь теперь заметил эту церквушку, выглядывающую из-за кладбищенского забора). Мысли мои были тихи и скромны. За прошедшие бешеные сутки (иначе их не назовешь) я потерял свою тайную мечту, веру в свое «инкогнито», веру в идею, но, пережив и перестрадав, приобрел право на тихое благополучие. Дав с помощью Витьки Григоренко взятку кое-кому, думал я, получу право на устойчивое койкоместо. Сразу же переберусь в двадцать шестую к Рахутину и Григоренко... Расчет и компенсация за отпуск покроют взятку, и мне останется на жизнь нетронутая сберкнижка, на

которую я проживу с полгода... Утром буду экономно, но сытно завтракать — хлеб, картофель, чай с карамелью... Три-четыре таких свежих сытных завтрака равны по стоимости одному столовскому завтраку: вязкому мучному с подливкой, от которой мучит изжога... Правда, такие завтраки надо готовить на общей кухне, вступив тем самым во взаимоотношения с женщинами, с женами семейных, и составив им конкуренцию. Я знал, что на кухне часто бывали скандалы за место на плите. Кулиничка, который готовил себе сам, женщины однажды чуть кипятком не обварили. Да еще в скандал вмешиваются их мужья. Но я буду либо вставать и готовить очень рано, либо очень поздно, а с утра есть картофель холодным, что не менее вкусно, особенно если приправить его борщевой томат-пастой. Был в этой, в общем благоустроенной, жизни еще один тревожный момент, в котором мне даже самому себе неприятно было признаться. Рахутин и Григоренко жили если и не коммуной, то во всяком случае завтракали часто вместе. Таким образом, и я должен был с ними делиться, поскольку были они мне друзья и я не мог их игнорировать и от них обособляться, как от какого-нибудь Берегового или Жукова. Но питались они неэкономно, часто покупая вареную колбасу, рыбные консервы (мясные консервы хоть можно мазать на хлеб, рыбные же надо есть ложкой, и съедаются они в один присест), покупали они и яйца, и селедку, и джем к чаю. Таким образом, в течение месяца я окажусь банкротом. Учитывая подобное положение, имеет, может, смысл остаться в своей тридцать второй, тем более краем уха я слышал, что Береговой и Петров собираются то ли переходить в другую комнату, то ли вовсе уезжать в другой город. Если это произойдет, я налажу отношения с Жуковым, чего бы это мне ни стоило, например, поговорю «по совести», он это любит, извинюсь перед ним, и все станет совсем хорошо. До сих пор я буквально должен был беспокоиться о завтрашнем дне, круглогодично опасаясь увольнения с работы, а весной еще и выселения. Ныне я получил полгода размеренной жизни и к тому ж, не подхлестываемый нелепой своей идеей, в которой мало, как я теперь понял, ума, но много детского тщеславия, не подхлестываемый этой идеей, я смогу что-то решить, может быть, даже жениться. Надо бы позвонить Нине Моисеевне, подумал я. Тем более, что с момента, когда я совершил свое нелепое собачье движение в благодарность за вкусную еду, прошло достаточно времени. Да может, я все и преувеличил. Надо было выдать все за шутку или притвориться немного пьяным, совершить еще какую-нибудь нелепость, например, упасть... Эта Нина Мои-

сеевна все время намекала мне на знакомство с хорошей девушкой, проявив чрезмерное рвение, точно получая от этого личную выгоду (что, конечно, было не так). Надо позвонить, тем более Бройды потеряны, а значит, и лучшее мое пристанище и обеды, после которых я сохранял сытость и силу в течение всего последующего дня, употребляя лишь легкие закуски, чай и хлеб. Два дня в неделю фактически сэкономили мне на питании Бройды, за полгода набегало полтора месяца, а значит, не случись эта нелепость и разрыв с Цветой, я мог бы сидеть на своей сберкнижке семь с половиной месяцев. Это уже серьезный срок... А в общем, нельзя требовать от жизни идеальных условий, я это понял сейчас вполне ясно, утратив глупую, съедавшую мои душевные силы идею-фантазию... Ах, жениться бы, и чтоб родители жены на первых порах помогали... Но благородно, без унижений... Поступить бы техником в проектную контору, сидеть в тепле, особенно учитывая мои обмороженные ноги. Конечно, все это без хороших знакомств невозможно, но в том-то и дело, что неизвестно кто способен лучше помочь даже в трудоустройстве: Михайлов или Нина Моисеевна. У женщины ее возраста, на грани увядания, бывают порой самые неожиданные связи и возможности, на что она как-то намекала. Завтра же позвоню ей.

В кладбищенской церкви погас свет, окна школы милиции, расположенной напротив, давно были темны. Было начало двенадцатого, время еще даже более безопасное в смысле встречи с комендантшей, чем то, на которое я рассчитывал. Причем пережидание мое прошло легко и незаметно. Я поднял воротник и, втянув голову в плечи, защищаясь от поднявшегося ветра, пошел к общежитию.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Подходя к общежитию, я замедлил шаг. Приближался самый ответственный момент. Не Дарья ли Павловна, мой враг, дежурит? Не переборщил ли я с пережиданием и досиделся до запертых дверей, так что придется звонить и поднимать тревогу? Это чрезвычайно волновало меня. Даже если за дверьми не Дарья Павловна, а другая дежурная, равнодушная ко мне, все равно звонить в двери — это громко требовать чего-то, привлекать к себе внимание здесь, где я незаконно, по знакомству имею койко-место...

Я взялся за ручку двери, потянул. Дверь подалась. Значит, открыта. Но по извечной человеческой природе я не обрадо-

вался открытым дверям, о которых только что мечтал, а сразу забыл о том и начал переживать по поводу следующего этапа: не Дарья ли Павловна дежурит? Между дверьми был небольшой тамбур, и я постоял там немного в темноте, раздумывая, открыть ли мне дверь рывком и проскочить или, наоборот, постараться без скрипа и медленно, мягко открыть, в надежде, что Дарья Павловна (если дежурит она) отвернулась или возится со своей проклятой кошкой, из-за которой и испортились наши отношения. Эта мысль несколько озлобила меня. Открыл рывком. Мелькает тускло освещенная передняя. Дежурит одна из сестер. Она безразлично подняла на меня сонное лицо. В радости от благополучного исхода моих треволений здороваюсь с ней как-то особенно приветливо. Потом, уже на лестнице (и в прямом и в переносном смысле), понимаю, что делать этого не следовало. Лучшие мои взаимоотношения с администрацией — это моя безликость. Выделяться же здесь из массы, даже в хорошую сторону, опасно. На примере Дарьи Павловны видно, как легко хорошие взаимоотношения переходят в плохие, а Тэтяна с самого начала выделила меня самостоятельно и возненавидела...

Я поднялся по теплой лестнице (топят у нас временами хорошо, временами похуже) в теплый пустой коридор. Уже поздно, движения в коридоре нет. Лишь в конце коридора, у балконной двери (которую я намереваюсь превратить в запасной ход), стоит Адам-дурачок. Поспешно, опасаясь, как бы он со мной не заговорил (он ко мне последнее время почему-то льнет, а я им, откровенно говоря, брезгую), поспешно поворачиваю к себе, открываю дверь тридцать второй. Все на месте, и все сладко спят, несмотря на то, что горит свет и орет радио. У койки Жукова на полу валяется учебник физики для седьмого класса. Видно, потому и горит свет, он читал и заснул. Хоть радио и не выключили, но свет обычно гасили, если ложились все. В комнате спертый воздух, но это у меня просто с мороза, я знаю, что быстро освоюсь. Зато тепло, и после шумных компаний мне здесь даже показалось уютно и хорошо. Раздевшись, гашу свет и, подумав, несмотря на то, что положение мое в комнате сложное и по этому поводу были уже скандалы с Береговым, выключаю и радио. Тем более в случае скандала мне будет, как говорится, чем крыть: завтра воскресенье. Укладываюсь. Койка у меня с панцирной сеткой, пружинистая, но мягкая (из шести коек в нашей комнате такая только у меня и Берегового, который раздобыл их в пору, когда мы дружили). Подушек у меня две, одна казенная, другая собственная, подарок тетки. Одеяла тоже два, казенное и свое, шерстяное, ворсистое, но ныне ворс свалился. Есть

у меня также и три собственных простыни и, кажется, три или четыре наволочки, но я их не употребляю, поскольку постель здесь выдают казенную и еженедельно меняют. На прежней моей работе в провинции (где я сильно заболел, после чего приехал искать счастья в город, где родился), на прежней моей работе постелью не обеспечивали. Там-то я и приобрел собственную. Вообще же при моем нынешнем неустойчивом положении собственная постель пока не нужна (разве что одеяло и подушка для большего удобства), но, как правило, там, где мне предоставляют койку, там к этой койке имеется и постель (расчеты мои строились всегда исключительно на даровую койку знакомых либо на дешевую общежитийскую, казенную. На частную я возможностей не имел).

Приехал я в этот город три года назад зимой, как раз после Нового года, с довольно приличным запасом денег (сбережения от прежней работы), причем сложенных в две кучки — одна на жизнь в первое время, другая на устройство, то есть чтоб заплатить кому надо за оказанную мне поддержку. Помимо денег был еще со мной список адресов тех людей, на которых я мог бы в первое время бесплатно опереться в этом городе. Прежде всего старушечка Анна Борисовна, дальняя родственница, на которую тетка особенно рассчитывала. Потом Чертоги, люди чужие, но чем-то тетке обязанные. Потом рабочий адрес Михайлова и телефон еще одного человека, некоего инженера Шутца (так меня тетка и предупредила: именно попроси инженера Шутца, а не просто Шутца), это меня насторожило, и я позвонил ему в самом конце, приходя уже в отчаяние от невозможности устроиться и перед тем, как обратиться к Михайлову.

Отлично помню день приезда. В вагоне было у меня сидячее место (из экономии), ночь я провел, конечно, без сна, и, выйдя на привокзальную площадь, очень жестокую (было именно ощущение жестокости в заиндеветших красивых трамваях нового типа и красиво горевших, не погашенных еще с ночи фонарях), я чувствовал себя точно нищий-проситель в роскошной чужой приемной, — такое чувство было на этой площади. На этой площади не было у меня прав требовать, а была лишь возможность просить и надеяться на снисхождение (чувство, которое я впервые ощутил в то утро отчетливо). Я шел, уступая всем местным дорогу, даже школьникам, спешившим с ранцами в школу. Глядя на дома, вывески, на уходящие вглубь переулки, я испытывал именно не любовь к этому городу, о котором мечтал и открытки с видами которого любил разглядывать в провинции, а испытывал к городу робкое уважение, чуть ли не как к важному лицу, по-

кровительство которого хочется заслужить. Несмотря на то что чемодан оттягивал мне руку, я прошел остановку в сторону от вокзала, чтоб не влезать в трамвай вместе с толпой приехавших провинциалов, к которым испытывал теперь даже не презрение, а злобу, поскольку они меня дискредитировали (со мной в вагоне ехали какие-то муж и жена из провинции, которые все заговаривали и советовали держаться их, поскольку город они знают, мол, хорошо. Я от них, разумеется, сбежал).

К старушечке Анне Борисовне я добрался после многих пересадок, путаницы и блужданий по красивым, холодным, очень жестоким улицам (ощущение красивой жестокости этого города неотступно преследовало меня). Правда, часа через полтора, попав в результате путаницы повторно в одно и то же место и узнав его по какой-то арке, я решил, что начинаю терять ощущение бесправного чужака, и осмелился приобщиться к хозяевам, то есть к тем, кто диктует этому городу свои условия. Я выбрал для начала не значительный, но доступный мне способ — нарушил правила уличного движения, но не случайно и растерянно, как провинциал, а намеренно. С некоторой даже лихостью прыгнул я на ходу в трамвай и был наказан за дерзость, едва не выронив чемодан и ударившись обо что-то лбом, в результате чего вызвал смех пассажиров (среди смеявшихся была очень красивая женщина, каких не увидишь в провинции, что особенно ужасно и окончательно меня добило, ибо я особенно опасаясь насмешек надо мной красивых женщин). Ругань кондукторши я выслушал, покорно опустив голову и глядя в пол, как провинившийся школьник (ошибка провинциала, еще больше вызвавшая ко мне презрение пассажиров). Так что мой поступок вызвал обратную реакцию, вместо самоуважения — самоунижение, и к Анне Борисовне я прибыл окончательно запуганным.

Анна Борисовна жила в многонаселенной квартире, но комната у нее была довольно большая и теплая. Я отогрелся и выпил большую кружку сладкого чая с куском свеженарезного батона. Это был первый даровой кусок, данный мне в поддержку и который я впервые в жизни приплюсовал к своему бюджету. Конечно, я мог купить себе и целый батон, деньги у меня были, но, во-первых, при отсутствии поступлений каждый купленный на собственные средства кусок был мне горек, а во-вторых, после жестоких улиц этот кусок произвел на меня чисто психологическое впечатление. Я почувствовал нечто материнское в морщинистом полном лице старушечки, которую видел впервые в жизни, и заговорил с ней каким-то елейным голосом (но совершенно в тот момент

искренне), расспрашивая ее о здоровье и вообще ужасно лицемеря (очень искренне. Это не парадокс, бывает искреннее лицемерие, вызванное крайней нуждой). В комнате стояла одна лишь узенькая лежанка, на которой старушечка (она была маленького роста) спала. Это внесло некоторую тревогу, поскольку я гадал о своем месте ночлега, думая, где же она меня положит. Так, в рассеянном состоянии, сменившем суетливое мое умиление, мы проговорили минут двадцать, после чего она мне отказала в ночлеге, поскольку, мол, соседи возражают. От неожиданности такого крайнего исхода и к тому же освободившись в тепле от первого испуга перед этим чужим городом, что придало мне развязности, я проявил некоторую грубость, на которую не имел права, то есть встал, взял чемодан и, вместо того чтобы помочь старушечке поднести в прачечную довольно тяжелую корзинку с бельем (она собиралась в прачечную), ушел, сухо кивнув. Как бы сорвал со своего лица на глазах у старушечки елейную маску, не поблагодарив за батон со сладким чаем, восстановившим мне силы после ночного вагона и блуждания по улицам, и фактически посмеявшись над ее горем (у нее недавно умерла любимая сестра в Бобруйске, но по состоянию здоровья Анна Борисовна не имела возможности ехать на похороны. Мы вместе повздыхали по сему поводу). Однако после того, как я понял о провале моих планов устроиться здесь жить, то как-то сразу проявил полное безразличие к здоровью и горестям Анны Борисовны и целиком погрузился в свою беду, ушел торопливо, надеясь до вечера найти другой ночлег. Вообще-то состояние это непередаваемо ужасное — отсутствие ночлега. К счастью, как я уже говорил, в отличие от голода, отсутствие ночлега угнетает разум, а не инстинкты, разум же менее реалистичен, чем инстинкт, и даже в самой безысходной ситуации живет надеждой.

Я приехал к Чертогам в противоположный конец города, где были трехсотые номера длинной улицы Саперное поле. Чертоги мне не отказали. Семья из трех человек — отец, мать и шестнадцатилетняя дочь (все некрасивые, особенно дочь) — жили в двух комнатах одноэтажного окраинного домика. Взаимоотношения мои с Чертогами весьма поучительны и гораздо более интересны, чем с Анной Борисовной, старушечкой. Чертоги приняли самое горячее участие в моей судьбе, и, думаю, вполне искренне. Именно это горячее искреннее участие их в моей судьбе оправдывает несколько мои дальнейшие, некрасивые с точки зрения быта и, может, некоторых моральных правил, поступки по отношению к этим людям (раздумывая, я сейчас пришел к этому успокоительному вы-

воду). Человек я увлекающийся, доверчивый и, будучи ущемлен в смысле домашнего тепла, принял обычную бытовую порядочность этих людей чуть ли не за проявление родственных ко мне чувств и в короткий срок, буквально в два-три дня, так освоился, что посчитал их семью своей родной и дом этот также своим родным домом. Мать Чертог съездила со мной на электричке в пригородную деревню к своей знакомой и вступила с ней в переговоры о возможности за некоторую плату организовать мне прописку. Знакомая позвала нас в комнату, разговаривая шепотом (то есть вступила в отношения, что меня обрадовало), осмотрела мой паспорт и пообещала сделать все возможное, вселив надежду. Отец Чертог хлопотал на своем предприятии (он работал экспедитором) и на соседних предприятиях по поводу работы для меня. Таким образом, все вдруг образовалось, дело было на мази, пошло сверх ожиданий хорошо, и я расслабился, потерял ориентировку и перестал ощущать подлинность своего положения. Из сбережений, предназначенных для питания (поскольку питался я у Чертогов), я купил себе велюровую шляпу и вместе с приятелем (у меня был в этом городе школьный приятель, на которого, разумеется, в бытовом смысле я не мог рассчитывать, но в смысле общества он на первых порах был крайне ценен, и когда я бытово устроился, то заехал к нему), итак, вместе с приятелем я начал ходить по главным улицам и в парки, иногда позволяя себе даже дешевенькие закуски в кафе, то есть после провинциальной ущемленности повел если не золотую, то позолоченную жизнь, иногда со смехом вспоминая, как приехал сюда (мне казалось, что было это очень давно), шел с чемоданом, пугаясь этих близких мне ныне улиц, на которые я уже чувствовал некоторые свои права. Такая легкомысленная жизнь продолжалась недели две. Возвращался с прогулок с удовольствием в сразу как-то ставшую мне близкой семью. Обедая или ужиная, мы смеялись, рассказывали анекдоты, вообще все было великолепно. Оборвалось это тоже сразу, не знаю, было ли поводом какое-либо конкретное событие или просто наступил предел некоего незримого и негласного договора, в который независимая добродетель вступает с тем, кто испытывает в ней нужду, надеясь на его такт и совесть. Я же, увлекающийся идеалист, пришел в восторг от их бескорыстия и доброты, и восторг помешал мне усмотреть предел, за которым я, человек, уставший от суровой жизни, расслабился и начал злоупотреблять их гостеприимством. Я так много и восторженно о них говорил и приятелю своему и знакомым (через приятеля у меня появилось несколько мимолетных знакомств в этом городе),

что когда в один из вечеров, вернувшись по обыкновению в хорошем настроении, застал всех Чертогов угрюмыми и с таким видом, точно они только что обо мне судачили и при моем появлении замолкли, первоначально не понял ничего, а потом растерялся. Истина разом открылась передо мной, и она была весьма неприглядна. Надежды на пригородную хозяйку не оправдались, сам Чертог, правда, кое-где предварительно договорился, но без прописки нельзя было думать о работе. Я висел в воздухе. Деньги таяли, хоть обеды у Чертогов не стоили мне ни гроша. (Ошибка. Надо было с самого начала поставить все на более деловую основу. Теперь же они денег не брали, увеличивая тем самым еще более свою правоту и надеясь этой правотой быстрее меня выжить, хотя бы и на улицу.) Вообще отношения наши быстро стали неузнаваемыми и приобрели скандальный характер. Будучи во всех отношениях неправ (две недели позолоченной жизни вместо попыток устроиться), но ныне не имея иного выхода, я жил у Чертогов чуть ли не силой, крича, что они обязаны меня принимать, поскольку должны рассчитаться за добро, сделанное им моей теткой (кажется, в войну они жили у тетки несколько месяцев всей семьей).

Я позвонил инженеру Шутцу. Он долго не мог понять, кто я, тетку же мою хоть и вспомнил, но с трудом и сказал, что ныне обстановка изменилась и с билетами помочь он никак не в состоянии (автомат работал плохо). Летом, когда существуют дополнительные поезда, часть лимита выделяется их управлению (он работал в управлении железной дороги), сейчас же это отменено. Очевидно, к нему часто обращались знакомые с просьбой о билетах, потому и мой звонок он понял именно так, тем более о своем трудоустройстве я говорил невнятно, запинаясь, оттягивая момент отказа. Я повесил трубку и выбросил телефон Шутца, поняв его бесполезность.

К Михайлову я пошел на следующий день с утра. Ранее, пребывая в благодушном состоянии и думая, что наконец очутился среди родных людей, я позволял себе поваляться подольше, и Чертоги, проходя через переднюю (я спал в передней на раскладушке), теснились, чуть ли не натываясь на меня. Теперь же я просыпался рано (впрочем, почти не спал. Это было начало моих бессонниц, которых я не знал в провинции). Просыпаясь рано, я старался уйти, чтоб не завтракать (прямой отказ от завтрака являлся демонстрацией и накалял атмосферу). К Михайлову я пришел задолго до начала работы треста и не менее часа прогуливался, дожидаясь десяти. В плановом отделе треста сидела за столом полноватая, начавшая сесть темноволосая женщина со следами былой

красоты (Вероника Онисимовна Кошеровская. Та самая, на мои взаимоотношения с которой весьма скользко намекал Михайлов. Пошлый намек этот имел некоторые последствия. Меня он смутил, но позднее обида, странно переварившись в моем мозгу, обернулась весьма своеобразно, и я действительно начал думать о Веронике Онисимовне не только как о своей покровительнице, старающейся мне помочь, чем можно, но и как о женщине). Однако все это было через год-полтора, а тогда я робко сел в углу на стул, предложенный мне Вероникой Онисимовной, не проявившей, кстати, с первого взгляда ко мне никакого интереса, и стал дожидаться Михайлова, гадая, какой он из себя и как ко мне отнесется. Вошел седой, среднего роста мужчина в золотых очках и хо-рошем костюме.

— К вам, Михаил Данилович,— не поднимая головы от арифмометра, сказала Вероника Онисимовна.

Я встал (уважение перед хозяевами жизни было у меня тогда развито чрезвычайно).

— Вы из третьего СМУ?— спросил Михайлов.— Передайте Медведеву, я ждал от него сведения еще в начале прошлой недели.

Он безусловно принимал меня за курьера, поскольку велюровую шляпу вместе с пальто я оставил внизу на вешалке и был в своей штопанной на локтях куртке (ныне окончательно изношенной и разорванной на портянки).

— Моя фамилия Цвибышев,— сказал я робко, но с некоторой обидой,— я, собственно, по личному делу...

В лице Михайлова произошла быстрая перемена. Он посмотрел на меня с интересом и, по-моему, даже с искренней радостью.

— Гриша,— сказал он и, подойдя, крепко пожал мне руку.— Это моего лучшего друга сын,— сказал он Веронике Онисимовне.

Она тоже посмотрела на меня с интересом серыми своими глазами, впоследствии (утверждаю, исключительно благодаря скользкому намеку Михайлова) начавшими меня по-мужски волновать.

Михайлов позвал меня в свой кабинет и усадил в кресло, глядя пристально, с какой-то тихой печалью. Мне кажется, у него даже показались на глазах слезы, и, сняв очки, он протер стекла хрустящим белоснежным платком.

— Похож на мать,— наконец сказал Михайлов,— но что-то есть и от отца... Подбородок отцовский... И скулы...

Отношения мои с Михайловым начали портиться постепенно и как-то незаметно, по мелочам. Причиной, думаю, была

постоянная моя зависимость от него, притупившая теплоту его чувств ко мне, где грусть о потерях сочеталась с радостью наблюдать во мне черты давно умершего, но близкого человека. Какая-то моя постоянная ничтожность, которая не менялась со временем, неприспособленность, непрерывная потребность моя в покровительстве, неумение, как он считал, найти себя и утвердиться, которая, по его мнению, оскорбляла память друга, человека, по его же мнению, незаурядного. Его обижало, что у моего отца оказался такой ничтожный сын. Он начал постепенно выказывать свое неудовольствие мной, и, поскольку я ему не противоречил, боясь потерять покровительство, он разозлился до того, что, помогая, в то же время позволял попросту надо мной насмеяться. Однако тогда в кабинете и вообще первое время, еще не зная меня как человека, он относился ко мне весьма тепло и с уважением. Я рассказал Михайлову свою историю (соврал лишь, что в городе неделю, а не месяц почти). Михайлов обещал помочь и взялся за это дело весьма оперативно, так что через две недели я уже был устроен. Этим я косвенно должен быть благодарен и Чертогам. Не прояви они вовремя своих подлинных качеств людей не родных мне, как я по наивности думал, а просто посторонних, но решивших оказать мне добрую услугу, временно предоставив ночлег, я еще долго по наивности и восторженности, а не из нахальства (жаль, что Чертоги, не поняв этого, перечеркнули все хорошее, сделанное ими), так вот, я еще долго мог бы вести позолоченную жизнь и упустил бы Михайлова (вскоре он слег с инфарктом на два месяца). Не знаю, как сложилась бы в таком случае моя жизнь. Я убедился, что, кроме Михайлова, никто мне в этом городе чем-либо реальным и серьезным помочь не мог (разумеется, из тех, кто хотел мне помочь. Например, Чертоги вначале пытались мне помочь, однако безуспешно. Мой школьный приятель тоже куда-то звонил и разузнавал. Но все это, конечно, смешно). Устроить такого человека, как я, весьма непросто. Даже в проверенном пути, избранном столь авторитетным лицом, как Михайлов, произошел неожиданный пробой, поскольку можно предвидеть служебные, но не личные действия многочисленных инстанций, которые вовлекаются в трудоустройство. У Михайлова был знакомый директор пригородного дома отдыха, который согласился фиктивно оформить меня аккордеонистом (ни на одном музыкальном инструменте играть я не умею), оформить и прописать. В местном поселковом отделении милиции я получил прописные листы, которые тут же были оформлены участковым милиционером, приятелем директора. Правда, директор

предупредил меня, что у него сложные взаимоотношения с главбухом дома отдыха (директор любил выпить, что было видно по его лицу) и потому остальное уже зависит от моей оперативности, чем быстрее, тем лучше, пока не привлекли внимание бухгалтерии. Я немедленно сел на пригородный поезд (электрички еще туда не ходили, хоть линия строилась) и поехал в райвоенкомат. Все шло хорошо, первые положительные резолюции местных должностных лиц уже значились на моем прошении, и размашистое «Не возражаю» с закорючкой-подписью и датой сразу делали меня пусть еще не полноправным, но членом общества, и я перечитывал резолюцию в вагоне бесконечное число раз, с радостно колотящимся сердцем. Военкомат находился в двухэтажном деревянном доме на живописной улице (улицы именовались здесь просеки. Кажется, третья просека, дом двенадцать, даже сейчас помню, так важны были адреса этих инстанций для дальнейшей моей жизни). Я потолкался среди новобранцев, среди казенного военного запаха табака и кожи, который и ныне не могу воспринимать без тревоги, пока мне не указали нужную дверь. За столом сидел лысеющий блондин, пехотный подполковник.

— Что? — спросил он меня, взяв бумаги, но глядя не на государственные лиловые надписи, на которых я строил весь свой расчет, а на меня, что уж само по себе было опасно.

— Стать хочу на учет, — сказал я, стараясь принять независимый вид, чтоб не вызвать подозрений.

— Так, — сказал подполковник, мельком глянув на бумаги, но, главным образом, опять на меня. — Так, — повторил он, — а комсомольский билет с вами?

Вопрос был неожиданный, я растерялся.

— Нет, — ответил я, лихорадочно соображая, как вести себя дальше, — я не знал, что в военкомат нужен комсомольский билет... Вот военный билет...

— А где же он? — спросил подполковник.

— Он в чемодане, — ответил я.

— Так, — монотонно сказал подполковник.

Это многозначительное повторение окончательно сбilo меня с толку. Я ощутил холодок внизу живота.

— Здесь написано, что вы комсомолец, — сказал подполковник. — Как же это в чемодане? Сегодня в чемодане, завтра в землю зароете, так?

Это последнее «так» сказано было полувопросительно, словно приглашая к откровенному разговору, и тут-то я совершил ошибку, едва не ставшую непоправимой. У подполковника было круглое, несколько одуловатое простое ли-

цо. Я решил, что это человек «правды-матки». И с помощью откровенных рассуждений я попробовал привлечь его на свою сторону.

— Дело ведь не в бумажке,— сказал я.— Важно, что у человека тут,— и я не очень сильно, но все-таки ударил себя кулаком в грудь.

Произошла катастрофа. Подполковник побагровел и крикнул, как кричат на рынке контуженные:

— Какая это бумажка? За эту бумажку люди жизнь отдавали на фронте!..

Конец — пронеслось у меня в мозгу. Я понес уж полный вздор, чрезвычайно опасный в моем положении, который мог меня окончательно погубить.

— А вот отец мой и мать,— сказал я,— в комсомоле с юности... Сражались на фронте (не следовало касаться родителей, поскольку биография моя, прилагаемая к анкете, была полностью и умышленно мною искажена и об арестованном отце не было, конечно, ни слова).

К счастью, подполковник не стал вдаваться в подробности, а лишь сказал:

— Почему же вы не берете пример со своих родителей?

Я виновато потупил глаза, давая понять, что я соглашусь с ним, подчиняясь его мнению, и извиняюсь за свою беспутную жизнь, надеюсь, что подполковник меня простит. Но не тут-то было. Более со мной он не общался, а снял трубку и позвонил.

— Товарищ Иванов,— сказал он.— Это Сичкин из военкомата... Я тут пришлю к вам гражданина... Надо разобраться... Берут человека без вашего ведома... Да, приезжего...

Я уже понял, что история с Михайловым была простой авантюрой. Слишком все складывалось просто. То, чего я боялся, совершилось, то есть мое незаконное оформление стало предметом официального расследования.

— Зайдете к Иванову из райотдела милиции,— сказал мне подполковник Сичкин обычным бытовым голосом и протянул бумаги.— Первая просека, дом три-А.

Я вышел на улицу. Вокруг на запорошенных снегом соснах было много вороньих гнезд, и воронье карканье еще больше угнетало. Конечно, ни к какому Иванову я идти не собирался, надо было как можно скорее исчезнуть, пока не подвел окончательно и себя, и директора дома отдыха, и Михайлова. Я торопливо зашагал к железной дороге, но запутался и неожиданно для себя вышел прямо к райотделу милиции. Я находился в чрезвычайной панике, может, потому и действовал нелогично. Единственным прочным местом моих бумаг была

лиловая подпись участкового, все же остальное, вплоть до моей профессии аккордеониста, — липа, возможно даже уголовно наказуемая. Идти с этим в милицию самостоятельно мог только неопытный и потерявший рассудок человек. Тем не менее я вдруг вошел и поднялся на второй этаж, где располагался кабинет Иванова. Иванову этому было лет сорок с хвостиком, и у него было лицо чрезвычайно опасное для меня, светло-холодные глаза и вздернутый курносый нос, который на пожилых лицах выглядит почему-то особенно опасным. Едва войдя в кабинет этого милицейского полковника (а в моем положении опаснее места для меня трудно придумать), едва войдя, я тут же огляделся, и мысль немедленно бежать пронеслась в мозгу. К счастью, я сообразил, что этот мой поступок вызовет подозрение, к тому же окна зарешечены, а внизу у входа дежурит сержант, так что меня задержат сразу же внутри райотдела, не дав даже выбежать. А если и выбегу каким-то чудом, то меня без труда задержат на улице. Такие нелепые мысли терзали меня, пришедшего добровольно и по собственной инициативе. Если бы я не выполнил рекомендации Сичкина и скрылся, никто б меня, конечно, разыскивать не стал, и я бы просто вернулся к своему первоначальному положению человека без места, которое теперь, после пережитых страхов, не показалось мне столь ужасным. Однако ныне путь к неприятным, но безопасным для меня конфликтам с частными лицами типа Чертог был отрезан, и я вступил в официальный конфликт с райотделом милиции. Бумаги мои за версту пахивали липой, попыткой обойти закон в лице райотдела и решить все на приятельском уровне (участковый, напоминая, был приятель директора дома отдыха, директор же, в свою очередь, находился в каких-то взаимоотношениях с Михайловым). Расчет был прост: на основании резолюции участкового меня берет на учет военкомат, после чего в группе паспортов мой паспорт передается непосредственно паспортисту, минуя верха райотдела. Путь достаточно скользкий, тем не менее в текучке дел, на которую рассчитывали мои покровители, такой вариант был бы возможен, если б не случилось непредвиденное: я по человеческим своим качествам, возможно даже просто внешним, не понравился чем-то подполковнику Сичкину из военкомата. Сичкин ощутил липу и махинации, идя от личных впечатлений, человеку же профессиональному, такому, как Иванов, и этого не требовалось, достаточно было лишь взглянуть на бумаги, где все сшито было, как говорится, белыми нитками, то есть грубо сколочено. Например, техник-строитель оформлялся аккордеонистом, цель же приезда указывалась: «со-

гласно трехмесячной курсовке». (При доме отдыха имелось санаторное отделение, где находились люди по путевкам или курсовкам здравотдела, нуждающиеся в длительном лечении. Очевидно, прописка таких лиц входила в компетенцию участкового, а не райотдела, но оформляться они должны были через главбуха, который состоял с директором в дурных отношениях. Вот почему в анкете была записана трехмесячная курсовка, чтоб иметь право решать прописку на низшей инстанции, и в то же время паспорт мой должен был быть послан мимо бухгалтерии дома отдыха в общем потоке не отдыхающих, а временно проживающих на территории поселка.) Когда в мозгу моем пронеслась нелепая мысль о побеге и я отбросил ее как опасную, тут же возникла новая: придумать какую-то другую причину своего посещения и не давать бумаги. Но я отбросил и эту мысль, поскольку боялся запутаться, времени у меня оставалось в обрез, Иванов уже поднял голову и вопросительно смотрел на меня. Причем само мое молчание и растерянный вид могли вселить подозрение. Поэтому я пошел напролом, протянув бумаги. Иванов прочел их, как я и предполагал, внимательно (этого-то я и опасался. Любой правдивый и ясный анализ моего прошения был мне опасен, поскольку все было сделано в расчете как раз на рогозейство).

— Так вы работать приехали или лечиться? — спросил меня Иванов жестко и коротко (пронеслось: очевидно, таким голосом он вызывает конвой).

— Лечиться, — сказал я (судьба пошла мне в этот опаснейший момент навстречу, и голос мой не дрожал. Подлинное чувство усталости и отчаяние придали моей лжи искренний оттенок, а склонность моя к самообману облегчила мне возможность воссоздать атмосферу если не правды, то, во всяком случае, чего-то достаточно близко похожего на правду). — Лечиться, — повторил я... — А потом, если возможно, работать... Ехать мне некуда... Родных у меня нет нигде...

Иванов отложил бумаги, и на его опасном для меня лице я прочел некий интерес, не лишенный вражды. И понял, что, в отличие от военкомата, нашел правильную форму поведения, и надежда, покинувшая было меня, вновь затеплилась.

— Кто вы вообще такой? — спросил Иванов. — Расскажите коротко о себе.

Я начал рассказывать. Рассказ мой был путан, не логичен и во многих пунктах неправдив, например, об отце я утаил подлинность и наплел бог знает что, но в то же время пережитые страхи как-то притупили фантазию и какие-то кусочки убогой правды о моей жизни, с детства неустойчивой, лишен-

ной родительской поддержки, даже какие-то кусочки, мне неприятные, например, о нищенской юности, которой я стыдился, проступили в этом рассказе (к слову сказать, нищенская юность, растраченная на борьбу с материальными невзгодами, заложила во мне большинство будущих пороков, достигших силы в период зрелости: физическая слабость от недоедания развила болезненное тщеславие и мужскую стыдливость, общественная ничтожность родителей, особенно, как я считал, в послевоенный победный год, развила лживость, постоянная нужда в поддержке со стороны развила отсутствие бескорыстия во взаимоотношениях с людьми...)

Не знаю, что именно произвело в моем рассказе впечатление на полковника милиции Иванова, но, вопреки логике, он вдруг если и не поверил моим словам, то во всяком случае решил, что, во-первых, опасности для государства моя жизнь не содержит, а во-вторых, как-то меня и пожалел.

— Не помните фамилию того, из военкомата? — спросил меня вдруг странно доверительно, как спрашивают человека, с которым вступают во взаимоотношения и делают общее дело.

— Сичкин, — еще не веря удаче, пролепетал я.

Иванов снял трубку, позвонил и сказал:

— Товарищ Сичкин, это Иванов. Я тут разобрался. В случае приезда на длительное лечение они имеют право решать на месте самостоятельно... Резолюция участкового у него есть... Так что я вам, — он посмотрел в мои бумаги, — я вам Цвибышева присылаю... Можете брать его на учет...

— Идите, — сказал он мне, повесив трубку, как-то тихо сказал. — Идите быстрее, пока он на месте.

Я не верил своим ушам. Сам безжалостный закон, одетый в строгую милицейскую форму, вступал со мной в заговор и выискивал возможность, чтоб обойти самого себя. Я пробормотал благодарность, которую Иванов сделал вид, что не расслышал, углубившись в бумаги. И мне показалось, что в его движениях, после того, как он меня пожалел, появилось что-то мелкое и неуважаемое, я заметил, например, что из рукава форменного с кантами кителя выглядывает конец синеватой нижней фуфайки, а на шее у затылка углубление, вернее вмятина, поросшая седым волосом и совершенно не мужественной формы (пулевые ранения редко бывают мужественной формы. Мужественный вид мужчине придают резаные и осколочные шрамы).

— Идите, — снова тихо повторил полковник милиции Иванов, меняясь буквально на глазах.

Что-то по-человечески угнетенное и слабое появилось

в его горящейся за столом фигуре, точно, из жалости вступив со мной в сговор против закона, он преступил невидимую черту сильных мира сего и даже в моих глазах потерял былой авторитет. Но продолжалось это не более нескольких секунд. Зазвонил телефон, и, забыв обо мне, полковник вновь начал говорить сильным жестким голосом, выпрямившим его фигуру. Именно это и обрадовало меня, ибо придало его звонку в военкомат серьезное значение, в чем я невольно начал было сомневаться. Тем не менее у меня хватило ума вернуться к подполковнику Сичкину не как победитель, получивший поддержку начальника милиции, а как человек, выполнивший его, Сичкина, рекомендацию. Я понял, что в моей борьбе с законом главным начальником является тот, кто хуже ко мне относится, независимо от занимаемой должности.

— Все в порядке,— сказал я каким-то просительным тоном, который начал невольно приобретать в своей борьбе за существование,— все хорошо.— Я словно приглашал и Сичкина разделить удачу, а если возможно, повернуть дело так, словно именно Сичкин многое сделал для этой моей удачи. Правда, Сичкин не пошел мне навстречу, посмотрел на меня хмуро, злобно и презрительно, но документы взял, оформил и чуть ли не бросил их мне, не ответив на мою благодарность, начал нервно перелистывать какие-то папки. Если позднее, обжившись, я получил возможность обижаться и страдать от унижений Михайлова, человека, мне помогающего, то здесь, перед лицом человека, готового меня затоптать, не было, конечно, и тени подобных чувств, наоборот, выйдя с оформленными документами, я ощутил необычайный прилив радости и к железной дороге шел в распахнутом, несмотря на холод, пальто, улыбаясь и рассматривая гербовую печать на моем подозрительном документе, о которой я мечтал и которую с презрительным смехом покажу Чертогам...

Далее все пошло быстро. Меня прописали в пригороде. Через своего приятеля (как я теперь выяснил от Мукало, некоего Евсея Евсеевича) меня, используя временную пригородную прописку, устроили на работу в управление строймеханизации, а позднее, не знаю через кого, поселили в общежитии, переписав туда из пригорода и добившись для меня койко-места. Вот каких трудов, волнений и унижений стоило мне это место в углу за шкафом с койкой на панцирной сетке и верхней полкой в тумбочке, где я держал продукты. Вот почему частенько, особенно перед сном, страх терзал меня последнее время. Спустя три года я вновь рисковал очутиться в прежнем висячем положении без места и работы. Вернее, ныне работы я уже лишился, однако это пугало меня в мень-

шей степени, поскольку имелись сбережения. Но ночлег... Правда, я восстановил отношения с Чертогами. Иногда, когда требовалось пересидеть опасное время, как я называл про себя «комендантский час», пока уберутся домой из общежития комендантша Софья Ивановна и зав. камерой хранения Тэтяна, я у Чертогов бывал... И все ж теплоты у меня с Чертогами больше не было, и относились они ко мне как к просителю, несмотря на постоянные мои рассказы об удачах и благополучии. Это я определял по вчерашнему супу или подогретой картошке, которые они мне выставляли. Именно суп и картошка, иногда кусок жесткого мяса, как голодному просителю, а не стаканчик чая с печеньем, яблочко, конфетку, как просто гостю. У Чертогов было единственное место, где я ел даровой кусок с трудом, рассеянно, без аппетита, не приплюсовывая его к бюджету. Даже у старушечки Анны Борисовны я ел ее нехитрые угощения с большим удовольствием, не говоря уже о великих (инюго слова не подберешь) обедах Бройдов. Но главное не еда... С едой можно обойтись, и собачье чувство благодарности, которое вдруг обуревает меня во время вкусного угощения, не более чем момент, эмоция, временное затемнение сознания... А койко-место — это постоянно и логично, как сама жизнь... Это и есть сама жизнь, и без койко-места человек утрачивает свое человеческое начало... Утрачивает возможность раскиснуть, расслабиться, утрачивает право на лень, одно из несправедливо презираемых человеческих чувств, доставляющих удовольствие и продлевающих жизнь. Лени, этого чувства благополучия, человек лишен в пути, вдали от родного дома, где ему позволены слабости и глупости...

Я лежал сейчас на спине вытянув ноги, наслаждаясь небрежной своей позой, и после всех моих мытарств в течение суток испытывал попросту искреннюю нежность и любовь к своей койке, словно к живому существу, близкому мне и родному, по-матерински встретившему мое усталое тело. Тело мое болело во многих местах, так что трудно было даже определить, где именно, за исключением разве что боли меж лопаток, последствия удара Лысикова, приятеля Орлова, которому я натер морду пепельницей. Воспоминания об этом вызвали у меня на лице улыбку и успокоили, так что я, как случалось не раз, перестал думать перед сном о дурном, а, наоборот, начал думать об удаче. Как через друга моего Григоренко суну посредством подставного лица взятку кому-то из местного начальства (может, самому Маргулису или Софье Ивановне, Григоренко не уточняет кому именно и заявляет, что это дело не мое). Я избегаю в дальнейшем постоян-

ных унижений от Михайлова, получу наконец устойчивое койко-место, к которому, несмотря ни на что, привык и, может, даже полюбил как родной дом, где стоят в тумбочке мои продукты и этак важно висит в шкафу, а не валяется скомканной в чемодане моя одежда... Эх, уехали бы Береговой с Петровым да наладить бы отношения с Жуковым, хотя бы ценной публичного извинения... Мысли бегут приятно и легко, и я заранее уже знаю, что сегодня бессонницы не будет. Я поворачиваюсь на левый бок, лицом к стене, и начинаю осторожно покачиваться. Не знаю, когда возникла у меня эта привычка, но возникла она давно. Покачиваясь, я полностью расслабляюсь, расстрачиваю на покачивание остатки физической энергии, накопленной за день, которая вредит сну, однообразными движениями мешаю мыслям своим сосредоточиться на чем-то серьезном (ночные мысли любят, когда тело неподвижно) и перевожу мысли в тупой монотонный ритм, разумеется, если они не чрезмерно остры и беспокойны (тогда никакое покачивание не помогает). Правда, раза два надо мной за это покачивание смеялись, причем последний раз в этой комнате. Я лег усталый и, забывшись, начал укачивать сам себя еще при непогашенном свете и когда некоторые из жильцов бодрствовали.

— Гляди,— сказал весело Саламов кому-то (по смеху собеседника я догадался, что Жукову),— гляди, Гоше девка снится.

Я покраснел, притих, будто пойманный на тайном пороке, и в уме дал обет больше не покачиваться. Но прошло некоторое время, и я вновь стал сам себя убаюкивать, однако, приняв меры предосторожности, я поступал так, лишь когда позволяла ситуация. Сейчас была именно подобная благоприятная ситуация, все спали, и я тихо укачивал сам себя, слегка поскрипывая сеткой, чувствуя как бы со стороны приятную рыхлость и мертвость лежащего тела, словно моего и не моего, ощущение, наступающее обычно в преддверии крепкого мертвого сна, после которого не просыпаешься, а возрождаешься. Иногда, когда я входил полностью в это состояние, то есть укачивал себя продолжительное время в тишине, теплоте и темноте, то начинал вдруг испытывать к себе удивительную любовь или даже не любовь, а нежность, ибо сам себе я был тогда отец и мать, брат и сестра, сын и дочь... Не то что я думал подобным образом логически, скорее бездумно ощущал приятно щекочущую родительскую ласку к самому себе в своем сердце, засыпал не одинокий, по-детски защищенный от бытовых невзгод, с детской улыбкой на лице.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Утром произошло событие, которого (не буквально, конечно, именно такого, а подобного) я давно опасался и которое нарушило мой дальнейший план, вернее, придало ему лихорадочность и торопливость, что в моем положении и при моем характере чрезвычайно опасно. Собственно, план мой также не был един. С одной стороны, я решил опять наладить связь с Ниной Моисеевной и через нее все разрешить удачной женитьбой и сытой устойчивой жизнью, которая меня, измотанного и уставшего, привлекала все более, особенно после утраты мной так называемой «великой идеи»... Даже в глубине души я сам над собой насмеялся за эту дурацкую идею, отнявшую у меня столько жизненных сил и оказавшуюся столь ничтожной и легковесной, что стоило ей лишь прикоснуться к действительной столичной необычности в компании Арского, как она рассыпалась в прах. Должен сказать, что я о том не жалел, и в эти компании, куда, я понимал, закроет мне дорогу тихая, сытая женитьба, более не стремился. Однако в плане с Ниной Моисеевной было одно противоречие, то есть, на первый взгляд, небольшое и нелепое, в действительности же этот план почти что полностью перечеркивающее. Может быть, многим, или чуть ли не большинству, это противоречие покажется глупым и смешным, однако тут уж я в себе не волен, есть чувства, которые не переубедишь. Именно: в своих мыслях и в выборе фавориток (напоминаю — женщин, которых я часто встречал и в которых тайно платонически был влюблен) я чрезвычайно развратил свой вкус красавицами, так что не представлял себе ныне, как могу влюбиться или, тем более, жениться на некрасивой. А я почти был уверен в том, что круг знакомств Нины Моисеевны лишен красавиц и, наоборот, они сосредоточены в обществе, примыкающем к Арскому, то есть в обществе, куда, с одной стороны, мне вход был закрыт и в котором, с другой стороны, я разочаровался. Поэтому, наряду с планом наладить свою жизнь через Нину Моисеевну, существовал иной, также мной упомянутый: дать взятку через Григоренку и получить право на устойчивое койко-место в общежитии. Правда, в плане с Григоренкой было немало вопросов и белых пятен; главное же, отсутствовала перспектива и цель из-за утраченной идеи, но интуитивно я полагался здесь на жизнь, которая помимо моей воли движением своим подтвердит правильность моих действий, суть которых пока скрыта от меня самого. Все это я продумал то ли во сне, то ли в полусне перед пробую-

ждением, не пойму, во всяком случае, открыв глаза, я уже знал твердо, что Нина Моисеевна и женитьба пока оставляются про запас, а на передний план выдвигается предложение Григоренко. Однако, открыв глаза, я тут же их зажмурил в страхе. Испуг был так неожидан и силен, что я, кажется, даже застучал зубами. У койки своей я увидел окровавленное лицо ребенка лет четырех, который пускал из ротика кровавые пузырьки и протягивал ко мне окровавленные ручки. Перед тем как застучать в страхе зубами, я, наверное, спросонья, не владея собой, не по-мужски как-то крикнул. Крика не помню, но какой-то визгливый женский звук замирал еще в моих ушах, когда ребенок заплакал. Никаких действий я не производил, помню твердо, и это важно как аргумент против клеветнических обвинений, значит, ребенка мог испугать только мой крик. Меня же, наоборот, испуг и плач ребенка несколько успокоили, я поднялся на локте, огляделся и понял, в чем дело. Я упоминал, кажется, ранее, что среди уборщиц была Надя, мать-одиночка (большинство женщин, прямо или косвенно связанных с нашим общежитием, по странному совпадению были Нади: Надя-уборщица, Надя-солдатка и еще одна Надя, жена Данила-монтажника). Так вот, Надя-уборщица, не любившая, кстати, меня, часто брала с собой своего мальчика и во время уборки сажала его в комнату на какую-либо койку или на стул. Должен сказать, что Надя невзлюбила меня за то, очевидно, что я сразу почувствовал неприязнь к ее мальчику. Я, разумеется, никогда открыто неприязни не проявлял, но она как мать интуитивно все понимала. Мне кажется, что если самое прекрасное среди живущего надо искать среди маленьких детей, то и самое отвратительное можно также найти среди маленьких детей. Есть дети, зарождающиеся от неприятных, истощенных, больных либо алкоголиков или вообще зарождающиеся бездумно, впопыхах, по животному, и пока они живут неосознанно, в облике их невольно проявляются какие-то алчные и цепкие движения зверьнейшей, поскольку уродцы эти на первых порах развиваются кое в чем быстрее нормальных детей. В то же время трогательные черты детской слабости у них выглядят жалко, как неразвитые рудименты, и потому вызывают брезгливость. Позднее такие люди, к сожалению, в силу трудной и многосложной жизни, не представляющей особой редкости, позднее такие люди, вырастая, прячут по мере возможности первоначальные свои пороки, в которых повинны не они, либо под ординарностью, либо, наоборот, если врожденные пороки особенно сильны и неравномерны, под сознанием собственного превосходства и активной общественной деятель-

ности. Но и в том, и в другом случае они утрачивают первоначальные свои античеловеческие черты и своим человеческим обликом, человеческой злобой и человеческими страданиями, а также многомиллионным количеством своим все более заводят в тупик цивилизацию, для которой, в соответствии с возобладавшими в последние два века материальными представлениями, человеком является любое существо, опирающееся на две ноги, а следовательно, подлежащее защите гуманных моральных норм...

Итак, вернемся к моменту, когда, проснувшись с определенным планом и решением, я вдруг увидел перед собой окровавленного ребенка и, пережив испуг, узнал в нем четырехлетнего сына уборщицы Нади. В мальчике этом не было ничего по-детски свежего. Пахло от него дурно, глаза у него были мутные, воротник обслюнявлен, ручки грязные, с нечистыми ноготками. Он страдал постоянно какими-то кожными болезнями, и поэтому Надя не отдавала его в ясли, а брала с собой. Вообще существо это было крайне неприятное и несчастное, для которого при наличии ума — спасение в затворничестве, но по молодости лет оно этого не знало и потому активно тянулось к людям, ожидая от них не столько ласки, сколько еды. Кажется, в некоторых комнатах мальчика любили и угощали. У нас, например, пожилой жилец Кулинич, когда бывал дома, играл с ним. Игра заключалась в том, что мальчик пытался сосать палец Кулинича с черным ногтем и трещинами, разъеденными строительным раствором... Мне это было противно, а Кулинич смеялся и, дав вдоволь пососать палец, угощал мальчика косточкой из борща или хлебной коркой. Несмотря на свое стесненное материальное положение, я тоже угощал мальчика, то куском булки, то мармеладиной (карамель не давал, боясь, что он подавится). Но к себе я Надиного сына все же не допускал и не мог скрыть брезгливости, отчего Надино материнское тщеславие этим возмущалось. Бытового тщеславия у Нади по бедности не было, и мне кажется, она специально брала мальчика с собой, чтобы его жильцы кормили. В этом-то я ее понимал. Зарабатывала Надя мало, и Саламов говорил, что когда на стройке выдают получку и аванс, Надя спит с жильцами за деньги по комнатам. Якобы даже Софья Ивановна разок ее на этом застукала и чуть не выгнала, пожалела, да и Тэтяна, которая меня ненавидела, Наде покровительствовала (может, еще одна причина, по которой Надя не любила меня, чтоб угодить своей покровительнице). Что-то женственное в Наде было, при крайне непривлекательном, вспухшем каком-то лице — неплохая фигура, хорошие русые волосы, которые она запле-

тала в толстую косу и закручивала на затылке. После рассказа Саламова я тоже на нее иногда поглядывал с интересом, но тут же гасил эту мысль... Жизнь проклятая... Я пугался этих мыслей, но в то же время они вдруг возникали безудержно, по-животному...

Сейчас в комнате, кроме меня и мальчика, никого не было, и он ревел, пуская красные пузыри изо рта и размазывая по лицу то, что я принял спросонья за кровь и что было в действительности моим кубанским борщевым соусом. Тумбочка моя была открыта, и все пищевые запасы, на которые я рассчитывал жить не менее трех-четырех дней, были перелопачены, измяты, доведены до брезгливого состояния. В банку с борщевым соусом он влез ручками и, пытаясь пить оттуда, напустил слюней, куски хлеба и колбасы были обжеваны, обсосаны и брошены, сахар и карамель рассыпаны, на сливочном масле следы зубов и пальчиков, словно царапины крысиных лапок. К тому же от мальчика сегодня исходил особенно сильный запах кислятины и мочи. Ненависть (именно ненависть) и отвращение затмили мне рассудок, и желание изо всех сил ударить это ничтожненькое существо, громко плачущее, было так велико, что я толкнул его от себя, чтоб не ударить. Мальчик упал, по-моему удачно, ни обо что не стукнувшись, и заплакал совсем уж громко. Я сразу же пожалел о содеянном, тем более Надя, которая ходила вымачивать половую тряпку в туалете, а заодно уж и убрала туалет (вот почему ее так долго не было и мальчик творил, что вздумается), Надя вбежала на крик сына, подхватила его на руки и разъяренно, как самка, защищающая детеныша, набросилась на меня. Я отвечал ей так же грубо, будучи разозлен чрезвычайно и озабочен потерей продуктов. Убирая туалет, Надя намочила платье, и сквозь мокрую ткань была видна ее грудь с большими сосками, чего она совершенно не стеснялась, трясая этими грудями в негодовании почти что у моего лица, поскольку я полусидел в постели, прикрываясь одеялом и не имея возможности встать из-за нижнего белья. Это делало мое положение беспомощным и отнимало у меня уверенность в споре, где я был прав и считал, что прав, за исключением разве что толчка этому гаденышу, ибо не сдержался и сглупил. К тому ж подобную мощную нагую женскую грудь, полувывалившуюся наружу, признаюсь, я видел впервые так близко наяву, и оттого мысли мои вообще путались. Я терял логическую нить происходящего и вместо негодования, которое необходимо было мне, чтобы отвечать на те оскорбления, грязные слова, которыми осыпала меня Надя, начинал испытывать тревожную истому, исходящую от постели, в которой я не

раз это чувство испытывал перед сном. Но ныне оно было таким, как никогда, живое, реальное, как мое собственное тело, и дикие мысли одна нелепее другой овладели мной. Я сильнее натянул одеяло и сделал (как уверял себя сам) случайное движение, меняя позу, отчего Надина грудь мягко и тяжело скользнула по моей щеке. Я тут же отпрянул, надеясь, что движение это нельзя истолковать иначе, чем случайное, однако причиной моих надежд была моя неопытность, ибо женщину насчет подобного рода действий ввести в заблуждение невозможно. Надя как-то странно замолкла, и некоторое время, доли секунды, мы смотрели друг на друга с новизной и любопытством. Но тут вновь закричал обиженный мной мальчик, и Надя вернулась к прежнему. Она обложила меня напоследок матом и ушла, хлопнув дверью. (У меня возникла дикая совершенно мысль, что иной причиной возврата Нади к враждебности против меня была моя нерешительность.) Едва дверь захлопнулась, как я вскочил и принялся торопливо одеваться. На душе не было ни страха, ни злобы, ни раскаяния, а какая-то муть. Я собрал все мои продукты в газету, вышел в коридор и выбросил в мусорный ящик. Кое-что оставалось не лапанным мальчиком, например, некоторая часть карамели, но мне было противно, и я выбросил все. Внизу, на первом этаже, бушевал бабий скандал. Надя громко, истерически плакала (в комнате моей она не плакала, а лишь ругалась матом). К плачу Нади подмешивался полный ненависти в мой адрес голос Тэтяны и низкий мужской тембр Софьи Ивановны. Я понял, что попался, и в сложившейся чрезвычайной ситуации начал обдумывать свои дальнейшие действия. Прежде всего я надел пальто, вложил в боковой карман все документы, сберкнижку и наличные деньги, взял шапку, запер дверь и пошел в двадцать шестую комнату. К счастью, и Григоренко, и Рахутин были дома и завтракали. Горка пахучей, с чесноком, домашней колбасы лежала на газете (видно, кто-то из ребят получил из дома посылку), стояли две бутылки пива, баночка топленого сала, груды серых домашних коржей, на которые они мазали масло. Еда вкусная, но распорядились ею ребята по обыкновению неэкономно, ели все сразу и с объедками. Мне б всего этого хватило не менее чем на неделю.

— Ты где пропадал?— спросил меня Витька.

— Он в высшем обществе вращался,— ответил за меня Рахутин. (Рахутин любит иногда подковырнуть.)

— Садись, пережри это дело,— сказал Витька.

Я сел, намазал корж, но не маслом, а салом, что вкуснее, удивительно, как это ребята не понимают. Сверху наложил

домашней колбасы, густо, не так, как ем свою, наложил не жалея и незкономно. Тем не менее, несмотря на то что этим завтраком я несколько компенсировал потерянные продукты, ел я без аппетита, с тревогой прислушиваясь к шуму снизу. На лестнице слышались шаги, потом они затопали в коридоре. Я сидел затаив дыхание, не слыша, что говорят ребята. Ходили, очевидно, комендантша и Тэтяна, разыскивали меня.

— Слышали шум?— сказал я как можно более развязно.— Это из-за меня... С Надей поскандалил.

— Наде надо было трешку дать,— сказал Витька,— еще б и удовольствие получил.

— А он на уборщиц не разменивается,— сказал Рахутин.

Шаги приблизились и остановились перед нашей дверью. Я понял, что обнаружен, и торопливо прожевал кусок. Хоть я и ждал стука, но когда он раздался, требовательный, чужой, несущий опасность, сердце мое защемило.

— Войдите,— сказал Рахутин.

Вошли комендантша Софья Ивановна и Тэтяна.

— Цвибышев,— сказала мне комендантша,— во-первых, почему вы так себя ведете по отношению к уборщице, а во-вторых, через неделю мы вас будем выселять... Три года вы нам голову морочите своими махинациями... У нас теперь строгая инструкция, никаких поблажек. Мы из седьмого корпуса уже двух выселили, нам вербованных размещать негде.

Я понимал, что унижения и просьбы в моем положении лишь ослабят мою позицию, и потому пошел напролом.

— Не имеете права!— крикнул я.— Попробуйте только пальцем прикоснуться к моей постели, как бы вам не влетело так, что и внукам своим закажете. С работы как бы вы сами не полетели...

Тут я очень перехлестнул от волнения и напортил. Можно было ответить резко, ибо иного выхода не было, но с достоинством и без личных угроз, тем более в моем бесправном положении смешных. Но, главное, я сам им подал мысль прибегнуть к средству, являющемуся последней мерой перед выселением, то есть отобрать постель... Подобные угрозы лишить меня постели возникали уже раза два, но лишь в конце, после многомесячной борьбы, телефонных звонков и разговоров, как конечный способ давления, на который я обычно находил достойный ответ через Михайлова, понимая эту угрозу как сигнал игры ва-банк. Ныне я необдуманно словами своими сразу же, не наладив еще в этом году связей и не выяснив подлинного положения дел, переводил игру ва-банк. И действительно, Тэтяна сразу же за это ухватилась.

— Давно надо было у подобного проходимца постель от-

обратить,—крикнула она, глядя на меня с ненавистью.—И вообще,—сказала она потише и искренне,—будь моя воля, я б его головой под трамвай сунула.

— Ну, так тоже не надо говорить,—сказала ей комендантша Софья Ивановна,—зачем же вы тоже так грубо?.. Надо по закону.

— Пошла вон, сука,—крикнул Тэтяне обозлившийся Витька Григоренко,—Софья Ивановна пришла, это другое дело... А ты топай в свою конуру и не твякай.

— Сам не твякай,—покраснев, крикнула Тэтяна,—он вон Колечку избил, Надиного сыночка...

В дверь с любопытством заглядывали жильцы из других комнат. Заглянул и Адам, который неожиданно поддержал Тэтяну и обругал меня. Он, кажется, очень любил Колечку и хотел даже жениться на Наде, но она со смехом отвергла предложение дурачка (эту подробность я узнал позднее от Саламова). Скандал между тем еще более обострил обстановку и был не в мою пользу. Витька это понял. встал и надел пальто.

— Пойдем отсюда,—сказал он мне.

Мы вышли на улицу. Вовсю дул гнилой, ненавистный для людей душевно взволнованных ветер, и таял снег.

— Ничего,—сказал Витька.—Я вчера с ним опять говорил, сделает. Он знаешь сколько уже народу устроил? Славка Бондарь, знаешь его? Из сантехников... Он ему койко-место сделал. Тот, правда, на это месячную зарплату свою положил.

— Да зарплата-то чепуха,—небрежно махнул я, поскольку уже мысленно подсчитал и выделил средства из запасных своих фондов, сильно их этим урезав почти до минимума.— Дело не в деньгах,—добавил я.

— Ну, тем лучше,—сказал Витька,—справку с работы сдал?

— Я рассчитываюсь,—сказал я.—Подал заявление. Надоело в дерьме вкалывать. Что-либо получше хочу под-
обратить.

— Да ты что?—Витька остановился и посмотрел на меня с испугом и растерянно, из чего я заключил, что он настоящий друг и искренне переживает.—Скотина ты безрогая, на-шел время с работы уходить. Они ж на тебя зуб имеют, без справки они ж тебя сразу выбросят, и дядя Петя не поможет.

Тут уж настала очередь мне возмущаться и удивляться.

— Какой дядя Петя?—быстро спросил я.

— Какой-какой?—раздраженно сказал Витька.—

Истопник... Истопника не знаешь?.. Ты вот скажи, где справку возьмешь?.. Без справки и дядя Петя ничего не сделает.

— Да пошел ты,— крикнул я, чувствуя, что теряю почву под ногами, и рассчитывая уже мысленно, куда бы метнуться за помощью. И как ни вертел, оставался один испытанный путь—опять унизиться перед Михайловым.

— Я думал, у тебя связи в управлении, в жэке, а ты на истопника рассчитываешь,— сказал я.

— Что ты понимаешь?— крикнул Витька (мы с ним чуть не поругались весьма некстати).— Ты справку давай, остальное не твоя забота.

— Да справку мне дадут,— сказал я,— в прошлый раз сколько справок принес, а они на них ноль внимания, пока сверху не позвонили... Разные ж ведомства... А наше СМУ меня общежитием не обеспечивает.

— Пусть это тебя не волнует,— сказал Витька.— В таком деле еще неизвестно, где верх, а где низ.— Витька мне подмигнул.

Я улыбнулся в ответ и успокоился. Витька настоящий друг. Конечно, голову свою он за меня не подставит, этому противоречит его ясный разум, незнакомый с романтизмом, однако во всем остальном на него можно твердо рассчитывать. Насчет справки я был уверен. Во-первых, я только-только подал заявление, причем по своей воле. Ирина Николаевна напечатает, а Мукало подпишет. К Брацлавскому я и ходить не буду... Конечно, были и опасения, но опасения существуют всегда и у каждого, тем более у меня, человека, которому немало пришлось перетерпеть от расчета на одну лишь справедливость либо снисходительность, то, на что в делах жизненно важных рассчитывают лишь люди неопытные и несерьезные...

Первый, кого я встретил, войдя в ненавистный мне двор управления, был Шлафштейн. Он, видимо, уже получил наряд и шел к трамвайной остановке, чтоб ехать на объект. Но, увидев меня, Шлафштейн вернулся.

— Вот он, герой Севастополя,— сказал Шлафштейн Свечкову, который стоял у входа,— полюбуйся, Володя.

— У тебя голова есть?— сказал мне Свечков и постучал себя по лбу.— Ты чего заявление подал?

— Мы ходили к Брацлавскому...— сказал Шлафштейн.— И Сидерский ходил, и Коновалова... Даже Юницкого обрабатывали... Я тебя на свой объект взять хотел, там для тебя хорошая работенка... А Брацлавский говорит: ничего не могу поделывать, он подал заявление и уже уволен.

— Да,— сказал я.— А вы хотели, чтоб Брацлавский мне трудкнижку испортил... Написал бы за развал работы...

— Вот человек,— сказал Свечков, глянув на Шлафштейна.— Да неужели ты не понимаешь, что у него не было никаких оснований?.. Даже Райков, этот бездельник, присланный сюда райкомом, точно тут собес...

— Ладно, ты тоже не шуми, Володя,— сказал Шлафштейн, оглядевшись.

— Нет, я о чем,— говорил Свечков.— Даже Райков говорил о нем хорошо... Сказал о самосвалах, которые он переправил на объекты из Конча Заспы... Я начал после этого лучше к Райкову относиться... Зав. отделом кадров Назаров против тебя ничего не имеет, Юницкого мы обработали, Коновалов притих, когда я сказал, что беру тебя на свою ответственность... Один только Мукало против...

— Как, Мукало?— растерянно спросил я.— Ведь Мукало... Он предложил мне...

— Я все знаю, что он предложил тебе,— перебил Свечков,— неужели так много надо ума, чтобы понять, что Мукало согласовал это с Брацлавским?.. Мукало в управлении теперь главная сука, это все уже давно поняли, кроме тебя... Во-первых, он пытался противостоять Брацлавскому, рассчитывая не на трест, а повыше — на главк... Но тут-то он и обделался...

— Отойдем,— сказал Шлафштейн.

Мы отошли и стали за глухой стеной ремонтных мастерских.

— Во-вторых, у него репутация покровителя всякого рода неустойчивых и нежелательных людей — без прописки или евреев, ну ты меня понимаешь. И чтоб эту репутацию поломать, найти общий язык с Брацлавским и починить свой стул, он готов сделать то, чего сам Брацлавский никогда б не сделал.

— Я нашел другую работу,— соврал я, главным образом, конечно, чтоб путем обмана и самообмана как-то придать себе вес, а также чтоб успокоить Свечкова, ибо меня трогало, как много сил и нервов тратит во имя меня этот в сущности чужой мне человек. Это был честный (морально честный. Производственно-строительные перегибы в расчет не шли), трудолюбивый парень, однако я чувствовал, что даже таким приятелем, как с Григоренко, я с ним быть бы не мог. Он был весь в работе, а помимо работы вел тихую семейную жизнь и по уровню духовности стоял, пожалуй, ниже жилья моей комнаты Берегового, где-то в районе Кулиничка и Саламова. Шлафштейн был тоже честный человек, но в нем не было той

самоотверженности, которую проявлял Свечков. Мне кажется, Шлафштейн менее Свечкова меня идеализировал и в глубине души мне не доверял. Тем не менее он вместе со Свечковым ходил ходатайствовать в мою пользу.

— Каку ты нашел работу?—спросил Шлафштейн.

— В проектном бюро,—сказал я,—в тепле, и зарплата хорошая.

— Вот видишь, Володя,—сказал Шлафштейн Свечкову,—я ведь говорил, что ему помогут. У него наверху знакомства.

— Да,—сказал Свечков,—конечно, в тепле лучше, особенно тебе, Гоша, с обмороженными ногами. Я ведь тоже подобрал тебе закрытый объект. Ясное дело, не бюро, но от ветра защищенный.

Он говорил искренне, но помимо его воли что-то разочарованно-обиженное было в его лице.

— Пойдем, Володя,—сказал Шлафштейн,—мы опаздываем.

— Желаю удачи,—сказал Свечков, и они ушли.

Мне было неловко, было такое чувство, точно я поступил непорядочно и неблагодарно по отношению к людям, бескорыстно, по собственной инициативе старавшимся ради меня и ради меня рисковавшим своей репутацией. Однако тут же возникло и раздражение. Я начал уставать от всех этих бесконечных ходатайств в мою пользу, делавших меня вечным должником чересчур большого количества лиц. Если уж нет возможности обойтись без покровителей, с раздражением думал я, то надо хоть постараться ограничить их число, прибегать к их помощи лишь при крайней нужде и выбирать их самостоятельно. Нельзя позволить, чтоб покровители сами выбирали меня, даже в делах ничтожно мелких, пользуясь тем, что я ограничен во всем... Их действия кажутся мне бескорыстными и направленными исключительно в мою пользу, но, приглядевшись, можно обнаружить серьезную моральную выгоду, какую они извлекают, делая мне одолжение в любой мелочи, даже в приятном словце в мой адрес, брошенном в каком-нибудь присутственном месте... Горе человеку, нуждающемуся в покровительстве хороших людей, написал бы я в букваре и разучивал бы эту фразу по буквам с первого класса, ибо если корысть твоя от общения с этими людьми чересчур велика или чересчур постоянна, ты рискуешь начать принимать добро требовательно и обидчиво, войдя в адский замкнутый круг, уменьшив количество столь нужных тебе хороших людей своей неблагодарностью и посеяв в них разочарование в содеянном ими добре...

В секретарской я поздоровался с Ириной Николаевной, которая была сегодня в очень красивой новой кофточке с красными полосами.

— С обновкой,— сказал я Ирине Николаевне, действуя, тем не менее, вопреки своим предыдущим мыслям и в угоду делу.

Ирина Николаевна кивнула мне не злобно, но и не радушно. Ее действия были абсолютно точны и соответствовали той неписаной науке, которую обязан пройти всякий технический работник учреждений, где твердый плановый порядок и необходимая практическая оперативность неизбежно тронуты с одной стороны издержками порядка — бюрократией и с другой стороны — издержками практической оперативности — личными отношениями. Я был уже уволен, но в то же время в учреждении имелась серьезная группа лиц, которая считала это увольнение несправедливым. К тому ж ходили слухи о некоем моем покровителе, сидящем достаточно высоко. Более того, поскольку непосредственная инициатива моего увольнения исходила от Мукало, человека, дни которого в управлении были сочтены, кроме Брацлавского Ирина Николаевна одна пока знала об этом, еще неизвестно, как среагирует в нынешней обстановке сам Брацлавский. Конечно, его простая натура бывшего кузнеца не терпит Цвибышева и хочет от Цвибышева избавиться, но в то же время за двадцать лет сидения в креслах сначала в качестве выдвигенца-директора бетонного завода, позднее директора автотранспортной конторы, а еще позднее начальника этого управления Брацлавский не только потяжелел и растолстел, но и приобрел необходимые для своей новой номенклатурной профессии навыки производственной интриги. Что если с помощью такой мелкой ничтожной пешки, как Цвибышев, Брацлавский, который в отличие от Мукало всегда опирался на среднее звено — трест, захочет наладить отношения со звеном выше, с главком, где у Цвибышева, кажется, покровители? Ирина Николаевна знала, например, что Брацлавский, особенно после посещения его группой лиц и после совета с Юницким, с которым явно вступил в союз, чтоб «съесть» Мукало, мое заявление пока не подписал. Разумеется, людям, не посвященным в бездонные глубины производственно-управленческой интриги, состоящей из тысяч тончайших нервов, где весьма причудливо переплетаются подчас весьма далекие друг от друга факторы, таким людям может показаться странным, что моя нелепая личность может стать фигурой в крупной игре. Должен сразу разочаровать — она ею не стала, но вариант такой игры существовал, и Брацлавский

с Юницким в своей борьбе против Мукало над таким вариантом некоторое время думали, пока не отвергли. Это я узнал позднее и, отсюда оттолкнувшись, идя назад по цепочке, аналитическим методом, восстановил — разумеется, с неточностями, но, уверен, все ж достаточно близко к оригиналу, — о чем размышляла Ирина Николаевна, вежливо кивнувшая мне на мое поздравление с обновкой. Ирина Николаевна думала о форме и степени своего отношения ко мне, и я видел, что это ей непросто решить, ибо я не давал ей никакого конкретного повода, а технический секретарь обладает достаточно цепким, однако не абстрактным умом, и для эффективных действий ему необходимы конкретные причины. Я невольно, сам того не подозревая, пошел Ирине Николаевне навстречу.

— Напечатайте мне, пожалуйста, справку, — сказал я, — в общежитие надо.

Она с готовностью взяла плотный фирменный бланк и начала печатать. Теперь задача ее упросталась. Надо было решать не вообще абстрактное отношение ко мне, а конкретное действие: пустить ли меня с этой справкой направо к Брацлавскому или налево, к Мукало... Поскольку не был еще подписан приказ, печатание такой справки ей лично ничем не грозило... Она знала, что Мукало эту справку точно не подпишет, подпишет ли Брацлавский, было неизвестно и зависело от принятого им решения, которого она не знала. Но она знала точно, что если решение это отрицательно, Брацлавский будет ею недоволен, ибо она ставила его в положение, совершенно ему ненужное (он все-таки подумывал о моем покровителе в главке), и принуждала его, а не Мукало, мне отказать. Поэтому она все ж решила запустить меня к Мукало. Однако, то ли потому, что Ирина Николаевна колебалась, то ли потому, что ее все ж мучила немного совесть, ведь ранее она пыталась мне помочь по мере возможности и кое-что даже сделала для меня, в общем, как бы там ни было, Ирина Николаевна решила, очевидно, испытать судьбу.

— Кого печатать для подписи, — спросила она меня быстро и умело безразлично, — Брацлавского или Мукало?

Я помнил о предупреждении Свечкова насчет Мукало, но, во-первых, считал, что Свечков перегнул, а во-вторых — и это главное — не хотел идти к Брацлавскому. За три года моей работы здесь я ни разу не общался с ним непосредственно. Не то чтоб я его боялся, а был он мне ну до того как-то телесно чужой, что я не представлял себе вообще возможности говорить с ним и, пожалуй, не нашел бы слов.

— Печатайте Мукало, — сказал я.

Ирина Николаевна напечатала, даже движением брови не

выдав своих чувств. Она знала, что этим ставит последнюю точку в моей карьере здесь, в этом учреждении. У меня был единственный шанс сейчас, когда группа уважаемых работников выступила в мою защиту, посетив Брацлавского, по горячим следам попасть к Брацлавскому и, переговорив с ним, ценой, наверное, унижительных обещаний получить подпись под справкой о работе, тем самым механически отменив приказ о моем увольнении, который был уже завизирован Мукало, но не подписан еще Брацлавским. Тем не менее Ирина Николаевна послала меня к Мукало, успокоив свою совесть тем, что я сам этого просил, и тем, что ранее, когда было возможно, она делала мне добро.

Мукало, сидя за столом, что-то быстро и нервно писал. Я давно не видел его таким взволнованным и понял, что ко всему еще и пришел неудачно. Он посмотрел справку и сказал, глядя на меня снизу (он сидел, а я стоял):

— Как я буду подписывать справку, як вы уволены? (Он говорил с сильным украинским акцентом, что было признаком беспокойства, и сказал мне «вы», что было признаком отчужденности.)

— Но ведь я еще даже расчета не получил,— сказал я,— Митрофан Тарасович (я специально назвал его по имени-отчеству, чтоб перевести разговор в доверительную плоскость).— Если я не сдам справку, меня выбросят из общежития... Мне негде жить...

Я сказал это с некоторой дрожью в голосе, но на Мукало это хоть и произвело впечатление, однако не то, на которое я рассчитывал.

— А что я вам могу сделать?— сказал он как-то раздраженно по-бабьи.— Вот так всем помогай... Все требуют... Кто больной, кто многодетный, кто без прописки, у кого пятый пункт—еврей... Только тебе никто не помогает.— Кажется, он немного забылся, будучи чрезмерно взволнован. Он встал, обошел кругом стола, захлопнул дверь на секретный замок.— Тут же всюду слухают,— сказал он мне уже спокойнее и доверительней, что меня обрадовало.— Я тебе вот что могу посоветовать (он сказал «ты», что обрадовало еще более). Ты сходи к Евсей Евсевичу... Скажи, Мукало мне помогал сколько мог... Теперь не может... Устройте меня куда-нибудь в другое место... И насчет жилья... Ему только снять трубку и позвонить, он же мне звонил насчет тебя, думаешь, тебя бы взяли три года назад, если б не его звонок...

Я не знал, как поступить. Мысль пойти непосредственно к неизвестному мне моему покровителю, минуя Михайлова, который действовал через этого покровителя, мне нравилась,

однако для этого надо было знать его фамилию и место работы. Спросить же о том у Мукало значило поколебать свой авторитет и выдать отсутствие прямой связи у меня с этим высокопоставленным лицом, связи, в которую многие верили. Тем не менее выхода не было.

— Как фамилия Евсей Евсеича? — спросил я Мукало.

Он посмотрел удивленно.

— Ты мне заднее место не морочь, — грубо сказал Мукало.

Пришлось пойти в откровенности еще дальше.

— Евсей Евсеевич знакомый моего знакомого... То есть Михайлова (не надо было называть фамилии), Михайлов старший друг моего отца (не надо было впутывать отца).

Все ж ценой такой откровенности мне удалось установить, что Евсей Евсеича фамилия Саливоненко, он ответственный работник министерства и министерство это расположено в здании республиканского совета министров.

— Ты торопись, — сказал Мукало. — Лучше туда попасть в первой половине, если, конечно, сегодня приемный день... зайди по дороге в бухгалтерию, получи расчет, пока деньги есть... Иначе через две недели, не раньше, — крикнул он мне вслед...

Хоть Мукало мне справку и не подписал, я вышел с некоторой даже благодарностью в его адрес.

— Ну что? — с интересом, волнением и, кажется, с какой-то надеждой спросила меня Ирина Николаевна.

— Да все нормально, — ответил я, думая уже совсем о другом, о возможности одним ударом решить все на самом высшем уровне, а не копать по низам с бумажками.

— Подписал? — обрадованно и удивленно почти крикнула Ирина Николаевна.

— Не в бумагах суть, — ответил я. Ответил бодро, не знаю, почему Ирина Николаевна поняла, будто дела мои плохи, и вздохнула, как-то сникнув и начав печатать, низко пригнувшись над машинкой.

Я прошел в бухгалтерию, с опаской поглядывая на дверь производственного отдела, где сидел Юницкий. После бутылки вина, которую Юницкий нагло выпил за мой счет, мне он стал особенно неприятен. В бухгалтерии мне дали расписаться в ведомости. Я расписался и, лишь когда кассирша начала мне отсчитывать деньги, понял, что сумма чрезвычайно мала, пожалуй, четверть той суммы, на которую я рассчитывал.

— Почему так мало? — спросил я. — Тут же и зарплата, и компенсация за отпуск.

— Обратитесь к Андрею Борисовичу, — не глядя на меня, сказала кассирша, — Андрей Борисович, вот претензия у Цвибышева.

— Что такое? — сказал бухгалтер, надевая очки и глядя в ведомость. — Ах, Цвибышев... Ну, все правильно... Подходящий, бездетность и вот вычли с вас за сгоревший мотор.

Меня обдало потом сразу всего. Конечно, страдания из-за денег признак плохого тона, но деньги эти были уже заприходованы в моем бюджете, распределены, я верил в них и в соответствии с этим строил свои жизненные планы.

— Какой мотор? — хрипло спросил я.

— Вам видней, — раздраженно сказал Андрей Борисович, — вот докладная и акт.

Речь шла о некоем электродвигателе экскаватора, сгоревшем два месяца назад. В принципе за техническую сторону механизмов отвечал не прораб, а механик. Однако в акте значилось, что экскаватор перегонялся своим ходом на недозvolенное расстояние и в сложной местности, что и привело к перегреву и выходу из строя электродвигателя. Все это было явной липой, и под липой этой стояли подписи Коновалова, механика, экскаваторщика и Сидерского, парня, который, в общем, хорошо ко мне относился и вместе со Свечковым ходил к Брацлавскому просить для меня.

— Скажите еще спасибо Юницкому, что мы с вас десять процентов всего удержали, — сказал Андрей Борисович, — согласно акта не менее тридцати — сорока удерживать надо... Вы бы еще должны остались.

Я взял деньги и вышел. Я быстро привыкаю к финансовым потерям и сразу же ищу способ их компенсации. Тут же в почтовом отделении рядом с управлением я написал письмо деду, прося у него займы с рассрочкой на год. Дед у меня не родной. Бывают неродные отцы — отчимы, а как назвать такого деда, не знаю. Это второй муж моей покойной бабки. Тем не менее, будучи человеком состоятельным, мне он иногда помогал небольшими суммами, как он писал, «на хозяйство», ожидая моей женитьбы, чтоб опять же, как он писал, «иметь от меня процент». Разумеется, он никогда не дал бы мне ни копейки, если б знал, что я вишу в воздухе и деньги мне нужны не на шифоньер или холодильник, а на хлеб. Поэтому я написал, что получил на работе квартиру и хочу приобрести мебель. Заклеив и отправив письмо, я вовсе успокоился и поехал в центр к зданию совета министров. Интересно чувство, которое я вдруг начал испытывать, направляясь в совет министров. Это было некое сладостное ощущение, прикосновение к большой власти, хотя бы и в качестве проси-

теля, но просителя высокого ранга, что поднимало мой авторитет, и на вопросы трамвайных пассажиров, выхожу ли на данной остановке, я отвечал как-то отрывисто и с достоинством.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Огромное, облицованное от фундамента на высоту трех нижних этажей глыбами причудливо обработанного гранита, а выше — мрамором с медными заклепками-гвоздями здание с рядом мощных дверей из полированного дуба, меди и стекла, с широкими мраморными ступенями и двумя иглообразными мачтами, на которых развевались союзные и республиканские флаги, республиканский совет министров, где сидел Евсей Евсеевич, мой незнакомый покровитель, произвело на меня какое-то тревожно-восторженное впечатление. Не скрою, может, это и глупо звучит ныне, в век (именно, в новый век, наступивший в конце пятидесятых годов, я не оговорился), в век закономерного и во многом плодотворного скептицизма к властям, в те годы я еще не утратил детской восторженности перед высокой властью (подчеркиваю, не всякой властью, а высокой, хоть и тронутой уже анекдотами и бытом, но вблизи внушавшей еще сладкий трепет). Охваченный этим трепетом, я шел по ступеням в числе входящих и выходящих посетителей каким-то парадным шагом, словно мимо трибуны. Я подошел к центральной двери, но старшина велел мне с паспортом идти к третьему подъезду слева. Здесь дверь была поменьше, но стояла также охрана в лице пожилого сержанта, который, осмотрев мой паспорт, пропустил меня. Я снял пальто в мраморном вестибюле у блестящей никелем вешалки. За спиной моей зеркала отличного качества увеличивали пространство, и какие-то другие люди, каких нет за пределами этих оберегаемых вооруженной охраной дверей, какие-то избранники скользили в том пространстве, и я был в их числе. Я поднялся на третий этаж не лифтом, а по крытой ковровой дорожкой лестнице и, подойдя к коридорному окну, глянул вниз на трамваи и снующих пешеходов. Какая-то странная улыбка заиграла у меня на губах, родственная по приятности моей улыбке при взгляде на ночные огоньки с прибрежной кручи, но менее поэтичная, а более саркастическая, полная насмешки над тем, что внизу, и я испытал вдруг сладостное чувство власти, единственное, которое по силе равно любви, но значительно материальнее, чем любовь, и доступнее людям со здоровым, материальным, а не

изнеженным сознанием. Конечно, все эти мои мысли человеку трезвому покажутся смешными. Левый блок совета министров, где располагались комнаты обычных отделов ряда министерств, был открыт для всех по предъявлению лишь паспорта, однако следует помнить о моем низком положении в обществе, из глубины которого даже маленький нелепый повод, даже взгляд из коридорного окна, открытого для посетителей блока республиканского совета министров, позволяет ощутить вкус высокой власти, подобно тому как из глубоких колодцев видны днем высокие звезды. И в это мгновение оплеванная и осмеянная идея моя вновь шевельнулась у меня под сердцем. Однако ныне под новым углом и в более конкретном обличье. Именно поэтому мой разговор с Саливоненко принял неожиданный характер. Я попал в неприятный день, и в секретарской длинный ряд одинаковых стульев был пуст. Секретарша Саливоненко была женщина в расцвете лет, чуть помоложе Вероники Онисимовны. Это была единственная слабость, принесенная с собой из обычного моего быта, которую я себе сейчас позволил,—подумать о секретарше как о женщине. В остальном же я действовал, повинаясь абсолютно новым чувствам, овладевшим мной в тот момент, впрочем, находясь будто и в полусне. Впоследствии Михайлов, извещенный о моем визите, заявил мне, что я вел себя как авантюрист. Какая это клевета и неправда! В те полчаса я был ничем, а стал вдруг всем, пройдя через восторг перед красотой власти (власть ведь удивительно красива). Я глянул вниз сквозь зеркальные окна совета министров, на уродство быта, на талый снег, на суетливых прохожих и — в силу печальных обстоятельств — не знающий тех житейских радостей, которыми этот быт полон, так в душе его оплевал и над ним надсмеялся, что не мог уже спуститься с высоты этого душевного презрения к обычной жизни... Властолюбие мое позднее, получив более весомый и конкретный толчок, раскрылось значительно сильнее и окончательно испортило мне нервы, подобно мечтам моим о красивых женщинах, из-за которых я и на обычных женщин смотреть уже не мог. Сейчас же властолюбие, будучи частью моей натуры, но подавленное нищетой и бесправием, попав вдруг в благоприятные обстоятельства, хоть и ненадолго, обнаружило себя, причем в весьма пристойной форме личного самоуважения.

Всякие средние и низшие учреждения меня угнетают и делают трусливой личностью, здесь же я расцвел и почувствовал себя на равных с остальными обитателями этой, из мрамора и гранита, власти. Подобное лишний раз свидетельствует о моем естественном месте в верхах жизни, не сложись

она столь трагично и не осиротей я в раннем детстве. Я сухо поздоровался с секретаршей и попросил ее доложить Евсей Евсеичу обо мне.

— Сегодня неприемный день,— сказала мне секретарша.

— Я по личному делу,— ответил я.

Одет я был не очень хорошо, в рабочий штопанный пиджак, а не в выходной вельветовый, поскольку визит мой сюда возник экспромтом. И то, что секретарша все ж доложила Евсей Евсеичу, свидетельствовало о глубоком внутреннем самоуважении, сквозившем во мне и заставившем ее по крайней мере не отмахнуться от меня. Впервые в жизни вошел я в кабинет крупного должностного лица. Будь здесь поменьше разноцветных телефонов, посуше и победнее обстановка, какой-нибудь тяжелый канцелярский стол, крытый стеклом с царапинами, с облупившейся краской несгораемый шкаф или иной атрибут низовой власти, я бы растерялся. Но сплошная полировка, отделанные дубом стены, книжный шкаф с золочеными переплетами Советской энциклопедии и то спокойствие, которое мне все это внушило, лишь подтвердили во мне наличие права на высшее, несправедливо отнятое у меня судьбой.

Саливоненко был человек либо еще не старый, либо хорошо сохранившийся, со свежими, правильными чертами лица и темными глазами, впрочем, несколько не славянского, а восточного типа, чуть навывкате. Без малейших залысин голова его была покрыта густыми, но совершенно белыми седыми волосами, что делало его привлекательным, особенно для мечтательных молоденьких девушек. В кресле передо мной сидела сама удача, одаренная всеми благами жизни, но я, человек обиженный, тем не менее почувствовал к этому удачнику расположение, что свидетельствовало лишний раз о чувстве самоуважения, которое пробудилось во мне под воздействием высшей власти...

Первоначально Саливоненко встретил меня вежливо-приятно и нейтрально-вопросительно. Я уселся в предложенное кресло и задумался на секунду-другую. Я думал о том, какое счастье было бы явиться сюда не с бытовыми просьбами и в поисках заступничества, что казалось мне стыдным, а как мыслящий человек к мыслящему, как к интересному собеседнику, ему первому и единственному открыть то, что накопилось за все годы, то высокое в своей душе, которое я оберегал от сопроикосновения с текущей низшей жизнью. Но выхода не было, обстоятельства не оставляли мне иных возможностей, кроме как просить о бытовой помощи и покровительстве, тем более что он мне в свое время уже покровитель-

ство оказал, пусть и инкогнито. Однако уж все если так складывается, то надо хотя бы построить свою просьбу таким образом, чтоб выказать одновременно свою личность и не повторить ошибок взаимоотношения с Михайловым, то есть показать, что Саливоненко вкладывает усилия не в пустое место — Цвибышева (фамилию я пока еще не назвал), а спасая для общества нечто интересное.

— Я, собственно, хотел бы начать издалека,— сказал я. — В вопросе о нравственности Чернышевский стоит на заимствованных у Гельвеция позициях, что самоотверженность есть вид разумного эгоизма...

Я довольно точно продумал, как от подобного начала перейти к сути дела, но запутался и утерял нить, все более и более наслаивая неуместные мысли.

Саливоненко слушал с недоумением, но и с интересом, не понимая еще, во что подобное вступление выльется, и несколько ошеломленный. Главное, чего я добился,— интереса и отсутствия ординарности. Так что когда секретарша приоткрыла дверь, Саливоненко попросил ее подождать. В моих словах был, конечно, элемент самолюбования, но давали о себе знать также и долгие часы, проведенные по собственной инициативе за бессистемным, но упрямым чтением, приобщение — невзирая на бесприютный быт и сосущие голодные позы — к тому, что в принципе составляет роскошь человеческого бытия и в принципе сопутствует материальным излишествам.

— Надобно бывает только всмотреться попристальней,— читал я уже по блокноту, который достал из бокового кармана,— в поступки или чувства, представляемые бескорыстно, и мы увидим, что в основе их та же мысль о собственной личной пользе... Лукреция закололась, когда ее осквернил Секст Тарквиний,— она поступила очень расчетливо...

Конечно, я излагал не лучшее из того бессистемного потока знаний, который черпал вслепую в читальном зале библиотеки, однако Саливоненко меня ни разу не перебил, слушал внимательно. Правда, когда через некоторое время секретарша вновь несмело приоткрыла дверь, он на этот раз сказал ей: «Входите, входите». Я принужден был замолкнуть и ждал, пока Саливоненко прочтет принесенные секретаршей бумаги. Пауза эта, хоть и деловая, была молчаливым пренебрежением, и я понял, что Саливоненко привык ко мне и понял меня, однако, в отличие от Михайлова, сделал это не за два месяца, а за десять минут. Что-то погасло во мне, возвышенность моя исчезла, и, едва секретарша ушла, я уже без труда, тихим привычным голосом назвав фамилию, попросил о по-

мощи и поблагодарил за помощь прошлую. Я начал рыком льва, а кончил писком мыши. Пусть так, но зачем Саливоненко столь низко оклеветал меня впоследствии перед Михайловым? Я говорил ему так много глупостей и в короткий срок изложил ему так много нелепостей, что правдивый их пересказ был достаточен, чтоб изобразить меня в смешном и недостойном, а может, и непорядочном свете. Да предоставь Саливоненко в мое распоряжение хоть половину глупостей, которые он получил от меня, я мог бы оправдаться перед Михайловым, не прибегая к клевете, а говоря лишь одну позорную для Саливоненко правду. Но он вел себя весьма пристойно, даже собственноручно записал свой телефон и попросил позвонить через неделю. Я ушел хоть и несколько обескураженный утратой самоуверенности, зато с надеждой. А он, как ныне выясняется, тут же позвонил Махайлову (как я мог надеяться, что он не позвонит, что поможет мне сам?) и сообщил Махайлову, будто его протеже явился самостоятельно (оказывается, был договор действовать только через Махайлова) и пытался выдать себя за крупного специалиста по производству небьющегося стекла. Когда я услышал от Махайлова это, у меня просто глаза на лоб полезли, да мне и в голову прийти не могло, я и не знал о существовании подобных специалистов. Даже Махайлов, человек, у которого я доверие потерял, и тот усомнился в справедливости обвинений Саливоненко. Правда, прямо мне Махайлов своих сомнений не выказал, однако я их ощутил, а Вероника Онисимовна, та откровенно сказала, что Саливоненко обманывает (оказывается, Саливоненко за ней ухаживал, я узнал о том впоследствии). В общем, все выяснилось, и я был — пусть не прямо, а в душе — в этом вопросе Михайловым оправдан. Потому ныне в подобном поступке Саливоненко меня занимает, главным образом, психология. Скажу откровенно, положение мое было настолько постыдно, что я тоже клеветал на Саливоненко, потому что тонул, потому что находился в безвыходности... Я был слабее Саливоненко, потому и клеветал, но зачем клеветает сильный?.. Да, Саливоненко когда-то помог мне довольно серьезно, но ныне он мало того, что сам отступился от меня, в чем я, возможно, виноват из-за своего нелепого поведения и разговора, но хочет подбить на то же и Махайлова. Вот о чем надо думать — как нейтрализовать звонок Саливоненко к Махайлову, ибо если и Махайлов от меня, человека, в котором он достаточно разочаровался за три года, окончательно отвернется, мне конец, я теряю ночлег, крышу над головой и куда денусь, и кто мне поможет... Я сказал Махайлову, что Саливоненко с самого начала вел себя грубо

(что, конечно, неправдиво) и в конце разговора предлагал денег на билет и на путевые расходы, чтоб я уехал из города и своим присутствием и поисками связей не бросал на него тень сына врага народа. Это была довольно топорная клевета от отчаяния. Михайлов, кажется, также не очень ей поверил, но я видел, как он вздрогнул и переменялся в лице, принимая это за намек на себя. Время тогда было неопределенное. Кое-кого и реабилитировали, но кое-кто и числился по-прежнему во врагах, а некоторых из освобожденных отказывались восстанавливать в партии. Поэтому моя лживая версия, которая пришла мне в голову неожиданно, тем не менее была воспринята Михайловым растяжимо, и таким образом единственно эта выдумка помогла мне хотя бы частично удержать покровительство Михайлова. Я не мог отказаться от непристойных средств защиты, чтоб в начале марта не оказаться бездомным с двумя набитыми тряпьем тяжелыми ободранными чемоданами. И опять меня занимал вопрос: зачем Саливоненко, человеку из верхов, было тратить на меня свою фантазию, выдумывать нелепую клевету о моем авантюрном поведении и попытке выдать себя за специалиста по небьющемуся стеклу... Правда-то, правда ведь и так давала ему возможность объяснить Михайлову причины, по которым он, Саливоненко, оказывать мне помощь не намерен... Впрочем, весь этот вихрь обид и загадок разразился дней через десять после посещения мной Саливоненко. А до того, можно сказать, я прожил самую спокойную и приятную неделю в этот переломный период моей жизни. И все-таки для компактности я опять нарушу хронологию и перенесу финал моих взаимоотношений с Саливоненко сюда из наступившего позднее совершенно нового периода, когда я вершил расправу над своими обидчиками, угнетателями и врагами.

Я позвонил Саливоненко по телефону.

— Это Цвибышев,— сказал я звонким, прерывающимся от ненависти голосом (у меня тогда все время был этот звонкий голос).

— Да,— спокойно и выжидательно ответил Саливоненко.

— Почему вы оклеветали меня...— начал было я вполне ясно и логично, но нервы не выдержали (я все время тогда находился на грани нервного припадка), и я крикнул:— Сука проклятая!— Это прямо в министерство и человеку, который, правда, без особых для себя хлопот, одним лишь звонком устроил меня на работу, пусть плохую, отнявшую у меня немало здоровья, но дававшую мне на какое-то время кусок хлеба. Учитывая вышесказанное, многие на месте Саливонен-

ко бросили бы трубку, однако он проявил известное самообладание.

— Я объясню вам,— сказал Саливоненко завидным бархатным баритоном (бархатный баритон этот, безусловно, возбуждал девушек),— я объясню. Когда вы явились ко мне, я очень быстро понял, что передо мной нахал и авантюрист, но глупый человек... Я считал своим долгом предупредить Михаила Даниловича, человека доверчивого, о вашем подлинном лице, но вы наговорили так много невразумительной чепухи, что я решил придать вашей расплывчатой версии хотя бы вразумительный вид.

— Я выдавал себя за специалиста по стеклу? — крикнул я.

— Где-то около этой мысли вы вертелись,— сказал Саливоненко,— но убогость мышления мешала вам сформулировать.

Он издевался надо мной.

— Сталинская сволочь! — крикнул я, дрожа всем телом как в лихорадке. Меня так трясло, что, несмотря на частые гудки в трубке, я некоторое время не решался выпустить ее из рук. И я решил избить Саливоненко и внес его в свой список...

Я уже слишком забегаю вперед, скажу, однако, что эта нелепейшая сцена как бы из иного мира хоть чуть-чуть позволяет понять, что происходило в обществе и умах. Конец пятидесятых годов характерен наличием самых настоящих революционных иллюзий в определенных кругах, но без революционной ситуации. Отсюда мгновенная ломка не общественных устоев, а душ, умов и личных отношений. Известный анархизм и беспорядок на недолгое время проник во взаимоотношения между людьми, железный авторитет, сковывающий общество в целенаправленном единстве, исчез. Таким образом, мы становились свидетелями таких удивительных превращений, как мои взаимоотношения с Саливоненко. Сильный, который в твердом, ясном обществе мог облагодетельствовать или уничтожить, ныне вынужден был клеветать на слабого, слабому позволено было кричать и потрясать кулаками, вернее, не то чтоб было позволено, а допускалось... Глубокий общественный слом происходит обычно снизу, низы же оставались монолитны... Трагедия сотен тысяч несправедливо пострадавших не приобрела массового сочувствия... То, что происходило на протяжении многих лет, лишено было простого и понятного народу величия страдания за правду, за веру, за любовь... Своеобразие молодой сталинской деспотии состояло в том, что, рожденная из общенародной справедливой борьбы против кучки угнетателей, она была поддержана подавляющим большинством народа и тем самым лишилась

массового внутреннего врага, но, тем не менее, подобно всякой деспотии, нуждалась в массовых жертвах. Своеобразие же жертв состояло в том, что в большинстве своем они были выделены обществом из собственной плоти своей, отлучены от общенародных страданий за отечество, пользующихся всеобщим уважением, и вынуждены страдать ни за что ни про что, то есть их страданиям была придана никчемность, ненужность, которая ни в коей мере не могла привлечь симпатии народа. Много не столько горького, сколько смешного и жалкого началось в период реабилитации, период, народу непонятный и раздражавший его... Те, кто прямо или косвенно пострадали, жили особой, нервной, не созвучной массам жизнью. И то, что случилось в конце пятидесятых, и как случилось, было не торжеством справедливости, а скорее последней, завершающей стадией разыгравшейся трагедии...

Впрочем, пора вернуться к хронологическому изложению событий... После прямого столкновения моего с Софьей Ивановной и Тэтяной между нами установилась некая выжидательная напряженность. Я наивно верил в возможности столь высокопоставленного лица, как Саливоненко, и, ни о чем не подозревая, не предпринимал иных шагов, тем более план с Григоренко рушился из-за отсутствия подписанной справки с печатью... Комендантша же и Тэтяна, как я ныне понимаю, выжидали умышленно, чтоб прямыми действиями не побуждать меня к контрдействиям и по прошествии определенного времени разом предпринять самые крайние меры. Не знаю, стояла ли на подобных позициях Софья Ивановна, но Тэтяна определенно. Неделя прошла быстро, как один день, поскольку прожил я всю одинаково хорошо. Утром встав (неделю подряд у меня не было бессонницы), я жарил себе на маргарине картошку, которую хранил в деревянной коробке из-под почтовой посылки, время от времени пополняя запасы этого вкуснейшего, сытного и дешевого продукта. Затем я пешком шел в библиотеку, затрачивая час, а то и более на прогулку. Ходить пешком я любил, шел ровным, легким шагом вначале под гору по крутой булыжной улице, затем, после перекрестка, наоборот, вверх мимо забора Ботанического сада. К тому времени уж совсем потеплело, снег еще лежал, и на карнизах висели сосульки, но в солнечные дни бежали ручьи, дышалось глубоко, по-весеннему, а на встречных девушек и женщин я глядел с такой нахальной жадностью, что многие из них даже замечали это, и те, что подурнее, иногда откликались взглядом на мой взгляд, но я тут же проходил мимо, ругая себя за это. Скажу также, что библиотека меня привлекала не столько конкретным содержанием книг, которые были

мне, откровенно говоря, скучны, ибо брал я Чернышевского, Платона, Гельвеция и т. д., сколько общей атмосферой торжественной, по-библиотечному чинной духовности, которая после мелкой моей, нищей жизни в общежитии как бы приобщала к чему-то более высокому. Обложившись толстыми, уважаемыми книгами, я мог часами сидеть здесь, особенно вечером, при мягком свете настольной лампы, и, делая вид, что увлечен каким-нибудь открытым наугад томом, словно грезил наяву. Мысли текли легко, и, просидев так иногда несколько часов, я вставал душевно и физически отдохнувшим, словно после хороших снов. Лишь раз, будучи очень усталым, я действительно заснул и упал головой на металлическое ребристое основание настольной лампы, в кровь рассадив лоб... Две недели после этого я не показывался в библиотеке...

Я не хочу сказать, что приходил в библиотеку из-за женщин, это было бы несправедливо, но присутствие красивых женщин, которых я безусловно был достоин, но которыми был обделен из-за подло сложившейся жизни, было немаловажной причиной, привлекающей меня сюда. Была, например, великолепно сложенная блондинка, которую я давно уже заметил, и всякий раз, приходя в библиотеку, осматривался, присутствует ли она. Однажды мне повезло, и место мое оказалось рядом с ней. У нее был чуть великоватый рот, и, надевая очки, вчитываясь, очевидно, в мелкий шрифт, она несколько меняла свой облик, но исходил от нее столь чарующий запах, и руки ее, перелистывающие страницы, были полны такой белизны и благородства, что у меня кружилась голова, и я понял, что мог бы полюбить эту женщину навек и она стала бы моей судьбой, если бы не проклятая жизнь... Была также черноволосая худенькая девушка совсем иного плана, смешливая, так что ей часто солидные читатели и дежурная делали замечания. Лицо у нее было правильной формы, пропорциональное, но курносенькое, и ротик с пухлой верхней губой, так что ставил я ее на второе место после блондинки. Правда, ходила в библиотеку одно время крепкая, спортивно-го вида, коротко стриженная девушка, которая могла бы, пожалуй, занять место сразу после блондинки, но вскоре ходить перестала. Нравилась мне и типичная украинка с усиками над верхней губой, лет тридцати, но, конечно же, все они не шли в сравнение с Нелей, красавицей, имя которой я узнал случайно. Неля в самой библиотеке бывала редко, чаще всего в ее филиале, газетном архиве, расположенном на другом конце улицы, в бывшем церковном здании. В газетный архив я начал ходить не из-за Нели. Меня привлекло чтение старых газет. Здесь я проводил время, читая и выписывая разнообразные

понравившиеся мне факты, гораздо более делово, чем в библиотеке. Впрочем, в старом церковном здании архива было мрачновато, и не было той светлой, теплой атмосферы не знающей нужды духовности, которая господствовала в читальном зале и которая способствовала приятным, успокаивающим душу снам наяву. Как ни увлечен я был платонической любовью к моим фавориткам читального зала, тем не менее мысли мои приобретали и иное направление, подчас, помню, тщеславное, подчас — неопределенное. Случалось также, что, начав читать для виду, я неожиданно увлекался. Но если в газетном архиве присутствовала Неля, я весь, забыв о себе, принадлежал только ей. Во взаимоотношениях с иными фаворитками, хоть мои чувства имели внешне бездейственный характер, я тем не менее внутренне часто переступал границы, перечеркивая платонические настроения... Духовная атмосфера читального зала придавала этой страсти особый аромат, особую светскую утонченность, это были взаимоотношения с женщинами, духовно богатыми, недоступными мне в моей жизни среди непривлекательных слоев общества. Но в Неле я не замечал ни ее фигуры, ни ее груди, ни ее губ, ни ее колен. Лишь раз, случайно забывшись, я обратил внимание, что формы тела ее чрезвычайно женственны. Все же остальное время я видел только ее лицо безукоризненной красавицы, драгоценное ее лицо, созданное как дар даже и тем, кто лишь смотрит на нее. Это было очень белое, но не бледное, а именно ясно-белое лицо крупной брюнетки с длинными, но легкими ресницами, с густо-черными бровями, под которыми жили темно-голубые глаза, чудо природы, конечно же хранящее в себе добрую половину этой удивительной красоты. Рядом с красавицей, вносившей, мне кажется, одним своим видом праздник всюду, где она появлялась, сидела всегда какая-то пожилая, рыхлая блондинка. Наверное, они вместе работали в одном учреждении и приходили сюда по одному делу.

Я замечал у них газеты двадцатых — тридцатых годов, откуда они что-то переписывали на аккуратные кусочки плотной бумаги. Так вот, блондинка эта, едва я входил, начинала смеяться, поглядывая в мою сторону и шепча что-то Неле. Я краснел, но даже на эту рыхлую блондинку злиться не смел, поскольку она была близка к Неле, а лишь думал: как бы хорошо было, если б блондинка поняла и узнала меня. Вначале, когда еще была со мной моя идея, моя мечта, моя уверенность, что мир рано или поздно завертится вокруг меня, возникали даже дикие мысли открыться блондинке и сказать, как готов я жизнью и душой своей пожертвовать ради ее прекрас-

ной знакомой. Готов не дышать, готов посвятить все свои возможности и душевные богатства, которые вот-вот, близится уже время, как обнаружатся, произведут неожиданный фурор, все готов посвятить этой красоте и ничего себе... Но робость и опасение быть неправильно понятым заставляли меня откладывать этот разговор. Блондинка продолжала смеяться, и как-то, когда я листал газетный каталог, красавица подошла, так же выдвинула один из ящиков каталога и сказала негромко, но голосом грудным и до того волнующим, что первые доли секунды, вслушиваясь в одну лишь музыку этого голоса, я не понимал слов.

— Перестаньте смотреть на меня,— сказала красавица,— как вам не стыдно, вы мешаете мне работать... Вы мне отвратительны... Крыса проклятая...

Уверен, насчет крысы она добавила уже в сердцах, поскольку блондинка продолжала смеяться... Я знаю, есть люди, лица которых похожи на крысиные морды. Знаю несколько таких человек. Не обязательно даже, чтоб нос был длинный, важно, чтоб общая конфигурация лица имела острые, выдающиеся вперед черты. Подчеркивают это сходство и туго зачесанные назад волосы, не говоря уже о небольших, щеточкой, усиках. Я знаю, например, одного прораба «Промстроя», фамилия его Губин, с чрезвычайно крысиным лицом, что неоднократно отмечал про себя с улыбкой. Но у меня ничего подобного нет, лицо у меня круглое, и если уж перейти на зоологические сравнения, то скорее напоминает филина. Тем не менее «крыса проклятая» из уст женщины, прекраснее и дороже которой не было для меня ничего, так сильно подействовало, что руки и ноги мои как-то сами собой ослабели и двигались не повинаясь мне, а самостоятельно и вяло. Я с трудом, напрягая мышцы лба, чтоб не закрылись глаза, ибо тогда мог случиться и позорный обморок, сдал свою подшивку газет и, кажется, шатаясь ушел.

Случилось это в начале зимы, в декабре, и ужасно было мое состояние, до того ужасно, что не помню, что испытывал и как страдал и была ли с моей стороны обида. К счастью,— я не верю в Бога, но считаю это необъяснимым феноменом природы,— к счастью, я вскоре встретил Нелю случайно, встретил одну, в центре, на бульваре. Никогда до того я ее нигде на улице не встречал. Мы шли навстречу друг другу, и между нами начались какие-то взаимоотношения, которые усиливались по мере приближения друг к другу, я в этом уверен, а когда приблизились, то Неля вдруг подняла свои темно-голубые глаза и прикоснулась, мягко и нежно, взглядом к моему лицу. И прошла. Прошел и я, не смея обернуться. То

место, к которому она прикоснулась взглядом, место на левой щеке горело.

Я начал опять ходить в газетный архив, всякий раз используя любую возможность, часто убегая с дальних объектов и не являясь на планерки. Рыхлая блондинка по-прежнему смеялась, однако я, не обращая внимания, смотрел на мою любовь, и она более не оскорбляла меня, может быть, почувствовав, как больно мне стало тогда, и взглядом на бульваре словно бы извинившись за ту, причиненную мне боль. Я знал, что никогда не достигну моей любви из-за проклятой жизни, которую лишь дали мне родители, чтоб оставить меня затем одного на нищету и унижения. И, изнывая от горя и бессилия, обидного особенно теперь, когда получил первый отклик этого любимого сердца, я шарахался в нелепейшие, опасные мечты, желая, например, чтобы Неля попала под машину и, лишившись ног, не нужная никому, из баловней судьбы стала бы доступной мне. Впрочем, приступы любви не всегда достигали такой силы, иногда они ослабевали либо исчезали, становясь как бы приятным воспоминанием, чтоб через некоторое время вспыхнуть вновь и стать явью, когда я случайно встречал свою любовь в газетном архиве и имел возможность смотреть на нее. Последнее время Неля бывала в газетном архиве все реже, а потом и вовсе исчезла. Поэтому я прекратил посещать архив и спокойную неделю, наступившую после визита к Саливоненко, полностью провел в читальном зале, тем более, что там появилась новая читальница, которую я видел лишь мельком, поскольку, когда я пришел, она сдавала книги, собираясь уходить. Однако она заслуживала самого серьезного внимания, если, конечно, станет постоянной посетительницей, ибо немало красивых женщин, появившись лишь один-два раза, исчезали, и, таким образом, на них мой серьезный интерес распространен быть не мог.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ровно через неделю после посещения моего Саливоненко, то есть в понедельник, проснувшись в десятом часу, я понял, что спокойствие кончилось. Собственно, само спокойствие также было весьма относительное, ибо разнообразные тревожения безусловно касались меня в эту неделю. Начав жарить себе систематически на общей кухне картофель, я, как и предполагал, вступил в конфликт с женами семейных, что было мне весьма ни к чему. Будучи неумелым поваром, я разводил копоть, грязь, которую им приходилось убирать,

а также занимал место на газовой плите, так что на меня ходили жаловаться, последствия чего выплыли во время событий данного понедельника. Кроме того, я узнал от Саламова о некоей непонятной повестке, прибывшей на мое имя.

— А ты разве не видел? — удивился Саламов. — Она на тумбочке внизу лежала, где почта... Ну когда ты у девки ночевал (я тогда ночевал у Илиодора). Из военкомата повестка...

Еще чего не хватало, с тревогой подумал я. Как некстати...

— Да не из военкомата, — не глядя на меня, сказал Жуков (мы с ним иногда вновь начали заговаривать, и это было хорошо, укрепляло мои позиции в комнате, тем более Жуков первым начал заговаривать со мной). — Из военной прокуратуры повестка.

Я растерялся. По какому бы поводу, что еще за дьявольщина?... Года два назад у меня был объект — учебный аэродром военного училища... Планировка... Работы шли там неудачно, и наше управление оттуда убрали... Руководил там Сидерский, может, что-либо всплыло, опять хотят на меня, как со сгоревшим электродвигателем... Нет, уж больше не выйдет... Но ведь положение мое таково, что если начнется расследование, может выплыть совершенно иное, мое личное. Не производственные мои махинации, которых не было, а махинации по личному устройству...

Я разволновался, даже немного впал в панику из-за проклятого воображения, и Жуков это замстил, как я ни пытался скрыть.

— Брось ты, — сказал он мне, — если б что серьезное, они б тебя давно уж из-под земли достали... А прошла неделя, даже больше, бумажка куда-то затерялась вообще, так что плюй...

Я подумал и согласился, хоть некоторое беспокойство и осталось. Еще позлился я, наткнувшись в архиве (разок я все ж был в архиве, не более часа, надеясь увидеть Нелю), наткнувшись в архиве на антисемитскую басню про еврейскую козу, которую читал в компании Арского Илиодор. Не знаю, почему это меня разозлило и заставило понервничать. Несуразица какая-то. Где-то в глубине души, может быть потому, что мы вместе потерпели обиду, я хотел оправдать Илиодора, что он хоть лично честный парень, а он и в идее своей врал и использовал чужую басню из черносотенной газеты за 1911 год. Адрес его у меня случайно сохранился в блокноте, и я написал ему письмо, пытаясь как можно сильнее причинить ему душевную боль острыми репликами и сравнениями, но, будучи сам в разболтанном состоянии духа, не сумел найти красивых едких слов, полных сарказма, а чуть ли

не по-заборному обругал. Заборную ругань я, спохватившись, хотел вычеркнуть, но уже опустил письмо в ящик. Правда, случилось это в конце недели, когда после многочисленных звонков, на которые раздраженно отвечала секретарша, я уже понял, что Саливоненко мне не поможет, хоть большего, то есть о его звонке к Михайлову и клевете, еще не знал. Таким образом, понятно почему, будучи взволнован, я не мог написать Илиодору достойное его мерзостей и моих двадцати девяти лет письмо, а соорудил что-то юношески заносчивое, с заборными грубостями. Да дьявол с ним, не о нем сейчас думать, когда после рухнувших на Саливоненко надежд я начал ощущать весьма реально возможность самого катастрофического для меня развития событий. С этим ощущением я и проснулся в то утро, и это ощущение настолько обострило мои чувства, что по одному лишь ритму шагов в коридоре да по хлопнувшей внизу двери я сразу уловил приближение опасности. Я вскочил рывком и начал торопливо одеваться. Я понял, что пока глупо надеялся на Саливоненко, жилконтора подготовила постановление. Пригнувшись, как загнанный зверь, метался я по комнате, растерянный, одинокий и не готовый к борьбе. Однако, постепенно взяв себя в руки, я начал прислушиваться и на основании некоторых признаков определил, что речь идет не о прямом немедленном выселении, а о его предварительной стадии, то есть об отнятии постели. Я понял это, поскольку не слышно было голосов не только участкового, а даже и дворника, а, судя по всему, за дверьми находились лишь Софья Ивановна и Тэтяна, которые звали уборщиц Надю либо Любу для того, чтоб вынести мою постель в кладовую. Однако ни та, ни другая не откликнулись. Как выяснилось впоследствии, обе они прятались, чтоб не участвовать в отбирании постели. Люба всегда относилась ко мне хорошо, с Надеей же что-то произошло после того столкновения, послужившего, собственно говоря, и поводом к быстрому развитию событий. Разразившись шумным скандалом, она после как-то притихла и смотрела на меня, когда встречалась, странно и по-новому. Кажется, даже с теплотой, ныне неприятной мне, особенно из-за ее истерического поведения и усиливавшегося отвращения к ее малышу, обсосавшему мои продукты.

Я понимал, Софья Ивановна явилась к десяти, надеясь, что меня нет, ибо хотела взять мою постель тихо и без скандала, поставив меня перед свершившимся фактом. Хоть положение мое было почти что безнадежное, но в минуты крайней опасности человек преображается, проявляя максимум находчивости. На этом ее просчете я и решил строить свою защиту.

Резко распахнув дверь, я оказался перед моими гонителями, приведя их в некоторое смятение. Тэтяна, правда, тут же вспомнилась и крикнула:

— Кончились твои денечки! Освобождай место для рабочего человека!

Изловчившись, она проскочила мимо меня, потянула одной рукой одеяло, другой схватила подушку. Она знала, что одним рывком ей матрац не захватить, однако хотела, на худой конец, первоначально лишить меня хотя бы подушки, одеяла и простыней, чтоб позже забрать остальное. Действовала она стремительно и ловко, но споткнулась о стул, и здесь я ее перехватил, зажав правой рукой одеяло, подушку же Тэтяна, перегнувшись, успела бросить Софье Ивановне, но не добросила, и подушка упала на пол. Сцена вся — с моей стороны по необходимости, а со стороны Тэтяны по хамской сути ее — носила характер уличный, хулиганский и явно была Софье Ивановне не по душе.

— Оставьте, Татьяна Ивановна, — сказала Софья Ивановна. — Он и так вынужден будет подчиниться, придем с милицией. — Она нагнулась и, поморщившись, подняла с полу подушку, положила ее на ближайшую (Саламова) койку.

Однако Тэтяна не унималась, тянула к себе скомканное вместе с простынями одеяло, стараясь толкнуть меня локтем в грудь. Передо мной стояла весьма сложная задача — оттеснить от моей койки Тэтяну, не нанося ей удара, на что она весьма надеялась, попросту нагло подставляя лицо, чтоб соорудить на меня протокол. К счастью, мой друг Григоренко, который все увидел и понял ситуацию, сбегал за Юрой Коршем в клуб. Воспитатель общежития Корш не обладал никакими возможностями и административными правами, но мог несколько нейтрализовать и замедлить события, что он и сделал. Взяв Софью Ивановну об руку, он отвел ее в сторону, о чем-то тихо говоря. Григоренко же, Митька-слесарь и Адам, который в этом конкретном скандале был почему-то за меня, хоть в прошлом скандале он был против меня, итак, все они вступили в перебранку с высypавшими на помощь Тэтяне семейными, которым я успел своей неряшливостью насолить на кухне.

— Вот, Софья Ивановна, — кричала Тэтяна, — я же говорила, надо было с дворником... И куда это Надя и Люба подевались?

— Давай к Маргулису, — шепнул Григоренко, — я постель покараулю.

Я побежал прямо без пальто, хоть на улице вновь подморозило. Маргулис встретил меня раздраженно и неприязненно.

— Софья Ивановна и Шовкун (фамилия Тэтяны — Шовкун) выполняют мое распоряжение, вы даже не сдали в этом году справки с места работы... У нас не хватает мест для вербованных... Почему вы ворвались сюда с какими-то требованиями?... Какие у вас есть на это права?..

— Извините,— сказал я,— я, собственно, не требую, а прошу... Я одинок, я окажусь на улице, войдите в положение...

Я говорил с Маргулисом впервые и определил, что человек это, хоть и канцелярист, сухой, но склонен при личном контакте к сантименту, то есть вполне может подписать бумагу о выселении, однако, сам столкнувшись со мной, выселить не в состоянии.

— Вы не можете на меня обижаться,— сказал Маргулис уже менее раздраженно.— Я делал все что мог три года, сейчас не могу... Я тоже хочу спать спокойно, хотите, я покажу вам жалобу в райком из-за вас. Сдайте справку, и я обещаю вам неделю, ну две, так и передайте Михайлову, но сделать больше ничего не могу. В этом году местами распоряжается непосредственно наше управление, площадь Калинина, три... Пусть попробует через Горбача...

— А кто это?— спросил я.

— Михайлов знает.

— Ну, спасибо вам огромное.

Я сказал это настолько сладко, впрочем, переполненный искренней благодарности, что самого меня покорило, не говоря уже о Маргулисе, члене партии с девятнадцатого года, инвалиде гражданской и Отечественной войны, бывшем замнаркома местной промышленности республики (о всем этом узнал впоследствии).

Я вышел. В общежитии вновь царил тишина. Койка моя была застлана, и Витька Григоренко сидел на ней, дожидаясь меня. Я сел рядом с ним.

— Что делать будем,— спросил он,— долбак ты полный, где справка?

После душевной собранности и удачных действий у Маргулиса, когда мне удалось его разжалобить на недельное снисхождение, меня охватило какое-то наслаждение безысходностью, иначе не назовешь, какая-то душевная усталость, ибо неделя в моем положении срок немалый, однако далее — никаких перспектив, и отсрочка дает лишь возможность постепенно привыкнуть к этой мысли. Чтоб не тратить много слов на объяснение, экономя силы, я достал из тумбочки трудовую книжку и положил ее перед Григоренко.

— Уволен,— сказал я.

На трудовую книжку Григоренко внимания не обратил, но из книжки этой выпала плотная глянцевая бумага, которая Григоренко почему-то заинтересовала. Это была справка, напечатанная Ириной Николаевной, но не подписанная Мукало и положенная мной в книжку случайно вместе с копией расписки о расчете.

— Сходи-ка в магазин за яйцами,— сказал вдруг Григоренко.

— Ты чего делать хочешь?— спросил я, сопротивляясь действию. Мне сейчас хотелось только одного— сидеть так на койке, уронив руки и наслаждаясь своим отказом от борьбы.

— Иди скорей, не теряй времени, магазин на перерыв закроют,— сказал Григоренко.— Вставай быстрее.— Он начал тормозить меня.— Приходи прямо в двадцать шестую, ко мне. Я пока все приготовлю. Три яйца купи, не меньше, на всякий случай.

Никогда за три года во время моих весенних выселений борьба не достигала такого накала и ожесточения с обеих сторон. Четко рассчитанный план был нарушен, попытки мои уйти от личных контактов провалились, ряд привходящих факторов усложнили дело, и я чувствовал, что в дело и с моей и с противной стороны будут вовлекаться все новые лица. Это было мне невыгодно, поскольку спор поднимался на принципиальную высоту, где действия в обход общим правилам становились все более затруднительными. Конечно, ощущение безысходности было лишь временным состоянием, следствием паники, в которую я иногда, к сожалению, впадал не столько от серьезных, сколько от внезапных опасностей. Например, случай с повесткой из военной прокуратуры. Впрочем, пример недостаточно удачный, поскольку он до сих пор нет-нет да и потревожит меня, однако, разумеется, не так, как первоначально. У меня счастливое свойство, выработанное неустойчивой жизнью,— быстро нейтрализовать испуг, прежде всего методом самоуспокоения. Уже по дороге в магазин я почти полностью успокоился.

Во-первых, вы не учитываете, подумал я с вежливой издевкой в адрес своих врагов, что главный мой козырь, Михайлов, который, собственно, каждый год мне и помогал, еще не введен в действие... Минут десять он поговорит, поунижает меня, потом поможет, позвонит куда следует... А возможно, и не понадобится, возможно, я Нине Моисеевне решу позвонить... И женюсь... Ах, вот счастье-то было б, если б на красивой... Или Григоренко вроде бы чего придумал, я по лицу его понял...

Такой сумбур мыслей иного, пожалуй, наоборот, в душевное расстройство бы привел, но я человек душевно растрепанный, и подобная неопределенность и многоплановость меня как раз и успокаивает...

Когда я вернулся с яйцами, Григоренко уже полностью подготовился технически к задуманному им плану. Отпер мне он лишь после того, как окликнул, и тут же вновь запер дверь. На столе лежали какие-то бумажки, мокнувшие в тарелке с теплой водой, от которой шел пар. Стояли фиолетовые канцелярские чернила и небольшая эмалированная кастрюлька.

— Попробуем тебе справку выдать,— сказал Григоренко и подмигнул.

— Опасно,— сказал я, догадавшись, куда он клонит.

— Рисковать надо,— сказал Григоренко.— Получится, к дяде Пете пойдем... Если только дядя Петя возьмется, делает почище этих главков и трестов... Жить будешь сколько влезет, и никто тебя не тронет, ни комендантша, ни участковый, ни сам Хрущев, едри его в душу... Главное, яйца не переварить, тут тоже везуха нужна. Иногда десяток перепортишь, бланки споганишь, а толку нет... Я себе характеристику делал, когда на работу оформлялся, полностью заперол... Яйцо чем печать берет — пленочкой... Знаешь, между кожурой и белком пленочка...

Витька был безусловно человек авантюрный, но, к счастью, не обладал ни тщеславием, ни страстями, которые при подобном сочетании превращали бы его в личность опасную. Кроме того, он был добрый парень, а доброта, как известно, родственна непрактичности. Так что был он некий непрактичный авантюрист, то есть авантюры его носили либо мелкий характер (впрочем, подчас и уголовно наказуемый, как в данном случае), либо вовсе нелепый и неосуществимый характер, ибо для осуществления любой авантюры, выходящей за рамки и становящейся серьезной, нужен был даже не столько ум, а может, и вовсе ума не требовалось, а нужно было жестокое сердце, глубоко обиженное на жизнь. Витька же жизнь любил, жил легко, не напряженно, и потому его авантюры не несли в себе острой опасности, а напоминали старые анекдоты, смешные именно своим неостроумием. Например, однажды в аптеке он подслушал, как какая-то пожилая женщина, обладательница дома и приусадебного участка, жаловалась себе-седнице, кассирше аптеки, что муж умер, нет детей и не на кого оставить дом после смерти. Фамилия этой женщины тоже была Григоренко. Витька некоторое время строил планы, от которых я его оттолкнул лишь тем, что внушил версию, буд-

то ходил в ту же аптеку и выудил у кассирши, якобы у этой женщины на днях нашелся двоюродный брат. Витька обладал еще одним качеством, сводившим на нет его авантюризм,— он был до нелепости доверчив.

— Вот видишь,— сказал он мне с некоторой даже грустью,— какой-то другой Григоренко воспользовался удачей вместо меня. Он ей такой же брат, как я ей дядя.

Сейчас Витька долго колдовал над эмалированной кастрюлькой, подсыпая в воду то соли, то даже соды... Наконец яйца были готовы, и наступил самый ответственный момент. Яйца Витька остуживал по-особому, обернув во влажную бумагу. Все ж первое яйцо он очистил так, что пленочка порвалась. Но, правда, попробовал взять печать остатками пленки (я принес ему несколько найденных у себя старых финансово-технических документов, строительных процентов с печатями бывшего моего управления), итак, остатками пленки он пытался взять печать, но не стал ее даже переносить на бланк справки. Второе яйцо лопнуло, когда он сдавливал его с концов, поскольку надо было из эллипсовидной придать ему как можно более круглую форму, соответствующую печати. Наконец, третье яйцо взяло печать, и, приподняв левую руку, словно призывая этим меня не дышать, Витька осторожно, плавно, с лицом, тревожно сосредоточенным, понес яйцо к бланку. Легко и плавно опустил он яйцо на бланк справки, чуть пониже текста, удостоверяющего, что я действительно работаю там-то и там-то и справка выдана для предъявления в общежитие... Чуть-чуть нажав и подержав, он плавно поднял руку. Четкая, ясная густая печать лежала на плотном меловом бланке, сразу придав ему ответственный и серьезный вид. Витька отложил яйцо, радостно рассмеялся и всплеснул от удовольствия руками.

— Бог троицу любит,— крикнул он.— С третьего яйца взял, повезло тебе, Гоша. Знаешь, как я дрейфил? Думаешь, я умею? Один парень меня учил, он это делает толково, а у меня раз только, может, хорошо получилось... Вот это второй... Ничего, все эти дядьки твои, все эти знакомые начальники тебе отказали, а меня прямо буравило, как же помочь... Это же суки, видал сегодня? Они же тебя на улицу выбросят и даже не перекрестят.

Радость Витьки была искренняя и бескорыстна. В качестве вознаграждения он получил лишь три перепачканных печатями яйца, которые съел.

— Ничего,— говорил он.— К дяде Пете пойдем, он устроит... Живи, на работу устроишься куда захочешь. По-

том меня, может, к себе перетянешь завхозом.— Витька подмигнул.

Несмотря на «завхоза», личная заинтересованность была сейчас для Витьки вопросом второстепенным, да и, пожалуй, несерьезным. Витька радовался так, словно я был ему родной брат. И впервые за много лихорадочных дней нечистой борьбы за существование, в которой нет места бескорыстию, а есть лишь место расчёту, личной удаче или личному отчаянию, борьбы за существование, которую я вел давно, почти всю мою жизнь, не умея представить себе просто хорошее отношение к человеку, лишённое корысти, все это вдруг оказалось забыто, и этот непрактичный авантюрист напомнил мне своим волнением за меня и радостью за меня о человечности и мягкосердечии. Я знал, что эти чувства в моем положении могут привести меня к гибели, но я также понял, что я давно жаждал их. Если б эти сладкие и благородные ощущения возбуждал во мне человек не столь грубый и неразвитый, как крановщик Григоренко, а кто-либо из того общества, куда я давно стремился, например, Арский, если б он объяснил их мне с умными сравнениями, я, пожалуй, мог бы под влиянием этого момента многое пересмотреть в моей жизни и многое решить по-иному. А если б этим человеком оказалась вдруг красивая женщина, например, Неля из газетного архива, если б Неля внушила мне эти добрые чувства, я, может быть, в эти внезапные, как прозрение, минуты полностью переродился бы душевно, дав волю слезам на груди у любви своей. Но Григоренко для этого не годился, да и сам бы он вследствие личной неразвитости крайне удивился бы подобным излияниям моим. Может быть, даже надо мной посмеявшись, переменялся бы ко мне в худшую сторону, заподозрив нечто недоброе, что всегда бывает, когда человек сталкивается с непонятным и неожиданным. Поэтому, проведя несколько минут с приятной теплотой под сердцем, я словно очнулся, хлопнул Витьку по плечу и крикнул:

— Молодчик, сукин ты сын, с меня пол-литра.

Мы порадовались еще некоторое время также удачной подписи, которую вместо Мукало соорудил Витька фиолетовыми чернилами.

— Подписи — это я умею, — смеясь тихо сказал Витька. — Это запросто. Это тебе не яйцами печати снимать. Ты только, Гоша, устройся хорошо, разве я не вижу, как ты здесь мучаешься? — неожиданно добавил он совершенно другим тоном, который меня даже несколько испугал, поскольку далее определенной черты я все же Витьку в свою душу впускать не намеревался.

Я поехал в сберкасса. Держал я деньги в другом районе города, и хоть были они накоплены за три года, шел за деньгами с оглядкой. Обитатели общежития жили от аванса до получки и часто пытались у меня одолжить, зная меня как непьющего, а значит, денежного. «У него уже там на «Москвич» накоплено,— незлобно говорили они.— Теперь на «Волгу» копит». Однако раз слесарь Ткачук из восемнадцатой комнаты, хороший как будто, вежливый парень, взял у меня серьезную сумму, равную недельному моему бюджету, и уехал не отдав (он завербовался на Север). Я несколько компенсировал потерю тем, что всю неделю не ел сливочного масла, колбасу купил лишь в понедельник и в субботу, а на обед брал лишь борщ или суп без второго и без компота. Тем не менее после этого случая давать займы я перестал, даже с некоторыми испортив отношения. Правда, я и тут применил хитрость, перед авансом и получкой обходя комнаты и сам прося займы. Иногда мне давали. Я клал эти деньги отдельно и, подержав для вида несколько дней, отдавал нетронутыми. Долги доступны человеку с устойчивым положением, для меня же они опасны, сбивают с определенного финансового ритма и вводят в соблазны покупки излишеств: конфет, не карамели для чая, а конфет или печенья, продукта дорогого и неэкономичного, который вполне может быть заменен намного более дешевыми бубликами или булочками, которые к тому ж вкусней, разумеется, в свежем виде и желателно приправленные джемом, не густо, а для вкуса. Если бублик или булочку, смазанные джемом, лучше сливовым, слегка подержать на пару от чайника, они приобретают нежность и аромат, не сравнимый ни с каким печеньем. Это мое фирменное блюдо.

Существует голод вместе с народом. Я знаю его, ибо испытал. Это брюква, мокрый, с отрубями кусочек хлеба, суп-затируха, то есть вода с одной-двумя ложками муки... Но есть и голод без народа, то есть голод отщепенца, оказавшегося в таком положении по тем или другим причинам. В этом голоде отщепенец использует в ущемленном виде полноценные продукты питания: отличной выпечки хлеб, умело распределенный порциями, иногда немного сливочного масла, дешевые конфеты — карамель, дешевую колбасу и прочее... Голод с народом свят, воспет поэтами и уважаем. Голод отщепенца подозрителен и носит характер вызова обществу. Отщепенец, в отличие от человека периода всеобщего голода, должен проявить максимум личной осторожности, осмотрительности и смекалки, чтоб прожить. Не имея возможности поделиться своим куском, он в то же время старается воспо-

льзоваться чужим. Отличное же качество с трудом добываемых продуктов, которыми отщепенец удовлетворяет свой голод; делает этот голод позорным в глазах не только постороннего, но даже в его собственных и заставляет скрывать этот голод, словно порок. Вот почему мне стало неприятно, когда Витька Григоренко сказал вдруг о моих мучениях...

Получив деньги, которые необходимо было вручить дяде Пете за мое устройство в общежитии, и пытаясь заставить себя не думать о сберкнижке, где запас мой сократился до угрожающего минимума, я вернулся и в девять часов пошел на условленное место неподалеку от котельной. Погода продолжала быть по-мартовски нелепой: если утром подморозило, то вечером пошел дождь. Несмотря на дождь, Витька ждал меня уже довольно давно, поскольку пальто его было мокрым насквозь.

— Принес? — шепотом спросил он меня.

Мы свернули за угол и по грязным от угля ступенькам принялись спускаться в котельную. Витька толкнул дверь, и мы вошли в какой-то тамбур, освещенный тусклой лампочкой.

— Давай сюда, — сказал шепотом Витька.

Я протянул ему пачку денег. Он вынул заранее припасенный плотный конверт, не почтовый, а тот, в каких кассиры выдают крупные суммы — например, трехмесячную премию или какую-нибудь крупную компенсацию.

— Так, — сказал Витька. — Теперь порядок.

Но я увидел вдруг, что он волнуется.

— Ты только умно себя веди, — сказал он. — Дядя Петя человек хороший, но, знаешь, с характером. В общем, давай.

Он открыл следующую дверь, и мы вошли непосредственно в котельную. Здесь был тяжелый воздух, всюду гудело в печах и стоял такой туман, что у меня даже начали слезиться глаза. За дощатым столом, над которым прибиты были темные от пыли графики, сидел человек в лоснящейся от угольной пыли телогрейке, с темным от угля лицом и, держа в одной руке обернутый в бумажку кусок сала, а в другой обернутый в бумагу кусок хлеба, чтоб не испачкать продукты угольными руками, ел, изредка кладя на газету хлеб, и отпивал из жестяной кружки чай.

— Приятного аппетита, дядя Петя, — сказал Витька, — мы вам вроде помешали.

— Ничего, проходи, — приветливо улыбнувшись, сказал истопник.

— Вот, дядя Петя, тот парень, про которого я говорил, — сказал Витька.

Истопник и мне улыбнулся приветливо и протянул угольную свою ладонь.

— Садись, ребятки,— сказал он.— Вот, Витя, в углу две табуретки чистые.

Мы сели.

— Значит, дядя Петя, такие дела,— сказал Витька,— справка у него есть... Дай справку.

Не без опаски протянул я истопнику состряпанную липовую справку. Он взял ее газеткой, чтоб не испачкать, прочел и удовлетворенно кивнул. Не знаю, как у Витьки, а у меня отлегло от сердца. Тут же Витька просто и умело положил рядом с недоеденным куском сала плотный конверт с моими деньгами.

— Так,— сказал дядя Петя.— Дайте, хлопцы, подумать.

Пока он думал, я от нечего делать, а вернее, чтоб унять волнение, начал осматриваться по сторонам на чистые чугунные трубы и покрытые угольной пылью манометры с дрожащими стрелками. Вдруг я инстинктивно обернулся, почувствовав на себе чужой взгляд. Дядя Петя пристально и задумчиво меня разглядывал. Когда я повернулся, он отвел глаза и сидел еще некоторое время молча.

— Знаете, хлопцы, ничего у нас не получится,— сказал он наконец.

— Почему?— вскочил со своего места Витька.— Вы же обещали, дядя Петя. Славке вы же сделали.

— Это другой случай,— сказал дядя Петя.— Я с удовольствием, парень мне нравится, хороший парень, помочь бы надо, но не только от меня это зависит... Тут, Витя, дела не будет, поверь мне.

— Ты, Гоша, не волнуйся,— сказал мне Витька, но как-то суетливо и растерянно.— Мы дядю Петю уговорим.— И, приблизившись ко мне, Витька шепнул: — Выйди-ка на секундочку...

Я вышел в тамбур и, постояв там, подождав минуты две, пошел далее, поднялся по ступенькам из котельной. В отличие от Витьки, я твердо знал, что дядя Петя не шутит и план этот провалился. Я понял это сразу, как только ощутил на себе испытующий взгляд дяди Пети... Как ни хитрил я, судьба вновь неотвратимо толкала меня к старому моему покровителю Михайлову. Я знал, что завтра же поеду к Михайлову, чего бы это ни стоило моему самолюбию, и выдержу все во имя спасения, которого, кроме как от него, не от кого было ждать...

Снизу из котельной поднялся Витька и молча протянул мне назад конверт с моими деньгами. Дождь кончился, кое-

где на небе видны были звезды, вообще посветлело из-за пробивающегося сквозь тучи лунного света, и я в свете этом увидел обычно лихое лицо Витьки настолько подавленным, что на нем даже появились признаки духовности и интеллигентности, делающие его неузнаваемым.

— Не получилось, Гоша,— сказал он печально, с интеллигентным каким-то вздохом.

— Ничего,— успокоил я его.— У меня есть старый ход, я не хотел им пользоваться, неважно почему, но завтра я туда позвоню, поеду... Все будет хорошо.

Дядя Петя не был беззащитным мошенником, так как иначе он не вернул бы деньги, а обвел бы вокруг пальца. Но неправедные пути его соприкасались с путями праведными, узаконенными, и потому, независимо от личных желаний, он не мог сделать то, что шло вразрез с правилами, и по социальному своему положению не мог позволить себе нарушить правила, как это позволял себе Михайлов. Итак, опять я нуждался в Михайлове, которому не звонил с апреля прошлого года, не интересуясь даже его здоровьем, неустойчивым здоровьем сердечника и астматика. А между тем он болел. На следующий день, с утра приехав в трест, я застал в его кабинете, в его кресле Веронику Онисимовну. Она была в темно-вишневом панбархатном платье и с ярко крашенными вишневого оттенка губами.

— Здравствуйте,— обрадованно даже сказала она (когда мы долго не видимся, она мне начинает говорить «вы»). Но постепенно привыкает ко мне, если по надобности я бываю здесь часто, и переходит на «ты». Я же по-прежнему говорю ей «вы».— Вас так давно не было, я думала, вы женились,— как-то блеснув глазами, сказала Вероника Онисимовна.

Я плохо спал эту ночь, возлагая на данный визит серьезные надежды, волновался перед тем, как войти сюда, предчувствуя уничтожающий и презрительный взгляд Михайлова. Но сейчас, когда вместо Михайлова меня встретила Вероника Онисимовна, мной овладело игривое настроение, а тревога исчезла. Это была нелепость момента, поскольку шел-то я к Михайлову и именно он был мне нужен.

— Вот, мимо проходил, заглянул проведать,— сказал я, бросив на Веронику Онисимовну ответный быстрый взгляд.

Темные круги под глазами она пудрила и смазывала косметическим кремом. А напрасно. Усталость некогда красивого лица придает известную пикантность женщине и привлекает к ней не растративших себя свежих молодых людей гораздо сильнее, чем могут привлечь тугие, упругие, точно ре-

зиновые, девичьи личики. Я тут же тряхнул головой, словно отбрасывая нелепые в моем нынешнем положении мысли.

— Как вы живете, не тревожат вас? — спросила Вероника Онисимовна, преодолев такую своеобразную паузу.

— Да немножко, — сказал я. — Сукины сыны...

— А Михаил Данилович болеет, — сказала Вероника Онисимовна.

— Что с ним? — с искренней тревогой, но главным образом все же за свою судьбу, вскричал я.

— Сердце, — сказала Вероника Онисимовна, не совсем точно истолковав мой крик и потому добавив поспешно: — Сейчас уже опасность позади... Он почти здоров... Дня через три ждем его на работу, вчера я была у него.

«Три дня, — лихорадочно думал я, — три дня — это много. Поеду к нему. Конечно, ужасно, бестактно, но я могу оказаться на улице... По телефону не то...»

Наверное, эти тревожные мысли резко изменили мое лицо и мою фигуру, ибо Вероника Онисимовна смотрела на меня уже без блеска в глазах, а с неким покровительственным состраданием и перешла на «ты» почти без подготовки.

— Зайди в начале будущей недели, — сказала она. — Михаил Данилович должен быть на работе. А почему ты в течение всего года не появлялся? Хотя бы зашел как здоровье Михаила Даниловича узнать.

Это был выговор, но выговор человека, принимающего участие в моей судьбе и во имя моих же интересов. Выговор покровительницы, а не нервно-импульсивной женщины.

— Ты не волнуйся, — добавила Вероника Онисимовна, — я сго здесь подготовлю, поговорю с ним... В понедельник или лучше во вторник, — добавила она мне в спину.

Я кивнул, подумав про себя: как бы не так, я еду к нему немедленно, во вторник я могу уже потерять ночлег.

Михаил Данилович Михайлов жил в одном из лучших районов города, неподалеку от здания республиканского совета министров. Я был у него раза три, но давно, в первый год моего приезда в город. Перед домом его, за металлической решеткой, был палисадник и детская площадка, где гуляли красивые, нарядно одетые ребяташки жильцов этого богатого дома. Утро было солнечное, весеннее. Весна, кажется, наконец бралась за дело. Небо было безоблачным, синим, повсюду бурно таяло, капало, текло, трещало, так что зимняя моя одежда стала тяжелой и жаркой, а туфли, наоборот, разбухли, стали холодными, и полушерстяные зимние носки сделались неприятно влажными.

Позвонив у обитой клеенкой богатой двери, я ждал с тревожно колотящимся сердцем. Открыла мне жена Михайлова Анастасия Андреевна, женщина с мужскими бакенбардами и вообще густой растительностью на ногах, руках и лице. Мне эта женщина была неприятна, она даже три года назад укоряла Михайлова, причем при мне, за то, что он уделяет мне чересчур много сил, а я отношусь к нему потребительски. Может, ныне она и права, но тогда это была неправда. Я относился к ним с искренней благодарностью, и не моя вина, что отношения наши приняли неискренний характер. Потребительское отношение мое к ним возникло из унижающего меня отношения их ко мне. Но я зависел от этих людей, и единственным, чем я мог отплатить сейчас этой женщине, была ее же мужская растительность на лице, над которой я в душе издевался. Анастасия Андреевна осмотрела меня и сказала довольно бесцеремонно и грубо, даже для моих с ними отношений:

— Откуда ты взялся? Я думала, ты уже уехал из города... Ты разве не собираешься уезжать?

— Нет,— сказал я, неловко топчась в передней.

— Кисанька,— услышался слабый голос Михайлова,— кто там пришел, доктор?

— Нет, это не доктор,— сказала Анастасия Андреевна,— это твой подзащитный... Гоша пришел.

Я твердо решил про себя, что выдержу все, ибо если позволю себе обиду, то потеряю последний шанс, больше мне не на кого надеяться.

— Ты разуь туфли,— сказала мне Анастасия Андреевна и подвинула ногой комнатные тапочки.

Я снял пальто, ожидая, что Анастасия Андреевна уйдет. Носки мои я носил всю зиму, они были во многих местах защиты мной белыми и черными нитками, а в некоторых местах, например, на пальцах, просто имелись дыры, и мне было неприятно разуваться перед Анастасией Андреевной. Но она не уходила, и я вынужден был разуться под ее сердитым взглядом.

В столовой стоял большой портрет пятнадцатилетней девушки-подростка, убранный живыми цветами, первыми весенними цветами, стоящими, очевидно, чрезвычайно дорого. Я знал, что это портрет единственной дочери Михайлова, задушенной в сорок втором году автомашиной. Детей у Михайлова больше не было, и он воспитал своего давно осиротевшего, как и я, племянника. Племянник этот был моего возраста. Он окончил институт и лет пять уже работал на авиазаводе. Сейчас племянник этот сидел в столовой в рубашке

с расстегнутым воротом и полуспущенным галстуком, с серьезным научным журналом в руках. Мне он кивнул довольно вежливо и ушел вместе с журналом в свою комнату (у Михайлова было три комнаты. Одну занимал пока еще неженатый племянник).

Михайлов полулежал в спальне на тахте, обложенный подушками. На столике перед ним были недопитый стакан молока, две небрежно надломленные плитки шоколада, пузырек с лекарствами и томик Чехова. С тех пор как я Михайлова в последний раз видел (в тот день, когда он меня открыто и публично унизил), с тех пор он заметно осунулся и побледнел.

— Как вы себя чувствуете?— сказал я, усаживаясь на краешек стула, причем в тот момент с искренней тревогой и сочувствием.

— Я — плохо,— небрежно как-то махнув рукой, сказал Михайлов,— а вот ты — что ты натворил, почему ты пошел к Саливоненко?

Я еще не знал, куда Михайлов клонит, и не догадывался о клевете Саливоненко (послужившей причиной особенно грубой встречи меня в этот раз, в том числе и со стороны Анастасии Андреевны), я еще не знал, однако для начала нашелся.

— Я не хотел вас тревожить,— сказал я.

— Миша,— раздраженно почти выкрикнула Анастасия Андреевна, стоя в дверях,— раз уж он пришел, скажи ему все, может, у него сохранилась хоть капля совести.

И тут я узнал о клевете Саливоненко.

— Зачем ты явился в министерство и выдал себя за специалиста по небьющемуся стеклу?— так же, как и жена сго, раздраженно сказал Михайлов.

Я испытал нечто похожее на шок, у меня перехватило дыхание и, кажется, глаза наполнились слезами. Реакция моя была столь естественна, мгновенна и порывиста, что не только Михайлов, но даже жена его не то что мне поверили, а как-то задумались.

— Ну хорошо,— сказал Михайлов,— об этом не будем, но тебя что, уволили с работы?

— Вот это правда,— сказал я,— но это не страшно...

— То есть как не страшно,— спросила Анастасия Андреевна,— а на что ты собираешься жить? (Не пришел ли я просить денег, было в подтексте этого восклицания.)

— Я устроюсь, я, может, учиться пойду, мне важно койко-место... Ночлег...

— Кто такой Юнаковский?— спросил вдруг Михайлов.

— Не знаю,— удивленно ответил я.

— А почему он звонит Саливоненко домой и пытается вести с ним какие-то скользкие переговоры, используя тебя... То есть обещая устроить тебя взамен на какие-то действия Саливоненко в его пользу...

— Юницкий! — вскричал я.

— Да, именно Юницкий,— вскричал Михайлов,— значит, это правда?

— Нет,— торопливо заговорил я, забыв об искреннем возмущении клеветой Саливоненко, укрепившем мою душу в моей справедливости и невинности (это всплыло опять позднее). Душа моя вновь была разжижена как-то и потеряла уверенность, которую давало сознание явной несправедливости по отношению ко мне.

— Нет,— говорил я, пытаюсь разобраться в этом новом обороте и понять, в чем я сам виноват, а в чем меня запутали,— они знали, что Саливоненко мне помог устроиться три года назад в их управлении... Я этого не знал... Они решили, что он мне близкий человек, решили воспользоваться... А...— вскочил я со стула,— теперь я понимаю, я все объясню... У них грызня в руководстве, Брацлавский и Юницкий против Мукало, Мукало мне тоже советовал сказать за него у Саливоненко...

— Перестань кричать,— сказала мне сердито Анастасия Андреевна,— Михаил Данилович нездоров.

— Меня не интересует вся эта белиберда,— сказал Михайлов.

— Нет,— не унимался я,— я объясню, иначе вы меня заподозрите... Этот Юницкий отвратительный тип...

— А ты? — спросил Михайлов.— Кем ты себя считаешь?

— Не знаю,— притихнув и усаживаясь сказал я,— я запутался... Может быть, если бы у меня был ночлег, койко-место, я бы осмотрелся, решил бы что-нибудь... Конечно, во многом я живу не так, как надо...

Я решил каяться, чтоб снять остроту разговора, которая бог знает куда могла завести. Было два пути: либо каяться, либо разжалобить, например, закрыть лицо руками и сидеть так, ничего не говоря. Я подумал об этом, но тут же отверг. Должен сказать, что все эти мысли хоть и выглядят цинично, но в действительности мое трагическое положение убивало цинизм. Вернее, цинизм, некоторый и невольный, был лишь в решении, но не в исполнении. И если б я решил разжалобить, закрыв лицо руками, то при этом испытал бы не выдуманные, а подлинные страдания и горечь безнадежности. Од-

нако я решил каяться и делал это не фальшиво, а искренне, честно, как на исповеди.

— Хорошо,—сказал Михайлов,—я позвоню. С койко-местом постараемся опять уладить.

— Но в последний раз,—добавила Анастасия Андреевна,—нельзя в твои годы быть потребителем, ты уже вырос из детских штанишек, стыдно...

Вошел племянник с журналом.

— Прости, дядя,—сказал он Михайлову,—я думал, ты уже освободился.

— А что?—совсем иным тоном и с иным лицом обратился к нему Михайлов.

Племянник задал какой-то непонятный мне то ли научный, то ли философский вопрос, и у них началась иная жизнь, которой я был чужд и которая была для меня недоступна. Я попрощался и вышел, забрав с собой свои убогие материальные интересы.

Чем более человек осознает свое реальное место в обществе, тем легче ему живется. Всего год назад из-за фразы Михайлова в мой адрес, на которую я ныне и внимания не обратил, я пережил нервное потрясение. Ныне же я вышел от Михайлова в хорошем даже расположении духа, несмотря на клевету Саливоненко и на страшные слова в мой адрес Михайлова и его жены. Главное, я был доволен собой за то, что сумел выдержать и не впасть в обиду на Михайлова. Умение глотать обиды было для меня тем же теперь, что для тигра зубы, а для зайца ноги... Но путь этот сулил удачу, то есть возможность выжить, сохранив человеческий облик лишь до тех пор, пока положение мое в обществе оставалось и материально и духовно беспредельно ничтожно. При малейшем отклонении от этого условия, при малейшем возвышении моем этот путь грозил взломать мою душу, посеять в ней жестокость и горькую месть и уничтожить те остатки человечности и добра, которые не уничтожила еще постоянная потребность в корысти, выгоде, в том, что главным образом было основным в моих отношениях с людьми.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Рабство в переносном смысле этого слова является необходимым условием для преуспевания человека со слабой волей—эти слова я выписал как-то в библиотеке из Ницше

(вернее, из брошюры, критикующей его мировоззрение, в которой это положение также критиковалось и анализировалось). В свое время выписал я их попросту для красоты, как этакий каламбур, но впоследствии, когда события приняли настолько резко иной оборот и все настолько поменялось, что иногда мне даже казалось — я ли это, в этот период мне слова Ницше попались случайно на глаза и заставили задуматься, правда, не приведя ни к каким четким выводам. Мой характер в эту формулировку Ницше впрямую не укладывается, я не могу считать себя человеком со слабой волей, однако есть случаи, когда отдельные детали противоположны, а ситуация в целом если и не соответствует, то во всяком случае симметрична. Поскольку был я лишен твердых прав, причем в силу воспитания и господствующих в окружающем обществе взглядов считал все это явлением нормальным, то моя постоянная нужда в покровителях невольно приспособила меня к подобной жизни, когда человек получает ночлег, заработок и в конечном итоге даже родину не от рождения и по закону, а по чьей-то доброте и мягкосердечию. Юность моя прошла в обстановке патриотического подъема от победы страны моей над фашизмом, который перешел постепенно в патриотический подъем и в других областях общественной жизни, науки и культуры, где всюду ощущалась гордость своим превосходством и приоритетом. Я не отличался, а может быть, превосходил многих своим патриотизмом и все ж в глубине души даже школьником всегда знал, что счастье быть патриотом куплено мной ценой обмана, и это выделяло меня, отщепенца, из среды моих сверстников, которым патриотизм доставался так же естественно, как глоток воздуха. Таким образом, я еще с детства научился ценить то, что другие воспринимали просто и спокойно, и нужда в добрых или простодушных покровителях стала моей постоянной потребностью. Поэтому с возрастом, когда я думал об удаче и преуспевании, я думал прежде всего о хороших, влиятельных и добрых покровителях. К сожалению, жизнь не была ко мне столь милостива, и покровители, которых я отыскивал или которые отыскивали меня, не были столь идеальны, хоть и делали мне в известной мере добро, конечно, крайне неустойчивое, во многом незначительное, позволяющее лишь передохнуть и набраться хоть в некоторой степени сил в ожидании новых неудач и лишений. А случись мне встретить покровителей, о которых я мечтал, жизнь моя, с раннего детства приспособленная к подобному ритму и образу существования, стала бы попросту счастливой и безмятежной. То есть в жизни неправых отщепенцев, неправых сословий или

даже бесправных народов преобладает женский элемент и женское понятие о счастье... Кстати, выписывая из Ницше, я последнюю фразу опустил как несущественную и забыл о ней. Лишь недавно, отыскав этот кусок опять, я прочел: «...для преуспевания человека со слабой волей, а следовательно женщины». И это закономерно. Человек, сословие и народ со временем вырабатывают для себя не просто психологические, но, так сказать, телесно-психологические законы и представления о счастье, то есть происходит определенное приспособление не только психологии, но и физиологии... Если вдруг все это взрывается, даже из-за самых благородных причин: революции, эмансипации или реабилитации, происходит некий не лишенный мистики трагический надлом. Как бы вдруг женщина, пусть несчастная, однако стремящаяся к своему женскому счастью, проснувшись однажды, почувствовала себя мужчиной почти физиологически. Правда, первоначально возможны и гордость и радость от подобного превращения, но постепенно она (или ныне он) начали бы ощущать тот не жизненный, уже патологический трагизм, когда прежнее женское счастье невозможно, а нынешнее мужское — опасно и ненужно. Пример с женщиной, стремящейся к своему женскому счастью, но вдруг мистически обретшей трудную мужскую судьбу, взят для наглядности, а события названы мной трагическими не для того, чтоб поставить под сомнение их историческую закономерность, прогрессивность и справедливость, а для того, чтобы точнее охарактеризовать те печальные и необдуманные поступки, которые совершались.

После того как я ввел в борьбу за свое койко-место последний надежный резерв — Михайлова, прошло больше чем полтора месяца. Наступил долгожданный мной и любимый период застоя после весеннего выселения. В этом году он был особенно приятен, поскольку, уволенный с работы, я имел возможность жить так, как мне хочется, а деньги, не растраченные на взятку дяде Пете, позволяли мне осмотреться и подумать о дальнейшей своей судьбе... Миновали майские праздники. Было уже так жарко, что можно было ходить в одной рубашке. Иногда случался даже не майский, а настоящий августовский зной. В такие дни я с Витькой Григоренко и Сашкой Рахутиным ходили в расположенный рядом с общежитием овраг, на озера, где некогда пригородный совхоз разводил рыбу. Озера эти так и назывались — Рыбные. Я чрезвычайно любил солнце и песок, но стыдился своего костлявого, голодного, немужского тела и потому ложился где-нибудь подальше, глядя с жадностью на купающихся де-

вушек, которые в подобном виде почти все были удивительно красивы, так что прежде всего я испытывал не похоть, а скорее чувство восторга и радости и мечтал о том счастье, какое вкусил бы, увидев здесь Нелю или даже блондинку из читального зала библиотеки. Насмотревшись, я опускал голову, не жась в сладкой лени, погружившись губами в теплый песок. Опыняющие запахи и звуки моего очередного тридцатого лета, которыми я упивался наедине, жадно, не делаясь ни с кем, были моей наградой самому себе и моим праздником, для себя созданным. Однако вскоре произошло подряд два события, которые, как я ныне понимаю, являлись предвестником надвигающейся беды. То есть с бедой непосредственно они не были связаны, но создали некое психологическое ощущение надвигающихся неприятностей. Первое — ответное письмо от деда. Напоминаю — дед у меня не родной, тем не менее изредка он помогал мне небольшими суммами, будучи человеком самостоятельным и домовладельцем. Поэтому я не ожидал такого грубого ответа на мою просьбу дать мне немного денег взаймы... «Мне стыдно было читать, — писал дед, — ты здоровый бык, который сам должен помогать старику, просишь у него как паразит, чтоб иметь возможность вести свою разгульную жизнь... Добрые люди сообщили мне правду о тебе, и весь твой обман раскрылся. Ты пишешь, что тебе нужны деньги на мебель, но куда ты ее поставишь, если не имеешь в тридцать лет ни кола ни двора и живешь, как животное, только сегодняшним днем, ожидая, кто бы тебе бросил кусок пожирнее, ибо стыд ты потерял давно. Я старик, мне семьдесят девять лет, но стыд я имею и надеюсь, если поможет бог, что со стыдом своим перед собой и перед людьми умру». Далее письмо состояло из каких-то малопонятных обрывков и намеков, свидетельствующих, что писал дед в чрезмерном волнении, причины которых мне не были до конца ясны, возможно не имеющих даже ко мне прямого отношения. Например, была такая фраза: «В молодости мне приходилось лизать языком сапоги станционного жандарма, чтоб иметь возможность своими руками зарабатывать кусок своего хлеба...» Далее были фразы уж вовсе неожиданные, говорящие о том, что сознание старика мало-помалу путается: «Матвей (это мой отец) не был мне родным сыном, однако, когда он поступил в студенты, я ему помогал, хоть Зина всячески была против (кто такая Зина, я не знаю), ибо видел, что из него растет человек, пусть даже он поступил нехорошо и отказался от моей фамилии, когда стал большим начальником... Конечно, против меня его настраивала Клава (это моя покойная мать), а я ведь говорил ему — сынок, не женись на

ней, она тебя погубит...» Следующие несколько слов были густо не то что зачеркнуты, а залиты чернилами. Видно, старый маразматик написал такое, что даже сам при повторном прочтении опомнился. Возможно, он хотел зачеркнуть и все вышенаписанное, оставив лишь отказ в деньгах, но как-то по старческой рассеянности не довел дела до конца и в подобном полузачеркнутом виде опустил письмо в ящик.

Я разорвал письмо на мелкие клочки и бросил его в мусорницу. Потом вернулся, вытащил эти клочки, уже испачканные и мокрые, отнес их брезгливой кучкой в ладонях и бросил в унитаз, спустив воду. Однако успокоения не наступило, и с необычным для летнего периода волнением я стал ждать неприятностей. Ждать пришлось недолго, хоть вновь явились они с неожиданной стороны. Однажды во дворе нашего жилгородка, неподалеку от жилконторы, меня встретил бледный молодой человек и, пристально посмотрев мне в лицо, спросил как-то робко:

— Вы Цвибышев?

Я насторожился.

— А что тебе надо? — с грубостью, поскольку этот бледный вряд ли мог быть мне опасен или полезен, спросил я.

— Вам просили передать, — тихо сказал бледный и протянул конверт.

Незнакомым почерком на нем было написано: «Гоше Цвибышеву (лично)». В конверт вложен был лист ученической тетрадки в клеточку, и на нем значилось: «Прощай, Гоша. Жить больше не хочу. Илиодор». Я растерялся. Илиодор этот был мне неприятен, и совсем ведь недавно, обнаружив нечестность его, когда он из черносотенной газеты заимствовал антисемитскую басню, я написал ему письмо, полное ругательств и матерщины.

— Он умер? — растерянно спросил я.

— Да, — сказал бледный и прикоснулся ладонью к своим глазам. — Он отравился снотворными порошками. Месяц уже как похоронили. Просто я долго вас искал. — И бледный вдруг начал горячо говорить о том, какой это был честный и легкоранимый человек. — Эти подлецы вокруг, — говорил бледный, — этот Орлов, Лысиков, вы думаете, их волнует судьба русского народа, русского человека, которому неуютно и тесно на своей земле, которого вытесняют евреи?.. Нет, их волнует собственная карьера...

Бледный говорил так, будто искал во мне не только собеседника, но и друга, то есть хотел мной компенсировать потерю Илиодора. Я вспомнил, что видел бледного в той компании рядом с Илиодором. Все произошедшее — смерть Илио-

дора (господи, ведь я рекомендовал ему отравиться или повеситься), эта непонятная записка именно ко мне и этот бледный больной русский патриот — привело меня в состояние некоторой растерянности и непонимания жизни, причем даже не в глубоком философском смысле, а в элементарном, событийном. Бледный все говорил, скорбно заглядывая мне в лицо и ища сочувствия. Я толкнул его в грудь, крикнул «отстань», повернулся и пошел назад в общежитие, прижав руку к своему правому боку. Лишь минуточку-другую спустя я понял причину, по которой пошел назад, ибо в правом боку у меня началась сильная боль (у меня больная печень), и я решил отлежаться на койке с чем-нибудь теплым у бока. Но, войдя в комнату, я понял, что полежать мне не удастся, ибо там как раз Паша Береговой наказывал своего брата Николку.

Как я уже говорил, между братьями существовал добровольный договор, заключенный в присутствии отца, и мне кажется, инициатором договора даже был сам Николка, который, потерпев от брата порку, мог некоторое время после нее вести ленивую жизнь студента-переростка на отцовские деньги. Николка, здоровый широкоплечий парень, лежал на койке лицом вниз, а Пашка порол его сложенным вчетверо электрическим проводом. В тот момент, когда я вошел, они как раз торговались. Я уже несколько раз наткнулся на порку Николки и при этом старался сразу же уйти. Правда, первоначально, когда я был дружен с Пашкой, он, если я присутствовал, просил меня держать Николку за ноги. Я однажды даже согласился, поскольку к этой просьбе присоединился и Николка.

— Быстрее отбуду,— сказал он мне,— иначе дергаюсь, и только хуже... Эта же сука знаешь как лупит!.. Иногда от боли вывернешься и живот под провод подставишь, так что ты, Гоша, крепче за ноги меня держи.

Та порка, когда я держал Николку за ноги, действительно прошла быстро, и оба брата остались ею довольны. Я же после этого не спал всю ночь и в будущем всегда от этого дела отказывался. Тем более теперь, когда с Пашкой мы стали врагами. Наткнувшись на порку, я выходил и пережидал в коридоре. Но теперь так нелепо все складывалось и боль в боку становилась такой сильной, что я не мог устоять на ногах и потому пошел к своей койке и лег на спину, приложив для тепла шерстяное кашне к правому боку. На меня внимания братья не обратили, будучи заняты своим делом. Спор шел из-за того, что Николка хитрил и в момент удара прикрывал заднюю часть свою, куда метил Пашка, ладонью, стараясь принять основной удар на нее.

— Ладонь убери,— тяжело дыша, с раздувшимися ноздрями говорил Пашка,— уговор был... Ладонь убери...

— Что ж ты сильно лупишь,— отвечал Николка в тон брату, точно вдвоем они делали общую трудную работу, например, несли шкаф и остановились передохнуть, обсудить, как нести далее,— что ж ты сильно,— так же тяжело дыша говорил Николка,— что ж так сильно, сука?.. Уговор был не в четыре сворачивать... В два провод сворачивать уговор был...

— Ладонь убери,— повторял Пашка,— врать не надо, сука... Отцовские деньги пропиваешь, сука... Ладонь убери, лучше будет...

Койки наши стояли рядом, и, повернув голову, я увидел лицо Николки, с которого даже физическое страдание не могло убрать хитрого ожесточения, которое появляется от продолжительного упрямого базарного торга и попытки выгадать, то есть получить ударов поменьше и послабее.

— Ладонь убери,— хрипло сказал Пашка и со свистом опустил сложенный четверо провод, так что на Николкиной ладони лопнула кожа и появилась багровая полоса.

Николка как-то звонко, по-заячьи крикнул и вцепился зубами в подушку...

— Ладонь убери,— повторял Пашка фразу, застрявшую в его охмелевшем мозгу...

Он никогда еще так сильно и самозабвенно не бил Николку, и каждый удар остро вонзался мне в правый бок, хотя я отвернул лицо к стене. Свистел провод, и боль в боку становилась невыносимой, словно Пашка сек меня проводом по печени. Я встал, держась за платяной шкаф, затем за койку Саламова, за стену, и, наконец толкнув дверь, вышел в коридор. Давненько меня эдак не прихватывало, причем совершенно неожиданно...

Ленинский уголок был открыт, и слышен был звук телевизора. Это удача, ибо каждый шаг отдавал болью в боку. Я вошел, когда диктор объявил о предстоящем выступлении Хрущева. На стульях перед телевизором сидели редкие зрители из скучающих, свободных от работы жильцов. Данил-монтажник подмигнул мне.

— Сейчас выскочит кукурузник,— сказал Данил,— какой там он шахтер?.. Ребята точно выяснили, он из бывших помещиков... Потому он и Сталина на весь мир опозорил...

Хрущев возник на экране в светлом костюме и светлом галстуке.

— У нас появилась хорошая традиция,— сказал Хрущев,— отчитываться руководителям партии и правительства

перед народом после каждого серьезного зарубежного визита и каждой серьезной встречи с зарубежными руководителями...— Хрущев вдруг улыбнулся, так что толстое, доброе в тот момент лицо его рассекли складки у щек, взял стоящую на столе бутылку нарзана, налил в стакан, с аппетитом выпил шипящую жидкость и вытер губы платком.— Хорошая вода нарзан,— сказал он,— рекомендую...

Жильцы, сидевшие перед телевизором, загоготали.

— Во дает,— сказал Адам-дурачок.

— Это чего-то жирного поел,— весело сказал Данил-монтажник,— Гоша, принеси-ка Хрущеву из умывальника графин воды...

Я улыбнулся, поскольку чувствовал себя лучше. Боль утихла от покойного сидения на стуле, и я осторожно массировал ладонью правый бок.

— Ты тоже, Данил, не загибай,— сказал Адам-дурачок,— ты газеты почитай... Хрущев людей из тюрем выпустил, которых Сталин посадил.

— А на то и власть,— убежденно сказал Данил,— чтоб сажать... Если б Сталин врагов перед войной не пересажал, Гитлер бы всю Россию завоевал.

— А пусть,— сказал Адам,— пусть завоевывает, лишь бы в тюрьму народ не сажали.

— Да брось ты, Данил,— перебил пожилой жилец с первого этажа,— чего с дураком спорить?..

— Сам ты дурак,— огрызнулся Адам.

— Вот я тебе сейчас по шее,— сказал Данил.

Началась перебранка, так что Хрущева слышно вовсе не стало, а видно лишь было, как он шевелит губами, пьет время от времени нарзан и улыбается. Меж тем боль у меня почти совсем прошла, так что я даже встал и пошел вниз в овраг, на Рыбные озера, но не раздевался, а сидел в траве в кустах. К купающимся девушкам я уже привык, так что они меня интересовали не так сильно, да и день сегодня был весьма теплый, но без солнца, хмурый, даже не намекающий, а открыто пророчащий беду... И точно, к вечеру я получил за подписью Маргулиса повестку о выселении в трехдневный срок... Ни разу такого не случалось после вмешательства Михайлова, да еще летом, когда период весеннего выселения оканчивался. Кроме того, к этому времени расходовалось и в прошлые годы, а в этом году особенно, так много сил, что дальнейшая борьба чисто физически была невыносима, не говоря уже о том, что все средства воздействия на администрацию были исчерпаны. Оставалось позвонить Нине Моисеевне и жениться на одной из предложенных ею кандидатур.

У Нины Моисеевны я ни разу не был с тех пор, как, придя к ней замерзший и голодный и будучи накормлен вкусно и отогрет, не сдержался и совершил некое собачье движение благодарности, припав к руке в общем-то чужого и ненужного мне человека. Однако в те мгновения я был в полуопьянении, полубреду, которые наступают иногда от насыщения после сильного голода и усталости. Я не владел собой тогда и сейчас не знал, как вести себя лучше: вспомнить о том случае со смехом, выдав себя за пьяного, или не вспоминать вовсе.

В уютной квартирке Нины Моисеевны совершенно ничего не изменилось, даже круглый стол был застелен той же скатеркой с темным пятном. Это темное пятно — единственное, что оставил после себя в доме бывший муж Нины Моисеевны, человек молодящийся, красящий волосы и брови и этой краской испачкавший скатерть. Нина Моисеевна любила рассказывать об этом со смехом. Вообще была она женщина довольно легкомысленная, и в обычном состоянии, если исключить тот нелепый случай, держался я с ней независимо, даже над ней подтрунивая и посмеиваясь.

Разумеется, мы разыграли с ней спектакль, поговорили о том о сем, пошутили и посмеялись.

— Кстати,— сказала она как бы мимоходом, между двумя анекдотами,— сейчас ко мне должна прийти моя знакомая с дочерью, в гости прийти. Дочка вам обязательно, Гоша, понравится. Она вся такая мягенькая, маленькая, женственная, с серенькими глазками... Ну кошечка,— и Нина Моисеевна этак с аппетитом причмокнула губами, точно приглашая меня попробовать нечто вкусное.

Она меня настолько раззадорила, что я попросту испытал нетерпез, а когда наконец раздался звонок, сердце мое застучало и кровь прилила к щекам. Я был уже влюблен в нарисованный Ниной Моисеевной образ и видел перст судьбы в том, что мне в этом году не удалось отстоять свое койко-место, иначе я бы по-прежнему прозябал за шкафом в шестикоечной комнате, среди грубых, невежественных жильцов, ущемленный в мужских желаниях и особенно глубоко себя за то не уважая. Сейчас она войдет, думал я, любовь моя, моя судьба... И через много лет я буду помнить этот стол с темным пятном на скатерке, эти зеленые обои... И нелепую случайность нашей первой встречи.

В своих фантазиях я неисправим. Жизнь уже бесконечное число раз учила меня, ударяя мордой об стол, как говорится в народе. И все-таки лишь появлялся повод, я вновь забывал мудрые ее уроки и на розовых шелковых крыльях несся к ра-

зочарованию, злобе и насмешке над собой. Одурманенный мечтой, я потерял даже способность к трезвой логике, вообще-то мне свойственной, и забыл, что красивым женщинам нечего делать в обществе Нины Моисеевны, они сосредоточены либо в местах наиболее уважаемых, например, в обществе Арского, центральной библиотеки, в телевизионных передачах и т. д., либо в местах наиболее красивых — среди мускулов, солнца, воды и пляжного песка. Впрочем, говоря по совести, Полина (имя-то какое провинциальное) не была уродлива. У нее действительно были серые глаза, каштановые волосы уложены в современной прическе, губы подкрашены по-современному, вызывая ярко, но все это походило на тщетные потуги казаться не тем, что ты есть, и были мне смешны, поскольку я был развращен до предела настоящими красавицами, за которыми постоянно наблюдал. Не то что мне не нравились в Полине какие-то определенные детали. Она была мне отвратительна целиком как идея женщины. Я представил себе эту Полину на Рыбном озере рядом с прекрасными девичьими телами, которые я наблюдал издали, и меня вдруг охватила злоба.

«За что же так? — подумал я. — А кому те?.. Разве я не достоин?.. Проклятая жизнь...»

Эти мысли настолько истерзали меня, что во время чаепития я начал вести себя вызывающе грубо не только по отношению к Полине, но также и по отношению к ее матери и даже к Нине Моисеевне. В чем это выразилось первоначально, я не пойму, ничего открытого я себе первое время не позволял, разве что нехорошо улыбался на их попытки завязать светскую беседу. Правда, когда Полина пыталась мне передать чайную ложечку, я сказал:

— Извините, но я размешиваю сахар в чае указательным пальцем...

Разумеется, это можно было принять за шутку. Нина Моисеевна даже засмеялась, а мать Полины улыбнулась. Но тут мне все это надоело, и я, как говорится, сыграл в открытую, то есть сунул указательный палец свой в стакан чая, достаточно горячий, и принялся размешивать в нем сахар, превозмогая боль от ожога крутым кипятком. Наступила неловкая тишина. Потом мать Полины встала и сказала:

— Знаешь, Нина, мы, пожалуй, пойдем, — и посмотрела на меня с открытой неприязнью.

— Нет, уж извините, — ответил я за Нину Моисеевну, принимая вызов, — я пойду, а вы оставайтесь и пейте с вареньем ваш хлебный квас.

Почему я сказал «хлебный квас», непонятно. Видно, от

волнения, внезапно меня охватившего, я не сумел найти ничего более колкого и «выстрелил» хлебным квасом. Мучаясь этой своей неудачей, я еще более разозлился, одевался, пугаясь в рукавах, и так хлопнул дверью, что даже сам испугался. В общем, в довершение всего следовало показать этим людям язык или, став на четвереньки, залаять, чтобы окончательно себя опозорить. Я видел, что если первоначально они были возмущены моим внезапным хамством, то по мере накопления фактов моего поведения возмущение их исчезло, они сидели уже испуганные и со мной в споры не вступали. И то, что мне не удалось их оскорбить, поскольку в конечном итоге я предстал в их глазах ненормальным, меня особенно терзало и мучило. Я уже не сомневался, что Нина Моисеевна после моего ухода вспомнила и рассказала своим друзьям о моем прошлогоднем собачьем движении к ее руке, подтвердив этим свою догадку...

Я шел по крутой, старой, уютной улице среди цветущих каштанов. Вечер был теплый, во многих домах были раскрыты окна, мелькали лица, слышны были обрывки разговоров, всюду был размеренный порядок, прочность, семейная взаимоподдержка, обжитость, великие бытовые права на свое. И лишь я, внешне ничем не отличающийся от прохожих, так что со стороны можно было подумать, что я иду, находясь в строгом бытовом порядке, чтоб взять свое, в действительности не имел своего, что особенно ощущалось надвигающейся ночью. Бездомность отщепенца, как и голод его, психологически чрезвычайно отличаются от всеобщей бездомности во время великих испытаний народа... Особенно в конце весны, в великолепные, пахнущие сиренью вечера, когда повсюду ленивый покой и все нацелено на личное счастье, в такие вечера моя бездомность ощущалась мной как тайный порок, и именно поэтому, выйдя от Нины Моисеевны возбужденный, с обваренным указательным пальцем, я затеял с собой нелепую игру, то есть заходил в подъезды домов, воображая себя жильцом и квартирохозяином. На первый взгляд, особенно для людей, подобное не перенесших, это глупо, в действительности же душевное мое напряжение несколько улеглось, а когда наступила ночь, окна погасли, исчезли прохожие и все вокруг затихло, ощущение тоски и одиночества вовсе прошло.

При бездомности самое опасное для отщепенца время — вечер, время соблазнов и надежд, когда страсть как хочется по-детски доверить кому-нибудь свою судьбу... Ночью вновь верх берут инстинкты, а также сила, хитрость и логика...

Я приехал к общежитию на дежурном трамвае, по пожар-

ной лестнице поднялся на балкон второго этажа, а оттуда проник в коридор через балконную дверь. (Дежурила Дарья Павловна.) Всю ночь лежа на своей койке, возможно, в последний раз лежа, обдумывал я дальнейшие действия, совершенно не устав, ибо бессонница прежде всего утомляет бесплодное воображение, я же работал, строя план, и потому, будучи удовлетворен своей деятельностью, утром не чувствовал себя утомленным. Вещи я решил пока оставить у Григоренко, самому же попытаться поселиться у Чертогов, причем самым нахальным образом, то есть приехать поздно вечером и сидеть до тех пор, пока ночевка моя станет сама собой разумеющейся... В эту ночь я понял также чрезвычайно важное для меня условие в игре, которую я вел уже на самом краю, на пределе возможного: не думать о завтрашнем дне, о перспективе, о своей судьбе... Отъезд же из города именно сейчас представлялся мне твердо концом моей борьбы. Так много сил, так много унижений, так много хитростей было положено на то, чтобы обосноваться в городе, где я родился, который любил, что просто сесть на поезд и уехать из него, причем тоже неизвестно куда, равносильно было для меня концу...

План с Чертогами в моем крайнем положении имел некоторые перспективы, однако они, обычно трусливо-деликатные, на этот раз попросту не впустили меня в дом.

— Не приходите больше! — крикнул мне в форточку Чертог-отец. — Ваш родной дед советует вас не впускать. — Значит, они получили письмо от старика, какое нелепое совпадение.

— Работать надо! — крикнула Чертог-мать. — Мы сами материально стеснены.

Это было уже слишком. Никогда не рассчитывал я на их еду, которую, даже будучи голодным, ел с отвращением, ибо всегда это было нечто холодное, дурно приготовленное, прокисшее и нечистое, с какими-то волосами, нитками и соринками... Чертоги нужны были мне исключительно как пристанище во время морозов или дождей, и ел я их подавание (обедом это не назовешь) для того, чтобы их не обидеть и не лишиться пристанища. Тем более это была единственная семья, которая в свое время предоставила мне ночлег, и я держал их про запас на тот крайний случай, если ночлег опять понадобится, что и случилось ныне.

Далее, помню, никаких особых мыслей и чувств не было. Я поужинал двумя порциями мороженого и до ночи просидел возле фуникулера на скамейке. Возвратившись во втором часу ночи, я прежде всего глянул на койку и, обнаружив, что по-

стель у меня пока не отняли, несколько успокоился. Некоторое время я лежал, обдумывая дальнейшие действия. Мелькнула дикая мысль: невзирая ни на что просить ночлег у Бройдов, однако я тут же ее забраковал (тщеславие проклятое, которос давно мне не по карману, все-таки требует своего). И совершенно неожиданно, безо всяких на то логических оснований, я решил обратиться за помощью в райком партии.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Райком партии располагался неподалеку от школы милиции, и от нашего общежития до него было минут двадцать ходу пешком. Неоднократно, идя пешком к центру, я проходил мимо райкома и запомнил его месторасположение (может, это и было одной из причин, когда я, исчерпав все возможности, решил обратиться в райком).

Здание райкома построено в пятьдесят втором году, о чем свидетельствовала надпись на фронте и стиль того времени: с квадратными колоннами, с лепными звездами и гербами. Обычно я в моей несправедливой борьбе, основанной на связях, знакомстве и покровительстве, подобных учреждений избегал, но это не было моим жизненным кредо, и я знал, что, сложись моя жизнь по-другому, я был бы претолчным патриотом, ибо моя склонная к поэтическим преувеличениям натура гораздо более удовлетворения получила бы в официальном существовании, вплоть даже до героической смерти, на которую я, очевидно, был способен, чем в пустопорожних личных мечтах, главным образом в ночное время, то есть не имеющих выхода в реальность и вынужденных прикрывать мои убогие материальные потребности... Нелишне также здесь напомнить, что я, почти тридцатилетний, оставался в душе юношей, однако не потому, что сумел сохранить свежесть душевных порывов, а потому, что порывы эти остались незрелыми и не приобрели соответствия моему возрасту, а также времени. Вот почему, войдя в вестибюль райкома, я испытал молодое волнение и свою значительность в общем строю... Материальные невзгоды как-то оттеснили меня от происходящих в обществе процессов, и хотя я к ним стремился при всякой возможности, таких возможностей было немного, а из компании Арского, где я вдруг испытал сладость оплевывания бывших святынь, меня попросту выперли... Я человек сложный, то есть во мне есть много противоположностей, однако, при обычных обстоятельствах, если душа моя не чрезмерно взбаламучена, во мне проступает какое-

то одно чувство, остальные же словно на это время пропадают, и я сам о них начисто забываю. Поэтому, когда в приемной второго секретаря райкома партии Николая Марковича Моторнюка (так было написано на табличке) меня спросила одна из райкомовских женщин, лет сорока, достаточно полная, с высокой грудью и в полумужском приталенном женском партийном костюме:

— Вы по какому вопросу, товарищ?

Я ответил:

— По личному,— так, точно мой личный вопрос не упирался в койко-место, а соответствовал интересам общего дела.

Николай Маркович Моторнюк сидел в большом кабинете с портретами Ленина, Хрущева и Ворошилова. Принял он меня приветливо, и это могло погубить меня. Следует помнить мое крайнее положение, непрерывные провалы, тупики, разочарования в несправедливых путях... Хороший прием, который оказал мне человек совсем иного направления, мог окончательно убедить меня в бесполезности тех построений, которые до сих пор помогали мне жить... У каждого человека, а у отщепенца в особенности, имеется система мышления, в которую укладывается, перерабатывается все его мироощущение... Разумеется, выход из строя конкретной для данного человека системы образов и мыслей не приводит к немедленной физической смерти, как гибель системы кровообращения или дыхания, но она ведет к серьезному жизненному кризису... К счастью, разговаривая с Моторнюком, секретарем райкома, человеком, положение которого и, наверное, жизнь отвергала эту мою систему, к тому же изношенную, не помогающую мне более, я все-таки невольно еще находился внутри этой системы поисков покровителей, хоть одновременно и жаждал честной молодой комсомольской откровенности. Наверное, на стыке столь противоположных тенденций и родился контакт между мной и Николаем Марковичем. А до контакта родился мой рассказ, удивительно сильный, искренний по чувствам, но для воздействия требующий хорошего человека (каким был безусловно Моторнюк), и в то же время удивительно точный, логичный и, невзирая на самые искренние излияния о страданиях в детстве, смерти родителей, в то же время направленный к одной материальной цели — к оставлению за мной койко-места на три месяца (там начнется осень, зима и вообще видно будет).

Помню свое состояние, когда я вышел из райкома. Так просыпаются после ночного кошмара, глядя в прекрасное, полное солнца окно. Я шел и смеялся. Я смеялся над своими

страхами, над собой и над неверием в свою судьбу... У меня в глубине души всегда существовала уверенность, что пропасть я не могу и когда становится очень плохо, значит, надо ждать избавления... Но по глупости я ждал избавления через третьи руки и не надеялся на себя... Придя в общежитие, я прежде всего нашел комендантшу Софью Ивановну и сообщил ей о моей беседе в райкоме, поскольку ныне, выйдя из паутины хитросплетений, просто испытал потребность в подобном открытом заявлении.

— Нам недавно звонили из райкома, Цвибышев,— сказала мне Софья Ивановна.

Пока я шел, Николай Маркович позвонил. Приятно все-таки быть полноправным гражданином своей страны, с умилением подумал я... Вообще после этого звонка из райкома в мою пользу я впал в некое восторженное состояние, которое бывает в юности во время парадов.

— Значит, все в порядке, Софья Ивановна?— дружелюбно спросил я.

— Кое-какие формальности еще нужны,— сказала Софья Ивановна,— но поговорим потом.

А потом, то есть всего через час с лишним, в дело было введено со стороны комендантши Софьи Ивановны новое лицо, а именно жилец из двадцать первой комнаты, семейный, занимавший эту комнату самостоятельно и, как оказалось, работающий инструктором того самого райкома. Фамилия его была Колесник.

Ко мне в комнату (я с наслаждением лежал на отвоеванной койке) постучала уборщица Люба и сообщила, что меня вызывают в Ленинский уголок. Думая, что это пошутил Юра Корш, воспитатель, я пошел, надеясь рассказать ему о своей удаче, особенно ценной, поскольку достиг я ее своими руками, да и вообще о том, как приобрел в райкоме своего человека (мечтая о новой законной жизни, я невольно продолжал жить в системе старых хитросплетений и покровителей).

В Ленинском уголке никого не было, лишь за столом над подшивкой газет сидел один из жильцов, года два уже мелькавший мимо меня, но поскольку сталкиваться с ним не приходилось, то знакомый лишь в лицо. Я хотел было уйти, но он окликнул меня.

— Вы Цвибышев?

— Да...

— Нам надо поговорить, садитесь, пожалуйста.

Не понимая еще, куда все это направлено, я сел.

— Цвибышев,— сказал мне жилец,— расскажите мне, на каком основании вы занимаете койко-место...

Жилец был в обычной форме, какую носят внутри общезжития, то есть в майке, и создавалось такое ощущение, будто он только что вышел из общей кухни, поскольку руки его были измазаны каким-то жиром (что соответствовало действительности и вскоре подтвердилось: на кухне у него жарилась картошка). Весь этот неавторитетный вид, плюс поддержка райкома, подтвержденная оперативным звонком Моторюка в жилконтору, заставили меня среагировать на этот вопрос определенным образом, а именно встать и небрежно махнуть рукой.

— Садитесь,— сказал жилец неожиданно твердо и резко, но главное было не в этом, а в том, что голос его заставил меня приглядеться внимательней и увидеть, что лицо моего собеседника отличается от лиц обычных жильцов отсутствием бытовой измотанности и есть на нем некий, может, не для всех уловимый элемент вкусной жизни, той жизни, из среды которой бывают особенно ценные покровители и особенно опасные враги. К счастью, моя ничтожная жизнь не давала мне возможности иметь постоянных опасных врагов из той среды, ибо незаконным делам моим и потребностям моим соответствовали гонители из низшей администрации: дворники, комендантши, управдомы и т. д. В то же время покровителей я искал сам, естественно, повыше. На этом несоответствии между положением моих покровителей из высших сфер и положением моих гонителей из низших инстанций и основывалось мое благополучие. Иногда, впрочем, возникали и гонители рангом повыше (например, Сичкин из военкомата), однако это экспромтом и не надолго. Вот почему столь продолжительное время я ухитрился пользоваться не принадлежащими мне правами, в общем-то, не имея устойчивых покровителей. Просто в силу ничтожного моего положения покровителям не приходилось преодолевать серьезного сопротивления.

— Я инструктор райкома партии Колесник,— меж тем сказал жилец, предупредив мой вопрос,— я пригласил вас поговорить по душам... Вы комсомолец?

— Да,— сказал я, чувствуя внезапный холодок внизу живота, невольно вспомнив, что некая неприятная, правда, забытая сейчас ситуация начиналась именно так (напоминаю: Сичкин из военкомата). Но одновременно, глядя недоверчиво на майку-футболку, измазанную жиром, я добавил:— Однако уже выбыл по возрасту...

— Так,— сказал Колесник,— вы, кажется, техник? Я пока бегло ознакомился с вашей анкетой в жилконторе.

— Да,— сказал я, соображая, как вести себя далее и в ка-

кой степени он мне опасен после звонка секретаря райкома в мою поддержку... Знает ли он об этом звонке?.. Я решил вести себя хитро и осторожно, выложив этот свой главный козырь в конце, после того, как станет понятна позиция Колесника.

— Я считаю,— сказал Колесник,— что вас просто упустили из виду. Вы мне благодарны потом будете. Мы когда управляли людей на периферию, многие тоже возражали, а теперь благодарны... Минутку, я сейчас,— он вдруг вскочил и вышел.

Тут я окончательно сообразил: вот он куда клонит. Что б он теперь ни говорил, я знал, что его цель — лишить меня койко-места... Я был растерян и не мог понять, почему вдруг и от чьего имени он действует. Находясь в более спокойном душевном состоянии, я вспомнил бы о своем разговоре с Софьей Ивановной. Я понял бы, что, привлекая к делу о койко-месте райком, я вынуждал своих гонителей к обороне, а потом и контраступлению на том же уровне...

Посидев некоторое время в одиночестве над подшивками газет, я решил, что Колесник ушел вовсе, разговор окончился ничем и вообще все это ерунда. Я вышел в коридор, решив одеться и пойти в библиотеку, а может, и в газетный архив: вдруг там вновь появилась красавица Неля, по которой я давно уже соскучился и о встрече с которой мечтал. Однако Колесник стоял на кухне среди женщин и, о чем-то весело разговаривая, ворочал шипящую на сковороде картошку.

— Куда же вы?— заметив меня, сказал он.— Мы еще не закончили.

Этот окрик, ломающий мои планы, и нелепый вид инструктора райкома партии, жарящего среди баб картошку, с одной стороны, меня озлобил, а с другой стороны, внушил мне неуважение. К тому ж я не знал истории Колесника и, что еще хуже, не понимал вовсе духа времени, будучи задавлен материальными нуждами. Поэтому в дальнейшем я повел себя неумно и неточно.

— Вам известно,— сказал я Колеснику, желая одним ударом освободиться от него,— что секретарь райкома товарищ Моторнюк звонил в жилконтору?

— Известно,— невозмутимо ответил Колесник,— он попросту не разобрался.

Это прозвучало для меня дико.

— Секретарь райкома не разобрался?

— Да,— улыбнувшись чему-то, сказал Колесник.— Вот мы его и поправим.

Я, безусловный антисталинист по духу, будучи огражден

материальными невзгодами от общественных веяний, внутренне жил по твердым прежним сталинским законам авторитетов. Колесник же, безусловно сталинист по духу, жил, тем не менее, по новым, антисталинским веяниям, дающим свободу внутрипартийным звеньям, если не откровенную, прямо вступающую в пререкания с высшими звеньями, то во всяком случае внутреннюю, ищущую самостоятельности в ориентации не на авторитет непосредственно высшей инстанции, а на общую структуру всего аппарата в целом, не зависящую от личных вкусов и личного произвола...

Колесник понял, что если личная симпатия секретаря райкома, носящая характер личного произвола, была направлена в мою пользу, то общая структура была направлена против меня, явного отщепенца. Значит, решил он, с личным произволом Моторнюка, желающего мне помочь, можно и нужно бороться...

Николай Маркович Моторнюк в войну был в партизанском соединении Ковпака. Кончил он войну инвалидом, ходил, опираясь на палку, из-за ранения ноги. Был он человек безусловно сталинской школы, но, являясь человеком добрым и хорошим, он часто направлял свои волевые методы в сторону, противоположную личному мировосприятию... Колесник же рождался как работник нового типа... Я застал его именно в момент рождения. У него была короткая и ясная биография, которую я позднее узнал от Григоренко. Производственная деятельность Колесника, правда, по иным на-верное, причинам, напоминает мою. Он был плохой прораб, а затем плохой диспетчер. Ему поручили должность секретаря комсомольской организации, поскольку в строительном управлении была она текучей, непрерывно сменяющейся, никто ею заниматься не хотел, а Колесник, при всех своих отрицательных производственных качествах, не пил и, как выяснилось, в техникуме занимался комсомольской работой. И действительно, он начал выпускать регулярно стенгазету, аккуратно собирал членские взносы, и, поскольку как раз к тому времени началась кампания по выдвижению в райком комсомола людей с производства, Колесник внезапно был вознесен туда и отпущен со стройки без сожаления. С этого момента и начался его рост... Он женился на продавщице универмага (миловидной женщине, которая до моего столкновения с ее мужем очень вежливо всегда со мной раскланивалась, встретив в коридоре). В общежитии он получил комнату на две семьи, разделенную занавеской. Проработав год в райкоме комсомола и оправдав себя, он был выдвинут в райком партии. Он ожидал получения квартиры, а до того Софья

Ивановна устроила ему отдельную комнату (правда, их стало трое, поскольку родился сын). Вот этого-то я и не знал.

Моторнюк любил Сталина как свою молодость, веру в идею, за которую он пролил кровь. Колесник видел в модернизированном сталинизме источник личного благополучия, и в общем-то, в период личного роста, ему и нужен был нынешний Сталин, то есть Сталин с ошибками; модернизация, собственно, в том и состояла — не в вычеркивании Сталина, а в прибавлении к Сталину его ошибок, то есть нынешний Сталин был составлен из прежнего, любимого народом символа, скрепляющего общество, и из ошибок, оставляющих зазор для роста в определенном государственном направлении... Вот этого-то я и не понимал... Из всего этого личного незнания и непонимания исторических процессов в стране и назрела эта последняя катастрофа с моим койко-местом в общежитии жилстроя.

Мои отношения с Колесником перешли вскоре на самый неприятный уровень, чуть ли не скандала, причем по моей инициативе, поскольку так называемый «разговор по душам» перешел в форменный допрос, и помимо возмущения я пошел на скандал еще из хитрости, чтоб не допустить опасных для меня вопросов относительно моих родителей. Ряд дальнейших моих шагов носит еще более непродуманный и поспешный характер. Так, вместо того чтобы всю свою защиту сосредоточить вокруг телефонного звонка секретаря райкома в мою пользу, состоявшегося пусть экспромтом, на основании личного произвола, но тем не менее состоявшегося, являющегося для администрации непреложным фактом, я, возбужденный разговором с Колесником, вновь пошел к Моторнюку с жалобой на действия Колесника, при этом передав и пренебрежительные слова Колесника о том, что «Моторнюк не разобрался». Не явись я вторично, Колеснику пришлось бы самостоятельно заводить разговор с секретарем райкома о некоем жильце общежития и судьбе его койко-места, а это звучало бы нелепо, мелко, и Колесник вряд ли бы избрал подобный путь. Он скорее стал бы копаться в моем личном деле в жилконторе (что он и делал) и искать компрометирующие меня факты (чего, к сожалению, я недооценил). Конечно, и одни лишь эти действия без вторичного моего посещения Моторнюка привели бы меня к катастрофе. Я был обречен, поскольку впервые моим активным гонителем стал представитель той среды, откуда до сих пор я черпал лишь покровителей (Саливоненко моим гонителем не стал. Разобравшись во мне, он просто бросил меня на произвол судьбы, в дополнение зачем-то оклеветав, может быть затем, что-

бы оправдать свои действия перед самим собой, ибо, помогая мне ранее, он не мог так просто от меня отмахнуться). Однако телефонный звонок секретаря райкома в мою пользу оставался бы некоторое время серьезным фактором и помог бы мне договориться о компромиссном решении, например, оставить за мной койку на месяц-другой, пока я не найду какой-либо иной ночлег.

Первоначально Моторнюк принял меня приветливо, но едва я сказал ему о Колеснике, особенно о пренебрежительном отношении Колесника к нему, Моторнюку, как он тут же помрачнел. Я обрадовался, думая, что попал в точку, и, как в таких случаях со мной случается, потерял самоконтроль. Кажется, я даже сказал Моторнюку, что Колесник явно метит на должность секретаря райкома. Подобный вывод с определенной натяжкой, конечно, можно было сделать (неприятная улыбка Колесника и слова «мы его, то есть Моторнюка, поправим»), но делать это следовало не мне и не вокруг ничтожного дела о койко-месте в общежитии. К тому ж именно в тот момент, когда я это говорил, раздался стук в дверь кабинета и вошел сам Колесник. Судя по его смиренному виду, он, конечно, преувеличивал свои возможности и был в полном подчинении у Моторнюка. Но я не учитывал, что, соединенные вместе, они становились уже частью налаженного, и талантливо налаженного, партийного аппарата. Сила этого аппарата состояла в его кажущейся ненужности. Но это была ненужность символа, которая придавала ему особую прочность. Впервые удалось создать сочетание символа и учреждения, спаянных воедино. Это сочетание брало из того и другого лишь лучшее. Из символа — его святость, но не отстраненность от живой жизни; из учреждения — его активную деятельность, но не ответственность за неизбежные при всякой деятельности ошибки. Если цель всякого учреждения направлена главным образом вне, на материальные нужды, то цель этого символа-учреждения направлена прежде всего на внутреннее самосохранение, на внутреннюю четкость звеньев, вокруг которых можно было бы объединить многочисленные меняющиеся, распадающиеся, неизбежно ошибающиеся в процессе материальной деятельности практические учреждения. Новые веяния, пришедшие со смертью Сталина (ошибка Сталина состояла в том, что он чрезмерно усилил значение символа, в то время как учреждение начало ветшать, бюрократия была подавлена личной волей), новые веяния усилили это внутреннее самоусовершенствование, наворачивая упущенное, и личные порывы, дурные ли, хорошие ли, сводились постепенно до минимума. Поэтому Моторнюк

лично мог бы мне помочь, но вместе с Колесником они уже могли действовать лишь в направлении внутреннего самоусовершенствования учреждения. И надо сказать, что первоначально Колесник, которому как инструктору Моторнюк поручил разобраться (вот результат необдуманного второго посещения), Колесник, несмотря на мои заявления в его адрес (он явно подслушивал за дверьми, уверен), действовал строго в пределах закона (который, конечно, был против меня). Лишь позднее, дойдя до определенной точки, доведя дело до законного конца, Колесник вышел за рамки закона и по личной инициативе допустил перегибы, всячески унижая меня. Но, во-первых, уже не в качестве инструктора, а в качестве частного лица. А во-вторых, я сам в тех унижениях виноват и, будучи окончательно сломлен и раздавлен, сам пошел этим унижениям навстречу, причем не без задних мыслей, надеясь найти в них спасение.

Первоначально Колесник пригласил меня в свой кабинет в райкоме. Конечно, это не был просторный, роскошный кабинет Моторнюка. Был он маленький, узкий, в одно окно. Дверь была не обита кожей, а крашена белой масляной краской, однако на двери этой висела табличка с надписью «Колесник». В кабинете стоял стол, книжный шкаф, сам Колесник сел в кресло под портретом Карла Маркса, а мне предложил сесть на стул. На Колеснике был голубой однобортный костюм и в петличке наподобие ордена значок, на котором изображен был голубь мира и надпись на нескольких языках «Мир»... Очевидно, он провел уже определенную работу и подготовился к разговору, поскольку из ящика письменного стола достал бумажную папку, на которой была написана моя фамилия. Причем у Моторнюка он, в отличие от меня, не выложил ни единого козыря. Просто вошел скромно и сел, одним своим молчаливым присутствием добившись передачи вопроса обо мне ему и придав этому вопросу о койко-месте характер дела. Лишь глянув на папку с надписью, я понял, что пришла погибель. Нет, это не полуграмотная зав. камерой хранения Тэтяна. Все три года моих хитросплетений лежали в этой бумажной папке, я был в этом уверен. Я рассчитывал лишь на то, что живу несправедливо на столь низком уровне (с помощью хитростей и знакомств незаконно имел ночлег и кусок хлеба с карамелью и кипятком), что вряд ли из серьезных сфер к этому протянут руку. Все хитрости были сработаны грубо, неприкрыто, делались либо с помощью телефонных звонков, либо личных записок.

— Так,—сказал Колесник, открывая папку,—вы знаете, что Маргулису объявлен выговор, его, очевидно, уволят... Не

только, конечно, из-за махинаций с вами, но и по другим причинам. Три года вы, по сути, занимали чужое место в общежитии, в то время как простые честные парни, которые хотят работать на стройке, не имеют такой возможности из-за отсутствия жилья... Фактически, извините меня, вы жили паразитом на чужом месте...

Если в случае удачи, подлинной ли, кажущейся ли, я тебю самоконтроль и веду себя неумно, то в критическом безвыходном положении мысль моя подсознательно ищет малейших нюансов, малейших поворотов, чтоб нащупать лучшее, что можно сделать в мою пользу в данной ситуации. Обвинения Колесника в мой адрес имели оттенок нотации, и я приготовился слушать, опустив глаза, видом своим пытаюсь смягчить антагонизм, в котором был и сам виновен. Однако Колесник неожиданно сломал ритм, к которому я было начал приспосабливаться, и (очевидно, неслучайно) резко спросил:

— Кто такой Михайлов?

Мысль моя лихорадочно метнулась в разные стороны и не нашла ничего лучшего, чем сказать:

— Знакомый.

— Значит, по знакомству занимаете чужое,— сказал Колесник.— А парни, у которых нет знакомств, что должны делать? Софья Ивановна предоставила мне данные. Мы не сумели принять двести парней и девчат, в которых испытываем острую нужду, только из-за отсутствия мест в общежитии... А вы на записочках себе веселую жизнь строите, чужое присваиваете... Вы работали в Строймеханизации, не предоставившей вам общежитие... Там вас один дядя устроил, здесь другой...

И я увидел в руках Колесника прошлогоднюю записку Михайлова к Маргулису с просьбой оставить койко-место за мной. Зачем Маргулис сохранил ее? Может, для того, чтобы, в свою очередь, требуя что-то от Михайлова, иметь возможность предъявить записку, как напоминание о своем одолжении... Ведь как-то жена Михайлова в сердцах сказала мне, что из-за меня Михаил Данилович вынужден общаться с разного рода вымогателями... Да, это ужасно... Но ведь я не виноват, что нуждаюсь в ночлеге и не имею возможности получить его... В этом виноваты мои родители, а расплачиваюсь я... Сказать о том Колеснику? Нет, опасно... В период удачи, может быть, и выпалил бы, а сейчас надо только наверняка...

— Где этот Михайлов работает?— спросил Колесник.

Конечно, думал я, Михайлов унижал меня, а в этом году и вовсе оставил без поддержки, но все же он мне делал добро, было бы подло его подводить.

— Он не местный,— сказал я,— просто давно знаком с Маргулисом. Был проездом, попросил мне помочь.

— Это точно?

Я глянул на Колесника и понял, что он знает, где работает Михайлов.

— Он работает в тресте Жилстрой,— тихо сказал я.

— А почему вы врете?— спросил Колесник.

— Я пошутил...

После этого я уже не мог сосредоточиться, мысль моя потеряла обычную, свойственную ей в критических ситуациях цепкость.

— На какие средства вы живете?— спросил Колесник.

— Я работаю...

— Где?

— В Строймеханизации, ведь вы сами сказали... Но общежития мне там не предоставили, отсюда вся беда...

Колесник зашелестел бумагами в папке. Лишь спустя несколько дней я понял, что он подложил лишние посторонние бумаги, чтоб придать делу большую толщину и солидность.

— Это ваша справка?— невозмутимо спросил Колесник.

Вот почему Колесник вел себя так уверенно. Сейчас, когда уже поздно что-либо предпринять, все становилось ясно. Безусловно он и дело-то завел не ранее, чем обнаружил эту фальшивую справку, сработанную Витькой Григоренко, которую я опрометчиво передал Софье Ивановне. Это единственное реальное обвинение против меня, но обвинение подлинное и опасное. Интересно, что, поняв опасность подлинного обвинения против меня, я тотчас же понял смехотворность и мелкость всех прежних обвинений, которые навели на меня чрезмерную панику... Михайлов слишком крупная фигура, которая не по зубам Колеснику, и напрасно я вилял и отнекивался от близкого знакомства с ним... Не будь в руках Колесника поддельной фальшивой справки с места работы, личная записка Михайлова обо мне, пожалуй, возымела бы обратное действие, именно в мою пользу, ибо Колесник лучше комендантши знал о положении Михайлова, кстати, одного из консультантов плановой комиссии республиканского Верховного Совета. И в то же время он не знал, что Михайлов меня поддерживает постольку-поскольку и последнее время с неохотой. Впрочем, с самого начала он стремился устроить меня не в свой трест, а в посторонний, через третьи руки... Фальшивая же справка позволяла Колеснику взяться за меня как следует, косвенно показав свою власть не столько мне, сколько самому себе в отношении Михайлова, отвергнув его авторитет и косвенно же, через меня, лягнув и Михайлова.

— Михайлов знает об этой фальшивой справке?— спросил меня Колесник.

— Нет,— едва слышно ответил я.

— Ты же совсем изоврался,— переходя на «ты», повысив на меня голос, застучал кулаком по столу Колесник,— мне тридцать лет, а я ни разу не врал, а ты только на вранье и держишься. Потому что я все делал своими руками, а ты, сукин сын, на дядю рассчитываешь (это был уже перегиб. После того как я признался в фальшивой справке, Колеснику достаточно было написать заключение, и я безусловно лишился бы немедленно койко-места, а также нес ответственность за подделку документов).

Испытывая ко мне личную неприязнь, Колесник не пошел на опасную для меня сухую концовку, а начал стучать кулаком по столу, обзывать меня и вообще перегнул, шагнув далее своих обязанностей. Видно, теперь, когда я был полностью в его власти, он захотел вдоволь натешиться надо мной, и, должен сказать, это меня обрадовало, ибо, выйдя (или будучи выведен перегибом Колесника) за пределы закона, я начал чувствовать себя свободнее и не так скованным... Никогда моей судьбе не угрожала большая опасность, и никогда я не унижался столь вдохновенно, спасаясь. Я пошел на смелый, дерзкий шаг, назвав Колесника по имени, и он молчаливо разрешил это. Очень скоро наши отношения стали не должностными, а уличными, и я понимаю, что Колеснику они были более по душе, вот почему он пропустил даже «Сашу» в свой адрес (его звали Александр Тарасович). Видно, Колесник так ненавидел нашего брата, отщепенца-интеллигента, что должностные отношения, ограниченные законом, хоть и находящимся на его стороне, мешали ему, и он хотел отношений улицы, отношений сильного и слабого почти в физическом смысле, отношений избивающего и избиваемого, способного лишь просить о снисхождении, но не сопротивляться...

Колесник глянул на часы и сказал небрежно:

— Ладно... Мне сейчас некогда с тобой... Можешь быть свободен до вечера... Вечером встретимся в общежитии...

Я вышел из райкома полный надежд... Да и, как ни странно, в лучшем состоянии, чем вошел туда... Я вошел, чувствуя за собой поддержку секретаря райкома, благодаря чему находился в нервном напряжении, готовясь к борьбе... А вышел морально раздавленный, полностью разоблаченный, освободившись от нервного напряжения. Тем более что в последнее мгновение в столь безысходной ситуации блеснул луч надежды, выразившийся в том, что Колесник перегнул и вышел за

рамки закона, творя надо мной расправу личного порядка. Тут следует заметить, едва ощутив личную злобу и силу Колесника в отношении меня, полностью им разоблаченного и незащищенного, я стал искать в этом Колеснике покровителя, ибо, как я думал, разоблачение с поддельной справкой лишило меня возможности искать поддержки со стороны и Колесник мне теперь был бог и судьба...

Бродя по небольшому садику неподалеку от общежития в одиночестве, я испытывал приподнято-взволнованное состояние, ожидая Колесника. У меня не было сейчас тяжело на душе, наоборот, я испытывал легкость, даже какую-то нервную веселость падшей души. В садике я Колесника не дождался, но часов в девять вечера он сам постучал в дверь нашей комнаты. Он был по-домашнему в майке-футболке, и на кухне у него опять что-то жарилось, поэтому мы ходили с ним по коридору из конца в конец, тихо беседуя, а время от времени он отлучался на кухню. Перво-наперво я пожаловался Колеснику на комендантшу, что звучало нелепо, поскольку именно комендантша привлекла Колесника к борьбе против меня... Вообще, в последней стадии этой борьбы комендантша Софья Ивановна, которая ранее относилась ко мне сравнительно терпимо, перещеголяла Тэтяну, которая, в свою очередь, притихла и, может, в противовес комендантше, начала относиться ко мне если не терпимо, то нейтрально... Так вот, Софья Ивановна в мое отсутствие ворвалась в комнату (это со слов Саламова), перерыла зачем-то мою постель и забрала из тумбочки мой паспорт.

— Ну, на такое она не имеет права,— сказал Колесник,— правда, ты же ее в райкоме опозорил фактически... Я поговорю с ней насчет паспорта. Но ты вот что мне скажи, на что ты живешь, ты ведь с марта не работаешь, шутишь, три месяца, ты мне на эту сумму отчитайся, будь добр... Если денежные переводы получаешь, корешки мне давай... Ты одет, обут, три раза в день ешь по крайней мере... завтрак, обед, ужин (я уже месяц питался хлебом, крамелью и кипятком). Ты мне по крайней мере на такую-то сумму отчитайся,— и он назвал сумму, на которую я прожил бы не менее года, будь она у меня.

— Саша,— сказал я мягко, просительно,— что мне вообще делать, посоветуй, ты бы помог мне куда-нибудь устроиться... Я маляром немного работал.

Это был необдуманый шаг, Колесник вдруг ожесточился.

— Падло ты,— сказал он, правда негромко, чтоб не при-

влекать внимания,— какой из тебя маляр, какой из тебя работага...

— Это верно,— поспешно согласился я,— у меня ноги отморожены, долго не выстою на холоде зимой.

— Другие пусть, значит, стоят,— сказал Колесник.— Именно на холод и пойдешь, в высылку... Судить тебя будут за подделку документов.

Мимо прошел Митька-слесарь.

— Привет, Гоша,— сказал он.— Привет, Саша.

Со стороны мы напоминали друзей.

— Саша,— сказал я, невольно прижав руки к груди,— но зачем это тебе надо, ломать мне совсем жизнь.

— А так,— сказал он вдруг по-уличному грубо и нехорошо улыбнулся.

— Но у меня была такая трудная жизнь,— заговорил я, утратив даже расчет разжалобить и отдавшись искренней печали.— Я рос один... Я голодал, если что не так, так это от нужды, но это урок, я его надолго запомню — навсегда.

— Так я тебе и поверил,— сказал Колесник.— Я месяц без работы бы не прожил, а ты три месяца, и ничего, не помираешь... Знаем мы вашего брата...— он хотел еще что-то добавить, но сдержался.

Подошла его жена, та самая продавщица универмага, которая ранее вежливо здоровалась со мной, ныне же, очевидно, узнав от мужа мою подноготную, лишь бросила на меня мимоходом презрительный взгляд.

— Саша,— сказала она,— ужин стынет.

— Сейчас, Катенька, я освобожусь,— сказал Колесник,— сейчас я приду...

Жена ушла. Мы молча еще раз прошли по коридору из конца в конец.

— Ладно,— сказал Колесник,— черт с тобой... Только чтоб через три дня духу твоего в общежитии не было.

— Спасибо, Саша,— сказал я.

Нелепость сложившихся обстоятельств была очевидна. Ныне удачу и спасение я видел в том, против чего боролся три года с помощью хитросплетений и покровителей и из-за чего попал во власть Колесника.

— Может, ты посоветуешь, куда мне деться?— спросил я Колесника.

Он посмотрел на меня внимательно и серьезно, уже без злобы.

— А куда б ты хотел?

— Не знаю,— сказал я,— в университет хотел, на филологический факультет.

— Да какое ты право имеешь к идеологической работе стремиться?— вновь обозлился Колесник.

— Уже не стремлюсь,— поспешно успокоил я его.

— А в Индию ты не согласился б поехать?— спросил вдруг Колесник.

— Куда?— удивленно переспросил я.

— В Индию,— серьезно сказал Колесник,— на строительство... Там, правда, малярия...

— Да это ерунда,— не веря своим ушам, крикнул я.

— Тише,— сказал Колесник,— и вообще не шуми и не болтай... Поработаешь за границей, может, действительно человеком станешь, там тебя марку советского гражданина держать научат... А не научат, так заставят... Завтра с утра прямо езжай по адресу: Тоньяковский тупик, четыре... Это восемнадцатый трамвай... Все...

Он повернулся и пошел в свою комнату... Я остался стоять в коридоре... Индия... Кто мог ожидать такого сказочного разрешения моей судьбы?... Кто мог ожидать, что все то ужасное, постыдное, что произошло со мной за последние два дня, окончится вот так... От покорного спокойствия не осталось и следа, я был в самом приподнятом, растрепанном состоянии чувств... Я едва дождался утра, лишь перед рассветом забывшись в легком сне.

Утро было совершенно осенним, шел сильный дождь, небо сплошную обложило. Ветер был так силен, что сбивал с деревьев сочную летнюю листву, точно она была уже пожелтевшей и мертвой. Я не стал завтракать (забыл с вечера купить хлеба), а выпил лишь из чайника холодного кипятку, от которого занял желудок, и, наскоро одевшись, натянул старый плащ в желтых пятнах. Когда-то рядом с плащом я положил в чемодан мешочек яблок, присланных теткой, дабы растянуть их надолго, завтракая и ужиная и не делиться с жильцами. Но яблоки сгнили от чемоданного тепла и долгого хранения, оставив на плаще следы, несколько напоминающие пятна, которые оставляют на предметах младенцы, не умеющие проситься... Поэтому плащ этот я надевал в крайнем случае, а когда надевал, то шел, заложив руки за спину, чтоб скрыть особенно густое пятно на спине. Однако при встречном дожде и пронизывающем ветре подобная поза была крайне неудобна. Правда, и прохожих на улице было мало и они бежали, пригнув голову, так что вряд ли могли обратить внимание на мои пятна.

Перед выходом в вестибюле меня окликнула Тэтяна.

— Цвибышев, возьми,— сказала она и, впервые глядя с некоторым даже сочувствием, протянула мне мой паспорт.

Значит, Колесник сдержал слово и поговорил с комендантшей. Это меня совсем обрадовало и вселило лишнюю уверенность, так что даже дождь и холод не могли мне в первое время испортить настроение. Однако постепенно я начал уставать. Ехал я долго. Тоньяковский тупик находился в противоположном конце города, и до восемнадцатого трамвая надо было добираться сперва троллейбусом номер два, потом седьмым трамваем. Затем долго пришлось ждать восемнадцатого... С полчаса ехал восемнадцатым... Остановки Тоньяковский тупик, как мне объяснили, не было, была остановка «Машинопрокатная база», а от нее надо было либо ждать автобуса, который ходил редко, либо две остановки идти пешком... Я пошел пешком в гору по размытой грязной дороге, по обе стороны которой видны были наполненные водой строительные котлованы... Шел я очень долго, так что у меня заныла сильно спина и весь я взмок, несмотря на хлоплющую в туфлях воду. Местность была совершенно безлюдная, и спросить не у кого было. Я шел и злился на себя, тем более что меня вскоре обогнал автобус, которого я не захотел ждать. Наконец навстречу мне попался усатый мужчина в прочном брезентовом плаще с капюшоном и крепких яловых сапогах, так что я невольно в душе позавидовал его одежде и обуви, хорошо защищающих от дождя. Усатый объяснил мне, что вставать надо было не на «Машинопрокатной базе», а на остановку раньше, на Кожемяцкой, и там проехать на трамвае до Ярной... Тоньяковский тупик как раз от Ярной начинается... Либо сойти за две остановки на Первом Тоньяковском переулке. Правда, там надо идти пешком минут пятнадцать.

Я плохо понял его объяснение, но повернулся и пошел назад к восемнадцатому трамваю. Идти было несколько легче, поскольку ветер и дождь хлестали теперь в спину. Дождавшись восемнадцатого, я поехал назад, но не до Кожемяцкой, а уж до Первого Тоньяковского переулка, более надеясь на свои ноги, да и желая, откровенно говоря, сэкономить на транспорте, так как от Кожемяцкой надо было делать пересадку и ехать до Ярной...

Тоньяковский тупик, четыре, который я наконец, увидя, обрадовался, словно здесь меня ждал родной теплый угол, отдых и уют, был двухэтажным деревянным домом, покосившимся, но действительно крайне уютным, с резными наличниками, резным крыльцом и занавесками на окнах, где стояли совершенно одинаково всюду бутылки с наливкой и, что самое странное, во всех окнах сидели кошки разной масти, которых непогода загнала в дом... Я вошел в коридор, полу-

темный, уютный и теплый, с опьяняющим запахом жареного мяса... Я был в некоторой растерянности, не зная, как спросить о нужном мне учреждении, которое, как я понял со слов Колесника, не рекламировалось, а может, даже не имело вывески.

— Кого вам надо? — окликнула меня одна из жилищ, приоткрыв дверь.

— Понимаете, — замялся я, — мне, в общем, где на работу...

— Это выйдете во двор и в подвал... Под арку выйдете...

Я вышел и действительно под аркой обнаружил табличку о наборе рабочей силы. Я спустился на три ступеньки вниз. В полуподвале, довольно сыром, увешанном плакатами с улыбающимися лесорубами и шахтерами, сидел уполномоченный по оргнабору, мужчина с красным лицом в кителе, который носит военизированная железнодорожная охрана, с желтыми кантами, но знаков отличия и погон на кителе не было.

— Вам чего? — спросил он меня, глянув с безразличием и углубившись вновь в какой-то отчет, который писал.

— Я к вам, — дипломатично сказал я и уселся на стул, — здесь вербуют?

— Да, — кивнул уполномоченный.

— Куда?

— Дальстрой, Магадан, Казахстан...

— А мне порекомендовали, — понизив голос, сказал я, — узнать насчет Индии.

Уполномоченный поднял на меня глаза. Я был крайне уставшим, измотанным, промок насквозь и, кажется, простудился. Наверное, это было заметно.

— В Индию мы не вербуем, — сухо сказал мне уполномоченный.

— А кто вербует?

— Не знаю.

— А здесь поблизости нет другой организации, — спросил я, — которая вербует?..

— Не знаю, — сказал уполномоченный, — не слышал.

Я извинился и пошел к выходу.

Конечно, Колеснику удалось так просто и легко обмануть меня и посмеяться надо мной, человеком весьма критического ума, только ввиду моего крайнего положения. Это опять, в который раз, пресловутая соломинка. Тот, кто жаждет спасения, хватается за нее с такой же и ни в коем случае не меньшей искренностью и верой, с какой он ухватился бы и за прочное бревно...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Плохо помню, как я добрался назад, но помню, что сразу же разделся и лег. Мне было настолько нехорошо и я был так слаб, что чувствовал свою зависимость от всех и нужду абсолютно во всех, кто был здоров, ходил и мог мне помочь. И я стал в тот вечер, когда мне было особенно нехорошо, ко всем моим сожителям добр и забыл злобу на них.

— Паша,— сказал я Береговому, с которым давно не разговаривал и был в контрах,— подай мне, пожалуйста, кипятку, пить хочу.

Береговой глянул молча, налил в кружку кипятку и подал мне.

Я выпил с наслаждением мелкими глотками, и трясти стало меньше. Затем Береговой с Петровым уселись играть в шахматы, дымя папиросами.

— Вы б, друзья, не курили,— сказал Жуков и кивнул на меня, которого от простуды душил кашель.

— А чего,— сказал Береговой и небрежно махнул рукой,— вон форточка открыта.

— Витя,— сказал я Жукову, будучи крайне благодарен ему за заботу обо мне, когда он сказал о том, чтоб не курили,— ты бы сходил к Григоренко, скажи ему, что я приболел, пусть мне поест что-нибудь купит.

Жуков вышел и вернулся минут через двадцать мокрый, ибо по-прежнему вторые сутки подряд лил дождь... Он начал выкладывать вареную колбасу двух сортов, ливерную колбасу, хлеб, сливочное масло, банку резаных кабачков в томате, банку баклажанной икры, банку мясных консервов и банку «щука в масле»... А вот карамели не купил. Да и вообще своей непродуманной покупкой нанес серьезный удар моему бюджету, истратив сумму, на которую я планировал держаться по крайней мере полмесяца... Если я отдам ему, то останусь вовсе без копейки, а через два дня, ну через три дня мне надо куда-то деваться из общежития...

С трудом повернув голову, ибо у меня сильно болел затылок, я смотрел на все эти соблазнительные богатства, стоящие передо мной на стуле, глотал голодную слюну, морщась, поскольку болело горло, и мучился, что делать... Я так давно питался одним хлебом и кипятком, что у меня не хватило сил честно сказать Жукову о том, что нет денег оплатить все это, и я решил воспользоваться своим правом больного и пока забыть о долге... Хотя и мучила меня совесть, поскольку я знал,

что Жуков получил получку и должен выслать деньги матери, однако я не мог преодолеть соблазна.

— А где Григоренко? — единственно что спросил я Жукова.

— Его дома не было, — ответил Жуков, поднимая голову от учебника физики за седьмой класс, который он учил почти что наизусть, как стихи.

Вот о том, что не было Григоренко, я искренне пожалел. Тот купил бы более сообразно моему бюджету: хлеб, карамель, может быть, масло, ибо был мне друг и точнее разбирался в моих финансовых возможностях. Но такие уж мы друзья: и я и он подчас неделями не заглядываем друг к другу. И вот из-за того я вынужден был воспользоваться услугами Жукова, который ввел меня в соблазн своими непродуманными покупками. Организм мой был крайне истощен, и я не в силах был сейчас, во время болезни, отказать ему в питании. Решив не думать ни о чем, я набросился жадно на еду. Я полноценно и много поел с вечера, запив кипятком, который подал мне самый тихий, пожилой и незаметный наш жилец Кулинич... Ночью я метался, мне было жарко и тяжело, пытался сам себя укачивать, но это не помогало и усиливало даже головную боль, однако к утру я почувствовал себя лучше, а полноценно позавтракав (кипяток подал мне Саламов), вовсе как будто пришел в себя, хоть горло по-прежнему болело...

Меж тем Жуков ждал, что я верну ему долг, поскольку всегда после получки высылал деньги матери... Я ощущал это по взглядам, которые он на меня бросал, однако некая совестливая стыдливость (уверен, ему было стыдно за меня, и потому он сам стыдился начать прямо неприятный разговор), совестливая стыдливость мешала ему открыто требовать долг. Мы оба мучились, и отношения между нами вновь стали самые напряженные, я это ощутил, когда вскоре произошло мое столкновение с Береговым из-за форточки.

На второй день болезни мне стало лучше, но душил кашель, ночью вовсе мешая мне спать, а днем не давая вздремнуть после ночной бессонницы. Поэтому, воспользовавшись отсутствием жильцов, я встал и захлопнул форточку, откуда прямо на меня дуло сырым ветром, захлопнул форточку, после чего кашлять стал меньше и вздремнул. Проснулся я от крика.

— Едри его мать, — кричал Береговой, распахивая форточку настежь, так что даже брызги дождя, казалось, касаются моего воспаленного лба, — ты что... Чтоб мы из-за тебя одного все задыхались...

— Я болен,—сказал я,—кашляю... А на меня дует... И вообще,—не выдержав, добавил я,—пошел вон, дерьмо...

— Сам дерьмо, сука,—крикнул Береговой,—болен, иди в больницу... на хрен ты тут нужен со своим смердежом...

Я уже пожалел, что зацепился с ним, поскольку от крика его у меня болела голова.

— Не надо, ребята, ругаться,—сказал Кулинич.

— Ладно, Паша, брось,—добавил даже друг Берегового Петров,—прикрой форточку, но не плотно, чтоб и вашим и нашим,—он улыбнулся мне.

И вдруг Жуков, обычно совестливый парень, поддержал Берегового. Безусловно это произошло из-за денежного долга, который я не отдавал, так что Жуков лишен был возможности выслать матери полноценную сумму.

— А действительно,—сказал он,—Пашка прав. Мы пятеро должны страдать из-за его болезни. Пусть в изолятор убирается... Никто никому не обязан... За спасибо каждый умеет на чужом горбу выезжать...

Это уже был прямой намек, и я едва сдержал себя, чтоб не швырнуть ему деньги, оставшись без единой копейки в момент, когда мне грозила перспектива оказаться на улице...

Не знаю, спал ли я или просто лежал забывшись, но очнулся оттого, что кто-то теребил меня за плечо. Саламов, только вошедший с улицы, это чувствовалось по его холодным рукам, протягивал мне бумажку.

— Уже третий день на тумбочке внизу лежит,—сказал он,—где почту оставляют.

Это вновь была повестка из военной прокуратуры, и в уголке стояла надпись «вторично». Судьба била меня со всех сторон, однако каждое новое волнение и опасность отвлекали меня от предыдущего и показывали его ничтожность. Теперь, в свете повестки из военной прокуратуры, вся история с Колесником, с фальшивой справкой и койкоместом казалась мне смешной и ничтожной... Едва справившись с первым приступом тревоги, я приступил к анализу повестки. В ней значилось: «Гр. Цвибышев Г. М. предлагаем вам явиться в военную прокуратуру ...ского военного округа по адресу ул. Чкалова дом № ... ком. 49 4 июня 195... года к 12 часам дня. Старший следователь военной прокуратуры подполковник Бодунов».

В дверь постучали. Вошел Колесник в прозрачном хлопчатобумажном плаще поверх голубого костюма, со значком голубя мира в лацкане пиджака.

— Привет, ребята,—сказал он жильцам.

— Здоров, Саша,—улыбнулся в ответ Береговой, и они,

инструктор райкома и слесарь, крепко, по-братски, потрудовому хлопнули ладонь об ладонь.

— Ну ты чего,—спросил меня Колесник,—когда ехать собираешься?

— Приболел немного,—тихо сказал я.

— Ты смотри,—сказал Колесник,—на твое место уже парень назначен... Ты ж обещал, через три дня уезжаешь... Обманешь, опять тебе же хуже будет. Я тебе и паспорт у комендантши добыл, все для тебя делаю...

— А чего,—заинтересовался Береговой.

— Да вот,—улыбнулся Колесник,—Цвибышев от вас уезжает, надоели вы ему... Рыкун теперь тут жить будет.

— Да я его знаю,—обрадовался Береговой.—Володька Рыкун, сантехник,—обратился он к Петрову,—толковый парень... Если Володька сюда переедет, мы сразу тумбочки вместе соединим, койки поближе подвинем и пространство оставим, чтоб зарядочкой можно было заниматься...

И они начали оживленно обсуждать с Петровым, как, избавившись от меня, начнут здесь все перестраивать, словно при живом человеке говорили, что будет после его смерти... Но я менее всего думал сейчас о них, я лежал и анализировал повестку... Возможно, это связано с злоупотреблениями при строительстве учебного аэродрома... Впрочем, если это со старой работой связано, то они б знали точно мой адрес... А в повестке имеется деталь, которая свидетельствует, что разыскивали меня вслепую, через адресный стол, и допустили неточность. Помимо адреса указывалось общежитие железнодорожников. Меж тем это было общежитие строителей. Очевидно, просто спутали с районом. Район города называется «Железнодорожный». А может быть... Словно сверкнуло в мозгу моем, так что занял затылок,—отец... Но почему военная прокуратура?

— Ну, в Индию ты поедешь?—спросил меня Колесник, подмигнув Береговому.—Я его в Индию порекомендовал, так он отказывается... Ну ты смотри, Цвибышев, послезавтра сюда новый жилец перебирается, вещи перенесет. Так что койку, будь добр, освобождай. Смотри у меня, индус,—он засмеялся.—Всего, ребята,—и вышел.

Я менее всего сейчас думал о Колеснике и о предстоящей потере ночлега... Почему меня к себе вызывает следователь Бодунов?.. Новые мысли, впечатления и болезнь так измучили меня, что, сам того не замечая, я внезапно и крепко заснул, невзирая на громкие разговоры жильцов и крик радио.

Следующий день не принес ничего нового, разве что начала улучшаться погода. Я лежал или сидел на постели, и никто

из жильцов, даже нейтральные Саламов и Кулинич меня не замечали. Может, Жуков сообщил им о долге, который я до сих пор не отдал. А погода за окном становилась все более июньской, несколько раз заглядывало солнце, ветер утих. И к вечеру на пяточке перед нашим корпусом состоялись танцы под аккордеон, которые шумели до глубокой ночи, пока их не разогнал участковый.

Утром четвертого июня я встал рано, чувствуя себя совершенно здоровым, лишь слегка кружилась голова, чуть-чуть пошатывало и царапало горло. Позавтракав остатками продуктов, купленных Жуковым, я надел новую рубашку, вельветовый пиджак, легкие летние брюки, сандалии и вышел. Начинали зацветать липы, и их сладковатый медовый запах был так силен, что я даже сглотнул слюну, хоть и не был голоден. Свободные от работы жильцы разных корпусов шли в сторону Рыбного озера, соскучившись за дни ненастья по солнцу и воде. Я поехал в центр...

Улица Чкалова находилась в центре, но в стороне от шумных магистралей, зеленая и тихая. В принципе такие улочки облюбовывают пенсионеры и особенно пенсионерки, заполняя все скамейки. Однако улица Чкалова и в этом смысле составляла исключение, поскольку была крута, и людям преклонного возраста трудно было подниматься по ней вверх. Так что даже в разгар дня улица эта выглядела малолюдной. Здание, куда меня вызывали, занимало почти целый квартал, вместе с улицей сбегая под гору и все более и более увеличиваясь в высоту. Так, в начале крутизны оно было, кажется, в три этажа, а под горой чуть ли не в семь или даже в восемь... Я спустился в самый низ, где находился центральный вход и стоял солдат. У входа с левой стороны было написано: «Военный трибунал ...ского военного округа», а с правой: «Военная прокуратура ...ского военного округа». Было еще рано. Я некоторое время погулял и точно в двенадцать подошел к солдату, протянул ему повестку.

- В бюро пропусков,— не глядя сказал мне солдат.
- Это где?— спросил я.
- Выше поднимитесь и налево.

Я вновь пошел в гору и вскоре увидел небольшую площадку, на которой стояли автомашины. Подъехала какая-то «Победа» кремового цвета. Из нее вышел мужчина роскошного заграничного вида, в мягкой шапочке с противосолнечным козырьком из голубого прозрачного материала. Вместе с ним вышел мальчик лет восьми, тоже по-заграничному одетый и сытенький. Они пошли к массивным дверям, и я поспешил за ними. В приемной на стульях сидели человек десять,

но роскошный мужчина, тихо сказав мальчику «садись», подошел прямо к окошку, вынул красную книжечку и сказал дежурному офицеру:

— Здравствуйте... Я корреспондент журнала «Советский Союз»... У меня был предварительный телефонный разговор с товарищем,— он назвал фамилию, которую я не расслышал.

Я набрался смелости, тоже подошел и протянул офицеру повестку. Он прочел.

— Дайте ваш паспорт,— сказал он.

Роскошный мужчина полез было за паспортом, но офицер сказал:

— Нет, я не вам, подождите... Вот товарища оформить надо...

Это было что-то новое, чего я еще никогда в жизни не испытывал, но с чем как-то сразу освоился, протиснувшись вперед и даже более, чем это было необходимо, потеснив мужчину.

— Через центральный вход,— протягивая мне паспорт, повестку и пропуск, сказал мне вежливо офицер, кажется, чуть улыбнувшись мне.

Я взял и небрежно глянул на мужчину, который смотрел в сторону со скучающим видом, явно скрывая обиду от того, что им пренебрегли, отдав предпочтение мне, столь внешне неказистому. Я пошел к центральному входу и показал пропуск часовому. Он пропустил меня в вестибюль... В вестибюле прогуливался дежурный с красной нарукавной повязкой и в ожидании лифта стояли два полковника и очень толстый майор.

— Мне товарища Бодунова,— сказал я дежурному.

— Вашу повестку,— коротко сказал дежурный. Он взял, прочел и сухо сказал: — Сорок девятая комната, четвертый этаж, левый блок.

После того как офицер бюро пропусков отнесся ко мне с уважением и даже улынулся мне, сухие, четкие, как команда, слова дежурного в вестибюле несколько меня напугали и привели в растерянность.

Поднявшись на четвертый этаж, я пошел коридором мимо множества дверей. Коридорные окна здесь были зарешечены, а на лестничных площадках прогуливались патрульные солдаты. Подойдя к сорок девятой двери, я постучал.

— Войдите,— откликнулись изнутри.

Я несмело нажал дверную ручку и едва не упал, поскольку порог был чрезмерно высок.

— Двери за собой закрывайте,— резко сказали мне.

Я вздрогнул и закрыл. В комнате также были зарешечены окна и стояли три стола, за которыми сидели три подполковника. Не зная, который из них Бодунов, я подошел к самому молодому, черноволосому и протянул повестку.

— Мне товарища Бодунова,— тихо сказал я.

— Давайте сюда,— крикнули у меня за спиной.

Бодунов был блондин, слегка лысеющий, с глубокой ложбинкой на подбородке.

— Повестка вам послана вторично,— разглядывая мой паспорт, сказал Бодунов.— Почему вы не явились своевременно?

— Я был в отъезде,— дал я первые в своей жизни ложные показания следователю.

— Ждите...

Я уселся на стул.

— Нет, вы в коридоре ждите,— добавил Бодунов.

Я вышел и сел на деревянную скамью. Невдалеке от меня, на лестничной площадке, видна была фигура часового, а прямо передо мной зарешеченное окно, сквозь которое било солнце. Здесь, в эти минуты ожидания, причем не чувствуя за собой никакой вины, даже наоборот, имея в активе улыбку офицера отдела пропусков и находясь лишь под впечатлением обстановки и отдельных, ничего не выражающих реплик следователя, я, натерпевшийся страха в своей жизни, понял, что такое настоящий страх. На беду, мимо меня провели арестанта с заложёнными за спину руками, с бледным лицом и в давно не стиранной рубашке... Впоследствии я часто бывал в этом доме и узнал от Веры Петровны (будущей моей знакомой), что левый блок целиком отведен под реабилитацию... Так что арестанта провели здесь случайно, очевидно, конвоиры были молодые и заплутались в коридорах, подобно мне разыскивая нужную комнату... И этот арестант еще более усилил страх (напоминаю, я человек впечатлительный). Я устал сидеть на скамейке (хоть, как впоследствии выяснилось, сидел не более двадцати минут) и хотел подойти к зарешеченному окну, глянуть на улицу, но не знал, можно ли это, поскольку часовой на лестничной площадке видел меня. Наконец дверь комнаты сорок девять открылась.

— Цвибышев, заходите,— сказал Бодунов, и фамилия моя ударила меня изнутри черепа, так что вновь заболели затылок и глаза (такое со мной случалось при серьезном волнении, но столь сильно никогда).

Я вошел и сел. На краю стола следователя лежали горкой несколько старых папок из желтого картона, удивительно по-

хожих друг на друга. А одна точно такая папка лежала отдельно в центре стола между следователем и мной.

— Цвибышев Григорий Матвеевич,— сказал следователь.— Так?

— Так,— едва слышно подтвердил я.

— Расскажите о себе,— сказал следователь,— где ваши родители?

Что-то толкнуло меня в сердце, и я разом понял, что наконец сбылись лучшие мои надежды, а не худшие сомнения. И наконец можно открыто, свободно говорить правду... И я начал говорить. По мере слов моих уши мои наполнил звон, так что я ничего не слышал, и лишь по лицу следователя, потеплевшему и смотревшему на меня с пониманием, я понял, что говорю необходимое следователю и говорю хорошо... Следует заметить, что когда года три назад пошли первые слухи о несправедливых осуждениях, о пересмотре дел, о благах и льготах, которые получают признанные невиновными либо их семьи, я начал подумывать, не подать ли и мне заявление. Но, во-первых, я был не уверен, признают ли отца невиновным, а во-вторых, втайне меня останавливали и страхи тетки, над которыми в то же время я публично смеялся. Тетка считала, что лучше молчать, потому что «не перевернется ли снова все наоборот». Я смеялся над этим нелепым выражением и над этими страхами, но втайне подумывал: а что, если действительно опять все пойдет наоборот? Не нагорит ли мне за обман, за придуманные в течение многих лет биографии, за то, что выдал отца своего, врага народа, за погибшего на войне героя?.. Однако сейчас, когда военная прокуратура разыскала меня по собственной инициативе, я был рад, что мне помогли покончить со всеми сомнениями и опасениями. И я с наслаждением, с радостным восторгом отбросил прочь все, что меня смущало и тянуло к лживому и ничтожному, с вдохновением бросился к святой правде, которой наконец одарила меня жизнь... А правда эта была сказочно хороша... Тетка моя, возле которой я воспитывался в детстве, будучи напуганной, не очень-то посвящала меня в подробности прошлого, а может, и не очень в тех подробностях разбиралась... Лишь случайно и обрывками она говорила, вернее, оговаривалась, тут же замолкая, что отец мой был «большой человек». Однако я это воспринимал не всерьез, поскольку для тетки и управдом был крупной фигурой... Поэтому-то я подлинного отца своего, ничего не давшего мне, кроме необходимости скрывать свой позор, поэтому я отца своего невзлюбил еще с детства и выдумал себе другого отца, версия о котором настолько укрепились во мне и с которой я настолько сжился,

что даже сам с собой в мечтах искренне думал о своей версии как о подлинной, например, мечтая, что отец мой не погиб на фронте (с годами версия эта претерпела лишь то изменение, что я выдумал конкретный участок фронта, причем не именитый и распространенный: Сталинград, Курская дуга, а скромный Волховский, для придания версии, как я думал, большей правдивости и конкретности), итак, мечтал я, что он не погиб, а жив, но обстоятельства не давали ему возможности отыскать меня. Ныне же оказалось, что действительность превзошла все мои мечты и построения... Я был сын комкора Цвибышева, то есть в переводе на современные чины сын генерал-лейтенанта... Но если во сне любую, самую фантастическую перемену воспринимаешь естественно, то наяву к ней все ж надо привыкнуть, и поэтому первые минуты после того, как я узнал о столь разительных видоизменениях в своем общественном положении, ничего нового, ни внутри себя, ни в восприятии окружающей жизни, я не испытал. Я так же сидел на стуле и отвечал на вопросы следователя, который задавал их мягко, вежливо и с явным расположением ко мне. Он спросил об имени-отчестве и годе рождения моей матери и где она, поскольку и ее пытались разыскать через адресный стол, но безуспешно. Узнав, что она умерла, он спросил, когда, от чего и в какой местности, и все это тщательно записал.

— Вы не могли бы,—все так же мягко глядя на меня, спросил следователь,—назвать трех человек, которые знали отца... Конечно, это формальность, но желательно ее соблюсти. Трибунал по этим делам заседает у нас раз в неделю, и хотелось бы, в ваших интересах, подготовить все и быстрее оформить, чтоб вы смогли заняться организационными вопросами.

Я назвал фамилию Михайлова и пообещал узнать остальных двух, рассчитывая в этом опять же на Михайлова.

— Вот и прекрасно,—сказал следователь.— Возьмите мой телефон,—он надписал и подал мне бумажку,—сообщите фамилии свидетелей... Впрочем, поскольку речь идет о комкоре Цвибышеве, займитесь оргвопросами уже сейчас, до формального решения о реабилитации... Пройдете по коридору налево в пятьдесят восьмую комнату, там сидит такая милая женщина Вера Петровна, я ей позвоню, она вам все объяснит... Ну, всего вам.

Он подписал пропуск, встал, улыбнулся и пожал мне руку. Это рукопожатие и вежливая улыбка чуть ли не на грани почтения, причем крупного должностного лица, подполковника, окончательно помогли мне понять мое новое положение,

и вышел я в коридор другим человеком, сыном генерала (комкор не звучало, и потому я себя мысленно назвал и всюду впоследствии представлялся как сын генерала Цвибышева, что действительно соответствовало при переводе армейских чинов тридцатых годов на современное звучание). В пятьдесят восьмой комнате сидела молоденькая девушка-машинистка, довольно миловидная, на которую я впервые посмотрел без заискивания (здесь в том смысле, что на красивых женщин и девушек ранее я смотрел с некоторым почтением и заискиванием, как на высокое начальство, ввиду их недоступности для меня).

— Мне Веру Петровну,— сказал я просто и с достоинством.

— По какому поводу?— спросила девушка.

— Я сын генерала Цвибышева (признаюсь, это словосочетание было настолько мне сладко, что я сам вслушивался в него как в некую музыку и при этом едва сдерживался, чтоб не засмеяться от радости или не подпрыгнуть).

— Ах, сейчас,— сказала девушка и ушла в открытую дверь.

Вскоре оттуда появилась женщина лет сорока пяти с не очень красивым, но действительно приятным и добрым лицом.

— Вера Петровна,— сказала она мне, протягивая руку и улыбаясь (для меня наступил период большого числа улыбок, я это понял несколько позднее).

— Сергей Сергеевич (это, вероятно, Бодунов) звонил мне... Простите, как ваше имя-отчество?

— Григорий Матвеевич,— сказал я.

— Садитесь, пожалуйста, Григорий Матвеевич. Я вам дам следующие адреса, запишите, пожалуйста,— она дала мне бумагу и самопишущую ручку,— улица... Это Комитет государственной безопасности... Туда вы должны написать заявление о поисках вашего имущества либо о компенсации его в деньгах... Они этим занимаются... Затем улица... Управление внутренних дел... Там вам смогут сообщить,— Вера Петровна на мгновение замолкла и опустила глаза,— сообщить о судьбе вашего отца.

Интересно, что ее скорбные ноты совершенно не тронули меня в том смысле, что не смогли поколебать моего праздничного настроения, ибо, наслаждаясь первыми минутами новой жизни, полной официальной силы и официального права, я целиком был погружен в себя настолько, что сам генерал Цвибышев стал лишь приложением ко мне — его сыну, с которым жизнь начинала, как я тогда понимал, расплываться.

— К сожалению,— сказала Вера Петровна,— до официального решения трибунала мы не можем заняться полагающейся вам денежной компенсацией в размере двухмесячного заработка отца... А также жильем, если вы в нем нуждаетесь... У вас было сколько комнат?

— Три,— сказал я,— это я помню. Но дело вот в чем... Сейчас я временно, разумеется, проживаю (я не то что не хотел, я не мог допустить, чтоб в новом моем положении тяжба за ночлег даже сформулирована была по-прежнему). Я занимаю площадь ведомства, где не работаю, ибо готовлюсь в университет... Вопрос стоит так, чтобы до получения причитающегося мне жилья я мог бы спокойно жить там.

— Мы всем возможным будем вам помогать,— сказала Вера Петровна.— Что надо сделать?

— Вот,— сказал я, написав ей номер телефона,— некий Маргулис там руководит.

— Сейчас,— сказала Вера Петровна и вышла.

Как просто все разрешилось, подумал я. Три года борьбы, ухищрений, унижений. И когда я попал в ловушку, когда все покровители отвернулись от меня и враги мои совершенно взяли надо мной верх, появился мертвый отец и спас меня. Тот, которого я стыдился и не любил.

Вернулась Вера Петровна.

— С ними поговорили,— сказала она,— там, правда, не Маргулис, а какой-то другой товарищ вместо него, мы ему все сказали, он просил, чтобы вы тоже зашли в жилконтору.

— Очень хорошо,— сказал я,— зайду, когда будет время...

— Всего вам доброго,— сказала Вера Петровна.

Миловидная машинистка тоже улыбнулась мне...

Покинув военную прокуратуру, я несколько часов ходил по городу, привыкая к своему нынешнему положению сына генерала Цвибышева. Я шел, не испытывая усталости, большими шагами, сильно выпрямившись и совершенно поновому дыша, глубоко и шумно. На прохожих, а также на происходящие бытовые события— движение транспорта, очереди к киоскам газоды и т. д.— я смотрел с радостной добротой и мягкосердечием, но мягкосердечием сильного, прощающего и любящего из великодушия, в котором невольно, однако, сквозила и снисходительность, и во всем, что происходило вокруг — в прохожих, в городском транспорте, в деревьях,— было чувство вины передо мной и глубокое раскаяние, которое я великодушно принимал. Именно в этот восторженный период мной был совершен поступок, как бы по-

ложивший начало дальнейшим событиям. Ожесточение в этом поступке отсутствовало, а лишь заинтересованность хозяина, каковым я себя ощутил, заинтересованность нынешними делами страны. Так, проходя по одной из улиц, я заметил вывеску районной прокуратуры и вошел туда. То ли был уже конец работы, то ли обеденный перерыв (я не ориентировался тогда во времени), но в комнатах прокуратуры никого не было и в кабинетах орудовали уборщицы. Лишь в одном кабинете стояла какая-то женщина, перебирая папки бумаг, скрепленных скоросшивателем, и какой-то мужчина что-то измерял в углу столярным метром. Я вошел, никем не остановленный, и, глянув на присутствующих мельком, начал осматривать помещение... На видном месте висел портрет Сталина в фуражке генералиссимуса.

— А почему,— сказал я не зло, а скорей снисходительно, словно журия, а не ругая,— почему Сталин еще висит у вас?.. Вы ведь газеты читаете... Это устарело,— пошутил я, чтоб не рассердиться, что сделало бы меня мельче в собственных глазах.

— А мы вообще старые люди,— сказала женщина (ей было не больше сорока), и я вдруг встретил ее явно враждебный, железный, оппозиционный официальной политике взгляд.

Поспешно подошел мужчина со столярным метром и взял меня об руку.

— Понимаете,— мягко, но твердо всдя меня к выходу, говорил мужчина,— портрет ведь числится в качестве инвентаря, пока не спишут официально, я не могу себе позволить снять, хотя, конечно, вам сочувствую...

Впоследствии анализируя (не сейчас, а недели через две), впоследствии я понял, что эти люди не удивились моему приходу и приняли меня именно за того, кем я был, то есть за реабилитированного... То, что я считал лишь собственным чувством, тогда было распространено, и ряд реабилитированных в разных состояниях и с разными целями частенько входили или врывались в государственные учреждения карательного порядка, откуда их вежливо, мягко, но твердо выводили.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Далее помню день четвертого июня обрывками. Я по-прежнему бесцельно шел по улице большими шагами, не уставая, но зато постепенно во мне начали проявляться признаки самого настоящего опьянения, сродни алкогольному опьянению. Я пел, смеялся по ничтожному поводу или вовсе

без повода, размахивал руками и, главное, осознал, что делаю не то, однако мне было приятно отдаться на волю радостных разнузданных чувств. К вечеру пошел сильный дождь, но это не был тот холодный злой дождь, когда я «ехал в Индию». Это был теплый южный дождь, в который, как в южные волны, приятно окунулось тело. Я снял тяжелый, намокший пиджак и, шагая под дождем, изо всех сил ударял этим пиджаком о заборы, стены домов и деревья... Добравшись до общежития (не помню как), я вошел в комнату, широко, рывком распахнув дверь и глянув на жильцов, рассмеялся. Я сказал Береговому:

— Передай своему другу Колеснику, что он будет стонать и плакать хуже, чем Ярославна в Путивле...

После чего я ушел в туалет, и меня стошнило. Умывшись, я лег на койку прямо с мокрым лицом, не утираясь, и крепко заснул. Проснулся я утром с ясной, легкой головой и хорошим самочувствием. Прежде всего я отдал Жукову долг. В кармане у меня остались после этого считанные рубли, однако в ближайшее время я должен был получить за отца его двухмесячное жалованье (а у генерал-лейтенанта хорошее жалованье). В дальнейшем же я должен был получить компенсацию за конфискованное имущество. Зайдя в двадцать шестую к Григоренко, я застал его завтракающим с Рахутиным и сел с ними завтракать со спокойной совестью, поскольку теперь жизненной нужды в этих чужих завтраках не испытывал, а значит, воспринимал их проще и спокойнее, без заприходования их и занесения в свой бюджет в качестве дохода.

— Что случилось,—спросил Рахутин,—Колесник вроде справку раскопал, которую вы с Витькой соорудили... Тэтяна говорит, выселяют тебя.

— Это еще посмотрим,—сказал Григоренко,—сволочь Колесник, в райком залез. Забыл, как ободранный по объектам бегал... Ничего, я с ним поговорю. Я думал, хороший парень, он со мной всегда на вась-вась... Скотина... Комендантше угодить старается... Она же ему отдельную комнату организовала... У кого из семейных отдельная комната?.. А вообще черта бы и Колесник обнаружил... Яйца я не доварил, вот и смазала пленочка печать...

Я сидел, с радостной какой-то снисходительностью слушая Витькину болтовню. Они и не подозревают, что все изменилось. Передо мной совсем другие проблемы, другие перспективы, другая жизнь. Я рассмеялся.

— Ты чего?—удивился Рахутин.

— Вот им всем!—сказал я и, крепко сложив кукиш, ткнул в сторону распахнутого окна,—я сын генерал-лейтенанта...

— Да врешь!—с искренней радостью воскликнул Григоренко.

— Точно,—сказал я,—реабилитированного генерал-лейтенанта.

— Тогда вообще все нормально,—сказал Рахутин.—Я вчера Хрущева слушал... Реабилитированным теперь особое внимание... Я даже слышал кое от кого, что реабилитированные теперь будут в отдельной кассе билеты получать наряду с Героями Советского Союза, лауреатами и депутатами.

Рахутин странный парень. Он читает газеты, ходит в библиотеку, знает стихи Арского и в то же время часто бывает удивительно глуп в суждениях. Но одновременно в нем иногда проскальзывают и нотки юмора. Так что непонятно, сказал ли он свою последнюю фразу по глупости или из чувства юмора. Я вспомнил об этой фразе позднее, анализируя, сейчас же, пребывая в некоем нелепом состоянии счастливица и именинника, принимающего поздравления, отнесся к этой фразе естественно и не задумываясь...

На улице, неподалеку от троллейбусной остановки, встретился мне воспитатель общежития Юрий Корш с красивой молоденькой девушкой. Корш обращался с ней достаточно вольно, хватал, выкручивал руки, и оба они смеялись. Я не знал, подойти ли мне к ним. С одной стороны, поскольку передо мной открывались перспективы, я должен привыкать к обществу подобных девушек, но, с другой стороны, я опасался, что Корш при этой девушке затеет со мной мелкий бытовой разговор о моем койко-месте, между тем перед такими девушками я вовсе не хотел предстать в качестве жильца общежития. Пока я раздумывал, мои опасения подтвердились. Заметив меня, Корш подошел и сказал:

— Я хочу помочь тебе, но не могу. Теперь уже не Тэтiana, а комендантша на тебя главный зуб имеет... Софья Иванова... Ты что-то в райком на них нажаловался. Надо было хоть со мной посоветоваться. Тебя ж сегодня из общежития выбросят...

Девушка посмотрела на меня презрительно (красивые не любят несчастеньких), посмотрела и отвернулась. Мне стало неловко и досадно, ибо перед этой девушкой я предстал в самом невыгодном и нищем виде.

— Я сын генерал-лейтенанта,—сказал я Коршу,—у меня скоро три комнаты будут.

— В каком смысле? — удивился Корш.

— А вот так,—обращаясь не столько к нему, сколько к этой девушке, сказал я,—по реабилитации...

— Значит, порядок,—сказал Корш,—а я за тебя волновался.

— У меня двоюродная сестра тоже пострадала в период культа,—неожиданно низким, несмотря на хрупкость, но приятно волнующим голосом сказала девушка,—полгода назад они с матерью квартиру получили... Правда, одну комнату...

— А Гоше больше и не надо,—сказал Корш,—слышал анекдот о молодоженах, у которых было пять комнат? — И, отведя меня в сторону, рассказал мне анекдот, рассказал с аппетитом, как опытный кулинар, знающий, что его кушанья придутся по вкусу.

Анекдот рассеял досаду и приправил мое состояние остреньким душком чувственного волнения. Даже приехав к обнесенному забором зданию управления внутренних дел, я все еще испытывал это чувственное волнение, весьма приятное, когда все идет удачно, но которое, в то же время, при неблагоприятных обстоятельствах, даже незначительных, может перейти в резкое раздражение.

В проходной стоял высокий старшина внутренней службы, который беседовал с сидящей в окошке бюро пропусков женщиной с перманентом согласно моде сороковых годов.

— Простите,—благодушно сказал я, разумеется, по аналогии с военной прокуратурой ожидая самого хорошего приема,—мне надо выяснить...

— Подожди,—резко оборвала меня женщина и, главное, на «ты».

В глазах у меня помутилось, и впервые родился тот самый звенящий крик, к которому я часто прибегал впоследствии, повелительный от ненависти и полный душевной боли от отчаяния.

— С кем разговариваешь,—крикнул я,—сталинская сволочь!..

Женщина подняла на меня голову и посмотрела растерянно и испуганно. Старшина первый сориентировался в обстановке.

— Что вам надо? — спросил он.— Скажите толком.

То, что эти люди из управления внутренних дел растерялись, как мне показалось, и не ответили на мое оскорбление, придало мне какое-то состояние капризной обиды.

— Мне надо управление лагерей, где всякая сволочь уг-

робила моего отца генерал-лейтенанта Цвибышева! — крикнул я.

Хоть выразился я достаточно туманно, но старшина понял и сказал примирительно:

— Позвоните по телефону десять сорок один.

Я подошел к настенному телефону и резко снял трубку. Ответил мягкий мужской голос. Как я понял впоследствии, низшие инстанции еще не сориентировались и не могли усвоить новый стиль, который ко всему они внутренне отвергали. Средние же инстанции действовали достаточно согласованно с высшими.

— С вами говорит сын генерал-лейтенанта Цвибышева, — резко сказал я в трубку.

— Простите, пожалуйста, повторите фамилию, — сказал мужской голос.

— По-моему, фамилия вполне ясная, — вспыхнул я, — Цвибышев. — И вдруг, сорвавшись вовсе, добавил: — Вы что, оглохли там?..

В трубке послышался щелчок. Затем тот же ровный мягкий голос сказал:

— Цвибышев... Я правильно записал?

— Да, — ответил я, несколько поостыв и даже испытывая неловкость.

— Напишите, пожалуйста, заявление, — сказал мне голос, — и оставьте его дежурной на проходной, укажите свой адрес.

— Какое заявление?

— О том, что вы, такой-то и такой-то, просите разыскать отца или указать место и дату, если он умер. Адресуйте в управление тюрем и лагерей.

— Ну спасибо, — сказал я, — до свидания.

— Привет, — ответил мне мужской голос.

— Дайте мне бумаги, — сказал я дежурной.

Она протянула мне двойной лист. Здесь же, на подоконнике в проходной, я быстро и без помарок написал: «В Управление тюрем и лагерей МВД. Заявление. Прошу сообщить мне о судьбе моего отца генерал-лейтенанта Цвибышева, ставшего жертвой преступных репрессий кровавых сталинских палачей. Это был выдающийся советский военачальник. Жизнь его окончилась трагически».

Последние две фразы я добавил уже в качестве собственного домысла. Что он был выдающимся военачальником, я быстро уверил себя и в том не сомневался. Не сомневался я также и в том, что он мертв, и должен признаться, что это меня вполне устраивало, ибо в глубине души побаивался та-

кого оборота, когда этот незнакомый окажется чудом жив и необходимо будет вступать с ним в какие-то родственные отношения. Страх этот безусловно безнравственен, но вполне объясним и получил еще большее подтверждение и укрепил меня в правоте подобного чувства позднее, когда я широко начал сталкиваться с реабилитированными.

Из управления МВД я поехал прямо к генеральному прокурору республики. Если в районную прокуратуру я зашел случайно, просто проходя мимо, то поездка к генеральному прокурору была уже продуманным и целенаправленным шагом.

Генеральный прокурор располагался в небольшом старинном особняке, случайно уцелевшем в самом центре города (центр во время войны был начисто разрушен и построен заново в стиле конца сороковых — начала пятидесятых годов с завитушками, лепными украшениями и колоннами). В приемной я застал довольно большую очередь людей самого разного типа. Были здесь и крестьяне, и городские, но все люди безликие, каких можно встретить при любом скоплении народа, например, на вокзалах... Видно было по позам и по спертости воздуха, несмотря на распахнутое окно, что люди эти сидят давно и очередь движется медленно... Психология подобных скопищ мне достаточно хорошо известна, и, разумеется, я не собирался вступать с ними в долгие пререкания и объяснения. Каждый из них принес сюда личные свои интересы, меня же привел сюда вопрос общественный... Посему я стал в дальнем углу, стараясь не попадаться очереди на глаза, ибо она в каждом новеньком видела ущемление своих интересов. На пользу мне могло пойти и то, что это были люди, почти сплошь чувствующие себя виноватыми, то есть просители, судя по их тихим позам, еще недавно так знакомым мне. Я же, наоборот, был заявитель и потому мог не обращать внимания на личное впечатление, какое произведу... И точно, едва раскрылась дверь и вышла молодая женщина с красными заплаканными глазами, как я, быстро покинув свое убежище у вешалки, рванулся к входу... Следующим была очередь какого-то пожилого крестьянина в хлопчатобумажном, очевидно, выходном костюме. Он принялся торопливо и неловко собирать бумаги, которые до того давал смотреть соседу из городских. Вина этого крестьянина, вернее, того, за кого он ходатайствовал, была настолько сильна, что крестьянин не осмелился даже остановить меня и за него это сделал сосед.

— Вы куда,— сказал сосед,— здесь очередь... Товарищ милиционер, обратите, пожалуйста, внимание...

Читавший в центре зала газету милиционер поднял голову.

— Мне не по личному, а по общественному вопросу, ясно? — не давая опомниться очереди, резко высказался я.

Но столь резкие и смелые звуки (не содержание, а именно тон) произвели впечатление не только на очередь, но и на милиционера, привыкшего во время дежурств в приемной лишь к просьбам. Поэтому я беспрепятственно вошел в комнату прокурора, согласно намеченному плану. Правда, едва оглядевшись, я понял, что передо мной не генеральный прокурор, а работник юстиции средней руки, очевидно, заведующий приемной, и это к нему очередь, а не непосредственно к генеральному прокурору. Заведующий приемной был старый седой человек в коричневом форменном кителе министерства юстиции с зелеными кантами и крупными гербовыми пуговицами. Старческий румянец играл на его тщательно выбритом лице, в то время как пальцы были бледны и вяло перебирали лежащие перед ним бумаги.

— Слушаю вас, — не поднимая глаз, механически сказал он, впрочем, достаточно усталым голосом.

Я взял стул, подвинул его с чрезмерным, независимым грохотом, уселся, закинув ногу на ногу.

— Я хотел бы узнать, — спросил я требовательно, — какие меры принимаются по отношению к тем, кто в годы сталинских зверств повинен был в расправе над невинными?

Старик прокурор поднял на меня глаза. Это были выцветшие от времени голубые глаза, и я не смог прочесть в них ничего, даже любопытства.

— Не могу вам сказать, — ответил старик. — Это не в сфере нашей деятельности.

— То есть как, — сказал я, — генеральная прокуратура обязана заниматься восстановлением справедливости.

В движениях старого прокурора появилась некоторая суетливость, правда, ненадолго.

— Меры принимаются, — сказал он мне.

— Я бы всех этих преступников — Ежова и Берия — к эсэсовцам приравнял, — сказал я, ощутив нахлынувшую злобу, — и атаманов, и рядовых... Сгноить их всех... Чтоб света белого не видели... Сколько прекрасных людей погибло ни за что... Сколько пользы они могли принести стране...

— Не стану с вами спорить, — ответил прокурор, — наверно...

Наступила пауза. Я не знал, о чем говорить далее. В принципе я был удовлетворен ответом и успокоен своим незави-

симым поведением. Прокурор тоже молчал. Потом он позволил. Вошел милиционер.

— Много там еще?— спросил прокурор.

— Семнадцать человек,— ответил милиционер.

— Ох ты, господи,— сказал прокурор и старческими своими бледными пальцами устало провел по глазам,— скажите, я три человека приму, остальных на завтра после обеда...

Милиционер вышел. Мы еще некоторое время посидели в молчании. Наконец я встал, протянул руку и сказал:

— Ну, до свидания.

Очевидно, это было не принято. Прокурор замешкался, но потом все-таки сунул мне, также встав, бледные свои пальцы. Я вышел широкими шагами, сильно выпрямившись, и, проходя через приемную, снисходительно скользнул взглядом по просителям. Также широкими шагами и идя посреди тротуара, как бы грудью разбивая встречный людской поток и не уступая никому дороги, пошел я в трест к Михайлову. В последние дни походка и осанка у меня изменились совершенно.

В тресте у Михайлова я был минут через пятнадцать, между тем расстояние от генеральной прокуратуры до треста немалое и часть пути по крутой улице в гору. Однако я не только не устал, а наоборот, чувствовал себя совершенно бодрым, ощущал силу своих мышц и ритмичную работу молодого своего сердца. Вероника Онисимовна сразу обратила на то внимание.

— Что это вы сегодня такой необычный?— сказала она мне.

Когда я приходил как проситель, измученный и робкий, она сразу это замечала и говорила мне «ты». В то же время первоначально, после долгих перерывов в моих посещениях, либо когда я преодолевал кризис, удерживал койко-место и являлся радостный, она переходила на «вы». Так и сейчас.

— Я вижу, у вас все хорошо,— добавила она.

Я посмотрел на нее. Она была в панбархатном вишневого цвета платье с блестками на высокой груди. Сам того не ожидая, я крепко, по-мужски, не опасаясь сальностей Михайлова, ибо значение его для меня ныне свелось до минимума, особенно после этого года, когда он от меня отступился,— итак, я крепко, по-мужски взял руку Вероники Онисимовны и поцеловал ее пальцы (надо было бы повыше, у запястья). Она покраснела, я же совершенно не растерялся. Какие-то новые процессы происходили во мне, и юношеская робость исчезла напрочь.

— Мой отец — генерал-лейтенант, — сказал я ей, — он реабилитирован, у меня теперь все права.

Вероника Онисимовна по-бабьи всплеснула руками. Эта добрая женщина радовалась искренне, я увидел у нее в глазах слезы.

— Слава Богу, — сказала она, — кончились ваши мучения, пора уже жить по-человечески, пора, пора в вашем возрасте... Зайдите к Михаилу Даниловичу, он у себя...

Когда я вошел, Михайлов разговаривал по телефону. Он поздоровался со мной весьма небрежно, было непонятно — то ли он поздоровался, то ли мотнул головой, чтоб я не мешал. В прежнее время я бы робко стоял в стороне, ожидая конца телефонного разговора. Теперь же я вновь применил жест независимости, инстинктивно мной найденный у прокурора (этим жестом я позднее пользовался часто в кабинетах людей, перед которыми я ранее робко вел себя или вел бы робко, если б столкнулся), то есть я взял стул, подвинул его с чрезмерным грохотом и сел так же, как у прокурора, заложив ногу на ногу по-демократически. Прокурор меня не знал, и к тому ж, как я теперь понимаю, ему приходилось частенько сталкиваться с нелепыми поступками реабилитированных, которые вызывали у него не столько неприязнь, сколько профессиональное понимание. Кроме того, в этом смысле, очевидно, существовал негласный циркуляр о терпимости и обхождении, поскольку, приступая к реабилитации, государственные органы предполагали издержки и эксцессы. С Михайловым же у меня были иные отношения. Он знал меня как человека зависимого, ничтожного и недостаточно благодарного за добро. А о реабилитации не подозревал. Но если б я не применил свой жест независимости, то есть грохнул стулом, он, пожалуй бы, начал разговор мягче. Все-таки в этом году он отступился от меня, изменил своему обещанию и поверил клевете Саливоненко, также бросившего меня на произвол судьбы. Саливоненко я был совершенно безразличен, Михайлов же был другом моего отца, и ныне его, наверно, мучила совесть. Хоть должен признаться, за три года я весьма нераспорядительно пользовался его помощью и проявил личную бесталанность, как считал Михайлов, рассчитывая лишь на покровительство.

— Где ты живешь теперь? — спросил Михайлов довольно резко.

— Мне помог мой мертвый отец, — так же резко ответил я, вложив в эти слова злобный упрек человеку, который все-таки устроил меня в этом городе и два года подряд помогал.

Мысль эта, о несправедливости моей к Михайлову, мелькнула как-то стороной, ибо прежнее положение мое сейчас предстало во всей ясности, и жгучее желание расплатиться за проклятый даровой хлеб справедливым камнем стало особенно сильным...

— Мой отец реабилитирован,— сказал я,— теперь у меня права... Квартиру получу, компенсацию за имущество, двухмесячную зарплату генерала...

Лишь по этому напору, именно напору слов Михайлов увидел во мне нечто новое, так привык он к моему ничтожеству.

— Ты хочешь сделать на этом деле бизнес,— сказал он после некоторой паузы.

— При чем тут бизнес,— взорвался я,— все вы даете своим детям поддержку... Они еще не родились, а у них уже есть дом, ночлег... Ужин, завтрак, обед... И это не считается добром... За это не надо платить благодарностью...

В течение одной-двух секунд наши трехлетние отношения изменились коренным образом. Он увидел меня в новом свете, полным напора и энергии, и в эти мгновения я впервые был даже лицом похож на отца. Так он сказал неожиданно тихо.

— Ты сейчас впервые очень похож на Матвея,— сказал Михайлов.

И в этих словах вновь явилась теплота, утраченная после первых месяцев нашего знакомства, когда я начал уж его разочаровывать. Я тоже притих, почувствовав к бывшему моему покровителю человеческую теплоту, которая была невозможна ранее при ощущении презрительного превосходства Михайлова по отношению ко мне и корысти моей по отношению к Михайлову. Такое было разве что в первые дни знакомства по приезду моем в этот город. Но ныне оно обозначилось яснее и резче, ибо мы были теперь хорошо знакомы и ощутили взаимную теплоту, невзирая на дурные качества друг друга, известные каждому из нас. Старый товарищ отца сидел передо мной, сыном своего друга, угадывая во мне знакомые черты, начавшие обозначаться лишь ныне, в период обретения мною прав.

— Значит, умер папа,— спросил тихо Михайлов.

— Я подал о розыске,— ответил я,— в управление МВД... В военной прокуратуре я назвал вас в качестве свидетеля... Для реабилитации нужно бы еще двоих...

— Конечно, я пойду,— сказал Михайлов,— вторым может быть Бительмахер... Конечно, между нами, лучше, если свидетели не из реабилитированных... Но что делать, кроме

меня, все товарищи отца либо погибли, либо сидели... Запиши адрес: Мало-Подвальная, три,— Михайлов написал адрес,— это бывший директор завода... Теперь он работает в конструкторском бюро местной промышленности... Можешь к нему на работу подойти... Хотя лучше домой... Я ему позвоню... Он в прошлом году вернулся, спрашивал и о Матвее и о тебе (второй раз при мне Михайлов называл моего отца просто Матвей. Никогда ранее он этого не позволял при мне, оберегая это дорогое ему имя из своей молодости от меня, человека, этому имени чуждого и даже внешним видом своим позорящего Матвея Цвибышева, украшавшего собой жизнь, шумно хозяйничавшего в этой жизни и распространявшего красоту и уважение на тех, кто был рядом с ним).

— В прошлом году я о тебе умолчал,— сказал Михайлов,— некстати это было, как раз с ночлегом твоим очередной скандал... Да и сам Моисей Аронович выглядел тогда ужасно, жил где-то временно, чуть ли не в общежитии... Сейчас он получил квартиру, комнату, это в центре.

— Знаю,— сказал я,— знаю, где Мало-Подвальная.

— Передай ему привет,— сказал Михайлов.— Мы давно не виделись, впрочем, я по телефону...

Михайлов был чрезвычайно беспокоен, и это также было для него необычайно. Уже на улице меня догнала Вероника Онисимовна.

— Вы уже уходите?— спросила она.

— Да,— ответил я,— дел по горло.

— Я специально ходила узнавать у нашего юриста... Вы должны добиваться квартиры... Вам должны вернуть мебель... Ничего им не дарите...

— Спасибо, мне все это известно...

— Ну, поздравляю вас еще раз... Видно, Бог есть, раз он помог сироте.

— Спасибо,— сказал я.

Я был тронут искренностью переживаний за меня этой женщины, хоть немного и покороблен «сиротой», ибо такой ракурс делал меня слабым и не по-мужски зависимым в представлении Вероники Онисимовны, что было несправедливо и не соответствовало моему мужскому действию, когда я крепко взял ее руку и по-мужски поцеловал. Поэтому я решительно повернулся, чтоб не утратить нужной мне душевной твердости, и, вновь взяв ее крепко за руку, поцеловал полное ее предплечье у локтя. На этот раз она вовсе растерялась, я же, довольный собой, улыбнулся ей ободряюще и пошел своей новой, становящейся привычной походкой, а именно широко шагая и сильно выпрямившись...

Пошел я на улицу, где находился третий из адресов, данных мне в военной прокуратуре Верой Петровной. Улицу я знал хорошо, а мимо Комитета государственной безопасности проходил частенько, ибо располагался он неподалеку от бывшего монастырского здания, где ныне был газетный архив. Я решил после Комитета государственной безопасности заглянуть туда. Мне интересно было, как поведет себя, встретившись с Нелей, не тот бесправный Цвибышев, а сын генерала Цвибышева.

Комитет государственной безопасности находился в двух зданиях, стоящих друг против друга через дорогу. Улица, на которой он находился, мне нравилась, пожалуй, более других в городе. Почти не пострадавшая в войну, сплошь уставленная редкими старыми домами, с булыжной мостовой, среди которой поблескивала трамвайная колея, и двумя зелеными шеренгами каштанов на тротуарах с обеих сторон улицы. Одно из зданий Комитета государственной безопасности было в четыре этажа, второе более приземистое одноэтажное, очевидно подсобное. Там и находилось бюро пропусков. Я вошел. Как водится, здесь также было окошко и сидел сержант. Я протянул ему выписку из военной прокуратуры о том, что дело о реабилитации моего отца находится на рассмотрении.

— Ждите, — сказал мне сержант, — к вам выйдут.

В приемной бюро пропусков стояло несколько столов и чернильницы с ручками, как на почте. По стенам развешены были образцы анкет для отъезжающих за границу как в соцстраны, так и в капиталистические. Это было новшество, которое тогда еще широкого распространения не получило, а оформление происходило непосредственно в Комитете государственной безопасности. И действительно, несколько человек, находящихся в приемной, по виду сытых и состоятельных, занимались оформлением, читали образцы, заполняли анкеты и часто о том о сем справлялись у дежурного сержанта. Я сел на стул и приготовился ждать, но уже минут через десять в приемную вошел невысокий мужчина в потертом пиджаке с зачесанными назад волосами. Я не обратил на него внимания, ожидая должностное лицо в форме. Он же сразу узнал меня и подошел ко мне, хоть в приемной находилось еще человек шесть-семь.

— Цвибышев? — спросил он негромко.

— Да, — ответил я, удивленно подняв на него глаза.

— Пойдемте со мной.

Я встал, и мы вышли в коридор. Тут же в коридоре, у приемной бюро пропусков, находилась еще одна дверь, и сотруд-

ник открыл ее своим ключом. Мы вошли в маленькую комнатушку, где ничего не было, кроме канцелярского стола и трех стульев. Уселись. Сотрудник вынул какую-то старую бумагу.

— Значит, ваш старый адрес: улица Новая, дом восемь, квартира сорок четыре, так?

— Да,— сказал я,— мы жили по улице Новая... Дом сохранился?

— Это надо проверить,— сказал сотрудник КГБ,— значит, у нас указаны члены семьи арестованного... Анна Эдмундовна Цвибышева двадцати девяти лет и сын Григорий трех лет, это вы?

— Да,— ответил я.

— Тут странность,— сказал сотрудник,— обычно арестовывали вместе с мужем жену... Конечно, это безобразие и беззаконие,— добавил он,— но вот ваша мать арестована не была... Почему это так, не пойму... Она жива?

— Нет, она умерла.

— Действительно трагедия,— сказал сотрудник госбезопасности,— но у вас еще вся жизнь впереди. Напишите заявление о розыске конфискованного имущества...

Он открыл ящик канцелярского стола и подал мне лист бумаги. Я заполнил свое второе за этот день заявление: «Прошу вернуть либо компенсировать стоимость имущества, незаконно конфискованного кровавыми сталинскими палачами» и т. д.

Сердце мое билось сильными толчками.

— Вот что еще,— сказал я глухо,— я никогда не видел отца, если у вас сохранилась фотография, прошу мне вернуть.

— Хорошо,— сказал сотрудник,— напомните мне по телефону. Придете через неделю.

Я записал телефон и вышел на улицу. Внезапно странная усталость овладела мной, а также я почувствовал и голод. В таком состоянии было нелепо идти в архив, ибо вряд ли я мог теперь произвести новое, мужественное впечатление на женщину. Скорбь и печаль, отнявшие у меня прямую осанку и широкий шаг, согласно логике, должны бы были овладеть мною утром, когда я писал заявление в управление тюрем и лагерей, однако они вдруг овладели мною сейчас, при решении бытовых вопросов, связанных с арестом отца... Анна Эдмундовна двадцати девяти лет и сын Григорий трех лет... И вдруг картинка, осколочек... Нет, это не воспоминание, скорее видение... Любое воспоминание из трехлетнего возраста это чудо, видение, словно из другой жизни... И размеры даже

свои чувствую... И рубашонку... И все так броско, словно одним взглядом... Меня вырывают из приятного теплого сна... Меня тормозят... Мне так нехорошо, что я догадываюсь почему... Сейчас ночь... Утром я просыпаюсь сам, и мне это приятно, а сейчас меня безжалостно поднимают из-под теплого одеяла... Я недоволен, сопротивляюсь и плачу... Кто-то прижимает меня к себе твердо и больно... Это отец... Какие-то общие черты... Неприятный, твердый подбородок... За спиной его плачет мать... Это менее общие черты, знакомые...

— Попрошайся с папой, Гришутка, папа уезжает...

Эту фразу слышу ясно, точно она произнесена только что... Эта фраза самая ясная из вспыхнувшей вдруг передо мной картинки... Помню вдруг облик двух чужих людей на диване... Смотрят на меня... Самое общее впечатление... Алгебра... Отсутствие конкретных черт... Но, кажется, взгляд их не то что сочувствующий, а несколько встревоженный моим плачем... Не лица их помню, а взгляд... И все... И далее ничего нового не могу набрать для себя сегодняшнего из этой картинки-озарения... Возможно, я тут же заснул тогда...

Я стоял, прислонившись к стволу каштана, среди молодой, еще по-июньски чистой листвы, лишь слегка тронутой городской пылью. Мимо меня с грохотом проносились летние горячие трамваи... От голода уже сильно и больно потягивало в животе. Я вошел в расположенную неподалеку столовую самообслуживания. Собственно, я к ней и шел, но остановился у дерева, пораженный ясностью нахлынувшего видения. В столовой сильно пахло грушевой эссенцией и тушеной капустой... Я стал в очередь, беря блюдо средней стоимости, что было оправдано психологически, ибо в кармане оставались считанные рубли, но в то же время я вскоре рассчитывал на крупные суммы компенсаций по реабилитации...

Двигаясь мимо подносов с нарезанными кусками хлеба, я взял три куска черного и два куска белого, но затем раздумал, один кусок отложил обратно. Наверное, это было негигиенично, признаюсь, но один из очереди так осатанел, что можно было понять: общественный кусок хлеба, который я тронул своей рукой, был лишь поводом для выхода наружу его нервной ненависти, давно заготовленной.

— Что вы лапаете,— крикнул он мне,— что вы все время лапаете!.. Хлеб лапаете, и после ваших вонючих рук его должны люди есть... Дусту на вас нет (дуст — вещество, которым травят клопов).

Мужчина был высокого роста, одутловатый, может, любитель выпить, а может, просто по болезни страдающий ожирением. Очевидно, мой угнетенный измученный вид после нахлынувшего видения обманул мужчину и представил меня как легкую добычу для него, явно чувствующего себя в этой стране уверенно и по-хозяйски. И действительно, попробуй я вступить с ним в обычную перепалку, он забил бы меня и сломал напором и уверенностью, при поддержке части очереди и нейтралитете остальных... Однако направление чувств моих было сейчас совсем иное, и то, что мужчина принял за слабость, было в действительности накоплением, ищущим выхода, причем не в обычном смысле бытового скандала, а в политической ненависти.

— Сталинская сволочь,— крикнул я мужчине найденную мной сегодня фразу, но прозвучавшую теперь не как случайная находка, а как испытанное оружие,— заявления писал в тридцать седьмом, законность нарушал, сволочь...

Перелом наступил мгновенный, то ли от неожиданности моих контраргументов, то ли от природной боязни лояльных граждан (каковым являлся жирный) политических обвинений, частично взятых мной из текущей периодической печати и выступлений Хрущева. Мужчина замолк сразу, но теперь уж я не мог успокоиться... Я так разволновался, что у меня тряслись руки и кофе из стакана на моем подносе несколько раз выплеснулось в рассольник.

— Жилы бы вам перерезать,— говорил я, дрожа от ненависти, словно в лихорадке,— морда жирная, на чужой крови разжирел...

— Ладно,— сказал мне примирительно кто-то в очереди,— не надо нервничать,— и он пропустил меня вперед.

Все стоящие впереди меня расступились, как бы сторонясь меня. Кассирша осторожно как-то назвала сумму и мягко положила мне на поднос сдачу. Усевшись, я стал есть, и первый приступ раздражения, по обыкновению особенно сильный, постепенно рассосался, но осталась досада не на суть, а на пластику поведения: на дрожащие руки, на захлебывающийся голос и т. д. В этом было недостаточно силы и соответствия моему новому положению. Поэтому, в качестве компенсации, доказывающей, что я не уязвлен и всю эту шушереу презираю, я прибег к кривой, несколько циничной улыбке, с которой и отобедал... Но перед уходом, проходя мимо, я все-таки сильно толкнул столик, за которым сидел мой одутловатый враг, так что борщ его расплескался и намочил хлеб... Он глянул на меня со злобой, но промолчал, однако за него вступилась женщина из простых, уборщица, которая

замахнулась на меня тряпкой, которой она вытирала столики.

— Ишь хулиган,— злобно крикнула она,— бандит... В милицию захотел...

— Не надо, Егоровна,— сказала женщина иного, полуинтеллигентного вида, в чистом халате, наверное, заведующая столовой, явившаяся на скандал,— пусть его... Пусть идет...

Повторяю, время тогда было странное, путаное, и лишь представители низов находили в себе силы противиться нелепым завихрениям Хрущева, пытающегося, как казалось, уравнять в правах и развязать инициативу элементов, устраненных Сталиным из созданного им при поддержке масс сильного ясного общества с простой структурой, понятной даже малограмотному.

Конец первой части

Часть вторая

МЕСТО В ОБЩЕСТВЕ



Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: когда будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтоб не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его подошед не сказал бы тебе: «уступи ему место»; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место.

Евангелие от Луки. 14,7—9

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На Мало-Подвальную я явился в половине восьмого, рассчитав, что к тому времени Бительмахер успеет не только прийти с работы, но и пообедать.

Бительмахер был человек на грани старости, с редкими, как-то клочьями, кустиками, волосами на голове, с морщинистым лицом, вообще вида крайне неопрятного, но с глазами не то чтобы умными, скорее добрыми и к себе располагающими. Жена его Ольга Николаевна была совершенно седа, с землистым лицом и чем-то похожа на мать покойного Илиодора. Она лежала одетая на кровати поверх одеяла, укрытая до пояса шерстяным платком.

— Извините,—протягивая мне холодную ладонь, сказала она,—я нездорова и вынуждена лежать.

— У меня был товарищ, комкор Цвибышев,—сказал Бительмахер жене,—это его сын... Я вами интересовался,—сказал он, повернувшись ко мне,—очень обрадовался, когда мне сегодня позвонил Михайлов... Хотите есть?

— Нет,—поспешно ответил я.

Сладковатый запах мертвечины господствовал в комнате. Именно ощутив его, я вспомнил о матери Илиодора, то есть о том, что Ольга Николаевна на нее похожа, а не наоборот — подумав о похожести, ощутил запах. Но мать Илиодора да и вся та компания была мне неприятна, и запах этот мог быть результатом личного отвращения. Здесь же, у товарища отца, человека, к которому я сразу же почувствовал симпатию, он существовал вопреки моим намерениям подружиться с этими людьми, и душевному расположению к ним мешала невольная физическая брезгливость.

Мне приходилось жить в неопрятных холостяцких общежитиях среди запахов мужских потных тел, питающихся грубой пищей, однако при всем при том там было ощущение

плотского мужского здоровья, прущего наружу, мускулистого, выставляющего груди из рубашек и теннисок, современного, рядом с которым не стыдно, а порой даже и пикантно показаться перед глазами красивых женщин. Здесь же был, как мне казалось, замкнутый мир, который мог мне стать приятным после того, как я привыкну к нему, но с которым, тем не менее, следует показываться порознь в местах красивых, то есть светских (пляжи, центральные улицы, включая смежные с ними бульвары, стадион, театры). Кстати, я дважды был в оперетте и один раз в драматическом, разумеется, один, но беспрерывно в антрактах разыгрывал перед публикой, которая не обращала на меня внимания, представление, будто меня ждет женщина. В курительной комнате я торопливо посматривал на часы, в буфете суетился, в фойе не прогуливался, а шел торопливым шагом, заглядывая в лица чинно гуляющих зрителей, словно ища потерянную знакомую... Парадокс времени состоял в том, что именно из рук этого мира теней я должен был получить блага и права, открывающие мне доступ в иное, красивое общество... Таков был сумбур мыслей в первые минуты знакомства.

Я с Бительмахером успел обменяться лишь двумя-тремя фразами, когда раздался явно условный звонок дважды через короткий промежуток.

— Бруно,— сказала Ольга Николаевна,— но хотя бы он пришел без Платона...

Вошли двое. Один был тяжелый телом и движениями, голубоглазый альбинос, второй — очень худой и маленького роста, очевидно, тот самый Платон, поскольку Ольга Николаевна поздоровалась с ним холодно.

— Как здоровье? — спросил Ольгу Николаевну альбинос, протягивая ей кулек с какими-то сладостями.

— Лучше,— сказала Ольга Николаевна,— кстати, я знала, что у меня подозревают рак, но меня успокаивало, что если бы это был рак, я бы давно умерла. Знаете, как давно у меня плохо с грудью, еще в Польскую войну во время отступления я на ходу садилась в теплушку и ударилась грудью о железную скобу.

— Меня то успокаивает,— сказал Бительмахер,— что они все-таки Ольге сделали операцию,— при злокачественной опухоли груди они операцию не делают, а дают всякие порошки для отвода глаз.

— Нам, реабилитированным, рак не страшен,— сказал худой,— медициной доказано, что элемент шизофрении в организме исключает рак.

— Вы, как всегда, неудачно каламбуриете, Платон Алексеевич,— сказала Ольга Николаевна.

— Это, Моисей,— обернулся Платон к Бительмахеру,— это по поводу нашего вчерашнего разговора о разнице между излечением и исцелением... Я, например, неизлечимо болен и знаю об этом, никакое лечение мне не поможет, но я не умру, пока сам того не захочу, ибо помимо излечения есть и исцеление, то есть мифологическое излечение...

Я слушал с интересом. Я человек физически слабый из-за многолетней материально скудной жизни и именно поэтому физическую слабость чрезвычайно презираю. Но едва этот карлик (он был почти карликом) начал говорить, как я ощутил в нем привлекательную силу, словно говорил он обо мне и для меня и делал понятным для меня мое собственное, сокровенное, но недодуманное до конца.

— Необходимо,— говорил Платон,— создать вокруг большого миф, объясняющий миф, приводящий мир в порядок и успокаивающий душевное смятение... То же и с обществом. Все сильные личности действовали подобным образом.

— Политический фрейдизм,— слишком быстро для своего неповоротливого вида сказал альбинос,— вернее, помесь Фрейда с Троцким.

Начался шум, все говорили сразу.

Интересно, что я до сих пор сидел, не представленный вновь вошедшим. Не то чтобы Бительмахер не делал этого по рассеянности. Просто, и я это понимал, он не находил промежутка, так плотно была словесная перепалка. А в дальнейшем он и сам в нее втянулся как-то самозабвенно. Вообще должен сказать, что в то странное время, когда глава правительства Хрущев, благодаря железной сталинской структуре, доставшейся ему в наследство, сосредоточил административную, но не нравственную, что важно, власть в своих руках, вел тяжелую борьбу с любимым и святым для народа трупом, который, лежа в центре Москвы в Мавзолее рядом с основателем государства Лениным, молчаливым загробным величием отвечал на попытки толстого нефотогеничного человека возбудить в народе гнев разоблачением неких земных злодеяний покойного, в то странное время тяжелого противоборства живого с мертвецом общественная жизнь ушла из мест официальных и сосредоточилась в салонах тех лет, то есть в компаниях... Причем в компаниях весьма разноликих и часто идейно противоборствующих друг другу... Способность к созданию разного рода идейных компаний, как правило, свойственна именно лицам, от народной массы оторвавшимся. Народ же либо по-пушкински опасно безмолв-

ствовал, либо попадал под воздействие идейных слухов и анекдотов, из которых он отбирал то, что ему близко, то есть противоборство официальности, в чем бы она ни выражалась, но главным образом противоборство разоблачениям сталинской деятельности. Я долгое время в силу материальной убогости моей жизни был оторван от общественных ветров, тем не менее за короткий сравнительно срок мне удалось побывать в совершенно разноликих компаниях. Всюду собирались люди, казалось бы, в основном близкие друг другу, но всюду же была ожесточенная сшибка мнений, рождавшая версии, а уж версии эти, в свою очередь, попадали в гущу народа в виде всевозможных слухов и анекдотов. Такой резкий поворот от твердой идейной однородности и формирования идеалов в одном централизованном месте, откуда они спускались вниз в строго плановом порядке, такой поворот, конечно, не мог не оказать воздействия, но оказал не то воздействие, на которое надеялся Хрущев. Недоверие и неуважение народа начало распространяться не на канувшего в вечность мертвого вождя, а на ныне здравствующих руководителей, как местных, так и вышестоящих, вплоть до самого верха. Эта опасная для такой страны, как Россия, тенденция имела, однако, весьма сильный стихийный тормоз — то, что сам народ побаивался и не любил своего же неуважения к руководству и искал путей от этого неуважения избавиться...

Все эти мысли были высказаны в споре, но ныне передаются мною своими словами в некоторой обработке и с добавлениями, поскольку тогда, первоначально, на меня все это так обрушилось, что я потерял нить и не способен был следить за построением фраз. Поэтому излагаю их от своего имени, так, как я теперь это понимаю... Кажется, главная часть мыслей принадлежала не Платону, а альбиносу Бруно, этому внешне неповоротливому литовцу. Одну из его фраз, как бы завершившую цикл спора, я помню достаточно точно и вообще после нее как-то уловил нить и понял суть (повторяю, все, что до того, я обработал позднее).

— Если уж касаться политического фрейдизма,— сказал Бруно,— то Хрущев это та личность, которая испортила стране и народу нервы.

— Вы против разоблачения Сталина? — выкрикнула Ольга Николаевна, приподнявшись на кровати и прижимая локоть к груди (под платьем ее, в вырезе виднелся бинт).

— Я говорю лишь, что эти разоблачения обошлись чрезвычайно дорого.

— А я всегда буду благодарна Хрущеву,— сказала Ольга Николаевна и посмотрела на небольшой, в полированной

рамке портрет Никиты Сергеевича Хрущева, висевший над ее кроватью.

Хрущев изображен был в капроновой шляпе и рубашке с широкой улыбкой на жирном крестьянском лице любителя простой и обильной пищи.

— Хрущев обрушил на нас груды мифологических разоблачений,— встав и возбуждаясь, сказал Платон,— в этом хитрость... Может быть, когда-нибудь раскроется подлинность... Через двести лет... Сталин вызвал Хрущева и сказал ему: когда я умру, ты разоблачишь меня... Я скрепил их в единую силу кровью и страхом, а ты зароешь трупы и выгонишь остатки на свободу...

— Ты бредишь! — выкрикнул Бруно.

— Почему? — сказал Платон.— Что здесь похожего на бред?.. Сталин понимал, что главная сила не в нем, а в надзирателе Хаткине... И он поручил Хрущеву спасти надзирателя Хаткина для будущего.

— Это твоя опасная теория! — крикнул Бруно.

— Настоящий троцкизм! — выкрикнула Ольга Николаевна.

— Я противник Троцкого,— сказал Платон,— вам это известно.

— Подлый троцкизм! — выкрикнул Моисей Бительмахер, который не обратил внимания на опровержение Платона и который на слово «Троцкий» реагировал как бык на красное, поскольку вел борьбу с троцкизмом с юношеских лет и ненависть к троцкизму пронес сквозь тюрьмы и лагеря.

— Термины, термины,— как бешеный выкрикнул в свою очередь Платон,— мне слишком мало осталось жить (явная непоследовательность суждений, которую я отметил в этом сумбуре), мне успеть надо... Мне подавай надзирателя Хаткина и майора Двигубского,— и он стиснул до побеления свой кулачок карлика,— они меня на ж... сажали...

Резкое и грубое слово хлестануло среди шума и политических споров так, что на мгновение наступила тишина.

— И тебя, Бруно,— продолжал в тишине Платон,— тебя тоже сажали... Специальная площадка была для этого утрамбована.— Он помолчал, громко сопя, и вдруг озверел так, что пошел красными пятнами.— Политическим онанизмом балуетесь,— крикнул он,— вот за что я вас ненавижу.— И, сказав это, встал и вышел, хлопнув дверью.

— Какая мерзость,— поморщившись, сказала Ольга Николаевна,— он не Сталина ненавидит, он советскую власть ненавидит... Он, кажется, из поповичей и арестован чуть ли не в двадцать седьмом, когда редко арестовывали по наговору.

— Сейчас трудно определить, Ольга Николаевна,— сказал Бруно,— кто сидел справедливо, а кто несправедливо... Да и вряд ли стоит этим заниматься.

— Нет, стоит, уважаемый Бруно Теодорович,— резко поднялась на локте Ольга Николаевна,— очень даже стоит. Такие, как Щусев (значит, Платона фамилия Щусев, про себя понял я), такие хотят примазаться к нашей трагедии. Отец его, кажется, из крупных эсеровских лидеров. Только фамилия у отца, кажется, другая.— Ольга Николаевна затратила много сил на этот выкрик и после устало опустилась на подушку.

— Насчет отца-эсера мне неизвестно,— сказал Бруно,— но то, что он юношей в заключение попал, это точно... У него одного легкого нет, да и второе гниет...

— И все-таки я тебя, Бруно, не понимаю,— сказал Бительмахер,— не понимаю твоей привязанности.

— Да не то что привязанность,— сказал Бруно,— подружился в лагере... Такая дружба часто необычной бывает и самому непонятна, как любовь...

— Во всяком случае я убеждена,— сказала Ольга Николаевна,— что от таких, как Щусев, нам, людям, невинно пострадавшим, надо всячески отмежевываться и особенно оберегать от его влияния молодежь. Я видела, как Гоша, кажется, я правильно запомнила ваше имя,— повернулась она ко мне,— я видела, как Гоша смотрит на него с интересом... Кстати, Бруно, познакомься, это сын бывшего комкора Цвибышева... Тоже из реабилитированных...

Так несколько поздно вато я был наконец представлен.

— Фильмус,— сказал альбинос, протягивая мне свою большую ладонь.

— Скажите честно,— обернулась ко мне Ольга Николаевна,— ведь вам Щусев понравился? Вот так, по-комсомольски, не кривя душой...

Вопрос застал меня врасплох, я не успел сориентироваться в обстановке и, во-первых, еще недостаточно понимал, насколько нужны мне эти люди и в какой степени потому можно себе позволить кривить душой, а во-вторых, еще не понимал взаимоотношений... Чтоб получить время на обдумывание, я ответил нейтральной фразой:

— Я выбыл уже из комсомола по возрасту.

— А сколько же вам?

— Двадцать девять лет.

— Что вы говорите!— всплеснула руками Ольга Николаевна.— Не знаю, как ты, Моисей, и ты, Бруно, но я частенько попадаю впросак в смысле отсчета времени... Когда я бы-

ла там, мне казалось, что это долго... А сейчас мне кажется, что мы там были совсем недолго... И вдруг встречаем наших начавших сесть детей... Гоша ведь совсем еще хорошо сохранился (прокомментирую ее замечание от себя: недоедание часто сохраняет в человеке за счет худобы молодежавый вид), а Степан мой совсем седой (значит, у нее есть сын, понял я).

— Дочь моя моложе твоего Степана,— сказал Моисей,— и то у нее седые волосы... А когда я вижу моих внуков, то понимаю, какой я старик... Кстати, Лиля должна была уже прийти... Ко мне моя дочь из Ленинграда приехала,— обернулся Бительмахер к Фильмусу,— остановилась, правда, у родственников ее мужа, там квартира большая.

— Дело не в квартире,— сказала вдруг Ольга Николаевна,— просто твоя бывшая жена против того, чтобы Лиля заходила к тебе... Особенно с Зямкой... А между тем на что ей обижаться, она отказалась от тебя сразу же после твоего ареста.— И нечто вроде капризной ревности мелькнуло на землистом лице Ольги Николаевны, придав ей даже некую женственность.

— Ну, ты не права здесь,— поспешно сказал Бительмахер,— и не будем сейчас на эту тему... Лучше перекусим... У меня на кухне ведь картошка жарится, я соседку попросил последить... Ты лежи, Ольга, я сам... Бруно, и вы, Гоша, давайте подвинем, пожалуйста, столик поближе к кровати.

Мы встали и подвинули.

— Ну вот,— сказал Бительмахер,— ты замечательно сможешь ужинать с нами не вставая,— и, неожиданно наклонившись, он чмокнул жену в землистую щеку.

Этот его поступок почему-то вызвал у меня тошноту, и я вновь особенно сильно ощутил запах мертвечины, к которому начал было привыкать. То, что эти два человека, старых, физически ветхих, могут относиться друг к другу как мужчина и женщина, невольно покорило, мне кажется, не только меня, но даже их товарища Бруно Фильмуса. Он, кстати, менее других, может, из-за грузности своей, имел лагерный вид, и на щеках его играло какое-то подобие здорового румянца.

Бительмахер вынул из полубуфета початую бутылку водки, подмигнул мне и вышел. Меня радовало, что разговор принял иной оборот и вопрос Ольги Николаевны относительно моей симпатии к Щусеву оказался как-то замят. Мне не хотелось о Щусеве говорить плохо, поскольку я побаивался, что Бруно может ему передать (я по-прежнему находился невольно в сфере бытовых интриг периода полного бесправия и борьбы за койко-место). Не знаю почему Щусев не то чтоб действительно нравился мне, но я угадывал в нем какие-то род-

ственные мне нотки определенных чувств, и мне не хотелось перечеркивать возможность сближения с этим человеком (а что он самолюбив, я сразу определил, опять же по родственному, и не сомневался, узнай он о моем неодобрительном отзыве, такому сближению не бывать). Но, с другой стороны, мне не хотелось портить отношений и с Ольгой Николаевной, явно Шусева ненавидевшей, и с Бительмахером, который был товарищем моего отца и нужен был мне в качестве свидетеля для соблюдения формальности по реабилитации. Поэтому я был рад, что этот вопрос был замят.

Меж тем явился Бительмахер с жареной картошкой. Поскольку в тот вечер я склонен был к разного рода нелепым сопоставлениям, то вспомнил, что и у Илиодора ел жареную картошку, пытаюсь придать этому сопоставлению какой-то смысл. Правда, подумав не более минуты в этом ложном направлении и ничего путного и толкового не обнаружив в своем мозгу, я тут же пустые эти мысли отбросил и вновь вернулся к столу (вернулся мысленно, поскольку физически я все время за столом сидел).

Бительмахер разлил по стаканам.

— Учтите,— сказал он мне,— это спирт.

— Мы, северяне, к спирту привыкли,— сказала Ольга Николаевна.

Разговор стал оживленнее и веселее, хоть еще никто не выпил. Один лишь вид спирта вызвал возбуждение, также и у меня, и почему-то возникло желание опьянеть. Впрочем, налито было немного — по четверть стакана, а Ольге Николаевне и того менее... Бруно провозгласил тост за здоровье Ольги Николаевны. Выпили и снова разлили понемногу, по четверть стакана. Меня первоначально ожгло, затем, после нескольких ломтиков картошки, стало приятно.

— Теперь давайте выпьем за Хрущева,— сказала Ольга Николаевна.— Есть политические деятели, которых оценивает не народ, а история.

— Мойсей,— сказал Фильмус,— дай мне Маркса, кажется, том второй, я хочу ответить Ольге.

— Мне известен твой исторический фатализм,— быстро сказал Бительмахер.— Это как раз то, что чуждо марксизму.

— Хрущев фигура не самостоятельная,— сказал Фильмус,— возникает спрос, и является предложение...

Что-то резко толкнуло меня, и в необычно после спирта бойком мозгу моем возникла фраза, которая плотно ложилась к предыдущей, как выигрышная костяшка домино.

— Спрос порождает Рафаэлей,— стукнул я этой фразой фразу Фильмуса.

Вот когда начинает окупать себя времяпрепровождение в библиотеках... Я знал, что этой фразой утверждаю себя в глазах этих людей. И точно, Бительмахер и Ольга Николаевна рассмеялись.

— Он тебя хорошо стукнул,— сказал Бительмахер (именно так и выразился: «стукнул», как и я предварительно подумал).

Но Фильмус был тертый калач и опытный полемист.

— Первичен не спрос, а эпоха,— спокойно сказал Фильмус,— эпоха Возрождения порождает спрос на Рафаэлей, но есть и иные эпохи... Десятый век был свободен от гениев, но породил множество известных в будущем деспотических династий (я понял, что Фильмус мог легко развить свой успех и вовсе меня, выскочку и неуча, уничтожить. Я был благодарен ему за то, что он этого не сделал).

— Ты, Бруно, не по существу,— выкрикнул Бительмахер.

— Дай мне Маркса том второй, и я отвечу по существу.

— Интересно,— сказал Бительмахер и несколько размашистым движением протянул книгу, взяв ее с полки, где находились собрания сочинений всех классиков марксизма.

Я с благодарностью посмотрел на Фильмуса за то, что он, щелкнув меня лишь легонько в ответ на моего «Рафаэля», сосредоточился на Бительмахере.

— Вот вам Маркс... «Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта»,— сказал Фильмус и принялся читать: «Гонимый противоречиями и требованиями своего положения, находясь притом в положении фокусника, принужденного все новыми неожиданностями приковывать внимание публики к себе, как к заменителю Наполеона, другими словами, совершать каждый день государственный переворот в миниатюре, Бонапарт погружает все буржуазное хозяйство в сплошной хаос»...

— Но Сталин не Наполеон,— выкрикнула Ольга Николаевна,— и Хрущев не Луи Бонапарт... Никита Сергеевич полностью лишен мании величия... Пусть это несколько грубоватая, но простая народная фигура...

— Речь идет не о личности,— сказал Фильмус,— а об отражении этой личности в сознании народа и общества. Здесь мы вправе на параллели... Лично я могу отнести к Хрущеву слова Маркса о Луи Бонапарте: «Создает настоящую анархию во имя порядка и в то же время срывает священный ореол с государственной машины, профанирует ее, делает ее одновременно отвратительной и смешной...» Прекрасно сказано,— добавил Фильмус,— давайте выпьем за святую могилу Маркса.

— Определенный нежелательный процесс наблюда-

ется,—согласился Бительмахер,—все эти слияния министерств, перестановки и прочее ни к чему... Но нельзя не заметить, что атмосфера и в партии и в стране становится все более здоровой.

— А почему тебя не восстановили в партии?—спросил вдруг Фильмус.

Бительмахер как-то странно сморщился, а Ольга Николаевна посмотрела на Фильмуса с укором, в котором была и некоторая доля неприязни. Фильмус, будучи человеком умным, сразу понял, что совершил бестактность, и поспешил ее замазать.

— Впрочем, был тост за Маркса,—сказал он.

— Нет, уж раз спросил, я отвечу,—сказал Бительмахер,—таинственного здесь ничего нет и злого умысла тоже нет... Просто я был исключен из партии за полгода до ареста... Если арест одновременен с исключением, тогда восстановить партстаж легче... А таким образом получается два разных дела, реабилитация распространяется только на арест.

Мы выпили за Маркса еще по порции спирта и некоторое время молча ели картошку. Бительмахер сходил на кухню и вернулся с горячим кофейником. Ароматный запах кофе щекотал ноздри. Я был приятно пьян, и мне было радостно от новой моей жизни, которую создал для меня мой покойный отец, человек заслуженный и реабилитированный.

— Лессинг,—говорил Бительмахер, нависая над столом и, кажется, по-прежнему полемизируя с Фильмусом,—Лессинг... Если б творец, говорил Лессинг, держал в одной руке всю истину, а в другой стремление к ней и предложил бы мне выбрать между ними, я предпочел бы стремление к истине обладанию готовой истиной.

— Но что есть истина в политике,—говорил Фильмус,—вернее, что есть политика—литература или наука? Для Маркса и Ленина это наука... А для Сталина и Троцкого—литература... Детектив... Да пожалуй, и для Хрущева... Для Хрущева политика—фольклор...

— Как!—кричал уже Бительмахер.

— Ужасный путаник,—сказала Ольга Николаевна.

— Я поясню,—ответил Фильмус (пожалуй, спирт действовал на всех в полную силу).—В литературе противоположная истина не ложь, а другая истина... Вот так... Установки вместо принципов...

— Политический фрейдизм!—крикнул Бительмахер.

— Если угодно,—ответил Фильмус.

Они явно запутались, я же был спокоен. Как человек менее цельный, я был вхож в разные компании и был уверен в неиз-

бежности скандала, которым обычно полемика тех лет оканчивалась.

— Я хочу заметить, что Сталин и Троцкий люди одного плана, люди улицы,— сказал Фильмус.

— Как?— побагровев крикнул Бительмахер, безусловно не расслышав или не поняв слов Фильмуса.— Троцкий... Лейбл Троцкий... Ох,— совсем побагровел уж, сжал кулаки Бительмахер,— если б я поймал когда-нибудь раньше Лейбла Троцкого за ногу, я б ему выдернул... — и он выразил желание оскопить Троцкого, но сформулированное в грубой форме одесского грузчика-балагулы. То есть попросту сказал грубость такую неожиданную и крайнюю, что даже перекрыл сказанную при женщине, при Ольге Николаевне, грубость Платона Шусева.

После этого он опустился на стул и сидел так, тяжело дыша. Краска отлила с лица его, и оно, наоборот, побелело.

По идее приближался конец моего пребывания в этой компании. От Арского меня в сходной ситуации выгнали, от Илиодора я сам убежал, нанеся и получив несколько ударов (вернее, если помните, ударить я не осмелился и лишь нелепо намылил журналисту Орлову морду пепельницей). Но ныне наглядно сказалось полное изменение моего положения. Вместе с Фильмусом я перенес на диван быстро, буквально на глазах раскисшего Бительмахера, у которого приступ ненависти к Троцкому отнял последние силы, затем с достоинством попрощался и вышел.

Ночь была теплая. На бульварах уже отцвела черемуха и сирень, но запахи не исчезли, подобно призракам возродились они в ночи, запахи, которые всегда вселяют в меня чрезвычайное беспокойство. Я пристал к какой-то одинокой девушке, чего раньше никогда б себе не позволил. Однако, поскольку из-за крайне малого срока, прошедшего после перемен, внешний вид мой остался прежний, изнеможенный и слабосильный, девушка не только не пошла мне навстречу в моих поползновениях, но, что того хуже, вовсе не испугалась меня, грубо выругала, а когда я проявил настойчивость, размахнулась. Но тут-то я изловчился и крепко схватил ее за руку, сильно, по-мужски сжал и сказал, криво улыбувшись:

— Но-но, детка...

После чего, обогнав ее и оставив позади, размахисто зашагал по бульвару, сильно выпрямившись.

В общежитие я пришел глубокой ночью, вернее, даже уже рассветало, долго и требовательно звонил у дверей и с ухмылкой посмотрел на заспанную дежурную Дарью Павловну (напоминаю, ранее я ее избегал, после того как она меня нев-

злюбила, теперь же был рад, что дежурит именно «кошкина мать»). Ну скажи что-либо, как бы просил мой взгляд, а я тебе отвечу... Ох, как отвечу... Она хитро промолчала, видно, была проинструктирована комендантшей и ознакомлена с новым моим положением.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я мечтал о встрече с Нелей, но этого не случилось, хотя следующую неделю я ежедневно заходил в газетный архив. Видно, Неля уехала на юг, куда в это время года едут все красивые женщины. Это, в общем, было скорее хорошо, чем плохо, ибо в архив я заходил вопреки здравому смыслу и собственным расчетам. У меня был план, получив компенсацию, исчезнуть, месяц-другой нагулять жирок в провинции, сшить черный костюм, купить чешские полуботинки, серебряный перстень в ювелирторге и появиться в обществе совсем иным человеком. Приехал — никто не узнает, говорят о таких. Отдельные штрихи и детали, возникшие вследствие моей невоздержанности и нарушения намеченного плана, лишь подтвердили его разумность и необходимость... В частности, впервые после скандала в компании Арского я явился к Бройдам. Цвета была в Москве, Ира в командировке. Родители Бройды встретили меня холодно. Я присел к столу и некоторое время провел так, не получив даже стакан чая (я ныне в чужом куске не нуждаюсь и сообщаю эту деталь, лишь чтоб изобразить обстановку). Разумеется, я не был этим обескуражен, поскольку внутренне понимал себе цену, а лишь раздосадован, причем на себя, за то, что, нарушив план, явился рано, не дав времени преобразить мой внешний вид. Единственно чему я был рад, это что не поддался соблазну сообщить этим людям о произошедших у меня изменениях, поскольку сейчас это прозвучало бы либо недостаточно эффектно, либо было бы встречено с недоверием (надо напомнить, что они знали некую иную версию о моем отце — герое последней войны. Предстояло с моей стороны объяснение, требующее изворотливости, ради сохранения престижа честного человека. Впрочем, новую версию я заготовил до прихода, а именно: герой войны — отчим... Отец же подлинный — генерал-лейтенант и крупный военачальник). Но, повторяю, в подобной ситуации, при моем по-прежнему изнеможенном виде и поношенной одежде, зигзагообразные версии могли быть встречены с недоверием... Кстати, впоследствии я узнал, что холодность родителей Бройдов объяснялась не столько моим внешним видом и не столько скандалом у Арского, сколько неодобри-

тельным отзывом моим о стихах Цветы, опубликованных в центральной прессе. Каким образом этот отзыв стал известен Вава, не знаю. Я высказал его воспитателю нашего общежития Коршу, показавшему мне стихи, и то высказал не для того, чтобы обругать Цвету, а наоборот, чтоб подчеркнуть, во-первых, факт моего знакомства с поэтессой, а во-вторых, независимость и равенство мое в мнениях. То, что родителям сообщил Вава, муж Цветы, ревновавший по глупости ее ко мне, я не сомневался. Тем более Вава во время моего посещения находился у Бройдов, но за ширмой, то есть он, конечно, не прятался от меня, а мыл посуду (у Бройдов в их однокомнатной квартире один из углов отделен ширмой для хозяйственных нужд). Вава, конечно, не прятался специально, однако, когда я вошел, он, наверно, умышленно притих, ожидая, что я скажу. И лишь после того, как я, посидев в неловком молчании минут десять, стал собираться, он вышел из-за ширмы со смехом, ничего не говоря, лишь глядя на меня с издевкой. Какое счастье, что я сумел побороть соблазн и не ляпнул здесь о своем отце генерал-лейтенанте, не дав недругу возможности поиздеваться над святым для меня и отделившись лишь общей неловкостью... Было и еще несколько мелочей, подтверждавших мысль о том, что если человек хочет явиться перед обществом в новом качестве, то он должен на известное время исчезнуть, словно умереть, и, воскреснув вновь, внутренние изменения подтвердить внешним перерождением, которое нельзя выразить ни широким шагом, ни прямой спиной, ни иными легко доступными средствами. Но в тот момент, когда я впервые за долгие годы спокойно и с легкой душой был занят бытовыми подробностями моего плана, произошло событие, которое по своему масштабу я сравниваю с получением повестки из военной прокуратуры, сделавшей меня сыном генерал-лейтенанта. Собственно, случилось то же, но наоборот, и я лишен был своего титула.

Началом события также было письмо со штампом военной прокуратуры. Правда, теперь сам вид письма не поверг меня в беспокойство, ибо я этого письма ждал. Еще даже не распечатав письмо, я с удовлетворением подумал, что заседание трибунала по моему вопросу состоялось, Михайлов и Бительмахер, как было условлено, вовремя явились к следователю в качестве свидетелей, все прошло беспрепятственно и приняло официальную форму. Действительно, разорвав конверт, я обнаружил напечатанную на казенной бумаге с красной армейской звездой посередине выписку из протокола заседания военного трибунала от шестнадцатого июня

195... г. «Военный трибунал ...ского округа, рассмотрев дело Цвибышева Матвея Орестовича, начальника планового отдела стекольно-термосного завода...» Вот в этой фразе и была пресловутая «ложка дегтя». Что такое? Я перечитал опять... При чем тут стекольно-термосный завод, если отец мой генерал-лейтенант?.. Это какая-то нелепость... «...начальника планового отдела стекольно-термосного завода Цвибышева Матвея Орестовича, пришел к выводу, что Цвибышев М. О. арестован неправильно. Настоящим постановлением решение военного трибунала ...ского военного округа от третьего апреля 1938 года отменяется...»

Я вошел в будку телефона-автомата и набрал номер Веры Петровны.

— Здравствуйте,— сказала она мне приветливо,— ну, вот видите, мы сдержали слово. Теперь можете заняться денежной компенсацией.

— Вера Петровна,— сказал я пока еще с легким волнением в голосе,— в выписке имеется ошибка. Мой отец генерал-лейтенант, а там он назван, извините, черт знает как,— не сдержав волнение и обиду, закричал я довольно грубовато.

— Вы не нервничайте,— сказала мне Вера Петровна,— хотите, приезжайте, я закажу вам пропуск, поговорите с Сергеем Сергеевичем.

Бодунов также встретил меня приветливо.

— Понимаете, какая штука,— сказал он мне,— ваш отец последнее время действительно работал на термосном заводе.

— Но ведь он был генерал-лейтенант,— лихорадочно заговорил я,— вы сами подтвердили. Он сражался... Он крупный военачальник.

— Никто не собирается умалять заслуги вашего отца,— сказал Бодунов,— но у нас инструкция указывать должность реабилитированного именно в момент ареста... Кстати, этот факт только подтверждает полную невиновность вашего отца... Из целой группы привлеченных по тому делу только Цвибышева и еще одного полковника сочли возможность не арестовать, а просто уволить из армии и исключить из партии. Ведь в те времена это была редкость. Впоследствии ваш отец получил всего пять лет.

— Вы отлично знаете, что это липа,— выкрикнул я.— Какие еще пять лет?.. Он был расстрелян... Черт возьми... Черт бы вас всех подрал... Значит, если бы он был расстрелян немедленно, то он остался бы в своем чине... Значит, его невиновность ему во вред и мне во вред... Да... Ведь когда он был разжалован, это репрессия, ваша задача полная реабилита-

ция, а вы вступаете фактически в контакт со сталинскими палачами...

— Не шумите здесь,— вдруг совершенно по-новому сказал, вернее, scomандовал Бодунов, и лицо его сразу преобразилось, стало жестким.

Я сильно разволновался, но этот окрик несколько подействовал и дал мне возможность прийти в себя. Очевидно, подобные сцены не были здесь чрезвычайным происшествием, поскольку два других следователя-подполковника продолжали спокойно заниматься своими делами, даже не обращая на нас внимания. И для Бодунова, по-видимому, это было весьма привычно, поскольку очень скоро он вновь вернулся к прежнему своему благодушному, приветливому виду и поведению.

— Поймите,— сказал он мне доверительно,— я ведь не свои деньги выкладываю, но инструкция есть инструкция.

Я был так взволнован, что первоначально даже не осознал помимо морального удара серьезнейшие материальные потери, ожидающие меня, поскольку двухмесячная компенсация жалованья генерал-лейтенанта намного, конечно, превышает двухмесячную компенсацию жалованья плановика... Вот оно что... Именно так понимал мое поведение и следователь Бодунов, и Вера Петровна... Какая ерунда... В конце концов главные мои материальные надежды связаны с компенсацией за конфискованное имущество... Здесь же важна идея. Мое положение было так ничтожно, что мне попросту необходим сильный взлет. Тем более теперь, когда я почувствовал себя сыном генерал-лейтенанта.

— Я не возьму эту бумагу,— сказал я, протягивая выписку,— я с ней не согласен.

— По этому вопросу обратитесь к Вере Петровне,— сказал Бодунов,— впрочем, попробуйте подать заявление, может быть, в порядке исключения... Зайдите к Вере Петровне, она вам что-нибудь посоветует... Поймите, я с радостью, но не могу... Инструкция.

— Хорошо,— сказала Вера Петровна,— верните бумагу, напишите официально, что вы не согласны. Но это может продлиться и три месяца, и пять, и год, причем я не уверена в успехе.

— У меня сейчас плохо с деньгами,— сказал я (это не то слово. В связи с ожиданием крупных компенсаций я несколько ослабил узду, и два последних дня мне пришлось питаться одним хлебом, не покупая карамель к кипятку. В то же время я понимал, что крупные суммы за имущество требуют длительного расследования и оформления и, может быть, вопрос

о них отнимет не менее полугода. Об этом мне сказали в КГБ. Мне же срочно — сегодня, завтра, не далее — необходима была небольшая, но живая, немедленно полученная сумма).

— Я вам советую, — сказала Вера Петровна, — поехать на термосный завод, это Стекольный переулок, двадцать три, и получить деньги... Оформите дела, получите комнату, устройтесь, начнете работать, все будет хорошо... И не нервничайте, вы для этого слишком молоды, — она улыбнулась мне.

Я встал и молча пошел к дверям. Остановившись на пороге, я выкрикнул:

— Мой отец был генерал-лейтенантом и останется им.

Вышло несколько театрально, неумно, и я мучился этим всю дорогу к Стекольному переулку. А когда у меня начнутся подобные мучения, то они принимают самые нелепые направления. Так вдруг пришло в голову, что я продал достоинство отца из-за денег, поскольку если бы мне не требовались немедленно деньги, я мог бы не взять бумагу, где он назван был плановиком термосного завода, а мог добиться официального восстановления его в прежнем чине. Но жизнь на грани, без материальных запасов не оставляла мне шансов на строптивость. В таком состоянии прибыл я на стекольно-термосный завод. Я предъявил в проходной паспорт старой женщине с милицейским револьвером у пояса и вошел во двор. Это был небольшой старый заводик, и он мало, пожалуй, изменился с тех пор, как разжалованный и исключенный из партии мой отец работал тут плановиком полгода до своего ареста... Здесь были почерневшие от времени приземистые цеха и построенное из красного казарменного кирпича двухэтажное административное здание. Прямо во дворе, среди древесных опилок, была сложена побочная продукция термосного завода: двух- и трехлитровые банки для натуральных соков, маринадов, засолки овощей. Несмотря на различие в производстве, в смысле административном обстановка здесь была несколько родственна управлению строймеханизации, где я работал, но более стационарная, устоявшаяся и потому более солидная.

В тот момент, когда я вошел в административное здание, там был какой-то аврал. По коридору прошло несколько молодых людей с кальками и какой-то старичок, явный бухгалтер, с ведомостью. Секретарша, похожая на Ирину Николаевну, но посolidнее, покрасивее, искала какого-то Петрицкого, заглядывая в разные двери. Ей ответили, что он в цехе.

— Его срочно Фрол Егорович вызывает,— взволнованно сказала секретарша,— немедленно разыщите.

Я вошел в приемную, где сидело много людей. Обстоятельства складывались так, что я невольно превращался в некоего просителя для получения тех нелепых крох, того ничтожного выкупа, который причитался мне за смерть отца... Это меня разозлило.

— Мне нужен директор,— жестко сказал я.

— Директор занят,— даже не глядя на меня, ответила секретарша.

— А когда он освободится?

— Приходите в конце недели.

— Нет, я зайду сейчас.

Секретарша подняла на меня глаза.

— Вы кто такой?— сразу обрушилась она на меня, очевидно, весьма низко оценив мою внешность.— Вы чего здесь хулиганите? Как бы не пожалели...

Я хотел рассмеяться презрительно, но рассмеялся злобно и рывком открыл обитую кожей дверь, шагнул в табачный дым. Была знакомая атмосфера планерки, в которой не раз унижали меня прежде, в бытность мою прорабом стройуправления. У стола директора сидели те, кто посолидней, у стен на стульях те, кто помельче. Директор чем-то напоминал Брацлавского, но с некоторым налетом интеллигентности и утонченности. Я сразу определил, что это человек с крутым административным нравом, и потому, шагнув прямо к нему, не дав опомниться, с удовольствием перебил его на полуслове и положил перед ним бумагу. Он оторопел.

— Что такое?— не понял он, возможно впервые представ перед подчиненными растерянным от неслыханной наглости.

— Деньги мне выплатите,— сказал я.

Тут директор пришел в себя.

— Михаэла Андриановна,— крикнул он бледной, стоявшей на пороге кабинета секретарше,— почему врываются, за чем вы там посажены, зарплату получать...

— Подпишите,— сказал я, ударив пальцем по казенной, выданной мне Верой Петровной бумаге трибунала для получения денег.

— Нам неизвестен такой закон,— сказал директор,— пусть они выплачивают из своих фондов.— Он протянул бумагу мужчине, сидевшему от него справа, очевидно, какому-нибудь местному Юницкому.

— Надо посоветоваться с юристом,— сказал «местный Юницкий».

В последнее время при наличии препятствия я действовал

просто, крича об отце генерал-лейтенанте. Ныне эта возможность была отнята у меня, в то время как внутри я уже был полностью раскован и утратил способность добиваться успеха покорностью и просьбами. В этом и была причина продолжительных, я бы сказал бессильных, скандалов, которые ожесточили мое сердце и расшатали мои нервы и в период которых я вступал. Я даже сам не заметил, как такой бессильный скандал забушевал в кабинете директора термосного завода. Вызвали сторожа, и меня вывели в коридор чуть ли не принудительно. Рядом шел старичок в нарукавниках, бухгалтер или плановик, явно относящийся ко мне хорошо.

— Вы не волнуйтесь,— нашептывал мне старичок,— надо было предварительно ко мне, а не к директору... Положено — выплатим... Правда, у нас сейчас с фондом зарплаты тяжело, может, через месяц выплатим...

Если раньше со мной расправлялись просто и грубо, то теперь появился новый мягкий, но непреклонный стиль пресечения моих притязаний. Благодаря моим личным качествам и обстановке борьбу мне приходилось вести даже за те бесспорные мелочи, которые должны были совершиться сами и механически. Должен сказать, что в таком сложном процессе, как реабилитация, были свои счастливики и свои неудачники, к коим отношусь и я... Если б я получил компенсацию по крупной должности генерал-лейтенанта, а не по мелкой — плановика, то выплата прошла бы проще, почетней и без излишней нервной затраты...

Устраненный силой из кабинета директора, я вышел на заводской дворик и из автомата опять позвонил Вере Петровне.

— Мне отказываются выплачивать,— сказал я ей нервно.

— Подождите там и не волнуйтесь,— ответила мне эта добрая женщина,— сейчас мы их призовем к порядку.

Я сел на скамейку у клумбы, где несколько рабочих пили из бутылок казенное молоко (производство было вредное). Я решил думать о том, что когда-то здесь ходил мой отец и глаза его смотрели на эти красные казарменные здания, но из этого ничего не вышло, вернее, получилось надуманно и малоинтересно. Возникли еще мысли, но все не туда. Единственно, о чем я подумал естественно и искренне, это о нелепости ситуации пребывания моего на термосном заводе, о котором еще утром я и понятия не имел... И о нелепом столкновении моем с людьми, которых я еще утром не знал и никогда б не знал, если б отца моего, разжалованного из крупных чинов, не направили сюда, дав ему до ареста вкусить унижение на свободе. И вот тут-то пришло то, чего я настойчиво добивался с самого начала, едва выйдя во двор и усевшись на ска-

мейку. Впервые я ощутил неразрывность связи с моим отцом, через личное, бытовое ощущение того унижения, которое он претерпел здесь... Есть дети, которые являются продолжением величия своих отцов, есть же, которые являются продолжением унижения своих отцов. С этим новым поворотом в мыслях я встал и опять вошел в административное здание. В коридоре меня встретила заплаканная секретарша.

— Молодой человек,— сказала она,— как вас зовут?

— Григорий Матвеевич,— ответил я довольно враждебно.

— У меня к вам большая просьба, Георгий Матвеевич (от волнения она спутала мое имя, что, впрочем, часто случается, и даже домашние зовут меня не Гриша, а Гоша).— Георгий Матвеевич, у меня к вам большая просьба,— повторила она и взяла меня неожиданно об руку, отведя в сторону и несколько раз, может быть случайно, коснувшись упругой секретарской грудью.— Георгий Матвеевич,— третий раз повторила она покорным тоном, каким привыкла говорить с начальством и с помощью которого добивалась себе благ в жизни (этот метод я отлично знал и чувствовал, хоть ныне он был мне чужд и недоступен),— Григорий Матвеевич,— сказала она в четвертый раз, теперь правильно уже назвав меня по имени (я столь дотошно отмечал каждую мелочь, ибо мозг мой теперь был недоверчив, холоден, мелочен и остр, ища путей к борьбе и скандалу),— я прошу вас,— сказала секретарша,— извинитесь перед Фролом Егорычем.

— Что?— оторопело вскричал я.

— Вы человек случайный, пришли и ушли,— секретарша всхлипнула,— и именно потому, что вы ему недоступны, он расправится со мной за то, что я вас пропустила.

Я посмотрел на секретаршу. У нее были густо, не по летам намазаны губы и вообще вид женщины, которая добывает себе благосостояние любыми средствами, не чураясь самых крайних, женских... И вспомнил я, как встретила она меня, когда приехал я, подавленный несправедливостью по отношению к моему отцу, несправедливостью настолько вопиющей, что она носила даже несколько шуточный, каламбурный характер, то есть несправедливость при восстановлении справедливости... Не встретить меня секретарша так грубо, я не вооружался бы в сердцах к их «наполеончику» термосного завода, не устроил бы скандал, не истребал бы нервы и вообще, обычное финансово-бухгалтерское мероприятие не приняло бы характер политического противостояния (а в том, что их «наполеончик» сталинист и недоволен действиями Хрущева, я ныне

даже не сомневался, коротко проанализировав на скамейке его поведение).

— Вы с ума сошли,— сказал я грубо, и искреннее возмущение дало мне силы избавиться от ее женских прикосновений.— Чтоб я извинился перед этим сталинистом...

— У меня дети,— всхлипнула секретарша,— он уволит меня... У меня родной дядя реабилитированный,— произнесла она почти шепотом и с оглядкой.

Этот жест ее мне особенно не понравился, и я, как говорится, перегнул палку, будучи уже сильно взбешен.

— Ничего,— сказал я,— я уйду, и он меня забудет... А ты (я сказал «ты»), а ты переспишь с ним, и он простит.

Секретарша как-то пискнула по-женскому стандарту, положив на рот ладонь, а я пошел в приемную и, открыв дверь, беспрепятственно вошел к директору. Этот самый «наполеончик», Фрол Егорыч, сидел, разглядывая какую-то бумагу. Рядом с ним не сидел, а стоял сотрудник в полупоклоне, то есть так же разглядывая бумагу, но придав своему телу позу, которая не только помогала давать пояснения, но и указывала на разницу в административном положении. Когда я вошел, сотрудник глянул на меня испуганно и умоляюще. Фрол же Егорыч сделал вид, что не заметил меня. В отличие от Брацлавского, который, будучи грубым кузнецом, выдвинувшимся в директоры, и который пользовался властью местного хозяйчика для наведения порядка и удержания за собой должности, Фрол Егорыч, тронутый налетом интеллигентности, научился еще и наслаждаться властью. Все это я понял разом, стоя посреди кабинета розовощекого (у него были розовые щечки) «наполеончика», и возрадовался своему независимому положению. Именно эта приятная мысль, как ни странно, помешала мне использовать найденный мной и успешно применяемый мной в кабинетах жест независимости, то есть самостоятельно, без приглашения взять стул и сесть с грохотом, закинув ногу на ногу. Я понимал, что «наполеончик» отомстит сотруднику, сотрудник этот, который не сделал мне ничего дурного, смотрел на меня умоляюще, прося взглядом не скандалить при нем. Поэтому я остался молча стоять посреди кабинета, лишь широко расставив ноги (мне подобная стойка почему-то показалась проявлением независимости). Прошло не менее десяти минут. Жужжал вентилятор. Фрол Егорович наливал из сифона газводу, пил, давал указания. Сотрудник, не разгибая спины, поддакивал. Оба не замечали меня (сотрудник лишь раз глянул вначале). Наконец Фрол Егорович, совершенно неожиданно и по-

прежнему совершенно не глядя на меня, между двумя указаниями сотруднику, бросил как бы мимоходом:

— Идите в бухгалтерию получать.

— Спасибо,— сказал я.

Причина этой благодарности была двоякого рода. С одной стороны, быстрое решение дела в мою пользу с помощью звонка из военной прокуратуры, конечно, успокоило мое самолюбие и несколько размягчило сердце. Но я б никогда, даже в таком состоянии, не поблагодарил бы этого сталиниста, если б размягченное сердце мое не испытывало раскаяния по отношению к секретарше, которая ждала, и я видел это, у щели в приоткрытых дверях. Когда я вышел, она успела отскокить и сидела уже за секретарским столиком.

— Я не извинился, но поблагодарил его,— сказал я в качестве ответа на ее просьбу.

— Подождите секундочку,— сказала секретарша,— посидите.— Она быстро встала, прошла по коридору и минут через пять вернулась.— Можете получить деньги прямо сейчас, я договорилась с бухгалтером и кассиршей.

Я знал, что могу получить и без ее договора, но понимал язык внутренних административно-бытовых взаимоотношений. Это значило: кое-что для меня сделать. И так как меня по-прежнему немного мучила сказанная в ее адрес сальность, я дал ей возможность помочь мне. Все в короткий срок запутавшиеся и принявшие угрожающий характер мои взаимоотношения с работниками термосного завода также в короткий срок пришли в норму и исчерпали себя... Я получил деньги, хоть и не генеральскую, но серьезную и крупную при моих финансовых масштабах сумму, и, как бы там ни было, в конечном итоге уехал в неплохом настроении и даже ободренный.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Последующая неделя была удачна, и поступки мои были достаточно точны и успешны, кроме одного, а именно посещения мной жилищной комиссии исполкома. К сожалению, это случается со мной не впервые, когда ряд удач заставляет меня забыть о чувстве меры и неосмотрительно, без подготовки совершать шаги либо чересчур смелые, либо чересчур поспешные...

Прежде всего, получив деньги, тугую пачку, которую, войдя в общественный туалет и запершись, еще раз тщательно пересчитал, я тут же, стоя в тесной дощатой кабине, при-

нялся распределять по фондам. Должен сказать, что ныне, когда первый восторг от реабилитации прошел, начал формироваться некий компромиссный характер моего поведения, в который вновь вошли и некоторые элементы из прежней жизни, например, осмотрительность и расчет. В частности, мной предусмотрены были ассигнования на покупку недорогого импортного костюма. Соблазн был весьма велик. Я знаю, что красивая одежда мне к лицу и совершенно меня преображает. После того, как стало известно о возможности получения мною серьезных сумм, я начал посещать магазины, разглядывая и прицениваясь. Наконец, после тщательных поисков, мной на улице Октябрьской революции найден был небольшой магазин готового платья, где я обратил внимание на три костюма из социалистических стран, причем по весьма доступным ценам. Один был темно-кофейного цвета, с едва заметной светлой ниткой, придающей ему своеобразный оттенок; второй был цвета обыкновенного синего, но главную цену ему придавали брюки, сшитые по последней моде — узкие, с широким манжетом; к третьему, сказать откровенно, привлекала баснословно дешевая цена, чуть ли не на уровне хлопчатобумажного, а между тем он был весьма приличен и даже не лишен своеобразия, благодаря светлым линиям на сером фоне. Конечно, из трех этих кандидатов я отдавал предпочтение темно-кофейному, но это еще следовало взвесить и обдумать непосредственно при покупке. Получая деньги и расписываясь в ведомости, я думал именно о кофейном, намереваясь тут же отправиться за покупкой. Поэтому я вошел в туалет сразу же во дворе термосного завода, хоть в этом и был некоторый риск, но я хотел отсчитать сумму, которую смогу прямо вынуть в магазине, без необходимости вытаскивать всю пачку. Однако, начав отсчитывать, я решил заодно и распределить деньги по фондам, поскольку в шестикоечной комнате общежития у меня для этого возможности не было бы и все равно пришлось бы запереться в туалете общежития. Прежде всего несколько бумажек покрупней я решил тут же положить на сберкнижку, значительную сумму выделил непосредственно на трехразовое питание, самую малость на транспорт (в основном я ездил без билета), приличную сумму на текущие бытовые расходы (оплата койко-места, покупка носков, блокнотов, карандашей и прочие непредвиденные траты), и, кроме того, я не смог преодолеть соблазна и выделил довольно серьезный фонд на удовольствия (кино, стадион, мороженое, конфеты... Не карамель к чаю, трата на которую была предусмотрена трехразовым питанием, а настоящие конфеты, иногда даже шоколадные, средней стоимости).

Но когда все это было распределено, обнаружилось, что без суммы, отложенной для костюма, концы явно не сходятся с концами. Благоразумие и внутренняя интуиция не позволили мне утешить и обмануть себя расчетами на крупную компенсацию за конфискованное имущество, дело о котором находилось еще в самой ранней стадии. И благоразумие же помогло мне отложить покупку костюма на будущее. Правда, единственное, что я себе позволил, это выделить из денег, ранее предназначенных для костюма, немного на покупку летней обуви с мягкой удобной подошвой (в жаркие дни осенние башмаки из твердой кожи терзали мне ноги, натирая волдыри). Летние туфли были куплены тут же в магазине против термосного завода. Они ласково прикасались к моим намученным осенними башмаками ногам (башмаки я завернул в газету), и я совершенно удовлетворился своим поступком и убедился в его правильности. Походка моя стала более легкой, и хоть я уже не ходил сильно выпрямившись, как в первые дни реабилитации, тем не менее вполне осознавал свои права если не на выдающееся, то на прочное место в обществе. Посмертное восстановление в партии моего отца, произошедшее вскоре, обрадовало меня, начавшего испытывать некоторое сомнение и беспокойство, и еще более убедило меня в том, что положение отщепенца навсегда кануло в прошлое. Заявление о восстановлении в партии моих родителей я подал сразу же после посещения мной Бительмахера, и ответ прибыл довольно скоро, через день после получения мной посмертного двухмесячного заработка отца. Меня вызвали в обком партии.

Это было большое серое здание с колоннами и с полукруглым фасадом, выходящим на широкую, залитую асфальтом площадь. И здесь, конечно, имелось бюро пропусков. Старшина тщательно (тщательней, чем в иных государственных учреждениях) осмотрел мой паспорт, выдал пропуск и велел пройти через боковой подъезд. Комната, куда меня вызывали, находилась на первом этаже, даже несколько в полуподвале. Четыре старика и одна старушка сидели за столами. Видно, дело посмертного восстановления в партии поручили старым большевикам. Бительмахера, например, то есть человека живого и лично для себя добывающегося восстановления в партии, вызывал к себе действующий молодой инструктор по оргвопросам. Жалоба его, после того как ему отказали, оставлена была без внимания самыми высшими инстанциями. Посмертное же восстановление в партии было проще. Старичок с бородкой клинышком, чем-то похожий на Михаила Ивановича Калинина, достав из папки, тщательно перечи-

тал мое заявление, которое я сочинил, повинуюсь вдохновению и разговорам у Бительмахера, и где сказано было о сыновьем долге моем добиться восстановления родителей в партии, которой они отдали силы, молодость и жизнь и откуда были несправедливо исключены сталинскими палачами.

— Ну что ж,— сказал мне старичок,— из военного трибунала мы выписку получили... Отец ваш был репрессирован и исключен из партии, мать же ваша репрессирована не была, но тем не менее из партии исключена. Это создает определенную неясность, и потому с восстановлением ее сложно. Что же касается вашего отца, то тут все ясно,— он похлопал по желтой старой папке, похожей на ту, какую видел я в трибунале и являющейся, очевидно, партийным делом отца.— Итак,— сказал старичок,— ваш отец посмертно восстановлен в партии... Поздравляю вас,— и, встав, он пожал мне ладонь холодными от старости пальцами.

— Спасибо,— ответил я.

Процедура была окончена благополучно, и, попрощавшись, я вышел на залитую солнцем широкую площадь в довольно хорошем настроении. (Выражение, так часто употребляемое, но соответствующее действительности. Отщепенец гораздо более оптимист, чем человек обычного порядка. Умение приводить разные факторы в равновесие и ориентироваться на пойманную в выгодный момент равнодействующую является защитным свойством, и нельзя строго спрашивать с отщепенца, если он тяжелые потери и обиды умеет смягчать даже мятными лепешками или чужим, пусть формально и мимоходом брошенным добрым словом.)

После реабилитации отца начали реагировать довольно быстро все инстанции, куда я подал заявление. Вскоре (через два дня) мне прибыла повестка из Управления тюрем и лагерей МВД, но вызывали меня не в управление МВД, а указывался адрес, показавшийся мне знакомым. И действительно, по странному совпадению учреждение это находилось совсем рядом с общежитием, в здании школы милиции, но вход со двора. Здесь бюро пропусков не было. Я просто вошел во двор (как мне объяснил дежурный школы милиции, куда я прежде, конечно, сунулся через главный вход), прошел со двора в подъезд, поднялся на второй этаж в комнату пятьдесят и протянул повестку пожилому майору в погонах с синими кантами.

— Садитесь,— сказал он мне.

— Спасибо,— ответил я.

— Жарко на улице? — спросил меня майор.

— Не очень,— ответил я.

— Пожалуй, дождь пойдет,— сказал майор, глянув в окно.— Как футбол, так дождь идет,— сказал он мне, явно пытаясь не дать умолкнуть бытовому разговору.

Я же, если ничем не озлоблен и не огорчен и если человек со мной доброжелательно говорит, не могу его оборвать и всегда иду ему в подобном пустопорожном бытовом разговоре навстречу, хоть ощущаю натужность, неловкость, и выражается это в том, что я не смотрю человеку в глаза. Наоборот, если я ощущаю открытую вражду, то смотрю прямо и с ненавистью. В подобной же ситуации, когда человек мне неинтересен, явно чужд, но не враждебен, я всячески стараюсь говорить с ним мягко и по-доброму, однако при этом смотрю мимо его лица в сторону, словно стесняюсь своей лицемерной вежливости. Ныне, поддержав разговор о футболе, я даже взял инициативу на себя, высказав свои соображения по поводу игры известного форварда, что было уже излишним, рассказав какой-то анекдот, правда, не политического плана, и услышал, как майор рассмеялся (услышал, а не увидел. Оживленно говоря, я смотрел в стену, на майора лишь изредка мельком, причем вниз на сапоги).

В это время в комнату вошел кряжистый, широкоплечий подполковник.

— Это Цвибышев,— сказал ему майор, как-то быстро глянув на подполковника и вложив в этот взгляд некий смысл.

— Садитесь, пожалуйста,— сказал подполковник (я встал, разглядывая футбольный график, который обнаружил на стене, и подполковник застал меня на ногах).— Так живете вы все время здесь, в этом городе?— спросил меня подполковник.

— Да,— ответил я, стараясь угадать, куда он клонит.

— А в войну где были?

— На Северном Кавказе,— ответил я, стараясь понять смысл его вопроса (смысла не было никакого, это стало ясно не далее, чем через минуту-другую. Просто подполковник создавал атмосферу непринужденности и отсутствия напряжения, прежде чем сообщить мне известие, но создавал, по моему, не совсем правильно, поскольку его вопросы меня настораживали).

— Был на Северном Кавказе,— повторил я,— до немецкого наступления в сорок втором.

— Знаменитое немецкое наступление,— улыбнулся зачем-то подполковник.

Впоследствии анализируя, я пришел к выводу, что подполковник был новичок в секторе розыска реабилитирован-

ных и вел себя неточно. Своим неточным поведением он и меня привел в состояние неловкости. Наступила пауза.

— Ну, приступим,— сказал наконец подполковник,— на ваш запрос мы получили ответ из места заключения... Согласно архивным данным, ваш отец, к сожалению, умер.— Он быстро посмотрел на меня, не станет ли мне дурно и не вскрикну ли я от горя...

Человек, равнодушный к чужой беде, всегда умозрительно преувеличенно воспринимает чужие страдания... В данном же случае ситуация носила вовсе нелепый характер, ибо никакого страдания с моей стороны не было и быть не могло. В сущности, он сообщил мне о смерти чужого человека, которого я не помнил и не знал. Более того, я никогда и не мыслил своего отца живым и, как уже говорил, опасался этого... Встречи с реабилитированными укрепили меня в этом опасении. Чувство неловкости, которое вызвал во мне подполковник, топорно и грубо готовя меня к скорбной вести, после сообщения этой вести еще более усилилось. Неловкость и за подполковника и за себя, за то, что мы оба стоим опустив глаза, будучи пустыми в душе. Более того, самостоятельно я не стал бы подавать заявления в эту инстанцию и подал лишь потому, что в военной прокуратуре мне на нее указали. Был лишь один человек, который за эту инстанцию ухватился бы в первую очередь, который не стал бы ждать ответа, а выехал бы туда, на место заключения немедленно. Но этот человек сам давно был мертв, этим человеком была моя мать... Только эти два человека нужны были друг другу просто так, без всякого повода и в любом виде... Но оба они были мертвы и потому оба в подлинном смысле и забыты... Навек исчезли их привычки, их слабости, их духовные и телесные подробности.

Впрочем, нельзя сказать, что я вышел из здания школы милиции совсем уж прежним и ничуть не изменившимся в душе... Нет, что-то осталось, что-то застряло внутри, однако снова приняв привычные формы личного, своекорыстного, и от всего сохранился осадок личной неудовлетворенности и даже раздражения, ибо все это, как мне показалось, приобретало характер некой несерьезной игры. То, что люди в чинах, в специально созданных учреждениях, занимаются этой игрой, и то, как подполковник готовил меня к скорбной вести, которая не могла меня взволновать, поскольку давно была известна и несомненна и поскольку покойный отец мой был мне чужим и незнакомым, и то, как я сам вынужден был, выслушав о смерти моего отца, вести себя как на чужих похоронах, все это теперь, когда я вышел на жаркую улицу (день

был жарким), все это показалось мне стыдным для меня и оскорбительным. Чувство стыда и личного оскорбления особенно усилилось оттого, что я получил направление в ЗАГС, где мне должны были выдать удостоверение о смерти отца. Еще в детстве мне сказала мать, что отец мой умер, и вот теперь, в тридцать лет, мне сообщают об этом как новость и даже удостоверяют это документом...

Меня направили в один из районных ЗАГСов неподалеку (буквально за три дома) от КГБ (очевидно, в том была какая-то связь, и родственникам погибших в разных местах заключения выдавали документы именно здесь). Вообще мое представление старого холостяка о ЗАГСе имело весьма специфическую окраску, с некоторым даже налетом юношеской неловкости, стыдливости и страха перед неизведанным. О ЗАГСе я никогда не думал и в связи со смертью, но именно в этой связи мне пришлось впервые переступить его порог. Очевидно, этот жаркий полдень (было не менее тридцати градусов, асфальт стал мягким, а неподвижная листва как чехлами была покрыта горячей пылью), очевидно; этот полдень не способствовал свадьбам, и в ЗАГСе было пусто и тихо. Впрочем, несколько человек в вокзальных позах сидели в большой комнате, но не по-праздничному одетые, видно, для предварительной подачи заявлений. Я увидел это в открытую дверь, но туда не пошел, поскольку тут же в коридоре я узнал, что регистрация умерших у входа за боковой дверью. В комнате сидела за столом молодая женщина. Я протянул ей направление, и при этом мной овладело вновь крайнее чувство неловкости, в котором раздражение если и присутствовало, то нельзя сказать в малом, скорее в сжатом состоянии, как пружина.

— Вот,— сказал я тихо,— пришел приятную весть получить (вышло какое-то подобие глупой шутки).

— М-да,— коротко выразилась женщина, то ли по долгу службы сочувствуя мне, то ли просто находя неприличным оставить без ответа любое высказывание посетителя.

Вряд ли она мне действительно сочувствовала. Лица, облуживающие подобные учреждения, относятся к скорби посетителей естественно и профессионально. Правда, перебирая картотеку, женщина несколько раз бросала на меня встревоженно-заинтересованный взгляд. Я отношу это к тому, что как раз на лице моем не было подобающей данному случаю скорби, а была скорее некая нервная неловкость и даже стыдливость. Наконец женщина нашла карточку моего отца, вынула ее и принялась, заглядывая туда, писать на гербовом бланке свидетельство о смерти, заполняя стандартные графы: фамилия — Цвибышев, имя, отчество — Матвей Орестович...

Графы национальность в свидетельстве о смерти не было. Было место смерти, дата смерти и причина смерти... Город Магадан, писала она, седьмого марта 1938 года. Причина смерти паралич сердца. Она расписалась и поставила дату, приложила печать. Все дальнейшее происходило в полной тишине, лишь слышно было, как скрипит перо да за окном проносятся трамваи. Женщина промакнула написанное канцелярским пресс-папье и протянула мне свидетельство. Я взял, поднялся и не прощаясь вышел...

Итак, итог последних событий: отец достаточно легко и просто посмертно восстановлен в партии. Мать в партии не восстановили, поскольку она не была подвергнута прямым репрессиям, смерть ее у властей не могла вызвать чувство ответственности, и потому ее посмертное положение для меня было менее важно. Отец же был легко восстановлен посмертно в партии, и это вновь вселило в меня чувство уверенности и капризного какого-то утверждения своих прав, когда любое извинение за причиненные мне унижения кажется мне недостаточным и за свои унижения хочется тиранить постоянно власть (я говорю — вновь, ибо подобное чувство уже возникало вначале, но после того, как военная прокуратура отказалась подтвердить документально генеральский чин отца и после окрика следователя Бодунова в мой адрес, представление мое о собственных правах приобрело более скромный вид, и нервы мои, расшалившиеся от капризного сознания невозможности извиниться передо мной, нервы мои даже успокоились). Однако посмертное восстановление отца в партии и сообщение о его смерти (вернее, форма сообщения), в которой, как мне показалось, представители МВД делают все, чтоб уменьшить мое негодование по поводу совершенных против меня несправедливостей, все это вновь расшатало мои нервы и привело меня в деятельное состояние, как в начале, при посещении мной районной и генеральной прокуратуры. Правда, тогда в состоянии моем было более детской радости, восторженности и благодушия, связанных с переходом от полного бесправия к правам, обеспечивающим мне (так я думал) блага и прямую дорогу в общество. Ныне же от полного бесправия я успел отвыкнуть и к тому же ожесточился, с одной стороны, препятствиями на пути к восстановлению прав, с другой стороны, ставшими мне известными некоторыми подробностями ареста отца, его разжалования, его смерти (формулировка «паралич сердца» меня особенно ожесточила). Поэтому, на втором этапе самоутверждения, мне требовалось не столько даже удовлетворение моих прав и нужд, сколько постоянное удовлетворение моего капризного оже-

сточения; требовались непрерывные извинения передо мной, которые бы я отвергал. Именно в таком состоянии я и пошел в жилищную комиссию исполкома...

Исполком помещался в центре города на главной улице. Ранее, будучи бесправным, я проходил мимо него с невольной опаской. Сейчас же я поднялся по его широким ступеням, опять, как в первые дни, широко шагая и выпрямившись. Несколько сбили мне спесь (смешно сказать) обычные вращающиеся двери, с которыми я столкнулся впервые и в которых застрял, стараясь не приноравливаться к суевающимся вокруг людям, а держа свой темп и осанку... Наконец, несколько раз споткнувшись, очутившись в вестибюле и придя в себя (представьте, такая мелочь и неловкость может меня расстроить), я разузнал, где находится жилкомиссия (третий этаж). Тут я увидел большое число людей. Все складывалось совершенно не так, как я предполагал. Вряд ли это было похоже на место, где передо мной будут извиняться за искалеченную жизнь мою и моих родителей. Слишком здесь было не либеральному делово. Тем не менее я не совсем потерял капризное свое ожесточение, которое старался поддержать и подкрепить нервной прямой размашистой походкой. Подойдя к деревянным перегородкам, у которых толпился народ, я протянул какой-то женщине (перед ней было посвободнее) мои бумаги.

— В чем дело? — спросила она, подняв на меня глаза.

— Куда мне обратиться? — сухо, чтоб показать себя не просителем, а человеком с правами, сказал я, — мне надо узнать насчет порядка возвращения жилплощади реабилитированным.

— Ничего вам не вернут, — сказала она, разглядывая меня с насмешливой неприязнью и не беря бумаги, — и нечего вам здесь делать (замечу, это она перегибала, выказывала не точку зрения учреждения, которую не знала, будучи мелким канцеляристом, а собственную личную ненависть к людям подобного рода).

— Как так! — крикнул я. — Моего отца арестовали и угробили.

— Я его не арестовывала, — сказала женщина с неприязнью, в которой против моего ожесточения сквозило контрожесточение.

Эта женщина, судя по всему, была, как я уже заметил, низкооплачиваемый кадровый работник исполкома, конечно, любящая Сталина совершенно бескорыстно (она и при Сталине занимала, очевидно, эту низкооплачиваемую должность). Именно благодаря своему низовому положению она не

видела необходимости скрывать свои чувства к новым веяниям... Я ее обругал, она мне ответила, ничуть не уступая. На нас начали обращать внимание. Я отошел, но, как ни странно, капризное мое ожесточение уменьшилось после этой перепалки, ибо этот род нервной энергии растет как раз по мере отсутствия сопротивления.

В двери непосредственно жилищной комиссии мне вряд ли удалось бы прорваться, я это понимал и потому, пойдя по коридору, просто открыл одну из дверей, на которой было написано: А. Ф. Корнева. В светлом кабинете с шелковыми шторами на окнах сидела женщина административно-руководящего вида, с наличием в одежде мужского элемента: в синем с белой полосой костюме, сшитом наподобие мужского пиджака, но приталенном и с выпущенным поверх костюма отложным воротником. Тем не менее лицо женщины было миловидно, похоже, она лишь недавно начала полнеть и находилась в той стадии, когда полнота еще не уродует черты, а наоборот, подчеркивает мягкость и женственность. На полном пальце женщины было толстое, консервативное обручальное кольцо. Женское начало, которое еще более подчеркивалось попытками окрасить его мужским элементом и тем самым придать себе государственный вид, женское начало вселило в меня вновь надежду найти удовлетворение своему капризному ожесточению и предъявлять требования, слыша в ответ уговоры и мягкие советы.

— Садитесь, товарищ,— сказала мне А. Ф. Корнева,— вы по какому вопросу?

Я протянул ей бумаги, которые она начала внимательно читать.

— До ареста отца,— сказал я с капризным своим озлоблением,— мы жили по улице Новой.

— Ну что ж,— сказала мне А. Ф. Корнева,— а теперь там живут другие советские люди... Вам сколько лет?— не дав мне опомниться, размашисто и резко перевела она разговор в другую плоскость.

— Скоро тридцать,— растерянно ответил я.

— Вот видите,— сказала Корнева,— как бы там ни было, вы живы, здоровы, одеты... Конечно, учились, государство затрачивало на вас средства, а вы приходите с какими-то требованиями...

Я собрал бумаги и вышел, не сказал ей ни слова. Прежней своей, бесправной походкой торопливо покинул я это учреждение. Я понял, что лишь рядом с карательными органами, принимавшими непосредственное участие в расправе над родителями, я имею сегодня какие-то права и, лишь общаясь

с ними, могу что-то требовать. Далее, за этой тонкой перего-родкой, простирается плотная масса государственных учре-ждений и частных лиц, для которых мое положение отщепен-ца осталось неизменным, которые не считают себя ничем мне обязанными, отвергают мои притязания и не желают распла-чиваться даже условно, с помощью добрых слов и бумажек (как платят карательные органы). И я понял, что должен бо-роться за свое бытовое устройство и за возмещение мне мо-рального ущерба путем постоянных требований исключитель-но в сфере карательных органов, с которыми связан чем-то вроде «семейных уз» в результате непосредственного участия их по долгу службы в расправе над нашей семьей. То есть с карательными органами я был связан их непосредственны-ми действиями по отношению к нашей семье и потому ис-ключительно в среде этих органов имею право на своего рода «семейные скандалы». Все же остальные учреждения не счи-тают себя передо мной виноватыми, ничем мне не обязаны, и потому я перед ними по-прежнему бесправен. Так проана-лизировав свои ошибки, я определил дальнейший план дей-ствий.

На следующий же день я явился в комитет государственной безопасности. На сей раз сотрудник, занимающийся моим де-лом, где-то отсутствовал (следовало предварительно созво-ниться, чего я не сделал). Итак, сотрудник отсутствовал, за него ответила женщина и, узнав мою фамилию, после паузы, очевидно куда-то заглянув или у кого-то справившись, велела мне подождать. Пришлось сидеть довольно долго, почти со-рок минут, снова среди сытых, устроенных людей, хлопотав-ших о поездке за границу. Я пытался было ждать сотрудника на улице, поскольку ныне знал его в лицо и знал, что он дол-жен выйти из противоположного, стоящего через дорогу зда-ния. Но по сравнению со вчерашним жарким днем погода ре-зко переменялась. Уже с утра небо было обложено тучами, теперь же, к полудню, пошел дождь, подул ветер и похолода-ло. Если осенью и весной я отношусь к дождю и холоду есте-ственно и спокойно, была б только хорошая теплая одежда и непромокаемая обувь, то летнее ненастье я всегда воспри-нимаю с раздражением и обидой, как вопиющую несправед-ливость, особенно для человека, ограниченного в средствах, поскольку летнее тепло дает возможность, помимо всего про-чего, поправить внешний вид, загаром скрыв бледность от плохого питания, да плюс недорогая, но яркой расцветки ков-бойка с закатанными рукавами. В ненастье же надо носить что-либо поплотней, а что поплотней, то и подороже. Пото-му тут меньше возможностей на обновку, приходится носить

старое, и в ненастье я всегда хуже выгляжу, чем в теплую погоду... Вот почему летнее ненастье я особенно не люблю, и у меня всегда портится при этом настроение. Причем раздражение мое, я сам это осознаю, нелепо и бессильно, а потому особенно ядовито... В бога я не верю, но в такие дни начинаю его в душе проклинать и, не имея точки приложения своему раздражению, начинаю себя тиранить, вспоминаю свои проступки и просчеты, а к окружающим отношусь со злостью. Дело доходило до того, что даже при прежнем моем бесправии, если летнее ненастье удерживалось долго, то раздражение мое иногда достигало такой силы, что создавало какую-то иллюзию права и собственного достоинства. Был случай, когда я надерзил и крикнул на начальника производственного отдела Юницкого, причем в ответ на какую-то совсем незначительную обиду (весь август тогда был холодным и дождливым, прямо перейдя в осень). Правда, крикнув, я тут же испугался лишиться места (дело происходило год назад, когда отношения с Михайловым уже были натянуты). Но, к счастью, Юницкий воспринял мой крик не всерьез и тогда все обошлось... Ныне же я с одной стороны ощутил права, а с другой, не далее чем вчера понял, что права эти весьма локальны и распространяются лишь в пределах учреждений карательных органов, где я имею возможность требовать и раздражаться и потому здесь могу освободиться от напора нервной энергии. Совокупность и совпадение всех этих чувств и понятий привели меня сейчас в особо возбужденное и капризное состояние. Так что в дальнейших моих взаимоотношениях с сотрудником КГБ никакого особого перелома в моем состоянии не произошло, поскольку оно и до того было достаточно взвинченным. Произошло лишь усиление этого моего состояния, получившего конкретное направление и точку приложения.

Сотрудник явился в плаще, в фетровой шляпе и с портфелем. Для начала я хотел съязвить что-либо о моем долгом ожидании и что во время ареста отца они действовали проворнее (острота глупая). Я это осознал, поскольку предварительно не созвонился и сам же был виноват. Мы опять пришли в комнатку при приемной бюро пропусков, которую сотрудник открыл своим ключом и пропустил меня вперед. Пока он раздевался, пока вешал плащ и шляпу на один из обыкновенных гвоздей, вбитых в стену (вешалки здесь не было и вообще ничего не было, кроме стола и двух стульев), пока сотрудник раздевался, я применил мой жест независимости, чтоб именно с этих позиций начать разговор: то есть самостоятельно, без приглашения взял стул, с грохотом пере-

двинул его и сел, развалившись, положив нога на ногу. Сотрудник, не обратив на это внимания (или сделав вид, что не обращает внимания), также уселся к столу, но потише и не с таким грохотом, затем раскрыл портфель, вытер носовым платком мокрые от дождя пальцы и вынул из портфеля папку.

— Значит, так, Цвибышев,— сказал он,— приступим... Мы внимательно ознакомились с документами, касающимися ареста вашего отца. Реестр конфискованного имущества мы не обнаружили. Более того, в приговоре суда нет формулировки: «с конфискацией имущества»... А лишь это и реестр может служить основанием для выплаты компенсации.

— То есть как это не указано,— крикнул я, от такого неожиданно быстрого и делового итога теряя на время капризное свое озлобление и приходя в растерянность,— то есть как нет реестра?.. А куда же девалось наше имущество?..

— Не знаю,— сказал сотрудник,— могу лишь предположить, что ваш отец, поскольку он занимал государственный пост, имел государственное имущество... Тем более в наш город он прибыл из Москвы в 1929 году и поселился в доме ответработников по улице Новая... А там, как правило, квартиры были меблированы.

— Какие квартиры!— крикнул я.— Я вчера был в исполкоме насчет нашей квартиры... Со мной разговаривали грубо... Да... (не дело говорил я. Не по существу и не дело, но интересно, что, осознавая нелепость своих слов, я продолжал вести разговор именно в ложном направлении, может, для того, чтоб выиграть время, прийти в себя и обдумать, как поступить дальше при подобном повороте событий). Какая-то женщина,— говорил я,— сказала мне, что там теперь живут другие советские люди, а я ничего не должен требовать, поскольку одет, обут и жив...

— А что ж, вы должны были помереть, что ли?— сказал, принимая в этом вопросе мою сторону, сотрудник КГБ, впрочем, возможно, чтоб меня утихомирить.— Она не права...

— Ее фамилия Корнева, я запомнил,— крикнул я, тут же замолкнув, поскольку, учитывая характер учреждения, жалоба моя была похожа на донос, но то, что сотрудник КГБ мне посочувствовал, вновь возбудило капризное мое озлобление, и я сказал:— Вот вы называете моего отца ответработником... А справку мне выдали, что он плановик термосного завода. И денежную компенсацию я получил таким образом... Но ведь это несправедливо...

— Это дело военной прокуратуры,— сказал сотрудник,—

но, действительно, отец ваш был комкор... Вы помните, при первой нашей встрече я спросил вас о матери?.. Меня удивило, что она не была арестована вместе с мужем, как в те времена поступали... Конечно, несправедливо,— добавил он.— Скажите, Цвибышев, после ареста отца вы с матерью продолжали жить в этом городе?

Я задумался. Дальнейшие события мне были известны. Мать моя, бросив квартиру и все имущество на произвол судьбы, взяв с собой только самое необходимое, просто вместе со мной скрылась, причем с чужим паспортом, который ей удалось раздобыть, не знаю каким путем. Будучи опытным конспиратором, имея за спиной несколько лет подполья во время петлюровщины и польской пилсудчины, она фактически на нелегальном положении провела два года, пока царило полное беззаконие. Когда был снят Ежов, кое-кто из второстепенных лиц был выпущен из тюрем, появилось несколько статей, где наряду с требованием бдительности и борьбы с врагами критиковались и перегибы. Более того, говорилось, что в органы НКВД удалось проникнуть кучке врагов народа, которые вершили расправу над честными патриотами. Было приведено в подтверждение этого несколько конкретных примеров и названы фамилии. Был, например, указан случай, когда некоего учителя истории арестовали только за то, что он заявил, будто не все русские цари были деспотами, а имелись среди них и прогрессивные в историческом смысле личности... Историка этого не только выпустили, но и восстановили в партии. Именно в этой обстановке мать моя решила ехать к Сталину. Сталин мать не принял, но наложил резолюцию, на основании которой ее принял лично Берия. Надежды матери на снисхождение не оправдались (отец к тому времени был уже мертв более года, это я знаю теперь, но мать моя тогда этого не знала). Ей сообщили, что он был вторично судим и получил еще десять лет к прежним пяти... Кстати, эти сведения о вторичной судимости при реабилитации нигде не упоминались и напрочь отсутствовали. Хоть документально они ничем не были подтверждены — матери они были сообщены устно и потом переданы мне теткой,— я решил попробовать именно за них и уцепиться. Честно говоря, подавая заявление о компенсации, я знал о возможности возникновения подобной ситуации, поскольку мне было известно о бегстве моей матери и оставлении квартиры на произвол судьбы. Поэтому я так тщательно распределял, зайдя в туалет, средства, полученные мной на термосном заводе, словно богатой компенсации за имущество и не существует либо существует в отдаленном будущем, после долгой борьбы. Я ре-

шил взять напором, писанием бумаг в разные инстанции, расчетом на чувство вины передо мной, которую попытаются хоть частично компенсировать, избежав формальностей и изыскав средства. Но я ошибался и был наивен. Причем дело не в каких-то моих отдельных срывах и неумных высказываниях. Как раз далее я вел себя достаточно точно, изложив версию отъезда матери, как и следует, умолчав о ненужном либо невыгодном, вторичный суд над отцом также подав своевременно и умело, придав ему характер весьма убедительного правдоподобия, хоть и не подтвержденного с моей стороны документами. Но чем убедительней я говорил, тем яснее понимал сам, что аргументы мои годятся в лучшем случае на выражение мне сочувствия, но не для выплаты серьезной денежной суммы. Сотрудник КГБ так и сказал:

— Я вам могу посочувствовать от себя лично, но у меня нет абсолютно никаких оснований, при всем желании, помочь вам... Министерство финансов попросту вернет нам такой документ.

Семья наша была разорена, имущество безвозмездно разхищено, я лишен собственного угла... Это был факт... Но был также и факт, что мать моя сама ночью сбежала вместе со мной, бросив квартиру и имущество на произвол судьбы... Если б она не сбежала и была бы арестована, то, невзирая на отсутствие формулировки суда «с конфискацией имущества», поскольку я был несовершеннолетним и других членов семьи не имелось, был бы составлен реестр описи имущества, который ныне послужил бы основанием для компенсации. Такова логика событий в прошлом и мыслей моих на стуле перед сотрудником.

— Хорошо,— сказал я, глядя исподлобья,— по этому вопросу я напишу в самые высшие инстанции.

— Буду искренне рад, если вам удастся чего-либо добиться,— сказал сотрудник КГБ,— но сомневаюсь...

— Хорошо,— повторил я,— а в смысле квартиры... Через кого и как мне действовать... Через вас или через МВД?

— Получают через нас,— сказал сотрудник,— мы даем направление в исполком... Но в данном случае для такого направления также нет оснований.

— То есть как?— вскричал я.

— Право на получение жилплощади,— говорил сотрудник,— имеют либо сами реабилитированные, либо те из членов их семьи, которые в момент ареста были взрослыми и находились на их иждивении... Например, жена, родители... Вот ваша мать имела бы право, вы же были ребенком... Ведь вас

кто-то воспитывал... Фактически вы перешли на иждивение других людей...

— Значит,— крикнул я,— вина моя в том, что мать моя умерла... Ваши законы построены так, что сироты имеют меньше прав, чем те, у кого есть родители... Если б жива была моя мать, я бы получил квартиру, а так я должен валяться без места... Палачи,— крикнул я тем петушиным воплем, каким в компании Арского реабилитированный крикнул мне — «мерзавец», приняв меня ошибочно за сталиниста,— во времена Сталина вы пили нашу кровь... Что изменилось?.. Вы дали мне кучу лицемерных бумажек... Заплатили за смерть отца двухмесячной зарплатой плановика... Что это за срок такой и кто его придумал?.. Душить вас надо, вот что... Убийцы...

Со мной сделалось что-то вроде припадка, и, главным образом, не столько от сознания несправедливости, сколько от сознания того, что я опять возвращаюсь к проблеме койко-места. Меня трясло как в лихорадке, лоб был покрыт холодной испариной. Я сжал кулаки и крикнул:

— Всех вас на ж... сажать, как вы нас сажали...

Меня жгло и терзало под сердцем, и мне нужна была совсем необычная резкость, чтоб как-то успокоить себя, тем более что сотрудник КГБ молчал, спокойно, но твердо, поновому твердо, глядя на меня, молчал он, очевидно, и потому, что ему не впервой были припадки реабилитированных. Должен сказать, что этим «сажанием» я не успокоился. Может, оборви меня сотрудник какой-нибудь репликой, я бы пришел в себя, но он молчал (теперь я понимаю, что специально, тогда же думал, что от растерянности), и это молчание, понимаемое мной как его растерянность и слабость, довело мое озлобление до такого состояния, что я полностью потерял над собой контроль, высказал несколько антиправительственных и антисоветских мыслей и показал сотруднику КГБ кукиш. Кукиш чуть поправил положение, поскольку перевел мои антисоветские высказывания в плоскость нервно-истерическую, а не идейно-целенаправленную. Тем не менее после этих прямых антисоветских высказываний я обмяк, притих, расшалившиеся нервы мои успокоились, и я пошел на попятную... Как я понимаю теперь, сделать это, даже после всего случившегося, можно было просто и достойно, добившись того же результата, то есть молча закрыть глаза ладонью и, посидев так, сказать хрипло (тут мне не надо было притворяться, ибо я криком сорвал горло), сказать хрипло, что я устал и в нервном припадке говорил какую-то ерунду... Я же не нашел ничего лучшего, чем — для того, чтоб перекрыть

свои антисоветские высказывания — заявить о своей гордости и радости по поводу восстановления посмертно отца в партии... Получилось не совсем логично и совсем уж нелепо... Сотрудник КГБ встал, подошел к окну, достал за шторой графин, налил воды в стакан и подал мне. Я жадно выпил, даже не поблагодарив. В пустой этой комнатенке графин со стаканом находились, наверно, специально для подобных случаев. У меня сильно болела голова, и мучила жажда. Я встал и, сам подойдя, налил себе второй стакан, а затем, выпив, подряд третий.

— Вы просили фотографию отца,—сказал сотрудник (твердый взгляд его несколько смягчился),— возьмите.— Он протянул мне красную книжечку...

Это был старый пропуск в здание республиканского ЦК партии, очевидно, конфискованный еще до ареста, при разжаловании... Я глянул мельком на фотографию незнакомого светловолосого человека в гимнастерке, перетянутой ремнями, но совершенно не ощутил, что это мой отец... Как я уже говорил, в каждом деле есть свои удачники и свои неудачники. То, что отца моего первоначально сочли виновным не по самой серьезной статье и не сразу расстреляли, а лишь разжаловали первоначально, послужило поводом оставить это разжалование в силе. То, что моей матери удалось скрыться и спастись от ареста, послужило поводом к тому, чтоб не компенсировать наше пропавшее имущество, а то, что мать умерла, послужило поводом, чтоб не предоставить мне жилплощадь. Так думал я, идя по улице без цели, не замечая ненастья... Смутно у меня было внутри, но в тот же вечер этого ужасного дня впервые пришло событие, которое во многом определило мои дальнейшие действия, и в том опасном для моей жизни хаосе, в коем я пребывал, даже наметились новые пути. В тот вечер я впервые избил человека... Если вспомнить, у меня и ранее были подобные поползновения, когда становилось невмоготу терпеть обиды. Однако оканчивалось это тем, что били меня. Даже и в случае с Орловым, поскольку, выпив, потеряв от этого осторожность и решившись, я все же в последний момент струсил и лишь натер ему морду пепельницей... Этим же чувством внутренней неуверенности объясняется и то, что в компании Арского я не сообразил дать первым пощечину за антисемитскую басню, пощечину, которая, возможно, сдружила бы меня с Арским, открыв дорогу в общество людей прогрессивных, куда я давно стремился. И надо сказать, каковы бы ни были срывы и разочарования, в общем реабилитация не прошла даром. Человек, которого я избил, был каким-то мелким пьянчужкой, который пристал

ко мне в безлюдном сквере, возможно, первоначально не с агрессивными, а с благодушными намерениями. Я вступил было с ним в разговор, чтоб не разозлить и постепенно отделаться. Обычно говорить с такими людьми трудно, почти как с животными, неизвестно, что у него щелкнет в мозгу и как он среагирует. И точно, вдруг совершенно без повода он схватил меня одной рукой сзади за штаны, другой за ворот, пытаясь поволочь таким образом и говоря, что так водит милиция... Я вырвался и, не сдержавшись, толкнул его в грудь. Он радостно как-то взмахнул кулаком, целя мне в лицо. Я вернулся умело, но главным образом от испуга. От испуга же, отмахнувшись, я попал ему в глаз. Пьянчуга, видно, был опытный боец в пивных и подворотнях, но в этот раз ничего у него не получалось. Любой его удар шел мимо меня, мои же достигали цели. Удача в этот раз сопутствовала мне полностью, а когда я увидел, что он уже меня боится, то какое-то радостное вдохновение овладело мной, много раз битым. Это было похоже на творчество. Я применял приемы, о которых ранее не имел представления, и они удавались мне вполне. Так я нанес удар ему коленом в лицо снизу в тот момент, когда он пытался ударить меня головой в солнечное сплетение, то есть лишить меня сознания и в бессознательном состоянии избить ногами (так били одного возле общежития). Но я удачно нашел противоядие и, удерживая врага своего за плечи, вторично припечатал его нос и губы коленом. Он упал, прикрывая голову руками, ожидая в таком бессильном передо мной положении новых ударов, как нечто само собой разумеющееся. Я не стал его больше бить (о чем через некоторое время пожалел. Надо было еще раза два ударить его ногой). Я не стал его больше бить, а лишь сказал, то ли утверждая, то ли делая для себя открытие:

— Вот как, оказывается, с вами жить надо... Сталинские твари... (последняя реплика, чтоб укрупнить событие).

И эти сказанные экспромтом, в сердцах, фразы фактически были формулировкой моей новой идеологии... Из сквера я вышел широким шагом, сильно выпрямившись и с той особой твердостью во взгляде, какую заметил у сотрудника КГБ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Во время реабилитации жизнь общежития, деятельность администрации и взаимоотношения жильцов между собой, а также жильцов со мной совершенно для меня поблекли

и потеряли интерес, ибо и ранее они воспринимались мной исключительно с точки зрения койко-места, то есть как то или иное событие, тот или иной представитель администрации, или тот или иной жилец способствуют либо препятствуют закреплению за мной моего койко-места. Реабилитация пробудила во мне, человеке впечатлительном и в то же время расчетливом, весьма значительные надежды, в свете которых я даже с другом своим Григоренко видеться перестал (он заходил справляться обо мне, это сообщил мне Саламов). Правда, реабилитация отнимала у меня всю эмоциональную энергию, всю мою душу и все время (я уходил утром и приходил поздно ночью). Ныне, когда реабилитация кончилась, не выведя меня отсюда и не придав моему бытовому существованию прочности, я снова оказался на своем койко-месте и перед лицом прежних проблем. Но суть нынешнего положения состояла в том, что реабилитация не изменила моих даже самых насущных проблем, но совершенно изменила меня. Вот причина, по которой организм мой, потеряв совершенно прежнюю приспособляемость к обстоятельствам и среде (грубо говоря, расчетливую покорность), приспособляемость, разрушенную реабилитацией и надеждами и совершенно новым чувством (грубо говоря, человеческим достоинством, идущим часто вразрез с телесной устойчивостью), организм мой начал существовать за счет огромных нервных затрат (последнее, что может предложить человеку инстинкт самосохранения). Если в период реабилитации натура моя претерпела множество изменений, взлетов, завихрений, падений, то в новый свой период я вступал с однозначным и душевно цельным состоянием, как человек, нечто для себя решивший. Я говорю «нечто», ибо если бы меня спросили, что именно я для себя решил, то, думаю, затруднился бы ответить. Всякий раз, когда человек разбужен и возбужден чрезмерными надеждами, он, дабы неизбежные разочарования не разрушили его жизнь, в конечном итоге тяготеет к простоте, то есть к крайности. Крайность же всегда лишена логики и несет в себе мифологическое начало. Впервые сильно и умело избив человека, я утратил беспричинный страх перед обществом, который постоянно надо мной тяготел (именно этот беспричинный страх перед обществом лежал в самой основе и являлся толчком ко всякому страху, имеющему причины: перед начальством, перед покровителем, перед улицей и т. д.). Я вступил на путь, старый как мир, но всякий раз новый для каждой конкретной судьбы (подобно чувству любви). К тому же личные мои качества и личные обстоятель-

ства моей жизни придали этому пути особую неповторимость...

Итак, придя в тот вечер, после избияния мной человека, и по-новому как-то сидя на своем койко-месте, осмотрев свою комнату и ее жильцов (жильцы этого нового во мне явно не заметили, что стало ясно из дальнейшего), осмотрев все это минут за десять, не более, я вскоре улегся спать и спал спокойно и хорошо, но утром проснулся в ярости. Ничего такого особенно дурного мне не снилось и ничего дурного не произошло, наоборот, судя по солнцу, залившему комнату, ненастье кончилось и вновь воцарилось лето. Тем не менее (а может, именно потому, впоследствии подобная ярость нередко посещала меня, именно когда я видел нечто приятное, даже приятные природные виды и явления), тем не менее какая-то ярость застыла в моем теле, сжимая виски, горло и давя на грудь. Ранее, в период реабилитации и надежд, моя капризная озлобленность искала контакта с человеческим участием, с чьей-то душевной мягкостью, с чьим-то раскаянием по поводу нанесенных мне обид. Ныне, когда общество (в лице следователя военной прокуратуры Бодунова, сотрудника КГБ, работника исполкома А. Ф. Корневой и т. д.) отвергло мои притязания судьи, признав их необоснованными, я не искал более контакта, а моя капризная ярость искала удовлетворения лишь в постоянной расплате. У меня постоянно торчала в груди как игла капризная ярость, но иногда она поднималась до предела, до приступа, голова становилась горячей, затруднялось дыхание, и после долго болели виски, а ночью я вдруг просыпался от сердечной боли... Очень скоро такое состояние сказалось и в действиях... Проведя весь следующий день на улице, в движении (благо установилась хорошая погода), я уж по своей инициативе (напоминаю, избитый мной пьянчужка пристал ко мне первый), я уже сам сцепился с несколькими прохожими, употребляя в перебранке политические обвинения («сталинские палачи», «вонючие сталинисты», «все вы пили нашу кровь», «подохнете, как подох ваш вождь» и т. д.). В первой половине дня, когда приступ ярости был особенно силен, я действовал довольно бессистемно, насакивая на первых встречных, большей частью людей случайных. Однако, несколько успокоившись, посидев на скамейке, затем перекусив в кафе сосисками с макаронами, стаканом кефира, я начал действовать более изобретательно, и в моих действиях наметились первые элементы организации: так, перед воротами районной теплоэлектроцентрали я заметил человека в гимнастерке из военизированной охраны, явно из бывших сталинских палачей, ушедших в тень на теплые ме-

стечки... Я подошел и нарочно, войдя за ограду, где было написано «Посторонним вход воспрещен», запрокинув голову принялся рассматривать высокие башни-отстойники, с которых с шумом стекала вода, так что если прикрыть глаза, несмотря на жару создавалось впечатление дождя и становилось прохладнее. Я увлекся этим и едва не забыл о своих политических намерениях. К счастью, меня окликнул стрелок военизированной охраны (на что я первоначально и рассчитывал).

— Вы что здесь делаете, молодой человек? — спросил он.

— Стою, — с радостью рыбака, у которого клюнуло, ответил я, — я живу в свободной стране и согласно конституции имею право стоять где угодно.

— А ну-ка пройдем, — сказал мне стрелок, у которого до этих моих высказываний было явное желание просто меня выругать и прогнать.

— Пожалуйста, — сказал я, — можно и пройти.

— Документы у тебя есть какие-нибудь?

— Никаких... паспорт есть, и все...

— Так паспорт это ведь хороший документ, — явно наслаждаясь властью, говорил стрелок (я умышленно давал ему возможность, чтоб нанести удар повнезапней).

Стрелок подвел меня к человеку в гимнастерке, тому самому «сталинскому палачу».

— Вот, — сказал он, — Петр Петрович, этот хотел через забор перелезть, — и протянул ему мой паспорт.

Но сталинист этот, в гимнастерке, глянув на мой паспорт, сказал стрелку, пренебрежительно махнув рукой:

— Отдайте ему паспорт, и пусть идет.

— Бериевская порода, — раздосадованно крикнул я ему. — Это тебе не прошлые времена...

Меня вытолкали. Вступать в драку с вооруженной охраной было глупо, но все-таки через несколько кварталов я пожалел, что не кинулся с кулаками. Как ненавидел я все вокруг, можно судить по тому, что когда какой-то пожилой гражданин, споткнувшись о камень, упал, я искренне обрадовался. Впрочем, пример недостаточно точен, поскольку невольные улыбки были на лицах многих прохожих. Зато другой пример пусть менее заметен, но более удачен. Какая-то старушка выронила из кармана носовой платок. Платок грошовый, и прежде я не преминул бы окликнуть старушку, чтоб получить удовольствие от своей честности (кошелек я в таких случаях, по бедности, не возвращал. За три года мне дважды удалось подобрать оброненные бесхозные кошельки, правда, с незначительными суммами, а третий раз мне удалось просто найти

кошелек у прилавка в магазине так же с мелкой суммой. Из этого я заключил, что богатые люди кошельков не теряют). Итак, в прежние времена я обязательно окликнул бы старушку и подал ей платок. Ныне же я, наоборот, как бы невзначай наступил на платок ногой и отбросил его в канаву...

Позднее, в больнице, со мной лежал один старичок. Старичок этот много и часто плакал по любому почти поводу, вызывая смех в палате и у обслуживающего персонала. Слушая меня, он расстраивался совершенно (причем большую часть из того, что мне было неприятно, я ведь утаивал).

— Бедненький ты грешный Георгий (его тоже ввело в заблуждение имя, поскольку я отрекомендовался «Гоша»), горечь ты Божья,— говорил старичок и все порывался меня по лицу погладить своими холодными руками (от него, разумеется, несло мертвечиной, запахом, меня преследующим последнее время).

Я всячески отстранялся и даже обещал себе с ним более не заговаривать, однако скука была безумная, а этот старичок, единственный в палате, ко мне льнул и, мне кажется, чуть ли не полюбил. Я выбирал из воспоминаний места не тяжелые, действительно страшные, случившиеся позднее. Выбирал я места просто бытовые, даже веселые (разумеется, кажущиеся веселыми по прошествии времени, тогда же, в момент свершения, и они отняли у меня немало нервов и сил). Например, рассказал я старичку о моей драке с Береговым, случившейся, кстати, именно в первый же вечер того дня, когда я проснулся в новом качестве, с застывшей капризной яростью в груди... Пашка Береговой, бывший мой приятель, а позднее главный мой гонитель в комнате, был парень довольно сильный и насчет того, чтоб по морде, долго не раздумывал и не колебался. Совсем недавно он на глазах всей комнаты побил Саламова за то, что тот в комнатной жестяной кружке для питья, во-первых, топил свиное сало, а во-вторых, оставил ее грязной, с застывшими, обуглившимися шкварками и закопченной... Оттянули Берегового Жуков с Петровым после того, как Саламову здорово досталось и Саламов от Пашкиного удара закричал по-заячьи, точно так, как кричал Николка, когда Пашка его порол. Я не стал вмешиваться, поскольку до того Саламов, по наущению Жукова, которому как раз тогда я не отдавал долг, перестал со мной разговаривать и вообще поскольку положение мое в комнате было сложное... Так вот, Береговой после расправы над Саламовым вообще настолько почувствовал себя хозяином положения, настолько вознесся, что проглядел те изменения, которые произошли во мне за период реабилитации. А между тем они

были заметны в чисто внешнем поведении, хотя бы даже в том, как я вхожу в комнату, широко и резко распахнув дверь. В тот вечер, будучи уже раздетым (из этого следует, что к драке я все же не готовился и запланирована она мной не была, иначе б не разделся: без штанов и особенно без обуви я чувствую себя намного физически слабее и беспомощнее), я рассчитывал поставить на место Берегового, особенно теперь поверив в свои силы после избиения пьянчужки, но думал это сделать не сегодня, ибо за день, полный нервной траты и столкновений, здорово устал. Итак, будучи раздетым, я подошел и выключил радио. У нас в комнате существовал негласный компромиссный договор: всю неделю я терплю радио, засыпаю глубокой ночью, поскольку Береговой мотивирует это необходимостью рано вставать. Радио ему требуется для побудки. Но под воскресенья я радио выключал. Так оно и было. Сейчас же вдруг Береговой взъерепенился. Может оттого, что я выключил чересчур демонстративно, что уязвило его поползновение хозяина комнаты.

— А ну включи,— сказал он жестко.

Получалось характер на характер... Мы сцепились как-то совершенно неожиданно, причем по моей инициативе, и дрались среди коек в майках и трусах... И снова у меня все получалось... Я уклонился от ударов Пашкиных тяжелых кулаков (чуть-чуть он зацепил меня по руке), к Пашке же я применил найденный мной экспромтом прием, который, очевидно, стал моим традиционным (на этом недавно избранном поприще у меня уже появились традиции). Традиция же была — коленом в лицо... Причем голым моим костлявым коленом получилось еще эффективней, ибо материя брюк не смягчила удара в Пашкино лицо. Береговой упал в промежуток между койками, залитый кровью из разбитого носа и губ, и дополнительно ударившись головой о тумбочку. Правда, он тут же вскочил с криком: «Я тебя зарезу, сука», но Жуков с Петровым схватили Берегового за руки, Саламов стал передо мной, а пожилой жилец Кулинич сказал рассудительно:

— Ладно вам, ребята, драться... Помиритесь и завтра пол-литра раздавите...

Берегового увели в умывальник. Я с гордостью видел, что его шатает. Вскоре Береговой вернулся умытый и притихший, с ваткой в носу... Я не ложился долго, ожидая броска с его стороны. Лишь когда он захрапел, я тоже улегся, предварительно положив под подушку старый замок от тумбочки, чтоб при необходимости усилить им ответный удар. Спал я плохо, непрерывно просыпался, и, лишь сунув руку под по-

душку, нащупав замок с довольно острыми краями, успокаивался.

Когда я рассказывал нечто подобное (у меня было несколько подобных комических случаев), когда я рассказывал, старичок, мой сосед по больничной палате, так сильно плакал, что в конце концов другие больные мной возмущались и вызывали медсестру, которая делала старичку укол... Меня же старичок все жалел и хотел погладить по лицу (вот где беда). У старичка этого под матрацем были какие-то бумаги, старые и засаленные, которые он часто читал про себя, шевеля губами. Бумаги эти он никому не показывал, очевидно, боясь насмешки, да я и не стремился их увидеть, не сомневаясь, что это какая-то дрянь и глупость. Но однажды, долго раздумывая и пребывая в молчании, он все-таки протянул мне несколько листков, попросив прочитать. Получилось, как я и предполагал. Это были написанные печатными буквами безграмотные вирши религиозного содержания (между прочим, говорят, ранее старичок этот был дурным человеком. Хоть и не пил, но избивал старуху свою страшно, и чуть ли не по его вине она умерла. Откуда это известно больным нашей палаты, не знаю. Может, старичок сам как-то и поделился в раскаянии). Так вот, это были религиозные вирши... Вообще отношение мое к религии всегда было самое насмешливое. В церкви я бывал несколько раз из любопытства. Ощущение мое при том двойное. Откровенно говоря, мне в церкви немного страшновато от позолоты икон, от свечей... И одновременно чего-то смешно, как бывает, когда человека всерьез обманывают и верят, что обманули, а он сам знает, что это обман, и только делает вид, что обманут. Но главное, почему я в церкви даже из любопытства более не захожу,— это запах. Уже даже не засушенной мертвечиной несет, не кладбищем, а просто сладковатыми трупами недавно умерших... Правда, пошли слухи, что в кругах, где вращается Цвета, в тех кругах пробуждается интерес к религии в противовес официальности (чуть ли не Арский этим увлекся). Не знаю, прорвись я тогда в то общество и подтвердись эти слухи, в этом вопросе вряд ли я б оказался на уровне. Прочитав безграмотные вирши старичка, я еще раз в том убедился, но от больничной скуки и для того, чтобы себя потешить, я эти вирши запомнил... Люблю читать стихи графоманов. Отсутствие мастерства придает им неповторимость, и в каждой строке — живые черты автора, как в гениальных сочинениях... В то же время опьяняющий элемент творчества не дает благоразумию и рассудку скрыть неповторимую человеческую свою глупость. В данном же случае удовольствие еще более усилилось рели-

гиозным содержанием, которое само по себе достойно насмешки. Вот эти стихи старичка, приведенные мной с исправлением множества грамматических ошибок: «Вам, племена, языки и народы, ход всех событий Господь предсказал. Время назначив и точные годы и чрез пророков своих написал. Солнца, луны уж затмение было. Также падение сильное звезд. Все и в природе поникло уныло, как предсказал нам об этом Христос. Сильно болезни повсюду развились. Бедствия, ужас всех в мире страшит. Грозные бури морей участились. Страшный день гнева Господня спешит. Дверь благовестья повсюду открыта. Запечатление спешно идет. Род не пройдет сей, как все совершится. И наш Спаситель во славе придет. Грешники, к Богу скорей поспешите. Скоро он дверь благодати запрет. Милость и славу его вы примите. Он ведь все это вам даром дает. Божие дети, главы вы склоните. День избавления скоро грядет. Дело Господне окончить спешите, он вам за это награду несет».

Взаимоотношения мои со старичком происходили гораздо позже, когда я находился уже в душевно размягченном состоянии, способном получать удовлетворение от созерцания чужих глупостей и несовершенств. Но тогда, после драки с Береговым, душа моя окончательно окаменела, лишена была юмора и могла существовать лишь действуя, причем действуя непосредственно и прямо во вред моим гонителям и врагам. Первым моим шагом после ночи, которую я провел в повышенной боеготовности с металлическим острым замком в кулаке, было посещение райисполкома в понедельник. Здесь следует не путать мои намерения при посещении жилищной комиссии горисполкома несколько дней назад и нынешнее мое посещение райисполкома. Тогда я шел полный надежд, не сомневаясь, что мне, сыну реабилитированного, хоть что-то вернут, хоть комнатку под лестницей или даже в подвале, куда можно было бы втиснуть раскладушку (многих переселяли из подвалов, и я такой отдельный освободившийся подвал занял бы с удовольствием). Теперь же посещение мое было запланировано совсем с иной целью. Я не сомневался в отказе, да и шел не по адресу (райисполком лишь брал на учет местных жителей района), но райисполком, во-первых, располагался неподалеку от общежития и добираться к нему было не хлопотно, во-вторых, я знал теперь, что разговаривать со мной будут грубо, а значит, можно будет в государственном учреждении подобного рода устроить публичный скандал, применяя политические обвинения. Поэтому решил я не скандалить заранее, пробиваясь вне очереди, чтоб не перевести все в бытовую плоскость и не тратить эне-

ргию и напор, а занял сидячую (на стульях) очередь среди людей с сонными, терпеливыми лицами, как во всех присутственных местах подобного рода. Более того, я человек нервный и нетерпеливый, рассуждал я, и пока дойдет моя очередь в этой сонной тупой одуре, я окончательно в эмоциональном смысле созрею именно до того состояния, какое мне и надобно. План мой почти удался. Я говорю «почти», потому что в конце произошла досадная заминка и эмоциональный срыв. А в основном он даже превзошел мои ожидания. Во-первых, еще в очереди, в самом начале, я обратил внимание на принимающего сегодня члена жилищной комиссии, женщину, поскольку она несколько раз, прекращая прием, выходила из кабинета и подолгу отсутствовала, вызвав ропот даже у терпеливых лояльных граждан. Это была плоскогрудая женщина с злым поджатым ртом, то есть как раз то, что мне требовалось. Во-вторых, время ожидания превзошло все мои представления, и, заняв очередь с восьми утра, я зашел в кабинет далеко за полдень, находясь буквально на нервном пределе да плюс еще и голодный. Плоскогрудая глянула на меня быстро и цепко и сразу, как я понял, определила «отказать» еще до вопроса. Я так же скользнул по плоскогрудой. «Сталинистка», — подумал я. Так, еще не открыв рта, мы оба в одну секунду уже выяснили наши отношения до конца. Женственность А. Ф. Корневой в горисполкоме, которую она, очевидно чувствуя, пыталась приглушить перед посетителями мужскими элементами в одежде, женственность Корневой, помимо всего прочего, помимо отсутствия еще у меня тогда веры в возможность с моей стороны методов прямого воздействия и непримиримости, эта женственность А. Ф. Корневой мешала мне грубить и заставила промолчать в ответ на ее обидные, несправедливые замечания. Сейчас же такого препятствия не существовало.

— Что у вас? — наконец спросила плоскогрудая после паузы, во время которой она, уверен, наложила на меня мысленно резолюцию «отказать». — Ваш адрес?

Я применил мой метод самоутверждения в подобных кабинетах... С грохотом подвинул стул, сел нога на ногу... Лишь сев, назвал адрес... После моего метода плоскогрудую перекосило как от зубной боли, но она, морщась, продолжала задавать вопросы, видно, применив навыки и выдержку опытной канцеляристки.

— Состав семьи?

— Я один...

— Как один? — подняла она на меня глаза, довольно большие, карие и с темными кругами болезненного вида. — Вы

что, на улучшение один подаете? Это подвал, что ли? У вас есть акт обследования?

— Никакого у меня акта нету,— сказал я,— и подвала нету... Я живу в общежитии...

— Что вы мне морочите голову?— в сердцах бросив ручку на стол, так что перо оставило на бумаге кляксу, сказала плоскогрудая.— У меня очередь, а вы здесь...— Она помолчала, видно несколько овладев собой и отыскивая слово помягче.— А вы здесь суетесь,— сказала она.

Но как бы она ни подыскивала помягче, «суетесь» вполне меня устраивало и могло служить хорошим поводом.

— Кто суется!— крикнул я тем новым петушиным звонким голосом, который впоследствии часто из меня исторгался.— Кто?! А?! У меня семью разорили... Я с трех лет по чужим углам валяюсь...— В коридоре за дверьми ожидающие приема притихли, видно прислушиваясь.— Сталинская...— крикнул я (не знаю, каким чудом окончательно не потерял голову и не выпалил следом грязное ругательство),— сталинская... сталинская... сталинская...— Из-за того, что усилием воли я отсек второе слово, у меня в голове образовался некий вакуум, промежуток, который я не мог миновать на пути дальнейшего логического изложения мысли. Поэтому я все время повторял:— Сталинская... сталинская... сталинская...— и вскоре уже не говорил это слово, а как бы икал его...

Плоскогрудая побледнела от испуга и злости. Дверь из коридора приоткрылась, и оттуда заглядывали очнувшиеся от сонной одури посетители. Открылась и иная дверь, с противоположного конца кабинета, и оттуда вышла женщина, которую я даже первоначально принял за Корневу. Должен сказать, что, во-первых, в подобных учреждениях служит большое количество женщин, а во-вторых, типы этих женщин не отличаются разнообразием. Это либо плоскогрудые, мужеподобные личности, либо женщины типа А. Ф. Корневой, обладающие не утонченной, но народной женственностью, которую они, возможно не без легкого кокетства (приталенный пиджак лишь подчеркивает бедра), итак, не без кокетства пытаются прикрыть мужскими элементами в одежде. Вошедшая женщина была постарше А. Ф. Корневой, однако, несмотря на это, пожалуй, помиловидней, причем эту миловидность придавала ей как раз легкая полнота ответработника... В частности, у нее была очень мягкая красивая шея, именно за счет легкой полноты.

— Вот, Ирина Алексеевна,— сказала плоскогрудая,— ворвался, морочит голову... Оказывается, он живет в обще-

житии, а требует улучшения условий... Да еще нагло оскорбляет...

— Во-первых, я не ворвался,— повернувшись к плоскогрудой и глядя на нее с ненавистью, сказал я.— Я сидел в очереди... У меня очередь,— я говорил это, уже стоя посреди кабинета, вскочив со стула.

— Мы, миленький,— мягко сказала мне Ирина Алексеевна,— мы живущих в общежитии на учет не берем... А вообще, кто вы такой?

— Вот,— сказал я и в ответ на ее вопрос, кто я такой, почему-то вытащил полученный в КГБ старый пропуск с фотографией отца,— вот... (так получилось, что словно схитрил я, подменив и выставив отца вместо себя).

Ирина Алексеевна взяла пропуск, прочла, глянула на фотографию.

— Надо таких учить,— зло сказала плоскогрудая,— ничего не стоит ворваться со своими наглостями в государственное учреждение...

— Оставьте,— резко сказала плоскогрудой Ирина Алексеевна,— не трогайте его... Закройте дверь!— так же резко сказала она посетителям, заглядывающим из коридора.

Лица исчезли, дверь в испуге захлопнулась.

— Мой отец был генерал-лейтенант,— тихо сказал я.

— Красивый какой парень был ваш отец,— с каким-то искренними нотками сказала Ирина Алексеевна.

Тут-то и произошел эмоциональный срыв, причем как-то внезапно и неподготовленно. Я вдруг выхватил пропуск из пальцев Ирины Алексеевны, пронзительно звонко, с полной отдачей сил зарыдал и выбежал из кабинета. Помню, когда я пробегал по коридору райисполкома, двери в разных концах открывались, находящиеся же в коридоре от меня в страхе шарахались... Позднее, после ряда эксцессов и припадков, я привык, что от меня шарахаются, ныне же подобное меня покорило... Я долго петлял по переулкам, точно за мной гнались, и, лишь оказавшись далеко от райисполкома, оглядевшись и увидев, что вокруг люди не обращают на меня никакого внимания, я успокоился, вытер насухо носовым платком лицо, выпил несколько стаканов газированной воды и поехал в управление строймеханизации, творить суд и расправу над гонителями своими, три года унижавшими и оскорблявшими меня.

Летом двор управления строймеханизации выглядел еще более неопрятно. Во-первых, на линии летом работает больше механизмов, а следовательно, больше их и стоит здесь в порченном виде. Кроме того, если зимой или ранней весной,

когда я был здесь последний раз, копоть впитывалась в снег, лужи мазутной воды вылизывал мороз, а запахи пережженного металла уносил ветер, то ныне копоть оседала на лицах и одежде вместе с пылью, мазутные лужи закисло и застывались в выбоинах, а душные запахи пережженного металла висели в воздухе неподвижно... Во дворе меня встретил какой-то темный от мазута человек, отчего зубы при улыбке у него сверкали белизной.

— Здравствуйте, Григорий Матвеевич,— сказал он мне.

Это было несколько неожиданно и удивило меня. Лишь приглядевшись, я узнал одного из экскаваторщиков, даже вспомнил фамилию: Гагич.

— Где вы сейчас?— спросил Гагич.

— Работаю,— высокомерно ответил я,— свет клином не сошелся на этой шараге.

— Это верно,— сказал Гагич,— многие ребята считают, что вас уволили несправедливо,— он понизил голос и огляделся.

— Отчего ж вы боитесь?— сказал я раздраженно и в повышенном тоне.

Гагич посмотрел на меня пристально и понял, очевидно, что дела мои плохи и что пришел я не по делу, а ругаться.

— Ничего вы им не докажете,— сказал он тихо,— что вас, они вон Мукало уволили.

— Мукало!— крикнул я.— Мукало главная сука! Это он меня спровоцировал.

— Ну, тут уж вы не правы,— сказал Гагич.— Мукало был толковый мужик. Он меня обещал посадить на новый экскаватор и посадил бы... А я ему кто? Я ему никто... Вот Юницкий свояка посадил...

— Да брось ты, Гагич,— сказал какой-то рабочий (на нас уже обращали внимание, и ходивший по двору главный механик Тищенко смотрел в нашу сторону).— Брось, Гагич,— продолжал рабочий,— у тебя хорош тот, кто тебе хорошо делает,— он сказал это громко, чтоб слышал Тищенко.

— Вот-вот,— сказал я с раздражением и сарказмом.— Вы, Гагич, отойдите от меня... Постоите еще со мной рядом, не то что новый, старый экскаватор отберут... Переведут в разнорабочие,— и, криво улыбнувшись, я пошел к конторе.

По дороге мимо меня мелькнул Райков, но не поздоровался, просто остановился и посмотрел. В коридоре я рывком открывал двери кабинетов и, ничего не говоря, осматривал всех там находящихся, криво улыбаясь. В бухгалтерии на меня посмотрели в недоумении, видно не узнав, в производ-

ственном отделе находилась одна Коновалова, которая, увидев меня, улыбнулась. Но тут я, правда, высказался:

— А где ж твой братец? В рожу ему плюнуть хочу,— и захлопнул дверь.

Открыл я и отдел кадров, поглядел на Назарова, но ничего ему не сказал, это была личность нейтральная, хоть и бывший прокурор, но мне ничего дурного не сделавший. Наконец, открывая по пути двери, я добрался к секретарской, где сидела все та же Ирина Николаевна, бывшая моя покровительница. Ни слова ей не говоря, я прошел мимо прямо в кабинет к Брацлавскому. Иван Тимофеевич был на месте и по какому-то поводу рылся в ящиках стола, что-то искал. Увидев меня, он не удивился, а лишь грубо спросил:

— Тебе чего надо?

Я с радостью применил прием самоутверждения, грохнул стулом и сел нога на ногу. С радостью, ибо, откровенно говоря, боялся, что по инстинкту прежних лет сробею. Но получилось все удачно. Несмотря на двадцать лет работы в качестве выдвиженца, Брацлавский не был кабинетный работник и, если надо, действовал грубо, по-уличному, как старый кузнец. Он покрыл меня матом в три погибели. Я с радостью ответил ему тем же. Так мы препирались некоторое время, упражняясь в матерщине, пока в кабинет осторожно, полисьи, краснея от стыда (шокированная нашим словоблудием), вошла Ирина Николаевна.

— Гоша,— сказала она, неожиданно назвав меня по имени,— пойдете, я хочу с вами поговорить... Иван Тимофеевич,— подняла она голову к Брацлавскому,— зачем вы сердце свое тратите?.. Потом будете валидол сосать...

— Я ему морду сейчас набью,— грубо и откровенно сказал Брацлавский.

— Гоша,— снова обратилась Ирина Николаевна ко мне,— пойдете,— она взяла меня об руку.

Я хотел освободиться, но получилось так, что Ирина Николаевна от моего резкого движения пошатнулась и, едва не упав, взвизгнула.

— Ах ты, падло! — по-рабочему просто крикнул начальник управления Брацлавский и схватил меня за ворот. Руки у него были большие, но уже мягкие, ибо возраст и руководящая должность давали себя знать. Успешно борясь, я крикнул в лицо Брацлавскому:

— Мой отец генерал-лейтенант... А ты сталинская шкура... Понял ты!..

Таким образом, я все укрупнял и переводил на политический уровень, но слишком поздно, с этого надо было начи-

нать, а я мельчил и бранил по-бытовому. В это время в кабинет ворвался Лойко. Откуда он взялся, не знаю, видно, только что приехал, и Ирина Николаевна, в виду крайнего положения и зная его ненависть ко мне, сразу этого негодяя позвала. Хоть у Лойко сквозь зачесанные назад волосы уже заметно проглядывала лысина, был он физически силен и широкоплеч (среди моих врагов вообще много физически сильных личностей, я на это обратил внимание как на определенную закономерность).

— Иван Тимофеевич,— крикнул Лойко,— не надо вам тратиться, не надо, я сам его.— Он легко оторвал меня от начальника, выволок в секретарскую, оттуда в коридор, но поскольку в коридоре было много встревоженных сотрудников, он проволок меня в кабинет производственно-технического отдела и заперся со мной на крючок, захлопнув дверь перед носом Коноваловой, очевидно пытавшейся мне помочь. И все это, держа меня одной рукой за грудь. Мне трудно было сразу оказать сопротивление, ибо Лойко несколько раз успел ударить меня мимоходом головой о стену, вымазав при этом мне голову штукатуркой, и передо мной все кружилось, а уши совершенно заложило. Поэтому первоначально я не слышал, что кричал Лойко, а видел его не столько злое, сколько радостное лицо. Взаимной драки никакой не было. Запершись со мной в кабинете, он бил меня минут десять, как ему нравилось — и бросая на пол, и ногами. А после этого я его избил. То есть мы друг друга били поочередно. Когда, насытившись палачеством надо мной и устав, Лойко хотел было уже прекратить и выйти, может, несколько испугавшись (у меня все лицо было в крови), испугавшись и таким образом расслабившись, я неожиданно даже для себя нанес ему удивительно точный удар ногой в живот, а когда он упал (и откуда только силы взялись во мне, избитом), начал его бить, как никогда ранее не бил (избиение случайного пьянчужки и Берегового — школьная драчка по сравнению с этой моей расправой). Бессчетное число раз я ударял Лойко, лежавшего на полу, коленом в лицо своим излюбленным приемом, и всякий раз получалось удачно, согласно традиции... Я разорвал на нем пиджак, я вырвал у него из головы клочок волос... Ситуация складывалась довольно комичная. Я бил Лойко, а в дверь стучали Коновалова и Ирина Николаевна и нервно говорили:

— Лойко, прекратите, немедленно откройте... Слышите, прекратите, вы попадете под суд, а у вас семья...

Наконец постучал даже сам Брацлавский.

— Николай,— сказал он,— это Иван Тимофеевич... открой...

О, какое это было счастье. Никогда позже не удавалось мне так полно и до конца насладиться расплатой и ненавистью. На левой щеке у меня текла кровь из рассеченной скулы, и, схватив со стола обыкновенную канцелярскую кнопку, крепко зажав ее меж пальцев, я разодрал Лойко щеку в том же месте.

— Ломайте дверь,— услышал я голос Юницкого, но, прежде чем они успели это сделать, я встал с Лойко (я сидел на нем верхом) и откинул крючок.

Коридор был полон (было время съезда прорабов с объектов, и многие успели подъехать). Здесь стояли и Брацлавский, и Юницкий, и Коновалов, и Литвинов и т. д. Все три года унижения и насмешек толпились передо мной в коридоре, а главный мой враг лежал у меня за спиной окровавленный, на полу.

— Что смотрите?— спросил я и засмеялся клейкими от крови губами.

Но это были, видно, последние мои усилия, и силы разом настолько покинули меня, что уборщица, старая женщина (кажется, ее звали Горпына), легко, схватив меня за шиворот, вывела из конторы. Рядом, взяв меня об руку, шел неизвестно откуда взявшийся Шлафштейн (в том смысле, что я его в коридоре не видел, и мне показалось, что он подошел ко мне во дворе).

— Степа,— сказал он Гагичу,— у вас тут аптечка, кажется, в цехе есть. Вот парня надо в порядок привести.

— Я ж ему говорил, ничего он им не докажет,— вздохнув, сказал Гагич.

Мы пришли в цех, где законченные окна подрагивали от работы станков.

— Прикройся полой пиджака,— сказал мне Гагич (ранее он говорил мне «вы», как бывшему прорабу, но после того, как я был избит, он перешел на «ты»).— Прикройся, а то сбегутся...

Мы прошли за перегородку, где находилась аптечка и сидела женщина в халате медсестры.

— Вот, Варвара,— сказал Гагич,— упал парень, помочь надо.

Медсестра глянула на меня.

— Что вы мне голову морочите?— сказала она.— Это побои, надо акт составить, его, может, в больницу...

— Не надо акта,— тихо сказал Шлафштейн,— помоги ему, и он уйдет... Ты сможешь уйти?

— Смогу,— сказал я, ибо действительно чувствовал себя хорошо (в тот день я нашел в себе силы избить еще двоих

и лишь ночью почувствовал себя плохо... Болело все и всюду, снаружи и изнутри).

— Степа,—сказал я Гагичу (медсестра обработала мне раны, заклеила их пластырем, и мы с Гагичем вышли во двор),—Степа, нельзя в цехе выточить кастет? Я заплачу.

— А это что такое?—спросил Гагич.

— Ну на пальцы надевается, чтоб уж если дашь в зубы, так ни одного не останется.

— Ах, рукоятка,—понял Гагич,—не надо это тебе... Брось, в тюрьгу попадешь.

— Степа,—сказал я,—но ведь они меня лицом в дерьмо три года подряд...

Мы стояли посреди двора. Шлафштейн ушел еще раньше, едва медсестра начала мне обрабатывать раны. Во-первых, он торопился на планерку, а во-вторых, как бы там ни было, я оценил его поступок, ибо в сложившихся обстоятельствах он, находившийся в зависимости от моих врагов, все-таки не оставил меня одного, увидев, что никого из моих доброжелателей нет рядом (Свечков и Сидерский еще не приехали. Они обязательно приняли бы мою сторону, причем Свечков, может, даже открыто).

— Меня три года...—повторил я,—в дерьмо мордой, да каких три года, всю жизнь... А мой отец генерал-лейтенант...

— Чего ж он тебе не помогает,—удивился Гагич,—побочный ты, что ли?.. Бросил он тебя?

— Да нет,—невольно даже в моем положении улыбнулся я наивности и нелепости мышления Гагича.—Ты вот как к Сталину относишься?—спросил я неожиданно.

— А что,—удивился Гагич,—Сталин есть Сталин... Что бы там ни сочинял Хрущев... Ты новый анекдот про Хрущева слышал?

— Анекдот!—выкрикнул я.—А знаешь, сколько он людей угробил, Сталин ваш...

Разговор становился скользким, напряженным и, главное, глупым и несвоевременным.

— Я понимаю, куда ты клонишь,—помолчав, ответил Гагич,—твоего отца посадили, это я понял... У меня дядька тоже десять лет отсидел... Вышел на волю и через месяц помер... Но что б там ни было, а Сталин есть Сталин...

И эта ясная, простая, искренняя, затверженная формулировка настолько полно и всесторонне выразила суть сталинизма, особенно конца сороковых — начала пятидесятых годов, когда Сталина не сравнивали уже ни с солнцем, ни с горным орлом, а только лишь с самим Сталиным, и в этой формулировке настолько полно и искренне выразилась мифоло-

гическая народная любовь к своему кумиру, которую невозможно уничтожить никакой логикой и правдой, по крайней мере в период нынешних, современных Сталину и освященных им поколений, что я испытал перед этой твердостью растерянность, не дав себе даже передышки, необходимой для восстановления сил.

— Тупой ты! — крикнул я Гагичу, человеку, который в общем-то мне помог. — Все вы тупые, как кирпичный забор... Ух, стрелять вас надо... вот что... Из пулеметов... Вот оно что... Сталинские гады...

В конце концов все снова приняло закономерное этому времени политическую окраску, однако — и это так же закономерно — в основе своей направленную не по адресу. Глянув еще раз со злостью на Гагича, я плюнул наземь и покинул двор стройуправления.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Итак, как сказано выше, невзирая на крайнее истощение сил, в тот день я избил еще двоих. Один был случайный прохожий, и я не помню, по какому поводу я к нему придрался (именно к нему придрался). Второй был инструктор райкома Колесник (впоследствии, как мне стало известно, из райкома уволенный по настоянию секретаря райкома Моторнюка, против которого Колесник интриговал, но не рассчитал своих сил). Интересно, что не только случайный прохожий (какая-то ничтожная личность в кепочке; кажется, эта кепочка меня и разозлила, теперь смутно вспоминаю), не только случайный прохожий, но и Колесник, который еще недавно меня унижал, как хотел, ныне бежал, не оказав сопротивления. Правда, надо сказать, вид мой был действительно страшен (я понял это, глянув на себя потом в зеркало), волосы мои, давно не мытые и жесткие, в нескольких местах стояли торчком. Глаза, обрамленные черными кругами, блестели, а лицо было сплошь покрыто кровоподтеками и заклеено пластырями. Случайного прохожего я избил тотчас же, выйдя из ворот строймеханизации. Впрочем, избил — сильно сказано. Я успел лишь ударить его в спину меж лопаток, он оглянулся на меня и сразу же побежал вместе со своей кепочкой (именно «кепочка» — теперь вспоминаю точно), побежал через дорогу на противоположную сторону улицы, даже не позвав милиционера, на что я рассчитывал (я не терял надежды на громкий политический процесс, где смог бы превратить многолет-

нее страдание мое в живое обличение и оказаться в центре общества).

Колесника я перехватил вечером в коридоре. Он снова жарил картошку на общественной кухне, и я, выскочив из комнаты, откуда, приоткрыв дверь, подсматривал, сразу же схватил Колесника пальцами за лицо. Интересно, что все время реабилитации, пока живы были надежды, что реабилитация принесет для меня реальные положительные изменения, я о Колеснике и прочих даже не вспоминал. Теперь же пришел их черед. Колесник выпрыгнул (именно выпрыгнул из моих пальцев), сделав вращательное движение головой, а затем, прыгнув спиной вперед от меня, повернулся и побежал. Он заперся в своей комнате. Я уперся коленом и ладонью левой руки в стену коридора, правую же руку положил на дверную ручку и сильно рванул. Звякнув, полетел крючок, заплакал ребенок Колесника трех лет, закричала его жена, продавщица универсама, но меня увели Григоренко и Рахутин, обняв за плечи. И снова, невзирая на явное буйство, милицию не вызвали, не знаю почему. Может, вследствие слухов о моем отце генерал-лейтенанте, может, также и потому, что как-то прослышали о насмешках и издевательстве надо мной Колесника, не удержавшегося на уровне служебных обязанностей и допустившего в мой адрес перегибы. Так что и комендантша, по своей инициативе привлекая Колесника к борьбе против меня, теперь, возможно, жалела и опасалась для себя неприятных последствий. К тому ж пугал мой внешний вид. За несколько дней я сильно изменился, и в облике моем проступило воспаление, заставлявшее людей держаться от меня подальше, и бороться со мной непосредственно никто лично не хотел (как я ныне понимаю, считали меня свихнувшимся. А таких опасаются и одновременно брезгуют). Даже Григоренко и Рахутин, мои друзья, подошли ко мне не сразу, предварительно пошептавшись в конце коридора, причем подошли, когда случай был крайний и следовало спасти меня от роковых и эмоциональных шагов в отношении Колесника, которые я намеревался предпринять. В общем, тогда мне просто помогли улечься в постель мои друзья. Я хотел бы выпить перед сном чаю с карамелью, но сами они (друзья мои) не догадались, явно спеша уйти и считая свою миссию выполненной. Впрочем, попроси я, они бы, конечно, согрели и принесли чай, но отныне я решил никогда и ничего не просить. Ночь, проведенная мной, была тяжела, но частые бессонницы, приступы печени и прочие болезни, нередко обострявшиеся у меня ночью и ранее, приучили мой организм приспосабливаться и бороться. Интересно, что, вынужденный но-

чью среди храпа жильцов оказывать себе помощь, я несколько успокоился душой. У меня сильно горело под пластырями лицо (главную массу ударов Лойко обрушил именно на мое лицо, которое он особенно ненавидел, я это чувствовал), а также болела грудь (Лойко ударил меня несколько раз ногой и по груди, когда я лежал). В общем, болело все тело, казалось, нет на нем живого места, однако лицо и грудь были центрами, и им прежде всего следовало уделить внимание, я знал, что стоит мне успокоить боль в лице и груди, как она успокоится во всем теле. Осторожно встав и неслышно ступая (не потому, чтоб не нарушить сон жильцов, плевать мне на них, а потому, чтоб, проснувшись, они не увидели моих мучений), осторожно ступая, я на ощупь нашел в тумбочке тройной одеколон, и также на ощупь, содрогаясь от боли, я сдирал пластыри, смазывал раны тройным одеколоном и снова их заклеивал. Лицо сперва пекло и мучило сильней, но затем, полностью так обработанное, начало успокаиваться. Сложней было с грудью. Мне трудно было дышать, но ничего, прямо воздействующего на грудь (типа тройного одеколona для лица), я предпринять не мог (попытка приложить теплый шарф для согревания груди никак не воздействовала). Однако я нашел положение тела, облегчающее боль в груди, именно сидя и опираясь о койку рукой. В таком положении боль утихала, когда же я вставал и прислонялся спиной к шкафу, то она вовсе пропадала, и, стоя у шкафа, я ухитрился даже вздремнуть. Так, изыскивая всевозможные способы оказания себе помощи, провел я хоть и тяжело, но довольно деятельно ночь. Ранний июльский рассвет (было, между прочим, уже начало июля, и прошел почти месяц с начала реабилитации), ранний рассвет застал меня более свежим, чем вечером, хоть я почти не закрыл глаз (за исключением отдельных моментов, когда я дремал, прислонившись к шкафу). Но свежесть эта была деятельная, дневная и требовала движений. Я оделся (боль в груди миновала совершенно, лицо же несколько щемило), я оделся, вышел на улицу, погулял на свежем воздухе до времени начала работ министерств и главков и после этого позвонил в главк Саливоненко. Разговор с ним (явно не догадывающимся о произошедших со мной изменениях), разговор с ним приведен мной в одной из предыдущих глав. Решение же внести Саливоненко в список моих врагов и избить его возникло именно тогда, но должен добавить, что никаких подобных списков еще не существовало и как раз данный разговор натолкнул меня на мысль об этих списках и вообще о более серьезной и разумной тактике. Этот телефонный разговор с Саливоненко я считаю переломным, то

есть переходом от анархической бесплановой ненависти к планомерным и продуманным действиям. Тут уже чувствовались зачатки подпольной организации, к необходимости которой я впоследствии пришел. Действительно, сразу же после разговора с Саливоненко, вернувшись в общежитие и усевшись у своей тумбочки, я принялся составлять список своих врагов, прикрывая бумагу локтем. В противоположном конце комнаты сидел Жуков и, так же прикрывая от меня бумагу локтем, что-то по обыкновению вычерчивал, заглядывая в учебник физики седьмого класса. Таким образом, в конечном итоге техническая графомания Жукова, над которой я ранее насмеялся, ныне пошла мне на пользу, ибо я не выделялся в своих действиях и мог конспиративно маскировать их хотя бы под стихотворчество... Список лиц, враждебно ко мне настроенных (первоначально я так его наименовал, однако вскоре нашел это название рыхлым, перечеркнул и просто коротко написал — врагов), список этот, даже в его первоначальном варианте, ибо впоследствии он вырос чрезмерно, был весьма пестр. Кроме одноплановых Лойко и Колесникова сюда входил Саливоненко, некогда оказавший мне услугу и покровительство, входили Брацлавский, Юницкий, Коновалов (эти, правда, близки к типу Лойко — Колесник), входили комендантша Софья Ивановна, зав. камерой хранения Тэтяна, несмотря на некоторые неожиданные послабления с ее стороны ко мне. Входил полузабытый и зафиксированный в списке лишь после раздумий работник военкомата Сичкин. Неожиданно вошла семья Чертогов, некогда предоставившая мне ночлег, но впоследствии попросту выгнавшая меня. Вошла и такая ничтожная личность, как Вава, муж Цветы, а озлобившись, я внес в список и стариков Бройдов, милых людей, но неожиданно переменявших ко мне... Это были те самые щепки, которые летят, когда рубят лес... Вообще бюрократия в террористической деятельности (а именно к ней я приближался) вопрос необходимый, но нелегкий... В прямой борьбе, когда физическое противостояние перевешивает идейное, чрезвычайную роль играет эмоция момента, и это влечет за собой ряд неизбежных ошибок и в ту и в другую сторону. В частности, в списке фигурировали старики Бройды, поступившие со мной пусть несправедливо, но в бытовом плане, в то же время отсутствовал мой враг студент Орлов, и вовсе не потому что я забыл о нем, а потому, что ошибочно полагал, будто он, как бы там ни было, подобно мне недоволен официальной и ведет против нее борьбу. Впрочем, в первоначальном черновом варианте списка вообще сильно еще было анархическое начало, то есть лица вноси-

лись на основе их личных поступков по отношению ко мне, политические же их воззрения учитывались во вторую очередь... Кстати, в данном случае весьма наглядно сработал закон политической физиологии (термин мой), то есть люди физически крепкие, высокого роста, простые в своих жизненных отправлениях, не любящие евреев (даже тех евреев, которые любят Сталина, как, например, Маргулис), эти люди, как правило, сталинисты (бывают и исключения). Когда впоследствии я попытался придать моему списку политическую окраску, то оказалось, что большинство лиц, внесенных экспромтом, под воздействием момента, были сталинистами (я заключил это аналитически, ибо ни с кем из них, кроме разве Колесника, на политическую тему не говорил, но думаю, что не ошибся). Несколько путали карты старики Бройды и Вава... Эти были, конечно, левые и антисталинисты, но за что именно они были, понять мне было трудно, кажется, за интернационализм, свободу и демократию...

Первым в списке был Саливоненко, ответственный работник главка, еще недавно находящийся не только административно (это сохранилось), но и морально высоко надо мной. Подобная ситуация, когда административная высота сохранена, а моральная уничтожена, объясняет суть и форму моих действий... Нападение и месть за обиды (моральная высота уничтожена), причем по возможности в уединенном месте (административная высота сохранена). Да, в дело с моей стороны вступили уже не анархические всплески эмоции, а продуманный расчет, пристрастие к которому я, кстати, если вспомнить, питал и ранее, ведь на основании корыстных расчетов я и строил свои отношения с людьми, ища среди них лишь полезных мне лиц и покровителей. Так вот, в новой своей деятельности я был чрезвычайно обязан прежним навыкам. В переходный период без планового озлобления, в случайных уличных драках и бесконтрольных вспышках эмоций я терпел бесконечные беды, довел себя чуть ли не до безумия и выглядел чрезвычайно неприятно со стороны (я это чувствовал, и это меня, дорожащего мнением окружающих, особенно женщин, очень угнетало). Итак, я довел себя до безумия в переходный период именно благодаря забвению, вернее, неумению применить в новых условиях прежние навыки и расчеты... Короче, в моих действиях против Евсей Евсевича Саливоненко (уверен, сталинист, хоть и дружащий с Михайловым), в моих действиях уже присутствовал элемент некой организации, в которой, однако, пока был лишь один член — именно я.

Прежде всего я организовал слежку за зданием республи-

канского совета министров. На это ушла неделя, если придерживаться по-прежнему, для простоты принципов, календарной организации событий, а в общем ушло больше недели дня на два, на три... Утром, встав, наскоро позавтракав, я сел на троллейбус, потом пересаживался на трамвай и так добирался к зданию совета министров. Здание это было огромно (я его уже в свое время описывал), с множеством подъездов, через которые входили и выходили многочисленные работники главков и министерств, здесь расположенных. Выследить Саливоненко, самому оставшись незамеченным, дело нелегкое. Но проблема состоит не только в том, чтоб выследить, но и в том, чтоб терпеливо дожидаться ситуации, пригодной для действия... Выследил я его на пятый день работы, он входил обычно через седьмой подъезд, где-то около одиннадцати и покидал здание через него же в основном между шестью и семью...

Должен сказать, что, несмотря на то, что работал я много (а вернее, благодаря тому), сон у меня улучшился, и на душе стало спокойней. К тому ж июль выдался на редкость июльски (термин далеко не ироничный; как часто в июле случается октябрь или даже ноябрь, портящий настроение и угнетающий), итак, по-июльски теплый, но не знойный, с легкими освежающими дождиками, и я оправился, окреп, проводя постоянно время в хорошо озелененном районе совета министров, на свежем воздухе и все-таки при деле. С питанием также улучшилось. Днем я обедал в расположенной неподалеку от совета министров довольно приличной столовой, куда ходили даже некоторые низовые работники этого учреждения и работники охраны (однажды я обедал за одним столиком с сержантом из охраны). Так проходили дни, но терпение мое не истощалось, даже наоборот, я втянулся в ритм. Поэтому, когда однажды Саливоненко вышел один и направился в сторону парка (я внимательно обследовал весь район и нашел, что для меня это наиболее пригодный участок, но, к сожалению, Саливоненко либо уезжал на автомобиле, либо шел с группой сослуживцев, а случалось даже и один, но вниз по шумным и людным улицам), итак, когда Саливоненко вышел один, направившись в сторону парка, я даже испытал легкое разочарование, свойственное концу всякой интересной работы.

Саливоненко жил неподалеку (я проследил), и к дому его (великолепному пятиэтажному красавцу) можно было выйти и через парк (я не бездумно отметил парк, а именно потому). Однако Саливоненко ни разу этой дорогой не пользовался, не знаю почему, я даже начал подозревать, не заметил ли он че-

го-либо, но сразу же подобное отверг, поскольку вел себя весьма конспиративно, чтоб не бросаться в глаза, каждый день в меру своих скромных возможностей одевался по-разному, меняя рубахи, благо было тепло. Пиджака у меня всего два, и то один драный, в котором в этот район города ходить неприлично, так что будь похолодней, мне пришлось бы все время ходить в выходном вельветовом, что весьма могло бы меня подвести. В вельветовом пиджаке я вообще выделяюсь, и на меня обращают внимание даже такие красивые женщины, которые редко кого одаряют взглядом.

Вечер (был уже вечер, Саливоненко задержался, и я подумал, не проморгал ли его, но он вдруг вышел из совершенно другого подъезда), вечер, в который мне предстояло действовать, был удивительно хорош (наверно, потому Саливоненко и избрал путь через парк). Правда, в июле время где-то около восьми назвать вечером можно лишь весьма условно... Солнце опустилось и стало совершенно мягким, бархатным на ощупь, а по виду придало воздуху кремовый уютный цвет... В парке вольно, по-лесному пахло грибами, свежей травой, мокрыми стволами деревьев после легкого дождика (сырая древесина обладает запахом спирта, и именно она придает лесному воздуху веселящий сердце аромат, это я узнал позже). Саливоненко шел, глубоко дыша, держа шляпу в руке, красивый мужчина (славянский профиль и восточные глаза), красивый мужчина с серебряной мягкой шевелюрой. Я осторожно крался сзади между деревьев, но, очевидно, красота природы подействовала и на меня, так что я упустил благоприятный для нападения момент, пока Саливоненко находился в глухой части парка у забора... Далее уже были довольно многолюдные аллеи, по которым, я знал, ему следовало идти, чтобы пересечь парк и выйти к своему дому. Однако в тот день (такие дни бывают), в тот день словно судьба и обстоятельства шли мне навстречу и не усугубляли, а исправляли все мои упущения. Дойдя до поворота, Саливоненко не вышел на людную аллею, а наоборот, начал забираться вправо, в места вовсе ныне глухие. Я говорю ныне, ибо ранее тут были места весьма шумные и располагался эстрадный театр миниатюр... Однако еще с весны (я бывал здесь весной раза два или три, чтоб смотреть на девушек, когда получил передышку в борьбе за койко-место), еще с весны тут начата была переустройство, потом заброшена, театр стоял в разобранном виде, без крыши и окон, валялся вокруг кирпич, кучи известки, прочий строительный хлам, были какие-то кучи земли, недорытые траншеи и место вовсе стало безлюдным. Вот сюда-то и направлялся почему-то Саливоненко. Я следовал не сза-

ди уже, а параллельным курсом, обойдя с фланга и отрезая дорогу Саливоненко к людным местам. Саливоненко обошел стройку с тыла, и в тот момент, когда он находился между стройкой и глухим забором парка, я и выскочил. Я хотел начать издевательски цинично, попав ему в тон и словно продолжая прерванный телефонный разговор, но в новой ситуации, когда я уже диктовал бы, а он бы нервничал... Однако вместо этого, сам не справившись с нервами и возбуждением (в решительной, завершающей стадии я вновь перешел на примитивный уровень неорганизованных эмоций), не справившись, я крикнул звонко:

— Значит, я выдавал себя за специалиста по небьющемуся стеклу?! Сталинский клеветник... Сталинская шкура...

Саливоненко ахнул, быстро огляделся и побежал от меня вниз по склону. Я выхватил из кармана замок от тумбочки с острыми краями и, зажав его в кулаке, кинулся следом...

Здесь необходимо прерваться для объяснений. То, что крупный работник главка побежал от меня, снова отщепенца, в который раз свидетельствует об удивительной неразберихе, которая на короткое время, непосредственно после публичных хрущевских разоблачений сталинских ужасов и преступлений, воцарилась в государственных и общественных отношениях. Деятельность карательных органов оказалась публично опороченной настолько, что даже число молодых людей, желающих посвятить себя этого рода работе, то есть пополнить органы охраны, существенно сократилось, а в училищах подобного профиля оказался недобор, в то время как еще недавно они пользовались популярностью, да и спустя некоторый срок они вновь были переполнены. В этой государственной обстановке Саливоненко сразу понял, увидев меня в определенном состоянии, свойственном тогда главным образом людям реабилитированным, Саливоненко сразу понял, что публичный скандал с привлечением органов охраны, не имеющих в тот период четких инструкций, запутанных окончательно дикими полуполициальными обличительными речами главы государства Хрущева и потому занимающихся несвойственными им и неприятными мероприятиями, так называемыми исправлениями прежних несправедливостей, массовыми извинениями перед бывшими заключенными, а также перед членами их семей, что в какой-то степени парализовало на время их активную деятельность, в такой обстановке, понял Саливоненко, публичный скандал будет выгоден скорее мне, отщепенцу, чем ему, ответработнику. Тем более с первых же слов я придал этому скандалу политический характер. Но все это я понял и осмыслил лишь впоследствии, тогда же

бегство Саливоненко отнес исключительно на свой счет. Саливоненко мне настичь не удалось. Я был намного моложе его, однако, несмотря на то что в последнюю неделю слезки за Саливоненко несколько окреп, все ж сказывалось систематическое недоедание, нервные потрясения и побои. В частности, во время бега у меня снова закололо в груди, как тогда ночью, и я начал задыхаться. Потому, остановившись, я изо всех сил метнул замок и попал им Саливоненко между лопаток. Саливоненко вздрогнул, пригнул голову, но бега не замедлил и вскоре скрылся за кустами. Искать замок, чтоб им вновь вооружиться, было бессмысленно, он покатился куда-то вниз по склону. Я побрел зачем-то назад, к верхнему выходу из парка (скорей по привычке), хоть спокойно мог так же спуститься и выйти через нижние ворота на улицу, откуда, кстати, шел к общежитию прямой трамвай. Устало переставляя ноги, перегорев, я медленно поднимался по тропке. Вдруг, нечаянно подняв голову, я остановился потрясенный. Молоденькая девушка небесной красоты стояла здесь, в этом захламленном уединенном месте, среди куч битого кирпича. Рядом с ней сразу поблек не только облик всех моих фавориток из библиотеки, но и образ Нели из газетного архива. Такого совершенства я не мог вообразить даже в самых счастливых снах. Ее стройные ножки с аккуратными икрами (мне очень хотелось поцеловать именно икры на ее ножках), ее стройные ножки были покрыты ровным бронзовым загаром. Цыганская юбка, раздутая колоколом (по моде сезона), нависала над круглыми коленками и закреплена была поясом, охватывающим тонкую талию... Две игрушечные точеные груденочки грациозно оттягивали прозрачную блузку, под которой виднелось умопомрачительное тело и не менее умопомрачительная, отделанная кружевами, розовая комбинация. Точеная шейка подымалась из выреза блузки, а на шее этой росло самое прекрасное в этом прекрасном существе, именно головка, лишенная даже малейших недостатков. Здесь все было на месте и дополняло друг друга: густые русые волосы, которые хотелось понюхать, маленький носик, вызывающий радостное восхищение, и пунцовые губки, вызывающие прилив ласковой тоски... Такая девушка может привести в восторг и растерянность даже более удачливых людей, чем я...

Я старался не шелохнуться и не дышать (хоть после бега мне хотелось громко отдышаться и откашляться, ибо грудь покалывало). Я старался не дышать, чтоб не напугать девушку, радостно сознавая, что здесь, в уединенном месте, она совершенно беззащитна и единственный человек, способный

защитить ее от грубого посягательства и уже защищает своим присутствием, это я, незаметно стоящий за кустами. Мысль эта умилила меня до слез, и я осторожно вытер глаза мизинцем. Грудь у меня покалывало, однако сердце мое, горячее от ненависти, остыло до уровня приятного и милосердного. В то короткое мгновение я любил всех и готов был со слезами мириться со всеми (даже со сталинистами) и говорить со всеми по душам.

Уже потемнело. В здании республиканского совета министров, виднеющемся за забором, были освещены большие красивые окна, какая-то редкая в городе, очевидно, лесная птица, перелетая с дерева на дерево, шурша листвой, издавала свистящие звуки, со стороны танцплощадки слышалась мелодия непритязательного, может быть, даже безвкусного вальсишки. У меня сильно и по-новому билось сердце, и очень хотелось долгого полного счастья... Как никогда ранее хотелось... Меж тем девушка все не уходила, поглядывая на маленькие часики у запястья (я, кажется, еще не описывал ее руки. Мне кажется, именно таковыми должны были бы быть утраченные руки Венеры Милосской. Стройные, но не худые, обнаженные, покрытые тем же, что и ножки, ровным загаром). Подумав о ее обнаженных руках, я тут же подумал, что после того, как солнце зашло, стало прохладнее и девушке, пожалуй, холодно. На мне пиджака не было, но поскольку с утра небо хмурилось, я надел легкую курточку, купленную недавно на деньги, полученные за смерть отца, то есть за двухмесячную компенсацию на уровне его последней должности плановика. Курточка эта мне чрезвычайно понравилась, стоила она недорого, и я решил ее приобрести, несколько урезав фонд на развлечения и сладости... Эту курточку я и смогу теперь в крайнем случае предложить девушке. Она все не уходила, но уже начала кусать губки... Надо было прийти ей на помощь, но с чего начать, чтоб не напугать и не вызвать неприятных подозрений? Прежде всего я рассудил, что если сразу выйти из засады, это будет и неприлично и страшно. Девушка должна быть подготовлена к моему присутствию. Поэтому, неслышно ступая с носка на пятку (такой способ мне известен давно), стараясь не зацепить куст или не наступить на сухую ветку, я отошел подальше, а потом пошел размашисто в направлении девушки, так, чтоб она услышала еще издали мои шаги. И точно, девушка ждала моего появления с радостью и надеждой, повернув в сторону шагов свое личико... Увидев меня, она лишь испытала разочарование, но не испугалась. Она ждала кого-то другого. И вдруг как молния сверкнула в мозгу, и я понял, кого она ждала. Она

ждала Саливоненко... Собственно, чтобы догадаться об этом, пророком быть не следует, особенно учитывая мою склонность к анализу и сопоставлению. Но надо помнить мое чувственное состояние, близкое к мгновенной, на уровне помешательства, влюбленности, чтоб понять, почему эта догадка пришла ко мне с таким запозданием... Она, великолепная и юная, ждала седого Саливоненко, еще эффектно выглядящего, занимавшего высокую должность со служебным автомобилем, но все-таки годящегося этой девушке в отцы. Вот почему Саливоненко сразу же кинулся в сторону, пытаясь увести меня с этого места. Он не хотел, чтоб я стал свидетелем его предосудительного свидания, и боялся, что наш политический скандал напугает и травмирует его юную возлюбленную. Что же касается второй причины: уменьшения на тот короткий период авторитета карательных органов, как причины его бегства от меня, отщепенца,— то я понял и осмыслил это, повторяю, лишь впоследствии... Теперь же я понял одно — девушка любила именно Саливоненко... Хмельная ревность волной ударила мне в голову, и милосердие покинуло мое сердце.

— Между прочим,— сказал я, обращаясь к девушке,— я пришел сюда, чтоб открыть вам глаза на подноготную человека, которому вы чересчур доверяете и которым явно увлечены...

Это «между прочим» погубило фразу, я понял тотчас же, как произнес. Оно сделало фразу провинциальной, неискренней и лишенной благородства. Насколько лучше звучало бы просто: «я пришел сюда» и т. д. Неудачным было и слово «подноготную», но это уже следствие волнения от неумного начала. Я ожидал чего угодно, начиная говорить. Я понимал, что это рискованно, я ожидал, что девушка испугается, заплачет, растеряется, но я не ожидал, что это юное прекрасное существо может так разъяриться и сразу закричать на меня, употребляя грубые, грязные слова.

— Я знаю, кто тебя подослал,— кричала она,— ты брат его жены, этой стервозы, у которой воняет изо рта, как из помойки... У которой тело покрыто волосами и липкое от пота... Евсея тянет на тошноту, когда он ложится с ней в постель... Он сам мне в этом признался,— она громко, нервно захохотала.

Я был ошеломлен. Правда, в свои двадцать девять лет я был девственником по причине своей материальной и моральной ущемленности, но все-таки я вращался в грубой среде рабочего люда, говорившего об интимных отношениях мужчины и женщины довольно прямо и неинтеллигентно. И все-

таки многие вещи, касающиеся этих интимных сторон, я слышал впервые так откровенно, с такой по-медицински циничной правдивостью (возможно, девушка была медичкой, я подумал о том после). Правда, в конце этих нецензурных в большинстве своем воплей (иначе не назовешь) она несколько если не оправдала, то объяснила причину случившейся с ней мгновенной истерики (это, конечно, была истерика).

— Вы следите за нами,— крикнула девушка.— Вы не даёте нам любить... Скоты, ничего у вас не выйдет. Мы с Евсеем будем любить друг друга, пока живы... Вы мучаете нас только за то, что мы красивы, а вы уродливы и противны,— и она заплакала.

В последних этих фразах почти уже не было грубых выражений, а наоборот, некоторая глупая трогательность и отчаяние, которое подчас так украшает слабость, а значит, и красоту женщины и которого я ждал от нее с самого начала, когда решился говорить. Отчаяние и слабость женщины делает любовь мужчины сильнее и безумней, то есть он сразу забывает о всем дурном в женщине и помнит лишь о своей природной обязанности защитить слабость, обязанность, которая для влюбленного наиболее сладка. Шагнув к этой слабой, плачущей девушке, я широким жестом снял со своих плеч новую из сурового полотна летнюю курточку и набросил девушке поверх прозрачной кофточки на ее плечики. Но она не приняла моей защиты, и это, может быть, самое оскорбительное, что возможно для влюбленного мужчины... Она сбросила курточку с плечиков на землю, причем каким-то брезгливым жестом, пнула ее стройной ножкой и крикнула:

— Чего ты суешься со своим вшивым пиджаком, чего ты трогаешь меня со своим рылом уродливым... Сестре своей передай— плюю я на нее... Евсей будет со мной...

И она убежала. Я остался стоять, опустив голову. Так меня никогда еще не оскорбляли, даже если учесть, что она меня с кем-то путала, ибо оскорбление в конце концов касалось непосредственно моего лица. В свое время сильно оскорбила меня Неля из газетного архива, назвав меня «крысой». Но, во-первых, она впоследствии фактически извинилась своим мягким поведением и взглядом, а во-вторых, в Нелю я все-таки не был так влюблен, как в эту юную блондинку, причем мгновенно и безумно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Не прошло и двух дней, как я отомстил этой юной богине, именно богине, ибо, как говорил уже, красивая женщина являлась для меня существом святым и великим, которое заставляло молиться мою душу атеиста. В облике русоголовой, голубоглазой девушки святое для меня существо достигло предела совершенства, но потрясения, испытанные мной, побуждали к бунту против созданного мной божества красоты и любви... Робость, пылкое воодушевление, стыд являлись обрядами той религии... Это была единственная религия, которую я исповедовал. Однако, горько разочарованный и глубоко обманутый, я становился и здесь воинствующим атеистом. И русоголовой девушке я отомстил не так, как мстил до сего времени своим обидчикам, не так, как мстят человеку, а так, как мстят высшему существу, то есть тому святому, что имеется в собственной душе. Главным из обрядов любви является стыд, и стоит надсмеяться над этим обрядом, как рушатся и остальные: мечта, робость, воодушевление... Самое священное, прочел я впоследствии у Мережковского, есть самое стыдливое, потому что стыд есть чувство телесной святости. Вот это чувство телесной святости, которое прежде скупно берег для любви, я и отбросил через два дня с рябой уборщицей Надей...

Едва Надя с Колечкой вошла в комнату, где я был один, как я встал, накинул крючок и положил на край стола три рубля... Она поставила веник в угол, посадила Колечку на дальнюю кровать, сама взяла в моей тумбочке пригоршню карамели и положила сыну в ручонку... После чего она начала расстегивать блузку... Жестокость я испытывал первоначально, когда накинул крючок, положил три рубля и Надя начала расстегивать блузку... Потом, когда все началось, я не испытывал ничего, кроме тошноты, гадливости и ужаса перед тем, что происходит со мной... Позднее, когда такие случаи повторялись, я перестал испытывать тошноту, даже научился получать удовольствие, пусть не такое сильное, как испытывал в снах либо в мечтах, кстати, с того момента навсегда исчезнувших... Тогда же я в ужасе и отвращении отворачивал свое лицо от потного рябого лица Нади, метавшегося по подушке, стонущего, пытающегося поймать своим ртом мой рот... Все-таки я нашел в себе силы в самый тошный момент вообразить и представить себе в подробностях прекрасное лицо юной надменной красавицы, дабы она вместе со мной разделила ужас и позор... Но потом, отворачивая все дальше свое

лицо от Надиных поцелуев, я увидел мельком Колечку, сидящего на койке и сосущего свой кулачок, полный размякшей карамели. Мне стало так нехорошо, что, забыв обо всем, я вскочил, стыдливо отворачиваясь и наглухо застегиваясь, даже ворот рубахи под самый ворот застегнув. Надя же продолжала лежать на койке, в бесстыдстве разметавшись, однако, глянув несколько раз, я вдруг ощутил, что это было уже не уличное продажное бесстыдство, а какое-то женское спокойное, чуть ли не доверчивое... Я, новичок, не знал еще, что так лежат усталые от искренней страсти женщины. Лицо ее также стало мягче, порок исчез с него, и появилось даже миловидность и тишина. Ошеломленный новым поворотом, я стоял в растерянности посреди комнаты. Так продолжалась минута, другая. Надя встала, натянула юбку, застегнула блузку и тихо сказала:

— Приходи ко мне, я тебе адрес оставляю...

Это было уже слишком. Разом вспомнилось отвращение и тошнота, которые я испытывал, когда Надя ртом своим ловила мой рот, и я понял, что на ее глупое предложение следует ответить какой-нибудь грубостью... Мгновенно перебрав в уме несколько, я остановился на трех рублях, которые по-прежнему лежали с края стола.

— Не забудь,— сказал я, криво улыбнувшись и щелчком подвинув три рубля к Наде.

После чего вышел из комнаты, где Надя приступила к уборке.

А к вечеру, вернувшись в комнату после долгой прогулки, во время которой заметил, что поглядываю на встречных женщин по-новому, вернувшись в комнату, я обнаружил, что совершилось то, чего я опасался все три года моей бесправной жизни здесь и чего мне до сих пор удавалось избегать с помощью покровителей. Именно койка моя стояла голой и с обнаженной панцирной сеткой приобрела тощий нежилой вид. У меня отобрали постель, на этот раз без всяких предупреждений, как было прежде во время моего бесправия... Но в чем я уверен, это в том, что Надя непосредственно в данном случае к отбору постели не причастна. Возможно, за ней следили. Мне вспоминается теперь, что кто-то дергал дверь в самый разгар наших взаимоотношений. И все ж если в прошлый раз у меня пытались отобрать постель именно благодаря скандалу с Надей, когда я толкнул в отвращении ее Колечку, перелавившего и испортившего мои продукты из тумбочки, то ныне это, конечно, были интриги Колесника вместе с комендантшей Софьей Ивановной... Именно новое мое положение равноправного гражданина, лишившее их возмо-

жности к грубому произволу в мой адрес, толкнуло этих людей на интриги и козни, которые бывают весьма даже эффективней грубого произвола, где в руках у интриганов имеется административная власть.

Я бросился в жилконтору. За столом Маргулиса сидел новый начальник, молодой, но рано полысевший. Лишь увидав начальника, я понял, что мой мгновенный порыв в жилконтору был нелеп, ибо давно уже рабочий день окончен. Побежал я под воздействием не разума, а порыва, однако в данном случае мне повезло и случайно начальник задержался по какому-то делу.

— Я Цвибышев,— крикнул я начальнику чуть ли не с порога.

— Так,— ответил начальник с таким видом, будто он подтверждает действительность моей фамилии.

— Кто дал право отбирать у меня постель?

— Но что можно сделать, дорогой?— сказал мне начальник.— У нас ведомственное общежитие... Мы обязаны предоставлять койко-место лишь рабочим-строителям, в которых испытываем нужду.

То, что этот начальник говорил мягко, ввело меня в заблуждение. Подсознательно я никак не мог еще освободиться от своего прошлого бесправия и от примитивно унижительного стиля, с которым ранее со мной общались должностные лица. И я не понял, что передо мной работник новой эпохи и нового, послесталинского стиля. Потому, приняв его мягкий стиль за податливость, я решил, что его легко сразу и без разведки можно запугать... И вновь, который раз, я сразу выложил козыри.

— Я сын генерал-лейтенанта,— крикнул я.— Ясно?.. Вам звонили по моему поводу из военной прокуратуры?

— Звонили,— вежливо ответил начальник.— Мы пошли им навстречу, поскольку речь шла о вашем временном пребывании... Но где же предел? Если они так хорошо к вам относятся, то пусть дадут вам жилье...

Он попал в самую точку, в самое мое больное место и, кажется, почувствовал это, ибо слегка, вежливо, правда, улыбнулся... Эта ядовитая вежливая улыбка и толкнула меня на новую глупость.

— Вы не указывайте военной прокуратуре, что она должна делать... Ясно? Я буду здесь находиться и занимать койко-место сколько потребуется... Ясно?.. Военная прокуратура укажет вам, и не пикнете... Ясно?

Фраза вышла нелепая и какая-то военная с многочисленными «ясно». Это я понял, как всегда, тотчас, едва произнес.

Смысл фразы получался таков, будто я занимаю койко-место в этом общежитии не от безвыходности и отсутствия иного ночлега, а чуть ли не по заданию военной прокуратуры.

— Ну уж нет, молодой человек,— сказал начальник,— времена беззакония и произвола кончились... Военная прокуратура не имеет права нарушать закон и поселять посторонних в ведомственное общежитие.

И тут не знаю, что получилось. Может, от отчаяния, от ощущения того, что все, чего я боялся и против чего боролся три года, свершилось ныне так просто, причем нынешнее мое положение лишает меня возможности просить, унижаться и искать повод действовать на начальника через покровителей, может, оттого я как-то потерял ориентиры и яростно, сломя голову вступив в противоборство, вынужден был, поскольку мой враг взял на вооружение новые, послесталинские веяния, использовать старое, консервативное сталинское начало.

— Нет уж,— сказал я, размахивая угрожающе пальцем,— военная прокуратура прикажет, и ты (я сказал со злости «ты»), и ты со своим законом знаешь куда пойдешь?.. Прикажут лошадей в комнаты поселить — поселишь (об этом сравнении можно сказать, что оно не очень удачно. Однако назавтра в общежитии его приводили как пример моей психической болезни. Я сам слышал, как о том шептались на кухне жены семейных).

— Вот что, молодой человек,— сказал начальник,— я думал, у вас хватит такта не вынуждать меня объявить и вторую, главную, может быть, причину изъятия у вас постели... Понимаете, живут у нас молодые ребята, холостяки...— Он усмехнулся.— Вы человек уже немолодой, под тридцать... Но устраивать в комнатах разврат мы не позволим... Это плохо влияет на молодежь... Так мы и скажем, если позвонят из военной прокуратуры. Если вам это выгодно, так что ж...

Вот когда этот новый, мягкий, послесталинский стиль показал свои коготки... Я был убит, раздавлен и обезоружен, ибо просьбы и унижения даже во имя сохранения ночлега были невозможны из-за возвращенного мне реабилитацией достоинства, а противоборство невозможно также, ибо не только положение мое до конца не было ясно, но даже и позиция моя по поводу этого положения была путана, по крайней мере в той части, где я пытался запугать начальника прежними методами произвола, которые чуть ли не применяют карательные органы, дабы сохранить за мной койко-место. Вот тут-то начальник и выложил свой козырь, прибереженный под самый конец, именно насчет моей связи с уборщицей Надей,

причем меня даже в жар бросило, поскольку я представил, что за нами подглядывали в замочную скважину, куда по неопытности я не вставил ключ.

— Что же делать,— сказал я чуть ли не вслух,— что делать?.. Вы думаете, взяли меня за горло... А докажите... Да... Пусть кто-нибудь подойдет к моим вещам в шкафу или тумбочке, глаза выбью... Попробуйте не вернуть постель, сталинские морды...

Я защищался как мог, отбросив щепетильность и душевную сложность... В общем, если вспомнить, положение мое начало налаживаться именно за счет простоты и крайних понятий, во время слежки за Саливоненко я даже окреп. И наоборот, душевные сложности, размышления и любовь привели меня, в который уже раз, на грань катастрофы...

Пнув ногой стул и сильно хлопнув дверью, дабы хоть частично растратить накопившуюся нервную энергию, я вышел от начальника, и, придя в комнату, не глядя на жильцов, которые при моем появлении замолкли, стараясь не встречаться со мной глазами, не глядя ни на кого, я начал готовиться к ночлегу... Если б койка моя была обычна, то есть с обычной, а не панцирной сеткой, то положение мое вовсе было бы плачевно. Но в период дружбы моей с Береговым он раздобыл себе и мне койки с панцирной сеткой, более мягкой, пружинистой и густой, не имеющей в соединениях металлических звеньев острых жестких крючков... Вместо матраца я положил несколько пар белья, которое собирался отдать в стирку, однако ныне задержу до получения назад постели. Конечно, они заняли лишь часть панцирной сетки, и я выложил чуть ли не все содержимое чемодана: рубашки, майки, даже носки. В дело пошло и несколько старых газет, обнаруженных мной в тумбочке. В резерве у меня оставались главные, так называемые основные вещи, которые можно было использовать вместо постели: именно пиджак на каждый день, пальто и плащ... Выходной вельветовый пиджак, новую летнюю курточку и брюки я использовать не решился, дабы не измять и не лишиться себя возможности в исключительных случаях иметь приличный вид. Надо было распределить, что под голову, а что в качестве одеяла. Лучшим изголовьем было, конечно, пальто, особенно учитывая металлическую полосу, скрепляющую в конце сетку, полоса эта ощущалась даже сквозь втрое сложенный пиджак. Но, использовав таким образом пальто, я лишился бы хорошего одеяла, каким оно являлось и каким не могли явиться ни плащ, ни пиджак вместе взятые... Постояв так и подумав, я вынужден был, сокрушенно вздохнув, присовокупить в качестве постельной при-

надлежности также и выходной вельветовый пиджак, использовав его в изголовье и стараясь сложить как можно аккуратнее — рукав в рукав. Таким образом, оба пиджака были в изголовье, пальто в качестве одеяла, а плащом я укутал ноги. Пока я стелил, все жильцы, кроме Берегового, который с невозмутимым видом читал, лежа на своей постели, юмористические рассказы Остапа Вишни, все жильцы следили за мной с каким-то хмурым сочувствием и жалостью, которые меня раздражали... Жуков перемигивался с Петровым, они вышли, позвали Саламова, Саламов вернулся и предложил мне две простыни... Во-первых, что мне две тонкие простыни, разве защитят они от жесткой сетки или холода (ночи, особенно перед рассветом, все ж были холодные, хоть бы и в июле, поскольку Береговой настезь распахивал окно), итак, что мне две простыни? Во-вторых, терпеть не могу этой мышшиной возни и помощи со стороны людей, которые даже и не разговаривали со мной и помощь предложили через посредника. Поэтому я не только в достаточно обидной форме отказался от простыней, взяв их из рук Саламова и молча бросив назад — одну на постель Петрова, вторую на постель Жукова, но, чтоб продемонстрировать свою твердость и права в комнате, несмотря на отобранную постель, подошел широким шагом к радио и выключил его. Береговой поднял голову, однако промолчал. Я лег. Первоначально было, конечно, непривычно, но потом я приспособился, подобрал ноги, дабы не лежали они на металлической полосе, нашел удобное положение почти на спине, но чуть повернувшись на правый бок, и таким образом даже вздремнул. Однако ночью, проснувшись от холода, с затекшими ногами, я начал ворочаться, распрямил ноющие колени и при этом угодил пятками на холодную металлическую полосу. Чем более я пытался улечься удобнее, тем более все из-под меня и с меня расползлось, шелестели и рвались газеты, и тут-то я понял подлинную цену мягкому матрацу, подушке и одеялу, в ночные часы доставляющим такое удовольствие телу, что большее удовольствие, чем сон на мягкой постели, даже трудно было придумать... Конечно же, всю ночь я не спал, тело мое было словно истерзано, но это как раз и позволило мне окончательно вернуться в состояние ожесточения и крайней твердости... Когда все жильцы утром ушли, я вздремнул часа три на постели Саламова, предварительно накинув крючок. После этого я вынул список моих врагов и вписал туда Жукова, Петрова и нового начальника, фамилию которого я пока не знал и обозначил двумя буквами: Н. Н. (новый начальник). Я отвинтил от койки металлический болт с крупной нарезкой, и он на пер-

вых порах вполне мог заменить мне утраченный замок от тумбочки. Зажав болт в кулаке, я некоторое время тренировался, нанося удары воображаемому врагу. Помимо болта в подвале, в комнате, предназначенной для стирки, я обнаружил довольно увесистый предмет продолговатой формы, железный или чугунный, с удобной ручкой... В предмете были пазы и просверлено несколько отверстий, очевидно, он был какой-то деталью чего-то, мне неизвестного и кем-то сюда с неизвестной же целью принесенной... Рукоять я обмотал мягкой тряпочкой, чтоб руке было удобно, сам же предмет оттер от ржавчины наждачной бумагой, найденной под кроватью у Жукова. За этой работой незаметно прошло несколько часов, в течение которых я ни с кем не разговаривал, никого не видел. Тем не менее в тот же день пошли слухи о том, что я психически больной. Меня начали опасаться и избегать. Если помните, в общежитии жил уже подлинный психический больной, именно каменщик Адам, который тратил большую часть своего заработка на портреты знаменитых людей и дарил эти портреты в детские сады. Но Адама этого все, кроме меня, любили и не позволяли обижать... Впрочем, если подумать спокойно, беспристрастно, на что я тогда, будучи озлобленным, не имел возможности, то оно и понятно. На Руси любят только блаженненьких. Я же ходил по коридору шумно, всюду заглядывал, не уступая никому дороги, а наоборот, желая столкнуться... В состоянии моем снова была значительная доля капризности, причем капризности мрачной, и вскоре я услышал на общественной кухне, парламенте нашего общежития, как жены семейных, депутаты этого парламента (мысленно давая такие сравнения, я потешался), жены семейных роптали в том смысле, что я, мол, пугаю детей, и собирались куда-то писать. Не знаю, писали ли они, во всяком случае, после того как у меня отобрали постель, ничего более не предпринималось конкретного и административного, с одной стороны, наверное, рассчитывая, что я сам не выдержу ночевки на голых металлических пружинах, с другой же стороны, все же, наверное, принимая во внимание звонок из военной прокуратуры в мою защиту. Так что на отбор постели они, пожалуй, пошли из крайнего пристрастия, убедив в том и даже уговорив нового начальника, ибо, не сообщив я в райком на комендантшу и не избей Колесника, желая расплатиться за унижения, им сочиненные, все, возможно, пришлось бы в равновесие, я имел бы возможность продолжительное, может, очень продолжительное время жить на койко-месте с казенной постелью. Администрация смотрела бы на это сквозь пальцы, лишь бы я оплачивал аккуратно койко-

место. То есть согласись я забыть прошлые унижения и удовлетворись реабилитацией в той форме, в которой она была для меня проведена. Но я сам нарушил равновесие, в частности, напав на Колесника и тем самым сделав контрпроцесс неизбежным. Интересен еще один факт. Григоренко, мой друг, показал себя человеком совершенно чужим, не мне как личности, а мне как идее. Это требует пояснения. Каждый человек помимо своей личности несет еще и определенную идею, не в социальном лишь, а даже в более широком, общественно-историческом смысле. Так вот, Григоренко, хорошо относясь ко мне лично, принадлежал в то же время к иной общественно-исторической идее и вследствие этого, потеряв ориентировку, попытался самым нелепейшим образом агитировать на общественной кухне, этой цитадели враждебности ко мне, агитировать в мою пользу, пытаюсь возмутить общественное мнение совершенными против меня несправедливостями.

— Отобрали у человека постель,— кричал он среди наиболее активного элемента общежития, жен семейных,— спит на пружинах человек, все тело в полосах...

Но жены семейных его быстро заклевали.

— А так и надо. Бардак из общежития устроил, детей пугает... Совсем его выгнать... Чего жалеть...

Услышав такое, я вовсе перестал с Григоренко общаться, несколько раз прошел не здороваясь, на какой-то его вопрос ответил грубо, и мы довольно быстро разошлись (я избегал его также из-за того, что мне было стыдно — я, сын генерал-лейтенанта, по-прежнему пребываю в ничтожестве). С Рахутиным я вообще никогда особым приятелем не был и общался с ним исключительно через Григоренко, к тому ж по поводу отца-генерала Рахутин может весьма сильно съязвить, он человек с юмором, хоть и глуп.

Между тем, когда первые порывы, вызванные совершенной против меня несправедливостью, иссякли, я притих и замкнулся. Не то чтоб я смирился. Я нашел в себе силы побороть эмоциональную лихорадку и вернуться к тому четкому ритму, которым характеризовался период слезки за Саливоненко и который следовало положить в основу организационных принципов борьбы.

Как-то на койке своей я обнаружил старую тяжелую штору от большого окна Ленуголка и диванную подушечку. Штора эта из плотного материала была явно списана по старости и грубости и заменена шелковой (я это проверил). Но, сложенная вдвое, штора могла в какой-то степени заменить матрац и, будучи длинной, несколько подвернутая в изголовье,

служить опорой для подушечки. Не знаю, кто мне это подбросил, однако, измученный сном на пружинах, я не нашел в себе сил и принципиальности отказаться и в этом вопросе пошел на небольшой компромисс, ибо для рассчитанного мной плана борьбы необходима была хорошая физическая форма, а значит, хороший сон. Первоначально я решил, что штору и диванную подушечку подбросил кто-то из моих бывших друзей — тот же Григоренко, потом подумал об уборщице Наде (я старался о ней не вспоминать, но в этом ракурсе для анализа вспомнил). Позднее мне начало казаться, и на то имелись определенные намеки, что, как ни странно, в тайной благотворительности участвовала сама комендантша Софья Ивановна. Будучи человеком тучным, Софья Ивановна не могла, подобно мне, долго находиться в ненависти, однако постель вернуть также не могла по ряду сложных административно-психологических причин. Как бы там ни было, после нескольких тяжелых растерзанных ночей я начал спать и высыпаться, так что даже наоборот, обычная моя бессонница исчезла... В результате же слухов о моей психической болезни приснился мне сон, который меня скорее рассмешил, чем напугал. Разумеется, рассмешил, когда я проснулся и вспомнил его. Снилось мне, что я пришел в сумасшедший дом в качестве корреспондента (некогда я мечтал о данной профессии, однако по положению в обществе она была мне недоступна, я помню, как Колесник крикнул: «Какое право ты имеешь заниматься идеологической работой?»). Так вот — сумасшедший дом. Дом этот — просто большая комната, и в ней ходят обычные молодые люди в пиджаках, но не общаясь друг с другом. Посреди комнаты за столом сидит машинистка, печатает. Подхожу к ней.

— Мне б поговорить с кем-нибудь из товарищей...

Машинистка подозвала одного из молодых людей.

— Проводи товарища, — сказала она ему, — проводи к остановке трамвая и по дороге расскажи, как мы здесь живем.

И вдруг этот молодой человек, до того совершенно спокойный, вдруг он разволновался, схватил какой-то прибор, вроде батарейного аккумулятора, но величиной с термос, и приставил его мне пониже спины, то есть, прямо говоря, к заднему месту.

— Хочет знать, как мы здесь живем, — крикнул молодой человек (иные обитатели сумасшедшего дома, кажется, не обратили внимания на этот инцидент), — хочет знать, пусть чувствует на себе, сладко ли нам...

Я абсолютно ничего особого не ощущаю, вернее, ощущаю

то же, что ощущал бы, если б мне приставили к филейным частям пустой термос или любой нейтральный предмет. Тем не менее в сильном испуге я прогибаюсь, и мне страшно во сне. Проснувшись же и вспомнив, я рассмеялся, и у меня как-то поднялось настроение.

По утрам я начал активно заниматься физической зарядкой и в умывальнике обтирать тело холодной водой, стоя перед зеркалом, если никого в умывальнике не было, играя мускулами и уже через неделю находя, что дряблость исчезает... Культ силы и оружия постепенно овладел мной так, что даже чисто абстрактно начал приносить радость. Собственно, чувство это не новое, силу и оружие я любил давно, еще с детства. Но материальные невзгоды (вернее, материальное ничтожество, ибо даже материальные невзгоды это слишком оптимистично для моего прежнего положения), итак, материальное ничтожество и бесправие заставили меня бороться за существование иными методами, поисками покровителей, что исключает силу и прямое противоборство. Ныне, благодаря реабилитации (и тут следует отдать ей должное), все изменилось. Примерно к тому времени, то есть к систематическим тренировкам, физическим упражнениям (я купил гимнастическую резину и с упоением терзал ею свои мышцы, часто ощупывал их в разных местах: на руках, на груди, на животе), итак, примерно к этому времени и относится мое первое продуманное выступление против сталинистов.

В списке моих врагов был существенный недостаток, который я осознавал, именно, наличие личностного элемента, придающее идейно-политической борьбе бытовую окраску. Дело дошло до того, что, как я уже указывал, в список даже затесалось несколько левых и антисталинистов (Бройды, Вава). Меня это угнетало, хоть я понимал, что это неизбежно. Понимал, разумеется, не так широко, как впоследствии, когда пришел к выводу, что бытовой элемент вообще есть основа политической борьбы и именно он усложняет ее до такой степени, что приводит к грани искусства, где лишь таланты добиваются успеха. Не будь этого бытового элемента, не было бы более ясной области человеческой деятельности, чем политика, а значит, и более лучшего поприща для людей честных... Должен сказать, что уже несколько дней я занимался тем, что впоследствии получило наименование «политического патрулирования улиц» (термин этот мой понравился и был принят потом организацией). Итак, политическое патрулирование состояло в том, что я бродил, прислушиваясь к разговорам и беря на заметку элемент, высказы-

вающийся в пользу Сталина. Хотя в те дни печатные органы и официальные лица высказывались достаточно однообразно и не дискуссионно, клеймя культ личности, дискуссия в обществе существовала, но переместилась в частные места, на улицу и в квартиры граждан, то есть не только антисталинисты, но и сталинисты, недовольные официальнойностью, способствовали пробуждению общества от политической спячки, а именно спячка составляла основу, альфу и омегу прежних методов. В этой обстановке, осуществляя политическое патрулирование улиц (ибо частные квартиры были мне недоступны и с обыском я ворваться, конечно же, не мог), осуществляя патрулирование, я довольно часто слышал дискуссии либо просто разговоры, полные, главным образом, неприязни к Хрущеву и любви к Сталину. К счастью, жизнь в общежитии закалила меня в этом смысле, и по мелочам я не кидался. Например, на такие реплики, встречавшиеся довольно часто, как: «При Сталине было все дешево и снижение цен», «При Сталине не было такого хулиганства и воровства», «Сталин хотел выслать всех евреев на север, и правильно, меньше спекулировать будут», «Если б не Сталин, проиграла б Россия войну» и т. д., на подобные реплики я даже не реагировал, разве что первое время разглядывал лица говоривших для анализа. Но и анализ я вскоре делать прекратил, ибо это были обычные лица, чаще простонародные, но иногда и интеллигентные, чаще мужские, но в немалой степени и женские, чаще пожилого возраста, но немало и молодежи, чаще подвыпившие, однако нередко и в трезвом виде (отсюда видно, что какие-то элементы анализа все же существовали первоначально). Правда, бывали случаи, когда я за гражданами подобного рода следил и записывал их адреса либо адреса учреждений, где они работали. В блокнот я записывал характерную реплику из речи сталиниста и его адрес (лучше домашний, ибо в учреждении неясно, то ли он пришел по делу, то ли там постоянно работает). Чтоб не отвлекаться, не занимать места (эти записи впоследствии не пригодились), я приведу лишь одну для характеристики... Например: «Сталин — правая рука Ленина — адрес: улица Урицкого, пять...» Из этой записи (каламбурность ее в том смысле, что улица также названа фамилией политического деятеля), из этой записи видна ненужность и никчемность проделанной мной работы, там не указывались ни внешний вид, ни возраст, ни прочие приметы идейного противника. Но в то же время ощущалась уже политическая направленность моей борьбы, лишенная личных бытовых элементов. Именно результатом политического патрулирования является первое мое идейное избиение.

Сталинист вступил в идейную схватку не со мной, а с неким гражданином интеллигентного вида, сидящим с ним за одним столиком (дело было в столовой). Особыми аргументами доводы его не блистали, тут все те же ординарные перечисления: «Сталин снижал цены, Сталин выиграл войну» и прочее, весь набор... Но меня поразило, как с помощью этих стандартных доводов сталинист легко расправлялся с аргументами своего оппонента, у которого самые личные, полные искренности доводы повисали в воздухе, не встречая поддержки других обедающих (спор привлек всеобщее внимание). Например, антисталинист рассказал о своем сыне, который был посажен за анекдот и умер в тюрьме двадцати пяти лет от тифа, а вскоре умерла и жена, не выдержав горя, и вот он теперь один, ходит по столовым, хоть у него язва, каждую ночь болит... За что же так?.. Он, кажется, даже всплакнул. Вот где ошибка — слезы. Он разозлил даже и меня, единомышленника, глубоко этому человеку сочувствующего. Что же говорить о массе обедающих? Сразу несколько человек сказали, что у них тоже погибли сыновья, не за подленькие анекдоты, а за родину. Один из обедающих сталинистов оказался нервным и с землистым лицом (как и у антисталиниста. Вообще же физически слабые сталинисты попадаются гораздо реже, чем антисталинисты, и физически слабые сталинисты, как правило, люди нервные, активные, настойчивые антисемиты, поскольку они недовольны, что из-за физической слабости их самих можно принять за евреев, каковых они сплошь считают физически слабыми и потому ненавидящими Сталина, вождя мускулов и силы, что, конечно, схематично). И действительно, подойдя к антисталинисту (который, судя по внешнему виду, евреем не был), худой сталинист не совсем логично крикнул, что в их воинской части не было ни одного еврея, единственный еврей по дороге на фронт со страха застрелился. В конечном итоге, под воздействием всестороннего напора и испугавшись упреков национального характера, антисталинист признался, что, несмотря ни на что, Сталин обладал рядом достоинств в государственном масштабе. Короче, пошел на попятную. Вот что заставило меня действовать немедленно, вопреки рассудку и организационному расчету, ибо первоначально я рассчитывал организовать за матерым сталинистом слежку и расправиться с ним, соблюдая личную безопасность (пригодился бы опыт расправы над Саливоненко). Но в данном случае вопрос шел уже о публичной защите идеи, и личное отошло на второй план. Прежде всего, необходимо было опровергнуть аргументы сталинистов, поскольку предыдущий оратор от нас, антисталинистов, здорово напу-

тал и напортил из-за душевной слабости. Подойдя к столику матерого сталиниста, но обращаясь не к нему, а к массе обедающих, я сказал:

— Товарищи, вдумайтесь в то, что пытается вам внушить этот сталинский прихлебатель,— и коротким острым жестом политического оратора я как бы вонзил палец в матерого сталиниста, от неожиданности растерявшегося (растерялись все, в том числе и антисталинист).— Лучших людей нашего общества положили в могилу,— продолжал я, вдохновляясь,— поэтов, старых большевиков, генералов... Тысячи, сотни тысяч, миллионы разрушенных судеб... Вот, например, у этого товарища,— я повернулся к антисталинисту,— умер в тюрьме сын... умер молодым... И таких тысячи, сотни тысяч, миллионы (я начал повторяться, поскольку каким-то внутренним чутьем ощутил отсутствие контакта с аудиторией, и наоборот, растущую враждебность после первых секунд недоумения и растерянности).— Товарищи,— пытался я все-таки переломить в свою пользу,— существует письмо Владимира Ильича Ленина к съезду, в котором он предупреждает против опасных и преступных наклонностей Сталина...

Матерый сталинист продолжал сидеть, чуть улыбаясь истинно русской загадочной улыбкой, но на меня сбоку набежал сталинист с землистым, больным лицом. Я оттолкнул его со злобой, помешавшей мне быть логичным и хладнокровным, что необходимо в политической агитации... Я хотел было разбить все стандартные аргументы матерого сталиниста, указав, что первоначально снижение цен было возможно, поскольку цены эти были непомерно раздуты войной, а позднее они снижались без учета хозяйственных возможностей (я слышал такую версию), а победа в войне была достигнута огромными жертвами и вопреки Сталину, благодаря мужеству солдат и находчивости полководцев... И привел бы множество примеров нерасторопности, растерянности и военных ошибок Сталина, которые тогда публиковались...

Позднее, когда первоначальная моя политическая наивность улетучилась, я понял, что поколение победителей никогда не отдает на поругание могилы своих вождей, находящиеся под защитой национального патриотизма. Народ-победитель всегда более склонен к мифотворчеству, в то время как побежденный народ — к ревизии и анализу. Не понимая всего этого тогда, во время произнесения фактически первой моей политической речи в столовой самообслуживания (столовая самообслуживания тогда еще была прогрессивным новшеством послесталинского периода), не понимая всего этого, я тем не менее, собственной злобой, помешавшей

логичным построениям, был спасен от еще большего озлобления массы обедающих. Как только я оттолкнул сталиниста с землистым лицом, на меня набежало еще несколько из поколения победителей. Я понял ситуацию и вытащил свой последний аргумент, именно болт с крупной нарезкой от своего койко-места. Размахнувшись, я ударил этим болтом не по черепу, как жаждал, а по тарелке с супом матерого сталиниста. Перестав по-русски загадочно улыбаться, сталинист вскочил, поскольку горячий суп ошпарил ему колени. Вскочил и антисталинист.

— Как вы себя ведете, молодой человек? — к моему ужасу (именно ужасу), крикнул антисталинист.

Даже и тогда, в золотой век реабилитации, антисталинисты, подобно всяким пострадавшим элементам, в большинстве не любили друг друга, ревниво относились к страданию друг друга, а в некоторых случаях, при учете собственной выгоды или собственной безопасности, готовы были против своего же брата вступить в союз со сталинистами, которые в основном были гораздо более сплочены. Так, например, на меня набежала какая-то совершенно посторонняя компания, не принимавшая ранее участия в политической полемике и распивавшая в то время в дальнем конце столовой спиртные напитки. Тем не менее я сосредоточился на матером сталинисте, все-таки ударив его раза два, правда, не болтом, который у меня из рук вырвали (к счастью), а кулаком. Я заплатил за это дорогой ценой, ибо, сосредоточившись целиком на матером, на явном сталинисте-профессионале, дал возможность какому-то из сталинистов-любителей, набежавших после распития, безнаказанно ударить меня в спину и точно по больному месту, ибо у меня привычно (уже привычно) застряло в груди нечто острое, и я осторожно пошел из столовой, протянув руки перед собой, ощущывая дорогу, поскольку всякий раз, когда меня били по спине, у меня мутилось в глазах и я на какое-то время как бы терял зрение. С тех пор как началась эта длинная, однообразная цепь политических драк, в области спины у меня произошли какие-то серьезные изменения, так что я даже думал обратиться к врачу. Интересно, что с тех пор как я почувствовал хронические изменения, меня били всякий раз именно по больному месту, причем люди новые, о больном моем месте не знавшие. Правда, первый раз по спине меня ударили еще у покойного Илиодора, страдальца-антисемита, именно некто Лысиков, друг Орлова, однако тогда все быстро прошло. Систематически побаливать начало после ударов Лойко, так что даже гонясь за Саливоненко в надежде избить его, гонясь по крутым склонам парка, я чув-

ствовал остроту, идущую от спины к груди и одышку... Сейчас, получив удар по больному месту и выйдя мимо каких-то взволнованных лиц, осторожно, бережно неся себя, как несут полный стакан воды, не желая его расплескать, я свернул как-то по инстинкту за угол, прошел в ворота и уселся в небольшом дворике, примыкающем к столовой, на пустые пивные бочки. Лучшего места для того, чтобы в безопасности пересидеть, отдышаться, потом поразмыслить и проанализировать происшествие, нельзя было и придумать, а между тем я выбрал его инстинктивно, как животное, которое находит норку, чтоб зализать там рану. Я сидел в захламленном месте, куда редко, очевидно, заглядывали, а значит, достаточно безопасном и был укрыт горами тары, в то время как мне сквозь щели открылось хорошее поле наблюдения, причем не только двор, но и улица, и я, например, увидел, как в столовую проследовали два милиционера, вызванные, конечно, по телефону или свистком (у швейцаров в некоторых столовых есть милицейские свистки).

Я сидел долго и в выработанной уже позе (у всех хронических есть такая поза, облегчающая и постепенно утоляющая боль). Мне, например, легче становилось именно стоя, но поскольку стоять я не мог, ибо подкашивались ноги, то сидел на пивной бочке, опустив низко ноги и сильно откинувшись, упираясь затылком в оштукатуренную стену. Сидел как бы выпрямив тело, но под углом к горизонту... Потемнело. Потом потемнело еще сильнее. Зажглось ночное небо... Июльское небо весьма своеобразно (я немного увлекался также и астрономией, но в лихорадке описания событий забыл о том сообщить). Итак, июльское небо своеобразное, и если августовское заметно даже для непосвященного всеобщей густотой, яркостью, крупностью звезд, а также звездопадом, то июльское, хоть и менее популярно, однако одаривает знатоков сверканием летнего треугольника (звезды Вега, Данеб и Альтаир), яркой звездой Капеллой на севере, а также хорошей видимостью ряда планет, например, Юпитера и Урана в созвездии Девы. Есть также возможность, хоть и небольшая, увидеть таинственную планету Меркурий, которую сам Коперник за всю жизнь так и не смог увидеть... Когда потемнело и зажглись звезды, думаться стало ясней (свойство всех людей, страдающих бессонницей), мысли шли длинной вереницей, цепляясь одна за другую, в частности, подумалось о самоубийстве, а потом, через какие-то этапы, переходы и крутые повороты мысли, каковых ныне не помню, подумалось о необходимости подпольной организации единомышленников антисталинистов... Политических самоубийств тогда бы-

ло немного, но они были, и интересно, что главным образом среди антисталинистов, время каких-то вроде бы пришло, на стороне которых вроде бы была официальность. Это еще требует анализа, который, возможно, будет дан ниже. Сталинисты убивали себя реже и, главным образом, в короткий промежуток — года два-три спустя, когда начался демонтаж сталинских скульптур, проявив и здесь большую четкость... Правда, было несколько случаев и раньше, с одним из которых мне (вернее, нам, я уже тогда был в организации), итак, мне пришлось столкнуться при весьма неприятных обстоятельствах. Но это случилось позднее (хотя и ненамного позднее), поскольку далее события пошли быстро, и уже через какую-нибудь неделю я был в подпольной организации. В существовании подобных организаций я и не сомневался. Чувства, обуревающие меня, не могли быть исключительными в той массовой лихорадке, охватившей общество. До меня доходили слухи о людях, врывавшихся в прокуратуру (я сам врывался, хоть и не в столь активной форме), об участвовавших грабежах и избиениях бывших работников карательных органов... Народ рассказывал о том с возмущением и многое путал, сваливая в кучу разное, поскольку после смерти Сталина было выпущено огромное число уголовников...

Но вернемся к организации. В чем я был прав и в чем ошибался? В неизбежности ее существования я был прав, в массовости ошибался. Среди той группки людей, которая входила в состав нашей организации (точный состав ее мне неизвестен, да он менялся, появлялись люди на день, на два, потом исчезали, конспирация в этом смысле была отвратительная, и лишь внешнею ничтожностью и комичностью заседаний объяснял я тогда, что доносам не был дан ход; в наличии доносов не сомневаюсь), итак, среди группы были люди весьма разные, были переходного, неуловимого характера, были и с преобладанием какой-то одной черты. Но все, тем не менее, весьма неустроенные и с неудачно сложившейся судьбой (кроме Чаколинского, мальчика лет пятнадцати, розовощекого и весьма устроенного, хоть и сына репрессированного, но живущего с матерью и отчимом-ответработником). То, что организация существовала довольно долго, объясняется также и рядом других факторов, а не одной лишь комической несерьезностью внешней формы. Прежде всего разболтанностью и хаотичностью времени, внезапной свободой политического анекдота, разоблачением прежних преступлений карательных органов, сделавшим их нынешний состав на короткий промежуток чересчур терпимым из боязни нарушить законность, о чем даже велась тогда некая газетная кампания. Помимо

внешних факторов были и внутренние, а именно, организаторские способности Щусева (того самого, которого встретил у Бительмахера), которые я первоначально недооценил. О Щусеве я сразу вспомнил, подумав об организации, и удивительно точно попал, не ошибся. Собственно, Щусев настолько открыто и прямо проповедовал свои крайние взгляды, что здесь и удивляться было нечему, и в то крикливое время именно это и создавало видимость несерьезности его организации, и трудно было предположить, что в весьма узком кругу существовал точный расчет, продуманность и планы, которые заинтересовали бы серьезно даже карательные органы того времени, то есть парализованные хрущевскими разоблачениями и переживающие смену поколений. Но в том-то и был расчет Щусева на специфику времени, в том-то и была оригинальность построения организации в духе времени, то есть крикливых компаний, в большом числе тогда расплодившихся. Щусев построил свою организацию как бы поэтажно. Сверху была обычная для того времени весьма легальная крикливая компания, рассказывающая политические анекдоты, под ней организация, на первый взгляд похожая на группу сумасшедших, которых в недавние времена, тем не менее, моментально бы расстреляли, а несколько позднее прибрали бы к рукам, ныне же, если о ней и доходили какие-либо слухи-доносы, то производили они на общем фоне несерьезное впечатление, особенно учитывая недавнюю реабилитацию большинства ее членов, что создавало для репрессий дополнительное щекотливое обстоятельство. Но еще глубже существовала небольшая боевая организация, о которой знало лишь несколько человек. Правда, Щусев, человек неглупый, лучше других понимал, что такое политически вольное положение может длиться недолго и при первом же злоупотреблении вольнодумством (политическая демонстрация или иная выходка, хотя бы даже литературного плана или вообще связанная с международным положением), при первом же злоупотреблении, при первой же ответной жестокости властей, даже самой незначительной, все сломается и в первую очередь будет покончено с подобными компаниями. Это подстегивало Щусева и заставляло его действовать поспешно и не всегда продуманно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Но почему, едва подумав об организации, сразу же предположил Щусева и почему сразу так уж безошибочно и точно? Крайности тогда высказывали многие, и на основании этого

с первой же мысли напасть безошибочно на след организации вряд ли бы мне удалось, если б не подобность душевных движений и инстинкт, которым безмолвно и мимоходом (мы, если помните, даже не были представлены друг другу), инстинкт, которым я познал себе подобного (у людей ущемленных этот инстинкт развит чрезвычайно). Впрочем, я упрощаю. Тогда, при встрече со Щусевым у Бительмахера, я еще не был тем, кем являюсь сейчас, еще питал надежду на то, что общество добровольно повинится передо мной и при моем снисходительном благодушии и прощении произойдет мое с ним примирение. Теперь, после ряда политических драк, такая слепота и подобное восприятие общества как кающегося грешника было смешно. Всякая месть, приносящая удовлетворение, как личная, так и общественная, каким является политический террор, невозможна без силы воображения, ибо, как правило, она совершается спустя определенное время, иногда довольно значительное, после того, как нам нанесена обида или совершено против нас преступление. Воображение же есть болезненная сила, которая развивается особенно у тех, кто постоянно и продолжительно терзаем страданиями. Как верно сказано, где, уж не помню, большинство людей, живущих обычной жизнью, обид не прощают, а попросту забывают их. Именно люди постоянного страдания и развитого воображения склонны к наслаждению мстостью либо к наслаждению от прощения. Преступления, совершенные против Щусева, не составляли в этом смысле исключения, и безусловно подобный их характер способствовал направленности его богатого воображения лишь к отмщению и ненависти. И все это при наличии ума, организаторских способностей, пылкого темперамента и личной храбрости, то есть тех качеств, которыми во всех трех этапах (компания, организация и боевая группа) обладал лишь он да Христофор Висовин, человек, обративший на себя мое внимание сперва редким именем, потом и другими личными качествами. Коротче, после ряда индивидуальных политических драк, в которых я не достиг определенного успеха, я понял, что надо искать встречи со Щусевым. Единственным местом, через которое я мог бы это сделать, был дом Бительмахера, но он и особенно его жена Ольга Николаевна ненавидели Щусева и, наоборот, заявляли, что молодежь, в том числе и меня, надо оберегать от таких, как Щусев. Помог случай. После нескольких нудных вечеров, проведенных у Бительмахера (после третьего посещения подряд он, кажется, начал тяготиться мною), вечером, не зная о чем говорить, мы напряженно пили чай и едва не повздорили из-за Сталина (этот отсидевший много

лет человек вдруг начал хвалить отдельные черты Сталина, особенно ранних времен). Я при этом раскричался, но Ольга Николаевна нас быстро примирила, поддержав, кстати, меня. Вообще Сталин в те времена служил одной из основных причин личных раздоров между политически активными людьми. Не знаю, что бы я делал далее, так как после слов о неких интересных чертах Сталина Бительмахер, несмотря на примирение, стал мне неприятен. Но в тот вечер как раз снова заявился Бруно Теодорович Фильмус, что меня крайне ободрило, поскольку он к Щусеву относился более терпимо, чем Бительмахер. Мы вышли вместе, и я к нему навязался в гости. Жил он, в отличие от иных реабилитированных, с которыми мне пришлось столкнуться, довольно чисто, сам себе готовил экономные, но вкусные кушанья и вообще мне нравился. У меня с ним также сразу вышел спор. Спорщиком я стал чрезвычайным именно в последние недели, что характеризовало мой окончательный переход к политической активности. С Фильмусом я заспорил, несмотря на то что он меня прошлый раз обрезал, и спорил довольно удачно, благодаря не столько новому развитию, сколько новым методам, особенно необходимым в политических спорах. То есть благодаря не столько мыслям, сколько удачным сопоставлениям, юмору и отыскиванию слабых мест у оппонента. Тем не менее отношения наши с Фильмусом сложились хорошо, и споры приняли ту взаимоприятную форму, когда легко и быстро прощаются обиды. Разумеется, во всех этих рассуждениях-спорах я был лицом второстепенным, как говорится, лишь поддерживающим и разжигающим, но постепенно так поднаторел, что начал вносить свою лепту и кое-где достаточно удачно высказывался, утверждая, а не возражая (возражал я удачно почти с самого начала и по вопросам, мне совершенно неизвестным, причем, используя сатирический аспект, часто ставил эрудита Фильмуса в тупик). Фильмус был большой знаток Чернышевского и Плеханова и любил их читать поочередно, как бы воскрешая между ними полемику, которая существовала в действительности, в заочном, конечно, виде. В этой полемике участвовали и другие имена, иногда незнакомые, иногда полужзнакомые, иногда хрестоматийные. Но с этими хрестоматийными Фильмус подчас творил бог знает что. По данному поводу я вступал с ним в ожесточенные споры, например, защищал Вольтера, которого Фильмус ненавидел, называя основоположником духовного нацизма и современного антирелигиозного просвещенного антисемитизма, отличающегося от идеалистического невежественного антисемитизма прошлого. О Вольтере я знал не-

когда в объеме средней школы, ныне от этого объема осталась лишь фамилия, звучавшая, подобно всякой великой фамилии, как устоявшееся определение и в некоем всеобщем нарицательном плане, то есть фамилия, лишенная конкретных черт... Вольтер значил для меня то же, что, например, Кант, Гегель или Фейербах... То есть это были великие прогрессивные фамилии. Интересно, что, зная о Вольтере как о великой прогрессивной фамилии, я довольно долго и успешно вел спор с Фильмусом все тем же методом отыскивания слабых мест в его эрудированных доводах. Но, тем не менее, в результате этих споров мое мировоззрение расширилось, и Вольтер, то бишь Франсуа Мари Аруэ, сын нотариуса, обрел для меня свою земную несовершенную плоть, что губительно для окруженных сиянием политических светил и вождей. Так, Франсуа Мари Аруэ — Вольтер стал жертвой злоупотребления умственной силой, перед которой преклонялся. Он был недостижим и велик для меня, Цвибышева, пока был мне мало знаком. Узник Бастилии 1726 года, подвергнутый затем элементарному политическому избиению (не политического характера, а кулаком в зубы) со стороны мракобеса шеваляе де Рогана (все эти познания, звучавшие романтично, я воспринимал с радостью, размышляя о возможности использовать их в ближайшем будущем и ошеломить компанию. Так оно и случилось вскоре у Щусева. Там я умело и с упоением ругал Вольтера. Это не беспринципность. Радость познания особенно сильна, если она связана не столько с углублением представления о предмете, а скорее с коренным изменением взгляда на предмет. На этом, собственно, и основана всякая политическая агитация). Итак, писатель, философ, защитник жертв фанатизма, сочинитель трактата о веротерпимости, враг произвола, сторонник всеобщего равенства просвещенных народов, нового просвещенного порядка, из которого исключаются лишь евреи и те слои, которые физическим трудом создают условия для просвещения,— вот каким предстал передо мной сын нотариуса Франсуа Мари Аруэ, известный во всемирной хрестоматии под именем Вольтер...

Интересен также спор о ходе всемирной истории. Вернее, здесь уже был не спор, а нечто вроде одностороннего монолога Фильмуса с цитатами. Я слушал с интересом, изредка вставляя лишь реплики, не оспаривающие сказанное, а подтверждающие как бы мое активное присутствие как личности в данных духовных размышлениях. Впоследствии я нашел с трудом книгу, откуда цитировал, комментируя цитаты, Фильмус, и даже кое-что переписал. С трудом нашел, поскольку

напутал и искал у Чернышевского, между тем это было у Плеханова, где он Чернышевского лишь анализировал. «Ход всемирной истории,— сказано там,— определяется внешними физическими условиями. Влияние отдельных личностей по сравнению с ними ничтожно. Они всегда почти приводили в исполнение лишь то, что было подготовлено и должно было совершиться... Стремление установить что-либо совершенно новое и неподготовленное остается безуспешным или влечет за собой только разрушение». Собственно, это даже не сам Чернышевский, а автор, на которого Чернышевский ссылается, некий академик Бер. «Историю делают люди, но делают так, а не иначе, потому что действия определяются не зависящими от воли условиями (это уже сам Плеханов), совершение великих мировых событий не зависит ни от чьей личности. Они совершаются по закону столь же непреложному, сколь закон тяготения. Но скорее или медленнее совершится событие, тем или иным способом совершится — это зависит от обстоятельств, которые нельзя предвидеть или определить наперед...»

— Личность,— комментирует сказанное Фильмус,— лишь способ и время совершения неотвратимого события... Личность не может повлиять на событие, как исторический факт, но личность может повлиять на судьбу поколения или поколений...

Споры с Фильмусом увлекли меня. В этом, может, и состояла его задача, ибо он видел, что я человек встревоженный, хоть совершенно почти не знал моего быта, ни прошлого, ни нынешнего. Кстати, о быте. Он вновь круто изменился, ибо я сошелся с Надей, бывшей уборщицей (она уволилась после административного скандала по поводу ее отношений со мной). Это крайне неожиданно и неправдоподобно, особенно учитывая то отвращение, которое я испытывал, вступая в грубую связь с Надей из желания отомстить моим представлениям о любви. Тем не менее, учитывая мои разочарования, материальную ничтожность, специфическую способность к крутым неожиданным решениям, можно понять неожиданный (даже и для меня самого) положительный отклик на записку, которую передала мне Надя через Саламова с предложением зайти к ней в гости с указанием адреса... То, что в этом вопросе произошли изменения, объясняет, как ни странно, почему я не продолжил активные поиски подпольной организации Щусева, а сосредоточился на созерцательных разговорах с Фильмусом, потеряв недели две.

Собственно, когда Саламов передал мне записку, меня это и смутило и возмутило. Как смеет, думал я разбросанно, точно

я ей равный и точно она имеет отношение к любви... Эта рябая рожа с мокрым ртом... Да еще через Саламова.

Записка была четвертинкой тетрадного листа, и на нем весьма нелепая разлапистая надпись по-куриному, как пишут малограмотные, причем карандашом: «Гоша! Почему не заходишь? Я сказать что хотела. Надя». Возмутил меня также Саламов. Этот сопливый пацан с серьезным видом говорил мне, что Надя хорошая женщина, точно он сват и точно я ради рябой уборщицы берег себя и мечтал.

— Хорошая,— крикнул я (вот ошибка. Надо было высказаться с усмешкой, как подобает в подобных случаях при разговорах о доступных женщинах, а я высказался со злобой, точно меня это задело и носило серьезный характер),— хорошая!.. Только дорого берет... Три рубля за раз,— тут я, правда, грубо захохотал, но получилось так, что даже такой ограниченный человек, как Саламов, оказался выше меня, ибо смотрел с сочувствием, и вышло, что смех мой фальшив, прикрывает подлинную горечь, чего, кстати, и не было в помине.

Смехом я хотел выразить лишь грубость и сальный мужской намек, а почему получилась горечь, не пойму.

— То, чего болтают, не слушай (снова меня неприятно резануло: пацан сопливый, а поучает), ты не слушай,— продолжал Саламов,— у нас в общежитии бабы на кухне выдумают, а мужики по комнатам разнесут... У нас ведь мужики хуже баб...

— Да пошел ты...— крикнул я (и опять чересчур серьезно. Получалось, что анализ поведения шел своим путем, а само поведение— своим, постыдно глупым и не подчиняющимся анализу и учету ошибок).— Она с половиной общежития переспала... Да и не в этом дело,— нашел я наконец тон легкомысленный, разухабистый и более спокойный, делающий и меня не обиженным лицом, а человеком со стороны, как и Саламова,— но вот не пойму, что в ней хорошего: отравана она и тошнота...

— Ну, это ты брось,— сказал Саламов,— это, может, для юношей непонятно, которые первые шаги делают... для зеленых... а для мужика она незаменима...

Эта фраза Саламова и погубила меня. Я, кажется, покраснел, почувствовав жар своих щек, а также и испугался, не заметил ли Саламов моего замешательства. То, что этот неразвитый умственно (таковым я его считал), этот парень, лет на десять моложе меня, разговаривает со мной как с мальчиком, объясняя и намекая на какие-то мужские секреты, которые я еще не постиг, показалось мне стыдным и ущемило мое

тщеславие, но одновременно разожгло во мне то, что именуется мужским любопытством к конкретной женщине... Я вышел на улицу.

Был поздний вечер, то есть время, когда страсти крайне сильно терзают одинокого мужчину, особенно в теплую погоду... Я еще не знал, куда пойду, однако у ближайшего же фонаря вынул записку, где Надя разлаписто намалевала свой адрес. Это оказалось совсем близко. Рябая, несчастенькая, нуждающаяся уборщица жила, тем не менее, в хорошем доме, десятиэтажном красавце, правда, на первом этаже, но в отдельной однокомнатной квартире с ванной, ибо в смысле идеи власти помнили свое происхождение, обеспечивая своих по мере возможности. Все это я разглядел позднее, тогда же, подойдя, не стал раздумывать. Уверен, подумай я хоть секунду, ни за что бы не позвонил и ушел. Я же сумел настроить себя на мужской напор и грубость, решив не вдаваться в сомнения, а значит, в чувства. Просто удовлетворить мучащее меня любопытство (в юношеской страсти любопытство преобладает), удовлетворить и потом расплатиться...

Когда Надя открыла дверь, я ее сперва даже не узнал. В общежитии это была хамистая баба, с шумными, неженственными жестами, передвигающая нервно стулья и чемоданы жильцов из-под кроватей... Здесь же стояла невысокого роста (она стала ниже ростом), молодая (она помолодела) женщина с несколько рябоватым, но недурным лицом, гладко причесанная, в очень женственной ситцевой кофточке.

— Гоша,— крикнула эта новая женщина Надя и кинулась мне на шею.

Я отстранился, но не отпрянул. В комнате был некоторый беспорядок, стол не прибран, в хлебных крошках и колбасных остатках, по которым разгуливали мухи, но постель чистая и воздух хороший. Трехлетний сын Нади Колечка спал в чистой постельке, прикрытый марлей от мух.

— Садись, Гоша,— сказала мне Надя, как-то вдруг застенчившись и краснея, что было непривычно при ее прежнем хамстве, но очень к ней шло,— я тебе сейчас чаю налью... и колбасы...

Я понял, что если еще немного повременю, то отношения наши окончательно потеряют ясность и причина моего прихода станет двусмысленной. Действительно, создается впечатление, что здесь завязываются некие нежные отношения надолго. К тому ж меня до сих пор мучил мужской стыд, оттого что я, по летам мужчина, оказался беспомощным перед мужскими поучениями юноши Саламова. И ко всему еще распалляла страсть (не юношеская уже, любопытная, а мужская,

деловая, целенаправленная), страсть, исходящая от ситцевой в цветочках кофточки Нади. В тот момент, когда Надя, радостная, захлопотавшаяся, вытерев стол от крошек, согнав мух, повернулась, чтоб достать колбасы, я молча и сильно схватил ее именно со спины, поскольку, когда она стояла ко мне лицом, по-девичьи просто, растерянно счастливая, я не решался и сам был растерян. Но когда она повернулась спиной, я понял, вот он, последний шанс, и схватил Надю с такой силой, что почувствовал даже хруст ее костей под моими руками, и также со спины начал мять и ломать. Она рванулась, ее сопротивление придало мне только силу, но и какую-то приятную жестокость, и я ломал ее и мял со спины. Она же продолжала рваться и, как мне казалось, сопротивляться, но лишь до тех пор, пока не повернулась в моих объятиях ко мне лицом, и после этого разом затихла, лишь шепнула: «Кофточку не порви». Это трезвое, зрелое «кофточку не порви» после ее наивно-девичьего (опять же, как мне в спешке показалось), стыдливого сопротивления, это трезвое замечание несколько снизило накал, но убрать его вовсе было не в состоянии. Слишком распален я был борьбой и собственной жестокой силой, грубо обрушившейся на эту маленькую женщину и заставившей ее подчиниться моей воле. Ее мягкая покорность после сопротивления, как впоследствии понял, вызванного моими неумелыми юношескими действиями, так что она чуть ли не силой вынуждена была меня поправлять и учить, ее покорность довела меня до нового уровня, в котором утонула мелькнувшая после реплики о кофточке трезвость, и я впервые в жизни утолил страсть (благодаря безмолвным, но по-женски точным наставлениям Нади), и утолил ее в полную меру, равную по силе, а в некоторые моменты даже превосходящую по силе ночные страсти в счастливых снах, которые иногда в виде подарка посещают праведников либо людей ущемленных. Я впервые в жизни был по-мужски утомлен, утратил на время плотские желания и обрел глубокий природный покой, свойственный всему, достигнутому совершенства. Мы долго, утомленные, лежали рядом, мужчина и женщина, потерявшие стыд друг перед другом и в то же время не имея в душе некоего остренького чувства необычности и исключительности, что является свидетельством юношеской гордости и порока, а наоборот, сохраняя покой и мужскую естественность. Не по-юношески остро, а с мужской зрелой мягкостью смотрел я, как эта женщина доверчиво обнажена передо мной, и в обнаженной груди ее, чуть грузноватой и слегка опадающей, было сейчас так же мало порнографически-остренького и нездорово возбуждающего, как

и в лице ее, в волосах, в ладонях... Должен сказать прямо, на этой нравственной высоте я не удержался и очень скоро кубарем покатился вниз к невоздержанию. Помимо общественных обстоятельств была здесь и личная причина. То, что одна и та же женщина так по-разному приобщила меня к одному и тому же, послужило причиной анализа и некоторых, весьма прискорбных для любви, выводов, что не могло не отразиться на иных моих суждениях и вообще мировоззрении. Старая, развенчанная в прогрессивной компании Арского, система меня как личности — центра вселенной, именуемая солипсизм, возникла совершенно неожиданно и на новой почве интимных отношений: даже и наслаждения ни от кого не зависят так, как от меня самого. Это был уже предел индивидуализма, признание за всем, что вне меня, лишь пассивности, подчиненности и взаимозаменяемости. Это естественное, хоть и прискорбное метание от полной ущемленности к полной распущенности, получившее теоретическую базу, вскоре начало осуществляться весьма широко, так что затмило на время даже мои антисталинские поползновения. У Фильмуса я бывать перестал (после того, как перестал бывать у Нади, с которой жил некоторое время как с женой) и вообще на время отошел от политических размышлений, а наоборот, каждый вечер, превратившись в активного холостяка (термин заимствован), каждый вечер начал ходить в городской парк на речных кручах либо в район фуникулера, где с первого взгляда узнавал порочных женщин. Я научился получать мужские удовольствия даже и в более гадливой обстановке, чем первый раз с Надей, но, проведя этак в юношеской лихорадке (именно в юношеской, ибо став с Надей мужчиной, я, как уже сказано, на том уровне не удержался и, используя мужской опыт, вернулся к юношескому напору, лишенному, однако, прежней мечтательности), итак, проведя недели две в лихорадке, измявшись, растратившись, простудившись на сырой ночной траве, я задумался и разочаровался. Способность наслаждаться случайными порочными женщинами по-прежнему была высока, однако я был разочарован собой как личностью, ибо начал ощущать, что живу не так и не для того. Но едва наступал вечер, как порочные слабости брали во мне верх, я садился на троллейбус и как на работу ехал в парк. Вскоре я начал узнавать подобных себе и даже познакомился с неким Хази Мазитовым, татаринем либо башкиром лет сорока пяти (термин «активный холостяк» принадлежал именно ему). Этот Хази Мазитов и ввел меня в компанию Тины (фамилию не знаю). Тина, женщина лет сорока, работала счетоводом в бухгалтерии драмтеатра (так она говорила). Ко-

нечно, в доме у нее всегда был коньяк, четыре-пять молодых подружек, записи Вертинского и входившего тогда в моду Ив Монтана. Мужчины бывали там обеспеченные, штатские и военные, я опять вынужден был лгать, несколько раз не оплачивал коньяк (существовал серебряный подносик на маленьком, красного дерева, столике за диваном, на который незаметно клали деньги, «чтоб не обидеть хозяйку»). Несколько раз при наличии большого количества мужчин я оставался без «подруги» как наименее состоятельный. Вообще время было ужасное, человек религиозный о подобном упоминает разве что на исповеди перед смертью, и то в последнюю очередь либо предпоследнюю, перед признанием в убийстве, если таковое гнетет его совесть. Атеист же вовсе должен о том промолчать, и я касаюсь всей этой преисподней лишь потому, что в компании Тины, да что там компании, скажем честно, в борделе я наткнулся на нити политического заговора.

Сперва о закономерности подобного поворота, а потом о структуре и разнообразии политических заговоров последних десятилетий, то есть периода, когда межклассовое напряжение было ликвидировано путем хирургической ликвидации враждебных классов. Если помните, впад в разврат, я полностью отрешился от политики. Но отрешился не в результате определенного решения, а скорей стихийно, сосредоточив все свои душевные силы на телесности. Тем не менее, когда первый порыв миновал, новизна притупилась (довольно быстро, но это не значит, что меня перестало тянуть к остреньким наслаждениям. Просто первоначальный юношеский порыв, в котором была даже какая-то романтическая струнка, превратился в осознанный порок), итак, когда новизна притупилась, возобладал вновь быт: койко-место, застланное вместо постели оконной портьерой, которую из милости и тайно, чтоб не вселить надежды, но очистить свою совесть, подбросила мне комендантша (ныне это точно было установлено). И подобный быт после реабилитации, когда я более не считал себя зависящим от покровителей, а равным всем и несправедливо обойденным... Если первый порыв беспорядочной страсти заслонил от меня быт, то ныне я искусственно бежал от быта к страсти. Все это не могло не вернуть меня к прежнему мрачному, крайнему направлению, в свете которого я не мог не рассмотреть и нынешнее лихорадочное наверстывание юношеских ущемлений. Отказать себе в наслаждениях я уже не мог, но стал являться в парк не встревоженно радостный, а мстительно озлобленный. Кончилось тем, что я ударил одну из порочных женщин по лицу, ибо у нас с ней вышел самый

настоящий политический спор, причем в самое для того неподходящее время, и в том споре она приняла сторону сталинистов. К счастью, сразу же после того подвернулся Хази. Атмосфера компании, куда он меня привел, была уже частично мной отражена. Хочу добавить, что политические разговоры и политические анекдоты в борделе у Тины велись почти открыто и проходили наравне с самыми сальными. Такое уж было время, и куда б человек моего темперамента и моей судьбы тогда ни повернул, он всюду натыкался на политику, охватившую общество после тридцати лет политической спячки.

Теперь о политических заговорах. После того как в декабре 1934 года был убит С. М. Киров, политических заговоров крайнего толка как будто в реальном смысле и не существовало. Отравление Горького, как доказано, было явно инспирировано. Впрочем, достаточно много и двусмысленно писали ныне и о смерти Кирова, и о заговорах, которые якобы время от времени возникали против Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова и иных крупных политических деятелей страны. Должен сказать, и может, слова мои прозвучат диссонансом в том общем направлении разоблачительства прошлого, но, участвуя впоследствии в некоторых событиях, я склонен верить наличию определенной правды, безусловно приукрашенной и усиленной, правды о попытках совершить заговорщицкие акты против членов правительства. В частности, во время пребывания Сталина на крейсере «Червона Украина» действительно имела место попытка покушения, но не группой хорошо организованных врагов, как о том писали, связанных с международным капитализмом, а некоей жительницей города Николая, причем в весьма женской форме, именно желая плеснуть в лицо Иосифу Виссарионовичу соляной кислотой из пробирки. Несмотря на наивность и мещанство данного акта, женщина эта была схвачена совсем близко от цели, на набережной, оказала сопротивление и успела даже плеснуть кислотой в глаза случайному прохожему, помогавшему в задержании преступницы. Я остановился на этом подробнее, во-первых, потому, что факт стал известен мне чуть ли не из первых рук — от двоюродного брата этой женщины, встреченного мной в организации Щусева (все родственники женщины, конечно, были арестованы), во-вторых, чтоб подчеркнуть гораздо большую вероятность подобных актов даже и со стороны лиц неподготовленных и, в-третьих, гораздо большую случайность ряда громких событий либо случайность их отсутствия и неудачи. Конечно, все это не исключает наличия рассчитанных и умелых заговоров,

но подобные заговоры чересчур заметны и малоэффективны, а в условиях стабильного государства среднего возраста, — то есть вышедшего из младенческой неустойчивости, когда режим еще непривычен и взаимозаменяем, и перешедшего в период, когда народ привык и поверил режиму как единственной и естественной возможности сохранения порядка жизни, — подобные заговоры всегда отвергаются и презираются народом как опасные новшества. В этих условиях особую угрозу для общественного порядка представляют озлобленные одиночки или небольшие, эмоционально взвинченные, лишенные трезвого расчета, бесстрашные группки разного толка и направления... Описываемое же время в этом смысле было особенно опасным... Хоть основная масса народа не приняла и даже активно отвергла общественную лихорадку конца пятидесятых годов, но в слоях, способных к ощущению своей личности, произошел слом и лихорадка того типа, какая случилась со мной вследствие длительной телесной ущемленности. Впрочем, это были издержки, процесс же имел серьезную основу и мог бы дать результаты в двух случаях: либо если бы у него была опора в народных массах, либо если бы он сверху проводился цельно и без оглядки. К сожалению, ни то, ни другое условие соблюдено не было, и это послужило причиной ряда трагических поворотов. Этому способствовало скопление на свободе большого числа людей разрушенной трагической судьбы и некоторой, правда кратковременной, растерянности властей перед этими трагическими судьбами и перед последствиями собственных же деяний. Повторяю, период этот был кратковременный, но он показал, как живучи анархические неуправляемые силы в недрах любого, даже самого стабильного общества и как легко они способны выйти из-под контроля не только установленного порядка вещей, но даже и своего собственного, то есть нарушив даже собственное правило, став жертвами, нет, став опасными жертвами своих необдуманных поворотов, безумств, пессимизма, горечи и философских тупиков, столь нередких в житейски не сложившихся судьбах... Дело дошло до того, что ряды этих анархизирующих сил пополнились даже сторонниками твердо установленного, освященного народом направления, поскольку власти в определенный период замешкались и вынудили к личной борьбе против послесталинских тенденций тех, кто привык к общим, коллективным действиям, к коллективному отпору всем миром, всей страной. Эти действия от отчаяния развязали инициативу и активность элементов особенно неблагородных, которые, тем не менее, в период сталинского режима не осмелились бы взять на себя самостояте-

льную инициативу и которые, несмотря на крайне жесткий сталинизм последних двух-трех лет сталинской жизни, были порождены именно смертью Сталина и кратковременной нерешительностью властей... Как правило, это были люди молодые и, несмотря на ненависть к новым хрущевским тенденциям, быстро схватившие веяния времени, состоящие в ревизии, пересмотре и критике властей. Этим они отличались от традиционных сталинистов, отличались вплоть до конфликтов. Молодые люди эти вступили в противоборство с властями и формировали свои взгляды на откровенностях, которые даже и в пятьдесят втором году были выражены между строк, но не в строках. Коротко, их кредо было — перевод в строки тех тенденций, которые хоть и почти недвусмысленно, но все ж в официальном плане к марту пятьдесят третьего года еще застыли между строк. То есть сказать наконец русскому народу прямо и открыто о том, что не космополиты, а жиды погубили Россию... Конечно, такое никогда не случилось бы, даже и не застынь все прежнее в марте пятьдесят третьего года. Во всяком случае, не случилось бы с такой откровенностью. Но эти молодые люди рассматривали прошлый традиционный сталинизм не как догму, а как руководство к действию. Традиционный сталинизм имел определенные, пусть неслужебные, обязанности перед революционным интернационализмом и прежней чистотой революционных помыслов, более того, он имел среди своих сторонников миллионы людей честных, не принявших бы подобное выражение в столь откровенном тезисе, более того, имел самого Сталина, человека, хоть и совершавшего глупости, но в ответственные моменты хитрого и склонного скорее к витиеватой, пышной восточной аллегории, чем к курской хмельной, бешеной правде-матке с рывком рубахи на груди. Итак, молодые люди рассматривали традиционный сталинизм в его нынешнем модернизированном, крайнем звучании, вобравшем в себя, хотя они то признать или нет, современную ревизионистскую самостоятельность и так называемую честность, идущую от распространившегося разоблачительства как всеобщей тенденции, которой невольно оказались подчинены как антисталинисты, так и молодые сталинисты... Впрочем, даже и сталинистами их можно было назвать весьма приблизительно и, главным образом, первое время. Дело дошло до того, что постепенно к ним примкнула даже определенная часть так называемых антисталинистов, и постепенно все они вместе склонились к национальной религиозности и сельской простоте, где, то есть в сельской местности, как известно, национальный элемент более силен и отсутствует еврейское начало... Но это

случилось впоследствии, тогда же эти молодые люди хоть и были не в ладах с властями, но держались революционных и сталинистских основ... Характерен в этом смысле Орлов, которому я, если помните, натер когда-то морду пепельницей и с которым я вновь столкнулся в частном публичном доме у Тины. Вернее, не с ним самим (возможно, он здесь и бывал, однако я с ним лично, к счастью, ни разу не встречался), итак, не с ним самим, а с его рассказом, напечатанным на папиросной бумаге и ходящим в определенных кругах в списке (явление, также характерное для времени и весьма распространенное). То, что мне пришлось вновь столкнуться с Орловым (а впоследствии придется столкнуться даже и в открытой политической борьбе), не удивительно, и подобные, казалось бы, опереточные случайности среди так называемых заговорщиков весьма закономерны.

Даже и в период между серьезными революциями все ж основная масса народа не вовлечена в политические схватки, а занята созидательным трудом, и антиправительственный пятачок бывает весьма узок, так что все у всех на виду, и политическим заговорщикам разных направлений приходится сталкиваться между собой даже чаще, чем с властями. Ныне же, когда некоторый кризис общества носил, несмотря на ряд трагедийных положений, все ж кабинетный характер и даже в определенном роде разворачивался в литературно-публицистической плоскости, разноплановые группки просто обречены были чуть ли не сталкиваться носами, как гуляющие по провинциальной главной улице, причем иногда в буквальном смысле — за ресторанными столиками или в отдельных случаях, как пришлось мне столкнуться с Орловым, в борделе (повторяю, к счастью, заочно).

Рассказ найден был мной в углу дивана, кем-то небрежно брошенный и, очевидно, позабытый, что характеризует также крайности и смелость, к которым пришло общество, ибо речь шла в рассказе о вещах весьма опасных, почти антиправительственных, о некоем офицере, бывшем фронтовике, замыслившем убить «того, кто опозорил наш народ и наши русские победы». Прямо о том нигде ничего не говорилось, но намек был понятен, шит белыми нитками, явно умышленно, и под тем, кого собирался убить офицер, легко угадывался Хрущев, нынешний глава партии и государства. Рассказ этот я с собой захватил незаметно и в свободной обстановке прочитал. Написан он был достаточно нудно, хоть и раскованной, свободной, ироничной прозой под Хемингуэя... Был он страниц на тридцать, но охватывал довольно большой период и начинался с того момента, когда герой

рассказа, майор Степан Разгонов, тяжело раненный, лежал в развалинах среди трупов своих солдат. Все это было написано крайне натуралистично, возможно, даже с вызовом соцреализму, но как-то литературоведчески, как пишут люди, понимающие цену натуралистическим деталям. Майор Разгонов тяжело ранен в ноги, он не может ни пошевелиться, ни приподняться, он ослаб настолько, что ему трудно держать в руке небольшой портрет Сталина, вырезанный из газеты и наклеенный на плотный кусочек ватмана. Он хочет доползти к стене, чтоб прикрепить туда портрет, ибо лицо Сталина утешает боль. Но к стене ему доползти не удастся, и он ползет к мертвому солдату и прикрепляет портрет к его липкому от крови виску. Таково начало... Далее — мотив возвращения солдат-фронтовиков к мирной жизни с присущей этому времени требовательностью и с неудовлетворенностью тыловиками «с ташкентского фронта». Но главная трагедия начинается с пятидесят третьего года. Все, что было дорого, за что погибали солдаты, за что он сам, Разгонов, истекал кровью, все это поносится, преуменьшается, подвергается клевете, предается забвению, объевреивается. И здесь живое дыхание, живая ненависть прорывается наружу, правда, в отличие от ненависти к «ташкентским фронтовикам», где литература полностью отсутствует, здесь эта ненависть чуть-чуть подпорчена литературным стилем, может, из-за необходимости намеков и хемингуэевского подтекста.

— Это ведь не человек, — кричит Степан, стуча кулаком по газете с антисталинской речью, — это кусок жирного мяса, у которого под мышками волосы растут!

Просидев ночь без сна, он решается и, захватив трофейный «вальтер», идет на стадион, где должен выступать тот, «кто опозорил наш народ и наши русские победы». Далее — весьма важный кусок, который написан у Орлова несерьезно, с юмором. Степану удастся протиснуться достаточно близко, почти к оцеплению трибуны. С этого расстояния такой хороший стрелок вполне мог бы рискнуть. Но он не решается, а уходит в пивную и, вновь напившись, размышляет сам с собой над стаканом: «Ты что, хочешь иметь крупные неприятности, Степа? Нет? Так почему ж ты подчиняешься каждому велению своего сердца?»

Правда, в ту же ночь его охватывает тоска. При свете фронтовой коптилки, которую он соорудил из бутылочки от лекарства, влив туда бензин из зажигалки, словно перед святой лампадкой (тут уж заметно влияние на Орлова и на данное общественно-политическое течение национальной религиозности, расцветшее позднее), итак, перед фронтовой

коптилкой-лампадкой устраивает он над собой суд как над солдатом, не выполнившим задание. В качестве судей он поставил на столе фотографии своих фронтовых друзей, приклонив их к перевернутым доньшком вверх стаканам и чашкам. К утру эти фотографии, особенно та, где изображен момент захоронения под Белгородом останков погибших, к утру эти фотографии приговаривают Степана Разгонова к смертной казни. После этого Степан успокоился, побрился, причесался, пришел к кителю свежий воротничок, заменил орденские колодки орденами и медалями, взял листик бумаги и написал: «Сталин бессмертен, и поэтому я умираю спокойно». Выйдя из дому, позвякивая орденами и медалями, он достиг одного из центральных городских скверов, где стояла скульптура Сталина, вынул из бокового кармана пожелтевший, с засохшими пятнами старой крови фронтовой портретик, разрезал ножом руку и намазал кровью обратную сторону портретика, стараясь попасть именно на те места, где оставались еще бурые выцветшие пятна от крови фронтовых товарищей, приклеил портретик к пьедесталу и, запрокинув голову, глядя на высеченное из гранита сильное лицо Сталина, умело выстрелил себе в сердце, убил себя наповал и умер сразу без мучений... Несмотря на то что труп поспешно убрала милиция, слухи распространились, и следующим утром на том месте уже лежал букет цветов... Букеты цветов появлялись и в последующие дни...

Должен признать, что последний кусок — развязка отличалась некоторым достоинством, но суть в том, что здесь нет ощущения беллетристики, а скорее складывается ощущение документальности и знакомства с подлинным протоколом (например, перевернутые чашки и стаканы, к которым приклонены фотографии, либо посмертная записка не соответствуют литературному стилю Орлова. Скорее он придумал бы что-либо цветастое, злое, с подтекстом). Предположение это вскоре подтвердилось благодаря фразе о цветах, каждое утро приносимых к пьедесталу памятника Сталину. Именно эта фраза послужила зацепкой к весьма практичным шагам и помогла мне утвердить себя в организации Щусева.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

К Щусеву я стремился давно, но попал неожиданно и вроде бы даже случайно. Я просто встретил его на улице. В выходные дни центральная улица летом буквально кишит народом, так что и идти даже можно только медленным шагом,

соблюдая общий ритм и свой ряд, продолжительное время с одними и теми же прохожими, иначе рискуешь беспрерывно наткаться... Я любил эти шествия в ослепительно белой, яркой толпе южного воскресенья, где чувствовалась какая-то праздная лень, делающая человека, по-моему, добрей. Последнее же время, после исчезновения во мне юношеского напряжения, эти шествия и вовсе создавали минут на пятнадцать — двадцать впечатление слияния моего с обществом и материальной обеспеченности (которая после моих чисто мужских трат вновь подошла к критическому пределу).

В один из таких дней и в такой толпе я и встретил Щусева, правда, идущего во встречном потоке. Я сразу его узнал, хоть видел лишь мельком у Бительмахера и с того вечера он крайне изменился. Дело не только в том, что тогда черты лица его были взволнованны и искажены злобой, а ныне он был под стать толпе беспечно празден и как-то обеспеченно, сытенько ленив, также под стать толпе. Душевные движения наши и эмоции довольно часто зависят от вещей простых и материальных. Тогда Щусев выглядел материально затравленным (термин мой), то есть с воспаленными от бессонницы глазами и с бледной кожей от недоедания либо болезней. Сейчас же он загорел, был отдохнувшим, одет легко, весь в белом и ослепительно чистом (тогда он, кажется, был еще и грязен). Шел он рядом с широкоплечим, спортивного вида юношей, щеку которого с какой-то мужественной элегантностью пересекал шрам (такие шрамы я видел весьма не часто, но они всегда вызывали у меня зависть. Мне кажется, что они как-то выделяют и придают человеку силу и необычность). Увидев все это, я остановился и почувствовал даже укол в сердце от неожиданности и радости. При остановке мне ментально наступили на пятки, я вызвал недовольство соседей-прохожих, сломав чинный строй, и поскольку собирался перебежать из одного потока в другой, то несколько раз наткнулся на людей, и довольно основательно, так что даже среди неги и спокойствия вызвал злобные реплики в свой адрес. Не обращая на них внимания, я пробрался и пристроился к потоку, возвращающемуся от площади к почтамту (до сего времени я шел в потоке от почтамта к площади). Пока я пристраивался, Щусев со своим партнером ушли далеко вперед, нарушить же ряд, куда я и так с трудом втиснулся, было делом немислимым. Единственно возможным было, вытянув шею, следить за партнером Щусева, который, к счастью, оказался высокого роста (самого Щусева я не видел), и ждать, пока поток не вынесет меня к почтамту, где открывался более

широкий простор и толпа частично рассасывалась по веером расходящимся от почтамта улицам. Но тут была и опасность, поскольку Щусев с партнером, идущие впереди меня метров на пятнадцать — двадцать, могли исчезнуть, прежде чем я окажусь на свободном пространстве. Ругая в сердцах толпу и начав нервничать, я попытался обойти хотя бы несколько рядов, смяв их, но дошел лишь до какого-то толстого мужчины, явно тоже нервного и сильно потеющего, с измученным от солнца лицом, очевидно, также мечтавшего поскорее выбраться... Этот мужчина меня не только не пропустил, но даже, когда я пытался его обойти, нарочно переместился и заслонил мне дорогу. Схватиться с ним было некогда, да и не время... Я лишь молил Бога, чтобы Щусев не исчез в одной из боковых улиц, а пошел прямо. (Насчет Бога: я атеист и к религии отношусь насмешливо, однако иногда в волнении молюсь, поскольку не знаю иного способа себя успокоить.)

Наконец я достиг почтамта и увидел Щусева с юношей вполне ясно, причем в очереди за газированной водой. Это была удача. Конечно же, пока они стоят в очереди, я к ним не подойду, дабы наш разговор не слышали посторонние, но зато это давало мне время обдумать начало разговора и повод, поскольку за дальнейшее я не волновался, а беспокоило меня исключительно только начало и первое впечатление. Став за дерево, дабы раньше времени Щусев меня не заметил (вряд ли он меня помнил, но мог обратить внимание чисто случайно, как на прохожего, давно здесь маячившего, и если этот прохожий потом подойдет, то будет уже не впечатление искреннего порыва от встречи, а некоего расчета с моей стороны и слезки, что я хотел скрыть), став за дерево и осторожно выглядывая, не упуская Щусева из виду, я начал обдумывать варианты начала. Ссылаться надо было, конечно, не на Бительмахера, которого явно Щусев не любил, а на Фильмуса. Тем более что с Фильмусом я сошелся довольно близко, правда, так и не решившись просить его познакомить меня со Щусевым, боясь испортить дело. Но какой характер придать разговору, вернее, первым словам? «Извините меня, я хотел бы поговорить с вами» — излишне таинственно и опасно... Вряд ли Щусев согласится говорить с первым встречным при такой неопределенности, опасаясь провокации. «Простите, мы встречались уже, но вы меня вряд ли помните» — тут Щусев мог не сразу отвергнуть меня, а посмотреть неопределенно. Но такое начало требовало продолжения: где именно встречались — и тогда неизбежно следовало упомянуть Бительмахера, что, как я уже говорил, нежелательно... Оставалось с пер-

вых же фраз «взять быка за рога». «Простите, пожалуйста, Бруно Теодорович Фильмус обещал познакомить меня с вами, но такое счастливое совпадение, встретил вас на улице и сам решился...» В этом напоре было также по крайней мере два минуса. Во-первых, ложь: Фильмус не собирался меня знакомить. Во-вторых, элемент нахальства, впрочем, присутствовавший во всех трех вариантах, но здесь просто более бесцеремонно и ярко выраженный. Тем не менее здесь я с первых же слов ввожу в дело человека, кажется, Щусеву приятного, сидевшего вместе с ним в концлагере, дружелюбно к нему расположенного и потому заслуживающего внимания. Услышав фамилию Фильмус, Щусев, пожалуй, заинтересуется, а для меня главным было его первоначально заинтересовать, ибо, как я уже говорил, за дальнейшее не волновался.

Тут-то я и ошибался, ибо первое впечатление играет серьезную роль у мужчин с дамским характером, Щусев же был мужчина до мозга костей, несмотря на маленький рост (а может, благодаря ему, поскольку маленькие мужчины, будучи лишены внешней мужественности, всегда обладают более трезвым и жестким мужским началом в сути характера). Даже тщеславие и приступы нервозности не могли существенно изменить эту мужскую суть, хоть в те минуты определенным женский элемент в Щусеве, как во всяком мужчине в такие минуты, проступал. Кстати, о тщеславии. Относительно нервозности как женского начала споров, пожалуй, нет, но тщеславие некоторые ошибочно считают мужским чувством. Я категорически хотел бы это опровергнуть. Тщеславие есть страсть, страсть выделиться из себе подобных. Мужских же страстей вовсе нет, и недаром страсть — она, то есть женского рода... Мужская страсть звучит так же нелепо, как и мужской грех (хоть грех мужского рода)... Подлинно мужское начало чрезвычайно близко к буддизму, христианство же, по словам Бруно Фильмуса (здесь дан восстановленный по памяти краткий конспект его рассуждений), христианство — религия женская, направленная на борьбу с грехом, тогда как буддизм направлен на борьбу со страданием, и в этом он близок к другой древней религии, к иудаизму, разумеется, в своих основных физиологических началах, а не в философии... Казалось бы, философские постулаты этих религий прямо противоположны: «вражда не побеждается враждой» — рефрен всего буддизма, «око за око, зуб за зуб» — рефрен иудаизма, «возлюби врага своего» — рефрен христианства. Налицо якобы полная тождественность христианства и буддизма, но нет более крайних и противоположных начал, чем начала этих религий, и различие здесь опять же не в формулировках, а в их ос-

нове и толковании... В основе христианства лежит физиологическое наслаждение от самопожертвования, в то время как в буддизме — физиологическое наслаждение от собственного физического здорового начала, то есть не самопожертвование, а эгоизм как долг. Будда понимает доброту как элемент, дающий не душевное удовлетворение, а физическое здоровье. Молитва исключена, как и аскетизм. Все это средства от чрезмерной возбуждаемости, именно поэтому Будда не требует борьбы против других убеждений, восстает против мести, отвращения, злобы. То же возведение эгоизма в степень нравственной задачи характерно и для иудаизма, но на иной, даже прямо противоположной философской основе. Несмотря на всю жесткость и сухость, в иудаизме преобладает эгоизм отцовства, господствующий над незрелой еще человеческой личностью и целым рядом твердых мер создающий для этой личности пусть и суровую, но необходимую духовную диету... Заповеди буддизма, так же как и заповеди иудаизма, изложенные в Библии, часто напоминают элементарные гигиенические правила, лишь соблюдая которые человек может получить удовлетворение от своей подлинной, а не вымышленной судьбы и от подлинных, а не вымышленных радостей бытия. Разница же в философии между иудаизмом и буддизмом заключается отчасти в истории, но, может, еще в большей степени в географии, ибо буддизм возник в стране, где врачует сам мягкий климат и где народ отличается кротостью, в то время как иудаизм возник среди знойных песчаных пустынь и поработанного народа, требовавшего принудительного врачевания и жестких гигиенических правил. Христианство же несет в себе совершенно иное начало — не излечение, а исцеление, поэтическое излечение внушением — и потому требует чрезвычайно раздраженной чувствительности, выражающейся в утонченной восприимчивости к страданиям, а также чрезмерными духовными напряжениями. Вот почему христианство является женской религией, в то время как иудаизм — мужской. И вот почему для создания жизненного напора в развивающемся несовершенном мире христианство родилось из иудаизма, как Ева из ребра Адама. Буддизм же, названный кем-то из философов религией нигилизма и декаданса, не нуждался ни в каких дополнительных построениях и — среди мягкого климата и кроткого народа — не нуждался в жизненном напоре, а наоборот, лишь в созерцании и отсутствии дальнейшего духовного развития, ибо вполне был удовлетворен тем, что имел, и не искал защиты того, чего достиг. Таким образом, он утратил не только страсти, но и ярко выраженный пол, став существом всеобъемлю-

щим, впрочем, это значит — все-таки мужским, в котором женское начало растворилось...

Прошу прощения за новое отступление, и следует вернуться к Щусеву, который в момент моей встречи с ним чувствовал себя хорошо физически, был спокоен, трезв (кстати, вынужден вновь прерваться, ибо, как говорят, подвернулось к слову. Пьянство считают главным образом мужским пороком, а между тем это также проявление в мужчине женской сущности, искусственно возбуждаемой, то есть греха. Поэтому нет ничего отвратительней сильно пьяной женщины, поскольку она в своем грехе особенно естественна и глубока).

Итак, Щусев был спокоен, крепок физически, трезв, а значит, мужское начало в нем господствовало полностью. Но я всего того не знал и понял впоследствии, сопоставляя и анализируя. Тогда же я выждал, пока, постояв в довольно длинной очереди, Щусев и юноша со шрамом напились газировки и пошли вдоль улицы. Я двинулся следом, выискивая наиболее удобный момент, чтоб подойти. Под удобным моментом я понимал следующее: либо они сядут на одну из скамеек, тогда мне вообще повезло (сидящий человек в принципе, даже помимо своей воли, всегда более внимателен и терпим. Поэтому политическая полемика особенно сильного накала обычно ведется стоя). Итак, либо они сядут, либо отойдут в менее людную местность. Правда, была чрезвычайная опасность, подстегивающая меня и заставляющая либо немедленно действовать, либо отступить от своих намерений и искать других, менее рискованных путей знакомства. Опасность эта заключалась в городском транспорте. Не говоря уже о такси, после чего Щусев был бы сразу потерян, даже обычный троллейбус делал мою попытку почти невыполнимой и весьма сомнительной. Пусть и успею я оказаться в одном троллейбусе, несомненно им примелькаюсь как любой из пассажиров, и после того подходить на личном порыве от якобы случайной встречи было бы рискованно, а в троллейбусе заговорить и вовсе смешно.

Так размышляя, я шел торопливым шагом (Щусев со своим спутником ускорили шаг, словно куда-то спешили, и это также меня встревожило). Я шел, ругая себя за нерешительность, но тут же опровергая эти доводы иными, осторожными и трезвыми. Нет ничего хуже, чем когда я оказываюсь в подобном растерзанном душевном состоянии. Я отлично понимал, что еще минут пять подобного душевного киселя (термин мой), и я совершенно потеряю способность действовать. Между тем Щусев с юношей подошли к перекрестку, причем шли они по тротуару, ни разу не выказав намере-

ния перейти на бульвар, тянувшийся в центре улицы, а значит, надежда на то, что они сядут, становилась ничтожной. В то же время, судя по всему, они спешили, а на перекрестке пересекалось несколько троллейбусных маршрутов, и Щусев вполне мог воспользоваться городским транспортом, что, как я уже говорил, было для моих попыток познакомиться губительно. Поэтому, когда возник малейший намек на какие-то более благоприятные обстоятельства, то есть Щусев с юношей попросту остановились, пережидая поток транспорта, я кинулся к ним в отчаянии, хоть вокруг, совсем рядом, ожидая возможности перехода, стояло множество случайных прохожих.

Я надолго, может быть навсегда, до конца жизни запомню эти роковые минуты. Улица, пересекавшая нам путь, была хоть оживлена, но узка. На противоположной стороне ее был красавец собор, одна из городских знаменитых достопримечательностей, куда стекались не только верующие, но и просто любопытные, а также любители искусств, посмотреть на религиозные картины Врубеля и Васнецова. Собор этот часто посещали иностранцы. Сейчас, в воскресный день, в соборе шла служба, двор его был полон людей, входящих и сходящих по широким ступеням, а у обочины стояло два туристских автобуса и несколько автомашин иностранных марок.

Я все это так подробно описываю, поскольку Щусев в тот момент, когда я решился подойти, как раз рассматривал этот собор, запрокинув голову и что-то говоря юноше, кажется, насмешливо. Купола собора уходили глубоко в голубое небо, густое и сочное от полуденной жары, словно пронзали его, и солнечное сияние вокруг раскаленного металла куполов создавало даже иллюзию неких проломов, откуда струился на землю рассеянный, беспокоящий душу свет, конечно же, не от религиозных чувств, чуждых мне, а от необычной перспективы и странного ракурса, когда видишь привычные предметы наяву, как во сне. Все эти впечатления происходят, разумеется, когда стоишь слишком долго, запрокинув голову, и кровь тяжело наполняет затылок. На какое-то мгновение я вдруг забылся, а когда опомнился, то испугался своей нелепой рассеянности, которая может все мои действия свести к нулю. Но, по счастливому совпадению, Щусев не воспользовался свободным переходом, а видимо, тоже заинтересовался собором и продолжал что-то насмешливо говорить юноше. Более откладывать мои намерения нельзя было, я решился и подошел.

Несмотря на взволнованность и некоторое нелепое по форме начало (я заговорил, подойдя сзади, со спины, явно от

робости, так что первоначально ни Щусев, ни юноша не обернулись, думая, что не к ним я обращался, пока не дошел до фамилии Фильмус, как и рассчитывал), итак, несмотря на нелепое начало, которое, когда Щусев обернулся, мне пришлось повторить, в целом я не сбился и изложил именно как рассчитывал, очень естественно подав неправду о намерениях Фильмуса меня познакомить, и даже, как мне казалось, создал впечатление случайной встречи, а не продолжительной слежки. Щусев слушал меня спокойно, не перебивая, но с некоторой язвительной насмешливостью во взгляде, возможно, оставшейся по инерции от каких-то размышлений относительно собора и невольно перенесенной по состоянию на меня. Однако я, будучи взволнованным, принял эту язвительную насмешливость за благодушную улыбку. Такое непонимание, при моей природной подозрительности, кажется нелепым, но следует учесть покойное состояние Щусева, ибо отнесись он ко мне встревоженно-враждебно, я бы сразу это уловил. К тому ж, оказывается, между Щусевым и Фильмусом недавно произошло неприятное объяснение, о чем я не подозревал, и потому ссылка на Фильмуса была явно некстати. Это можно было осознать при определенной трезвости мышления хотя бы по такой фразе:

— Зачем вам, собственно, знакомство со мной?— спросил Щусев.— Судя по методам вашего знакомства, вы человек самопознания, а тут Бруно незаменим.

Я начал горячо возражать, доказывая, что целиком разделяю взгляды Щусева на сталинизм, хоть и услышанные мельком, тем более что меня тогда не представили.

— Где, собственно, услышанные,— резко повернул разговор Щусев,— и где вы не были представлены?

Я запнулся. До того я держался версии, что видел фотографию Щусева у Фильмуса и по ней узнал, и вдруг так нелепо проговорился и попал в ужасное положение... Краска залила мне щеки, я замолчал, проклиная мысленно себя и на себя озлобясь, ибо упомянуть Щусеву о Бительмахере вовсе означало погубить дело, тем более, возможно, Щусев попросту антисемит, такое среди реабилитированных случалось нередко, и упоминать о Бительмахере не следовало.

— Ну хорошо,— сказал Щусев, когда молчание мое чересчур затянулось и вроде бы таким образом приходя мне на помощь,— не будем уточнять, раз вам неприятно...

И вдруг задал мне вопрос вовсе уж «из другой оперы», именно — женат ли я. Здесь уж насмешка была вовсе грубая и с нажимом. Может, на то Щусев и рассчитывал, на мою обиду, которая даст ему возможность отвязаться. Но даже

и сейчас, когда самый нечувствительный и неразвитый человек понял бы намек, я остался глух, и, наоборот, думая попасть в тон Щусеву, высказался довольно витиевато и в том стиле, каким пишут в альбомчики провинциальных девиц.

— Такие люди, как я, женятся ли они или остаются холостяками, навек обвенчаны только со своей судьбой, больше ни с кем.

— А вообще женщин вы любите? — серьезно спросил Щусев.

— Нет, — искренне ответил я, причем достаточно поспешно и не задумываясь, как говорят о выстрадавшем (в этом удача. Не поняв насмешки, я был искренним и тем привлек к себе Щусева. Поняв несмешку, я стал бы мстить и язвить, что случилось вскоре. Но искренность эта моя Щусеву все-таки запомнилась, и он на нее ориентировался в конечных выводах обо мне). — Нет, женщин я не люблю, — повторил я без рисовки, — когда я вижу старуху, то радуюсь злобно и думаю: вот вам, женщины-красавицы... Вот вам... Никто из вас не спасется от этого, разве что смертью...

— Интересно, — сказал Щусев и как-то медленно, по-новому посмотрел мне в глаза. Именно сейчас, когда он посмотрел по-новому, я разом понял, что до того он надо мной смеялся. Горечь и обида овладели мной чуть ли не до слез, так что захотелось выругаться и убежать.

— Интересно, — вновь между тем повторил Щусев, глядя на меня, как говорится, «с нажимом», то есть стараясь разглядеть в чужом родные, свои черты. — А вас никогда не занимало, — спросил он вдруг тихо, — какая будет погода на следующий день после вашей смерти? Через сто лет меня не интересует, и через месяц тоже, это уже не мое, но вот на следующий день... Будет ли дождь или солнечно...

Впервые за наш разговор в словах Щусева появились искренние нотки, хоть на первый взгляд движение мысли его получилось скачкообразное. Однако мы как бы поменялись ролями и, разом поняв, что все предыдущее было лишь насмешкой, я и эти его искренние слова принял за насмешку и насмешкой же постарался ответить.

— Вы всегда так мрачны? — сказал я. — Знаете, однажды я вскочил внезапно среди ночи, разом проснувшись, и мне показалось, что-то происходит в мире... Мир совершенно изменился... Либо началась атомная война, либо я умираю... Оказалось, что я просто отлежал себе руку... Торопливо растер, и все кончилось благополучно.

Я старался говорить как можно более с намеками, но Щусев смотрел на меня спокойно и задумчиво.

— Вы напрасно так,— сказал мне юноша со шрамом, до того молчавший (при ближайшем рассмотрении он оказался вовсе не юношей, а парнем моего возраста, лишь моложаво выглядевшим. Позднее, когда мы с ним сошлись, выяснилось, что он и вовсе на девять лет старше меня, успел уже в Отечественную повоевать в диверсионно-десантном отряде, откуда и вынес шрам, а позднее провести некоторое время в местах не столь отдаленных и усиленного режима).— Вы напрасно,— повторил юноша.— Платон сейчас совершенно искренне говорит, хоть, конечно, не к месту, это согласен.

— Оставь, Христофор,— перебил Щусев (Христофор резануло и запомнилось, как все необычное),— разговор наш действительно поначалу не сложился, но, может, оно и к лучшему... Вы, Григорий, приходите в гости... Завтра к пяти приходите,— он назвал адрес.

Когда Щусев с Христофором уехали на троллейбусе, я довольно долго пребывал в чувствах весьма разнообразных. Чтоб несколько себя успокоить, я отправился спать не в общежитие на свою койку, усталую старой портьерой, а к Наде, хоть и неоднократно клялся не посещать ее, и у нас даже были скандалы. Причем главным образом из-за Колечки. У Нади появилась странная привычка приучать меня к своему ребенку, а ребенка ко мне. Едва я приходил, как она сажала Колечку на мои колени, и тот водил по лицу моему слюнявыми пальчиками. Но в этот раз я применил новую тактику, схитрил и пожертвовал ужином (Надя особенно замечательно готовила говядину, обжаренную в молотых сухарях). Итак, пожертвовав ужином, я явился поздно, почти ночью, когда Колечка уже спал, да и саму Надю я поднял с постели звонком, сонную и теплую. Мы обняли друг друга и провели ночь весьма приятно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Явившись к Щусеву точно к пяти, я поначалу испытал серьезное разочарование, поскольку застал там самую обычную компанию, причем далеко не высшего класса, судя по полному отсутствию в ней красивых женщин. (К женщинам я изменил отношение как к существам идеальным, божественного порядка, но их материальная, земная сущность от того отнюдь не уменьшилась для меня, а даже наоборот, в значительной степени возросла.) О невысоком классе этой компании говорит и ее прогрессивное, антисталинское направление, при одновременном, тем не менее, отсутствии

в ней красивых женщин. Поясню... Как правило, подавляющая масса красивых женщин, особенно в молодости, то есть когда они по-настоящему красивы, подавляющая масса этих женщин занимает позиции левые, прогрессивные, по крайней мере с того момента как женщина стала общественно активна. Не говоря уже о компании ретроградов (дело дошло до того, что даже пожилые ретрограды начали тогда собираться в частные компании, правда в основном для преферанса, но иногда и с политическими суждениями. Пусть суждения эти были экстраконсервативного толка, но сама форма собраний и высказываний говорила о том, что процесс самостоятельности и послесталинских веяний зашел далеко), итак, не говоря уже о компании ретроградов, где женщины присутствовали разве что в пожилом возрасте и где красота уничтожалась старомодным шестимесячным перманентом, не говоря уже о этих компаниях, даже и в таких молодых, современных, мускулистых, полных протеста и незаконности компаниях, как у Орлова,— красивых женщин почти не было. Повторяю, к прогрессивному движению женщин привлекает главным образом незаконность, то есть политический грех, грех, лежащий в основе их душевного построения, но при этом красивым женщинам, не страдающим неполноценностью, нужен светлый грех, ведущий к человеколюбию и сродни тому, от которого рождаются дети. У Орлова же политический его грех носил форму извращения, ненависти и, естественно, не мог привлечь женщин. Поэтому, когда я увидел эту прогрессивную, антисталинскую компанию, но красивые женщины в ней отсутствовали, то подумал, что компания попросту низкого класса. Концепция моя великолепно подтверждалась антисталинской компанией Арского, буквально набитой до отказа красивыми женщинами, так что глаза разбегались. Должен сразу заметить, тогда, явившись, я не знал некоторых тонкостей, в частности трехэтажного построения организации Щусева и того, что компания была лишь прикрытием. Но в какой-то степени концепция моя нашла позднее подтверждение, ибо политический грех здесь как направление против сталинизма и прошлой деспотии был хоть и прогрессивен, но не совсем светел, что, с одной стороны, говорит о более сложном построении бытия, чем я ранее предполагал, и о более сложном построении социально-политических взаимосвязей...

Собственно, женщин в компании было две. Одна из них была крупная по телесной комплекции старуха с напудренным лицом. Замечу, в крупных, высокого роста старухах вообще есть нечто патологическое. Маленькие, слабые, сгорб-

ленные старушки всегда вызывают умиление, в то время как крупные, высокие старухи внушают беспокойство и неприятные мысли. Впрочем, то и другое исключительно с первого взгляда, ибо очень скоро, при более коротком знакомстве, некоторые из маленьких старушек перестают вызывать умиление, а высокие старухи — неприятные мысли. Все это, конечно, верно. Однако если высокая старуха к тому же еще и напудрена, шансов на то, что неприятное впечатление, полученное от первого взгляда, вскоре рассеется, остается немного. Высокая эта старуха сидела за столом довольно твердо и по-мужски опираясь на локти, видом своим требуя к себе уважения (наверно, заслуженного) и занимая много места.

Другая женщина была ей во всем полная противоположность. Она была очень молода, чуть ли не лет двадцати с небольшим, и недурна собой, но весьма старомодно причесана, как носят деревенские прислуги, и вообще по повадкам и выражению лица — прислуга, но не из современных, горластых, а из прежних — забитых и покорных. (Этим она и отличалась от Нади, хоть в остальном у них было много общего и даже какие-то, как мне показалось, общие черты лица.) Звали ее Варя. За столом она не сидела, а находилась главным образом в соседней комнатушке, явно искусственно отгороженной. Впрочем, комната, в которой собралась компания, несмотря на отгородку, оставалась большой. Варя появлялась лишь когда надо было что-либо убрать или подать, чаще же уходила к себе в комнатушку, где время от времени плакал младенец. Когда к Варе обращались, она краснела, а когда говорил с ней Щусев, то как-то по-собачьи сжималась. Тем не менее была она ему преданна чрезвычайно и любила. В конце концов Щусев на ней законно женился, тем более, что младенец был от него.

Стол, за которым сидела компания, не был алкогольным, если не считать на десятерых двух бутылочек легкого вина — только лишь чтоб символически пригубить. Этим он отличался от стола многих компаний, где я бывал. Независимо от политической направленности тех компаний, алкоголь в ассортименте угощений был представлен щедро. Угощения у Щусева, собственно, тоже особого не было. Чай, колбаса, плавленые сырки, тарелки с отварным и печеным картофелем, селедка с луком, — все чуть ли не на уровне студенческой пирушки.

И комната обыкновенная — шкаф, буфет, занавески на окнах, радиоприемник на тумбочке — все, что соответствовало семье среднего достатка тех лет, здесь присутствовало. Запомнились мне два больших незнакомых портрета (именно

потому и запомнились, что были незнакомы, а это для портретов тех лет необычно), я подумал, не родственники ли это Щусева, особенно человек с млаожавым болезненным лицом похож был на Щусева. Но выяснилось, что это портрет писателя Успенского.

Успенского я что-то читал и потому, выяснив, кто на портрете, нашел, что это неплохой путь утвердить себя в глазах Щусева таким способом, заговорив о любимом, очевидно, писателе хозяина компании. Я попал впросак. На портрете был не Глеб, а Николай Успенский, двоюродный брат Глеба. Щусев заметил мне это, но не язвительно, за что я ему был благодарен, так как представил серьезные возможности посмеяться над своим невежеством. Уверен, в иной компании, того же Арского, меня тут же высмеяли бы и опозорили. Какой-нибудь Вава на этой моей грубой оплошности вообще построил бы свое положение в компании в течение всего вечера.

Вообще некий дух товарищества и мягкости, надо признать, царил у Щусева, так что за весь вечер (редкий случай) у меня не появилось не только ни одного врага, но даже полемического противника. Интерес здесь строился на другом (и в этом — немалая заслуга самого Щусева, его организаторских способностей), интерес здесь строился не на полемическом противоборстве и самоутверждении, а на целенаправленной неприязни к сталинизму, который понимался весьма узко, специализированно (здесь тоже был умысел Щусева), без философского осмысления, ведущего, по словам Щусева, к интеллигентски-слюнявой путанице, за что он и разошелся с Фильмусом, то есть сталинизм понимался в его карательном и тираническом смысле...

Правда, были и более широкие размышления, но исключительно в житейском плане — без философии, которую Щусев ненавидел, хоть и отдавался сам «философии», но не замечал этого и ненавидел «жвачку ума». (Он вообще многое ненавидел, именно ненавидел, а не то чтобы вроде недолго любил.)

Кстати, о втором портрете и попутно о Щусеве. На втором портрете изображен был знаменитый террорист, исполнитель приговора Народной Воли над известным царским палачом и генерал-адъютантом. Висел этот портрет здесь не потому, что Щусев был сыном крупного эсера, как о том говорила жена Бительмахера Ольга Николаевна. Как раз наоборот, возможно, из-за этого портрета и пошли слухи о эсеровском происхождении Щусева, которые он, впрочем, не отвергал.

Однако я уж слишком уклоняюсь. Компанию я осознал и ощутил с момента, как мне было оказано внимание, до того, подобно всякому себялюбцу, я испытывал лишь некую смесь скуки с насмешкой, сидя достаточно близко и жуя поданный мне Варей картофель. В ощущении скуки и насмешки есть нечто возвышающее тебя над остальными, и я намеревался просидеть так весь вечер, поняв, что такая тактика подачи себя — как человека замкнутого — может меня рекомендовать здесь гораздо оригинальней, чем как спорщика. Но этому помешала крупная старуха (тогда-то я ее и заметил).

— Андрей Иванович,— сказала она сидящему рядом старичку и пошла и пошла... Да все в мой адрес...

Но пока о старичке. Старичок этот как раз был маленького роста, сухонький, но умиления он не вызывал. Старые мужчины, в отличие от старых женщин, редко бывают добры вообще, а особенно при маленьком росте. Доброта стариков соответствует вялости черт и потере осмысленного выражения глаз, ибо у старушек осмысленное выражение ведет к мягкости и материнству, у стариков же к выражению алчности, поскольку в мужчинах дольше проявляется активное начало.

Итак, в глазах у напудренной старухи было некое безумие, и чувствовалось, что до ясности и мягкости ей еще далеко. Взгляд же старика, наоборот, был абсолютно ясен, и, согласно концепции о разнице в проявлении мужской и женской старости, они оба сейчас выражали одно и то же, именно беспокойство, самоутверждение и полемику... Некоторое несоответствие их общему духу компании объясняется тем, что они здесь были людьми случайными. Вообще в этот день было несколько случайных человек (и я в том числе), поэтому атмосфера не совсем соответствовала обычной, в чем я убедился позднее.

— Андрей Иванович,— говорила старуха (голос у нее был довольно молодой),— тебе не кажется, что этот темноглазый юноша удивительно похож на... (она назвала некую фамилию). Да, того самого, который в восемнадцатом году, в Екатеринбурге, погиб из-за безобразного, подлого поступка Самуила Маршака...

— Простите,— спросил сидевший против меня молодой человек, несколько постарше меня (как выяснилось, здесь лицо случайное и больше, после сегодняшнего вечера, не появлявшееся),— простите, вы имеете в виду Самуила Яковлевича Маршака, известного советского поэта?

В примитивном вопросе молодого человека был тот сарказм, насмешливость, уверенная сдержанность, которых

тщетно я добивался. Задай я подобный вопрос, вопрос-ответ, задай я такой вопрос, у меня бы он вышел с подтекстом и явной злобностью, выдающей слабость и неуверенность. Сейчас же злобность и неуверенность проявил старичок.

— Да,— крикнул он,— того, того... Самуила Яковлевича... Только не известного советского поэта, а фельетониста деникинской газеты «Утро России»... Это одно и то же лицо... Самуил Яковлевич Маршак, фельетонист деникинской газеты,— засмеялся старичок, думая, что он удачно кончил и подковырнул...

— Чего же вы нервничаете? — якобы примирительно, на самом же деле весьма остро спросил молодой человек.— Рассказали бы...

— Факт предан достаточной гласности в наших кругах,— сказал старичок,— но вы, кажется, новый у нас?

— Ну не совсем гласности,— вмешалась вдруг старуха, противореча не молодому человеку, а старичку,— собственно, этого прекрасного юношу, студента, хоронил весь город... Ему не было и восемнадцати, и такая глупая смерть... Он приехал на каникулы, и такое несчастье... В городской управе работал эсер, которого Самуил Маршак облил грязью в одном из своих фельетонов, обвинил чуть ли не в большевизме. Эсер пришел объясняться в редакцию, захватив с собой юношу, своего друга. Разговор у Самуила Маршака с эсером вышел крутой, и Маршак размахнулся, чтоб ударить. Тогда эсер выхватил револьвер.

— И если бы он выстрелил,— захихикал старичок,— Самуил Маршак навсегда остался бы фельетонистом деникинской газеты «Утро России».

— Он выстрелил,— продолжая рассказ и одновременно поправляя старичка, сказала старушка,— он выстрелил, но ему подбили руку, и вместо Маршака он попал в собственно-го друга, чудесного юношу... Удивительно похожего на этого, поразительное сходство,— и она показала пальцем на меня.

Я не люблю, когда на меня показывают пальцами, особенно старухи с маникюром (у нее был маникюр), поэтому обрадовался, что молодой человек продолжал раздражать стариков своими якобы кроткими, сдержанными и даже неумными (уверен, умышленно неумными) вопросами. (Вообще, умышленно неумный вопрос как способ ведения политической полемики еще далеко не изучен. По утверждению Фильмуса, им великолепно пользовался Троцкий. Я подумал о том и решил первое высказывание свое построить именно в этом плане, то есть упомянуть о приемчике Троцкого, кото-

рый он, кстати, по утверждению Фильмуса, заимствовал у Лассаля, известного политического скандалиста.)

— Будьте добры,—сказал молодой человек,—вот вы сказали о том, что юноша приехал на каникулы... Но какие каникулы в восемнадцатом году, когда, извините, шла гражданская война?

— Война шла, но учеба в ряде учебных заведений юга России продолжалась,—строго и наставительно сказал старичок.

Началась вовсе какая-то скука и «манная каша с киселем». Тут-то я и влез с Троцким, укравшим у Лассаля политический приемчик.

— На Троцкого это похоже,—засмеялся старичок, которого, несмотря на ясность взгляда, тем не менее несколько затирало и вообще и в частности, и он мою мысль принял в свою пользу,—помню, сидели мы с Троцким в президиуме, на благотворительном вечере в поддержку неимущих студентов... В действительности же весь сбор шел в пользу подпольных организаций, как вы сами понимаете,—обратился он ко мне доверительно и понизив зачем-то голос,—выступали лучшие актеры МХАТа... Сборы были весьма серьезные... Мы пустили по рукам публики картузы... К одним картузам были французскими булавками приколоты бумажки с надписями—РСДРП, к другим—социалисты-революционеры, и таким образом публика весьма демократическим путем могла поддержать материально именно то политическое течение, которому она симпатизирует. Однако, когда картузы, наполненные деньгами, вернулись в президиум, Троцкий забрал в пользу РСДРП даже и те, которые наполнены были сочувствующими социалистам-революционерам... Я возмущился, однако Троцкий заявил, что поскольку вечер был организован РСДРП, весь сбор идет в их пользу... А уговор?—сказал я. Тогда он истинно по-женски заговорил о другом... Об интересах революции... О рабочем классе... Хе-хе-хе... Политический экстремизм невозможен без женского в характере... Хе-хе... Я всегда относился к Троцкому с неприязнью... После того случая он стал мне ясен... Я даже просил следователя в тридцать пятом изменить формулировку обвинения... Я заявил, что троцкизм мне глубоко антипатичен...

Именно потому, что тон за столом задали эти старые люди, у которых давно уже произошло смещение понятий, их границ и смысла, главным образом как следствие смещения времени, так что порой даже действующих лиц той жизненной трагедии, которую им довелось пережить, они невольно и незаметно для себя перемещали из одного времени в другое

и произвольно смешивали, именно поэтому разговор за столом стал расхлябанным, нелогичным, со всеми признаками политической богемы, соответствующей всем компаниям, и потому в конце, как я понимал, он должен окончиться ссорой. Повторяю, противоречия с атмосферой товарищества, которую продолжительное время сохранял в организации Щусев, тут не было, поскольку Щусев умышленно создавал подобные компании, служившие для организации лучшей маскировкой. Щусев отлично понимал, что политическая богема, впрочем, как и богема в искусстве, является серьезнейшим признаком бездеятельности и неполноценности в смысле практических шагов, а именно такое впечатление необходимо было Щусеву для его планов. Важно, что самая концовка этих планов пока не была ясна никому, кроме самого Щусева.

Итак, за столом в полную меру развернулась политическая богема. Здесь было все. Хоть звучало иногда и неглупое определение, но чаще — пошлости, наивные глупости и творения графоманов-антисоветчиков...

Голова у меня пошла кругом, и стало весело, но вряд ли от вина, которого мне досталось полрюмки, а от общей атмосферы незаконности и политического греха, окончательно воцарившегося за столом и который не менее сладок греха телесного, особенно для людей, в этом деле свеженьких, каким, несмотря на некоторый опыт, я по-прежнему оставался. В качестве отступления скажу, что, во-первых, нет большей скуки, чем скука от надоевшего веселья, «праздничков»... Скучный быт гораздо менее тягостен, чем скучные «празднички». Во-вторых, нет более опасных развратников, чем те, кому разврат надоел. Такие развратники превращаются в растлители. Таковым был и Щусев. На происходящее за столом он взирал с внутренней усмешкой, я в этом уверен. Он умышленно приглашал большое количество случайных людей (за время моего пребывания множество лиц покинуло компанию и столько же примерно появилось новых). Он не сомневался, что среди приходящих есть доносчики, так называемые стукачи, по крайней мере один-два, и все сказанное тут станет известным. Однако по тем странным временам это было лучшей гарантией скрыть истинные намерения организации и представить ее в виде ординарной группки язвительных крикунов. Впрочем, изредка говорили за столом своеобразно, хоть всегда язвительно.

— Один из главных способов клеветы,— говорил упомянутый мной молодой человек,— это пробудить у обывателя тайную зависть к тому, на кого клеветают. Например, если го-

ворят: такой-то продал отечество за сто тысяч, то обыватель возмущается главным образом тем, что кто-то другой получил такие деньги. Хотя это он делает тайно, а иногда и подосзательно.

— В России,—говорили в другом конце стола,— общественное мнение простого народа всегда выражали не газеты, а пьяные... Что пьяный вслух кричит, то народ и думает...

После этого замечания пошли в дело колкости, афоризмы и анекдоты. Сказано было много, разнообразно и в конечном итоге даже под хмельком, поскольку вновь пришедшие принесли с собой несколько бутылок. Щусев смотрел на это морщась, но плана своего не нарушал, то есть происходящему до поры до времени не мешал.

Должен заметить, форма компаний настолько овладела обществом, что появились даже и некие кочующие компании, переходящие из одной стационарной компании с квартирой к другой и так за вечер сменяющие несколько... Часам к одиннадцати, к самому разгару их кочевья, такие компании начали набредать и на нас, и Щусев их пускал.

Эти компании приносили свежие новости, анекдоты, слухи и таким образом основательно перемешивали и тасовали общество... Правда, кочующие компании обладали определенной спецификой, именно потребительской жилкой, и потому за нашим небогатым столом долго не засиживались. Но это-то Щусеву и надо было.

Первоначально я как-то по инстинкту правильно понял, какую тактику избрать со Щусевым: не выпячивать себя и придать себе выражение отстраненности и насмешки. Уверен, в общей суматохе и мелькании лиц он бы мою отстраненность и тишину заметил, поскольку, невзирая ни на что, за всеми наблюдал пытливо. Но напудренная старуха, зацепившая меня и вызвавшая спор, как-то заставила меня забытья и стать на путь самоутверждения, к чему я привык в прежних моих встречах. Начавшееся за столом противоборство я принял за чистую монету, не понимая, что это для Щусева лишь маскировка, идущая вразрез с идеей организации. Правда, если говорить уже об афоризмах и сатирических определениях, то у меня имелось одно достаточно точное и исчерпывающее, которое я заимствовал не из книг и умных разговоров, а из письма моей престарелой тетки, и было обидно не высказать его, когда за столом блистали гораздо более мелкие и вовсе убогие. Собственно, высказывание тетки не было, разумеется, ни сатирой с ее стороны, ни афоризмом с подтекстом, но непосредственность и необразованность иногда

обладают удивительной способностью сразу и полно обрисовать явления, то есть царящую в умах политическую неразбериху.

«Я слушала радио,— писала тетка,— выступление Хрущева на съезде... Какое счастье, что Сталин умер. Потому что если б он не умер, его б сейчас арестовали...»

Именно так я и высказался, и не ошибся. За столом раздался общий смех, и кто-то записал это даже в качестве анекдота.

— Я слышал, имеются точные данные,— сказал краснощекий, похожий на девушку юноша (Сереза Чаколинский),— Сталин хотел помешать победе советских солдат...

Этот юноша Чаколинский (кстати, человек не случайный, а член организации) был еще одним свидетельством царящей тогда неразберихи понятий. По характеру это был человек весьма чистый, до наивности, и красневший... Начни он формироваться на несколько лет ранее, когда господствовал массовый, даже не бронзовый, а гипсовый патриотизм, или на несколько лет позже, когда все было переосмыслено, оплевано и воцарилось негативное восприятие прошлого, характер его обрел бы определенную цельность, по крайней мере по форме, ибо даже ложные, но твердые ориентиры формируют в человеке способность не только мыслить, но и самостоятельно переосмысливать... Сереза же формировался в период всеобщей хляби и путаницы. Не знаю, где он встретился со Щусевым. Отец Серезы был когда-то репрессирован, но жил Сереза обеспеченно. Не знаю, как Сереза попал в организацию. Мне кажется, Щусев взял его с какой-то тайной целью именно благодаря специфике личных качеств, юношеской наивности, которая в период зубоскальства и злобы выглядит глупенько, однако этим и привлекает...

Помимо Чаколинского в организации были еще двое юношей, Вова Шеховцев и Толя Набедрик. Эти были совершенно иные и за другие качества взяты. Вова Шеховцев был юноша, не по летам физически развитый, а значит, неизбежно с хулиганскими замашками, но в то же время, что часто бывает с подобными юношами, особенно росшими без отца, испытывал необходимость в мужском авторитете, чем Щусев и пользовался. Шеховцев единственный из юношей входил в состав боевой группы, глубоко, под шумными компаниями и даже под организацией, замаскированной. Несмотря на Вовин уличный разбросанный характер, Щусев на боялся, что он проболтается или донесет, поскольку «круговая порука» в таких ребятах с улицы бывает весьма сильна. Третьим юношей был Толя Набедрик, паренек лет шестнадцати, со специфиче-

ски еврейской внешностью, курчавыми волосами и вообще похож на живую иллюстрацию к «Мальчику Мотлу» Шолом Алейхема. У меня даже мелькнула мысль, что Щусев привлек его исключительно, чтобы отвести от себя обвинение в антисемитизме, которое ему предъявляли многие реабилитированные и которое, мне кажется, было пущено его врагом Бительмахером и его женой Ольгой Николаевной...

Но вернемся к столу, за которым по-прежнему царствовал политический грех, возбуждая кровь и веселя душу, как все запретное... Именно в самый разгар веселья и появилась очередная бродячая компания: двое парней и две девицы... Парни были из тех, кого тогда называли «дешевый стилияга», т. е. одеты бедно, но со «стилем», в узких брючках, явно перешитых, с волосами, блестящими от бриолина, входившего в моду, и с модным коком, по-петушину взбитым впереди. Эта компания и принесла экземпляр антиправительственного рассказа, уже известного мне, разошедшегося к тому времени широко (широко — в смысле по всему пятачку). Правда, рассказ этот о желаниях бывшего фронтовика уничтожить того, «кто опозорил наши русские победы», и о последующем самоубийстве этого фронтовика под пьедесталом памятника Сталину, рассказ этот имел теперь название «Русские слезы горьки для врага», и автор имел псевдоним Иван Хлеб. Из этого я заключаю: как ни случайно был брошен в угол дивана доставшийся мне экземпляр, тем не менее следует признать, что, очевидно, мне в руки попал один из первых экземпляров, когда рассказ еще не имел названия и был подписан подлинной фамилией автора. Из такой небрежности ровным счетом ничего не следует. Небрежность и случайность всегда сопровождали любые, даже самые ухищренные конспирации. Орлов же подобным конспиратором не был вовсе, тем более, что и рассказ и автор его давно были известны властям, о чем свидетельствует исключение Орлова из университета (об этом узнали после. Лишь благодаря высокому положению отца Орлов не понес более серьезного наказания даже в данный мягкотелый период). Кстати, своим исключением Орлов крайне гордился. Так, что псевдоним Иван Хлеб выражал частично кокетство, частично политическое кредо.

Рассказ пошел по рукам. Был он для рукописей длинен, написан убористым шрифтом, и при беглом перелистывании не совсем точно понималось его направление, особенно учитывая, что явление это было новое для многих и все привлекло к антисталинскому литературному подполью, несмотря на официальные антисталинские высказывания в печати, особенно после не столь давнего разоблачения антипартийной

группы Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова. Все привыкли к антисталинскому литературному подполью, а сталинское литературное подполье было непривычно, особенно изображенное в современном, хемингуэевском стиле и в противовес соцреализму. Правда, при дальнейшей доработке, чувствовалось, автор придал ткани рассказа славянофильскую нить, о чем свидетельствуют и название «Русские слезы горьки для врага», название наподобие русского лубка, и псевдоним Иван Хлеб. Складывалось впечатление, что бродячая компания, подхватив рассказ в одной из «комнатных» стационарных компаний, где она успела сегодня побывать, толком его и не прочла, вернее не прочла вовсе и в таком «тепленьком» виде доставила Щусеву.

Щусев же, едва глянув, сразу все понял и рассказ изъясил (это объясняется и тем, что он уже о рассказе слышал и знал его направленность совершенно из других источников). Тем не менее, хоть рассказ за столом не задержался, он по ассоциации вызвал тягу к подпольной литературе, к крамоле, и началось обычное чтение крамольных стихов и упоминание крамольных сочинений. Были прочитаны уже слышанные мной в компании Арского стихи «Я попал под троллейбус на улице имени Ленина» (опять правила антиправительственно-го пятачка).

Были прочитаны и новые, то есть неизвестные мне стихи: «Посидим в туалете, подумаем, и натужась найдем смысл... Смысл жизни на нашей планете, где господствует социализм»...

Вот тут-то и взвилась пудренная крупная старуха при поддержке маленького активного старичка, и разразился тот самый закономерно неизбежный в таких компаниях, я бы даже сказал, стандартный скандал.

— Это мерзко,—крикнула она,—стыд и позор... Ваши отцы гнили в царских тюрьмах, отдавали жизнь, здоровье... Пусть мы придерживались разных политических взглядов... Но социализм это свято... За это жизнь отдавали... И потом вы позволяете выпады, достойные монархистов, черносотенцев... Я помню,—сказала она уже тише, поскольку за столом притихли, и, не встречая сопротивления, старуха начала успокаиваться, утрачивая злобу, с которой начала,—помню, девочкой еще была, только пришла в движение, собрались мы на подпольной сходке, вот так же, в квартире, и первое мое поручение было — помощь одиноким узникам... Нам зачитали список тех, кто находится в заключении, но не имеет родных, и прикрепили к каждому такому человеку юношу или девушку, поручив вступить с узником в переписку... Помню как

сейчас,— обернулась она почему-то ко мне и глядя уже совсем по-доброму,— прикрепили меня к молодому пареньку... Степан Циба... Господи, чего только не было после того, а фамилию запомнила... Украинский малограмотный парень... Потемкинец... Сидел он в Шлиссельбургской крепости... Я с ним переписывалась... По праздникам посылочки ему посылала, иногда денег рублей пять... Но продолжалось это недолго, года полтора... Потом одно из моих писем вернулось с пометкой «За смертью адресата». Он от туберкулеза умер...

Пока старуха говорила, за столом воцарилась некая, как мне показалось, неловкость, не то чтобы перековка и пересмотр позиций, а просто некоторое уважение к чужой искренности, которое иногда овладевает, хоть и ненадолго, даже самым бесшабашным обществом... Однако старуха тут же разрушила созданную ей атмосферу уважения к чистым порывам, не удержавшись на воспоминаниях и делах действительно святых, а начав опять проповедовать и стыдить, приняв временную тишину за полную сдачу компании и готовность, опустив глаза, слушать старческие внушения.

— И вам не стыдно,— говорила она,— старшее поколение страдало и боролось, чтоб дать вам, детям рабочих и крестьян, все то, чего вы ранее были лишены... И как бы там ни было, какие бы трагические ошибки ни случались, мы верили... И, несмотря ни на какие преступления сталинских палачей, общество наше в основе своей всегда было и осталось ныне человеческим, и последние события, двадцатый съезд нашей партии... доказал силу идей...

— Да что вы такое говорите, ей-богу? — раздраженно сказал молодой человек, уже вступавший со стариками в спор.— Насчет стихов я согласен... Пример ваш о помощи одиноким узникам царских тюрем также весьма хорош... Однако ваш чрезмерный оптимизм не имеет под собой почвы... Вы чрезвычайно мало знаете подлинную историю страны последних нескольких десятков лет... Я не хочу все обливать грязью, причем задним числом... Но подлинную жизнь последних тридцати лет и трагичность ее вы не знаете...

— Мы трагичность не знаем? — взвился старичок.— У вас еще, извините, мокрые губки были... Да... Мы через такое прошли, чего вам и не желаю...

— А я по-прежнему утверждаю,— сказал молодой человек,— что ваши взгляды и ваши заявления объясняются тем, что самое трудное время вы пересидели в концлагерях...

Не только старики, но и некоторые другие из компании после этих слов язвительно засмеялись.

— Ох уж мне эти парадоксы,— заметил кто-то.

— Нет, это не парадокс,— обернулся к говорившему молодой человек,— особенно это относится к тем, кто попал в заключение с твердыми, сложившимися взглядами и отсутствовал в обществе пятнадцать — двадцать лет.

— Да то, что мы за двадцать лет видели...— снова взвился старичок,— сколько голов полетело...

— Я не говорю о лагерных трагедиях,— сказал молодой человек,— в конце концов они были одноплановы и понятны, между тем как в обществе происходили события весьма разноплановые, о которых, извините, вы теперь судите по книжкам... И о войне, и о послевоенном космополитизме... Вы, извините меня, судите, как иностранцы, вернувшиеся с Колымы... И поэтому я утверждаю, что от трудных времен вы ключей проволокой концлагерей были ограждены...

— Глупо и пошло,— крикнула старуха.

Она встала и начала собираться, старичок тоже.

— Я не желаю здесь более оставаться,— крикнул старичок.

Это также был стандарт. Примерно подобным восклицанием, насколько я помню, закончил свое пребывание у Бительмахера Щусев, хоть спор велся в иной плоскости. Кстати, если говорить о разнообразии не только приемов, положений, но даже человеческих типов, то и тут они особой пестротой не отличались и правила узкого пяточка действовали вполне. Например, старик и старуха у Щусева чем-то напоминали Бительмахера с Ольгой Николаевной, причем, приглядевшись, я обнаружил и внешнее сходство. Если же люди из компаний не были похожи друг на друга в целом, то отдельные, весьма существенные черты одного легко было отыскать в другом, и совершенно свежие, неповторимые личности здесь встречались весьма редко. Даже молодой человек, мне понравившийся, имел нечто общее с Щусевым, не по суждениям, конечно, а по пластике и душевным движениям. Но частично он походил и на Фильмуса. Поэтому я весьма сожалею, что в тот вечер видел его единственный раз и он исчез из моего поля зрения навсегда.

Когда старики, обиженные и раздраженные, начали собираться, молодой человек встал, сказал как-то поспешно:

— Ну зачем же?.. Я здесь человек случайный... Скорей мне, а не вам надо удалиться.

И раскланявшись, он вышел. Однако и вся компания поднялась. Появилась Варя, неслышно ступая, начала убирать грязную посуду...

Я понял, что допустил какой-то просчет, никак себя не за-

рекомендовал, вел себя то излишне тихо, то излишне громко, и теперь терялся в догадках, не зная, какое произвел впечатление на Щусева. А если учесть эпизод с портретом Успенского, то можно было считать, что и вовсе провалился. Но у меня был козырь, именно рассказ Орлова, который попал сюда под псевдонимом Иван Хлеб и, кажется, заинтересовал Щусева. Улучив момент, я шагнул к Щусеву и шепнул ему:

— Я знаю подлинную фамилию Ивана Хлеба...

Щусев глянул на меня с серьезной задумчивостью (лишь позднее, узнав Щусева, я понял, что под задумчивостью была насмешка, но какая-то одобрительная, как стервятник смотрит на жертву).

— Сейчас уходите,— шепнул Щусев,— через полчаса возвращайтесь...

Козырь сработал. Я был счастлив.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Не знаю, что послужило причиной приглашения вернуться через полчаса, фактически являющегося, как выяснилось, приглашением вступить в организацию... Было ли тут главным получить от меня сведения, в которых Щусев нуждался, или его привлек мой поступок, этот шепот и юношеская непорочность, которая, несмотря ни на что, еще не исчезла с моего лица окончательно и которую мой поступок, мой шепот лишь подчеркивали. Должен сказать, что помимо трех подлинных юношей (я был юношей по ущемленности, но не по летам) Щусев скоро привлек еще нескольких, несмотря на возражения некоторых членов организации... Вообще он любил привлекать к организации юношей, и про него даже пущены были довольно нечистые слухи, причем, кажется, все теми же врагами из реабилитированных, которых он ненавидел и которые ненавидели его... Кажется, к этим слухам приложила руку и Ольга Николаевна.

В тот вечер, с которого началось мое пребывание в организации, я вышел на ночную улицу, прошел быстрым шагом несколько кварталов и вернулся, погуляв несколько более получаса для запаса, чтоб не вернуться первым. И действительно, когда я вошел, условно позвонив (три коротких и через промежуток два коротких, как велел Щусев), за столом уже сидели все члены организации. Варя, открывшая мне дверь, тут же исчезла. Атмосфера в комнате была теперь в корне иная, деловая и какая-то по-военному четкая. Переговаривались негромко, вполголоса. Стол был пуст и насухо вытерт,

конечно, Варей. На нем теперь лежали какие-то бумаги. За столом сидели семь человек — трое юношей и четверо мужчин. Все они, кроме одного, полысевшего блондина, присутствовали и ранее в шумной компании, но молчали и держались в тени. Лишь один из юношей, именно Сережа Чаколинский, тогда высказался, не выдержав атмосферы общей крамолы, высказался о Сталине, который, мол, мешал победе советских солдат. Как потом выяснилось, ему сделали за это внушение. Член организации должен в компании быть тих и незаметен. Вообще, приглядевшись, с течением времени я убедился, что в организации чрезвычайно развит элемент договоренности, условности, как бы некой коллективной игры, которую ведут все с интересом и всерьез, даже и не юноши, а люди пожилые и солидные. Правда, элемент игры, условности и неправды в смысле выдумки вообще сопутствует человеческому обществу — и в личном быту, и в делах общественно-государственных, и на войне, но лишь при обстоятельствах подлинных, ясных он становится заметен, а значит, смешон. Особенно это наглядно видно на поведении сумасшедших, то есть людей, из общества устранившихся, на которых можно смотреть со стороны и поведение которых поэтому кажется смешным... Действия сумасшедших кажутся смешными и ненормальными еще и потому, что их игра и неправда менее корыстны. В политическом подпольном заговоре всегда наличествует элемент не только корыстной игры нормальных людей, но и бескорыстной — сумасшедших, ибо двойная жизнь невольно такому смешению противоположных качеств способствует. Правда, в зависимости от мощности социальных сил, на которые подполье ориентируется, оно может менять соотношение нормального и ненормального в себе, и в исторически точно выбранные периоды своей жизни может вовсе переходить на игру корыстную, деловую и общественно-государственную. И наоборот, если исторический момент не угадан, подполье ведет бескорыстную игру сумасшедших. Это, конечно, не значит, что оно не способно к действию, и в ряде случаев к действию достаточно опасно. Но на весьма узком пяточке, на весьма ограниченных подмостках, где может в лучшем случае искренними жертвами собрать толпу, часть которой, опять же в лучшем случае, будет возбужденно нейтральна, как на чужом пожаре. Сумасшествие Дон Кихота, сделавшее его смешным, сделало его же и сильным, как делает одержимого человека сильным слепота. Речь идет именно об одержимом человеке, для которого слепота превращает на определенный исторический период — в десять минут или в двести лет — узкую короткую тропку,

ведущую в пропасть, в широкую дорогу, не имеющую конца. Трагическое прозрение наступает, как правило, в последний момент и иногда даже несколько позднее, в воздухе, во время свободного полета в пропасть.

В организации Щусева, конечно же, был силен элемент бескорыстной детской игры. Чрезвычайно развит был ритуал и некие даже обряды. Мне предложили сесть на стул несколько поодаль от стола, так что лицо мое оказалось освещено боковым светом, и начали задавать вопросы. Вопросы были самые обыкновенные, касались моей биографии в прошлом, моей нынешней жизни и причин, по которым я решил вступить в организацию. Я ни разу впрямую не говорил, что хочу вступить в организацию, и то, что они без слов поняли мое желание, как-то совершенно раскрепостило меня и в то же время внушило некоторый страх, какой бывает, очевидно, на религиозной исповеди у людей молодых и свежих. По-моему, отвечая на вопросы, я впервые в жизни произнес несколько десятков слов, ни в одном не соврав и чувствуя себя при этом совершенно легко, чувствуя уважение к подлинным фактам моей жизни, которые в данной ситуации и при данном выборе пути впервые звучали для меня и для этих людей убедительно и к себе располагали. То, что я не имел места, голодал, был унижаем покровителями и врагами, не говоря уже о политических драках и попытках физической расправы над обидчиками, все шло мне на пользу. Правда, позднее, анализируя, я убедился, что кое в чем все-таки приврал, но приврал я в тех фактах, которые были выдуманы настолько давно и так прочно вошли в мое сознание, что уже перестали быть ложью, и опустить их я мог как раз не в период душевной откровенности, которую испытал, отвечая на вопросы товарищей по организации, а, наоборот, в период трезвого расчета, скепсиса и анализа, когда мог бы с насмешкой осознать, что, например, подвиги отца на фронтах войны мной, собственно, выдуманы, как и его близость к ряду выдающихся деятелей того времени. Должен попутно заметить: именно эти выдуманные факты в данной ситуации не работали в мою пользу, а упоминание одного из известных военных деятелей, с которым отец якобы был знаком, вызвало даже некую гримасу на лице лысеющего блондина. Тем не менее в общем все окончилось благополучно. Покраснел я лишь раз, когда Щусев спросил меня, действительно ли я встретил его тогда на улице случайно и подошел сразу, как говорил. Я ответил, что действительно встретил случайно, но долго не решался подойти и шел следом. Щусев улыбнулся. Хоть вопросы задавали все, решение о принятии моем внес сам Щусев, единолично.

— Прохор,— сказал он Сереже Чаколинскому (у членов организации были клички. У меня была позднее кличка «Турок» из-за темной, несколько восточной внешности),— Прохор, дай ему, пусть прочтет.

Мне дали напечатанный на папиросной бумаге текст, нечто вроде вступительной клятвы, где сказано было, что я клянусь бороться против сталинских приспешников, помнить святые жертвы, понесенные русским народом от кровавых рук сталинских палачей, жить и действовать от имени этих жертв, большинство которых закопано в вечной мерзлоте. В конце стоял лозунг — «Смерть палачам!», а также обычное во всякой клятве — «Если я нарушу... то пусть меня постигнет...» и т. д. Правда, тут кроме презрения товарищей стояла еще и «собачья смерть». Я был готов к самому крайнему обороту, но все это несколько меня пугало. Не только потому, что в клятве было много крепких слов и в середине текста чуть ли не ругательства пополам с угрозами типа: «Клянусь не знать пощады и не позволять свиньям, разжиревшим на святой невинной крови, подыхать в собственных кроватях».

Меня несколько напугало и то, что все это носило характер некоего броска без оглядки, к которому я все-таки не был в полной мере готов. Позднее я понял, что в этом был замысел ошеломить новичка преувеличением. И одновременно преувеличением подогреть себя. Здесь имело место та самая коллективная игра, и фактически, вступая в организацию, я обязался принять правила игры и условность воспринимать всерьез. Так, во время заседания трибунала организации (таковой имелся) в подавляющем большинстве случаев выносился смертный приговор, но чаще он попросту попадал в архив организации, если же и приводился в исполнение, то, конечно же, не в виде смертной казни, а в форме элементарного избияния, к которому и я, правда в одиночку и без подготовки и потому менее эффективно, пробовал прибегать. Причем смертный приговор выносился в одинаковой степени и бывшему работнику карательных органов, и людям, о которых были собраны сведения, что они писали доносы либо выступали на собраниях против того или иного человека, подвергшегося потом репрессиям, особенно если этот человек ныне погиб, и тем, кто сейчас был замечен в активной приверженности к сталинизму. В основном люди, которым выносились смертные приговоры, были пожилые, во-первых, потому, что события, в которых они участвовали, осуждения, расправы, доносы и прочее, случились давно, а во-вторых, если касаться современных сталинистов, то и среди них большинство было

уже немолодо. Молодежь, со свойственной ей энергией и привязанностью к новому, запретному, в большинстве выступила на первых порах против сталинизма. Процесс же отлива части молодежи на старые, вернее, на еще более новые позиции, некоего неосталинизма, опять же в знак протеста против официальной антисталинской линии Хрущева, только начался и еще формировался на национально-русофильской, как стало ясно позднее, на национальной основе, противостоящей западникам-антисталинистам (конечно, огрубляя и говоря приблизительно про такое распределение сил). Так что большинство противников организации Щусева были люди пожилые. Впрочем, бывали и исключения, которых, собственно, сейчас и коснусь.

Дело Орлова потому так заинтересовало, что оно было исключением, однако свидетельствующим о пробуждении новой тенденции. Так что смертный приговор Орлову был безусловно обеспечен. (Впоследствии Орлов чрезвычайно гордился этим вынесенным ему приговором, не зная, что к тому же Щусев приговорил и уборщицу одного из учреждений, в пьяном виде выкрикивающую среди бела дня славу Сталину.) Повторяю, конечно же все эти приговоры были игрой. Правда, забегаю вперед, скажу, что в конце концов Щусев все-таки сыграл всерьез, но таковы уже правила. Всякая игра, которая ведется систематически и увлеченно, рано или поздно теряет условность и приобретает самые реальные бытовые формы. Если уж коснуться формы, то следует упомянуть и формулировку смертного приговора. В приговоре значилось: «Достоин смерти», а не обычное: «Приговаривается к смертной казни». Я на это обратил внимание, но посчитал попросту желанием соригинальничать, меж тем как в такой формулировке был опеределенный тонкий расчет, который стал мне понятен в конце. Расчет имелся даже и помимо растяжимости формулировки, позволяющей внутренне оправдать подмену смертной казни обычным избанием, что более соответствовало возможностям организации.

После того, как чтение клятвы, напечатанной на папиросной бумаге, было окончено, произошла весьма неловкая заминка с моей стороны в смысле выполнения завершающей стадии ритуала. Щусев подал мне на блюде стакан чистой воды и маленький, остро отточенный ножик. Этим ножиком надо было разрезать палец, выдавить несколько капель крови в стакан воды и, отпив глоток этой смеси воды и своей крови, передать стакан по кругу так, чтоб каждому члену организации досталось по глотку. Не знаю, выдуманно ли это было самостоятельно или заимствовано из ритуала средневековья,

но на примере того, с какой серьезностью и верой каждый из членов организации выполнил этот ритуал, можно заключить, как легко и с каким самозабвением современный человек, попавший в условия чрезвычайные и ища выхода, жертвует разумом и возвращается к святому бездумью. В такие чрезвычайные темные периоды только скепсис, нелюбимое побочное дитя разума, способен по-настоящему противостоять мракобесию и фанатизму. В такие темные периоды скептик, эстет или сатирик более преуспевает в борьбе с фанатизмом и мракобесием, чем лирик или мыслитель. Но скепсис, как правило, свойствен людям, не испытавшим глубоких личных страданий либо умеющим быть не предельно чувствительными к этим страданиям и потому получившим возможность быть беспристрастными и подняться над светом и тьмой. Таких в организации не было, и о том уж позаботился Щусев. Правда, в организации было несколько юношей. Однако юношам тех лет еще не был свойствен тот короткоштаный романтический скепсис, который появился некоторое время спустя в юношеской среде и, главным образом, под влиянием юношеской «невсамделишной» литературы, напоминающей игру под взрослых, в «мамы — папы». А подлинный скепсис, являющийся защитной реакцией постаревшего организма на недоступные ему ныне молодые, незрелые порывы, как известно, вообще физиологически чужд юношеству. (Страдание сохраняет молодость чувств, и поэтому человеку пожилому, но страдавшему, не надобен скепсис в качестве оправдания душевной лени.) Таким образом, организация Щусева была удачным соединением людей пожилых, но много пострадавших и потому пристрастных, с юношеской незрелостью, которая уж по одному своему возрасту не может не быть пристрастна. Именно это пристрастие, направленное не столько к одному и тому же, сколько против одного и того же, сплачивало воедино людей весьма разноликих. И это было наглядно, когда с одинаковой серьезностью к происходящему они пригубили стакан розоватой жидкости, получившейся от смешения с водой каплей моей крови. Должен признаться, я испытал при этом состояние неприятное. Не боясь смелости сравнения, скажу, что испытал нечто подобное тому, что ощущал во время моей первой интимной связи с уборщицей Надей. Это подтверждается и тем, что в дальнейшем мое неприятное чувство исчезло, как и в интимных отношениях, и, принимая нового члена организации спустя всего полмесяца, я глотнул с водой его крови достаточно серьезно, веря в необходимость и святость ритуала.

Была еще одна личная причина, заставившая меня весьма

неприятно воспринять ритуал и, как я уже говорил, вызвавшая даже заминку. Причина эта элементарна и проста: я боюсь боли, вернее, особенно я боюсь ее предощущения. Порезавшись случайно, я, может, ну чуть скривился бы, тем более глубокого надреза от меня не требовалось, но резать палец самостоятельно и умышленно было настолько ужасно, что, едва приложив узкое, отточенное лезвие к коже, я испытал дрожь и тошноту (тошнота эта еще более усилилась, когда члены организации серьезно пили розоватую от моей крови водичку). Так и не сумев провести лезвием по коже, я закрыл глаза, совершенно от дрожи забывшись, не стесняясь, и, повернув нож, попытался им не разрезать, а проколоть палец. Однако, то ли от дрожи, то ли от страха, нож повернулся весьма неловко и совершенно помимо моей воли вонзился достаточно глубоко, причем не в палец, а в мякоть ладони. В первое мгновение вскрикнув от острой боли, я тут же обрадовался, что решился и все позади, торопливо выдавил кровь из ранки в стакан и лишь после того почувствовал жуткий приступ новой боли, так что даже совершил еще одну неловкость, уронив окровавленный ножик на пол.

— Зачем же так? — торопливо подошел ко мне Щусев. — Надо было чуть палец надрезать.

Я нашел в себе силы криво улыбнуться в ответ и сказать небрежно, этак пошутив:

— Для большей убедительности.

Щусев тут же собственноручно и умело обработал мне рану йодом и умело, по-медицински, используя вату и бинт, перевязал.

Я описываю столь подробно на первый взгляд мелкие и смешные мои мучения (мелкие и смешные впоследствии, когда все свершилось, тогда же для меня достаточно неприятные и серьезные), описываю, чтоб указать на присущее мне свойство — отсутствие мужества в физическом страдании, даже и незначительном. Неумение выдерживать физические страдания, если они не стихийны, а логичны (этот момент очень важен, поскольку пытки именно таковыми и являются), неумение выдерживать пытки присуще большинству людей, обладающих богатым чувственным воображением. Поэтому я отношусь с особым уважением, вернее, с почтительным ужасом к людям, пытки испытывшим, а таковыми были и Щусев, у которого вместо ногтей на левой руке росло какое-то бугристое розовое мясо, и Христофор Висовин, у которого был поврежден сустав на ноге, так что он слегка прихрамывал, и лысеющий блондин (Олесь Горюн), который на левой руке мог выпрямлять либо сгибать пальцы лишь правой ру-

кой, причем выпрямлялись они со странным, мертвым стуком. (Опять пальцы. Верхние конечности вообще чаще всего служили предметом пыток, поскольку были более открыты без дополнительных процедур раздеваний и поскольку, доставляя сильную боль допрашиваемому, они в то же время не грозили ему смертью на допросе в кабинете следователя. Кроме того, не случайно, что левая рука чаще подвергалась воздействию, чем правая, поскольку правая нужна была для подписи под протоколом, так как формально-бюрократическая процедура все-таки соблюдалась даже и при нарушении законности, и был случай, когда прокурор вернул на доследование дело, подпись подследственного под которым была явно неразборчива. Также, если подследственного приговаривали не к расстрелу, правая рука нужна была в более здоровом виде для использования заключенного на каторжных работах.)

Наконец процедура была окончена, стакан с ритуальной розовой жидкостью выпит до дна всеми членами организации, и мне предложили подсесть к столу.

— Христофор,— сказал Щусев (клички употреблялись только при посторонних, а я был теперь спаян со всеми клятвой и глотками воды с моей кровью, так что не являлся более посторонним).— Христофор, Цвибышев знает человека, написавшего о том подлеце, застрелившемся под памятником Сталину.

— Я ж тебе говорил, что круг замыкается,— ответил Христофор. (Что он имел в виду, не знаю.)

Я сказал, что подлинная фамилия автора, подписавшегося Иван Хлеб,— Орлов. Он студент факультета журналистики университета. Столкнуться мне с ним пришлось всего раз в весьма неприятной компании. Больше я о нем ничего не знаю. То, что рассказ мной был подобран в месте безнравственном, я утаил.

— Этого более чем достаточно,— сказал Олесь Горюн,— я предлагаю написать, но без подписи... Поручите мне...

— Нет, не то,— морща лоб, сказал Христофор.— Анонимка, донос — не то...

— Не то, не то,— раздраженно сказал Олесь,— они бьют нас, чем могут... Конечно, вы люди высшей нравственности, а для меня все средства хороши... Так, что ли? Тогда и моя покойная сестра... Разве она не подвергалась нападкам со стороны некоторых чистоплюев, которые против убийц хотели бороться слюнявыми декларациями... Причем нападкам даже после своего мученического венца... (Сестра, видимо, была его коньком и больным местом, о чем он говорил часто

и по любому поводу, как человек, нацеленный главным образом в одну точку. Двоюродная сестра его была та самая женщина, которую схватили на набережной Севастополя со склянкой соляной кислоты, как раз во время пребывания Сталина на крейсере «Червона Украина». Действительно ли была она близка к осуществлению своего террористически-женского замысла «ослепить тирана», как о том говорил Горюн, неизвестно. Но то, что сестра его была расстреляна в начале тридцатых годов, и то, что примерно тогда же действительно имелось сообщение о попытке врагов во время пребывания товарища Сталина на борту крейсера «Червона Украина» организовать покушение, это факт.)

— С этим Орловым все достаточно серьезно,— сказал Щусев,— дело в том, что цветы у памятника Сталину опять начали появляться... А в рассказе есть фраза о цветах.

— Круг замкнулся,— снова повторил Висовин.

— Вы узнаете Орлова?— спросил меня Горюн.

— Узнаю,— ответил я. Я хотел добавить, что эта рожа врезалась мне в память чересчур даже глубоко, так что несколько раз снилась, после чего я утром отплеывался. Но не сказал все это, а сдержался и ограничился лишь лаконичным деловым ответом. Я заметил, что, несмотря на то что в организации было много злобы и в высказываниях и даже в пластике ее членов, Щусев больше любил, когда человек умеет спрятать свои чувства, хоть ему самому это не всегда удавалось.

Мне было предложено явиться в половине шестого утра в такое-то место (неподалеку, кстати, от фуникулера, где я в прошлом любил рассматривать девушек). Оставалось не более четырех часов, и для сна времени уже почти не было. Я сказал, что общежитие мое находится далеко и к половине шестого мне трудно будет успеть туда и обратно. Говоря это, я рассчитывал прикорнуть здесь же, на диване у Щусева, когда все разойдутся, но у себя Щусев меня не оставил, а сказал:

— Пойдешь с Висовиным. Он рядом живет.

Вообще Щусев (я в том убедился позднее) никого никогда к себе не приглашал просто так, в гости. Собирались у него исключительно по делам организации и сразу же после конца заседания расходились.

Висовин жил один в крошечной комнатухе под лестницей, в которой ранее жил дворник, получивший, как сказал Висовин, по семейным обстоятельствам новую квартиру. Вообще тогда, первоначально, многих, даже большинство реабилитированных одиночек, не имевших на свободе семьи, вселили в подобные дворничьи комнатухи. В такой же при-

мерно комнатухе жил и Фильмус, и, учитывая жилищный кризис, это было не так уж плохо.

В ту ночь мы с Висовиным почти не разговаривали, и это меня обрадовало, поскольку чувствовал я себя крайне усталым и в то же время помнил чуть ли не заповедь тех разгоряченных лет — в период первого знакомства людей, причастных к политической стихии, говорить до утра, особенно при общей ночевке...

Постель у Висовина была вся какая-то походная: кожаная подушечка, плед, довольно свалывшийся, вместо одеяла и серое тонкое одеяло вместо простыни. Мы улеглись на полу (кровати не было).

— Вы хорошо спите? — спросил меня Висовин.

— Не очень, — ответил я, — но сейчас надеюсь уснуть, поскольку слишком устал.

— Жаль, таблетками снотворными нельзя воспользоваться, — сказал Висовин, — проспим...

Он в темноте нащупал будильник и завел его.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

История Висовина была бы обычной (в определенные периоды человеческие трагедии бывают весьма обычными и до скуки похожи одна на другую), итак, история Висовина была бы обычной, если б в ней не был замешан и повинен один довольно известный фронтовой журналист, ныне даже числящийся писателем, причем прогрессивного, антисталинского направления, и вообще человек лично добрый и действительно не плохой. Висовин был потомственный питерец, ленинградец из рабочей семьи того самого толка, который всегда служил опорой советской власти. Когда началась война с гитлеровской Германией, Висовину было семнадцать лет, но несмотря на это, не только отец — ветеран революции и гражданской войны, но даже мать, сестра и невеста (при революционных традициях в таких семьях одновременно сохранен бывает патриархальный уклад. О том свидетельствует в некоторой степени церковное имя Христофор, данное по деду, а также ранний выбор невесты, чуть ли не сизмальства, причем по договору и желательно из такой же породистой рабочей семьи; впрочем, хоть и по договору, но Висовину невеста нравилась, и он ее любил), итак, не только отец, но и мать, и сестра, и невеста, все, кстати, работавшие на одном заводе, одобрили желание Висовина пойти на фронт добровольцем. Сразу в действующую армию его не взяли, однако направили в диверсионную школу и после обучения — в дивер-

сионно-десантный отряд, действовавший на Крайнем Севере. Это был один из тех немногих тогда отрядов, которые в трудное время отступления действовали не в глубине собственной советской территории, а на чужой земле, пересекая границу еще в сорок первом году и проводя операции на севере Финляндии и Норвегии. Так Висовин воевал год. Был ранен, причем ранен романтично, на уровне восемнадцатого века, не осколком или пулей, а холодным оружием, ударом финского ножа (шрам на лице, кстати, едва не лишивший Висовина глаза). После ранения Висовин был представлен к награде. Повидался с отцом и невестой (мать умерла в первую же блокадную зиму, а сестра, окончив курс телефонисток, служила в армии). Это была его последняя встреча с родными, хоть, забегая вперед, следует сказать, что войну они пережили, да и ныне проживали в своем родном городе Ленинграде. Это была последняя встреча любящего отца с любимым сыном. Первая же операция, в которой Висовин участвовал после ранения, сложилась для диверсионного отряда неудачно. (Это было уже несколько южнее, в волховских лесах и в составе другого отряда, где Висовина не знали, что также послужило причиной происшедших с ним неприятностей.) Дело было зимой и хоть южнее, но и здесь морозы тогда стояли сорокаградусные... Измученные, промерзшие и голодные, в мрачном состоянии духа из-за невыполненного задания, диверсанты набрали на какой-то крестьянский дом, стоявший от села на отшибе, и решили в нем переночевать. Хозяин впустил и даже оказался сочувствующим, но неудачи, видно, неотступно следовали в тот раз за отрядом. Едва расположились ужинать, как показались немцы. Хозяин испугался, и было от чего, так как ему и семье его грозила немедленная смерть. Тем не менее он успел сориентироваться, выпустил партизандиверсантов задами и спрятал в пустом сарае, рассчитывая, что немцы заглянут мимоходом. Однако те расположились на ночлег и выставили часовых. Хоть о наличии партизан они и не подозревали, хозяин успел все привести в порядок, и это стало вскоре ясно по спокойному поведению немецких солдат, но положение группы становилось с каждым часом все более критическим, даже и в том случае, если бы немцы вовсе не ткнулись бы в сарай. (А это было весьма возможно, ибо они также были голодны и продрогли. К тому же если бы у них возникло подозрение, они, пожалуй, ткнулись бы сразу.) Тем не менее, как сказано, положение с каждым часом становилось все более критическим. Сарай продувался насквозь и совершенно почти не защищал не только от мороза, но даже и от ветра. Между тем мороз с ветром еще более усилились,

а не то чтоб выйти, но даже и пошевелиться было опасно, поскольку часовые находились буквально рядом. Так что членам группы грозило попросту и глупо замерзнуть. Вот тогда-то между Висовиным и командиром группы возник спор. Командир группы был также молодой парнишка, может, года на три старше Висовина. Был он сильно подавлен неудачей (группе не удалось подорвать важный мост, в силу ряда причин почти что по вине самого командира), и таким образом, по мнению Висовина, командир чуть ли не умышленно искал смерти. Вот это была действительно ошибка Висовина, которую он совершил сгоряча и которую не мог простить себе даже и сейчас, анализируя. То есть ошибка состояла в том, что он свое предположение высказал вслух. (Разумеется, шепотом из-за близости часовых, однако оттого оно прозвучало еще резче.)

— Если ты обвиняешь себя в срыве операции, то застрелись сам, разумеется, после того, как мы отсюда выберемся, чтоб не привлечь внимания,— сказал Висовин,— но не имеешь права жертвовать остальными и тем более семьей хозяина, впустившего нас.

Тут на Висовина обрушились все члены группы и поддержали предложение командира атаковать и дорого продать свою жизнь, а не глупо замерзнуть. Страдания от мороза действительно достигли крайности, и чувствовалось: еще некоторое промедление — и они не смогут двигаться... Несмотря на то что члены группы начали осыпать Висовина оскорблениями, почти уже не соблюдая конспирации и рискуя выдать себя, Висовин пытался их уговорить повременить, потерпеть и не спешить умереть, поскольку глупая смерть от пули несколько не лучше глупой смерти от мороза. Его не послушали, вскопили с криком «Ура!», но тут же, конечно, были все убиты первыми же очередями, успев, правда, бросить несколько гранат окоченевшими руками. Висовин остался в сарае, и, по счастью, второпях немцы его не заметили, а может, и не предполагали, что кто-либо из партизан не будет участвовать в атаке. Они торопливо расстреляли хозяина с семьей, и настолько торопились, что не стали по обыкновению поджигать дом, а двинулись к центру села, подальше от окраины. Висовин пролежал еще не помнит сколько, несколько раз теряя сознание (часовых все-таки немцы оставили, выйти из сарая нельзя было). Очнулся он от сильной стрельбы. В село вошел крупный партизанский отряд. Тогда он выполз из сарая, и тут-то его обнаружили лежащим среди трупов. Сначала думали, что он ранен, но когда убедились, что он просто окоченел, растерли спиртом и начали выяснять, каким это образом, когда все погибли, он даже не ранен. Висовин находился в полубредо-

вом состоянии, отвечал невпопад. (Ему ампутировали впоследствии пальцы на правой ноге, я это заметил, когда он раздевался. Интересно, что эта же нога была перебита у него на допросе уже в сорок восьмом, и именно отсутствие пальцев и привлекло следователя: «Я тебе из твоей культяпки обрубков сделаю...») Тем не менее ходил Висовин, лишь слегка прихрамывая, принаоровился.) Тогда же, в сорок втором, его полубредовое состояние как будто поняли и не очень бы придирались, если б один из тяжело раненных партизан не оклеветал Висовина перед смертью... Это был не командир группы, с которым Висовин сцепился, командир был убит наповал, а другой человек. Неизвестно, что произошло с этим человеком перед смертью, душа умирающего вообще непознаваема для живых. Есть люди, которые умирают спокойно и с любовью к живым, есть же такие, которые живых ненавидят. Тут даже, может, больше зависит от обстоятельств, чем от конкретного характера. Злой человек может иногда умереть добрым, а добрый — злым... Кроме того, умирающий был в средних годах, а в этих годах, как известно, особенно тяжело умирать, значительно тяжелее, чем в старости и в молодости, ибо человек успел уже понять вкус жизни, но не успел насладиться... Возможно также, этот человек понял в душе правоту Висовина не только сейчас, когда для человека этого было все уже потеряно, но и во время спора, однако тогда он поддержал остальных — на порыве и из чувства товарищества, ныне же об этом жалел, как жалеют о безвозвратном, испытывая некоторое чувство ревности к благоразумному счастливцу и ревнуя его к жизни. Очевидно, в этом и была конечная отгадка состояния умирающего, сложившаяся из многих ясных и неясных мотивов. Он ревновал Висовина, единственного выжившего из их группы человека, причем выжившего не случайно, а благодаря своему понятию и рассудку, ревновал к жизни и вел себя именно как ревнивец, искренне, безумно принимая воображаемое за правду.

Когда умирающего на носилках поднесли к Висовину, полужившему на лавке в избе, измученному, но живому и, видно было, даже не подвергавшемуся ныне опасности умереть, а наоборот, от спирта, которым его растерли и дали выпить, порозовевшему, умирающий долго молчал, может, раздумывая, что глупо упустил шанс так же сидеть на лавке порозовевшим (возможно, умирающий вообще был человек благоразумный и один раз в жизни всего сглупил, но этого одного раза было достаточно, чтоб сгубить свою жизнь, и это особенно было горько). Речь шла не о трусости. И убитый командир, и умирающий, и Висовин воевали уже более года,

подвергая свою жизнь опасности и не думая о том постоянно, как не думали о том тысячи и сотни тысяч солдат... Вернее, может, и думали, но, живя на порыве, повинаясь общему долгу, коллективный инстинкт которого подчас сильнее даже личного инстинкта самосохранения, испытывая сильное чувство ненависти, они не то что забывали о смерти, а как бы привыкали к ней, как привыкает к своей неизбежной смерти человек вообще. Тут была лишь та разница, что обычно человек привыкает к своей неизбежной, но находящейся где-то в отдалении, где-то в старости смерти, а воюющий привыкает к близкой смерти... Однако когда близкую смерть эту можно было избежать (на войне это явление не частое и потому особенно ощутимое), когда были явные шансы ее избежать и приходит эта смерть по собственной глупости, когда горечь смерти освобождена от высоких оправданий, тогда страх перед неизбежно надвигающейся смертью становится главным в человеке, остается наедине с ним, приобретает черты некой злобной капризности и мучительной безысходной ревности, притом умирающий ревнует оставшихся в живых к жизни. Но одновременно, как во всякой ревности, наряду с безумием присутствует еще хитрость и расчет. Умирающий знал, что из всех оставшихся в живых именно Висовин, человек, своим благоразумием перехитривший умирающего, тем не менее зависит от него, слабого теперь и исчезающего навек. И именно потому, что умирающий знал мотивы, владевшие действиями Висовина: благоразумие, а не трусость, именно поэтому, благодаря хитрости и расчету, пробужденному ревностью, он решил обвинить Висовина в трусости и даже пойти далее.

— Трус! — крикнул он в лицо Висовину, собрав все силы и приподнявшись на локте. — Подлец!.. Товарищи, он уговаривал нас сдать... — Тут кровь хлынула у умирающего горлом, он свалился навзничь и вскоре умер, успокоившись и перестав терзаться содеянной глупостью, то есть тем, что на порыве выскочил из сарая и с криком «Ура!» подставил лоб под пули...

Висовина арестовали. Но тут ему на пользу пошло слишком уж сильное передергивание умирающего. Да и командир отряда был человек неглупый, и когда первая горечь от понесенных потерь прошла, он вполне здраво рассудил: если Висовин уговаривал товарищей сдать, то почему же он не сдался сам, а пролежал в сарае до прихода отряда, едва не замерзнув. Командир еще раз, в более спокойной обстановке, допросил Висовина и, кажется, во многом ему поверил и с ним согласился, во всяком случае, в душе. Тем не менее вов-

се освободить от наказания Висовина он не решился. Висовин был отправлен на Большую землю вместе с другими ранеными и больными. Он перенес операцию, после чего был все-таки судим, но не по крайней строгости, что было уже немало, особенно учитывая то крутое время, и направлен в штрафбат, причем даже не на передовую. Штрафбат этот был чем-то вроде штрафной инвалидной команды, занимавшейся самыми грязными и тяжелыми работами в прифронтовой полосе, часто под бомбежками и артобстрелом, так что потери в нем были серьезные и совершенно не «прифронтовые». К штрафникам, хоть и инвалидам, здесь относились в обычном порядке, жалели не очень, и личный состав пополнялся весьма часто. Как бы там ни было, а на судьбу свою Висовину сетовать не приходилось, даже наоборот, он считал, что отделался достаточно легко. Но тут-то и вступил в дело совершенно неожиданный фактор, а именно журналист фронтовой газеты, ныне, как мы уже сообщали, ставший весьма уважаемым писателем. Этот журналист, ныне писатель, и сломал окончательно судьбу Висовина.

Журналист этот был человек лично честный и еще до войны, совсем молодым, тяготел к правдивому изображению жизни со всеми ее недостатками, даже к натурализму, что в те годы всеобщей лакировки было редкостью, отчего журналист этот находился постоянно в состоянии не то чтоб внутренней оппозиции (упаси Бог, особенно по тем временам), но как бы в состоянии некоего внутреннего протеста (и опять же, упаси Бог, не к сути, а главным образом к господствующему стилю), и таковая репутация за ним утвердилась. Поэтому его долго не пускали в тыл к немцам, куда он давно рвался. Однако, с помощью покровителей, людей заслуженных и уважавших талант журналиста (талант действительно имелся), журналисту этому удалось добиться наконец такой командировки.

Еще находясь в холодном самолете, в пути, обстрелянный зенитками, во всей этой необычной, грубой обстановке, не похожей на газетные отчеты, полные фейерверка, зализанных, высокопарно холодных и героически равнодушных слов, журналист думал, что как бы там ни было, опубликуют или не опубликуют, а он изобразит жизнь во всей ее грубой натуралистической сложности, которая не только не умаляет, а увеличивает рядовой повседневный героизм обычных людей, идущих на смерть подчас так же обыденно, как они ранее шли на работу. (Тут, в последних фразах, все ж некоторая нагрузка, в чем журналист убедился впоследствии.) И действительно, прибыв на место, он, к радости своей, заметил, что был совершенно прав и жизнь в партизанских лагерях не походила

на те трескучие отчеты, которые частенько публиковались, а изобиловала множеством как раз того, что он и предполагал заочно. Невольно и постоянно находясь в состоянии своего внутреннего протеста, журналист с особым интересом всматривался именно в те явления, которые в лакировочных отчетах были обойдены, и, например, когда наткнулся на аморальное поведение одного из командиров отряда, то даже ощутил какой-то охотничий азарт... Эпизод этот был весьма любопытен и с оттенком юмора, то есть вполне уже литературно «поджаренный»... Наткнувшись на плачущую девушку-радистку, журналист спросил, в чем дело. Оказалось, она плачет потому, что убили командира.

— Вы любили его? — спросил журналист.

— Какое там любила, — с горечью крикнула девушка, — сейчас другого пришлют, и с другим жить надо будет...

Эпизод был пикантный, однако журналист при всей своей любви к правде был не чужд и трезвости, понимая, что эпизод этот ни под каким углом не может быть использован (даже впоследствии, уже писателем и в самое мягкое время, когда либерализация вслед за карательными органами коснулась и цензуры, этот эпизод у него все-таки вычеркнули из романа, так что знакомые и поклонники могли прочитать его только в рукописи, отличавшейся рядом острых эпизодов от журнального варианта). Подобных эпизодов, резко натуральных, журналист собрал немало и довольно быстро, но во всех них не было ракурса, под которым натуральная правда не вступила бы в противоречие с интересами пропаганды, особенно учитывая трудность момента и необходимость пробуждения в читателе сильных и смелых чувств. (Взгляд этот журналист, разумеется, разделял.)

Вот почему он буквально обеими руками ухватился за эпизод с Висовиным... Трусость — вот тот ракурс, при котором можно натурально изобразить жизнь, проповедуя тем не менее смелые чувства, хотя бы и методом от противного. Надо также добавить, что журналистом в этом эпизоде владел не один лишь расчет (он, собственно, лишь позднее выплыл), а действительно искреннее, личное, потрясшее душу и увиденное собственными глазами... Он впервые участвовал в бою, который разворачивался еще более натурально, чем он, представитель натуральной школы, представлял себе, и причем во всем, что не касалось смерти, — удивительно бытово и одновременно даже чуть-чуть несерьезно, с оттенком игры, и потому, если на мгновение мысленно абстрагироваться, то и смешно, как всегда бывает, когда играют взрослые, перебегая совсем как ребята во дворах во время игры в войну, но без

их задора, а скорее тяжело, неловко, с сопением, с тяжелым дыханием, и все это в представлении журналиста походило на нелепое топорное подражание взрослых вдохновенным детским играм. Выстрелы волновали и пугали его, но именно поэтому он не позволял себе пугаться, а бежал в полный рост, удивляясь в то же время, как часто бежавшие вокруг партизаны падают на снег, ползут и всерьез относятся к стрельбе...

Однако это странное, несерьезно-опьяняющее состояние (перед атакой он, как и другие, выпил стаканчик водки, но вряд ли дело было в этом), итак, это несерьезно-опьяняющее и, если можно так выразиться, романтически-натуральное состояние, когда все натурально происходящее выглядит менее серьезно, чем о том представляют и пишут, однако все это продолжалось до тех пор, пока он не увидел первую смерть... Интересно, что она, как это ни странно звучит, явилась для него будто бы полной неожиданностью, во всяком случае если не для разума, то для душевного впечатления... Разумом он, конечно, понимал, что будет много смертей и даже и его убить могут, и был к этому хоть и встревоженно-напряженно, но готов и с этим смирился. Когда же атака началась, и они тяжело побежали по снегу, и бежали долго, почти без передышки, то необходимость конкретного этого действия, отнимавшего много сил, как-то помешала ему мыслить, а значит, бояться. Когда же он довольно долго пробежал этак, не ложась под тревожными звуками выстрелов, то опасность как-то улетучилась, стала несерьезной, и когда он понял это свое чувство, то понял с радостью, потому что не знал, как поведет себя в первом бою, и боялся проявить трусость... Тогда-то и овладело им то романтически-натуралистическое состояние. (Словосочетание хоть и нелепое, но все же его состоянию соответствующее.) Он получил возможность наблюдать, и тогда он сделал именно то открытие, какое и хотел сделать, летя сюда, в тыл к немцам. Самое натуралистическое и серьезное из всего, что встречается в деятельности человека,— война, а самое серьезное в войне, бой,— гораздо менее серьезно и необычно, чем о том пишут и представляют себе... То есть подробность и правда—основы натурализма—делают менее серьезным, менее необычным, а значит, более по плечу каждому любые земные события и явления, которые романтизм и лакировка ставят на котурны, поднимая над возможностями простого человека, и вселяют фактически, таким образом, в такого человека страх... То есть романтизм, думал он, вредит героизму...

Однако так думал он, пока не увидел первую смерть, причем именно потому, что смерть эта вторглась в выстроив-

шиеся в нем представления, весьма психологически точные и интересно подмеченные, она произвела в его душе полное разрушение и, что нередко бывает, заставила его метнуться резко в иную крайность душевного потрясения и необычности именно благодаря его же коньку, натуралистичности и подробности, которые до этой смерти как раз все делали обычным и несерьезным... И он понял, правда, уже впоследствии, анализируя, что подлинный романтизм выдуман не для воспевания прекрасного, которое как раз особенно прекрасно в натуралистической подробности, романтизм создан для изображения страшного, того, что в жизни единственно серьезно, именно — конца ее, а также всевозможных отвращений этого конца, всевозможных душевных мук, то есть всего, что приходит из смерти в жизнь... Вообще, если вид смерти особенно тяжел и особенно натуралистичен, то вид внезапной, насильственной смерти попросту до ужаса натуралистичен. Даже и убитый наповал некоторое время проявляет признаки жизни, а они-то и страшны, и в них-то и главный ужас. Когда умирает человек, тяжело и долго болевший, то жизненные силы в нем уже на исходе, исчезают они постепенно, так что иногда такая смерть походит на наступающий сон, хоть даже и такая тихая смерть не может избежать натуралистически неприятных деталей... Внезапная же смерть человека, полного жизненных сил, и период, когда эти силы в дикой борьбе покидают тело, несет в себе такое страшное начало, что романтизм в изображении тут так же необходим, как необходимо чувство человечности... В то же время сразу и наповал убивают сравнительно редко. Чаще всего убитый до полной смерти проходит пусть короткий, но страшный отрезок, и если бы существовали дьявол и ад в том элементарном понимании, которое проповедуется в церкви, то этот короткий, в несколько секунд промежуток заменял бы убитому грешнику вечные муки ада... Нерастраченные жизненные силы, лишенные контроля разума, преобразуют обычные человеческие движения в некий дьявольский, потусторонний хаос, и все тело и его внутренние органы, попадая под власть этого хаоса, корежа мышцы, судорожно вздергивая руки и ноги, превращают дорогие черты в дергающуюся чужую маску, вселяют в живого не столько печаль, сколько невольное отвращение... К счастью, насильственная смерть подобного рода редко происходит в кругу близких, поскольку чаще всего случается на войне, среди людей в общем-то чужих. К счастью, ибо родное существо, буквально на глазах твоих в эти короткие мгновения бурной борьбы превращается в существо враждебно-потустороннее и зловещее до тех пор, пока,

затихнув, не приобретет вновь родные, хоть и мертвые черты...

Человек, умиравший так тяжело, заливая снег кровью и мочой, не был вовсе знаком журналисту, он был, очевидно, из соседнего отряда. (В атаке участвовало два отряда, соединившиеся вместе для боя.) Тем не менее смерть эта, особенно страшная своей предельной, стыдной откровенностью, так потрясла журналиста, что мгновенно все его опьяняющие, не-серьезные построения (что служило для него радостным признаком собственного мужества), мгновенно все это рухнуло, его охватила слабость, тошнота и какой-то новый, брезгливый страх перед смертью... Тем не менее он продолжал бежать вперед, но уже как-то механически и, наоборот, боясь отстать от остальной массы... Убитые начали попадаться чаще, не только партизаны, но и немцы, и журналист с брезгливой торопливостью пробегал мимо и тех и других, с брезгливым страхом отводя глаза от еще шевелящихся... Он не чувствовал уже себя свободным, уже не наблюдал, а наоборот, пристав к нескольким партизанам, особенно, как ему показалось, опытным, старался им во всем как бы внутренне, заискивающе подражать и падал в снег так же часто, как и они... Впрочем, психологически шок этот хоть и оставил в его душе глубокий след, может, даже на всю жизнь, но в столь крайнем выражении длился не очень долго... Партизаны, до того лишь молча бежавшие и падавшие (журналист попал в группу, посланную в обход), начали стрелять, звуки этих близких «своих» выстрелов ободрили журналиста. Сам стрелять он не умел, вернее, стрелял плохо и потому стрелять опасался, особенно после того, как инструктор во время краткосрочных стрелковых курсов предупредил об опасностях, связанных с неправильным производством выстрела, и рассказал про несчастные случаи, которые могут произойти, если, например, нетвердо держать рукоять пистолета и если пистолет находится слишком близко от лица,— при втором выстреле от отдачи можно вполне послать пулю себе в горло... Тем не менее сейчас, игнорируя свой страх, рожденный предупреждением инструктора, журналист выстрелил, правда, вытянув руку и чуть ли не вверх, в воздух... Выстрелив еще несколько раз таким образом, он несколько взбодрился и выстрелил уже в направлении какого-то строения... Между тем стрельба затихла. Он заметил, что партизаны, к которым он пристал, уже не бегут и падают в снег, а идут шагом, и лишь после этого заметил, что и сам уже не бежит, а идет также шагом и также тяжело дыша... Это наблюдение, когда физические действия выполнялись и контролировались им помимо созна-

ния, заинтересовали его, и подобный ход мыслей еще более успокоил. Никто из идущих с ним рядом партизан не обратил внимания на ту разнообразную бурю чувств, которые ему довелось пережить в первом своем бою, начавшемся неожиданно легко и чуть даже несерьезно. Может, поэтому, совершенно не готовый к встрече со смертью, ужасный натурализм которой и крайняя непохожесть не только на официальные описания, но и на свои представления, противоположные официальной версии, ошеломили его настолько, что он и о возмущении своем лакировкой забыл. Он испытал столь сильное потрясение не только потому, что все это было для него впервые, но также и потому, что имел обо всем предвзятое представление в противоположность официальным репортажам, кстати, также совершенно не подтвердившимся.

Предвзятое это представление даже начало полностью осуществляться, к радости его, и он, не задумываясь, что осуществляется оно именно благодаря своей предвзятости, наложившей отпечаток на реальность, уверовал в себя и в свое творческое предвидение до тех пор, пока столь сильно действующее средство, как мучительная смерть, случившаяся впервые у него на глазах, не только разрушила всю его самоуверенность, но и бросила в иную крайность, полную растерянности и страха перед смертью, а значит, перед реальностью и правдой, которая, как он считал, была для него единственным богом, на которую он единственно молился и которую, как он считал, обязан был защищать от ее врагов — лакировщиков... Сейчас же он полностью растерялся и испугался этой самой глубокой из правд — правды смерти...

Потом, несколько опомнившись, настолько, что даже выстрелил несколько раз, и ощутив через это выполнение общего долга, то есть того чувства, что упрощает, укрепляет, а порой и подменяет духовную жизнь и в определенные периоды это даже является благом, журналист как бы перевел всю свою внутреннюю духовную энергию в иную плоскость. Соотнес себя не с некими загадками жизни и смерти, а такая опасность, именно опасность, имелась после испытанного духовного потрясения, а отыскал свое место в конкретно происходящих событиях... События эти происходили не так, как сообщалось в официальных описаниях, но и не так, как он это представлял себе, якобы защищая правду. Правда была в чем-то третьем, а в чем, он еще понять не мог. Это было, пожалуй, самое неприятное из всего, что тут с ним произошло, и это стало в дальнейшем мучением всей его жизни, вернее, не так уж, конечно, сразу, но, анализируя впоследствии, истоки он видел в этом первом, трудном испытании... Он счи-

тал себя честным человеком, а честному человеку нужна была ясная и конкретная правда, чтоб иметь возможность ее защищать. Поэтому он всячески противился тому чувству утери правды, которое впервые, пусть и ненадолго, тут обозначилось... А поскольку вообще был он человек протеста, то нередко и против собственных сомнений он применял насилие, утверждая правду там, где она нужна была ему в соответствии с его личными искренними чувствами, взглядами и направлениями мысли... Именно в таком состоянии насильственного утверждения правды, причем впервые в жизни (позднее это будет случаться с ним весьма часто), именно в таком состоянии он и столкнулся с делом Висовина.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Должен заметить, что описание не только внешних движений, но и внутренних состояний Висовина и особенно журналиста взяты мной из довольно подробных бесед, чуть ли не исповедей их, которые, не решусь сказать, были адресованы мне, а — скорее — при которых силою обстоятельств я присутствовал. Силой обстоятельств именно я оказался рядом с этими людьми в их критический момент и поэтому получил возможность, сопоставляя, изложить в определенном порядке не одни лишь события, этих людей трагически меж собой связавшие, но и сопровождавшие данные события внутренние состояния, где логика, дойдя до определенного предела, приобретает мистические черты, а инстинкт, наоборот, приобретает черты разума, и потому именно за него приходится хвататься в поисках твердых понятий, и где к правде приходишь не через такие расплывчатые, мистические понятия, как, например, совесть, а через такие ясные и крайне необходимые в период тяжелого противоборства понятия, как долг...

В этом, очевидно, был ключ, тут, очевидно, была отгадка тех душевных поисков и мучений, которые впоследствии пришлось пережить не только журналисту, но и многим честным людям его поколения... Поколение это формировалось в период первоначально тяжелого противоборства, а позднее и прямой защиты отечества, то есть в обстоятельствах чрезвычайных, и поэтому их духовное формирование вынуждено было идти к конечному своему пункту, к мерилу своему — правде, кратчайшим путем, не через совесть, а через долг, понятие, где личный элемент крайне ослаблен, в то время как в совести он развит чрезвычайно и потому способствует общению, гибельному в борьбе... Таким образом, как только сложные и двусмысленные размышления уводили от чувства

долга, как моментально терялась и связанная с этим долгом правда, а без ясной правды честный человек не мог считать себя честным... Вот почему публичные разоблачения Хрущева привели к душевным трагедиям именно честных людей, причем в противовес всякого рода политическим псаломщикам, не говоря уже о профессиональных обличителях, для которых ускользающая правда — это мать родная. Вот почему вся эта публика либо не пострадала, либо даже расцвела...

Но вернемся назад и восстановим прерванный ход событий, относящихся к декабрю сорок второго года... Когда журналист достиг окраины села, где трагически окончила свой путь группа, в состав которой входил Висовин, трупы убитых партизан и расстрелянной семьи крестьянина, хозяина двора, в том числе его троих малолетних детей и старика-отца, еще не успели подобрать. Висовина же, как живого, подобрали в первую очередь, внесли в избу, и он полусидел уже, порозовевший от спирта. Брезгливый ужас перед бесстыдным натурализмом насильственной смерти, который поверг недавно журналиста в душевную растерянность, не только успел притихнуть, но даже наоборот, разбуженные им душевные силы ныне преобразовались и перешли в ту подчиняющуюся долгу скорбную горечь, которая помогает сосредоточить свои чувства на возмездии убийцам и вообще виновникам преступления... Тем более, что тела были уже мертвы, лежали спокойно, припорошенные снежком, и потому ужас умирания не мешал воинствующей скорби...

Несмотря на торопливость, немцы успели поизмываться над трупами, у некоторых были разбиты прикладами черепа, выколоты глаза, а у одного из младенцев головка отсечена от туловища. Тем не менее все это было покойно, кровь застыла на морозе, вывалившиеся внутренности припорошил снег, и оттого, что в этом всем не было больше признаков жизни, оно вызывало не невольную телесную физиологическую брезгливость, а лишь ясную, тяжелую душевную ненависть к убийцам... Не скрывая и не утирая слез, журналист вошел в избу именно в тот момент, когда умирающего партизана поднесли к Висовину, и он слышал, как умирающий в злобном, ревнивом предсмертном крике назвал Висовина трусом и предателем... Дергающийся облик умирающего, у которого пошла горлом кровь, вновь испугал журналиста и поверг его в брезгливость, но чувство это он ныне в спокойной, безопасной для себя обстановке осознал, вступил с ним в борьбу, посчитал свое поведение дурным по отношению к мучениям умирающего и потому внутренне обозлился на себя... Эту злобу на себя он невольно перенес на Висовина, приплюсовав

ее к обвинениям умирающего. И осознав свою вину перед умирающим из-за безразличности, которую он испытал к нему и с которой бессилием был что-либо поделать, он тем более ярко представил себе чужую вину перед этой смертью, вину, которая, как он понял, была во сто крат больше, чем его собственная... Вообще, этот порозовевший от спирта человек, рядом с растерзанными трупами, лежащими на морозе, даже чисто зрительно вызывал у него раздражение. Мучившая его горечь нашла точку приложения и в той натурально-подробной картине борьбы и трагедий, которая профессионально уже выстраивалась перед ним, причем, в противовес лакировщикам, фигура предателя, библейского Иуды, была попросту необходима. Именно так. Показать, что в нашей борьбе существует не только высокое и героическое, но и мерзкое, подлое, негативное, которое лакировщики либо скрывают, либо отодвигают на периферию и делают маленьким, нестрашным, так что его можно шапками закидать. Причем показать смело и откровенно, в полный разворот и со всеми противоречиями. То, что предатель оказался не сыном кулака, а выходцем из потомственной рабочей ленинградской семьи, не смущало, а наоборот, радовало журналиста. Ибо позволяло ставить вопрос глубже, по-новому и принципиально... Так, чтобы явление это, которое лакировщики хотели бы замаскировать, ссылаясь в любом подобном случае на пережитки капитализма, было замечено и страной, и Сталиным...

Статью, вернее, большой психологический очерк под коротким, запоминающимся названием «Трус» журналист написал сразу же по возвращении на Большую землю, но ее долго не печатали. Более того, один из крупных лакировщиков, с которым журналист давно враждовал, обвинил его не больше не меньше как в попытке очернить и партизанское движение, и рабочий класс. Журналист спорил до хрипоты, доказывал, ходил по инстанциям, попутно написал и опубликовал несколько статей, направленных все к той же мысли, которую выразил в очерке, а именно: счастлив тот народ, который может позволить себе сказать всю правду, как бы горька она ни была. Наконец, опять же через своих покровителей, ценивших его талант вообще и талант, с каким был написан этот очерк, в частности, журналист попал наконец в одну из наиболее высоких инстанций. Там его приняли хорошо, говорили с ним внимательно, обвинения, брошенные ему крупным лакировщиком в очернительстве партизан и рабочего класса, отвели в самой шуточной форме, но одновременно заметили, что в той тяжелой, полной жертв борьбе, которую ведет сейчас народ, подобное патологическое исследование пре-

дателя в стиле чуть ли не натурфилософском вряд ли своевременно... Кроме того, размышления о неких побочных, негативных явлениях, сопровождающих успехи социалистического развития, раскрепощения личности и потому присущих как раз социализму, а при капитализме невозможных в силу его эксплуататорской сущности,— эти рассуждения действительно сложны, путанны и не нужны широким читательским массам, тем более, будем прямо говорить, что многие из читателей эту статью будут читать непосредственно перед боем и, может, в последний раз в жизни... «Да, такова жестокая натуральная правда, которая, как нам стало известно, для вас превыше всего»,— вновь было сказано в несколько шутливом тоне...

Интересно, что после этого разговора в высокой инстанции журналист вышел не только вполне убежденный в несвоевременности постановки тех вопросов, которые еще недавно отстаивал с пеной у рта, но даже искренне удовлетворенный и в некоем неожиданном умилении от ласк этой высокой инстанции. Это иногда случается с людьми честными и ершистыми, но которые вдруг устают от собственных протестов именно в тот момент, когда прикасаются к иным возможностям и ощущают сладость иной жизни — в согласии с официальнойностью, так что пробуждается истинно сыновий элемент, нуждающийся в отцовстве в лице официальности, то есть особенно сильная в российских условиях, не умирающая патриархальность. В лакейство же сыновий элемент переключается как раз тогда, когда это происходит скачком, как бы из одной веры в другую. Подобные чувства могут быть поставлены в вину журналисту, и действительно они были поставлены в вину им самим себе позднее, когда Хрущев испортил стране нервы и когда условия для всякого рода разоблачений и саморазоблачений развились чрезвычайно. Тогда же он, честный человек, шел по затемненным московским улицам в настроении радостном оттого, что его переубедили и этим разговором как бы приобщили к общему высшему делу и высшему смыслу. В лакейство иногда впадают не от цинизма и расчета, а от искренности, от увлеченности, от идеализации, от чистоты чувств и желания ответить на неожиданное добро добром. Но ответить искренне на добро того, кто выше тебя и от которого ты зависишь, можно лишь почитанием. Думал ли так журналист, неизвестно, но чувствовал он именно так. И период этот, период искреннего согласия с официальнойностью, следует прямо признать, был лучшим в жизни журналиста в смысле личного самочувствия, ясности замыслов, энергии и вдохновения, когда работаешь не против, а за... Собственно, в тот период способность его к протесту

не исчезла, но он сам (именно сам, а не кто-либо иной, как утверждали позднее и как даже он утверждал), сам направлял эту способность в плане созидательном, хоть и своеобразно, ибо по-прежнему вызывал нарекания лакировщиков, правда, теперь более осторожные и в которых сквозила зависть... Он помолодел, походка его стала упругой, походка практика и деятеля...

Правда, бывая на фронте (он выезжал теперь часто и на разные участки фронта), журналист по-прежнему избегал наблюдать предсмертные судороги убитых или умирающих от ран, которые не только по-старому пробуждали в нем брезгливость, но и какую-то аполитичную тоску, страх перед неизвестным, а от такого страха рукой подать до бесплодных мучений совести, философской раздробленности и смутности правды... Это был его неустрашимый психологический вывих, непроходящий шок после первого боя, тогда, в тылу у немцев... Поэтому (а не из личной трусости) он реже стал бывать на передовых, а более в штабах, куда стекались разнообразные сведения, откуда события становились яснее, и когда эта ясность соединялась, казалось бы, со своей противоположностью — протестом, оставшимся в его стиле и образе мышления, то статьи и очерки выходили особенно убедительными, поскольку протестующий, а значит, независимый стиль и рожденные этим стилем суждения (не мыслями, а стилем) придавали объективную силу данной тенденциозной ясности. Именно на фронте, в одном из штабов, ему дали центральную газету с большим очерком-подвалом «Трус». Тот факт, что его очерк, за который он долго боролся, который, даже еще не напечатанный, подвергался нападкам, чуть ли не политическим обвинениям, который стоил ему много нервов и крови и в несвоевременности которого с точки зрения борьбы с фашизмом журналиста наконец убедили высшие инстанции, причем он принял эти убеждения искренне, тот факт, что этот очерк вдруг, спустя восемь месяцев, был напечатан, и напечатан совершенно неожиданно для автора (ему, конечно, звонили из редакции, но он как раз выехал на фронт), тот факт первоначально даже не только не обрадовал его, а скорее поверг в растерянность. И не только поверг в растерянность, а заставил вдруг опасно задуматься. Он понимал, что очерк появился в результате действий каких-то не зависящих от него сил, случайных совпадений и потребностей момента. Искренность, с которой он отказался от прежних своих доводов и взглядов, признав их ошибочными под убедительными и доброжелательными доводами высшей инстанции, эта искренность оказалась опороченной с самой неожиданной стороны и самым неожиданным образом —

именно той же высшей инстанцией... И второй, сильный приступ утери правды посетил журналиста. «Конечно,— думал журналист, сидя в прифронтовой гостинице над газетой со своим очерком,— конечно, принципы бывают ошибочные... Принципы можно сменить... Но существуют ли вообще принципы? Не подменены ли принципы установками?..» Подобным крайностям и метаниям журналист был обязан главным образом протесту, который по-прежнему в нем сидел и который всякое выходящее за рамки явление первым делом принимал в штыки... Конечно, очерк появился благодаря потребностям момента, отличающегося в подобный военный период неожиданностями и разнообразием. Конечно, из очерка были вычеркнуты не только все рассуждения о неких негативных явлениях, сопровождавших, согласно закону развития, позитивные явления социализма. Конечно, из очерка были вычеркнуты не только патологические исследования души предателя, но и даже тот факт, что предатель выходец из потомственной пролетарской питерской семьи. Конечно, теперь очерк был направлен достаточно однозначно и твердо против враждебных элементов, призывал к бдительности и на конкретном примере некоего труса и изменника Висовина требовал беспощадной кары тем, кто в тяжелой борьбе с фашизмом пытается нанести удар в спину... И все-таки публикация очерка после того, как журналист от него отказался, неприятно поразила... Ему показалось бесцеремонным обращение властей с его раскаянием и его ошибками, которые он признал...

Между тем очерку был придан определенный резонанс. Начали публиковаться письма читателей. Писали фронтовики, писали вдовы, писали инвалиды войны... Образ выжившего труса, а значит, предателя Висовина рядом с занесенными снегом телами партизан и семьи хозяина-крестьянина взволновал и пробудил гнев. И особенно взволновал эпизод, когда умирающий партизан бросает в лицо труса слова, полные гнева и отчаяния. (Да, отчаяния. Журналист именно так, вопреки лакировщикам, это изобразил, и именно так оно и было пропущено в печать, что усилило эффект.) Среди прочих было опубликовано и письмо отца Висовина, старого ленинградского рабочего. Так происхождение предателя вместо того, чтобы бросить тень на рабочий класс, наоборот, сработало в обратном направлении. Отец писал, что он со стыдом и гневом отказывается от своего бывшего сына и что он берет на себя право сделать это и от имени своей жены, бывшей матери предателя, питерской пролетарки, умершей в прошлую блокадную зиму... В заключение он писал, что посылает предателю отцовское проклятие и что невеста предателя также

от него отказывается... Публикация писем была подытожена коротким сообщением, что дело предателя Висовина, виновного в гибели партизанской группы (так было сказано), в настоящее время пересматривается военным трибуналом и прежний приговор отменен, как мягкий и необоснованный... Однако журналист эту заметку уже не читал. В составе делегации деятелей культуры он вылетел как раз тогда на антифашистский конгресс в Америку.

Между тем Висовин был вновь арестован, судим, и в созданной вокруг его имени эмоциональной атмосфере ему грозил расстрел. К счастью, его спасло письмо командира партизанского отряда, оказавшегося человеком принципиальным и отстаивающим свое мнение вопреки общему настроению. Он писал, что допросил Висовина первым и сразу же на месте. Он не хочет отрицать его вины, но в то же время оспаривает ее уровень и степень. Что касается показаний Яценко (так звали умирающего партизана), то в данном случае, считал командир, имеет место оговор с отчаяния, которое иногда посещает человека перед смертью. (Упор на отчаяние не противоречил и версии журналиста, хоть он по-иному его трактовал.) Командир был человек заслуженный, уважаемый, и письмо его пусть и не было опубликовано, поскольку шло вразрез кампании и превращало кампанию разоблачения предательства уже в дискуссию, то есть явление глубоко враждебное пропагандистским приемам военного времени, итак, пусть письмо и не было опубликовано, но некоторое влияние на приговор оказало... Висовин расстрелян не был, и с тех пор началась его лагерная жизнь.

В первое послевоенное лето, буквально через месяц после окончания войны, когда всеобщее ликование охватило страну, Висовин был выпущен, правда, с ограничением права проживания в ряде городов, в том числе и в своем родном городе Ленинграде... Невзирая на запрет он, тем не менее, сразу поехал к отцу. Однако отцом был принят весьма враждебно, так что и ночевать вынужден был не в родном доме, а на вокзале. Невеста же Висовина была уже замужем за вернувшимся с фронта парнем с их же завода. Впрочем, поведение бывшей невесты волновало менее, чем поведение отца, у которого Христофор когда-то был любимым ребенком, а ныне и единственным, поскольку сестра погибла на фронте. Волнение это окончательно изменило характер Висовина, до войны бывший совершенно простым, ясным и одноплановым. Пережитые страдания и поведение отца, разом перечеркнувшее надежды, проснувшиеся было с освобождением из заключения, придали потомственной рабочей натуре Висовина интелли-

гентную нервность. К тому ж он начал задумываться. Задумывался он, конечно, не так, как журналист в периоды приступов, связанных с потерей правды, задумывался попримитивней, не прикасаясь к сложным категориям, а больше — о справедливости жизни и необходимости жить... Мысли эти, конечно, не новы для людей подобной судьбы, знакомы они и мне. И потому мне совершенно понятно, почему Висовин тогда себя не убил. Убить себя просто от безумного отчаяния могут лишь простые натуры, каковой Висовин был ранее, до перенесенных страданий. Подобные же нервные, задумывающиеся натуры чаще убивают себя, главным образом, не от слепого отчаяния, а от безысходной обиды, то есть от обиды, ясно, до конца обозначившейся, проанализированной, понятой от самих источников до предела и лишь после этого ставшей безысходной... Такого понятия у Висовина не было, и ясно, что коль он уже начал задумываться, то не только не убьет себя, а наоборот, будет цепляться за жизнь, пока не поймет свою обиду детально. Тем более по прошествии почти двух лет жизни на свободе (Висовин работал чернорабочим в провинции) обида эта возросла непомерно. В конце сорок седьмого, когда после неурожайного лета началась новая политическая кампания жесткости и твердости властей, беспредельно возвеличенных великой победой, Висовин был вновь арестован, уже вовсе без повода, просто как бывший политический преступник. Он попал в руки следователя садиста, пережил ряд тяжелых допросов, во время которых ему вторично искалечили раненую ногу, затем был отправлен в дальние лагеря строгого режима, лагеря смерти, но выжил благодаря отменному здоровью потомственного пролетария, здоровью хоть и растраченному, но выручившему. В этих лагерях его застала и смерть Сталина, и последовавшая вскоре реабилитация. Кстати, к Сталину Висовин, как большинство людей рабочих, стремящихся к организованности, относился хорошо. Даже начав задумываться после первого своего освобождения, он все равно относился к нему хорошо, несмотря на то, что в лагере были люди, Сталина ругавшие... Но тут следует сказать о некоторой специфике Висовина, может, и лежавшей в основе всех поворотов его судьбы. Висовин совершенно не был поэтической натурой, даже и после того, как начал задумываться, логическое начало в нем было развито чрезвычайно, причем в том первозданном, ясном виде, который рождает народную совесть, то есть совесть нерукотворную, вроде самородка... Поэтические натуры более склонны к долгу, представляющему собой все-таки вымысел, пусть часто и необходимый... Как это ни вы-

глядит странным, долг, явление более сформулированное, нуждается в поэтическом нажиме, в то время как совесть, явление не совсем понятное, в то же время живет за счет честного логического факта... В период общественных бурь и катаклизмов поэтическое, вернее сказать мифологически-религиозное начало-долг, скрепляющее массы в необходимой борьбе, более в ходу, чем лежащая в народных истоках нерукотворная совесть-самородок... То, к чему журналист приближался медленно, с огромной тратой сил, постоянно чувствуя себя несчастливым (самые счастливые годы были годами отсутствия этой борьбы и согласия с официальной-долгом), то, к чему журналист никак не мог приблизиться, Висовин получил от природы. Правда, несправедливые страдания усложнили натуру Висовина и, возможно, внесли в него некоторый поэтический элемент, помешавший убить себя просто от слепого отчаяния, но все-таки не настолько усложнили, чтобы серьезно повредить в нем простое логическое народное начало и преклонение перед правдой, которую в первую очередь надо логически понять и жить по ней, хотя бы временами вопреки своей судьбе. Журналист же понимал правду как нечто вечно существующее, прекрасное и поэтическое, которое в первую очередь надо не понять, а защитить от врагов. Из-за этой веры в правду-совесть не пошел тогда под пули искать смерть для себя Висовин и не поддавался правде-долгу, чувству товарищества и мысли, что на миру и смерть красна. Он много раз думал о том своем поступке и всякий раз находил его справедливым, пока не понял наконец, однажды ночью, лежа в лихорадке на нарах, что именно потому, что бунт его против товарищества оказался справедливым, он на войне особенно опасен, ибо у войны и бедствий свои законы, своя логика и, может, трагизм войны и прочих бедствий как раз в том и состоит, что общие их необходимые законы противоречат личной совести и что личной совестью честный человек не может руководствоваться, а должен лишь хранить, как образ матери... Но едва он понял так свой поступок, как подоспела смерть Сталина и следом за этим реабилитация... С ним произошло нечто похожее на то, что случилось с журналистом, которого сперва убедили в несправедливости его принципов, а потом, когда он согласился, вдруг благодаря новым подоспевшим установкам начали эти принципы утверждать в официальном порядке, внося в душу журналиста хаос и неуверенность... С Висовиным это происходило на ином уровне, более трагическом, но основа была одна... Именно в тот момент, когда Висовин не на основании приговоров и допросов, а на основании своего внутреннего суда по сове-

сти понял свою вину, ему объявили, что он осужден неправильно, и подтвердили это в письменной форме в виде бумажки. Беда еще была в том, что, поняв свою вину, Висовин не мог в то же время осознать, в чем же именно она состояла конкретно, то есть какой поступок конкретно повлек эту вину. Все до единого поступки его были правильны, но все-таки он был виновен. Он был виновен хотя бы потому, что те, кто несправедливо обвинили его, были давно мертвы, а он жив. Во время бедствий и войн щадить может только случай, Висовин же пощадил себя сам, поступив благоразумно и по совести...

Так мыслил он и, будучи истощен лихорадкой, все более удалялся от своей ясной основы к поэтическому началу, и чем больше он терял последние физические силы, тем больше отдалялся от своей природы и уже задумывался по-новому, забываясь в дебри, к которым был не готов, и потому с всевозможными глупо-невежественными формулировками. После выхода из лагеря Висовин некоторое время равноправным гражданином пролежал в клинике с психиатрическим уклоном, где окреп физически и несколько восстановил первооснову своей природы. Но восстановил лишь частично. Его вновь настойчиво начали посещать мысли, что он виновен хотя бы потому, что человек, по оговору которого он попал на каторгу, ныне мертв и принял мученическую смерть, он же жив... И вообще, он виновен, как виновен каждый живой перед каждым мертвым... (А не наоборот ли? — сказал бы Бруно Теодорович Фильмус, не виновен ли каждый мертвый перед каждым живым?) В этих мыслях было уж нечто не только глубоко чуждое прежней ясной рабочей природе Висовина, но и вообще чуждое тому ясному чувству, воцарившемуся среди подавляющего большинства его незаконно пострадавших собратьев, хлынувших из мест заключения... То есть он не испытал, подобно большинству реабилитированных, ни чувства радости, ни чувства восторжествовавшей справедливости и победы добра над злом... В том, что с ним произошло, была известная закономерность. Человек совести и объективного факта патологичен в периоды долга и общественно-полезного вымысла... Все живое пытается приспособиться, такова закономерность. Та религиозно-мистическая трясина, куда забрел Висовин, была именно такой попыткой приспособиться. Он снова приехал в Ленинград и пришел к отцу.

Отец его хоть и был к тому времени почетным членом передовой монтажно-сборочной бригады и членом совета ветеранов труда, но настолько уже стар и болен, что не мог даже являться на пионерские торжественные линейки, куда особенно любил ходить и ронять слезу, когда детские ручонки повязывали ему на шею пионерский галстук.

— Вот, батя,— сказал Висовин и положил перед стариком бумагу о реабилитации.

Старик надел очки и внимательно прочел бумагу. И тут он сказал ту самую фразу, которую я уже приводил и которую считаю основой своеобразной народной логики, неприятия народом хрущевских послесталинских реабилитаций.

— А за что ж тебя уважать, если ты невиновен?— сказал старик.— Если б ты за дело пострадал, за народ, за веру отцов! (К старости отец почему-то начал, несмотря на революционные традиции, употреблять такие патриархальные выражения.)

— Это верно,— тихо сказал Висовин,— уважать меня, батя, не за что...

И впервые за много лет отец и сын посмотрели друг другу в глаза. Оба они были пролетарской породы, а отец вообще воспринимал свое происхождение из недр «его величества рабочего класса» с ревнивой гордостью, которой мог позавидовать любой аристократ голубых кровей.

— Стыдно мне,— сказал отец,— что ты, сын рабочего, провел свою жизнь по тюрьмам у своей родной рабоче-крестьянской власти...— И отец вдруг заплакал.

Когда отец заплакал, Висовин сперва растерялся от неожиданности, поскольку видел плачущего отца впервые в жизни. Он принялся утешать отца и даже обнял его. И, утешая, высказал свои новые взгляды, которые заключались в признании своей виновности, справедливости понесенных наказаний и от которых веяло мистической трясинной. Тогда отец перестал плакать и сказал:

— Сволочь ты, поп и вообще не русский человек... Рабочий класс— это боевой класс, и время его господства— это боевое время... Если время изменится к покою, то рабочий класс потеряет свое уважение... А ты, выродок, рассуждаешь не по-советски, а по-еврейски и меня пытаешься сбить с толку...

Надо добавить, что старик к тому времени действительно запутался и сбился с толку. Произшедшие перемены, антисталинские выступления Хрущева, одиночество, которое в последние годы с усилившимися болезнями начало повергать его в старческую хандру, тоска по жене и дочери, ставшая совершенно вдруг свежей, точно жена и дочь умерли лишь какой-нибудь месяц, а не пятнадцать лет назад, все это неким образом повлияло на ясность его мировосприятия, так что временами он начинал даже тосковать по сыну-изменнику, которого проклинал. Следует заметить, что отец и в молодости личным умом не отличался, хоть был по-своему

честен и справедлив в тех границах и законах, которые получил от общества, то есть это был ярко выраженный человек периода общественных движений... Он любил ясно мыслить вместе с обществом, но не любил домысливать... Многие из консервативных приверженцев прошлой ясности обвиняют Хрущева в том, что именно он создал определенный разрыв между государственной и общественной мыслью, породившей опасное обличительство, критиканство и вольнодумство. Это не совсем так. И это могут опровергнуть как раз такие люди, как Висовин-старший. Когда шла борьба с врагами народа, троцкистами, потом с гитлеровской Германией, государство и общество мыслило цельно, ясно и полностью одинаково, без зазора. Однако в конце сталинского периода была перейдена какая-то грань в государственных возможностях, соотнесенных с конкретным периодом. С периода борьбы с космополитизмом был взят некий курс на эзопов язык, разоблачения в форме басни, когда не то что бы случайно, но скорее умышленно образовался разрыв между государственной версией, не свободной еще от ряда прошлых и международных условностей, и общественным, уличным, потому независимым домыслом, который в данном случае стал необходимым... Именно этот домысел впервые пробудил дремавшие общественные силы, и государство последнего сталинского периода, пригласившее общество домысливать его изложенные эзоповым языком политические обвинения-басни, невольно и неизбежно было зачинателем общественных вольностей. Тем более загадка и с самого начала была не очень мудреной, а к концу пятьдесят второго года она и вовсе превратилась в арифметическую задачу для ликбеза, так что к зиме пятьдесят третьего года те люди, те государственные силы и те тенденции, которые выдвинулись в последние годы сталинского периода, и те общественные силы, которые они без труда нашли в народе и обществе и которых они на достаточно ясных домыслах воспитали, все это к сталинскому инсульту достигло такого расцвета, что уже откровенно перемигивалось и пересмеивалось за спиной официальных своих версий. Дело в том, что те силы, которые были вызваны к жизни тенденциями единовластия, к началу пятидесятых годов дошли до предела и начали прорастать, просачиваться сквозь общественно-государственную оболочку, идеологически скрепляющую общество. Возникла необходимость государственного переворота, но государственного переворота совершенно уникального, когда свержению подлежали не господствующие силы; должны были свергнуть собственную идеологию, что было невозможно, поскольку идеология эта не то-

лько к тому времени не пришла в упадок, но даже распространилась если не вглубь (безусловно не вглубь), товширь. Такое противоречие между практическими силами власти и ее господствующей идеологией, противоречие, основы которого были заложены в тридцатых годах, но давшие ростки через десять лет (в значительной степени благодаря сперва заочной борьбе с фашизмом, затем годам Отечественной войны), такое противоречие уже во второй половине сороковых годов вынудило передать часть государственных мыслей целенаправленным общественным домыслам, а также совершить бесконечное число пусть не ежедневных, но достаточно частых государственных переворотов в миниатюре, если воспользоваться формулировкой Маркса. Путь, по которому собирались следовать силы, разбуженные тиранией, был достаточно изучен, заманчив, прост, имел традиции и широкую национальную опору... В то же время любой элементарно грамотный человек понимал, что путь этот в корне противоречит марксистской идеологии, даже если этот грамотный человек обладал жгучим желанием данную идеологию опорочить... Правда, существовало орудие, которое могло на время примирить два столь сильных противоречия. Этим орудием было политическое невежество как раз не врагов, поскольку подбор врагов марксизма был вне компетенции сталинских идеологов, а сторонников марксизма, поскольку подбор сторонников и участников господствующей идеологии был в руках сталинских идеологов. Массовые призывы в партию людей, часто даже и искренних, но всесторонне, в том числе и политически, безграмотных, послужили основой этого пути.

Одним из тех, кто пришел по таким призывам в партию, то есть стал скорее эмоционально, чем сознательно, сторонником определенной идеологии, был Висовин-старший. Однако время шло, и противоречия продолжали усиливаться, невзирая ни на что, и это было закономерно... Потребность захвата власти людьми, у власти находящимися,— вот нелепость сложившейся ситуации. Тезисы, проповедующие равенство, человечность, братство всех рас и национальностей, которые были написаны перышком на бумаге бог знает когда и за спиной которых давно уже перемигивались понятливые, воспитанные на домыслах молодцы последнего сталинского периода, тем не менее продолжали оказывать серьезное сопротивление. И живой тиран временами попросту изнемогал в борьбе, как выразился один из новых молодцов в минуту откровенности и под хмельком, в борьбе с «бородатыми идеалистами», совершенно запутавшись и не зная, на каком языке изъясняться с толпами своих рабов-повелителей, ибо

люмпен-пролетарий, которого он возвеличил, всегда жаждет ясных уличных слов и политической порнографии. Но что бы там ни было, родным языком государства был высокий, благородный язык, созданный «бородатыми идеалистами» прошлого, вошедший в плоть и кровь, и отменить его было почти так же невероятно трудно, как трудно отменить вообще родной национальный язык какой-либо страны. Ни один тиран мира, какого бы величия он ни достиг, не мог и мечтать о такой задаче, объявить, например, в приказном порядке, чтоб русские говорили по-турецки, а французы — по-японски. Конечно, в данном случае речь шла не о подобной крайности, но о некоем явлении, достаточно к ней приближающемся. Для того чтобы отменить политический язык страны, нужен не разговор, не переворот, а революция, причем, в данном случае, революция люмпен-пролетариата не против формы правления, которая его устраивала, а против противоречащих этой форме идей и тезисов... Все это было нелепо, запутанно и вообще невысказуемо. И тиран попал в смешное положение человека, который вынужден был на высоком, благородном языке, созданном людьми с самыми благородными намерениями, говорить с толпой, которая, как и сам оратор, сообразно с деяниями своими, жаждала политического уличного жаргона и политической порнографии. Вынужден, несмотря на все- сильную безудержную власть, которую ему эта толпа вручила, поскольку хотел он или не хотел, но этот высокий, благородный, политический язык был его родным языком... А отменить свой родной язык, как сказано, не дано ни одному тирану...

И все-таки существовал некий международный язык, некое политическое эсперанто, на котором в кризисных ситуациях (налицо была явно кризисная ситуация), на котором можно было попытаться договориться и примирить противоречия. Этим международным языком был антисемитизм, и мифологическое начало этого языка было весьма уместно при логической путанице. Если в век мистики и ведьм он одурманивал сознание народа, то в материальный век, согласно потребностям времени, он сознание народа прояснял от путаниц и противоречий, то есть низводил все мировые сложности до простых понятий кухни и дворницкой. И благодаря ему в святая святых, в высоком языке, созданном «благородными идеалистами», начали проявляться нелепейшие словосочетания, часть которых ранее можно было увидеть на заборах и в общественных клозетах... Конечно, словосочетание пока еще не в государственных мыслях, а в общественных домыслах. Но то, что, например, честный труженик Висовин-старший начал в спорах привычно употреблять выражение «это не по-

советски, а по-еврейски», для перемигивающихся молодцов последнего периода жития Сталина служило весьма обнадеживающим признаком. Правда, трудностей еще был непочатый край, несмотря на некое злобное веселье и оживление, охватившее определенные круги общества, когда к зиме пятьдесят третьего года форма басни-притчи о космополитах была совершенно подменена открытым текстом, лишь чуть заретушированным. Чем ближе подходил предел (а он подходил, и довольно стремительно), тем неизбежней становились какие-то коренные решения не в судьбе космополитов (это Бог с ними, с этим еще можно примириться), а в судьбе страны целиком... И эти-то решения, а также их последствия пугали консервативно настроенных людей из тех, кто верил Сталину и шел с ним рядом, людей чуть ли не на самых высоких уровнях. Главным носителем неизбежных приближающихся новшеств была молодежь... Старики же задумывались. Конечно, задумывался не Висовин-старший, но кое-кто все же задумывался, ибо чувствовалось, что приближается та самая грань, грозившая политическому языку страны. Приближались серьезные изменения, но приближались не в тревожной, а наоборот, в оживленной обстановке национальной возбужденности. И вдруг эта словно Богом посланная смерть... Как сумел больной, полусумасшедший старик, упав навзничь на ковер и ударившись затылком, разом остановить надвигающийся на целую страну и целый народ предельный нравственный кризис, на это легче ответить историку-идеалисту, чем историку, верящему в строгие материалистические закономерности...

История вообще наука насмешливая, причем с сатирическим уклоном, и подчас целые периоды жизни народов, и, что самое обидное, трудные, сложные, полные искренних жертв и глубоких противоречий периоды, закономерности которых сияются постигнуть гении человечества, в действительности вполне могут быть уложены в достаточно короткие политические анекдоты. Это обидно, конечно, и лишь одно утешает, что содержание этих политических анекдотов уже за пределами человеческого разума...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

И кто знает, что остается от целого периода, решающего судьбу страдающих и борющихся поколений, что остается в той Нерукотворной Истории, напоминающей изложенный в хронологическом порядке сборник политических анекдотов,

недоступных пониманию человека. Может, из тех сотен миллионов судеб, из тех бесконечных копошащихся клубков, в которые они сплетаются, создавая великие и ничтожно малые картины человеческой истории, выбирается такое усредненное, неожиданное сочетание, например, самого что ни есть ничтожного кухонного скандальчика — с событием эпохальным, всемирным, причем отсюда и оттуда так ловко выдерживаются даже не факты, а частички фактов, что, слившись воедино, они уже в высшей морали не нуждаются, ибо и без комментариев полностью отвечают на все вопросы, волнующие на протяжении веков человечество. (Эти вопросы, разумеется, одни для любого периода.) А может, вовсе и не так. Может, метод Нерукотворной Истории совершенно иной. И из бесконечных копошащихся клубков, в которые сплетаются судьбы, выбирается какой-либо один, даже не судьба, а частичка ее, клеточка, эпизод, причем в самой бытовой форме, доступной человеческому разуму, но все это подытоживается одной фразой, недоступной человеку, но в которой вся соль и все ответы... Может, выбирается момент отображения у меня постели с незаконно занимаемого койко-места общежития Жилстрой комендантшей Софьей Ивановной и зав. камерой хранения Тэтяной, а все остальные битвы народов, общественные перевороты и философские откровения игнорируются? Или выбирается момент, когда больной старик Сосо Джугашвили, возвеличенный при жизни до уровня живого Бога, того самого, которого призывает бояться Библия, упав навзничь, ударился о ковер затылком, а игнорируется все остальное: и битвы народов, и отображение у меня постели?.. Или выбирается момент посещения Висовина-отца Висовиным-сыном. Тем более что библейский элемент в этой ситуации чрезвычайно заметен: блудный сын, ищущий конечных ответов на свои страдания у колен больного отца... Одно лишь можно сказать определенно: каков бы ни был метод, высший ответ возможен лишь тогда, когда человек слаб и беспомощен. Отсюда ясно, что страсти и заблуждения таят в себе более высокий ответ о смысле жизни, чем человечность и мягкосердечие, явления весьма своеобразные и удаляющие человека от истины. Замечено, что в момент проявления человечности и мягкосердечия человек менее религиозен либо вовсе не религиозен. Не следует приплюсовывать сюда ощущение счастья, поскольку счастье есть страсть, и, как всякая страсть, оно нуждается в борьбе и защите.

Если страсти и заблуждения объясняют в какой-то мере историю, то человечность и мягкосердечие мешают ее постижению. Но это говорит лишь о том, что явления эти есть при-

шельцы из далекого и непостижимого, пыль какого-то внеисторического величия, какой-то тайны вселенской, космического безбожия. Не сварливого мелкого атеизма, строящего гримасы Богу из зависти к его простой и привлекательной идее, а именно космического безбожия, служащего для Бога пространством и от которого человечество так же далеко, как отсвет далеких галактик, и к которому, так же как к этим галактикам, никогда не доберется, но тем не менее какие-то крупинцы этого единого, неразделенного бездеятельного безбожия, божьего рая (если принять, что деятельный Божий мир есть Божий ад), проникают в виде человечности и мягкосердечия, подобно свету космических лучей... Вот почему человечность чужда деятельному Богу, как чуждо ему всякое совершенство, для которого он не нужен, и вот почему человечность страшна Дьяволу, перед которой он беспомощен... И вот почему все, что подвластно Богу, земно и подвластно Дьяволу... И вот почему высший приговор эпохи, выраженный в кратком и точном политическом анекдоте, недоступном человеческому разуму, страдает все ж определенной, хоть и незначительной по объему, но серьезной односторонностью. Ибо в общем анализе отсутствуют неприметные, мельчайшие внеисторические человечность и мягкосердечие, заслоненные движущимися массами, гигантскими переворотами и прочей бездной всевозможных земных страстей. Именно потому, что из общего хода человеческой истории выпадают эти чуждые ей, незначительные художественные моменты, она, как правило, и укладывается в жанр политического анекдота.

Подобный внеисторический художественный момент и воцарился вдруг за широким, некогда семейным столом в доме старого рабочего Висовина.

— Мать о тебе плакала, особенно перед смертью,— сказал отец,— а сестра покойная тебя ненавидела... Много ты помучился? — спросил он вдруг, не совсем связно с начатой фразой.

И после этого вопроса Висовину как-то удивительно сладко и по-детски стало жалко себя. Едва ему так стало жалко себя, как отец, сидя на другом конце семейного стола, далеко от сына, снова, вторично за их встречу, заплакал, словно подтвердив мысль сына. Висовин понял, что отец его превратился в особую категорию часто и легко плачущих стариков. Такое бывает с людьми твердыми, жесткими, даже жестокими, если старость их проходит одиноко. Но все же мысль эта, хоть и насторожившая, не могла унять детской беспомощной сладости, явившейся к Висовину откуда-то из полузабытого далека, и жалел он себя не тяжело и разумно, как много пере-

страдавший человек, а глупенько, по-детски, без взрослого опыта и горечи. В этот раз он не только не стал успокаивать отца, но, наоборот, сам заплакал, и так сидели они в разных концах стола, не приблизившись друг к другу, положив локти на старую семейную скатерть, и плакали. Плакали неизвестно отчего и для чего. Это может показаться странным, но это было именно так. По крайней мере Висовин плакал не оттого, что жизнь его искалечена, запутанна, одинока и не нужна никому, ибо в таком случае он был бы жалок и смешон. Это, конечно, могло с ним случиться, но он обязательно почувствовал бы это. Чувство всепрощения, сыновней любви и восторжествовавшей справедливости также не возникло в Висовине, поскольку в таком случае он был бы по-взрослому глуп и также почувствовал бы это. Может, он и любил прежде отца, однако сидящий перед ним человек был ему совершенно чужим, и, наверное, то же самое испытал отец к сыну. Желание вернуть то, что никогда нельзя вернуть,— детское желание, в нем, пожалуй, больше детской поэтической капризности, чем трезвого взрослого ума. Каждому из них было сейчас глубоко жалко себя, только себя, и без всякого лицемерия, как умеют искренне жалеть себя дети. Желание вернуть нечто уходило не только далее тех роковых событий, но даже в иной плоскости, самой что ни есть нелепой. Вдруг Висовину-старшему подумалось, что он никогда не любил жены, женился не на той женщине и за это расплачиваются дети, ибо дети от нелюбимой женщины редко бывают счастливы. Может, оттого он и прожил жизнь плохо, дурным человеком, с грубыми рассуждениями личными и политическими... Мысли эти испугали его, поскольку он никогда так не думал и никогда так не формулировал... Они испугали его попросту мистически, как испугался бы, например, человек, начавший вдруг формулировать свои мысли по-латыни...

Этот испуг и этот поворот мыслей были концом тех добрых минут, когда, сидя поодаль друг от друга, отец и сын плакали, искренне жалея себя и ощущая приятную, забытую с детства сладость под сердцем. Висовин-старший вынул клетчатый платок и вытер насухо лицо. Мысли, пришедшие ему в голову, мучили его позднее, и он даже написал о том сыну (первые несколько месяцев они переписывались). Висовин-сын также встал и начал собираться. Отец его не удерживал.

— Ты теперь куда? — спросил он.

— Поеду, — ответил сын.

Отец не стал уточнять неопределенный ответ, а лишь порылся в комод и протянул пожелтевшую газету.

— Почитаешь в поезде, — сказал он, вкладывая в это мно-

гозначительный, но самому неясный смысл, как часто случается с глупыми стариками. Ибо после нескольких светлых минут он вновь, буквально на глазах, превратился в глупого старика.

Висовин взял газету и вышел, весьма холодно попрощавшись. В газете этой был напечатан психологический очерк «Трус», погубивший Висовина и изломавший его судьбу. Очерка этого Висовин не читал, но слышал о нем от следователя, цитировавшего на допросах из очерка отдельные куски. И вот сейчас, прочтя его залпом, в скверике неподалеку от Невского проспекта, Висовин решил не прямо ехать к приятелю, а первоначально завернуть в Москву и разыскать журналиста. Его влекли не горечь и месть, а просто желание поговорить и разобраться, поскольку, откровенно говоря, версия виновности, изложенная журналистом, Висовина раздражала именно потому, что она противоречила его собственной версии виновности, к которой он пришел после долгих раздумий, лежа в лихорадке на нарах.

Журналист, к которому ехал Висовин, к тому времени совершенно изменился и по положению и по состоянию духа. По положению он вырос и стал знаменитым писателем, главным образом благодаря успехам при Сталине, которому нравились его необычные восхваления и себя и официальнойности, но приправленные, и совершенно естественно приправленные, легким душком вольности и протеста, в котором заметна была тень этакой личной строптивости. Время от времени литературные псаломщики попримитивней наскакивали на журналиста, словно чуя в этой строптивости стиля (именно стиля) будущую строптивость содержания, которая превратит журналиста в одного из именитых и умелых гонителей грозной тени своего Покровителя. Покровитель же, особенно в последние годы, чрезвычайно много внимания уделял литературной возне, возведя ее чуть ли не в ранг государственной политики. Вообще Покровителю журналиста нельзя отказать в ясности и трезвости даже не политической, а скорей психологической оценки социальных сил государства. Он сладко кормил интеллигенцию (выбирая в то же время среди нее того или иного на убой), но опирался в своих действиях на народ, который кормил дурно. Хрущев же, не поддержанный в своих либеральных стремлениях массой, вынужден был невольно опираться на тех, кто его в основном поддержал, на узкую группу интеллигенции, но в то же время он пытался перераспределить крайне незначительные запасы «сладкого», то есть благ, направив их народу, чтобы привлечь оный на свою сторону и задобрить его. Другое дело, что Хрущев, как

третьестепенная фигура, выскочившая из-за спины ближайших соратников покойного вождя, вынужден был придумать резко противоположный стиль руководства, чтоб утвердить себя... Так происходит всегда, когда последующий правитель получает власть не из рук своего предшественника, а в результате нерасчетливого сговора наследников, случайных совпадений и личной смекалки. Получив таким образом власть, Хрущев понял, что если он не изменит резко стиль, то будет либо быстро заменен, либо просуществует в качестве марионетки столько, сколько этого захотят силы, временно предпочитающие оставаться в тени. В этом он был прав. Но тот факт, что единственный резко противоположный стиль после чрезмерной жестокости предшественника мог быть только либерализм, обрек Хрущева на неизбежную непопулярность в народе. Ибо вообще либерализм, ниспосланный сверху в такой стране, как Россия, всегда связан с упадком святости не только государства, но и человеческой личности, ибо в России человеческая личность не существует вне государства. Тогда в обществе воцаряется всеобщее взаимонеуважение и самонеуважение. Может быть, это и есть неизбежная плата за дальнейший прогресс, которую взимает с общества история, но для поколений, которым приходится платить, эта плата весьма тяжела. Журналист, ставший ныне именитым писателем, ощущал эту плату в полной мере.

Висовина он встретил в небольшой комнатенке, где любил в последнее время работать. Ранее, находясь в ясном, целенаправленном творческом состоянии, он работал в большом светлом кабинете своей пятикомнатной квартиры, которую получил в сорок седьмом году в полуправительственном доме. Сейчас он работал там в редкие минуты радости, которая чаще была связана не с творчеством, а с общественной деятельностью... Будучи ныне человеком состоятельным, он помог потерпевшим от несправедливости сталинских лет не только морально, но подчас и материально, устраивая, сигнализируя, хлопоча... Правда, ныне общественные возможности его стали гораздо меньше, чем при Сталине. Произошел странный зигзаг. Сталин не особенно жаловал откровенных, примитивных лакировщиков, более отодвинув их к общей гуще народа, на которую опирался, и с интересом взаимодействуя именно с людьми строптивыми (литературно строптивыми, конечно, а не политически), гораздо чаще уничтожая, правда, людей этой группы, но в общем их подкармливая и включая в свой литературный гарем. Журналист был одним из видных представителей этого сталинского литературного гарема, куда Сталин старался включать в основном только

людей действительно талантливых... После смерти Сталина литературный гарем этот разбрелся, и многие его члены попали в положение весьма неприятное... С одной стороны, его ненавидели опричники-лакировщики, многим из которых при Сталине жилось хуже, несмотря на солдатскую дисциплинированную преданность, с другой стороны, будучи людьми строптивыми, члены литературного гарема сами ненавидели свое прошлое, и большинство из них стало антисталинистами. Однако те изменения, которые внес Хрущев в распределение благ, коснулись и литературы, так что, вынужденный в своих либеральных начинаниях фактически опираться на антисталинистов, Хрущев, тем не менее, их не миловал, а наоборот, более приблизил опричников-лакировщиков, в отличие от Сталина часто отдавая им строптивых на съедение... Строптивые после того, как либерализация сломала вокруг них крепкие идеологические стены литературного гарема, стали чаще испытывать наскоки со стороны сталинистов-лакировщиков, которых, как ни странно, возвысила либерализация, столь милая духу строптивых, дав этим лакировщикам демократическую возможность высказываться свободно против ненавистных им либералов, в то время как ранее они могли это делать лишь по команде вождя и в строгих рамках, предписанных свыше. Бывшие члены упраздненного либерализацией литературного гарема, став теперь бродячими старыми грешниками, могли, конечно, используя заслуги, полученные при Сталине, а при Хрущеве, пытавшемся как-то нейтрализовать необходимость либерализации, эти заслуги весьма ценились, хоть и именовались государственными (речь идет не о лауреатском значке, явлении частном), итак, эти грешники, если бы они использовали при либерализации свои заслуги при Сталине, сохранили бы высокую официальность положения. Однако в большинстве строптивные грешники были все же людьми честными, да и, кроме того, либерализация, в отличие от тирании, не способна освящать грех. (А честным людям освященный грех необходим для самоуважения.) Сильное ощущение греха плюс именитое положение, которое первое время еще сохранялось от сталинских времен, давало возможность этим грешникам в самом начале либерализации возглавить антисталинизм в обществе, то есть существует определенная закономерность, что именно обласканные Сталиным первое время возбуждали антисталинизм в обществе. Но со временем (и очень скоро) пробужденная к жизни антисталинская молодежь, да и вообще люди, Сталиным не обласканные, но получившие свободу действий, стали исподволь упрекать грешников за прошлые грехи, причем со

свойственной людям молодым либо пострадавшим бескомпромиссностью, и постепенно брали антисталинизм в свои руки. Кроме того, именитое положение этих грешников постепенно сошло на нет, по мере того как они сами же опорачивали свои прошлые заслуги, стараясь угодить молодым и себя не запятнавшим, конечно же, не запятнавшим в основном исключительно благодаря молодому возрасту, а не каким-то особым нравственным качествам. В этом примерно направлении между старыми и молодыми антисталинистами произошел ряд споров весьма горячих, чуть ли не с оскорблениями, и в этом же направлении молодежи было сказано: мол, родись бы вы лет на десять ранее, мы б на вас посмотрели...

Надо заметить также, что, как бы ни поносили старые грешники свое прошлое и прошлое страны, они в то же время не могли согласиться с теми крайними выводами, на которые способна молодежь. Поэтому примерно к концу второго года либерализации они постепенно заперлись (главным образом, конечно, в переносном смысле, но иногда и в прямом), уступив поле общественной деятельности антисталинской молодежи, вступившей в прямое столкновение с лакировщиками и внося в это столкновение дух крайней вражды и подполья. Правда, самые толковые из старых грешников понимали, что, отдав неопытной, грубой молодежи антисталинское поприще, опытные антисталинисты тем самым наносят опасный удар идее либерализации, ибо в обществе возобладают элементы не умеренности, а экстремизма, лишь выгодные сталинистам. Тем более что на лицо уже был процесс расщепления молодого порыва и либерализация пробудила всякого рода опасные течения, пополняя подчас с самой неожиданной стороны свежими молодыми силами как раз сталинизм в новом его понимании (часто не имеющем отношения к И. В. Сталину). К числу этих толковых принадлежал и журналист. Он объяснял, мирил, проповедовал... Наконец он написал письмо Хрущеву. Письмо это было актом отчаяния. (И глупости, как он понял весьма скоро.) Он призывал обратить внимание на явления, которые Хрущев либо не понимал, либо перед которыми он был бессилён, принужденный вести свою отличную от Сталина форму управления... Фактически он призвал Хрущева, человека невежественного, грубого, положительным качеством которого был не просвещенный ум, а народная смекалка, призывал ввести форму просвещенной диктатуры. Ответом на письмо была полная выдача Хрущевым журналиста на растерзание старым, еще со сталинских времен, врагам. Ответом была статья крупного лакировщика, находящегося теперь в чести, статья, от которой откоро-

венно веяло литературным погромом. Эта статья, как ни странно, также была детищем либерализации. Никогда при Сталине не могла бы появиться такая крикливая и самостоятельная статья, с резкими, обидными сравнениями, какие возможны лишь в желтой бульварной прессе Запада. Даже если б Сталин захотел физически убить журналиста и дал бы команду его морально дискредитировать, то статья о нем носила бы более жесткий, ясный характер, каким отличаются пусть самые суровые судебные приговоры от журнальных пасквилей... Статья, появившаяся в центральной газете, несла на себе следы именно не выверенного на самой высшей инстанции судебного приговора, а свободно изложенного пасквиля, написанного раскованной смелой публицистикой, даже самостоятельный стиль которого был невозможен при Сталине.

После этой статьи у журналиста произошел микроинфаркт. Вообще со смертью Сталина и последовавшей либерализацией инфаркт как результат проявления личной разноплановой борьбы и некоторой физиологической формы личного протеста (здесь нет иронии), инфаркт как проявление личного протеста стал встречаться в обществе гораздо чаще. Человек инфарктом протестовал против несправедливости. Итак, у журналиста произошел микроинфаркт, а после микроинфаркта он почти что заперся ныне уже в откровенных закономерных поисках ускользающей правды, без твердого понимания которой он не мог считать себя честным человеком.

Последнее время журналист дошел уж до вовсе воспаленного состояния. (Мне это состояние знакомо, как и вообще многие психологические повороты понятны, поскольку сам я вылеплен судьбой из того же теста, теста, из которого двадцатый век лепит свои жертвы.) Журналист дошел до такого состояния, что близкие начали его опекать, контролировали телефон и проверяли посетителей, не допуская большинства из них, особенно просителей, которые действительно одолели. Благодаря этому о журналисте поползли, в довершение всего, слухи как о человеке черством и скупом. Причем слухи эти пускались людьми настрадавшимися, озлобленными, больными, и отсюда понятно то ожесточение и домыслы, которыми они сопровождались. Все это чрезвычайно ранило журналиста, во-первых, потому, что все это была неправда (как думал журналист, не зная попросту о тех случаях отказа и даже недопущения в дом, которые от его имени и во имя его спокойствия совершались близкими), итак, все это ранило, во-вторых, поскольку он считал это неправдой, а во-вторых, он видел смысл своей жизни ныне именно в помощи жертвам политического террора, одна принадлежность к которым на-

деляла каждого в глазах журналиста святостью. Может, в широком философском смысле такое определение и верно, мученичество действительно наделяет святостью, но в конкретном бытовом смысле, который, как известно, часто находится в противоречии со своей философской основой, в бытовом смысле многие люди эти были весьма далеки от идеала, если не более того, а отдельным мученикам мученичество это в бытовом смысле придало черты самых обычных негодяев. (Задатки коих, наверно, у них существовали и до мученичества, мученичеством же лишь были усилены.)

Но поскольку журналист, как и в сталинские времена, по-прежнему оставался человеком не совести, способной к честному анализу, а долга, то есть предвзятости, то сейчас этот долг его крайне одолевал, долг, повернутый на сто восемьдесят градусов, и явления, познающиеся, при отсутствии предвзятости, простым анализом, на который способен любой человек средней грамотности, были для него, человека серьезного таланта, непреодолимыми нравственными преградами, вокруг которых он метался и о которые бился лбом, последнее время впадая даже в приступы клинического характера. Клинические эти приступы начали ощущаться после сравнительно недавнего (недели три до прихода Висовина) случая, когда в общественном месте один из пострадавших при культе личности с криком «Подлый стукач!» ударил журналиста по лицу, разбив ему в кровь губу. Впрочем, пострадавший этот при культе личности известен был как личность, напивающаяся до белой горячки, а в трезвом виде как вымогатель, политическая кликуша и лгун, хотя относительно пыток, о которых он часто распинаялся, возможно, и не лгал, но безусловно, как считали, преувеличивал, рассказывая, например, о том, что ему пилили ржавой пилой суставы... Относительно суставов люди, сами немало пострадавшие, сомневаются, однако иголки под ногти, может быть, он и попробовал, судя по скрюченным, багровым пальцам его левой руки (результат инфекции, случившейся после подобных пыток). То есть человек этот был непорядочным даже среди реабилитированных. Но для журналиста, как уже говорилось, человека не совести, а долга, эти багровые скрюченные пальцы ставили их обладателя на котурны и при жизни зачисляли его в великомученики. С человеком этим журналист сталкивался несколько раз, главным образом, правда, на материальной почве, помогая ему по его просьбе и деньгами и прочим... Но затем в их отношениях произошло нечто для журналиста непонятное и нравственно сложное. (Очевидно, вымогателя попросту не пустили родные, когда он явился в очередной раз.)

Однако человек поэтического долга подобное логически простое объяснение, конечно же, постигнуть не способен. Раза два при встрече человек этот прошел не поздоровавшись, а потом, будучи крайне пьян, в общественном месте (в клубе литераторов. До ареста человек этот был сперва токарем, потом старшим лейтенантом, но после перенесенных страданий он считал себя литератором, профессия которого вообще импонирует людям пострадавшим, и в качестве литератора что-то даже злое несколько раз опубликовал, воспользовавшись временной растерянностью цензуры, не знавшей в тот момент, кого, за что и как душиТЬ), итак, будучи крайне пьян, он без всякого внешнего повода и подготовки бросился к журналисту и разбил ему в кровь губу.

Дикий, отвратительный случай этот подорвал моральный престиж журналиста разве что среди наиболее крайней молодежи, которая вообще никогда не уважает и на считает правым избитого. Среди людей же прогрессивных, толковых случай этот, наоборот, к журналисту привлек. (Лакировщики, разумеется тайно, а подчас и явно возрадовались.) Раздались голоса, требующие удалить дебошира и алкоголика из общества и чуть ли не требовать его официального наказания... Тут, правда (насчет официального наказания), мнения разделились, поскольку это уже пахло чем-то вроде доноса на человека хоть и неприятного, но пострадавшего в период культа. Среди тех, кто возражал против доноса, был и сам журналист. Это и решило. Вымогатель продолжал дебоширить, тыча всем в лицо свои искалеченные пыткой пальцы (он и журналисту сперва ткнул пальцы, а потом уж ударил), вымогатель, защищенный своими прошлыми мучениями, продолжал хмельно дебоширить, а журналист, который в конечном итоге, не найдя своей правды и запутавшись, оказался беззащитен перед нынешними свободными, демократически шумными временами, приход которых он в самые трудные времена тоталитарного засилья призывал сперва своим необычным тогда внутренним протестом, а потом, даже будучи обласканным Сталиным, своим строптивым литературным стилем, журналист заперся и ощутил приступы клинического характера. Он окончательно перебрался из светлого своего кабинета в темную комнатушку, там работал и спал на узкой кровати. Ранее здесь жила нянька его детей. У него было двое детей, теперь подростков, девочка и мальчик, также его беда, ибо, воспитанные в прогрессивной свободомыслящей семье, они восприняли общественную вольность достаточно подготовленно, сразу же достигли крайностей и после того, как об отце пошли нехорошие слухи, начали спорить, устраивать по-

литические скандалы в доме, иногда и за обедом, а сын вообще обещал уйти в общежитие... Журналист, измученный всем этим, давно утратил власть в семье, которая перешла к его жене Рите Михайловне и домработнице Клаве. Обе эти женщины, кстати, употребляли свою власть в защиту журналиста, применяя чуть ли не рукоприкладство по отношению к избалованным журналистом вымогателям, а жена и по отношению к собственным, полным протеста детям.

Висовин, возможно, тоже был бы перехвачен женщинами, но случайно в передней оказался сын журналиста Коля. Едва Клава заявила, что журналист в отъезде, как Коля вцепился в дверь и крикнул:

— Ты, Клава, просто не заметила... Он сегодня приехал... Входите, вот где он... В комнатухе заперся... Папа, к тебе пришли...— И, так все время возбужденно говоря, Коля провёл Висовина за руку по коридору к дверям комнатухи журналиста.

Такой прием несколько обескуражил Висовина, как и обстановка внутри квартиры, полная излишеств, зажиточности и запахов вкусной пищи. Войдя к журналисту, он остановился, вглядываясь в лицо человека, погубившего его... Они смотрели один на другого второй раз в жизни, но, конечно же, не узнали друг друга, ибо совершенно тогда не запомнили лиц. Дело не только в том, что прошло четырнадцать лет и видели они тогда друг друга мельком. Журналист, например, ясно помнил лицо первого виденного им мучительно умиравшего на снегу человека. Конечно, это ему казалось, что помнит, но тем не менее какая-то если не внешняя, то эмоциональная картина того лица в памяти осталась, и, например, встретить он того человека живым и напомни тот ему о прошлой встрече, нечто, опирающееся не на сознательную память, а на подсознательное прозрение, вполне могло всплыть и восстановить черты лица, сделав их знакомыми. В данном же случае оба они тогда при встрече были безразличны друг другу как люди, обладающие какими-то характерными, индивидуальными чертами... Висовину, впавшему после спирта в полусознательное состояние, вообще все были безразличны, даже и умирающий, несправедливо оклеветавший его перед смертью, ошеломил не сразу, а позднее, по памяти, но это, конечно, осталось в памяти. А мелькнувший журналист вовсе ему не запомнился. Для журналиста же Висовин, которому страшные, гневные слова прокричал в лицо умирающий, Висовин был лишь объектом презрения. Он был виновен уже хотя бы потому, что его обвинял умирающий пар-

гизан. Здесь лишь видимое совпадение с нынешними взглядами Висовина (виновность живого перед мертвым), так же как внешне совпадает долг с верой. Долг носит бытовую, политическую окраску, опирающуюся на поэтический вымысел, доведенный до понятий, ясный даже малограмотному, в то время как вера связана с таким неясным религиозным понятием, как совесть, где никто и ничто тебе не в помощь, ни человечество, ни история, ни прошлое, ни будущее, и где каждый раз приходится решать задачи, стоящие перед библейским Адамом.

Но журналист, повторяю, был человек долга... Так же как ранее, четырнадцать лет назад, Висовин был для него виновен и неправ, поскольку во время тяжелой борьбы с фашизмом его обвинял умирающий советский партизан, так и ныне, во время массового восстановления в правах жертв террора и произвола, Висовин был невиновен и прав, хотя бы потому, что являлся жертвой этого произвола. Хоть журналист и впадал в последнее время в размышления, но по части долга, пусть и на сто восемьдесят градусов повернутого, он был по-прежнему ясен и сложности не допускал. Так же как во время войны с фашизмом он не мог допустить и мысли, что умирающий советский партизан может оклеветать, так и ныне он не мог допустить мысли, что люди, тяжело пострадавшие при культе Сталина, виновны и дурны... Поэтому, едва Висовин, протянув автору газету с очерком «Трус», начал излагать свою концепцию виновности, напрягаясь, чтоб не запутаться, ибо сам ее не совсем ясно понимал, как журналист его перебил и начал говорить именно о своем неоплатном долге перед Висовиным и о тех муках, которые придется теперь испытать, впервые столкнувшись лицом к лицу со своим конкретно содеянным злом. (Он действительно впервые столкнулся с конкретной жертвой своего зла, до того чувствуя свои прошлые грехи опосредованно.) Потеряв нить своей мысли и неприятно встревоженный направлением мыслей журналиста, которые были ему глубоко чужды, Висовин естественно растерялся, растерянность эта перешла в злобу, и далее уж последовало весьма стандартное, буквально до пошлости стандартное действие, которое соответствует ситуации прихода пострадавшего к виновнику своего страдания. То есть Висовин размахнулся и ударил журналиста по лицу, причем по тому же почти месту, по которому три недели назад ударил журналиста пьяный вымогатель... Если первая пощечина потрясла журналиста, то вторую он принял спокойнее, с некоторой задумчивостью. (Забегая вперед, скажу, что третью подобную пощечину, случившуюся спустя некоторое время, он принял уже с циничной улыбкой... «Ну вот так, мол. Что ж вы хотели?») Но вторую пощечину он принял с задум-

чивостью. Очки, сбитые ударом, упали с его доброго лица, отчего оно стало совершенно беспомощным и еще более подобрело. Звук пощечины, к счастью, не был услышан молодежью, ныне отсутствовавшей в доме. (А журналист в силу своего предельного антисталинизма имел ранее дело именно с крайней молодежью, которая всегда толпилась в его доме, спорила там и обедала, ныне же, после первой пощечины с политическим подтекстом, пощечины в клубе литераторов, разом его покинула.) Поэтому молодежь этой второй пощечины не видала и не слыхала, но ее слыхала домработница Клава, подслушивавшая у двери, и даже видала Рита Михайловна, жена, подглядывавшая в замочную скважину...

С криком обе женщины ворвались в комнату, пренебрегая запретом журналиста входить, когда он с кем-либо беседует... Истолковав пощечину определенным образом и имея дело с большим числом вымогателей (в этом смысле иногда и просто мошенники ухитрялись выдавать себя за репрессированных), Рита Михайловна схватила сумочку и, достав оттуда пачку денег, бросила их в лицо Висовину. Пачка денег попала ему прямо в губы и подействовала на него отрезвляюще. Злоба пропала, и, наоборот, появился дикий страх, особенно при взгляде на нехорошо задумавшееся, незащитное без очков, лицо журналиста. Страх этот не был страхом перед только что содеянным, а знакомым страхом перед жизнью вообще, посещавшим уже Висовина. Но это он понял несколько позднее. Тогда же, закрыв лицо ладонью, именно прижав то самое место на своем лице, куда он ударил журналиста и которое теперь болело у него самого (признак нервного шока), Висовин выбежал в переднюю, гадливо перескочив через деньги. За ним, ругая мать и домработницу последними словами, с криком бежал Коля. (Маша, сестра его, к счастью, была у подруги.) Ткнувшись в богатую, обитую кожей с множеством хитрых запоров дверь, Висовин затоптался, забился торопливо, бессмысленно дергая какие-то запоры, но подошедшая домработница Клава, быстро, умело открыв запоры, толкнула Висовина в спину с чрезмерной для женщины силой, так что он едва не упал на лестничной площадке. По лестнице вниз он спустился спотыкаясь, ибо в минуты волнения начинал хромать сильнее обычного. Не успел он пройти и полквартила, как услышал крик позади себя! Коля, которого, очевидно, не пускала мать, все-таки вырвался и бежал следом.

— Подождите,— кричал он,— прошу вас, подождите...

На них оглядывались. Для того чтобы унять эти крики, Висовин остановился, отошел к стене дома, глядя с досадой на подбежавшего мальчика.

Сын журналиста был в том возрасте, когда мальчик только-только начинает превращаться в подростка. В нем не только внутренне, но и внешне, в его лице, шел спор между мягким свежим ребячеством и какими-то жесткими, едва уловимыми чертами усталости и увядания, которые появляются даже и в ребенке при первых признаках пробуждающейся в нем страсти, накладывающей налет морщинок под глазами, меняющей у мальчиков верхнюю губу, чуть заостряющей скулы. В таком возрасте мальчик-юноша особенно остро прислушивается к взрослой жизни. Это период внутренних перемен, и начинающий подросток в этом возрасте вообще чрезвычайно доверчив ко всему, что меняет его прежние представления, которые он связывает с детской глупостью, над которыми смеется, которых стыдится и значение которых поймет лишь позднее, повзрослев, уже в конце молодости, на грани средних лет... Он тянется к любым переменам и готов к ревизии не только своих взглядов на происхождение детей. (О том, что детей не приносит аист, он чаще всего узнает раньше, еще в младших классах, но тогда это вызывает у него смех или тайную гадливость. Теперь же он начинает думать об этом с интересом и, наоборот, высмеивает свою гадливость.) Именно в такое время подросток чрезвычайно легко меняет мнение о том, что ему прежде, в его, как он думает, несерьезном ребяческом возрасте, было дорого, и если не всегда воспринимает это с радостью, то всегда с верой. При этом в таком возрасте с особенной силой тянутся к главным тенденциям в обществе. Особенно это опасно в периоды политической активности общества, когда господствуют крайности: догматизм либо ревизионизм. То же ощущал и Коля. Развитие его шло еще более быстро, чем у обычных подростков такого возраста, благодаря вольнодумному воспитанию и талантливому отцу, которого он любил. И в период всеобщей внутренней переоценки, во время перехода из мальчика в подростки, период, кстати, весьма болезненный, такая резкая переоценка своего любимого отца была в нравственном смысле для Коли то же, что в физическом смысле для подростка разврат. Он страшен, но манит, и при благоприятных для этого обстоятельствах, при встрече, например, с развратной женщиной и в особых условиях, он может весьма привлечь и преждевременно разрушить неокрепшую, детскую еще душу. То же и в нравственном смысле, когда сразу происходит если не физическая, то нравственная переоценка своих детских наивностей. Такая нравственная переоценка произошла, когда отцу дали публичную пощечину с политическим подтекстом, вызвавшую одобрение в кругах крайней молодежи,

среди которой, кстати, по вине отца, Коля давно уже враждался. Если и несколько ранее, побывав в таких «левых» гадючниках («левый» — «правый» — это весьма условно, как стало видно, особенно позднее, в масштабе международном), если ранее он приносил, например, высказывание некоего Титова о том, что Сталин вообще затирал русских людей и всюду у него сидели евреи и грузины, разные там Кагановичи и Берии, если ранее Коля спорил с отцом до хрипоты, правда, в отношении особенно нелепых идей все ж давая себя убедить, поскольку в конечном итоге он был мальчик неглупый, а главное не злой, то после пощечины он переменялся к отцу вовсе и даже озлобился. Что произошло в комнатенке между Висовиным и отцом, он не знал, но был убежден теперь, что отец его, которого он во время глупого детства считал самым лучшим, сильным и добрым на свете, в действительности человек глубоко непорядочный, доносчик (стукач, как говорили), подлец и способен обидеть при поддержке матери, которая ему во всем потакает, любого невинного... Поэтому, когда Висовина чуть ли не вытолкнули из дверей (собственно, Висовин сам бежал, но домработница Клава, толкнув его в сердцах в спину, создала такое впечатление), поэтому Коля сразу же бросился следом, преодолев физическое сопротивление матери также физическим способом. В нем уже начали пробуждаться физические силы, он ощущал это с удовольствием, но сейчас толкнул мать, конечно же, не с удовольствием, а в беспамятстве от гнева, им овладевшего...

Приступ гнева этот не миновал еще окончательно, даже когда Коля догнал Висовина, пробежав полквартиры. Но очутившись лицом к лицу с человеком, который, как Коля понимал, является реабилитированным страдальцем, то есть по нынешним временам весьма уважаемым (тут в Коле в образе мышления чувствовалась невольная закваска отца), очутившись лицом к лицу, он одновременно растерялся, и гнев его разрешился весьма по-детски, то есть постыдно — слезами...

— Простите,— сказал Коля, стыдясь своих детских слез и сильно моргая ресницами, чтоб не дать им скатиться по щекам, что было бы вовсе по-детски,— простите, я сын того человека... У которого вы были... Скажите мне правду... Я знаю, что он предатель, стукач, доносчик... Подлец... Его Сталин любил... Я это знаю... Я уйду от него... Но скажите мне правду, какую подлость он совершил конкретно против вас?.. Мне нужно знать конкретно, чтоб решиться... Прошу вас...

Висовин стоял, прислонившись к стене дома, и смотрел на плачущего мальчика. Журналист жил в тихом переулке, но

в центре, и, пройдя всего полквартиры, Висовин очутился неподалеку от Красной площади, так что из-за домов виднелись кремлевские башни с рубиновыми звездами. И вдруг он вспомнил историю ареста своего лагерного приятеля, к которому собирался сейчас ехать. Судя по рассказам приятеля, нелепая эта (нелепая в нормальное время, в больное же время весьма характерная) история произошла именно где-то здесь, в этом районе... Приятеля этого погубила обычная бытовая рассеянность, которая в нормальное время могла б в худшем случае вызвать насмешки.

Приятель Висовина, математик, шахматист и парень немного со странностями (что во времена общественно-политической активности уже опасно), приехал в Москву впервые. Было это весной тридцать восьмого года, перед майскими праздниками... Москва была солнечная, яркая, праздничная, и прямо с вокзала приятель решил пойти посмотреть на Кремль и мавзолей, тем более что из вещей с ним был один лишь портфель... Ему на вокзале объяснили, как доехать, но по рассеянности он сошел не там, запутался и решил спросить дорогу. Навстречу ему попались двое пионеров в белых рубашках с красными галстуками.

— Ребята,— спросил приятель,— как пройти...— и тут снова по рассеянности он вместо Красной площади сказал Кремлевская,— как пройти на Кремлевскую площадь?

Ребята переглянулись между собой, но приятель на это внимания не обратил. Они объяснили ему, как пройти, это оказалось совсем рядом, однако едва он отошел шагов десять, как его остановил милиционер вместе с возбужденно радостными пионерами.

— Этот,— сразу крикнул паренек повыше,— я сразу понял... Самурай проклятый (в те годы шла война с японцами на Дальнем Востоке и все ребята жили этой войной). Самурай,— повторил мальчик,— япошка... Кто ж из советских людей не знает, как называется Красная площадь?

Приятеля арестовали, и вот тут-то его окончательно погубила уже не рассеянность, а наоборот, здравый смысл. (В те времена кроме рассеянности и здравого смысла могло также погубить пристрастие к танцам, скрип сапог, склочный характер, юмор, доброта, наличие хронической болезни и тысячи иных произвольных и бессистемных причин, которые нелепей всякой нелепой, наперед заданной причины. Чем глупее была причина, тем звучала она убедительнее и неопровержимей.)

Приятель сказал следователю:

— Вы обвиняете меня в шпионаже... Хорошо, но где же здравый смысл? Если шпион не знает, как называется пло-

щадь в центре Москвы, то это все равно, что шахматист садится играть, не зная, как ходят фигуры.

Такая самостоятельность мышления не понравилась следователю, и он сказал:

— Оставим на время Красную площадь... Поговорим о вашем родственнике меньшевике, которого вы нигде не упоминаете в анкетах.

Тогда приятель ответил:

— Товарищ Сталин говорит, что даже сын за отца не отвечает, а вы упрекаете меня родственником, которого я никогда не видел... Это явный перегиб, о котором писал товарищ Сталин в статье «Головокружение от успехов».

Тут следователь совсем уже разозлился.

— Ты,— говорит,— подлец, товарища Сталина себе в союзики берешь...

В общем, когда следователь в те годы так нервничал, то подследственного обычно после этого отливали водой. С тех пор приятель и потерял два передних зуба и свободу... Свободу ему вернули в пятьдесят пятом, а зубы (остальные тридцать он потерял потом в заключении от цинги) приятель компенсировал вставной челюстью. Но вот что интересно, приятель никак не мог забыть этих двух восторженных краснощеких пионеров, отправивших его на каторгу. И, будучи немного циником и неплохим шахматистом, он всячески анализировал разные варианты своей жизни (в анализе жизненных вариантов вообще уже цинизм, хоть и невольный), что было бы, не встретить тогда, в тридцать восьмом, этих ребят и не спроси у них дорогу... Причем многие варианты эти были весьма ужасные, ведущие его и к страшной смерти и на путь разврата и подлости, от которых его спасла каторга...

Висовину эти шутки приятеля не нравились, он его одергивал, ссорился с ним, считая эти рассуждения и глупыми, и не новыми, и лишенными юмора (что и было действительно). Однако сейчас, стоя примерно в том же месте, где, судя по рассказам приятеля, он встретил «своих» пионеров тридцать восьмого года, Висовин вдруг подумал, что те ребята должны были быть того же возраста, что этот странный плачущий мальчик. Эта мысль не показалась, правда, ему смешной, но она не показалась ему и глупой, а после всего случившегося с ним сегодня в этой мысли он увидел печаль и связь времен... Такие честные мальчики, приближаясь к взрослому миру, умеют быть беспощадны, но все-таки беспощадны еще по-детски, честно и радостно. Во времена полной тверди они действуют, не задавая никаких вопросов. Во времена полной хляби их действия как раз и опираются на непрерывные

острые вопросы: как?! почему?! не понимаю! не верю! как вы могли?! И прочее...

Несколько отвлекшись в мыслях, Висовин потерял нить того, что говорил мальчик. А Коля говорил:

— Поймите, я его ненавижу... Вы можете мне поверить... Я разочаровался, разочаровался в нем давно, еще до вас... Я терпел его ради моей сестры... Но теперь это невозможно... я должен узнать правду, конкретную правду, чтоб бросить ему в лицо... И плюнуть... Может, даже плюнуть... И уйти...

Лицо мальчика было сейчас чрезвычайно похоже на лицо его отца в тот момент, когда он потерял сбитые ударом очки. Несмотря на злые слова в адрес отца, выглядел мальчик весьма беспомощно, и эта беспомощность делала его лицо добрым.

— Вот что, — сказал Висовин, — передай своему отцу мои извинения... Скажи, я очень жалею, что вообще пришел... А тем более наскандалил...

Коля растерялся, ибо всем существом своим был нацелен на тяжелый разговор, на узнавание об отце совсем уж страшных истин и на принятие тут же, прямо сейчас, на улице, важного решения, которое изменит всю его жизнь... А между тем жизнь ему менять не хотелось. Он грозил этим родителям, но сам втайне этого чрезвычайно боялся. Он вырос в обеспеченной семье и, будучи честным мальчиком, сам себе признавался, что ему не хочется терять ни своей чистенькой комнатенки, ни беспечной возможности проводить дни так же, как и проводил, то есть в радостях или горьких спорах и мыслях. (В этих горьких мыслях тоже была своеобразная радость разносторонней, динамичной, взрослой борьбы, он это понял именно теперь.) Да к тому же он любил родителей и сестру Машу, хоть и стыдился этих чувств и прятал их даже от себя, как прятал все детское, начав посещать компании и став политическим полемистом. Но его выкрики и вспышки гнева по отношению к отцу и через отца — к матери, которая отца, невзирая ни на что, защищала, его выкрики и гнев тоже были правдивы. И отец, и мать, и сестра Маша, и даже домработница Клава не были для Коли безразличны, поскольку он постоянно думал о них, хоть и всякий раз по-разному. Впрочем, о сестре он думал всегда одинаково и пришел к выводу, что это единственный его друг в жизни... Хоть и Маша в последнее время стала в чем-то чужой... Она, так же как и Коля, увлеклась компаниями, читала неопубликованные стихи, особенно Арского, и спорила с родителями, правда, не так яростно, как Коля... Но, например, публичная пощечина, полученная отцом в клубе литераторов, была воспринята

ими раз но и даже вызвала первый злой спор с вспышкой ненависти, тут же погасшей, но оставившей плохой осадок... Коля в каком-то злом упоении (тайно терзавшем его сердце) считал, что раз отец позволил себе подлость, то так и надо. И для чести и правды нет ни отца, ни матери, ни сына... Все перед честью и правдой равны... Так и заявил в компании крайней молодежи, где поступок этот был принят однопланово... В Маше же неожиданно возобладали родственная не-объективность. С компанией она рассорилась, обозвала всех бездарными жеребцами и алкоголиками. (В компании иногда выпивали, и даже Коля научился лихо опрокидывать рюмку, хотя удовольствия никогда не получал, а делал это через силу, как в детстве пил микстуру.) Правда, и отца Маша не пожалела, а после пощечины стала с ним суше и официальнее... В общем, позиция родной сестры и единственного друга была теперь для Коли неясна и путана... А между тем это была обычная позиция молодой девушки, какой Маша становилась буквально с каждым месяцем все в большей степени. (Она была старше Коли на два года.)

Молодая девушка, если только она честный человек (а Маша, как и Коля, была честна, и здесь сказывалась отцовская наследственность), молодая девушка вообще бывает удивительно умна. Пробуждающаяся в ней женственность, то есть природная мудрость, соединяясь с человеческой чистотой, позволяет ей видеть жизнь свежо и точно... К сожалению, с годами женственность переходит (и это естественно и неизбежно) в материнство, чувство, конечно, великое, но не объективное, которое лишает честную женщину присущего ей в молодости ума, впрочем, компенсируя эту потерю добротой. Ум, даже и честный ум, все-таки благодаря своей точности и объективности ущемляет несколько доброту, и это тоже неизбежно. Поэтому Маша в последнее время становилась несколько суховата и мрачна. Первое, что бросалось ей теперь в глаза,— это глупые поступки людей, которые она видела весьма ясно. Состояние это было неприятное и опасное для нее же самой, и Маша была настолько умна, что понимала это... Она понимала, что в ней может развиться опасное чувство пренебрежения к людям, не к конкретным людям, а к людям вообще. И это было результатом чрезмерной ясности и смещения перспективы. Честность в сочетании с чрезмерной свежей женственностью, пробудившейся в ней, отравляло ей жизнь так же, как патологически сильное зрение отравляло бы жизнь человеку, который стакана воды не мог бы выпить, ибо вода эта предстала бы перед ним кишасшей микробами... На компании она давно махнула рукой. Может,

в отдельности многие из ребят были и приличны, но все вместе они представляли собой соединение неприличия, так и кишашего на самой поверхности, так что даже и зрения напрягать не приходилось. Но, например, отец ее был человек порядочный, однако вот тут ей приходилось постоянно напрягать зрение, чтобы видеть эту порядочность под тем ворохом глупостей, которые он удивительно последовательно совершал. То, что глупости эти как раз связаны с его порядочностью, Маша при всем своем уме понять не могла. И то, что существуют периоды, когда порядочность весьма часто ведет к глупости, она также понять не могла. Ум ее был женственно природен и честен, то есть не способен понимать парадоксы, которыми полна жизнь (ибо для парадоксального ума нужна некоторая примесь цинизма, которого Маша в тот период лишена была начисто). Бывает это с умными, честными людьми нередко, и вот почему, видя глубоко то, что другие не видят, они в то же время не видят и не понимают того, что понятно многим, даже и недалеким людям. Правда, брата своего Маша понимала, поскольку он был натурой, чем-то ей подобной — молодой и не успевшей из этой самой порядочности наделать серьезных глупостей, а делающей, несмотря на стремление к взрослости, больше глупости детские и наивные, хоть временами по форме и неприятные... Поэтому последнее время она невольно относилась к Коле покровительственно, что Коля принял за отчужденность, особенно оттого, что Маша перестала делиться с ним откровенно, как раньше. Это было с ее стороны естественно, поскольку Коля, которого раньше она считала своим другом, теперь стал для нее «младшенький», любимый, но глупый братишка. Хоть после пощечины отцу Коля перешел границы в своем одобрении этого подлого (так Маша считала) поступка, но и тут она сумела не слишком серьезно с ним рассориться, а даже наоборот, после ссоры стала к нему внимательней, понимая, что ему грозит опасность со стороны дурной компании, в знакомстве с которой повинен сам отец, и вообще родители, в силу житейской глупости своей (тут она была в суждениях жестока к близким людям), в силу глупости не способные спасти брата.

Поэтому, вернувшись от подруги (к счастью, минут через десять после случившегося), застав в доме переполох, запершегося в комнатушке отца, плачущих мать и Клаву, с трудом, в самых общих чертах поняв случившееся, Маша сразу же бросилась искать Колю. (Весьма, кстати, безрассудно.) Но ей повезло, и она нашла его неподалеку от дома стоящим рядом с Висовиным... Коля к тому моменту пребывал уже в приятном состоянии после слов Висовина (отсюда видно,

что вся его ненависть к отцу была для него тяжела, и при малейших опровержениях, услышанных от Висовина, он ее с радостью отбросил). Если и до того он относился к Висовину с почтением, как к реабилитированному страдальцу и вообще человеку мужественного облика, со шрамом, вызывающим зависть (не только я отношусь, оказывается, с почтением к шрамам. Это всеобщий признак юношеского уважения к силе и физической борьбе), итак, если и до того Коля Висовина уважал, то, после слов о невинности отца и извинений, Коля его попросту сразу по-юношески полюбил.

— Маша,— сказал он возбужденно сестре,— дорогая Машенька, это Висовин... Он был арестован сталинскими бандитами, конечно, несправедливо, долго был в лагерях... И вот...— заключил он несколько нелогично, желая скрыть произошедшее и опасаясь, что Маша возненавидит и обругает Висовина,— и вот он обещал нам писать...

Едва увидав Машу, Висовин сразу понял, что перед ним серьезная, умная и прекрасная девушка... С Колей он разговаривал хоть добродушно, но пренебрежительно, тут же сам оробел, точно перед старшим, несмотря на то что девушка эта была по крайней мере вдвое моложе его.

— Простите,— сказал он тихо,— клянусь вам, я приехал вовсе не для скандала... Но получилось нелепо... Ваш брат, вот он просит вам написать... Я с удовольствием, если только можно...

Потом, когда девушка ушла, уведя мальчишку, Висовин даже на себя озлился... Особенно за это «клянусь». Он, пострадавший и неопределенно висевший в воздухе человек, которому в средних годах надо было все начинать сначала, клялся и оправдывался перед девчонкой с холеным свежим лицом от постоянно обеспеченной жизни, к тому ж дочерью человека, который, как бы там ни вертеть, способствовал его многолетним страданиям. «Нет,— думал он тут же сразу противоположное,— я не перед девчонкой оправдывался, а перед этой честной святой красотой, перед которой виновно всякое страдание и уродство...»

Эта мысль была уже сложная, из той мистической трясины, в которую его завлекла изменившаяся натура. И приступ хандры, всегда являющейся вслед за этими мыслями, был на этот раз так силен, что Висовину приходило в голову то ли убить себя немедленно, то ли пойти и вновь устроить скандал в доме журналиста, но уже в присутствии и девушки и мальчишки, так, чтоб дойти до конца... К счастью, все это окончилось лишь сильной головной болью и сердечным приступом, который он перенес на скамейке в привокзальном скверике.

В ту же ночь Висовин уехал к приятелю. Приятель к тому времени уже сошелся со Щусевым. Правда, организация еще создана не была. Собственно, инициатором организации был не Платон Щусев, а Олесь Горюн, единственный человек, считавший себя сторонником Троцкого, явление крайне редкое даже и среди пострадавших как троцкисты. В действительности они таковыми не были, и даже наоборот, на Троцкого обрушивались с нападками, так что Горюн и внутри подпольной организации не мог себе нащупать вполне сторонников... Именно поэтому во главе организации стал не Горюн, а Щусев...

Приятель, к которому Висовин приехал и который втянул его в организацию, вскоре умер, поскольку из заключения он вернулся смертельно больной. Висовин остался жить в его комнатке. Впрочем, он все-таки вынужден был обратиться к журналисту за помощью, хоть это и было тяжело. Журналист, который, невзирая ни на что, по-прежнему пользовался авторитетом в определенных кругах и как раз среди потенциальных (или даже прямых) сталинистов, — они все-таки не могли забыть его прошлой талантливой и популярной в народе деятельностью, особенно в период войны с фашизмом, журналист сумел достаточно просто помочь Висовину в бытовом смысле. Более того, у меня даже складывалось впечатление, что он время от времени присылал Висовину довольно солидные денежные субсидии.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

То утро, когда я впервые должен был идти на задание, хоть и не очень рискованное, но серьезное, именно к памятнику Сталину, где, кажется, между нами и активными (судя по активности, явно молодыми) сталинистами завязалась упорная принципиальная борьба, то утро мне запомнилось хорошо. Заснул я поздно и, разбуженный Висовиным, проснулся в состоянии болезненном, с кислотной во рту, с вялыми, слабыми руками и ногами, с болезненно легкой головой. (При нездоровье голова чаще бывает тяжелой, но иногда и болезненно легкой, этак словно пружинит.) Ладонь, неудачно проколота вчера во время ритуала вступления в подпольную организацию, побаливала, и приходилось умываться одной рукой. Впрочем, умывшись, я несколько приободрился. Было уже начало шестого, а нам еще предстояло добираться к назначенному месту, к тому же Висовин затеял завтрак, так что мы несколько запаздывали. Полноценный завтрак еще более меня взбодрил. (Последнее время, растратившись непомерно,

я вновь питался скудно: хлебом, леденцами и кипятком.) На пустой из-за раннего времени общественной кухне Висовин быстро и ловко приготовил из черствых белых булок гренки, залитые яйцами, и крепкий, ароматный кофе. Кажется, я потерял самообладание, набросившись на еду, ибо Висовин вдруг спросил меня:

— На какие шиши ты живешь?

Я растерялся и даже покраснел, но потом быстро опомнился. (Особенно меня взбодрило «ты», как впервые ко мне обратился Висовин.) Я вкратце объяснил ему мое положение, так же обращаясь на «ты».

— Сегодня же поговорю со Щусевым,— сказал Висовин,— либо устроим тебя на какую-нибудь работенку, либо, может, временно возьмем даже на финобеспечение.

Я не знал еще тогда, что организация располагает определенным финансовым фондом, поступления в который идут разными путями и от разных лиц, конечно же, под маркой помощи пострадавшим. Следует добавить, что многие лица, особенно с известными фамилиями, в том числе и журналист, действительно даже понятия не имели о конечных целях организации (замечу, как и некоторые ее члены) и вообще думали, что речь идет о частном благотворительном обществе реабилитированных, созданном для взаимопомощи. Потому эти люди с достатком и с уважаемыми фамилиями охотно шли навстречу, полагая, что самим реабилитированным виднее их нужды. Кроме того, им льстила посильная и неопасная (как они полагали) деятельность по поддержке общества хоть и чисто благотворительного, но не официального, даже полуполигального, как им доверительно объясняли. Полуполигального потому, что, к сожалению, еще существует инерция со времен Сталина всякое частное начинание считать вражеским, так что в период сталинизма даже личные чувства были монополизированы государством. С этим они, конечно, соглашались, причем с той ироничной полуулыбкой, которая была найдена либеральной толпой еще во времена царизма, когда эта полуулыбка служила им главным оружием в борьбе с официальностью. После революции эта полуулыбка постепенно забылась, но со смертью Сталина, где-то в конце пятидесят четвертого, эта полуулыбка возродилась вновь... Однако в то утро я ничего еще не знал о подобных тонкостях и потому приятно удивился, когда услышал о возможности денежной субсидии...

День обещал быть душным и тяжелым, хоть солнца не было и все небо заволочло низкими тучами, но не из тех, которые разрешаются быстрой свежей грозой. Воздух был вла-

жным, как в парилке. Памятник Сталину (через два года его убрала за одну ночь рота саперов), памятник Сталину был, собственно, сооружен еще при жизни самого Сталина (как и большинство памятников, если не все), но сооружен не в тот послевоенный, победный период, когда сталинские скульптуры росли вовсю и всюду (так что со смертью Сталина его многочисленные скульптуры автоматически превратились в памятники). Скульптуры-памятники, построенные в послевоенный период, вследствие массовости несколько утратили конкретный облик, носили на себе печать аляповатости и посредственного ремесла. На них Сталин изображался с бесчисленными, во всю грудь, грубо сделанными гранитными, бронзовыми или даже гипсовыми орденами, в фуражке с вензелями и в твердом остроплечем мундире генералиссимуса. Памятник же, вокруг которого — из-за публичной демонстрации уважения или публичной демонстрации неуважения — разгорелась наша борьба с также нелегальной организацией Орлова (если только ее возглавлял Орлов, ибо впоследствии появилось предположение, что Орлов был лишь подставной фигурой), памятник этот был старый, тридцатых годов, и чуть ли не первый в городе. Сооружен он был явно талантливым скульптором и изображал Сталина человеком молодым, когда убеждения не застыли в некой старческой маске непогрешимости — выражении, каковое существовало на всех массовых скульптурах последних лет... Поза его также была не напыщенна, величественна, но проста, в распахнутой солдатской длинной шинели, а худое, чрезвычайно пригодное, чтоб быть высеченным из гранита, лицо горца (в последние годы это одряхлевшее лицо чаще отливали из бронзы, материала для массовых, не индивидуальных изображений), итак, высеченное из гранита лицо оживлено было некой чуть даже несерьезной усмешкой. Короче, это был именно тот Сталин, не человек, а образ, которому искренне верили, но перед которым еще не преклонялись как перед идолом. Вот почему именно перед этим памятником застрелил себя фронтовик-сталинист (случай этот описан был в подпольном опусе Орлова). И вот почему именно этот памятник был избран крайними сталинистами для публичных демонстраций своей любви к Сталину вопреки хрущевщине и господствующей официальности. Ну и к тому же памятник находился в центре, в оживленном месте, и был для публичных демонстраций весьма пригоден. Располагался памятник в скверике на краю большой шумной площади.

Сейчас площадь была полупуста. По ней лишь изредка проносились ранние трамваи да шли редкие пешеходы. Наша за-

дача состояла в том, чтоб ликвидировать цветы и венки сталинистов еще до того, как площадь станет оживленной и в скверике появится народ. О ведущейся борьбе власти знали, но относились к этому весьма неясно и с какой-то странной, растерянной стыдливостью. Вообще их отношение к проявлению публичной демонстративной любви к Сталину в тот период официальной хрущевщины напоминало отношение к проявлениям публичного уличного антисемитизма. И в том и в другом случае в их действиях появлялась какая-то двусмысленная неловкость... Конечно же, с одной стороны это нехорошо, вроде бы не по закону, но, с другой стороны, стоит ли заострять и привлекать внимание?.. Тут ведь и обратного результата добиться можно... Не лучше ли потише, не баловать вниманием, и вообще вроде бы всего этого и нет... Оно и лучше... Вот так косноязычно и полупшепотом станут разговаривать с вами, если вы будете настойчиво требовать принятия мер... И даже с какими-то намеками, опускаясь с официальности до полуофициальности, если вы, конечно, человек умный и видите не только поверхность явлений, но и немного в глубину...

Вот так примерно разговаривали власти (в лице постового милиционера, дежурящего посреди площади) с Горюном, когда он еще три недели назад, едва цветы были замечены у пьедестала памятника, решил сигнализировать властям, вопреки предостережениям не только Висовина, но и Щусева. (Висовин мне все это пересказал достаточно красочно.)

— Я не намерен отказываться от легальных средств борьбы со сталинизмом,— ответил им Горюн на предостережения. (Горюн, как мне тогда казалось, ибо позднее я видел его и в ином качестве, Горюн был человек до того ожесточившийся, что чувство юмора навсегда покинуло его, и вообще в нем осталось лишь два чувства: злоба и печаль.)

— Товарищ милиционер,— сказал Горюн, подойдя к нему,— на вашем участке совершен акт вандализма... Так же как преступно и антигуманно разрушать что-либо прекрасное, так преступно украшать и демонстрировать любовь ко всему античеловечному и непорядочному... Украшать цветами памятник Сталину, который пролил реки невинной крови, о чем вы, конечно, читали в газетах, есть преступление уголовное и достаточно тяжелое...

Милиционер, пожалуй, не понял и половины сказанного, но все-таки смысл уловил, и смысл этот привел его именно в то неловкое состояние, о котором уже упоминалось.

— Конечно, это так,— сказал милиционер негромко, косноязычно и неопределенно,— но, с другой стороны, перед па-

мятником товарищу Сталину вроде бы цветочная клумба разбита... И горсовет пока вроде бы ничего...

— За кого вы меня принимаете,—сказал Горюн, глядя в упор с печальной ненавистью (он умел так смотреть),—за кого вы меня принимаете? (Милиционер безусловно принял его за человека ненормального, чем Горюн в действительности в какой-то степени и был. Вообще некий психологический вывих, в каждом случае, конечно, своеобразный, присущ был всем членам организации. Тут нет натяжки, как раз наоборот. В организациях крайнего толка это закономерно, хоть, повторяю, каждый приходит к личному вывиху, а через него уже к организации — своим путем.) За кого вы меня принимаете?—вновь повторил Горюн.—Одно дело клумба, хоть и это безобразие, другое же дело цветы, умышленно положенные на пьедестал...

— Вот и сняли бы их, если вам они мешают,—полусшепотом сказал милиционер,—так, чтоб никто не видел... А зачем же шум поднимать?... Только внимание привлечете...

— Ну, подождите же,—сказал Горюн,—ваша как фамилия? Ничего, я и без фамилии, я замечу время, когда вы дежурите, и вас разыщут... Сталинист... Гнать вас надо таких...

— Вот что, гражданин,—сразу обретя твердость и власть, сказал милиционер,—будете оскорблять, мы вас живо приструним... Ишь ты...

К счастью, стоявший неподалеку Висовин увел Горюна... Горюн все-таки на этом не успокоился и написал в горсовет. Ответ он получил странный и на первый взгляд бюрократически-глупый. Создавалось впечатление, что какой-то головотяп переправил письмо не по назначению. В письме (Горюн написал письмо от своего имени. На заседании организации Висовин и Щусев против письма возражали, но согласились, чтоб Горюн написал письмо не от некой группы лиц, а от себя, то есть подписался один), итак, в письме сообщалось, что в таком-то сквере, по такому-то адресу злоумышленники ежедневно украшают памятник Сталину цветами, надругаясь тем самым над памятью сталинских жертв. Письмо же, на первый взгляд из головотыпства, попало в отдел озеленения города, откуда ответили, что разбивка цветочных клумб в таком-то сквере, по такому-то адресу предусмотрена общегородским планом озеленения. Хоть ответ позволял посмеяться над Горюном, но ни Щусев, ни Висовин не смеялись. Не смеялся и я, когда Висовин рассказал мне эту историю. Наоборот, стало как-то тревожно, вспомнилась полная ненависти к реабилитированным письмоводительница из горсовета, вспомнился портрет Сталина в районной прокуратуре, твер-

дый, примитивный сталинизм моих сожителей в общежитии. (Постепенно я ночевал там все реже, перебравшись к Висовину.) Тревога, охватившая меня, была подобна тревоге человека, едва не утонувшего, выбравшегося на твердь и вдруг ощутившего, что твердь эта — весьма зыбкие мостки, под которыми все та же бездна...

Если к письму Горюна в организации вначале отнеслись скептически, то к ответу из отдела озеленения города отнеслись самым серьезным образом, правильно поняв его как издевку тайных сталинистов, засевших в горсовете, и вообще вызов... Было решено повести борьбу с цветами у памятника Сталину собственными силами и самым решительным образом. Опус «Русские слезы горьки для врага» за подписью Иван Хлеб, где описывались цветы у памятника Сталину, еще более всех подхлестнул, во-первых, как очередной вызов, а во-вторых, тем, что через меня стала известна подлинная фамилия автора и отсюда потянулась ниточка к злоумышленникам.

В то пасмурное, душное утро, когда я впервые принял участие в борьбе, у пьедестала памятника Сталину лежал огромный, богатый букет свежих влажных роз, от которого даже на приличном расстоянии (мы стояли за углом в переулке с тыльной части сквера), даже на приличном расстоянии веяло нежным ароматом. Придя, мы уже застали Горюна, который был бледен и зол.

— На правительственной машине привезли,— сказал он прерывающимся голосом,— два раза уже мимо проезжали, проверяют... Вот оно как... Дурак я... Ты, Христофор, прав... И Платон тоже... Какая уж тут легальщина?.. Или они нас, или мы их... И брать цветы нельзя... Идиот остановился, старый сталинист... Стерва... Кровь бы из него выпустить...

Действительно, перед памятником, глядя на розы, стоял крепкий ширококостный старик, из тех, у которых все в прошлом, и с лицом благородно-тупым. (Такие лица есть.)

— Гляди, опять едут,— снова заволновался Горюн,— машина правительственная, что ж тут удивляться?..

Относительно правительственной машины Горюн, конечно, ошибался... Машина, действительно красивая черная «Волга», принадлежала не правительственному учреждению, а являлась частной собственностью Орлова-старшего, занимающего довольно высокий пост, не правительственный, конечно, но административный... Что же касается взаимоотношений Орлова-старшего с сыном, предполагаемым главарем молодых сталинистов, то отношения эти были последнее время самыми натянутыми и со всеми признаками конфликта

поколений. Конечно, взгляды отца также были достаточно консервативны, Сталина он любил, не скрывал это и потому, как говорил в частной своей компании, при нынешних порядках остановился в административном росте... К тому же он и в смысле русского шовинизма в чем-то, где-то, как-то перехлестнул, так что ему было даже поставлено на вид. Но все это в пристойной форме, не по-уличному, без крикливой обличительной откровенности и пользуясь публично исключительно высоким политическим языком, соответствующим господствующей идеологии... То есть это был человек старой административно-политической школы, зародившейся еще в конце двадцатых годов. К действиям же сына он приглядывался с некоторых пор тревожно и имел с ним несколько, мягко говоря, довольно тяжелых разговоров. (В приговоре, который вынесла заочно наша организация Орлову, а он был конечно же приговорен к смертной казни, разговоры его с отцом упоминались довольно подробно. Подробности эти как будто бы раздобыл сам Щусев, воспользовавшись, как предполагают, своими старыми связями. То, что у Щусева была одно время связь с «махровыми», это факт, но связь была, как он указал, весьма непродолжительная, деловая. Он с ними быстро порвал. Правда, с семьей Орловых у него никогда ничего не было, однако он вел ранее знакомство с лицами, к этой семье примыкавшими, и примыкавшими достаточно тесно.)

Особенно встревожился Орлов-отец, когда его вызвали в КГБ и сказали, что сын встал на весьма опасный путь и в доказательство предъявили опус «Русские слезы горьки для врага».

— Как же так?—спросил отец сына, когда они остались в кругу близких и друга дома (друг дома подробно информировал Щусева).—Как же так? Я уже наедине с тобой по-отцовски, по-русски (они немного все выпили), по-русски, как отец с сыном, я уже с тобой говорить не могу... Ну, тогда не мне, матери своей, Нине Андреевне, или вот дяде Ване, другу нашего дома, ответь...

— А так,—вольнодумно и дерзко, не постеснявшись ни матери, ни дяди Вани, ответил Орлов,—а так, что вы, старики, позволяете жидам губить Россию...

— Эх, глупый ты,—в сердцах сказал Орлов-отец, стуча пальцем по столу,—вот ты как раз, если на то пошло, по-еврейски поступаешь... Из-под полы... Из-за угла... Из кривого ружья по своей власти стреляешь... Сложности политической в международной обстановке не понимаешь... Хотя это уже, правда, по-русски, по-нашенски... Они-то ловкачи, они-то все понимают, что им выгодно, а что невыгодно... А ты,

сын, еще своей выгоды не понял... А выгода твоя,— убежденно сказал Орлов-старший и замахал пальцем в воздухе,— выгода твоя— власть советская... Потому что ты Орлов, ты русский человек...

— Отстал ты, отец,— усмехнулся молодой Орлов,— политически ты полностью малограмотный, скажу я тебе... Или приспособленец... Именно так... И меня туда же тянешь...— крикнул он уже озлобившись.— А Маркс, он кто?.. Он тоже еврей... А советскую власть кто создавал? Евреи,— заключил сын совсем уж крамольно.

Орлов-отец вдруг замер на полуслове, точно его парализовало, и так с открытым ртом молчал, пока не залился краской до предельной кондиции. После этого он разом перегнулся через стол, зацепив рукавом бутылку, и схватил сына за ворот.

— Да при Сталине тебя б,— крикнул он,— к стенке за такие слова.

Нина Андреевна с плачем, испуганная ко всему еще звонком разбитой водочной бутылки, а дядя Ваня настойчиво и резко, применив силу, вдвоем оторвали отца от сына, а святого духа между ними давно уже не существовало.

— Ему советская власть не нравится,— кричал отец,— он на нее еврейские анекдотики пишет, пакости разные, а она его, вместо того чтоб, как при Сталине, к стенке поставить,— взмахнул кулаком отец,— она его на годочек всего из университета исключает... Просим, мол, тебя, будь человеком... Поработай годочек среди рабочего класса, ума наберись...

— Выходит, сейчас лучше, чем при Сталине?.. По-твоему, так выходит?..— снова умехнулся молодой Орлов, который горячился не часто, а больше над безграмотностью отца насмехался.

Отец снова на мгновение замер.

— Ты меня не путай,— крикнул он,— соплив еще, я всю войну прошел вдоль и поперек, от старшины до майора дослужился...

— А чего путать,— усмехнулся Орлов-сын,— я просто сказал, что Маркс еврей... Это в любой книжке написано... Хотя тут вру... В любой не в любой, конечно, но написано...

— Вон отсюда!— закричал отец.— Фашистская морда... Я сам на тебя напишу, какие ты слова произносишь... Вон из моего дома!..

— Да что вы про политику все!— закричала Нина Андреевна.— Терентий, ты ж постарше, будь умнее...

— Ты меня не пугай,— сказал молодой Орлов,— я и сам уйти хочу... Своим трудом хлеб зарабатывать буду... Ду-

маешь, я не знаю, что тебе Самуил Абрамович диссертацию написал?.. А я хлеб Самуила Абрамовича есть не желаю... Этот жидовский хлеб мне поперек горла становится... И вообще, слышишь, старик,— тут уж нервы сдали у молодого Орлова,— чтоб этого Самуила Абрамовича я никогда в доме не видел... Со своей Сарочкой...

— А чего тебе их видеть,— теперь, наоборот, успокоился отец, насмехаясь над нервами сына,— чего тебе их видеть, ты ж собираешься из дома уходить на свои хлеба...

На этом словесная перепалка закончилась... Вернее, шум кончился, и началась драка. Дрались без слов, во всяком случае дядя Ваня, друг семьи, передавший затем все в подробностях Щусеву, слов никаких конкретных не помнит... Единственно что помнит,— разняв борющихся, он сам попробовал пошутить, чтоб несколько смягчить гнетущую атмосферу.

— Вот,— говорит,— если б водку вы мочеными яблоками закусывали, тогда б ничего подобного не случилось... Моченые яблоки полное спокойствие внутри создают, и это спокойствие наружу распространяется. Тогда как соленые огурцы, наоборот, внутренности беспокоят.

Но отец и сын на шутку не среагировали, молча сопя в разных концах комнаты в разорванных рубашках... Короче, налицо конфликт поколений, правда, в несколько своеобразном аспекте.

Конечно же угрозы ни с той, ни с другой стороны не осуществились, отец сына не выгнал и сын не ушел, но серьезная натянутость в их отношениях осталась. Отец понимал, что сын по-прежнему занимается недозволенной деятельностью, это весьма тревожило его, но ничего поделать он не мог, и новые разговоры начинать опасался... Примирился, ругая подлое время и Хрущева, ибо при Сталине такое даже в голову не могло прийти парню из порядочной русской семьи... В виде уступки сыну он постарался избавиться от посещений Самуила Абрамовича, причем под внешне приличным предлогом, но тот, со свойственной этому племени дотошностью, все-таки суть раскусил и обиделся... Черт, конечно, с ним, Орлов-старший и сам его терпеть не мог, понимая, что дружба их неестественна и носит характер взаимной сделки. Тем более это понимал сын, натура молодая и порывистая... Правда, этого Самуила Абрамовича сразу же перехватил Егоров из соседнего отдела. (Вот тебе и свой русский брат.) Ходили слухи, что Самуил Абрамович тоже пишет Егорову диссертацию. Так что в этом смысле Орлов-отец чувствовал, что принес сыну определенную жертву, так сказать, пошел на компромисс и потому вправе был ожидать компромисса и от сына. Но

тот, со свойственным молодости упрямством, на компромиссы не шел и, наоборот, совершенно без спроса начал брать автомобиль для своих нужд. Также и в этот раз, возлагая цветы к памятнику Сталину, он пользовался автомобилем отца, поступая, кстати, в этом смысле крайне неосторожно и не отдавая себе отчета, что при нынешнем политическом направлении он может отца скомпрометировать. А может, и понимая это, но действуя так умышленно, затаив на отца злобу. (Орлов был натурой своего времени, то есть протестующей и злопамятной.)

Вообще всякое политически бурное время, при внешней пестроте, особым разнообразием характеров не отличается. Так что Висовин, например, слушая подробности взаимоотношений Орловых, отца и сына, как-то даже усмехнулся общей тенденции — при всем, конечно, различии взаимоотношений со своим отцом — вплоть до каких-то общих реплик старика Орлова и старика Висовина, людей, живущих вдали друг от друга и никогда в глаза друг друга не видевших. Общим у них был образ мыслей и политический язык, произошедший от смешения высокого гуманного языка господствующей идеологии полученный в наследство от теоретиков, и уличного жаргона, рожденного практикой... Это был образ мышления, как правило, людей немолодых, искренне преданных, тупых, но не циничных... Причем искренность свою они сохранили за счет политической (а подчас и элементарной) малограмотности и потому с такой консервативной неприязнью относились ко всякой «учености», к попыткам изменить что-либо как в одну, так и в другую сторону — как в сторону высокой идеологии, так и в сторону откровенного уличного жаргона... Но вернемся к изложению событий.

— Когда этот болван отойдет,— сказал мне Горюн,— быстро возьмите букет... Идите, вы еще не примелькались...

Я посмотрел на Висовина. Он кивнул.

— Хорошо,— сказал я и вошел в сквер.

Площадь между тем оживилась. Появились прохожие и в сквере. Почти все останавливались и смотрели на большой букет роз у памятника Сталину... И шли дальше... Кроме старика, который стоял словно в почетном карауле. Очевидно, старик и привлекал внимание. Я сначала подумал, не из организации ли он Орлова. Многие сначала обращали внимание на лицо старика, уж очень неподвижно торжественно оно было и не вязалось с торопливым бытом рабочего утра. Нет, старик, конечно же, действовал от себя. Слишком искренней была его поза для человека нанятого... Постепенно кое-кто начал возле старика задерживаться.

— Да, что бы ни говорили...— неопределенно, но с намском сказал какой-то с портфелем.

— Сталин есть Сталин,— добавил другой. (Это выражение я уже где-то слышал.)

— Конечно, может, ошибки и были, но не умышленные,— добавил третий,— а так получается— мы дураки... Весь народ, выходит, глупый, один Хрущев разумный...

Кровь бросилась мне в голову, что не бывало со мной давно, с момента индивидуального «политического патрулирования» улиц. Выскочив из-за спины активных сталинистов, я схватил букет, тряхнул его так, что посыпались лепестки цветов. Зеваки-сталинисты растерялись, не понимая, действую ли я от себя или от властей, но на меня бросились трое парней, бог знает откуда взявшихся. (Очевидно, они организовали дежурство за кустами.) Я узнал среди парней Лысикова. Это были орловцы (если назвать их так условно). Отмахиваясь, я побежал к переулку, где меня ждали Висовин и Горюн... Кто-то из зевак от неожиданности закричал. Затарахтел милицейский свисток... В переулке между нами и орловцами произошла скоротечная драка... Взаимная ненависть была настолько сильна, что мы не только били друг друга, но и беспрерывно плевали друг другу в лицо. Впрочем, драка, словно по взаимной договоренности, быстро кончилась, поскольку ни мы, ни они не желали иметь дело с властями. Букет остался за нами. Мы вбежали в какой-то подъезд, и здесь Горюн, ругаясь и тяжело дыша, истоптал розы ногами. Все мы были в дурном настроении, особенно я, поскольку это моя первая операция, хотя как будто не от чего хандрить, так как дело все-таки сделано.

— Надо было Шеховцева взять,— говорил Горюн, морщась и прижимая ладонью подбитый глаз,— и вообще ребят молодых... Щусев всегда по-своему поступает.

— Олесь,— говорил так же раздраженно Висовин, вытирая брезгливо платком лицо («молодые сталинисты» успели и ему несколько раз плюнуть в лицо, хоть он и защищался хорошо, по-десантному, и сшиб Лысикова с ног),— Олесь, вы ведь знаете, что Платон занят делом...

Позднее я узнал, что Щусев с несколькими юношами избивал в то утро бывшего клеветника-доносчика, а ныне пенсионера-гипертоника, которого удалось изобличить и на совести которого, согласно вынесенному трибуналом организации приговору, целый ряд жертв, главным образом в период 1937—39 годов...

Я очень скоро полностью включился в политическую борьбу и отдался ей всецело. Душевные силы мои, до того про-

кисавшие и плесневевшие, получили вдруг разом осмысленный выход, направление и оправдание... Прошлое мое как бы разом оборвалось...

Явившись однажды в общежитие, я застал какого-то парня спящим на моем койко-месте. То есть передо мной предстала картина, которую я ранее воображал с ужасом как кошмар и конец жизни... Теперь же я лишь криво усмехнулся, давая понять, что подобный оборот мне не только не страшен, но даже смешон... Насвистывая (вот насвистывать не надо было, это создавало впечатление, что я пытаюсь искусственно скрыть горечь), насвистывая и глядя на моих бывших сожителей с веселой злостью, я просто и обыденно увязал вещи (которые, как выяснилось, Жуков с Петровым не отдали по требованию комендантши Тэтыне в камеру хранения, в сырость, а аккуратно сложили в углу комнаты), итак, я увязал вещи, ударил ногой по бывшей моей койке, разбудил нового жильца, вытеснившего меня, и сказал:

— Ладно, пей мою кровь, грызи мою грудь... Живи здесь вместо меня и не кашляй...

Все было сказано, конечно, крайне глупо, особенно учитывая изменения, со мной произошедшие, и политические беседы, которые я вел, в частности, с тем же Бруно Теодоровичем Фильмусом... Все было сказано на уровне примитивного Саламова, но если разобраться, то, может, эта глупость как раз и соответствовала моменту и отвечала потребностям происходящего. Все жильцы, и явные враги мои, и более умеренные, как-то неловко, неопределенно молчали, ожидая, пока я уберусь... Именно не было уже ни злобы, ни сочувствия. Просто я им мешал и был здесь лишним. Лишним в этом клоповнике, где я прожил целый период своей биографии неизвестно для чего, цепляясь из последних сил за свое место, ведя борьбу с помощью хитрости, унижения и покровителей...

Взяв чемодан и узел, задыхаясь от жары, поскольку вынужден был натянуть на себя вельветовый выходной пиджак и пальто, в котором ходил зимой, я ударом ноги открыл дверь, причем ударил более, чем требовалось, так что дверь едва не выскочила из петель, и вышел в эту настезь распахнутую дверь не оглядываясь. На улице я встретил Григоренко, бывшего друга моего, который так суетился еще недавно, стараясь мне помочь, сварганив фальшивую справку, чем и на себя навлекал возможность гонений.

— Уходишь? — спросил он.

— Ухожу.

— Ну давай... Счастливо...

— Счастливо...

Мы расстались... И все. Мне было грустно. Я не мог завершить свой трехлетний период борьбы за койко-место дажестройной, ясной мыслью, удачным сравнением и вообще каким бы то ни было образом. Лег я в тот вечер душевно растрепанным и долго не мог заснуть. А наутро прошлое мое, борьба за койко-место, покровители, враги и прочее, наутро прошлое было уже далеко позади. Так происходит, когда живешь в каком-то городе, где у тебя всевозможные связи, взаимоотношения, надежды, опасения, тупики, безвыходность, волнения... А потом садишься в поезд, просыпаешься утром и видишь вокруг совсем другую жизнь, другой пейзаж, другие лица... Пример, может, неточен в том смысле, что я давно уже жил другой жизнью и другими волнениями, но, лишь окончательно перебравшись к Висовину, я ощутил наконец свое прошлое далеко, то есть я ощутил свое прошлое прошлым... До того же оно время от времени путалось с настоящим. То мыслью не к месту, то совершенно неуместной бытовой деталью или даже прошлыми волнениями... (Например, вдруг на мое имя прибыло последнее предупреждение об освобождении койко-места, и это меня взволновало так, что в первое мгновение я захотел даже позвонить Михайлову, бывшему покровителю, но затем лишь рассмеялся.) Теперь прошлое окончательно стало прошлым, и я мог себя полностью посвятить новой жизни и новой борьбе... Я был действительно взят на денежную дотацию и вообще стал профессионалом, участвуя в политическом патрулировании улиц. (Термин мой понравился и вошел в обиход организации.) Участвовал я и в заседаниях трибунала организации, где рассматривались (разумеется, заочно) дела бывших клеветников, доносчиков, работников карательных органов, а также и современных активных сталинистов. Всем им выносился смертный приговор, но с осторожной формулировкой, носящей характер рекомендации, то есть «достоин смерти». Впрочем, на данном этапе смертные приговоры, которые удавалось привести в исполнение, были не чем иным, как обычным избиением... Надо также добавить, что избиения эти тщательно готовились и организовывались удивительно умело, то есть не привлекали серьезного внимания властей и носили все внешние черты обычного хулиганства, уголовщины, даже и не намекая на наличие в них политического подтекста... Но однажды этот принцип был нарушен, и мы сразу же стали перед лицом серьезного кризиса. (Этому способствовал и ряд иных обстоятельств, которые, как известно, в трудную минуту сваливаются все в кучу.) Причем в нарушении принципа повинен был как раз один из основателей организации — Горюн...

Вообще Горюн мне не нравился еще со времени первой моей операции у памятника Сталину... Не понравился даже и после того, как, поразмыслив, я и Висовин (он был со мной солидарен) пришли к выводу, что, откровенно говоря, именно Горюн добился результата. Мы же оказались бессильны. Действительно, нам не удавалось помешать Орлову и его компании возлагать у памятника Сталину цветы и венки. Иногда, если букет или венок мы утаскивали, они его тут же возобновляли... У памятника начало собираться все большее количество народа. Это были уже не случайные прохожие. Приходили специально, некоторые в боевых орденах и медалях... Стояли со слезами на глазах, вспоминали прошлое, иногда пели песни о Сталине и об Отечественной войне, а раз даже устроили митинг, на котором выступил известный поэт-фронтовик... Власти на это реагировали как-то вяло, словно не замечали, хоть в те дни был разгар хрущевских разоблачений, печаталось в газетах большое число статей антисталинского направления, где описывались совершаемые с ведома Сталина зверства и несправедливости. Лишь раз власти вмешались, когда какой-то человек, наверно, пострадавший и реабилитированный, не из нашей организации, конечно, а случайный прохожий, вклинившись в толпу, устроил скандал, крича о страданиях ни в чем не повинных людей от рук убийцы, которого они ныне бесстыдно воспевают. (Явный индивидуалист антисталинист. Как это мне знакомо, знакомо до смешного.) В ответ на эти его потуги контуженный инвалид, брэнча боевыми медалями и стуча протезом, схватил реабилитированного за горло, и два милиционера с трудом вывели этого антисталиниста из разъяренной толпы, вполголоса посоветовав ему быстрее уходить отсюда...

Все это происходило у нас на глазах, и мы, выглядывая из-за угла, бессильно сжимали кулаки, в то время как Орлов (он здесь сам присутствовал) торжествовал вместе со своими молодцами.

— Ничего,— говорил Горюн, с трудом дыша, весь белый от ненависти,— теперь-то я знаю, на каком языке с ними разговаривать,— и он злобно рассмеялся,— завтра их цветочки увянут... Увянут их веночки... У меня теперь свой план...

И действительно, придя следующим утром, мы застали за углом Горюна, теперь уже радостно-злобного. Рядом с ним стоял Вова Шеховцев, парень хулиганистый, физически сильный, но, пожалуй, даже и не просто глупый, а вполне природный дурачок. Он тоже похохатывал. Мы выглянули. Было еще рано, и перед памятником Сталину стояла пока еще небольшая кучка «паломников», но все они были крайне воз-

буждены и потрясали кулаками. У памятника Сталину лежал огромный свежий букет белых роз... Однако букет этот был испоганен, то есть на него было попросту нагажено. Зрелище было неприятное. И я и Висовин возмутились. Даже Щусев, правда по своим соображениям, с брезгливостью высказался на заседании организации против подобных методов. Но вот что интересно. После этого случая действительно все прекратилось, цветы исчезли, сборища сталинистов рассосались, и кажется, даже более активно вмешались власти... Да и случай этот для организации прямых последствий не имел. Неприятности, и по вине того же Горюна, человека, кстати, немолодого и имеющего, казалось, опыт политической борьбы, неприятности случились позднее.

Мы должны были привести в исполнение приговор по делу некоей Липшиц. Было доказано (каким образом, я не знаю, рядовых членов организации в такие подробности не посвящали), было доказано, что в период работы этой Липшиц в одном из наркоматов целый ряд арестов произошел по ее доносам, причем одной из жертв доносов стал даже ее муж, ныне реабилитированный, от которого она в то время публично отказалась. (Не реабилитированный ли этот муж, конечно, бывший муж, послужил инициатором обвинения?) У нас имелась даже старая газетная вырезка (возможно, бывшим мужем и представленная), вырезка, где упомянутая Юлия Липшиц выступает на митинге, кляня врагов народа. (Такова надпись под снимком: «Митинг трудящихся в знак одобрения разгрома преступных троцкистско-бухаринских банд. Выступает старший экономист тов. Липшиц.»)

Эта Липшиц жила в отдаленном районе, нам был указан точный адрес и даже сказано, когда она примерно возвращается домой и какой дорогой... Позднее, уже задним, так сказать, умом, я высказал Щусеву свои соображения, что, судя по ряду на первый взгляд мелких деталей, дело это носило не столько политический, сколько личный характер, именно сведения личных счетов с бывшей женой бывшим мужем, и напрасно оно было принято организацией к рассмотрению и тем более к исполнению... Впрочем, и я оказался не совсем прав... То есть сведения личных счетов, конечно, имело место, но, с другой стороны, Юлия Липшиц действительно оказалась виновной в целом ряде доносов, в которых она несколько не раскаивалась, а даже наоборот, открыто написала Хрущеву, что считает массовую публичную реабилитацию политически вредным шагом, последствия которого для советской власти еще трудно предвидеть... И все это — давно находясь на пенсии, фактически не у дел...

Приговор (она, конечно, приговорена была к смертной казни, и мы должны были выполнить этот приговор символически, то есть избить), приговор привести в исполнение должны были я, Щусев и Горюн... Причем Горюн вызвался сам, как я понимаю, из ненависти, прочитав надпись о троцкистских бандах, которые Липшиц клеймила (напоминаю, он был единственный среди нас сторонник Троцкого). Это бы должно нас насторожить, но мы допустили тут известную халатность, о чем Щусев мне потом прямо сказал... Избиение должно было быть построено по уголовной схеме, то есть без всяких личных мотивов и вроде бы случайно. Задачу нам облегчал тот факт, что на пути от трамвайной остановки к дому эта Липшиц должна была пересечь пустырь, хоть и небольшой, но темный, какие-то бывшие склады, подлежащие сносу и окруженные забором... То, что Щусев знал примерно время возвращения этой Липшиц, также говорило о том, что не обошлось без бывшего мужа, то есть без личных мотивов... Действительно, Липшиц появилась одна и примерно тогда, когда мы и предполагали... Я успел разглядеть, что Липшиц эта была из молодящихся пожилых женщин, с ярко крашенными губами и клипсами, так что личный элемент со стороны бывшего мужа вполне мог присутствовать.

Все было сделано по разработанной схеме. Щусев толкнул ее в тень забора, зажал рот, мы нанесли ей несколько ударов довольно ощутимых и для маскировки вырвали из рук старую сумочку. Но тут-то, как говорится, под занавес, и отличился Горюн... Полный торжествующей ненависти, он наклонился к убежденной сталинистке, прямо к уху ее, и крикнул!

— Сталинская сволочь! (Как это мне знакомо!)

Такой выкрик, конечно, чрезвычайно приятен, но является в данном случае вопиющим нарушением конспиративной дисциплины. Горюн потом оправдывался тем, что им от ненависти овладело необъяснимое состояние, сходное с потерей сознания... Тут я склонен ему верить, ибо и это мне знакомо. Тем более что он не просто крикнул, а вдруг, набрав полный рот слюны, плюнул сталинистке в ухо...

Скрылись мы вполне удачно, унося с собой сумочку, но через день получили сведения от бывшего мужа, что Юлия Липшиц, во-первых, лежит в больнице после избиения, а во-вторых, она подала заявление, будто ее избили и ограбили реабилитированные... И мужа даже вызывали, правда, не в КГБ, а в милицию... Дело принимало неприятный оборот... И в довершение случилось еще одно неприятное происшествие, которого крайне опасался Щусев, а именно — молодежная демонстрация в поддержку какого-то полупод-

польного поэта. Поэтом этим оказался Аким, тот самый, с которым я столкнулся в компании Арского. (Опять правила «пяточка».) Автора «Я попал под троллейбус на улице имени Ленина» выслали, конечно не по политическим мотивам (совсем недавно состоялось выступление Хрущева, где он доказывал, что политических заключенных в государстве нет), выслали за тунеядство. Тем не менее Щусев крайне заволновался. Он понял, что волна, которую он ожидал года на полтора позже (у него был свой расчет), пошла сейчас в силу ряда совпадений и причин. Эта волна грозит сорвать его замыслы... А были, оказывается, серьезные и довольно рассчитанные замыслы, несмотря на несерьезность и видимую глупость деятельности созданной им организации... Как стало ясно из последующего, вся эта деятельность и этот паноптикум, который он набрал в организацию, да и сама идея организации, которую ему подсказал человек нервнобольной и неприятный, каковым был Горюн, все это было нужно ему для целей серьезных. Он готовил громкое политическое убийство, то есть то, чего уже давно не знала страна, убийство, которое должно было, по его мнению, всколыхнуть Россию и вызвать цепную реакцию. Но убийство, которое было бы совершено не одиночкой, а организацией, причем желательно с наиболее значительным числом молодых членов, что важно в смысле всемирного звучания при публичном судебном процессе. И не просто организацией, а организацией действующей, уже имеющей за плечами ряд операций. То есть он мечтал вернуть Россию на тот, как он считал, свежий путь развития, путь уличных действий, переворотов и контрпереворотов, который единственно может расчистить прокисшую атмосферу политического застоя и изменить к прежнему катастрофически гибнущий национальный характер русского народа. (Об этой русофильской формулировке он никому не говорил, и выявилась она лишь потом.)

Было еще одно обстоятельство, которое заставляло его страшиться охлаждения либеральных порядков, охлаждения, которое может уничтожить его совершенно не законспирированную организацию, живущую лишь благодаря нынешней всеобщей атмосфере рыхлости, расплывчатости, хрущевских разоблачений и откровенных политических анекдотов... Щусев был смертельно болен и боялся умереть, не осуществив замыслов...

Конец второй части

15.IV.1970

Часть третья

МЕСТО
СРЕДИ
ЖАЖДУЩИХ



В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым.

Книга Судей, 21, 25.

Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский?

Он сказал ему в ответ: ты говоришь.

Евангелие от Луки. 23, 3.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Кандидатура для совершения этого громкого политического убийства была, оказывается, заготовлена Щусевым уже давно и хранилась совершенно отдельно от архива организации, именно в ящике для постельного белья, на самом дне. Помню, как Щусев, пригласив нас с Висовиным, достал оттуда зеленую папку. Развязывая тесемочки папки, Щусев явно нервничал, грыз куски колотого сахара, затянул тесемочки в тугий узел, так что их пришлось распутывать зубами, и вообще вел себя как молодой автор, который впервые представляет на суд посторонних свое произведение. Но была еще причина, по которой Щусев нервничал и из-за которой он пригласил нас с Висовиным только вдвоем задолго до заседания организации, послав за нами Варю, свою сожительницу. Причина эта состояла в том, что в столь ответственный момент в организации возникла полемика относительно кандидатуры жертвы первого после долгого перерыва акта протеста крайнего толка. Все сходились на том, что фигура эта должна быть всемирной (на меньшее никто не соглашался). Все соглашались, что ввиду ряда обстоятельств в руках нашей организации, образно говоря, «ружье об одном патроне». То есть кандидатура должна быть одна, и более одного раза нам действовать не дадут, последует разгром, потребуются жертвы, мученичество, терновый венец и прочие атрибуты...

Подчас поступки дикие, страшные или героические, в зависимости от нашей собственной идеологии и отношения к произошедшему, в действительности являются естественными процессами целеобразования, но сформированными из такой ткани, из таких обстоятельств и таких фактов, что дей-

ствия людей, ищущих естественного равновесия с окружающей средой, кажутся нам чем-то сверхъестественным. По сути человек, идущий на распятие и к славе, не должен вызывать ни страха, ни восторга так же, как этого не вызывает человек, идущий купить в лавочке колбасы... Так примерно объяснил мне свое состояние Щусев, но тут же добавил, что, к счастью, в человеческой истории логика является чуть ли не самым ненавистным, поскольку именно она лишает человека главного в жизни — цели. Ничто более не способно так увести жизнь к абстракции, безличию, как логика...

Я вспоминаю этот разговор со Щусевым, состоявшийся уже позже (правда, ненадолго), и хочу понять, что же испытывали мы тогда, собравшись в комнатухе у Щусева, как он выразился: «В приемной у матушки-истории, перед тем как войти туда» (все много страдавшие сильно тщеславны, не знаю, говорил ли я это уже, если говорил, то повторяю). Теперь я понимаю, что мы все, кроме Висовина (как выяснилось ныне), испытывали странное волнение, будто при виде ярко освещенной ramпы и темного бесконечного зала за ней... Когда Щусев развязал тесемки папки и я увидел вырезанный из старых газет снимок Вячеслава Михайловича Молотова рядом со Сталиным, принимавших цветы из рук детей, то помню волнение, охватившее меня, и даже радостные слезы на глазах. Позднее, когда план (вернее, планы) стали материализоваться, наступил период технологический, все это поблекло, хоть иногда и потом возникало. Но первые ощущения были величественны. Тут и резкость перехода, и неожиданность его, и парадоксальность. От крайней нищеты, от убогости, от койко-места, от бутербродов с борщевым соусом — к взаимоотношению с крупной политической фигурой страны. Не знаю, как остальные, в той ли мере, но я, это уж точно, я испытал то великое сладкое чувство, которое именуется вкус власти и которое дано испытать лишь избранным...

Однако, как уже сказано, совершенно неожиданно, по крайней мере для меня, в организации возникла полемика, и это выяснилось тотчас же после открытия чрезвычайного заседания. Олесь Горюн настаивал на замене кандидатуры и выдвинул свой контрплан, также в виде папки с тесемочками, правда, папки синего цвета. Когда он раскрыл папку, в ней лежал любительский снимок какого-то восточного человека, совершенно мне неизвестного.

— К черту, — выкрикнул я одним из первых, совершенно уж бестактно, так что меня одернул даже сам Щусев.

Горюна я всегда недолюбливал, тут же я попросту на него

вознегодовал и потому первоначально слушал его предвзято. Я сразу же стал крайним сторонником взаимоотношения (мое выражение. Именно взаимоотношения, а не убийства, так у меня сложилось и закрепилось в голове), взаимоотношения с соратником Сталина Молотовым. Сказать почестному, в убийство я не верил вовсе, тем более что все наши прежние смертные приговоры оканчивались обычным мордобоем. Тут же я вовсе чувствовал какие-то серьезные возможности для себя, для звучания моей фамилии. Тем не менее я начал прислушиваться и к Горюну. Кандидат, которого предлагал он, был иностранец. Фамилию я слышал впервые — Маркадер.

— Здесь имеется протокол допроса Рамиро Маркадера,— сказал Горюн, хлопнув рукой по синей папке.

— Кем снят допрос? — быстро спросил Щусев.

— Это неважно,— замялся Горюн,— то есть, возможно, допрос звучит слишком, согласен... Это я уж потом, в записи, придал ему форму допроса. Первоначально это был как бы рассказ, причем рассказ человека в тяжелом душевном состоянии, а значит, с домыслами. Правда, мне с ним поговорить не удалось. Я стремился и, может, даже добился бы этого, но я опасался... Я мог испортить дело и потому довольствовался через вторые руки... Поэтому не исключаю мистификацию в отдельных элементах... Но в целом... Но идея, но дух... За это ручаюсь... Я согласен назвать это даже легендой об убийце Троцкого Маркадере... Легенда мистифицирует отдельные элементы, но в целом в ней больше истины, чем в историческом факте.

— Да вы подумайте,— тут возмутился уже Щусев, примерно в тех же тонах, что и я ранее,— кому, кому нужен этот мелкий убийца?..

— Масштаб убийцы определяется масштабом жертвы,— спокойно возразил Горюн.

Да, это было так, и это заставило меня по крайней мере утратить предвзятость. Вообще-то Горюн был личностью растрепанной внешне и внутренне, но сегодня, очевидно, поскольку речь шла о деле его жизни, в основном он был точен и собран.

— Прежде всего,— сказал Горюн,— я хотел бы рассказать, как я познакомился с Львом Давыдовичем Троцким.

— Ваш Троцкий,— выкрикнул Щусев,— это то же, что и Сталин... Иностранцы, стремившиеся поработить Россию.

— Я попросил бы,— тихо сказал Горюн и посмотрел на Щусева.

Мне почему-то показалось, что он захотел схватить мас-

сивную пепельницу и ударить Щусева в висок, но сдержался. Мне так подумалось. Горюн взял стул (до этого он стоял опершись о шкаф), уселся поудобнее и начал:

— Во время гражданской войны мне несколько раз приходилось видеть Троцкого издали и слышать его на митинге. В длинной шинели, с бледным лицом, с темной бородкой, он чем-то напоминал Христа.

— Согласен,— выкрикнул Щусев,— с той лишь разницей, что Христос редко прибегал к осмысленной демагогии... Искренней, неосмысленной демагогии у Христа тоже было достаточно... Но это совершенно другое дело...

Щусев почему-то с каждой минутой все сильнее нервничал и от этого вел себя все глупее. Похоже, что между ним и Горюном то ли началась, то ли продолжалась ранее мне неизвестная, ныне же выступившая в яркой форме борьба за власть в организации. Это показалось мне даже неприятным. Висовин же попросту крикнул:

— Перестань, Платон!..

— Итак,— продолжал Горюн (этот ли, этот ли Горюн, который плюнул недавно в ухо Юлии Липшиц, сталинистке? Совершенно преобразился человек).— Итак, познакомился я с Львом Давыдовичем при весьма странных обстоятельствах,— сказал он,— было это в двадцать пятом году... Лев Давыдович тогда уже был вообще отстранен от дел и работал в Концесском... Ведал концессиями, которые в период нэпа выдавались иностранным фирмам, капиталистам то есть, для разработки наших месторождений полезных ископаемых,— обстоятельно объяснил он персонально мне, поняв, что я в том возрасте, когда подобное требует объяснений.

Его обращение ко мне, не скрою, мне польстило... Должен здесь сказать несколько слов и о себе, ибо потом полностью передам слово Горюну. То есть о своем состоянии и положении тогда. Я жил, как уже известно, у Висовина, имел приличную постель, получал от организации некоторую денежную помощь, которая мне ранее и не снилась, то есть приобрел определенную стабильность. Время, повторяю, было веселое, особенно для молодежи, с оплевыванием бывших святынь, со спорами и даже драками. Но все это носило с моей стороны уже менее стихийный, а более осмысленный и организованный характер. А осмысленная ненависть, как известно, менее органична и менее сильна. Я уж больше потешался над прошлым страны, над Сталиным, сталинизмом и сталинистами, чем их ненавидел. Нервы мои почти успокоились. От общества, виновного передо мной, как я считал, я более не требовал покаяния и не мстил ему, а просто издевался над ним,

разумеется, в силу возможности. В то же время умственная цепкость моя, способность анализировать и определять максимальную выгоду в каждой конкретной ситуации, безжалостно отбрасывая, даже бестактно попирая все, что ненужно и мешает,— свойства, без которых невозможно существование на самой высшей и самой низшей ступеньке общества,— все это притупилось во мне, я обмяк и поглупел. Так я воспринимаю себя в тот период, анализируя ныне. В период полного бесправия, незаконной борьбы за койко-место и поисков покровителей, которым я передоверял свою судьбу, мне кажется, я видел и понимал жизнь во всех ее соотношениях гораздо яснее. Так ли это в точности, не знаю. Может, ныне, оглядываясь с ужасом на все последовавшие далее страшные безрассудства, я ищу оправдания глупости своей и потери чувства реального. Но должен признаться, мне тогда было хорошо, я ходил выпрямившись, широким шагом, пополнял на три килограмма и готов был, чуть что не по мне, по малейшему поводу ударить кулаком в зубы. То есть в той реформистской революции, которая безусловно происходила в те годы и результаты которой можно будет оценить лишь впоследствии, лет, может, сто спустя, кулак был принят на вооружение, пощечины, как я уже указывал, сыпались градом, кровь текла из разбитых зубов политических противников, то есть шла возня в обществе. Народ же безмолвствовал, но безмолвствовал не по-пушкински задумчиво, а озлобленно и неодобрительно. Народ не принял антисталинские дела и реформы Хрущева, и, может, в этом и была главная суть хрущевского успеха и главная заслуга этих реформ. В том, что эти реформы приучали народ критически осмысливать и оценивать власть. В этом и только в этом нуждалась тогда страна...

Эту мысль сказал мне Бруно Теодорович Фильмус уж потом, когда я лежал в больнице. Вернее, говорил он много, но я запомнил не все и не то чтобы наиболее, на мой взгляд, дельное, а то, что ухватил, выйдя из забытья... У меня появилась тогда привычка в результате пережитых потрясений и болезней как бы отключаться от голоса собеседника и уходить куда-то вдаль, в себя...

Однако я совсем уже утратил хронологическую последовательность и уклонился в сторону...

Вечер, когда Олесь Горюн рассказывал о своих встречах с Троцким, запомнился мне хорошо. Мы все сидели за столом, на котором рядом лежали две папки: синяя, с делом убийцы Троцкого Рамиро Маркадера, и зеленая, с делом соратника Сталина Вячеслава Михайловича Молотова. Мы —

это я, Щусев, Горюн и Висовин. Должен заметить, что, в силу моей полной материальной зависимости от организации, я очень быстро стал ее доверенным лицом и допускался к обсуждению самых ответственных деталей.

— Я и моя сестра Оксана,— говорил Горюн,— были приглашены в бывшее Дворянское собрание, Дом Союзов, на празднование 5-й годовщины Грузинской Советской республики. Вернее, через коменданта своего учреждения Оксана добилась этого приглашения только потому, что докладчиком на этом юбилее был Лев Давыдович, ибо она давно уже была влюблена в него... Да, я говорю не о политических симпатиях. Троцкий не был красив, но его любили женщины.

— Я не совсем понимаю поворот вашей мысли,— сказал Щусев, по-прежнему нервничавший,— здесь не вечер воспоминаний, а чрезвычайное заседание трибунала организации...

Это было уже полное свидетельство того, что Щусев теряет почву под ногами. Каким-то внутренним чутьем политического функционера он чувствовал, что Горюн берет инициативу в свои руки и кандидатура Вячеслава Михайловича Молотова вполне может быть забаллотирована. Очевидно, то же чувствовал и Горюн, ибо он, всегда такой горячий и невоздержанный, сейчас спокойно сказал:

— Я говорю по существу, Платон Алексеевич... Это свойство Троцкого нравиться женщинам учитывалось специально созданной в тридцатых годах Сталиным комиссией по убийству Троцкого.

— Все это не более, чем ваши домыслы,— раздраженно сказал Щусев.

— Такая комиссия существовала,— сказал Горюн,— со своим постоянным штатом и своими финансами, причем, главным образом, в твердой иностранной валюте, которая поступала, в частности, от продажи картин из запасников Эрмитажа.

— Нас это менее всего должно интересовать,— очевидно поняв ошибочность своего поведения и сумев взять себя в руки, деловито сказал Щусев, делая какую-то пометку в своем блокноте,— фигура Троцкого достаточно скомпрометирована... Русскому народу он всегда был чужд по сути своей... Ныне же он русским народом вовсе забыт.

— Позвольте, я продолжу,— сказал Горюн.

— Но, главное, молодежь,— снова сорвался Щусев,— современная молодежь.

— Позвольте,— снова сказал Горюн. Как-то незаметно он все более брал верх, и даже я, вначале полностью его отвергший, теперь слушал с вниманием и сердился, когда Щусев

перебивал его.— В Дом Союзов мы пришли задолго до начала, но Троцкий где-то задержался, и встретить его в коридоре сестре не удалось. Она находилась в сильно возбужденном состоянии и готова была подойти просто так, без повода. Его портрет она всегда носила на шее, на цепочке. Конечно, вы скажете, что все это от тех экзальтированных дамочек конца девятнадцатого века... Нет, друзья мои. Сестра имела за плечами три года гражданской войны, ранения, пытки в петлюровских застенках, проклятие родного отца, украинского националиста... К тому же она была красавицей, даже несмотря на сабельный шрам через левую щеку... Так вот, когда Троцкий вошел (он несколько опоздал, и начало юбилейного заседания затянулось), когда он вошел, Оксана так порозовела, словно она была гимназисткой, увидевшей любимого поручика,— в этом месте Горюн почему-то усмехнулся и посмотрел на Щусева.

Откровенно говоря, не знаю, почему Горюн пустился в столь уводящие от дела подробности. Было ли это какой-то дипломатической тонкостью, без которой не обходится политическое противоборство, а у нас в организации безусловно началось противоборство... Если предположить, что Щусев окажется во главе России (дикое предположение, но в период затяжных кровавых национальных кризисов такие вещи вполне возможны), если Щусев возглавил бы правительство страны (он сказал мне об этом вскоре), то не сталинисты или вообще сторонники марксистской доктрины были бы его главными жертвами... Так он и сказал.

— Эх, Гоша,— говорит,— дожить бы мне до двухтысячного года (почти все личности крайнего толка мистики, и вот откуда увлечение круглыми датами), дожить бы таким, какой я сейчас по возрасту и по ощущению бытия, быть бы мне во главе России... А Горюна я бы тоже в историю вписал, так что пусть не обижаются... Сталин у меня бы во второстепенных пьевках ходил... Дескать, жил да был... Сосал кровь народную, русскую, вместе с коммунистами и...— он замылся,— и прочими...

Я в этом месте вспомнил вдруг Бительмахера и Ольгу Васильевну, и мне под влиянием этого воспоминания подумалось, что Щусев по стандарту хотел прибавить: коммунистами и евреями, но сдержался. Лицо у Щусева дергалось, и один глаз был значительно более второго и красен.

— Я бы, Гоша, из Горюна, доживи он и сохрани себя нынешним, такого бы врага России соорудил,— и Щусев вдруг грязно выругался и начал нести полную ахинею, то есть заговариваться и путано излагать формы правления России...

Но все это происходило позднее, и за точность приведенных настроений не ручаюсь, ибо и я был в хаосе, предвзят, предумышлен, пытался искать в словах Щусева подтекст, читать между строк и, возможно, в чем-то напутал, а что-то и извратил. Одно точно — Щусев высказал желание возглавить правительство России и организовать громкий процесс по делу Горюна и его сторонников... Тогда же, в тот вечер, о котором идет речь, когда шла борьба между кандидатурами Щусева и Горюна, Молотовым и Маркадером, Щусев еще откровенной враждебности не высказал, а вел себя нервно и обидчиво. Горюн же говорил, казалось бы, совсем не по существу, была ли это тонкая дипломатия, или он действительно сбился, хотя в политике часто бывает, когда обычную путаницу и неразбериху задним числом именуют замыслом точным и смелым, особенно при удаче дела.

— Скучные цифры успехов и достижений Грузии за пять лет господства там марксистской идеологии,— говорил Горюн,— Лев Давыдович изложил так поэтично и своеобразно, что мы все сидели словно на шефском вечере МХАТа.

— Вот он, весь ваш Троцкий,— перебил его на этом месте Щусев,— поэт от марксизма... Сталин прозаик, а Троцкий — поэт. Только и разницы.

— Оставь, Платон,— снова крикнул Висовин.

— И наконец представился случай, который помог нам сблизиться с Львом Давыдовичем,— продолжал Горюн, не обращая внимания на Щусева,— говоря о новой Грузии, он процитировал стихи о ее прошлом. Вспомните, сказал Троцкий, как писал Пушкин (в этом месте Щусев усмехнулся словно бы одобрительно, в свой собственный адрес), «Посмотри, в тени чинары пену сладких вин на узорные шальвары сонный льет грузин...» Нет более той Грузии... Теперь другая там жизнь... И вот тут-то он вдруг сказал: «Простите, товарищи, а может, это и не Пушкин...»

— Лермонтов,— выкрикнул кто-то из зала...

— Да, Лермонтов,— подхватил Троцкий.

— Все-таки Пушкин,— крикнул кто-то из зала.

Троцкий стоял на трибуне несколько, как казалось, растерянный...

— Знаете, товарищи, кто определит, чьи это стихи, позвоните мне по телефону,— и он назвал телефон,— а сейчас будем продолжать доклад.

— Вот он, приемчик,— засмеялся Щусев,— тонкая демагогия... Политическое кокетство... Троцкий во взаимоотношениях с аудиторией был кокетлив, как стареющая вдова.

Горюн зачем-то встал и, глядя с ненавистью на нервно веселящегося Щусева, раздельно сказал:

— За-мол-чите!— после чего снова сел и продолжил:— На следующий же день сестра моя одела лучшую кофточку, напудрила сабельный шрам вдоль щеки и позвонила по этому телефону.

— Короче, ваша сестра была любовницей Троцкого... Эту мысль вы стремитесь нам доказать в течение часа,— перебил Щусев, дергая головой.

Горюн сдержался, употребив мучительное усилие. Я сидел рядом и слышал, как хрустнули суставы его пальцев.

— Я хочу, чтоб организация понимала,— сказал Горюн,— что личный элемент моей ненависти и моего пристрастия чрезвычайно велик. Во-первых, это честно с моей стороны, а во-вторых, все естественно объясняет. Когда идеологические воззрения сплетаются с личным чувством, они достигают подлинной силы... И если в 1935 году моя сестра на Севастопольской набережной пыталась соляной кислотой выжечь глаза тирану, то это был не только политический шаг, но и протест женщины и месть за любимого... А теперь, после того как я все объяснил (по сути, он ничего не объяснил, и здесь Щусев прав), а теперь к делу... Никто так не близок к имени великого человека, как его убийца, и если мы хотим снять налет времени и сделать имя Троцкого живым в обществе и народе, то для этого мы должны заставить загреметь и сделаться живым и публичным имя его убийцы... Итак,— он перелистал папку,— Рамиро Маркадер, юноша из республиканской Испании... После того, как окончился неудачей массовый заговор против Троцкого целой организации во главе с мексиканским художником Сикейросом и Троцкому удалось спастись от чуть ли не ковбойского налета с пулеметными очередями и вообще массовой стрельбой, те, кто возглавляли комиссию по убийству Троцкого в Москве, поняли, что допустили ошибку.

— Такой комиссии никогда не существовало,— сказал Щусев,— это домыслы врагов России... Мне пришлось говорить с одним русским эмигрантом, врагом советской власти. Так вот, он утверждает, что это попросту фальшивка, сфабрикованная троцкистами в 1939 году.

— Я продолжу,— обратился Горюн к Висовину.

— Но только поближе к сути,— сказал Висовин,— уже первый час ночи.

Действительно, был уже первый час. За окном бушевал ливень, и по ветру мотало тяжелые сонные ветви деревьев. Но было тепло. В такую погоду хорошо бродить где-нибудь

по зеленой улице или по парку в хорошем плаще и непромокающих башмаках. Мне кажется, на какое-то время все отключились и забыли друг о друге, глядя в окно.

— Превосходно как,— сказал тихо и совсем иным тоном Щусев,— по-русски льет, по-славянски. Такого дождя нет за пределами России. Вкусно как хлещет, аппетит к жизни пробуждает.

Напомню, Щусев был смертельно болен и знал это, у него в режимном лагере были отбиты легкие, и Щусев знал, что никогда не доживет до двухтысячного года и до возможности быть правителем России, о чем он иногда мечтал и, как я уже говорил, поделился вскоре этими мечтами со мной.

Невольная пауза, заполненная шумом дождя, была прервана Горюном, зашелестевшим бумагами дела Рамиро Маркадера. Возможно, в паузе Горюн усмотрел опасность утратить над Щусевым преимущество, которое тот во многом сам ему предоставил своим неумным, нервным и грубым поведением.

— Личное начало в политике и терроре — вот что необходимо для успеха,— сказал Горюн,— и это поняли в спецкомиссии по Троцкому. Предоставим слово самому Маркадеру... Начнем с этого места,— он перелистал несколько страниц и принялся читать: — «Отца своего я помню плохо, мать же любил чрезвычайно, даже более, чем мать, это у нас в Испании случается не то чтоб часто, но чаще, чем в иных местах, ибо испанская женщина зреет рано и часто рождает детей, будучи сама еще ребенком. Поймите, что значит, когда рядом со зреющим горячим мальчиком — юношей четырнадцати лет все время любимая мать — женщина. Тут все происходит даже неосознанно...»

— А он у вас не лишен поэзии и риторики,— сказал Щусев,— и притом в весьма опасном направлении... Но вот один вопрос, который я вам все-таки задам не от себя, а от организации (у нас иногда говорили друг с другом на «ты», иногда на «вы», так что тут путаницы нет).— Так вот один вопрос,— продолжал Щусев,— к кому он обращался в столой, мягко говоря, откровенном рассказе... Уж не к вам ли?

— Я же сказал вначале,— поморщился Горюн,— что вел допрос через вторые руки... Я был близок с человеком, которому Маркадер не только доверял, но и дружил.

— Его фамилия,— резко сказал Щусев,— и где вы с ним встретились?

— А почему так резко? — спросил Горюн.— У вас относительно меня имеются подозрения?

— Да,— сказал Щусев,— имеются, но вы не учитываете

условия момента... У вас там сейчас неразбериха, и вы не знаете, как действовать... Доносить вы не станете, а если донесете, то не уверены, что вас там одобряют...

— Вы в бреду,— сказал Горюн,— очнитесь, посмотрите, в каком он состоянии,— повернулся Горюн к Висовину,— мне кажется, сегодня нет смысла продолжать.

Действительно, мы и не заметили, как у Щусева начался приступ. При мне у него уже такое случалось, однако не в столь крайней степени. Он побелел, покрылся испариной, губы его сразу обметало чем-то серым, один глаз стал больше второго, жилы на шее набухли. Я сидел ближе всех к нему и понял, что он сейчас рухнет и его надо подхватить и уложить, но в то же время я обдумывал, как совершить движение, свидетельствующее о желании помочь, но не прикоснуться к нему, ибо во мне возникла сильная брезгливость, даже с тошнотой. Это продолжалось не более мгновения. Я инстинктивно встал, сделал движение, но как-то неловко и опрокинул стакан. Этого было достаточно, чтобы меня обогнали Висовин, Горюн и выбежавшая из кухни Варя. Они уложили Щусева, и, когда он уже лежал, я нашел в себе силы прикоснуться к его холодным пяткам, просунуть под них подушечку, в которой он не нуждался, ибо Варя тут же ее убрала. Разбуженный шумом, заплакал младенец Щусева, и Варя метнулась туда, поручив мужа Висовину. Припадок этот чем-то походил на эпилепсию, хоть и не был таковой и по внутренним качествам, как объяснил Висовин, резко от эпилепсии отличался. Так что доктора до сих пор не могли дать ему определения. Щусев глух, терял возможность ориентироваться во времени и пространстве, у него сводило мышцы на затылке, так что приходилось все время держать ему голову, и наступало то, что именуется в медицине «паралич зрения». Это состояние обычно кончалось либо бредом и галлюцинациями, либо повышенной возбудимостью и неприличиями. И для того и для другого случая имелись таблетки и ампулы для вливания, специально подобранные. Висовин при помощи журналиста несколько месяцев назад показывал Щусева известному профессору. Тот определил, что у Щусева травматологические повреждения в позвоночнике, особенно там, где он примыкает к тазобедренным частям, а также отек и набухание мозговой ткани, правда, в незначительном масштабе. Все это он вынес из режимного лагеря, где его били чаще, чем других, ибо вел он себя там вызывающе и однажды, как рассказал мне Бруно Теодорович Фильмус, отбывавший срок вместе с ним, однажды покушался на жизнь женщины, лагерного врача, во время медосмотра.

Разумеется, после того, как случился этот сильный приступ, никакой речи не могло быть о том, чтобы продолжить заседание. Висовин остался у постели больного, а мы с Горюном вышли вместе.

Ночь, мокрая от теплого дождя, была до того по-райски великолепна, что мы шли некоторое время молча, каждый погруженный в свое, и мне даже кажется, во всяком случае это ко мне относится, но, наверное, и к Горюну, оба мы шли потрясенные. Свидетельство этому — тот факт, что мы миновали переулок, где я должен был повернуть к себе, и, как оказалось, прошли немного в сторону и от места жительства Горюна. Капало с крыш и деревьев, и в воздухе висел пряный аромат спящей природы, ибо ночью без людей даже город сливается с природой и кажется ее созданием.

— Вам куда? — спросил наконец Горюн, когда, стоя у низкого парапета, мы вдоволь насмотрелись на темную, приятно плещущую о бетонный откос воду.

Я назвал адрес.

— Так вы у Висовина живете, — сказал Горюн.

Мне вдруг показалось, что он знал, где я живу и что живу у Висовина, а спросил и удивился для чего-то своего, задуманного, о чем я еще не до конца догадывался. Я решил, если он вдруг пригласит меня к себе (впрочем, люди потенциально бездомные часто этого ждут и как-то подсознательно), итак, если он пригласит, значит, у него относительно меня есть замысел. И точно.

— Не хотите ли ко мне? — сказал Горюн. — Поздно уже, часа три, не менее... А мы от моего дома гораздо ближе...

— Хорошо, — сказал я, подумав для самоуспокоения, — пойдемте.

Мое быстрое согласие объяснялось возникшей сегодня неприязнью и брезгливостью к Щусеву. Я знал теперь, что это антиподы, противоборствующие силы, и брезгливость к Щусеву после его припадка была сейчас во мне так сильна, что я решил довести дело до конца и сойтись с Горюном. Я знал, что это не просто приглашение переночевать и мне придется делать выбор и примкнуть к Горюну практически. Правда, я не знал позицию Висовина, она была для меня важна, поскольку это был единственный человек, которого я искренне уважал. Но учитывая, что и Висовин сегодня несколько раз одергивал Щусева, я решил, что он в крайнем случае будет нейтрален.

Посещение чужого жилища, особенно впервые, мне всегда любопытно. Я люблю подолгу осматриваться, если есть возможность, разглядывать предметы, окружающие чужую

жизнь, а если обстановка позволяет, то даже и задавать о них вопросы. Но тут, едва мы пришли, как Горюн сразу же достал из школьного портфеля, с которым ушел от Щусева, ту самую синюю папку и спросил меня, даже еще до того, как предложил присесть:

— Надеюсь, вы спать не хотите?

— Нет,— сказал я (действительно, спать мне не хотелось, голова была ясная).

— Тогда сюда, поближе к окну,— он уселся на край койки, стоявшей вплотную к окну, и положил папку на подоконник.

Я взял стул и присел рядом.

— Вы продолжить хотите? — спросил я удивленно.

— Да, хочу,— сказал Горюн,— мне и самому хочется послушать... Знаете, как сочинитель, соскучившийся по своей рукописи.

— В каком смысле? — сразу насторожился я.

Несмотря на некоторую утрату цепкости ума, вызванную относительным материальным благополучием, я чрезвычайно тонко чувствую чужие просчеты в изложении той либо иной версии, ибо сам к созданию всяких версий был причастен по материальной необходимости. Горюн этого не учел, и вообще, по-моему, он меня недооценил.

— Ах, вот вы о чем,— улыбнулся (мне кажется, просто нашелся) Горюн.— И вы сомневаетесь в достоверности... Впрочем, выразился я действительно неудачно, если, конечно, учесть вашу подозрительность. Но по сути это действительно сочинение, ибо подлинные факты требуют для упорядочения и их прочтения сочинительства в большей степени, чем вымысел. Факт всегда более противоречив, чем вымысел, и потому требует сглаживания в чем-то и даже умалчивания в чем-то. А это, разумеется, создает необходимость сочинительства. То есть ненужного и загромождающего в вымысле никогда нет, в факте же — огромное количество... К тому же факты эти получены через третьи руки, тоже учтите.

— Вы говорили, через вторые... И сами назвали это легендой... По-вашему, легенда и вымысел это разное?

Горюн засмеялся.

— Хотите заменить Щусева в контрдействиях против меня? Зачем? Вы молоды, честны, у вас впереди жизнь, десятилетия, а не два-три месяца, за которые добра не сделаешь и поэтому надо спешить делать зло... Вы его опасайтесь,— сказал он, вдруг приблизившись ко мне.— Замысел его страшен, он умереть хочет, как умирали предбиблейские цари хет-

тов. Вместе с молодыми, не отжившими свое жизнями во-круг... В одной могиле...

Горюн смотрел на меня в упор, положив подбородок на подоконник. Когда я ранее читал, что тот или иной литературный персонаж сверкал глазами, то считал это не более, чем образным выражением, причем не лучшего свойства. Однако сейчас я увидел воочию, что глаза действительно могут сверкать у человека. Мне стало вдруг страшно, и первым моим движением было вскочить и выбежать вон отсюда на улицу. И теперь, конечно, это, возможно, самовнушение, так сказать, крепость задним умом, но мне кажется, то, что я не выбежал, было для меня окончательным поворотным моментом, после которого произошедшие события стали неизбежны. Но главное, мне кажется, в то мгновение я их ощутил и увидел. Конечно, не в виде конкретных картин будущего, а в виде такого эмоционального комплекса чувств, словами трудно передаваемого и неосознанного. Однако все это не более, чем мгновение, и после этого я даже посмеялся над собой. Я остался сидеть также из тщеславия, которого, как известно, мне не занимать, ибо, как я понял, подобные действия Горюна выдвигали меня, человека в организации нового, на заметное место, и если в первое мгновение я испытал страх перед сверкнувшими глазами Горюна, то уже во второе я подумал: а почему бы нет?.. Кстати, многое не только страшное, жалкое и смешное, но и известное, громкое, всемирное рождалось вот так, на совпадениях, на случае, в клетушках, в ночлежках, в ночных разговорах, в разговорах у подоконника, среди горшков отцветшей герани. Тому свидетельство Большая История Стран и Народов... Особенно в последние материально-демократические столетия горшки с геранью часто сопровождали Большую Историю.

— Ну вот и хорошо,— сказал Горюн, точно угадав мои выводы и поняв, что после внутреннего противоборства я мысленно поставил на него и решил заключить с ним союз,— ваше мнение мне важнее многих из организации... Ибо вы из другого теста... Я не чересчур туманно говорю?

— Да, говорите,— сказал я.— Мне не все понятно.

— Вы еще способны возродиться,— сказал Горюн.

— К чему?— спросил я.

— К тому, чтоб дожить до двухтысячного года,— сказал вдруг Горюн негромко.— Мы, старики, в сущности уже мертвы, а вы сможете увидеть Россию совершенно преображенной, в расцвете социалистического творчества, о котором сейчас и предположить трудно... Знаете, Лев Давыдович очень любил Россию, центр всемирного социализма... Я встречался

с ним не так уж часто, так вот, в те редкие встречи, когда я сопровождал сестру, он несколько раз заводил разговор о России... Причем он как-то сказал именно о России двухтысячного года... Он чувствовал, что не доживет... Тиран понимал, куда метил, присудил его первоначально к изгнанию... Вы знаете, он ведь отказался покинуть Россию, и чекисты несли его на руках к автомобилю, отвезшему его на поезд... Тиран знал, что делает, ибо фактически он вывозил за границу его прах... Отправлял прах в эмиграцию, поскольку уже тогда было решено ликвидировать его за границей, действуя через Коминтерн...

Тут Горюн, может быть, и перехлестнул. То есть это выяснилось потом, правда, в виде полемики, ибо досконально все определить было трудно нам с нашими возможностями. Однако, когда потом у Щусева Горюн повторил слова о Коминтерне, тот взбеленился и обозвал Горюна провокатором, ибо Коминтерн, это ему было известно по другому поводу и в других обстоятельствах, ибо Коминтерн, как выразился Щусев, в такие дела не вовлекался. Правда, были попытки привлечь Коминтерн для сбора разведданных об антисоветских приготовлениях, но не более... Но это, повторяю, случилось через два дня, когда Щусев поправился и Горюн снова делал свой доклад на заседании организации. Тогда же, в ту ночь, я, человек в этих делах неопытный, попросту слушал, правда, изредка тревожась, когда рассказ попахивал опасными несуразностями.

— Итак, история Рамиро Маркадера, молодого человека, юноши из республиканской Испании,— говорил Горюн, листая бумаги в папке,— чем более я сам вчитываюсь, тем более понимаю его как человека, да, тут не парадокс, понимаю, что эта жизнь так тесно ныне примыкает к жизни Льва Давыдовича, что, прозвучав снова на весь мир, единственно она может связать живой цепочкой нынешнее поколение с Львом Давыдовичем... Если мы вырвем Рамиро Маркадера из забвения, то выполним великую миссию... Вы понимаете меня? Но к делу... Итак, Рамиро рос без отца и был влюблен в свою красавицу мать... Будем говорить об этом не ради остренькой подробности. В высокой, но тайной политике к таким фактам относятся, как в медицине,— серьезно и делово. Уверен, что при конкурсе исполнителей приговора, будем говорить проще — конкурсе убийц, это сыграло серьезную роль. А ведь в этом смысле существовал серьезный конкурс, конечно, закрытый, так что каждый кандидат думал, что он единственный. Первоначально даже был подобран совсем иной, кажется, какой-то поляк, а Рамиро забраковали. Но потом что-то произо-

шло, поляка, кажется, пришлось устранить, а кандидатура Рамиро всплыла опять.

— А откуда вам так все известно? — забеспокоился я, вспомнив в этом месте разговора беспокойство Щусева и его намеков на связь Горюна с органами.

— Ах, вот оно что, — опять усмехнулся Горюн, — все не отделались от всевозможных глупостей в мыслях... Ну хорошо, я в лагерях находился с одним из этих... Кандидатов-убийц... Австралийцем... Они с Рамиро были друзьями, и многое о личной жизни Рамиро я узнал от него... А потом был еще один человек... Вернее, есть такой человек, но я дал слово, что его не обозначу, не назову... Вот так по крупяцам и явилась картина... Через вторые, а иногда через третьи даже руки... Пришлось и пофантазировать, но только чтоб уложить факты... Не более... Да и вообще, вы для вашего возраста чересчур недоверчивы... А вот я вам доверяю... Я знаю, стоит вам выслушать меня внимательно до конца, как вы поймете и поверите мне до конца. А знаете, почему я так уверен? И почему я тянусь именно к вам?

— Почему? — спросил я, надеясь заранее услышать о том, что я единственный во всей организации честный человек и он это понял с первого взгляда и т. д.

— А потому, — сказал Горюн, — что вы мне удивительно Рамиро напоминаете... Вы способны убить из искренних убеждений... Не за деньги, а из убеждений.

— Как? — крикнул я, чувствуя, точно меня обдало жаром.

— Да, вы напоминаете физиологически... И по нервной основе... То есть по всем тем признакам, благодаря которым Рамиро был первоначально сразу же в конкурсе забракован... Первоначально намеревались подобрать исполнителя приговора с железными нервами... Твердого человека... Однако потом все резко переменялось... В том большую роль сыграл отчим Рамиро, он-то и предложил Рамиро и впоследствии настоял... Фамилия этого отчима Котов, но уверен, что это псевдоним, и не единственный псевдоним. Раз уж мы к отчиму подошли, давайте самого Рамиро послушаем... Этот кусок дела получен из очень близких к нему рук и вмонтирован. «Отчима своего я ненавидел, — прочел Горюн, — и даже раз покушался на его жизнь...»

ГЛАВА ВТОРАЯ

«Отчим мой был из тех, кто своим взглядом ломает чужие взгляды, властелин и аристократ революции. Я не знаю, где он познакомился с моей матерью, но первоначально меня он

приводил в восторг. Победа и удача вообще делает людей доверчивее и добрей, а мы все жили тогда одним — борьбой с фашизмом, единым дыханием. Я был в отряде народной милиции и редко бывал дома. Наверно, в это время мать моя и сошлась с Котовым, но я, хоть и был по природе ревнив, ничего не замечал, в таком ритме полной самоотдачи, полного слияния с делом защиты родины от фашизма, жил». (Некоторые стандартные, плакатные обороты речи Рамиро Горюн сохранил, поскольку, как он говорит, они создавали облик юноши, по необходимости начавшего жить политической жизнью раньше, чем организм приобрел нужную для того духовную и физическую силу. Причем политическая жизнь эта частично подавляла, а частично вбирала в себя так же рано пробуждающееся, может, под влиянием постоянно находившейся рядом молодой красавицы матери, мужское созревание. Поэтому политические воззрения Рамиро и его ненависть к врагам республики были настолько беспредельно естественны и искренни, что обычные, ставшие плакатными выражения звучали для него как откровение). «Я помню день, когда произошла катастрофа,— продолжает Рамиро Маркадер.— Накануне ночью мы участвовали в облове на банду франкистских прихвостней. Собственно, нельзя сказать, что это был серьезный бой. Наш агент, впрочем, и агентом его назвать нельзя, просто один мальчик, младший брат нашего милициано, подслушал, как двое крестьян ругают республику. Ночью их пришли арестовать, но кто-то их предупредил, ни того, ни другого дома не оказалось, а нашли их в сарае возле лесопилки. Вооружены они были старыми охотничьими ружьями, у нас же был даже русский ручной пулемет Дегтярева. Мы запустили этот пулемет на полную ленту, а потом пошли и подобрали их, как подбирают подстреленных воробьев... Правда, и они до пулеметной очереди, когда мы, окружив их, предложили сдаться, и они выстрелили в нас несколько раз, поскольку знали, что их все равно расстреляют. Этот первый бой, первые выстрелы, в нас направленные, и первая победа,— все это полно было юношеского задора и какой-то юношеской игры. В штаб мы возвратились разгоряченные, бодрые, неся убитых врагов и их охотничьи ружья в качестве трофеев. При обыске у убитых обнаружили также по франкистской листовке-пропуску, которые разбрасывались с самолетов и с которыми дезертиры и предатели пробирались к фашистам через линию фронта. За этот бой вся наша группа (нас было восемь человек) была премирована, премирована досрочным отпуском на двое суток. Наш отряд милициано находился километрах в десяти от моего дома, так что и пе-

шком дойти можно было, но мне повезло, и весь путь почти до самого дома я проехал на попутной машине. Моя мать часто снилась мне, и всегда эти сны были счастливы и приятны. Раньше, когда я был малышом и даже до семи-восьми лет, мать брала меня спать к себе в постель, пока я не усну, и я даже не мог одно время по-иному заснуть, как у нее на груди. И я навсегда запомнил ее атласную, совершенно безволосую кожу, какая на юге Испании, в Гренаде, бывала, может быть, прежде у королев, гладкую до того, что по ней приятно было провести языком, ощутив ее неповторимый вкус и ноздрями втягивая ее неповторимый запах, что-то наподобие запаха парного молока. Конечно, тогда, малышом, все эти определения я не чувствовал и не формулировал. Тогда мне просто становилось радостно, спокойно, и без этой радости телесного отношения с матерью я уже не мог заснуть». (Весьма щекотливые и доходящие до крайней точки интимности сведения эти Горюн якобы получил от женщины, которой Рамиро это рассказал в минуту высшего, как он выразился, приступа доверия, которая случается иногда с мужчинами, когда они настолько поражены, именно поражены женщиной, что готовы даже поверить в существование этого полного единства. Чувство это никогда не приходит от анализа и ума, а наоборот, от полного затмения разума, и, как правило, такие предельные откровения высказываются женщинам малознакомым, не понравившимся, а, так сказать, околдовавшим и за короткие мгновения позволившим испытать наслаждение до конца. Такие случаи бывают, особенно с мужчинами, не избалованными любовью, травмированными по части чувств и неухоженными. Женщина эта, как можно догадаться, показала Маркадеру очень похожей на его мать внешне, что нередко случается, когда черты на старой фотографии блекнут и носишь образ в себе, носишь эмоционально и не старым обликом проверяешь живые черты, а скорей к живым, пришедшимся по душе чертам подгоняешь старый облик. Впрочем, общий тип матери Маркадера и встреченной им женщины, наверно, действительно был подобен.)

«Отношения мои с матерью,— сообщает Рамиро,— были ясны и доверчивы, пока однажды я не почувствовал, засыпая у нее на груди, некоторого беспокойства. Не знаю, в чем оно внешне выразалось, я лежал как обычно, спрятав лицо в ее густых волосах, но с тех пор мать перестала укладывать меня спать с собой в постель, а специально вставала, чтобы меня, девятилетнего мальчика (мне, кстати, было уже девять лет), укачать, почесать мне голову пальцами (мне были приятны

эти движения, и, лежа в постели, мать часто так делала), и вообще меня успокоить, пока я не усну. Мать тоже очень любила меня, как и я ее, и я это знал и чувствовал, но когда впервые она не взяла меня к себе, а встала и сказала, что посидит у моей постели, пока я не усну, меня это неприятно настрожило, и именно после этого во мне возникло какое-то чувство неискренности в наших отношениях и стыда. Но постепенно это чувство ушло или спряталось, как и любовь к матери, с которой я был разлучен возрастом, ибо возраст все более разлучает мать и ребенка, особенно сына, превращая их в разные организмы, не испытывающие друг в друге физическую нужду, а лишь нужду эмоциональную, то есть все-таки придуманную. Однако скоро я нашел новую основу моих отношений с матерью, и этой основой стал восторг перед ней, перед ее умом (она для меня была самая умная, конечно), перед ее красотой и т. д. То есть отношения наши выровнялись и стали такими, какие бывают в хорошей семье между матерью и сыном, может, лишь чуть в каких-то вещах доведенных до больших крайностей. Мы, например, не только сильно любили друг друга, но и, случалось, по-настоящему друг на друга обижались при размолвках, и примирения наши лишены были со стороны матери взрослой снисходительности и игры.

В тот страшный день, который начался так удачно, я добрался к дому своему, когда только стемнело, но из-за светомаскировки город весь погружен был во тьму, словно была уже глубокая ночь. Жили мы в одноэтажном доме, и у меня еще с детства был лаз прямо с улицы на чердак, а оттуда на антресоли. Должен заметить, что детские шалости и проказы, не ушедшие с годами, обычно с возрастом приобретают, я бы сказал, неизбежно приобретают дурной смысл. Оказавшись на антресолях, я услышал в спальне тихое движение, не оставляющее сомнения в происходящем, ибо я уже был в этих делах опытен. И все-таки я сделал несколько шагов, прокрался к двери, чтобы увидеть и испить чашу до дна. Повзрослев, я понял, что, конечно, мать моя не могла быть одна, поскольку отца давно не было, но я никогда не видел мужчины рядом с ней. А тут сразу, по своей, разумеется, вине, и от этого я злился еще больше. Я увидел такое, что пожелаю увидеть лишь злейшему врагу... Они были уверены, что одни в доме, потому дверь была приоткрыта, лунный свет проникал сквозь шторы (как нарочно, луна очистилась от туч), и я увидел все происходящее отчетливо. Положение мое становилось весьма опасно и двусмысленно, сердце сильно стучало, и мне казалось, что дыхание мое настолько гром-

ко, что удивительно, как они не слышат его. Впрочем, они были заняты друг другом, и что-то звериное было в них. Мне казалось, что разверзлась земля. Завеса, которой человек окружает свою тайну, отделяющую его от животного, рухнула, я сразу разуверился во всем и во всех и понял, что эти минуты искупают любой мой грех в будущем. Ну конечно, тогда я так не думал, это уж потом я понял, намного позже, может, на год или на два позже. Тогда же я весь взмок, струйки пота капали за ворот, но я не уходил, а смотрел, словно в гипнозе, словно был парализован и видел все и во всех подробностях от начала и до того, как, усталые, они оторвались друг от друга.

Этот Котов, возможно, и любил мою мать, это я понял впоследствии, и она любила его. Это был низкорослый, крепкий блондин с тяжелыми кулаками, человек хоть и резкий, с острой внешностью, но внутренне не злой, и я это понял также впоследствии. Как опытный чекист он был прислан из Москвы в качестве советника республиканской контрразведки, а где он встретился с моей матерью, не знаю, к этому учреждению она отношения не имела и вообще была домохозяйка, любила вязать или готовить вкусные блюда, которые она изобретала сама, в пределах, конечно, скромной пенсии за отца и гонораров за переводы французских романов и пьес (мой дед — француз).

В ту дикую ночь, когда я, южный юноша, распаленный внутренним зноем, видел их физическую близость, причем близость сильного северного мужчины и раскаленной не семейной, то есть не имеющей постоянного мужчины молодой испанской вдовы (так вот кем всего-навсего была моя мать — этот ангел с атласным молочным запахом кожи), в ту ночь я полностью переменялся. Я понял, что все личные привязанности и бытовые интимные ценности ложны и преходящи, ибо человек существо общественное. Выбрался я точно тем же путем, на антресоли и далее на чердак, так что никто ни о чем не догадался. Я уехал к себе в отряд, а примерно через неделю получил письмо от матери, в котором она сообщала, что выходит замуж, и приглашала на свадьбу. Я купил ей большой букет белых роз, а из пистолета вынул обойму и оставил все до единого патрона у себя в казарме. Но на поясе у меня, безусловно по рассеянности (я был страшно рассеян, так себя ощущаю), остался висеть плоский ножевой штык, и едва мы с Котовым оказались наедине в небольшой комнатушке, куда пошли, чтобы принести ящик сидра, как я кинулся на него неожиданно с этим штыком. Он легко выбил штык, профессионально ударив меня ребром ладони по пред-

плечью, и, когда мы стояли друг против друга, обхватив за плечи и дыша тяжело, сказал мне, коверкая испанский язык:

— Ты что, малыш?.. Не надо так... Ты, малыш, нехороший...

Может, он хотел выразиться и резче, но знал не много слов, с трудом смастерил и эти фразы. И при этом в знак прощения, несмотря на то, что я его чуть не заколол, предлагал улыбкой дружбу, как любой иностранец предлагает дружбу тому, кто не понимает его слов. Он взял за рукоять ножевой штык, который после того, как был выбит из моих рук, глубоко вонзился в пол, вытащил его и протянул мне. Я молча вложил штык в ножны, и мы отнесли тяжелый ящик сидра в комнату.

Испанцы любят большие шумные свадьбы, и даже в то тяжелое время (время становилось действительно тяжелым, республика терпела поражение за поражением), даже в то тяжелое время было много гостей, испанцев и русских. На этой свадьбе моей матери я впервые в жизни сильно напился, до потери памяти. Потом я уехал на фронт. Это был уже не отряд милициано, а настоящий фронт. Я увидел много смертей, много крови, жестокостей и всего того, чем особенно характерна внутренняя гражданская война. В одном селении я увидел горку отрезанных детских головок. Это забавлялись арабские марокканские наемники фашистов. Головки принадлежали детям от младенческого возраста до двух-трех лет. Их фотографировали корреспонденты, но я слышал, что даже в целях пропаганды ненависти к фашизму этот снимок был запрещен, его напечатал лишь один французский журнал, да и то не политический, а издаваемый какой-то подпольной эротической сектой, так что весь тираж конфисковала полиция. После этого многое, от чего я страдал, показалось мне мелким и смешным. Я понял, что ненависть нельзя дробить на части и преступно ненавидеть что-либо на земле иное, если существует фашизм. Я написал матери теплое письмо, передал привет Сержу (Котову) и сразу почувствовал, что мне легче и проще жить. Тем более что жить тогда приходилось торопливо, от боя к бою... Мы отступали, многие товарищи мои были убиты, да и сам я удивлялся, как до сих пор меня миновала пуля или осколок. Наконец попало и мне, не насмерть, но достаточно сильно... Я долго находился в беспмятстве, пока не очнулся совсем в другом месте и, как выяснилось, в другой стране. Это была Москва...»

Тут, разумеется, заметно известное упрощение, торопливость, и чувствовалось, что что-то опускается, что-то недоговаривается, а что-то и извращается. Я указал на это Горюну. Он

со мной согласился, но сказал, что, во-первых, пользуется лишь тем, что есть в его распоряжении, причем эта часть истории получена через третьи и не совсем надежные руки, а во-вторых, она менее важна, чем начальная и последующая. Ясно одно, Котов достаточно точно изучил характер молодого республиканца, своего пасынка, жаждавшего мести за поражение республики и где-то в глубине не простившего все-таки своей матери измену с другим мужчиной. Котов так и формулировал на заседании комиссии по убийству Троцкого.

— Это мне известно от австрийца, с которым я сидел и который также был связан с этим делом, числился чуть ли не в организаторах,—сказал Горюн.—То есть речь шла о человеке разочарованном, фанатично ненавидевшем фашизм, по крайней мере в тех формулировках и определениях, которые соответствовали нормам, и к тому ж с известными телесными извращениями и ущемлениями. Как сказано уже, Маркадер первоначально был забракован, но потом, после ряда неудач и изменений, о нем вспомнили. В частности, была попытка завербовать секретаршу Троцкого, которую якобы Троцкий любил. Но тут не получилось. Правда, это оставлено не было, досье на эту секретаршу позднее изучили в ином направлении и тут-то вспомнили о Маркадере. Их досье сопоставили, и Котов, положение которого к тому времени пошатнулось, так что он даже начал опасаться применения самых крутых мер к себе, Котов был вызван, обласкан, и ему предложили рассказать суть операции. Он взялся за нее с жаром, чувствуя в том не только единственный шанс, но более того, огромные возможности. Вскоре он, его жена и его пасынок уже были в Мексике, где жил тогда Троцкий. Здесь также имеется несколько версий и не все ясно—каким образом Маркадер влюбился в секретаршу Троцкого и она поллюбила его (а они действительно любили друг друга), как это было организовано. Есть предположение, что тут участвовала мать Рамиро и, разумеется, его отчим. То есть мать, которая любила своего сына, выступает в качестве сводни, отдавая себе отчет, что любовь эта необходима для осуществления политического убийства. Впрочем, она, очевидно, видела в этом свой долг и свою лепту в борьбе с фашизмом. Душевное состояние всех испанских эмигрантов тогда было тяжелое. Испанская республика билась в предсмертной агонии, и, где бы они ни находились, они как бы сидели у ее тела, подавленные и ожесточенные. В таких обстоятельствах человек типа Рамиро Маркадера, то есть ожесточившийся в общем горе и не успокоившийся в личных, телесных крайностях, такой че-

ловец был незаменим, и тут-то организаторы из центра понастоящему оценили профессионализм Котова, усмотревшего, развившего и организовавшего все это.

Как уж было замечено, Троцкий и его друзья и сторонники после партизанского наскока отряда художника Сикейроса с применением современных средств террора приняли строгие меры предосторожности, и тут необходим был особый подход, полное изменение плана. Сила плана Котова, который он представил комиссии, состояла в его элементарности. От этого плана пахло русской стариной, когда убийцу нанимали за алтын и давали ему в руки осиновый кол. Но никто не предполагал, что этот план осуществится так успешно. Дело в том, что у Троцкого действительно были какие-то поползновения относительно секретарши, кажется, немки, особы политически преданной, но нравственно устойчивой и потому пребывавшей в растрепанности чувств и сомнениях. Она преклонялась перед гением Троцкого, но как мужчина он ей никогда не нравился (так она сказала на суде). Появление Рамиро Маркадера, молодого журналиста, горячего испанца с темной повязкой от ранения, полученного в боях с фашистами, в боях, куда секретарша рвалась сама и где погиб ее жених, испанский троцкист, появление такого человека выручило ее, ибо она сразу разрешила все сомнения и не просто полюбила Рамиро, а полюбила как-то торопливо, чтоб сохранить чистоту своих отношений с Львом Давыдовичем. Она знала и чувствовала как женщина, хоть была молода, что если уступит и станет не по любви любовницей Троцкого, то невольно начнет разочаровываться и в его идейных воззрениях. Такова природа мышления чувственной женщины. И таким образом Лев Давыдович Троцкий, благодаря своей мужской слабости (вот где не выставишь охраны и вот что понимал Котов), благодаря мужской слабости к молодым красивым женщинам, что свойственно многим некрасивым низкорослым пожилым мужчинам, благодаря этой слабости укрепил план Котова и подготовил собственную гибель. С секретаршей своей он расстаться не хотел, чего требовала жена, и не из ревности только, а скорей из соображений безопасности, ибо, будучи не только женщиной, но и политическим функционером, она понимала хлипкость и опасность этого звена в столь сложной ситуации, итак, с секретаршей он расстаться не хотел (она действительно была дельным и в идейном смысле преданным работником), а секретарша уже не могла расстаться с Рамиро, с которым познакомилась (по одной из версий) в какой-то литературной компании. Компании эти в Мексике такие же, как в России, где люди сходятся часто

не на подлинной, а на условной литературной основе. Рамиро начал бывать в доме у Троцкого, к нему привыкла охрана. Правда, самого Троцкого он видел лишь несколько раз мельком, при этом возникали такие ситуации как бы случайно, однако весьма умело и подготовленно, и он был таким образом нейтрализован, как бы невзначай, но понимал всю трудность перехода от подготовительного этапа, который прошел успешно, к решающему. В Москве Рамиро кончил курсы, хоть и краткосрочные, и потому многое понимал и замечал из того, что неясно дилетанту. Собственно, в основном дилетантом он и оставался (на это как раз рассчитывал Котов), но с какими-то элементами профессионализма.

Между тем в центре начали нервничать, ибо время шло и миновали все запланированные сроки. Была получена шифровка весьма неприятного свойства, даже с элементами грубости и угроз. Котов понимал, что в центре не правы и не учитывают тонкость и сложность ситуации. Он знал, сорвись сейчас операция — и о повторении нельзя будет и думать. До него доходили слухи, что некоторые сторонники Троцкого требуют ухода его в подполье, при этом кошунственно (он так и донес в центр) сравнивают обстоятельства с теми, которые заставили уйти в подполье Ленина в 1917 году. Правда, ему было известно, что Троцкий отверг это предложение, но не было никаких гарантий, что он его все-таки не примет рано или поздно, особенно если намеченная операция пройдет неудачно. А конспиратором Троцкий был хорошим, и тогда возможность не то что ликвидации, но даже обнаружения его была бы минимальна. Котов видел оторванность от практики и волонтаризм центра, но тем не менее он был обязан довести требование центра до сведения Маркадера и от себя добавить, что действия Рамиро не совсем решительны, правда, тут же смягчив это словами о необходимости и в дальнейшем при расчетах не проявлять безрассудства, как якобы одновременно рекомендует центр. Во время этого разговора Маркадер был крайне мрачен, а в конце потребовал предоставить ему к следующему посещению несколько гранат, желательно итальянских, осколочных, обращение с которыми ему хорошо знакомо и которые более иных миниатюрны и просты. Он надеется, что его обыскивать не станут, ибо к нему привыкли и считают его чуть ли не своим, женихом их собственной сотрудницы. Идея с гранатами была Котовым сразу же отвергнута по ряду соображений. Во-первых, он не верил в техническую возможность ее осуществления, а во-вторых, время становилось все более сложное, в Москве готовился договор с Германией, ситуация изменилась, и вряд ли был бы ныне

одобрен громкий антифашистский процесс, коим должно было завершиться столь шумное, со взрывами убийство Троцкого, процесс, на котором была бы доказана связь троцкизма с фашизмом и к которому могли бы быть привлечены в качестве свидетелей многие западные прогрессивные деятели. В этой ситуации, когда в советской прессе начали мелькать выражения «близорукие антифашисты», в этой ситуации необходимо было срочно перестраиваться, ибо поскольку операция по уничтожению Троцкого не была отменена, уничтожить его теперь надо было тихо, как бы подпольно, без лишнего шума и по возможности с уголовным, личным уклоном. Вот где великолепно отыгралось предвидение Котова в смысле выбора кандидатуры, ибо если бы была утверждена кандидатура старого революционера или профессионального разведчика, то операцию пришлось бы отменить. Об этом, то есть об условиях ликвидации Троцкого, которые следует соблюсти, и информировал Котов Маркадера. Маркадера это потрясло, ибо, будучи натурой неудовлетворенной, озлобленно-капризной и поэтичной, он искал шума, политических лозунгов и мученичества. Тем не менее он сказал, что новые требования понял, но ему необходимо еще некоторое время на перестройку и обдумывание. И почему-то попросил разрешения съездить к матери (мать его к тому времени выехала в Париж). Котова это насторожило, так что он чуть не потерял самообладание, и он, профессиональный разведчик, прибежал даже к элементарным грубым угрозам, на что Маркадер как-то нехорошо усмехнулся и якобы сказал по-русски (он уже довольно сносно говорил по-русски):

— А жаль, что я тебя на свадьбе штыком не зарезал...

В общем, между ними произошла опасная размолвка в самый напряженный момент. Правда, Котов тут же нашелся, сумел замять дело и чуть ли не извинился перед Рамиро.

— Хорошо,— сказал Рамиро, насладившись, очевидно, извинениями своего бывшего властелина, которому он так втайне и не простил любви и близости к своей красавице матери,— хорошо... Завтра я встречаюсь с моей невестой и попробую выяснить план расположения комнат...

— Ни в коем случае,— крикнул Котов,— ты с ума сошел!

— Я это сделаю осторожно.

— Не говори глупостей... Да ты что, всерьез?..

— А что же делать, ведь ты торопишь...

— Туалет,— сказал Котов,— выясни все относительно туалета... Расположение, подходы, запоры, время уборки... Одного видного белогвардейца нам удалось ликвидировать именно в его туалете... Правда, это наверняка известно Троц-

кому. О всех случаях и разновидностях проводимых нами операций ему, конечно, известно. Но времени мало, надо попытаться счастья именно в этом направлении. Третий раз не получится, а два раза вполне возможно... Когда подопечный остается наедине... Вряд ли туалет охраняется...

— Но охрана может быть в коридоре,— сказал Маркадер.

— Во всяком случае это направление, в котором следует искать.

Котов был взволнован. Очевидно, он по-прежнему не мог забыть просьбу Маркадера съездить ненадолго к матери в Париж, и его мучили подозрения и страх за себя. Ибо он знал, что случится с ним, если операция против Троцкого окончится неудачно, не говоря уже о скандале и публичных разоблачениях. Возможно, он даже колебался в своих намерениях относительно Маркадера, в его вариантах были и действия крайнего толка. Если б Маркадер был ликвидирован во избежание предательства и публичных разоблачений, то его, Котова, при таком объяснении центру, если и не поощрят, то во всяком случае могут простить: операция хотя и провалена, но концы умело спрятаны в воду. И все-таки, поколебавшись, он решил рискнуть (так он писал об этом впоследствии в своих записках, которые пытался издать за рубежом).

Если до сих пор все пересказывалось мной так, как я запомнил изложение событий Горюном, то далее имеется копия показаний из синей папки, которую подготовил Горюн, якобы, по его словам, из вторых надежных рук, то есть за достоверность этого куска он особенно ручался (по одной из версий, этим куском пользовался и адвокат, защищавший Маркадера на суде).

«День, когда я отправился на виллу Троцкого (а это была настоящая вилла),— сообщает Маркадер,— был чрезвычайно жаркий, даже для такой страны, как Мексика. Все было белым от зноя, и одежда липла к телу. Последнее время, отправляясь на виллу Троцкого, я, несмотря на предостережения и запреты Котова, проявляя вольнодумство, всякий раз прятал под одежду маленький браунинг, ибо был уверен, что меня обыскивать не станут. Но сейчас, в жару, спрятать его под легкой одеждой было невозможно, а оденясь я в такую жару поплотнее, такая деталь могла бы вызвать подозрение. Поэтому шел я, чтоб поговорить с моей невестой и, улучив момент, выяснить кое-какие детали, необходимые мне для плана, который давно созрел и который был лично моим, с Котовым я не делился (к счастью, план этот не осуществился, ибо ныне я понимаю его бредовость и опасность).

Вилла Троцкого окружена была большим садом с клумбами цветов, беседками, песчаными дорожками и даже озером, в котором плавали лебеди. Вообще Троцкий был человек состоятельный. Моя невеста утверждала, что он получает баснословные гонорары за свои литературно-политические труды. Мне же кажется, что на его содержание расходовались серьезные иностранные фонды. Но в тот день я менее всего думал о доходах Троцкого. Я был встревожен, и множество мыслей самого разного плана теснились в моей голове, вплоть до желания явиться в полицию. Но это уже, конечно, от усталости и раздражения. Меня в свое время оглушило известие о союзе России и Германии. Я не мог понять, что происходит в мире. Я помнил зверства фашистов, отрезанные младенческие головки, и все это странно переплеталось с физической изменой моей матери (ту стыдную ночь я забыть не мог, и именно сейчас она приобрела живую ткань, засела в голове и не давала покоя). Я был на грани нервного помешательства. Вот в таком состоянии я очутился в саду на вилле Троцкого.

Пройдя центральной аллеей, я увидел мою невесту, которая шла куда-то с бумагами. Я хотел окликнуть ее, но почему-то, опомнившись (перст судьбы), сдержался и пошел следом, решив, что если она оглянется и увидит меня, то скажу, что пошутил и хотел ее испугать. Она свернула на боковую маленькую аллею, и я потерял ее из виду, так как послышались шаги кого-то из охраны и я отступил в кусты, хоть это и было опасно, ибо, найди меня там охранник, все кончилось бы и для операции и для меня. Тем не менее меня не заметили. Я постоял там некоторое время и вдруг увидел свою невесту крайне встревоженную и в расстегнутой у ворота блузке, которая быстро шла, почти бежала к дому, и я, человек влюбленный (я ее любил), безошибочно угадал, что произошло. Благоразумие окончательно покинуло меня (это-то и послужило успеху операции, как я понял впоследствии). Я вышел из кустов и почти бегом направился по узкой аллейке, пока не увидел беседку, увитую зеленью. В беседке сидел Троцкий и что-то быстро писал. Очевидно, сильная жара (которая помешала мне спрятать под одежду оружие) тут пошла мне навстречу и в виде компенсации заставила Троцкого покинуть свой кабинет и пренебречь осторожностью. Наверное, мою невесту, свою секретаршу, которая принесла ему бумаги, он пытался то ли обнять, то ли чересчур горячо пожал ей руку, так что она поняла этот жест выходящим за рамки товарищества. Ясно одно, он что-то игривое совершил, но сам, как эгоист и человек занятый собой, не считал это бог весть чем

серьезным, ибо был совершенно спокоен и сосредоточен, хоть невеста моя бежала в полном расстройстве и, кажется, со слезами. Я не знаю, откуда взялся на песчаной дорожке небольшой садовый ломик, возможно, он был забыт садовником, а возможно, и подброшен судьбой (испанцы, даже и материалисты, в удаче и неудаче всегда суеверны). Я схватил этот ломик и безрассудно шумно пошел, чуть ли не побежал к беседке. Но Троцкий настолько был увлечен работой, что поднял на меня глаза лишь в тот момент, когда я занес ломик правой рукой, левой, для крепости удара, ухватившись за стойку беседки. Мы оба были испуганы, он понятно чем, я же возможностью неудачи, ибо ревность помогла мне решиться на действие, но когда я схватил ломик, то совершенно забыл обо всем и помнил только о механическом действии, которое должно совершиться. От всего этого я ударил первый раз неудачно, и ломик лишь скользнул по лысине Троцкого, поранив его явно не смертельно. Он успел закричать, толкнуть меня в грудь руками и попытался выхватить из ящика стола револьвер. Тут-то и помог мой расчет, когда я схватил ломик не двумя руками (первоначально я его именно так держал, рассчитывая сильнее ударить, однако сообразил, что при промахе я буду беспомощен и сорву операцию), тут-то помогло то, что ломик я держал в правой руке, левой же ухватился за беседку. Я устоял от толчка, к тому ж вид крови в людях нервно-агрессивных пробуждает гнев по отношению к жертве и силу. Я ударил второй раз и понял по мягкому звуку, с которым ломик погрузился в череп, совершенно не вызвав нового потока крови, что этот удар хорош и смертелен. Повернув голову и все еще не выпуская ломака, я увидел бегущих людей. Жену Троцкого я узнал в первое мгновение, остальных не помню. Жена Троцкого, пожилая женщина, бежала ко мне и плакала. И вот тут-то я совершил ошибку. Когда тело Троцкого упало, вернее, вяло сползло со скамейки, на которую он первоначально повалился, я крикнул в злобе:

— Смерть фашизму,— так что с этой фразой моему адвокату пришлось потом здорово повозиться, доказывая, что я был в беспамятстве от ревности и выкрикнул политический лозунг как обыкновенное ругательство. Меня сильно и умело ударили по почкам сзади несколько раз (я лежал в тюремной больнице именно с болезнью почек и думаю, это следствие тех ударов), потом меня повалили, но тут же явилась полиция, которую вызвала моя невеста, и меня повели. Я чувствовал сильную усталость, которая притупляла даже радость от успешного завершения операции. Больше колебания и сомне-

ния меня не мучили. Я выполнил свой долг, внес свой вклад в борьбу с фашизмом и считал, что не зря прожил жизнь. (А это для меня, человека неудовлетворенного во многих отношениях, крайне было важно.) Наиболее ответственный этап был завершен, и предстоял судебный процесс».

С судебным процессом, продолжал излагать свою версию Горюн, основываясь, как он утверждал, на сведениях достаточно достоверных, чуть ли не на записках самого Котова, с судебным процессом и произошла серьезная заминка, вызвавшая беспокойство центра, так что он потребовал от Котова чуть ли не невозможного. Если первоначально все задумывалось и готовилось так, чтобы придать процессу громкое политическое звучание, окончательно связать троцкизм с национал-социализмом и фашизмом, привлечь к защите обвиняемого крупнейших антифашистов-демократов, то ныне политическая окраска никак не была выгодна, поскольку антифашистские выступления были теперь несвоевременны. Влюбленность Маркадера в секретаршу Троцкого и ревность первоначально замышлялись лишь как практическое подспорье, которое в ходе процесса должно быть отброшено и забыто, ныне же этому придавалось первостепенное значение именно как возможность уменьшить резонанс дела. Более того, не было никаких гарантий, что в кругах западных коммунистов и вообще прогрессивной общественности Запада, в результате многолетней агитации и инструкций, исходящих из Москвы и призывающих к разоблачению связей троцкизма с фашизмом, не было гарантий, что процесс в этих кругах не вызовет стихийно новой волны антифашистских выступлений, особенно под впечатлением испанских зверств фашистов. И то, что убийцей Троцкого был испанский республиканец, факт, ранее весьма одобряемый центром, теперь, когда ситуация резко изменилась, чуть ли не ставилось в упрек Котову. В дело вступали соображения высокой политики, и по этому поводу якобы велся разговор между Молотовым, сменившим Литвинова на посту народного комиссара иностранных дел, и ответственными сотрудниками центра. Советской прессе были даны указания процесс замолчать. Котову же приказано было придать ему как можно более локальный уголовный характер и пресекать попытки империалистической реакции, связанной с Англией и Америкой, превратить процесс в политический ради усложнения международной обстановки. Задача Котова облегчалась, правда, теми мерами, какие были приняты им на этот счет в самом начале, даже на свой риск и вопреки указаниям центра (например, указывалось, что после убийства должна состояться демон-

страция местной прогрессивной общественности, но Котов еще ранее сделал все, чтобы ее отменить). Однако его беспокоил, во-первых, сам Маркадер, с которым он не мог встретиться во время тюремных свиданий (это было рискованно), и потому приходилось действовать через его мать, которой он доверял все менее, и, во-вторых, беспокоила также бывшая секретарша Троцкого, которую тоже содержали под арестом и на которую, тем не менее, успел совершить, правда неудачно, покушение какой-то фанатичный троцкист. Бывшая секретарша Троцкого, находясь в нервном состоянии под влиянием всего произошедшего, успела сделать несколько политических заявлений корреспондентам прогрессивной печати, отрекаясь от своих прежних взглядов, что было смерти подобно, ибо грозило политическими сенсациями и разоблачениями, на которые печать прогрессивного направления не менее падка, чем реакционного. Для Котова настали предельно трудные времена, он не спал несколько суток подряд, он мобилизовал всю свою волю, энергию, профессиональный опыт (его собственные выражения из записок). Ему удалось найти хорошего адвоката с умеренными, даже в какой-то степени правыми взглядами. Ему удалось через этого адвоката, человека толкового, хоть и несколько циничного и потому точно понявшего ситуацию, удалось втолковать секретарше, этой нервной женщине, план поведения на предварительном следствии, а затем и на процессе. «Единственный способ спасти Рамиро — это доказать, что убийство совершено из ревности, ибо в Мексике за политические убийства существует смертная казнь». Она поняла это и опомнилась. Тон ее переменялся совершенно. Во-первых, это если и не соответствовало истине, то в какой-то плоскости касалось ее, во-вторых, она вообще была человек сообразительный. Ситуация складывалась гуманная, хоть и попахивающая буржуазным индивидуализмом (обвинение какой-то местной, анархо-левокоммунистической газетенки, вышедшей из-под контроля) — то есть во имя личного, во имя спасения жизни человека жертвовать долгом и общественным звучанием процесса. К тому ж, возможно под влиянием посещения матери (ход был верным), в Рамиро проснулась жажда жить (был момент, страшно напугавший Котова, когда Рамиро решил до конца испить чашу политического борца и войти таковым в историю). На следствии, а затем и на процессе Рамиро вел себя точно, умело подыгрывал адвокату, хорошо взаимодействовал с бывшей секретаршей Троцкого, причиной своей ревности и крайнего поступка в состоянии невменяемости. В конечном итоге требование прокурора о смертной казни было отклонено

и заменено двадцатью годами тюрьмы. Тем не менее не все прошло гладко, вокруг процесса носились всевозможные неприятные завихрения, стихийные антифашистские выступления, весьма скользкие слухи и т. д. Центр был не совсем доволен, хоть в принципе Котова поздравили с успехом. Однако Котов был опытный профессионал, давно работавший в данной системе. Он взвесил и проанализировал обстоятельства, и, когда следующей шифровкой его вызвали в Москву, он собрал чемоданы и поехал в Париж, где, проживая в дешевых незаметных гостиницах, писал свои записки, надеясь их издать, тем более что после договора с Германией отношение к России изменилось к худшему.

Но, как бы там ни было, фашизм наступал, а прогрессивный деятель, к которому Котов обратился (он сделал ошибку, приняв критику этого прогрессивного деятеля в адрес Советского Союза за полный отход на иные позиции), деятель этот, во-первых (как он заявлял даже иногда публично и вот что было упущено Котовым), во-первых, понимал, что Россия по-прежнему сила, противостоящая фашизму, мирный договор с ним — временный и будет фашизмом нарушен, а во-вторых, вообще все написанное принял за грубую фальшивку, настолько оно расходилось с его взглядами и представлениями о прогрессивно-демократической основе Советского Союза. Так как в данный момент прогрессивный деятель этот был в ссоре с Советским Союзом и не имел контактов с советским посольством, он действовал через третьи руки и передал эти записки одному уважаемому поэту, разумеется, прогрессивному, который хоть и подписал протест против договора России с Германией, но все же сохранил связи с местными коммунистами. Они-то и передали записки в посольство. И также, опять идя по цепочке от прогрессивного поэта к прогрессивному деятелю, люди центра, бывшие сослуживцы, выследили Котова (его давно искали). Котов вскоре был убит (может, по совпадению, согласно его собственной идее, то есть в туалете гостиницы), а записки, разумеется, далеко запрятаны или даже ликвидированы, но вполне возможно, что копии с них были сняты, и Бог весть каким путем часть их попала в руки Горюна, троцкиста, специально посвятившего себя поискам и восстановлению обстоятельств смерти Льва Давыдовича Троцкого. Что касается Маркадера, то сумеет он скрыться после совершения убийства, его безусловно постигла бы тогда, под горячую руку и по горячим следам, участь Котова. Но поскольку он был арестован и защищен от ликвидации тюремной камерой в Мексике, то когда постепенно все вошло в свое русло, Троцкий был мертв и никаких особых побочных

явлений это не вызвало, а поведение Маркадера в тюрьме с точки зрения интересов дела было безупречным, учитывая серьезные заслуги Рамиро, ему присвоили тайно звание Героя Советского Союза, о чем ему сообщило доверенное лицо во время одного из свиданий. (По другой версии, он получил это звание уже при Хрущеве.) Что касается судьбы его матери, то она неизвестна, и после ликвидации Котова о ней нигде не упоминается, во всяком случае у Горюна о ней сведений не имелось. О Маркадере же известно, что за двадцать лет тюремного заключения он великолепно выучился играть на бильярде, что неоднократно доказывал потом в Москве, в клубе испанских политэмигрантов, где Горюну и удалось его увидеть...

На этом оканчивались записи в синей папке, но в ней имелось несколько чистых листов, и, показав их мне, Горюн сказал:

— Эти листы предстоит заполнить нам с вами и поставить точку (он, оказывается, не лишен был символических жестов, что выдает в нем человека тщеславного. Впрочем, в нашей ситуации и политической борьбе это такое качество, о котором и упоминать не стоит как о безусловно разумеющемся).

Помню, когда Горюн закончил чтение отрывков дела Рамиро Маркадера, дополняемое его устными обширными комментариями, было уже утро в самом расцвете. Мы сели читать в ночной тьме и прохладе, а окончили у раскаленного солнцем подоконника. Я посмотрел на Горюна и увидел перед собой усталое сонное лицо. Очевидно, то же выражение было и у меня. Горюн потянулся, хрустнул костями, зевнул широко, показав нездоровые зубы и неприятно дыхнув мне в лицо, и прикрыл глаза левой рукой, искалеченной пыткой. Жест этот он совершил, пожалуй, невольно, как всякий усталый человек, но мне показалось, что искалеченную левую руку свою он продемонстрировал, чтоб упрекнуть меня или попугать. Зачем это ему, не пойму, то ли это какой-то сложный план, то ли элементарный просчет, ибо тут же он предложил мне (как я и догадывался) заключить с ним союз вне организации на тот случай, если в результате интриг Щусева кандидатура Маркадера не будет утверждена. При таком обороте дела он предлагал мне выехать в Крым (в Крыму я, кстати, никогда не был и моря никогда не видел в разумном возрасте), выехать в Крым, где, по словам Горюна, в настоящее время Рамиро Маркадер отдыхал в одном из закрытых санаториев в районе Ялты.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Должен ради справедливости заметить, что дело Маркадера произвело на меня весьма сильное, хоть и противоречивое впечатление. Тем не менее организация, несмотря на то что первоначально Горюн получил известное преимущество, в конечном итоге дело действительно не приняла и забрала, отдав предпочтение кандидатуре Щусева, то есть Молотову. Кандидатура эта была признана более серьезной, целесообразной для России (в последнее время в организации мыслили только такими категориями). Что же касается подготовленного Горюном дела Маркадера, то оно было попросту названо Щусевым в большинстве своем сфабрикованным и несерьезным. Причем в заседании организации на этот раз приняла участие несколько человек, которых я никогда не видел, очевидно они были с периферии, и которых Щусев срочно пригласил. Единственным человеком, который поддержал Горюна, был я. Висовин же воздержался. На том и порешили. Щусев предупредил Горюна, что он обязан подчиниться большинству. Горюн дал обещание, но видно было, что Щусев обещанию не верит и обеспокоен. Я пытался с Висовиным заговорить о Горюне, но он вдруг о нем отозвался со злобой, ему не свойственной, и в самом что ни есть питерском пролетарском духе обозвал его «подлым троцкистом». Мое отношение к Горюну было весьма противоречиво и более дурно, чем хорошо, особенно после проведенной у него в квартире ночи, но тут уж во мне из одного противоречия все изменилось.

— Что, Христофор,— крикнул я,— сталинская питерская косточка взыграла?..

— Да пошел ты,— угрюмо огрызнулся Висовин.

Впрочем, спорить со мной не стал, а просто постелил себе (он спал на диване, а я на раскладушке) и лег, отвернувшись. Оба мы лежали без сна, чего-то ожидая. И действительно, под утро вновь явилась Варя и пригласила немедленно прийти к Щусеву. Мы шли, уже будучи твердо уверены, что случилось неприятное, и, казалось, были ко всему готовы. Однако, когда Щусев сообщил нам о том, что Горюн арестован и есть предположение, правда, не подтвержденное, что он дал уже первые показания против организации, я попросту и недвусмысленно задрожал, словно в ознобе. Все могло стать крайне серьезным. Висовин и Щусев также были бледны и заперлись на кухне, откуда долетали их возбужденные голоса, где явно шел неприятный, а может даже грубый, спор. Рядом

со мной сидела Варя и укачивала младенца, но у меня было такое впечатление, что она посажена неспроста и за мной наблюдала. Зачем это, не пойму. Вообще Щусев уже некоторое время ко всем проявлял крайнюю подозрительность и недоверие, после же ареста Горюна, надо полагать, это недоверие особенно возрастет, тем более он чувствовал падение своего авторитета в организации... В споре, доносящемся из кухни, мне даже почудилось слово «подлец», произнесенное Висовиным, очевидно, в адрес Щусева. Но вскоре голоса стихли, очевидно, они опомнились, примирились или договорились.

Висовин довольно часто начал выпивать последнее время и, выпив, как-то по-бабьи — горько, взалхлеб, сладко — плакал, не стесняясь меня, как может плакать только русский человек, потерявший, по его собственному выражению, «истинную Россию». Ту Россию от дедов-прадедов, которая существовала (и опять же по его словам) при Сталине и которая исчезает всякий раз, когда в народе исчезает простота и ясность в понимании своих обязанностей, своих врагов и своих целей. Вообще он начал все чаще, подобно Щусеву, поругивать Хрущева, и тут между ними была общность. Противоречия возникали лишь относительно Сталина, которого Щусев ненавидел, и самое интересное, что он толком не мог объяснить за что, то есть те объяснения, которые сейчас были распространены и стандартны, относительно культа и т. д., он не принимал и не разделял, во-первых, дабы не быть солидарным со всей этой «нерусской сволочью» (так его разок провало, но он тут же это выражение замял), а во-вторых, объяснение тут было иное, но какое, он то ли скрывал, то ли не мог объяснить. Впрочем, оба они путались, ибо Висовин по-прежнему признавал, что Сталина ненавидит, и ненавидит искренне, но от этого страдал и говорил, что потому и потерял навеки родину и народ. Так что центр спора у них был не вокруг Сталина, а вокруг приобщения к нему народа. Щусев утверждал, что культ какого-то «кацо», о котором русский простой человек, тем более мужик, и понятия не имел, был создан интеллигентами и навязан народу. Что прежде чем народ полюбил Сталина, интеллигентишки ему этим «грузинчиком» уши прожужжали. Висовин же считал, что интеллигентишки, особенно самые честные и умные из них (имелся в виду журналист), просто поняли, в чем народ и Россия, которых они действительно горячо любили, нуждается и что народ поймет и за что ухватится. Такие споры в обществе тогда были невозможны, ибо спорить о роли Сталина в период хрущевских разоблачений было верхом вольнодумства у антисталинистов, и за такие споры в прогрессивном об-

ществе можно было прослыть стукачом. Лишь люди крайнего толка, насытившиеся и уставшие от крайних антисталинских действий (избиения, прокламации), в период душевной депрессии могли себе такое позволить. Споры эти, конечно, велись в узком кругу, от нашей молодежи они скрывались, а я был допущен, поскольку, по-первых, по складу ума способен был к пониманию парадоксов (это Щусев во мне оценил, и за это я ему благодарен), а во-вторых, поскольку я был в материальном смысле полностью зависим от организации, со мной стесняться особенно было нечего (это меня, признаюсь, угнетало).

Мне рассказывал впоследствии журналист, что у Сталина был садовник, которому он полностью доверял, то есть он настолько привык к нему (Сталин любил работать в саду) и настолько он этим садовником пренебрегал в смысле личности, что позволял при нем говорить то, что он сказал бы в присутствии лошади, собаки или предмета неодушевленного. Так вот, будучи расстроен, Сталин иногда приходил в сад работать и при этом все время в сердцах ругал нецензурными словами советскую власть... То же и у нас. Мы начали уставать от нашего крайнего, монотонного антисталинизма, необходима была разрядка, движение в ту или иную сторону (не только для нас, но и для России, как мыслил Щусев). Арест Грюна, причем столь внезапный и при весьма странных обстоятельствах, сделал это движение неизбежным.

Помню, когда Щусев и Висовин вышли из кухни, где они провели взаперти более часа, я попросту выскочил им навстречу с шумом, разбудив даже младенца, Щусева-младшего, заплакавшего. И понял, что принято какое-то серьезное решение. И действительно, Щусев сказал:

— Готовься, Гоша... Едем в Москву... Сегодня же...

Эта фраза и вид Щусева сообщили мне, что в жизни моей предстоит серьезная перемена. Мной овладела тревога, даже страх, который давно, с момента реабилитации отца, меня не посещал и который соответствовал разве что чувству незащитности перед жизнью в момент, когда решался вопрос о моем выселении с койко-места, а у моего покровителя Михайлова (я впервые о нем вспомнил за последние месяцы, и неспроста), а у Михайлова его частные, незаконные переговоры с людьми, за койко-место ответственными, грозили сорваться, и он нервничал (за мою судьбу) и грубил мне. Тревога еще более усилилась, когда я обнаружил на столе записку от Висовина (за полчаса до того он ушел, сказав, что идет в магазин купить продукты). «Гоша,— писал Висовин,— передай Щусеву, что я не поеду». И все. Ни слова более.

Я обозлился. Почему он сбежал и обманул меня? А если знает что-либо особенное, почему не предупредил? Впрочем, судя по записке, против моей поездки не возражает, ибо пишет «передай Щусеву», а передать ему я могу лишь на вокзале, где мы условились встретиться. Но еще большее беспокойство вызвала эта записка у Щусева. Он попросту скрипнул зубами, скомкал записку в сердцах, желая ее порвать, но тут же, опомнившись, расправил, перечел и усмехнулся.

— Ничего,— сказал он,— это мы еще посмотрим.

Он взял меня об руку, и мы пошли по перрону к товарным пакгаузам, где было довольно безлюдно.

— Гоша,— сказал он мне,— видно, судьбе угодно, чтоб ты принял самое деятельное участие в судьбе нашей много-страдальной родины (он дважды произнес слово «судьба», довольно нескладно построив фразу, из чего я сделал вывод, что, во-первых, он сильно, по-юношески волновался, а во-вторых, слово «судьба» прочно в его голове укрепилось). Ты, конечно, русский?— спросил он вдруг, как бы лишний раз примериваясь и проверяя.

— Да,— сказал я, покраснев (во мне есть расовые примеси, но я их скрыл, может быть, застигнутый вопросом врасплох, а может, и по причине какого-то внезапного стыда — именно сейчас, в этом разговоре по душам не быть коренным русским).

— Друг мой,— говорил Щусев,— чего нам всегда не хватало, так это ясности... Русский человек не любит иносказаний, он элементарно доверчив... А даже лучшая часть нашей национальной интеллигенции всегда прибегала к двойственности и дипломатии, якобы во имя гуманизма и всеобщих интересов... Почему-то считается, что только тот народ цивилизован, который соблюдает всеобщий всемирный интерес... Так нам пытаются внушить... А какой всеобщий интерес соблюдают французы, или итальянцы, или немцы, или греки, или англичане?..

Щусев как-то разом и окончательно преобразился и заговорил весьма подобно Орлову, это я отметил. Но если славянофильство Орлова было модерное, современное, неоформившееся и противоречивое, то у Щусева была твердая консервативная теория, которая позволяла ему, может быть, до поры до времени обходиться даже без особой ненависти к инородцам. Более того, к противникам России он относился с меньшей неприязнью, чем к тем, кто пытался по-своему, и явно опасно (ибо, по убеждению Щусева, у народа существует только один верный путь), к тем, кто пытался по-своему возвеличить и укрепить Россию. В том, что русский народ поверил

Сталину, этому ложному идолу, Щусев обвинял интеллигенцию, создавшую этому «кацо» культ и запутавшую доверчивого простолюдина. Но все это было ранее у Щусева намеками, тщательно им скрывалось из тактических соображений и лишь под конец всплыло окончательно. Судьбе (я невольно повторяю любимое словечко Щусева, человека, не лишённого мистического начала), судьбе угодно было, чтобы именно я стал доверенным лицом Щусева в его действиях и собеседником — вернее, слушателем: я в основном молчал — итак, слушателем его воззрений. Тогда, прогуливаясь по перрону, я понял чутьем, что разговор этот впервые ведется Щусевым вслух (хоть много раз, видно было, проговаривался про себя) и что речь идет о чем-то совершенно ином, не имеющем отношения к организации и современным сталинским и антисталинским шатаниям.

— Речь идет о будущем России, — сказал Щусев (прямо так и сказал, подтвердив мои догадки и указав тем, что я верно мыслю и точно понимаю его преобразование), — наши интеллигентшишки, даже самые из них честные (а таковых немного), никогда не были способны к скачку воображения, фантастическому, чуть ли не бредовому (а в истории как уж это необходимо). Можно ли было, допустим, даже сто лет назад (срок весьма незначительный), в разгар общественной борьбы того времени, в разгар мелькания всех этих либералов, кадетов, монархистов, социалистов, представить себе современные проблемы России?.. Те, кто любили Россию, ее не понимали, те же, кто понимали, ее не любили... Вот в чем корень наших бед... Эта формулировка в смысле полемическом опасная и просто создана для антирусского фельетониста, для какого-нибудь талантливой зубастого еврея (он совсем перестал стесняться со мной); что же выходит, скажет этот талантливый цепкий еврей, по-вашему получается, тот, кто понимает Россию, ее не может любить?.. Я отвечу ему: нет, дорогой мой Янкель, в вашей фразе более кокетства, чем истины, уж извините меня, я не хотел вас обидеть... Народ вообще загадка, и он чужд анализа... Он загадочен и для своих и для чужих... Но живет он по двум отсчетам времени: своему и общечеловеческому. Оба эти отсчета не скажу необходимы, скажу — неизбежны. Но между ними — отсутствие гармонии и противоборство. То естественное противоборство, которое существует внутри всякого живого организма, особенно если организм этот имеет трудную биологическую судьбу (а Щусев не чужд знаний и философии, подумал я про себя с радостным удивлением, вот уж не думал). Да, — продолжал Щусев, — то противоборство, которое существует между сердцем

и легкими, желудком и селезенкой... Ибо там не только взаимосвязь, но и противоборство... И вот где нужно мужество хирурга... Тем, кто не любит, чужакам, Сталину или Троцкому, такое мужество не нужно... Они режут твердою рукой... Вот почему они возобладали... Уперев рычаг острием в сердце России, перевернули ее... Рычаг — это ведь такая штука... Тут законы физики... Тут если умело и безжалостно выбрать точку опоры, то кучка может исполина перевернуть... И недаром ведь большинство тех, кто повис на рукояти рычага, были инородцы... Евреи, армяне, грузины... Ну и наших немного общечеловеков... Но и они ведь как бы почетные инородцы... А чего наши «честные» не поняли? Ну, чего они не поняли? — Он посмотрел на меня, блестя как-то даже весело глазами (я вспомнил, как сверкнули глаза у троцкиста Горюна, но там была мрачность социалистического подпольщика, здесь же веселье народного мудреца, каковым себя безусловно Щусев считал).

— Не знаю, — сказал я, во-первых, потому, что действительно не знал, а во-вторых, потому, что понял: этого именно от меня Щусев и ждет (я все более начинал ему подыгрывать, ощущая, что здесь, как нигде, я близок к пониманию, к осознанию наконец своего инкогнито, которое пронес через все переломы и перевороты).

— То-то, — усмехнулся Щусев, — они не поняли, что народ наш наивен, но умен, именно потому, что не любили его и льстили ему... Тут есть одна тонкость, мною замеченная... Революция в России необходима была, ибо царский режим прогнил и стал антинароден... Но в том, что Россия произвела общечеловеческую, всемирную, социалистическую, а не свою, народную, национальную революцию, подобно национальным революциям Англии и Франции, в том повинна была русская подлая православная церковь, — в этом месте глаза его погасли, и он до того обозлился, что даже зубами скрипнул, — церковь эта делала все для того, чтоб религиозное начало заменяло у нас национальное самосознание... Из глупых и эгоистических соображений она рубила сук, на котором сидела... Хотя тут не совсем так (он мыслил на ходу, и, видимо, не все у него было продумано, многое лишь сейчас складывалось). Да мне вот в голову пришло (то, что я удивительно точно угадывал повороты его мысли, помогало мне чувствовать необычность происходящего), по сути наше национальное самосознание глубоко чуждо христианству... Наше самосознание близко давно исчезнувшему эллинизму... Наша национальная революция могла бы возродить на огромном пространстве Европы и Азии культуру и веру Древней Греции... Остановить многовековое развитие христианского бо-

льшевизма... Ах, милый ты мой (он крайне увлекся и положил даже мне руку на плечо, глядя в глаза), ах, милый ты мой, я сейчас вслух произнесу эти слова впервые (действительно, тогда они произвели на меня неожиданно сильное впечатление именно своей прямоотой и, я бы сказал, великой обыденностью, то есть они прозвучали как самые обычные), ах, милый ты мой,— сказал он,— если хотя бы три месяца я имел возможность возглавить национальное правительство России! (Впоследствии я подумал: он был смертельно болен и наверное знал это. Может, отсюда этот короткий срок.)

Мы стояли у небольшого палисадника, где росло несколько измученных (именно такой у них был вид) дубков, пыльная листва которых, очевидно, с трудом вылавливала из пропавшего железнодорожными запахами воздуха нужные для себя вещества, а корни с трудом вытягивали из каменистой, нездоровой индустриальной земли жизненные соки. Я тогда лишь скользнул по этим дубкам взглядом, но впоследствии, вспоминая этот разговор, вспомнил и эти дубки, которые фактически не жили, а боролись за жизнь.

— Национальное правительство России,— снова произнес Щусев,— вот это звучит чисто. От этого веет простыми свежими запахами, как от деревенского пруда... А вся эта мерзость... Все это шипение и цыканье... Цык... вцык... чека... чека... госплан...

Он был чересчур смел со мной в суждениях, так что я испугался, не в преддверии ли он припадка, ибо в глазах его вновь появилась некая веселость, однако теперь с явно нездоровым оттенком. Видно, Щусев заметил мое беспокойство и внимательно посмотрел на меня, так что мне стало неловко, и я по-юношески покраснел.

— Я решил полностью довериться тебе,— сказал он просто.— Но ты не удивляйся моей наивности... Просто у меня нет выхода... У меня мало времени (как я теперь понимаю, он намекал на свою смертельную болезнь). Я долго обдумывал и выбирал наследника (он так и сказал— наследника). Надо создавать здоровую сердцевину, зерно и почву... А почва у нас замечательная... Единственное, что сохранило у нас национальный характер,— это почва, но она требует настоящего своего зерна, а не всякого рода всемирных злаков... — И он протянул мне руку.

Я порывисто пожал ее.

— Все,— сказал он, словно выдохнул,— конечно, можешь и ты подвести... А вдруг не подведешь?

— Я верил в себя,— неожиданно открылся и я ему.— Я всегда в себя верил... Что живу неспроста... Мир завертится

вокруг меня... Именно в таком плане... Но всякий раз разочарования, ложное направление, насмешки, особенно над самим собой... В последнее время мне вообще казалось, что я поглупел... Неудачи с женщинами (я вдруг дошел до такой степени откровенности), ах, может, я не о том...

— О том, о том,— по-прежнему в упор глядя на меня, сказал Щусев,— признаюсь, я словно впервые с вами говорю (тут он мне сказал «вы», подчеркивая новое ко мне отношение).

Мы еще некоторое время друг друга рассматривали, а потом как-то разом потянулись друг к другу и вдруг, поцеловавшись, снова перешли на «ты». Но это было уже иное «ты» — «ты» соратников и единоверцев (такие поцелуи у баловней и избранников истории впоследствии становятся хрестоматийными. Для либералов же они способ проявить свое вольнодумство. Они объясняют, что все происходило гораздо проще и поцелуи не что иное как лакировка).

— С нами поедут двое ребят,— сказал Щусев, совершенно иным тоном, каким дают инструкцию,— Сережа Чаколинский и Вова Шеховцев... Ты с ними в организации не часто сталкивался, хочу напомнить... Вова натура более простая, Сережа типичное порождение нашей хляби... Ты понял меня?

— Да,— сказал я.

— Ребята хорошие и нужные,— сказал Щусев,— но с ними надо поосторожнее. И в Москве нас встретит чудный мальчик (я снова невольно вспомнил о слухах, которые по злобе распускала о Щусеве жена Бительмахера Ольга Васильевна и которые, конечно же, не соответствовали истине. Тут налицо не сексуальное извращение, а политическая концепция и опора на молодежь).

Вова и Сережа ждали нас на чемоданах, и у обоих был такой вид, точно они собрались в комсомольско-молодежный туристский поход (так мотивировал свою поездку по крайней мере Сережа). Вова был мальчик менее ухоженный, хулиганистый и почти что уличный, Сережа же из семьи с достатком.

— Христофора еще нет,— сказал Вова (несмотря на разницу в возрасте, он, как все уличные ребята, любил называть взрослых по имени).

— Висовин поедет отдельно,— сказал Щусев.

До прихода поезда оставалось некоторое время. Щусев куда-то ушел, а ребята затеяли между собой веселую возню, которая меня почему-то раздражала. Начала также побаливать голова. Но историческую хроникальность происходящего во мне и вокруг меня я после неожиданного (да, он был нежиданного)

дан и непредвиден), после неожиданного разговора со Щусевым ощущал ясно. И снова, второй раз (впервые, когда я услышал предложение Щусева и Горюна о взаимоотношениях наших с Молотовым и Троцким), и снова здесь меня посетил незнакомый большинству вкус власти, который, как мне теперь казалось, мерещился мне еще в моих снах стареющего, ранимого, влюбленного в недоступных красавиц девственника. Но если за сладостные мечты приходилось платить внутренней тревогой и растерянностью перед реальностью, то здесь, наоборот, вкус власти возвышал над живой реальностью и делал не тебя виноватым перед обычной жизнью, а обычную жизнь виноватой перед тобой... Вот она, сладость власти, — когда все вокруг всегда и в любой момент виноваты передо мной... Я вспомнил прекрасное свое чувство первых дней реабилитации, когда общество и страна испытывали в моем воображении вину передо мной... Это, конечно, было ребячество... Но это чувство пробудило во мне дерзость мыслей... Править Россией... С чего начинали те, кто этого достигли не рождением своим, а своей жизнью?.. Жизнь коротка, но из этого делают неправильные выводы... Пожелать это уже значит наполовину осуществить... Величие в желании... На меня разом нахлынуло, и я понял, что не устою на ногах, если не прислонюсь к чему-либо. Я прислонился к стене вокзала и вытер холодную испарину.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ехали мы вчетвером в отдельном купе. Щусев ухлопал на то (как потом выяснилось) остатки средств организации, находящейся помимо всего на грани финансового банкротства. Но Щусев рассчитывал поправить дела в Москве, посетив нескольких влиятельных либералов. Возня ребят, Сережи и Вовы, по-прежнему раздражала меня, Щусев же веселился и болтал с ними как равный (вот почему они к нему и липли). Большую часть времени я лежал на верхней полке, разглядывая свое лицо исподтишка в карманное зеркальце (давно я этим не занимался). Ни о чем серьезном мы в дороге не говорили, и, может, здесь был замысел Щусева — дать самостоятельно созреть запавшим в меня идеям. И действительно, именно лежа на верхней полке и под стук колес я окончательно укрепился в мысли о возможности возглавить Россию (я, а не Щусев). Я еще сравнительно молод, могу ждать даже и десять, и двадцать лет... Главное, что я решился и дерзнул иметь такое желание. На первый взгляд это глупо — решился... А что

тебе ранее мешало решиться?.. И что каждому мешает?.. Подумать так каждый волен... А вы попробуйте решиться и при этом не поиздевайтесь и не расхохочитесь над самим собой... Нет, тут определенный момент должен наступить, по-определенному должны совпасть твои взаимоотношения с окружающим миром, по-определенному судьба твоя сложиться должна, судьба, которой ты всячески, искренне должен противодействовать и терпеть неудачи в борьбе с судьбой, которая наносит тебе удар за ударом, обиду за обидой, ибо человек по природе своей всегда стремится к бытовой устойчивости, и если у него не хватает сил, чтоб справиться с личными бытовыми неурядицами, и если обстоятельства мешают этому, то судьба выносит его на тот самый рубеж, откуда рукой подать до великой дерзости помыслов... Но этого еще недостаточно... Необходимо множество социальных и исторических поворотов, случайных встреч и совпадений, чтоб такая мысль оформилась и была принята всерьез прежде всего самим тобой... Я долго и трудно шел к этой мысли, ревниво оберегал ее в себе под разными наименованиями, а иногда и вовсе без наименования, просто как ощущение собственной исключительности, и испытал немало разочарований. Я знаю, что молодежь вообще склонна к мечте о славе (повторяю, я молод, если не по летам, то по ущемленному развитию). Помню, какую горечь я испытал в компании Арского, и не только потому, что был изгнан. Если бы я просто был изгнан, но унес бы свое «инкогнито», свою «идею», то, может быть, я бы, наоборот, над компанией той даже возвысился (так я сейчас подумал). Но ужас состоял не в том, что меня изгнали (я сейчас занялся переоценкой, тогда же страдал, надо признаться, все-таки именно из-за факта изгнания). Главный ужас состоял в том, что они походя лишили меня «идеи», даже не зная о существовании таковой во мне, просто дав научное определение «солипсизм» тому чувству, которое я скрывал и оберегал, причем обращаясь совершенно к другому (поэту-подпольщику Акиму). Слабость и беспомощность моя заключалась в том, что я еще не созрел и не возвысился до той великой дерзости, которая пришла ко мне ныне, после «исторического поцелуя» со Щусевым у товарных пакгаузов. По опыту знаю, многие из молодежи носят в себе идею славы, хотят выделиться из себе подобных, возвыситься, прогреметь... Да почти что любой... Вот и эти сосунки...

Я повернул голову осторожно, чтоб не привлечь их внимания... Все трое (и Щусев в том числе) резались в карты, в дурачка. Этот Шеховцев, конечно, желал бы быть знаменитым футболистом... А тот, с пионерским румянцем,— поутон-

ченной... Наверное, поэтом, или конструктором ракет,— я иронически улыбнулся и, повернув голову опять в прежнее положение, перенес эту свою улыбку в карманное зеркальце. Должен сказать, что чем более я так думал, тем более я начал испытывать к Щусеву нездоровую ревность и зависть — в том смысле, что великая дерзость не родилась во мне сама, а была Щусевым подсказана... Заимствование всегда унижает личность. Поэтому я и со Щусевым решил держаться «себе на уме» и осторожно. Тем не менее существование великой дерзкой идеи во мне, так давно и неосознанно к ней стремившемся, наполняло меня спокойствием, сознанием целенаправленности моей жизни, и выразилось это (как всегда в момент расцвета во мне той или иной идеи), выразилось это чисто внешне в снисходительной незлобной полуулыбке, которая и ранее посещала меня, ныне же наконец прочно закрепилась на моем лице, придав ему выражение мыслящее, крайне нерусское, утонченное и не мужское...

С этой-то улыбкой я и приехал в Москву, вышел на перрон, и по этой-то улыбке меня выделил из толпы приезжих юноша, нас встречавший.

— Вы не от Щусева? — сказал он мне тихо, тоном, который ему самому явно нравился.

Я помедлил с ответом (Щусев несколько задержался в вагоне, вместе с Шеховцевым увязывая багаж). Юноша, встречавший нас, чем-то напоминал Сережу Чаколинского, я даже специально перевел взгляд с одного на второго и подумал, что Щусев подбирает их по определенному принципу (как выяснилось, этого юношу он подобрал по иному принципу и похожесть — просто совпадение). Впрочем, приглядевшись, я и сам заметил, что похожи они только на первый взгляд. Юноша этот безусловно был умнее Сережи, не уступая ему в честности (Сережа был до наивности честный мальчик).

— Да, от Щусева, — сказал я.

Но тут явился и сам Щусев, неся с Вовой Шеховцевым тяжелый чемодан, перевязанный веревкой, очень некрасиво, не по-столичному. Что в чемодане было, я так и не знаю по сей день.

— Вот и Коля, — сказал он радостно (мне кажется, он волновался, придет ли на вокзал Коля, ибо придавал этому приходу гораздо более серьезное значение, чем простая помощь по устройству, хотя это также немало, ибо без Коли мы не имели бы ночлега).

— Все в порядке, — сказал Коля, — я договорился... Почти в центре и совсем недалеко от того места (от какого места,

я не понял), — там моя двоюродная бабушка... Моей бабушки родная сестра...

Раньше, без наличия выкристаллизовавшейся дерзкой идеи, Москва ошеломила бы и, быть может, нравственно раздавила и смяла бы меня. Москва великолепно умеет расправляться с тщеславными провинциалами. Но теперь (и это лишь подтверждало силу и жизненную реальность моей идеи), но теперь она воспринята была мной как само собой разумеющееся, как то, что должно было прийти, и прийти именно сейчас, не раньше и не позже. Она не раздавила, а вдохновила меня. Я подумал, что когда-нибудь, лет через двадцать, подъезжая к вокзалу в темном закрытом лимузине, окруженный охраной, чтоб встретить какого-либо высокого гостя (я в этих мыслях своих пользовался газетными официальными оборотами, что не удивительно), подъезжая, я вспомню об этом дне, когда приехал впервые и некий Коля (этого юношу зовут, значит, Коля) встречал тогда меня...

— Вы впервые в Москве? — спросил меня Коля (мы втиснулись в такси, и он сидел рядом, придавив меня).

— Нет, я бывал, — ответил я нарочито скучно и сохраняя все ту же «мыслящую» улыбку. Но дабы прервать новые опасные вопросы, я небрежно откинулся на спинку сиденья (я ехал в такси чуть ли не впервые при моей бедности), я откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, что соответствовало умственной усталости (я видел как-то в кино ученого, который именно так отвечал). Правда, тут же я допустил ошибку, ибо, прикрыв глаза, я сохранил на лице улыбку. А человек, улыбающийся с закрытыми глазами, лишается их подспорья, что сразу делает улыбку жалкой и растерянной. Я тут же сообразил и заменил улыбку просто сжатыми губами.

Должен заметить, что, несмотря на свою столичную опытность, Коля всех этих моих расчетов и манипуляций не засек, и я на него произвел впечатление. Не знаю, чем именно, но я ему понравился, да и он мне. Есть встречи, когда (конечно же, не с первого взгляда. В первый взгляд я не верю), когда, побыв с человеком минут десять — пятнадцать, начинаешь понимать, что сойдешься с ним, и, возможно, даже весьма тесно. Коля и я были именно те самые закадычные друзья, которые живут, даже и не подозревая один о другом, часто в разных городах (а бывает, и в разных странах). И если находят себе товарищей, то как можно ближе именно к идеалу, с которым они разлучены расстоянием и неведением. Я человек нелюдимый в принципе, и поэтому друзей у меня нет, но если бы были, то безусловно типа Коли. (Разве что с Христофором Висовиным я немножко подружился. Кстати,

именно благодаря Висовину я, как выяснилось, и встретил Колю. Да и Коля к Висовину относился с глубоким уважением и симпатией, видя в нем, наверное, мой прообраз. О подробностях и причине встречи Коли с Висовиным я еще тогда не знал.) Из постоянных друзей у Коли был некто Ятлин (странная фамилия), который в чем-то действительно напоминал меня (как чучело может напоминать живое). Этого Ятлины я сразу же возненавидел, да и он, кстати, меня. Но я несколько опять заспешил в изложении...

Такси привезло нас к старому московскому дому, у порога которого, как обычно, сидели и судачили коммунальные старушки. Одной из старушек оказалась наша хозяйка, несколько сутулая, но крупная и высокая (напоминаю, не люблю крупных сильных старух. В них часто проглядывает что-то нездоровое и патологическое). Щусев приветливо с ней поздоровался, она ответила, но явно с неодобрением, а из вежливости и «ради Коли». (Как теперь известно, Коля ее с трудом уговорил.) Жила она не в коммунальной квартире, а одна в двухкомнатной, отдельной. (Три остальных двери на лестничной площадке буквально усыпаны были дверными звонками, почтовыми ящиками и фамилиями жильцов.) Квартира была хорошая, хоть и запущенная ныне, но видно было, знавала лучшие времена. Обычно подобные квартиры уставлены старинной мебелью, здесь же мебель и обстановка были хоть и несколько постаревшие, но, пожалуй, средних лет, то есть по последней предвоенной моде (период, на который и приходится, очевидно, расцвет этой квартиры). Здесь стоял зеркальный шкаф, трюмо, диван с зеркалом (в комнате вообще было много зеркал и вообще много блестящего), никелированная кровать, висел коврик с лебедями и стоял огромный радиоприемник последнего предвоенного выпуска с никелированными же блестящими украшениями. Короче, как сказал впоследствии Коля, эта квартира была иллюстрацией сталинских слов: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Несмотря на молодые годы, по едкости ума Коля, пожалуй, превосходил меня. Мне это, конечно, не нравилось, но, познакомившись с его отцом, журналистом, я понял, откуда эта закваска. Да к тому ж я и поотстал, надо признаться, ибо в смысле едкости, колкости и оппозиции властям Коля, конечно же, отточил свои природные данные в столичных компаниях такого калибра, о которых я и понятия-то не имел и в которых сам Арский был равным среди равных... Да что компании!

Москва переживала медовый месяц «хрущевских свобод» (который и здесь уже был слегка, незаметно для неопытного глаза тронут увяданием, в то время как в ряде мест на пе-

риферии он уже попросту был прекращен самым насильственным путем, до смерти испугавшим одних, ввергшим в тоскливое отчаяние других и обрадовавшим большинство «великороссов», ищущих в каждом консервативном шаге властей антиеврейские тенденции). Но Москва настолько набрала инерцию, настолько все переживаемые страной и обществом процессы в ней были первичны, усилены контактами с первопричиной и первоисточниками, настолько влиятельные лица возглавляли этот процесс, что все еще неслось в общем хороводе, и то расслоение, которое заметно было уже на лишенной столь бурного напора периферии, здесь тонуло в общем веселом хаосе разоблачений и бичеваний. Молодежь столицы была особенно жестокой, по-уличному бесстрашной и зубастой и попросту морально судила людей пожилого «сталинского» возраста. Люди же эти, пожилого «сталинского» возраста, были растерянные, и дело доходило до публичного раскаяния и слез. Сюда-то, гонимый чутьем политического функционера, Щусев и привез нас — те остатки организации, которые он отобрал собственноручно и с которыми намеревался затеять дело. Покушение на ближайшего соратника Сталина Молотова, совершенное в центре Москвы организованной группой молодежи (вот зачем Щусеву эти мальчишки. Не озлобленные реабилитированные люди пожилого возраста, а именно мальчишки), покушение должно было разом выстроить и упорядочить весь этот оппозиционный хаос, придать ему серьезный и направленный характер. Щусев торопился, ибо понимал, что хаос этот в той крайней форме на грани затухания. О конкретной причине нашего приезда Сережа и Вова были в неведении, хоть им было сказано, что речь идет о приведении в исполнение приговора организации над крупным сталинским палачом. Но поскольку таких приговоров было уже немало и ребята (особенно Вова) с удовольствием проводили время в уличных драках, то сообщение это не особенно их удивило.

Марфа Прохоровна (судя по имени-отчеству, она была явно из деревни, из разбогатевших в прошлом на доверии властей бедняков, то есть разбогатевших, конечно, на уровне «жить стало лучше, жить стало веселее»), Марфа Прохоровна отвела нам большую комнату, где стоял диван «на двоих», то есть мы тут же решили, что на нем валетом будут спать ребята — Вова и Сережа. Я же со Щусевым на полу.

— Марфа Прохоровна, — спросил Щусев (чтоб завязать, очевидно, с ней контакт, ибо это он мог спросить и у Коли), — Марфа Прохоровна, кинотеатр здесь у вас далеко? Надо

сходить с ребятами... Я видел афишу очень приличного фильма... Говорят, о сталинских зверствах (оказывается, он был информирован, что и у Марфы Прохоровны мужа, работника наркомзема, расстреляли в сорок первом, перед самой войной).

— Про чего оно там, я не знаю,— сказала уклончиво и хмуро Марфа Прохоровна,— а кинотеатр сразу же за углом.

— Ты с нами, Коля?— спросил Щусев.

— Я видел этот фильм,— сказал Коля,— халтура это... Сейчас каждый хочет примазаться... Этот же режиссер такой сталинист раньше был. Да и какие там разоблачения? Просто расцветают весенние деревья и какой-то сукин сын вколачивает в землю колышек с датой «1953 год».

«А этот Коля ругатель и разоблачитель»,— подумал я не без интереса.

— Ты пойдешь, Гоша?— спросил Щусев.

— У меня голова побаливает (у меня действительно немного болела). В помещении сидеть не хочется. Если можно, я с Колей прогуляюсь,— последнее я сказал, повернувшись к Коле.

— Конечно, можно,— не сдержав своих чувств (вот где молодость прорвалась), сказал Коля.

Меня тоже обрадовало, что Коля хочет пройтись со мной, но чувства свои я сдержал (чем взял над Колей верх, а в дружбе, как известно, такая субординация необходима). Я понимал, что, учитывая наш со Щусевым «исторический поцелуй» перед отъездом, такое решение есть нарушение верности и, может быть даже, по мнению Щусева, вероломство, учитывая серьезность, с которой он мне открылся на вокзале в сокровенном и даже передал свою выношенную мечту руководить Россией. Но поскольку я все обдумал еще дорогой на верхней полке, мне это решение показалось естественным. Конечно, известная жестокость существует даже и в самой смене поколений, но это жестокость естественная, и умный человек, пусть и поразмыслив, ее поймет. Щусев же, кажется, не был глуп и уж безусловно был опытен. И действительно, своего недовольства он не выказал, а наоборот, улыбнулся и сказал Коле:

— Ну что ж... Ознакомь его... Это ему понадобится...

«В каком смысле и что он имел в виду?— подумал я тут же,— нет ли здесь подвоха?.. С чем ознакомить и для чего понадобится?..»

Такой круг мыслей будоражил меня, когда мы с Колей вышли на улицу и остались друг с другом наедине. Я уже сказал, что Москва умеет обрушиваться на тщеславного провинциала-

ла и когда вокруг оживают и материализуются «виды Москвы», знакомые по открыткам (кстати, в поезде я решил потратиться из личного фонда на пачку этих открыток и разглядывал их на верхней полке, незаметно от спутников, дабы привыкнуть и ознакомиться заранее, поскольку даже Щусеву и ребятам я сообщил, что в Москве бывал), так вот, когда эти виды материализуются, весьма нелегко шагать безразлично и ничем не восхищаться. Кстати, восхищение и бурное проявление чувств в кругах, где вращался Коля, считалось дурным тоном, из прошлого, «когда Сталин смотрел из окошка, и тебя он видел, крошка», и настоящий современный человек все должен воспринимать иронично. Но это правило было найдено мной самостоятельно и весьма помогло мне на первых порах моих столичных шагов. Москва, особенно летняя Москва, обладает еще одним опасным для тщеславного провинциала качеством: она обрушивает на него целые толпы столичных красавиц, перед которыми блекнут все провинциальные фаворитки. И здесь надо было сохранить самообладание, чтоб не растеряться перед этой толпой безразличных к тебе красивых девушек и женщин. Особенно восхитительны в Москве женщины средних лет, налитые достатком и со свободой во взоре. В провинции такое могут позволить себе девушки, но женщины средних лет никогда. А между тем, как я понял, в них-то и центр красоты московских улиц, они-то и украшают их своим достатком, в котором созревшая красота оформлена. В провинции же (по крайней мере в те годы) модницы имеют недозревший вид и, как правило, пытаются скрыть за модой свою бедность (ибо молодость вообще в массе своей небогата).

Так примерно развивались мои мысли в первые десять — пятнадцать минут прогулки вместе с Колей по московским улицам. Мы вначале почти что не говорили. Вернее, Коля задавал мне робко какие-то вопросы, которые я толком не слышал или тут же забывал, отвечая односложно: да — нет... Сложилось такое первоначальное отношение необдуманно, а значит, правдиво и естественно. То есть мыслить-то я мыслил, но главным образом в том направлении, которое изложил выше, и тратил все свои душевные силы на то, чтоб скрыть некоторую растерянность и робость, все-таки мною владевшую при виде таких богатств, красоты и возможностей вокруг. Я понимал, что Коля это плоть и кровь всего, что происходит вокруг, это живая клеточка, вскормленная Москвой, и то, что между нами начинается дружба (это мы чувствовали оба), и то, что в этой дружбе я доминирую, казалось мне гарантией моего завоевания Москвы.

Пройдя вот так без остановки и почти без разговора квартала три, мы наконец остановились (остановился, разумеется, я, а Коля мне повинулся). По странному совпадению (Коля потом мне это рассказал), мы остановились почти в том месте, где в свое время Коля догнал Висовина после того, как тот дал пощечину Колиному отцу-журналисту и между Колей и Висовиным произошел разговор, содержание которого я узнал позднее (но здесь, в записках, он приведен мной ранее). Прямо перед нами была шумная и людная площадь, которая несколько пугала меня, как все незнакомое и значительное (выяснилось позднее — Манежная), а за ней виднелась знаменитая Кремлевская стена, очень привычная и знакомая (хоть в натуре я видел ее, конечно, впервые), которая, наоборот, успокаивала.

— Ваш отец, конечно, тоже пострадал в период культа? — робко спросил Коля.

— Он был расстрелян по решению особой тройки, — сказал я с невольным оттенком своего превосходства над этим юношей.

Правда, превосходство это было вызвано легким раздражением, так как, сказав «тоже пострадал», Коля явно меня недооценил, конечно, не умышленно. Я тут же раскаялся в своем тоне, поскольку у Коли был чересчур уж виноватый вид. К тому ж с «особой тройкой» я несколько перехлестнул и прибавил от себя. Впрочем, в действительности, может, и было так, но мне-то сообщили, что он умер от сердечной недостаточности. Короче, я постарался, не роняя своего превосходства, которым я, кажется, в короткий срок полностью покорию этого юношу, я постарался смягчить свой тон и в свою очередь спросил:

— А твой (он говорил мне «вы», я же ему «ты»), а твой отец пострадал от сталинских палачей?

— Нет, — горестно и, кажется, даже со слезами на глазах сказал Коля, — у меня с отцом сложные отношения... Он несчастный человек... Было время, я его ненавидел. И Маша... Это моя сестра... Мы оба... Висовин знает об этом... Но потом, я это как другу вам говорю (он впервые прямо и искренне назвал меня другом, через час, не более, нашего знакомства и полчаса, не более, совместной прогулки), но потом, недавно я понял, как он несчастен... Это его, конечно, не оправдывает, и тут Ятлин прав... Это мой товарищ... Я вас познакомлю. Герман прекрасный, талантливый, принципиальный человек... Это Ятлины зовут Герман, потому что отец у него был известный пушкинист... Отец его умер, но если бы он был жив, Ятлин бы с ним порвал, это точно... А я не могу...

Так Коля мне наговорил всего понемногу и несколько сумбурно, коряво и глуповато (по-молодому трогательно-глуповато), чем, как я понял, еще больше попал под мою власть.

— А кто ж твой отец? — спросил я с легкой насмешливой снисходительностью. — Кем он работает?

— Вы, наверное, слышали о нем, — печально сказал Коля, — о нем многие слышали... Он достаточно известен и у нас и даже за рубежом, — и Коля назвал фамилию.

Признаться, в первое мгновение я растерялся. Я никак не мог подумать, что Коля сын такой знаменитости, одного из тех небожителей, отзвуки от которых ранее, в период полного моего прозябания, долетали до меня как нечто грозное и недоступное, как звуки грома небесного, позднее же, в сладострастный период хрущевских разоблачений, как нечто настолько сенсационное, таящее вокруг себя столько громких, в масштабе страны, споров, тайн, анекдотов и соблазнов, что, пожалуй даже, имя это, став доступным, превзошло в конечном итоге ту официальную недоступность, на которой оно находилось ранее, при Сталине. Растерянность моя длилась недолго. Ее тут же сменило чувство гордости собой, и своим нынешним положением, и правильностью избранного пути.

— Пойдем к Кремлю, — сказал я, повинуюсь какому-то внутреннему порыву.

— Зачем? — в недоумении повернулся ко мне Коля, впервые проявив нечто вроде строптивости.

Оказывается, в кругах, где вращался Коля, хождение к Кремлю было дурным тоном. Он не сказал это мне, но я ощутил по его вопросу недоумение (ибо в меня он поверил явно как в крупную фигуру оппозиции властям).

— Дело есть, — сразу же нашелся я (не просто поглядеть вблизи, как я, собственно, и хотел, а для дела).

— Тогда, может, со стороны набережной? — предложил Коля, еще не понимая, что я затеял (я ничего не затеял и пока еще ничего не придумал, хоть понимал — придумать что-либо надо, чтоб выйти из положения и поддержать репутацию). — Со стороны набережной, — продолжал Коля, глядя на меня серьезно и с некоторым даже волнением... — Вы во мне не сомневайтесь... Со стороны набережной обычно малолюдно.

— Пойдем, — решительно сказал я.

Но тут произошла заминка и казус, обычная, конечно, и бытовая для провинциала, впервые ступившего на столичную площадь, полную несущегося в разных направлениях транспорта и толп пешеходов, каждый из которых, как мне каза-

лось, намерен столкнуться со мной и пихнуть под колеса. Однако сложность заключалась в том, что идея «избранничества», которая наконец, пройдя разные этапы, обрела себя во мне, требовала теперь от меня особой пластики (да, именно даже пластики) в глазах первого подданного, а Коля, этот добрый мальчик, воспринимавший меня с робким почтением, был уже, конечно, первым моим подданным, хоть и сам пока этого не подозревал. Так вот, вступив на многолюдную площадь в робости и некотором страхе, двойного причем характера, то есть я боялся несущегося транспорта и очень боялся этот страх перед Колей обнаружить, отчего члены мои неестественно одеревенели, со страха перед несущимся транспортом я проявлял уличную лихость, например, пробежал перед самым троллейбусом, так что поджилки, как говорят, у меня затряслись (действительно, на сгибе под коленями что-то мелко-мелко запружинило подобно тем случаям, когда отлежишь ногу или руку). Отдышавшись, я бросился далее. Я спешил, боясь, что если остановлюсь, то силы меня оставят. Таким же манером я вильнул между автобусом и автомашиной, обогнул другую автомашину и был уже близок от цели, Коля же значительно отстал. Оглянувшись (вот оглядываться не следовало), я улыбнулся Коле, и он помахал мне рукой и, подзадориваемый моей лихостью, кинулся вслед за мной. Я понял, что мне следует двигаться дальше, чтоб его опередить и сохранить между нами в этом смысле дистанцию. Я шагнул и не увидел, а ощутил рядом с собой странный неземной напор (да вблизи это именно такое неземное ощущение), страшный неземной напор автомобиля, от которого я отделен какими-то ничтожными микродолями времени. И тут-то я совершил (с выключенным, разумеется, разумом) два движения, спасших меня, но придавших моей пластике комический характер. Движения эти напоминали некое танцевальное па — тара-ра. То есть — «тара» — вперед, еще ближе к напору автомобиля, на верную смерть, словно бы для того, чтоб, испытав искушение набрать поболее обратной эмоциональной энергии, совершить спасительный скачок назад — «ра» — с опорой на правую ногу. Коля засмеялся. Это была уже не обычная строптивость, а первая серьезная размолвка, нечто вроде бунта, причем бунта искреннего, ибо я действительно был в этом танцевальном движении посреди проезжей части весьма смешон. Когда же мы, переждав поток автомобилей, выбрались наконец и достигли тротуара, то Коля довершил свой бунт смущением, смущение же в столь искренних людях есть начало сомнения. Состояние мое было ужасно, и уши мои были горячие (я их даже незаметно ощупал).

Мы стояли возле низенькой ограды, и за ней начинался обычный садик-бульвар, в котором гуляли старушки с детьми и сидел на скамейках всевозможный люд. Тут же находились разные заведения общепита, пирожковая, по продаже сладостей и напитков. И вся эта обыденщина подступала к историческому символу — Кремлевской стене. Эта несложная схема великого и смешного, к счастью, подсказала мой следующий ход.

— От великого до смешного один шаг,— сказал я, взяв себя в руки, уняв волнение и восстановив иронию в голосе и улыбке,— вот оно — подтверждение слов Наполеона.

Коля, как я понял, с радостью за этот ход ухватился, хоть бунт его был искренен, но он ему не был по душе, скорее был физиологичен, и он искал любой правдивый и умный повод от него избавиться, как любящий ищет повод избавиться от сомнений, невольно и независимо от собственных желаний в нем возникших.

Когда мы дошли с Колей к месту нашего назначения и уселись на зеленом холмике, я затеял следующий разговор.

— Если бы у любимого вождя, полководца, спасшего отечество и имеющего прочие заслуги, если бы у этого вождя во время его патетической речи перед искренне любящими его бойцами упали вдруг, к примеру, брюки, случай только на первый взгляд анекдотический, в действительности же вполне бытовой, это бы вызвало трагическое непочтение у его бойцов, которые вероятнее всего разразились бы трагическим страшным смехом, несущим в себе зачатки ревизии идеи и оплевывания святынь.

Коля слушал меня затаив дыхание. Притчеобразность моих слов не то что Коле, даже мне импонировала. Я с радостью слушал сам себя, одновременно думая, что ранее попросту себя недооценивал и даже считал в ряде вопросов глуповатым. Что же должен был испытывать Коля, этот мальчик протеста, жадно ищущий новых, не похожих на прежние авторитетов. Надо здесь заметить, что сидели мы у Кремлевской стены в той ее части, где всемирная стена эта выглядит особенно провинциально, где она основанием опирается на зеленющий, поросший обычной, неухоженной, дикой травой холм, кое-где кирпичными подпорками своими сбегая к узкой мостовой, ограниченной парапетом набережной. Мы сели на траву, упираясь спиной в теплые от солнца красноватые кремлевские кирпичи. В траве прыгали кузнечики, над нами в древние эти кирпичи у всемирно известных бойниц-зубцов был вбит железный, тронутый ржавчиной крюк, и на нем ветер слегка раскачивал электрическую лампу под железным

абажуром-шляпой. Неподалеку какая-то тучная неопрятная женщина в спущенных из-за жары чулках, оголяющих ее бесформенные ноги, поила из бутылки молоком капризничавшего мальчика. (Сознаюсь, пример я привел, именно глянув на эту женщину, и, идя от нее, уже выстроилась моя притча.) Сама обстановка здесь была направлена против прошлых символов и авторитетов, все здесь, и эта, прямо из коммунальной кухни, женщина, и эти прыгающие у Кремлевской стены деревенские кузнечики, и эта ржавая, скрипящая на ветру у кремлевских бойниц лампа, все ободряло меня в моих дерзаниях, а беспредельно преданный вид Коли (особенно приятный, учитывая краткость нашего знакомства, омраченного недавним инцидентом), преданный этот вид толкнул меня на крайне дерзкий шаг, и я прямо заявил, осторожно глянув на толстую женщину и понизив голос, способен ли он до поры до времени хранить великую тайну. Коля весь напрягся, глаза его радостно вспыхнули. Я видел, что, еще не зная тайны, он уже горд.

— Коля,—сказал я,—запомни эту минуту. Посмотри вокруг и запомни все. Пусть оно отпечатается в твоей памяти.

— Как у Герцена и Огарева на Ленинских... То есть на Воробьевых горах?

Я не понял, о чем он, хоть и догадался, что это из какой-то книги или истории, может, даже хрестоматийной, которую я тем не менее не знал... Мои знания весьма случайны и зависят от тех книг, людей и разговоров, с которыми так или иначе приходилось сталкиваться. Я знаю многое из того, чего большинство не знает, и могу не знать элементарного... Это, конечно, всегда мне неприятно, когда сталкиваюсь, и я немного досадовал на Колю за его вопрос и даже начал сомневаться, надо ли ему говорить, а если не говорить, то как выйти из положения и что придумать в виде «тайны». Для того чтобы выиграть время, я, по своему обыкновению, произнес нейтральную, ни к чему не обязывающую, пустую фразу, именно:

— При чем тут Герцен и Огарев? Я о другом хотел.

— Да,—тут же подхватил Коля,—Ятлин тоже считает, что от клятвы Герцена и Огарева пахнет глупым романтизмом... Котурнами, а не правдой... Социалистическим реализмом... Я не соглашался с ним... Я считал, что клятва освободить многострадальную родину от тирании как раз в духе нашего времени... Но, может быть, действительно... Раз вы, два умных человека, конечно, каждый по-разному... то, может, я и не прав... Я сейчас подумал, что действительно

в такой клятве есть что-то тоталитарное, чересчур идейно-закрепощенное...

Эти определения он произнес по-взрослому, и я понял, что они принадлежат его отцу. Что-то в них было явно с чужого плеча... Но слова — бог с ними. Влияние отца на него, может, и не во вред мне, а как раз на пользу... Этот Ятлин, это, кажется, опасный конкурент. Он путает Колю и имеет на него влияние. А у Герцена и Огарева, значит, речь идет о клятве. Коля, кажется, предположил, что я вместе с ним намерен произнести нечто подобное... Нет, милый мой, ты слишком меня недооценил... Ты думаешь, что я очередной вариант твоего Ятлины. Возможно, с Ятлиным он уже где-то поклялся. Впрочем, нет, Ятлин ведь против клятв отчизне. Это для него социалистический реализм...

— Скажи мне, Коля,— тихо спросил я,— насчет Щусева и наших дел этот Ятлин тоже?.. А?

— Нет, что вы,— спохватился Коля,— это ему и говорить нельзя... Он, пожалуй, высмеет. Это он не поймет, поскольку таланту не все дано понять. Мы делаем черновую работу, а у него в запасе вечность... Гении не выходят на Сенатскую площадь... Это избраннык, на которого указал свыше перст судьбы.

И все это было сказано искренне, откровенно, чисто, как могут говорить только не испорченные нуждой и не искушенные несбывшимися надеждами, лишь начинающие жить существа. Складывалось впечатление, что Коля и мне в непорочной юношеской глупости своей хочет предложить восхищаться этим Ятлиным, причем заочно. «Гений», «избранник судьбы» — вот какие слова он позволяет употреблять об этом типе. Судя по отрывочным сведениям о нем, я уже нарисовал его нравственный портрет, и мне внутренне показалось, что в чем-то Коля прав, он действительно по нервной организации мне подобен, но подобных великое множество... Тот же Вава... Ах, Вава, муж Цветы, через которую я хотел найти путь в общество... Ну конечно, Ятлин — этакий столичный Вава... Алчущих много, но надо иметь дерзость пожелать, дорогие товарищи... Что видели в жизни эти паркетные страдальцы?

Я посмотрел на Колю попросту с неприязнью и раздражением. «Однако,— подумал я,— отношения наши будут не так уж просты... Только примирились в одном, как он огорчил меня совершенно с другой стороны... И этот искренний взгляд, эта наивность... Не показные ли они?.. Может, он хитрит?.. Встать да уйти, пока не поздно... А если он меня искренне полюбил, то пусть страдает. Но страдание свое он

может передоверить Ятлину. Такие не умеют страдать в одиночку... А этот Ятлин, утешая Колю, начнет меня заочно высмеивать... Вот так не ценит и не понимает по наивности и, конечно же, из-за чистоты, с кем рядом сидит... Мое «инкогнито»... Хорошие люди вообще гораздо слабее чувствуют избранника, чем дурные, которые тут же начинают его травить...»

Мы сидели молча, Коля в растерянном недоумении, я же надувшись и в раздумье.

— Вот что,— сказал я, наконец решившись,— может, это действительно прозвучит как клятва (это уже в пику Ятлину), я не считаю, что клятва свойственна только социалистическому реализму и вообще сталинскому периоду. Тут уж твой Ятлин просто (я хотел сказать «дурак», но вовремя понял, что сильней будет, если я Ятлина впрямую не выругаю, а наоборот, проявлю показную вежливость), тут уж твой Ятлин (слово «твой» прозвучало как раз к месту и в форме вежливого оскорбления), тут уж твой Ятлин неправ...

Я чувствовал, что мысль моя, на которую я решился, снова начинает увядать, тонуть в Ятлине, и от этого начал раздражаться на себя и Колю, который сидел и ждал, широко раскрыв голубые глаза, не испытывая никаких усилий и потребностей производить тяжелую умственную работу подобно мне, а наоборот, надеясь на удовольствие и прибыль от этой моей работы, которую я добровольно взвалил на себя... Да, добровольно... Ибо если к избранничеству и ведет судьба, то последний штрих и последний кирпич каждый кладет добровольно, а без этого последнего кирпича вся башня, даже и подготовленная судьбой извне, остается несуществующей и для окружающих невидимой. Сколько таких недостроенных вавилонских башен!.. Только последний штрих и последний кирпич создает избранника, и кирпич этот уже не в руках судьбы, а в его собственных, лично его руках... Судьбе угодно было, чтоб меня экзаменовал на пост правителя России этот голубоглазый, свежий, неиспорченный юноша. Ему первому я должен дерзнуть произнести вслух мое желание и намерение стать во главе России...

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Коля,— сказал я,— твои друзья, этот Ятлин и прочие (опять Ятлин... быстрее вон от него),— они, конечно, люди с самомнением? Этак... мечтают,— тут я пустил снова в дело сарказм,— взлетают высоко...

— Да,— сказал Коля,— Герман о себе весьма мнит. Первоначально я даже указывал ему на нескромность, но позднее понял,— он имеет право... В нем это свыше.

— Вот как,— снедаемый ревностью, я пустил снова в дело сарказм,— наверно, он хочет быть поэтом, писателем или изобретателем турбовинтового двигателя... Ха-ха-ха,— я нервно засмеялся,— а о судьбе России в целом он думал?.. Дерзал?.. В том смысле, чтоб взять на свои плечи?..

— Что?— странно и быстро посмотрел на меня Коля.

— Да, Коля,— сказал я, чувствуя облегчение и радуясь его сообразительности, ибо в последние мгновения все-таки обробел.

— То есть?— спросил Коля.

Нет, рано я радовался. Он все-таки вынуждал меня к прямому изложению идеи вслух.

— Да, Коля,— решился я,— у меня предчувствие, более того — уверенность, что я когда-нибудь возглавлю правительство России.

— Но ведь это стыдно,— невольно искренне вырвалось у Коли.

Я ожидал всего, только не этого.

— Почему же стыдно?— сказал я.— Этот твой Ятлин со своими взглядами, он, получается, враг не Сталина, а России в целом...

— Ну при чем тут Ятлин,— вскричал Коля,— мы с ним об этом никогда не говорили... Это я так думаю... Любить Россию — это значит честно работать, трудиться для ее блага, а не властвовать.

В голубых глазах его в то мгновение было столько света, что я невольно залюбовался.

— Нет, Коля, ты тут неправ,— сказал я мягко, поддаваясь искренности Коли,— Россия никогда не испытывала недостатка в честных тружениках, но ей всегда недоставало честных правителей... которые бы поняли ее национальную идею...

Последней была уже цитата из Щусева, но Коля именно после нее вдруг наморщил лоб и этак с серьезной тревогой задумался. И лишь когда он задумался, я осознал, какой успех выпал на мою долю. Я сообщил этому чистому столичному юноше, сыну всемирной знаменитости, о своем намерении возглавить Россию, и это было воспринято им настолько естественно, что он главным здесь посчитал не сам факт, а его последствия для меня. То, что он сразу же выступил против этой моей идеи, вступил с ней в противоборство, говорило о том, что идея эта, произнесенная вслух, его не удивила и не

рассмешила... Признаюсь, как бы ни был я в себе уверен, но до этого момента что-то все-таки во мне сидело и издевалось, какой-то уголок во мне слушал меня как бы со стороны, иногда со смехом, а иногда и с тревогой. Тут удивляться нечему. Каждый будущий правитель из тех, кто поднялся к власти снизу, волею своею и дерзостью, как бы ни был уверен в своем призвании, немножко удивлен, получая власть... Ибо первоначальное движение свое он всегда строит на пустом месте... Дерзнул и пожелал... И вот уже мелькнуло что-то, и вот уже что-то завязалось, и вот уже возникла вокруг этого твоего желания, подобного сотням разнообразных личных желаний, вот уже возникла первая полемика, вот уже личное твоё желание, которое ты вполне мог ранее убить в зародыше, теперь обрело независимое от тебя существование и заставило задуматься этого серьезного, начитанного юношу.

— Хорошо,— сказал Коля,— я сейчас подумал и действительно понял, что в чем-то вы и правы... Европа слишком часто нас опекала за то, что мы рабы... Да, русский интеллигент всегда умел талантливо проклинать угнетателей народа, но никогда он не хотел замарать свои высокие принципы тяжелым и потным трудом, каким является честное правление России... Всегда он передоверял это тем, кого можно было потом использовать как объект своих талантливых проклятий...

Это последнее заявление несколько насторожило меня, несмотря на то что оно подтверждало мою идею, с которой Коля, выходя, согласился и примирился. Оно насторожило меня не содержанием, но формой, серьезностью и взрослой остротой. Здесь угадывались черты юноши, преждевременно состарившегося за чтением политических серьезных книг и политическими спорами. Это давало о себе знать, как в прежние времена давал вдруг о себе знать какой-либо взрослый, преждевременно познанный порок. Коля, наивный и честный, в определенном смысле был развращен этими книгами, этими спорами, которые часто шумели в его доме, как в прежние времена подобных же чистых юношей подстерегали и развращали порочные горничные, неосмотрительно либо неумно по желанию отца-развратника взятые для себя в дом. Но это уже особая статья и особая тема. В таких юношах, почти что мальчиках, это патологическое постарение какой-либо части души выражалось весьма неожиданно то в странном словосочетании, то в переходе вдруг от детской пластики к взрослой и в быстрой смене взглядов. Мысль, которую Коля высказал последней, только еще начинала тогда варьироваться в обществе. Причем здесь провинция даже шла впереди столицы,

ибо в провинции, как уже видно, хаос, вызванный хрущевскими разоблачениями, раньше начал упорядочиваться и подавляться силой, и провинция раньше начала от прежних противоборств переходить в определенных кругах от нелегальной оппозиции к легальной, то есть к славянофильству как естественному продолжению всякой русской оппозиции в России любой власти. Ибо славянофильство всегда соответствует духу национального свободолюбия и не соответствует своим национальным анархизмом любой власти — от народной до самодержавной. Но в столице, где прямые антисталинские тенденции, смакование разоблачений и собственное покаяние еще были крайне сильны, славянофильские тенденции еще только пробуждались, причем главным образом в кругах крайней молодежи, в которых и вращался Коля. Эти крайние круги не могли жить без ежедневной новизны, сенсаций и обновления своей оппозиции, а обычная антисталинская тенденция, приобретающая уже консервативный и официальный характер, здесь попросту поднадоела. Как выражались в этих кругах, надоел нам официальный социалистический антисталинизм, требуем антисталинизма национального...

Говорят, идеи носятся в воздухе и охватывают сразу многих и в разных местах, Щусев, сам носитель таких тенденций, безусловно знал об их существовании и в иных местах и учитывал это, готовя свое «всероссийское дело».

— Кстати,— сказал Коля, глянув на часы,— мы ведь сегодня собираемся у памятника Пушкину... Они собираются у памятника Маяковскому, а мы у памятника Пушкину (кто это «они», а кто «мы»), я решил не спрашивать... Там на месте пойму). Пойдемте,— сказал он мне.

— Пойдем,— ответил я,— помни, Коля, ты единственный во всем мире сейчас знаешь о моем замысле... Тебе единственному я доверил...

— Понимаю,— сказал Коля.— Я умею хранить тайну... Даже мой отец, который стал теперь так недоверчив, он мне иногда в таком открывается... Лучше б он этого не делал... Но об этом не теперь... И знаете, чему я особенно рад... Тому, что вы наконец познакомитесь с Ятлиным. Вы так необходимы друг другу.

«Опять этот Ятлин,— уже попросту с негодованием подумал я,— да не издевается ли этот мальчишка надо мной?.. Неужели то, что я открыл ему свое «избранничество»,— трагическая, неисправимая ошибка?.. Нет, конечно же, о Ятлине он от наивности»,— успокоил я себя, глядя на девичье, нежное, как цветок, личико (не лицо, а именно личико) Коли.

Мы встали и отряхнули пыль с наших рубашек, пыль Кремлевской стены, которая пачкалась так же, как и провинциальная пивная, о чем я, конечно, не упустил возможность заявить. В заявлении этом я не сумел найти остроумную формулу и смешное сравнение, но тем не менее Коля рассмеялся, очевидно от избытка чувств. Мы пошли по набережной и вдоль парапета дошли до автобусной остановки. За билеты платил Коля, но он сделал это так естественно, что я почти поверил, что оплата билетов меня не занимала, и лишь какая-то мелкая мыслишка по традиции шевельнулась относительно экономики личного моего денежного фонда, о котором не знал даже Шусев. Но мне тут же стало стыдно этой мыслишки, и, чтобы от нее избавиться, я затеял с милым, добрым Колей, которого я с каждой минутой все более любил, автобусный разговор намеками, которым хотел также выделить себя и Колю из среды автобусных пассажиров, среди которых было две или даже три приятных женщины. Между прочим, человек, задумывающийся о себе, весьма дорожит общественным мнением даже случайно и временно сложившегося общества, коим являются пассажиры автобуса, особенно столичного автобуса. Дорогу скоротали за этим мелким разговорчиком и невольной ловлей женских взглядов. Я по этой части специалист. Умею так поймать женский взгляд с безразличием и онегинской скукой на лице, что пойманная и не поймет, кто ж это обратил внимание: я на нее или она на меня, а даже наоборот, засомневается и опять обязательно посмотрит раз-другой. Тут уж сумеи довести безразличие до предела, можно даже исказить лицо гримасой, точно у тебя побаливает зуб и только им и занят... А когда уловишь на себе ее взгляд, улучи момент и, как говорят рыболовы, «подсеки». Именно в этот раз все состоялось настолько удачно, что я «подсек» двоих: девушку и Колю. Колю я окончательно этим к себе приручил и восхитил, вот в каком смысле: несмотря на свою чистоту и совершенно девичью нежность, а также на начитанность, Коля в то же время был юношей в том возрасте, когда в нем начинали бродить и пробуждаться соки. И хоть был он весьма стеснителен и явно из тех ребят, которые не женятся, а выходят «за жену» (чье это выражение, не помню), так вот, хоть он из таких, но, уверен, по ночам девушки ему снились, да и, кроме того, такие робкие весьма влюбчивы, конечно тайно, и уважают друзей в смысле женщин дерзких. (Уверен, пресловутый Ятлин дерзок и также и этим его окрутил.) И действительно, в автобусе Коля вдруг прервал разговор, наклонился ко мне, и, стыдливо как-то хи-

хикая, отчего лицо его стало совершенно не похожим на себя и глупеньким, он прошептал:

— А та, черненькая, она на вас смотрит...

— Какая?— безразлично спросил я.— Эта?.. Ах, та...

Это была маленькая и весьма миленькая девушка, похожая на мышонка, которую я растревожил своими взглядами. Сидела она за три места от нас, и рядом с ней на остановке как раз освободилось место.

— Хочешь познакомлю?— сказал я Коле развязно, по-уличному улыбнувшись.

— Ах, не надо,— испугался Коля, покраснев,— то есть потом, не сейчас.

— Потом она сойдет,— вел я свою игру, осмелев оттого, что Коля не соглашается, ибо для меня, человека идеи, главное— это произвести впечатление. Подойти, пристать— это значит унизить себя и поставить ее выше, тем более что, откровенно говоря, в этом смысле опыта у меня не было. Но я уверен был, что Коля не согласится (я психолог неплохой), и поэтому вел свою игру.— Так познакомить?— снова спросил я.

— Ну хорошо,— сказал неожиданно Коля,— познакомьте.

Меня попросту холодным потом прошибло. Но психология и анализ здесь не обманули меня, а как раз подтвердили ту истину, что с ними следует считаться и их уважать постоянно. Спросив Колю второй раз, я явно переиграл и вогнал Колю в такую краску, что стыд за свою мужскую нерешительность взял верх над робостью. К счастью, какая-то старушка села рядом с девчонкой, загородив ее от нас.

— Ну вот,— облегченно внутренне вздохнул я,— надо ж было раньше соображать.

— Ничего не поделаешь,— совершенно явно не умея, по наивности, скрыть чувств, сказал с облегчением Коля,— тем более возиться с ней некогда... Нам на следующей...

Мы встали и пробрались мимо чужих спин и локтей к выходу. Мы оказались на улице Горького, шумной центральной улице Москвы, которую я сразу же узнал, к счастью, по открытке из «Видов Москвы». К счастью— поскольку не мог выглядеть перед Колей провинциалом, попавшим сюда впервые и восхищенным. Я пошел делово и совершенно не оглядываясь по сторонам, но Коля меня окликнул и спросил:

— Вы не голодны? У меня попросту желудок подводит.

Действительно, уже вечерело, кое-где уже загорелись витрины, неоновые надписи. В провинции в те годы неоновые надписи еще только входили в моду, здесь же они были бытом

и обыденщиной. Одна из неоновых зеленых надписей привлекла мое внимание еще издали, и я не ошибся. Это было действительно кафе.

— Где-то здесь кафе поблизости находится,— сказал я, отводя рассеянно от надписи взгляд.

— Нет, это квартала два надо идти,— сказал Коля,— может, подъедем остановку?

Я обрадовался: значит, он, москвич, не знал, и тут-то я могу взять верх и доказать факт моего частого пребывания в Москве и знания столицы (собственно, Коля этих доказательств от меня не требовал). Я сам затеял эту игру и сам доказывал себе же. Со мной такое бывает, и мне часто удается доказать себе, конечно, не просто и с изобретательностью, но удается доказать то, чего не было.

— А я знаю, что где-то здесь поблизости есть кафе и никуда ехать не следует,— вел я свою линию, направляясь как бы невольно к зеленой неоновой надписи.

— Да вот же оно,— сказал и Коля, заметив,— действительно, об этом кафе я забыл... Там долго был ремонт.

«Оправдывается»,— подумал я про себя с усмешкой.

Мы вошли в кафе, сели за столик и заказали сосиски с зеленым горошком, кефир и пирожные. Сосиски и кефир заказал я, пирожные же Коля, и после этого Колиного заказа я понял, что платить намерен он, ибо, в противном случае, он бы пирожных не заказывал. Поэтому ел я успокоенный, с удовольствием, без анализа и расчетов (ибо, заказав сосиски, я тут же заметил в меню жареную рыбу и упрекнул себя, поскольку жареная рыба была дешевле, но подавалась с картофелем, то есть была сытней и выгодней). И действительно, мы еще только доедали сосиски, а Коля вытащил уже довольно крупную ассигнацию (которую отец явно давал ему на карманные расходы) и положил эту ассигнацию на краешек стола еще до прихода официантки. Так что когда официантка посчитала, то сдачу она положила возле меня, человека, более соответствующего по возрасту этой сумме. Произошла легкая заминка и неловкость, но Коля нашелся и сказал:

— Пусть пока полежат у вас, я их вечно теряю.

— Ну, пусть полежат,— сказал я, небрежно взяв деньги и сунув их в верхний кармашек на рубашке (затем, улучив момент, я тщательно переложил их в задний карман брюк и застегнул пуговку).

Этот крохотный инцидент окончательно установил между мной и Колей домашний характер отношений. Я был восхищен его деликатностью. Позднее я узнал, что Коля, как и

отец, старался по возможности поддержать материально своих товарищей, особенно пострадавших и реабилитированных. Тем более поддержать было чем, ибо сумма карманных денег, которую получал Коля, превышала весь мой неприкосновенный запас, который тайно от Щусева был зашит в подкладке моего пиджака. Ныне же этот запас увеличивался почти вдвое, даже если часть денег, полученных со сдачи, придется израсходовать сегодня на Колю. Но это какие-нибудь сладости, мороженое, соки, в крайнем случае такси. Так что останется еще серьезная сумма, которую я, конечно же, приобщу к неприкосновенному запасу. Так думал я, доедая пирожное, такое вкусное, что от аромата его становилось радостно, и во время еды я даже не сдержался, сладко причмокнул и улыбнулся. Затем, сытые и довольные, мы вышли на улицу, где уж совсем потемнело, прошли некоторое время пешком мимо светящихся реклам, вышли на какую-то ярко освещенную площадь, и тут-то обывательски-сочная и консервативная жизнь прервалась и я увидел Москву оппозиционную, Москву вольнодумную и явно антисталинскую, которая открыто шумела вокруг огромного памятника мужчины в тяжелых бронзовых брюках. Приглядевшись, я понял, что это Маяковский. (В открытках — «Видах Москвы» был этот памятник, но сейчас я увидел его под необычным ракурсом в необычной обстановке и не узнал.)

Густая толпа молодежи стояла вокруг, и какой-то юноша, довольно, кстати, провинциального вида, в ковбойке, что-то говорил, но его заглушал поток несущихся неподалеку автомобилей. Мы подошли ближе, но юноша уже кончил, и вокруг заплодировали.

— А Арский здесь тоже бывает? — спросил я как бы невзначай.

— Бывает, бывает, — неожиданно презрительно усмехнулся Коля, — вообще-то его место именно здесь, но он нюхом учуял и к нам переметнулся... Однако и тут у него не вышло... По-моему, сейчас он редко выходит, чтоб вот так, по настоящему, на улице... Он более в Политехническом, по билетикам... Перед провинциалами и бригадами коммунистического труда... Ну, сейчас запоет, — толкнул Коля меня в бок, — смотрите, полезла...

На пьедестал памятника поднялась тоненькая девушка с белым цветком в руках...

— Сейчас комсомольские стихи запузирит... Это не наши... Я просто сюда подошел понаблюдать. Вначале, два года назад, еще только все начиналось, наши первые начали собираться, и именно здесь... У Маяковского... Но потом эти

попримыкали... Потом все это в комсомольский диспут вылилось... Они ведь со Сталиным комсомольскими стишками борются, причем иногда даже из сталинского периода... Мы с ними давно порвали, уже месяцев пять, с весны... Теперь мы враги... Мы у памятника Пушкину собираемся...

Говоря все это и вообще очутившись здесь, Коля совершенно преобразился, и доброе, нежное личико его перекосило нечто упрямое, какое бывает у таких юношей, когда их несправедливо наказывают, чуть ли не секут ремнем, а они упорствуют и стоят на своем, отчего в лице их появляется даже злоба, свойственная упрямым мученикам. И действительно, я впервые увидел злое выражение на Колином лице.

— Сейчас она комсомольское что-то прочтет, ты послушай,— сказал Коля.

Он в злобе и волнении сказал мне «ты» впервые за все время нашего знакомства, и я даже поглядел на него с опаской и подумал, что мое влияние на него неожиданно оказалось под угрозой. Надо было что-либо срочно предпринять.

— Ты послушай,— говорил Коля,— сейчас она про героев-комсомольцев...

Но девушка, прижимая к груди цветок, совершенно искренне, однако, как было видно со стороны, несколько картинно, начала читать:

В этом мире я только прохожий,
Ты махни мне веселой рукой.
У осеннего месяца тоже
Свет ласкающий, тихий такой...

— Есенин,— сказал Коля,— прогресс в их обществе... Миновали уже Багрицкого и дошли до Есенина... Вот их диапазон... Сталин тоже любил Есенина... Это семь слоников... Если на лакировочной героике обыватель работает, то на Есенине он отдыхает... От седла до гамака и гитары с бантиком...

Я ничего не понял толком из того, что говорил Коля. Какие семь слоников, какое седло, какой гамак, какая гитара с бантиком? Должен признаться, человек я, к сожалению, сентиментальный и от ущемленности и тяжелой жизни во многом еще не пресыщенный. Стихи эти я слышал впервые, и они мне понравились. Но я великолепно по-актерски изобразил насмешку, тем более что девушка, читавшая эти стихи, мне не понравилась. Бледная, с длинным, белым, как у мертвеца, носом.

— Ату ее!— сложив руки рупором, звонко крикнул Коля.— Альбомные стишки читает...

Какие-то в ковбойках, стоящие вокруг, посмотрели на Колю неодобрительно.

— Женихов себе искать надо на танцплощадке, а не на общественном митинге,— не унимался Коля.

— Помолчи, сопляк!— сказал какой-то в ковбойке.

Тут уж я понял, что наступил мой черед как физически сильного друга, и из-за этого внутренне подсадовал и даже разозлился на Колю. (Вообще он мне не нравился с тех пор, как мы очутились у Маяковского.) Он вел себя явно заносчиво, понимая, что расплачиваться буду я. А эти, в ковбойках, были довольно физически развиты. Тем не менее я поискал глазами самого из них щупленького и толкнул его в плечо.

— Ты чего?— удивился он.

— А ничего!— с вызовом ответил я.

— Ладно,— сказал Коля,— черт с ними.

Таким образом, за «сопляка» в Колин адрес я как будто рассчитался и в то же время без драки, весьма в этой обстановке для меня опасной. Правда, «сопляка» сказал не щупленький, а наоборот, широкоплечий, стриженный по моде бобриком. Но тем не менее это из одной компании, да и демонстрация моя была публична, так что ее, наверное, и широкоплечий видел, но промолчал. «Сейчас главное унять Колю,— соображал я,— ибо если он еще раз спровоцирует, тут уж может так легко не сойти». Но не успел я еще даже до конца домыслить, как Коля с веселой злобой крикнул:

— А теперь прочтите «Стихи о советском паспорте»... Просим, просим, девушка... Прodeкламируйте...— и зааплодировал.

Широкоплечий снова обернулся и посмотрел на Колю так, что у меня в животе похолодело, в то время как он, дурачок, веселился. Хотя какой он дурачок—эгоист... Знает, что не ему, слабосильному, расплачиваться придется... К счастью, на этот раз широкоплечий Колю не оскорбил, а сказал назидательно:

— Это же Таня Судецкая... Ее из университета в прошлом году исключили за то, что она на лекции по политэкономии публично потребовала роспуска колхозов... О ней даже фельетон был в газете...

— Это она для того, чтобы обратить на себя внимание мальчиков,— совсем уж закусил удила Коля,— такие используют политику, чтоб замуж выскочить...

Не знаю, чем она ему так не угодила. Вероятно, девичье уродство оратора тоже раздражало Колю, а он, как натура непосредственная, дал этому выход и не мог остановиться. К тому ж политическая антисталинская борьба была для него

смыслом жизни, святыней, и к каждому недостойному даже по своим физическим внешним данным он относился с ревностной злобой. После этой крайней выходки Коли я ожидал скандала со стороны широкоплечего, терпение которого наконец должно было лопнуть, но скандал пришел неожиданно со стороны щупленького. (Возможно, влюбленного в Таню, ибо и сам он был урод.) Этот щупленький огрел Колю по шее, а я тут же схватил и дернул щупленького за ковбойку. К счастью, нас тут же разняли каких-то двое.

— Что там такое?— крикнул парень еврейского или армянского типа, стоящий у пьедестала памятника.

— Шумят,— ответил распорядитель (оказывается, толпа эта не была бесформенной. В ней были свои распорядители и вообще признаки организованности).

— Кто шумит?— спросил еврей (или армянин).— Стукачи? (Так прямо и сказал, громогласно, причем, мне показалось, чересчур громогласно и бодрясь.)

— Нет,— ответил распорядитель,— эти, от памятника Пушкину, русофилы...

— Ах, это вы,— поднимаясь на цыпочки и узнав Колю (оказывается, он был фигура известная), сказал еврей (или армянин),— милости просим... Может, хочешь выступить? Мы готовы... Мы ответим...

— Нет уж,— остро, беспощадно и зло сказал Коля,— нам с вами спорить не о чем... Ешьте свои комсомольские стишата и альбомными закусывайте... А мы к себе... Мы к Пушкину...— И, повернувшись, Коля начал выбираться из толпы.

Я полез за ним.

— Сволота,— сказал Коля, когда мы несколько отошли, и тут же добавил в их адрес крепкий мат.

Этот мужской мат так же шел его юношескому девичеству, как шла бы ему жесткая, твердая щетина на нежном румянце (он еще не брился). Мат из уст Коли меня не то что удивил, а скорее испугал, наподобие того как мог бы испугать меня говорящий младенец. Коля заметил мой испуг, но истолковал его по-своему, как обычное неодобрение.

— Ты чего? (Он по-прежнему развязно от своего озлобления говорил мне «ты».) Ты чего?.. Понравились они тебе?

— Да не то чтоб понравились,— ответил я,— а все ж люди тоже ведь ведут борьбу...

— Борьбу?— передразнил меня Коля. (Это было уже слишком, но я понял, что Коля действует в забытьи, на эмоции.)— Борьбу?— продолжал Коля.— Спасители отечества... То, что ты видел, есть не что иное как последний оплот сталинизма, но принявший антисталинскую форму... Это хрущев-

цы... Большинство из них с комсомольскими песнями на целину ездило... И Судецкая тоже ездила замаливать грехи... Я ее не знаю, что ли?..

В это время я увидел другую толпу возле другого памятника, расположенного от первого минутах в десяти ходу.

— А вот и мы,— сказал Коля, кивнув на толпу, и лицо его сразу успокоилось и посветлело,— вот вы (снова «вы» — значит все уладилось), вы убедитесь, какая разница.

И действительно, разница была. Толпа здесь была менее густая, но и менее случайная. Скорей ее можно было назвать не толпой, а группой. Здесь было больше интеллигентных людей, хоть были и из народа, но, так сказать, тронутые размышлением и самостоятельные. Памятник Пушкину я узнал сразу, он был точно таким, как в «Видах Москвы». И оратора, который стоял у памятника, я также узнал сразу, хоть видел его впервые. Это был безусловно Ятлин, и он совершенно соответствовал тому эмоциональному портрету, который я себе нарисовал. Что же касается портрета внешнего, то, как я теперь понял, у него должен был быть именно такой вид, чтоб соответствовать и отвечать эмоциональному портрету. Это был парень чуть выше среднего роста (именно тот рост, который любят женщины, не «жердь», но высок), мастью он был блондин, но отдающий в рыжину, ибо для обычных блондинов волосы у него были, даже по виду, жестковаты и курчавились. Лицо же плоское, но с толстыми, несколько негроидного типа губами, над которыми в ложбинке росло какое-то подобие ржанных усиков, какой-то клочочек, точно забытый при бритье. Намечалась также и бородка (и это в те годы, когда бороды только-только еще входили в моду даже среди русофилов). Глаза у Ятлина были серые, густые, яркие, отдающие в голубизну, и я не сомневаюсь, что Ятлин ими гордился, ибо это было у него единственное, полностью соответствующее представлению русофилов о славянском типе. В остальном, и это я про себя отметил, он скорее напоминал тип светлого негроида.

Когда мы подошли, он, так же как и те, у памятника Маяковскому, читал стихи, но тут Коля остановился с благоговением, и лицо его приняло вновь выражение юношеское и доверчивое, из чего я лишний раз убедился, как сильно влияние Ятлина на Колю и как трудно мне в этом смысле придется. Впрочем, стихи действительно были иные, и оратор читал их в ином ритме, задумчиво, тяжело, а не звонко, покомсомольски.

Пожелаем тому доброй ночи,
Кто все терпит, во имя Христа,
Чьи не плачут суровые очи,
Чьи не ропщут немые уста,
Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, в науки,
Предаваться мечтам и страстям...

— Это Ятлин,— шепнул влюбленно совершенно преобразившийся Коля и улыбнулся мне с таким видом, точно говорил: «Ну что, уже очаровались, влюбились?.. Ведь я предупреждал, а вы не верили...»

Кто бредет по житейской дороге
В безрассветной, глубокой ночи
Без понятия о праве, о Боге,
Как в подземной тюрьме без свечи...

Коля заплодировал одним из первых и по-детски звонко, ладошка об ладошку, протянув руки перед собой. Я, подумав, решил также отдать дань, чтоб не выглядеть предвзято с самого начала, а попытаться выбрать момент и нанести удар этому Ятлину с неожиданной стороны и в присутствии Коли, а также возможно большого общества. Правда, уже с самого начала заплодировал я вяло и снисходительно, надеясь, что Коля заметит мое неодобрение этим восторгам и в нем зародятся первые сомнения, если только он мне действительно доверяет. Но Коля не заметил, так был очарован своим лидером (Ятлин был явно лидер этой группы).

— «Страдалицу!»— крикнул Коля, сложив рупором ладошки, точно так же, как у памятника Маяковскому он выкрикивал оскорбления, но здесь голосом восторга, без хриплых, острых ноток.

— «Страдалицу!»— крикнуло еще несколько голосов.

— Ну хорошо,— сказал Ятлин,— я прочитаю отрывок.

— Сейчас он свое,— восторженно шепнул мне Коля,— до сих пор он стихи Некрасова читал о народной нужде, а сейчас свое.

— «Уж и злоба не берет иной раз на вас,— начал Ятлин,— вяжешь это в поле, сверху солнышко так и жарит, так и обжигает. Снизу тебе прямо в грудь земля-матушка полымем пышет. Поясницу разогнуть нельзя, ведь с самого утрачка, вдвое перегнувшись, по полю ходишь. В глотке пересохло все, и промочить-то ее нечем, в кувшине-то водицы уже и звания нету. Да и в пылище вся, потная вся, загорелая, руки растрескались, ломают, гудуть. И глядишь это: вы идете себе полегонечку, потихонечку, под зонтиком, с книжечкой... Да полные,

да румяные, да одетые-то во все чистое, белое, ну будто вот репка чистая, хорошая. Как увидишь это, так сердце все и перевернется. Господи, за что же это я-то тут в аду мучаюсь, а они-то знай себе погуливают. А другая-то из вас да остановится и так ласково скажет: «А трудно тебе работать?» Ах, идол те возьми. Взяла бы сама да своими белыми ручками да поработала бы так, как я вот, до самого солнышка... Да когда же это погибель придет на вас? Хоть бы мор какой на вас, что ли? Взяла бы палку да и выгнала бы всех на наше место — в поле, хоть денек поработать. Небось жир бы спал, брюхо подвело бы у них. Нет, придет на вас погибель, уж покажем мы вам, белотелым, за наши обиды. Довольно вы над нами издевались...»

Снова вокруг заплодировали и особенно Коля, но Ятлин поднял недовольно руку и поморщился. Видно, он сам был под впечатлением прочитанного.

— Все это мной не выдуманно,— сказал он громко, — вот так испокон веков на нашей матушке-Руси.

— Это он из начала века сочинил,— шепнул мне Коля,— эзопов язык... В наше время вообще суть в подтексте... Поглядите,— шепнул он, уже приблизившись совсем вплотную и дыша мне в ухо,— вот тот, в сером пиджаке... Это явно не наш... Это явно подосланный... Стукач... За нами следят,— произнес он с гордостью,— там у Маяковского только вначале, еще до раскола, подсылали... А теперь на них внимание не обращают...

Все это он шептал мне, поглядывая на парня в сером пиджаке. (Становилось уже прохладно, и я кстати пожалел, что не надел пиджак.) Коля то тянулся к моему уху, произнося шепотом две-три фразы, то опять поглядывал на, по его мнению, «подосланного». Вдруг на полуслове он меня покинул и рванулся к пробирающемуся в толпе Ятлину, который уступил место новому оратору. Мне стало горько, и я решил замкнуться по отношению к Коле и вообще подумать, стоит ли мне с ним продолжать взаимоотношения. Но оказалось, что Коля рванулся именно для того, чтоб меня с Ятлиным познакомиться. Он уже был рядом с ним и махал мне издали: подойди, мол. Я твердо мотнул отрицательно головой, делая вид, что слушаю нового оратора, который почему-то затеял разговор о буддизме. Но я не понял, то ли он его восхваляет, то ли подвергает критике.

— Буддизм,— говорил оратор,— принадлежит к нигилистическим религиям, это религия декаданса, и для нас, людей русских, его значение особого рода...

В этом месте я рассеялся, ибо заметил, что Ятлин, ведо-

мый Колей, пробирается ко мне. Это мне польстило, и я подумал с радостью, что одержал первую победу, пусть пока тактического плана. Вблизи Ятлин еще более оправдал мои о нем эмоциональные впечатления. Нового в нем, прямо говоря, не было ничего, а весь он состоял из частей и смешения разных людей, которых я уже видел и встречал. Должен попутно заметить, что разнообразие людей, так же как и разнообразие положений и ситуаций, вообще весьма ограничено и напоминает цветовой спектр, так что вся пестрота характеров и ситуаций происходит от смешения одних и тех же качеств и обстоятельств в разных формах, разных пропорциях и с разными оттенками. Вообще-то в Ятлине было весьма много от Вавы, мужа Цветы, хоть он и был выше ростом и любимцем женщин (я и здесь угадал), ибо третьей, явно за Ятлиным, пробиралась очень красивая девушка из тех, кто вполне могут составить компанию даже Арскому. (Впрочем, как выяснилось позже, Ятлин ставил себя значительно выше, как он выражался, социалистического спекулянта Арского.)

— Вот это Гоша,— очень почему-то волнуясь, сказал Коля.

— Ятлин,— протянул мне костлявую, небольшую ладошку Колин любимец и при этом так крепко пожал, что я невольно, не готовый к такому крепкому пожатию, поморщился, так что даже Ятлин заметил и сказал: — Извините.

Несмотря на то что не я к ним подошел, а заставил их двинуться ко мне, в этом эпизоде я дважды проиграл, и в значительной степени благодаря безобразному поведению Коли, которому я решил при удобном случае сделать выговор. Во-первых, Коля назвал меня по имени, причем даже и не полным именем, а Ятлин ответил фамилией, то есть большей официальностью, так что я здесь выглядел перед ним несерьезно. Ну а во-вторых, раздосадованный, я не подготовился к крепкому ответу на рукопожатие, невольно поморщившись (физически я не слабее Ятлина), и более того, дал Ятлину возможность извиниться за причиненную боль с явной издевкой.

— Вы обязательно друг друга полюбите,— очень нехотая сказал Коля, и я и Ятлин это тотчас же заметили.

— Вы на Колю произвели впечатление,— сказал Ятлин, глядя на меня в упор своими истинно славянскими глазами, при несколько неопределенной, даже негроидной остальной внешности.

— Вы тоже,— отпарировал я, выдерживая его взгляд и, более того, стараясь поломать этот взгляд своим.

В это время девушка, в духе довольно свободных нравов, взяла Ятлина об руку, так что ее аккуратная девичья груде-

ночка уперлась прямо Ятлину в ребра. (Она была невысокого роста и чрезвычайно аккуратенькая вся, точно точеная, наверное, гимнастка или вообще спортсменка. Ножки у нее были аккуратные, загорелые и в богатых туфельках.)

— Мне о вас Коля успел уши прожужжать минуты за две-три,— перешел от нейтральных фраз к нападению Ятлин и почему-то скосил глаза на девушку.

Она также ответила ему взглядом искоса и, наклонившись, вдруг чмокнула своими малыми губками Ятлина в прыщеватую шею (да, у него шея была с этакой нездоровой красноватостью, это я отметил).

— Мне о вас тоже,— довольно монотонно, по-попугайски отпарировал я, ибо был несколько растерян и взволнован этим поцелуем. В то время свобода нравов еще не охватила в такой степени провинцию, меж тем как в Москве, особенно после всемирного молодежного форума против поджигателей войны, за мир и дружбу, эта свобода нравов достигла серьезных размеров, о чем к нам в провинцию доходили слухи. Вообще мне такая свобода даже и нравилась, я и сам был бы непрочь, но в данной ситуации, когда между мной и Ятлиным по инициативе наивного Коли происходило это знакомство-препирачество, ныне эта свобода нравов помогала и укрепляла чувство собственной значимости именно Ятлина, а не мое... Я понял, что разговор надо переломить, ибо в этой вязи, в этих подтекстах они с девчонкой, которая явно пришла помогать Ятлину расправиться со мной, в этой вязи они меня запутают и утопят.

— Скажите,— спросил я вдруг,— а Орлова вы знаете (ибо в данную секунду в Ятлине мелькнуло что-то и от Орлова)?

— Слышал,— не показав удивления от перемены темы, сказал Ятлин,— этот бездарный провинциал, который помимо сочинения подпольной бездарной стряпни создал еще какую-то группу уличных хулиганов (Ятлин дважды употребил слово «бездарный», видно, оно было его любимым).

Складывалась нелепая ситуация, и по моей же вине. Я, ненавидевший Орлова, должен был защищать его если не по сути, то по форме, чтоб противостоять Ятлину, и продолжить пикировку.

— Почему же бездарную? — сердито сказал я.— Конечно, легче всего произносить монологи, чем заниматься делом.

— Ах, вы тоже из этих? — произнес Ятлин с открытым уже пренебрежением, почти без дипломатии.— Жаль, жаль (здесь издевка прорвалась), ведь Колю тоже по молодости лет туда заносит... Наверно, на этом поприще вы с Колей и познакомились.— Тут девчонка почему-то прыснула.

— Алка, перестань хохотать,— с некоторой обидой обрвал ее наивный Коля,— друзья мои, происходит явная глупость... Вы два прекрасных человека, вы так нужны друг другу, так друг друга дополняете... Герман, ты ведь не знаешь ничего о Гоше...

Я в испуге, именно в испуге, наступил Коле на ногу. Мною просто овладел страх от мысли, что наивный Коля, защищая меня, забудет о всех своих клятвах и моих предостережениях и выложит мою тайну, мечту управлять Россией, которую я по ужасающей своей, попросту пошлой глупости (да, сейчас уже ясно, пошлой глупости, со мной это иногда случается) доверил этому несерьезному юноше. Не знаю, понял ли Коля мой жест, но он замолк, глядя как-то рассеянно, возможно и опомнившись и подумав об уговоре и о клятве. Что ни говори, хоть Коля и не проболтался, но этой своей защитой нехстати он мне и так достаточно напортил. Во-первых, он сказал, что мы дополняем друг друга, тем самым унизив в большей степени меня, ибо полемику вел Ятлин, а значит, дополнял я. Во-вторых, он влез между нами после язвительных слов Ятлина, тем самым оставив последнее слово за ним и не дав мне должным образом отпарировать. Мне, конечно, было бы самое время уйти, но без удачной фразы это скорей бы походило на бегство. На языке вертелось: «Сукин ты сын»,— но это скорее опозорило бы меня, чем Ятлина, который, конечно, вместе со своей спортсменкой расхохотался бы. Женский смех в мой адрес, как известно, для меня острый нож. Да и Коля был бы весьма огорчен, чуть ли не убит моей такой глупой выходкой, а он и так страшно переживал, это я видел и отметил. Поэтому я решил никаких слов не произносить, а повернуться и уйти, но не сразу, а после долгого прямого взгляда, в глаза Ятлина. Так я и сделал.

— Куда же вы?— крикнул Коля мне вслед.

Отойдя на некоторое расстояние молча, я остановился в потоке гуляющих у какой-то освещенной витрины (как выяснилось, у аптеки). Я остановился, ибо видел, что Коля, крайне расстроенный, догоняет меня.

— Поверьте,— сказал он,— произошло недоразумение... просто Герман не в духе... Но вы полюбите друг друга... Вы друг другу нужны... Он и сейчас, когда вы отошли, сказал мне, что в вас что-то есть...

— Возможно,— сказал я с иронией, обретая которую понял, что душевное спокойствие восстанавливается,— возможно, во мне действительно что-то есть.— И я дружелюбно, но конечно же одновременно и покровительственно хлопнул Колю по плечу.— Поговорим завтра при встрече...

А сейчас иди к своим друзьям... Будь здоров...— И я зашагал, сильно выпрямившись, чувствуя свою спину и твердо, широко ступая. Моя репутация, прежде всего в моих собственных глазах, после этих нелегких столичных испытаний была восстановлена.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Я, конечно, заблудился, ибо первоначально из гордости, из нежелания выглядеть провинциалом старался дороги у прохожих не спрашивать, а ориентироваться по открыткам «Виды Москвы» и по своей зрительной памяти, кстати говоря, достаточно цепкой. Как потом выяснилось, от памятника Пушкину до места нашей ночевки у Марфы Прохоровны даже и пешком минут десять — пятнадцать. Я же пошел вкруговую, то есть в противоположную сторону, к памятнику Маяковского, возле которого, кстати, толпы уже не было (наверное, у тех, возле Маяковского, существовал регламент), далее миновал кафе, в котором мы ужинали, и так, идя от пункта к пункту, как по отметкам, добрался к автобусной остановке, откуда вновь доехал к Кремлевской стене, к тому месту, где мы с Колей сидели и где я ему открылся в своей идее жить для того, чтобы возглавить Россию. Сейчас, во тьме, Кремлевская стена здесь, в пустынной ее части, выходящей на ночную набережную, выглядела как-то особенному. Учитывая мой нервный, впечатлительный склад ума вообще, события дня в частности, а также тьму, одиночество мое, звездную теплую ночь (как известно, теплые звездные ночи весьма способствуют образно-эмоциональному мышлению), учитывая все это, понятно почему я здесь задержался, взобрался на травянистый холмик, прижался к древним, историческим кирпичам Кремля и так стоял довольно долго, глубоко, порывисто дыша. По ту сторону реки проползали огоньки, там был сравнительно оживленный автомобильный тракт, здесь же полная тишина. Вдруг чувство сродни религиозному овладело мной, и я поцеловал кремлевские кирпичи, правда, тут же стыдливо обернувшись, но вокруг никого. Тогда я вновь припал губами к кремлевским кирпичам, втягивая их запах ноздрями.

— Господи,— зашептал я,— помоги, Господи...

Напоминаю, я не набожен и позволял себе ранее, в сталинские времена, над Богом остроумно посмеяться. Правда, ныне, после общения с компаниями и свободомыслия, я позволяю себе о нем и порассуждать, если в голову придет удачная

мысль или сравнение, свое или заимствованное, но это, конечно, уже для красоты мышления и ради противоречия убогому рабскому прошлому. Однако бывают случаи, когда мои чисто плотские, а не духовные стремления нуждаются в сверхъестественной помощи для того, чтобы добиться личной удачи. И если помощи этой ждать неоткуда и все возможности исчерпаны, то я обращаюсь в душе к Богу и даже молюсь шепотом, разумеется, на свой манер и по-своему. Когда ранее (мне теперь кажется, в бесконечно далекие времена, хоть прошло всего полгода), когда ранее, в период борьбы за койко-место, образовывались какие-либо тупиковые ситуации, грозящие мне выселением, и мне казалось, что мои враги взяли верх, а мой покровитель Михайлов окончательно на меня махнул рукой и от меня отступился, то я, случалось, молился шепотом и просил помощи. Кстати, примерно после этих молитв все и образовывалось. (Справедливости ради надо снова напомнить, что молился я в тупиковых, крайних ситуациях. В ситуациях или — или... А в таких ситуациях, когда все доходило до предела, Михайлов, который ранее отмахивался и отделялся телефонными звонками, тут уж брался всерьез и чуть ли не ездил сам куда-то и к кому-то.) Но в данном случае, и я это понимал, ситуация будет все время тупиковая, ибо место на «российском троне» (я, разумеется, не монархист и вообще формы правления, как говорил Бруно Теодорович Фильмус, создаются не правителем, а историей и народом, так что «российский трон» — это исключительно для красоты и иронии, без которой в наше время и здесь не обойтись), итак, место на «российском троне» могу выхлопотать себе лишь сам я, а значит, Бог... Да, когда человек в своей борьбе одинок (нельзя же всерьез воспринимать Колю, особенно после сегодняшнего. Щусев же скорей конкурент, несмотря на то что он избрал меня в наследники), когда человек одинок в борьбе всемирного масштаба, которую он дерзнул затеять для начала хотя бы в мыслях, то значит, что он вручил свои желания судьбе и Богу...

Я на время утратил себя, а когда опомнился, то обнаружил, что стою задрав кверху подбородок и положив правую руку на кирпичи Кремлевской стены, левой же прижав сильно колотящееся сердце. Поза была явно символическая, но сложилась по внутреннему ощущению и наитию. По Москве-реке во тьме скользило что-то большое, кажется, баржа. Оттуда доносились голоса людей и мелькали огни. Поток же автомобильных огней на другом берегу стал совсем редким. Я глянул на часы (старенькая «Победа» первого послевоенного выпуска), было начало второго.

— Однако,— сказал я, спускаясь с холмика.

Далее путь мой лежал по затемненной Красной площади, то есть снова же пейзаж соответствовал эмоциональному настрою. Миновав Манежную, там, где я впервые перед Колей опозорился и где поток автомашин ныне резко уменьшился, я вышел к знакомым, казалось бы, переулкам и вот тут-то запутался, пробродил не менее получаса, пока не решился обратиться к шоферу такси.

— Садись, подвезу,— сказал мне шофер, жуликовато улыбаясь.

— Нет-нет,— испуганно ответил я, сразу вспомнив о денежном неприкосновенном запасе и особенно о Колином подарке. Ведь особенно обидно терять счастливо найденные деньги.

— Это на другом краю города,— улыбаясь, крикнул мне вслед шофер, а затем, видя, что я не реагирую и не оборачиваюсь, он дал газ, догнал меня и сказал: — Я пошутил, парень... Вон это... Третий переулок отсюда...

И действительно, минут через пять ходу я узнал переулок, потом узнал дом и вошел в подъезд. Открыла мне Марфа Прохорова.

— Вот еще,— недовольно сопя и отхаркиваясь, кутаясь в цветастый длинный капот (именно капот, а не халат), говорила она,— мы как договаривались?.. Я и Колю предупредила... И главное, еще одного привели...

Я не знал, какие у нас здесь права и в какой степени здесь распоряжается Коля, и потому промолчал. Но, войдя в нашу комнату, я действительно заметил, что помимо ребят, которые спали вальетом на диване, на полу, рядом со Щусевым кто-то спал посторонний. Иными словами, на моем месте спал. «Интересно,— подумал я,— а мне же куда?..»

И, как бы отвечая на мои мысли, Щусев поднялся на локте и сказал:

— Ложись вальетом, пиджак под голову...

«Вот оно как,— сердито раздеваясь, думал я,— вот оно как».

В сущности, сердиться не на что было. Приехал лишний человек, а я вернулся последним. Но тем не менее было досадно, что обо мне не позаботились. И вообще я понимал, что те, кто меня окружают, это временные попутчики. Может, через пять — десять лет, какое там — может, через год, даже их имена сотрутся... Я понял, что в той пестроте и хаосе, который существовал вокруг, главное было подобрать людей... Задача не из легких, и, учитывая нашу бедность, конечно же, таким, как Коля, пренебрегать не следует, при всех его

недостатках... Основное — изолировать его от Ятлина... Ятлин — вот противник, пожалуй, опаснее Щусева. С этими мыслями я и заснул. Разумеется, не валетом, носом, возле двух пар мужских босых ног (я, как известно, брезглив), а постелив свой пиджак в стороне и вытянув у Вовы Шеховцева из-под головы диванную подушку (он взял себе две). Несмотря на впечатления дня, заснул я довольно быстро, сказавшись усталость. Утром меня разбудил Щусев. Все уже были одеты, умыты и ходили, чуть ли не переступая через меня, который лежал скорчившись на полу. Я быстро вскочил.

— Ну и храпел же ты ночью, — сказал мне Вова Шеховцев, — я проснулся, думаю, кто это так храпака давит?..

Меня этот Шеховцев раздражал. В его хулиганских уличных глазах всегда было нечто мне враждебное. К тому ж меня возмущало, что эта шпана сопливая говорит мне «ты» как равному. В том же, что он уличил меня в ночном храпе, было и вовсе нечто унижительное. Тем более что за спиной моей на эту реплику Шеховцева кто-то засмеялся по-новому, по-чужому. И действительно, это был тот самый чужак, который приехал после нас и здесь поселился (впрочем, я его видел разок у Щусева на заседании организации, когда решался вопрос о кандидатуре Молотова или Маркадера). Был он маленького роста, почти карлик, и имел вид человека, быстро располневшего после истощения. (Некоторые реабилитированные, особенно по физиологическому состоянию своему склонные к полноте, быстро полнеют, буквально в первые же месяцы свободы изменяясь на глазах.) Но в цвете полного лица его была какая-то непроходящая землистость, и ладони его холодны как у мертвеца (он подал мне руку). Звали его Павел (впрочем, возможно, это псевдоним, кличка, ибо меня Щусев тоже почему-то представил кличкой, о которой я и забывать стал. Напомню, у каждого из нас была кличка, но мы ею не пользовались, и в кличке этой также был элемент несерьезности и игры. Или это были умелые действия Щусева под крикливость и несерьезность времени, ибо ныне известно: все эти клички соответствующим образом фиксировались и вообще все о нас сообщалось. Но об этом еще рано).

— Турок, — представил меня Щусев Павлу.

— А он соответствует, — сказал Павел Щусеву обо мне.

— Не думаю, — ответил Щусев.

— Ты не прав, — сказал Павел, все еще не отпуская после рукопожатия моей руки и задержав ее в своей пухлой холодной ладони.

— В чем дело? — вспылил я, давая этому Павлу понять, что не лыком шит, что меня голыми руками не возьмешь

и все эти экивоки и неопределенности вокруг меня пусть он побережет для кого-нибудь другого. Я выдернул свою руку и отошел к окну. Ребята, Вова и Сережа, засмеялись. (Теперь настал их черед.) — Что происходит? — спросил я Щусева.

Но Павел подошел ко мне (он был ниже меня на голову), взял меня об руку, вышел в переднюю. Следом вышел Щусев.

— Вам известно, — тихо сказал Павел, — что Олесь Горюн состоял в агентах КГБ и таковым был направлен в организацию?

— Нет, — растерянно ответил я и тут же осознал намек, — значит, вы и меня... Как вы смее?... Кто вы?... По какому праву?... — я говорил вздор, ибо был растерян.

— Так, — властно и твердо сказал Щусев, — прекратить, и немедленно... Слышишь ты, сволочь! — вдруг крикнул он Павлу.

Сцена начала становиться безобразной. Очевидно, она являлась продолжением чего-то, что происходило вчера в мое отсутствие.

— Ну-ка, выйти всем, — крикнул Щусев (он кричал, оказываясь, зная, что мы одни, ибо хозяйка еще на рассвете, чуть ли не первой электричкой, выехала на дачу журналиста, своего родственника, оставив квартиру в наше распоряжение. Это, как выяснилось, было делом рук Коли). — Выйти всем... Выходите, ребята... Я с Павлом поговорю наедине.

Я и ребята стояли в передней довольно перепуганные, думая, что сейчас там, в комнате, начнутся особенно бурные крики, а возможно и драка, но там царила тишина, подобная той, какая случается, когда люди говорят шепотом. И действительно, через минут двадцать дверь распахнулась, вышел Павел, одетый, с чемоданом в руках, и, ни на кого не глядя, не попрощавшись ушел. Щусев появился через некоторый промежуток времени, после того как дверь захлопнулась, и сказал как ни в чем не бывало:

— Позавтракаем, и вы, ребята, в кино, вот деньги (он выделял им каждый день карманную сумму, которую вручал не Вове, а Сереже), погуляйте, отдохните... А нам с Гошей надо по делу...

«Ясно, — подумал я, — значит, ребят он до последней минуты собирает держать в неведении... А этот Павел... Чего он приезжал?... И скандал... Нет ли здесь подвоха или розыгрыша?... Проверяют меня, что ли?... Ну, подожди... Время, время, вот что все поставит на место...»

Так думал я за завтраком, довольно скудным, состоящим из булок и чая. Когда после завтрака ребята ушли, я попробо-

вал заговорить о Павле, ибо его появление и исчезновение меня взволновали, но Щусев сказал:

— Не надо о нем... Явился без вызова... Болван... Вообще, человек он сумасшедший... Двадцать лет режимных лагерей... Ему там ребра поломали и ногти повыдергивали... Особенно на ногах это болезненно...

— А что, Горюн действительно?..— начал я тихо, после паузы, вызванной болезненной реакцией от подробностей, сообщенных мне о мучениях человека мне неприятного.

— Всего лишь предположение,— перебил как-то нервно Щусев,— но поручиться нельзя.

— Но ведь он арестован?

— Это тоже предположение... Впрочем, они иногда арестовывают своих для отвода глаз... Вы не читали (опять «вы»), вы не читали брошюру народника Тихомирова «Почему я перестал быть революционером»? Там уже кое-что объяснялось, и позднее оно обнаружилось у наших евреев. (Его снова прорвало.) Национальный дух революции... Народное движение было убито идеологией, привезенной с Запада... Краеугольный камень троцкизма — самодержавие народа... Какого народа? Русских? Славян? Разве в Англии правит некий всемирный народ, или во Франции?.. Они придумали интернационал, но придумали его для нас (он повторялся, и это говорило о том, что это его сильно занимает и глубоко засело в мозгу).

— Надо действовать, Гоша,— сказал он, когда мы окончили чаепитие (после ухода ребят мы выпили еще по две чашки, возможно для того, чтобы иметь повод говорить не на улице и при этом не сидеть попросту без дела, дабы не придать разговору специальный характер),— сейчас самый подходящий момент... После того как его Хрущев отстранил от дел, со спецхраны он фактически снят — раз,— Щусев загнул палец,— с другой стороны, он теперь мученик за идею сталинизма, и авторитет его вовсе не упал, в том числе и всемирный... Ты знаешь, что организация наша обладает фактически ничтожными возможностями, и акт возмездия в центре Москвы, среди бела дня, правой руке Сталина, его ближайшему соратнику, стал доступен лишь благодаря временному стечению обстоятельств... Это должно всколыхнуть молодые умы... Есть еще один момент... Кстати, весьма щекотливый... Я боюсь, что какой-нибудь случайный реабилитированный одиночка... Какой-нибудь пострадавший еврей даст ему пощечину, вряд ли он сделает что-либо большее, и тем самым все приобретет комический характер... И вообще, этот одиночка помешает и вспугнет его... Помешает даже чисто орга-

низационно... Надо торопиться... Даже террор наш после Пугачева был крайне засорен иноверцами, потому и был чужд народу...

К тому времени я уже твердо понимал, что со Щусевым пора рвать, но понимал также, что еще рано и самостоятельное кредо еще не выработано. В Щусеве мне прежде всего не нравилась его монотонность аргументов и призывов (как выяснил я потом, это составляет не слабость, а силу политического течения крайнего толка). Мне не нравилось также, что и здесь проглядывали черты ненавистного мне Орлова и вообще получался заколдованный круг, который в последнее время меня даже начал пугать: в какую бы сторону я ни шел, везде маячил призрак Орлова, причем как раз среди тех, кто его поносил. (Поносили его все, с кем мне приходилось сталкиваться.) Поэтому речь шла о создании кредо совершенно отличного, и вот тут-то обнаружились немалые трудности. Тот долгий и извилистый путь, которым я шел к идее вообще, утрачивая и разочаровываясь, и то счастливое обстоятельство, когда я перенял у Щусева, по его же инициативе, великую дерзость желания, утвердившую во мне идею, все это не имело, как я понял, смысла, если не подкрепить эту идею кредо, то есть собственными взглядами на судьбу России. Взгляды Щусева были мне неприятны, и лишь благодаря выработанной годами хитрости и притворству я это от него прятал. Но собственного разумения судьбы России я не имел и здесь рассчитывал на Колю, юношу столичного и начитанного. Вообще один я был еще ничем, а вместе с Колей мы уже составляли известное новое направление. Таковы были мои мысли вплоть до того момента (мы, кстати, уже шли по улице), до того момента, как Щусев сказал негромко:

— Здесь...

Мы остановились, и тут же я увидел Колю, восприняв это как знамение. Правда, потом выяснилось, что Коля здесь находится по договору со Щусевым и выполняет определенное задание, то есть, стоя у киоска «Табак, сигареты», он держал под наблюдением узкую, тихую улицу. Очевидно, своим заданием Коля был чрезмерно увлечен, поскольку вначале, будто и не замечая меня, тихо сказал Щусеву:

— Сегодня он запоздал на десять минут... Но в остальном как обычно,— и лишь после этого улыбнулся мне.

Это меня покорило. «Тут, наверное, не обошлось без Ятлина»,— подумал я. Но тут же Коля сказал тихо, адресуясь лишь ко мне и явно понизив голос, чтоб Щусев, оглядывавший перекресток, не слышал:

— Я вчера весь вечер говорил Ятлину о вас... Он заинтересован и хочет повидаться...

Я задумался. Конечно, в смысле выработки кредо тут есть определенный положительный момент. Присутствие в столичном обществе, где все они для меня будут объектом рассмотрения, я же — «инкогнито», не может помешать, если тщательно продумать свои действия. А вдруг я к этому Ятлину несправедлив? Моя идея достигнуть верховной власти в России требует гибкости и союзов, хотя бы и временных.

— И одна девушка вами заинтересовалась, — совсем уж глуповато хихикнул Коля.

И снова некстати. Ибо если до этой фразы я готов был согласиться на встречу, то после нее все приняло иной аспект и Коля, тем более со своим хихиканьем, мог неверно истолковать мое согласие. «Странный парень, — подумал я с досадой, — когда он научится точности взаимоотношений? У него в этом смысле полностью отсутствует чутье». Конечно, намек о девушке воздействовал на меня, но это-то было и опасно и могло принизить наши взаимоотношения с Колей, складывающиеся на основе великой идеи. Поэтому в данном случае я решил не ответить на предложение и переждать, тем более что Щусев, до того перешедший на другую сторону широкой улицы (улица Герцена), теперь направлялся к нам.

— Какое странное совпадение, — сказал он негромко, когда мы отошли к скверу (неподалеку располагался скверик, маленький и без деревьев, а лишь с двумя садовыми скамьями и запущенной клумбой), — какое совпадение... Все должно начаться здесь... На улице Александра Герцена... Здесь какой-то символ... Помните, Коля, у Герцена: страна все более опускалась нравственно, ничто в ней не преуспевало, а местная администрация становилась все более обременительной для подданных, без малейшей выгоды для государства... Это место я почти точно помню.

То, что Щусев обращался с цитатой к Коле, шестнадцатилетнему юноше, минуя меня, конечно же, коробило, но я нашел в себе силы не подать виду. Вообще буквально на глазах я во многом менялся, и это меня самого радовало. Причем новый процесс во мне еще не завершился, я это понимал, однако так же как молодая мать отбрасывает свои старые привычки во имя ребенка, так и я вел себя подобно молодой матери, прислушиваясь, обуздывая свои чувства и живя во имя своего новорожденного ребенка (ибо это еще было новорожденное), ребенка-идеи, ища в жизни все для него полезное. Жизнь моя в собственных глазах приобретала все большую

цену, но, повторяю, процесс еще не был завершен, и потому иногда я сравнивал.

Время между тем приближалось к полудню. В конце лета в Москве, когда листва тяжелеет от пыли и кончается пора теплых дождей (дожди бывают лишь в холодные дни), то есть в августе в Москве часты резкие переходы от холода к зною, влияющие на нервную систему, конец московского лета редко бывает хорош, и улучшение наступает лишь с приходом осени, утренней свежести и прохлады и золотой, радующей глаз листвы. И вот по какой-то мистической пропорции случайного и закономерного мы с нашими всероссийскими замыслами и я со своей новорожденной идеей попали как раз в этот нелегкий период московского календаря. Отсюда дополнительные нагрузки, нервные срывы и наступающие вслед за ними более или менее длительные патологические состояния. Но в тот день, несмотря на жару, я чувствовал себя хорошо, а досада на Колю и Щусева быстро прошла.

Щусев вручил мне и Коле по секундомеру и велел от начала узкой улочки (улица Грановского), перпендикулярной улице Герцена, двигаться обычным шагом мне, затем, через определенный промежуток, почти бегом, Коле. Потом он сравнил время на секундомерах и снова, сидя в скверике с блокнотом, что-то прикидывал. На улице Грановского, как выяснилось, был правительственный дом, но жили там, разумеется, «бывшие», то есть те, кто ныне не у дел. Огромный, облицованный красной штукатуркой, старинный, с высокими окнами, с мемориальными досками, с запертыми подъездами, поблескивающими медью, дом этот выделялся и производил на меня впечатление политическое и поучительное. Иными словами, я присматривался с интересом, надеясь в этих поблескивающих медью подъездах и прикорнувших у обочин автомашинах с опытными, откормленными шоферами что-то почерпнуть для своего «ребенка». Сквозь чугунную узорную ограду виден был двор, где играли дети «бывших» и сидели их старушки, кстати говоря, совершенно обыкновенные. Хоть ворота во двор не были заперты, у ворот в зеленой будочке сидел человек, правда, не в военной форме, а довольно пожилой, наверное, тоже «бывший», охранник чего-то важного, но ныне находившийся на пенсии.

— Здесь внутренний двор продовольственного магазина,— между тем говорил Коля Щусеву (они, видно, проводили исследование не впервой, и Коля изучал этот участок еще до нашего приезда).

— Сама улица пуста,— сказал Щусев,— опаснее всего перекресток, если мы будем уходить все в эту сторону.

— Почему же все? — сказал Коля. — Максимум двое... Ни в коем случае нельзя всем в одну сторону, верно, Гоша?

Мне кажется, он нарочно вовлек меня в спор, чувствуя, что Щусев меня игнорирует. У меня из головы не выходил Павел и вся история с ним, полная намеков в мой адрес, а также сообщение о том, что Горюн стукач. Поэтому я несколько замешкался с ответом, и Щусев меня вновь «затер».

— Ладно, прекратим, — сказал он, не дав мне высказаться. — Не сейчас, — добавил он мягче, — решим завтра... Дело мы сделали... Данные собраны, по-моему, неплохо... Пойдемте лучше, ребята, догуляем...

Я глянул на Щусева и понял, что сейчас он займется мной и резко переменит ко мне отношение к лучшему, ибо дело, в котором я ему нужен был менее Коли, было окончено, и этот опытный политический функционер, конечно же, постарается в ни к чему не обязывающем разговоре восстановить наши с ним отношения. Я уже был уверен, что Щусев жалеет об «историческом поцелуе» и о таком, как я, «наследнике», которого он выбрал в результате того, что я в трудную минуту (а отказ Висовина был для него трудной минутой, и он явно чего-то опасался, но кажется, опасения эти пока не оправдались), так вот, попал в «наследники» я из-за того, что случайно в трудную минуту оказался рядом. Такое в политике часто бывает, и если бы мысль Щусева о власти не оплодотворила бы давно зреющую, но не проясненную живую идею, то разговор этот свелся бы не более чем к анекдотическому воспоминанию. Но позже духовно я уже был сам себе хозяин и личность созревшая, чему свидетельствовало отношение ко мне Коли, юноши столичного и тщеславными личностями разного рода даже развращенного, так что удивить меня в этом смысле было трудно.

— Вы не в настроении? — шепотом спросил меня Коля.

— Нет, все хорошо, — ответил я небрежно.

— А как же насчет Германа?

— Ты о чем? (Я отлично помнил, о чем он).

— Ятлин... Он хочет встретиться с вами... Ему интересно...

— Ах, это тот... Ну, если интересно... — я старался выстроить фразу как можно небрежней, но на грани, чтобы она не выглядела как отказ и не носила характер прямого согласия...

В это время Щусев остановился (он несколько ушел вперед).

— Ну, ребята, — сказал он негромко, — я хочу вам пока-

зать нынешнюю Россию... Да, да, наглядный урок политграмоты.

Мы стояли у ограждения, где располагались крупные торговые центры, привлекавшие толпы провинциалов. Щусев оглядывал идущую мимо потную толпу с какой-то кривой улыбочкой, редко у него на лице являвшейся (я ее, кажется, видывал в какие-то острые минуты, однако на прогулке впервые). Вдруг он подошел к какому-то гражданину в твердой капроновой шляпе и рывком вывернул ему руку за спину. Окружавший народ шархнул, но, поскольку Щусев твердо-официально стоял и держал гражданина, то все вокруг начали смотреть с испуганным любопытством, с каким обычно разглядывают преступника. Сам же задержанный пытался что-то вымолвить, но Щусев твердо сказал:

— Пройдете... Для вас же, гражданин, лучше...

В Щусеве все-таки была какая-то смелая уличная удаль на грани актерского мастерства, которая, как я понял, свойственна не многим, а лишь избранныкам. Я тут же бросился и так сильно свернул гражданину другую руку, что кости его затрещали и радостная озорная истома наполнила мне грудь. Мы повели гражданина сквозь толпу, и он шел словно оглушенный, не сопротивляясь и даже увлекая нас в том направлении, в каком мы его вели, так что нам почти не приходилось прикладывать усилий на то, чтоб его тащить, и я все свои старания тратил на то, чтоб вертеть ему руку. Мной овладел меня же пугающий приступ жестокости и отвращения к этому, в капроновой шляпе, и я крутил ему руку все сильнее, так что он даже скособочился в мою сторону. Слишком далеко вести его по людной улице, где на нас все оглядывались, было опасно, и поэтому мы свернули в переулок довольно пустой. И тут-то Коля, идущий сзади, не выдержал и захохотал. Смех этот как бы вывел из оцепенения гражданина, он опомнился и, кажется, несмотря на боль, которую я ему причинил, задумался и начал сомневаться в справедливости такого с ним обращения. Щусев почувствовал предел возможного и истощенность ситуации. Он осторожно мигнул мне, мы разом отпустили гражданина, который, кажется, начал понимать, что действия наши не освящены властью, и поэтому обрел дар речи, что было весьма для нас опасно. Мы вели себя, конечно, как хулиганящие мальчишки, но мне кажется, у Щусева был замысел, конечно же, связанный с риском, как вся деятельность подобного рода, воздействовать на нас и перевести нас в активный план и готовность к необычному. Вообще Щусев великолепно понимал «улицу», где протекали главные события политики крайнего толка, и смело шел на

нарушение привычных бытовых норм, дабы добиться нужного ему направления своих подопечных... В частности, Коля был этим его поступком очарован, да и во мне, признаюсь, произошло нечто бодрящее и примирившее меня со Щусевым хотя бы на время.

Мы отдышались в каком-то подъезде, а Щусев даже и тяжело закашлялся, ибо бежать ему, проводшему много лет в концлагерях, было нелегко, особенно по жаре. (Мы вынуждены были побежать, поскольку потерпевший опомнился, закричал и бросился за нами.) Лицо Щусева даже побелело, так что меня охватила некоторая тревога, но он тут же пришел в себя, выглянул из подъезда и, улыбувшись, сказал:

— Кажется, отстал, сволочь... (Часто он произносил это ругательство, острое и в то же время как бы цензурное.)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Нечего удивляться тому, что столичное общество, куда я попал по инициативе Коли, по каким-то основным своим законам напоминало то провинциальное, куда я попал по протекции Цветы. Нынешняя форма его создавалась давно в России, возможно, уже после 1812 года, когда из среды дворян начала зарождаться интеллигенция протеста, оспаривающая у правительства право на то, чтоб властвовать в общественном мнении государства. Основой этой формы является спор, причем для всякого живого спора требуется живой оппонент, а поскольку основные претензии к правительству настолько разделяются всеми, что дискутировать о них считается дурным тоном, то спор и взаимное утверждение собственной личности ведется друг против друга, часто даже и до взаимного морального уничтожения, что считается верхом проявления личности. Все это и прежде в России возникало и повторялось именно в переходные периоды, когда ослабляется власть, то есть когда власть, завершая какой-либо цикл, перестает казнить без разбора и в массовом порядке. Именно тогда возникало общественное мнение, но общественное мнение особого рода, то есть вокруг частных столов, уставленных закусками. Такова традиция, вызванная также отсутствием антиправительственной печати, что, кстати, некоторые из оппозиции считают благом, поскольку, мол, печать эта сразу же разбилась бы на ряд направлений с взаимными поношениями и упреками, доходящими до ненависти, и не столько вела бы борьбу с бюрократией и несправедливостью, сколько науськивала бы народ и общество друг на друга, чем

внесла бы полную смуту в сознание. А некоторые считают, что смута в сознании такой страны, как Россия, опаснее любых ясных формулировок тирана. Но это, разумеется, лишь отступление, объясняющее, почему, перелистав даже и девятнадцатый век — сочинения классиков прошлого либо старые газеты, можно найти весьма подобное по форме общество, где и при наличии либеральной печати (конечно же, не антиправительственной, а той самой, сводящей взаимные счета) существовали домашние споры, назовем эти споры застольной оппозицией, где за самоваром поднимались проблемы на уровне государственных учреждений верховного порядка.

Тем более не следует удивляться тому, что современные компании-общества, так сказать, стратегически весьма подобны. Но это не значит, что между ними нет тактического разнообразия, и часто весьма существенного, на котором я и намерен остановиться. Я бы сказал, что компания, куда привел меня Коля, даже по внешнему виду полемизировала с той, провинциальной. Начнем с того, что в провинциальной были торжественность и роскошь, связанные, во-первых, с достатком, а во-вторых, с приездом столичной знаменитости. Здесь же были бедность (причем бедность эта даже подчеркивалась) и свобода нравов, и я уверен, что эту знаменитость, Арского, явись он сюда (он, кстати, часто ранее сюда являлся, пока не поскандалил с Ятлиным, но это уже объяснение по ходу), явись он, его бы приняли холодно из-за официальной шумихи вокруг него, а официальность здесь считалась пороком. Отсюда — отсутствие атмосферы культа знаменитости, благодаря чему каждый стремился высказаться не для того, чтоб угодить (напоминаю, именно это, то есть желание угодить и подружиться с Арским, владело мной тогда во всех моих мыслях, действиях и промахах). Здесь же каждый говорил не для того, чтоб угодить, а для того, чтоб утвердить себя в своих же глазах. Иными словами, в каждом из членов столичной компании было больше независимости, так что трудно было даже нащупать нерв компании, поскольку, кроме Коли, доброго юноши, который был не в счет, все и с самим Ятлиным держались независимо. Ятлин же если и выделялся, то как номинальный символ этой независимости каждого. Объясню. Если кто-либо хотел подчеркнуть или наглядно проявить свою независимость, он проделывал это на Ятлине, признанной и уважаемой личности. То ли это в виде спора, то ли это в виде чуть ли не какого-то небрежного жеста в адрес Ятлина, на что Ятлин отвечал тем же, и они расходились, довольные каждый собой. Вот эту-то специфику компании я сразу усек, и здесь-то, я понял, и надо себя проявлять. Дол-

жен заметить, что вообще-то по отношению к остальным Ятлин, признанный авторитет, вел себя весьма демократично, сдержанно, не обижался даже и на грубости в свой адрес и вообще не пытался подавлять. Но я не учел того факта, что Коля весьма тут напортил, и так же, как своими восторгам в адрес Ятлина он еще заочно возбудил меня против него, так и восторги в мой адрес возбудили против меня Ятлина до такой степени, что его личное взяло верх над его общественным кредо, то есть он меня возненавидел лично, а не как общественного противника или представителя иной точки зрения. Возможно также, что Ятлин на моем примере хотел показать остальным членам общества-компании, что он умеет подавлять, а не подавляет их и позволяет им фамильярности лишь по своим убеждениям, но не по своему характеру. Моему столкновению с Ятлиным, которое надвигалось как рок, неотвратимо, я это потом понял, моему столкновению способствовало также и мое желание править Россией, мое великое сформировавшееся «инкогнито». Если в ту компанию я пошел как проситель, то в эту вошел как властелин, который до поры до времени не узан и наблюдает за жалкой суетой. Как этакий переодетый Гарун аль Рашид. Мне думалось, что «инкогнито» это сидит еще во мне глубоко, но, оказывается, оно начало уже сказываться невольно на моей пластике. Мне потом Коля рассказывал, что, войдя, я остановился не у двери (что было бы робостью), а, выйдя на середину комнаты и не успев еще ни с кем поздороваться, оглядел компанию, близоруко щурясь. (У меня появилась такая привычка — оглядывать щурясь.) Комната (я так до сих пор и не знаю, кто из компании был ее хозяин) была почти лишена мебели. В ней были книги на полках, неизменный, символический уже портрет Хемингуэя и икона Христа, новшество для меня, ибо увлечение религией как противоборство официальности, прошлому и сталинизму еще только зарождалось в среде протеста. Стол был раздвижной из финской кухонной мебели, и к нему для увеличения длины приставлен был шахматный столик. Теснилось (именно, теснилось) за столом человек восемь, из них две девушки, обе курящие (в одной я узнал Алку, ту, которая грудью своей упиралась вчера Ятлина в ребра). Закуска (это была именно не еда, а закуска) состояла из нескольких банок баклажанной и кабачковой икры, которую прямо из тары брали ложками, и колбасы, лежащей вместо тарелок на бумажках, словно дело происходило не в доме, а на вокзале или в общежитии. Водки не было, впрочем, возможно, ее к нашему приходу уже попросту выпили, поскольку

лица некоторых были излишне свободны (в том числе и курящей Алки).

— Друзья мои,—как-то торжественно и наивно-глуповато объявил Коля,— вот это и есть Гоша Цвибышев.

Это объявление сразу же выбило меня из колеи. Во-первых, мне стало неловко, а во-вторых, я заметил, что кое-кто переглянулся с ухмылкой. Кажется, заключил я про себя, к Коле здесь относятся доброжелательно, но несерьезно. И нет ничего худшего, чем быть введенным в компанию таким человеком, особенно если он тебя начинает представлять и хвалить. Я с удовольствием наступил бы Коле на ногу (этот жест он, кажется, усвоил), однако Коля находился от меня далеко, а если бы я подошел специально, то на это обратили бы внимание. Раздумывая так с раздражением, я замешкался и дал возможность Ятлину сделать первый ход.

— Я хотел бы дополнить Колю,— сказал Ятлин,— это тот самый Цвибышев, который приехал из провинции покорять Москву.

За столом, конечно, засмеялись. Такой смех — это не своеобразие, а сходство всех компаний, и он убивает того, в чей адрес он направлен. После такого смеха ничего невозможно уже, кроме противоборства. Напомню, что я даже не успел подойти вплотную к столу и стоял чуть ли не на пороге, шагнув ближе к середине, чтоб не выглядеть робким.

— Да,— сказал я, вызывающе глядя на Ятлина (лица остальных сливались для меня воедино),— да, тому немало примеров... И в прошлом и в будущем.

«В будущем» я сказал машинально, как бы оговорился, ибо мысль свою, оттого что я ее прятал и держал «инкогнито», приходилось ломать, обуздывать, и получилось глупо. Но для компании, где происходит словесная дуэль, такая оговорка была элементарным просчетом, как в шахматах ситуация детского мата.

— Значит, вы умеете заглядывать в будущее,— радостно от такого моего «зевка», просчета с первых же ходов сказал Ятлин, блеснув глазами.

Я и сам бы подобное не упустил, предоставь мне Ятлин такую возможность, и поэтому я понял, как лихо меня сейчас начнут травить всей компанией. Видно, и Коля, хорошо знавший своих друзей, это понял, и он отчаянно попытался исправить положение.

— Ребята,— сказал он,— мы очень нуждаемся в таких людях... Это очень интересный человек, поверьте,— и, очевидно от отчаяния, ибо он видел, что слова его не доходят, последнее он произнес дрогнувшим голосом.

Меня это взорвало. С каждым разом Коля своей защитой все более меня позорил. К тому же я, человек по натуре капризный, ощущал, что Коля — единственное с добром относящееся ко мне здесь существо, а значит, раздражение мое снесет безропотно.

— Ах, перестань,— прикрикнул я на Колю,— все ты глупости говоришь... Кто тебя просит?..

— Ребята,— сказал Ятлин, смерив меня уже неприкрыто враждебно,— в нашем присутствии этот смеет обижать Колю... Мы не потерпим...

И действительно, вместе с Ятлиным из-за стола поднялось трое, причем один длиннорукий, и он-то, я сразу смекнул, представляет главную опасность.

— Ребята,— просто уже в отчаянии, чуть не плача крикнул Коля,— ничего он меня не оскорбил... Не обидел... Я прощаю, понимаете, я прощаю...

Нет, это уже было слишком. Этот девственник меня прощает.

— Да иди ты со своим прощением,— крикнул я и выругался грязно, невзирая на двух курящих девушек.

— Так,— в тишине сказал Ятлин.

— Стойте,— крикнул Коля и, подбежав, чуть ли не прикрыл меня своей грудью. Он стоял широко разбросав руки, как распятый Христос. Я видел перед собой его цыплячью шею.

Надо сказать, что, как все вспыльчивые люди, выругавшись и дойдя до предела, я тут же опомнился и обмяк, даже и испугался, и потому невольно принял эту Колину защиту всерьез, то есть не шелохнувшись стоял за Колиной спиной.

— Вот только подойдите,— крикнул Коля.— Ятлин, ты ведь умный человек... Как ты можешь так?.. Ятлин, я с тобой поговорить хочу...

— Хорошо,— сказал Ятлин,— я поговорю с Колей... Подождите и ничего без меня не предпринимайте (тут-то он и попрал демократию и показал власть).

Коля взял Ятлина об руку, и они вышли в коридор. Я же по-прежнему стоял и смотрел на компанию. Теперь я понимал, что попал в довольно опасную ситуацию, ибо все они были пьяны, это стало лишь теперь ясно, да и в углу я заметил несколько пустых бутылок. Я понял, что ужасающе глупо было все мое поведение здесь с момента, как я вошел. Я не имел теперь права рисковать, ибо я ныне был не один и должен был оберегать свое «дитя»-идею от нелепых случайностей. Ятлин вернулся довольно скоро, весело как-то и крупным шагом. Он был весел чрезвычайно и словно весь переме-

нился. Подойдя ко мне, он пожал руку, и Коля, вошедший следом, выглядел радостно.

— Ребята,— сказал Ятлин,— ситуация изменилась. Мы просто этого парня недооценили... Садитесь, Гоша...

Я сел к столу все еще настороженно, и мне тут же наложили в тарелку колбасы, измазанной кабачковой икрой, взяв эту колбасу вилкой со множества бумажек. Вдруг страшная догадка сверкнула в моем мозгу. Я глянул на Колю. Он ответил мне успокаивающим взглядом.

— Интересно,— сказал Ятлин,— а вы о Фетисове ничего не слышали?

— Нет,— сказал я, весь напрягшись.

— Говорят, Фетисова снова вызывали в КГБ, предупреждали,— сказал длиннорукий.

— Да знаем, знаем,— сказала курящая Алка, так, как говорят рассказчику старых анекдотов.

— Фетисов—это бывший капитан торгового флота,— сказал Ятлин, глядя на меня в упор,— он организовал у себя на дому новое правительство России... Он и шесть его учеников...

Меня прошибло испариной. Коля, первый же человек, которому я доверился и которого как будто полюбил, предал меня. Я видел, что и Коля побледнел.

— Ятлин,— крикнул он,— ты же обещал... Я ж тебе как другу...

— А каково ваше кредо? — не обращая внимания на крик Коли, спросил Ятлин, глядя на меня радостно, как на пойманную добычу.— Какой политический строй вы хотите установить в нашей многострадальной стране? Демократическую республику с вами во главе как с президентом? Или военную диктатуру? Или монархию?.. Гоша... Георгий, значит... Георгий Первый...

У меня все мелькало перед глазами, и бледное лицо Коли, на котором я пытался сосредоточиться, чтоб излить свой гнев, пульсировало, то уменьшаясь, то увеличиваясь.

— Во-первых, меня зовут не Георгий, а Григорий,— крикнул я, совсем уж потеряв ориентировку.

— Отлично,— обрадовался Ятлин (я представил себе, как он наслаждается, топча врага), —отлично... Григорий Отрепьев... Фигура не новая для России... Гришка-Самозванец...

— Ребята,— сказала девушка, сидевшая неподалеку от меня,— знаете, у Фетисова ведь обнаружили план политического устройства России (мне кажется, девушка эта почувствовала крайность ситуации и из жалости ко мне решила от-

вести разговор, пусть в параллельное, но менее для меня острое русло).

— Знаем,—сказал длиннорукий,—деурбанизация городов... Сельская община... Что касается евреев, то им будет разрешено заниматься лишь определенными профессиями, например, портных, сапожников, часовых мастеров... И проживание лишь на юге страны...

— Ну, а у вас каково,—безжалостно не унимался Ятлин,—что вы скажете, Жанна д'Арк в брюках?..

— Ятлин!— снова в отчаянии крикнул Коля.

— Молчи и слушай, Коля,— обернулся к нему Ятлин,— на примере этой жалкой личности,— он кивнул на меня,— я хочу тебе показать, во что ты влип... Это мерзавцы и авантюристы... И посмотри... У него голова дергается... Жалкий тип со вспухшим тщеславием... И ты смел вообразить, Гоша, что мы отдадим тебе в управление нашу страну?.. Да как ты смел даже и подумать?.. Впрочем, я делаю ему честь (кажется, Ятлину развезло от выпитого), разве на такое реагируют все-ррез?.. А ты не воображаешь себя Наполеоном?.. Или жареным петушком?..—И он захохотал.

Засмеялись и остальные. У меня сильно давило в висках.

— Ятлин,—крикнул Коля,—ты не прав совершенно... Гоша, вы не слушайте его, он пьян... Я во всем виноват... Я думал, он к вам плохо оттого, что вас не знает, вашей мечты... Он мне обещал...— и Коля бросился ко мне.

До сего времени я сидел, как бы оцепенев над тарелкой, в которой лежало несколько кружков колбасы, измазанных кабачковой икрой. (Эта тарелка с неаппетитной, несвежей колбасой надолго, если не навсегда, врежется мне в память, я это знал.) Но когда Коля подбежал ко мне, меня снова охватил такой гнев, что я с силой толкнул его в грудь, так что он стукнулся спиной о книжную полку. И тут же меня рванули сзади за рубашку. Произошла возня, упало несколько стульев, и сразу же застучали в стену соседи. Видно, возня случалась здесь и раньше, ибо они привычно застучали, едва она началась.

— Эх,—крикнул я, отбрасывая кого-то от себя и сжимая кулаки,—эх, и выдавил бы я из вас крови... Дайте срок...

— Это он по злобе,—крикнул Коля,—он в раздражении... Он сторонник демократических форм правления...

В это время раздался звонок в дверь.

— Это Маша,—сказал Ятлин совершенно иным тоном, притихнув.—Я знаю, что это Маша...

И действительно, это была девушка. Остановившись на пороге, она с презрением и гневом оглядела всех, задер-

жала несколько дольше взгляд на мне, как на лице новом, и сказала:

— Коля, идем домой.

— Чего ты пришла, Машка?— раздраженно сказал Коля.— Как ты не вовремя... Я не маленький, чего ты за мной ходишь?..

— Меня отец послал,— сказала Маша,— сама бы я в подобную мерзость,— она вновь оглядела комнату,— не влезла... А это что-то уж новое,— она обернулась ко мне...

Я был оглушен этой девушкой до такой степени, что то ужасное, что только что произошло, как бы отодвинулось на второй план. Я был влюблен навек, но знал одновременно по внутреннему своему чутью, чрезвычайно у меня развитому, что никогда не буду ею любим. Я понял, что и Ятлин влюблен, но не любим и, кажется, даже уже получил отказ. Я видел, как он первоначально притих, очарованный ее видом, а затем, опомнившись и вспомнив, что ей надо мстить (такие, как Ятлин, при отказе мстят постоянно), сказал:

— Ну как ваш сталинский стукач, родитель?.. Больше не получал ни от кого пощечин?..

Алка с папиросой громко засмеялась.

— Мразь,— коротко сказала Маша,— не смей более здесь бывать, Коля... Я как сестра тебе запрещаю...

— А не твое дело,— крикнул Коля.— И так, Маша, нечестно — защищать дурного человека только потому, что он твой отец... Ведь доказано, что он доносил... Ведь доказано... Например, Висовин...—И тут уж Коля не выдержал. Все пережитое им за вечер сказалось и проявилось, и он по-детски заплакал, громко всхлипывая...

Я был совершенно растерян, но в то же время соображал, что произошло нечто мне на пользу и меня выручившее.

— Я тут сам впервой,— сказал я, не глядя в робости на Машу,— вы правы... На Колю здесь весьма дурно влияют, и он даже по отношению ко мне вел себя бестактно... Но я ему готов простить.

— Диктатор России прощает,— сказал Ятлин, и вокруг захохотали,— Маша, выходи за него замуж, царицей будешь всяя Руси... Он мечтает царствовать в России,— сказал Ятлин, но в словах его было больше мелочной ревнивой злобы, чем силы, и они меня радовали, ибо я понимал, что каждое злобное слово в мой адрес хоть в чем-то да сближает со мной Машу.

— Уведите отсюда Колю, прошу вас,— обратилась ко мне Маша.

— Нет уж,— крикнул Ятлин, действуя, разумеется, в про-

тивовес Маше и желая навредить ей как можно больше,— Коля взрослый человек и сам способен на выбор.

— Действительно,— сказал Коля,— ты, Маша, странная... Я не желаю... У меня есть свои взгляды.

— Коля,— тихо сказала Маша,— отец не может заснуть, пока тебя нет, он очень болен.

— Ему мешает заснуть запятнанная совесть,— крикнул Ятлин,— мальчики кровавые в глазах... Доносы...

— Он не доносил,— с негодованием глядя на Ятлина, сказала Маша.— Ты это нарочно, чтоб Колю запутать и на него влиять...

— Нет, он доносил, Маша,— сказал Коля, подавленный своими слезами,— нельзя же так... Только потому, что он нам отец... А помнишь, как этот искалеченный пытками сталинских палачей человек ударил его в Доме литераторов... И Христофор...

— С Висовиным произошло недоразумение,— сказала Маша,— он сам об этом так и говорит... А тот, из Дома литераторов, алкоголик и вымогатель... Ты, Ятлин, не скалься...

— Коля останется здесь,— злобно-радостно сказал Ятлин, видя, что он доставляет боль Маше,— Коля, пойдемка, выпьем за нашу русскую правду... За всемирную нашу известную русскую правду... По маленькой, разумеется,— он обнял Колю за плечи и подвел его к столу.

Откуда-то появилась бутылка водки.

— Но мне, право, неудобно,— все еще всхлипывал пунцовый от стыда Коля, запутавшись и не зная, как поступить.

Ему жалко было Машу, ему явно неловко было передо мной, но он не мог и отвернуться от Ятлина, ибо это значило, особенно после слез, уронить окончательно мужскую честь, а для юноши-девственника нет большего позора.

— Уведите его, прошу вас,— снова подняла на меня свои светлые, волновавшие меня до дрожи глаза Маша. И эти глаза возвеличили меня и сделали меня мудрым и точным в действиях. Надо также к этому добавить и опыт, который я приобрел в организации Щусева.

Упругим рассчитанным шагом подошел я к Ятлину и ударил его так сильно, и точно, и неожиданно (он от меня этого не ждал, особенно после моего поражения в словесной дуэли), ударил так сильно, что он тут же упал под стол.

Я схватил со стола бутылку, ибо ждал нападения друзей Ятлина, но никто не пришел на помощь своему поверженному лидеру, и он лежал под столом с залитым кровью лицом так одиноко, что мне даже несколько стало его жаль. Тем не менее дальнейшие мои действия полны были силы и власти.

— Идем, Коля,— сказал я, и Коля покорно повиновался.

Поражение свое, благодаря приходу Маши, мне удалось превратить в победу. Ибо Маша—это счастливая судьба, и тот, кто исполняет желание такой девушки, всесилен.

Я, Маша и Коля вышли на улицу. Все позорное и слабое было забыто. Мне хотелось петь. Я шел, упруго отталкиваясь от земли в избытке сил. Никогда до этого я не верил сильнее в свое предназначение и в свою звезду. Ятлин, мой опаснейший столичный враг, был повержен и лежал одиноко под столом с разбитым в кровь лицом.

«Отсутствие простоты в методах и забвение уроков Щусева— вот корень ошибок моих в борьбе с Ятлиным,— думал я.— Это надо учесть на будущее... Ах будущее, будущее... Прекрасная девушка, вот что открывает будущее».

Я любил ее навсегда. Я так увлекся, шагая рядом по вечерним улицам, что даже на какое-то время забыл то пророчество, которое открылось мне при первом на нее взгляде, а именно— отсутствие взаимности, которое неизбежно. По нервной своей организации я иногда в первое мгновение способен увидеть далеко, как бы в озарении; но затем все затемняется, и возникает слепота и соблазн. Да, таковы были мои взаимоотношения с Машей в первые полчаса нашего знакомства. Интересно, что если бы потом меня попросили описать портрет Маши, ее фигуру и вообще внешний облик, то я не смог бы. Я настолько был очарован ею в целом, что не различал деталей и особенно тех деталей, которые в первую очередь различают и оценивают мужчины в женщинах. Мысль о том, что с Машей можно делать то, что я делал с Надей-уборщицей или с другими женщинами (несмотря на позднюю девственность, у меня в короткий срок моего раскрепощения быстро накопился здесь серьезный опыт), мысль эта, которая вдруг возникла, показалась мне чудовищной и меня испугала. Рядом с Машей вообще естественные, обычные, природные взаимоотношения мужчины с женщиной, от которых рождались дети и продолжался род людской, обнаруживали свое уродливое свойство и объясняли наглядно евангельское стремление к непорочному зачатию. Становилось понятно, почему уже само зачатие человека противоречит его духовному предначертанию, обнаруживает грех плоти и близость к животному, которое притом, однако, безгрешно.

Все эти мысли, разумеется, родились и оформились потом, тогда же они неосознанно выражались лишь в одной моей мечте, которая родилась, когда я шел рядом с Машей, вдыхая ее запах. Когда-нибудь, пусть через много лет, находясь на самой вершине власти, распоряжаясь миллионами чу-

жих судеб, позволить себе подойти к Маше и взять ее за эту нежную, словно вылепленную ручку и понимать, что я имею право ее так держать бесконечно долго, и ласкать эту ручку, и ощущать ее в своей ладони... Все же остальное в Маше для прикосновений я вообразить себе не мог и даже в этом направлении не думал.

Мы шли по ночным московским улицам, и те мужчины, которые встречались нам, все до единого оглядывались на Машу. Должен, правда, заметить, что в эту пору на московских улицах в центре в основном встречаются гуляки, которые вообще редко пропустят женщину, чтоб на нее не поглядеть, а тем более такую ослепительную, какой была Маша. Я шел с ней рядом и был счастлив, ибо, может быть, впервые теперь, за все время моей ничтожной жизни и борьбы за койко-место, я был принят на вершину общества и находился на таковой все время нашего совместного прохода. Все фаворитки мои, о которых я мечтал, поблекли и в лучшем случае могли служить объектом для низменных плотских отношений, подобно Наде-уборщице, то есть все они были мною разжалованы и низведены из области мечты. Но какой бы неземной ни была в моем воображении Маша, она все же оставалась женщиной, и женское чутье, очевидно, подсказало ей, конечно же не в столь расшифрованном и конкретном виде, что во мне происходит бурный процесс, объектом которого является она, Маша. И она впервые совершила движение, которое я предугадал, когда только увидел ее, но затем это ощущение утратил. То есть начало осуществляться мое предчувствие о том, что взаимности от Маши я никогда не дождусь и обречен на безответную любовь, которую пронесу через всю жизнь... Теперь я понимаю, что люди с подобной нервной организацией, как у меня, на такую безответную любовь попросту запрограммированы, и именно она способна украсить их жизнь сладкой грустью, вкус которой недоступен счастливым и баловням судьбы. Но тогда рядом с Машей я мыслил иначе, тогда я не был в этом вопросе гурман и созерцатель, а наоборот, наполнен был избытком деятельной энергии. Поэтому движение, которое совершила Маша, причинило мне боль в груди и обдало горьким привкусом мой рот и гортань. У меня появилось странное ощущение, никогда ранее не испытанное,— а именно, при глотании мне что-то больно отдавалось в затылке. То есть у меня иногда от волнения болел затылок, но сейчас он, если я не глотал, не болел вовсе, а при глотании в него как бы что-то отдавало. Я пробовал идти не глотая, но во рту моем скопилось ужасно много слюны, чего также раньше никогда не было, и я вынужден был глотать

ежесекундно, а это отдавало колотьем в затылке, если же я задерживал глотанье и сглатывал потом большую порцию, то боль распространялась по задней части головы уже и до макушки. Таковы были первые ощущения любовной тоски, то есть тоски от того, что тебя не любят и не полубоят никогда. Я, при моей ничтожной жизни, прежде испытывал немало унижений от красивых женщин, в основном, конечно, от того, что и подступиться к ним не смел, а иногда от их улыбок и насмешек. Но те представления отличались от нынешнего, как рассказанное от живого. Никогда не думал, что такая мука возможна. Нет, это не была духовная мука, которую испытывал я и раньше при унижении от женщин, это было физическое страдание, нарыв, рана, опухоль... А унижение-то, испытанное мной от Маши, человеку постороннему покажется смешным, то есть он моего страдания не поймет, оно даже может вызвать удивление. Ибо смертельно влюбленного (именно смертельно и наповал), смертельно влюбленного не поймет никто, и всякого он удивит.

Вышли мы из компании так, что Маша шла между мной и Колей. Но где-то на полдороге и в тот момент, когда мечты мои о Маше достигли особенного накала, она вдруг перешла от меня подальше, за Колю. На первый взгляд это могло показаться вполне объяснимым (очевидно, совершая это свое движение, Маша так и подумала), ибо Коля все время о чем-то говорил мне (я, разумеется, ни слова не слышал) и Маша, заметив, что Коля ко мне обращается, а я не отвечаю, решила дать возможность мне и Коле идти рядом. Да, на первый взгляд человеку постороннему это покажется естественным, но я-то, который в озарении, едва Маша вошла и я в нее влюбился, сразу же подобное предвидел и который фактически все остальное время тратил на то, чтобы обмануть собственное разумение того, что я не любим и любим никогда не буду, я-то понимал, что все это делается Машей продуманно и неспроста.

— Колесо вертится позади Сократа,— говорил Коля,— и вырисовывается через него как через тень.

Несмотря на мою полную подавленность и устремленность в ином направлении, первая Колина фраза, которую я уловил, была так пугающе нелепа, что я невольно обратил на нее внимание. Очевидно, это был отрывок чего-то стройного, какого-то словесного построения, которое Коля с жаром излагал. Этого юношу, который безусловно по организации своей часто огорчался, выручало то, что огорчения эти не были глубоки, как часто бывает с людьми ухоженными и любимыми, которым в огорчении сразу же приходят на помощь близкие люди. Поэтому и сейчас, как, кстати, и в случас с по-

щечинами отцу, Коля быстро оправился и уже увлечен был какой-то мыслью, которую мне всю дорогу, пока я думал о Маше, оказывается, излагал.

«Какое колесо и при чем тут Сократ с его тенью?» — подумал я с раздражением. (Повторяю, я знал, что Коля меня любит, и потому позволял себе часто раздражаться по его адресу.)

О колесе и о тени я смолчал, ибо это и вовсе было дико, но насчет Сократа переспросил:

— При чем здесь Сократ?

— То есть как при чем? — удивился Коля. — Ведь это яркий пример политического недомыслия и отрицания самой сути эллинизма... Это пример развращения народа в угоду сомнительного просвещения... Логика бессильна исследовать сама себя. Но огромно логическое колесо...

«Ах вот откуда колесо», — подумал я, сглатывая и испытывая колотье в затылке. Задумавшись, я снова пропустил конец объяснения Коли и решил, чтоб отделаться, попросту с ним согласиться.

— Вот и хорошо, — обрадовался Коля, — а Вейн тут совершенно уж запутался.

«Вейн, — подумал я, — опять новая фамилия, не кумир ли очередной, подобно Ятлину?.. Нет, кажется, он об этом Вейне сказал неодобрительно, но и я хорош. Сейчас со мной происходит нечто неповторимое, а я на глупости отвлекаюсь».

— Да он тебя не слушает, — оборвала вдруг резко Маша Колю, который, кажется, по-прежнему мне что-то говорил, — да неужели ты не понимаешь, что он тебя не слушает, — сказала она с обидой за брата и глядя на меня с неприязнью.

От крика ее сердце мое испуганно заколотилось, ибо я слишком поздно понял свой тактический промах. Путь к сердцу женщины лежит через человека, которого она любит. Мое поведение от начала до конца было ужасно, тупо, мерзко, и я готов был закричать от обиды и оттого, что сам все и разрушил. А ведь все так удачно складывалось, прояви я больше ума. Коля любил меня и Машу, а Маша любила Колю. Тут арифметическая задача для третьеклассника, а я ее не решил и напутал. Начал-то я хорошо, избавив Колю от дурной компании и ударив Ятлина, чем угодил и себе и Маше, а потом на меня словно затмение сознания нашло, и, мечтая о Маше, я игнорировал Колю, тянущегося ко мне, чем не мог не озлобить Машу, девушку умную и тонко чувствующую ситуацию.

— Нам сюда, — сказала Маша, останавливаясь перед тихим, в зелени деревьев, переулком, уставленным старыми бо-

гатыми домами,— тут уж мы сами,— и, слегка кивнув мне, она увлекла за собой Колю.

«Могла бы и повежливей»,— подумал я со злобной тоской.

Между мной и Машей началось противоборство, за которое, я понимал, я буду жадно цепляться, чтоб унижить ее и спастись от этой топчущей мое тщеславие и достоинство любви. (В этом месте вспомнился и стал понятен Ятлин с его злобными и едкими действиями в адрес Маши.) «Могла бы и повежливей,— часто, часто глотая и вздрагивая от колотья в затылке, думал я,— все-таки я дрался из-за нее... Меня ведь могли избить, если б друзья Ятлина не струсили... А она восприняла как должное».

Переулок, где жили Маша и Коля, несмотря на свой богатый вид, освещен был слабо. И я стоял и смотрел до боли в глазах на Машу, пока она и Коля шли к своему дому. Я видел, как Коля обернулся и махнул мне рукой, а Маша дернула его и что-то ему сказала, очевидно, унижительное в мой адрес. У меня двоилось в глазах, и началось нечто даже похожее на внезапное гриппозное состояние, вялость и нависание некой тяжести с бровей на переносицу. Повторяю, несмотря на свою обидчивость вообще и частые унижения от женщин, особенно красивых, испытываемая мной ныне обида была совершенно для меня нова и настолько сильна, что в каждом своем проявлении носила не духовный и общий, а конкретный физический характер. Мне казалось, что у меня повысилась температура и возникло что-то вроде двигательного беспокойства, правда, и ранее случавшегося, но ныне сильно выраженного, то есть в форме то общего дрожания, то отдельных сильных подергиваний мышц лица и тела. Началось даже что-то похожее на бред. Так, мне казалось вдруг, что я разговаривал с Машей по телефону и произносил отдельные шуточные фразы. (Шутить — вот что надо с красивой женщиной, даже и умной, как Маша. Юмора — вот чего мне не хватает.)

Как я добрался к квартире Марфы Прохоровны, снятой для нас Колей, не помню. Открыл мне Щусев. (Марфу Прохоровну, как известно, Коля отправил на дачу.) Щусев посмотрел на меня внимательно, но ничего дурного не сказал и ничего не спросил, а даже, наоборот, дружески улыбнулся. Ребята, Сережа и Вова, спали, безмятежно разметавшись на диване. Несмотря на то что я знал их сравнительно долго (несколько месяцев), они так и остались для меня чужими, безликими, малоинтересными. (Может, за эти-то качества и привлек их к делу Щусев.)

— Я лягу отдельно,—негромко, чтоб не разбудить спящих, сказал я Щусеву.

— Хорошо,—ответил шепотом же Щусев.— Возьми в передней старые пальто... Их у старухи несколько... К завтрашнему дню надо выспаться...

— Завтра?—спросил я с тревогой.

— Да,—ответил Щусев.

Я участвовал в ряде уличных драк и исполнении смертных приговоров организацией сталинским палачам и доносчикам в форме избиений. Но сейчас, может, из-за всемирной известности кандидатуры, а может, и из-за моего личного состояния, я ощутил тревогу, и мне почудилось, что Щусев задумал нечто самого крайнего толка и всерьез. Мои ощущения впоследствии подтвердились. В боковом кармане у Щусева была приготовлена остро отточенная бритва, а за пояс он, идя на дело, засунул и прикрыл полый пиджака новенький слесарный молоток, видно, купленный накануне в хозяйственном магазине. Но это все выяснилось впоследствии, тогда же об этих фактах я был в неведении, однако болезненное мое состояние подсказало мне, что дело может не ограничиться одной лишь «всемирной пощечиной» сталинскому соратнику номер один. Впрочем, это болезненное состояние меня же и успокоило, ибо, во-первых, свои подозрения я объяснил нервами, а во-вторых, оно вновь увело мои мысли в направлении приятном.

Я лег на ворох старых пальто и, радостный оттого, что впереди у меня целая бессонная ночь (вообще-то я бессонницы боюсь и, когда она наступает, нервничаю, но сейчас я был рад бессоннице), итак, радостный, я лег на ворох пальто и, вдыхая запах мышиного помета, начал думать о Маше. Я начал думать о ней неторопливо, смакуя каждый момент, идя от пункта к пункту, восстановив реалистически ее приход и удачные куски наших взаимоотношений. (Ее просьба увести Колю, мой удар в челюсть Ятлину.) Неудачные же куски, наступившие впоследствии, я полностью переиграл и доходил чуть ли не до проводов к подъезду, ухода милого, доброго, любящего меня Коли, проявившего смекалку, наш разговор с Машей о Коле... Только о Коле, как об обоюдно дорогим нам человеке... В течение часа, двух, трех мы стояли с Машей в подъезде и говорили о ее любимом брате Коле. И за все это время я не сделал ни одного движения, которого не то что дурно, но даже и двусмысленно нельзя было бы истолковать.

Так лежал я и мечтал, и так встретил я рассвет того, как выразился Щусев, «исторического дня», когда должен был свершиться приговор над правой рукой тирана, Вячеславом Михайловичем Молотовым.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На рассвете раздался звонок в дверь, и я слышал его, но настолько был погружен в свое, что лежал и слушал, как звонят в дверь, однако не только не шел сам отпирать, но даже и никого не будил. Наконец, после третьего или четвертого звонка, проснулся Щусев. Обычно он спал чутко, но в эту ночь, очевидно от усталости, ибо, как выяснилось, он весь день где-то ходил, Щусев спал крепко. Проснувшись, Щусев вскочил с пола, и я быстро прикрыл глаза, чтоб наши взгляды не встретились. Но в то же время я чутко прислушивался ко всему, что происходит в передней, и знакомый, точно из бессонницы моей голос, заставил сердце мое вновь торопливо забиться. Нет, это была не Маша, это был Коля, но с тех пор как я узнал Машу, то есть со вчерашнего вечера, Колин голос вызывал во мне сердцебиение. Голос юноши-брата до тех пор, пока он не повзрослеет, бывает весьма часто похож на голос сестры. Я торопливо встал, чтоб Коля не увидел меня на полу на ворохе старых пальто. Вообще, мне кажется, я начал его стесняться, и наши с Колей отношения, по крайней мере с моей стороны, со вчерашнего вечера стали весьма странными, ибо Коля был теперь для меня ниточкой к Маше.

Коля, весь какой-то румяный, как выглядит человек, вставший рано утром (еще не было шести) и надышавшийся чистым рассветным воздухом, заглянул в дверь, и я улыбнулся ему раньше, чем он успел улыбнуться мне. Но в то же время в наших действиях была какая-то нервная торжественность, как у школьников в день экзаменов. Щусев разбудил Сережу и Вову. Сережа встал сразу, по-пионерски, а Вова минуту-другую повалился, хрустя костями и показывая свои, весьма для его возраста мускулистые руки уличного мальчишки. Интересно, что Коля никаких отношений с ребятами так и не завязал, хоть они были одного примерно возраста, а Сережа даже внешне чем-то на Колю похож. Мне кажется, у Вовы и Сережи меж собой была дружба, которая, правда, выражалась в том, что Вова смеялся над Сережей, давал ему щелчки в лоб, на которые тот обижался, хоть как будто сносил, но однажды они вдруг чуть не подрались. И вот тут-то что-то мелькнуло в Сереже не вяжущееся с его пионерским румянцем и близорукостью, а именно он выхватил из кармана перочинный ножик. Щусев едва успел удержать его руку, ибо замахнулся он ножиком даже не в мякоть плеча Вове, куда обычно по инстинкту целят пусть и сильно разозленные, но

домашние мальчишки, а в ребра, по-уличному. Мне кажется, Щусев знал это свойство Сережи, и вообще Щусев был неплохой психолог «улицы» и умел формировать группу крайнего толка, на первый взгляд весьма разношерстную, но в действительности точно дополняющую друг друга.

Мы выпили по стакану чая (и Коля с нами за компанию), ибо есть никому не хотелось, даже Вове, парню с крепким простым организмом. Я заметил, что Щусев волновался, и это передалось остальным. Как бы ни привыкли мы к уличным дракам, дело было не совсем обычное. У Щусева даже нехорошо, по-припадочному, заблестели глаза. Что же касается моих отношений с Машей, то за ночь я исчерпал остроту, и ныне они приобрели меньшую чрезвычайность и, присутствуя во мне постоянно, в то же время позволяли мне оглядеться вокруг и действовать сообразно с обстановкой, расходуя главные силы в том направлении, какое ныне для меня особенно опасно. Разумеется, это в отсутствие Маши. Присутствие ее, конечно же, затмило бы все остальное и парализовало любые мои действия, направленные вне ее. Допускаю, что по ее желанию я мог бы даже и убить себя и изменить свои взгляды, подружиться с Орловым, и черт его знает, какую дикость я допускал в мыслях, когда думал о Маше остро, а не хронически. Но в данное, «историческое», как выразился Щусев, утро мысли мои о Маше исчерпали за ночь остроту и перешли в хроническую тоску-надежду. Правда, появление Коли с Машиным голосом снова меня возбудило, но всеобщая нервная торжественность, охватившая всех юношей (в том числе и Колю), а также припадочный блеск глаз Щусева взяли верх. И я окончательно перенес остроту свою с Маши на предстоящее дело, забыв на время о Маше так же, как на время я забыл и о себе. И в этой торжественной тишине возник вдруг момент, когда все мы были едины и принадлежали России. Да, Щусев сумел совершить чудо и искренним (он был искренним) припадочным блеском глаз своих как бы загипнотизировал нас и придал каждому из нас величие борца. И это нам, юношам периода хрущевских разоблачений, когда само даже слово «патриотизм» считалось сталинским и постыдным. В Щусеве безусловно имелись качества вождя, но судьба народа не совпала с его личной судьбой по временной фазе, и потому он ушел безвестным, не проявив себя, а лишь унавозив почву. Таких примеров немало, имя им легион. Должен также заметить, что, несмотря на свой крайний русский национализм, Щусев любил не русофилов Хомякова или Аксакова, а европейца Герцена, которого считал своим учителем и утверждал, что Герцен был фигура не европейская,

а русская и уехал он из России именно потому, что не мог вблизи спокойно переносить ее страданий, а уж впоследствии его высказывания извратили. В то «историческое» утро Щусев напутствовал нас затрепанным томиком Герцена.

— Друзья мои,— сказал Щусев, когда мы окончили пить чай,— мои дорогие русские юноши (меня он тоже причислил к юношам), многие далеко идущие исторические события начинаются внешне мелко и бытово... Нас, русских, разного рода пришельцы и чужаки здесь, внутри страны и за рубежом, часто упрекают в отсутствии самобытности и в подражании (он, кажется, перескочил в мыслях. Вообще он был бледен, и это несмотря на крепкий сон и на то, что вчера он вовсе был спокоен. Такова натура вождя «улицы», умеющего сразу же возбудить себя и слушателя). Да, мы не отрицаем. Молодая нация всегда переимчива, а ведь мы, русские, молодая нация, и ваши юные лица сейчас так к месту и так вдохновляют каждого, кто устал и кто разуверился,— голос его дрогнул,— но, будучи переимчивы, мы самобытны, и запомните это, господа ищюковичи (его снова прорвало. Не знаю, употребил ли он эту фамилию как конкретный пример или как нечто усредненное). Наша самобытность, может, чужакам и непонятна, но нам с вами надо смело определить недостатки нашей нации, не для того, чтобы по-европейски смаковать, а для того, чтобы понять путь к избавлению... Но послушаем Александра Ивановича (это он о Герцене, я понял, когда он открыл потрепанный том). «Русским недоставало отнюдь не либеральных стремлений или понимания совершавшихся злоупотреблений,— прочел он,— им недоставало случая (случая — он произнес раздельно), случая, который бы дал им смелость инициативы. Подобный пример всегда необходим там, где человек не привык осуществлять свою волю, выступать открыто, полагаться на себя и чувствовать свои силы, где, напротив, он был всегда несовершеннолетним, не имел ни голоса своего, ни своего мнения.— И далее:— Пассивное недовольство слишком вошло в привычку. От деспотизма хотели избавиться, но никто не хотел взяться за дело первым». Так, дорогие мои русские юноши... Царизм никогда не был национален... На царском штандарте после подавления декабристов явилось не слово «прогресс», а открыто было провозглашено «самодержавие, православие, народность», причем, как указывал Александр Иванович (Герцен), последнее слово стояло только для проформы... Русский патриотизм был всегда лишь средством укрепить самодержавие, и народ никогда не обманывался насчет национализма Николая... «Пусть погибнет Россия, лишь бы власть осталась неограниченной и неруши-

мой»,— вот девиз деспотизма Николая... Гораздо более опасным для судеб России оказался сталинизм, которому с помощью интеллигентов удалось обмануть народ и заставить его жить «всемирно»... Россия никогда еще не жила фактически подлинно национальной жизнью, какую она заслуживает не менее Англии, и даже когда Сталин вынужден был, хоть и с большой неохотой, спасти Россию от пролезших во все щели ловких и цепких соплеменников Кагановича, он и тогда не сказал нашему наивному и доверчивому народу правду, а обозначил эти свои вынужденные действия, с помощью которых он рассчитывал удержаться в седле, ибо тиран был хитер, как все иноплеменные тираны на Руси, обозначил всякими туманностями: космополитизм, троцкизм и так далее...

Должен заметить, что речь Щусева (а слова его вылились в подлинную речь, произносимую с припадочным блеском глаз), итак, речь эта носила чересчур специальный характер, если не для Коли и для меня, пообщавшегося уже с Фильмусом, то уж, во всяком случае, для ребят — Вовы и Сережи. Но и они слушали с вниманием и искренне, правда, Вова с оттенком некоторого туповатого любопытства, полуоткрыв рот.

— Нальем по маленькой,— вдруг предложил Щусев, он быстро расставил стаканы и достал бутылку водки,— чуть-чуть, чтоб слегка шумело,— и он действительно налил всем понемногу, точную порцию.— Когда Степан Халтурин шел убивать (он впервые позволил себе это слово крайнего толка, хоть и в примере, как бы намеком, однако я лично уже в его замысле довести все всерьез и до предела не сомневался), когда Халтурин шел убивать палача народа, они тоже выпили по четвертинке стакана смирновской водки... Имеются воспоминания... Так не нарушим же традиции русских борцов-мучеников.

Мы чокнулись и выпили. Наверное оттого, что натошак и после бессонницы, в голове у меня действительно сразу зашумело, но чувствовал я себя не расслабленно. Очевидно, Щусев точно рассчитал порцию.

— Наша организация,— сказал торжественно Щусев,— вынесла смертный приговор сталинскому соратнику номер один палачу Молотову, который много лет вместе со Сталиным душил и истязал нашу многострадальную родину... Вам, русские мои юноши, выпала великая честь... Вот он, случай, о котором писал Герцен и которого недостает, чтоб сделать нашу оппозицию национальной, каковой она была во времена декабризма... Ибо опыт истории показал, что засилье евреев и прочих нацменьшинств в оппозиции более опасно,

чем засилье их в государственном официальном аппарате... Да, оппозиция должна быть русской, для того чтоб у России было будущее... Подобно тем великим сынам России, которые в девятнадцатом веке вышли на Сенатскую площадь, вы в двадцатом веке своим героическим поведением преподадите трусливо зубоскалящему в анекдотах обществу урок политического воспитания... Нас упрекали (кто упрекал, Щусев не пояснил): кому нужен этот находящийся не у дел старик... Ошибаетесь... Одна из задач Хрущева, теперь, после разоблачений, приведших его к власти, утопить, предать забвению возбуждающий общество элемент... Сталинизм разоблачен и забыт — вот хрущевская мечта... Нет, Никитушка, хитрый мужичонка, Россия не кулацкая лавка в деревне, натаскал для себя товару и хватит... А остальное в закрома... В тишину... На партийную повышенную пенсию... Нет, мы кусочек пожирней, послаще да на свет божий... С шумом, с жертвами... Честь вам и хвала, русские юноши... Вспомним слова Александра Ивановича, — он снова взял томик Герцена и прочел: — «Нет, друзья мои, я не могу преступить рубеж этого царства мглы, произвола, молчаливого замирания, гибели без вести, мучений с платком во рту. Я подожду до тех пор, пока усталая власть, ослабленная безуспешными усилиями и возбужденная противодействием, не признает чего-нибудь достойного в русском человеке...» Александр Иванович, на этот раз вы ошибаетесь... Мы не будем ждать, пока власть признает достоинства русского человека... Пора понять, что в этой стране не власть — судья, а русский человек — судья... Один здесь законный судья, все остальные самозванцы... И только русский человек здесь судить может и приговор выносить... А русский человек всегда молодость уважал, юношество уважал... Юношеству и главное слово... Последнее слово... Ура!..

— Ура!.. — одним из первых восторженно крикнул Коля (он, кажется, захмелел более других).

Сережа Чаколинский по-школьному поднял руку, прося слова.

— Говори, — обернулся к нему Щусев.

— А Молотов тоже еврей? — спросил Сережа.

— Нет, — серьезно пояснил Щусев, — но жена у него еврейка.

На первый взгляд все происходящее может показаться наивным, но должен заметить, что на эту наивность как раз и делал ставку Щусев. Ему нужно было совершить акт террора не руками опытных функционеров, а руками наивных русских юношей, дабы всколыхнуть и указать тем самым путь

тысячам юношей, возбужденных хрущевскими разоблачениями. Таков был его расчет, и этот расчет начал осуществляться.

Теперь подробнее несколько слов о моем состоянии. Несмотря на выпитую водку и на некоторую митинговую восторженность после речи Щусева, я понимал, что в предстоящем деле мы со Щусевым попутчики лишь до известной черты. Я давно уже (три дня) не считал себя ниже Щусева и шел за ним лишь потому, что собственное дело создавать еще было рано. Угадать момент политического созревания и при этом не перезреть, по-моему, одна из основных (нет, не одна из основных, а фактически основная) задач в той великой дерзости, которая именуется стремлением к власти. Дело, которое намеревался осуществить Щусев, как я понял окончательно дорогой, было мне на пользу, но без крайности, которую может себе позволить лишь человек кончающий, а не начинающий. Для Щусева это дело было точкой, для меня же заглавной буквой. В обществе, где противоборство с властями выражалось анекдотами, душевной расхлябанностью и декларациями, за которое оно ухватилось с радостью после тридцати лет искреннего строгого стояния в строю, в таком обществе, еще не насладившемся безопасными и сладкими вольностями, всероссийская и всемирная пощечина воздействует на воображение, в то время как пролитая кровь влияет на нервы и даже внесет раздражение, ибо поставит это общество перед необходимостью либо действия во имя свободы, о которой они сейчас безопасно полемизируют дома, либо позорного раскаяния и даже доноительства. А ни того, ни другого общество протеста делать не хочет, и лишь человек, с обществом дела кончающий, каким является Щусев (я вспомнил о его болезни), может пойти на это. И я твердо решил участвовать в акции лишь до момента убийства, а само убийство предотвратить. С другой стороны, все эти построения были мною сделаны и для того, чтоб оправдать возникший во мне смертельный страх перед подлинной кровью. Иногда, в минуты накатывающей на меня ненависти, я воображал себе попросту реки крови и мучения своих врагов разного калибра, но я не мог видеть, если кровь текла из порезанного пальца у кого-нибудь постороннего, даже в большей степени, чем если у меня самого, и в политических драках, как только у противника начинала течь кровь, так гнев мой ослабевал и я терялся. Явление это чисто физиологическое, и я слышал, что у некоторых людей, даже жестоких, чуть ли не тиранов, существует аллергия на кровь, особенно человеческую. Дикарь, фигура близкая к природе и натуральная,

не знал этого страха перед кровью, как не знают его звери или даже домашние животные и как не знали его люди древних цивилизаций. Но развитие современной цивилизации и культуры, делавшее человеческую натуру все более удаленной от природы и животного, все более нервной и утонченной, вызвало необходимость поиска бескровного убийства, главным образом удушения, утопления и сожжения, то есть методов, требующих времени, подготовки, а значит, как правило, власти и менее всего соответствующих возможностям оппозиции крайнего толка, которая вынуждена совершать свои действия торопливо, впопыхах, часто из-за угла, а в подобных условиях беспредельного опрощения убийства не обойтись без пролития крови. Оппозиция крайнего толка не имеет возможностей ни строить виселицы на площадях, ни создавать газовые камеры, ни набивать людьми баржи, предназначенные для утопления. Вот почему она вынуждена главным образом убивать с пролитием крови. И вот почему, по причине чистой физиологии, я решил Щусеву помешать в последний момент и довести все лишь до «всемирной пощечины», выгодной мне и невыгодной (согласен) Щусеву. Так думал я (разумеется, не в таких подробностях, найденных уже позднее), и исходя из этого я принял свой план. Главное в этом плане было держаться рядом со Щусевым и контролировать его действия, в то же время в решающий момент повернуть все в нужном мне направлении.

К улице Грановского, где помещался дом правительственных деятелей, мы дошли быстро. (Напоминаю, это недалеко от нашей квартиры.) Был тот час московского утра, когда дворники уже кончали уборку, но основной поток спешащих на работу граждан еще не заполнил улицы, которые были сравнительно чисты и пустынно. Именно этот момент и выбирал Молотов для прогулок, что было нам лишь на руку. У Щусева все было рассчитано и прохронометрировано, каждый отрезок улицы от угла до перекрестка, от решетки двора, у которой стояла единственная будка с охранником, до проулка, где находились зады продовольственного магазина, через которые следовало после выполнения дела уходить. Ближайшие милицейские посты находились с одной стороны метрах в пятидесяти (проспект Калинина), но на оживленном перекрестке, так что милиционер был отвлечен потоком автомашин. Второй же находился ближе, по Герцена, однако и здесь, во-первых, милиционер был занят уличным движением, а во-вторых, он находился перпендикулярно к улице Грановского, и ему сперва необходимо было добежать до угла, потом повернуть. (Все было прохронометрировано

с помощью секундомера. Как я понял, Щусев с Колей много работали здесь и без меня). Правда, ранее по улице Грановского прохаживался специальный патрульный милиционер, но ныне, в связи с проводимыми Хрущевым численными сокращениями охраны и карательного аппарата в целях экономии средств, патрульный этот был упразднен. Был упразднен также и второй военизированный охранник — у входа во двор правительственного дома. Все это Щусев знал и учел в своем плане. Видно, каждая деталь была у него строго продумана. Мы еще шли, а Щусев на ходу распределял обязанности. И вот тут-то, при распределении обязанностей, и возникли первые сложности и подозрения в том, что Щусев о моих замыслах либо догадался, либо их предвидел. Он решил рядом с собой оставить Вову и Сережу, а меня убрать от себя подальше. Мне и Коле (неужели и Коле он не доверяет?) он поручил пройти и перекрыть другой конец улицы Грановского, пересекающей проспект Калинина, на тот случай, если Молотов, вырвавшись, вбегит не во двор (который Щусев, видимо, сам намеревался перекрыть), а бросится вдоль улицы, рассчитывая найти защиту у постового милиционера и вообще в более оживленном потоке пешеходов. Помимо всего прочего, это еще было и подло со стороны Щусева, ибо в тылу у нас находился опасный широкий проспект, в то время как Щусев имел сравнительно безопасный отход по проулку к подсобному дворику продовольственного магазина, а оттуда, через невысокую ограду, на тихую улицу. У меня были секунды на размышления. Вступить со Щусевым в пререкания и противоборство на глазах у молодежи, которая вся (даже Коля) верит в данное время Щусеву — и я буду выглядеть для них в лучшем случае раскольником, а в худшем — трусом. Нет, я решил подчиниться, но на ходу изменить план и действовать сообразно с обстановкой.

Щусев с Вовой и Сережей остались на углу, у ларька «Табак», мы же с Колей быстро прошли по улице Грановского и остановились там, где она пересекает проспект Калинина. И едва мы успели закончить свой проход, как Коля шепнул мне тревожно:

— Вот он... Точно по времени выходит...

Я глянул вдоль улицы. Она была тихой и пустой. Вдали маячила фигура какой-то бабки, которая шла, удаляясь от нас, но по тротуару, противоположному от правительственного дома, в конце видны были три фигуры — это Щусев с ребятами, а по тротуару, примыкающему к правительственному дому, шел в нашу сторону какой-то старик с собачкой.

— Значит, прогулку в нашу сторону начал,— шепнул Коля.

Я понял, что старик с собачкой, идущий в нашу сторону, и есть Молотов, с которым я фактически вступаю во взаимоотношения и ради которого я здесь нахожусь. И меня охватила какая-то нервная и одновременно радостно-почтительная дрожь, главным образом к тому положению, которого я достиг так быстро, за полгода.

— Обычно он прогулку в ту сторону начинает,— шепнул Коля,— я его повадки изучил... А сюда до конца он редко доходит... Здесь шум и пыль... Он в том конце на Герцена иногда, правда, выходит, но не далее киоска... Вот так полчаса каждое утро, с семи до половины восьмого.

Я слушал шепот Коли, смотрел на старика до боли в глазах, соображая и комбинируя. Приближался ответственный и, может быть, решающий момент моей карьеры. Когда Молотов подошел ближе, я начал различать знакомые по портретам и с детства привычные черты. Он был в своем традиционном пенсне, известном во всем мире, и, собственно, это пенсне и бросилось мне прежде всего в глаза. В остальном это был крепкий старик с чистыми белыми усиками (седина придавала ему особенно чистый вид) и здоровым, не усталым лицом человека ухоженного и не нуждающегося. Рядом с Молотовым бежал породистый черный шпиц, с которым обычно любят ходить молодые замужние женщины или богатые старики. На голове у Молотова была мягкая, кофейного цвета шляпа, и одет он был в несколько старомодный широкобрючный костюм из темно-желтого шелковистого материала. В лице Молотова по-прежнему была какая-то непонятная мне и, очевидно, выработанная временем власть и сила, хоть более года уже он был отстранен Хрущевым от всех государственных дел и находился в опале, зачисленный в антипартийную группу после его неудачной попытки сместить Хрущева и самому возглавить страну. Да, именно Молотова прочли правительственные оппозиционеры в руководители, а может, даже и в диктаторы. И Хрущев отомстил им по современному и в духе времени, то есть он превратил их в заурядных граждан, проживающих хоть и в достатке, но без правительственной недоступности и спецохраны. Тем самым неволью Хрущевым был нанесен, может быть, самый сильный удар по безграничному авторитету власти, и Молотов, прогуливающийся с собачкой по московской улице, потрясал привычные основы сильней любых антисталинских действий, памфлетов и прокламаций, ибо ранее всякий человек, нахо-

дившийся сверху, был недоступен либо как государственный деятель, либо как государственный преступник.

Так впоследствии журналист, отец Коли, заявил мне: помимо безрассудства наш план страдал еще и глупостью, и акция наша направлена как раз против наших же замыслов — расшатать прошлые устои. Но все это позднее. Тогда же я был занят иным, именно — как осуществить свою линию и помешать Щусеву.

Пока я размышлял, Молотов остановился, позвал собачку, выбежавшую почти на проспект Калинина и поднявшую ногу у угла. Надо было действовать и все повернуть к пощечине, ибо я знал, что в противоположном конце улицы Молотова ждет Щусев с бритвой и слесарным молотком (напоминаю, Троцкого убили садовым ломиком), Щусев, которому осталось жить не более двух-трех месяцев (я знал это от Горюна) и который хочет поставить точку, подчинив этой точке мою заглавную букву...

Между тем Молотов и собачка медленно, прогулочным шагом удалялись, а я стоял, проклиная свою нерешительность. Я знал, что, двигаясь таким прогулочным шагом, он минут через пять достигнет Щусева у противоположной стороны улицы Грановского, ибо минуты две он уже от нас удалялся. (Все было рассчитано и прохронометрировано по секундомеру.) Если я простою в нерешительности хотя бы еще минуту, то для того, чтобы достигнуть Молотова раньше, чем он окажется возле Щусева, мне придется двигаться вслед ему с недозволенной скоростью, почти бежать, а это привлечет внимание и самого Молотова, и Щусева, и даже пенсионера-охранника в зеленой будке.

— Коля,— сказал я отрывисто, как человек отбросивший сомнения и решившийся,— Коля, ты останешься здесь.

— Куда же вы? — с тревогой сказал Коля, видя, что я двинулся не быстрым, но все-таки достаточно резвым шагом, так что могу достигнуть Молотова, двигающегося медленно и прогулочно, раньше, чем он достигнет конца улицы и Щусева.— Ведь Платон Алексеевич здесь велел...

— А ты прежде всего меня слушай,— бросил я резко (это был уже открытый бунт и принятие командования на себя),— оставайся здесь...

Более мне некогда было вступить с ним в объяснения, ибо и так я потратил на остановку несколько драгоценных секунд и таким образом вынужден был даже превысить дальнейшую свою скорость движения. К счастью, Коля, доверявший и любивший меня, повиновался. Тем более мне кажется, что раздвоенность, вызванная влиянием на него Ятлина, прошла по-

сле того, как Ятлин был избит мной. Щусев же влиял на него с высоты своего положения, на которое он был поднят перенесенными в концлагере пытками. (Мне кажется, втайне Коля его даже побаивался.) Щусев влиял на Колю также общественными своими суждениями, но в данном случае речь шла не о суждениях, а о действии. Вот почему, поколебавшись, он подчинился мне как непосредственному руководителю, находящемуся рядом. Руки у меня были развязаны, и план мой начал осуществляться.

Достигнув первых, поблескивающих медью подъездов правительственного дома, я позволил себе даже снизить скорость, дабы миновать будку не чрезвычайной походкой, а обычной, чтоб не привлечь внимание охранника. Я определил уже на глаз, что достигну Молотова, не превышая конспиративного шага, все равно метров за двадцать от угла, на котором стоит Щусев. Молотов шел неторопливо, очарованный, очевидно, прохладным утром, что притупило его бдительность, но Щусев заметил мой маневр, и я видел, как он поднял руку, сигнализируя мне и то ли предупреждая, то ли угрожая. Я сделал вид, что не замечаю, но усмехнулся про себя. По моим расчетам, Щусев в данный момент был бессилён помешать мне, но я его так же недооценил, как он недооценил меня. Я видел, что Щусев повернулся к ребятам, очевидно, предложил им по-прежнему перекрывать улицу, а сам открыто и неконспиративно, почти бегом (у него не было выхода) рванулся навстречу Молотову, держа руку в кармане, где у него была бритва, эта переносная карманная гильотина индивидуального террора. Я понял, что Щусев пошел ва-банк. Промелькнет не более секунды-другой, как Молотов обратит внимание на бегущего к нему человека, и по лицу Щусева он сразу же прочтет все его намерения. И я тоже отбросил конспирацию и побежал. Все шансы были на моей стороне. Я был моложе, следовательно, бежал резвее, я начал движение раньше, следовательно, был ближе, и к тому ж я приближался сзади, в то время как Щусев был прямо перед глазами и у Молотова и у его собачки. И действительно, все совершилось в точности как я рассчитал. Едва Щусев побежал, как собачка Молотова почти сразу же залаяла и Молотов поднял голову. Я видел, что он о чем-то уже догадался, забеспокоился и остановился, но в это мгновение я уже был рядом и, вдохнув неожиданно густой запах одеколона, исходивший от Молотова, несколько припадочно-визгливо крикнул:

— Сталинский палач! — и ударил Молотова ладонью по гладко выбритой, сытой щеке звонко и удачно, поскольку имел в этом деле уже немалый опыт, буквально с первых же

дней реабилитации, когда, находясь еще вне организации, я, полный капризной тоски, пытался терроризировать сталинистов на улице и в общественных местах. И вот за несколько месяцев я поднялся фактически на самую вершину подобного террора и вступил во взаимоотношения с фигурой всемирной.

Молотов от пощечины моей пошатнулся, обернулся ко мне, но при этом опасно потерял из виду Щусева, и в этот момент Щусев, подбежав, почему-то толкнул Молотова в спину, так что тот упал на мостовую, но, к счастью для себя, не плашмя, а на четвереньки, и таким образом, то есть на четвереньках, успел уйти от бросившегося на него Щусева, крикнув:

— Паршин, Паршин!.. (Очевидно, фамилия охранника.)

Сцена была дикая и нелепая. Мы оба неловко топтались, потеряв четкость плана, лаяла собака, а на мостовой у наших ног лежал и кричал Вячеслав Михайлович Молотов, бывший всемирно известный могущественный министр иностранных дел, человек, имя которого произносили следом за именем Сталина, и звал он на помощь тем самым голосом, который в 1941 году возвестил стране о начале Отечественной войны.

В этом месте провал. Что я делал, не помню. Вспоминаю лишь с того момента, как Щусев крикнул:

— Беги! — и, метнувшись назад, побежал.

Только в тот момент я опомнился, но было уже поздно, ибо кто-то сильно схватил меня за ухо. Именно за ухо. Не свернули руки назад, не повалили, а именно держали за ухо, вот что окончательно выбило меня из колеи. Более того, скосив глазом, я понял, что держит меня за ухо не кто иной, как сам Молотов, успевший подняться. Тут же был одутловатый охранник-пенсионер и еще какие-то люди, возможно, случайные прохожие. Меня повели, Молотов — держа за ухо и вертя его не по-старчески сильными пальцами, а охранник — сопя и подталкивая в спину. Меня ввели в зеленую будку, и здесь Молотов начал особенно сильно кричать на охранника, причем, в духе последних веяний и вольнодумства, ругая власти. Явился еще какой-то человек в полувоенной форме.

— Я буду жаловаться на вас! — закричал на него Молотов. — Комендант несет ответственность!..

— В общем так, — довольно резко сказал комендант, — с инструкцией вы были ознакомлены, Вячеслав Михайлович (вот она, российская опала), со спецхраны вы сняты, это вам известно... А осуществлять общий надзор в неогражденной местности у меня нет возможности, поскольку на то средства

не отпущены... Сами нарушаете инструкцию своими прогулками и потом жалуется...

И вот в тот момент, когда они пререкались, что-то во мне сработало, и я неожиданно для себя совершил грандиозный по дерзости побег. Помню, выдернув ухо из пальцев Молотова ценой резкой, но мгновенной боли, я бросился к полуоткрытой двери и бежал в каком-то воспаленном состоянии, которое, как выяснил, вообще существовало во мне все это время с момента пощечины Молотову, и это наряду с некими ясными и точными пунктами. Я бежал выгнувшись, чувствуя вокруг себя приятную пустоту от отсутствия хватающих меня рук преследователей, и в какой-то момент этой продолжающейся легкости, удачи и свободы даже нервно расхохотался. Бежал я мастерски и точно по пути отхода, который был намечен и прохронометрирован Щусевым, то есть по проулку в подсобный двор продовольственного магазина, оттуда через забор на тихую пустынную улочку и далее уже быстрым шагом за угол к троллейбусной остановке. Опомился я лишь в переполненном троллейбусе, среди безопасных, ленивых от жары лиц пассажиров. Запутывая следы, я пересел затем в маршрутное такси, доехал до конечной остановки, прошел по бульвару, потом купил билет из личных фондов (пополненных, как известно, Колей) и, лишь опустившись в кресло в темном кинозале, несколько успокоился, и здесь-то у меня по-настоящему разболелось ухо. Оно распухло и было словно опущено в кипяток. Вот так умело и злобно навертел мне его бывший министр иностранных дел России Молотов. Я осторожно посплюнявил ладонь и смазал ухо. Фильма я не помню совершенно. Не то что я не помню сюжета или каких-то сцен. Я глядел на экран и вообще не мог соединить происходящее логической связью, ибо вся моя логика сосредоточилась на анализе совершенно иного: именно, я неожиданно понял сейчас, что, несмотря на нелепость формы, прошел какое-то важное испытание на пути к власти, и прошел его удачно. Мои разноплановые, разнообразные отношения с Молотовым, человеком с правительственного портрета, неожиданно подсказали мне что-то важное, что я не мог точно определить по деталям, но в общих чертах это сложилось в бытовое понятие: Цвибышев — диктатор России... Почему так, не знаю... Именно после Молотова я начал часто повторять эту фразу, случалось даже и вслух. У меня вновь, как после случая с Машей, начались боли в затылке, отдающие в шею, лицо и левую лопатку... К счастью, сеанс кончился, и я перебрался из зала на садовую скамейку, где меня одолел кашель, тем более неприятный, что от него дер-

галась голова, а ведь боли утихали, когда я держал ее неподвижно, наклонив назад или набок. Очевидно, этим объясняется, что я достаточно безопасно, особенно после принятых мною мер по запутыванию следов, отправился на квартиру Марфы Прохоровны, ведь там вполне могла быть засада. Но засады там, к счастью, не было, более того, на мой звонок Щусев открыл довольно быстро и тоже безопасно. (Правда, звонок был условный.) Он бросился и обнял меня, точно между нами не было открытого соперничества и действий, представляющих разные точки зрения.

— Слава богу, Гоша,— сказал Щусев и вдруг перекрестил меня мелким быстрым крестом, как в спектаклях Островского крестились старики или генералы.— Слава богу,— повторил Щусев,— мы беспокоились о тебе...

От него пахло водкой, и Вова с Сережей тоже были пьяны. Особенно страшен был пьяный вид Сережи с его пионерским румянцем.

— А Коля где?— спросил я почему-то первым делом.

— Коля недавно ушел,— ответил Щусев, вновь меня целуя неприятно и по-пьяному,— несмотря ни на что, на неудачу в деталях, произошло великое событие... Среди бела дня... Завтра о нем будет говорить Москва, потом вообще,— он сделал широкий жест.

Вова и Сережа засмеялись. Эти двое с каждым разом становились мне все более неприятными. Мне кажется, они заметили мое распухшее ухо. И точно, Вова сказал:

— Тебе дали в ухо, бедняга?..

— Во-первых, не тебе, а вам,— резко отпарировал я и, оттолкнув пьяного Щусева, довольно грубо и властно прошел к окну и сел у подоконника спиной к компании. С ней пора было рвать, ибо она могла скомпрометировать мое будущее. Затем я улегся вновь на ворох пальто и как будто заснул. Я говорю «как будто», ибо сказать с уверенностью, точно ли я спал, не могу. Мне казалось, что Сережа и Вова кувыркались на диване и щипали друг друга за ноги и филейные части, а Щусев стоял возле стены, разбросав руки, словно был распят, и при этом ругал евреев. Впрочем, может, это и сон, ибо лицо у Щусева было темно-зеленым, попросту ударяющим в черноту. (Единственный признак в пользу сна, все же остальное удивительно реально и в пользу яви.)

Утром я очнулся (значит, все-таки спал, хоть, может, и недолго). Было уже начало девятого, и опять начиналась жара. Окна в комнате были распахнуты, и вместе с духотой и шумом московского транспорта в комнату врывался с улицы чей-то свист, удивительно беспечный. Кто-то насвистывал

популярную тогда мелодию из кинофильма. Это я запомнил, потому что у меня привычка важные моменты сопровождать и опрарвлять в случайные детали, придающие затем в воспоминаниях этим моментам особенную конкретность. А момент был важен, судя по тому, как Щусев сидел и смотрел на меня. Перед ним лежал ворох свежих газет. (Очевидно, за газетами ходил Сережа, сидевший тут же и сосавший карамель.)

— Все, Гоша,— сказал Щусев, и в словах его я не уловил обычной для него уверенности. Вид у него был человека проигравшего.— В этих газетах ни слова про нас... Вот оно, безвременье... Политический террор в России умер, ибо нет сейчас в России ни одного человека, чья смерть могла бы потрясти страну... Чья жизнь была бы ценной для России... В центре Москвы совершается нападение на крупнейшего политического деятеля, и об этом ни слова в газетах... Ах, Гоша, мне б в деревне жизнь свою прожить... Я ведь в политику случайно вовлечен... Несправедливый арест вовлек меня в политику... Но ты-то... Тебе-то чего?.. Ну, покапризничал, поизмывался над своими притеснителями (что-то с ним происходило), потешил себя... И хватит... Тебе ведь легче... Тебя ведь в концлагере не сажали на задницу... Какие у тебя с ними расчеты?— И он заплакал.

— Не надо, Платон Алексеевич,— сказал Сережа и погладил Щусева по голове (Вова спал).

Оказывается, между Сережей и Щусевым была какая-то непонятная и недоступная мне теплота. Щусев посмотрел на Сережу, потерся о его румянец своей небритой щекой и сказал:

— Тебе будут обо мне дурно говорить, Гоша... Скажут, что я агент... Связан с Чека... Или как оно теперь называется... Но ты не верь... Что было, то было, но у меня был свой независимый расчет... И я люблю Россию,— снова повторил он, точно стараясь воздействовать на меня этой своей, ставшей уже навязчивой, фразой.— Гоша,— сказал он, вставая и подходя ко мне,— тому, кто когда-нибудь возглавит Россию, требуется только одно — любить ее... Любить ее, ибо она сирота... У нее никогда не было добрых и заботливых родителей... Люби только сироту нашу Россию, Гоша, и не думай о всемирности... Россия наша — это изнасилованная деревенская баба, которую насилюют тысячу лет, у нас же, ее детей, на глазах... Вот она где, мука.— Лицо у него побелело, и я понял, что сейчас начнется припадок.— Защити ее, Гоша,— крикнул Щусев, протянув мне руки, и тут же рухнул на пол мимо наших рук, ударившись больно головой об угол стола,

ибо мы с Сережей растерялись и проявили нерасторопность. От шума проснулся Вова, и втроем мы перенесли Щусева на диван, от которого исходил несвежий теплый запах Воинового тела.

— Не давайте ему водки,— строго сказал я Сереже и Во- ве,— и сами не пейте...— После слов Щусева я был чрезвычай- но взволнован, но чувствовал прилив силы и власти. Оказы- вается, Щусев знал о моих намерениях и обращался ко мне всерьез и с надеждой. С каждым разом, несмотря на всевоз- можные конфузы и конфликты, отклонения и сомнения, я близился к своей цели и укреплялся в своей идее.

Оставив ребят дежурить возле Щусева, я умылся, поел хле- ба с холодным чаем (более ничего не было из припасов) и вы- шел на улицу. Власть и Маша — вот что следовало отныне воспринимать всерьез, всем же остальным ради этого жерт- вовать и этому подчинять. Причем недоступность Маши (я знал уже твердо, что она недоступна) еще больше укрепляла меня в том направлении, которое более обещало успех,— именно правление Россией... Россия — изнасилованная ба- ба — это Щусев образно. Жениться на изнасилованной — значит все время относиться к ней с невольным попреком. Вот откуда неприязнь к России у ее правителей, тем более си- льная неприязнь, что она-то и не виновата. Ее даже и про- стить нельзя, ибо не она грешила, а с ней грешили. С бывшей развратницей, с блудницей можно жить в добре, если она по- кается, а с изнасилованной — только в злобе на ее беду. Тут одно помочь может — если полюбишь. Щусев, тот любит свою Россию. (А у каждого, конечно, своя Россия.) А я лю- блю ли даже и свою? Какая она у меня? Где она? Пока я был мал и слаб, я жаждал от нее ласки, и обласкай она меня во- время, я стал бы, может, любящим семьянином, консервато- ром, столпом нынешней официальности... Ныне же, женив- шись, я буду ей мстить, я не прощу ей ни одной несправедли- вости ко мне... Но о чем это я?.. Ведь вот она передо мной стоит и смотрит своими серыми с голубизной глазами. И это при темных-то густых волосах — мысли мои путались, и в за- тылке снова при глотании началось колотье.

— Простите,— сказала Маша (да, это была она, живая, во плоти, и к ней привели меня мысли о России).— Простите, я караюлю вас здесь уже давно... В дом у меня входить нет желания... Дело в том, что с вами хочет поговорить один человек.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Кто это?—спросил я.

— Сейчас увидите,—ответила Маша и, повернувшись, пошла, тем самым приглашая следовать за ней.

— И все-таки, кто это?—спросил я опять.

Я спросил не для того, чтоб выяснить. В сущности, меня это не очень интересовало. Я спросил, ибо хотел говорить с Машей, а тут она сама предоставила мне такую возможность.

— Я же вам сказала, сейчас увидите.— В голосе ее мне слышалось раздражение, причем даже и после того, как она продолжительное время ждала меня. Значит, в этом деле ей так же безразличен я, как мне безразличен тот, во имя которого она здесь старается.

Я заметил, что Маша, ведя меня куда-то, в то же время старается быть впереди меня, с тем чтобы не идти со мной рядом. Словно мы независимые друг от друга прохожие. Такой способ двигаться обособленно с человеком, который тебе нужен, но с которым не желаешь показаться в обществе, существует, и я сам его применял. Причем человек, с которым ты двигаешься обособленно, не всегда это может заметить, здесь и далеко удаляться не надо, на каких-нибудь полшага, и лицо должно быть не обращенным к спутнику, а рассеянным, каким оно бывает у человека, задумавшегося илидвигающегося по улице в одиночку. Такой способ еще в детстве я применял, двигаясь со своей неряшливой крикливой теткой, особенно когда замечал знакомых девочек или ребят. Ну, тетка-то, конечно, ничего не замечала, а лишь возмущалась, что я иду быстро. Но такой способ я ухитрился применять и к Бительмахеру или другим реабилитированным, людям, казалось бы, в смысле своего достоинства искушенным... Вот почему, сам в таких делах поднаторевший, я сразу же разгадал маневр Маши, а значит, он обречен был на провал, ибо основывался исключительно на неведении того, от которого незаметно хочешь отгородить себя.

Мало того что я догнал Машу, я начал говорить без умолку, и таким образом контакт наш с ней во время прохода был особенно тесен. Чувства мои были двойственны: с одной стороны, я пьянел от Маши, с другой же — жаждал уязвить ее за пренебрежение, жаждал причинить ей боль и потому во время прохода испытывал двойное удовольствие: от ее близости и от ее раздражения. Она уже поняла, что я влюблен до беспя-

мятства (такое при общении мужчин с ней было нередко), и я видел, как она раздражена моим обществом и тем, что я использую ее нужду эгоистично, по ее мнению, неблагородно и в свою пользу. Более того, я даже начал входить во вкус, и меня волновало такое насильственное навязывание себя, к которому сама же Маша своим поведением и стремлением обособиться меня приучила. Это приобрело характер азартной и сладкой игры. Я видел, что Маша во мне нуждается (какое это было послание мне судьбы), и поэтому разыгрался до того, что вдруг взял ее за оголенный локоть. Она, конечно же, открыто, уже без маскировки, вырвала локоть, но пальцы правой руки моей, которым в тот момент я передал всю мою жажду, запомнили ее тело. Никогда без ее неприязни ко мне, вызвавшей эту азартную игру и насилие воли над волей, я не осмелился бы к ней прикоснуться. Я, может, сам бы шел на расстоянии, не желай она того же. Своей неприязнью Маша лишила меня счастья платонической любви, любви, которой не нужны прикосновения и на которую я был готов, ибо, даже взяв ее за оголенный локоть, я по-прежнему все еще не различал в ней особенностей, на которые обращает внимание мужчина, желающий женщину. Даже прикоснувшись по злой воле в противоборстве с ее пренебрежением, я не ощутил в ней специфически женского, а ощутил Машу в целом, как явление, имеющее вкус, цвет и запах. Я знал, что рядом с Машиной любовью я мог бы полностью измениться, от всего отказаться, отречься от желания управлять Россией и довольствоваться судьбой скромного техника-строителя, даже полюбив и начав толково исполнять эту нелюбимую должность. Поднятый Машиной любовью над всем миром, я согласен был бы всю жизнь прожить «инкогнито», в личине скромной частички людской массы. Но я знал твердо, что Маша меня никогда не полюбит, и потому мне уготована иная судьба — жениться на России, на этой тысячелетней изнасилованной вдове.

В это движение моих мыслей (ибо, добившись своего и взяв Машу за оголенный локоть, я замкнулся в себе, анализируя), в это движение вдруг вторгся раздражитель. Не осознав его еще, я скользнул взглядом перед собой. На скамейке в скверике, в том самом, где мы обговаривали детали покушения на Молотова (напоминаю, все это рядом, и опять закон «пяточка»), на скамейке сидел Христофор Висовин и смотрел на меня. Я бросился к нему, и мы обнялись, но, еще не разжав объятия, я уже понял, что именно к нему и вела меня Маша. Причем понял самостоятельно, без посторонних деталей и намеков. И точно, когда я обернулся, Маша уже сидела

рядом с Висовиным. Я посмотрел на нее, и она ответила мне неожиданно теплым, примирительным и прощающим меня за мое поведение во время прохода взглядом. О, какая это была ошибка с ее стороны! Если б она так посмотрела на меня раньше, до Висовина, я мог бы, пожалуй, от радости и сознания лишиться, но теперь я, наоборот, был в полном холодном, ясном сознании и в хорошей форме для противоборства. Я знал уже, что вступлю с Висовиным в противоборство, с чем бы он ко мне ни обратился. Я мгновенно, в течение доли секунды, переоценил свои отношения с этим человеком, которого не просто ранее уважал, а уважал с любовью, его единственного во всей организации, и который в бездомности моей не задумываясь поделится со мной кровом после того, как я окончательно утратил койко-место в общежитии Жилстроя. Все это было серьезными аргументами, но разве могли идти они в сравнение с тем, что сейчас между нами произошло и что весьма неосторожно подтвердила своим неожиданно теплым взглядом в мой адрес Маша. Мне кажется, ошибка Маши была настолько опасна для нее, насколько она была элементарна и весьма соотносилась с ошибкой брата ее Коли, с которым у Маши, при определенных, конечно, различиях, безусловно было много общего в нервной основе. То есть Маша посмотрела на меня тепло именно потому, что я столь искренне и порывисто обнял Висовина, ее любимого человека. А для меня не требуется более веских доказательств ее любви, ибо по нервной своей основе она не могла не отблагодарить даже меня, личность ей неприятную, за то, что я тем не менее близкий человек ее любимого. Тут многое напоминает ошибку Коли, который проникся еще большим ко мне уважением, предполагая, что я люблю его друга Ятлина. Но ситуация здесь была доведена до больших крайностей, да и ставка была иная. Все это я понял и продумал, но не подал виду, ибо, повторяю, подобная ситуация обычно делает мои действия удивительно четкими, точными и хитрыми. Действительно, ни Висовин, ни Маша ничего не заметили, более того, Маша даже усугубила ситуацию, наивно (от любви наивно) положив свою маленькую красавицу ладошку на грубую искалеченную руку Висовина. (Его тоже пытали при допросах и тоже элементарно — иголками под ногти.)

— Гоша,— сказал Висовин,— я хочу поговорить с тобой, чтобы вместе найти выход из положения. Речь идет и о тебе, и о Коле, Машином брате, и об этих двух юношах, которые сюда привезены, и еще об одном человеке... (Тут он глянул на Машу и, кажется, благодаря ее взгляду сдержался и не сообщил, о каком именно человеке.)

«Раз,— отметил я про себя.— На этом я и построю для начала противоборство... О ком именно идет речь?.. Почему недомолвки? А далее поглядим...»

— Щусев очень опасен,— продолжал Висовин.— Я сам это лишь недавно понял.

«Два,— отметил я про себя,— почему недавно? Что произошло?.. Кстати, три — ты сбежал и оставил какую-то неопределенную записку, а теперь вдруг появился...» Я чувствовал, что запутаю его в присутствии Маши, тем более, думал я, он сам явно не все понимает и путает.

— Щусев старый стукач... Завербованный еще в лагерях... Действия его контролируются... Конечно, не все... Допускаю, он обманывает и тех и других — такое для России не ново. Азеф для России не новость. (А этот Висовин все более утрачивает свою пролетарскую питерскую ясность с приобретением знаний от интеллигенции, подумал я с внутренней усмешкой.)

— Это ужасно подлый человек,— продолжал Висовин,— к тому же шантажист и вымогатель... (В этом месте Маша снова глянула на Висовина. Я, кажется, начал догадываться, о ком шла речь, когда Маша пресекла Висовина в первый раз и не дала расшифровать имя. И в какой связи было сказано о шантаже и вымогательстве Щусева. Конечно же «человек-инкогнито» — это отец Маши и Коли, журналист. Все в противоборстве складывалось настолько удачно, что даже и не верилось. Пора было делать первый ход.)

— О каком человеке идет речь? — спросил я с наивной серьезностью, подменяя основной вопрос о доносительстве Щусева второстепенным — о личности шантажируемого.

— Какая разница?.. — замылся Висовин.— Важен факт, характеризующий Щусева... Он занимается шантажом и вымогательством денег.

— Нет,— сказал я,— Щусеву брошено весьма серьезное обвинение... Довольно неожиданное... Причем ты, Христорфор, всегда относился к нему с уважением и доверием.

— Ну, не всегда,— сказал Висовин,— но действительно раньше, пока не стали известны факты...

— Известны тебе, но не мне.— По сути, наша беседа уже постепенно превращалась в допрос. Причем допрашивал я, а Висовин защищался и оправдывался.

— Факт с Горюном,— сказал Висовин,— я не хотел говорить, пока не соберу точных доказательств, но раз ты настаиваешь... Арест Горюна связан со Щусевым... После того, как тот решил твердо совершить покушение на Маркадера независимо от организации... Конечно, признаюсь, это была

авантюра... Да и личность он весьма авантюрная, троцкист. Но речь сейчас идет о Щусеве.

Нет, Висовин решительно не годился для политического противоборства. Это была натура крайне наивная, и тот факт, что на допросах его пытали, лишний раз подтверждает примитивный садизм следователей прошлых лет. Одной фразой он столько раз сыграл со мной в поддавки, что даже поставил меня в затруднение, чем именно его запутать окончательно. То ли тем, что он сам признал факт авантюристичности Горюна, на которого якобы донес Щусев, то ли тем, что он сам признал отсутствие пока точных доказательств... Впрочем, поскольку тут Маша, надо основным сделать все-таки выяснение личности «человека-инкогнито». А все остальное превратить в гарнир к «лакомому блюду», каким является для меня журналист, личность всероссийская, даже всемирная и до сих пор для меня недоступная. Но через Машу, которой, очевидно, неприятно, когда треплют имя ее отца (она его явно очень любит), через Машу можно и его уязвить и сделать подследственным.

— Мы отвлеклись,— сказал я, в упор глянув не на Висовина, а на Машу. Я видел, как она вздрогнула. Она сразу поняла, о чем я.— Мы отвлеклись от поставленного мной первоначально вопроса о личности человека, которого Щусев якобы шантажировал.

— Не якобы,— вскричал Висовин,— не якобы, а в самом обычном смысле... Причем делает это моим именем, подлец... Конечно, и я виноват, что принимал долгое время эти деньги... За что их принимать?.. Я так и сказал: за что?.. Не надо... Не смейте мне их больше присылать... Не вы, а время упрятало меня в концлагерь... Да деньгами и не успокоишь совесть,— последнюю фразу Висовин произнес уж совсем по-иному, в горечи и растерянности...

Я поспешил воспользоваться этим его состоянием, пока оно свежо.

— Вот видишь, Христофор,— сказал я,— сам же ты признаешь, что человек, которого ты пытаешься защитить, непорядочный... Сейчас многие хотят замолить прошлые сталинские грехи... Как бы не так... Так мы их и отпустим... Пусть до конца... До конца жизни страдают и извиняются,— тут уж меня прорвало, и искренняя злоба на какое-то мгновение выбила меня из колеи. К счастью, ни Висовин, ни Маша этой моей несобранностью не воспользовались. Наоборот, Маша и сама предалась эмоциям, ибо мои слова, как я и предполагал, уязвили ее, любящую дочь...

— Вы не смеете так говорить,— совсем по-женски, вооб-

ще-то у Маши при ее женственности — мужской склад ума, но тут она совершенно слабо, нервно и по-женски крикнула. — Хорошо, я скажу... Это мой отец... Но он порядочен... Он порядочней и умней вас всех вместе... Вы со всех сторон расставили капканы... Сталинисты, антисталинисты... А порядочный человек страдает....

Я едва не расхохотался от удовольствия, ибо чувствовал, что уже господствую и нравственно насилую ее, отвергнувшую меня, полюбившего впервые, на всю жизнь и готового ради нее на все, ответь она мне взаимностью. Но в действиях своих я был точен и сдержан. Я встал и сказал, обращаясь к Висовину:

— Чувствую, что разговор наш не состоялся... Что касается твоих обвинений в адрес Щусева, то я их отвергаю как лишние доказательства. Хочу надеяться, что здесь твое заблуждение, а не злой умысел.

Эти двое влюбленных в короткий срок примирили меня со Щусевым, с которым я намеревался рвать. Нет, рвать с ним было, судя по всему, еще рано и ошибочно.

— Подожди,— явно растерянный оборотом дела, сказал Висовин, тем более он осознал, что сам же неточными высказываниями способствовал вспышке чувств у Маши, которая, не сдержавшись, впрямую оскорбила меня. (Вспышку чувств ее я встретил весело, как слабость, но оскорбление — все-таки всерьез, учел его и положил на будущее, «в копилку».) — Подожди,— снова сказал Висовин,— мы тут все неточно говорили, много лишнего... Выхода нет... Если Щусев ведет двойную игру, то в любой момент может произойти самое ужасное... Это очевидно, это понимает всякий, кто хочет понимать (вот как, тут шпилька явно в мой адрес, отметил я, но пока смолчал). Он болен, и дни его сочтены, он знает это и в любой момент может пожертвовать молодыми жизнями... Таков его замысел...

В этом месте я вспомнил подобное же высказывание Горюна, когда у подоконника в своей комнате он кончил мне читать дело убийцы Троцкого Рамиро Маркадера. Какие-то раздумья и сомнения зашевелились во мне, но тут же Висовин совершил шаг, окончательно воздвигнувший между нами преграду и примиривший меня со Щусевым.

— Есть единственный способ,— сказал Висовин, понизив голос до шепота, хоть сидели мы в отдалении и поблизости не было никого,— есть единственный способ остановить Щусева в его подлинных замыслах... Это ликвидировать его... Я возьму это на себя... Но ты мне должен помочь... Все знают, что он смертельно болен, и все можно совершить аб-

совершенно безопасно... К тому ж о разоблаченном и обманывающем стукаче не очень будут заботиться...

Наступила пауза. Я старался затянуть ее подольше, переводя взгляд с Маши на Висовина. Я заметил, что и для Маши это предложение Висовина было неожиданно, они договаривались о другом. Меня начало знобить.

— Ты сумасшедший,— испуганным шепотом выкрикнул я (можно и шепотом кричать),— ты сумасшедший... Или подослан органами... Сам подослан... Ты утверждаешь, что Щусев стукач... Допустим... А если его все-таки хватятся... Ты хочешь меня под расстрел?..

— Ах, ты не понимаешь,— сказал Висовин,— я же говорил... Я и это продумал... Стукач, на которого... Который раскрыт... В общем, делу редко дается серьезный ход...

Висовин говорил путано, да и, пожалуй, все это носило несерьезный характер... Просто прощупывает меня, а я и поддался... Нет, все надо повернуть в нужном мне направлении.

— А откуда такие знания о стукачах?— резко спросил я.

— Оставьте ваши подлые намеки,— крикнула Маша (опять в ней верх взяла женщина, подруга оскорбленного возлюбленного),— вы интриган и мерзавец... Христофор, разве ты не замечаешь, что это выкормыш Щусева... Зачем же ты так шутишь, да еще при нем?.. И для меня это неожиданно (вот оно, подтверждение), мы ведь о другом говорили...

— Тише,— сказал я,— о таких вещах не кричат громко... Или это очередной способ доноса? Может, за углом меня уже ждут агенты КГБ, которым вы голосом подаете знак?— Я снова был в собственной стихии, я успокоился, я оправился от испуга, я торжествовал. Я видел, что в гордых, недоступных глазах Маши блестят слезы. Как она меня в то мгновение ненавидела! Как она смотрела на меня! Нет, ненависть этой девушки волновала меня не менее, чем ее любовь... Даже более того... Я убедился в тот момент... Я впервые увидел тогда Машу в деталях и подробностях.

У нее были круглые как яблоки колени, оголенные руки, несмотря на конец лета, не были загорелы, но чуть тронуты загаром, нежны и вкусны даже и не на ощупь (тут я ярко вспомнил свое прикосновение к локтю), а как две груденочки оттягивали летнее платье... А длинные мягкие симметричные линии, начинающиеся где-то у хрупких плечей, касающиеся ключиц, идущие далее с двух сторон по шейке к ушкам, в которых играли маленькие светлые камушки (настоящие бриллиантики, как выяснилось, ибо отец ее был состоятельным человеком и баловал свою единственную дочь). Чем с большей ненавистью смотрела на меня Маша, тем более

сладкие картины рисовало мое воображение. Я обнажал ее, я осторожно, ласково, но настойчиво и неумолимо обнажал.

— Ах, Маша, мы совсем не о том,— вмешался Висовин, растерянно и в досаде,— у нас есть способ в организации выносить смертный приговор, а в действительности приговоренному по зубам да по шее... Ты-то, Гоша, знаком с подобным...

Он мельчил, давал задний ход, но не тут-то было... Это я-то не разобрался! Я, который проанализировал ситуацию буквально по деталям и нашел в противоборстве оптимально выгодное мне решение.

— И вот еще что,— сказала Маша, зло и взволнованно дыша,— оставьте в покое Колю, мы вам не позволим развращать его...

Я видел, что Машу беспокоит и волнует мой взгляд. Опытная ли женщина или девственница, любящая или ненавидящая,— все здесь едины и не вольны в своих чувствах. Под таким сухим, жаждающим взглядом в женщине бунтует ее физиологическая суть, которая тянется навстречу этому взгляду и которую надо подавлять. По тяжелому Машиному дыханию я видел, как ей трудно бороться с тем, что было внутри нее и что было враждебно ее душе и ее мировосприятию. Я видел, что она ненавидит это в себе и переносит на меня свою необыкновенно женственную ненависть.

— Вы оба не о том говорили и были несправедливы,— вновь примирительно сказал Висовин,— да и я путался... В общем, ерунда получилась...

Нет, Висовин явно не любил Машу и не соответствовал ей. Вернее, он, конечно, очень любил ее (разве возможно было перед нею устоять?), но любил слишком по-человечески, без мужского инстинкта в подтексте каждого своего слова и каждого своего поступка. Существой у него хотя бы в зародыше этот мужской инстинкт по отношению к Маше, разве он не понял бы, что именно в данный момент между мной и Машей происходило? Какой сильный природный позыв возник между нами и как этот позыв обрадовал и укрепил меня и испугал и ослабил Машу? Думаю, если говорить о Маше, то здесь противоречие между человеком и его собственными внутренностями, печенью, легкими, селезенкой, которые всегда пугают и всегда враждебны, если о них задуматься, либо, что еще хуже, если они сами о себе напоминают. И вот еще что — меня укрепляла как раз та борьба, которую вела Маша со своими внутренностями, не давая им взять верх над собой. Поддайся Маша, прояви она свой позыв даже чуть-чуть, как я сразу же изменил бы себе, потерялся бы перед Машей,

сдался и упал прямо здесь, в сквере, к ее ногам, к ее круглым коленям. Но ее ненависть, ее борьба укрепляли меня и в страсти моей наставляли меня не на путь слабости, а на путь твердости и насилия. Висовин любил Машу как человека, а я любил ее как женщину. Поэтому и здесь, хотя бы в воображении, я сумел взять верх над ним, несмотря на то, что Маша меня ненавидела и оставалась с Висовиным, а я уходил. Да, я понял, что настало время уходить, дабы не растерять преимуществ в обстоятельствах непредвиденных. А мои отношения с Машей могли как угодно повернуться, до такого уровня дошла ее ненависть (в частности, могла быть и пощечина). Например, в тот момент, когда уходя я бросил соблазнительную, конечно, но, как теперь признаю, ошибочную фразу (это единственная ошибка, допущенная мной в столь сложном противоборстве): «Колю мы вам не отдадим... Это белая ворона в вашей непорядочной семье сталинских прихлебателей». Мне кажется, после этой фразы Маша дернулась, намереваясь дать мне пощечину, но сдержалась, да и я, повернувшись, ушел поспешно, не попрощавшись. Оглянувшись, я увидел, что Висовин сидит крайне подавленный и усталый. Это меня обрадовало. В противоборстве такое состояние противника (а Висовин стал несомненно моим противником и добился как раз обратного, чего желал, сдружив меня со Щусевым), в противоборстве такое состояние весьма ценно, и его нельзя упускать. Надо было все сообщить Щусеву и наметить совместно дальнейший план. Конечно же, не безвозмездно. Щусев должен будет учесть такие действия с моей стороны и понять, что отныне я не подчиненный ему, а равноправный партнер. Так примерно я Щусеву и заявлю. Момент самый подходящий.

Я прервал прогулку и повернул к дому, ибо знал, что приступы болезни у Щусева длятся не более получаса, если только они не принимают крайне острого характера. Но сейчас, судя по всему, припадок у него был легкий, просто от возбуждения, и он, безусловно, уже на ногах. Застать же дома я Щусева застану, поскольку даже и после легкого припадка он старался никуда не отлучаться, а часок-другой полежать. Значит, все складывалось весьма удачно и ко времени.

Так в действительности и было, как я рассчитал. Щусев лежал на диване несколько ослабленный, но с ясным взглядом. Рядом сидел Сережа и мочил время от времени тряпочку в миске, прикладывая ее ко лбу Щусева. Вовы не было, видно, его куда-то услали.

— Ну как?— спросил я участливо, садясь рядом.

— Ничего,— сказал Щусев хоть и слабым, но бодрым го-

лосом,—отлежусь немного, пройдет... Это, видать, от жары...

— Да, конечно,—подтвердил я. На данном этапе надо было во всем соглашаться, даже в мелочах, чтобы выработать в разговоре некую инерцию полного контакта. Первоначально я решил взять у Сережи тряпочку и самому намочить, прижать ее ко лбу Щусева, однако, поразмыслив, отказался. Щусев был натура острая, недоверчивая, и с ним надо было не пережать в намерениях.

— Я видел Висовина,—сказал я.

— Вот как,—сказал Щусев,—теперь он к тебе... Он здесь уже некоторое время. Он пытался и меня шантажировать, настраивать против тебя, но я решил не предавать это гласности, правда, намекнуть я тебе намекнул.

Тут Щусев допустил грубый просчет, очевидно, связанный с его болезненным состоянием. Впрочем, большим мастером тонкого противоборства он никогда не был и часто действовал весьма грубо, по-уличному. Конечно же я понимал, что Щусев говорит явную неправду относительно интриг Висовина против меня. Но в данной конкретной ситуации эту неправду надо было учесть (все надо учитывать, даже бытовую мелочь, которая позднее может вырасти в решающий фактор), итак, надо было учесть, но не реагировать, а слушать и вести свою линию.

— А насчет вчерашнего он ничего?—спросил Щусев, поглядев остро.—Насчет Молотова?

— Нет,—сказал я,—правда, Колю заперли дома... Но откуда он вернулся, с какого дела, пожалуй, не знают, ибо Маша, сестра его, обязательно это бы упомянула...

— Да,—задумчиво сказал Щусев,—вот где ошибка... Сколько готовились, думали чуть ли не Россию перевернуть, а все так мелко получилось. Может, даже и в анекдот не сложится. Я его личность явно переоценил, каюсь. Тут была моя серьезная ошибка. Хорошо, что я его не убил,—сказал он мне вдруг, поглядев прямо в глаза,—я ведь шел на крайность... У меня бритва была и молоток, которым я ему висок проломить хотел.

— Знаю,—сказал я спокойно и твердо. (О, как все удачно складывалось и здесь.)

— Знаешь?—удивился Щусев, приподнявшись на локте.

— Да,—ответил я. Разговор происходил при Сереже, который сидел с невозмутимым видом. Это меня сдерживало. Мне кажется, Щусев сделал Сережу последнее время своим личным доверенным лицом. Это надо было поломать, если только догадка подтвердится.—Сережа,—сказал я,—у меня

с Платоном Алексеевичем будет серьезный разговор. Будь добр, погуляй на воздухе.

Сережа на мое замечание никак не реагировал, а лишь вопросительно посмотрел на Щусева.

— Иди, Сережа,— сказал Щусев ласково и похлопал юношу по руке,— иди, дорогой... Если потребуется, Гоша мне сам тряпицу намочит.

Я внутренне дернулся. Нет, в равноправные партнеры Щусев меня брать не собирался, и я явно переоценил ситуацию. Даже тот факт, что при юноше этом он назвал меня не Цвибышев, а Гоша, тем самым с Сережей уравнив, и намек насчет тряпицы... Я и сам хотел переменить ему тряпицу, но в данном случае ведь это намек на мое соответствие Сереже по положению, но не по доверию. Для человека опытного в противоборстве грамматика фразы и даже расположение слов могут объяснить ситуацию точнее, чем открытый текст. Нет, Щусев, конечно, бывает груб в методах, но, собственно, на этом у него и покоится расчет. То, что для Висовина или даже для меня было бы грубой ошибкой, для Щусева оборачивается удачей. Мы говорили с ним недолго, но тем не менее уже можно было заключить, что первоначальное, чересчур оптимистическое представление мое, возникшее в тот момент, когда Щусев удивился моей догадке о желании уничтожить Молотова, это представление преждевременно, и, может, Щусев просто сыграл удивление, ибо знал, что я догадываюсь о его крайних намерениях. Ясно, что Щусев не Висовин и так просто взять над собой верх не даст. Более того, пока в разговоре вел он. Даже признавая свои ошибки, он делал так, чтобы сохранить инициативу за собой.

— Глупо как,— сказал Щусев, правда, подождав, пока Сережа выйдет,— специально готовили операцию. Собственно, для того и ехали в Москву (у меня тут возникло вдруг подозрение, что в Москву ехали по другому поводу, нужному Щусеву, а Молотов был лишь сопровождающим либо отвлекающим фактором). Да, тут была ошибка страшная,— продолжал Щусев,— пожертвовать жизнью, пожертвовать организацией ради личности, которой давно место в правительственной богадельне по улице Грановского... Ну, спасибо,— сказал он вдруг и пожал мне руку.

— То есть? — растерялся я.

— Спасибо за то, что предотвратил... Если, конечно, действовал по своему разумению, а не по заданию.

— Какому заданию? — совсем уж растерялся я.

— КГБ,— сказал Щусев весело.

— Но ведь я дал Молотову публично пощечину,— не на-

шел я ничего лучшего, как отпарировать этим, отметив попутно, что я уже защищаюсь и оправдываюсь, а не веду беседу. (То, что Молотов схватил меня за ухо, я скрыл, надеясь, что Щусев, побежав, это уже не видел.)

— Ах, пощечину,—сказал Щусев,—пощечину почему бы не дать?.. Да я и успел выяснить, что это уже третья или четвертая его пощечина... Какая-то женщина из реабилитированных его даже пощечиной с ног сбила... Так что этим не удивишь, а вот спрятаться за это можно, чтоб, например, нежелательные действия предотвратить... Все-таки убить — это уже резонанс... Это уже мировой резонанс...

— Но ведь вы сами...—крикнул я.

— Да, я сам,—сев и резко отбросив с головы тряпицу, сказал Щусев,—то, что я сам, то, конечно, сам,—он темнил и говорил умышленно туманно. Такой прием в противоборстве существует, но мне его пока применить по-настоящему не удалось ни разу.— Да, я сам,—говорил Щусев,—сам признаю правильность твоих действий... Но иногда ведь противник, необдуманно борясь с тобой, предотвращает твои собственные ошибки... Это ведь бывает?

— Бывает,—полностью растерявшись и даже подчинившись Щусеву, ответил я.

— Лично я тебя не подозреваю,—сказал Щусев,—но Павел, это тот маленький, который приезжал, и Висовин, ты учи, что эти люди друг друга знают слабо и никак меж собой не могли сговориться, хотя бы потому, что ненавидят друг друга... Однако они оба утверждают, что ты агент КГБ. Тебе очень повредила твоя связь с Олесем Горюном... Это старый, опытный авантюрист.

Все смешалось у меня в голове, и в растерянности я сказал как раз то, что менее всего ситуации соответствовало:

— Но если вы меня подозреваете, то почему же вы согласны... И сегодня недавно говорили мне о России... О том, что я могу возглавить...

Помимо всего прочего, я выразился так, будто власть уже находится в руках у Щусева и он может мне ее передать или не передать.

— Во-первых, я тебя не подозреваю,—сказал Щусев.— А во-вторых, одно второму не помеха... Тактика и стратегия часто весьма по форме разнятся. Тактически мы служим власти, а стратегически ведем с ней борьбу.— И в этом месте он мне ободряюще улыбнулся.— Ну, рассказывай про Висовина,—добавил он мягко.

Щусев мог смять меня, ибо своей неосторожностью и несобранностью я предоставил ему такую возможность. Он

мог потребовать от меня передачи разговора с Висовиным в форме моего допроса, так же как я, воспользовавшись оплошностью Висовина, учинил допрос ему. Но он неожиданно перенес все в план дружеского разговора, и, начав лишь где-то в середине, я запнулся и осознал намек Щусева насчет тактики и стратегии. Фактически весьма ловко он если и не завербовал меня, то дал понять и чуть ли не сам подтвердил обвинение, которое выдвигал против него Висовин о связях с КГБ. Но, подтвердив по форме, опроверг по сути, ибо в конечном итоге это шло на пользу России, которую он любил.

Я передал ему свой разговор с Висовиным, упустив, конечно, всю линию Маши, и, когда дошел до предложения Висовина мне совершить на Щусева совместное нападение (я выразился все-таки не «ликвидация», а «нападение»), итак, когда я это сообщил, то почувствовал, что Щусев по-настоящему взволнован. Все прежнее он слушал весело, а тут разволновался и разозлился.

— Ах, сволочь,— сказал он любимое свое словцо,— какая же сволочь... Так низко пасть... А он не говорил тебе, где пропал, куда исчез и откуда появился?

— Тут мое упущение,— сказал я, во-первых, чтоб признанием своих частичных ошибок подтвердить точность и удачу своих остальных действий, а во-вторых, чтоб подыграть Щусеву.— Висовин был так растерян и говорил так много лишнего, что его легко можно было запутать и на этом пункте... Я даже первоначально для себя заметил запутать его на этом пункте: где он был и откуда явился, но потом так увлекся разоблачением инкогнито журналиста, что это упустил... Его утверждение о шантаже...

— Ах, о шантаже,— сказал Щусев.— Ну что ж, посмотрим... Насчет журналиста это ты правильно... Это тоже ценно. А Колю, значит, они заперли? Я знаю, мне приходилось сталкиваться... Там мать Коли Рита Михайловна, домработница, потом сестренка... Девчушка весьма привлекательная, но язва... Ты с ней осторожней, смотри не влюбись...

Меня обдало жаром, и я, в досаде от неумения скрыть чувства, просто зубами скрипнул.

— Ах, уже...— сказал Щусев, но не весело и сально, как подтрунивают над влюбленным, а наоборот, серьезно и озбоченно, как говорят о важном факторе в противоборстве.

Поэтому я успокоился и ответил откровенно:

— Я постараюсь справиться... Делу это мешать не будет, даже наоборот.

— Верю,— сказал Щусев, все так же серьезно глядя на

меня.— Вот что, Гоша, сейчас мы с тобой отправимся туда... Чувствую я себя лучше, даже совсем хорошо,— он встал и прошелся по комнате.

Мне показалось, что его слегка шатает, но я нашел нужным смолчать, поскольку подобное замечание относительно здоровья сейчас было явно неуместно и не помогло бы мне обозначить свое доброе к Щусеву отношение, ибо занят он был иным и сосредоточен на ином.

— Пора наконец все поставить на свои места,— сказал Щусев,— и ты, Гоша, в этом деле как нельзя кстати... Особенно после твоего разговора с Висовиным и гнусного иудинного предложения этой сволочи.

Меня охватила нервная дрожь. Впервые я должен был переступить порог Машиного дома, причем переступить с насильственными намерениями. Да и с журналистом, фигурой все-российской и всемирной, мы, кажется, шутить не собирались. Я чувствовал, что приближается нечто важное и этапное.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Журналист также жил в центре, недалеко от квартиры Марфы Прохоровны, в тихом переулке, который мне уже был знаком по тому вечеру, когда я провожал из компании Ятли-на Машу и Колю. Для того чтоб добраться до его дома, нам понадобилось не больше десяти минут, правда, мы шли накоротко, каким-то другим переулком, потом проходными дворами, отчего я сделал вывод, что Щусеву эта дорога хорошо известна и он у журналиста уже неоднократно бывал. И действительно, перед тем как войти в подъезд, он шепнул мне:

— Ты молчи, я за тебя отвечу.

Действительно, едва мы вошли в вестибюль великолепного, высшей категории дома (я все-таки строитель и толк в этом понимаю), в вестибюль, где даже почтовые ящики поблескивали никелем и за столом с телефоном сидела откормленная привратница, как эта привратница глянула на нас (особенно на Щусева, которого, очевидно, уже видела здесь и вспомнила о том), как эта привратница сказала:

— Если вы к...— и она назвала фамилию журналиста,— то их нет никого... Они уехали...

— Нет, нет,— ответил Щусев,— мы в семьдесят третью квартиру... Мы к Прохорову...

Я еще не знал тогда об опеке, которую в борьбе с вымогателями учинили Рита Михайловна и домработница Клава над журналистом (а ныне к нему прибавился еще и Коля, которого и вовсе откровенно заперли, правда, по иной причи-

не), но конечно же догадался, что у Щусева имеются основания подобным образом себя вести.

Мы вошли в роскошный лифт, двери которого сами хлопнулись. (Тогда это была еще новинка.)

— Обстановка здесь сложная,— тихо сказал мне в лифте Щусев,— но думаю, это только на руку,— и он загадочно улыбнулся,— не стану тебе объяснять, объяснять долго и только запутает. Сам поймешь.

Мы поднялись до предела, на самый верх, и вышли из лифта. Двери на лестничной площадке были одна краше и богаче другой — обитые клеенкой, поблескивающие многочисленными своеобразными замками с пружинами, на полу — цветные коврики для ног, явно импортные, ибо я таких никогда не видел. Вытереть ноги о такой коврик — это значило приобщиться к чему-то богатому. (Напоминаю, при моей постоянной нищете, в отличие от иных, возвеличивающих свое нищее положение презрением к богатству, я богатство уважаю.) Я с интересом оглядел двери, думая, к какой же из них подойдет Щусев, но он неожиданно пошел вниз.

— Этаж проехали? — спросил я удивившись, ибо понимал, что Щусев здесь бывал и не такой он человек, чтоб не запомнить месторасположение серьезного объекта (как он иногда выражался). И действительно, это была не ошибка, а замысел.

— Наступает время, Гоша,— сказал Щусев,— когда жизнь нам ни одной ошибки не простит, даже мелкой, бытовой.

Щусев проехал на самый верхний этаж, ибо знал, что Рита Михайловна и Клава прислушиваются к шуму лифта и если он останавливается на их площадке, то тут же принимают меры вплоть до того, что заставляют журналиста уйти в дальние комнаты (в квартире пять комнат кроме кухни), и сами встречают посетителя еще перед дверью, даже не дав ему позвонить. (Это Коля рассказал, оказывается, Щусеву, причем рассказал с горечью в адрес слабохарактерного отца. «Ибо я знаю,— добавил Коля, как известно, отца тайно любивший,— знаю, что прячется он не из трусости, а из слабого характера, не в состоянии противостоять матери и Клаве. Тем более что последнее время их сторону взяла и Маша, ранее Колю и отца, наоборот, поддерживавшая.)

Маневр с лифтом позволил нам осторожно спуститься тремя этажами вниз, и Щусев остановился перед дверью, роскошной даже среди других богатых дверей, обтянутой каким-то особым материалом под крокодилью кожу. От двери этой исходил запах прочного достатка, а коврик для вытира-

ния ног был вообще какой-то особой конструкции, шетинистый... Щусев молча приложил палец к губам, показывая, что я до поры должен соблюдать тишину. (Не следовало меня учить, я и так понял, что здесь надо вести себя особым образом, хоть и волновался, ибо все-таки стоял впервые на пороге Машиного дома.) Затем Щусев встал к двери вплотную, чтоб закрыть смотровой глазок, а мне кивнул на звонок. Я сразу понял и нажал. Раздался какой-то необычный, неординарный перезвон. Я нажал снова. И дверь распахнулась неожиданно быстро. Неожиданно даже для Щусева, который несколько растерялся. А что уж говорить о домработнице Клаве, которая и вовсе опешила, во-первых, от своей оплошности, а во-вторых, оттого, что увидела не того, кого ждала. Одно было следствием второго, и, как выяснилось потом, все в доме, даже журналист, оставивший на время свои раздумья, ждали врача-психиатра к Коле, но врач запаздывал. Так слепой случай (столь закономерный и ординарный в политическом противоборстве) помог нам, ибо неожиданный звонок был принят за звонок врача. (Тут помог также и маневр Щусева с лифтом, не давший Клаве выйти на шум и встретить нас перед закрытой дверью.)

— Ой,— растерянно вскрикнула Клава,— а их нету... Они в отъезде, велели передать.

В это время в коридоре появился журналист, думая, что пришел доктор, но тут же отпрянул, рассчитывая, что мы его не заметили. Следовательно, находился он к тому времени уже в новой стадии, которая постепенно созрела в период опеки и в одиночестве, и находился, если выразиться образно, под прямым углом к линии своего прежнего поведения — сперва сталинского, а затем антисталинского, то есть чувство долга, пусть и противоположного в разные периоды, у него постепенно заменилось анализом, который в его возрасте и при его мировоззрении неизбежно приводит к созерцательному консерватизму. Правда, новые взгляды его тогда еще находились в периоде созревания, но защитные реакции, как известно, созревают одними из первых, и, несмотря на то что поиски объективной истины лишь только начинались, то, что спасает от этой истины самолюбие — остроумный и талантливый цинизм уже вполне овладел журналистом, после чего раздумья его стали (он это заметил) более ясными и интересными. Толчком к этому повороту (но, конечно же, не причиной) явилась третья пощечина, о которой тогда вовсе никто не знал, кроме приятеля журналиста, человека военного, то есть надежного и не болтливоего. Следовательно, повлияло тут не общественное мнение, а личные размышления, тем бо-

лее пощечина эта была получена случайно, может быть даже по ошибке, вблизи дачи приятеля, куда Рита Михайловна пыталась спрятать журналиста от вымогателей. (На собственной даче, конечно же, не спрячешься.) В тот момент, когда журналист переходил мостик над весьма живописным прудом, навстречу ему явилась какая-то молодая женщина или девушка и с традиционным криком «стукач!», ударив журналиста по щеке, побежала к кустам. Приятель, который в тот момент находился с удочками на берегу, хотел было за ней погнаться, но журналист остановил его, улыбнулся с некоторым цинизмом и в тот же день уехал с дачи домой.

Первая пощечина от искалеченного пытками реабилитированного вымогателя, как известно, журналиста потрясла и возмутила, вторая — от Висовина — его успокоила, заставила задуматься и на некоторый период подсказала путь чуть ли не христианского долготерпения в замаливании своих грехов сталинского времени. На третью пощечину он только цинично улыбнулся в ответ: ну что ж, мол, вот так... а как бы вы хотели?.. Ибо с тех пор произошел целый ряд событий. Разрыв его с шумным молодежным движением, которое он вначале, в первые хрущевские годы, чуть ли не возглавлял и для которого он (конечно же, до первой пощечины от реабилитированного) служил пророком, разрыв этот заставил его многое переосмыслить. Как ни странно, ему, человеку седому и опытному, многое подсказали собственные дети, которых он любил и за судьбу которых беспокоился, чувствуя здесь собственную вину и не споря уже с женой, Ритой Михайловной, когда та начинала его в подобном упрекать. Маша подсказала ему впрямую, изменив своим прежним шумным друзьям и дав им убийственные характеристики. Коля же — от обратного, этими друзьями увлеченный и вообще, кажется, попавший в дурную компанию, причем не зеленой глупой молодежи, а опытных негодяев — так журналист в душе начал считать, вот до какой степени он переменялся. Впрочем, человек этот всегда способен был к резким переменам, как глубоко себя ценящая натура, но если ранее для перемены ему нужно было какое-либо общественное впечатляющее движение, то ныне он стал более индивидуален, что вообще характерно для периодов отсутствия увлекающих общественных движений, и в нем, журналисте, начали появляться первые признаки тех веяний, которые распространились в обществе, да и то в неясном виде, спустя продолжительное время после описанных событий, то есть — созерцательность, усталость, выживание, объективизм и раздумье... А все эти качества, особенно в бурные времена и особенно среди молодежи, выглядят под-

ло. Вот почему журналист в последнее время замкнулся ото всех и даже от своих детей. (Пожалуй, и Маша его в этом не поняла бы, что уж говорить о Коле!) На все просьбы Риты Михайловны поговорить с Колей он категорически отказывался, ибо он знал Колю как умного мальчика, который сразу уловил бы обман, начни он с ним неискренний разговор. А искренний разговор, по его мнению, вообще привел бы к катастрофе и разрыву. Поэтому теперь, несмотря на столь оправдывающие его причины, когда с Колей что-то случилось особенное, журналисту было совестно перед женой. Никто, конечно, не догадывался в семье, что Коля участвовал в покушении на Молотова, но его вид, когда он вернулся домой возбужденный и с разорванными брюками (убегая, он их разорвал о забор), его вид и особый нездоровый блеск глаз, делавший его, кстати, очень похожим на отца в минуту душевной тревоги, все это заставило принять немедленные меры, которые журналист сам же одобрил, впервые согласившись в этом смысле с Ритой Михайловной и заняв открыто консервативные позиции. Коля был заперт в маленькой комнатушке, куда ранее, в период раскаяния своего за грехи сталинского времени, журналист перебрался из своего роскошного кабинета. Кстати говоря, комнатушка эта уже некоторое время пустовала, ибо, вернувшись в новом качестве после третьей по счету пощечины, журналист велел Клаве перенести нужные ему книги и вещи из комнатушки назад, в свой богатый кабинет. Так что комнатушка эта еще ранее была освобождена и как бы ждала Колю в качестве домашней тюрьмы. Вызванный врач определил нервное истощение, прописал лекарства, постельный режим и лечение сном с применением препаратов, но Рита Михайловна считала, что врач этот осмотрел Колю весьма поверхностно, и потребовала обратиться к специалисту, кстати, другу семьи, доценту Соловьеву, к услугам которого не прибегали, во-первых, потому, что Рита Михайловна не любила жену Соловьева, которая Риту Михайловну по глупости, как считала Рита Михайловна, ревнует к своему мужу и которая потому в отместку могла распусть слухи, что у Риты Михайловны дети нервноболезные, а во-вторых, потому, что Соловьева вообще не было в Москве. Но положение Коли так пугало Риту Михайловну, что когда выяснилось, что Соловьев вернулся из Англии, Рита Михайловна тут же настояла пригласить его, пренебрегая дурными качествами его жены. Этого Соловьева они и ждали, но он запаздывал, и тут мы как раз и подросли весьма удачно.

Все это, конечно, стало известно мне впоследствии, тогда

же я был в полном неведении, был ошеломлен роскошной передней с зеркалами да и самим видом журналиста, седая грива которого была мне знакома по фотографии. Повторяю, журналист, судя по тому, что он сам хотел скрыться от нас, ныне в опеке со стороны не нуждался и если подчинился в этом смысле жене, то явно не без тайной мысли переложить на нее нравственную ответственность за свое решение прекратить финансовую помощь реабилитированным. Тут, как оказалось, много сделал также и Висовин, написавший журналисту письмо, в котором просил более не присылать ему денег, и, возможно, даже позволивший себе намеки относительно истинных целей, на которые эти деньги употребляются. Подробностей мы, конечно, в тот момент, стоя в передней, не знали, но в общих чертах даже и я некий поворот в отношении к нам журналиста осознал. Тем более, не сомневаюсь, засек его и Щусев.

— А вот и вы,— сказал Щусев и, буквально оттолкнув домработницу, прошел в глубь квартиры к журналисту.

Как выяснилось (вообще многое почерпнуто потом из рассказов самого действующего лица либо его близких и мной переработано), итак, как выяснилось, в последнее время, с новым поворотом от долга к анализу и созерцанию, журналист редко бывал добр и растерян перед напором, как прежде, а чаще остр и насмешлив, однако болезнь Коли выбила его из колеи и в какой-то степени напомнила о долге и ошибках. Так что Щусева, после того как обман не удался, журналист встретил доброй, растерянной, задумчивой улыбкой, почти такой же, какой он ответил в свое время на пощечину Висовина. Эта улыбка (пассивная улыбка, чем она резко отличалась от циничной активной улыбки после третьей пощечины), эта улыбка была последним, что я увидел, ибо домработница Клава, очевидно по простоте своего сознания, в сложившейся ситуации прежде всего рассудила, что с одним будет справиться легче, чем с двумя, и, воспользовавшись моей нерешительной позой на пороге у открытой двери, вдруг сильно схватила меня привычными к физическому труду руками и при этом, не стесняясь, прижалась ко мне своей довольно упругой грудью деревенской бабы. Я не успел ничего сообразить, как от сильного мужского толчка оказался на площадке. Дверь передо мной захлопнулась, и мы со Щусевым были таким образом отрезаны друг от друга. Первоначально я растерялся и хотел даже уйти, но все-таки потоптался еще минуту-другую у двери, и весьма кстати, ибо дверь вскоре распахнулась, и я увидел женщину, которая наглядно

демонстрировала, как годы и страдания могут впоследствии видоизменить Машу.

Вообще, когда дочь похожа на мать (это была Рита Михайловна), когда обе они красивы, но красота матери уже тронута временем и обстоятельствами, это весьма пугает, особенно влюбленного в дочь мечтателя и романтика, каковым я был. Я увидел еще густые Машины волосы, но искусственного, безукоризненной черноты, цвета, явно крашенные (Рита Михайловна носила длинную и, как она считала, молодящую ее прическу), прекрасную лебединую Машину шею, сохранившую форму, очевидно, от многочисленных втираний кремов, но от этих же втираний приобретающую нездоровый сальный блеск кожи, я увидел осевшую книзу Машину фигуру на оплывших, явно больных ногах, воспаленные, усталые голубые Машины глаза и крупный Машин рот, единственная мужская деталь на Машином лице, придающая нежной ее женственности активное начало, однако, в данном случае, полный нездоровых прокуренных зубов с двумя или тремя золотыми, чего у Маши не было вовсе. И я вдруг понял в этот момент, что вновь жестоко обманут и Маша как венец, как конечный этап моей жизни не стоит перенесенных мною страданий. Я не то чтобы разлюбил Машу (даже и Рита Михайловна по-прежнему впечатляла, ибо была все-таки весьма красива), я не разлюбил Машу, но я снизил ставку, и я понял, что Маша не венец, а лишь этап на пути к венцу. Все эти мысли, разумеется не в таких подробностях, пронеслись мгновенно, пока я стоял перед вновь открывшейся дверью.

— Входите,— сказала Рита Михайловна, с горечью и неприязнью посмотрев на меня — она, очевидно, открыла дверь по настоянию Щусева. (Голос у нее был явно Машин, без всякого налета, может, чуть-чуть ниже из-за никотина. И у меня, несмотря на разочарование, забилося сердце.)— Только тише,— сказала она, когда я шагнул в прихожую, причем и сама снизила голос до шепота,— у меня болен сын, он не спал всю ночь, лишь недавно заснул,— при этом она посмотрела и на меня, и на Щусева, и, кажется, даже на журналиста со злобой.

Все по-прежнему были на том же месте и, мне показалось, в тех позах, в каких я видел их до того, как домработница меня вытолкнула. Но они явно о чем-то столковались и пришли к компромиссному решению, ибо Щусев на замечание Риты Михайловны сказал шепотом:

— Хорошо, и это ваше условие мы принимаем.

Значит, сообразил я, были приняты и другие условия Риты Михайловны. (Ибо конечно же она, а не журналист, была

главной стороной в переговорах.) А также приняты условия и Щусева. (В частности, впустить меня.)

Мы прошли в кабинет журналиста, кабинет, который меня ошеломил. Все здесь было вкус и богатство, но богатство изобретательное, до которого иному, дай и миллион, не достигнуть. Я оглядывался и вбирал все в себя. Так вот что существовало на свете, пока я в ничтожестве боролся за койко-место. Это мягкая белая медвежья шкура на полу, старинная тяжелая дворянская мебель, а не полированный модерн, но в углу новейшего типа торшер... Книжки вокруг до потолка... Бронза... На стене Пушкин, а не Хемингуэй, но две картины в золоченых рамах явно в стиле сюрреализма (как выяснилось потом — Пикассо), а, конечно, не социалистического реализма и даже не критического реализма. Вот оно, сочетание. Вот он, высший ряд... Но одновременно я понял также, что люди, живущие среди всего этого и всего этого достигшие, не способны всем этим распорядиться в полной мере, и более того, создается впечатление, измучены всем этим. Так думал я, усаживаясь осторожно в роскошное кресло (я сидел в таком кресле впервые). Журналист тоже опустился в кресло, безразлично, скучно и без всякого аппетита. (Эти люди утратили вкус к жизни и к роскоши, а у меня еще сохранились нетронутыми целые пласты наслаждений, которые предстоит познать.) Щусев также ткнулся в кресло безразлично, правда, крайне сосредоточенный наверное на своем плане борьбы с журналистом. (Вернее, с Ритой Михайловной.) И все-таки его план это не мой план. Пока мне еще трудно со Щусевым бороться, тем более действия его пока мне на пользу, разумеется, до известных пределов. Я один. У меня нет никакой опоры. Какая прекрасная опора эта семья. Пять комнат, запах прочности и власти, исходящий от старинной бронзы и современных картин. Мысли о Маше, которые владели мной, когда я увидел похожую на нее мать, даже и на пользу, как я теперь понимаю, ибо они делают Машу не венцом, а этапом... Но меня ненавидят здесь все, кроме, пожалуй, Коли... Хотя кто знает, что с ним, после того, как он оказался запертым... Наверное, ему дали снотворное, иначе бы он среагировал на наш приход...

Так, несколько растрепанно мысля, погруженный в себя, я пропустил начало противоборства. Правда, вел противоборство Щусев, я-то здесь был сбоку припеку, еще не понимая, зачем он меня взял.

— Значит, вы отказываетесь направлять нужные суммы? — говорил Щусев.

Очевидно, этот вопрос он задал во второй или в третий раз, ибо журналист сказал:

— Если вы хотите переломить меня монотонностью вопроса, то вряд ли это удастся. И признаюсь, я вас переоценил. Вы удивительно ничтожная личность, и мне даже жалко, что я буду участвовать в общем показательном судебном процессе, если ваш шантаж увенчается успехом... Разумеется, в качестве свидетеля, но и того достаточно. Вы шантажируете меня тем, что покажете корешки почтовых переводов прошлых сумм, следовательно, докажете мое участие в вашем хулиганстве... И этим вы думаете меня запугать? — журналист хотнул коротко и небрежно.

Ах, вот до какой остроты дошел разговор, пока я разглядывал мебель и вообще был сосредоточен на своем. Лицо журналиста выглядело теперь жестко, даже жестоко, причем, пожалуй, к себе и к своей семье, ибо я знал, что со Щусевым так говорить не следует. Это человек опасный и смертельно больной. Я видел, что даже и Рите Михайловне такой поворот в журналисте (ох, как часты, буквально ежеминутны были в этом человеке повороты), даже и Рите Михайловне, нашей главной противнице, такой поворот не понравился, и она, по-моему, помимо всего усмотрела еще и вызов себе и противоборство ее опеке, которая журналисту начала надоедать.

— Сколько вам надо денег? — быстро спросила она Щусева.

— Деньги нужны не мне, а России.

Я понял, что он на грани и колеблется между желанием примириться или сделать в противоборстве следующий ход. Но тут журналист, которым овладело капризно-злое состояние, главным образом на себя и на свою прошлую покорность (это чувство мне знакомо), торопливо спросил, чтоб не дать Щусеву вернуться к покою и миру:

— Скажите, вы не родственник архитектора Щусева, строившего мавзолей Ленина?

В принципе вопрос был обычен и неудивителен, но только не в данной ситуации и не в данном развитии взаимоотношений, когда дело надо было закруглять. К тому же Щусева уже наверное по этому поводу спрашивали много раз.

— Нет, — начиная даже слегка дрожать, сказал Щусев с ненавистью (его прорвало). — Я другой... Меня в концлагере на ж... сажали...

Он выразился грубо, невзирая на присутствие женщины, и громко. (Весь разговор до того происходил по просьбе Риты Михайловны шепотом.)

— Замолчи,— не стесняясь нас, впрочем, поставленная в крайнее положение, прикрикнула на мужа Рита Михайловна.

— А мне надоело,— тоже выйдя из пределов, выкрикнул журналист,— разумеется, я совершил много непродуманных поступков в сталинские времена...

— Жертвам, на которых вы доносили...— перебил Щусев,— было безразлично, продуманы ваши поступки или нет.

— Я не доносил,— сказал журналист также с ненавистью, которая крайне не шла к его доброму лицу и делала это лицо даже в чем-то пугающим. Есть лица, к которым ненависть просто не лепится.— Я не доносил...— повторил журналист,— ибо в сталинские времена мне не на кого было доносить... Я не имел тогда дела с мерзавцами... И пожалуйста, прекратите здесь употреблять грубые слова... При женщине...

— А, вы о ж...— сказал Щусев,— я поясню... Сажать на ж... это скорее условный термин... лагерный... Это значит взять провинившегося заключенного за руки и ноги, сильно его растянуть и одновременно по команде отпустить. Он ударяется о землю сразу и часто не имеет при этом внешних повреждений, но внутренности его приходят в негодность... Особенно в этом смысле страдают легкие... После трех сажаний кровотечение неизбежно...

Мне кажется, Щусев говорил сейчас с искренней горечью и злобой, даже потеряв нить противоборства. Он безусловно имел в запасе какие-то ходы против журналиста, ведь недавно же он взял и меня с собой. В чем-то он и меня намеревался использовать. Но поведение журналиста (оно было для Щусева пово и неожиданно), но поведение потянуло весь разговор не туда, а его искренность при воспоминании о пытке помешала ему довести дело до конца и прибрать вновь журналиста к рукам. Причем лучше всего было бы, если б журналист вел свою циничную линию, тут-то его и можно было подловить, и тут-то, я отметил это для себя, и тут-то сказались недостатки Щусева, его уличная грубость методов. Впрочем, его действительно трогали за больное, а это всегда мешает тонкости и противоборству. То, что журналист после слов Щусева утратил свой цинизм, было в конечном итоге нам во вред, ибо он как-то сник, потерялся после всплеска, и инициативу явно опять брала Рита Михайловна.

— Сколько?— спросила она.— И быстрее уходите, мы ждем врача к сыну...

— Вот как,— посмотрел на нее Щусев,— нам не нужны

единовременные пособия на бедность... Нам не нужны еврейские деньги... Еврейский пластырь на русские раны...

Щусева явно заносило.

— Во-первых, мы не евреи,— вспыхнув, сказала Рита Михайловна,— а даже если бы и были евреи, какая разница...

Я видел, как она глянула на журналиста, а он на нее... Я видел, как этим людям неловко друг перед другом за все, что сейчас происходило, о чем они говорят и в чем они принимают участие.

— А что же вам нужно?— устало сказал журналист.

— Во-первых, вы должны извиниться за нанесенное мне и моему товарищу оскорбление,— сказал Щусев.

— Хорошо,— сказал журналист,— извините, пожалуйста... Ну, а во-вторых... Во-вторых, поскольку я понимаю,— он полез в ящик стола и вынул хрустящую пачку денег, закрепленную резинкой и, очевидно, приготовленную для каких-то домашних нужд,— вот возьмите... Только уходите побыстрее...

Наступила пауза. Я понимал затруднение Щусева, ибо он, выразившись о еврейских деньгах, ныне не знал, как повернуть и не упустить этой жирной дотации. И я впервые за все время нашего посещения принял инициативу на себя, встал с кресла, подошел к столу и взял деньги из протянутой руки журналиста. Своим поступком я оказал услугу как Щусеву, так и журналисту, который стоял неловко с протянутой вперед рукой. Более того, в действиях моих не было ничего истеричного, чем отличался в этот раз Щусев. (Правда, напоминаю, он был после припадка.) Мне самому понравилось, как я подошел, взял деньги и положил их в карман пиджака. Сказать по-честному, я хотел понравиться этим людям или, в крайнем случае, показать им, что я нечто иное, чем Щусев. И действительно, журналист посмотрел на меня внимательно и сказал:

— Ваша фамилия не Цвибышев?

— Да,— ответил я польщенный.

— О вас мне много говорил Коля,— сказал журналист.— Вы бы зашли как-нибудь... Тут еще один человек вами интересуется... Рита, это ведь Цвибышев...

Подобное уже было вовсе неожиданно. Я понимал, что в дело сейчас вступит Щусев. Такой странный поворот в моих отношениях с семьей журналиста его безусловно не устраивал. И, действительно, Щусев тут же перебил раздраженно:

— Нам пора...

Я соображал, какое избрать продолжение. Решать надо было мгновенно. Однако мне так ничего и не удалось придум-

мать. И тут вновь ко мне на помощь пришло провидение, причем с самой неожиданной стороны. Вдруг на пороге кабинета явился Висовин (очевидно, Маша открыла дверь своим ключом, вот почему неожиданно и без звонка), явился Висовин, вокруг которого, мне подумалось, и хотел строить свое противоборство с журналистом Щусев, но разговор неожиданно отклонился в другую сторону.

Висовин оглядел всех, растерявшихся от его внезапного появления, потом молча подошел к Щусеву, схватил его за горло и легко, поскольку Щусев был все-таки ослаблен утренним припадком, легко повалил на пол, на богатую шкуру белого медведя. Во время этого дикого происшествия я находился до того в парализованном, застывшем и отрешенном состоянии, что отметил мягкую шкуру медведя, на которую повалили Щусева, как комический момент. В остальном же все приняло очень серьезный оборот, ибо Висовин, воспользовавшись нашим замешательством, так сдавил горло Щусева, что у него посинело лицо и хлынула изо рта кровь. (Напоминаю, он был болен легкими, отбитыми в концлагере.) Остальное замелькало, зарябило, и, как всегда во время неожиданного скандала крайнего толка, как во сне, где все может случиться и нет ничего недозволенного, я увидел Машу не то что с побледневшим, но совершенно обескровленным лицом, Машу, которая странно как-то вращалась вокруг своей оси, отгалкивая мать, во рту которой блестели золотые зубы, и журналиста, который в первое мгновение бросился вон из кабинета, то ли позвать кого-то, то ли просто убежать, и при этом, второпях споткнувшись, он ударился своей всемирно известной седой головой об угол золоченой рамы сюрреалистической картины. А Висовин между тем продолжал душище Щусева, и даже уж не совсем на эмоции, но с проблесками расчета и разума, ибо уперся коленом Щусеву в грудь, помогая себе. К счастью, в кабинет ворвалась домработница, натура простая, и она без излишних подсознательных действий навалилась всем своим тяжелым упитанным телом, тяжелыми грудями своими на спину Висовину. Гикнув, как делает простой человек перед тем, как употребить решающее усилие, она разом оторвала Висовина от Щусева, причем как-то боком, так что левая рука Висовина вовсе освободила горло Щусева, правая же касалась горла концами пальцев и жадно тянулась к этому горлу. Я видел, что лицо Клавы покраснело от усилий, и в решающий момент я пришел ей на помощь, захватил и убрал окончательно эту правую руку Висовина от горла Щусева, лежавшего без сознания с мокрыми от яркой легочной крови губами. Несколько пятен крови было

и на полу, но пролилось на паркет мимо шкуры белого медведя, лишь чуть-чуть забрызгав ее с краю.

Пока мы с Клавой проделывали все эти манипуляции, хозяйка из кабинета исчезла, и весьма кстати, так как освободилось пространство, необходимое для маневра. Висовин, бывший десантник, вдруг применил подсечку, и Клава тяжело рухнула на пол, меня же Висовин отбросил и снова протянул руки, жадно, в самозабвении устремился к горлу лежавшего без сознания Щусева, дабы закончить начатое. Но я успел вцепиться Висовину в рубашку, лопнувшую с треском, и все-таки придержал его. К тому времени поднялась Клава и вновь бросилась грудями на спину Висовина, силы которого явно иссякали от усталости и эмоциональной затраты. Он и сам осознал, что вторично ему приема не повторить, и потому, когда мы волокли его, сказал прерывающимся голосом:

— Гоша, его надо убить... Прошу тебя... Я на себя возьму... Вы ни при чем... Сколько он еще напортит живой... Это стукач... Он всех обманывает... Он и тех обманывает...

Клава волокла Висовина к двери, а я повторял все ее движения. Подбежала Рита Михайловна. (Маша, как выяснилось, была заперта в ванной комнате, и Рита Михайловна, таким образом, освободилась.) Дверные замки были отперты, и мы втроем выбросили Висовина на площадку. На площадке было много народу, привлеченного шумом, по виду все люди зажиточные, соседи из богатых квартир. В ушах моих повторялся монотонный гулкий звук: уау-уау-уау... Я видел, что Висовин в разорванной мною рубашке побежал вниз, увернувшись от чьих-то рук, которые хотели его задержать, впрочем, проделав это довольно вяло. Вот он скрылся за лестничным поворотом, и все. Я почему-то подумал, что вижу его в последний раз. (Я ошибся. Он появился опять в моей жизни, но уж гораздо позднее.) Впрочем, на подобные лирические отступления времени у меня не было. Надо было осознать новую ситуацию, внезапно сложившуюся, и мое место в ней. Когда я вернулся в кабинет, Щусев, очень слабый, поникший, с исцарапанной в кровь ногтями Висовина шеей, сидел на диване, куда, очевидно, помог ему забраться журналист. Сам журналист, тоже мятый и подавленный, сидел «у себя», то есть за огромным красного дерева «творческим» столом, и молчал. Вскоре в комнату вошла Рита Михайловна и Маша, которая наконец выпущена была из ванной.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Случившееся настолько напоминало ночной кошмар, что мы все имели лица более удивленные, чем испуганные, причем каждый удивлялся другому и, кажется, даже оглядывал с недоверием, не понимая, все ли это доподлинно произошло в действительности. Себя я со стороны не видел, но у всех этих людей, мне кажется, на мгновение взгляд был одинаковый, свойственный оглушенным и ищущим в окружении каких-либо привычных ориентиров, чтобы сознание, уцепившись за них, вновь ожило. И ориентир этот явился в лице незаменимой в таких интеллектуально усталых семьях, примитивной Клавы, которая, войдя в кабинет, начала деловито подбирать осколки вазы дорогого фарфора.

— Надо бы в милицию,— сказала сердито Клава, прихрамывая, ибо в борьбе Висовин ушиб ей бедро и ногу,— дрянь хрущевская... Евреи недорезанные... Жаль, что вас Сталин не дорезал...

— Ну что ты такое говоришь, Клава?— слабым голосом сказала Рита Михайловна.— Какие они евреи?.. Да и при чем тут евреи?..

— А все эти реабилитированные евреи,— сказала Клава.

— Ее надо было давно рассчитать,— вспыхнула Маша, отчего бледные щеки ее порозовели, и вообще она, кажется, приходила в себя,— эту сталинскую стерву...

— Да, сталинская,— независимо сказала Клава,— я сталинская...

— Хватит, Клава,— строго оборвала Рита Михайловна,— и ты помолчи,— обернулась она к дочери,— ты что натворила?.. Я теперь только начинаю понимать, что ты натворила... Чтоб этого Висовина и духу не было...

— Правильно он сделал,— сказала со злобой Маша, и злоба эта вовсе ее укрепила, так что она даже встала,— я, конечно, не ждала, чтоб он за горло... Но правильно... Это стукач... Хватит с меня семейных работников КГБ,— и она кивнула на Щусева, который продолжал сидеть с истерзанной шеей, склонив голову к плечу, то ли измученный настолько, что не реагировал, то ли (он, кстати, тоже несколько порозовел), то ли соображая, как действовать далее. (Я тоже был этим озабочен, потому и молчал.)

— Маша,— крикнул дочери журналист,— подумай, о чем ты говоришь... В наших уваженных протестом недрах зреют такие силы, что выявление их есть благо, а не позор.

— Вот как ты заговорил,— вспыхнула Маша.— Я тебя за-

щищала, а видно, Коля прав... Ты, русский интеллигент, смеешь восхвалять донос...

— Я говорю не о доносе, а о предотвращении готовящихся преступлений... Всякое государство имеет органы безопасности...

— Тише,— прервала Рита Михайловна,— кажется, Коля проснулся...— (Я не знал еще тогда, то ли ей действительно почудилось, то ли она сказала специально, чтоб прервать разговор, принявший весьма опасный характер).— У Коли,— продолжала она, убедившись, что Коля не проснулся,— у Коли сегодня первый день лечения сном... Какое счастье, что этот скандал он попросту проспал... И вот что, Клава,— обернулась Рита Михайловна к домработнице,— никаких разговоров, никакой милиции. Мы вызовем такси, и они сейчас уедут. Соседям скажи— был скандал... Дети нахулиганили... Без подробностей, которые, я надеюсь, никому невыгодны,— она глянула на Щусева, который все еще сидел устало, с запекшейся на губах кровью...

Журналист также обратил, казалось, лишь сейчас внимание на кровь.

— У вас частые кровотечения?— спросил он Щусева.

— У меня отбиты легкие,— ответил тот слабо,— но я еще поживу.— И тут голос его окреп.— Этот любовник вашей дочери,— он с ненавистью обернулся к Маше,— ваш любовник меня не переживет... Считайте, что он уже подох в психиатричке... Пойдем, Гоша,— и употребив усилие, Щусев встал, опершись мне о плечо.

Я понял, что, обратив внимание на кровь (собственно, кровь проступила с самого начала, как только Висовин начал душить Щусева, но события так завертелись, что журналист, а вместе с ним и остальные, лишь придя в себя, понастоящему поняли, что Щусев больной и страдающий человек), так вот, обратив внимание на это, журналист, человек в основе своей все-таки мягкий и добрый, смягчил свое противоборство со Щусевым. Однако, как я понял, Щусеву это было невыгодно, ибо весь свой расчет он строил на пределе и все его действия носили острый завершающий порядок. Вот в этом мне с ним было не по пути, ибо я лишь начинал. Фраза, брошенная Маше и журналисту, насчет того, что Маша любовница Висовина, была умышленно оскорбительная. Но, опершись после этой фразы мне на плечо, Щусев как бы и меня приобщал к своей открыто объявленной семье журналиста войне. Нет, у меня был иной расчет, и я, решившись, освободил свое плечо от руки Щусева. Он едва не потерял равновесия, ибо был еще крайне слаб, и, не нанеси Щусев такого

страшного, умышленного оскорбления этой семье, я жестом своим, оставившим без опоры больного человека, конечно бы, проиграл в их глазах, ибо они были воспитаны на гуманной морали. Тем не менее я пошел на риск, зная, что Щусев своими оскорблениями помог мне оставить его и начать самостоятельные отношения с этой семьей.

— Ты не прав, Платон,— сказал я,— и обязан сейчас извиниться...— Я сказал ему, во-первых, «Платон», а во-вторых, «ты», чтоб показать публично мое равенство. Сейчас я неожиданно мог взять реванш за неудачу мою во время утреннего разговора со Щусевым, когда он одержал надо мной верх.— Уверен,— добавил я,— что отношения Маши с Висовиным были чисты.

Тут я перегнул в хитрости, ибо Маша сразу крикнула нервно, причем отыграв на мне весь свой гнев (в адрес открытого оскорбления Щусева она промолчала):

— Я не прошу вас своими пошлостями защищать меня!— крикнула Маша.

— Не кричи,— оборвала ее Рита Михайловна.

Это уже окрик в мою пользу. Если б еще Щусев оскорбил меня, а у него были основания, то это могло мне крайне помочь в моих отношениях с этой семьей. Но Щусев словно почувствовал мое желание, обернулся осторожно (быстрые и резкие движения явно причиняли ему боль) и сказал мне, кажется, едва заметно улыбнувшись:

— Попробуй, попробуй, Гоша, может, что и получится... Все бывает...— и пошел далее, осторожно и экономно неся себя и делая частые остановки. Дышал он тяжело, хоть и старался улыбаться.

— Ему надо все-таки помочь,— невольно вырвалось у журналиста,— вызвать такси... И деньги... Передайте ему деньги, которые он взял у нас для устройства судьбы России,— в этом месте журналист не удержался и ввел в свою искренность, в жалость к избитому и больному— сатирический мотив, на который Щусев никак не реагировал, видно, сосредоточенный на своем.

— Деньги сейчас не надо,— сказала Рита Михайловна,— тут Висовин внизу может ждать его и отнимет.

— Мама, не смей так о Христофоре,— крикнула Маша,— он не ради денег.

— Да и ему мы немало денежных переводов отправили,— сказала Рита Михайловна,— а за что? В те годы тюрьма была потерей. И вообще, в период борьбы за свою независимость Россия никогда не жила законом, ибо закон противоречит силе, нужной для борьбы.— Рита Михайловна, оказывается,

тоже не чужда политических мыслей, отметил я про себя.— Да, да,— продолжала она,— требовать за свои страдания денег так же пошло, как инвалиду выставлять культяпки.

— Мама, перестань,— снова крикнула Маша.

Щусев, который между тем медленно, тяжело дыша, продвигался к двери, остановился на пороге и вдруг сказал, обернувшись:

— Знаете, как в деревнях мужики выпаривают кипятком из пропотевших своих рубах вшей?.. Вот так же вас выпарит Россия... Выпарит, а потом отстирает рубашку от вашей жидовской вшивой крови...— и он шагнул в открытые перед ним Клавой двери, все так же тяжело, порывисто дыша. Дверь хлопнулась.

Несмотря на то что скандал был самого дикого свойства, все мы были ошеломлены, причем, главным образом, тоном Щусева. От слов этого смертельно больного человека веяло не нервами и страстью, а застывшим холодом, поднявшимся с самого основания, с низов, откуда все начинается, но редко достигает поверхности в первоначальном виде, переходя от этапа к этапу и преобразуясь. Это была ненависть, которую и я, наслушавшись Щусева, ощутил впервые. Это была первородная идеология какой-то тяжелой, лежащей в основании силы, до конца неясной даже тем, кто к этой силе принадлежит. И мне показалось, что эта сила давила снизу с пугающей повелительностью, которую нельзя было не учитывать тем, кто когда-либо возглавлял Россию... Это была та биологическая слизь, из которой все рождалось и развивалось и, едва родившись, старалось подальше отделиться от своей вызывающей брезгливость основы и быть наименее на нее похожей... Но иногда общественные течения переходного периода, когда все взвинчено и взбаламучено, выносят куски этой слизи наверх, и тогда все чувствуют ее силу, и ее влияние, и свое от нее происхождение. Одни со страхом встречают куски этой первородной слизи, а другие, особенно запутавшиеся в многоклеточном своем организме,— с радостью, как простой, ясный выход к своему источнику и началу... Исторической судьбе угодно было, чтоб чаще всего, особенно в славяно-германском котле, первородная слизь эта, вынесенная в бурные времена наверх, принимала форму искренней антисемитской страсти. Так и со Щусевым, подведшим ясный для себя итог того путаного, что здесь произошло. Слабая многоклеточная жизнь так ненавидеть не способна. Так ненавидит сама цельная ясная смерть, таящаяся в изначальном одноклеточном зародыше.

Ситуация после яростного ухода избитого, едва не задум-

шенного Щусева складывалась со многими неизвестными. Во-первых, каковы отношения Маши с Висовиным? Так ли она его любит и так ли «в огонь и в воду»?.. Вслед за ним она не побежала, когда после того, как его выбросили вон, ее выпустили из ванной, а лишь защищала его словесно. Впрочем, судя по всему, она в то же время не могла простить ему крайних безрассудных действий и попытки совершить убийство в доме ее родителей, вместо того, как они, очевидно, договорились, чтоб просто по-рыцарски выбросить Щусева из квартиры. Помимо всего прочего, этим поступком он завоевал бы симпатию родителей, особенно отца. Мать-то все равно была бы против их женитьбы, но уж не так категорично. Однако, отдавшись порыву ярости при виде Щусева или в соответствии с планом (напоминаю, Висовин предлагал мне помочь ему в ликвидации Щусева, но затем перевел это в шутку), итак, Висовин пошел на крайность и все испортил. Я восставил для себя направление Машиных мыслей и, должен сказать, примерно оказался где-то около истины, как выяснилось впоследствии. Далее — неизвестно было отношение ко мне Риты Михайловны, особенно после намеков журналиста о некоем разговоре с Колей... Коля... Вот направление... Я решил не заниматься всем комплексом отношений, тем более пауза уж чересчур затягивалась.

Маша, глянув на меня с неприязнью, сразу же вышла. (Машу я как будто пока «подсчитал» и понял. На время Машу следует только учитывать как фактор отрицательный, но не более того.) На меня смотрели журналист и Рита Михайловна, да и сам я понимал двусмысленность своего положения. Ворвался я сюда насильно, вместе со Щусевым и в качестве вымогателя. Правда, после того произошел целый комплекс разнообразных действий, но каков итог после общего сложения и вычитания, я не осознавал. Впрочем, эти люди и сами не подвели, очевидно, итога, потому и смотрели на меня молча. «Коля,—подумал я опять,—вести в дело Колю».

— А что с Колей?—спросил я.—Как он себя чувствует?

Фраза на первый взгляд обыденная и банальная, но в моем положении «на острие бритвы» я считаю, что прозрение помогло мне ее найти. Недаром этой фразе предшествовала напряженная умственная работа. Я с волнением ждал продолжения. Чем ответят? Не укажут ли попросту на дверь?

— Коля серьезно болен,—ответила мне Рита Михайловна.

Я облегченно вздохнул. Нет, так не отвечают, когда хотят рубить сплеча, то есть попросту выгнать. Конечно, даже до элементарного доверия еще далеко, по тем не менее намеча-

лось если не доверие, то хотя бы разговор. И точно, Рита Михайловна встала и сказала мне:

— Простите, Гоша... Кажется, так?

Подобная фамильярность этой женщины совсем обрадовала меня.

— Да,— ответил я.— Вообще-то меня Григорий зовут, а «Гоша» это скорее Георгий... Но вот привык я—Гоша и Гоша...

И данное продолжение было правильно. После всех крайностей, после животных страстей и вздыбленности чувств такая неловкость и путаность выражений с моей стороны, которая явилась сама собой, экспромтом, действовала в мою пользу и успокаивала этих людей.

— Я хотела бы с вами поговорить,— сказала Рита Михайловна.— Мы пойдем ко мне,— обернулась она к мужу.— Позвони все-таки Соловьеву... У тебя болен сын, а твой друг, врач, доцент, светило, ведет себя как непорядочная свинья. (Это было сказано резко и при мне, что меня обрадовало, поскольку невольно вписывало меня в круг внутренних, интимных семейных отношений.)

— Может быть, его срочно вызвали в Кремлевку,— сказал журналист.

— Хоть позвонил бы,— сказала Рита Михайловна,— а может, и к лучшему... Мне кажется, я была несправедлива к рядовому врачу... Всякие эти светила...— и она небрежно махнула рукой.— Пойдемте, Гоша...

Мы прошли коридором, потом роскошной комнатой со старинным буфетом во всю стену, очевидно, здесь была столовая, и вошли в небольшую, изящно обставленную комнатушку с кремовыми обоями. Это была супружеская спальня хозяев, но по неким весьма разнообразным и часто даже трудно осознаваемым признакам первое, о чем я подумал, войдя сюда, это то, что журналист давно уже здесь не ночует, а спит в своем кабинете на диване. Ну, во-первых, потому, что Рита Михайловна сказала:

— Я пойду к себе...

Это понятно и на поверхности. Но были и иные, едва заметные на первый взгляд признаки того, что Рита Михайловна иногда очень тонко и по-светски осторожно изменяет мужу. Да, именно так развивалась моя мысль, пока я оглядывал спальню. На стене висела большая фронтальная фотография молодого журналиста с очень мужским веселым ясным лицом сталинского периода, сильно отличающимся от нынешнего помятого интеллектуального лица, явно получающего главные наслаждения не от тела, а от духа и раздумий. Я впе-

рвые был наедине с настоящей светской женщиной, и здесь, в полумраке, при опущенных на окнах шторах, она чрезвычайно похожа была на свою дочь, но без той жесткой недоступности, которая разжигает баловней судьбы и пресыщенных, меня же, наоборот, отпугивает. Мысли мои пошли было еще дальше, но я тут же опомнился и остановил себя, поглядев даже с тревогой, не заметила ли чего Рита Михайловна. Но она села на мягкий пуфик как будто бы нейтрально и безразлично к новому направлению во мне. Я сел на такой же пуфик, несколько от Риты Михайловны поодаль, дабы окончательно подавить это направление.

— Расскажите мне о себе,— сказала Рита Михайловна.

Я позволил себе подумать предварительно не более минуты, но мне кажется, что план своего рассказа выработал достаточно точно. Я решил в основу своего рассказа положить правду, лишь умышленно усиливая или ослабляя отдельные моменты и иногда допуская искажения. (В частности, о моем знакомстве со Щусевым.) Говорил я недолго, минут двадцать, и здесь тоже был расчет — не утомить Риту Михайловну, отчего у нее невольно может возникнуть неприятное, а следовательно, подозрительное отношение ко мне. Я рассказал о своей жизни в общежитии, о своем раннем сиротстве, но о борьбе за койко-место говорить не стал, ибо считал, что это меня унижит, а сообщил лишь, что реабилитация дала мне крайне мало, в своих надеждах я разочаровался, и тут появился Щусев со своими предложениями и обещаниями. Я поверил и втянулся во все эти дела... Вот примерно в таком духе, достаточно сдержанно, я все изложил.

— Гоша,— сказала мне Рита Михайловна,— ничего, что я вас так называю?

— Пожалуйста, пожалуйста,— сказал я, чувствуя, что рассказ мой удачен и произвел хорошее впечатление.

— Гоша,— повторила Рита Михайловна,— я поняла, что Коля увлечен вами и доверяет вам. Он очень преданный и добрый мальчик, но в силу ряда причин ему нужен мужской авторитет, которому он мог бы верить... Я буду с вами совсем уж откровенна... Подобное происходит оттого, что отец его не занял в достаточной мере этого места... Ах, все это очень сложно, и вам не понять... Тем более отца он любит, да и отец его очень любит... Но обстоятельства, специфика нашей семьи, раннее приобщение Коли к политическим спорам, ко всякого рода книгам и толкованиям... Потом время... Время, крайне неудачное для подобных мальчиков... не удивительно, что он попал под влияние этого Щусева... Тут еще Ятлин какой-то был, но с Ятлиным, слава богу, он теперь не

встречается... Я не стану спрашивать подробностей последнего похождения, когда он вернулся весь истерзанный... Вероятно, какая-нибудь уличная драка... (Представляю, подумал я про себя, что бы с ней было, если бы она узнала, что ее Коля участвовал в нападении на бывшего министра иностранных дел Молотова... Не более не менее.) Короче, я хотела бы вам предложить погостить у нас, побыть рядом с Колей... Учитывая ваше на него влияние и учитывая, что вы осознали ошибочность и опасность взаимоотношений со Щусевым... Нас Коля не признает... Мы с отцом так устали...

Такое можно было придумать только «по щучьему велению». Разумеется, я согласился, допустив, правда, здесь ошибку в том смысле, что согласился чересчур поспешно и не скрывая радости от подобного оборота. Но и Рита Михайловна была настолько удовлетворена, что не заметила этого моего промаха.

— Сейчас погуляйте,— сказала Рита Михайловна,— вы, надеюсь, не обижаетесь, что я вам предлагаю сейчас уйти... Я не гоню вас, но нам надо тут кое-что решить семейно... А к обеду возвращайтесь. Позвоните три раза, потом еще два...

Таков был разговор, открывший мне дорогу в эту семью. Вернувшись к обеду (не чувствуя усталости, я гулял по бульвару, обдумывая ситуацию), вернувшись, я отметил, что чрезвычайного ничего не произошло и приглашение Риты Михайловны погостить было встречено, как и следовало ожидать, Машей — враждебно, журналистом — с неким странным любопытством (он вообще ко мне приглядывался), а Коля за обедом вовсе отсутствовал. Обед был вкусен, но мучителен, ибо Маша, как я понял, решила именно сейчас дать мне первый бой. Человек тщеславный бывает одновременно весьма стеснителен, ибо дорожит посторонним мнением, и вот это Маша поняла. С супом я справился довольно прилично, зачерпывая его осторожно тяжелой ложкой старинного серебра. Правда, дабы с ложки не пропадали ароматные, пряные капли супа, пока я нес ложку от тарелки ко рту, я употребил кусочек хлеба, неся его следом за ложкой снизу и принимая эти капли на хлеб. Но, поймав взгляд, который бросила Маша журналисту, тут же опомнился, кусочек хлеба проглотил и в дальнейшем, зачерпнув суп, подолгу держал ложку над тарелкой, дабы все капли стекли назад. В результате все уже есть закончили, а я все еще хлебал суп и не нашел ничего лучшего, как отодвинуть недоеденную тарелку этого первого в моей жизни богатого супа. На второе Клава подала огромное блюдо дымящегося, сильно наперченного мяса, обложенного жареной картошкой. Каждому следовало взять себе «по

аппетиту». После недоеденного супа я остался голоден, а тут, при виде жаркого, у меня и вовсе больно заныл желудок. «Лучше бы разделяли на порции,— подумал я,— а то как тут решить... Вот тот, с прожилками, красавец кусок... Потянуться к нему, пожалуй, неудобно... Для этого надо миновать небольшой сухой кусочек с костью, лежащий на краю блюда и пригоревший... Клава, наверное, и поставила блюдо так, чтобы этот кусок мне достался. Конечно, и он аппетитный, и я такое едал редко. Но ни в какое сравнение, решительно ни в какое не идет он с тем красавцем, даже на вид мягким, пахучим и — точно темный мрамор — разделенным светлыми прожилками...» Так, ошеломленный богатыми мясными кусками, я на какое-то время потерял собранность и забылся. Более того, вокруг этих кусков я и сосредоточил свои душевные силы, и если в прежние времена в подобной ситуации я довольствовался бы пригорелым куском, то сейчас я решил и ткнул вилку в красавца с прожилками, понес его через стол и положил себе в тарелку. И тут же поднял глаза. Оказывается, за мной наблюдали. Маша — с раздраженной усмешкой, журналист — с внимательным, но не могу сказать враждебным любопытством, а Рита Михайловна — с беспокойством. У каждого из них на тарелке лежал маленький аккуратный кусочек мяса, от которого они отрезали еще более маленький кусочек, совершенно игрушечный, посыпали его зеленью и проглатывали. Я взял со стоящей передо мной подставки нож с коротким и тупым лезвием и принялся резать. Я знал, что это опасная для меня операция, ибо раза два уже оконфузился таким образом, причем в домах менее аристократических. То ли я недостаточно прижимал кусок вилкой, то ли слишком резко дергал ножом. «Спокойнее,— сказал я сам себе,— вилку погружаем поглубже, прижимая левой рукой... В правую — нож...»

— Значит, Коле взяли гувернера,— с нервным весельем сказала Маша, весьма умело выбрав момент, чтобы выбить меня из колеи.

— Перестань, Маша,— сказала Рита Михайловна,— Гоша товарищ Коли... Он погостит у нас...

— Зачем вы лицемерите? — сказала Маша, отложив вилку и нож и поглядев на родителей. — После этого вы требуете от меня с Колей, чтоб мы были честными в жизни... Я еще не поняла, правда, вашей нелепой комбинации, но не сомневаюсь, она нелепа... Ну пусть Коля по молодости... Но вы, вы... Связаться с махровыми черносотенцами...

И все это говорилось при мне открыто и даже с вызовом,

причем в тот момент, когда я пытался осторожно разрезать кусок мяса, не уронив его с тарелки.

— Маша,—прикрикнул уже журналист,—веди себя тактично... Ты сильно изменилась, Маша,—добавил он тише.

— Нет, это ты изменился,—не уменьшая нервного напора, сказала Маша,—а я еще защищала тебя, когда антисталинисты тебя побили в клубе.

— Маша,—крикнула Рита Михайловна,—сейчас же уйди из-за стола... Я запрещаю тебе общаться с этим Висовиным... Это он тебя учит подобному...

— Я не оправдываю Христофора,—сказала Маша,—но я его понимаю... Честного человека гонят, а антисемита сажают за обеденный стол... И это русская интеллигенция...

— Маша!—опять крикнула Рита Михайловна и сильно хлопнула ладонью по столу. Звякнула посуда. Сорвалось с вазы и покатилось яблоко. (Клава, поскольку обед затянулся, а она куда-то спешила, успела поставить на стол десерт.)

И в тот же момент, очевидно, чисто физиологически испуганный ударом, я упустил кусок мяса, который сорвался с тарелки и шлепнулся в салат. Маша захохотала, но явно с нажимом.

— Уйди из-за стола, тебя ведь мать просит,—тихо сказал журналист,—какая ты жестокая, Маша.

Маша встала и, продолжая так же с нажимом хохотать, ушла.

Я сидел, крепко, до боли стиснув кулаки под столом и впившись ногтями в ладони. Я более не боготворил эту девушку. Я видел ее всю, до малейших деталей, глядя ей вслед, когда она уходила. Прекрасная шея ее, капризный, заносчивый поворот головы, сочные бедра... Я более не любовался ею, а в бешенстве оценивал ее тело. Я не любил ее более, а ненавидел и желал... Насилие—вот моя мечта о ней, грубо схватить и ломать... И бить при этом по щекам... Сердце мое стучало тяжело, и весь я внезапно оказался в злобной истоме.

— Примите наши извинения,—серьезно глядя на меня, сказал журналист.

— И не обращайтесь внимания,—добавила Рита Михайловна.—Сейчас пообедаем и поедем... Там вы будете одни с Колей...

— Куда поедем?—нашел я возможным спросить, несколько успокоенный извинениями журналиста и упуская из виду, что журналист, находясь в новом созерцательно-циничном качестве, весьма легко раздает извинения, ибо вообще несерьезно относится к ситуациям, возникающим от

всевозможных действий, особенно со стороны молодежи и вообще общества протеста.

— Коля ведь на даче,— сказала Рита Михайловна,— со вчерашнего дня... Мы его чуть ли не силой туда перевезли... Представляете, если б он находился в этом скандале. Я нарочно говорила, что он здесь, чтобы сбить со следа... Вот до чего мы дожили в хрущевские времена,— вздохнула она, но тут же вновь приобрела деловой вид, позвала Клаву и попросила ее вызвать из гаража машину.— Твой Соловьев уже вряд ли сегодня появится,— с упреком обернулась она к журналисту,— мы его завтра отвезем... Не станем его дожидаться, поедем... Это невропатолог,— пояснила она мне...

В этот момент раздался звонок — безусловный и долгий. Все за столом притихли, и я увидел на лице журналиста и Риты Михайловны искренний испуг. Выглянула и Маша. Эти люди действительно жили как в осаде. Рита Михайловна махнула журналисту, чтоб он шел в одну из комнат, а Клаве сделала условный жест, помахав в разные стороны рукой перед лицом. Клава понимающе кивнула, и слышно было, как она говорила кому-то в передней:

— Нету, нету... Уехали, и все тут...— Потом она вдруг вернулась и сказала мне:— Вас просят... Какой-то мальчишка...

Я растерялся, не зная, как поступить, и невольно подавшись общей атмосфере страха, возникшей после звонка, но Рита Михайловна жестом показала мне, что надо идти, видно, тем самым пытаясь отвести удар от себя... Я встал, пошел и увидел на лестничной площадке перед дверью Сережу Чаколинского. На какое-то время я вдруг совершенно забыл о существовании этих ребят и сейчас, увидев знакомого, даже успокоился.

— Деньги давай,— глянув на меня с честной мальчишеской неприязнью, сказал Сережа, и при этом на щеках у него заиграл пионерский румянец.— Платон Алексеевич велели...

Ах, вот оно что. Я полез в карман и достал пачку денег, о которых также вовсе забыл, что со мной еще не случилось. Я не успел даже протянуть деньги, как Сережа сам вырвал их у меня из рук, сбежал вниз на половину лестничного пролета и, остановившись, уж явно от себя, а не согласно полученного задания, добавил:

— Продал Платона Алексеевича богатым жидам, сволочь... Иуда сталинский... Стукач,— и, погрозив кулаком, побежал вниз.

Я знал, что Сережа меня всегда недолюбливал, но этот

его искренний мальчишеский напор меня привел в растерянность.

— Что там? — встревоженно подошла Рита Михайловна.

— За деньгами приходили, — ответил я.

— Да вы не расстраивайтесь, — сказала Рита Михайловна, — вам с вашими прежними друзьями не по пути... Так же, как и Коле... И слава богу, что избавились. А сейчас на дачу поедем. Знаете, какая там местность... Лес сосновый, красота...

И действительно, едва я сел в новенькую серую «Волгу», личную собственность журналиста, как многое забылось и стало легче. А когда мы выехали за город, то стало совсем легко и хорошо. Я сидел рядом с шофером, невысоким плотным парнем. Рита Михайловна с какими-то пакетами, очевидно, съестными запасами, примостилась сзади. На коленях она держала коробку с ореховым тортом. Собственная машина, специально оплачиваемый шофер, ореховый торт — все было прочно и богато. На мгновение я прикрыл глаза и подумал: «Так вот уже куда занесла тебя жизнь по избранному тобой пути... Где оно, это койко-место?.. А ведь все так недавно еще было».

Разговор, который завел между тем Виктор (шофер) с Ритой Михайловной, был как нельзя более в соответствии с мыслями.

— А Алексей Иванович на «мерседес» пересел, — сказал Виктор, — гляжу, Петька их мимо меня катит весь в улыбке... «Волгу» свою, говорит, мой продал, а вот «мерседес» через какую-то иностранную комиссию получил... Ничего, говорю, наш скоро «форд» американский достанет...

— Ах, Виктор, — сказала Рита Михайловна, — разве до этого нам теперь?..

— Как Коля? — сразу же поддержал и уловил состояние Виктор.

— Болеет, — сказала Рита Михайловна.

— Хороший он у вас парень, — продолжал Виктор, — умный... Тут один еврейчик у него был дружок, я их раз на дачу вез... Такое он интересное говорил про Сталина и про Россию вообще... А вот наш брат Иван до такого не додумается... Ума не хватит...

— Ты вот что, Виктор, — сказала Рита Михайловна, — ты такие разговоры не веди...

— Да я о чем? — замылся шофер, чувствуя, что он где-то прошиб и не угодил хозяевам и то, что ранее хозяевам было приятно и считалось признаком хорошего тона, теперь их раздражало. — Я только о том, — продолжал Виктор, — что

Коля хороших себе ребят в друзья выбирает... Вы приятель его будете?

— Да,— сухо ответил я.

Настроение мое на некоторое время утратило легкость, стало беспокойным, а затем я вновь рассеялся, глядя на несущую мимо местность, и постепенно повеселел.

Вокруг начинала уже бушевать золотая подмосковная осень, особенно красивая в этой лесистой, явно привилегированной местности. Не было ни загородной пыли, ни дыма заводов, не слышно было и грохота электричек. В открытое окно автомобиля влетал вкусный запах начинающей увядать листвы и сохнувших трав. Изредка мелькала аккуратная бензоколонка или милицейский пост. Там, где дорога разбежалась двумя рукавами, на одном из отростков висел дорожный знак, воспрещающий проезд, но Виктор явно привычно направил машину именно туда. Проехав метров пятьсот, машина уперлась в шлагбаум. Виктор выглянул и помахал рукой, очевидно, знакомому милиционеру, который вышел из будочки на обочине. Милиционер поднял шлагбаум, и мы въехали в сосновый лес, вдоль которого замелькали богатые дачи. Возле одной из дач Виктор затормозил и, выйдя из машины, прошел в калитку. Залаяла, а потом, узнав, ласково завизжала собака.

— Сначала я пойду к Коле, подготовлю его, а потом — вы,— сказала мне Рита Михайловна.

Виктор распахнул ворота, сел в машину и, проехав по дорожке, остановился у крыльца. И сразу же на шум выбежала пожилая женщина, почти старуха, в переднике.

— Я уже и в город звонила,— торопливо и испуганно затараторила она,— сказали, вы сюда... Ну, думаю, хотя бы быстреей...

— А что случилось? — тоже пугаясь, спросила Рита Михайловна.— Вы толком, Глаша, говорите...

— Да грохочет и грохочет,— сказала Глаша,— и грозитя... Говорит, окна выбью... Или дачу подожгу, если не выпустят... А у него ведь спички... И матом ругается... Меня обругал,— пожаловалась Глаша,— а я ведь, как вы велели...

— Ах, тише... — сразу заторопилась, побледнев, Рита Михайловна.— Что же вы раньше не позвонили?.. Вы же сказали — все хорошо, когда я звонила.— И говоря это, Рита Михайловна торопливо вошла на крыльцо, оттуда прошла по комнатам и вверх по винтовой лестнице. Сверху действительно доносились стук и крики.

— Было хорошо с утра,— говорила, семена следом, Глаша,— а потом началось...

— Ах, помолчите,—прикрикнула на нее Рита Михайловна.

— Вот дает,—тихо усмехнулся Виктор, очевидно исподтишка мстя Рите Михайловне за замечание в дороге.—С жиру бесятся...—Он явно хотел найти во мне союзника, но я отвернулся. «Скользкий тип,—решил я про себя.—Надо быть с ним осторожней».

Мы с Виктором стояли в одной из комнат, так же как и городская квартира, уставленной старинной мебелью. В раскрытые окна терпко пахло сухими листьями, хвоей и песком—пока еще непривычными для меня дачными запахами... Виктор явно подошел поближе к лестнице, чтобы различать, о чем кричит Коля. Я тоже прислушался.

— Сволочи,—кричал Коля,—сталинские прихлебаи... Разбогатели на народном страдании... Я тебя не признаю матерью, сука... И отца не признаю...—После этого послышался грохот, что-то разбилось.

— Вот дает,—попросту светился от удовольствия Виктор, но, услышав шаги Риты Михайловны, он торопливо сделал лицо свое скорбным и серьезным.

— Идите к нему, прошу вас,—сказала Рита Михайловна мне дрожащим голосом,—может, вы его успокоите... А вы идите, Виктор, к машине,—прикрикнула она на шофера, видно, уловив в нем злорадство,—вообще поменьше здесь вертитесь...

— Я здесь не верчусь,—огрызнулся вдруг Виктор (значит, и он строптив и развращен в либеральном семействе),—если на то пошло, я расчет возьму... Много лет лакеев нет... Советские помещики какие нашлись,—и он торопливо хлопнул дверью.

Не знаю, во что вылилась бы подобная сцена в иной обстановке, но сейчас Рите Михайловне было не до этого.

— Прощу вас,—снова сказала она мне,—успокойте Колю... Наверх поднимитесь... По лесенке, по лесенке.

Я не видел все до конца, но уже ощущал, какие богатые возможности открывает передо мной данная ситуация. И я еще раз мысленно поблагодарил сам себя за то, что пошел на разрыв со Щусевым и сделал ставку на эту семью... Я поднялся по лесенке и остановился перед дверью, в которую все время колотили, очевидно, то ли ногами, то ли стулом, ибо звук время от времени менялся.

— Коля,—сказал я,—это Гоша говорит, Цвибышев.

На мгновение в комнате наступила тишина, а потом Коля другим, явно радостным голосом крикнул:

— Гоша, ты нашел меня... И Платон Алексеевич здесь?

— Нет,— сказал я.— Нам надо поговорить.

— Пусть меня отопрут,— крикнул Коля,— они заперли меня... Мерзавцы...

— Дайте ключ,— громко и властно сказал я.

Я понял, что если упусти подобную ситуацию и не выжму из нее максимум возможного, то следует ставить на себе крест. Это опять же ситуация из той серии, которую создает для избранных судьбы само провидение.

Рита Михайловна торопливо выдернула ключ из рук Глаши и протянула его мне. Причем не я спустился за ключом, а она подала его мне, поднявшись по лестенке. Я отпер дверь, и Коля бросился мне на шею. Он действительно ужасно выглядел, был бледен, всклокочен, с запекшимися губами.

— Они заперли меня,— повторял он,— сперва дома, а потом перевезли сюда... Как арестанта или душевнобольного... я никогда, никогда им этого не прощу... Слышишь, ты, сука...— крикнул он в пролет лестницы,— я не желаю вас знать... Тебя и того сталинского стукача... Я не признаю его отцом..

Я слышал, как внизу заплакала Рита Михайловна.

— Не надо так, Коля,— сказал я,— успокойся...

— Кто мне теперь поверит, что я не стукач,— говорил Коля,— бросил друзей... Они мне укол сделали, и я заснул... Они подло, подло меня сюда перевезли и заперли... Что подумают ребята, что подумает Щусев?..

— Об этом потом,— сказал я.— Сейчас успокойся... Никто о тебе дурно не думает.

— Правда?— радостно вскрикнул Коля.— А мне так было ужасно... Я проснулся здесь и все понял... Какое это ужасное чувство предателя...

— Ты не предатель, Коля,— сказал я,— ты понастоящему честный человек... Только не надо так ругать родителей.

— Я их не признаю,— снова начал возбуждаться Коля,— я сам виноват... Мне давно надо было уйти, но я не мог расстаться с этим подлым уютом... В общежитие, в рабочее общежитие уйти...

— Пригласите его погулять,— осторожно и робко подсказала снизу Рита Михайловна,— если он даст слово, что не убежит.

— Молчи,— снова крикнул Коля,— домашняя наушница... Домашнее КГБ...

— Действительно, пойдем погуляем,— сказал я.— Ты бледен и дурно выглядишь... А бежать он никуда не собирас-

тся,—сказал я якобы сердито Рите Михайловне, мол, оскорбляющей Колю такими подозрениями.

— Да, это верно,—сказал Коля.—Сейчас мы с тобой пойдем (он говорил мне «ты», но это в порыве, это в высшем доверии, и меня подобное не коробило). Нам поговорить надо, я очень с тобой поговорить хочу.

Он спустился вниз и прошел вслед за мной, по-моему, умышленно толкнув мать плечом так сильно, что она едва удержалась за перила.

— Ты его, Коля, к озеру поведи,—невзирая на грубости сына и в беспокойстве за него, как-то униженно сказала Рита Михайловна.

— Тебя не спрашивают,—оборвал ее Коля и вышел на крыльцо.

— Идите за ним,—шепнула мне Рита Михайловна,—ни на шаг не отставайте, прошу вас...

— Все будет хорошо,—сказал я, несколько даже покровительственно.

— Как я вам благодарна,—сказала Рита Михайловна,— вас попросту сам Бог послал.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Ну что там?—жадно набросился на меня Коля, едва по тропинке мы углубились в лес.—Тебя Щусев прислал?

— Нет,—сказал я.—И вообще о Щусеве тебе надо кое-что переосмыслить.

— То есть?—настороженно остановился Коля.

Я посмотрел на Колю и понял, что начало разговора выбрано мною неудачно и торопливо.

— Он очень болен,—нашелся я.

— Да,—сказал Коля.—На нем живого места нет. Его зверски пытали сталинские палачи... Его брали за руки и за ноги, а потом отпускали, и он ударялся о землю... У них был такой способ в концлагере.

Говоря это, Коля смотрел на меня со злобным страданием, точно все это проделывали с ним самим. И я понял, какой для меня трудный противник Щусев, особенно если речь идет об обладании честными юношескими душами. На мгновение я даже задумался и усомнился, верно ли поступил, избрав прямой разрыв со Щусевым, и не вернее было бы идти следом за ним, используя обаяние его мученичества. А не повернуть ли все по-иному, чем я предполагал начиная разговор, и сказать Коле совсем не то, на что рассчитывает Рита

Михайловна? Нет, и это было бы ошибкой. Вернее было бы от имени Щусева действовать в нужном для Риты Михайловны направлении. Ах, как глупо, что при начале разговора я не подтвердил, что послан якобы Щусевым. В этом есть, конечно, опасность, но на первом этапе это весьма было бы верно найдено, и далее можно было бы действовать по обстоятельствам. Коля мне доверяет и меня любит, но здесь-то и главная опасность. Такие наивные, честные юноши очень страшны в разочаровании. По-человечески я даже ближе Коле, чем Щусев, ибо Щусев для него, главным образом, фигура общественная, я же почти что друг... Но тут-то и надо ухо остро. Эти честные ребята весьма часто переменчивы не по расчету, а по душе... История с Ятлиным, например. О ЯтLINE с тех пор Коля ни разу не упоминал, и не потому, что я сбил его кумир с ног ударом в челюсть, а потому, что Коля твердо для себя понял, что Ятлин, которому он доверял, нарушил клятву и был несправедлив ко мне. Не случится ли то же со мной, если я, по его мнению, стану непорядочен по отношению к Щусеву? Правда, я уже пробовал при Коле «бунтовать» против Щусева, но, во-первых, тогда речь шла о конкретных действиях, которые могут быть ошибочны, а не против Щусева в целом. А во-вторых, все происходило в момент наивысшего напряжения перед нападением на Молотова и потому заслонялось другими фактами. Правда, есть еще одна фигура, которую Коля уважает,— Висовин. Вот Висовина использовать против Щусева. Конечно же, не на крайностях и произошедших подробностях, это травмирует Колю и Бог знает к каким приведет последствиям, тем более что страдающей стороной здесь опять оказался Щусев, а Коля обязательно примет сторону того, кто в данный момент страдает более.

— О чем ты задумался?— спросил Коля.

Мы шли уже среди пахучего, увядающего кустарника, и вдаль видна была вода, очевидно озеро. Я несомненно просрочил время на ответ, и вообще беседа не удалась, думал я с досадой, любая фраза, сказанная теперь, после размышлений, будет обладать иным смыслом, чем ранее, скажи я ее впритык. Особенно если учесть, что последней Колиной фразой была мысль о пытках, которым подвергался в концлагере Щусев. Погасить эту фразу тем, что Висовин, который не одобряет действий Щусева, тоже подвергался пыткам и страдал? Нет, пожалуй, после моих размышлений это прозвучит многозначительно и запутает дело. Ну вот, я снова задумался, причем задумался в ответ на Колин вопрос о моих размышлениях. Это уж совсем нелепо, и это надо ломать чсм-нибудь элементарным, чем-нибудь глуповатым даже.

— Давай, Коля, лучше искупаемся, потом поговорим,— сказал я, и лишь только сказал, сразу же опомнился, особенно увидев настороженный взгляд Коли. Действительно, получалось, что я хочу что-то замять и надеюсь, что Коля по молодости своей не заметит этого. А для умных юношей (Коля безусловно считает себя умным), для умных юношей это упрек весьма серьезный. Из такого упрека часто и начинается разочарование.

Комбинация получалась следующая: Коля окончательно решил идти на разрыв с родителями, и Рита Михайловна, сосредоточившая в этой богатой семье материальную власть, была слаба перед Колей, ибо любила его и надеялась в своих планах на меня, которого Коля любил и уважал. Уважал же он меня потому, что я находился рядом со Щусевым, освященным пытками в концлагере, а любил потому, что я был доступнее для Коли по-человечески, чем Щусев. Да и вряд ли Щусев стал бы с Колей возиться. Вот такой завязывался гордиев узел.

— Коля,— сказал я, как бы рубя по узлу сплеча, ибо сам устал,— Коля, операция против Молотова была ошибочна. Молотов фигура отжившая и не стоящая риска, которому мы из-за нее подвергались... Это признал сам Щусев, и я приехал, чтоб сообщить тебе об этом.

— Но ведь Щусев не знает о твоём приезде, и каким образом ты познакомился с матерью?

Мне стало тревожно на душе от Колиных вопросов. Я могу осуществлять контроль даже над всемогущей Ритой Михайловной, пока я осуществляю контроль над Колей. А сейчас происходит нечто непонятное. Нет, опять надо идти вперед. Только сплеча. Я и так уже достаточно напортил анализом. С честными юношами анализ всегда дает обратный задуманному результат.

— Уж не подозреваешь ли ты меня в чем-либо? — резко сказал я, останавливаясь.— Тогда ты обязан сказать мне это открыто, как товарищ по организации.

Это было сказано по-мужски, резко и романтично, и с искренней обидой. Я видел: Коля смутился и пожалел, что взял такой тон сразу.

— Я тебя ни в чем, Гоша, не подозреваю,— неловко потупясь, сказал Коля и покраснел, ибо в действительности такое подозрение у него явно мелькнуло. Он уже отступал и сломался. Я знал, что он сейчас начнет замаливать свои несправедливости, нанесенные мне, станет со мной предельно ласков, предупредителен.

— Может быть, ты думаешь, что я стукач? (Только грубо и прямо, с такими юношами только грубо и «по-честному».)

— Видишь ли, Гоша,—сказал Коля,—ты ведь знаешь, как я к тебе отношусь. Я несколько дней не разговаривал с Машей, когда она о тебе дурно отозвалась (все-таки как он наивен и как силен в нем юноша), но пойми,—продолжал Коля,—твой приезд так неожидан... Хоть я сперва на порыве и обрадовался...

— А сейчас уже не рад,—сказал я резко и с обидой (надо было не упускать инициативу).

— Что ты, я рад,—заторопился Коля.—Просто мне не очень понятно...

— Щусев болен,—сказал я,—он лежит... И потому делами организации занимаюсь я... Каким образом я здесь? В Москве проездом был Висовин...

— Христофор?—обрадованно крикнул Коля.—Он приехал?..

— Я ведь сказал—проездом. Он меня и познакомил с вашей семьей.

— Да, он бывал у нас в доме,—сказал Коля.—Но странно другое... Ведь мама всегда к нему относилась плохо...

— Мне удалось поговорить с Ритой Михайловной и многое ей разъяснить... Ты будь с ней повежливей, она человек иной формации, многое воспринимает по-иному...

Вообще-то по части доводов своих я нес ахинею, но, странное дело, едва я оставил анализ и начал говорить с Колей легко и необдуманно, как он мне поверил и даже раскаялся в прежнем неверии. А раскаяние этих юношей, как сказано уже, самый благодатный материал для тех, против кого они, по их мнению, совершили несправедливость. И если б не пытки, которым подвергался в концлагере Щусев и которые были для него вечной рентой, по крайней мере в глазах Коли, то уверен, что именно в данный момент раскаяния Коли из-за нанесенных мне обид я бы сумел оторвать этого юношу от Щусева и опорочить окончательно в Колиных глазах. Но и сделанного было достаточно, тем более учитывая так неудачно начатый разговор.

— Что же далее?—спросил Коля.

— Далее будем отдыхать,—сказал я,—купаться, загорать...

— Ты останешься здесь?—спросил Коля.

— Останусь,—ответил я.

— Хорошо как,—искренне обрадовался Коля, но тут же стал серьезным.—Тебя ищут?—оглядевшись, шепотом спросил он.

— Давай купаться, Коля,— сказал я,— и не думай ни о чем, все хорошо.

— Понятно,— многозначительно сказал Коля.— Знаешь, Гоша, родители хотят поместить меня в клинику лечиться... Особенно мама настаивает.

— Мама тебе добра желает,— сказал я банальность, которая тем не менее на Колю оказала воздействие.— Ты должен перед ней извиниться... При всех, при шофере ты ругал ее так грубо...

— Это верно,— сказал Коля.— Это действительно верно... Я, пожалуй, пойду... Я сейчас подумал, как это ужасно... Мама человек странный, но я не имел права. Мне так нехорошо на душе вдруг стало, меня это мучает... Ты купайся в озере, тут вода хорошая, а я пойду.

— Подожди, Коля,— крикнул я ему вслед.

Произошел явный пережим в другую сторону. Кто знает, что скажет этот честный истеричный мальчик, а особенно что скажет растроганная, также истеричная Рита Михайловна. (Она безусловно будет растрогана и все простит. И «суку» и все остальное.) Но не зацепит ли она на порыве Щусева, чего делать никак нельзя, учитывая глубокое уважение Коли к пыткам Платона в концлагере. Нет, примирение матери и сына никак нельзя оставлять бесконтрольным, да и вообще неплохо бы «сбить темп», то есть чтоб Коля несколько отдышался от овладевшего им вихря всевозможных раскаяний и по отношению ко мне, и по отношению к оскорбленной им матери.

— Коля,— крикнул я,— Коля, подожди.

Но белая Колина рубашка уже мелькала далеко в лесу. Я побежал изо всех сил и схватил Колю за руку, причем невольно стиснув сильнее обычного, так что он даже сморщился и посмотрел на меня опять с тревогой. Мы оба тяжело дышали от бега.

— Что?— спросил Коля.

— Я тоже виноват перед твоей матерью,— сказал я первую пришедшую в голову нелепость,— и тоже хотел бы извиниться... Мы вместе...

— Нет,— сказал Коля, проявляя вдруг строптивость,— не знаю, в чем ты виноват, но я так ужасно... Я бы наедине...

— А вот и она,— крикнул я громко, привлекая внимание Риты Михайловны, которая нервно ходила у дачного забора. (Коля так быстро бежал, что мы успели пересечь весь лес и почти добежали к даче, пока я его догнал.)— Рита Михайловна,— крикнул я,— мы с Колей хотели бы извиниться перед вами...

Я видел, как Рита Михайловна перепрыгнула через канаву, подбежала к Коле и обхватила его. Они оба истерически громко зарыдали. «Как удачен этот мой расчет,— подумал я не без самодовольства.— Кто знает, что бы они наговорили друг другу наедине. Потом не расхлебашь никаким анализом и никаким прямым напором». Мое присутствие безусловно ограничивало их, смущало, и они обходились почти без слов, лишь сжимая друг друга в объятиях и плача без удержу. «Главное погасить нервный порыв,— думал я,— он наиболее безрассуден. Далее будет прощ». И действительно, поплавав, мать и сын оторвались друг от друга, и Рита Михайловна сказала:

— Сын мой родной, ты никогда больше не будешь обижать маму?

— Никогда,— искренне воскликнул Коля.— Мне так горько...

— Ну вот и хорошо,— сказала Рита Михайловна, по моему, уже гораздо более трезвым голосом,— а сейчас мы все слегка перекусим... Приглашай Гошу,— и Рита Михайловна посмотрела на меня совершенно по-новому, и во взгляде у нее была какая-то женственная благодарность... Если женщина благодарит мужчину за добро, которое он сделал для ее ребенка, она невольно идет на предел своих чувств, а пределом этих чувств является женственность...

«Удивительно все-таки моментами она похожа на Машу»,— отметил я про себя.

Потом и вовсе стало хорошо. Мы сидели под деревом в саду и на простом, грубо сколоченном столе, накрытом клеенкой (высший шик в среде богатых интеллигентов), ели грубую и вкусную дачную пищу: копченое сало, свежую, только недавно засоленную капусту, какие-то маринованные груши... После нервного напряжения ели мы много и с аппетитом. Я позабыл про этикет (к счастью, Маша отсутствовала) и жадно грыз ароматные, хрустящие куски капусты с мягким нежным салом и удивительно вкусным ржаным хлебом. (Как выяснилось, хлеб пекла сама Глаша.) Коля также ел много, и Рита Михайловна все подкладывала нам и подкладывала. Я был совершенно расслаблен в тот момент, как говорится, демобилизован морально и неспособен к сопротивлению, возникни такая необходимость. Может быть, впервые в жизни я был по-домашнему слаб, вдруг на меня такое нахлынуло, и мне крайне приятно было это чувство, незнакомое ранее. Мы с Колей поели так много сала с капустой и ржаным хлебом домашней выпечки, что не могли уже есть вареники, которые Глаша, явно преданная служанка старой

формации, подала в деревянном блюде. Глаша была явно обрадована выздоровлением Коли и хорошим настроением Риты Михайловны и чувствовала, что причина успокоения в доме я, а значит, старалась угодить и мне. Вареники, которые подала Глаша, были с вишнями, и к ним в чашке подана была свежая сметана. Коля из баловства, ибо я видел, что он сыт и объелся салом, из баловства взял вареник и надкусил. Брызнул красноватый липкий вишневый сок, и Коля захохотал. Рита Михайловна улыбнулась, чтоб поддержать веселье сына, которое ее крайне радовало. Улыбнулся и я, но не только чтоб поддержать Колю, а вообще всему комплексу тех приятных ощущений, которые в данный момент владели мною. Была ли в тот момент со мной моя идея возглавить Россию? Безусловно, но не в виде болезненно страстного напора, постоянно и ясно передо мной возникавшего, особенно в трудные минуты, а в виде такого приятного обещания, приятного «завтра», в котором я сейчас не нуждаюсь, но о котором помню и оставляю на закуску. Сейчас, за этим дачным столиком, уставленным вкусной едой, мне, как никогда, очень хотелось хорошо жить. И мечты мои утратили ясность, которая постоянно требует умственного и физического напора... Моя идея была со мной, но она не жгла меня, а мягко лежала у меня под сердцем.

— Ты в сметанку вареник макни,— сказала Рита Михайловна Коле.

— Нет, я так люблю,— сказал Коля и, надкусив второй вареник, опять захохотал.

Ему было явно радостно оттого, что он не предал организацию, скрывшись от нее по настоянию и принуждению родителей. (Я ему это доказал.) Ну и, как следствие, оттого, что он помирился с матерью.

— А вы чего не едите?— спросила меня Рита Михайловна.— Со сметанкой попробуйте...

Я взял вареник, макнул в сметану и пожевал, помял как следует, несмотря на сытость, получил удовольствие от нежного, пропитанного вишнями и сметаной теста. Так играючи мы съели с Колей еще десяток вареников, закусили маринованными грушами, после чего с трудом встали из-за стола, опять же со смехом.

— Теперь, мальчики, погуляйте,— сказала нам Рита Михайловна, зачислив и меня, тридцатилетнего, в «мальчики» вместе с шестнадцатилетним Колей.

Но меня это не покорило, а даже наоборот, было приятно.

— Мы с Гошей ко мне пойдём,— сказал Коля.— Ко мне в комнату наверх.

— Хорошо,— сказала Рита Михайловна,— потом, Гоша, подойдите к Глаше, она вам покажет вашу комнату... Там, где вы спать будете,— пояснила она.

Сытые, мы поднялись по лесенке в Колину комнату, и Коля хотел было начать политический разговор, даже произнес что-то антисоветское, но меня явно сморило, и Коля тоже начал носом клевать. Так и просидели мы чуть ли не молча друг перед другом, переваривая в креслах сытный и вкусный ужин, ибо оппозиционный разговор требует вдохновения, так же как чтение стихов. Меж тем наступили сумерки и в открытое окно потянуло загородной свежестью. В дверь постучали, и просунулась голова старой служанки Глаши.

— Пойдемте,— сказала она мне,— я вам вашу комнату покажу, да и Коле спать пора... Вот как носом клюет... Хороши были варенички, Коля?

— Очень, бабушка Глаша,— сказал Коля, видно и перед Глашей замаливал свои грубости.

— До завтра,— сказал я Коле.

Он улыбнулся мне в ответ, но мне показалось, несколько безразлично, хоть я понимал, как он устал.

— Пусть спит,— сказала мне тихо Глаша, когда мы вышли и принялись спускаться по лестнице,— так он, бедный, накричался, ох ты, господи... И Маша с ним спорит... Я говорю, не надо с ним спорить... Ведь вот в какую историю парень попал... Все водили в дом черт знает кого, все спорили, кричали... Ох ты, господи...— И, так бубня, Глаша отвела меня в мою комнату на первом этаже.

Впервые, пожалуй, я спал в отдельной комнате, впервые на такой мягкой, пахучей, свежей постели. Уснул я быстро, но проснулся не лениво и спокойно, как заснул, а деятельно и нервно, явно от какого-то беспокойства. Мне показалось, что разбудила меня духота, действительно в комнате было душновато, а также беспокойство оттого, что, проснувшись, я увидел совершенно незнакомую и непонятную в первые доли секунды комнату вокруг меня и не понял, где я... Правда, я тут же опомнился, восстановил, как сюда попал, и даже улыбнулся над своими страхами, но сердце стучало по-прежнему гулко и на лбу был нездоровый липкий холод. «Что происходит?— подумал я.— Какие глупости... Все так хорошо... Наоборот, дурное позади... Мог ли я мечтать?»

Времени еще было немного, около часа ночи, и спал я не более двух часов. Я встал, опустив ноги на мягкий коврик, и подошел, чтоб пошире открыть форточку. Во дворе кто-то

ходил, слышны были голоса, и видна была автомашина с зажженными фарами. «Так вот откуда беспокойство,— понял я,— и вот что меня разбудило, кто-то приехал». Я лег, но уже не спал, а прислушивался. Кто-то вошел в большую комнату рядом с моей, и я узнал голос журналиста. Значит, это приехал он, и так поздно. С чего бы? Нет ли здесь какой чрезвычайности? И вообще все шло слишком хорошо, чтоб так продолжаться и дальше, подумал я, готовя себя к худшему и хоть этим несколько успокаиваясь.

— Он уже спит,— сказала Рита Михайловна.

Это она явно обо мне.

— А какого черта,— чуть ли не выкрикнул нервно журналист,— ты ведь не спишь, и я не сплю, и он не поспит... Ты не представляешь себе, как серьезно и срочно дело... Я даже не предполагал... Роман сам мне позвонил и ко мне приехал, а Роман человек не панический.

— Зато ты в достаточной степени панический,— сказала Рита Михайловна.

— Перестань со мной пререкаться,— выкрикнул вновь журналист.— Речь идет о судьбе твоего сына...

— Себя, себя благодари за все...— тоже нервно и сердито сказала Рита Михайловна.

— Сейчас не об этом речь,— сказал журналист.— Надо принять срочные меры...

Я уже понимал, что от этих людей мне грозит какая-то опасность, но не улавливал, в каком плане и в какой степени. Конечно же, я был приглашен неспроста. И вареники неспроста, и отдельная комната неспроста... Ко мне никогда не проявляли добрых чувств без некоего подтекста, и не улови я такого подтекста, это бы меня, конечно, насторожило. Если б меня просто пригласили на дачу, я бы, пожалуй, не поехал. Но речь шла о том, чтобы успокоить Колю, их сына. Такая плата за вкусную пищу и прочие удовольствия меня устраивала, тем более что со Щусевым я собирался рвать и хотел начать самостоятельную деятельность. Я согласился и, оказывается, ошибся. Успокоить Колю— это так, между прочим, хоть и важно было, конечно, для них, ибо они в нем души не чают... Но главное не в этом... В чем же?..

— Время,— говорил журналист,— дорого время... Роман говорит, делу дан самый серьезный ход... Очевидно, что-то изменилось на самом высшем уровне в их учреждении... И потом, кто мог знать, что Коля попал в такую историю?

— Ты сам его туда втянул,— выкрикнула Рита Михайловна,— ты сам в этой истории... Ты их деньгами снабжал

и снабжаешь... Тебе самому надо выбирать... Это ты покалечил мне детей, старый болван...

Вот уж до чего дошло.

— Что ты такое говоришь? — сказал журналист. — Как тебе не стыдно...

— Ты поменьше стыди меня, — совсем забылась Рита Михайловна, — ты Колю спасай... Ты Колю спасай, понимаешь, антисоветчик проклятый... Мало тебе твои реабилитированные по роже надавали...

— У тебя истерика, — сказал грубо и совершенно новым, клокочущим, уличным голосом журналист, — дура... Ты сейчас Колю разбудишь, ты этого парня разбудишь... Чтоб они свидетелями были твоей истерики... Кстати, — после некоторой паузы, опомнившись, добавил журналист, мне кажется, виноватым даже голосом от грубости жене, — этого Цвибышева действительно надо разбудить, но минут через десять, когда ты успокоишься... Пойди умойся...

Я слышал, как Рита Михайловна вышла. Журналист, кажется, уселся на стул, судя по звуку. Я осторожно принялся одеваться, еще не приняв никакого решения, но поняв, что то чрезвычайное, которое мне предстоит, лучше встретить одетым. Когда ко мне постучали, я, сообразив, откликнулся не сразу, а несколько помедлив и сонным голосом, дабы не показать, что я бодрствовал и слышал их разговор. К встрече, которая предстояла, мне надо было хоть в общих чертах обработать поступившую информацию. Я уже понял, что дело касается организации, и предположил, что Щусев замыслил какое-то новое дело, возможно, новое нападение или нечто подобное, и надо принять меры, чтоб изолировать от этого Колю... Будем пока придерживаться этой версии, чтобы иметь хоть какую-то опору и не быть в разговоре рассеянным.

— Да, да, — откликнулся я наконец.

— Простите, пожалуйста, Гоша, — сказала Рита Михайловна.

Значит, она взяла на себя миссию будить меня. Что ж, это правильно. К ее присутствию на даче я привык, в то время как появление журналиста для меня неожиданно, если я услышу его голос спросонья. (Они ведь думали, что я сплю.) Следовательно, в их действии нет уже эмоционального хаоса. Они договорились, распределили между собой функции, и поэтому мне надо соблюдать особую осторожность.

— Простите, Гоша, — повторила Рита Михайловна, — тут приехал мой муж, у него к вам серьезное дело. Если не трудно, оденьтесь, пожалуйста, и выйдите в столовую.

— Сейчас,— отозвался я.

Значит, несколько минут, в течение которых я якобы одеваюсь, у меня есть, и я могу продолжить анализ. Однако анализа не получилось, и, просидев бесполезно на стуле, я вышел в столовую, шурясь от яркого света. (Были зажжены все лампы в люстре.) Журналист и Рита Михайловна сидели за столом рядом, оба с красными глазами, и вид их был самый нервно-растерянный. У обоих теперь, после всех их разговоров и взаимных упреков, а потом и тяжелых расчетов, наблюдалось то, что в медицине именуется «истерическим дрожанием», причем если у журналиста время от времени вздрагивала только голова, то Риту Михайловну трясло точно в ознобе. Мне это состояние знакомо, более того, при виде этих богатых, прочно живущих, известных людей в таком состоянии я невольно сам забыл об анализе и почувствовал страх.

— Сядьте,— шепотом сказала Рита Михайловна.

Это тоже понятный признак. После эмоционального всплеска и сопротивления страху наступает упадок сил, и вот тогда-то страх по-настоящему овладевает человеком.

— Нет, пожалуй, не здесь,— сказал журналист тоже шепотом,— Коля может проснуться, мы и так шумели,— он вновь сердито посмотрел на жену,— пойдете в сад...

Я надел висящий в передней пиджак, и мы вышли в ночной сад. Заворчала, залаяла собака, но журналист прикрикнул на нее. Ночь была по-сентябрьски свежа, и я тоже, как и Рита Михайловна, задрожал всем телом, правда, не только от недобрых предчувствий, но и от холода, ибо был в единственном моем пиджачке (плащ был на квартире Марфы Прохоровны), в то время как супруги, несмотря на растерянность, не забыли надеть от простуды теплые демисезонные пальто.

Ох, уж эти роковые ночи, от которых начинается новый поворот и новый этап. Я хорошо запомнил ту холодную загородную ночь. Светила луна, весь двор этой богатой дачи с пристройками, какими-то загородками и складскими помещениями был как на ладони. В фруктовом саду, который примыкал к дачному двору, стало еще холодней, хоть, казалось бы, деревья должны были бы защищать от ветра. Не то чтоб сильного ветра, но довольно сырого ветерка, дующего со стороны леса. Лес же сейчас, ночью, казался не дачным, со скамейками и плевательницами, которых полно там, я видел, пока шел вчера с Колей к озеру, а девственным и опасным. Мы прошли мимо каких-то грядок, мимо давно отцветших, высыхающих кустиков клубники, мимо каких-то парниковых при-

способлений и остановились у беседки. Так вот, едва мы подошли к беседке, как Рита Михайловна, нервы которой были уже, очевидно, на пределе, вдруг резко остановилась и выпалила шепотом:

— Ваша банда скоро будет арестована...

— Ну, не так глупо,— перебил ее резко журналист,— успокойся, Рита... Или иди домой, раз ты так настроена, я сам поговорю.

— Ты тут наговоришь,— агрессивно по отношению к мужу и совершенно не стесняясь при этом меня произнесла сдавленным голосом Рита Михайловна,— ты уж наговорил так, что Коля окажется скоро в тюрьме.

— Успокойся, Рита,— проявив самообладание и взяв себя в руки, по-мужски произнес журналист.— Действительно,— обернулся журналист ко мне,— дело организации Щусева взято на рассмотрение и приняло самый серьезный характер... Будут произведены аресты...

— Как же так,— обрета наконец дар речи, выкрикнул я,— выходит, опять 37-й год... Культ личности...

— Оставьте ваш хрущевский лексикон,— злобно выкрикнула Рита Михайловна,— разбаловал вас Хрущев своими разоблачениями... Но диктатуру пролетариата пока еще никто отменить не посмел...

— Тише,— оборвал ее журналист,— не то ты говоришь... Речь идет не о нарушениях законности... Речь идет о том, что Щусев с группой ему подобных лиц, втянув в свою организацию незрелую молодежь, совершил ряд преступлений уголовного характера... Вы и сами не подозреваете о многих из его дел... Для того чтобы вы поняли серьезность вашего положения, скажу, что Щусеву, помимо известных вам хулиганских нападений, в которых вы и сами участвовали, приписывают по крайней мере два убийства — в Уфе и Полтаве, которые ранее были не раскрыты и считались обычными уголовными делами... В Уфе им зверски убит майор МВД в отставке с женой и малолетним ребенком, а в Полтаве якобы какой-то даже реабилитированный, который в чем-то был у него на дозрении...

— Вы получите как минимум десять лет,— нервно вставила реплику Рита Михайловна.

— Перестань его запугивать,— оборвал ее журналист.— Он и сам понимает что к чему... Должен заметить, что едва Коля рассказал мне о вас с некоторыми, конечно, подробностями, я понял, что именно вы можете нам помочь... Коля нам не поверит, и более того, Коля нас возненавидит, если мы предложим ему то, что хотим предложить вам... То есть с са-

мого начала мы думали просто вас привлечь, чтоб вы, как я понимаю, разочаровавшись в Щусеве и поняв его подноготную, своим влиянием оказали воздействие и на Колю... Но события приняли такой чрезвычайный характер, что я вынужден был приехать ночью... Меня вечером вызывали в КГБ... Вы ведь знаете, что я и сам давал Щусеву довольно серьезные суммы... Но дело сейчас в другом... К счастью, в Комитете госбезопасности у меня работает старый друг, бывший партизан, замечательный парень. Он работает совершенно в другом отделе, который к вашему делу отношения не имеет. Но тем не менее мы созвонились, и у меня с ним был разговор... Конечно, в неофициальной обстановке... Есть одна возможность,— в этом месте журналист сделал паузу и посмотрел на меня,— вы напишете на Щусева докладную в Комитет государственной безопасности и уговорите Колю тоже ее подписать... Как — это уже ваше дело...

— То есть донос? — невольно вырвалось у меня. — Стать стукачом?..

— Оставьте ваш воровской жаргон, — выкрикнула Рита Михайловна, — свою воровскую круговую поруку... Вы должны понимать, что мы даем вам шанс спастись от тюрьмы не потому, что вы наш брат, сват или кум... Мы делаем это ради Коли...

— Да, я это понимаю, — сказал я тихо, — дальше, говорите дальше...

— Поймите, — сказал журналист, — что ваша докладная сейчас, по сути, ничего не стоит... КГБ она не нужна... О Щусеве и так достаточно известно, и ваши сведения никакой помощи не окажут... А что касается раскаяния, то накануне ареста ему не особенно придают значение... Оно даже не смягчит вины... Только если бумаге вашей будет дан специальный ход с помощью моего друга... Ради меня, ради моей семьи, ради Коли... Будем реалистами, наконец... Я, видите, седой уже, а слишком долго витал в этаким небесном эфире... Возможно, даже бумага будет оформлена задним числом и так далее... И наконец, вас не должна мучить совесть... Ведь Щусев подлец, ведь ужасный подлец, даже если не подтвердятся версии о совершенных им убийствах... И вы ненавидите его, ведь верно?

— Да, — сказал я тихо, — подлец... Но все это так непросто... — Я вдруг совсем потерял ориентировку и раскис. — Колю трудно будет уговорить, — сказал я. — Щусева ведь пытали в режимном лагере, вы ведь знаете... У него легкие отбиты... И Коля это знает, а он мальчик честный...

— Щусев бандит и черносотенец, — выкрикнула Рита Ми-

хайловна.— Мало ли израненных бандитов?.. А что касается Коли, то это уже ваше дело... Мы бы вас не приглашали, если бы могли обойтись без вас...

— Не надо так со мной! — вспыхнул я вдруг неожиданно даже для себя.— Я вам не нанятый лакей.— Но тут же одумался, опомнился и осознал опасность, которая действительно мне грозит, не воспользуйся я этим шансом.

К счастью, журналист тут же пришел мне на помощь.

— Я прошу тебя, Рита,— сказал он жене,— не вмешивайся больше в это дело... Это мужское дело... Идите отдыхать,— добавил он мне мягче,— завтра сюда придет Роман Иванович, мой приятель из органов... Он с вами побеседует... Что-то решим.

— Но только Коле ни слова,— снова не выдержала Рита Михайловна.

Я пошел к даче, оставив супругов одних у беседки. Они тут же начали шептаться. В своей комнате я лег, не раздеваясь, поверх одеяла и принялся думать. Вообще-то ночью думается всегда легче, мысли сами рождаются, почти что без усилий, и кажутся одна удачнее другой, но по опыту я знал, что к утру мысли эти, как правило, обесцениваются и становятся нелепы. Поэтому я старался придерживаться лишь факта, не давая ему развернутой оценки и не определяя план на будущее. Факт состоял в том, что радостная игра наша в недозволенное оканчивалась, наступало похмелье, и карательные органы, с приятных публичных упреков в адрес которых и начиналась моя новая жизнь человека независимой судьбы, как бы во сне сбрасывали вдруг маску доброй уступчивости, из-за которой и приятно было их мучить попреками.

Я поднялся с койки и вынул из кармана пиджака круглое, в картонной оправе, дешевое зеркальце с картонной крышкой. Зеркальце женского типа, какие всегда женщины, следящие за собой, но небогатые, носят в сумочке. Я тоже с этим зеркальцем не расставался. Оно было весьма удобно, свободно помещалось в боковом кармане и всегда в трудную минуту приходило мне на помощь. Так же как в бессоннице я привык сам себя укачивать, так и в беспокойстве я привык сам себя успокаивать. Я любил свое лицо и доверял ему. Таким образом, карманное зеркальце это стало для меня как бы талисманом, ибо, именно глядя в него, я впервые подумал о своей возможности возглавить Россию... Правда, сейчас на меня глянуло чересчур воспаленное лицо мое, но минуты две пристального разглядывания — и некое возвышенное состояние овладело мной и я понял, как все будет хорошо. С этой мыслью я и уснул. Проснулся я, как мне показалось, тут же,

мгновенно, в диком испуге. (Вот как ночные мысли непригодны утром.) Причем опять проснулся от стука. И странный коллорот произошел в моем мозгу: мне показалось, что сейчас опять повторится то, что я уже пережил,—приехал журналист, начнет препираться с женой, потом меня начнут будить, и мы пойдем в сад... Я тряхнул головой. Последние остатки ночного мышления рассеялись. Было солнечное утро, и в оконную раму стучал с улицы улыбающийся Коля. И я почувствовал вдруг сильную неприязнь именно к его беспечной, радостной улыбке, которую рождает лишь чистая совесть и честность. Эти чувства, благодаря любви к нему состоятельных родителей, были вознесены у него над бытом, над пищей и кровом. Я же фактически был нанят Колиными родителями, чтоб обманом втянуть этого юношу в дело, с его точки зрения подлое, да и, вообще-то говоря, по крайней мере лишенное благородства. Я должен был уговорить его подписать донос на Щусева, причем донос, которому по привилегии, благодаря знакомствам журналиста, дадут особый ход. Мне же за труды разрешат участвовать в этом привилегированном доносе. Причем, поскольку я понимаю, и донос-то этот фактически фиктивный, то есть будет оформлен задним числом, и вообще нужды в нем карательные органы не испытывают, ибо им о Щусеве и так все известно. Но Роман Иванович, друг журналиста, найдет особый ракурс, чтоб придать этому доносу несвойственный ему вес в разоблачении деятельности организации Щусева. И это исключительно ради того, чтоб вытащить Колю из дела и спасти его от суда. А заодно и меня уж, в качестве уплаты за донос... Вот как выстраивается все, если мыслить не ночью, а утром. Я уже в душе ненавидел Колю после всех этих мыслей (у меня это быстро) за то, что должен обмануть его, и знал, что и он меня возненавидит по-юношески, если узнает обо всем. Но я знал также, что будущая судьба моя зависит от успешности этого обмана. Я понимал, что если объяснить Коле впрямую, он никогда не согласится на донос, даже если разочаруется в Щусеве. И я, как часто в моменты чрезвычайные для моего существования, действовал четко и хитро. Хитрость моя заключалась в том, что я действовал именно впрямую и вопреки своим же верным выводам. Точно было выбрано также и время действия. Сейчас, немедленно, на одном порыве.

Быстро одевшись и сполоснув лицо не в ванной, дабы не будить никого в доме, а из дачного умывальника, висевшего во дворе, я предложил Коле пройтись.

— Что-нибудь случилось?—спросил Коля, сразу перестав улыбаться, но с какой-то тревожной гордостью.

То есть этот мальчик, разбуженный ранним солнцем и радостный от примирения с родителями, готовился к беспечному времяпрепровождению, по которому явно он соскучился, но теперь, увидав мою серьезность, он безусловно утратил радость и устыдился своего детского порыва, а наоборот, ощутил приятную тревогу, какую чувствуют дети, оказавшись во взрослом деле.

— Коля,— сказал я.— На Щусева надо написать донос в КГБ...

— Донос? — переспросил Коля, мне кажется, даже не уяснив грамматического смысла фразы.— Кто?..

— Подписаться должны я и ты... Анонимным доносам сейчас хода не дают... Либо движение их, во всяком случае, замедлено...

— Зачем? — растерянно, по-детски моргая, спросил Коля.

— Это решение организации,— ответил я.

Должен заметить, что я учел опыт прошлого моего, весьма скользкого (правда, не до такой степени), разговора с Колей здесь же в лесу. Теперь у меня ничего не было заготовлено заранее. Начиная фразу, я часто не знал ее конца, и она складывалась уже в процессе произнесения. Мне кажется, заранее продуманный план не выдержал бы столкновения с детской, чистой, наивной интуицией Коли. Сейчас же мы оба импровизовали.

— Решение организации,— повторил я, чтоб заполнить растянувшуюся паузу и не дать повод к размышлениям.

— Какой организации? — спросил Коля.

Момент был опасный. В этом вопросе, возможно родившемся произвольно, был подвох, который и сам Коля еще не осознал.

— Нашей организации,— сказал я.— Платон Алексеевич вначале решил выбрать для подписи меня и Прохора (напоминаю, «Прохор» кличка Сережи Чаколинского).

— Значит, это Платон Алексеевич решил? — то ли понял с удовлетворением, то ли спросил Коля.

Опасность не миновала, а даже еще больше возросла. Я увидел вдруг в глазах Коли опасный блеск.

— Нет,— ответил я,— Платон Алексеевич и в дальнейшем настаивал на Прохоре, но я его убедил заменить Прохора твоей кандидатурой.

Это был с моей стороны наивно-наглый поворот, основанный на чисто словесной неразберихе. Я с колотящимся сердцем ждал, что ответит Коля. Он мог сейчас сразу все понять, и это было бы равносильно для меня катастрофе, подобной лишению меня койко-места, но на ином, нынешнем

уровне. Я знал, что если не так, то этак влиятельные Колины родители найдут способ вытащить сына из дела, в крайнем случае объявят его невменяемым. Мне же без этого доноса не отвертеться. Даже если я сам, от себя, без всякого Коли, напишу докладную в КГБ (и такая мысль мелькала), она пойдет по обычным каналам, и это теперь, когда вся организация как на ладони, ничего не даст... Я ждал, понимая интуитивно, что более не имею права ни случайной, ни тем более деловой фразой заполнить паузу. Именно моя прошлая попытка заполнить паузу, когда я дважды повторил «решение организации», и придала разговору опасное движение. Меня, правда, успокаивало, что пауза уж чересчур затянулась. Столь наглый обман обычно ощущает человек быстрее и резче, если он его только способен ощутить. Значит, второе. Значит, все начнется сначала и опять завертится вокруг сути, то есть необходимости доноса, а не вокруг деталей, то есть кому этот донос подписать. Это, конечно, не так безнадежно, как если б Коля ощутил весь обман с моей стороны, но в то же время достаточно опасно.

Мы стояли на краю солнечной поляны, и прошло уже много времени, ибо если в начале нашего разговора солнце приятно ласкало, то ныне у меня появилось желание перейти в тень, к кустарнику, но я боялся пошевелиться. Кто знает, как повлияет это движение на Колю. Он стоял как бы весь застывший, прислонившись спиной к солнечному стволу чайной, засыхающей березы, росшей одиноко посреди поляны и почти не дававшей тени.

— Почему именно моя кандидатура?— сказал наконец Коля.

Я едва удержался, чтоб не расхохотаться от радости. Опасный поворот был позади, хоть по-прежнему следовало держать ухо востро. Одно неосторожное слово могло все погубить.

— Скажу тебе честно, Коля,— начал я, чувствуя в себе нечто сродни творческому подъему, когда блуждания на ощупь кончаются и дальнейшее видишь наперед,— скажу тебе честно, Прохора этого, то есть Сережу Чаколинского, я не люблю... Что-то в нем чересчур пионерское... «Будь готов — всегда готов!» (Я знал, во всяком случае догадывался, что и у Коли то же ощущение, и тем самым контакт между нами еще более укрепляется.) Но личная ситуация у Сережи гораздо хуже, чем у тебя, Коля,— продолжал я.— У него отчим и так далее... И если возникнет опасность... Ты пойми меня правильно, ведь у отца твоего связи...

— Перестань об этом,— крикнул Коля, покраснев от оби-

ды,— что бы ни случилось, я не хочу преимуществ... Но я еще не понял суть дела...

— На Щусева написан донос,— сказал я.— У организации имеются такие сведения... Мы с тобой тоже должны написать донос, но такого характера, который либо убедил бы сотрудников КГБ, что человека явно пытаются оклеветать, либо, если засевшие в органах тайные сталинисты дадут все-таки нашему доносу ход, мы должны будем пойти на риск и разоблачить их публично, доказав, что сведения эти высосаны нами из пальца... Следовательно, и прошлый донос также окажется перечеркнутым... Сведения должны быть самые дикие и клеветнические... Ты меня понял? Ты готов?

— Да,— сказал Коля и крепко, по-мужски пожал мне руку.

Кажется невероятным, но этого простого и удачного объяснения не было у меня в начале разговора. Тем не менее я рискнул начать разговор, рассчитывая найти решение в процессе. И риск оказался оправданным. Коля был успокоен, и всякое подозрение с его стороны было нейтрализовано сознанием риска, а возможно, и жертвы, которую от него требовали. Так что сами подозрения относительно характера доноса в глазах Коли теперь выглядели как попытка отказаться от жертвы и избежать риска. Лучшего нельзя было и придумать для честного юноши. Мой план требовал лишь утверждения журналиста и Риты Михайловны.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

К завтраку неожиданно приехала Маша. Приезд ее я проморгал и увидел уже, когда она шла через двор, одетая с дачной смелостью, то есть в сарафан с оголенными плечами и босая. После тех оскорблений и унижений, которым она меня публично подвергла, нежность моя к ней исчезла, но страсть не утихла, а наоборот, я наблюдал за ней из кустов у забора с какой-то жестокой жадностью. Она прошла совсем рядом, как мне показалось, не заметив меня, и я сумел разглядеть у краев свободно сидящего сарафана белые, не тронутые солнцем девственные участки тела на груди ее и у плеч. Пахло же от нее по-телесному остро и по-дачному свободно и естественно — потом и еще чем-то пряным. Ни от одной женщины и даже от самой Маши ранее, когда я испытывал к ней нежность, не исходил такой манящий и дразнящий запах. Это не был запах любви, а зачатия, запах мгновения, обесценивающего долгую бытовую жизнь. Мышцы мои на-

пряглись, и мне вдруг показалось, что я стою чуть ли не готовый к прыжку. Лишь минут через пять после того, как Маша прошла, я несколько опомнился и отдышался. Судя по всему, Маша пошла к деревянному столу под деревьями, где в погожие дни семья журналиста завтракала и обедала. (Ужинали они, как правило, на застекленной веранде.) И действительно, за столом, где стояли сметана, творог, малосольные огурцы и дымящийся картофель, уже сидели журналист, Рита Михайловна и Маша. Коли не было, и это меня несколько насторожило. Рита Михайловна и журналист улыбнулись мне и показали на место рядом с Машей, которое было свободно.

— Ну нет уж,— глянув на меня как-то быстро и остро, сказала Маша.— Мне не очень приятно сидеть за столом с этим... Да еще рядом...

— Маша,— крикнула Рита Михайловна,— ты опять...

— Опять,— сказала Маша, и у рта ее появились упрямые, злобные складки,— опять, мама... Мне надоел этот маньяк... Черт знает кого вы приводите в дом... Если б вы видели, как он наблюдал за мной из кустов... Как волк... Я даже испугалась...

Значит, она заметила. Меня обдало холодной испариной, точно нечто стыдное, что скрываешь намертво, стало известно всем. Тем более что за столом после этих слов Маши наступила некоторая тягостная и неловкая пауза.

— Оставь свои капризы, Маша,— сказала наконец Рита Михайловна (журналист все время молчал, и мне показалось, что лицо у него опухшее от бессонницы. Этот вид мне хорошо знаком).— Ты красивая девушка,— продолжала Рита Михайловна, стремясь игривостью замаять неловкость,— неудивительно, что на тебя смотрят молодые люди.

— Молодые черносотенцы...

— Почему черносотенцы?— нарушил наконец молчание журналист.— Что ты вообще понимаешь в этом сложном для России вопросе?..

— Ах, для тебя это уже сложно,— резко сказала Маша,— быстро же ты деградируешь.

— Последнее время, Маша,— сказала Рита Михайловна,— ты не можешь посидеть с родителями за столом две минуты спокойно... Так, чтоб не наговорить пакостей... Ты ведь отлично знаешь, что твой отец всегда помогал и поддерживал евреев... У него все друзья евреи, так что отца самого даже считают евреем, несмотря на то, что он дворянин, уроженец Тверской губернии,— она сказала именно постарорежимному — «губернии»...— Русского человека вообще редко встретишь в нашем доме,— добавила она уже явно

некстати и заговариваясь, потому что и Маша и журналист одновременно посмотрели на Риту Михайловну протестующе, а Маша еще и возмущенно.

— Ну, мама, поздравляю,— сказала Маша,— договорилась ты до ручки... Мне-то наплевать, я взрослая, но Коля ведь еще мальчик...

— Ладно,— быстро сказал журналист,— давайте завтракать, а то мы тут наговорим...

Несмотря на вкусную пищу, ел я торопливо и без аппетита. Близость Маши волновала и пугала меня. А она, высказавшись, ела спокойно, совершенно не обращая на меня внимания.

— Кстати,— сказала она в конце завтрака, когда Глаша подала кофе,— кстати, сегодня у химиков в клубе интересный доклад... Конечно, анонимный, но все равно аншлаг... Билетов не достать, помещение ведь маленькое — столовая, которая по вечерам используется как клуб...

— Что значит «анонимный»,— спросил журналист,— в каком смысле?

— Ах, это теперь распространилось,— сказала Маша,— дается на утверждение в парторганизацию некая общая тема и некий приемлемый текст, а читается иное... Сегодня, например, доклад: «Интернациональный долг советского человека»... Цитаты из Ленина и Маркса... Но суть доклада в секретном пока подзаголовке, да и текст будет почти иной...

— Вот как,— сказал журналист,— какой же?

— Мифологические основы антисемитизма,— сказала Маша.

— Вот как,— снова повторил журналист, мне показалось, с интересом, потому что Рита Михайловна посмотрела на него с беспокойством.

— Искалечил страну Хрущев,— сказала нервно Рита Михайловна.

— Глупая ты, мама,— сказала Маша.— Тебе бы в Охотном ряду рыбой торговать...

— И это ты говоришь матери при чужом человеке?— сказала не нервно уже, а даже как-то устало Рита Михайловна.

— Но не я ведь приглашала сюда этого нахлебника,— сказала Маша, поглядев на меня со злобно-мстительной усмешкой.

— Можешь ты мне пойти навстречу, Маша?— спросила Рита Михайловна.

— Да, мама,— сказала Маша.

— Уезжай, Маша, с дачи сейчас же и не показывайся мне на глаза по крайней мере две недели...

— Хорошо, мама,— сказала Маша,— я так и сделаю.

Обе они говорили спокойно и тихо, несмотря на скандальность ситуации, но если у Риты Михайловны это шло от искренней усталости, вдруг ею овладевшей (очевидно, сказались и волнения ночи, о которых Маша, кажется, не знала), то у Маши это шло от некоего вежливого цинизма, который все-таки начал являться в ней после ряда общественно-политических разочарований, а также чисто женского напора ее цветущего молодого тела, которое она явно ущемляла.

Глянув на Машу (весь завтрак я не осмеливался на нее глядеть, ибо она заметила бы мой взгляд, но когда она поднималась из-за стола, я улучил момент и глянул), так вот, глянув быстро и исподтишка, я почему-то подумал, что, наверно, Маша часто плачет по ночам в подушку. Демонстративно насвистывая и шлепая босыми ногами, Маша ушла в дом, очевидно, переодеваться для поездки в город.

— Ох-хо-хо,— по-старушечьи тягостно вздохнул журналист.

— А где Коля?— спросил я.

— Едва Маша позвонила, что едет, мы его действительно отправили на соседнюю дачу... Нашли предлог... Маша последнее время совсем бешеная стала,— сказала Рита Михайловна.

— У меня все в порядке,— оглядываясь и понизив голос, сказал я.

— Уже?— удивленно и радостно спросила Рита Михайловна.— Говорили с Колей?

— Да... Он согласен... Конечно, пришлось кое-что придумать...— И я в двух словах изложил план доноса в КГБ и мотивы, по которым Коля согласился его подписать.

Рите Михайловне план крайне понравился, журналист же сидел задумавшись.

— Немного по-мальчишечьи,— сказал он наконец.

— Ну и прекрасно,— возразила Рита Михайловна.

— Тише,— сказал журналист.

Маша вышла, одетая по-городскому, в крахмальной, модной тогда юбке пузырьрем, высоко открывающей ее ноги.

— Машину мне не дашь, папа?— спросила она.

— Нет,— сказал журналист,— мне она понадобится.

— Что ж, я на автобусике,— сказала Маша,— если будешь в городе, заходи... А то о тебе давно уже говорят, что ты заперся и вернулся к своему сталинизму. Мы тебе билет оста-

вим. Может, в дискуссии выступишь... Будет Арский. И из духовной семинарии профессор.

— Мне некогда,— сказал журналист.

— Еще чего не хватало,— добавила Рита Михайловна,— нашла компанию для отца, и так он уже достаточно наделал ошибок.

— Как знаешь,— обращаясь к одному лишь журналисту и грубо игнорируя мать, сказала Маша,— Коле привет... Прячете его от меня... А этого антисемита ему в опекуны выбрали.— Она вдруг повернулась ко мне, погрозила мне кулаком и крикнула: — Эй, ты, махровый... Говнюк черносотенный... Голову оторвем...

Это было настолько дико и неожиданно даже и для родителей, не говоря уже обо мне, что мы секунду-другую сидели молча, ошарашенные, после того, как хлопнула калитка.

— Напрасно мы ее отпустили,— сказал журналист, вскакивая,— с ней что-то происходит... Ее надо вернуть. Я не узнаю ее, буквально другой человек...— Он подошел к калитке, но Маши уже не было.— Какого черта ты с ней ругалась?— грубо и не стесняясь меня, крикнул журналист жене.— Выгнала дочь из дому, мать называется...

— Ради бога, не сейчас,— тоже нервничая и волнуясь, говорила Рита Михайловна,— наверное, что-то с этим Висовиным... Я что-то слышала, что он в психиатричке... Правда это или неправда, не знаю... Понятно, она нервничает, но ведет себя совершенно по-уличному... И это ты виноват... Ты... ты... Со своими антисоветскими штучками... Со своими евреями.— Она зарыдала громко и грубо, но журналист, не обращая внимания, очевидно, привыкший, да и отвлеченный иным, сказал мне:

— Молодой человек, догоните Машу... Попросите вернуться... Вы молоды, резвы, может, успеете... Скажите, отец просит вернуться... Из калитки налево и вдоль забора... Это к автобусной остановке...

Я выбежал и понесся изо всех сил, довольный тем, что есть возможность не присутствовать при разгаре грубого семейного скандала, который меня всегда пугал, с кем бы и где бы это ни случилось. Да и к тому же был предлог вступить в контакт с Машей. Бегать я умею и даже люблю, и бежал довольно резво по тропке вдоль дачных заборов, но, очевидно, и Маша шла очень быстро или даже бежала, потому что увидел я ее лишь миновав дачную улицу и выйдя в поле на открытую местность. Окликать ее здесь было неудобно, поскольку множество людей шло по полю от дачного поселка к шоссе. Поэтому я побежал изо всех сил, беря правой с тем,

чтобы опередить Машу и оказаться перед ней лицом к лицу. Так оно и случилось. Очевидно, вид у меня был странный, да и появление мое крайне неожиданно, потому что Маша в первое мгновение опешила.

— Маша,— сказал я, задыхаясь от бега и внезапной резкой остановки, так что сердцу моему стало так тесно в груди, что оно, казалось, вот-вот расшибет ее или само расшибется и сломается от бешеного своего стука.— Маша,— повторил я, делая частые паузы меж словами, ибо воздух мешал мне и было ощущение дыхания как трудной работы, которую приходилось выполнять и растрчивать на нее силы, нужные мне, чтоб сосредоточиться и удачным высказыванием повлиять на Машу.— Маша,— в третий раз, после долгой паузы, повторил я,— за что вы так со мной?.. У меня была такая тяжелая жизнь...

Это было хоть и неожиданно и искренне, но неинтересно и не ново. Кажется, в крайних ситуациях у меня уже вырывались подобные восклицания. И действительно, с лица у Маши исчезла растерянность, вызванная моим внезапным появлением, и обозначилась столь опасная для меня язвительная насмешка.

— Ну и что же,— язвительно-злбно сказала Маша,— если вы страдали в жизни, так обязательно должны ненавидеть евреев?..

— Маша,— сказал я,— да о чем вы... Я и сам точно не знаю своего происхождения...

— Не мелите вздор,— строго сказала Маша,— ваша антисемитская группа Щусева зарегистрирована у нас под номером вторым.

— Я давно порвал со Щусевым,— торопливо и горячо говорил я, ибо заметил, что Маша сделала нетерпеливое движение, собираясь идти далее,— я, собственно, здесь нахожусь, потому что родители ваши хотят через меня повлиять на Колю... Чтобы и его оторвать от этих мерзавцев... Может, этого и не следует говорить, кажется, ваши родители скрывают от вас, но я уж на свой страх и риск...

— Вот как,— сказала Маша и, мне кажется, более внимательно и спокойно поглядела на меня.

Поверьте мне, Маша,— торопливо говорил я, стремясь не упустить благоприятный момент, который, кажется, наступал,— ради вас я готов на все...

— Вот как,— повторила Маша,— а почему вы так неприятно наблюдали за мной из кустов... Мне даже страшно стало...

— Да, да,— горячо говорил я,— да, Маша, да... Я време-

нами ненавидел... и желал... по-животному...— Кажется, у меня происходило полное нравственное самообнажение, вызванное эмоциональной горячностью, но, к счастью, как говорится, язык мой не поспевал за мыслями и речь моя состояла из малоинтересных обрывков, ничего особенно постыдного я о себе не выболтал, хоть вполне мог, ибо под взглядом Маши чувствовал приступ полного откровения, как на исповеди.

— Ну ладно,— сказала она как-то по-отцовски, то есть с интонацией журналиста в голосе (у Маши и обороты речи, как я заметил, были отцовские).— Ладно, я вижу, вы чересчур возбуждены... Ладно... А насчет Коли это хорошо... Колю от меня прячут, от моего влияния... А ведь мальчик может совершенно погибнуть... Ведь он оказался в банде и был вовлечен туда собственными родителями.

— Ну, насчет родителей вы уж преувеличиваете,— осмелился вставить я.

— Замолчите,— капризно, по-женски топнув ногой, сказала Маша.— Вы ничего не знаете... Отец их финансировал...

— Ну, не думаю, что ваш отец антисемит,— пытался, хоть и робко и невпопад, возражать я, дабы доказать Маше с первых же совместных шагов (а я верил, что мы наконец делаем первые совместные шаги), итак, дабы доказать, что я хоть и люблю ее безумно, но в вопросах нравственных принципиален. Я знал, что Маше это должно понравиться.

— Ах, не в этом дело,— сказала Маша тихо и уже без злобы и напора (я внутренне торжествовал),— мой отец безвольный человек... А в такой стране, как Россия, безвольные люди обязательно должны прийти к антисемитизму... Ибо это то, куда несет тебя течение само собой... Вы знаете, чем-то он мне напоминает Висовина... Здесь они подобны...

— А что с Христофором?— спросил я с участием, даже несколько преувеличенным, чтоб скрыть радостную надежду, во мне затеплившуюся. Не по тону даже, а по оттенку я чувствовал, что столь опасный соперник устранен.

— Я порвала с ним,— твердо сказала Маша,— он отказался поддержать меня в деле, которому я решила посвятить свою жизнь... С антисемитизмом в России в основном борются сами евреи, а должны бороться русские... Я говорю с вами так прямо, потому что мне нечего скрывать... Я убеждена, что о нашей группе давно знают органы... И еще одна причина: я насчет Коли... Если вы уж так хорошо ко мне относитесь и имеете влияние на Колю... Причем родители вам доверяют... Отойдите в сторону...

Мы сошли с тропинки и отошли к кустам.

— Скажу вам прямо,—начала Маша,—я являюсь членом исполнительного комитета Русского национального общества имени Троицкого... Конечно, я бы никогда вам этого не сказала, если б не знала, что о нас и так уже все известно КГБ... Но мы не подпольная организация, мы общественная добровольная организация, которая действует в соответствии с конституцией... Впрочем, излишне болтать об этом все-таки не стоит, сами понимаете... Вы ведь в меня влюблены?—вдруг спросила Маша прямо и несколько цинично. (Как я уже говорил, даже я заметил в Маше перемену в этом смысле, хоть знаю ее недолго. Тут вопрос, очевидно, даже и не месяцев, а недель.)

— Да,—сказал я растерянно,—влюблен.

— Ну и хорошо,—сказала Маша,—иногда это полезно для идеи... Только не смейте на меня больше смотреть, как сегодня из кустов...

— Клянусь вам,—с жаром воскликнул я.

— Ну хорошо, хорошо, верю вам,—сказала Маша,—но надеюсь, вы понимаете, что я откровенна с вами не ради вас, а ради Коли. Коля мне брат, чудесный мальчик и вообще, по моему, единственный человек, которого я люблю. Если вы поможете мне оторвать его от тех мерзавцев, от той сволочи и привлечь к нам, то я буду вам весьма и весьма...

— Но собственно говоря...—замаялся я, не зная, как точнее и попроще спросить у Маши об обществе, чтоб не обидеть ее и не вызвать подозрений.

— Вы хотите подробностей об обществе?—пришла Маша мне на помощь.—Русское национальное общество имени Троицкого ставит своей целью борьбу со всеми формами личного и общественного антисемитизма в нашей стране. Несмотря на то что общество именуется «русское», это свидетельствует скорее о его цели, чем о национальном составе его членов. Мы принимаем к нам всех, кроме евреев, чтоб враги наши не обвинили нас в пристрастии. Не обвинили в том, что мы еврейская организация, ибо, согласно еврейскому характеру, войди они в нашу организацию, обязательно возглавили бы ее в конечном итоге, если не прямо, так косвенно...

— Ну а кто такой этот Троицкий?

— Это покойный профессор петербургской духовной академии... Вопреки официальной линии православной церкви, был экспертом защиты на ритуальном процессе Бейлиса... Слышали о деле Бейлиса?

— Слышал,—сказал я,—но мельком... Еще вопрос, если не секрет, сколько вас?

— Пока пятеро,—сказала Маша,—но дело не в количе-

стве... Например, какого-нибудь крикуна Арского мы ни за что бы не приняли... Не скрою, насчет вас, конечно, у меня сомнение, но в конце концов важно, чтобы вы привели Колю... Приведете?

— Приведу,— с жаром сказал я,— и обо мне вы так напрасно...— я прижал ладонь к груди.

— Ладно, не люблю клясть,— сказала Маша.— Пока что возьмите,— она открыла сумочку и протянула мне приглашенный билет,— это на вечер отдыха химиков... Сегодня в семь... Там будет прочитан доклад и дискуссия... Все это организуется нами... Нашей организацией... Приведите Колю туда, это вам будет проверка...— Она повернулась и пошла к шоссе, потом остановилась и сказала: — Разумеется, родителям ни слова, особенно маме.

Я провожал ее взглядом, пока она не села в автобус и не поехала, а после этого крепко и страстно прижал к губам приглашенный билет, пахнувший Машинными духами. (Одевшись в дорогу, она пахла теперь по-городскому, не остро и телесно, а утонченно и недоступно.)

— Она все-таки уехала,— сказал я, вернувшись, журналисту и Рите Михайловне.

Они по-прежнему сидели за деревянным столом под деревьями, но посуда со стола была уже убрана и стол чисто вытерт.

— Еще бы,— сказала Рита Михайловна, чтоб уязвить мужа,— надо же додуматься— посылать за Машей этого молодца... Она ведь его ненавидит...

Я посмотрел на Риту Михайловну с тревогой, а «молодец» совсем меня напугал. В этой семье была своя дипломатия, и, выполнив поручение журналиста, я тем самым действовал против Риты Михайловны. Нет, если вопрос станет «или — или», то уж конечно Рита Михайловна, а не журналист. Как будто они во мне нуждаются, но в то же время, кажется, что-то произошло, что их успокоило, да и возможно, ночная тревога была преувеличена, что нередко случается с людьми истеричными. Так мыслил я, готовя первую фразу, где сразу должно было быть все: и косвенное извинение перед Ритой Михайловной, и косвенное же заверение в верности ей, и проверка ситуации вокруг доноса, и в то же время не перечеркивание и доброго моего отношения с журналистом.

— Нам с Колей надо бы еще поговорить,— сказал я, обращаясь к Рите Михайловне и тем самым покорно и публично «проглатывая» ее «молодца»,— а Маша уехала успокоенная,— добавил я и журналисту,— просто у нее дела в городе...

Интересного продолжения найдено не было, но все-таки кое-чего мне удалось добиться, противоборство смягчилось, и Рита Михайловна безусловно оценила то, что если ночью я вспылил на ее замечание, то ныне я стал более «дрессированным» и покладистым. (Они явно нуждались теперь во мне меньше, вот откуда покладистость.)

— Знаете,— подтвердил мою догадку журналист,— насчет объяснительной в КГБ, возможно, и ложная тревога... Я сейчас говорил с моим приятелем по телефону... Возможно, и так уладится... Но, конечно, все может случиться...

— А Коля? — мягко и настойчиво активизировался я.— Коля ведь уже подготовлен.

— Да, да,— задумчиво сказал журналист,— во всяком случае мы эту бумагу напишем и передадим ее в случае крайней необходимости.

— Тебе надо сегодня же опять встретиться с Романом Ивановичем,— сказала Рита Михайловна.— Посоветоваться... Показать ему текст.

— Да не в тексте дело,— сказал журналист.— С текстом-то мы разберемся. Важна ситуация...— Он встал и положил мне руку на плечо.— Пойдемте сочинять,— сказал он с усмешкой,— помогу... Лучше это без Коли...

Мы прошли в его кабинет, который здесь на даче был также обширен и богат, со старинной мебелью красного дерева и шкафами книг вдоль стен. Я сел на краешек дивана.

— Нет,— сказал журналист,— садитесь к столу, пишите, а я буду диктовать... Правда, вчера я уже кое-что набросал, у меня заготовлено,— он протянул мне бумагу, которую достал из лежащей на тумбочке книги.

Я присел к обширному письменному столу, на котором была пачка чистой бумаги и множество дорогих авторучек в футлярах, и положил черновик доноса, написанный журналистом.

— Пишите,— сказал журналист, правда, предварительно плотно закрыв окно и повернув ключ в дверях, но все это он проделал, как мне показалось, привычно и мимоходом.— В Комитет государственной безопасности,— начал он,— с уважением, которого вы заслуживаете, сообщаем вам.— Мне кажется, это тоже было стандартное словопостроение, которое употреблялось в этих случаях, в черновике было то же начало.— Сообщаем вам... Вы пишите,— обернулся ко мне журналист.

Я взял одну из авторучек и начал торопливо писать. Журналист быстро и ясно, почти без запинок, продиктовал мне о том, что я и Коля были втянуты Щусевым П. А. в антисо-

ветскую организацию, которую по молодости и неопытности мы первоначально воспринимали как просто некий литературный клуб, созданный для самообразования, а также для обсуждения проблем, связанных с ликвидацией последствий культа личности, согласно решений XX съезда партии. (То же было в черновике, слово в слово.)

— Ничего, ничего, пишите,— сказал журналист, заметив, что я сижу в задумчивости,— может, это и несколько туповато, но тем лучше.

— Не в том дело,— сказал я.— Мы с Колей договорились, что донос должен носить чрезвычайно острый, чуть ли не клеветнический характер, чтоб впоследствии можно было бы публично доказать его несостоятельность. Иначе Коля не подпишет и даже может заподозрить... Вы меня понимаете?

— А ты парень способный,— сказал журналист на «ты» и снова как-то странно улыбнулся.

— Надо обязательно упомянуть о том,— сказал я,— что Щусев совершил убийство замполита режимного лагеря, его жены и ребенка... То, о чем вы рассказывали, то, в чем его подозревают. Коля честный мальчик, он верит в Щусева хотя бы потому, что Щусева пытали в концлагере. Человек, прошедший сквозь пытки, для него свят и неспособен убить ребенка. Это для него явная клевета. Таким образом все может сложиться весьма удачно. Тут даже повод для доноса. Услышали, мол, случайно. Подслушали об убийствах, и это открыло нам глаза.

— А вы способный человек,— снова повторил журналист, глядя на меня с каким-то неожиданно напряженным вниманием и употребив на этот раз вместо несколько покровительственного «парень» и «ты» уважительное «вы» и «человек»; он сел на диван и вдруг спросил: — Я слышал, у вас мечта?..

Я покраснел. Все-таки какая глупость, что я доверился Коле в самом сокровенном.

— Вы меня не стесняйтесь,— сказал журналист очень серьезно,— я в вас, кажется, начинаю верить. Вы, конечно, еще зрете, путаетесь, ищете свое... Но почему бы и нет?.. В конце-то концов да здравствует товарищ Цвибышев! Почему бы и нет?.. Или вам по душе «ваше превосходительство»?.. Кстати, каковы ваши политические взгляды?.. Удивительное дело, шума много, мнений множество, но ясных политических взглядов ни у кого не поймешь...

Начал он серьезно, но потом в нем, чуть ли не на середине фразы, произошел некий сатирический поворот, который он даже и сам не хотел допускать, просто выиграла его обличия

тельная суть. Очевидно, журналист это почувствовал, потому что он очень скоро вернулся опять к серьезу.

— Вы простите меня,—сказал он,—занесло, весьма некстати, не в ту сторону... Вот только что я хотел вам сказать честно и откровенно... Конечно, то, что вы окажетесь во главе России, это весьма по шансам ничтожно. Во всяком случае, пока я так мыслю. Но то, что вы этого желаете, уже вас как-то выделяет из миллионов сограждан. Я, например, этого не желаю, так что по сравнению со мной шансы у вас уже предпочтительнее. Но вот что я хотел бы вам сказать. Советская власть делает огромное количество глупостей и даже безобразий, но послушайте меня, старого, много прожившего и передумавшего человека... В советской власти Россия нашла свое. В период активности народа, наступившей в XX веке, любая другая власть погубит Россию... Учтите это. Властолюбцы редко бывают патриотами, но счастье того властолюбца, чьи стремленья совпадают с народным движением. В противном случае его пеплом выстреливают из пушки, как случилось, например, с лже-Дмитрием. Советская власть необходима России и рождена ее историей. Вместо нее может явиться только худшее. И это мягко говоря. Это худшее может найти сторонников, много сторонников. Миллионы. Тут ведь счет ведется десятками миллионов людей и сотнями тысяч километров. Таковы масштабы. И вот в таких-то масштабах советская власть огромная находка и огромное благо, за которое всякий разумный человек спасибо должен сказать, несмотря ни на что. Ведь эти масштабы, эти миллионы людей и сотни тысяч километров и иное родить могут себе и миру на погибель...

Чувствовалось, что журналиста прорвало и он высказал наболевшее, но до конца не додуманное, может, даже и свои сокровенные ночные мысли. Некоторое время мы сидели молча.

— Вы дописывайте,—сказал журналист наконец.—Как задумали, так и дописывайте.

Я дописал донос и показал его журналисту.

— Ну что же, отлично,—сказал он.—И весьма убедительно. Но дату пока не ставьте.

Я совсем осмелел и, вынуд пригласительный, показал его журналисту.

— Вот,—сказал я,—Маша оставила. Приглашает сегодня в семь.

— Надо поехать,—сказал журналист, очевидно, что-то взвешивая в мыслях своих.—Ну конечно, надо. Там молодежь соберется. Давно уже я с молодежью не общался. Но то-

лько по возможности незаметно. (Последнее, как я понял, был явный самообман и самоуспокоение.)

— И Колю с собой возьмем,— помня об обещании, данном Маше, вставил я, радуясь, что все так удачно складывается.

— Колю? — поморщился журналист. — Ну ладно, но только чтоб жена не знала... Впрочем, ведь она сама и предложила встретиться сегодня с Романом... Так что повод для поездки в город есть.

— Я, пожалуй, пойду,— сказал я,— вдруг Коля вернулся. Не хочется, чтоб он знал о вашем участии в этом... В этом доносе...

— Что значит — не хочется! — крикнул журналист. — Это просто смерти подобно... Ну идите...

Я вышел, оставив журналиста по-прежнему в напряженной задумчивости. Я даже и не сомневался, что он думает о поездке на студенческий диспут. Что-то в нем созрело.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Коля вернулся к обеду. Он, кажется, не подозревал, что отослали его умышленно, и вообще, невзирая ни на что, он, пожалуй, оставался доверчивым мальчиком. Отсюда ясно, сколь сложной была моя задача, ибо всякий, кто имеет касательство к серьезной интриге, знает, что, вопреки общепринятому мнению, гораздо легче в делах опасных иметь дело с человеком подозрительным и недоверчивым, чем с откровенным и наивным. Для того чтоб рассеять опасения последнего, коль они уже возникли, нужна не находчивость и бойкость ума, а искренность во лжи, то есть способность на мгновение и самому поверить в собственную ложь. Два опасных и трудных разговора, которые я имел с Колей, убедили меня, что этим чрезвычайно важным качеством я обладаю. Оно тем более ценно, что является не качеством ума, которое можно развить, а качеством характера, которое созревает помимо твоей воли и зависит от внешних обстоятельств. Журналист, например, при всем его уме и литературном таланте этим качеством не обладал, но, будучи психологом, возможно, угадывал это качество во мне, и это была еще одна дополнительная причина, по которой меня привлекли к делу. Самому журналисту вряд ли удалось бы в делах крайнего и жизненно важного плана обмануть такого чистого и наивного мальчика, каким являлся Коля, хоть в быту он его обманывал легко и сво-

бодно, как вообще родители часто обманывают детей во имя их же блага.

После обеда, чрезвычайно вкусного (фаршированная индейка) и доселе мне неизвестного (я даже и не подозревал до последнего времени, несмотря на все мои мечты, как приятна и вкусна может быть жизнь в достатке), после обеда мы с Колей удалились в лес, и я протянул ему донос в КГБ, мной уже подписанный. Он прочитал и уселся на пенек, прикрыв глаза.

— Что?— не скрывая тревоги, спросил я. (В этом было мое достоинство во взаимоотношениях с Колей. Я ничего не скрывал от него в смысле не сути, а чувств.)

— Какая мерзость,— сказал Коля.

— Что же делать?— сказал я.— Это необходимо. Надо быть готовым к тому, что многие порядочные люди начнут нас считать мерзавцами и стукачами.

— Да,— сказал Коля, и, взяв протянутую мной авторучку, подписал.— Вот мы и стали с тобой стукачами,— сказал он горько-горько, как могут сокрушаться только дети.

— Это решение организации,— сказал я.

— Понимаю,— печально сказал Коля.

Было самое время сообщить ему о поездке, которая должна была его безусловно обрадовать. Я умышленно не сообщил ему ранее (всюду необходим в делах такого рода расчет), ибо знал, что он, конечно, огорчится, подписывая донос. То есть его огорчит сам процесс подписи, поскольку к факту этому он был мною уже подготовлен ранее. Сообщение о поездке на диспут поэтому сейчас «выстрелило» точно к месту. Коля всплеснул руками и вскочил с пенька. (Детская непосредственность и резкий переход от одного чувства к другому. Это тоже надо учитывать.)

— Только Рите Михайловне о диспуте ни слова,— сказал я, еще более подсластив для Коли это сообщение.

Коля некоторое время, по крайней мере не менее недели, провел взаперти, в домашней тюрьме, если можно так выразиться. В связи с моим приездом и моей обработкой его, приведшей к примирению Коли с родителями, ему было разрешено свободно гулять и даже отменен визит психиатра Соловьева, чтоб Колю не травмировать. Но от дел оппозиционного характера он был отстранен. А между тем его эмоциональные стремления, формирующиеся в период юношеского полового созревания, были обращены и взаимосвязаны именно с оппозиционной направленностью ума и обличительством по отношению ко всем официальным явлениям. Сначала это происходило в доме под влиянием отца, а затем и самостоятельно в компаниях. Конечно, Коля мог уехать с дачи в город,

встретиться с друзьями, опять окунуться в столь дорогую для него стихию, но такое могло произойти в момент противоборства с родителями и в момент негодования по их адресу, но не в момент примирения с ними и даже раскаяния за причиненные им огорчения. Ибо, повторяю, в психологическом фундаменте своем, который закладывался в более спокойные и ясные для семьи журналиста сталинские годы, в психологическом фундаменте своем Коля был добрый и мягкий мальчик. Вот почему сообщенная мной весть о том, что мы с Колиным отцом едем на студенческий диспут, была для Коли тем же, что для его политически пассивных сверстников весть о свидании с любимой девочкой после насильственной с ней разлуки. В школьной любви ведь есть своя неповторимость. Неприятные обстоятельства, связанные с необходимостью поставить свою подпись под доносом на Шусева, по видимому, были если не забыты, то утоплены в нахлынувшем радостном возбуждении. (Счастливым свойством юности.) И вообще Коля так возбудился, движения его стали так суетливы и резки, что я даже забеспокоился, не выболтает ли он по наивности своей Рите Михайловне о диспуте, и потому вынужден был ему о том напомнить. Коля тут же притих, но глаза его сияли по-прежнему возбужденно.

К счастью, Рита Михайловна так обрадовалась перемене к лучшему в состоянии Коли после страшной, больной недели, полной ненависти к ней и отцу со стороны их любимого сына, так обрадовалась, что при всей своей подозрительности (вот она-то как раз и была подозрительна в бытовом смысле этого слова), при всей подозрительности своей она попросту в данном случае не позволила отравить себе материнскую радость от выздоровления сына какими-либо побочными мотивами. На журналиста же она, всецело отвлеченная Колей, ее любимцем, внимания не обратила. А между тем с ним явно что-то происходило, и возможно даже, он принимал в тот момент некое важное решение, ибо в лице его я заметил бледность и на какой-то мой вопрос, чисто бытовой и мелкий, он ответил вяло, явно стараясь не тратить себя на постороннее и не быть отвлеченным от внутреннего своего состояния. В машине он сел рядом с шофером, тем самым Виктором, который, находясь еще в плену старых представлений о либеральном характере этой семьи, пытался в виде лести при Рите Михайловне хвалить евреев, дабы доказать ей и свою простонародную шоферскую либеральность. И был за это ею же одернут. Сейчас Виктор, опытный дипломат, еще не разобравшись в новых противоречивых явлениях внутри семьи своих работодателей, разумно молчал.

В машине журналист несколько успокоился и даже порозвел лицом (я за ним осторожно наблюдал), но был молчалив. Мы же с Колей на заднем сиденье болтали без умолку, хотя все по пустякам. Коля болтовней этой выражал свою радость по поводу выезда, я же ему подыгрывал. В городе журналист велел Виктору сперва заехать на квартиру. (Времени у нас хватало, ибо выехали мы тотчас же, почти после обеда.) Мы с Колей остались внизу в машине, журналист поднялся в квартиру, но был там недолго, минут десять. Я останавливаюсь на этих бытовых подробностях, ибо хочу опровергнуть утверждения журналиста о том, что в его действиях на диспуте было более импровизации, чем умысла. Нет, уверен, что, едва услышав о диспуте, он замыслил и с каждым разом все более укреплялся в желании выступить после длительного (чуть ли не двухгодичного) перерыва перед молодежью с программной речью, в которой явятся новые элементы, недавно в нем созревшие и требующие публичности. Было также и желание публично опровергнуть слухи о его возврате к сталинизму. Возможно, он даже рассчитывал на далеко идущие последствия. Хотел вновь увлечь молодежь за собой и стать ее лидером, но теперь уже увлечь в совершенно ином, неожиданном направлении. (Он верил, что молодежь обожает неожиданности.) Причем думаю, что тезисы этой речи хранились в его городском кабинете на квартире, и, поднявшись, он взял эти тезисы с собой. (На диспуте я разглядел в его руках листки, что исключает импровизацию.)

Как я уже сказал, выехали мы рано, но тем не менее перед студенческой столовой в общежитии химиков было много народу, главным образом молодежи. Перед скромными дверями студенческой столовой стояла толпа, в которой мы с трудом пробрались ко входу. Здесь стояло пятеро крепких ребят, явно институтских спортсменов, с повязками на рукавах. Наш пригласительный был на два лица, нас же было трое. Правда, журналист рассчитывал, что его узнают и пропустят, но его не узнали и не пропустили.

— Ошибаешься, папаша,— сказал ему прыщавый парень,— здесь воблу не дают.

Коля хотел было броситься, но я его удержал.

— Идите, ребята, сами,— тихо и как-то потерянно сказал журналист.

Видно, этот глупый инцидент чрезмерно подействовал на него, считавшего себя личностью известной и до недавнего времени чуть ли не вождем молодежи.

Мы пробрались в вестибюль и у вешалки столкнулись

с Машей, у которой на рукаве также была красная повязка дежурной. Брат и сестра обнялись.

— Милый ты мой мальчик,— сказала Маша.— Я по тебе очень соскучилась.

— Там папа,— сказал Коля,— его не пропустили. И какой-то болван даже обидел его.

— Коля преувеличивает,— поспешно сказал я. (Не хватает еще преждевременного скандала. То, что скандал будет, я не сомневался, у меня в таких делах опыт, но не хотелось, чтоб скандал этот случился по пустяку и не вовремя.)— Просто у двери какой-то провинциал не узнал вашего отца,— добавил я.

— Сейчас,— сказала Маша,— а вы, мальчики, проходите (это «мальчики» было мне наградой за то, что я выполнил обещание и привел Колю). Вы проходите и займите места... Я папу приведу...

Действительно, насчет мест сказано было вовремя, поскольку почти вся зала, длинная и узкая, с колоннами, большими, витринного типа окнами и буфетной пустой стойкой в углу, была уже заполнена. На маленькой эстраде, где во время студенческих вечеров отдыха, очевидно, играл самодеятельный оркестр, теперь стояло два составленных между собой обеденных столов, застланных красным куском материи, похоже, лозунгом наизнанку, ибо на красном полотне проступали белые меловые полосы. У входа висела большая, выполненная в красках афиша, извещавшая о том, что в клубе состоится доклад и диспут на тему: «Интернациональный долг русского большинства», докладчик А. Иванов. Но внутри помещения на одной из колонн была прикреплена кнопками написанная от руки чернилами маленькая афишка, в которой доклад назывался: «Мифологические основы антисемитизма».

Мы устроились на скамейке неподалеку от буфетной стойки. Эстрада отсюда видна была наискосок и не полностью, тем не менее, несмотря на то что явились мы заранее, это было лучшее, на что можно было рассчитывать. Вскоре мы заметили журналиста, который растерянно и близоруко оглядывался у внутренних дверей из вестибюля в зал. Его уже несколько раз толкнула снующая взад и вперед молодая публика. Коля окликнул его, и он пробрался к нам, какой-то весь притихший и неуверенный в себе. Но вскоре, отсидевшись и отдышавшись, он несколько видоизменился, в том смысле что даже приобрел ту легкость в лице, каковой у него не было и ранее, когда он принял решение туда ехать, и каковая является у людей, насмехающихся в душе над своими собственны-

ми глупостями и надеждами. Естественно, тут присутствуют все атрибуты, присущие данному состоянию, а именно — легкое покачивание головой и мягкая добрая печаль, переходящая в цинизм. О том, что я правильно засек его состояние, свидетельствует и фраза, у него вырвавшаяся, пожалуй невольно, а значит искренне.

— Ах, милые ребята, — сказал он, покачивая головой, — как мало мы значим лично... Мы всего лишь символы момента.

Впрочем, во фразе этой проскальзывала и обида, которая не гармонировала и не соответствовала тому циничному взгляду «сверху» на происходящее, которым журналист пытался себя душевно укрепить.

Между тем зала уже заполнилась совершенно, и те, кто не имели мест, пробирались вдоль стен и нависали сзади над головой. Было тесно, и становилось жарко, а между тем еще даже не начиналось. Маша мелькала в разных концах залы, энергичная, с живым румянцем и удивительно красивая. У нее был вид человека, который после долгой путаницы, увлечений и разочарований наконец нашел себя в добром, как она считала, и активном деле. У меня складывалось впечатление, что она является душой и организатором если не Русского национального общества имени Троицкого в целом, то во всяком случае данного доклада, а защита «веками гонимого еврейства» была для нее ныне целью и смыслом жизни, «долгом русского человека». (Все это ее собственные выражения.) А как известно, если цветущая, но ущемляющая себя в женском девушка, чистая и честная, не мыслящая себе покорения сладостному инстинкту без столь редкой в жизни большой любви, так вот, если такая девушка обретает устойчивую цель, то все нерастраченные живые соки ее питают эту цель по-женски и по-матерински, то есть часто даже и слепо...

Наконец, после долгого ожидания и даже шикания нетерпеливых, на эстраду поднялся широколицый простодушный блондин. Я, признаюсь, удивился, ибо, судя по теме доклада, представлял себе А. Иванова человеком более острой внешности. И действительно, мое чутье не обмануло меня и на сей раз. Это был не докладчик, а председательствующий, добродушный и простодушный, явно деревенский парень из институтского комитета комсомола, взятый, по-моему, для прикрытия и, пожалуй, единственный из собравшихся не отдающий себе отчета, что именно должно произойти и ради чего здесь собрались. И это несмотря на то, что собрание было разрешено под его эгидой и под его ответственность.

— Ребята, — сказал блондин, — сейчас наш гость из уни-

верситета, Саша Иванов, прочтет нам доклад на важную и нужную интернациональную тему, а потом состоится дискуссия и танцы... Пожалуйста, Саша...

На эстраду легко и быстро поднялся докладчик, и вот он-то по своему внешнему облику не обманул моих ожиданий. Был он тщедушен и худ, имел нос «уточкой», и было в нем что-то раздражающее чужой глаз, то есть глаз людей, с ним незнакомых и видящих впервые. Когда он явился, послышался даже смешок, и кто-то в середине зала сказал довольно громко:

— Ну, ясно...

Засмеялись еще несколько голосов. Я понял, что на доклад явились не только сторонники или пассивно любопытные (таких, конечно, было большинство), но и противники, возможно даже с целью сорвать доклад. И действительно, по зале после реплик прошел шумок, все оборачивались, перешептывались, и я заметил, что Маша и еще два активиста куда-то беспокойно двинулись, вытянув шеи и стараясь разглядеть крикунов в толпе. Но в этот момент докладчик вдруг сказал неожиданно низким для своей комплекции голосом:

— Я хочу начать с разъяснений по поводу усмешек и реплик, здесь прозвучавших. Конечно же, в нас много сатиричного и нелепого. Мы и сами знаем, что пока смешны...

— А ваши подзащитные это понимают? — спросил какой-то с русско-татарскими скулами, поднявшись из середины толпы. Мне показалось, что я где-то видел его.

— То есть? — быстро посмотрел докладчик.

— Ваши евреи?..

— В данном случае нашими подзащитными являются не евреи, а русские. Их мы намерены защищать и излечивать, ибо главная опасность угрожает именно им. Ненависть, как и гной, угрожает всегда более тем, в ком она содержится и развивается.

— Вот именно, — вставил кто-то рядом со скуластым, — неизвестно, кто кого более ненавидит. Если б евреев было большинство, они б с нас живых шкуру содрали...

— Если б евреев было большинство, — сказал Иванов, — тогда б это была их проблема, а поскольку в большинстве мы, это наша проблема... Я излагаю только факты... Они печальны и трагичны для нашего народа...

— Заплачь... — выкрикнул еще кто-то, но это уже был попросту уличный выкрик, и кричавшего одернули, кажется, даже сами свои, которые намеревались развернуть серьезную полемику.

— Это сталинисты орут,— сказал Коля,— сволочи... Кто им пригласительные достал?

Журналист посмотрел на сына и почему-то едва заметно усмехнулся.

— Товарищи,— застучал ладонью о стол председательствующий блондин,— что за базар?.. Перестаньте прерывать докладчика... Мы крикунов выведем... И докладчика я попрошу не вступать в пререкания с аудиторией и не отвлекаться от темы: нашего советского интернационализма.

Бедный парень уже чуял недоброе, но тем не менее все еще надеялся провести запланированное мероприятие в нужном ключе. Рукописной же афишки, прикрепленной кнопками к колонне, он попросту не видал. (В этом все впоследствии убедились.)

— Итак, прошу,— обернулся он к докладчику.

— Конечно,— начал Иванов с середины фразы (оказывается, это неплохой ораторский прием),— конечно, в нас много сатиричности и даже в чем-то фиглярства, однако в целом сатиричность и фиглярство здесь по форме, суть же свидетельствует о возрождении после долгой спячки русской общественной совести. Пусть не по сердцу еще совести, глубокой и эмоциональной, а совести на уровне моды и правил хорошего тона.

Добродушный председательствующий, представитель комитета комсомола, снова было забеспокоился от слов докладчика и даже привстал, но прервать не решился, во-первых, потому, что аудитория наконец успокоилась и тем самым порядок прохождения запланированного мероприятия был восстановлен, а во-вторых, потому, что в сказанном докладчиком хоть и была опасность, но опасность, пока, в общем, неуловимая, кроме конечной фразы о возрождении после долгой спячки совести. Но и это в конце концов можно было понять как восстановление норм, попранных культом личности, о чем писала в настоящее время вся центральная пресса.

— Собственно русское, чеховское, общество,— продолжил докладчик,— несмотря на свою малочисленность, окруженное невежеством и животными инстинктами, сохраняло за собой святое право быть хранителем чести нации именно благодаря господствующим в нем правилам хорошего тона, а не истинно глубокой, так называемой «сердечной совести». Сердечная совесть безусловно существовала и цементировала общество, но на нее способны были весьма немногие.— Иванов поднял голову, посмотрел в зал и сказал: — Реально, а не утопически порядочным можно считать

общество, в котором тщеславный молодой человек, дав негодяю публичную пощечину, мог себе сделать на этом карьере...

Последнее высказывание снова испугало председательствующего, но тут на помощь докладчику невольно пришли его противники, снова зашикавшие и заохавшие. Председательствующий поднялся и погрозил им пальцем. Так что прервать докладчика он уже не мог, ибо тем самым как бы солидаризировался с шикающими.

— Обычай, а не разум,— продолжал докладчик,— мне кажется, гораздо более объясняют жизненную силу многомиллионного народа. Именно многомиллионного, для которого подобное обстоятельство особенно важно... Объясняют жизненную силу гораздо точнее, чем подлинные факты живой сердечности и доброты. А также объясняют причину, по которой наступает период упадка этой жизненной силы, грозящий народу гибелью... Разумеется, нравственной, однако после этого физическая гибель народа лишь вопрос времени. Годы или столетия, не в этом суть...

Здесь мне хотелось бы на время оставить докладчика Иванова и вернуться на некоторое время к моей прошлой жизни, к периоду борьбы за койко-место. Вспомнить сатирический инцидент на почве неприязни к евреям. (А это весьма характерно. Эти инциденты, если даже они оканчиваются кровью, по пластике в основном носят сатирический характер.)

Недели за три до эпизода с компанией Арского, когда я впервые мечтал прикоснуться к политической деятельности, нет, пожалуй, за месяц, а то и более того, ибо стояли тогда сильные морозы и был разгар зимы, в комнате номер восемь на первом этаже нашего общежития говорили о евреях. Собственно, в общежитии упоминали о том время от времени, но этак мимоходом. А ныне говорили долго и специально. Комната номер восемь находилась против кубовой, и потому народу в ней набилось порядком, иные пришли сами, привлеченные разговором, иные были позваны в качестве советчиков, судей в споре (шел спор) и авторитетов. Так что народу, как я уже сказал, набралось немало, и, главным образом, с чайниками. (Сатирическая деталь, на первый взгляд случайная, но вырастающая в символ этакой несерьезности и насмешки.) Причем разговор начался не вдруг и не на пустом месте. Этому была причина, а именно — событие, происшедшее вчера поздно вечером (если только нелепость эту можно назвать событием) и носящее весьма смешную окраску. (Поистине сатирический анекдот и еврейский вопрос — родные сестры.)

Часу в одиннадцатом ночи, когда подавляющее большинство жильцов уже улеглось (зимой, да еще в мороз, ложились у нас рано), со стороны корпуса сантехников (у нас был целый городок Жилстроя) раздался одинокий неистовый крик. Ну, кричали у нас часто, народ большей частью холостой, буйный, любит погулять, и на крик первоначально никто внимания не обратил. Правда, когда он приблизился и стало ясно содержание, а именно: бей жидов! — на некоторых лицах в нашей комнате появились улыбки, однако тоже так, мимоходом, как смеются над старыми, давно известными анекдотами. К тому времени все мы уже лежали в постелях и свет не гасили лишь из-за Жукова, который, сидя у стола, чертил свое очередное изобретение, заглядывая в учебник физики для седьмого класса. Однако прошло полчаса, час, Жуков разделся, погасил свет, лег, а крик за окном все не кончался, рвался из самого нутра, изредка переходя в хриплый, жалобный вой, мольбу, словно кричащий изнемогал, но потом вновь обретал силу.

— Бей жидов, а больше никого! — разок разъяснил даже голос свои взгляды на людское братство, а после снова монотонно и однообразно кричал, вкладывая в этот крик всю свою жизнь и самого себя. Эта беспощадная и упрямая трата своих сил придала затасканной и залапанной формулировке известную новизну. Однако поскольку отсутствовал ряд входящих факторов: голод, чума, теснота в автобусе, просто политический строй либо политическая ситуация самого крайнего толка, то новизна этой формулировки, воспринятой к тому ж в тепле, в постели и после сытного ужина, придала мыслям жильцов скорее юмористическое направление. Первым засмеялся Саламов, личность простая и физиологическая. За ним Береговой — жилец с зачатками духовности и по сему воспринявший комизм ситуации гораздо шире Саламова. Засмеялись и Петров, и Жуков.

— И не уморится, — смеясь сказал Кулинич, — вже час кричить...

Однако кричавший все ж начал уставать. Кричал он уже не подряд, а с передышками, и во время этих передышек у нас в комнате затихали, ожидая, и каждый его крик встречали новым взрывом смеха. Смеялись и за стеной в соседней комнате. Напротив, в корпусе сантехников, зажглись некоторые окна.

— От дает, — сказал Саламов, — все общежитие побудил...

— Вон он меж сугробов шатается, — сидя на подоконнике в кальсонах и дыша на замерзшее стекло, говорил Береговой.

Был уже второй час, на улице бушевала метель, мороз взял еще сильнее, это чувствовалось.

— Тридцатка, не меньше,—сказал Жуков.

Кричавший хрипел, захлебывался, выл, как от боли, но не уходил и не прекращал крика. Казалось, он хочет или докричаться до чего-либо, или умереть.

— И Гитлер их бил, так и надо!—изменил, видно от изнеможения, формулировку крикун. (Очевидно, монотонность формулировки утомляла, и он хотел несколько расслабиться.)

В половине второго ночи смех в нашей комнате начал затихать, надоело. Впрочем, уже давно смеялись лишь Береговой и Саламов.

— Пойду прогоню,—сказал вдруг Петров, он сел на койку, наворачывая портянку.—Сволочь, спать мешает,—как бы оправдываясь неизвестно перед кем, добавил он,—мне в семь на смену.

— Я с тобой пойду,—сказал Жуков. Они оделись и вышли.

Я не пошел с ними, поскольку был тогда уже с обоими в натянутых отношениях. Через минуту-другую крик затих, а вскоре вернулись и Жуков с Петровым, запорошенные снегом.

— Никого не нашли,—сказал Петров,—идем, слышим, кричит, подошли к тому месту—снег, видим, примят, следы... Метель только метет... Как сквозь землю.

— Да я ж его в окно видел,—сказал Береговой,—меж сугробов шатался... Спрятался, видать, сейчас опять кричать будет...

Однако после выхода Петрова и Жукова крика больше не было, и мы уснули.

Вот об этом-то происшествии спорили в комнате номер восемь, против кубовой. Картина в комнате была весьма живописная. Сидели по двое на стульях, на койках (пять коек), сидели на подоконнике. Сидели кто в чем. Кто в телогрейке, кто в нижней фуфайке. Стол был тесно забит чайниками, поскольку народ сюда, главным образом, заворачивал из кубовой. Меня окликнул Данил-монтажник и позвал как прораба, а значит, человека грамотного и авторитетного. (Не все в общежитии догадывались о моем всячем положении и бесправию по сравнению даже с ними. Поэтому многие относились ко мне с уважением. Правда, благодаря разъяснительной деятельности жильцов моей комнаты я начал замечать пренебрежительное отношение, раз меня даже называли в Ленуголке «бедный студент», после чего я перестал бывать «на

телевизоре».) Но зимой мой авторитет среди многих был еще достаточно высок. (По счастливому совпадению в комнате номер восемь не оказалось никого «из наших», то есть из моих сожителей.) Я не стану приводить подробности спора, он банален и малоинтересен. Необходимость доводов и словесных определений, даже по столь ясному для присутствующих вопросу и на уровне собственной малоэрудированной аудитории, делала их скучными и удивительно неестественными. Например, на замечание плотника Григория Григорьевича, человека более пожилого (около сорока) и не то чтоб набожного, а скорее степенного и экономного, так вот на замечание Григория Григорьевича о том, что евреи ведь не виноваты, что они рождаются евреями, Данил-монтажник понес такую ахиною, припутал сюда зачем-то врачей-убийц, которых незаконно реабилитировал Берия, и Раису Самойловну — врача местной районной поликлиники, которая давала детям отравленные глазные капли, что всем это наскучило, поскольку о том было говорено-переговорено еще три года назад, да и сам Данил говорил о том с какой-то натугой, не по-живому. Я стоял у шкафа с чайником в руках (поставить мне его уже некуда было) и думал о том, почему же эти люди, которые давно уже поняли, что ничего не объяснят и не скажут нового друг другу и давно друг другу наскучили, тем не менее не расходятся и сохраняют интерес к теме. Что хотят понять они в этой тяжелодумной, безграмотной дискуссии, какие часто разыгрываются по еврейскому вопросу. И сейчас, слушая Иванова, я понял и согласился с ним, что евреи уже давно участвовали в истории не столько как нация, сколько как чувство. Чувство, равное таким, как любовь, ненависть, страх, наслаждение, отвращение и т. д.

— Но это чувство,— говорил Иванов,— имеющее материальное воплощение, и потому оно сродни чем-то явлениям природы, таким, как дождь, град, мороз, жара... Иными словами, еврей занял место мифологического образа, объединяющего ряд неясных явлений, объясняющего их просто и доступно и таким образом облегчающего борьбу за место в жизни, за существование. Чем более ущемлен человек, и не обязательно материально, а иногда даже искренним страданием за отечество либо за человеческий род в целом, тем более он нуждается в мифологии. А если прогресс и просвещение делают его разум скептическим и не верящим в потусторонние силы, то здесь уж он хватается за реальную фигуру еврея как за манну небесную, ибо в рогатого дьявола такой просветитель не верит (например, просветитель Вольтер). Вот почему развитие прогресса и просвещения само по себе не только не

уменьшает, а в ряде случаев даже увеличивает потребность в антисемитизме. Мифология, а не бытовая жизнь и бытовые поступки, пусть даже и самые неприятные, служат основой антисемитизма. Из быта впоследствии отбирают лишь то, что необходимо в мифологии. Одним из главных заблуждений является попытка связать антисемитизм с невежеством. Надо понять, что в фундаменте нашей цивилизации, направленной от древней мифологии к просвещению, заложена отвердевшая клетка, которая сохранила мифологическую основу, в то время как иные клетки бесчисленное число раз обновлялись и жили естественной жизнью на уровне своего времени. Те, кто понимали, какая опасность заложена в цивилизации, с которой связана судьба их отчизны, а для подобного понимания нужен безусловно честный ум, но не обремененный поэтической взвинченностью и беспредельной любовью к своему народу, а скорее склонный к честной статистике и ясному разглядыванию фактов,—Иванов передохнул и устало провел ладонью по лицу,—да, да, вот причина, по которой среди подобных ясновидцев преобладали не гении, а просто честные, способные люди. Итак, те, кто понимал, стремились любой ценой привлечь к этому пониманию возможно более широкие слои, отлично отдавая себе отчет в своем бессилии собственноручно произвести изменение в мифологическом чувстве, лежащем в фундаменте цивилизации. Среди этих ясновидцев были и писатели, и философы, и политические деятели, и ученые, и даже, реже, разумеется, крестьяне и коронованные особы, но все они, в том числе и самодержцы, чувствовали свое бессилие либо свою ограниченность в прямых действиях. Изменения мифологического чувства всегда происходят изнутри народа, из основ. Те же ясновидцы, которые понимали опасность антисемитизма для судеб собственного народа, а многие из них были совершенно равнодушны к интересам евреев как таковых и обладали редким чувством честного национализма, те немногочисленные ясновидцы, как правило, находились не в глубинах общества, а на его высших и средних ступенях либо просто в положении, не связанном с глубинами народа. Поэтому единственной их возможностью было изменение не чувства, а моды и правил хорошего тона. Так среди вассалов некоторых средневековых властителей было модой и правилом хорошего тона—терпимость к евреям, подобную моду распространяли среди своих поклонников некоторые писатели, философы, ученые... В России, где тяжелая жизнь народа плюс природная склонность славян к языческим образам особенно ярко воссоздавала мифологическую фигуру еврея, подкрепленную ежеднев-

ными бытовыми картинами, вполне осязаемыми, в России такие святые ясновидцы, как, например, Короленко или молодой Горький, эти яркие представители честного и умного русского национализма навязывали определенным кругам, к сожалению, главным образом среди людей незрелых либо легковесных, ищущих авторитетов, навязывали моду на хорошее отношение к евреям. Тем не менее, начав с правил хорошего тона, мода эта породила даже поступки искренние и самоотверженные. После крушения самодержавия мода эта была ликвидирована, как предполагали, вместе с проблемой. Впрочем, некоторые честные ясновидцы, взор которых, однако, был уже затуманен восторгом происшедших перемен, продолжали еще некоторое время свою деятельность... Например, Луначарский... Причем проповедовали подобные правила хорошего тона не небольшой средней прослойке, исчезнувшей либо смешавшейся, а непосредственно народу, в котором подобные, вообще-то кабинетные, правила тонули либо вызывали обратную реакцию, как барская прихоть... Вот почему возрождение этой моды ныне, пусть и носящей часто сатирический, легковесный, иногда даже карьеристский характер, тем не менее следует считать чрезвычайно серьезной задачей в возрождающемся от спячки обществе.

— Хватит,—наконец не выдержал председатель,—вы, мне кажется, совершенно ушли от темы.

— Но почему же? — раздался чей-то выкрик в зале, и поднялся скуластый. Он пробрался к колонне, где висела рукописная афишка, сорвал ее и быстро отнес председателю.— Все соответствует,—сказал скуластый,—или вы не читали?

— Что такое? — пробежав глазами, крикнул председатель, и в голосе его послышались даже плачущие нотки.— Но ведь это не утверждено... Как же так, ведь это обман!

— Итак, я намерен подытожить,—не обращая внимания на возглас председателя, продолжил Иванов.— Борьбу с антисемитизмом мы, русские, должны вести, опираясь на моду и правила хорошего тона. Но трудность заключается в том, что подобная мода-закон не может распространяться сверху по официальным каналам. Этим она утрачивает главную силу моды и правил хорошего тона — неофициальность. То есть мода есть неписанный закон... У нас же существуют лишь законы писанные, параграф конституции... Но нелепость этого в борьбе с антисемитизмом понимали те из самодержцев, которые подавали подобные правила в завуалированной форме, частным путем, а не в виде указов, параграфов или газетных статей, которые могут существовать лишь как подспорье при наличии неписанных законов...

— Хватит! — попросту крикнул, потеряв самообладание, побагровев, задрожав и сделав какое-то странное вращательное движение головой, председатель. Вообще люди добродушные и по натуре тихие гневаются весьма неумело и смешно, так что подавляющее большинство аудитории рассмеялось. — Хватит! — снова напрягшись и надувшись, чтоб перекрыть шум, произнес председатель. — Я лишаю вас слова... Это обман... Вы подменили тему доклада.

— Я уже кончил, — спокойно сказал Иванов. — Благодарю за внимание.

— Наш комитет комсомола напишет о вашем поступке в университет! — крикнул председатель.

— Не тратьтесь на лишние почтовые расходы, — сказал Иванов, — я уже три месяца как оттуда исключен.

Снова засмеялись и зааплодировали. Коля аплодировал особенно громко и радостно, а Маша (я нашел ее специально, хоть признаюсь, во время доклада, увлеченный темой, я ее из виду упустил), так вот Маша смотрела на Иванова с каким-то пугающим меня сиянием в глазах. Я понял, что она может влюбиться в этого сморчка, если уже не влюблена. (Он тоже явно член общества имени Троицкого.) А ведь она подала наконец и мне надежду. Ведь я так поверил... Но главное — не наделать глупостей, ибо у меня даже на мгновение мелькнуло желание поддержать противников этого Иванова. Однако тогда за мной уже прочно закрепится кличка «антисемит», и Маша будет навек потеряна.

— Собрание закрыто! — сердито и резко сказал председатель.

— А как же танцы? — весело выкрикнул кто-то.

— Прекратить острить! — очень смешно, как-то в рифму приказал председатель. — Очистите помещение.

— Нет, минутку, — сказал скуластый и так же легко, как ранее Иванов, вспрыгнул на эстраду, — вы ведь позволили предыдущему оратору вести здесь антирусскую агитацию... Почему же такое преимущество? Если уж свобода слова, так позвольте и нам, русским, иметь эту свободу в собственной стране...

Иванов, конечно, тоже был русский, но этим выражением «нам, русским» скуластый как бы отлучал его от народа и на что-то намекал. Где-то я скуластого видел, мне даже показалось, что рядом с Орловым, впрочем, нет, ошибаюсь, да и организация Орлова не московская.

— Позвольте, — повторил скуластый, — прежде всего я бы хотел отметить, что здесь некоторые бывшие русские, — скуластый по-моряцки заиграл желваками, и вообще в нем

было что-то матросское, массивное, косолапое,— некоторые бывшие русские распространяют здесь слухи и пытаются нас припереть к стене, рассчитывая на нашу природную русскую доверчивость, разными стопами по поводу еврейских бед.

— Гражданин! — крикнул председательствующий.— Собрание закрыто. Сейчас же покиньте сцену, или я вызову милицию.

— Ах ты, сука! — крикнул скуластый.— Еврейский адвокат здесь часами публику дурачит, а меня в милицию... Мы еще выясним, как это ты способствовал такому докладу...

— Сталинский мерзавец! — звонко и злобно крикнула Маша.— Стукач!..

— Сама ты проститутка, — откликнулся скуластый.

Я рванулся, рванулся и Коля, но его за руки удержал журналист, очень сосредоточенный и побледневший. И тут же у меня екнуло сердце, ибо я увидел, что в другом конце залы к скуластому рванулся Иванов-докладчик. «Значит, он любит Машу», — горько пронеслось в мозгу. И после этого наступило некое странное, неопределенное состояние. Между тем в зале и на эстраде уже бушевал шум и скандал, тот самый, неизбежный в таких случаях и долгожданный, столь радостный большинству. Но вот на эстраду поднялся парень в мягкой белой рубашке, тоже светловолосый, как и председательствующий, однако с легким золотистым отливом, ударяющим в рыжину. Он был в очках, которые поправлял привычным жестом, прикасаясь пальцем к переносице.

— Товарищ председатель, — сказал он, — раз уж дискуссия началась, то мне кажется, надо ее закончить пристойно.

Председатель, совсем растерявшийся и с отчаянным, чуть не плачущим выражением лица наблюдавший спор и беспорядок, увидел этого спокойного, мягкого человека рядом (он действительно был весьма мягкий и одеждой и внешностью), так вот, председатель ухватился за него как за соломинку.

— Тише, — крикнул председатель, как бы забывая, что сам же он закрыл собрание, — сейчас будет выступать в порядке дискуссии... — и он вопросительно повернулся к рыжевато-золотистому, надеясь, что тот подскажет ему свою фамилию. Но тот, не ожидая конца фразы председателя, сразу начал:

— Я евреям не враг...

И в фразе этой было столько простоты и мягкости, что сразу же восстановилась тишина. Скуластый же и вовсе, когда явился этот новый оратор, разом притих и полез с эстрады.

— И Достоевский евреям не был врагом, о чем он неодно-

кратно писал и на что указывал... Но вот тут-то и загвоздка. Во взаимоотношениях с евреями можно быть либо пристрастным к ним и не замечать очевидных фактов, либо тебя обвинят во всех грехах. Давайте поговорим не о быте, который дело преходящее и трудноуловимое, а об идеях... Гнушайся, единись, эксплуатируй и ожидай— вот суть этой еврейской идеи... Выйди из народов, и составь свою особь, и знай, с сих пор ты един у Бога, остальные истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе.

— Это цитата или это ваши слова? — выкрикнул Иванов.

— Разумеется, цитата, — ответил рыжеволосый.

— Откуда?

— Разумеется, из подлинника, — сказал рыжеволосый, — из древнееврейской рукописи.

— Допустим, — сказал Иванов, — хоть на слово верить нельзя, особенно подобной личности.

— Только без грубостей, — сказал рыжеволосый. — Я ведь вас не оскорбляю и ваших любимцев не трогаю... Главное — вежливость...

— Допустим, — повторил Иванов, — но не является ли это вообще психологической основой определенного исторического периода жизни? Я бы сказал, когда в отношениях между нациями господствовала откровенность. И не напоминает ли это, например, кредо того же Московского княжества, значительно более молодого, чем та рукопись... Завоевание Сибири, например... Или Кавказа... Истребление ногайцев, женщин, стариков, детей фельдмаршалом Суворовым... Разумеется, это несло в себе идею объединения... И это дела царизма...

— Что-то вы заспешили с оправданием, — негромко сказал рыжеволосый, — не почувствовали ли вы сами, что слишком уж далеко зашли в своей ненависти к России...

— Нет, это вы враги России, — не выдержав, а может, и невольно напуганный столь грозными обвинениями, выкрикнул Иванов, — вы поете старые песни.

— К сожалению, недопетые, — отпарировал рыжеволосый, все больше утрачивая первоначальную мягкость и активизируясь.

Публика же в основном молчала, наблюдая и чувствуя, что все стало уже слишком серьезным и опасным. Лишь какой-то парень, явно из тех, кто любит правду-матку, встал и сказал, обращаясь к председателю:

— Прекратите же наконец эту антисоветчину!

— Вы хотите антисемитизмом спаять народ? —

выкрикнул Иванов, не обращая внимания на бессильные протесты председателя, обманувшегося и в рыжеволосом.

— Мы хотим истины, — сказал рыжеволосый, — и можете нас за истину обзывать как угодно... Мы хотим истины не всемирной, а русской... Мы знаем, — выкрикнул он вдруг, побагровев и совершенно утратив мягкость, став вдруг даже лицом похожим на скуластого, словно прятавшиеся под мягкими щеками скулы выперли наружу. — Мы знаем, как евреи умеют мстить... Мы знаем, что в КГБ их люди составляют списки всех врагов еврейского засилья...

Эти аргументы я уже слышал, причем от Щусева. Не знаком ли рыжеволосый со Щусевым?

Но в этот момент я был отвлечен от своих мыслей журналистом, который встал как-то решительно и твердо. (В такой решительности всегда есть нечто показное и театральное, даже при вполне искреннем порыве.) Руки его несколько дрожали, наверное, тоже от избытка этой решительности и нервного внутреннего напора, от которого, как он почувствовал, должен немедленно освободиться. И дрожащими этими руками он перебирал и складывал какие-то листки, мятый и потертый вид которых говорил, что заготовлены и хранились они давно. Вот так, с этими листками, журналист и вышел к эстраде. И интереснее всего, что едва он вышел к эстраде, как его тотчас же узнали многие, в то время как ранее его даже не хотели сюда пропускать, а в толпе он совсем затерялся. То ли, решившись на выступление, он преобразился и вернулся к прежнему облику «вождя молодежи», каковым был еще три года назад, в начале либерализации, то ли, выйдя к эстраде, на которую было обращено множество взглядов, он стал попросту заметнее в толпе. А взгляд толпы — это особый взгляд. Во всяком случае председатель, увидав здесь, на третьестепенном заштатном диспуте, всесоюзную и даже всемирную фигуру, так растерялся, что даже и слова журналисту не предоставил, а единственно, несмотря на подавленность происходящими событиями, улыбнулся и, торопливо налив стакан свежей воды из графина, поставил его на некое подобие кафедры, которой, кстати сказать, предыдущие ораторы не пользовались. Журналист же сразу оперся на кафедру и разложил на ней мятые свои листки.

— Ну вот, — сказал он, нервно потирая руки, — ну вот, дорогие мои, мы только что присутствовали с вами на некоем подобии свободы слова, разумеется, в миниатюре, в некоем случайном и самодеятельном ее проявлении. Но такое может воцариться во всей России и вполне профессионально.

Ропот прошел по залу. Я видел, как напрягся взволнован-

но Коля. Журналист заглянул между тем в листки, пошелестел ими и сказал:

— Мой доклад, собственно, имеет даже и заглавие: «Новые вопросы и старые разочарования...» Именно так... Свобода слова ныне для нас действительно новый вопрос. Но разочарования будут старые. Порожденное свободой слова вольнодумство и демократия улицы, которая во времена стабильной тирании скована, как и духовная свобода, выльется в разнузданное насилие... Убежден, что еврейские погромы в царской России явились результатом вольнодумной децентрализации общества и были свидетельством элемента демократии, коснувшейся и правительства.

В зале неожиданно зааплодировали в том месте, где сидела компания рыжеволосого эрудированного антисемита. Эти аплодисменты явно смутили журналиста.

— Вы меня, собственно, не так поняли,— обернулся он к аплодирующим.

— Нет, они вас так поняли...— звонко и злобно выкрикнула Маша, обращаясь к отцу как к чужому и как к врагу.

Это совсем уже сбило журналиста, он почему-то быстро-быстро зашелестел своими мятыми листочками-тезисами.

— Маша, милая,— окончательно растерявшись, обратился журналист с кафедры непосредственно к своей дочери-оппонентке, чем вызвал веселый смех залы.

Я видел, что Коля страдает и мучается, но еще не может понять, то ли ему возненавидеть и разочароваться окончательно в отце, что намечалось уже в самом начале хрущевских разоблачений, то ли, наоборот, прийти отцу на помощь, ибо он видел, что отец его растерян и его благородная львиная седина (журналист поседел рано, что придавало ему «львиный», величественный вид), и седина эта стала объектом развеселого студенческого молодого улюлюканья, столь сладостного в период оппозиционного оплевывания авторитетов.

— Маша, милая,— продолжал журналист, по-прежнему шелестя тезисами и обращаясь почему-то не ко всей публике, а лишь к своей дочери,— пойми, что в период расцвета государственного режима право на пролитие человеческой крови, то есть высшее право и высшая власть, какого может достигнуть человеческое существо, право это строго монополизировано и для толпы недоступно...

— Вы хотите сказать,— выкрикнул Иванов,— что в организации погромов не были замешаны власти царской России?

— Были,— сказал журналист,— но это только свидетельствует об утрате самодержавием полной власти и необходимости делить эту власть с низами... Человеческая кровь — это

наиболее материализованная и доступная толпе идея, и она никогда не отвлекает от неповиновения, а наоборот, всегда возбуждает к неповиновению любому порядку... Это и есть главный пункт разногласий между толпой и единовластием—право на пролитие крови... Государственная стабильность— вот что нам необходимо... А главный враг стабильности— это реформа... Я непросто пришел к этому выводу... У меня позади весьма противоречащая этому выводу биография... Да, мои молодые друзья, да здравствует устойчивое государство, пусть даже совершающее ошибки и несправедливости...

— Но такое государство само по себе опасно для общества,— выкрикнул Иванов. (Должен заметить, что в дискуссии участвовал весьма ограниченный круг лиц. Основная масса присутствовала лишь как шумовой фон.)— Вспомним жертвы сталинских репрессий...

— Но сталинское государство никогда не было стабильно,— сказал журналист,— это динамичное революционное государство... Оно все в движении... Коллективизация, процессы, космополитизм...

— А ныне мы устойчивы? — спросил Иванов.

— Ныне мы должны стремиться к устойчивости,— сказал журналист.— Вы допускаете захват власти в стране национал-социалистами?— вдруг резко произнес журналист.— Самыми обыкновенными, даже без особой специфики?.. Ну, может быть, с внешне православным элементом?— И тут же, не слушая ответа, ответил сам:— Я допускаю, и даже очень... В 1914 году это было невозможно... Погромщик тогда был малограмотен... А сейчас вполне. Только для этого либералы и вольнодумцы должны основательно расшатать государственные устои... Без либерала фашист в Европе бессилён... В Азии другое дело... А в Европе не было случая, чтобы фашист захватил власть один и в период твердой консервативности... Вы не тарашите на меня недовольно глаза, молодой человек. (Журналист построил свое публичное выступление так, что как бы беседовал лично то с одним из своих оппонентов, то с другим.) Нынешний либерал тоже изменился, как и погромщик. Он тоже старается по фундаменту ударить, полагая, что если фундамент рухнет, то наступит либеральное царство... Но любой катаклизм в нынешней России неизбежно приведет к русскому национал-фашизму...

— Так что ж вы считаете,— возмущился Иванов,— надо молчать или аплодировать, если видишь несправедливости, вашей стабильности?

— Аплодировать не надо, это, конечно, противно, и пусть этим занимаются лакировщики. (Журналист все еще вел борьбу с лакировщиками.) Но и бить по фундаменту не надо... А если хочешь бить своими протестами, то оглянись и разберись, не надета ли тебе на шею петля и не вышибаешь ли ты сам ударом своим табурет из-под своих ног...

Этот пример он привел неожиданно (по-моему, и для себя неожиданно), поскольку тут же замолк, вдумываясь. Я сразу же сообразил, что есть возможность перехватить у Иванова инициативу в противоборстве с журналистом, ибо это давало и мне возможность бороться за чувства Маши.

— Именно,—смеясь, сказал я,—очень удачный пример. Ваша государственная стабильность—это прочно стоящий табурет под ногами у висельника... И не смей протестовать, иначе сам ногами отбросишь табурет.

— Знаете что,—сказал, оборачиваясь ко мне, журналист, почему-то дрогнувшим голосом и негромко,—если ваше замечание и справедливо, то оно все же бесчеловечно. Когда табурет стоит прочно под ногами и петля не затянута на шее, то висельник, во-первых, имеет возможность дышать, а во-вторых, ждать помилования... Дышать и ждать—что может быть дороже для человека?.. А вы своими протестами хотите лишить человека этих благ...

— Сколько ждать?—спросил я.

— Десять лет,—ответил журналист,—или двадцать, или всю жизнь, до самой смерти... Терпение—основа жизни... Всякая господствующая идеология, даже если она ранее терпение отрицает, потом, с приходом зрелости и опыта, берет его на вооружение... Конечно, называя другими словами, часто по форме противоположными... За тысячу лет своего существования Россия имела семь месяцев демократии, с февраля по октябрь семнадцатого года, и эта демократия едва не погубила ее государственность... А в России, как в стране все-таки молодой, твердая государственность есть первооснова и ничем заменена быть не может в национальной жизни... Всякая подмена приводит к слабости... Вспомним хотя бы новгородское вече...

— К чему же вы все-таки призываете?—очевидно пытаясь взять у меня реванш в борьбе за Машу, вставил Иванов.

— К безвременью,—ответил журналист.—Россия нуждается по крайней мере в двух-трех веках безвременья... Отсутствие резких порывов и движений. Все силы страны должны быть сосредоточены на внутреннем созревании. Пусть на этот период восторжествует тихий, мирный, влачащийся

свою лямку обыватель. Этого не следует пугаться. Это будет лишь фасад. За фасадом этим будут происходить интереснейшие процессы.

— Какие процессы?— уж совсем неуважительно выкрикнули из публики.— Вы говорите загадками...

— России необходимы три века стабильности и покоя,— сказал журналист,— три века скуки, и вы не можете даже себе вообразить, какой страной мы станем... Три века советской власти, которая, как бы там ни было, наиболее соответствует национальным особенностям и интересам страны, и поверьте, свое трехсотлетие советская власть будет праздновать в совершенно ином облике...— Журналист замолк, шелестя тезисами. На какое-то мгновение воцарилась тишина.

— У меня вопрос,— поднялся кто-то в задних рядах.— Я слышал, что вы были лично знакомы со Сталиным. Хотелось бы послушать ваши впечатления.

— Ну что же,— сказал журналист.— Во-первых, лично я никогда с Иосифом Виссарионовичем знаком не был, но мне приходилось общаться с ним через определенные инстанции.— Это «Иосифом Виссарионовичем», то есть наименование Сталина по имени-отчеству, было употреблено журналистом явно опрометчиво и, безусловно, насторожило публику, в большинстве, конечно же, настроенную оппозиционно к прошлому и возбужденную хрущевскими разоблачениями. Очевидно, это ощутил и сам журналист, ибо более он так не выражался.— Сталин, конечно, хотел быть просвещенным самодержцем, покровителем обиженных, покровителем искусства и науки... Но он видел, что в этом, особенно в последние годы, он все более расходится с силой, на которую опирался... Война принесла много бед и разрушений стране, но помимо всего прочего издержками всякой победоносной войны является народный шовинизм, без которого не выиграть ни одной большой войны, но который по победоносному окончанию ее требует награды... В 1914 году с этой силой справиться было проще, чем в 1945-м. Мне кажется, что Сталин и сам боялся этой силы и потому толкал от себя тех, кому он ранее покровительствовал и кто хотел укрыться в святой и великой сталинской тени... Это к началу пятидесятых годов стало особенно очевидно. Он толкал от себя интеллигентное общество, чтоб не позволить этой силе покусать и себя, ибо при всей его власти он был исполнителем воли русских националистических масс... Масс, которые выделяли из своей среды также и жертвы, лишь бы властвовать, подобно тому как в семье экономят на чем-либо и жертвуют чем-либо, чтоб при-

обрести какую-нибудь ценную вещь... Это я для наглядности... Чтоб жертвами своими купить империю...

— Братцы,— поднялся вдруг некто в публике, судя по внешнему виду, явно пострадавший и реабилитированный,— братцы, да я сам из деревни, из народа... Сколько у нас жертв... В одной нашей деревне сколько жертв. Сколько мы вынесли, мучений сколько, раскулачивание, а этот пытается всю вину свалить на простой народ... Да он Сталина хочет реабилитировать... Да знаешь ли ты,— он задохнулся от ненависти,— я на фронте был с шестнадцати лет, трижды ранен... И после плена — на Воркуту... Сорок градусов мороза... Ночью к нарам примерзаешь... У меня искривлен позвоночник... Ах ты, гад!.. — и он, хромя, побежал по проходу к эстраде.

Не уверен, догадалась ли сразу публика, зачем он бежит, но безусловно журналист догадался. Он хоть и сильно побледнел, но оставался неподвижен и с привычной даже, той самой найденной после третьей пощечины, не лишённой цинизма улыбкой ждал реабилитированного инвалида, словно завершал некую заранее намеченную программу. Инвалид этот, невзирая на увечье, вкосу и ловко как-то вскочил на эстраду, размахнулся и ударил журналиста по щеке. Лишь после этого инвалида войны и сталинских репрессий сумел схватить за руки окончательно подавленный и оглушенный председательствующий.

— Ну, вот и все,— сказал журналист, тоже, кстати, достаточно цинично, словно подытоживая заранее намеченную программу. Но после этого лицо его обрело вдруг новое выражение, и, глядя куда-то поверх голов, подняв палец кверху, он произнес: — Современная черносотенная идея — это нечто среднее между крайней советской идеей и крайней антисоветской идеей... — Сказав это, он мягко сел на пол, словно бы отдохнуть.

В публике началось быстрое движение и хаос. Явилась наконец милиция, очевидно вызванная кем-то по просьбе председательствующего еще до выступления журналиста. Милиция задержала ударившего инвалида, который, несмотря на деревенскую внешность, оказался студентом-переростком первого курса, а также задержала почему-то мирно полемизировавшего Иванова. Несмотря на двусмысленность своего положения, едва отец получил очередную публичную пощечину, Маша и Коля бросились к нему, в первое мгновение повинувшись порыву родственного чувства, однако уже во второе мгновение Коля тут же, на краю эстрады, с искаженным от страдания лицом, пытался прокричать в спину разбежавшейся

публики, что он ненавидит своего отца-сталиниста и отрекается от него. Во время этих слов Коля отец сел на пол, и случившееся заставило Колю оборвать свое отречение на полуслове. Коля даже подумал (он потом мне это говорил), что это его отречение доконало отца. Но здесь он, пожалуй, неправ. Мне кажется, цинично улыбаясь в ожидании пощечины, журналист уже был не в полном сознании, а может, и ранее того, ибо отдельные куски его выступления были не совсем последовательны и путаны, но не от умственного все-таки помешательства, и это важно, а от слабости и предынфарктного состояния.

Надо сказать, что единственной, кто в этой ситуации сохранял присутствие духа, была Маша. Коля, начавший было свою обличительную речь против отца и тут же оборвавший ее, был подавлен до крайности его страшным, неузнаваемым, чужим видом, так что он попросту плакал, опустившись перед лежавшим отцом на колени. Меня же, помимо чисто физического страха, охватило еще и чувство брезгливости. Действительно, мне приходилось несколько раз сталкиваться с припадками. (Напоминаю: и Щусев, и Висовин, и реабилитированный Бительмахер, в компании которого я познакомился со Щусевым, были склонны к припадкам. Но там припадки были активно злобны, здесь же и припадок был вялым, либеральным.)

Первым делом Маша быстро вынула из сумочки кружевной благоухающий платочек и вытерла этим платочком отцу губы и подбородок.

— «Скорую помощь»,— повторял председательствующий.— Надо немедленно... Я сейчас...

— Не надо,— сказала Маша,— у нас машина, Гоша, вы сходите, предупредите Виктора, пусть подгонит машину во двор, к черному ходу, чтоб через толпу не нести.

Я с радостью побежал и, более того, делая вид, что объясняю Виктору подробно, подольше возле него задержался, чтоб не нести журналиста, который вызывал во мне брезгливость. И действительно, пока я ходил, журналиста вынесли Маша, председательствующий, Коля и один из милиционеров. (Второй увел Иванова и Еркина, того инвалида, который ударил журналиста.)

Журналиста положили на заднее сиденье, и Маша приняла его голову к себе на колени. Коля сел рядом с шофером, мне же места не оказалось.

— Вы лучше всего на дачу езжайте,— сказала мне Маша,— на квартире сейчас будет тесно и шумно... Мы маму сейчас сюда вызовем, но там Глаша... На электричке езжайте,

а потом автобус... Кстати, если вас будут спрашивать, если мама потом спросит, как все было...— Она задумалась.— Да вообще-то, чего врать?— Маша махнула рукой, и они уехали.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На даче журналиста я прожил в одиночестве три дня. Вел я себя весьма дипломатично и на все вопросы Глаши, действовавшей, возможно, по заданию Риты Михайловны, отвечал хоть и вежливо (жил я здесь по распоряжению хозяев, но качество-то питания ведь зависело в данной ситуации от Глаши, которая в отсутствие хозяев верховодила на даче), итак, отвечал я хоть вежливо, но однозначно.

— Дурно сделалось. Сердце, наверное, от духоты, скорей всего...

— Ох ты,— вздыхала Глаша,— духота, духота... Дети— вот она духота... Дети годы сокращают... Да и то правда, что сами же они и подучили их всякому такому... Уже лет пять, а может, и поменьше, начали к нам наезжать... Полный дом... Та-та-та, та-та-та... И одни яврей... А яврей, он всегда русской властью недоволен, оно и понятно... А ты-то чего, русский человек?.. И детей подучил тому же...

Разговоры с Глашей носили резкий и смелый относительно хозяина характер. Я думаю, сама по себе она б на то не решилась, если бы не заручилась поддержкой хозяйки, Риты Михайловны. Я в таких разговорах старался отмалчиваться или неопределенно мычал и кивал головой. Так, повторяю, прошло три дня, весьма, кстати, приятных, за исключением этих опасных для меня монологов Глаши.

На третий день к вечеру на дачу присхал Коля. Вид у него был угрюмый и замкнутый.

— Ну, что отец?— спросил я.

— Поправился,— сказал Коля.— Мать его собирается в Чехословакию везти на воды. А потом в Италию. Пусть едут... А я, Гоша, из дому уйду...

— Как?— с искренним испугом спросил я, ибо это было мне весьма невыгодно.

— А так,— ответил Коля,— совсем уйду. Давно надо было... Да мать меня и выгнала, собственно.

— Ну, Коля,— сказал я.— Это она погорячилась, это бывает. Уверен, сейчас она жалеет о случившемся.

— Нет,— сказал Коля.— У нас с родителями был серьезный разговор... Без криков... У меня и Маши... Их не устраивает наша жизнь, а нас не устраивает их жизнь... Достаточно уже истории с Висовиным... Ведь это из-за отца Висовин по-

пал в концлагерь. Маша мне все рассказала. Фактически отец написал на него донос, пусть и в виде газетной статьи...

— Прости меня, Коля,— сказал я,— но это было не так...

— Нет, так, Гоша, так... В тот момент, когда с отцом случился приступ, это было ужасно, и мне его было искренне жаль... Но вспомни, что он говорил... Ведь он проповедовал сталинизм... И это в наше время, после всех разоблачений... Гоша, мой отец враг нашему делу, тому делу, которому и я, и ты, и Щусев, и даже Маша, пусть ошибочно и в другом плане, но отдают себя целиком.

— Какому же это делу? — спросил я вдруг, хоть этого и не следовало делать, тем более учитывая историю с доносом на Щусева, который я обманом заставил подписать Колю.

И действительно, Коля тут же посмотрел на меня с излишним вниманием.

— То есть как какому? — спросил он.

— Ну да, какому? — продолжал я вопреки разуму и логике опасную игру, может быть потому, что мне захотелось самому в тот момент до конца выяснить, какому делу мы служим.

— Делу свободной и счастливой России,— ответил Коля.

— От чего свободной и как счастливой? — спросил я.— Пока мы не свободны и не счастливы, мы и есть Россия... А как станем свободны и счастливы, то тут же исчезнем, перестанем быть, чем мы есть, а превратимся в какую-нибудь многомиллионную Голландию... В чем же тогда состоит идея русского мессианства?

— Интересно,— снова внимательно посмотрел на меня Коля,— откуда ты этих мыслей набрался? Это, Гоша, не твои мысли, признайся... Это моего отца мысли... Ты поменьше его слушай... Он ведь человек литературного мышления. Ему важно, как мысль складывается, а не то, что в ней заключено.

Я согласился, и опасный разговор на том и был исчерпан.

Но, как говорится, все еще только начиналось, и последствия диспута, столь несвоевременно организованного Русским национальным обществом по борьбе с антисемитизмом имени профессора Троицкого, начинали проявлять себя во всех направлениях. К вечеру того дня, когда приехал Коля, на дачу явился сам журналист с Ритой Михайловной и каким-то широкоплечим, незнакомым мне человеком. Уж по тому, как Коля прошел мимо родителей, словно их не существовало, я понял, что в семье началась настоящая «гражданская война» не на жизнь, а на смерть, причем без скидок на возраст и положение. Заявление Коли о том, что отец поправился, не совсем соответствовало действительности, ибо журналист

мог передвигаться, лишь опираясь на плечо Риты Михайловны, при этом он слегка волочил по земле левую ногу.

— Гоша,—не обратив внимания на Колю, сказала мне ласково Рита Михайловна,—зайдите к нам через полчасака... В кабинет.

— Хорошо,—вежливо ответил я.

— Чего они от тебя хотят?—сердито сказал Коля, когда мы остались наедине.

— Не знаю,—ответил я,—наверное, будут просить повлиять на тебя.

— А ты не ходи,—сказал Коля с юношеской заносчивостью,—хоть они мне, к сожалению, родители, но я их знаю.

— Надо пойти,—сказал я Коле,—в интересах организации так надо... На днях я виделся со Щусевым.

— Ну, что Платон Алексеевич?—крикнул Коля.

— Есть определенные соображения,—ответил я.— Сейчас еще рано о них говорить.

Ложь моя на этот раз прозвучала весьма вяло и печально, но Коля был так возбужден известием о встрече со Щусевым, что этого не заметил. Вообще было чудом, что Коля до сих пор не сообразил посетить Щусева, который, пожалуй, все еще был в Москве. Впрочем, Коля мне искренне доверял и поэтому соглашался, что в целях конспирации и в связи с изменившимися условиями общение со Щусевым он должен поддерживать только через меня.

— Что ж,—сказал Коля,—иди, только будь осторожен. Мой отец ведь опытный провокатор, я в этом убедился.— Что Коля имеет в виду, не знаю, но после этих слов он как-то озлобился и побледнел, словно вспомнил о чем-то. А этот в сером костюме, Роман Иванович,—продолжал Коля,—подполковник КГБ, или полковник, не знаю точно, но из КГБ... Он у нас уже бывал. Мать говорит, что это военный журналист, фронтовой друг отца, но я-то знаю, в семье не скроешь... Так что будь осторожен, как бы они о Платоне Алексеевиче не начали прощупывать... Ты Платона Алексеевича предупреди...

— Он уже предупрежден,—сказал я.

— А насчет нашего этого,—Коля скривился,—нашего доноса... Ты уже отправил?..

— Нет,—ответил я,—отправлю, когда потребуется и по согласованию со Щусевым.

— Ну хорошо,—сказал Коля,—я жду тебя у озера.—И он пошел по тропинке в лес.

Я посмотрел с завистью ему вслед, на его беззаботную

принципиальность и независимость, и, вздохнув, пошел к дому.

Я подошел к кабинету журналиста, но дверь там была закрыта и было тихо. Очевидно, явился я значительно ранее нужного времени либо Колины родители и гость слишком долго засиделись за чаем, ибо голоса их раздавались с застекленной террасы.

— Ах, Роман Иванович,— говорила Рита Михайловна,— как я его просила... Ведь своими действиями ты влияешь на судьбу детей. Никакой ответственности перед семьей.

— Ну, глупость получилась, Рита,— сказал журналист,— что теперь вспоминать... Но я уверен, что там находился кто-то из лакировщиков, который совершенно исказил мое выступление...

— Твое выступление было застенографировано абсолютно беспристрастно,— сказал гость,— и подвергнуто в отделе самому объективному разбору... Если ты хочешь, я могу как-нибудь дать тебе его прослушать, когда оно будет обработано в техническом отделе. И вообще, напрасно ты думаешь, что к тебе пристрастно и плохо относятся. В аппарате, конечно, у тебя имеются недруги, но в руководстве не против тебя.

— Ну хорошо, Роман,— перебил журналист,— когда это я заявлял о необходимости не допускать расправу над евреями в неорганизованном порядке? Какая глупость, как я вообще мог призывать к расправе над евреями?.. Ведь это глупость...

— Глупость,— согласился Роман Иванович,— это глупость. Об этом куске я так и заявил. Очевидно, наши товарищи были введены в заблуждение аплодисментами экстремистской группки, которая у нас зарегистрирована как активно националистическая. Но должен тебе заметить, что мысль твоя все-таки была неясна и давала повод к толкованиям. Ну, а твое заявление о народном шовинизме. Или твое заявление о современной черной сотне. Или твой весьма скользкий пример с табуретом и висельником...

— В смысле?..— перебил журналист как-то даже нервно.— В каком смысле этот пример скользкий?

— Не спорь,— резко осадила мужа Рита Михайловна,— твои споры уже завели семью на грань катастрофы, и детей, и тебя самого.

— Нет, подожди,— не унимался журналист,— тут надо разобраться, тут явный сговор и передергивание. Так любое слово мое могут к делу пришить.

— Ну хорошо,— сказал Роман Иванович.— Зная твой характер, я захватил кое-какие выписки, чтобы тебе все стало

ясно и чтобы прекратить недоразумение.— Наступила небольшая пауза, очевидно, Роман Иванович полез в карман, доставая записи.— Четырнадцатого августа прошлого года,— прочел Роман Иванович,— примерно в девять часов вечера в доме художника Шнейдермана у тебя был спор с хозяином о России. Шнейдерман при этом ругал беспорядки, царящие в России. На что ты ответил: «Россия, Лев Абрамович, страна и вам и Европе непонятная. Беспорядок наш как раз и есть основа непонятной для Запада загадочной русской души. И стоит навести у нас порядок, отменить воровство, расхлябанность и безделье, как Россия погибнет, ибо все это взаимно уравнивается, как в природе взаимно уравниваются и служат основой жизни самые негативные явления, не терпящие вмешательства извне... Внутренняя жизнь России близка к законам природы, а не к законам европейской цивилизации...» Прости меня за длинную цитату, просто я хотел бы, чтобы ты убедился в нашей объективности... Второго февраля этого года в разговоре с доктором Холодковским ты заявил, цитирую: «Маркс и Энгельс написали огромное количество талантливых книг, смысл которых был более понятен их западным классовым врагам, чем полукультурным марксистам...» И наконец, совсем уж недавно, буквально два месяца тому назад, ты заявил в случайной компании, подчеркиваю, в случайной компании: «Евангелие от Коммунистического манифеста отличается тем, что в нем обращаются к каждому индивидуально, в то время как Манифест нельзя воспринимать без массы, причем обезличенной, ибо обращается он не к человеческой личности, а к классу в целом...»

— Позволь,— крикнул журналист,— но Коммунистический манифест и не ставил перед собой задачи духовного воздействия на личность в отдельности, но лишь на личность в обществе. Именно это я и имел в виду...

— Я говорю не о том, что ты имел в виду,— сказал Роман Иванович,— а о том, как ты был понят... А этот диспут, в котором ко всему замешана твоя дочь и эта кучка идиотов из общества имени Троицкого... Твое выступление там выделено теперь в отдельное дело... Но более всего меня заботит дело Коли... У нас, повторяю, имеются работники, которые относятся к тебе весьма дурно еще со старых времен, еще с тех времен, когда они ревновали тебя из-за хорошего отношения к тебе Сталина. Ну так вот, поднятая тобой волна дает им возможность действовать против тебя и особенно против Коли. Раньше я думал, что мне как-то удастся замять, но теперь вряд ли...— Две-три фразы я не расслышал и пропустил и уловил лишь конец какой-то мысли.— ...тем более,— говорил Роман

Иванович,— что у нас были работники, которые Щусеву доверяли, и сейчас они сделают все, чтобы себя реабилитировать... (опять я не расслышал одну-две фразы). Тот парень, он как? Цвибышев, кажется?

Услышав свою фамилию, я вздрогнул.

— Там все хорошо,— сказала Рита Михайловна,— он сейчас должен подойти...

Я слышал, как она встала и пошла к дверям. Бежать мне было поздно и небезопасно, ибо если б подобное мое движение было замечено, меня могли бы заподозрить в каком-то тайном замысле.

— Он здесь,— сказала Рита Михайловна, увидев меня,— подождите, Гоша... С вами хочет поговорить один наш знакомый. (Чисто женская нелогичность. Во-первых, я знал, кто этот человек, а во-вторых, сами же они меня к встрече с ним готовили.)

В приоткрытую на террасу дверь я видел столик, на котором стояла бутылка коньяка, открытая банка паюсной икры и нарезанные лимоны.

— А пусть он сюда,— услышал я голос журналиста,— зачем в кабинет? Здесь мы так хорошо сидим. (По-моему, журналист опорожнил одну-две рюмочки.)

— Нет,— сказал Роман Иванович,— ты здесь побудь, ты отдыхай, а я с ним сейчас должен потолковать.

— Возьми, Роман, ключ,— сразу сообразила Рита Михайловна.

Роман Иванович вышел вместе с Ритой Михайловной. (Журналист остался на террасе.) Роман Иванович коротко кивнул мне, открыл кабинет ключом, пропустил меня, и мы остались наедине.

— Садитесь,— сказал мне Роман Иванович.

Я сел.

— Давайте,— сказал Роман Иванович.

Я не сразу сообразил, о чем речь, но, замаявшись секунду-другую, все-таки догадался, полез в карман и протянул донос. Роман Иванович взял и принялся читать. Читал он долго и внимательно.

— Ну что ж,— сказал он,— конечно, немало шероховатостей, но в общем приемлемо... Должен вас предупредить, что вам предстоит поездка.

— Куда?— тревожно спросил я.

— У вас есть связи с группой Щусева?— не отвечая на мой вопрос, неожиданно спросил Роман Иванович.

— Я уже давно не общаюсь.

— А что вам известно об отношениях Щусева с русским

националистическим движением за границей? С русской антисоветской эмиграцией?

— Никогда, ничего,— растерянно как-то ответил я, поняв, что подвергаюсь допросу, и волнуясь оттого, что Роман Иванович может меня в чем-то заподозрить и не поверить.

— А Горюн?— спросил Роман Иванович.— Что вам о нем известно? О его взаимоотношениях со Щусевым?

— Мы состояли в одной организации,— ответил я,— но Щусев ненавидел его.

— Почему?

— Горюн был сторонник Троцкого,— ответил я,— а Щусев считал троцкизм еврейским движением, направленным на порабощение России.

— Было бы неплохо, если б вы могли поехать вместе с группой Щусева,— сказал Роман Иванович. По тому, как он перескакивал от темы к теме, я понял, что мои сведения его не интересуют, все это и так ему известно, он просто прощупывает меня.— Щусев вас в чем-нибудь подозревает?— спросил Роман Иванович.

— Раньше он мне доверял, относительно, конечно,— ответил я,— но теперь, пожалуй, не доверяет.

— Ну хорошо,— сказал Роман Иванович,— во всяком случае, вы должны явиться к месту назначения одновременно с группой Щусева... Поможете местным товарищам в опознании...

— А Щусев собирается куда-то ехать?— спросил я.

— Да,— ответил Роман Иванович,— тот район сейчас весьма беспокойный... Там было несколько стихийных выступлений экономического характера... Появлялись и антисоветские листовки... Надо бы выявить, кто их распространяет, нет ли здесь связи с группой Щусева...

— Коля тоже поедет?— тревожно спросил я.

— Нет,— ответил Роман Иванович,— достаточно, если вы пройдете там регистрацию... А на докладной подписи вас обоих. Таким образом у меня будет возможность вас из дела извлечь... В крайнем случае вы будете проходить отдельно, но это уже проще... Вы меня поняли?

— Да,— ответил я.

— Ну, все,— сказал Роман Иванович, встал, и мы вместе вышли из кабинета.

У дверей кабинета нас ждала уже взволнованная Рита Михайловна.

— Роман,— сказала она,— только что приехала Маша, она ищет встречи с тобой... Я ее пока спровадила.

— Подожди,— сказал Роман Иванович,— в чем дело?

— Маша хочет хлопотать за какого-то своего знакомого, за какого-то Иванова.

— Ах, это тот...— сказал Роман Иванович.— Я вряд ли смогу что-либо сделать.

— Да тебе и не надо ничего делать,— крикнула Рита Михайловна,— этого еще не хватало. Сумасбродная девчонка. Ты и так достаточно много делаешь для нашей семьи... Роман, у тебя с Гошей все?

— Да как будто.

— Тогда неплохо, если б ты сейчас уехал.

— Гонишь?— улыбнулся Роман Иванович.

— Мы ведь люди свои,— сказала Рита Михайловна,— эта сумасбродка устроит скандал, возбудит Колю и бог его знает, что она натворит.

— Да мне, собственно, и пора,— сказал Роман Иванович.

— Ну чудесно,— сказала Рита Михайловна.— Господи, какой ужас иметь таких детей... Ведь к ним буквально липнет всякая антисоветчина...

Я понял, что лишний при этом разговоре, и вышел во двор. «Значит, Маша приехала,— подумал я с радостью,— и я ее увижу... Но куда ее отослали? Наверно, на озеро к Коле». И действительно, углубившись в лес, я увидел брата и сестру, которые торопливо шли к даче.

— Роман Иванович еще здесь?— издали крикнула мне Маша.

— Кажется, уехал,— ответил я.

— Ну вот,— горячился Коля.— Я ведь тебе сказал, они нарочно тебя спровадили, чтоб ты с ним не встретишься. У мамы сталинские методы. (Напоминаю, Коля все дурное именовал сталинским.)

— Сволочи!— сказала Маша. Она была крайне взволнована и бледна.— Значит, ты меня обманула,— крикнула Маша, увидев Риту Михайловну на дачном крыльце.

— Оставь этот тон,— сразу же возбудила себя Рита Михайловна, чтоб чувствовать себя против Маши подтверже. (Мне кажется, она ее побаивалась.)

— Где отец?— спросила Маша.

— Не твое дело,— крикнула Рита Михайловна,— я ведь тебе запретила показываться на даче.

— Где отец?— снова повторила Маша.

— Он болен,— уже потише сказала Рита Михайловна,— но разве тебя это интересует?

— Да ты не слушай эту сталинскую стерву,— грубо крикнул Коля.— Он на террасе.— И вместе с Машей они проскочили внутрь дома.

— Пойдемте,— отирая заблестевшие слезы, шепнула мне Рита Михайловна,— может, вам удастся повлиять на Колю.

Мы поспешили следом. Журналист, как и прежде, сидел в кресле. Разморенный коньячком, он, кажется, задремал и вот теперь был разбужен криком.

— Отец,— говорила Маша,— Сашу Иванова, помнишь, того, кто делал на диспуте доклад, обвиняют в хулиганских действиях... Но ведь это не он тебя ударил, он просто спорил с тобой...

— Ну что ты хочешь, Маша? — вяло, еще не оправившись от сна, спросил журналист.

— Ты должен официально написать, что он не совершил против тебя никакого хулиганства.

— Ты ведь не глупая девушка, Маша,— сказал журналист.— Вспомни тему его доклада, тут ведь все гораздо серьезнее.

— Напишешь или не напишешь? — резко перебила она.

— Ну хорошо, напишу,— испуганно как-то сказал журналист.

— Ничего ты не напишешь,— вмешалась Рита Михайловна.— Еще чего недоставало. И перестань, Маша, тиранить больного отца. Как тебе не стыдно. Ты, Маша, издеваешься над родными тебе людьми ради какого-то чужого типа, замешанного в антисоветских делишках.

— Он мне не чужой,— крикнула Маша,— это мой жених... Вы мне чужие...

Меня обдало жаром. Значит, Маша его любит, значит, снова соперник и снова из пострадавших. Но четких мыслей у меня в тот момент не было, ибо далее все пошло клочками.

— Не желаю вас больше знать,— крикнула Маша.

— Маша,— пытался подняться из кресла журналист, но у него, очевидно от волнения, отнялась больная левая нога, которой он безуспешно скользил по полу.— Маша, я ведь согласен.

— Ничего ты не напишешь,— снова крикнула Рита Михайловна,— пусть уходит... Слишком она разжирела на отцовские денежки...

— Плевать на ваши иудины деньги,— крикнул Коля,— отец называется... Людей закладывал... Эта дача на чекистские деньги построена... Сталинские сволочи... Я с тобой, Маша... Все... Навсегда...— И, взявшись за руки, оба чрезвычайно в гневе похожие лицом, брат и сестра выбежали из дачной калитки.

— Вы за Колей,— вытаращив от волнения как-то по-

рачьи глаза, шепнула мне Рита Михайловна,— не упускайте его, прошу вас...

Я выбежал следом. Брат и сестра торопливо шли по тропке вдоль дачных заборов к автобусу. Я догнал их.

— Ты с нами, Гоша,— сказал Коля,— так я и знал... Здесь не может находиться порядочный человек. Мой отец платный стукач, я в том убедился. Мне кажется, он что-то замышляет и против Щусева.

Я остановился в волнении:

— Откуда ты это взял?

— У меня предположение... Отец одно время ведь был с ним довольно тесно связан... Деньги посылал... Собственно, благодаря отцу я и познакомился. Но теперь я понял, что отец попросту чекистский шпион. Ты обязательно поставь об этом Щусева в известность.

— Хорошо,— сказал я, пытаясь замять опасный разговор.

Всю дорогу брат и сестра горячо (даже излишне горячо) доказывали друг другу, как хорошо им будет вдвоем и как правильно они сделали, что порвали с подобными родителями.

— Снимем комнату,— говорил Коля,— я буду работать. Я давно хотел идти на завод, жить своим трудом. Вот, Гоша все время один, без чужой помощи, живет, и как хорошо. Он знает, чего хочет, у него есть цель...

При этих Колиных словах я посмотрел на него предостерегающе, боясь, что в юношеском запале он разболтает о моей мечте возглавить Россию. Вернее, он об этом давно разболтал, и причем в разных местах: Ятлину, своему бывшему кумиру, и отцу своему, судя по намекам. Но при Маше мне не хотелось его болтовни, ибо от Маши снести насмешки мне было особенно тяжело. К счастью, Коля, находясь после ссоры с родителями в раздробленных чувствах, тут же перескочил на иную тему и начал доказывать, что лучше всего им устроиться у родственницы Марфы Прохоровны. (Той самой, где Коля организовал явку для группы Щусева.) Но Маша запротестовала, и между ними чуть не произошла первая открытая размолвка. Я понял, что, несмотря на взаимную любовь, между братом и сестрой по-прежнему сохраняется политическое противоборство и каждый друг друга хочет обратить в свою веру.

— Напрасно ты, Маша, так о наших,— сказал Коля,— ты видишь лишь отдельные недостатки, но не видишь цель. А ведь она святая и истинно русская.

— Глупышка ты еще, Коля,— ласково, но настойчиво сказала Маша.

На это Коля притих и замкнулся. Исходя из всего я понял, что подобный разговор между ними не первый и, более того, между ними бывали разговоры и пожестче. Таким образом я понял, что в обществе имени Троицкого, куда мы безусловно ехали, Коля будет вести себя по меньшей мере настороженно.

Русское национальное общество по борьбе с антисемитизмом имени профессора Троицкого (очередная компания, подумал я, сколько их уже прошло передо мной за время моей политической активности) помещалось в однокомнатной квартире в одном из новых, отдаленных и пока неблагоустроенных районов Москвы. Дома эти стояли кучкой среди захлащенного пустыря. «Жилмассив» — так и называлась трамвайная остановка, от которой пешком было еще километра полтора-два по пыльной, с колдобинами и рытвинами, дороге. «Наверное, в дождь здесь все развозит,— подумал я,— не пройти, не проехать». Мы вошли в один из подъездов, где еще пахло свежей покраской и цементом, поднялись на седьмой этаж пешком (лифт существовал, но стоял на приколе), и Маша позвонила у одной из дверей. (Единственной на лестничной площадке, перед которой не лежало тряпки или резинового коврика, чтобы вытирать ноги.) Открыл нам высокий, костлявый молодой человек крайне нечистоплотного вида, с добрыми голубыми глазами, которые постоянно как бы извинялись и просили о чем-то, глядя на собеседника.

— Анненков Иван Александрович,— торопливо как-то представился он, словно боясь, что мы его заподозрим в невежливости. И при этом улыбнулся, обнажив бескровные десны.

— Это, Ваня, мой брат Николай,— сказала Маша.

— Очень приятно,— сказал Анненков и, несколько изогнувшись в спине, пожал Коле руку.

Вежливость его была искренняя, но, учитывая нашу с Колей настороженность и холодок, она выглядела как подобострастие. И вообще, человек искренне добрый и вежливый на фоне современной замкнутости, иронии и личного достоинства невольно выглядит униженным и чуть ли не лакеем. Подумав так, я почувствовал неловкость, и когда Маша представила меня как своего знакомого, отчего мне стало крайне хорошо, то, чтоб хоть чем-нибудь отплатить за вежливость Анненкова и при этом скрыть неприятное ощущение от холодного, бескровного и костяного рукопожатия хозяина, я сказал:

— Анненков... где-то я слышал, не припомню...

— Вы, наверное, имеете в виду моего прадеда,— тотчас же откликнулся Анненков,— тоже, кстати, Ивана Александровича. Известный декабрист. Был поручиком кавалергардского полка. За участие в Северном обществе осужден по второму разряду и сослан на каторжные работы в Сибирь...

Причем все это говорилось тут же, в темной прихожей у порога. Я сдержался, но Коля прямо-таки прыснул, не выдержав. Должен, кстати, заметить, что Коля хоть и был в основе своей добрым мальчиком, но если уж настраивался против своих общественных оппонентов, способен был дерзить вполне откровенно и не без наглости. (Вспомним хотя бы его поведение на уличном диспуте у памятника Маяковскому в первый день нашего знакомства.) Да и кроме того, мне показалось, что Коля, который преклонялся перед декабристами, перед этим «мужественным русским рыцарством», явно ревновал к ним Анненкова, тем более что Анненков якобы был родственником декабриста. В общем, поведение Коли стало сразу же настолько резким (я это предполагал еще даже не видя Анненкова, а так, по интуиции), так вот, поведение Коли настолько стало обнаженно враждебным и насмешливым, что и кроткий Анненков, по-моему, нечто заметил, ибо повернулся к Коле с удивлением и растерянностью в своих добрых голубых глазах. Маша сердито посмотрела на Колю, не зная, что и предпринять, но тут я нашелся. (У меня после бесчисленных политических противоборств отличная тренировка.)

— У нас с Колей всю дорогу был спор,— вставил я.— Мы загадали желания и решили, что выиграет тот, кто угадает,— откроет дверь мужчина или женщина. Я утверждал, что женщина, а Коля — что мужчина. Вот он выиграл и радуется.

Объяснение было нелепейшее, но в подобной ситуации оно-то и наиболее правдоподобно, ибо не нуждается в логике, а нуждается лишь в добром согласии поверить на слово. Во время моей длинной тирады Анненков перевел взгляд с Коли и смотрел теперь уже с искренним вниманием мне в лицо, все-таки стараясь понять мое путаное и нелепое объяснение. Оттого, что оно было путано и Анненков его явно не понимал, он чувствовал себя смущенным, виноватым, и на мгновение после моей тирады наступила неловкая пауза, весьма опасная, ибо я боялся, как бы Коля во время ее не расхохотался. К счастью, обошлось, очевидно, еще и потому, что Маша крепко взяла Колю за локоть.

— Ах, вы о суеверии,—наконец понял что-то Анненков и оттого, что понял, добро улыбнулся, опять показав бескровные десны.

— Именно,—торопливо подхватил я.

— Да,—сказал Анненков,—все мы подвержены... А разве антисемитизм не страшное суеверие нашей несчастной отчизны?.. Да вы проходите, все уже в сборе,—сказал Анненков, как бы вспомнив о цели нашей встречи,—а я насчет чая... Вы в комнату проходите,—и он, повернувшись, ушел на кухню...

— Не смей, слышишь...—только и успела сердито шепнуть Маша Коле.

Удивительно, как быстро распались их хорошие отношения, не скованные теперь общей неприязнью к «родителям-сталинистам» (как они выражались).

Мы вошли в комнату, как и естественно было предположить по виду хозяина и по прихожей, бедно обставленную и неопрятную. Мебели было много, очевидно, перевезенной из другой, более вместительной комнаты или квартиры, но вся она была старая, шаткая и разнокалиберная. Стояло два платяных шкафа: один с треснутым мутным зеркалом, второй какой-то кособокий, с вывернутыми дверцами. Стояла поблекшего никеля кровать, с которой все четыре шпешечки были утеряны, и видна была нарезка, куда они в свое время наворачивались. Стоял тяжелый буфет с цветными стеклами, в свое время, очевидно, весьма красивый, но ныне пыльный, с облупившимся лаком и с запахом порченных продуктов изнутри. В углу укреплена была икона Христа в потемневшем серебряном окладе. За столом, устланным старой, облезшего плюша скатертью, с золотистыми кистями, сидели парень и девушка, явно находящиеся в связи между собой, гуляющие друг с другом или попросту муж и жена. Это я определил прежде всего и с первого взгляда, хоть сидели они даже в некотором отдалении друг от друга и без всякого флирта. Просто в их позе по отношению друг к другу был некий покой, который устанавливается, когда мужчина и женщина уже познали друг друга. Я, человек ущемленный и жаждущий, особенно в присутствии Маши, научился подобное распознавать вполне. Девушка была одета с претензией и, возможно, из состоятельной семьи, как и Маша, но несколько постарше Маши и, конечно же, уступающая ей внешне. В парне временами мелькало нечто семитское, при определенном повороте головы, что ли, но в общем был он волосом светел, сероглаз, с коротким прямым носом и очень белой кожей, на которой, не только на лице, но и на шее, видны были веснушки. Может, эти

веснушки также придавали его лицу временами семитский оттенок, несмотря на остальные атрибуты славянского в нем. Парня звали весьма стандартно — Виталий, девушку же — Лира, очевидно, из семьи музыкантов, подумал я.

Мы с Колей представились и уселись на скрипучие стулья, а Маша пошла на кухню помогать Анненкову. Поскольку, по словам Маши, Русское национальное общество по борьбе с антисемитизмом имени Троицкого состояло пока из пяти членов, все были в сборе, за исключением, разумеется, Иванова, который был арестован.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Вскоре, благодаря хлопотам Анненкова и Маши, на столе появился чай, два нарезных батона и пастила вместо сахара, принесенная в сахарнице, причем каждая штучка была поломана пополам, то ли чтоб уместить в сахарнице, то ли ради экономии. За время моей политической жизни, а также благодаря прежнему моему бесправию и материальной убогости я научился по угощению различать и определять характер компании. Например, в одной из первых моих компаний, куда привела меня Цвета еще в провинции и где присутствовал сам богопочитаемый тогда Арский, питание было зажиточным и обильным, что свидетельствовало о связях той компании с официальным укладом жизни, несмотря на оппозиционную смелость речей, поразившую тогда меня, человека начинающего в политике. В московской же компании Ятлина все было наоборот, все разнузданно, все в противоборстве. В бесшабашно нарезанных колбасах и сырах, в мятых руках, наломанных кусках хлеба, в обильно открытых банках разнообразных консервов было уже само по себе нечто молодежное, отвергающее весь уклад прошлой жизни. Здесь же торжествовала скромная, неаппетитная бедность. Батоны были черствы и крошились, чай — явные спитки, а пастилу подали в липкой сахарнице.

— А ветчину, которую ты принесла, — сказал Анненков Лире, — мы решили Саше для передачи сохранить... Если никто не возражает...

— Нет, нет, — сказал Виталий, — и очень хорошо.

— Я, ребята, без денег, — неловко улыбнувшись, сказал Анненков, — вы уж извините, без стипендии...

— Да что ты, Ваня, — сказала Маша, — хорошо хоть тебя вовсе не исключили.

— Меня ведь обвинили, что я секту жидовствующих хочу восстановить... У нас на кафедре Святого писания, Ветхого завета, как сместили отца Антона, так тяжело стало,— Анненков вздохнул,— и скучно, и, извините за выражение, подло... Не только профессура, но и слушатели в основном меня ненавидят. Народ у нас подобрался все не духовный, злой и безграмотный... Каждый угодить старается, чтоб богатый приход получить... Тема моя курсовая была «Древнерусская проповедь в домонгольский период»... Так меня обвинили, что я там из Талмуда цитату использовал...

— Так вы студент Духовной академии?— спросил Коля.

— Да,— повернувшись к нему и улыбнувшись зачем-то, сказал Анненков.

Оттого, что каждому, кто к нему обращался, Анненков отвечал с улыбкой, она казалась угодливой, хоть в действительности не была таковой, а выглядела так лишь рядом с лицами людей, озабоченных соблюдением своего достоинства. Но тем не менее это раздражало. Причем раздражало до того, что Коля, который как пришел, так и пребывал в озлоблении (а возможно, и в тоске, ибо как добрый в основе своей мальчик он уже начал мучиться раскаянием относительно его грубости родителям и одновременно неприязню к себе за отсутствие принципиальности), так вот, пребывая в таком состоянии, Коля и вовсе забылся, раздраженный улыбкой «этого попка», как Коля его про себя окрестил и даже шепотом со мной поделился своей кличкой.

— Так я не пойму,— сказал Коля,— вы еврейскую религию исповедуете или русскую?.. Вы меня извините, я впервые разговариваю с попом и потому путаюсь... Или вы раввин?

А в этом мальчике значительно больше яда, чем можно было предположить, отметил я про себя.

— Во-первых, Ваня еще не священник, а слушатель Духовной академии,— вмешалась Маша, сердито глядя на Колю,— а во-вторых, ты неплохих пакостей набрался от черносотенца Щусева.

Я вздрогнул, и сердце мое тревожно заколотилось. Маша совершила грубейшую ошибку, вытащив сейчас эту фамилию на поверхность, да еще публично и в таком непочтительном тоне... Но и я виноват. Надо было хотя бы в общих чертах объяснить ей ситуацию, конечно, не в подлиннике, но как-либо ухитриться и объяснить, что Коля пока еще под влиянием Щусева и все должно проводиться постепенно. Поистине Маша сильно изменилась, даже за тот короткий промежуток, что я ее знал. В ней появилась запальчивость, сопровождающая какой-то духовный перелом или сильное разочаро-

вание. В практических же ее шагах наблюдалась явная непоследовательность. Так, стремясь вырвать Колю из-под влияния родителей-«сталинистов» и как будто добившись этого, она тем не менее вела себя запальчиво и рубила сплеча.

— Щусев русский патриот,— вскочил со своего места Коля,— он был в концлагере двадцать лет. Его пытали сталинские палачи, ему легкие отбили... А вы чем занимаетесь?

— Позвольте,— сказал Виталий,— Щусев — это главарь хулиганствующей черносотенной банды, зарегистрированной у нас в списках... Вы спрашиваете, чем мы занимаемся? Мы стремимся в меру наших сил посеять в простых русских людях, в их сердцах, в их обманутых сердцах понимание трагической судьбы еврейского народа... Потоков крови... Оправдаться... За погромы и преследования...

— А кто оправдается за реки русской крови...— крикнул Коля,— крепостное право и так далее... Русский народ сам замучен и страдает...

— Так почему ж ты порвал со своим отцом? — уж окончательно теряя самообладание, крикнула Маша.

— Я порвал с ним за то, что он сталинский стукач и иуда, а не за то, что он русский патриот,— крикнул Коля,— вот так... Да он и не русский патриот... Ты, Машка, ошиблась... И если ты его за это ненавидишь, за русский патриотизм, то ошиблась...

— Вы антисемит? — спросила Лира, поглядев на Колю свысока, но тон и форма ее вопроса вышел глупый настолько, что Коля расхохотался, правда, первоначально искренне, а потом (хохотал он долго) уж явно с некоторой натяжкой.

— А идите вы все к черту,— сказал Коля,— Гоша, пойдем отсюда, они нам еще обрезание сделают.

Такого я от Коли не ожидал, и вообще я его слышал впервые в этом ракурсе. Несмотря на общение со Щусевым, я не помню, чтоб тот при Коле что-либо говорил впрямую на подобные темы (мне даже казалось, что Щусев опасается), а неприязнь Коли к пионеру Сереже Чаколинскому, который по всякому поводу употреблял антиеврейские выкрики, создавала у меня впечатление, что Коля его не любит также и по этой причине. Должен, однако, ради справедливости заметить, что Коля, конечно же, пребывал в некоем юношеском противоборстве не столько с просемитской идеей, сколько с людьми, эту идею проповедующими, людьми, которые ему чисто физически не нравились. Ему неприятно было также, что сестра его Маша хочет увлечь его своей просемитской идеей и совершенно игнорирует личные Колины воззрения, точно он еще сопляк и мальчишка.

Брат и сестра стояли теперь друг против друга, снова, как на даче, крайне похожие, но теперь гнев не объединял, а разъединял их.

— Так идешь, Гоша? — снова повторил Коля, но, глянув на меня, тут же заметил: — Хотя ты ведь влюблен в Машку... И черт с тобой, не буду тебе мешать...

Он бросился в переднюю, ткнулся в дверь, подергал ее, наконец справился с замком и выбежал. Я слышал, как шаги его протарахтели по лестнице и как хлопнула внизу дверь парадного. Я испугался, не обратит ли свой гнев Маша и против меня из-за публичных Колиных слов о моей влюбленности, но она эти Колины замечания опустила, словно не расслышала.

— Извините меня, — сказала Маша, — извините, что я привела сюда брата. Он еще с детства сильно искалечен духовно. Тут и я виновата, но особенно родители, отец.

— Да, — сказал Анненков, — это лишь подтверждает необходимость главную работу развернуть среди юношей.

— Согласно современным психологическим исследованиям, — сказал Виталий, — основа духовного фундамента формируется к трем-четырем годам...

— Ты хочешь сказать, что мы должны проповедовать любовь к евреям младенцам? — сказала Маша. Она была явно угнетена духовно, а значит, раздражена, да и к тому ж, как мне показалось, недолюбливала Виталия.

— Представь себе, — вступилась за своего кавалера Лира, — дети подвергаются дурному воздействию именно в семье и именно с младенчества... Я где-то читала, что когда во время кишиневского погрома 1903 года евреям забивали в голову столярные гвозди, ребята совсем младенческих возрастов были со своими родителями и некоторые даже на руках... Совсем рядом с истязаемыми жертвами.

— Зачем такие древние примеры? — сказал Виталий. — Недавно в моей школе ребята шестого класса выбили из рогатки глаз своему однокласснику еврею. А власти это дело постарались замять. Вот о чем, я считаю, надо написать листовку.

— Ребята вообще дерутся, — сказала Маша, — особенно в этом возрасте. Так что повод для листовки явно неудачный.

— Я тебя не совсем понимаю, — по-женски непоследовательно возразила Лира, — Саша (этот Саша Иванов безусловно их идейный вождь), Саша как раз всегда настаивал на том, чтоб примеры наших листовок были из сегодняшнего дня. (Уж не ревнует ли она Машу к Иванову?) Впрочем, —

посмотрев на меня, сказала Лира,—впрочем, об этом не стоит при посторонних.

— Во-первых, этот человек пришел со мной,—сказала Маша (после этих слов у меня сладко заныло сердце),—а во-вторых, ты... вы забываете самую основу нашей деятельности...

— Да, да, Лира,—неожиданно поддержал Виталий Машу, может быть, в перепалке между этими двумя женщинами ощутив какое-то противоборство их за Сашу Иванова и потому из ревности приняв сторону противницы своей дамы.— Да, Лира,—продолжал он,—тут уж ты неправа... Основа нашей деятельности—полное отсутствие конспирации... Полная легальность... Мы не подпольная организация, а добровольное общество содействия тем статьям конституции, где говорится о расизме и об антисемитизме. Выпускает же добровольное общество содействия армии свою газету. Так же и мы должны выпускать свою листовку. И никаких тайн.

— Вот и дождались,—сказала Лира.—Саша арестован, да и кто знает, что нас ждет.

— Саше предъявлено обвинение в хулиганстве,—сказала Маша,—обвинение, совершенно общества не касающееся.

— Ваш идеализм меня поражает,—сказала Лира Маше, но при этом демонстративно отвернулась от Виталия. Между ними явно назревало выяснение отношений.

— Чай остынет, ребята,—сказал Анненков и снова улыбнулся.

Началось чаепитие почти что в полном молчании. Вернее, может, и мелькали какие-то незначительные реплики, какие из приличия сопровождают обычно чаепитие в компании, но все они как бы проходили мимо меня, ибо я «вдыхал» Машу, сидящую рядом со мной. Именно вдыхал ее аромат, как бы закусывая им чай, чрезвычайно оттого вкусный и бодрящий. Так в блаженстве прошло минут десять, пока вдруг не раздался звонок в дверь, причем настойчивый и непрерывный. Так звонят только от возбуждения в радости или в тревоге. Все переглянулись.

— Похоже, Пальчинский,—сказала Лира,—его манера.

«Пальчинский,—подумал я,—это еще кто? Значит, шестой?»

Пальчинский этот, во-первых, чрезвычайно соответствовал своей фамилии, ибо был не то что малого, но, вернее сказать, совсем хрупкого и нежного телосложения. Было ему лет тридцать, не менее, но на лице играл юношеский румянец. Ворвавшись (иначе не скажешь) в комнату, он тут же выпалил, словно боясь, что кто-нибудь похитит у него новость.

— Подтвердилось,— крикнул он,— мне удалось точно установить, что в 1940 году велись переговоры о выдаче гестапо не только немецких коммунистов, но и евреев.

На мгновение наступила тишина. И не то чтоб крайняя новость испугала людей, живущих в атмосфере политических слухов и нащептываний. Всех невольно поразило радостное возбуждение Пальчинского, сообщавшего эту ужасную новость.

— Известие о выдаче Сталиным немецких коммунистов уже фигурировало в западной печати,— сказал Пальчинский,— но насчет евреев — это впервые... Это может создать нашему обществу имени Троицкого международный авторитет...

— Не кричи,— осадил его вдохновение Виталий,— ты-то откуда знаешь?

— Я сам видел списки видных советских евреев, которых должны были передать гестапо в первую очередь... Ну, копию списков, конечно.

— А где же ты их видел? — спросила Лира.

— Видел,— сказал Пальчинский,— вернее, честно говоря, я беседовал с человеком, который их видел... Но он настолько авторитетен и заслуживает доверия, что это как бы я сам видел. Вы ведь знаете, что гестапо организовало всемирную перепись евреев, это знают все. Но то, что они потребовали статистические данные о советских евреях, это мало кому известно. А то, что такие сведения они получили, это никому не известно, и здесь уж мы можем о себе заявить... Это сведения всемирные.

Глаза его блестели, румянец расплылся по всему почти лицу. «Маньяк,— подумал я,— и стремится к всемирности. Настойчив, но, к счастью, неопытен и разболтан, как и я ранее».

— Ну почему же неизвестно? — сказал Виталий.— Я слышал какую-то историю о том, что немецкой разведке удалось похитить статистические данные о советских евреях.

— В том-то и дело, что утечка информации была умышленная,— крикнул Пальчинский,— да и к тому же речь шла не просто о выдаче информации, но и о физической выдаче для начала видных советских евреев... Михозлса и так далее... Но помешала война... Человек, занимавшийся этим, потом был расстрелян вместе с Берией... И как бы концы в воду... Но нет, шутишь,— Пальчинский кому-то погрозил пальцем и засмеялся,— такие сведения могут быть тут же опубликованы на первой полосе лондонской «Таймс».

— Мы служим не лондонской «Таймс», а России,— сказал Виталий.— Наша задача — борьба с антисемитизмом легаль-

ным, законным путем. Мы не антисоветчики. А от ваших сведений пахнет политическим бандитизмом и идеологической спекуляцией.

— Вот как,—сказал Пальчинский, разом преобразившись, так что лицо его искривилось гримасой и в голосе явилась та самая хрипотца, которая характерна для гневливой мании.— Вот как,—повторил Пальчинский,—ваша деятельность напоминает мне легальный онанизм в психлечебницах,—и он захохотал.

— Пальчинский,—крикнул Виталий,—здесь женщины! Я тебе морду набью!..

— Только попробуй,—разошелся Пальчинский.— А где же наш вождь, этот нестареющий юноша Иванов? (Отсюда я сделал вывод, что Пальчинский, не знавший об аресте Иванова, давно уже не был в организации имени Троицкого либо вообще бывал здесь наскоками. Иванова он явно не любил, претендуя, очевидно, сам на роль лидера.) Вот уж у кого физический недостаток,—продолжал Пальчинский,—хоть в него и влюблена некая особа и, казалось бы, в таком недостатке надобности нет...

— Мерзавец! — крикнула Маша, побледнев.

Я тоже, кажется, сразу побледнел, ибо почувствовал на лбу холодок и почти в забытьи бросился к этому Пальчинскому. Но наткнулся на Анненкова, который встал между нами.

— Не надо,—сказал Анненков, поглядев на меня с какой-то дрожащей (у него дрожали губы) улыбкой.— А вы уходите,—повернулся он к Пальчинскому.

— Ну хорошо же! — крикнул Пальчинский.— Я выхожу из вашей ничтожной организации...

— А вы давно уже из нее исключены,—отозвалась Лира. (Вот почему Маша назвала пятерых, а не шестерых.)

— Ах, так! — крикнул Пальчинский и вдруг сделал непристойный жест.

— Он безусловно провокатор,—сказал Виталий, когда Пальчинский, после совершения непристойности, ушел (вернее, выбежал в том же почти темпе, что и вбежал),—он провокатор, и к тому же лечится в психбольнице.

По опыту своему я знал, что стандартный скандал, присущий всякому подобному политическому сборищу тех времен, уже прошумел, а следовательно, ничего более здесь не будет и остаток вечера пройдет тоскливо и скучно. (Правда, первоначально здесь произошло столкновение с Колей, но я понимал, что столкновение это случайно и скорей носит личный оттенок, а значит, им дело не ограничится.)

— Пойдемте,— шепнул я Маше.

— Да,— сказала она,— пойдете... Какая мерзость,— добавила она, не удержавшись.

Мы попрощались и вышли. Никто нас не удерживал и не удивился нашему уходу. На улице уже темнело, шел дождь, однако, судя по всему, начался лишь недавно, поскольку дорога не успела размокнуть и в колдобинах лужи были незначительные, только начинали образовываться. Маша шла, угрюмо опустив голову, я осмелел и мягко взял ее за руку.

— Скоты,— сказала Маша, не отнимая у меня своей руки,— кроме Саши Иванова (у меня от ревности заныло сердце), кроме Саши, в организации нет порядочных людей... Для такого святого дела нельзя найти честных, порядочных людей... Даже Анненков... юродивый... Здесь Коля прав, хоть и вел себя по-хамски. Сейчас придем, вы с ним поговорите... Глупо получилось... Коля ведь мальчик добрый, честный, но оттого, что вокруг все так... Да и я глупо себя вела,— в раскаянии говорила Маша.

— Я с ним обязательно поговорю,— сказал я.— Он поймет.— И, совсем уж от всего этого осмелев, я осторожно начал массировать пальцами Машины пальчики, повторяя про себя: «Вкусные пальчики... Ах, какие вкусные пальчики...» Возбудив себя мыслями и прикосновением, я вдруг захотел попробовать эти пальчики губами, но на это уже не решился и даже, испугавшись таких мыслей, совершенно ослабил свои прикосновения, на что, к радости моей, Маша обратила внимание, как-то искоса и неодобрительно глянув на меня. «Женщина все чувствует,— подумал я,— все, что касается ее души и тела. Малейший штришок. Ах, какой я глупец...» Несмотря на оставшийся позади скандал и выходку Пальчинского, у меня было радостно на душе, и эта прогулка под дождем к блещущей впереди вечерними огнями трамвайной остановке по разбитой колдобинами дороге была самая счастливая в моей жизни...

Но на городской квартире журналиста нас ждал сюрприз: Коля даже и не приходил.

— А куда же он делся?— в волнении сказала Маша.— Вряд ли при его характере он поедет на дачу после ссоры с родителями.

Меня тоже охватило волнение, но повод у меня был еще более серьезен. Первое же, что пришло мне в голову, было и наиболее вероятным, и наиболее опасным. «А если Коля, взбешенный ссорой с любимой сестрой, растерянный от ссоры с родителями, вышедший из-под моего контроля, ибо я остался в компании ему враждебной и тем самым, по его

юношеским представлениям, предал его, а если Коля, оказавшись в таком коловороте, кинулся искать Щусева самостоятельно и более мне не доверяя?.. А если он нашел его и вся история с доносом выплыла?»

— Маша,—сказал я,—надо к той старухе... К Марфе Григорьевне, что ли... (фактически, как известно, ее звали Марфа Прохоровна).

— Вы думаете, он там?—тоже волнуясь, но, разумеется, не понимая истинных причин моего волнения, сказала Маша.

— Возможно,—ответил я.—Сейчас темно, поздно. Я, пожалуй, дорогу не найду один.

— Я конечно же с вами,—сказала Маша и обернулась к квартирной домработнице Клаве, которой тоже передалось наше волнение, сказала:—На дачу пока не звоните, не надо родителей волновать.

Марфа Прохоровна жила неподалеку, но чем ближе мы подходили к явочной квартире группы Щусева, тем нерешительнее становились мои шаги. Лишь на улице, охлажденный ночным ветерком, я понял ту ясную, казалось бы, истину, что встреча со Щусевым мне ничего хорошего не сулит, а тем более если там побывал Коля и все раскрылось. А Щусев и эти его пьяные мальчишки способны на все.

— Подождите меня здесь,—сказал я Маше.

— Вы думаете, эта банда еще существует?—спросила Маша.—А я слышала, что они арестованы. Вот почему я особенно волновалась, но не хотела говорить. Ведь и Колю могут привлечь...

— Могут,—машинально ответил я.

Маша волновалась за брата и в волнении совершенно забыла, что и я этому делу не посторонний, что и меня могут привлечь. Я вошел в подъезд и, остановившись перед дверьми явки, подумал: сам в западню лезу. Ну, конечно, надо выяснить, был ли здесь Коля. Входить я не буду, но сразу пойму. В зависимости от того, кто откроет и как все далее сложится. Если Коля был и история с доносом известна Щусеву, значит, план действий надо перестраивать.

Я позвонил и прислушался. Позвонил снова. Ночной звонок чисто физиологически, независимо от того, ты ли звонишь, к тебе ли звонят, и в том и в другом случае одинаково обостряет нервы, ибо он как бы символ, сигнал бедствия, поскольку ночные вести, как правило, есть вести о бедствии. И, нажав звонок в третий раз, я как бы сам себе возвестил о предстоящей опасности либо о дурной вести. Вот так возбуждив себя и настроив, я совершенно пропустил момент, когда открылась дверь. Заспанная Марфа Прохоровна вышла ко

мне по-старушечьи бесстыдно, без халата, в платке, «для приличия» наброшенном на плечи поверх ночной рубашки.

— Тебе чего? — сердито сказала она. — Уехали они.

— Давно? — радостно крикнул я, ибо не мог скрыть радости, так неожиданно все это было, вопреки дурному предчувствию.

— Давно, — ответила Марфа Прохоровна и хотела закрыть дверь.

— Ну как давно? — удерживая дверь и желая окончательно убедиться в удаче, сказал я. Мало ли что по-старушечьи значит давно, может быть, час для нее тоже давно. — Когда они уехали, — переспросил я, — сегодня?

— Недели с две, — ответила Марфа Прохоровна, — а может, и дней с десять. (Значит, сразу же после скандала в квартире журналиста.) И как следует не рассчитались, — продолжала старуха, — все загадили. — Она снова хотела хлопнуть дверь, и снова я ее удержал, что несколько испугало старуху, которая, глянув на меня, спросила: — А тебе-то чего?

— Коля здесь был? — спросил я, на этот раз спокойнее и проще, без волнения, ибо в главном был порядок.

Такая во мне перемена успокоила старуху.

— Был, — сказала она совсем уж не испуганно, а сердито. (Старуха эта вообще либо пугалась, либо сердилась, иных чувств я за ней не замечал.) — Прибегал как полоумный сегодня, тоже про этих спрашивал, которых он мне на квартиру всучил... К отцу не приведет и к матери... Все к Марфе Прохоровне... А попробуй, Марфа Прохоровна, у них на даче поживи, они тебя в третью домработницу превратят... Двух им мало...

Это уже было старушечье ворчание, и, махнув рукой довольно невежливо, но в радостном вдохновении оттого, что мои крайние опасения не оправдались, я выбежал из подъезда.

— Коля здесь? — в надежде спросила Маша, обманутая моим радостным видом.

— Был здесь недавно, — ответил я и, чтоб скрыть истинную причину радости, добавил, солгав, но солгав безопасно: — Марфа Прохоровна говорит, домой пошел, видно мы разминулись...

Такой обман в любой момент можно свалить на Марфу Прохоровну, которая обманула меня, либо на Колю, который обманул Марфу Прохоровну.

Дома Коли, конечно же, не оказалось, но более того — Клава, несмотря на Машино предупреждение, уже подняла тревогу. Едва мы ушли, Клава позвонила на дачу. Замечено

уже, что у истеричных хозяев постепенно истеричной становится и прислуга. Две домработницы журналиста — дачная и квартирная — нагнали друг на друга такого страха, что при передаче известия хозяевам, людям не просто истеричным, но истеричным с фантазией, оно прозвучало чуть ли не как весть о Колиной гибели. А если добавить к этому раскаяние родителей, ибо все ведь случилось после их ссоры с сыном (в раскаянии же интеллигенция ох как умеет есть себя поедом), если добавить все это да еще способность Колиных родителей в трудную минуту всегда обвинять друг друга в том, что произошло, если соединить это воедино, то можно себе представить, что там началось. Вскоре они уже были на городской квартире, причем от волнения журналист, мне кажется, забыл о своем недуге. (Такое бывает. Тут не симуляция болезни, а шок, который на время болезнь прерывает, чтоб потом еще более ее обострить. Так оно и случилось.) Журналист почти что не прихрамывал, и движения его были весьма энергичны и быстры. Под плащом, когда он приехал, я заметил надетую впопыхах шелковую пижамную куртку с кистями. В пижамной куртке он и провел всю эту бешеную ночь, полную женского плача (Рита Михайловна и Клава непрерывно оплакивали Колю как покойника), полную телефонных звонков, полную автомобильных вылазок туда, где Коля мог бы быть, причем подчас даже в самые дикие для предположений места, например, на лодочную станцию.

— Почему он должен быть на лодочной станции ночью? — несмотря на ажиотаж и волнение, пробовал возразить журналист.

Но тут же журналист был забит обеими женщинами (домработницей Клавой в том числе), причем даже был назван (но это, разумеется, Ритой Михайловной) «сыноубийцей». После этого журналист уже более не возражал, и если после пятнадцати — двадцати минут (дольше они в квартире не удерживались), после пятнадцати — двадцати минут непрерывных и беззастенчивых звонков ночью самым разным людям они не позвонили также и в милицию, то здесь сказалось не столько увещание журналиста, сколько мысль об опасных связях Коли, что Рита Михайловна понимала. Но если после пятнадцати — двадцати минут Рите Михайловне приходило в голову поехать в какой-нибудь окраинный парк (все вокзалы они объездили уже давно), то журналист безропотно подчинялся. Шофер Виктор за неурочную напряженную работу получил от Риты Михайловны крупное денежное вознаграждение, правда, пока в виде аванса. После же того, как Коля будет разыскан, этот аванс Рита Михайловна обещала

утроить. Маша во всей этой кутерьме тоже принимала участие, звонила по телефону и тоже несколько раз по-женски всплакнула, став в тот момент очень похожей на Риту Михайловну. Но, тем не менее, она заявила, что в idiotских поездках принимать участие не намерена и считает нужным оповестить милицию. Рита Михайловна тут же закричала на нее (разумеется, истерично), заявила, что после отца она виновата в гибели брата (так и сказала — «в гибели»). Более того, может, ее непосредственная вина даже пострашней, чем у отца, ибо это она увела Колю из дома и устроила скандал. И было бы неплохо, если бы Маша вовсе не показывалась ей на глаза, ибо если с Колей что-либо произошло, она ей никогда этого не простит, даже на смертном одре. И все это, примерно в таком порядке, Рита Михайловна прокричала единым духом, топая ногами и несколько раз рванув себя за волосы и ущипнув за лицо. Зрелище было ужасное, да и вообще чужие скандалы, особенно семейные, когда люди близкие вдруг начинают скалиться и ненавидеть друг друга, весьма страшны, пострашней любой хулиганской уличной драки. В этих скандалах проскальзывает страшная и реалистичная мысль, что все привязанности и родственные чувства людей есть лишь выдумка и игра, которая разом разоблачается, едва столкнешься с подобными крайностями. Причем в этих крайностях все ведут себя весьма реалистично и правдиво, никто друг о друге не помнит, и всякий жалеет себя за счет других. В этой ситуации для меня, однако, было радостным, что Маша, оставленная всеми (вернее, тут все друг друга оставили), Маша, как мне показалось (а может, я излишне фантазирую), потянулась ко мне, ибо я по-прежнему, невзирая на пропашу Коли, был занят только ей, Машей, и любил только ее, а не пострадавшего, как полагалось по ситуации. Ситуации, во время которой все друг друга невзлюбили и любовь каждого была направлена лишь к пострадавшему исчезнувшему Коле.

Во время очередной вылазки родителей, которые взаимной паникой и усталостью (был уже пятый час утра и светло), были всем этим приведены в такое состояние, что вовсе, по-моему, утратили способность взаимно контролировать свои действия (а может, и попросту опасаясь бездеятельности, которая в нервном напоре весьма опасна), так вот, во время очередной вылазки они погнали машину на семидесятый километр от Москвы, где, как вспомнила Рита Михайловна, находится туристская база, которую любит посещать молодежь. Это было уже слишком, и Маша в запале, вопреки родителям, решила все-таки позвонить в милицию. Но тут уж

я ее удержал, а чтоб аргументы мои прозвучали убедительно, вынужден был высказать предположение насчет возможной связи Коли с группой Щусева. (При этом я помнил, что Щусев давно уехал, и это облегчало мне столь убедительное для Маши признание.)

— Да,— сказала она,— вот что случается, когда родители у мальчика политически безответственные личности. Это они толкнули мальчика на связь с антисемитской бандой.

Маша снова всплакнула, но не грубо и истерично, как Рита Михайловна, а весьма женственно, и в тот момент она была так желанна, что я даже стиснул зубы.

— Позвольте,— сказала вдруг Маша, разом перестав плакать,— а у Никодима Ивановича они были, Клава?

— У Никодима Ивановича?— переспросила Клава.— А вот, по-моему, не были.

— И надо же,— сказала Маша,— все окрестности объездили, а к Никодиму Ивановичу не заглянули. Ведь Коля там уже ночевал раза два, когда в прошлый раз хотел порвать с родителями. Когда один вымогатель ударил отца в клубе литераторов и вся эта молодежная шпана, с которой Коля был тогда связан, этот Ятлин, все они одобрили подобный поступок... Вот где надо было искать в первую очередь.

Никодим Иванович был, оказывается, двоюродным братом журналиста, причем тоже какой-то литератор, но мелкий, вернее, «которому не повезло» (так его охарактеризовала Маша). У Никодима Ивановича этого была некая (впрочем, весьма стандартная) история, а именно, его в пятидесятые годы репрессировали, а журналист отказался прийти ему на помощь, и даже жену его, ныне покойную, в дом не пустили. Здесь следует сказать (это я выяснил позднее), что Никодим Иванович несколько передергивал. Действительно, журналист ему ничем не помог, но он и не смог бы помочь, невзирая на прочность своего положения, ибо в сталинские времена коррупция отсутствовала и личное положение человека, как высоко бы оно ни было, не давало никому возможности нарушить заведенный порядок и закон (либо беззаконие, принявшее форму закона). В сталинские времена, например, действия друга журналиста Романа Ивановича, работника КГБ, который с помощью оформленного задним числом доноса пытался вытащить из дела Колю, мальчика своего друга, попавшего в беду, такие действия тогда, конечно, не могли иметь места и свидетельствовали о децентрализации и хрущевских свободах. Что было правдой, и неприятной правдой, так это то, что Рита Михайловна не пустила жену Никодима

Ивановича в дом. Но правдой также было и то, что несколько позднее журналист тайно послал к жене Никодима Ивановича Клаву с крупной суммой денег. «Откупился, сталинская дрянь»,— как заметил со злобой Коля, которому Никодим Иванович все это рассказал. В общем, обида на семью журналиста существовала, а раз так, то где уж более вероятным было место ночевки Коли, находящегося в активной оппозиции теперь не только по отношению к родителям, но и к сестре, горячо любимой сестре, в которой он разочаровался. Телефона у Никодима Ивановича, конечно, не было, и жил он далеко.

— Вы со мной, Гоша, если вам не трудно?— сказала Маша.

— Конечно,— откликнулся я сразу.

С каждой минутой я все сильнее переставал верить в безответную любовь. Много раз я, человек ущемленный, любил безответно и, казалось мне, до исступления. Например, Нелю, красавицу из архива. Эту же Машу я любил безответно и до безумия, так что уж более некуда. И вот теперь, когда Маша сделала лишь один добрый шагок мне навстречу, который моя мужская тоска подхватила и понесла ввысь, возвеличила до небес, теперь этот шагок, эта маленькая взаимность показала мне и объяснила, что такое настоящая любовь. Объяснила мне, что прежние мои чувства так же отличались от нынешних, как даже самый реалистический сладостный сон отличается от подлинного обладания красивой женщиной.

На улице гремели редкие пока еще трамваи, розовело небо, и после дождя было по-осеннему прохладно. Деревья и кустарники были густы и зелены, но на это, в отличие от разгара лета, обращалось внимание как на контраст, ибо кое-где лежали на тротуарах первые опавшие листья. Район, где жил Никодим Иванович (мы потратили на поездку двумя трамваями более полутора часов), район тот был дымный и индустриальный. Здесь же проходила железная дорога по перевозке товарных грузов, слышен был частый тяжелый шум, перестук колес, гудки, и пахло едко, по-железнодорожному—металлом, машинным маслом, краской и просмоленным деревом... Строящихся новых домов здесь было пока мало. (Хоть кое-где видны были и новостройки, и котлованы.) В основном же здесь преобладали дома старые, из казарменного дореволюционного кирпича, либо деревянные окраинные московские домики с крылечками и резными окошками. Никодим Иванович жил именно в таком доми-

ке, который более подходил для машиниста, слесаря и вообще более для пролетария, скопившего деньжат, чем для литератора.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Вы здесь подождите,— сказала Маша,— неудобно вдвоем да так рано.

— Разумеется,— сказал я и отошел подальше.

Маша открыла калитку и вошла в зеленый дворик, я же принялся наблюдать, думая, что если Коля захочет скрыться от Маши через черный ход, в боковую калитку, то я его засеку. Однако я никак уж не ожидал, что Коля сам меня зацепит, причем он толкнул меня сзади в плечо довольно грубо. Я обернулся и сразу же по Колиному виду определил: оправдались мои худшие предположения. Коля видел Щусева, и вся история с доносом в КГБ теперь ему ясна. Ясна она также и Щусеву. Это уже было опасно, тем более в руке Коля сжимал булыжник, тут же у забора, очевидно, подобранный. Колин вид был мятый и бессонный, и, судя по его костюму, ночевал он на улице, забившись от дождя в какую-нибудь подворотню.

— Что?! — с ненавистью сказал мне Коля. — Испугался... Сталинский стукач... Сволочь... Зачем же ты и меня завербовал в агенты КГБ?.. Сколько ты получаешь за душу, иуда? — Слезы блеснули у него на глазах.

Не отвечая ему, я все время внимательно наблюдал за его рукой с булыжником, ибо я понял: стоит мне ослабить бдительность и он в юношеском запале может обрушить этот булыжник на мой череп.

— Иуда сталинский! — снова крикнул Коля и плюнул мне в лицо.

Должен сказать, невзирая на бесконечные унижения и бесправие, которые мне пришлось претерпеть, в лицо мне еще никто никогда не плевал. Плевков мокро прилип вкосу, но, к счастью, пришелся мне не в губы и не в глаза, а в правую щеку, ибо я стоял повернутый к Коле правой стороной, приняв такое положение, дабы удобнее было перехватить Колину руку с булыжником. Эмоциональные чувства мои в ту минуту были скованны, ибо весь я был сосредоточен на булыжнике, внимание к которому ослабить было опасно, и потому, не меняя позы, я левою рукой стер Колин плевков с моей правой щеки. В это мгновение я услышал Машу, которая с радостным криком набегала сзади. Она так была обрадована появлением Коли, что не заметила ни возникшей между мной

и Колей ситуации, ни булыжника в его руке. Момент Колиного плевка мне в лицо она тоже, безусловно, пропустила.

— Братишка мой глупенький,— крикнула Маша и бросилась Коле на шею, начала его целовать,— ты откуда, ты как, ты что?..

«Откуда он, как и что», мне тоже в тот момент было непонятно. Все это стало известно позднее. Но я позволю себе изложить ответ на эти вопросы здесь для ясности происходящих событий. Разругавшись с сестрой и с обществом имени Троицкого и не имея возможности вернуться к родителям, Коля сразу же поехал к Никодиму Ивановичу. Но на полдороге что-то не понравилось ему в моем поведении. Думаю, прежде всего это была юношеская обида на то, что я его бросил. (Тут безусловно моя ошибка, имевшая роковые последствия. Но я был влюблен и не мог пожертвовать Машей даже во имя благоразумия.) Таким образом, разуверившись и во мне, Коля решил сам установить контакт со Щусевым. Он приехал на квартиру Марфы Прохоровны, которую (квартиру, разумеется) сам же для Щусева и снял. Как известно, Щусева там не оказалось, ибо он выехал давно. (Конечно же, почувствовав опасность.) Коля был в отчаянии и решил было уже вновь ехать к Никодиму Ивановичу, так ничего и не выяснив (напрасно я думал, что мои объяснения по поводу доноса в КГБ, который мы оба подписали, Колю полностью успокоили. Я недооценил болезненную совесть этого мальчика, генетически продолжавшего журналиста, но на новом общественном этапе. Все время его нечто необъяснимое мучило и терзало в душе), так вот, Коля уже был в отчаянии, когда вдруг вспомнил о дополнительной явке. Явку эту он для Щусева заготовил на крайний случай, если Марфа Прохорова откажет, ибо было это за городом и квартира представляла собой какую-то развалюху, в которой во время дождя протекал потолок. (Я об этой квартире ничего не знал, Щусеву же этот запасной адрес Коля все-таки передал.) По этому-то адресу Коля и поехал «наудачу», и там-то он Щусева обнаружил. Помимо Щусева и ребят, Вовы и Сережи, по этому адресу также находился и Павел, связной, тот самый тип, который мне не доверял еще в прошлый свой приезд и которого Щусев при мне, якобы со скандалом, изгнал. Как все происходило, в подробностях не знаю, могу лишь предположить, что Коля все с ним случившееся и все свои сомнения выложил как на духу. И тут-то все и всплыло, и тут-то Коля был ошарашен «сталинской провокацией». (Так он выразился, это мне известно.) «Сталинской провокацией и еврейской хитростью». (Так он тоже выразился в запале и в духе,

окончательно и открыто в группе восторжествовавшем.) Прибавьте к этому еще и эмоциональный фактор. (Щусев лежал с обострением в сырой развалюхе и кашлял кровью.) Уже одного этого было достаточно, чтоб расстроиться и вознегодовать, уж одно это поднимало Щусева на нравственную высоту, и положение «стукача», в котором Коля невольно оказался, обманом втянутый в донос на этого страдальца, было для юноши невыносимо до крика. Тут сыграло роль в Коле и семейное начало, ибо ситуация весьма напоминала, во всяком случае внешне, ту, которая сложилась зимним днем 1942 года, когда журналист услышал из уст умирающего партизана гневные слова в адрес Висовина. Положение «стукача» и агента КГБ, в котором Павел его, кстати, весьма жестко упрекнул, было для Коли так ужасно, что он даже, забыв мужской стыд, по-юношески заплакал. Но Щусев тут же взял его под свою защиту, осадил ребят, Вову и Сережу, захотевших было избить Колю, прикрикнул на Павла (подобно случаю со мной), и, конечно же, с того момента Коля стал полностью и безоговорочно Щусеву предан и исполнителен. Коля выразил желание отомстить мне (жизнь моя находилась в некоторой опасности, может быть даже весьма серьезной, ибо уж если такой юноша разочаровался, вознегодовал, ничто не может его остановить). Тем не менее Щусев велел ему сейчас подобным ни в коем случае не заниматься и не поднимать шума, поскольку предстоит серьезное дело, «возможно, в масштабе всей России». Что же касается ночевки, то для Коли не оказалось в развалюхе места, ибо там и для четверых было тесно. Таким образом, Коля решил все-таки переночевать у Никодима Ивановича. (Очевидно, дополнительно сыграла роль сырость и грязь в развалюхе. Может и неосознанно, но Коля все-таки предпочел ночевать в тепле и в удобстве, тем более объяснение этому было самое уважительное.) Коля поехал к Никодиму Ивановичу, но далее решил действовать весьма хитро и с учетом характера его родителей. Он знал, что родители начнут искать его и, наверно, поедут и к Никодиму Ивановичу. Хоть и не любят его, но вынуждены будут. Так вот, Коля решил устроиться где-нибудь в палисаднике, переждать, пока они приедут и узнают, что его здесь нет, убедятся в этом, а после этого он явится ночевать. Предварительно он позвонил из автомата на дачу и, изменив голос (для этого надо вставить в рот карандаш или палочку), спросил у Глаши, дома ли Рита Михайловна. Глаша ему ответила:

— Нет, она уехала.

— Давно?

— С полчаса.

«Значит,— решил Коля,— они никак не могли побывать еще у Никодима Ивановича. Приедут через час, не ранее». И он решил ждать. Как известно, ждать ему пришлось всю ночь, ибо в нервном запале и панике родители его объездили все парки, вокзалы и лодочные станции (лодочные, оказывается, потому, что Рита Михайловна вспомнила из горьковского литературного босяцкого быта о том, как уличные бродяги ночуют под перевернутыми лодками), итак, объездили они все, но об элементарном для Коли месте ночевки не вспомнили.

За ночь Коля совершенно продрог, измучился, и у него начало покалывать в груди и болеть горло. Вот в таком-то состоянии он и увидал уже на рассвете меня и Машу. Маша вошла к Никодиму Ивановичу, я же остался в одиночестве на пустой улице. Соблазн был слишком велик, кровь ударила в голову, он забыл о предупреждениях Щусева и, подхватив булыжник, в порыве ненависти кинулся ко мне. Ударить у него силы все-таки не нашлось (это не так-то просто, даже для человека решившегося, но к такому делу непривычного, и в гневе и отчаянии он прокричал мне свои ругательства-обвинения и плюнул мне в лицо). Как дальше развивались бы события, не знаю. Думаю, не знал этого и Коля. После плевка он сильнее начал ощущать булыжник и сжал его до боли, но в тот момент выскочила Маша, начавшая обнимать и целовать пропавшего братишку.

— А мы с ног сбились,— говорила радостно Маша.— Мама и папа как с ума сошли... Ты ведь их знаешь... Мы ведь так тебя любим...

— Любите! — крикнул Коля.— Мама и папа... А этого... Этого... Кто к нам на дачу привез этого кегебиста?.. Ах ты, сволочь,— и он опять из-за Машиного плеча плюнул мне в лицо.

Этот плевков был уже публичен, да и мазанул он меня по нижней губе. Я рванулся, в беспамятстве сжав кулаки.

— Коля! — пронзительно как-то крикнула Маша, но тут же обернулась ко мне: — Не бейте его, не смейте...

Я все-таки ударил изо всех сил, но не по Колиному лицу, которое прикрывала Маша, а по его руке с занесенным булыжником. Удар мой пришелся по напряженным мышцам, и Коля, скривившись от боли, уронил булыжник.

— Не смейте! — снова крикнула Маша.

Коля оттолкнул Машу, кажется, больно надавив ей на плечо, показал мне кулак и кинулся бежать. Маша побежала за ним, но вскоре вернулась, морщась и потирая плечо. Мы

оба стояли у палисадника, тяжело дыша, Маша от бега и испуга, я же от гнева.

— Что случилось? — спросила Маша.

— Этот ваш брат, — сказал я сухо и зло, — судя по всему, опять связался со Щусевым. Я пытался ему помешать, и вот...

— С той антисемитской бандой, — сказала Маша, — какой ужас... Что же делать?..

— Не знаю, — сказал я, — если он еще раз... Я ему... Я вас в бараний рог... Всю вашу Россию... — Меня прорвало, я задышался; даже без зеркала я ощущал, что щеки мои бледно-зелены.

— Простите его, — сказала Маша. — Он с детства искалеченный мальчик... Ну умоляю вас, — и она вдруг провела маленькой своей аккуратной ладошкой по лицу моему и волосам.

Представьте себе, как в духоте, в угаре, в головокружении открывается окно и свежий лесной воздух разом проникает в ваши легкие, стирая с лица вашего пот и гримасу страдания. Нервы мои ослабли, и я упал лицом на Машино плечо, упираясь губами в ее пахучую кожу у ключицы. Вот уж поистине — как мало мне надо, хоть мечтаю я о всемирности.

— Ну ладно, ну все, ну хватит, — сказала Маша, проведя мне ладошкой по затылку и отстраняясь, давая тем самым понять, что я зашел слишком далеко. — Ну успокойтесь, — сказала Маша уже похолодней. — Вот и хорошо. Теперь нам надо подумать, что предпринять. Родителям, конечно, о случившемся ни слова. Вернее, скажем, что видели Колю и он якобы поехал к Степану Ивановичу. Это брат Никодима Ивановича, пасечник из-под Тамбова. А за это время вы узнаете, где скрывается этот Щусев. Коля, конечно, там...

— Договорились, — ответил я, уже успокаиваясь и вновь подчиняясь Машиному желанию, хоть, разумеется, не мог себе представить, как узнаю о Щусеве, тем более встреча с ним для меня небезопасна. Конечно, я понимал, что Щусев человек расчетливый и на крайность не пойдет, дабы это не помешало его замыслам. А у него был какой-то серьезный и новый, неизвестный мне, замысел, я это ощущал. Жить Щусеву, по словам Висовина, оставалось недолго, ибо с раком легких долго не продержишься. Значит, он должен был торопиться и на дела второстепенные не размениваться. Но все-таки поберечься не мешает, поскольку в политическом противоборстве крайнего толка нелогичные действия весьма вероятны.

Когда мы с Машей вернулись, Рита Михайловна сидела на стульчике в передней, так и не заходя в комнату, а журналист стоял рядом, привалившись к вешалке. Они только что

вернулись с семидесятого километра, были совершенно опустошены и измучены. Но едва Маша сообщила, что мы видели Колю у Никодима Ивановича, как оба они, особенно Рита Михайловна, совершенно преобразились, ожили до того, что Рита Михайловна не стала по обыкновению упрекать мужа за этот нелепейший промах, за то, что они в суете забыли о двоюродном брате, но, наоборот, начала хохотать и над мужем, и над собой, тут же расцеловала Машу, обняла заодно и меня, так что я ощутил ее еще сохранившуюся женскую упругую грудь. Дело было сделано. Даже когда Маша (второй этап) сообщила, что Коля очень зол на всю семью и домой возвратиться отказался, а сообщил, что уезжает сегодня под Тамбов к Степану Ивановичу, даже и после этого Рита Михайловна хоть и несколько поблекла, но все равно была полна сил. Даже в таком «подпорченном» виде весть эта была благом по сравнению с неизвестностью и истеричными фантазиями относительно трагической судьбы сына, в которых она всю ночь пребывала. Она тут же энергично включилась в деловой ритм, принялась отдавать распоряжения Клаве, ибо надо было собраться и заказать билеты. Днем, ну в крайнем случае к вечеру, она намеревалась выехать в Тамбов. В этой суете и суматохе Клава и подала мне бумажку.

— Это вам,— сказала она,— совсем забыла. Еще вчера пришло.

Я был озадачен и испуган. Это была повестка-вызов в городской военкомат. Должен сказать, что еще с периода борьбы за койко-место, который казался мне теперь каким-то нереальным по сути своей, каким-то сном или выдумкой, столько нового и непохожего с тех пор случилось, тем не менее еще с того периода (и это единственно, что реально от него осталось), я боюсь казенных бумаг, мне адресованных. А тут вызов в военкомат, да еще почему-то на адрес журналиста. Но спросить не у кого и посоветоваться не с кем. Журналист и Рита Михайловна опять куда-то поехали, Маше кто-то позвонил (кажется, из пресловутого общества имени Троицкого), и она ушла, тоже торопливо. (Дело, по-моему, касалось Саши Иванова.)

— Сутки в нашем распоряжении,— шепнула она мне перед уходом, вкусно, по-девичьи дыхнув в лицо,— надо действовать... Я буду к обеду...

Разумеется, в этой спешке сказать ей о повестке было нелепо. Клава же, у которой я пытался что-нибудь выяснить, только пожимала плечами.

— Принесли, да и все,— говорила она.— Принесли с нашей почтой вместе. А я откуда знаю, мое дело принять.

Клава предложила накормить меня завтраком, но начавшаяся сказываться усталость от беспокойной ночи, которая соединилась с утренним волнением, причем с самой неожиданной стороны, от казенной бумаги, все это привело меня в некое состояние застывшей тоски, при которой, конечно же, кусок в горло бы не полез. Кстати, этим утром в доме никто не завтракал. Одно хоть хорошо было, вызывали меня на одиннадцать утра, а значит, томиться мне предстояло не так уж долго. Правда, мелькала у меня мысль вовсе не явиться, а повестку порвать, и на какой-то промежуток времени я даже утвердился в этом и повеселел. Но, выйдя на улицу, я тем не менее спросил у прохожего, как мне добраться по такому-то адресу.

Место, где располагался военкомат, было одно из самых шумных и суетливых в Москве, битком набитое потоком растерянных, усталых и потных провинциалов. (Обжившись несколько, я научился определять провинциала с первого взгляда по этой усталости, даже если в руках его нет картонных коробок от обуви.) Неподалеку была Красная площадь, Кремль, огромные торговые центры и прочие достопримечательности, куда местные жители редко заглядывают. День был жаркий, один из тех последних летних дней, когда жара, в отличие от разгара лета, наступает после прохладной ночи, и от этого она кажется особенно острой и по-азиатски сухой. Пробившись в густой, измученной жарой толпе и устав и от этой толпы и от жары, я наконец достиг искомого адреса и вошел внутрь здания, предъявив повестку дежурному пехотному майору в фуражке с красным околышем. Оказавшись в казенной обстановке, где пахло папиросами «Беломор», кожаными сапогами и еще чем-то едким, как мне показалось, больничным (это пахло мастикой от натертых полов, я потом определил), оказавшись здесь, я совершенно растерялся, тем более учитывая мою деятельность последних месяцев, активно враждебную всему этому. И, идя по коридорам мимо множества дверей, мимо кадок с фикусами, мимо плакатов, изображавших сборку и разборку пулеметов и автоматов, я подумал, как слабы и беспомощны все эти молодежные сборища, все эти споры и даже активность Щусева против этой казенной чистоты, строгости и порядка. Вообще военкомат кажется мне одним из самых для меня опасных учреждений. Я его всегда опасался, и недаром с военкоматом связана одна из самых опасных для меня историй в период моего полного бесправия, когда полковник Сичкин (о, я надолго запомню его фамилию, хоть в период опьянения реабилитацией и задумал ему отомстить. Задумал, как теперь по-

нимаю, легкомысленно и поспешно, ибо Сичкин был фигурой вне времени и идеологии, фигурой не политической, а национальной), итак, в период моего полного бесправия именно у Сичкина я ощутил впервые не только неприязнь ко мне, но и некоторую (как я ныне осмыслил) оппозицию официально-сти, мешающей ему, Сичкину, осуществить его твердые, как устав караульной службы, убеждения относительно меня. Именно Сичкина этого я вспомнил сейчас, идя по казенным прохладным и стерильно чистым коридорам. Мне предстояло явиться в комнату сорок три на третьем этаже. Комната эта располагалась как бы в тупике. Коридор здесь поворачивал и образовывал небольшой отросток, упирающийся в заштукатуренную стену. Я сел на чистую казенную скамью, полированную, со спинкой, и принялся ждать, ибо было еще без десяти минут одиннадцать. Шум за окном все-таки доносился, хоть и приглушенный расстоянием, и виднелась часть улицы, запруженной толпой. Я посмотрел на часы (было без семи минут одиннадцать) и вспомнил, что документы мои не в порядке, паспорт просрочен, а военный билет прописан совершенно в ином месте. И мною вновь овладело жгучее желание встать и уйти, пока не поздно. Широколицая, народная лысеющая физиономия Сичкина чрезвычайно ярко представилась мне, хоть с момента нашей встречи прошло несколько лет... Ну конечно, года три... Я осторожно встал и пошел прочь, завернул за угол, все более убыстряя темп и мечтая уже о том моменте, когда выскочу на улицу и смешаюсь со свободной, ничем не обязанной и потому нервничающей из-за таких мелочей, как теснота и жара, толпой. Но тут я увидел: по лестнице снизу поднимаются двое в офицерских кителях с бумагами в руках. Они оба посмотрели на меня (очевидно, потому просто, что я шел лихорадочно быстро), посмотрели на меня и прошли мимо, но этого было достаточно, чтоб я повернул назад и, стремительно дойдя вновь до двери сорок три в тупике, уселся подавленно и исполнительно. Было без четырех минут одиннадцать. Нервы мои более не выдержали ожидания, я встал, набрал побольше воздуха и, пойдя к двери, осторожно постучал.

— Да-да,— раздалось изнутри.

Оказывается, тот, кто вызывал меня, уже давно был на месте. Я выпустил воздух из груди и, решившись, толкнул дверь.

Человек, сидевший за столом, совершенно непохож был на полковника Сичкина и вообще резко контрастировал с всеобщей здешней военной обстановкой. На нем был серый модный костюм, темные волосы его были по-штатски длин-

ны и зачесаны назад, а на лице совсем уж штатская деталь — очки в золоченой оправе. Правда, в лице его проглядывала некая уличная простота, которую не могли скрыть даже очки, и лицо его напоминало мне, как подумалось, лица заслуженных и разбогатевших спортсменов-ветеранов. Тем не менее неожиданный облик этого человека (я никак не ожидал увидеть подобный облик здесь) меня несколько успокоил.

— Садитесь,— сказал мне человек без улыбки, но вежливо.

Я сел.

— Давайте,— сказал он, подняв на меня глаза и протянув ко мне свою полусогнутую руку, упираясь локтем о стол. Я растерялся, не понимая, о чем он, и глядя на его ладонь с крепкими толстыми пальцами. Это была рука физически тренированного и сильного человека.

— Вы о чем?— растерянно спросил я.

— Повестку давайте,— несколько нетерпеливо сказал человек.

Опомнившись, я суетливо полез в карман и достал повестку. Он взял и прочел.

— Паспорт,— сказал он и снова так же протянул руку.

«Вот оно»,— испуганно пронеслось у меня, и я все так же суетливо протянул свой просроченный паспорт. Но человек этот о просрочке ничего не сказал, а только сверил паспорт с повесткой, не отдав его мне, правда, а положив рядом с собой. Я ждал, что будет дальше, с бьющимся сердцем. Человек взял одну из папок, лежавших у него на столе, кстати, самую тоненькую, открыл ее, полистал и протянул мне бумагу.

— Это вы писали?— спросил он.

Это была докладная на Щусева в КГБ, подписанная мной и Колей. «Так вот оно что,— подумал я как-то радостно и успокаиваясь.— Фу-ты, ну-ты, ведь Роман Иванович предупреждал, ведь я знал, что меня вызовут, но не думал, что так... Военкомат, вероятно, для придания естественности и вызову и встрече. Тоже ведь конспирация».

— Так это ваше?— снова спросил работник КГБ.

— Да,— ответил я.

— Давно знаете Щусева?— спросил он.— Расскажите подробней. И вообще о себе расскажите. Время у нас есть,— сказал он мягко и уселся поудобнее.

После страхов, которые я претерпел, и после воспоминаний о полковнике Сичкине я почувствовал себя совсем свободно. Я начал рассказывать. Рассказывал я легко, хоть и торопливо, словно стараясь побыстрее от всего освободиться. Работник КГБ слушал меня не перебивая, и вообще наши от-

ношения менее всего походили на допрос. Когда я дошел до момента моих взаимоотношений с разными официальными органами после реабилитации, он сочувственно кивнул и заметил:

— Да, на местах они часто делают нелепости.

Вообще перебивал он меня редко и в основном в конце моего рассказа, когда понял, что кое-какие моменты я упустил или утаил, главным же образом слушал и делал иногда короткие быстрые заметки. Один раз, правда, он вовсе привел меня в смущение и растерянность.

— А не говорил ли вам Щусев о его желании возглавить правительство России?—спросил он вдруг серьезно и без улыбки.

— Говорил,—растерянно ответил я.

— А вы что?

Я промолчал, не зная, что ответить.

— Ну хорошо, продолжайте,—сказал он.

Я снова заговорил, не так, правда, легко и уверенно, как до этого вопроса.

— А что вам известно о связях Щусева с русской антисоветской эмиграцией?—через некоторое время вновь перебил меня работник КГБ, задав тот же вопрос, что и Роман Иванович.

Об этом мне ничего известно не было. Я так и ответил.

— Хорошо, продолжайте,—сказал работник КГБ.

И в третий раз он перебил меня, спросив, участвовал ли я в нападении на Молотова. (Разумеется, чтобы проверить степень моей искренности и отвечу ли я сразу, ибо о том, что я участвовал, он знал, и вообще, как мне потом показалось, он все, что я рассказывал, в основном знал, но ему нужно было уточнить кое-какие детали и присмотреться ко мне.)

Я ответил сразу же, поняв, что меня проверяют, и, конечно, сообщил, что участвовал. После этого он более меня не перебивал, и я закончил свой рассказ моим знакомством с семьей журналиста.

— Так,—сказал работник КГБ.—А ваши отношения со Щусевым испортились по личным мотивам?

— В какой-то степени,—ответил я,—но главное не в том. Я понял, что это опасный и жестокий человек, но это влюбленный человек. Да, он влюблен в Россию, в ту Россию, которая мне чужда. И это нас разделило. Одно время ведь мы с ним потянулись друг к другу, но потом оба поняли, что ошиблись. Сперва я к нему потянулся, а затем и он.

Этот неожиданно прорвавшийся во мне искренний порыв, кажется, завершил довольно удачно знакомство со мной работника КГБ. Во всяком случае, он сказал:

— Ваше впечатление о Щусеве в общем верно. У нас есть сведения, что его группа готовится совершить ряд опасных преступлений. Поскольку вы знаете лично Щусева и членов его группы, вам придется выехать завтра в распоряжение местного отделения КГБ в городе,— и он назвал мне один из южных городов,— вы там можете понадобиться для опознания... Учтите,— добавил он, и впервые в голосе его прозвучала угроза,— учтите, что дело на вас также заведено и у вас сейчас имеется возможность искупить вину...

— Да, конечно,— поспешно ответил я.

Работник КГБ открыл ключом ящик стола, вынул оттуда железнодорожный билет и несколько денежных купюр, все это было воедино скреплено резиночкой, затем вынул ведомость и сказал:

— Проставьте номер паспорта и распишитесь.

Проделав все это и взяв протянутую мне связку денег с билетом (я невольно не мог отвести взгляда от сильной крупной руки этого человека), взяв скользкую лощеную пачечку, я спросил:

— А что же дальше?

— Все инструкции получите на месте,— ответил работник КГБ уже менее любезно и более сухо, как человек занятой, которого задерживают.

Я встал, спрятал деньги и билет в паспорт, который мне протянула все та же сильная рука, и сказал:

— До свидания.

— Будьте здоровы.

Я вышел и мгновение-другое удивленно стоял в дверях. На скамье перед комнатой сорок три сидел Виталий, тот самый парень из Русского национального общества по борьбе с антисемитизмом имени Троицкого. Он тоже на меня посмотрел удивленно и даже несколько растерянно, но тут же нашелся, кивнул мне как знакомому, улыбнулся и, вскочив, торопливо прошел мимо меня в комнату сорок три. Дверь за ним плотно закрылась.

Я вышел в беспечную, свободную, но озлобленную жарой и теснотой толпу и лишь тут вспомнил, что ничего ведь не сказал, что донос мой разоблачен Колей и известен Щусеву. Я было остановился, но возвращаться, ждать, пока работник КГБ закончит разговор с Виталием, я не решился. Да и вообще неизвестно, как среагирует он на этакий провал. «Что-нибудь сообразим,— подумал я,— а вот как быть с Машей?

Я-то теперь знаю, что Коля вместе со Щусевым поедет в тот город. Или уже поехал. Но сообщать ли Маше? С одной стороны, как соблазнительно взять ее с собой. Какой повод. Она ведь обязательно поедет искать брата. Но, с другой стороны, как ей объяснить, зачем я еду туда. Да и не нагорит ли мне от моих новых хозяев за разглашение тайны?» Так раздумывая и непрерывно натываясь на чертыхающихся злых прохожих, замученных толпой, я наконец выбрался из шумных этих мест и пошел совершенно по характеру своему иными, хоть и недалеко расположенными тихими переулками на квартиру журналиста. Далее все складывалось удачно. Машу я застал дома, и причем одну. Родители ее отсутствовали, Клава ушла на рынок. Маша была одета по-домашнему, в тот самый дачный сарафанчик, обнажавший девственно белые места на груди и сбоку под руками.

— Маша,— сказал я,— завтра я еду в город...— и я назвал город на юге,— у меня есть сведения, что Щусев со своей группой выехал туда... Я считаю своим долгом, как член общества имени Троицкого...

— Вы не являетесь членом нашего общества,— перебила меня Маша.

— Ну хорошо, как человек, сочувствующий его идеям, я считаю своим долгом борьбу с этим мерзавцем...— Я говорил, стараясь избавиться от опасных мыслей о том, что Маша впервые со мной наедине в запертой квартире. От подчеркнутых девичьей белизной мест, соблазнительных для мужских прикосновений, не для нежных юношеских ласк, а именно для грубых и сильных мужских прикосновений, от этих мест исходил какой-то призывный запах, пробуждавший хищную тоску в теле. Борясь со сладостными хищными желаниями, я старался не смотреть на Машу и, по-моему, не совсем контролировал свои высказывания. Но Маша и сама была отвлечена рядом обстоятельств и потому не стала вникать в подробности, откуда у меня сведения о Щусеве.

— А Коля с ними?— спросила она.

— С ними,— сказал я.

— В таком случае я тоже еду,— сказала Маша.— Это мой долг... Я как старшая сестра несу ответственность за то, что мальчик попал в антисемитскую банду... А о городе этом и у нас в организации имеются сведения... Неудивительно, что черносотенцев туда потянуло... Там будто продовольственные трудности, были даже волнения, очереди за хлебом, и распространялись не только антисоветские, но и антисемитские листовки... На их листовки мы ответим своими...— Она заговорила как функционер, и это меня несколько отрезвило.

Повернув голову, я осмелился и глянул на нее. За ту минуту, а может быть, и менее минуты, пока я ее не видел, отведя взгляд, в ней опять произошла какая-то перемена. (Говорят, человек ежесекундно меняется.) Что-то ослепительное проступило в ее чертах, очевидно, это зависело от ракурса. (Говорят, у всякой женщины есть такая поза, такой поворот, причем невольно найденный, при котором все лучшее в ней обнажено до предела.)

— Колин юношеский антисемитизм есть тяжкая кара для нашей нелепой семьи,— говорила Маша,— для нашего несчастного знаменитого отца... Вы когда выезжаете? — тут же задала она мне бытовой вопрос и от этого стала еще привлекательнее. (Оказывается, можно стать еще привлекательней.)

— В семь утра,— ответил я.— И вообще, я хотел бы вам сообщить...— тут я шагнул к Маше, глубоко вдохнул ее запах и крепко и грубо прикрыл своей левой ладонью белую молочную полосу у Маши под правой рукой, под краем сарафана. Свою же правую руку я в дело не употребил, и когда я опустился вдоль Маши на пол, целуя ей ноги, то правой рукой я при этом для удобства уперся в паркет возле Машиных домашних туфелек...

Если бы я просто схватил Машу, то она безусловно ударила бы меня по щеке, и вообще бог знает чем бы это кончилось. Но поскольку я шагнул к ней, прервав свою мысль на полуслове, и вот так опустился, целуя ей ноги, то она вначале, конечно, растерялась, а потом сильно толкнула ладонью от себя мою голову. (Вот где пригодилась моя правая рука, которой я упирался в паркет. Я удержался, продолжая прижиматься губами к Машиным коленям и лбом своим слегка приподнимая ей край сарафанчика, дабы обнажить эти колени.)

— Вы что?..— крикнула Маша, по-моему более с испугом, чем с негодованием.— Сейчас же встаньте и отойдите... Вы с ума сошли... У вас припадок...

— Простите меня, Маша,— говорил я торопливо, используя оставшиеся у меня доли секунды (более в этом положении мне удержаться не удастся), используя оставшиеся доли секунды, дабы насладиться поцелуями, которыми я покрывал Машины круглые колени.

— Сейчас же отойдите,— сказала Маша, но более мягко,— слышите, Гоша, не сходите с ума.

Она назвала меня по имени и вообще построила фразу мягко, ибо, как я понял позднее, сообразила, что ее резкость и сопротивление в данной ситуации еще более распалит меня. Мягкие же слова ее действительно несколько отрезвили меня. Я встал, отошел в угол и сказал:

— Я люблю вас, Маша... Навек только вас...

— Знаю,— уже более спокойно сказала Маша,— вы, по моему, это мне говорили. Во всяком случае о ваших чувствах мне известно. Но зачем же так? Зачем же по-туземному?

И тут страшный приступ стыда так нахлынул на меня, что я даже закрыл глаза ладонью. Лица своего без зеркала я видеть не мог, но я видел свои руки, свое тело, и мне от этого было стыдно.

— Ну перестаньте,— сказала Маша,— что за истерика? Обещайте мне, что никогда этого не повторится, иначе я с вами не поеду. Я поеду одна.

— Простите меня, Маша,— сказал я.

— Нет, обещайте. Не клянитесь, я клятв не люблю. Просто обещайте.

— Обещаю,— сказал я.

— Вот и хорошо,— сказала Маша,— и забудем. Ничего не произошло. Слышите, забудьте...

— Уже забыл,— тихо сказал я.

Последние наши фразы мы произносили почти шепотом, потому что с рынка вернулась Клава. Вскоре пришли также журналист с Ритой Михайловной. Они сегодня в шесть вечера уезжали в Тамбов и делали кое-какие покупки для Степана Ивановича, у которого надеялись найти Колю. Машу мучило, очевидно, внутреннее раскаяние за то, что она заставляет ехать родителей по ложному следу, хоть и во имя их же пользы, дабы их не понесло на юг. (Рита Михайловна не задумываясь поехала бы искать Колю на юг, где, по слухам, было беспокойно, голодно, где вывешивались карикатуры на Хрущева и где по слухам же, принесенным Клавой с рынка, «евреи недавно взорвали пассажирский автобус».) Но, кроме того, Маша испытывала благодарность за хлопоты отца по поводу ареста Саша Иванова. Под воздействием этих двух чувств Маша подошла и обняла отца.

— Спасибо тебе,— сказала она.— Саша уже на свободе.

— Романа Ивановича благодари,— сказал журналист.— И вообще, Маша, ты бы передала этому Иванову... И сама запомни, дочка, России грозит не внешний враг, а внутренняя междоусобица... Междоусобица вообще в традициях нашего национального характера, но нынешняя, если случится, будет непредвиденная даже в самом пессимистическом Апокалипсисе... Русская душа меняется, Маша... Мы всегда были все-таки земледельческой страной... Теперь же русский народ неуклонно, неудержимо и исторически неизбежно переселяется в города... Наши поэты, философы, а может, и политики по-прежнему сочиняют для себя тот русский народ, который

навсегда остался в умершей эпохе. Мне кажется, что в переломные для жизни народа периоды он из прошлого в основном берет лишь дурное. На доброе же, оставшееся в прошлом, надеяться нечего. Оно не поможет. Доброе надо, Маша, рожать в муках, каждый раз заново. Нам нужна стабильность. (Он снова повторял одну и ту же свою идею.) Стабильность, ибо ближайшие двести лет будут для России решающими. Либо она пойдет по тому историческому пути, по которому никогда еще не шла за всю свою историю, либо она рассыпется... Практически исчезнет... Мы должны стать второстепенной державой, в этом наше спасение...

Эта речь, неожиданно журналистом произнесенная, говорит о том, что он по-прежнему находился в воспаленном состоянии, и, несмотря на бытовые передраги, достаточно было какого-либо толчка для того, чтобы он начал выявлять и обнародовать свои идеи даже в обстановке, для того не приспособленной. Несмотря на ласку и доброту к Маше (он ведь ее очень любил, по-моему, даже более, чем Колю, который был сыном «маминым»), несмотря на живую эту доброту, что-то в нем было уже и тогда застывшее и отрешенное, что-то в нем уже было от тех проповедников, для которых быт сего мира был лишь мираж и сон, хоть они, как часто бывает во сне, принимают в нем деятельное участие. Подлинная же их жизнь заключается в их кабинетных идеях.

Но позвали обедать (или завтракать, ибо никто еще ничего не ел сегодня), позвали обедать, и журналист вновь погрузился в свой деятельный сон. Он с аппетитом жевал салат из дичи, съел несколько сандвичей с пастой из тресковой печени, несколько сандвичей с пастой из орехов, чеснока и майонеза. На обед подали также тарталетки с фаршем из гусиной печени (фирменное семейное блюдо: запеченная в тесте гусятинка со сливками, грибами и яйцами). Все это запили флипом (желтки, сок апельсинов, сок лимонов, сливки, коньяк). Первое отсутствовало. Первое готовили лишь когда ждали гостей (когда я впервые обедал в этой семье, они ждали гостей) либо на даче, где ели грубую простую пищу, необходимую при долгой пешей ходьбе и лесном воздухе.

— Папа,— сказала Маша после того, как все насытились и Клава принялась собирать посуду, а Рита Михайловна вышла также по каким-то своим делам,— папа, пока вы съездите за Колей к Степану Ивановичу, я поеду к подруге в...— и она назвала город, отстоящий от Москвы по стоимости билета примерно на то же расстояние, как и то, куда мы собирались ехать.

— Ну что ж,— сказал журналист, ощущая в желудке слад-

кую тяжесть от вкусного обеда и отдавая внешнему миру, в данном случае в лице Маши, дочери его, благодарность за эту сладкую тяжесть, успокоившую на время тоскливую взвинченность, буквально пятнадцать минут назад из него выплеснувшуюся. Явью для журналиста, безусловно, были идеи, но ему приятен был и сон. Насладившись идеей-явью, он сейчас нуждался в бытовом сне, и все, что этому способствовало, он воспринимал приятно и благодушно.

— Ну что ж,— сказал журналист,— поезжай, отдохни,— и он протянул руку в сторону от стола.

Маша сразу же поняла его жест, вскочила и принесла висящий в передней на плечиках плотный повседневный его любимый пиджак с махровым ворсом, в котором он несколько раз выступал по телевидению, предпочтя этот пиджак своим модно сшитым костюмам. В этом пиджаке, а также в грубом свитере (его стиль) были, главным образом, сделаны его снимки, публикующиеся в центральной и зарубежной прессе. Костюмы же он надевал скрепя сердце и только в случаях официальных и государственных. Журналист полез в боковой карман, достал бумажник и протянул Маше несколько крупных купюр. Вошла Рита Михайловна.

— В чем дело?— спросила она.

— Маша хочет к подруге съездить.

— Куда?

Маша назвала выдуманный город.

— А что за подруга?

Рита Михайловна, в отличие от журналиста, была натура цельная и благодушию поддавалась редко. К тому же то, что случилось с ее любимцем Колей, она по-прежнему не могла простить Маше. Но тем не менее и тут обошлось. Маша сумела ловко все объяснить, потом навалились заботы, связанные с отъездом в Тамбов, и дело было замято.

В шесть часов мы проводили журналиста и Риту Михайловну на вокзал. С вокзала Маша поехала для встречи с Ивановым, мне же сопровождать ее запретила.

— Но почему?— снедаемый ревностью сказал я.— Ведь я уже участвовал в этом обществе имени Троицкого... В общих чертах мне близки его идеи...

— Не говорите глупостей,— сказала Маша,— вы типичный прагматик, еврейский вопрос вам совершенно безразличен...

— Я все же поеду,— не в силах совладать с собой и рисуя в воображении жуткие картины объятий Маши с Ивановым, особенно после разлуки, после ареста этого борца с антисемитизмом,— я поеду, Маша...

— Вы, кажется, капризничаете?..— строго посмотрев на меня, сказала Маша.— А ведь вы обещали...

Я подчинился. В тоске припелелся я домой. (Квартиру журналиста я уже невольно называл домом.) Ничего мне не было мило. Время тянулось томительно и тяжело. Я не думал ни о чем, кроме Маши. Завтрашняя поездка, которая была моей первой поездкой в должности агента КГБ, поездка для опознания опасных и ненавидящих меня преступников, казалась мне делом второстепенным и несерьезным. Я думал о Маше так долго и непрерывно, что вынужден был даже перетянуть туго голову мокрым носовым платком. В первом часу ночи заглянула Клава.

— Голова болит?

— Да.

— Вы ложитесь, я сама открою.

— Ничего, я посижу.

Клава покачала головой, усмехнулась (почему она усмехнулась, догадывается?), усмехнулась и ушла. Маша явилась в десять минут второго. Как ошпаренный подпрыгнул я и бросился отпирать. (У Маши был свой ключ, но дверь была дополнительно заперта на цепочку.) В передней я столкнулся с Клавой, которая вновь на меня насмешливо посмотрела. Маша пришла, холодная с улицы. (Ночи уже были холодны, лето кончилось.) Маша была холодна, и от нее пахло чисто и свежо, чуть ли не первым снегом, хоть было начало сентября и ни о каком снеге не было и речи. Когда мы остались вдвоем, Маша позволила мне чмокнуть ее в щеку и, поставив в угол чемоданчик, сказала шепотом:

— Здесь листовки... У нас есть сведения, что по городу во время беспорядков расклеивались погромные антисемитские листовки... Мы же будем наклеивать на них свои... Простой народ должен знать правду об этих антисемитских мерзавцах... Вы согласны?..

— Да,— ответил я, счастливый от одного лишь созерцания Маши и от одной лишь мысли, что она ко мне обращается, со мной говорит.— Да, Маша, я полностью согласен.

— Ну хорошо,— сказала Маша,— а теперь идите к себе... Надо выспаться... В семь часов ведь уже на вокзал... Вернее даже, поезд в семь отходит, значит, в шесть.

— Спокойной ночи, Маша,— сказал я.

— Спокойной ночи,— ответила она и ушла, затворив дверь.

Я слышал, как она начала раздеваться. Вскоре она вышла в большом, не по росту, халате Риты Михайловны. (До сих пор в квартире она пользовалась дачным сарафанчиком, но

мне кажется, поняла, что в этом сарафанчике она меня соблазняет, и потому надела халат не по росту.)

— Вы еще здесь?— сказала Маша.— Мы поругаемся.

— Простите меня,— совершенно уж обалдело ответил я. Я был в каком-то нелепо-радостно-униженном рабском состоянии.

— Ну, хорошо, прощаю,— нетерпеливо сказала Маша,— идите к себе... Вы мешаете мне заняться туалетом перед сном, извините за откровенность.

Я ушел к себе. Спал я в Колиной комнате на узком и неудобном детском диванчике. Несмотря на то что Колина не по росту широкая кровать пустовала, мне там не постелили, и это я про себя отметил. Но это были лишь так, побочные впечатления. Вскоре я о них забыл совершенно, и, лежа на спине, согнув ноги в коленях, я легко и быстро провел ночь в мечтах о Маше. Именно быстро. Обычно бессонные ночи тянутся долго, а эта пролетела мгновенно. Мне было до того приятно на сердце, что несколько раз среди ночи мне хотелось вскочить и запеть, от чего я себя удерживал с трудом и чуть ли не физически.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

С вечера мы с Машей (вернее, так решила Маша) договорились: я прямо скажу Клаве о том, что тоже еду к Машиной подруге, с которой знаком и которая меня также пригласила. Но на рассвете, когда мы поднялись, Маша все перерешила, и я должен был уйти из дому один, так, чтоб сложилось впечатление, будто мы едем в разные стороны. Все это шито было белыми нитками, и когда Клава закрывала за мной дверь, я увидел ее насмешливые глаза, которые уже начинал ненавидеть.

Билет для Маши мне удалось достать в мой вагон, но в разные купе, причем не рядом, и чтоб повидаться с Машей, необходимо было пройти почти весь коридор... К несчастью (мне иногда кажется, что все страшные несчастья, далее следовавшие, начались с этого, казалось бы, случайного и бытового совпадения), итак, к несчастью, Маша попала в купе с одними мужчинами. Причем не с какими-либо застенчивыми юношами или пожилыми подагриками. Все трое были «кобель к кобелю», среднего, наиболее активного, воздействующего на молодых девушек возраста, и я видел, как в соседстве с Машей их похоть расцвела и налилась соком. Они буквально насиловали ее своими оживленно-радостными гла-

зами, а у одного из них, лысого, с золотым зубом (ох, уж эти сорокалетние лысины), у этого лысого я просто заметил: когда он шутил и смеялся, зрачки глаз его все равно оставались напряжены, дики и расширены.

— Это ваш муж? — спросил обо мне у Маши брюнет с большим не по летам брюшком, видно, от сидячего образа жизни и обильной пищи.

— Что вы? — весело как-то, в тон компании отозвалась Маша. — Мне еще рано.

— Я так и думал, — сказал брюнет. — Вам-то не рано, а ему рано. Я в его возрасте на одну не разменивался, — и при этом он мне подмигнул и захохотал.

Я вызвал Машу в коридор.

— Вам надо поменяться местами с кем-нибудь, — шепотом сказал я, — если не удастся в мое купе, то, во всяком случае, куда-нибудь.

— Опять истерика, — шепотом сказала Маша. — Какие у вас вообще права мне указывать? — Но тут она глянула на меня. Не знаю, что было в моем лице, со стороны видней, но Маша сразу осеклась и сказала шепотом: — Все хорошо, поверьте мне... И не нервничайте... Здесь спокойней коричнево-му чемодану. (Она намекала на чемоданчик, в котором лежали прокламации общества имени Троицкого.)

Я вернулся в свое купе. Соседи у меня, наоборот, в смысле межполовых отношений были личности давно увядшие и пассивные. Здесь сидели две истинно дорожные, располневшие тетки и старичок «под Калинина» — бородка клинышком. С этим старичком я пробовал договориться о его переходе в Машино купе, но он наотрез отказался прибауткой:

— Кто меняет, тот не мает, как говорят хохлы.

Разговор в нашем купе, как водится в дороге при подобной аудитории, шел об ужасах и неприятностях. Обычно такие темы касаются поездного воровства, ограбления в вокзальных туалетах или железнодорожных катастроф. Ныне же сама судьба шла навстречу этим дорожным воронам. Речь шла о народных уличных беспорядках в тех местах, куда мы едем... Почти каждую свою фразу они начинали со слов «говорят».

— Говорят, — наклоняясь к собеседникам, точно что-то от кого-то скрывая, сообщала ближайшая ко мне толстуха, — говорят, Хрущева намалевали с кукурузой в зубах, — она засмеялась, — и так похоже, даже бородавки его изобразили.

Толстуха эта была с седьми, но крашенными хной волосами, и на ее огромном жирном бюсте лежали крупные янтарные

бусы. Относительно ее я, кажется, ошибся, и женское начало в ней еще далеко не погасло.

— Это что,—говорила вторая толстуха, поминутно утирая большим и указательным пальцами края своего рта, причем пальцы ее скользили вдоль нижней губы и замыкались на подбородке,—на крестинах мои собрались, а я им пряников черствых выставила... Вот, говорю, и на том благодарите.

— Молоко по талонам дают только для грудных младенцев,—сказал старичок «под Калинина»,—хлеба белого,—он важно и многозначительно поднял палец,—хлеба белого уж не помню внешний вид. А черный — мокрый как грязь, да и за ним очередь. Когда это видано, чтобы Россия за границей хлеб покупала? Наоборот, мы всю Европу хлебом кормили. Вот до чего довел Хрущев Россию.

— А анекдот слышали? — сказала толстуха с янтарными бусами, и, еще не успев рассказать анекдот, она затрясла жирным своим бюстом.—Хрущева, значит, возле мавзолея поймали: с раскладушкой туда пробирался... А то еще один: как найти шахту, где Хрущев в молодости работал...

— Да какой там он шахтер,—махнул рукой старичок,—помещик он... Из помещиков... Хотите коммунизм, говорит... Вот вам коммунизм... Вот вам голодуха...

Я где-то уже слышал о Хрущеве подобную версию и подобные анекдоты, кажется, при жизни моей в общежитии Жилстроя. То, что сейчас происходило в купе, не слыхано и не видано было в государстве лет сорок по крайней мере. Это была злобная, откровенная и смелая оппозиция обывателя. Оппозиция интеллигента существует всегда, разумеется, в той или иной форме, в зависимости от обстоятельств и исторического периода. Даже искренне и откровенно подерживая официальность, интеллигент по внутренней сути своей оказывает ей невольное, иногда от себя даже не зависящее сопротивление. Тут же все наоборот, тут сознательно бунтовала сама опора, сама суть официальности. Бунтовали как раз те, кто за сорок лет, казалось, разучились искать ответ на свои трудности и беды наверху и отводить душу в обвинении властей. И если бы политические противники Хрущева, немало которых имелось и в официальных кругах, захотели бы выбрать из многочисленных обвинений в его адрес одно, главное, то этому, пожалуй, наиболее соответствовало бы: создание в стране многомиллионного, политически активного, оппозиционно настроенного обывателя... Того самого обывателя, который почти без ропота перенес и выдержал тяготы и «голодуху» коллективизации, жертвы войн и послевоенную разруху... Ибо народ не способен страдать

и терпеть, если все это не освящено и не приподнято над его пониманием... Хрущев же своими простонародными действиями и своей простонародной личностью приоткрыл завесу над всеми перипетиями государственной жизни и упростил эту государственную жизнь до уровня, народу понятного и ясного, как понятны ему любые его семейные и квартирные радости и глупости... А если в такой обстановке у русского человека отнимать хлеб и пряники, он знает, что ему делать. Подспудно дремавшее чувство вековых российских смут просыпается в нем, и российский бунт, жестокий и радостный, является вдруг на свет, как веселое и забытое сказочное чудище из прибрежных волн современного пляжа, на котором господствует ленивый, современный прочный быт... И вмиг воздух начинает возбуждающе-хмельно пахнуть кровью, а обычные слесаря, сварщики и шофера становятся лихими и неистовыми злодеями, пугачевцами, не щадящими ни себя, ни других. Степная славянская натура, запаянная подобно буйной реке в плотину-государственность и вековым своим рабством создавшая великое государственное построение, почувствовав малейшую щель, начинает рваться и бушевать, стараясь хоть недолго пожить хмельно и беспощадно. Всякая жизнь народа невозможна без государственности, это та тяжелая цена, которую народ платит за свое величие и, может, даже за свое существование. Но если никому так не в тягость ограничения и путы разумности и порядка, как малолетнему резвому ребенку, то никому так не в тягость и необходимое ограничение и необходимое рабство, как молодой нации, какой является российская нация, сложившаяся из нескольких полуевропейских-полуазиатских народностей, свежих еще и незрелых, не имевших за плечами даже древней истории, а сразу начавших со средних веков... Вот почему российский бунт всегда был неожиданен и грозен для властей, пусть бы они его, казалось, предвидели и ждали. Ибо в российском бунте, как ни в каком ином, всегда проявляется эта неперебродившая молодость, это веселое и для себя же опасное безумие ребенка... Те отдельные и разрозненные экономические бунты, которые вспыхнули в нескольких местах в конце полного мужицкой фантазии правления Хрущева, носили на себе следы именно этой детской разнузданности и веселья.

С тревогой прислушиваясь к разговорам моих соседей по купе (именно после этих разговоров во мне начала расти тревога, так и не оставившая меня до самых событий и являющаяся предтечей событий), с тревогой прислушиваясь, я не сразу услышал, как меня окликнула Маша. Она стояла в коридоре, и лицо ее тоже было тревожно.

— Возьмите себе это,— сказала она шепотом и протянула мне коричневый чемоданчик с прокламациями,— вы были правы, этот лысый мне не нравится... Все приглядывается... Они вышли все сейчас курить в тамбур, и я воспользовалась... Как бы этот лысый не был стукачом.— И, протянув мне чемоданчик, она пошла вновь в свое купе.

Политическая жизнь так прочно овладела Машей, что она временами вдруг переставала понимать простые явления: лысый просто смотрит на нее с мужским вождением, а не приглядывается к чемоданчику с прокламациями общества имени Троицкого. Войдя в свое купе, где соседи по-прежнему заняты были дорожным ляляканьем, я осторожно положил чемоданчик на мою полку под казенную подушку. Потом так же осторожно, делая вид, что ищу казенное полотенце, приоткрыл чемоданчик, вытащил одну прокламацию, прикрыл ее полотенцем и пошел в туалет. В тамбуре по-прежнему стояла и курила компания мужчин из Машиного купе, но я уверен был, что они вышли не только покурить, но и потолковать на смелые и откровенные мужские темы, ибо вид Маши их крайне возбудил. Действительно, войдя в тамбур, я услышал, как лысый говорил:

— Легли мы, значит, под деревьями, в садочку (он говорил по-русски, но иногда вставлял украинские выражения), я, Павлик и она... Я усталый был, да и не голоден на баб, только с курорта приехал. Заснул. Ночью просыпаюсь, слышу, она шепчет: «Осторожно, Костя, осторожно»... Павлик, значит, с ней...— и он выразился по-юношески остро и открыто, что всегда в людях не первой молодости и особенно с лысиной звучит крайне пакостно.— Павлик, значит, ее, а она шепчет: «Осторожно, Костя».

Раздался стандартный в таких случаях мужской гогот, прикрывающий их томление по красивой, недоступной женщине. Мне этот бодрый гогот после сальностей знаком. Я и сам так гоготал, слушая рассказы воспитателя Корша в общежитии Жилстроя.

— Кто крайний?— резко спросил я.

— Да пожалуйста,— ответил брюнет и опять мне подмигнул, словно приглашая меня принять участие в их мужском разговоре,— пожалуйста, туалет свободен.

Я вошел, заперся и развернул прокламацию. «Русские люди!— значилось там.— Мы обращаемся к вам, нашим братьям и сестрам по крови. Не дайте возможность черносотенным и погромным элементам запачкать кровью высокое и светлое слово — русский! Русское милосердие несколько веков назад приняло под свою защиту гонимое и бездомное

еврейское племя. Так не дадим же опозорить это русское милосердие даже в момент злобы и беды...»

И так далее, и в том же духе. Подписана была прокламация «Русские патриоты», и мне кажется, в ней ощущался стиль, по выражению Коли, «попика» Анненкова, который после ареста Иванова стал главным идеологом общества имени Троицкого. Я подумал о Виталии. Наверное, в тот день, когда я его встретил перед комнатой номер сорок три, он принес работнику КГБ образец этой прокламации. Как сообщить об этом Маше без саморазоблачения?

Поезд, видно, ускорил ход, меня сильнее начало покачивать, и я уже не мог стоять на шатком полу, не держась за умывальник. Скомкав отпечатанную на папиросной бумаге прокламацию, я спрятал ее в карман и принялся умываться, причем не только для конспирации, но и по необходимости, ибо в мутное и пыльное зеркало увидел свою несвежую физиономию. Умывшись, я вытерся и снова задумался, глядя вверх замазанного мелом окна в узкую и чистую полоску... Был уже вечер, мелькали огни какой-то станции, очевидно, небольшой или полустанка, потому что поезд шел мимо, почти не сбавляя хода. В дверь туалета нетерпеливо застучали. Я вновь сполоснул лицо, утерся и вышел. Стучал какой-то пассажир в пижаме, те же трое из Машиного купе по-прежнему стояли и толковали, теперь уже негромко. Наверное, они по-прежнему рассказывали какие-нибудь сальные анекдоты или случаи из своей мужской жизни, которые при пассажире в пижаме и золотых очках вслух произносить почему-то постеснялись. Но мне тогда, в моем состоянии, показалось, что они сговариваются меж собой относительно Маши. Тревога и тоска, порожденные разнообразными обстоятельствами, но постепенно соединившиеся, овладели мною окончательно. Надо добавить, что вообще в поезде вечером я всегда начинаю испытывать почему-то беспокойство. Тут же все доведено было до пределов.

Решительно подойдя к купе, где Маша сидела одна, тоже о чем-то задумавшись, я сказал, да не просто сказал, а почти скомандовал:

— Вы переходите в мое купе, а я в ваше.

Скомандовав, я тут же спохватился, не возмутится ли моим поведением Маша. Но она не возмутилась, а неожиданно выполнила все так, как я велел, то есть перешла в мое купе, где старики, насплетничавшись и настрашав друг друга, уже улеглись.

— Чемоданчик под головой,— шепнул я на прощание,— спокойной ночи.

О Виталии, который передал прокламацию в КГБ, я сказать так и не решился, ибо не придумал, каким образом объяснить наличие у меня этих сведений...

Когда я вошел в Машино купе, мужчины уже были там и готовились ко сну. На то, что я подменил Машу, они обратили, конечно, внимание, но виду не подали. Однако, когда все улеглись, брюнет в трусах, оттопыривавшихся на брюшке, встал, запер на щеколду дверь, погасил верхний яркий свет, оставив синий, который блекло освещал купе, и, вновь забравшись на верхнюю свою полку (он, как и я, спал на верхней полке совсем рядом, так что нас отделяло узкое пространство), забравшись на полку, он сказал:

— Значит, не доверил нам своей девушки.

Я промолчал, делая вид, что засыпаю.

— И правильно сделал,— продолжал брюнет,— и не из-за нас правильно, а из-за девушки. Ее как звать? Так она свое имя нам и не сказала. Шутить с нами шутила, а имя не сказала.

Я глянул на жирное, густо обросшее курчавым волосом голое тело брюнета. Волос был у него не только на груди, но и на руках и на спине.

— Вам что угодно?— резко сказал я.

Снизу, где лежал лысый, в ответ на это мое озлобление хихикнули. Третий, более молчаливый и нейтральный мужчина, примирительно сказал:

— Ладно, давайте спать.

— Да ты не сердись,— сказал брюнет, покачиваясь, голый, рядом со мной, так что я легко мог достать его рукой, и при этом брюнет совершенно не стеснялся своего густо обросшего курчавым волосом тела (я бы безусловно стеснялся), не стеснялся, а по-моему, даже гордился им, считая его предельно мужским.

— Ты еще молодой парень,— продолжал брюнет,— на женщин ты смотришь идеалистически, а я уж повидал их, повидал и потому смотрю на их род материалистически... Вот возьмем такую вещь, как насилие. Штука ужасная и правильно, что уголовным кодексом предусмотренная. Что это за мужчина, если он не умеет сговориться с женщиной мирно. А с любой женщиной сговориться можно, все от времени зависит. Но, допустим, времени нет. Значит, насилие. Женщина ведь только в первое мгновение пугается, а потом ее женская суть верх берет, и наслаждение она получает, может, еще большее, потому женщина силу любит. А почему иначе и от насилия дети рождаются?... Дети ведь только от обоюдности возможны. И дети притом часто рождаются весьма крепкие.

У меня, честно говоря, друг от насилия рожден. Мать его еще в молодости казак в винограднике поймал. Так вот этот друг теперь генерал.

И все это брюнет рассказывал так сладко, сочно, с толком, что в мужском нашем купе воцарилось после этого разговора молчание, полное не покоя, а телесного напряжения. Даже я, понимавший, куда все это сейчас адресовалось, даже я на мгновение не совладал с собой, что, впрочем, для меня не новость. Так и затихли мы под рассказ брюнета. Никто после этого и слова не проронил. Каждый лежал, думая о своем, но, уверен, каждый пребывал в томлении, и лишь постепенно под стук колес началось расслабление, и под влиянием этого расслабления я, который не спал две ночи подряд, внезапно и крепко уснул.

Проснулся я от чего-то тревожного и государственного. Именно такое ощущение было во сне перед пробуждением. Первое слово, которое я услышал, окончательно проснувшись, было — «Документы». (Вот оно, государственное ощущение.) Поезд стоял на какой-то станции. Было еще темно, лишь слегка начинало рассветать. В вагоне же было тревожно, и тревога эта, как я понял, шла извне и изнутри. Никто не спал в купе, и все мужчины сгрудились у окна.

— На нефтеперерабатывающем пожар,— услышал я,— в...— и он назвал город, куда следовал поезд.

Я еще не совсем понимал тогда глубину опасности, вернее, даже вообразить себе не мог, но сердце мое тем не менее усиленно заколотилось, как бы само по себе. Свесившись с полки, я увидел далекое зарево, окрашивающее темные облака, и если б не тревога и разговоры, вполне мог бы принять это за восход солнца.

— Что случилось?— спросил я.

— Вставайте,— ответил мне брюнет,— проверка документов.

Это уж было совсем нечто тревожное и почти забытое, от чего повеяло атмосферой детства, войны и неустойчивой жизни. Я начал суетливо слезать с верхней полки. (Я вообще неловко слезаю с верхних железнодорожных полок, суетливо, мне кажется, что я притом бываю очень смешон для соседей, и почти всегда в результате то ударюсь, то руку растяну.) Так вот, едва я в этот раз, упершись правой рукой в соседнюю полку, завис с подогнутыми ногами в пространстве купе, как снизу раздалось:

— Пожалуйста, документы.

В испуге расслабившись, я рухнул вниз, не успев сдернуть руки с полок. Левая еще скользнула сама собой, а правая, бо-

лее растянутая, хрустнула в плече. Меня ожгло так, что даже заныла правая часть шеи. Превозмогая боль, я торопливо полез в висевший на крючке пиджак за паспортом и тут же подумал, что мое падение, моя торопливость и мой испуг могут показаться подозрительными и вызвать повышенное внимание патруля. Поэтому, прежде чем повернуться, я расслабился и постарался сделать лицо скучным и безразличным. (Оно в действительности имело крайне греховный и подозрительный вид. Я заметил это в купейное зеркало.) К счастью, проверявший был обычный армейский лейтенант-артиллерист. На проверку бросили, очевидно, тех, кто был под рукой в этот момент, который, судя по другим признакам, позднее обнаружившимся, явно застал власти врасплох, хоть беспокойно было здесь не первый день и недели полторы назад даже произошло нечто вроде выступления толпы у продовольственного магазина, правда, быстро пресеченного милицией и отнесенного к разряду хулиганского. Лейтенант бегло посмотрел мой паспорт, даже не перелистав его (у меня была просрочена прописка), и отдал. Вообще проверка велась, как говорится, «вполруки» людьми, которые этого не умели делать, да и не хотели, ибо это было им неприятно. Проверяли, словно отбывали какую-то повинность. И действительно, с противоположного конца коридора высокий офицер, очевидно старший, крикнул лейтенанту-артиллеристу:

— Скворцов, скоро ленинградский придет, поторапливайся!

Очевидно, офицерам и солдатам местного гарнизона, поднятым по тревоге, полагалось проверить определенное число поездов и сделать о том соответствующую пометку.

Я быстро прошел в купе, где ехала Маша. Здесь также было все крайне растревожено, особенно если учесть характер пассажиров. Крашенная толстуха с бусами даже негромко всхлипывала. Маша, напротив, была внешне спокойна, но несколько бледна. Ее уже проверили.

— Все в порядке,— шепнула она, имея в виду, конечно, чемодан с прокламациями. (Кстати, на вещи патруль внимания не обращал, стараясь побыстрее просмотреть паспорта и успеть на новую проверку к приходу ленинградского... Впрочем, очевидно, они не просто просматривали, а искали какие-то фамилии, на которые им было указано.)— Говорят, ужасные беспорядки,— шепнула Маша, когда мы вышли в коридор,— есть жертвы, подняты по тревоге войска... Там стреляют... Я начинаю по-настоящему волноваться за Колю...

— Во-первых,— сказал я,— все это наговорили паникеры из вашего купе, а во-вторых, я вообще не уверен, что Коля поехал сюда. Может, он действительно к Степану Ивановичу.

— Ах, не надо меня успокаивать,— сказала Маша,— и не надо хитрить.— Она неожиданно опять посмотрела на меня остро и враждебно.— Я ведь вам не моя мама, которую вы обвели вокруг пальца...

Это было нечто новое.

— В каком смысле, простите?— спросил я.

— А в том смысле, что вы пообещали ей влиять на Колю, имея в действительности свой собственный интерес.

— Да что вы такое говорите?— сказал я раздраженно.

— Ладно, не будем,— ответила Маша и замкнулась.

Так, в «полуразводе» наших отношений, неожиданно вспыхнувшем, и причем это особенно неожиданно для меня, готового, казалось бы, все Маше прощать, в «полуразводе» не только с Машиной, но и с моей стороны, мы проехали еще с полчаса, стоя в коридоре рядом, но отвернувшись друг от друга. Потом поезд остановился на каком-то разъезде, почти что в степи...

Уже вовсе рассвело, явилось солнце, и зарево пожара отсюда, во-первых, обозначилось во всей своей опасной грандиозности, а во-вторых, даже и для успокоения никак не могло быть воспринимваемо за солнечный восход, ибо дрожало в противоположной стороне.

— Дальше поезд не пойдет,— услышали мы голос проводника.

Паника среди пассажиров, и так существовавшая, достигла предела. Лица у всех стали напряжены и замкнуты, каждое в своем личном. Каждый мучился мыслью о том, как лично миновать беду, и в то же время объединялись в группы, старались друг от друга не отстать, прислушивались ко всякому, кто казался половчей. Пассажиров выгрузили, и они оказались в довольно большой толпе из пришедших раньше поездов. Все это сразу приняло бивачный вид военного времени. Современный человек ведь очень быстро и легко переходит из благоустроенного цивилизованного зажиточного состояния к положению уличному и бездомному. Мужчины и деятельные женщины сразу же отправились на поиски воды, пищи и властей, у которых можно было бы искать защиты и вообще понять ситуацию. Все эти люди, еще вчера выехавшие из спокойного и лениво-прочного мира, сегодня на рассвете оказались среди чуть ли не военной паники, слухов и опасности в почти что голой степи. Действительно, разъезд, на котором было задержано несколько поездов, приблизив-

шихся к району чрезвычайного положения (приблизившихся в результате упущений, ибо еще с вечера, то есть с начала бурных событий, было распоряжение рейсы отменить, а те поезда, которые вышли, задержать на крупных станциях), итак, разъезд этот представлял собой несколько служебных строений и не имел ни столовой, ни помещения для приема людей. Правда, неподалеку располагался шоссе́нный тракт, а за шоссе́м виднелось село. Часть пассажиров, понявших обстановку хотя бы в общих чертах, то есть элементарно осмотревшись, потянулась к шоссе, часть, перевалив через шоссе, двинулась к селу, большинство же все-таки осталось сидеть на перроне и в палисадниках разъезда, то есть поближе к власти, как они считали, за них ответственной, несмотря на то что власть эта была представлена стариком железнодорожником и хромой толстой женщиной в синем берете с кокардой...

Мы с Машей по-прежнему находились в «полуразводе». Маша-то понятно. Я ей был безразличен, и она без труда способна была занять по отношению ко мне агрессивную позицию. Но я-то, я... Очевидно, несправедливое поведение Маши чересчур уж возмутило меня, до того возмутило, что я даже впервые заметил некоторые дефекты ее лица и фигуры... В нижней части лица у нее явно существовала дисгармония, хоть шея и красивая (этого не отнимешь), но подбородочек-то тяжеловат... Ох, тяжеловат... А ноги-то... В ногах нет округлости... Мне даже излишняя тяжеловатость женской ноги приятней сухости и остроты, в которой нечто мужское и неженственное...

На этих нелепых мыслях я и поймал себя в момент, когда обратил внимание на Машины знаки, которые она делала мне рукой. Оказывается, Маша, пока я раздумывал, проявила инициативу и договорилась с шофером грузовика, заваленного ящиками. Поэтому (из-за ящиков) от бесчисленных попутчиков, осадивших его, шофер отказался, но Машу все-таки взял, и она втянула меня. Шофер этот смотрел на Машу, как те мужчины в купе, и я тут же переменил свою позицию и понял, что моя критика женских достоинств Маши идет от юношества и недостаточной мужской опытности, ибо опытным мужчинам всегда нравятся неразвившиеся и неформившиеся девушки. Когда же Маша созреет окончательно, то у нее и подбородок станет помягче и ноги округлей, и она превратится в совершенную красавицу, хоть если отбросить пристрастие, то и сейчас она является таковой.

На наш вопрос о происходящих событиях шофер глянул (мы с Машей оба тесно сидели в кабине), глянул и сказал:

— Ничего, будут знать, как народ обижать... Сначала

Сталина грязью замарал, теперь народ голодухой морит... Никитушка-бздунок...

Мы с Машей переглянулись, но промолчали... Шофер ехал как раз в тот город, куда я был командирован КГБ (о чем, конечно же, Маша не знала) и куда ожидалось по неким неизвестным мне тогда сведениям прибытие антисоветской группы Щусева, которую я должен был опознать. Я понимал, что многое ныне изменилось, и сотрудники, пославшие меня, конечно же, не предвидели, во всяком случае в таком масштабе, развернувшихся событий. В то же время, особенно ныне, когда многое прояснилось, становится очевидным, что Щусев о предстоящих событиях имел представление. Правда, надежды Щусева на «народный толчок», от которого «закружится вся Россия», конечно же, были наивны, но тем не менее «толчок» этот был достаточно силен. Причем начался он не там, где планировался, то есть не в городке, куда мы ехали, а в довольно крупном городе, расположенном от этого городка километрах в сорока. Случилось все так вовсе не для того, чтобы перехитрить власти, а само собой, стихийно и без ведома антисоветских фракционеров.

Городок, куда мы направлялись, почти не имел гарнизона, в то же время в нем располагалась крупная пересыльная тюрьма. (То есть при Сталине, конечно, гарнизон был, но нынче, в связи с хрущевскими увольнениями из армии, его крайне сократили.) Был городок этот лишен промышленности, и потому снабжение его прод- и промтоварами всегда было хуже, чем в промышленном центре в сорока километрах. Поэтому населению приходилось иногда и за предметами первой необходимости трястись в автобусах, а во время разлива реки, если сносило мост (меж городами протекает река), то еще и на лодках переправляться. Причем раньше, при Сталине, снабжение хоть и разнилось, но не в такой степени, и если было туго с продуктами, то везде одинаково туго. При Хрущеве же, особенно в первые годы хрущевского правления, когда все перестраивалось и переделывалось, в индустриальном центре началось бурное строительство, и он был переведен в более высокую категорию. Таким образом, разница в снабжении обозначилась еще более резко. Последние же неурожаи в результате стихийных бедствий и экономических ошибок значительно ухудшили категорию индустриального центра, городок же по иную сторону реки попросту был посажен на голодный паек. Исчезли не только мука, масло, мясо, белый хлеб, но даже молоко начали распределять строго ограниченно, лишь яслям и детским садам. Чего, правда, было вдоволь на торговых складах и в магазинах, так это импортного риса, но

рис, как известно, не является, в отличие от хлеба, картошки и сала, тем национальным продуктом, которым даже в нужде может удовлетвориться русский человек. Все это, как теперь выяснилось, было известно Щусеву, причем известно в подробностях и цифрах, используемых в прокламациях антисоветского и антисемитского характера. (Павел, тот тип, заподозривший меня, оказывается, работал в этом городке торговым экспедитором.) Впрочем, прокламации тоже появились лишь в последний момент, до того же в основном иногда появлялись карикатуры на Хрущева, которые, как правило, милиция успевала соскоблить до их прочтения. Тем не менее произошло несколько стихийных выступлений у магазинов и пивных ларьков. (Пиво тоже исчезло.)

Первое выступление, как рассказывают, носило попросту анекдотический характер, если б, конечно, оно не окончилось трагически. В самом крупном продовольственном магазине (в таких городах обязательно в центре есть крупный продовольственный магазин с электрочасами на фасаде, вокруг которого весьма часто бывает сосредоточена вся «светская» городская жизнь: назначаются свидания, прогуливаются местные франты и местные хулиганы и т. д.), так вот, в этом магазине какой-то старик дикого вида, борода ключьями и в грязной солдатской исподней рубахе (разумеется, с крестом поверх рубахи), уселся на пустой ящик от фруктовой воды и принялся прямо из горлышка пить ситро, закусывая сухарями черного хлеба, очевидно, полученными как подаяние. На беду (в таких случаях ох как много совпадений), уселся он рядом с отделом фруктовых соков. (Вот соков этих, как и импортного риса, было в городе достаточно, но они не пользовались большим спросом у местного населения.) Продавщица соков была жена местного милиционера, которого в городе лица вольных нравов особенно ненавидели, ибо он рьяно исполнял свои обязанности и при этом обладал большой физической силой, отчего схваченный им, бывало, получал серьезные травмы и ушибы. Так вот, жена этого милиционера, она же продавщица фруктовых соков, была человеком не в меру брезгливым (правда, старик был действительно грязен, и когда он пил, запрокинув голову, по подбородку его тек ручеек некой массы из разжеванных сухарей и ситро).

— Папаша,— сказала продавщица,— вы человек старый, а так себя не уважаете. Шли бы на улицу, на скамеечку. Все-таки здесь магазин...

Старик, точно ожидая этого, схватил свою палку-посох и не вставая принялся стучать этой палкой по кафельному полу и кричать продавщице:

— Сатана!..— При этом он крестил воздух перед собой и по-прежнему не оставлял своего занятия, то есть пил из горлышка ситро и грыз сухари.— Сатана! —сделав очередной глоток, кричал он, вращая грязной загорелой шеей.

— Сам ты шпана,— очевидно, не расслышав, огрызнулась продавщица.

Тогда старик замахнулся на нее палкой, и она по-женски взвизгнула. Муж ее, милиционер, оказался как раз в тот момент неподалеку и видел, как старик замахнулся. В нем взвыграли сразу и физически сильный муж и должностное лицо, обладающее властью. К тому ж испуганный визг женщины, свидетельствующий о ее слабости, особенно женщины, с которой находишься в близости, в некоторых мужчинах возбуждает сексуальное чувство, и это еще больше обостряет реакцию. В одно мгновение старик был не то что схвачен, а скорее смят и безголосо затрепетал в тяжелых руках милиционера. Даже и в более спокойной обстановке, попросту по пластике, вид сильного мужчины, крутящего в бараний рог по-детски легкого и слабого старика, вызывает протест. Здесь же все было и так достаточно накалено. Явилось множество возбужденных граждан. (Говорят, их специально кликнули от ближайшего «Пиво, воды», где торговали вразлив вином и водкой.) Как ни был силен милиционер, его оттеснили и раза два даже ударили, а старика отбили, но как ни отливали водой прямо на тротуаре перед магазином и как ни вливали в беззубый нечистый рот водки, старик так и не пришел в себя. Явившийся на подмогу милиционеру патруль разогнал группу возбужденных граждан (пока все-таки группу, а не толпу), арестовал зачинщика (местного алкоголика Самойло), но старика увез все-таки без сознания, и позднее пошли слухи, будто старик умер. Это и был стихийный толчок, после которого покоя уже не наступило. В довершение ко всему на следующий день, с тем якобы, чтобы успокоить народ, в центральный этот магазин завезли большую партию конской колбасы. Я употребил «якобы», ибо до сих пор не знаю, было ли это ошибкой и просчетом или умыслом людей Щусева. (Напоминаю, в городской торговой сети работал связной Щусева Павел.)

Конская эта колбаса после многих месяцев отсутствия мясных продуктов собрала огромную очередь, разумеется, с давкой, матерщиной и в конечном итоге, с учетом нынешнего состояния умов, с антиправительственными выкриками, и, само собой, не без антисемитских высказываний, но это уж в качестве приправы, главным же образом ругали Хрущакраинца, особенно когда выяснилось, что колбаса эта крайне

соленая и твердая — «хуже топора переваривается», как изволил выразиться один из крикунов. Таким образом, становилось ясным для карательных органов, что главные выступления ожидались именно здесь. Ожидались не только властями, но и функционерами Щусева. Щусев надеялся поднять местного обывателя, недовольного «хрущевским голодом», разгромить пересыльную тюрьму, а уж затем начать действовать «в масштабе России». Власти же считали, что «кучка психопатов и мерзавцев», о которых они были достаточно информированы, вполне может быть обезврежена местными милицейскими мерами. Надо дать возможность всем собраться, а затем их схватить. Как известно, я был послан для очных ставок и опознания. Но вспыхнуло неожиданно для всех в совершенно ином месте. И не среди местного, разрозненного, артельного и полукустарного обывателя, а среди сплоченных пролетариев индустриального центра.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Теперь утверждают, что повод был стандартный, то есть тот, который служил вообще основой экономическим выступлениям: не в меру заниженные расценки, и именно поэтому началось на нефтеперерабатывающем заводе. Но, во-первых, началось не на нефтеперерабатывающем, а на заводе химического машиностроения и уже оттуда перекинулось дальше, а во-вторых, толчком послужили не расценки, хоть и они, конечно, сыграли весьма важную роль, но лишь в конечном итоге, а не как повод... Поводом к бунту (ибо произошла не просто экономическая забастовка, а настоящий российский бунт с его ужасами и дикостями), так вот, поводом к бунту послужили личные действия и личная судьба директора Химмаша Алексея Ильича Гаврюшина.

Алексей Ильич Гаврюшин был человек, сделавший в свое время молниеносную карьеру, какая возможна лишь в стране, где закон подменяется волевыми действиями сильной самодержавной личности. Такие карьеры вспыхивали в годы Сталина в больших количествах, так же как в больших количествах внезапно гасли многие знаменитые и высокие имена. Особенно характерна была подобная перетасовка для трудных военных лет... Старший лейтенант Гаврюшин попал в госпиталь этого города после тяжелого ранения на фронте осенью сорок первого, а весной сорок второго, кое-как вылечившись, он вновь явился в военкомат, требуя отправки в свою часть. В свою часть его не направили, но заставили подо-

ждать, а потом заявили, что он считается мобилизованным для срочной и ответственной оборонной работы в городе. Дело в том, что до войны Гаврюшин окончил техникум по специальности «холодная обработка металлов», и его появление в тот момент было просто находкой для работников военкомата. На запасных путях товарной станции стояло несколько эшелонов эвакуированного сюда из прифронтовой полосы крупного завода химического машиностроения. Относительно завода этого существовало решение Государственного комитета обороны о переквалификации его на производство для военных нужд страны реактивных минометов БМ-13 типа «Катюша», ибо заводы Москвы и Воронежа, где до того производились «Катюши», не могли уже удовлетворить растущие потребности армии. Тем не менее все сроки переквалификации были упущены, ибо эвакуация (правда, проводившаяся в трудных условиях и под бомбами), эвакуация завода носила крайне поспешный и неудовлетворительный характер. Многое оборудование было либо не взято с собой, либо плохо закреплено и упаковано на платформах, и фактически к месту назначения пришел поржавевший под дождями и снегом, непригодный к производству хлам. Все руководство завода — директор, главный инженер, главный технолог, начальник котельно-сварочного цеха, в общем, все, что попало тогда под крутую руку трибунала, — было согласно законам военного времени оперативно судимо и так же оперативно расстреляно. Таким образом, завод остался совершенно без руководства, и было дано указание в мобилизационном порядке направить туда технически грамотных людей. Вот в такой-то обстановке Гаврюшин и попал заместителем к некоему заслуженному, увешанному орденами старику. Но старичок этот, внесший огромный вклад в индустрию первых пятилеток, к сорок второму году, как говорят, «дышал на ладан» и не выдерживал военных темпов. Поэтому в первую же неделю Гаврюшин, который себя проявил цепким и умелым работником волевого склада, получил власть и стал заводским директором-вождем, то есть тем как раз, что требовалось. В распоряжение его предоставили небольшой полукустарный заводик, имевший, правда, что весьма важно, формовочные машины для литья, но выпускавший еще недавно главным образом кладбищенские ограды и кресты. Помимо заводика в распоряжение Химмаша предоставили пустой гараж, неподалеку расположенный. За ночь силами как эвакуированных, так и местных рабочих и ремесленников гараж этот был очищен, установили станки, причем из нескольких пришедших в негодность часто собирали один. Гаврюшин и подобран-

ный им секретарь парткома Мотылин, тоже из раненых фронтовиков, с которым Гаврюшин вместе лежал в госпитале, итак Гаврюшин и Мотылин правдами и неправдами перехватили у другого завода несколько мощных кранов, необходимых для сборки, раздобыли продольно-строгальные станки, которыми Химмаш даже в лучшие свои времена не обладал... Чертежный стол главного конструктора Шрайбмана, которого Гаврюшин увел с завода Электроаппарат, стоял прямо посреди сборочного цеха... Рабочие сутками не покидали своих мест. Ежедневно два раза раздавался звонок из Кремля, куда Гаврюшин докладывал каждую, иногда попросту бытовую мелочь... Через десять дней из бывшего гаража вышла первая БМ-13 — «Катюша»...

Так Гаврюшин начинал. Потом было всякое, но что бы ни было, — на месте кустарного заводика и гаража вырос современный завод, который после окончания войны был переведен на производство аммиачных холодильных установок. За это время сам Гаврюшин потяжелел и несколько осел к земле, походка его не была уж так резва, и во взгляде его, который ранее весьма часто видоизменялся, приобретая иногда при радости даже глуповато-юношеский блеск, во взгляде ныне явилось уж нечто твердо сформировавшееся. Во взаимоотношениях с людьми ниже себя по служебному рангу, в том числе и с рабочими (кстати, этот пункт весьма важен), у него никогда не было заносчивости и барства, как утверждают теперь крепкие задним умом, а лишь достоинство и порядок, и, разговаривая с человеком ниже себя рангом, он его никогда не унижал и не показывал своего преимущества, ибо подобное, как правило, идет от неуверенности в себе. А Гаврюшин, получивший несколько орденов из рук самого Калинина, был человек в себе крайне уверенный. Здесь кое-что и возможно поставить ему в вину, ибо всякий, кто с ним общался, говорят, чувствовал в нем эту уверенность хозяина жизни и оттого невольно начинал ощущать себя лицом подчиненным. Но надо заметить, что Гаврюшин «подавал» окружающим свою уверенность абсолютно без рисовки и совершенно органично. На заводе его скорее уважали, чем боялись. Тем не менее в его присутствии все, начиная с главного инженера и кончая незрелым фезеушником, чувствовали себя не свободно, не просто Иван Ивановичами и Петьками, а людьми государственными, жизнь которых толково и делово пригнана среди жизней себе подобных. Должен заметить, что это многим нравилось, особенно из старых, с которыми Гаврюшин всю эту индустриальную красоту создавал. Но таких, надо также заметить, становилось все меньше и меньше.

Новый стиль руководства, явившийся после смерти Сталина (Сталина Гаврюшин очень любил, и единственно когда он позволял себе размякнуть и когда в нем вновь являлась юношеская мечтательность, так это при упоминании великого для Гаврюшина имени), итак, новый стиль, заключающийся в простоте взаимоотношений начальства с подчиненными, Гаврюшин считал лицемерным и обоюдолокайским... Так примерно и выразился он в запале впервые публично (правда, в узком кругу технического руководства, когда на завод пришла страшная для Гаврюшина весть о переоборудовании завода в паровозоремонтный)... Сначала он думал, что произошла ошибка, кто-то напутал, кому-то надо мылить шею... Выразившись неодобрительно о всем современном, в том числе и о расхлябанном стиле руководства (кстати, это уж заодно и от растерянности, ибо он, стиль этот, не совсем соответствовал обстоятельствам и категоричности приказа), выразившись так, Гаврюшин первым делом позвонил в ближайшую инстанцию, то есть в местный совнархоз. (Организацию, которую он вообще считал нелепой, презирал и куда обращался крайне редко.) Оттуда ему ответили довольно остро (в совнархозе знали об отношении Гаврюшина к их ведомству), ответили: ваше дело, мол, выполнять, а не заниматься жалобами. Здесь был намек на взаимоотношения Гаврюшина с секретарем обкома Мотылиным, тем самым другом из фронтового госпиталя, а позднее и секретарем парткома в трудном военном становлении завода. Это был намек на Мотылина, которого Гаврюшин последнее время весьма часто использовал как сильного союзника в своих спорах с совнархозом... Выполняйте, мол, заявили в совнархозе, ибо сроки переоборудования завода достаточно жесткие. Гаврюшин кинулся в обком...

Мотылин принял сразу же, но из своего огромного облицованного дубом кабинета он провел Гаврюшина через дверку, открывающуюся в дубовой облицовке, в маленькую комнатушку без телефонов, с крошечным окном под потолком и постоянно освещенную лампами дневного света, так что складывалось впечатление подземелья и бомбоубежища.

— Вот так, Алексей Ильич,— сказал Мотылин, когда они уселись на обитые ситцем полукресла,— на сей раз ничем не могу помочь... Распоряжение с самого верха... Распоряжение ЦК...

— ЦК,— потерял разом самообладание Гаврюшин, как человек, который долго крепился и наконец ослабил тормоза, словно давящие его за горло. (Он действительно расстегнул галстук и схватился за горло.)— ЦК,— крикнул Гаврю-

шин,— здесь все местные бездельники в совнархозе сварганили, а это нынешнее ЦК не глядя подмахнуло...

— Тише,— прикрикнул Мотылин, несколько испуганно и даже оглядываясь, хоть находились они вдвоем в каменном склепе,— ты что, с ума сошел?.. Ведешь себя как девица... Заслуженный хозяйственник, фронтовик... Пойми, веяние сейчас идет сверху... Территориальный принцип... Конечно, местные пользуются этим, но и в Москве у них поддержка... Они считают, что компрессора лучше выпускать централизованно в той же, например, Москве, Ленинграде... А у нас крупный железнодорожный узел, большой паровозный парк, который требует квалифицированного ухода...

— Ах ты, Господи,— вскричал вновь Гаврюшин на эти слова старого друга.

Надо заметить, что именно с той поры в цельной натуре Алексея Ильича явилась некая трещина, некая способность к волюнтаризму, несмотря на то что он против волюнтаризма был всей душой и всей своей прошлой жизнью. Но так уж получается: не мы формируем время, а время формирует нас, даже вопреки нашей воле. Причем особенно подвержены влиянию времени как раз натуры страстные и внутренне честные, каковым и был Гаврюшин. Против волюнтаризма и производственной анархии он невольно стал бороться средствами волюнтаристскими и анархическими, то есть чуждыми его натуре, сформировавшейся в деловом самоотверженном напоре войны.

— Ах ты, Господи,— вскричал Алексей Ильич,— да пусть бы построили себе завод для ремонта паровозов... Зачем же ломать, зачем использовать на работах низкой квалификации квалифицированные кадры химаппаратчиков?..

— Строить новый завод это значит распылять средства,— ответил Мотылин,— не мне тебе объяснять...

— А ломать,— Алексей Ильич с трудом перевел дыхание,— ломать цеха... Переоборудовать... Ведь на пустом месте начинали... Кустарный заводик... Ты ведь сам помнишь... Ты ведь у меня начинал... С меня начинал... Я тебя привел... Ведь площадь цехов за эти годы увеличилась в восемь раз...

— Что ты меня агитируешь? — тихо сказал Мотылин.— Единственно что я могу, это посоветовать тебе... Съезди-ка сам в Москву... Явись, конечно, в центральный совнархоз... Это для проформы, ты там поддержки не найдешь... А потом зайди в министерство... Между этими организациями сложные отношения, попробуй использовать эти сложности...

Только нигде на меня не ссылайся,— добавил он совсем уж тихо и поспешно.

И после этих слов, мелких и слишком быстро произнесенных для такой фигуры, какой является секретарь обкома, Гаврюшин и Мотылин некоторое время молча и изучающе смотрели друг на друга, точно, невзирая на давнюю, проверенную крутыми годами дружбу, они уж более друг другу не доверяли.

— Сам еле держусь,— после паузы чуть ли не шепотом сказал Мотылин,— на прошлом пленуме первый секретарь ЦК (он так и сказал, не по фамилии — Хрущев, а по должности), первый секретарь мне публично пальцем погрозил. А ты знаешь, что это значит теперь? Хотели меня уже в Красноярский совнархоз переводить, на высылку... Спасибо, люди в Москве нашлись, поддержали, усидел... Да и ты, я слыхал, не в меру разговорчив... Портрет Сталина у тебя на стене висит...

— А мне, товарищ Мотылин,— сказал вдруг Гаврюшин официально и почти отчужденно,— мне Красноярск не страшен. Мне важно, чтоб завод не ломали, а меня пусть переводят. Насчет же портрета товарища Сталина — так это тебе неверно донесли. В служебном кабинете я его снял, согласно нынешней линии партии. Относительно же портрета в моем домашнем кабинете — так это мое частное дело...

— Ошибаешься, Алексей Ильич,— ответил Мотылин тоже раздражаясь, причем за намек Гаврюшина о том, что ему, Гаврюшину, главное — дело, а он, Мотылин, чуть ли не приспособленец и шкурник,— ошибаешься, товарищ Гаврюшин, у члена партии частных дел не бывает. Вот ты ерепенишься, а этот технолог с завода... Из реабилитированных... Забыл фамилию... Еврей этот (Мотылин совершенно уж потерял самообладание) с жалобой ко мне пришел на тебя, ты вот его домой к себе водишь, он и донес — Сталин у тебя на стене висит, что XX съезду вопреки...

— Ах, вот оно что,— усмехнулся Гаврюшин,— ладно, раз вопреки — сниму... А теперь скажи мне, как выбраться из твоего потайного бомбоубежища.

В общем, расстались они более чем холодно, но советом секретаря обкома Гаврюшин все-таки воспользовался, поехал в Москву, и там вышло все так, как Мотылин и предполагал. В центральном совнархозе его не поддержали, а в министерстве, наоборот, выслушали с сочувствием и обещали помочь, тем более что там Гаврюшина знали и помнили еще по прошлым годам. В результате всех этих взаимоотношений, переговоров и переписки родилось наконец компромиссное

решение, завизированное в высшей инстанции. Именно: одну часть завода все-таки переоборудовать под паровозоремонтный, но вторую часть сохранить как базу для ремонта и изготовления запчастей компрессоров... Решение, конечно же, было в духе времени, убудочное, нелепое и технически безграмотное. Но тем не менее Гаврюшин хотя бы и этим был доволен. Он знал — будут сохранены станки, будут сохранены запчасти, будут сохранены кадры, хотя б костяк, всегда можно будет быстро возродить завод, когда минует напасть. (А то, что сейчас происходило и на заводе и в стране, он уверенно считал лишь временной напастью.) Поэтому он лично взялся составлять список всех запчастей и инструментов, которые не подлежали передаче паровозоремонтному (куда директором назначили бывшего главного инженера с Химмаша), да составил все это так ловко, что новоиспеченный директор Иван Иванович Ушаков, хоть и был человек местный, подкопаться не мог. Удалось Алексею Ильичу удержать также и лучший, наиболее квалифицированный костяк рабочих и техперсонала. Тем не менее все эти передрыги не могли не сказаться. Гаврюшин все-таки был уже в летах, да и старая фронтовая рана начала пошаливать. А тут еще вроде бы ни с того ни с сего случился с ним инсульт в тяжелой форме.

Случилось это на именинах у его жены Любови Николаевны. После того как все встали из-за стола и молодежь начала танцевать (старшая, подросшая дочь Алексея Ильича, Нина дом все чаще наполняла молодежью самых разнузданных нравов и взглядов, которые они, правда, при нем высказывать не решались, но он невольно улавливал все это в полунамеках), так вот, после того как молодежь начала танцы, он почувствовал вдруг легкое удушье и решил выйти на кухню прохладиться. Там он уселся за кухонный столик с одним знакомым дочери, именно Славиком, довольно симпатичным юношей, пожалуй что старой закалки, невзирая на молодость. Они вдвоем выпили по рюмочке коньяка. (Алексей Ильич ранее, в ясные и твердые сталинские годы, вообще был трезвенником. Ныне же он начал попивать, но пил в меру.) Так вот, со Славиком этим они очень хорошо посидели и потолковали, причем выяснили, что Славик действительно не одобряет ни «этих анекдотиков», ни всего прочего нынешнего, в котором все меньше остается русского подлинного, а все более под иностранщину... В это время на кухню вошла дочь Нина смеясь и сказала, что по телевизору передают очень смешную передачу. Они вошли в комнату, и действительно, что-то по телевизору произнесенное показалось Алексею Ильичу очень смешным. Он засмеялся, но как-то ненатураль-

но и необычно высоко... И тут же словно захлебнулся смехом... Далее он помнит белый потолок, который в первые секунды казался ему облаками, так что он никак не мог вспомнить, как оказался в поле... Наконец он стал различать заплаканные лица жены и дочери, над ним склонившиеся, вспомнил, где он находится, и тут же почувствовал сильную боль слева под горлом.

— Слева болит,— прошептал он,— у меня, наверно, инфаркт...

Однако вызванный и вскоре приехавший врач из поликлиники отработчиков измерил давление, которое оказалось крайне высоким, и заявил, что при таком давлении инфаркта не бывает, это инсульт. Слева же болело оттого, что у Алексея Ильича была сломана ключица. Жена позднее рассказывала, что Алексей Ильич упал сначала лицом вниз, ударился ключицей об стол, отчего его перевернуло в воздухе, и он упал вторично уже плашмя...

Короче говоря, после этого случая Гаврюшин надолго попал в обкомовский госпиталь закрытого типа, потом несколько месяцев провел в Кисловодске, в санатории тоже закрытого типа, и таким образом многие события последнего времени фактически были им упущены и не учтены... События же эти были соотнесены с всеобщим положением страны, которое в результате неурожая и экономических ошибок повсеместно и стремительно начало ухудшаться... Когда после долгого перерыва Гаврюшин снова очутился на заводе, он с болью и горечью обнаружил, что его надежды сохранить в здоровом виде хотя бы, как он выражался, «зерно для будущего роста», эти надежды не сбывались. Все приходило в упадок, всего коснулась нынешняя бессмысленная хрущевская суэта... Завод походил теперь не на четко отработанный организм, где звуки труда сливались в единую систему, радующую душу, а на кучу чего-то старого и разваливающегося, где всякий звук сам по себе и всякий возникает не в порядке, а по воле случая... Надо заметить, что Гаврюшин при всей его сухости втайне не чужд был некоторого романтизма в том, что касалось завода... Запершись иногда в своем кабинете и велел секретарше никого не пускать, он закрывал глаза и «слушал завод»... Мерный гул продольно-строгальных станков, четкое пыхтение маневровых паровозиков на путях, глухое потрескивание электросварки из котельно-сварочного... Это было дыхание здоровых пролетарских легких... Теперь же завод издавал неритмичные вздохи чахоточного... На заводе все перестраивалось, но даже и здесь господствовали не свежие запахи котлованов, теса и бетона,

а сухой, мертвый запах битого кирпича, глины и штукатурки... Более ломали, чем строили... Металл резали автогенном, было душно и дымно... Заводская зелень была перекопана и залита соляжкой...

Несмотря на духоту, Гаврюшин опустил шторы. Вместе с и. о. директора Дмитриевым, нынешним главным инженером, замещавшим Гаврюшина, он начал просматривать документы и ведомости. Тут, в бумагах, было еще хуже, чем в заводском дворе... В связи с переводом завода с производства компрессоров на их ремонт расценки были крайне снижены, так что многие из квалифицированных рабочих разошлись, явилось случайное пополнение из окрестных деревень и из армии...

— Молодежи много,— говорил Дмитриев, близко пригибаясь к Гаврюшину, словно рассказывая ему современный антиправительственный анекдот.

Было в этом Дмитриеве нечто, как подумал Гаврюшин, «от современного руководителя хрущевской эпохи», нечто испуганное, оппозиционное, грешное... Лысина, короткая шея, косящий глаз... «Такой рабочий класс не поведет за собой, такой боится рабочего класса, старается его задобрить лестью... А если это не удастся, пугается до смерти...» И действительно, Дмитриев сказал:

— Шпаны много на заводе... С целины которые поприезжали, те заводили... Недавно мастера в сборочном избили... Был случай группового изнасилования кладовщицы... Судили в красном уголке общежития...

— Да что вы мне уголовщину рассказываете?— вспыхнул Гаврюшин.— Я директор завода, а не прокурор...

И едва Гаврюшин вспыхнул, как сразу же почувствовал болевой напор в затылке. Прахом пошло в первый же день все многомесячное лечение в привилегированных закрытых санаториях.

— Я только в том смысле,— заспешил Дмитриев, испуганно глядя на Гаврюшина (от боли тот изменился в лице),— я в том смысле, что с кадрами туго...

— А чего ж вы набрали таких?— морщась и придавив боль в затылке ладонью, сказал Гаврюшин.

— Кого ж наберешь,— сказал Дмитриев,— на такую оплату?— И тут же, вновь испуганно глянув, добавил:— Вам, может, машину вызвать, Алексей Ильич?.. Вижу я, худо вам...

— Вызови,— чувствуя, что боль не утихает, сказал Гаврюшин,— теперь везде одинаково хреново... Лечат, едрена мать, как хозяйничают...

И, видя суету Дмитриева, который не позвонил и не вызвал секретаршу, а сам лично побежал сказать ей насчет машины, Гаврюшин подумал с горечью: «Эти недорезанные хрущевские либералы всю пакость развели...»

Машина отвезла Гаврюшина домой, и он был уложен женой Любовью Николаевной в постель. Но на следующее утро рокового для себя дня встал рано и, как ему показалось, бодро. Машины он не вызвал и жену будить не стал, а съел кефир с хлебом и решил пойти на завод полуинкогнито, чтоб все посмотреть самому... В проходной дежурил старичок Нестеренко, который знал директора много лет, чуть ли не с того момента, когда молодой Алешка Гаврюшин, старший лейтенант, имеющий ранение, начинал свою карьеру хозяйственника.

— Наше вам,— сказал Нестеренко, улыбаясь беззубыми деснами и прикладывая ладонь к козырьку форменной фуражки военизированной охраны.

В прежние прочные времена Гаврюшин, пожалуй, в ответ поздоровался бы со стариком за руку, но ныне он подумал, что это может быть воспринято как его приспособление к «либерализму». И потому он лишь сухо кивнул Нестеренко, проходя внутрь.

Несмотря на ранний час, строительная неразбериха была в разгаре. (Совнархоз спустил паровозоремонтному жесткий срок, и к концу квартала тот уже должен был принять первые паровозы.) И тут-то Гаврюшин заметил, что бульдозер ломает подъездные пути далеко за границей, отведенной паровозоремонтному. Подъездные пути эти служили для вывоза готовой продукции, и снос их означал окончательный паралич даже того остатка компрессорного завода, который еще существовал. Почувствовав разом вчерашнюю боль в затылке, Гаврюшин бросился к бульдозеру.

— Ты что ж делаешь, сукин сын! — крикнул он.

— Отстань,— высунулся из бульдозера улыбающийся парень. (Он, кажется, был пьян, судя по улыбке.)

Боль в затылке стала уже сверлящей. Гаврюшин бросился к проходной и крикнул Нестеренко, указывая в сторону бульдозера.

— Давай предупредительный выстрел... Не подчинится — стреляй в этого саботажника.

— Как так,— замялся Нестеренко,— как же так, Алексей Ильич, надо бы милицию вызвать...

— Эх, либералы,— выдавил из себя Гаврюшин и с силой вырвал винтовку из рук оторопевшего старика,— пока милицию вызовешь, он нам все подъездные пути своротит... А ну,

слазь! — крикнул Гаврюшин бульдозеристу, умело передернув затвор.

К тому времени на шум явилось уже много лиц, главным образом молодых, так что образовалось уже нечто вроде толпы, правда еще не очень густой, но уже подчиняющейся законам массы, то есть где каждое слово и каждое движение носило уже не самостоятельный, а общий и публичный смысл... Послышались выкрики:

— А ты ему за простой заплатишь?

— Между собой толкуйте, а к рабочему претензий не имейте...

— Молчать! — затрясся Гаврюшин. — Сопляки... Распустили вас... Вы б в войну у меня поработали...

В это время бульдозерист, действия которого тоже стали публичны, разогнал бульдозер и зацепил ножом шпалы. Они заскрипели, скособочились, выперли наружу, а рельсы изогнулись. И тогда Гаврюшин выстрелил... Выстрелил он в воздух, и мгновенно, как бы пришибленный выстрелом, шум вокруг стих. Это был первый выстрел начавшегося позднее подлинного сражения, которое продолжалось четверо суток и в которое с обеих сторон были втянуты тысячи людей... Но никто вокруг, ни сам Гаврюшин, которому оставалось жить всего каких-нибудь десять — пятнадцать минут и который стал первой жертвой этого сражения, никто в момент выстрела о том, конечно, не догадывался... Более того, выстрел и наступившая после него шоковая тишина (бульдозериста как ветром сдуло из кабины), выстрел и тишина придали Гаврюшину какую-то душевную твердость прежних лет, он словно бы помолодел в то мгновение и крикнул высоким, митинговым голосом, голосом сталинского периода:

— Стыд и позор... Русский человек никогда не действует из-за угла...

Это был набор слов, не соответствующих ситуации, ибо никто из-за угла не действовал, а наоборот, собрались толпой. Но в момент подъема сил из Гаврюшина лезли какие-то обрывки, о которых он думал по ночам и которые мог проносить, вдохнув полной грудью словно бы воздух конца сороковых... Но тут откуда-то сбоку к Гаврюшину бросились двое. Было в них что-то нездешнее, хоть одеты они были рабочему. На одного из них Гаврюшин даже обратил внимание, когда вошел на завод, и подумал, каким образом здесь оказались эти посторонние личности. Но, как известно, он тут же отвлечен был инцидентом с бульдозером. Так вот, один из этих двоих, с бледным лицом, подбежав, крикнул Гаврюшину:

— Здравствуй, Лейбович... Долго же я искал тебя...

А второй, плотный, схватил винтовку и начал ее выдергивать из рук Гаврюшина. И тут прозвучал второй выстрел, причем неизвестно, кто же — Гаврюшин или тот плотный — нажал спуск, выдергивая винтовку. И следом за выстрелом послышался крик. Молодой рабочий-строитель лежал на земле... Спецовка его у плеча набухла кровью. Впрочем, судя по виду Гаврюшина, вряд ли это он мог выстрелить, ибо после крика, ему адресованного: «Здравствуй, Лейбович...», он буквально на глазах изменился, и было такое впечатление, будто он попросту расплзается и разваливается, как снежная баба под действием горячего воздуха... Толпа задвигалась, и в том месте, где лежал раненый, образовался круг... Завизжала какая-то женщина.

— Тихо! — вскочив на гусеницу бульдозера, крикнул бледный. — Соблюдать порядок... Под маской Гаврюшина Алексея Ильича долгое время скрывался Лейбович Абрам Исаакович...

Тут следует сказать несколько слов о причинах мгновенного шокового состояния директора завода Гаврюшина, вызванного бездоказательным уличным криком какого-то хулигана. Пожалуй, оно мне понятно и относится не к личным качествам Гаврюшина, а к особому рода психологическому состоянию, которым долгие годы, случается, живет человек. Отчасти оно напоминает раздвоение личности, с той лишь разницей, что тут обе личности как бы существуют одновременно, но одна из этих личностей находится в подполье, в захоронении, причем, в отличие от элементарного бреда, человек не только внешне здоров вполне, но и сохраняет внутренне и постоянно критическое отношение и понимание своей раздвоенности. Хочу повторить, что здесь не примитивный обман и выдача себя за другого. Явление это скорее может быть отнесено к социальной психиатрии, если таковая возможна. Напоминаю, что в моем детстве, в юношестве, когда вся страна жила победой, особенно юношество жило гордостью за своих отцов-победителей, я, который, согласно социальным веяниям того времени, крайне стыдился своего отца, врага народа, сумел психологически переубедить себя в существовании у меня иного отца, героя войны. Тут определенно рода психологическая игра, когда человек сам от себя нечто скрывает, причем со временем это настолько овладевает его сознанием, что происходит словно его полное психологическое перерождение и первое его «я» хоть и не исчезает полностью, но выглядит таким смутным воспоминанием из далекого прошлого, является с каждым разом и с каждым го-

дом все реже и реже, и даже когда оно является, то настолько вступает в полнейший контраст с нынешней жизнью, что у человека даже возникает искреннее сомнение: а не придумано ли все то, ненастоящее и смутно-далекое... Появляется к тому далекому некое недоверие и ухмылка. И при всем при том где-то в самом отдаленном уголке сознания существует страх перед этим явлением своего прошлого «я». Причем и страх этот постепенно становится не социально-политическим, а психологическим, не перед раскрытием обмана, который давно уж перечеркнут нынешней жизнью, а перед неясным, как бы ночным кошмаром, вызывающим сердцебиение, пустоту в груди и смутные ускользающие мысли, о которых по пробуждении, оглядевшись, лишь пожимаешь плечами и с радостью улыбаешься окружающей яви... Повторяю, если даже и я с моим воспоминанием об отце-герое был искренним, то что же сказать о человеке, который давно уж был настолько русским и который настолько жил прочной хозяйской русской жизнью, что (и это очень важно), что позволял даже себе не испытывать неприязни к евреям, весьма характерной для лиц, элементарно скрывающих свое еврейское происхождение. Так, во время гонения на космополитов Гаврюшин защитил и не дал расправиться с главным конструктором завода Шрайбманом, тем самым, который в сорок втором установил свой чертежный стол прямо в сборочном цеху. Правда, тогда страх перед смутным и зыбким вторым «я» все-таки в нем шевельнулся, особенно когда он узнал, что кто-то куда-то на него, Гаврюшина, писал докладные. Но вскоре Гаврюшина вызвали в Москву, разумеется, по делам производства, и как бы между делом сообщили ему, что «клеветник, пытавшийся вас опорочить, привлечен к ответственности». После этого Гаврюшин окончательно стал натурой цельной и искренней даже перед самим собой, то есть человеческая личность его окончательно переродилась. Это был русский человек, русский ответработник, окончательно утративший связь с молодым техником Абрашей Лейбовичем, добровольно ушедшим на фронт в первые же дни войны. Более того, этому, казалось бы, трудно поверить, но Гаврюшин вспоминал об Абраше Лейбовиче как о давнем своем знакомом, то ли погибшем на фронте, то ли вообще сгинувшем где-то. Любовь Николаевна впоследствии свидетельствовала, что о некоем Лейбовиче муж рассказывал ей как-то, когда после долгой разлуки (длительной служебной командировки) «Алеша вернулся и мы, несколько навеселе от вина, лежали обнявшись, и хотелось говорить много, откровенно и притом о всех говорить хорошо... Но поскольку у Алеши вообще

много было друзей евреев (лишнее свидетельство того, что свою русскую натуру Гаврюшин полностью и окончательно не воспринимал как обман), поскольку у Алеши вообще было много друзей евреев, то я его рассказу о Лейбовиче тогда особого значения не придавала».

Конечно же, здесь налицо все-таки патология, но патология, источник которой вне Гаврюшина, и вне Лейбовича, и вне отдельной личности вообще. Налицо социальная патология общественного сознания, исключая из борьбы за самоутверждение человеческую личность и берущая за неделимую единицу этой борьбы крупные и во многом обезличенные этнографические группировки. Причем успешное и свободное развитие личности, как правило, возможно не вне, а лишь внутри этих группировок, в которых внутренние признаки если и существовали, то были все ж подчинены признакам внешним, объединяющим и скрепляющим национально-этнографическую группировку психологически. И, несмотря на очевидную нелепость подобного, ясную не только людям большого, честного ума, но и всякого честного ума, невзирая на многочисленные доктрины, против этой нелепости направленные, и на весьма умело задуманные самоотверженные попытки изменить такой порядок вещей, он не только не менялся, но неизбежно укреплялся и с развитием просвещения укреплялся даже еще более. (Люди критически смелого и беспощадно пессимистического ума утверждают, что разгадка здесь в патологической ущербности человеческой жизни вообще и человеческого сообщества в частности, и как раз наоборот, те честные умы, которые пытаются против такого порядка вещей бороться, есть умы пристрастные, донкихотствующие и надуманные.) Короче говоря, как во всем неясном, здесь существует полемика, которую хоть и можно соотнести, весьма, разумеется, приблизительно, с описываемой трагедией Гаврюшина-Лейбовича, но соотнести лишь потому, что взамен этой философской, оторванной от практической жизни полемики никакого иного, более конкретного объяснения не придумаешь для такого практически убогого и элементарного явления, как убийство вообще, но главным образом убийство нового типа, то есть до человека не существовавшего в практике живых существ: убийство как удовольствие с глубоким унижением жертвы. А особенно, как уж вовсе новейшее, сопровождающее прогресс: убийство униженными того, кто, по их мнению, был удачливее их в жизни и над ними возвышался. Это убийство уже совершенно невозможно без радостного унижения влиятельной еще недавно жертвы. Впрочем, в поработанной России такие радостные

убийства были известны еще со времен первых смут и бунтов...

Едва Гаврюшин услышал из чужих уст публично произнесенную свою подлинную, ныне искренне забытую фамилию, как на него разом нахлынуло, и он потерял опору в себе. Он-то ныне был все-таки Гаврюшин, а при столь крайней ситуации даже и в Гаврюшине, русском человеке, уверенном в себе и потому терпимом к евреям, даже и в Гаврюшине, русском человеке, все-таки Лейбович найти поддержки не мог. В Лейбовиче было нечто более опасное для него, чем в Шрайбмане, и если Шрайбману Алексей Ильич помог в трудную минуту космополитизма, то Лейбовича Алексей Ильич оставил наедине с разъяренной толпой, разболтанной и искалеченной хрущевскими разоблачениями последних лет. Ныне толпа сгрудилась вокруг раненого, вокруг своего, из своей неделимой этнографической группы, к которой принадлежал и Гаврюшин, и кровную обиду они чужому, они Лейбовичу не простят...

Очень возможно, что именно этот полубезумный круг мыслей заметался в воспаленном мозгу Гаврюшина-Лейбовича в последние минуты его жизни, ибо боль в затылке стала настолько сильна, что окончательно спутала его представления о происходящем... Гаврюшиным Лейбович стал, кстати говоря, невольно. Во время тяжелого ранения и контузии он потерял сознание и на время память. В суতোлке фронтовой эвакуации он был записан Гаврюшин по чьим-то документам, а внешние данные его этому вполне соответствовали: серые глаза, короткий нос и прочие расовые признаки. Когда в госпитале его впервые назвали Гаврюшиным, он решил, что ослышался... Но когда его так называли вновь и вновь, он задумался и думал всю ночь. Он любил Россию, любил сало с ржаным хлебом, любил квас, любил рыбалку на рассвете, любил широкие степные русские песни, любил звуки гармоники, любил физическую силу и сам, кстати, был притом человеком не слабым, балующимся гириями. А еврейскую суету, еврейскую неопрятность, каркающий еврейский жаргон — в общем, все то, что отличает народ, живущий чужой, исторически неестественной жизнью и оторванный от земли, он не любил. Помимо всего прочего, был он сирота, воспитывался в детском доме, вне еврейской семьи и в общественном русском духе. Поэтому он решил, поразмыслив ночь, что стать из Лейбовича Гаврюшиным для него если и случайно, то во всяком случае справедливо, и большим обманом по сути, а не по форме, как раз является то, что он Лейбович... Так стал он Гаврюшиным, и с каждым годом Лейбович все более умирал

в нем, пока не умер, как ему показалось, окончательно, так что он даже позволял себе вполне искренне покровительствовать «честным и порядочным людям из евреев, которых пытались затравить те, кто воспринимает факт своего рождения от русского отца и русской матери как награду, а не как величайшую ответственность и обязанность» (так примерно он выразился по поводу действий технолога Харламовой, начавшей в сорок восьмом «копать» под Шрайбмана).

Вот примерно что удалось мне узнать о жизни Гаврюшина-Лейбовича, и вот что привело его, фронтовика, крупного хозяйственника, человека, который неоднократно бывал в Кремле и получал награды из рук правительства, привело его к позорной и унижительной смерти, какой умирают люди слабые. Ибо перед смертью толпа уж над ним потешилась, чуть ли не по-ребячьи подурачилась, как могут дурачиться лишь во время лихих русских погромов... Первоначально после выстрела и ранения рабочего наступил мгновенный всеобщий испуг, сменившийся слепой уличной яростью, так что Гаврюшин-Лейбович вполне мог быть попросту и без унижений растерзан... Но бледный, вскочивший на гусеницу бульдозера, так властно призвал к тишине, что толпа сразу же признала в нем своего лидера-атамана. Он распорядился умело и без ошибок. Раненого тут же перевязали из аптечки в проходной и там усадили под наблюдением двух женщин, а для Гаврюшина-Лейбовича по распоряжению бледного нашли строительную тачку, в которой возят мусор, валяющуюся тут же во дворе. Гаврюшина-Лейбовича плотный спутник бледного и еще один доброволец опрокинули в эту тачку и повезли по кругу. Гаврюшин-Лейбович сидел в тачке действительно смешно, грузно раскорячившись, и толпой постепенно завладела не ярость, соответствующая состоянию испуга, особенно после выстрела, а веселая злоба победителей. Толпа между тем уж совсем разрослась, и в ней было много пьяных, которых кто-то кликнул от ближайшей винной лавки и которые, оттолкнув испуганного Нестеренко, прорвались во двор. Прибежали же они на клич: «Ваську жид застрелил на химзаводе!», хоть конечно же никто не знал этого Ваську либо уж во всяком случае не знал, о каком Ваське идет речь. Повозив некоторое время Гаврюшина-Лейбовича в тачке, толпа начала терять к этому делу интерес, так что смех почти смолк, и поскольку надо было предпринять что-то далее, кто-то из пьяных уже занес обломок кирпича над головой, но тут его снова остановил окрик бледного:

— Значит, так, братцы... Любит еврей наше русское сало и русскую колбаску, ох любит... Так любит, что в магазинах

наших все опустело, все в его брюхо ушло и его Сарочки, а одна лишь хрущевская ветчинка осталась. (Чувствовалось, что бледный подбирает народные слова, старается говорить попроще, напевно и употребляет такие этнографические выражения, как «брюхо».)

При упоминании «хрущевской ветчинки» раздался смех, особенно молодежи, ибо это было выражение из свежего антиправительственного анекдота. А чей-то пожилой степенный голос добавил:

— Это верно... В магазинах хоть шаром покати. Один рис Хрущеву для запора...

— А расценки снижают,— откликнулся другой.

— А ну, покорми его хрущевской ветчинкой,— весело и зло крикнул бледный.

Кто-то из учеников ремесленного училища, молоденький паренек, остролицый и хулиганистый, метнулся и вскоре принес на палочке засохший кусок дерьма.

— Поешь хрущевской ветчинки, жид,— весело сказал он и, наклонившись, протянул дерьмо к губам Гаврюшина-Лейбовича.

Тот находился в полусознании и не вполне понимал, что происходит. Когда к губам его поднесли что-то неприятное, он невольно отодвинул голову назад, и боль в затылке стала нестерпимой. Но этот предмет напирал, и за ним Гаврюшин-Лейбович видел огромное, настойчивое, озорное и беспощадное смеющееся лицо. Далее запрокидывать голову не было уж возможности, ибо единственно, на что направлена ныне была деятельность Гаврюшина-Лейбовича как личности, имеющей за плечами почти двадцать лет руководящей деятельности, так это на борьбу с болью в затылке. Назад откидывать голову никак уж нельзя было, поэтому он принял решение, подобное тому, как принимал когда-то государственно важные хозяйственные решения, принял решение податься головой вперед и наткнулся губами на дерьмо, которое ремесленник ему тут же просунул в глубину, стараясь палочкой разжать зубы.

— Эй,— весело и звонко крикнул ремесленник,— гляди, как жид дерьмо жрет...

И в этот момент из толпы вышел старый рабочий, строга-льщик Кухтин. Этот Кухтин был один из немногих, кто когда-то работал с Гаврюшиным, не в войну, правда, а в первые послевоенные годы. И в злобе и горечи за унижение и предательство своих прошлых лет, которые он усмотрел в поведении Гаврюшина, а особенно когда он узнал, что Гаврюшин этот вовсе не Гаврюшин, а Лейбович, в злобной горечи этой

он оттолкнул ремесленника, так что тот даже упал, а Гаврюшина-Лейбовича взял своей тяжелой рабочей рукой попростому, «за грудки», поднял из тачки и ударил наотмашь кулаком в нос. И словно прорвало плотину, и наступила вторая, завершающая стадия уличной казни. Кто-то схватил кирпич, кто-то поднял железный прут, но Кухтин крикнул властно и басом, гулко, как из котла:

— Ничем не бить, кроме как кулаками... По-русски...

И тут Гаврюшина-Лейбовича начали бить «по-русски», то есть как умеют бить только в России... Изошренные остроумные пытки электрическим током или ледяной водой, возможно, лучше используют за рубежом, но попросту, понастоящему, «от сердца» бить умеют только в России... Первые минуты две, может, в Гаврюшине-Лейбовиче и теплилась жизнь, но, безусловно, остальные семь-восемь минут (как показал на следствии вахтер Нестеренко, били директора не менее десяти минут), остальные семь-восемь минут безусловно били уже труп, поднимая его с земли, куда он вяло и безразлично валился из рук истязателей... Разнузданность толпы выплеснула и на улицу, вступив в схватку с милицейскими патрулями, первоначально слишком малочисленными и действовавшими не оперативно. Параллельно началось на нефтеперерабатывающем, расположенном неподалеку и где недавно крайне урезали расценки. (Часть посторонних выпивох, прорвавшихся по крику: «Ваську жид застрелил» на территорию Химмаша, были с нефтеперерабатывающего.) Запылала первые пожары, было разгромлено несколько магазинов, разграблен винно-водочный склад... Лишь к позднему вечеру поднятым по тревоге воинским частям местного гарнизона удалось восстановить некое подобие порядка... На ночь город затих, затих тревожно и выжидательно.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Когда секретарю обкома Мотылину доложили о случившемся, первой его мыслью было: все... не удержаться... Теперь у них в центре явится возможность расправиться с ним, «сталинским запевалой», как о нем, Мотылине, пустили слухи недруги. Когда же в дополнение доложили, что всему виной действия директора Химмаша Гаврюшина, стрелявшего в толпу из винтовки вахтера, Мотылин не удержался и в сердцах ударил кулаком по столу. Но тут же он опомнился, глянул на докладывающего и по лицу его понял, что тот знает о размолвке Мотылина с Гаврюшиным, хоть разговор

их происходил, казалось бы, наедине, в тайной комнате секретаря обкома, построенной по собственному заказу Мотылина. Знает, сукин сын, и пытается пристрастным докладом обелить себя и неоперативность своего учреждения.

— А вы-то что,— в досаде на свою несдержанность и хлопок кулаком по столу (когда у секретаря обкома шалют нервы, значит, дела его плохи),— а вы-то что, как допустили? Ведь были предупреждения. И с мест сигналы, и шифровка из Москвы о выезде банды подстрекателей... Как фамилия того мерзавца?

— Щусев,— подсказал докладывающий,— но в шифровке указывался другой пункт...

— А эта банда,— перебил Мотылин,— эти подстрекатели?

— Подстрекатели задержаны,— сказал докладывающий,— но это не из организации Щусева.

— А кто же это?— начал опять раздражаться запутанным и витиеватым объяснением Мотылин.

— Личность их пока не установлена... Из (он назвал город, куда у меня была командировка) нами вызван сотрудник для опознания. (Речь шла обо мне.)

— Имеются разрушения?— резко перешел к другой теме Мотылин, давая понять, что все эти внутренние перипетии учреждения, где служил докладывающий, его не интересуют, а занят он основным и крупным.

— Некоторые имеются,— сказал докладывающий.— На нефтеперерабатывающем вспыхнуло два пожара.

— Едем туда.— Мотылин энергично встал.

— Я бы не советовал,— сказал докладывающий.

— То есть?

— Там еще беспокойно... Опасно...

— Я фронтовик,— почти что выкрикнул Мотылин и тут же понял, что этим выкриком он опять сорвался и показал нервы. Докладывающий безусловно заметил его нервозность, у докладывающего по части человеческих слабостей глаз профессиональный.— Может, вызвать внутренние войска?— в некотором замешательстве произнес Мотылин.

— Думаю, что пока преждевременно,— сказал докладывающий.

Да, Мотылин тоже так думал. Это не в его интересах. Вызов внутренних войск будет означать, что события приняли самый крайний и опасный характер, что работой своей он, Мотылин, все довел до развала, а когда возникла конфликтная ситуация, с положением не справился. И пойдешь объясни Хрущеву, что непрерывные перестановки и ломка последних

лет лихорадят область, что в области создано несколько взаимно друг другу не подчиняющихся организаций и, наконец, что сами же они, там, в центре, своими дурацкими разоблачениями Сталина сделали невозможными прежние методы работы, проверенные временем и национальными особенностями русского человека... Пойди объясни... Никто его объяснений слушать не будет... Нет, в таких условиях вызов внутренних войск означает конец карьеры... А ведь он человек способный, он еще многое может сделать... И лета позволяют — сорок семь... Здесь ему не усидеть, это ясно, но пока он все еще надеется на удачный перевод, на поддержку друзей в Москве. После вызова внутренних войск ему надеяться будет не на что...

Пока секретарь обкома, вновь усевшись за стол, думал, докладывающий молча стоял и смотрел на него. Взгляд его был неприятен Мотылину. Человек этот безусловно догадывается, что дни Мотылина сочтены, и ведет себя развязно... Но и ему, пожалуй, не усидеть... На глазах у органов порядка несколько часов подряд беснуется толпа пьяных хулиганов. Произносятся антиправительственные речи. Наверное, есть человеческие жертвы... И чтобы уязвить докладывающего, он спросил:

— Жертвы есть?

— Трое,— сказал докладывающий,— ну, с директором завода Гаврюшиным четверо.

— Как?— вскочил Мотылин.— Гаврюшин?!

— Да,— ответил докладывающий. Он хотел сказать «убит», но, посмотрев на Мотылина, сказал не «убит», а «погиб», решив, что так будет уважительней и более соответствовать состоянию секретаря обкома.

— Так что ж вы мне сразу о том не доложили?..— крикнул Мотылин.— Что ж вы сразу?.. Бог знает о чем вы... Мямлите...

Он уже попросту оскорблял докладывающего, а этого не следовало делать даже и секретарю обкома, если речь идет об учреждении, представителем которого был докладывающий.

— Я считал, в первую очередь надо об общественных делах,— сказал докладывающий и холодно посмотрел на секретаря обкома.

Но Мотылин не обращал уже внимания на этот недобрый взгляд. «Алешка,— думал он.— Вот и нет Алешки... Сколько лет я его знал... Двадцать... Ну, конечно... Нет, девятнадцать. А ведь с него все у меня началось. Сосед по палате в госпитале, фронтовичок. Это он добился, чтобы меня назначили к не-

му на завод парторгом... В сорок втором... Ну и поработали же мы тогда...»

— Где он,— сразу охрипшим голосом спросил Мотылин,— в морге?

— Нет, тело его уже перевезено на квартиру,— ответил докладывающий,— кстати, одна небольшая деталь. Может, она и не к месту сейчас, но все же считаю своим долгом сообщить о показаниях захваченных злоумышленников. Они утверждают, что Гаврюшин был не тем человеком, за кого себя выдавал.

— Что?— удивленно поднял голову Мотылин.— Что вы такое говорите?

— Они утверждают, что его фамилия Лейбович. Лейбович Абрам Исаакович. Я думаю, надо послать запрос.

— Оставьте эту вашу чепуху,— так яростно и с такой свирепой горечью крикнул Мотылин, что докладывающий невольно подтянулся, и многолетний инстинкт, реагирующий на твердость в голосе вышестоящей инстанции, заставил докладывающего даже принять стойку «смирно».— Нашли достоверный источник,— добавил Мотылин уже тише,— эти бандиты умышленно хотят опорочить свою жертву... Можете идти,— сказал Мотылин совсем уж тихо.

Докладывающий ушел. Мотылин некоторое время посидел, чтобы справиться с волнением и не выглядеть бледным перед секретарем. (У него был мужчина секретарь, как у высших центральных инстанций.) Секретарь его, бывший учитель истории, был тем не менее прирожденным и талантливым исполнителем. Он весьма оперативно доложил, что машина подана, но при этом добавил, что подана она с заднего подъезда. Мотылин спустился небольшим лифтом и вышел на улицу. Наверное, от пережитого волнения ему стало зябко, и он пожалел, что не надел кожаного пальто. У машины помимо шофера было еще двое в прорезиненных синих плащах китайского типа. Мотылин сразу же понял, откуда они, но ничего не сказал. Это был первый случай за время его работы на посту секретаря обкома, когда он ехал с охраной. Обычно он садился рядом с шофером, но один из охраны сказал:

— Садитесь сзади, товарищ секретарь.

И Мотылин подчинился. Рядом с шофером сел охранник, который порекомендовал Мотылину место сзади. А вслед за Мотылиным полез второй широколицый, похоже нацмен, казах или татарин. Оба помимо синих плащей носили одинаковые фетровые шляпы. «Хотя бы головные уборы сменили,— досадливо подумал Мотылин,— одеваются, как близнецы».

Город был пустынен. Кое-где попадались выбитые витрины магазинов, мелькали милицейские патрули, а на перекрестках стояли военные газики и бронетранспортеры. Промчалось несколько пожарных машин, видно, на нефтеперерабатывающий. «Однако, как далеко зашло,— подумал Мотылин,— не удержаться мне, загремел я. Ладно, уйду на пенсию. А Алешка?.. Ах, Алешка, Алешка... Ему уже пенсия не нужна. Но единственно, что я обязан сделать, пока еще у власти, это позаботиться о семье Гаврюшина. Подать соответствующие документы по поводу персональной пенсии...»

В большой пятикомнатной (на троих) квартире Гаврюшина остро пахло лекарствами, так что Мотылин первоначально даже подумал: «Сведения о смерти Алешки неверны. Раз лекарства, значит, его лечат». Но, глянув на Любовь Николаевну, понял, что лекарства нужны были не Алешке, а ей. Алешке ничего уж более не надо было.

— Где он? — спросил Мотылин у Нины, дочери, ибо понял, что в данный момент она была здесь старшей, мать же ее, Любовь Николаевна, сидела на диване совершенно отрешенная и без слез. (В то время как Нина плакала.)

— В спальне,— сказала плача Нина и пошла вслед за Мотылиным в спальню.

Гаврюшин всегда был крупным мужчиной, а последнее время он вовсе пополнил и раздался. Однако то, что лежало укрытое медицинской клеенкой на кровати, вообще имело нечеловеческие размеры. Решившись, Мотылин приподнял край клеенки. Гаврюшина он не узнал. Дело не в том, что смерть, особенно насильственная смерть меняет черты человека. Он это понимал и видел немало мертвецов на фронте, черты которых отличались от внешнего вида этих людей, пока они были живы. Но в данном случае никакого отличия от живого Гаврюшина не было, ибо это попросту не был Гаврюшин. Даже мелькнула мысль: а не подменили ли его? И тут же вторая, еще более нелепая и быстрая: вот, может, откуда слухи о Лейбовиче... Мотылин тут же тряхнул головой, отгоняя эту чепуху, тем более когда первый зрительный шок после жуткого вида человека, замученного насмерть, прошел, Мотылин начал в нем все-таки различать какие-то знакомые черты Гаврюшина. Нос Алексея Ильича был сломан ударом и достаточно неумело вправлен на место, но лоб, хоть весь в синих кровоподтеках, был гаврюшинский. Вообще вся голова Гаврюшина, его шея и лицо налились изнутри, из-под кожи, черно-синим цветом, один глаз, очевидно, вытек и был закрыт марлевым пластырем, второй же покрыт был сплошной багровой опухолью.

Мне случайно удалось ознакомиться в общих чертах и было, разумеется, с протоколом следственного осмотра трупа. (В управлении, куда я был привезен, царил беспорядок, вызванный происходящими событиями, и многие бумаги лежали как бы оставленные впопыхах.) Следственный осмотр этот крайне отличался от судебно-медицинского. (Я позднее должен был выступить свидетелем на суде по делу обвиняемых, с которыми ранее встречался.) В частности, в следственном протоколе указывалось, что пострадавший, возможно еще при жизни, подвергался осквернению и губы его измазаны были нечистотами, в судебно-медицинском это было опущено. Форма, размер, расположение пятен крови, направление потоков и брызг были механически перенесены из следственного протокола наружного осмотра в судебно-медицинский, но причина смерти указывалась разная. (На эту-то неувязку и обратил внимание адвокат главного злоумышленника.) У меня сложилось впечатление, что судебно-медицинский осмотр, проведенный в более спокойной обстановке, был направлен к тому, чтоб снять элемент массовости и народности в убийстве директора завода Гаврюшина и приписать это кучке злоумышленников, прибывших ко всему еще со стороны. Так, о причине смерти в судебно-медицинском протоколе указывалось как о целенаправленной и четкой: удар тяжелым предметом в затылок. В то время как в следственном осмотре говорилось, что смерть наступила от множества ударов, скорей всего кулаками, и ни один из этих ударов не носил решающего и акцентирующего характера, а к смерти пострадавшего привело их количество и продолжительность времени избиения...

Но все эти пертурбации и подчистки произошли позднее, и, наверно, не без ведома Мотылина. (Алешке-то безразлично, как он был убит, а всякая возможность уменьшить масштабы мятежа полезна, наверно, подумал Мотылин, когда узнал о подчистках.) Но это было, повторяю, уже позднее. Тогда же Мотылин, совершенно подавленный увиденным, не обладал способностью в данный момент не то что соблюдать свой интерес, но даже и не понимал, что именно он должен сейчас делать далее и что сказать жене и дочери покойного. Он вышел из спальни в столовую, где Любовь Николаевна по-прежнему сидела, отвердевшая вся от горя. (Одни люди от горя твердеют, как бы каменеют, другие же, наоборот, расплываются, становятся вялыми и лежат пластом.)

— Игнатий Андреевич,— сказала вдруг Любовь Николаевна совершенно свежим голосом, оттого и пугающим

и вступающим в контраст с ее застывшим видом,— Игнатий Андреевич, знаете какую мерзость говорят об Алеше?.. Будто он скрывал свое подлинное имя, фамилию и национальность...

И оттого, что эта окаменевшая от горя женщина, любившая Гаврюшина, и прожившая с ним восемнадцать лет, и родившая ему дочь, нашла возможным сейчас упомянуть о неких фактах, доставленных ей в виде слухов вместе с трупом мужа, заставило Мотылина задуматься в совершенно ином направлении, а именно, он вспомнил о докладывающем и подумал, что, может, это и путь и, как ни странно, отгадка многого, что сейчас происходило. Тем не менее он сказал Любове Николаевне в утешение какие-то мимолетно найденные слова, которые, кстати говоря, совершенно не ответили на ее вопрос, и, торопливо попрощавшись, вышел гораздо более деловой походкой, чем следовало выходить из дома, где лежит покойник, а тем более старый друг и товарищ по совместной работе.

— В КГБ,— сказал он шоферу.

К тому времени я также был уже там, привезенный на армейском газике из городишка по другую сторону реки, куда, собственно, и была у меня командировка.

Но здесь следует вернуться назад от событий, с которыми я позднее ознакомился по рассказам и документам, к событиям, в которых я принимал участие непосредственно. Шофер грузовика, который взял нас с Машей в кабину (разумеется, из мужской симпатии к Маше), спросил нас, когда мы въехали в город:

— Вам куда?

— К вокзалу,— ответил я, рассчитывая оставить там временно Машу, ибо мне надо было явиться в райуправление, чего я в присутствии Маши, разумеется, сделать не мог. Вообще вся эта поездка Маши со мной казалась мне и дикой, и нелепой, и опасной. Я простить себе не мог, что из-за мужского своего эгоизма (чтобы не сказать мужской похоти) я втравил Машу в это дело, и она, наивная и женственная, оказалась здесь, среди дикого российского мятежа, с балетным чемоданчиком, набитым прокламациями, в которых взбунтовавшиеся, лихую, поработанную долгие годы лесостепную страсть призывали по сути к самокастрации, к смирению, демократии и любви... Да плюс еще Маша явилась с желанием отыскать в этом опасном водовороте своего окончательно очумевшего в оппозиционных стремлениях брата Колю. Колю, плюнувшего мне в лицо как «сталинскому провокатору и предателю». Колю, встреча с которым в данной обстановке не сулит мне ничего хорошего. Правда, выезжая, я вряд ли

догадывался, что все примет такой оборот. Об этом никто не догадывался, даже и власти с их могучим аппаратом правопорядка, и это единственное, что меня оправдывало.

Пустынная площадь перед вокзалом сама по себе уже производила опасное и напряженное впечатление.

— Попрятались,— сказал шофер.— Ничего, все правильно. Народ терпит, терпит, а потом раз— и в глаз,— он засмеялся и уехал.

Мы прошли в провинциальный зал ожидания, уставленный жесткими железнодорожными скамьями. Здесь также было пусто, лишь уборщица подметала, макая веник в ведро. Это была не толстая, а как бы оплывшая женщина, почти уже старуха, по крайней мере за шестьдесят, но грубые крестьянские серьги из меди у нее в ушах говорили, что женское в ней еще не совсем погасло, то есть нечто подобное толстухе из вагона. (Кстати говоря, тип этот весьма распространен.) Но если в толстухе это женское жестко, жадно и зло проглядывало, то здесь оно было не требовательно, а тихо и покорно.

— Ой, деточки, откуда ж это вы,— сказала она, увидев нас, сказала дружелюбно и певуче.

Этот ее вопрос, заданный таким приятным тоном, подсказал мне решение, которое в нашей ситуации было попросту находкой.

— Тетенька,— сказал я (я хотел сказать «бабушка», но, сориентировавшись, сказал «тетенька»),— тетенька, нельзя ли, чтоб моя жена (при этом я глянул на Машу, давая ей понять, что так надо),— чтоб жена моя здесь пересидела. У меня в городе дела. Я через час возвращусь.

— Пусть, пусть сидит,— сказала уборщица.— А хочет, я ее к себе приведу. У нас сейчас бандитизм. Ой, откуда он взялся, этот бандитизм? Пойдемте, ребяточки, пойдемте.

Она оставила веник в ведре, вытерла руки о подол передника и вышла на улицу. Мы пошли за ней, чуть поотстав, ибо нам надо было поговорить.

— Ждите моего возвращения,— сказал я Маше.— Надо выяснить что и как.

— Вот возьмите,— сухо сказала Маша (она по-прежнему была не мягка со мной),— возьмите и лучше всего наклеивайте там, где увидите какую-нибудь антисемитскую мерзость... Знаете, пишут пакости на стенах и на заборах.— Маша раскрыла на ходу чемоданчик и протянула мне пачку прокламаций, которые я спрятал под пиджак.— А это тюбик с клеем,— сказала она, протягивая мне небольшой тюбик. Но позвольте,— остановилась она вдруг,— а как же Коля?... Вас он ненавидит, и, наверное, не без оснований, хотя многого не

знает. Правильно ли я делаю, что остаюсь здесь, ведь только я могу на него повлиять...

Нет, в Маше все-таки было что-то семейное, что-то нездоровое, что-то от журналиста. Навязчивые сомнения и контрастные желания.

— Вы ведь знаете,— еле сдерживая растущее где-то раздражение, сказал я,— что так, как я предлагаю, правильно...

— Вот в том-то и дело, что вы предлагаете,— перебила Маша,— вы ведь человек себе на уме.

Я понял, что веду себя неверно. Надо идти на попятный и действовать в кругу Машиных привязанностей, не думая о личном самолюбии.

— Вы ведь знаете, Маша,— сказал я, как бы продолжая предыдущую мысль, а в действительности полностью ее видоизменяя,— вы ведь знаете, что появление молоденькой девушки в чужом городе, особенно в такое время, как ныне, привлечет внимание. Это не конспиративно. А если я замечу Колю, то обязательно постараюсь вас известить.

Мое объяснение на сей раз удовлетворило Машу.

— Хорошо,— коротко сказала она,— я жду.

— Этой старухе надо бы заплатить,— сказал я.— Может, она вас покормит.

— Я расплачусь с ней,— ответила Маша поспешно, будто испугавшись, что заплачу я и она будет мне за то обязана.

Жилище старухи (жила она в зеленом дворике неподалеку от станции) вполне удовлетворило меня. Это была обычная обитель одинокой, бедной и постаревшей женщины, где все предметы не снимались и не сдвигались со своих мест уже долгие годы, на стенах висели стандартные и необходимые в таких случаях для полноты впечатления фотографии из незнакомой, прошедшей уже жизни и открытки — также из прошедших времен. Дух кладбища начинает сопровождать стареющую жизнь, особенно одинокую, достаточно рано, и домашние предметы вокруг нее, приобретая неподвижность, несменяемость и постоянство, гораздо раньше подсказывают постороннему свежему взгляду, чем самому человеку, что свою жизнь ныне он должен ощущать как прощание. По всей вероятности, на таком переломе находилась и старуха уборщица, пригласившая нас к себе. Такие люди всегда живо и с интересом реагируют на страсть. (А между мной и Машей эта страсть была в самом расцвете, не в том смысле, что Маша меня любила, а в том, что между нами существовал напор и борьба.) В зависимости от обстоятельств угасающая женщина всегда может либо злобствовать, либо поступать по доброму (как в данном случае), но никогда она равнодушно

не минует такую предельно выраженную картину взаимоотношений и противоборства мужчины и женщины, какую представляли мы с Машей. Поэтому, как я понял, быстрое приглашение нас, людей незнакомых, к себе было со стороны старухи действием закономерным. Я хотел спросить у старухи, где находится райотдел милиции, но в последний момент опомнился, ибо старуха могла передать мой вопрос Маше, а та бы меня заподозрила. (Выкрикам Коли насчет моего доносительства и службы в КГБ она, пожалуй, не верила, считая, что Коля, честный, но с фантазией мальчик, ненавидит меня из каких-то чисто нравственных соображений, которым он хочет придать по своему обыкновению политический смысл.)

Незнакомый городок, куда я вышел, был пустынен, лишь кое-где торопливо мелькали прохожие. Все свидетельствовало о бурных уличных событиях, притихших, но далеко еще не окончившихся. На бульваре (кстати, город был весьма зелен и красив), на бульваре я увидел обрывки бумаги, приклеенные к дереву, похоже, соскобленная прокламация. И действительно, несколько далее я увидел прикрепленную к другому дереву прокламацию, которую впопыхах, очевидно, пропустил милицейский патруль, либо наклеенную уже после того, как патруль миновал это место. На прокламации изображался, причем весьма похоже, Хрущев, изо рта которого торчал тоже неплохо нарисованный початок кукурузы. Увидав прокламацию, я вспомнил и о своих, общества имени Троицкого. Надо было избавиться от них, но на бульваре этого не сделаешь, и потому я свернул в промежуток между домами. (Все дома казались вымершими, лишь кое-где на мои шаги выглянули и сразу отпрянули от стекла люди.) По счастью, я быстро нашел дворовый туалет и, разорвав прокламации, бросил их туда. Туда бросил я также и тюбик с клеем. Пройдя двором, я наткнулся на разбитый и кое-как прибранный продовольственный магазин. У обочины лежали груды витринного стекла и смешанные с пылью горсти риса (ненавистного риса, которым хотели заменить русскому человеку хлеб и сало). Послышался треск мотоцикла, и показался милицейский патруль. Теперь, когда я избавился от прокламаций, это был лучший способ достигнуть искомой цели. И действительно, едва я шагнул им навстречу, как они схватили меня, крепко и больно держа за руки. Я даже ничего не успел сказать, и они мне ничего не сказали и не потребовали документов. Просто, увидав на пустынной улице молодого нездешнего парня, схватили и повезли. Видно, они здорово были напуганы уличными выступлениями и предупреждены

о прибытии подстрекателей извне. Меня ввели в дежурную часть, полную мятым, битым, непротрезвевшим еще и озлобленным народом, главным образом мужчинами, хоть было и две-три женщины, еще более жуткого, чем мужчины, вида, с размытыми пьянством и злобой лицами и обвисшими грудями потомственных пролетарок, измученных нуждой и беспорядком собственной жизни.

— Вот держи еще одного,— сказал милиционер дежурному, из чего я понял, что, кроме меня, задержан еще кое-кто и меня принимают за члена той группы.

Мне стало тревожно, и я пожалел уже, что выбрал такой путь в милицию, особенно учитывая нынешнюю неразбериху.

— Мне надо к начальнику,— сказал я дежурному, но тут несколько прокламаций, каким-то образом завалившихся в складках одежды и не уничтоженных, упало к моим ногам.

Дежурный цепко схватил прокламации, как охотник добычу, глянул и сказал сержанту:

— В особую... К тем...

Сержант схватил меня и повел вниз, в подвал, применяя насилие, ибо я пытался ему втолковать причину моего появления.

— Поймите,— говорил я,— я направлен, у меня командировка... Освободите руку, я покажу командировку... Мне к начальнику... Я из Москвы...

— Молчи, сволочь,— ответил сержант,— я тебе покажу командировку,— и, ведя меня одной рукой, второй ударил по шее.

— Вы понесете ответственность,— крикнул я, но дверь камеры уже закрипела, меня втолкнули внутрь и заперли.

И вот тут-то я обмер и словно бы застыл в оцепенении. В противоположном конце камеры стояли и смотрели на меня Щусев, Сережа Чаколинский, Вова Шеховцев, связной Павел и еще какой-то болезненно изнеможенный человек, которого я не знал. Был среди них и Коля, но Коля не стоял в общей группе, а сидел в стороне, совершенно подавленный и в полной депрессии. Именно Коля, которого, собственно, мы с Машей (особенно Маша, а я, чтоб угодить ей) и разыскивали, Коля на мгновение отвлек мое внимание, и это мгновение могло стоить мне жизни, ибо Щусев, Павел и тот бледный явно в таких делах были люди опытные, действовали мгновенно и им не впервой была тюремная лагерная расправа над доносителем. Надо было броситься к дверям сразу же и крикнуть, может, на того дубину-сержанта мой искренний крик и повлиял бы, но я отвлечен был Колей и упустил

момент, когда же сообразил, то рот мой уже плотно зажат был чужой костлявой ладонью, я был поднят в воздух, кто-то цепко схватил мои ноги, умело завернуты были назад мои локти, и в горло мне вцепилась чужая безжалостная сила. Состояние это описать трудно. Помрачение сознания наступает не сразу, и боль чувствуешь почти до конца, причем первоначально она сосредоточена в местах соприкосновения твоего горла с чужими пальцами, и в пальцах этих, сжимающихся неуклонно, не то чтобы ненависть, а безразличие и глухота к тому, что в тебе и с тобой происходит. Потом больно становится главным образом ушам и глазам. Все это, разумеется, длится мгновения, но микроэтапы удушья в этих мгновениях четко разграничены и вполне уловимы. Схваченный ловко и умело, я совершенно не боролся за жизнь, находясь в оцепенении от внезапности, дикости и непредвиденности всего, что произошло. (Хотя предвидеть такой вариант нетрудно было, и я его даже предвидел, но чересчур общо и чересчур не веря в возможность такового, тем более что происходить это будет в милицейской камере, куда меня заперли из-за царящей неразберихи и своей собственной глупости с прокламациями.) Так вот, тот момент, когда я совершенно не боролся за жизнь, может, и спас меня, ибо сопротивление жертвы возбуждает чувства убийц, и я был бы задушен быстрее и энергичней. Мое же оцепенение и моя вялость невольно передались моим убийцам, и они действовали на последнем этапе, то есть непосредственного удушения, менее четко. К тому же все они были пьяны, откуда можно заключить, что схвачены недавно, за какие-нибудь полчаса до меня. Может, кто-то из них скрылся, и патруль не просто объезжал участок, а искал его, и потому, увидав меня, сразу же принял за того, скрывающегося. (Так оно и подтвердилось потом.) Ко всему еще Сережа Чаколинский и Вова Шеховцев пьяно путались вокруг меня и мешали опытным душителям-лагерникам... Вот это промедление дало возможность Коле, сидевшему в оцепенении и с диким видом, вскочить и, визгливо, по-больному закричав, броситься к двери камеры и заколотить в нее кулаками. Колю сразу же схватил сам Щусев, запрокинув ему голову назад, чтоб погасить крик и удары в дверь. Но, во-первых, тем самым он ослабил тех, кто меня душил (Щусев держал меня за ноги, а душил непосредственно Павел), а во-вторых, было уже поздно, и несколько милиционеров, сбжавшихся на крик, оторвали меня от душителей, выволокли нас с Колей в коридор, и единственно, что я заметил краем глаза и запомнил, это то, как здоровяк-сержант сильно ударил Щусева сапогом в живот. Заметил и запомнил это, кажется, и Коля,

хоть он и находился по-прежнему в диком, чуть ли не в бредовом состоянии, ибо после того вдруг вцепился себе в лицо ладонями. (Не закрыл лицо ладонями, а именно вцепился.) Ноги мои меня не слушали, и меня вели под руки. Правда, это быстро прошло, едва отсидевшись и отдышавшись на диване у начальника, я почувствовал себя лучше, хоть у меня сильно болели шея, глаза и уши.

— Что ж вы лезете под руки патрулю? — закричал на меня начальник, когда все обо мне выяснилось и он ознакомился с командировочным удостоверением. — Лезете, когда такое творится. Нянька вам нужна. По-человечески явиться не можете, отвечай потом за вас. Что ж вы дежурному не объяснили? И какие-то прокламации с вами...

— Дежурный не слушал меня, — сказал я, — а о прокламациях я сейчас объясню.

— Ладно, — прервал меня начальник, видно поняв, что и они нахомутали и напутали. — Как себя чувствуете? — спросил он уже мягче. — Может, вызвать дежурного врача?

— Шея немного болит, — сказал я, — а так нормально.

— Значит, Щусев со своей бандой? — спросил начальник. — Ах, сволочь...

— Да, — ответил я, — это Щусев.

— Напишите поименно опознание... Каждого поименно и все возможные сведения... А это что за мальчишка? — спросил он, указав на скорчившегося в углу дивана бледного Колю.

Единственным осмысленным в его облике была ненависть ко мне. Я сказал, кто это и из какой семьи, причем, говоря, я старался не видеть полного ненависти взгляда Коли.

— Ах да, — сказал начальник, выдвинув ящик и заглядывая в какие-то бумаги, — меня о нем предупредили... Никитенко, — окликнул он сержанта, — мальчишку отведешь в детскую комнату, запри его там... А вы, — повернулся начальник ко мне, — зайдите к уполномоченному КГБ. Второй этаж, пятнадцатый кабинет.

Уполномоченный, молодой капитан, стриженный по моде и с перстнем на пальце, глянул мой паспорт, сверил со своими записями, которые он достал из сейфа, и сказал мне по-дружески, на «ты»:

— Поедешь сейчас в область на опознание. Там двух преступников схватили. Гаврюшин, директор химзавода, убит. Похоже, дело их рук. И толпу провокациями будоражили.

— Но ведь я могу их и не знать, — сказал я, думая о том, что Маша осталась одна с чужой старухой. И о Коле ей надо

бы сообщить.— Мне здесь надо работать, по опознанию группы Щусева... Сведения писать...

— Это потерпит,— сказал капитан,— личность тех надо бы побыстрей установить, чтоб за ниточку ухватиться, понимаешь? Не узнаешь, что делать, а вдруг узнаешь? Здорово можешь. Ну, будь здоров,— и он пожал мне руку.— Газик во дворе стоит,— крикнул он мне вслед.

Во дворе несколько милиционеров осматривали винтовки, видно, недавно им выданные. Но газик был не милицкий, а военный, армейский... Солдат с летными голубыми погонами сидел за рулем. (Отсюда можно понять, что властями использовалось все, что было под рукой.) Когда я уселся, подошел второй солдат с автоматом и полез вслед за мной.

— В областное управление? — спросил шофер. (Видно, он делал туда уже не первый рейс.)

— Да,— ответил я, осторожно массируя с каждой минутой все сильнее болевшую шею. (Боль в ушах и глазах, наоборот, почти утихла.)

Мы поехали...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Если в провинциальном городке все выглядело как после пьяного хулиганского разгула, то есть лихо, расхлябанно и не совсем серьезно, то здесь, в индустриальном центре, все было суще, проще и опаснее. Мелькнуло несколько пожарищ, одно из которых еще дымилось, но, в отличие от веселых, многолюдных, мирных российских пожаров, вокруг была тишина и казенная четкость пожарных роб и военных мундиров. Что творилось в городе, понять было не трудно даже и человеку свежему. (В крайних революционно-мятежных ситуациях первое впечатление свежего и наблюдательного человека бывает наиболее точно.) На одной из широких улиц с трамвайной колеей посредине (трамваи, конечно, не ходили) мы увидели передвигающуюся бегом большую группу людей, похоже, рабочих. (Толпой назвать их было нельзя, ибо они по всем признакам были организованны.) Очевидно, от людей этих исходила серьезная опасность, ибо солдат-шофер, едва заметив их, сразу же вильнул в переулок и погнал в сторону на бешеной скорости. В другом месте мы заметили курсантов училища в касках и с автоматами, идущих вдоль стен домов цепочкой.

Областное управление КГБ было оцеплено патрулями, которые тщательно нас проверили. (При всей, казалось бы, тщательности власти допускали огромное число ошибок

и путаницы, о чем уже говорилось и о чем будет сказано и далее. Впрочем, ошибки и путаница неизбежны в российском бунте, который всегда полон творческой импровизации, особенно при отсутствии общего организационного центра.) Меня повели коридором и ввели в небольшую комнату с зарешеченным окном и шторами, так что здесь и днем горел свет. В комнате за столом сидел молодой человек в штатском, видно, следователь, а у окна стоял пожилой подполковник. (Он-то и докладывал секретарю обкома Мотылину о бунте и о смерти Гаврюшина.) Посреди комнаты на табуретах сидели двое в наручниках. Один из них был бледен, с горящими злобной страстью голубыми глазами и волосами, прилипшими к его влажному от лихорадочной испарины лбу. Второй, плотный, был угрюм и выглядел безразлично-застывшим. Поздоровавшись со мной и глянув на удостоверение, следователь сказал:

— Знаете ли вы этих людей?

— Да,— ответил я, указав на бледного:— Это Орлов.

Как я и предполагал, Орлов тут же попытался мне плюнуть в лицо. Этот прием темпераментных и откровенных борцов теперь мною был усвоен, поэтому, сказав, я сделал шаг назад и бросок Орлова не достиг цели, тем более что Орлова тут же схватил сзади охранник и усадил силой опять на табуретку, а поскольку Орлов в истерическом порыве ненависти ко мне напрягся, чтоб встать, охранник придавил его плечи ладонью. Должен сказать, что и Орлов сильно изменился с тех пор, как я его видел, причем не только с момента, когда я случайно, благодаря антисемиту-самоубийце Илиодору, попал с ним в одну компанию, но и с тех пор, как мы, то есть антисталинская организация Щусева, вели с ним борьбу вокруг цветов, которые люди Орлова клали к подножию памятника Сталину. Если ранее в нем было много несформировавшегося и было даже что-то от протестующего в духе времени студента-зубоскала, то ныне в нем проступило воспаление профессионала, готового на любые крайности, и в пафосе его явилась не студенческая ирония, а искренность убеждений.

— Так я и знал,— сказал с горечью Орлов,— что жидовская лавочка Щусева—это сборище доносителей,—и он в бессилии, что не может плюнуть в меня, плюнул себе под ноги на пол.

В это время в коридоре произошло движение, кто-то пробежал и ворвался, видимо, чтоб предупредить о начальстве, но предупредить не успел, ибо Мотылин энергично вошел сам ранее, чем о нем успели сообщить.

— Личность одного из задержанных установлена, това-

рищ Мотылин,—поспешно сказал подполковник,—это Орлов... А тот второй? — обернулся ко мне подполковник.

— Этого я не знаю,—сказал я. (Я его действительно не знал, видно, из новых.)

— Орлов? — переспросил Мотылин.— Не сын ли это...

— Нет, не сын, не сын,—перебил нервно Орлов,— не сын я ему, ибо мы с ним люди разных национальностей.

— То есть? — удивленно переспросил Мотылин.— В каком смысле?

— А в том смысле, что я по национальности русский,—ответил Орлов, выпятив грудь и напрягшись, так что охраннику пришлось применить усилие, чтоб его удержать.

— Ну, поскольку мне известно, ваш отец из потомственных... из крестьян,—сказал Мотылин,—член партии с двадцатых годов... Я слышал, что у него нелады с сыном... Это, значит, вы?

— Не может быть русским человек, который предает Россию жидам,—сказал Орлов и снова попытался встать.

Охранник опять удержал его, а следователь в штатском заметил резко:

— Вы на допросе, Орлов, и отвечайте на то, что вас спрашивают. Ваша бандитская агитация здесь никого не интересует.

— А я и отвечаю,—умехнувшись, ответил Орлов, видно довольный, что уязвил следователя. (Орлов действительно хоть и по-своему, но ответил на конкретно поставленный вопрос.)

— Вот что, Орлов,—сказал подполковник,—подумайте о своей судьбе и ведите себя прилично.

— Как русского,—ответил Орлов,—меня прежде всего волнует судьба России. И мне безразлично, что обо мне думают здесь, в вашем жидовском КГБ. Переняли традиции от жидовского ЧК.

После этих слов следователь в штатском, перегнувшись через стол, ударил Орлова по лицу. Я видел, что Мотылин, который к подобному не привык, отвернулся и поморщился.

— Ну вот,—сказал Орлов, сплевывая кровью себе под ноги,—это другое дело. С этого и начинали бы.

— Орлов,—сказал подполковник,—вы будете отвечать на вопросы следствия? Учтите, что каждое ваше слово и действие протоколируется.

— Отвечать на вопросы более не буду,—сказал жестко и твердо Орлов,—а высказать кое-что могу, раз уж протоколируется. Только пусть он меня отпустит. У меня мысли пу-

таются от физического насилия. Да и не могу я говорить сидя такие слова... Это слова от сердца... От русского сердца...

— Пустите его,— сказал подполковник охраннику.

Тот отошел, и Орлов встал, пошевелил схваченными наручниками кистями.

— Главная опасность еврейства для России,— убежденно сказал Орлов,— не в его ненависти к России, а наоборот, в его к ней любви. Вот чего не понимает этот подлец Щусев... Да и другие всякого рода стоящие у власти партийные подлецы, такие, как мой отец, коммунисты... Те евреи, которые ненавидят Россию, менее для нее опасны, чем те, которые ее любят. Ассимиляторские тенденции этой части еврейства, его умение проникнуть не только внутрь русского общества, но и подчас внутрь русского характера, покорить его и видоизменить его суть, как рак меняет суть живой клетки. Их способность любить наши поля, леса, березки, грибные места, бруснику... наших женщин, наши, наконец, традиции... Отлучение этой части еврейства от русской национальной жизни — вот где наша главная национальная обязанность. Обязанность русского патриота. Это я понял не сразу и не очень давно, и только после подобного понимания я по-настоящему ощутил суть великого национального движения, начатого Сталиным в конце сороковых годов. Поэтому март 53-го года всякий честный русский патриот должен считать трагической катастрофой для России. Такие же, как Щусев, замкнулись в эгоизме и слепоте собственных обид. И вся их борьба, их антисталинская ненависть фактически не противоречит желанию еврейства, а наоборот, на руку ему, потому что евреи всегда ненавидели любую твердую русскую власть. Все, что хоть отдаленно несет в себе русскую идею твердой власти, русской власти, ненавидится еврейством... Оттого они и стараются пролезть в самую основу этой власти, точить ее изнутри... Еврейство в ЧК — это особая тема... Сколько они расстреляли русских людей, сколько русских аристократок изнасиловали в тюремных камерах...

— Я думаю, хватит нам выслушивать этот маниакальный бред,— сказал следователь в штатском, мельком глянув на подполковника и переведя взгляд на Орлова,— говорите по существу... Кем вы были посланы, какие ставили задачи, какие связи?..

— Мне кажется,— перебил подполковник,— что ничего путного сейчас мы от него не добьемся. Но мы умеем ждать, Орлов. Вы успокойтесь и трезво подумайте о своем положении. Идите...

Орлова и его неопознанного спутника увели.

— Пришлите потом ко мне,— сказал подполковник следователю в штатском и, обернувшись к Мотылину, добавил:

— Дело идет на лад. Кое в каких районах, конечно, еще хаос, но в общем обошлись без вызова внутренних войск. К вечеру, думаю, все утихнет.

— Доложите мне вечером обстановку,— сказал Мотылин.— Я буду в горисполкоме на чрезвычайном заседании.

— Слушаюсь,— по-военному ответил подполковник.

Мотылин вышел. Подполковник, подождав минутую, мне кажется, чтоб не выходить вместе с Мотылиным, тоже вышел. Я остался в комнате для допросов один со следователем в штатском. Тот сидел, устало закрыв лицо руками, и во всем его облике было нечто подавленное и печальное. Наконец он поднял голову и посмотрел на меня, словно отрешившись и стряхнув некие свои внутренние мысли.

— Вы, наверно, голодны,— сказал он мне.— Вас надо накормить и устроить.

— А когда назад?— спросил я.

— Назад?— удивился следователь.— Отдохните здесь. У нас лучшие условия, чем в районе.

Я не мог сказать ему, что там меня ждет оставленная с чужим человеком Маша, и потому я сказал:

— У меня командировка туда.

— Это мы уладим,— сказал следователь.— Кстати, мне сообщили, что вас там едва не задушили в камере... Вас что, подсаживали?

— Нет, случайно в неразберихе меня задержали и поместили туда,— ответил я,— в камеру к Щусеву.

— Ну и ну,— вздохнул следователь и глянул, словно ища во мне союзника:— Полный беспорядок.

Следователь этот был человек молодой, примерно моих лет, но я не знал, то ли он личность внутренне оппозиционная, то ли испытывает меня. Поэтому, отведя глаза и глядя вниз, на пол, не отвечая, я взял записку коменданту общежития и вышел.

Общежитие помещалось тут же, во дворе управления, и было почти пустым. (Все сотрудники находились на осадном положении с тех пор, как вчера подняты были по боевой тревоге.) В столовой при общежитии тоже было пусто, и я почти в одиночестве съел хоть и непритязательный, но калорийный и добротнo приготовленный обед. (Борщ с салом, две большие котлеты с кашей и деревянную кружку вкусного изюмного кваса.) Кроме меня, в столовой был один лишь какой-то майор, да и тот не обедал, а пил пиво. После обеда ко-

мендант направил меня в чистую двухкоечную комнату, недоступную мечту мою в бытность гонимым жильцом Жилстроя. Ах, как это было давно и как будто не со мной, или со мной, но в иной, потусторонней жизни, за пределами яви, во сне... Сон навалился на меня и сейчас, едва я коснулся пахнувшей свежей стиркой наволочки и утонул в мягкой подушке. Что-то мне снилось, но что, не могу вспомнить. Спал я долго и прочно, то есть сразу отрешившись от всего нынешнего, не просыпаясь и, пожалуй, не ворочаясь, ибо мне кажется, что проснулся в той же позе, что и лег. Проснулся я перед рассветом. (Значит, спал остаток дня и всю ночь). Первоначально мне показалось, что проснулся я от боли в шее. Действительно, там, где меня душили вчера за шею, болело, может, от неудачной позы во сне, затронувшей опять помятые чужими пальцами мышцы... Я сел на койке, массируя больные места, и едва окончательно избавился от сна, как понял, что разбудила меня не боль в шее, во всяком случае, не только боль в шее... На улице стреляли...

Теперь вновь надо отвлечься от прямых моих впечатлений и коснуться того, что тогда мне было неизвестно. (Впоследствии я участвовал в составлении общего отчета о событиях, в котором помимо меня участвовало множество людей, и потому мне удалось кое-что разузнать об общей картине.)

Вечером состоялось чрезвычайное заседание исполкома, на котором обсуждался размер причиненного мятежом ущерба и меры по восстановлению в городе нормальной жизни, причем принятые, главным образом, самостоятельно и, что особенно важно, без вмешательства центра. Кстати, разговаривая по прямому проводу, по вертушке, Мотылин убедился, что в центре хоть и встревожены, но не представляют себе истинных масштабов происходящих событий, то есть истинные масштабы удалось утопить в общем потоке конкретных цифр и сообщений. Это был стиль Мотылина: никаких общих мест, и благодаря этому стилю ему весьма часто удавалось конкретными частными фактами затушевать общую картину. Кажется, это удалось и сейчас, отчего Мотылин даже взбодрился и подумал, что все может еще миновать и он усидит. К концу заседания в исполком, как и уславливались, явился подполковник. Нынешнее почтительное и исполнительное поведение подполковника (уж у этих-то нюх точный), отличающееся от внутреннего неодобрения и противоборства, которое прочитал в нем Мотылин во время утреннего доклада, также подсказывало, что его, Мотылина, положение упрочняется. Возможно даже, этот хитрец подполковник знает о нем то, что сам Мотылин еще не знает. (Ведь у них

своя прямая связь с Москвой.) Возможно, ему известно о мерах, принятых высокими друзьями-покровителями в Москве в пользу его, Мотылина, о мерах, которые даже самому Мотылину еще не известны, либо просто о каких-либо больших в масштабе страны изменениях в пользу Мотылина. (Были слухи, что один из покровителей Мотылина, с которым вместе работали в Молдавии, метит на самый верх. Работали недолго, во время очередной пертурбации, после которой вновь вернулся в свою область. Но связь есть связь.) Во всяком случае, впервые после пережитых волнений Мотылин почувствовал себя спокойней. Конечно, нельзя сказать, что совсем уж прочно, ибо все это были пока лишь предположения, но во всяком случае утренний душевный хаос и растерянность оставили его.

Мотылин с подполковником прошли в небольшую комнату недалеко от зала заседаний, причем Мотылин уселся за стол (хоть и дрянной дешевенький письменный стол какого-то мелкого исполкомовского чиновника). А подполковник остановился посреди комнаты в качестве докладывающего.

— Садитесь,— сказал ему Мотылин и указал на стул,— слушаю вас... (Прежний областной начальник КГБ, с которым Мотылин был на «ты» и давно сработался, недавно оказался переведен, несмотря на все протесты Мотылина. Замена его новым работником задерживалась, и подполковник с некоторых пор исполнял обязанности начальника управления.)

— Спокойствие повсеместно восстановлено, товарищ Мотылин,— начал подполковник,— принимаются меры к выявлению зачинщиков. Нами организована оперативная группа в помощь районному отделению, ибо... (он назвал город, куда у меня была командировка) также коснулась провокация... Кстати, помимо прошлых экземпляров прокламаций мне доставлена уже совершенно иная разновидность,— подполковник достал из портфеля несколько прокламаций и подал их Мотылину.

Это были прокламации Русского национального общества имени Троицкого, от меня полученные. (Теперь считалось, не отнятые, а полученные.) Мотылин взял прокламацию и принялся читать. Ее поповский стиль особенно раздражал его, а слова «Русское милосердие несколько веков назад приняло под свою защиту гонимое и обездоленное еврейское племя...» он даже подчеркнул карандашом. В этой фразе было нечто неприятно ассоциирующееся с его взаимоотношениями, вернее, какие взаимоотношения, скорей просто его отношения к покойному директору Химмаша Гаврюшину... Или Лейбовичу... Кто его знает... Жили мы в политически сложное

время. Но раньше хоть не было этой путаницы. До марта 53-го. В одном тот мерзавец Орлов прав. Как же, Терентия Васильевича сын. Не раз встречались на партконференциях. Какое несчастье для отца. Неужели этот мерзавец не понимает, что портит личное дело отца? В наше коллегиальное время мы, старые работники, и так не в чести.

Мысли его вновь начали становиться все более угнетенными. Задумавшись, он оглядел кабинет, в котором находился: дешевый стол, перекидной календарь в пластмассовом оформлении, единственный телефон, громоздкий и старого типа, портрет Хрущева в тощей рамке, из тех правительственных портретов, которые вешают обычно в школьных коридорах... В таких кабинетах неплохо начинать молодежи, когда из первичной организации попадаешь по выдвижению в номенклатуру. Но попасть сюда в летах, да еще обратным ходом и единым махом... Нет, уж лучше на пенсию... И, несмотря на то, что ныне Мотылин оказался в этом низовом кабинете по бытовой случайности и по своей же воле, просто потому, что он находился неподалеку от конференц-зала и этот ключ первым попался в руки служителю исполкома (впрочем, вокруг конференц-зала все кабинеты были низовые, а начальство располагалось этажом выше, в тиши и безлюдье), так вот, несмотря на все это, Мотылин ощутил некое предзнаменование в сидении за неудобным письменным столом низового ранга. Этот круговорот мыслей и ощущений странным образом соединился в нем с глупой прокламацией «о гонимом еврейском племени» и делом Гаврюшина-Лейбовича... И тут же, когда Мотылин, подогреваемый всеми этими внутренними мыслями, «созрел», подполковник, который, кажется, уловил его состояние, как опытный кулинар улавливает готовность пищи, подполковник сказал:

— Я лично допросил Орлова. Он утверждает, что в распоряжении их организации «Русская боль»... Помните, у Есенина,— усмехнулся подполковник, прерывая на полуслове начатую мысль, и неожиданно прочел:

Черная, потом пропахшая выть!
Как мне тебя не ласкать, не любить?
Выйду на озеро в синюю гать,
К сердцу вечерняя льнет благодать...
Оловом светится лужная голь...
Грустная песня, ты — русская боль...

Так вот, организация этих неорганизованных, расхлябанных, глупых идеалистов называется «Русская боль».

— Хорошие стихи,— сказал Мотылин и тут же с тревогой

почувствовал, что говорит он уже не сам по себе, а подчиняясь ходу мыслей и мягкому, но настойчивому давлению подполковника.

— Вы откуда родом, Игнатий Андреевич? — совсем уж неожиданно спросил секретаря обкома подполковник.

Этот вопрос и это обращение по имени-отчеству носили, несмотря на задушевность и вежливость по форме, явно вызывающий и фамильярный характер. Мотылин понимал, что нужно немедленно одернуть подполковника и вернуть его к положению человека докладывающего и исполняющего обязанности, причем вернуть в резкой форме выговора. Но вместо этого по ему же самому непонятным причинам Мотылин ответил:

— Из Тамбовской области. Там у меня и мать жива.

— Да, — сказал подполковник, — почти есенинские места.

— Ну, не совсем, — ответил Мотылин, пытаясь хоть этим несогласием оказать сопротивление чему-то, совершающему насилие над ним, и чему подполковник, несмотря на официальное свое более низкое положение, был ближе, — не совсем есенинские, — сказал Мотылин, — Рязань все-таки иное.

— И то, и то Россия, — ответил подполковник, — да, Игнатий Андреевич (вторично эту фамильярность Мотылин выслушал уже спокойней), — да, Игнатий Андреевич, как там ни крути ни верти, а мы с вами прежде всего русские люди.

В это время старый и громоздкий телефонный аппарат звонил, словно будильник, грубо и вульгарно.

— Алло, — невольно взял трубку Мотылин для того хотя бы, чтоб прекратить этот вульгарный звон, который человек пониженных должностей обязан будет слушать ежедневно, давая отчет подавляющему большинству звонящих. И действительно, в трубке сразу же закричали на Мотылина и чего-то требовали, чего — он не разобрал. — Нет здесь никого, — сердито крикнул в ответ Мотылин.

— А вы кто? — требовательно кричала трубка. — Ваша фамилия?

— Иди ты... — крикнул Мотылин и с силой бросил громоздкую тяжелую трубку «низового» телефона на рычажки.

— Мы несколько отвлеклись, — сказал подполковник, — так вот, Орлов утверждает, что в распоряжении их организации имеются списки около десяти тысяч лиц, которые сменили биографию... В масштабе страны, конечно... Вы меня понимаете? Мне удалось добиться, чтобы в этом вопросе Орлов согласился сотрудничать со следствием... Я принял меры, чтобы эти списки были изъяты. Кое-что нам уже и теперь

известно... Например, о наших кадрах...— он вынул бумагу из кармана,— например, Голованов, секретарь парторганизации станции «Товарная-сортировочная»... И родился он не там, где указано в его личном деле, и год рождения у него иной, и фамилия у него не Голованов, а Натерзон.

— У вас есть доказательства?— спросил Мотылин, осторожно и незаметно прижимая ладонью сердце. Голованова он знал. Это был дельный и толковый работник.

— Есть,— сказал подполковник и, щелкнув замками своего портфеля, достал бумаги,— вот протокол допроса... Голованов, он же Натерзон, во всем сознался. Вот его подпись под протоколом,— и подполковник положил протокол перед Мотылиным.

— А насчет Гаврюшина?— тихо и тяжело спросил Мотылин, не читая протокол, лишь барабая по нему пальцами.— Насчет Гаврюшина подтвердилось?

— Вы ведь не одобрили мою мысль послать запрос,— словно укоряя, ответил подполковник.

— Пошлите,— тихо сказал Мотылин и встал тяжело,— вообще работа с кадрами у нас запущена, может, оттого все и произошло.

От сравнительно спокойного его состояния, наметившегося было на заседании исполкома, не осталось и следа. Домой он приехал в подавленном настроении, жену, которая приступила к нему с расспросами относительно Любви Николаевны — ее подруги, Мотылин оборвал чуть ли не грубо и, не ужиная, заперся в кабинете, переключив туда телефоны, и продремал, сидя в одежде, всю ночь, словно рядовой дежурный, ожидающий вызова. Телефоны за ночь ни разу не звонили, но на рассвете Мотылин, так же как и многие, был поднят выстрелами, прозвучавшими сперва в отдалении, а потом все ближе и интенсивнее. Дело состояло в том, что ночью по инициативе подполковника были проведены массовые аресты. Причем проводились они в обстановке всеобщего беспокойства по горячим следам, часто без разбору и с применением методов самого крайнего толка. Ко всему еще, поскольку аресты были массовые, помимо работников карательных органов в них участвовало большое число людей неопытных, солдат-новобранцев, курсантов пехотного училища и т. д. Были случаи избиения задержанных, были случаи применения оружия, был даже случай настоящего боя, когда два брата начали перестрелку и из охотничьих ружей убили лейтенанта, руководившего арестом. В общем, к утру весь город был на ногах, и у здания обкома собралась огромная толпа, требовавшая освобождения арестованных. Мотылин, который в

мятом пиджаке и галстукe, то есть так, как он просидел ночь, с трудом пробрался в обком с заднего подъезда, явился как раз тогда, когда перестрелка началась и перед зданием обкома.

— Что происходит?—крикнул он своему секретарю, бледному и с отвисшей от страха нижней челюстью.— Что за мерзость, как смеют стрелять в народ?.. Кто распорядился?..

— Первые выстрелы прозвучали из толпы,— ответил секретарь, стараясь справиться со своей отвисшей челюстью,— убили двух солдат... Тогда офицер, командовавший ротой, сам распорядился... Уголовный элемент действует, подстрекает...

— Немедленно прекратить,—чувствуя никогда еще не испытанные дрожание и слабость в ногах, крикнул Мотылин,—я буду говорить с народом...

— Это опасно,—пытался вставить слово секретарь.

— Молчать!—крикнул Мотылин ни в чем не повинному, перепуганному насмерть секретарю.—Зажрались в распределителях, а народ голодает... И этого ко мне... Этого подполковника... Как его?.. И остальных... Где сотрудники, почему обком пустой?..

Мотылин рванул задернутые шторы, толкнул дверь и вышел на балкон. В утреннем осеннем воздухе по-фронтальному остро пахло жженым железом. Сизый дымок полз над площадью. Люди разбежались и вновь собирались кучами.

— Народ!—набрав побольше воздуха, крикнул Мотылин.—С вами говорит первый секретарь обкома... Мотылин я... Все арестованные будут освобождены... Все виновные в нарушении социалистической законности наказаны... Советская власть есть власть народа, и она не позволит...—на эту фразу, явившуюся вдруг с митингов революции и гражданской войны, раздались несколько выстрелов из охотничьих ружей...

Секретарь схватил Мотылина сзади за плечи и с силой втащил его с балкона в кабинет. Мотылин сел в тяжелое кожаное кресло и, чувствуя сильную боль в сердце, сидел так, пока не послышались по-военному четкие шаги. Подполковник явился чисто выбритый, хоть и с набрякшими от бессонной ночи глазами. Подворотничок его был белоснежен, и через плечо он был перетянут портупеей.

— Ах, явились,—сказал Мотылин, не отвечая на приветствие, заранее предвкушая, как он рассчитается за вчерашнюю свою слабость, за то, что вчера в комнатухе исполкома он, Мотылин, фактически предал себя, и близких ему людей, и всю страну (именно так гиперболически нервно он подумал), предал во власть этого душителя.—Что вы натвори-

ли?—сказал Мотылин.—Что вы натворили ночью?.. Кто вам позволил?..

— Я не понимаю вопроса,—остро ответил подполковник,—если речь идет о задержании преступников...

После этих слов Мотылин вскочил и дальнейшее уже помнит обрывками. Он помнит, как подбежал к двери и запер ее. После этого он стукнул кулаком по столу и крикнул совсем уж визгливым и чужим голосом. (По-моему, тем самым голосом, какой явился у меня в период реабилитации, каким кричит обычно не рабочий класс, а озлобленные, измученные интеллигенты.)

— Советская власть еще жива... Сволочь... Не надейся...

— У вас припадок,—холодно ответил подполковник,—вам нужен врач.

— Пусть я полечу,—крикнул Мотылин,—и поделом... Но и ты... Ты... ты будешь работать завхозом... Или оправдом... Голованова вчера на допрос возил, а подлинные преступники где?.. Антисоветчики, подстрекатели где?..

— Не Голованова, а Натерзона,—усмехнувшись ответил подполковник.

— Молчать!—крикнул Мотылин.—Это ты... вы... все вы натворили, все вы опоганили... Хрущев вам волю дал... При Сталине таких, как ты, к стенке.—Тут силы оставили его, и он медленно начал опускаться посреди кабинета на толстый и мягкий ковер.

— А насчет Гаврюшина подтвердилось,—спокойно и жестко сказал подполковник, сверху вниз глядя на лежащего секретаря обкома, как смотрел он неоднократно на лежавших у его ног при допросах,—подтвердилось, Лейбович он...—И лишь сообщив это, подполковник вышел и сказал секретарю:—Мотылину врача, у него обморок...

— Пошлите вызов,—прошептал Мотылин секретарю, который, подхватив об руки, силится поднять его,—вернее, сообщите... Толкунову передайте (Толкунов—второй секретарь обкома), то есть я о том, что необходим вызов внутренних войск.

— Они уже разгружаются на станции,—ответил секретарь.

И действительно, внутренние войска, вызванные по иным каналам, уже разгружались и приступили к действию. Четко и умело взаимодействуя, оцепляли они охваченные беспорядками кварталы. Оружие применяли в крайнем случае, но если уж применяли, то со знанием дела. Поджоги общественных зданий и грабежи винных лавок были пресечены, застреленные при оказании сопротивления увезены в морг. Арестован-

ные, минув городскую тюрьму, сразу же отправлялись на вокзал, где их ждали эшелоны. Таким образом, они единым махом отсечены были от мятежных мест и лишь через двое суток пути, по прибытии в совершенно незнакомую и спокойную область обширной России, в просторах которой затихает, задохнувшись, и кажется ничтожной любая местная смута, лишь по прибытии туда присмирившие, усталые и голодные арестованные прошли допрос и пересортировку, в результате которой многие впоследствии были освобождены.

Но прибытие внутренних войск и восстановление порядка началось с десяти утра. Когда же я выбежал на улицу, разбуженный выстрелами, в городе царила атмосфера полнейшей анархии и безнадзорности, то есть атмосфера, приятная для буйного ребячества лесостепной, задавленной порядком натуры. «Маша,— тревожно подумал я,— к Маше надо... к Маше...»

В управлении все от меня отмахивались, никто и слушать меня не хотел. Наконец в коридоре я увидел знакомого следователя, ведшего при мне допрос Орлова.

— Послушайте,— крикнул я ему, хватая за локоть, чтоб удержать, ибо и он первоначально отмахнулся,— послушайте, мне надо назад... в район...

— Не сходите с ума,— ответил следователь,— там тоже бог знает что творится... Начальник милиции убит... Вот так...

— Послушайте,— не пуская руку, говорил я,— у меня там жена...

— Жена,— удивленно повернулся ко мне следователь,— каким образом, вы разве местный?

— Да,— ответил я, намереваясь соврать, но, тут же сообразив, что в командировке указано иное, поправился:— То есть нет... Но все равно... Жена...

— Ладно,— сказал следователь, который торопился, которому некогда было вникать в мои проблемы,— идите во двор, скоро оттуда отправится милицейская машина.

Я даже не поблагодарил, побежал во двор и успел в самый последний момент, ибо машина уже трогалась. Милицейская машина, в которой помимо меня и шофера сидело двое милиционеров, вооруженных винтовками, доехала до какого-то села и там остановилась, завернув во двор сельсовета. Почему и зачем это — я не знал. В висках у меня стучало, и было сухо во рту и больно, дурные предчувствия мучили меня.

— Тут до города километров шесть,— сказал мне вслед один милиционер. (Вслед, ибо едва мне показали дорогу, как я сразу же пошел.)

— Только поосторожней,— крикнул второй.

Городок встретил меня тишиной и пустотой, то есть из разговоров я ожидал худшего, особенно после индустриального центра, где гремели выстрелы и пахло газом. Здесь же воздух был вкусным и чистым, и когда, ища дорогу к станции, я оказался в городском парке, птичий галдеж и беспечно и плавно облетающие листья меня и вовсе успокоили и родилась надежда, что моим дурным предчувствиям не суждено сбыться. Но едва я подошел к дверям старухи, приютившей Машу, как новый приступ страха овладел мною. Я постучал. Я стучал долго. Наконец я принялся колотить в дверь ногами. Минут через десять я догадался крикнуть:

— Послушайте, я за женой...

Дверь тотчас же открылась. Оказывается, старуха все время стояла под дверьми и слушала, но не отпирала и не подавала голоса. Увидав меня, старуха запричитала.

— Что?— крикнул я.— Где моя Маша?..

И тотчас же увидел ее, лежащую на старушечьей койке и по-детски протягивающую ко мне руки. В этом ее порыве ко мне было так много от покинутого ребенка, от одинокой и слабой, нуждающейся во мне души, что, бросившись к ней, я забыл обо всем, я перестал различать обстоятельства и время и не сразу даже заметил, что Маша горяча и в лихорадке, а глаз у нее нездоровый и неосмысленный.

— Снасильничали нас,— плача сказала у меня за спиной старуха,— видать, беглые арестанты... Попить попросились и снасильничали. Уж и меня, старую-то, помучали, а ей-то как, молодой?

Эта весть застала меня в Машиных объятиях, но первые мои объятия с любимой были судорожны и цепки, так не обнимаются в любви, а хватаются друг за друга в страхе. Я видел грубые царапины на ее, святом для меня, теле. Я видел синяки на ее по-больному безучастно и безразлично к женской тайне своей обнаженных грудях. И властная, жестокая ненависть вошла в меня и лишила меня человеческого покоя, может быть, навсегда. Слезы брызнули у меня из глаз, и, раскованный слезами этими, я сказал убежденно и коротко:

— Ненавижу Россию.

И едва я сформулировал так, как мне стало легче и мысли мои приняли деловое направление.

— Одевайся, Маша,— сказал я.— Здесь оставаться опасно.

Маша послушно встала, и я слышал, как старуха, вздыхая и плача, помогает ей натянуть платье.

— Ой бандитизм, бандитизм,— причитала старуха,— а кому пожалуешься, если вокруг бандитизм?

— Вам заплатили?— сухо перебил я старуху.

Не знаю почему, но мне было особенно неприятно, что Машу изнасиловали вместе с этой старухой, что-то в этом было особенно мерзкое и унижительное, так что даже и против этой старухи, которая сама пострадала, я настроился злобно.

— Заплатила она мне, заплатила,— торопливо сказала старуха,— и верно ты делаешь, что ее уводишь. Опасно здесь. Утром сегодня опять ломились.

Кажется, старуха рада была нас спровадить.

Я рассчитывал вместе с Машей добраться к райотделу милиции, где находился и Коля и где брат и сестра, во-первых, были бы защищены властями, а во-вторых, встретились бы и ободрили друг друга. Но в тот короткий срок, пока я был у старухи, что-то в городе изменилось. Вернее, первоначально мы шли тихими пустынными улицами, прошли спокойно полный птичьего галдежа и шелеста опадающей листвы парк. Улица, ведущая к центру, также была тиха, пустынна и освещена нежарким сентябрьским солнцем. Однако неподалеку от перекрестка, прямо посреди мостовой лежал убитый милиционер. Кобура его была пуста, видно, наган унесли убийцы, а форменная фуражка мокла в луже крови у головы. И вид убитого милиционера, открыто лежащего среди бела дня, как бы сообщал, что власти больше нет, что над властью совершается насилие. И действительно, мы с Машей едва укрылись за какой-то изгородью от толпы с камнями, прутьями, охотничьими ружьями. Как выяснилось впоследствии, они направлялись, чтоб принять участие в нападении на райотдел милиции. Изгородь защищала нас лишь с одной стороны, и в любой момент мы могли быть обнаружены. Я огляделся. За спиной у нас находились огороды и одноэтажные полусельские домики, которыми в основном и застроена большая часть городка. Я взял Машу за руку, как маленькую девочку, и мы побежали к одному из домиков, надеясь укрыться там, но в ответ на мой стук в калитку лишь залаяла собака. Ей ответила другая, и вскоре вокруг нас уже неистовствовал тревожный собачий лай. Таща за собой Машу, я побежал в сторону, понимая, что собачий лай может привлечь к нам внимание. Тем более что неподалеку послышались голоса, размашистые и пьяные. А находиться сейчас на улице, да еще в пьяном виде, да еще группой, громко и открыто себя ведущей, могли лишь личности ныне господствующие и для нас опасные. За огородами начинались опять деревья, и впопыхах

я подумал, что мы, сделав круг, вновь вернулись к парку, который миновали, идя со станции, но, приглядевшись, я понял, что это совсем иной сад или парк, небольшой и крайне запущенный, грязный и с воздухом несвежим, ибо здесь попахивало чуть ли не от каждого куста.

Между тем вдаль послышались выстрелы, от которых Маша задрожала и съезжилась. (Это начиналось возле милиции.) С другой же стороны неуклонно приближались пьяные голоса, но укрыться решительно негде было. И тут внимание мое привлек дощатый туалет, полуразвалившийся, на краю парка. Кажется, это был недействующий туалет, ибо вход в него был забит накрест, но под досками можно было проникнуть внутрь. Я потянул Машу туда. Мы стояли там, прижавшись, среди жужжания больших зеленых мух и слушали тяжелый погромный шаг и веселый свободный пьяный говор проходящей компании. Компания миновала, я подумал было уже двинуться далее, как вдруг заметил, что внизу, в дощатом проломе под ногами, прямо в яме с нечистотами кто-то стоит. Первоначально я испугался, но, поняв, что тот, кто там стоит, тоже прячется, да и к тому же старик, окликнул его:

— Ты кто?

— А вы кто? — ответил старик. — Прячетесь вы...

— Да, — ответил я.

— Тогда залазьте сюда, — сказал старик, — вы явреи?

— Нет, — ответил я.

— Я к тому, — сказал старик, — что тут один яврей уже прячется в моем убежище... Все равно залазьте... В России и русскому побережью не грех...

Рядом со стариком я заметил другого человека, пожилого и носатого.

— Найдут здесь, — перебил я юродивое бормотание старика, с тревогой прислушиваясь к вновь возникшим неподалеку голосам.

— Не найдут, — ответил старик, — а найдут, так пусть уж лучше здесь найдут, чем в другом месте, — сказал он убежденно. — Я Россию знаю... Вот ежели б тебя с перины стащили, тут не жди пощады, а здесь, может, и помилуют... Если в дерьме найдут, может, и помилуют... Ну-ка лезьте...

Мы с Машей и обоими стариками — юродивым и носатым — простояли в «Ноевом ковчеге» довольно долго, а сколько, точно не знаю. Несколько раз наверху слышался топот, голоса, однажды кто-то даже заглядывал, но нас не заметил. Стояли мы молча, затаив дыхание, даже юродивый старик притих. Лишь когда очередная опасность обходила нас, он

мелко крестился. Наконец нас все-таки нашли и, хохоча, заставили выбраться.

— Вылезайте,— говорят,— дерьмоеды, или стрельнем из ружья, в дерьме потонете.

Наверху над нами вдоволь поохотали. Вид у нас действительно был веселый. С нас текло, нас била дрожь, да ко всему еще мы были в полной их власти. Старик-юродивый хохотал вместе с толпой. (Вокруг нас образовалась уже толпа, хоть первоначально было человек десять.) Мы с Машей молчали, а носатый старик чересчур сильно дрожал. Наверное, это и видоизменило кое у кого в толпе отношение к нам, ибо толпа любит, чтоб те, над кем она потешается и кто доставляет ей удовольствие, не проявляли строптивости и, находясь в ее власти, были ей благодарны за то, что, повеселившись, она по-славянски «отходит сердцем» и милует. Но мы, в отличие от юродивого, дурно знали славянскую душу и вместо того, чтоб смеяться над собой, молчали... Надо также добавить, что первоначально обнаружившая нас кучка пьяниц и в мятеже-то по-настоящему не участвовала, а занималась грабежом винных отделов продмагазинов и потому была не очень озлоблена. Но постепенно к ней примкнули и иные группы, в частности, отступившие от райотдела милиции и даже ведущие с собой наспех перевязанных рваными лоскутами рубах раненых.

— А ведь они евреи,— злобно крикнул, глядя на меня с Машей, кто-то из толпы,— а этот носатый и вовсе типичный жид...

— Мозги им на травку выпустить...— крикнул другой.

— Что вы, братцы,— зашепшил старик-юродивый,— молодежь русская, а тот, с носом,— грек... У греков тоже носы будь-будь... Какие они еврей?.. Еврей разве в дерьмо полезет?.. Ему что бы послаще.— И старик начал ловко, по-скоморошьи скакать и ловко также коверкать язык на еврейский манер.

— Это грек, братцы... А еврей — это другой макар... Ему бы с Сарочкой, ах ты боже мой, под перину залезть... Ему б там еще одного абрамчика со страху вылепить... Ему бы курочку пожевать. А если испугается, так спешит желтые штаны надеть...

— А это зачем же?— зная заранее ответ, но вступив в игру, спросил из толпы чей-то веселый голос.

— Чтоб если желудок не выдержал,— скривился старик-юродивый,— на штанах не заметно было.

Толпа захохотала. Вообще, несмотря на то что старик-юродивый говорил вещи не новые и из устаревшего репертуа-

ра насмешек над евреями, говорил он так ловко и артистично, что даже самые угрюмые пьяные лица по-ребячьи расплылись от удовольствия, даже и раненые улыбались. (Впрочем, и раненые были пьяны.) Настроение толпы начало меняться, злоба исчезла, явилась детская дурашливость, поплыли по рукам изъятые в продмагазинах бутылки.

— Эй ты, грек носатый,— крикнул кто-то,— попей русской слезы христовой.

Но носатого так сковал страх, что он не нашел в себе силы ответить.

— А давай лучше я,— снова по-козлиному, по-скоморошьи прыгнул юродивый, вызвав опять волну смеха, и, перехватив бутылку, запрокинул ее, прижал к губам.

В это время послышался начальствующий окрик, и явился какой-то высокий человек с русой бородой и интеллигентным лицом, похожий по облику на художника. Это был тот самый неразысканный член группы Щусева (мне, к счастью, как и я ему, не известный), член группы Щусева, который вместе с иными функционерами пытался придать осмысленный организованный антисоветский характер экономическому бунту.

— Пьянствуете здесь,— крикнул он,— а другие за вас гибнут... Ждете, чтоб чекисты вас по одному скрутили...

— Не мешай,— отвечали ему, пьяно хохоча над козлиными прыжками юродивого.

Функционер этот опытным глазом оценил ситуацию и понял, что криком не возьмешь, а надо действовать сообразно с народным настроением.

— Братцы,— весело крикнул он,— что-то я не пойму... Носатый жид у вас до сих пор живой, девка не использована... Непорядок у вас, не по-русски это...

— Да это не жид, это грек,— благодушно и пьяно ответил кто-то,— а девка, она в дерьме, к ней не подступишься...

— Эх,— весело и в тон сказал русобородый,— где ж ваша русская смекалка, которая блоху подковать может?.. Девку пусть ее хахаль для вас вымоет,— и он остро и цепко блеснул в мою сторону осмысленным интеллигентным глазом,— а насчет жида давайте-ка сами у него спросим... Эй ты, пархатый, жид ты или грек?

— Грек он, ваше благородие, гражданин начальник,— сказал юродивый,— жид, он курочку любит, жид, он с Сарочкой гуляет...

— Заткнись,— прервал русобородый лепет старика, который был для него, антисемита-профессионала, бездарной графоманией и подделкой,— какое я тебе благородие?.. Мои

предки были крестьяне, их на конюшне пороли.— И, обернувшись ко мне, крикнул: — Кому сказано, веди свою девку к колонке, отмывай ее... Видишь, сколько мужиков тебя одного ждут,— говорил он в распространившейся среди славянофилов-интеллигентов манере.

Я бросился на него молча, но он успел сильно ударить меня болотным охотничьим сапогом в живот... Говорят, матросы в старое время, чтоб не чувствовать порки, брали в рот куски свинца и сильно, до крови закусывали их... Одна боль перекрывала другую... Ненависть так жгла, пекла и сверлила мой мозг и мое сердце, что она превысила боль от удара охотничьим сапогом в живот и не дала мне потерять сознание до того, как я вцепился русобородому в глаза. Я хотел схватить его за горло, но он умело и тренированно, по-бойцовски опустил голову, однако я все-таки вцепился ему пусть не в горло, но в глаза. Мы оба повалились, и последнее, что я помню, это наслаждение, с которым рвал русобородому глаза и лицо... Потом меня ударили сзади по затылку, и на этом окончился целый этап моей жизни... В сознание я пришел не скоро и не здесь, потому дальнейшее знаю приблизительно и с чужих слов...

Машу в той свалке не тронули. Сама же толпа ее и защитила, ибо что-то в ней явилось вдруг такое громкое, непохожее ни на крик, ни на плач, ни на смех, что тронуть ее не решились, а самым агрессивным и пьяным даже и не позволили. Юродивого старичка убили, чем-то он толпе в конце концов не потрафил, несмотря на то, что долгое время удачно ее веселил. Впрочем, убили его, может быть, и впопыхах. Впопыхах же и по ошибке носатого старика-еврея не убили, а лишь побили крепко и бросили. Мне же повезло в том смысле, что пролежал я, истекая кровью, по-видимому, не более получаса. Вскоре прибывшие из областного центра соединения внутренних войск приступили и здесь к наведению порядка, к облавам и пресечениям зверств. В числе других жертв мятежа я был подобран и помещен в одну из местных больниц. Маша также помещена была в местную больницу, однако приехавшие за ней по телеграмме журналист и Рита Михайловна забрали ее и Колю и увезли их в Москву.

Конец третьей части

4.VIII.1971

Часть четвертая

МЕСТО
СРЕДИ
СЛУЖАЩИХ



Вкусная пища, поставленная перед человеком с завязанным ртом, все равно, что пища, поставленная на могиле.

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. 30,18

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Время до и после тяжелой операции помню дурно и лишь позднее понял, что я мог бы и не выжить, шансы у меня в ту и иную сторону были довольно равны. Начал я себя вновь ощущать лишь к зиме. На то, что за окном зима, я сразу же обратил внимание, едва способен стал отрешиться от простейших ощущений своего тела. Тело я свое ощущал всегда и в самый разгар беспамятства, как мне кажется, и этим, пожалуй, беспамятство все-таки отличается от смерти, но ощущал так, что, придя в сознание, ни понять, ни вспомнить о своих чувствах в беспамятстве не мог. Итак, едва став способным глянуть «из себя» вовне, я сразу же глянул в окно. (Это был мой первый осмысленный взгляд.) Первой же здоровой мыслью, восстановившей распавшуюся «связь времен», было сопоставление того, что ныне происходило в природе, с тем, что было перед моим уходом из осмысленной жизни. Окно было замерзшим, но с проталинами, в которые проглядывали ветви голых зимних деревьев, припорошенных снегом. Последний же пейзаж, который я помнил, был осенний, причем с не опавшей даже еще полностью листвой. Следовательно, размышлял я, осень была не поздняя, не ноябрь, а сентябрь или начало октября. Сейчас же, судя по всему, как минимум декабрь. (Была середина января.) Именно это размышление и пустило вновь в ход мой возвращавшийся к жизни мозг. И едва он принялся набирать обороты, как скрипнула дверь и ко мне вошла женщина в белом халате. Белый цвет вообще придает женщине девственную привлекательность, это я понял потом, тогда же все-таки я действовал под влиянием ряда импульсов, тут была и радость пробуждения, страсть же почти что детская, не идущая далее ласки. Едва эта

женщина протянула руку к моему телу, как я схватил эту руку обеими ладонями, предварительно сообразив, что еще слаб и если схвачу одной, то она легко выдернет у меня эту свою, страстно желаемую мной, женскую руку. Схватив, я начал осыпать эту руку поцелуями. Женщина явно растерялась и выронила градусник, который, оказывается, был у нее в руке и который я не заметил первоначально. Руку свою она выдернула после короткой борьбы, отнявшей у меня все силы, так что, когда она ушла, я упал на подушку с каким-то радостным ощущением своего чисто детского бессилия, детской легкости и безнаказанности. И в таком состоянии я впервые вспомнил о Маше, о том, что она существует на том свете, в который я вернулся. Позднее, когда ко мне в изолятор (оказывается, я лежал в изоляторе) вместе с той женщиной вошла целая группа людей, я уже в значительной степени восстановил связи со своей прежней жизнью и состояние мое начало несколько меняться. Я ощутил себя тяжелей и впервые вновь начал чувствовать опасность, исходившую от внешнего мира, которую олицетворял, главным образом, человек с седым солдатским ежиком и в очках с позолоченной оправой, стоявший впереди группы. (Оказывается, под ежик часто любят стричься не только отставные военные, но и профессора медицины.)

В акте психиатрической экспертизы, которой я был вскоре подвергнут (как правило, подобной экспертизе подвергаются после тяжелой травмы черепа), в акте этом, с которым некоторое время спустя мне случайно удалось ознакомиться, было указано обо мне «мышление разорвано». Признаюсь, я согласен с этим диагнозом, который соответствовал еще недели три, а может, и несколько более, моему состоянию после того, как я пришел в сознание и был переведен из изолятора в общую палату. Однако это случилось позднее. Тогда же профессор с седым солдатским ежиком меня осмотрел, уверенно, но мягко применяя надо мной насилие, ибо меня вдруг охватил страх перед этими мужскими прикосновениями ко мне извне и я пытался, забравшись под одеяло, огородить себя от всего происходящего. Однако осмотр все-таки состоялся вопреки моей воле, после чего мне переменили белье и дали чашку крепкого куриного бульона, который я выпил с наслаждением. Белье мне меняла все та же женщина в белом халате. Я теперь лучше разглядел ее и обнаружил, что она значительно старше Маши и конечно же менее привлекательна. Но в ней имеется свое женское и неповторимое. Руки ей я более не целовал, но прикосновения пальцев ее к моему телу были мне крайне приятны, детская же слабость моя, по-

прежнему существовавшая, отняла у меня мужской стыд, и я спокойно воспринимал ее движения, когда она забиралась руками под одеяло, чтоб натянуть на мои ноги больничные кальсоны.

Первый день моей новой жизни (я считал тогда, что начал жить заново, хоть это и не так, и я понял, что это не так, едва окреп), итак, первый день я провел в спокойных позах, оглядываясь и думая изредка, главным образом о приятном. Лишь к ночи я начал вспоминать подробности, предшествующие моему исчезновению на несколько месяцев из осмысленной жизни, вспомнил русобородого художника — жоака, издевательства пьяной толпы, и особенно остро проснулась мысль о том, что Маша подверглась групповому изнасилованию вместе со старухой и это уже не повернуть вспять, и это было так невыносимо, что я крикнул и позвал на помощь. Явился дежурный врач, начались хлопоты вокруг меня, был сделан успокаивающий угол и на голову положен компресс. И когда я затих, весь в горячей сухости (три дня у меня держалась высокая температура и вообще наступило внезапное обострение), когда я затих, вновь явилась мысль о ненависти к России и одновременно о желании оседлать ее, подмять под себя и мстить ей жестоко, властвовать над ней, как мужчина властвует над покорившейся ему женщиной в момент насилия... Это была бредовая ночная интимная мысль, и ее единственную я вынес целиком из бреда, все же остальное позабыл. Позднее, когда кризис миновал, я с пытливым испугом всматривался в лица медицинского персонала, опасаясь, не высказал ли я эту мысль вслух в бреду. Однако постепенно я начал поправляться, сон мой стал спокойнее, и я начал даже ощущать здоровую тяжесть своих плеч и рук, что говорило о восстановлении сил. Постепенно я начал садиться на постели, сначала с помощью сестры, а затем и сам, опираясь спиной о стену и держась руками за никелированные холодные прутья кровати. После этого я и был переведен в общую палату.

Обстановка в общей палате мне первоначально показалась опасной. Мне казалось, что и больные, и медицинский персонал по-особому смотрят на меня, смеются надо мной и пытаются оскорбить. Но так продолжалось недолго, дня четыре, не более. Постепенно я понял, что общество здесь складывается стихийно и демократично и связи между людьми чем-то напоминают психологические построения, в которых я уже участвовал в период моей жизни в общежитии Жилстроя и борьбы за койко-место. Я, идя по элементарно проверенному пути, нащупал нерв палаты, сошелся с двумя

ее обитателями, которые, пожалуй, верховодили. Один был рабочий парень лет двадцати шести с большим позвоночником, совершенно прикованный к постели и тем не менее в палате распоряжавшийся. Причем первенство он взял также элементарным способом, а именно третируя и обижая своего соседа, плаксивого религиозного старичка. Третируя старичка и насмехаясь над ним, он тем самым взял власть и над остальными, давая им послабление, что выражалось в том, что он обращался с ними все-таки лучше, чем со старичком. Вторым верховодом в палате был мужчина довольно интеллигентного вида, но мускулистый, похоже — бывший спортсмен. Впрочем, верховодство его состояло в том, что он не обращал внимания на парня с большим позвоночником и тот его, кажется, опасался. Но все это дипломатично, и ни разу меж ними не было столкновения. Я уже упоминал значительно ранее и в нарушение хронологии в моем изложении о религиозном старичке. Старичок этот, едва я явился, сразу же потянулся ко мне. Первоначально я его тоже третирил ради самоутверждения в палате, но позднее я от скуки принялся рассказывать ему кое-какие второстепенные эпизоды из моей жизни и борьбы последнего времени, причем он, как я уже упоминал, сильно плакал, пытался ласково прикоснуться к моему лицу и называл меня «горечь божья». Я настолько почему-то расположил его к себе, что он поделился даже своими религиозными виршами. Приведу два отрывка, которые ночью, когда все заснуло, не то чтобы подействовали на меня, а застряли в мозгу, как застревают иногда назойливая модная песенка, мешая спать. Мне кажется, после этой ночи начался мой окончательный поворот к старому, я начал крепнуть и ожесточаться.

Вам племена, языки и народы
Ход всех событий Господь предсказал,
Время назначив и точные годы
И чрез пророков своих написав...

И второй отрывок:

Дверь благовестья повсюду открыта,
Запечатление спешно идет,
Род не пройдет сей,
Как все совершится,
И наш Спаситель во славе придет.

Напоминаю, в Бога я не верил, и если эти вирши и возыме-ли на меня воздействие, то именно своей нелепостью. «Что такое «запечатление»,— думал я, лежа без сна в больничной духоте,— «ход всех событий Господь предсказал»... Тоска-то

какая, одиночество... С кем поделишься своей ненавистью к России... Прежней Маши уже не вернуть, святыня загажена, и теперь только мстить за все, покорить для мести». Напоминаю, это случалось и позднее, но в период «разорванности мышления» я часто путал или соединял в единый женский образ Машу и Россию...

Рассвет я встретил угрюмо, с опухшими веками, нагрубил медсестре и отказался принять лекарство. Но днем меня ждал сюрприз, а именно, меня посетил Бруно Теодорович Фильмус. К тому времени я уже вставал и гулял по палате, и поэтому меня вызвали в небольшую комнатку, где происходили свидания. Я обратил, кстати, внимание, что кроме меня и Фильмуса в этой комнатке присутствует еще какой-то молодой человек, явно не из медицинского персонала. Но встреча с Фильмусом первоначально так меня обрадовала и потрясла, что я о постороннем человеке этом как бы забыл в первые минуты. Не могу сказать, что мы с Фильмусом знали друг друга близко, отношения наши лишь начинали завязываться и тут же оборвались. Тем не менее мы обнялись как близкие друг другу люди и даже оба по-мужски всплакнули. Интересно, что сразу же я решил поделиться с Бруно Теодоровичем своей ненавистью к России. Однако поскольку помимо нас присутствовал еще и третий, то я сообразил не произнести это вслух, а написать на бумажке. К счастью, этого не случилось. И бумажки не оказалось под рукой, и отношения наши вскоре резко испортились. То есть мы с Фильмусом, даже и не расспросив толком друг о друге, тут же нудно и ожесточенно заспорили. Спор наш временами, правда, становился интересен, но большей частью скучен, тем более что постепенно в разговоре я начал Фильмуса опасаться и становился скрытен. Для меня подобный растрепанный спор в то время не удивителен, Фильмус же из всех реабилитированных, с которыми мне довелось сталкиваться, производил наиболее здоровое впечатление, вот что странно. Ныне думаю, что прибыл он и вел со мной разговор не совсем по своей инициативе, и это его угнетало. Не думаю также, что КГБ хотело меня столь грубо прощупать. Скорей всего сотрудники Госбезопасности хотели помимо медицинских заключений убедиться в моей возможности установить эмоциональный контакт с окружающими. Как выяснилось, я был важный и необходимый свидетель в ряде предстоящих дознаний. И действительно, недели через две после свидания с Фильмусом меня вновь вызвали, но на этот раз уже в кабинет главного врача, где меня встретил все тот же молодой человек, назвавшийся Олегом. Тут же в кабинете лежал на диване совершенно но-

вый темно-коричневый костюм, рубашка и галстук, запонки, а у стола стояли крепкие чешские полуботинки. Мне предложили переодеться, что я проделал с удовольствием. Предоставили в мое распоряжение, правда, недорогое, но добротное зимнее пальто с каракулевым серым воротником и шапку-ушанку, которая единственная не соответствовала несколько моему размеру. Вышли мы из больницы через заднюю калитку, миновав больничный сад, и у калитки нас ждала черная «Волга».

— Куда сейчас? — спросил я Олега.

— На аэродром, — ответил он, — через два часа в Москве. Кстати, привет вам от Романа Ивановича. (Напоминаю, Роман Иванович — это друг журналиста, бывший партизан, а ныне работник КГБ.)

«Что ж, — подумал я, — в конце концов все хорошо. Я, кажется, выздоровел и возвращаюсь к жизни. А там — как судьба повернет».

Был конец февраля, капало с крыш, и в воздухе уже чувствовался запах весны. Это было время, которое ранее я всегда встречал с тревогой, ожидая повестки о выселении с койко-места. Нынешняя весна была первой, которую я встречал более прочно и материально устойчиво. В кармане моего пальто лежал бумажник с хоть и небольшой, но все-таки денежной суммой, свежими поступлениями, полученными мной по ведомости от Олега. Мы уселись в «Волгу» со штатским шофером и поехали на аэродром. В Москву мы прилетели ночью, на аэродром Внуково, и там нас ждала точно такая же, как и у больницы, черная «Волга». (В то время это был, пожалуй, любимый цвет и любимая марка учреждения, с которым ныне мне предстояло взаимодействовать.) Ехали мы долго, около трех часов, пересекли Москву, которую я, кстати, успел полюбить, несмотря на краткость моего с ней общения, и потому вглядывался с жадностью и надеждой в несущиеся мимо улицы и думал о том, что сулят они мне в будущем. Итак, мы пересекли Москву и поехали ночным шоссе. Я не задавал никаких вопросов, да и Олег, который в городе, откуда он меня взял, был приветлив, тут замкнулся и выглядел официально. Наконец мы остановились у какого-то глухого каменного забора, и шофер посигналил. Из проходной явился офицер в плащ-палатке. (Шел мокрый весенний снег.) Офицер осветил нас карманным фонарем, и Олег протянул ему бумаги, которые тот, прикрыв от снега полую плащ-палатки, унес с собой в проходную. Вскоре железные ворота сдвинулись и поползли, освобождая нам дорогу. Мы въехали на территорию чего-то вроде загородной дачи. Выйдя из «Волги»,

я успел заметить несколько разноэтажных особняков. Мы с Олегом пошли по небольшой аллее среди заснеженных сосен к трехэтажному дому в центре. Далее все уже было менее военизировано и более уютно. В приемной нас встретила приветливая женщина, регистрирующая прибывающих. Обстановка здесь была, как в приемной тихой, не загруженной напылом постояльцев гостиницы. Стояли даже необходимые в таких случаях пальмы в кадках. Единственной меткой учреждения, которому эта гостиница принадлежала, был портрет Дзержинского над столом, где происходила регистрация жильцов. Зарегистрировав меня, согласно моему паспорту и предъявленной Олегом бумаге, которую она положила в заведенный на меня картонный переплет, эта женщина вынула обычный ключ с гостиничным пластмассовым номерком и сказала:

— Пойдемте.

Мы прошли коридором, с обеих сторон которого были пронумерованные двери, затем поднялись по деревянной лестнице на второй этаж и остановились у сорок седьмого номера. Женщина открыла номер, мы вошли, и она зажгла свет. Номер был уютный, хорошо оборудованный, правда, несколько скромно, на уровне конца сороковых годов. Панцирная никелированная кровать, диван, стол с яркой штепсельной лампой, портьеры. Над столом в стену был почему-то вмонтирован обычный дверной кнопочный электрозвонок.

— Располагайтесь,— сказала женщина и вручила мне ключ.— Завтрак у нас с шести утра до десяти утра, столовая на первом этаже.— И она ушла.

— Ну что ж,— сказал Олег, глянув на меня,—отдыхайте... Вот вам талоны,— он вынул из кармана и положил на стол проштампованные разовые талоны,— завтрак, обед и ужин. Впрочем, обедать вам вряд ли здесь придется. Обедать будете в управлении... Хотя, сказать откровенно, кормят здесь лучше, чем в центральном отделении,— и он улыбнулся совсем уж неофициально.

Высказал он мысль бытовую, но я почему-то вообразил, что от нее пахнет вольнодумством и почти что крамолой. Какое-то ощущение у меня осталось от этой мысли, где он высказал критическое замечание в адрес столовой управления КГБ. Какое-то ощущение крамолы. Разумеется, в этом была сильная натяжка с моей стороны, но я тем не менее почувствовал, что с этим парнем можно сблизиться. И действительно, после этой критической мысли своей он обратился ко мне на «ты».

— А какой же у тебя телефон, дай-ка я запишу,— и, вынув записную книжку, он наклонился к стоящему на тумбочке

громоздкому черному телефонному аппарату, тоже образца сороковых годов. Видимо, с тех пор, как номера эти были оборудованы, обстановка тут не менялась.

— Ну, отдыхай,— сказал Олег и, глянув на часы, добавил по-военному уже: — Личное время у тебя до одиннадцати часов дня, сейчас два ночи, выспись,— и он снова улыбнулся.

Обстоятельства были самые благоприятные, чтоб привести в действие свой изначальный план-минимум, а именно сблизиться лично с этим парнем. Но для этого надо было построить фразу и придумать вопрос, в котором я бы называл его на «ты», причем как можно быстрее, ибо Олег собирался уходить.

— Послушай,— сказал я,— а ты не знаешь, далеко ли отсюда управление и что мне там предстоит делать?

— На месте скажут,— ответил Олег, но не резко одергивая, а дружелюбно и явно приняв это мое «ты» в свой адрес.

Таким образом, первый мой шаг увенчался успехом. Когда Олег ушел, я быстро разделся, погасил свет и лег на мягкое, пружинное койко-место. Белье было свежестираным, добротным, и я с удовольствием отдался радости засыпания в отдельной комнате этого трехэтажного государственного особняка особого назначения. Несмотря на то что заснул я в начале третьего ночи, проснулся я рано, еще и восьми не было, но выспался неплохо, ибо сон мой на удобном койко-месте был глубок и спокоен. Утром я обнаружил, что номер мой снабжен всяческими удобствами, оборудован душем и ванной и обложенным кафелем туалетом. К удобствам имелся вход из небольшого тамбура перед комнатой, отделенного от комнаты не дверью, а портьерами, смыкающимися как театральный занавес. Никогда еще до того я не жил самостоятельно в подобной бытовой роскоши, и это, разумеется, не могло не поднять еще больше настроение. Я вкусно позавтракал по разовому талону в небольшой уютной столовой на первом этаже. Питание было первосортным, официантка миловидна и предупредительна, а на столе, несмотря на раннюю снежную весну, стояли свежие цветы. Позавтракав, я вышел прогуляться, ибо до одиннадцати времени у меня было вдоволь. Я пошел по аллее, красиво обрамленной с обеих сторон заснеженными соснами. Дышалось глубоко и чисто, сладковато пахло мокрой сосной, и вообще было хорошо на душе, но с легкой грустиночкой, которая всегда присутствует, кстати, у меня при приятном расположении духа. Грустиночка эта и родила мысль о том, что запах мокрой сосны напоминает нечто кладбищенское, ну конечно же, запах соснового гроба. И вот, находясь в таком приятно

грустном, размягшем состоянии, я неожиданно был резко остановлен криком, сильно меня испугавшим.

— Стой! — кричал кто-то. — Куда идешь?

Я остановился с колотящимся сердцем. Расслабленный мыслями, я набрел на аллею, ведущую к проходной, и очутился перед зеленой сторожевой будкой. Солдат в плащ-палатке и с автоматом стоял от меня шагах в десяти.

— Я гуляю... — сказал я наконец, уняв несколько дрожь. (Окрик был так неожидан и в разгар моих мыслей, что я невольно задрожал.)

— Сюда запрещено, — механически сказал мне часовой.

Я повернулся и пошел назад к своему особняку. «Значит, я под арестом», — подумалось мне с тревогой. Гулять более не хотелось, я вернулся к себе в номер, лег на койко-место и, кажется, задремал, ибо, очнувшись от телефонного звонка, некоторое время не мог понять, что происходит и где я. Наконец, сообразив, я вскочил и схватил трубку.

— Цвибышев? — спросил меня женский голос.

— Да, — ответил я.

— Спускайтесь, за вами пришла машина.

Внизу у особняка стояла все та же черная «Волга», я узнал ее по номеру, но рядом с шофером сидел не Олег, а какой-то другой молодой парень, не представившийся, а лишь кивнувший мне. Это мне не понравилось. Не понравилось мне также и то, что он перешел от шофера и молча сел на заднее сиденье рядом со мной. Впрочем, надо заметить, что я по-прежнему находился под эмоциональным воздействием окрика часового и потому каждую деталь воспринимал под ракурсом тревоги и опасности, мне грозящей. Мы миновали проходную, при этом сидящий со мной рядом парень передал какой-то жетон офицеру, начальнику караула. Тогда все это было для меня внове и вызывало тревогу, однако уже дня через два я к этому абсолютно привык и воспринимал естественно. Всю дорогу мы молчали, и, пока тянулись загородные пейзажи, я сидел напряженно, но едва мы въехали в город, столь любившийся мне в короткий срок, едва замелькали вывески магазинов, троллейбусы, множество людей в пелене мокрого снега, мелькнуло и несколько красивых девушек, едва явилось все это, как я рассеялся и внутренне освободился. И возникло предчувствие, что впереди меня ждут годы удачи, а может быть, даже и счастья.

«Волга» остановилась в узком переулке у глухого забора, чем-то напоминающего забор загородной дачи. (Я бы назвал этот забор внутриведомственного образца.) Здесь также была проходная и стоял часовой, но без автомата, а с пистолетом

у пояса поверх шинели. Сопровождавший меня молодой человек показал ему пропуск, и мы въехали внутрь. Внутри был старинный особняк типа ампир или рококо (я дурно разбираюсь в архитектуре), с завитушками, какие бывают на кремовых тортах, и с летящими на фронтоне ангелочками, протягивающими руки к сочным женским грудям каких-то тяжеловесных русалок. Мы вошли внутрь и по широкой мраморной лестнице поднялись на второй этаж. По дороге молодой человек (ему было лет двадцать пять) взял у сержанта, сидевшего сразу перед входом, ключ с пластмассовым номерком, подобно гостиничному, и, открыв этим ключом одну из дверей, он пропустил меня вперед. Не предлагая мне сесть и ничего не говоря (в комнате было несколько мягких кресел и два письменных стола), итак, ничего не говоря, он взял телефонную трубку и набрал номер.

— Докладывает лейтенант Пестриков,— сказал он.— Так...— Положив трубку, он по-прежнему не сказал мне ни слова и не предложил сесть. (Мне почему-то очень захотелось сесть, особенно при виде этих мягких кресел). Впрочем, он и сам не сел, и так мы стояли молча посреди комнаты минут десять, пока дверь не распахнулась (не входная, через которую прошли мы, а боковая, которую я первоначально не заметил) и в комнату вошел подполковник с седеющей головой, но с молодыми черными бровями и в очках с толстыми стеклами, которыми пользуются очень близорукие люди. Он поздоровался за руку со мной и с лейтенантом. (Первоначально со мной, а потом уже с лейтенантом, я это отметил.) Правда, я попросту стоял ближе к подполковнику, но то, что он меня не миновал, говорило о том, что положение мое прочней, чем мне казалось после окрика часового на даче и замкнуто-враждебного поведения лейтенанта Пестрикова. Причем, здороваясь за руку, подполковник улыбнулся и мне, и лейтенанту, а здороваясь со мной, в дополнение ко всему назвал себя по имени-отчеству— Степан Степановичем. В дальнейшем первое мое впечатление подтвердилось. Степан Степанович сам по себе оказался человеком добрым, и улыбка его не была приемом и маскировкой.

— Вы, лейтенант, можете идти,— сказал он Пестрикову, а мне сразу же предложил сесть.

Я с наслаждением опустился в мягкое кожаное кресло. Последовали обычные в таких случаях расспросы о том, как доехал, каково состояние здоровья и т. д. На это ушло полчаса, после чего подполковник предложил мне пройти через боковую дверь в комнатушку, похожую на что-то вроде маленького чертежного зала. Столы здесь были широкие, и на сто-

лах этих разложено было несколько папок, а также чистая бумага.

— Прошу вас, Гоша, ознакомиться. (Он назвал меня не по паспортному имени «Гриша», а по тому, как звали меня в обиходе.)

Открыв одну из папок, я понял, что передо мной протоколы заседаний подпольной организации Щусева, в которых я принимал участие. Для начала мне следовало внимательно прочесть их и по возможности дать развернутые характеристики встречающимся в протоколах фамилиям, а также тем или иным обстоятельствам, которые были особо оговорены в прилагаемых к протоколам списках.

Так началась моя работа, и постепенно я привык к ней и втянулся в нее. К двум часам я шел обедать на первый этаж в длинный и светлый зал местной столовой. Вопреки вольнодумному высказыванию Олега, кормили здесь весьма хорошо, не хуже, чем на даче. Правда, здесь приходилось расплачиваться не талонами, а деньгами, но некоторая сумма у меня еще имелась, а вскоре я должен был получить зарплату. (День выплаты здесь был 17-е число, о чем мне сообщил Степан Степанович). Работы было много. Особенно подробно приходилось останавливаться на операциях, в которых я принимал участие, в избиениях, как говорилось в протоколах щусевской организации, «сталинских бандитов». От меня требовалось сообщить по памяти, кого именно планировал Щусев включить в списки «сталинских бандитов». По-моему, не все из списков находились в руках КГБ, и вообще, судя по неполноте протоколов, часть архива Щусеву удалось уничтожить или утаить. Отсутствовал, например, протокол заседания, посвященный подготовке покушения на В. М. Молотова. Кстати, это покушение Степан Степанович попросил меня описать без анализа, но лишь документально и протокольно. Также и схватку с группой Орлова у памятника Сталину. Степан Степанович попросил меня поначалу сосредоточиться только на внешней канве событий, лишь назвав Орлова и принимавшего участие с нашей стороны троцкиста Горюна, ибо на этих личностях позднее придется остановиться особо и весьма подробно, и вот здесь уж личный анализ с моей стороны будет весьма желателен.

В общем, занят я был чрезвычайно, и приходилось засиживаться часов до восьми-девяти вечера. Отвозил меня на дачу все тот же лейтенант Пестриков в штатском пальто с серым каракулем. (Первоначально я не сообразил, но, приглядевшись после двух совместных рейсов, понял, что у Пестрикова пальто было такое же, какое выдано и мне, точно с одно-

го склада.) Пестриков по отношению ко мне держался по-старому, замкнуто-враждебно, но я перестал об этом беспокоиться, ибо ныне имел опору в лице подполковника Степана Степановича. Ужинал я по разовому талону в дачной столовой, затем прогулка по сосновой аллее, душ и сон на пружинистом, мягком койко-месте. После недели такой жизни я пополнил и окреп. Но тут случилось событие, сломавшее столь вкусно наладившееся бытие мое и послужившее началом будущих моих эмоциональных срывов, вернее, помешавшее налаживанию монотонного, устойчивого ритуала, коим всегда является для меня быт, если он приличен и устойчив. Быт, которым я пытаюсь оградить себя от окружающих меня внешних опасностей и прошлых воспоминаний.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Как-то утром, когда я по обыкновению занимался разборщусевских протоколов и описанием всего, что не вошло в протоколы, но что запомнилось мне, неожиданно вошел Степан Степанович, крайне озабоченный, и сказал:

— Собирайся, Гоша, сейчас поедem по важному делу.

Уж сам вид Степана Степановича внушил мне тревогу, слова же его еще более эту тревогу усилили. Я снял канцелярские нарукавники, которые выдавались мне, дабы предохранить от потертости рукава при постоянной канцелярской работе (моя работа носила именно канцелярский характер), итак, я снял нарукавники и вышел вслед за Степаном Степановичем. Мы оделись внизу, рядом с помещением, где сержант выдавал ключи от компат. (Я свое пальто с серым каракулем, Степан Степанович — форменную шинель.) Во дворе сели все в ту же черную «Волгу», но на этот раз и шофер, и мой недруг Пестриков были не в штатском, а в форме, причем на шофере была форма войск ГБ с синими сержантскими погонами. Мы выехали из нашего тихого переулочка и сразу же очутились на шумных московских улицах, потом снова поехали улицами потише, и тут вдруг мелькнул знакомый переулочек с двумя рядами запорошенных снегом деревьев и с зажиточными, старого образца домами. Это был переулочек, где жил журналист и где в каких-нибудь двухстах метрах от меня, возможно, сейчас находится Маша. Однако общее волнение от этой внезапной и неизвестно куда направленной поездки было таково, что воспоминание о Маше мелькнуло тоже как явление чисто враждебное мне, даже без наме-

ка на любовь и мужскую страсть к ней. Более того, не находясь я в столь подавленном состоянии, у меня наверняка явилась бы даже активная враждебность к ней и к ее семье, особенно к честно живущему на отцовские средства Коле, юноше, который вначале полностью оказался под моей властью, однако позднее плюнувшему мне в лицо. (Я этот плевок проглотил, но не забыл.) Но в тот момент все это хоть и мелькнуло во мне, но не активно, с негодованием, а пассивно, с горечью, ибо волнение за собственную судьбу не оставляло сил для активных действий по отношению к другим.

Между тем, «Волга» снова вынырнула из сравнительной тишины буквально в водоворот людей и транспорта. Это было одно из самых шумных и нервных мест Москвы, ко всему еще крайне загруженное растерянными, мечущимися провинциалами, а именно район площади Дзержинского, или, по старому, «Лубянки», поездка куда на внутреннем шутливом жаргоне совпартактива именовалась «поездка под шинель». Посреди площади располагался памятник первому председателю ЧК Дзержинскому в длинной кавалерийской шинели. В смысле исполнения памятник средней руки, в котором тем не менее проступали воспаленные черты грозного инквизитора революции. С одной стороны площади располагался центральный детский магазин страны, который, собственно, и создавал толчею провинциалов, с другой же стороны застыло огромное, на квартал, какой-то чугунной архитектуры здание Госбезопасности. Впрочем, кажется, здание это перешло по наследству от самодержавия и весьма умело приспособлено для борьбы с политическими противниками существующей власти, в чем даже я, человек в таких вопросах неопытный, убедился, едва наша «Волга», преодолев систему проверок и сигнализаций, въехала в античные и мощные ворота, и они захлопнулись за нами, оставив нас во внутреннем дворе. Легкомысленный шум торговой Москвы здесь совершенно почти гасился, то же, что долетало, лишь служило дополнением к весьма неприятному ощущению, которое, очевидно, переживает человек, внезапно упавший в глубокий колодец, и солнечные далекие отблески, и легкомысленный шум жизни служат для него, слишком буквально погружающегося в пучину смерти, дополнительным источником безысходности и страданий. Слишком уж резок переход из одного мира в другой, и мне кажется, что при оборудовании этого здания архитектор учел и этот психологический фактор, дабы угодить заказчику.

Позднее мне рассказывал журналист, отец Коли, о том, как был арестован в свое время его знакомый, человек, зани-

мавший в те времена значительное положение и даже журналисту покровительствовавший. Рассказ этот журналист получил из первых уст, от самого пострадавшего, после его реабилитации, хоть, как выразился журналист, страдалец поподличал и потрудился против других немало. Но таковы, мол, уж были те времена, и людей, мол, брали «с двух концов — самого порядочного и самого подлого». Впрочем, на этих рассуждениях, возможно, сказались последующие разногласия между журналистом и страдальцем, которые не могли не наступить между этими двумя личностями в период хрущевской хляби, ибо в полемические времена таких людей столкнуть между собой, как говорится, и Бог велел... Тем более что страдалец пострадал и был в героях времени, журналист же каялся и хоть любим был первоначально за свои высказывания незрелыми и соскучившимися по общественному цинизму молодыми людьми, но у людей с опытом он с самого начала вызывал неприязнь, а у пострадавших еще и зависть за не вычеркнутые из жизни годы...

Но вернемся к рассказанному мне журналистом событию. Страдалец этот, тогда, повторяю, человек известный и даже узнаваемый на улице прохожими, как раз направлялся на очередное заседание в некое авторитетное учреждение, где ему предстояло председательствовать... Была теплая ранняя весна 1947-го года, и будущий страдалец этот, тогда же — знаменитость, решил пройтись пешком, не пользуясь персональной машиной, тем более учреждение располагалось неподалеку от его дома. Он вышел в легком весеннем пальто и в мягком французском кепи и неторопливо пошел, шурясь от солнца и ощущая вкус и прочность своей жизни и этого утра где-то пониже ребер, что всегда случается с каждым после нежирного и не тяжелого завтрака, не сопровождающегося ни изжогой, ни отрыжкой и ласкающего желудок. На будущего страдальца оглядывались. Первоначально на его французское кепи, ибо в основном тогда носили в столице твердые фетровые шляпы, а в провинции картузы из грубого сукна, итак, оглядывались на кепи, но многие вслед за кепи узнавали и самую знаменитость, и он часто слышал свою фамилию, произносимую с радостным испугом, как бывает, когда видишь наяву и в живом образе недоступное. Несмотря на то что происходило это с ним уже давно, он никак не мог обрести безразличия к подобному, какое замечал у некоторых других знаменитостей и чему завидовал. И от этого он на себя досадовал, и внимание это было для него одновременно желанно и неприятно. Вернее, неприятно оттого, что желанно. Поэтому, когда его окликнули по фамилии, он остановился, гото-

ваясь «отбрить», ибо это уж было сверх предела. Однако мужчина, вышедший из черной «Победы» (тогда на вооружении автопарка органов безопасности были другие марки автомобилей), итак, мужчина этот, весьма солидного и интеллигентного вида, в очках, вежливо и даже почтительно обращаясь к знаменитости, сообщил ему, что они, к сожалению, не застали его дома и поехали за ним вслед в учреждение, но, к счастью, встретили здесь, ибо его срочно вызывают в ЦК к товарищу... И был назван один очень высокопоставленный товарищ с правительственного портрета. Польщенная знаменитость уселась в «Победу», где помимо очкастого интеллигента сидел еще какой-то молодой человек, уже менее интеллигентного вида и встретивший знаменитость более холодно, чуть ли не безразлично, и, будем прямо говорить, даже не поздоровавшийся. Это неприятно укололо знаменитость. При всей неприязни к назойливости окружающих, знаменитость тем не менее страдала даже от пустякового невнимания к себе со стороны пустяковых же, неавторитетных личностей, коим, очевидно, и был этот молодой человек, «какой-нибудь делопроизводитель или вахтер». (Здесь сарказм знаменитости был недалек от истины.) Рассеявшись несколько и глядя в окно на освещенные солнцем весенние улицы, знаменитость опомнилась лишь когда увидела местность, совершенно непохожую на ту, что окружала ЦК. Вместо сравнительно тихой, крутой улицы с бульваром, ведущим вниз по направлению к площади Ногина, он увидел перед собой шумную улицу, идущую вверх к площади Дзержинского, а именно Охотный ряд, или по-нынешнему проспект Карла Маркса. Традиционные толпы провинциалов перебежали перед самыми колесами в направлении универмага «Детский мир», какофония автомобильных гудков, еще не отмененная тогда, терзала слух. Знаменитость никогда не любила этот район Москвы, ибо здесь его разглядывали особенно назойливо и по-провинциальному беззастенчиво, если ему случалось сюда попасть. Поэтому, морщась от подобных воспоминаний, он перегнулся к интеллигенту в очках, сидевшему возле шофера (к молодому, скромно одетому человеку, сидевшему рядом, знаменитость посчитала обратиться ниже своего достоинства), итак, перегнувшись, он сказал:

— Что-то мы не туда заехали, товарищ.— В голосе его прозвучал не только и не столько вопрос, сколько указание.

— Ничего, ничего,— сказал интеллигент в очках,— там перекрыто, мы в объезд.

Между тем «Победа» уже пересекла площадь и, обогнув здание ГБ, подъезжала к античным воротам. И знаменитость

впервые за все это солнечное весеннее утро испытала беспокойство, причем (странно же устроен человек) не от явного вида уже маячивших перед глазами ворот Госбезопасности, а от какого-то едва уловимого поворота молодого человека, во время которого тот остро нажал коленкой ногу знаменитости. Это острое нажатие так выбило из колеи знаменитость, что он опомнился лишь когда автомобиль въехал внутрь двора и задвинувшиеся ворота приглушили все живые звуки.

— Выходите,— сказал ему интеллигент в очках.

— В чем дело?— еще в капризном тоне баловня властей начала знаменитость, не позволяя себе поверить в то, что уже поняла, и стараясь не допустить дальнейшего и конечного понимания того, что с ней и ее жизнью происходило.

— Выходите,— снова повторил очкастый.

Мелькнула детская нелепая мысль не выходить из машины любым способом и укрыться в ней от глухого двора, выяснить отношения и недоразумения (он еще надеялся) именно в машине, а не во дворе, где он почувствует себя не в своей тарелке, потеряет уверенность и вызовет подозрения. (Он еще верил в некие подозрения.)

— Что наконец происходит?— не выходя из машины, сказала знаменитость.— Я спешу, у меня ответственное заседание...

— Выходите,— в третий раз повторил очкастый.

Неизвестно почему его не вытащили из машины сразу. Возможно, инструкции на его счет были получены этими конкретными работниками неопределенные: просто доставить. Поэтому пожилой человек интеллигентного вида обошел машину и открыл дверцу, а молодой, сидевший рядом со знаменитостью, подвинулся вплотную, еще сильнее прижав коленкой ногу. «Придется выйти,— подумала знаменитость, дав ход своему несколько подзаплывшему жиром, но некогда изощренному мозгу, вынесшему его, провинциального рабкора, на поверхность жизни,— не хватает еще, чтобы они прикасались ко мне... Главное — понять ситуацию...» Он вышел. Пройдя несколько шагов, он вдруг понял, что идет как бы под конвоем, ибо очкастый шел впереди, а молодой следовал знаменитости в затылок. И знаменитость поняла, что надо немедленно ликвидировать подобное положение, она ускорила шаг и пошла рядом с интеллигентом. Тот покосился, но ничего не сказал.

— В чем дело?— идя рядом, говорила знаменитость.

— Если произошло недоразумение, то прошу связаться в ЦК

с товарищем...— и он назвал фамилию, стоящую при перечислении всего на четвертом месте от Сталина.

— Сейчас, сейчас,— поспешно сказал интеллигент, направляясь к одному из подъездов, куда, невольно беседа на ходу, направлялась и знаменитость.

У подъезда на пороге стоял грузный человек. Несмотря на прохладу ранней весны, причем в замкнутом дворе, куда не заглядывало солнце, он был в легком пиджаке, одетом на вышитую рубаху, и под рубахой этой ощущалась широкая матросская грудь, тем более стоял он косолапо, и на правой руке его была видна старая, выцветшая татуировка якорька. Чутьем опытного функционера знаменитость ощутила ответственного за данную, сложившуюся вокруг себя ситуацию, разумеется, оперативно ответственного, лишь за конкретный сегодняшний момент, но не более того. Поэтому знаменитость обратилась к нему с вопросом, в котором одновременно ощущался и напор, и жалоба на действия подчиненных.

— В чем дело? Всякое недоразумение возможно, но в конце-то концов у меня мало времени... Либо позвоните в ЦК по телефону (и он по памяти назвал телефон), либо я прошу доложить (и он назвал по имени-отчеству министра государственной безопасности).

Но тут случилось неожиданное. (Разумеется, для знаменитости, но не для лиц, его сопровождавших.) Стоящий на пороге человек в вышитой рубахе умело и по-уличному ударил знаменитость по лицу. (Очевидно, в отличие от людей, доставивших его, этот работник имел более определенные инструкции.)

— Что такое? — опомнившись от звона в ушах, по инерции крикнула знаменитость. — Вы ответите...

Человек в вышитой рубахе ударил второй раз, на этот раз слева, тем не менее сильней. (Возможно, он был левша.) Брызнула кровь из губ и носа. И тут же человек в вышитой рубахе ударил в третий раз, опять справа, хоть этого и не требовалось, ибо знаменитости более не существовало. Совершенно другой человек стоял во дворе, окруженный конвоем, человек, сразу же научившийся повиноваться и не задавать вопросов. Третьим ударом с головы бывшей знаменитости было сбито французское кепи, и, не поднимая его, она вошла в подъезд вслед за избившим ее человеком и в сопровождении двух доставивших ее, вошла, чтоб исчезнуть с общественного горизонта на семь лет, из коих лишь два первых были особенно трудными: с распухшими ногами и приступами не привыкшего к грубой пище желудка. К тому ж в лагере с ней произошла трагичная, хоть и нередкая для звериного быта режим-

ных лагерей история, а именно: будучи интересным внешне мужчиной с мягкими чертами лица, она пала жертвой группы насильников, ущемленных в своих мужских желаниях. Но самое трагичное в этой истории все-таки то, что она испытала первый шок лишь после первого раза, когда была схвачена грубо в пустом бараке. Не сообщив, разумеется, о случившемся начальству из страха за свою жизнь, она последующие разы воспринимала уже терпимо и чуть ли не приспособившись к своему положению...

Впрочем, повторяю, журналист слишком уж в дурных был с ней отношениях в последнее время, а люди этой среды в общественной борьбе часто прибегают друг против друга к средствам, острота которых покажется невозможной для тех, кто не знает их поближе. Но если вернуться к лагерной жизни знаменитости, то длилась она не более двух лет, это уже не домысел, а факт. В дальнейшем произошло вмешательство некой личности, весьма высокой, судя по результату, и пребывающей инкогнито, поскольку бывшая знаменитость, а позднее страдалец, был выпущен из концлагеря, но направлен на вольное поселение, где работал пять лет фотографом в тепле и сравнительной сытости. Такова одна из многочисленных историй, разыгравшихся в этом дворе и о которой я узнал позднее.

Тем не менее когда я сам, в полном неведении о творившихся здесь ужасах, очутился за внутренней стороной античных ворот, то невольная дрожь пробежала по моему телу, и я постарался держаться подальше от моего недруга, лейтенанта Пестрикова, и поближе к подполковнику Степану Степановичу, который, кстати, мне ободряюще улыбнулся. Мы вошли в один из подъездов, где у нас вторично проверили документы. (У меня уже была временная книжечка из картона голубого цвета.)

— Нам сюда,— сказал Степан Степанович, слегка придерживая меня за руку и указав в конец коридора.

Подойдя к одной из дверей, он постучал и, услышав голос, приглашавший войти, открыл дверь, пропуская меня вперед. В комнате за письменным столом сидел длинноносый полковник-блондин. В длинноносых блондинах вообще есть нечто опасное, я таких людей встречал в жизни раза два, и всегда это были люди, мне не желавшие добра. Помню, в школе, в пятом классе, был мальчик по фамилии Петрук. Петрук Федя. Так, едва увидев меня (он был из новеньких, из военных детей, кочевавших вслед за отцами из гарнизона в гарнизон), едва увидев, он начал сколачивать против меня в классе партию, и ему удалось восстановить против меня даже прежних

моих друзей. Этот Петрук был именно блондин с длинным носом... Отвлечшись невольно в мыслях, я не расслышал того, что сказал полковник, и поэтому ему пришлось повторить громче (только поэтому), но окрик его тем не менее меня напугал. Он предложил мне сесть, я уселся и тут же заметил, что подполковник Степан Степанович вышел из кабинета. Вышел осторожно и незаметно, очевидно, в тот момент, когда я отвлекся в мыслях относительно внешности допрашивавшего меня полковника. А в том, что будет не беседа, а допрос, я убедился весьма скоро. В углу кабинета сидел человек в штатском, которого я не заметил первоначально, и вел протокол. Впрочем, вопросы были менее трудными, чем я предполагал, судя по обстановке и внешности допрашивающего, да и задавал он их скорей строго, чем зло. Дело касалось опять Щусева, моего с ним знакомства, моего участия в подпольной антисоветской организации. (Так было сформулировано.) Я отвечал в подробностях, так что протоколирующий в штатском даже несколько раз останавливал меня, ибо не успевал записывать. И вдруг, неожиданно, полковник задал мне вопрос: был ли меж нами разговор о желании сформировать правительство и возглавить Россию после свержения советской власти? Я растерялся. Мне бы ответить, что это ребячество и глупость. (Так ныне я и в действительности воспринимал мою идею.) Но от растерянности я сказал, что подобного разговора не было. Не стану вдаваться в детали, скажу лишь, что пережил несколько тяжелых минут, совершенно запутался и замолк безнадежно, глядя на одну из ножек письменного стола. Но тут полковник вновь изменил стиль допроса и, как бы задавая наводящие вопросы проваливающегося студенту, начал меня расспрашивать о взаимоотношениях Щусева с журналистом. Тем самым он как бы опускал опасную проблему. Я воспрянул духом и опять начал излагать в подробностях. Полковник слушал меня внимательно, не перебивая, а когда я кончил, спросил:

— Что вам известно о заграничных связях Щусева?

Я ответил, что ничего не известно.

— Ну, хорошо,— сказал полковник,— пойдете.

Он встал, и мы вместе вышли в коридор, где на диванчике неподалеку нас ждал Степан Степанович. Они обменялись друг с другом негромкими фразами, смысл которых я так и не понял. После чего они оба улыбнулись. Мне улыбка их внушила надежду, и я окончательно успокоился. Очевидно, диалог между ними на профессиональном языке носил не деловой, а шутливый характер. К тому же, когда длинноносый

блондин вернулся, в лице его обнаружился ряд моментов, ставящих под сомнение окончательность и точность данной ему мной эмоциональной характеристики.

Мы сели в лифт и, несмотря на то что находились на первом этаже, поехали вниз, проехав достаточно далеко (вернее, глубоко) и выйдя под каменистые, гулкие своды подвала. Состояние мое опять стало напряженное и тревожное, и я подумал, что окончательно изнемог бы, если бы несколько минут эмоционально не передохнул, пока в коридоре полковник и Степан Степанович шутили и улыбались. Подвал этот был расположенной в самом центре Москвы тюрьмой, это я понял после того, как, миновав часовых, мы вошли в небольшую камеру, в которой почему-то остро пахло больницей и лекарствами. Это было нечто вроде тюремного больничного изолятора, и на койке кто-то лежал, укрытый до подбородка одеялом. При виде незнакомого тяжелобольного у меня невольно возникает чувство отвращения прежде, чем жалости. Существо, лежавшее на койке, было полумертво, это стало мне ясно сразу и без всяких медицинских знаний. Я даже сперва подумал, что это вообще труп, но оно пошевелило восковой высохшей рукой, и я понял, что в нем еще теплится жизнь, но жизнь уже нечистая, разлагающаяся, с дурным запахом. Каково же было мне, когда это существо вдруг подняло голову и улыбнулось. Улыбка прекрасна только на живом лице. Лицу же трупа она придает некий циничный характер.

— Гоша,— сказал труп (а иначе и не назовешь, он был брит, и кожа его была какого-то голубоватого оттенка),— Гоша, я рад тебе...

Это был Щусев, я узнал его, лишь только он заговорил, причем добро и искренне, точно никогда не пытался задуть меня в тюремной камере как доносителя.

— Гоша,— говорил Щусев, опираясь на локоть и, видно, затрачивая серьезные усилия при этом,— Гоша, завидую я тебе... Иногда мне тоже хочется петь, танцевать, жизнь кажется прекрасной... Каждому человеку хочется сделать что-нибудь хорошее (он явно был не в себе, хоть и узнал меня), времена же все в мрачном свете,— продолжал он,— нет сил двигаться и думать... Гоша, коммунисты и евреи насилуют нашу мать-Россию,— здесь он закашлялся, локоть его подвернулся, и он упал на серую тюремную подушку.

Человек в медицинском халате быстро подошел к Щусеву и, вытащив его руку (обтянутую кожей кость), сделал укол. Степан Степанович и полковник все это время стояли молча и лишь цепко наблюдали. Потом полковник кивнул сержанту, и в камеру ввели нового арестанта в наручниках. Этого

я узнал сразу, несмотря на сильно изменившиеся черты лица и тюремную худобу. Это был Орлов. Он огляделся, скользнул по мне взглядом, но главное внимание свое сосредоточил на Щусеве, уже пришедшем в себя.

— Что,— сказал Орлов насмешливо,— что, стукач, не могла тебе твоя жидовская лавочка... Она же тебя и гробит...

— Сталинский холуй,— крикнул ему Щусев.

— Русский народ с нами!— крикнул Орлов.— А ты, сволочь, подохнешь сегодня или завтра... Вместе с твоим жидовским КГБ...

И тут добрейший Степан Степанович размахнулся и сильно ударил Орлова в нос. (Между прочим, при мне Орлова били уже второй раз.) Когда удар приходится не в челюсть или висок, а в нос, то человек сознания не теряет, но испытывает сильную боль. Вот почему удар в нос весьма часто применялся при недозволенных приемах следствия, и, очевидно, выведенный из равновесия словами и наглостями Орлова, Степан Степанович не стерпел и этот прием применил. Орлов застонал от боли и пошатнулся, а затем вновь выкрикнул, плюясь кровью (зубы у него выбиты не были, но кровь потоком хлынула из ноздрей и залила губы, попадая в рот, вот почему создалось впечатление, что зубы выбиты), итак, плюясь кровью, он крикнул:

— Чекист Дзержинский — польский жид, это нами установлено... Вот оно, ваше семя... Ох и будем мы вас жечь и вешать, хоть и через сто лет...

— Уведите его,— сказал полковник.

Сержант дернул Орлова за наручники и выволок его из камеры. Щусев же лежал, запрокинув голову, и трупный облик окончательно проступил на нем, заслонив те крупы живо-го, что еще теплились минуто-другую назад. Тем не менее он был жив, ибо дышал, правда, порывисто и с присвистом.

Я так и не понял, зачем меня сюда приводили и зачем сюда привели Орлова. Очевидно, что-то было задумано, но не исполнилось. Более того, судя по угрюмому виду Степана Степановича, задум этот был как раз его и, возможно, полковник с самого начала ставил этот задум под сомнение, а Степан Степанович настаивал. Во всяком случае я так предполагаю, ибо полковник после случившегося выглядел намного спокойнее Степана Степановича. Степан Степанович же имел вид до того раздосадованный, что самообладание на мгновение вторично покинуло его (первый раз, когда он ударил Орлова), самообладание покинуло его, и он пробормотал, когда мы вошли в лифт:

— Иголочки бы им под ногти...

Я был до того подавлен случившимся и до того не в состоянии его осмыслить, что чувствовал себя не то что спокойно, но как-то застыло. (Трясти меня начало к вечеру, когда я вернулся к себе на дачу и остался наедине в своем номере.) Тогда же меня занимали чисто физические действия. Поднявшись из подземелья и выйдя в коридор, я задышал часто и торопливо, как человек после удушья, и в таком состоянии пребывал и этому уделял главным образом внимание до того момента, как в черной «Волге» мы не выехали за античные ворота и не оказались на московских, ярких от солнца улицах. Лишь там дыхание мое успокоилось, приобрело нормальный ритм, я стал вдруг многоречив и разговорился со Степаном Степановичем о пустяках, о сортах пива, что ли. (Я пива не пью, но заметил, что его любит Степан Степанович.) Степан Степанович отвечал неохотно, и вообще, как человек опытный и твердого характера, он уже преодолел минутный срыв и был спокоен. Мы так проговорили с ним всю дорогу, и лишь раз, когда я заметил на себе насмешливый взгляд моего недруга лейтенанта Пестрикова, смешался, но затем тут же продолжил разговор, стараясь сидеть к Пестрикову чуть ли не спиной. Так прошел этот роковой день, на первый взгляд спокойней, чем могло бы соответствовать страшным и совершенно мне непонятым событиям и столь сложной, неудавшейся очной ставке. К вечеру, как я говорил уже, меня затрясло и трясло всю ночь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

После этого в бытовом смысле жизнь опять пошла прежняя, в эмоциональном же я не мог опомниться и изменился даже физически, то есть у меня явились навязчивые подергивания, мигания и так далее. Сон мой опять стал плох, и возникло то, что называется «умственная жвачка». Все это было мучительно, и все это не оставляло меня в покое и мешало мне сосредоточиться даже во время работы. А работа, как я уже говорил, шла своим чередом. Каждое утро за мной являлась «Волга», и в сопровождении лейтенанта Пестрикова я ехал изучать протоколы и давать по их поводу письменные показания. Но теперь это я уж делал не так искренне, опуская ряд деталей и стараясь выделить другие детали, выгодные мне. В частности, в протоколах был смертный приговор, вынесенный организацией Щусева «сталинскому бандиту Орлову», и при этом в качестве вещественного доказательства фигурировал рассказ «Русские слезы горьки для врага» за под-

писью Иван Хлеб. Тут я главным образом сосредоточился на своей роли в разоблачении псевдонима и уделил этому столько внимания, что Степан Степанович (он обычно к концу рабочего дня знакомился с работой) сделал мне замечание, ибо его интересовали главным образом детали взаимоотношений Щусева с Орловым, псевдоним же Орлова давно известен был следствию. Помимо протоколов Щусева пришлось мне заниматься и другой работой. Так, например, мне пришлось заниматься прокламациями Русского национального общества имени Троицкого, а также стенограммой выступления председателя этого общества Иванова под названием «Мифологические основы антисемитизма» и стенограммой выступления на том же студенческом диспуте журналиста. (После которого, как известно, он получил очередную пощечину.)

Вкусный обед в столовой при нашем отделе, а также завтрак и ужин, которые я получал на даче по разовым талончикам, ныне съедались мной без аппетита. Я постоянно ощущал пониженное, тоскливое настроение. Особенно запомнилась мне в этом смысле одна ночь, вернее, ранние утренние часы.

Я сидел у окна, пододвинув к нему кресло, и смотрел в сад, окружавший дачи Госбезопасности. Солнца еще и в наметке не было, но воздух уже не был ночным, в нем ясно проглядывались предметы: штабеля кирпича (на территории что-то строили), а далее деревья ровными рядами. Снег уже сошел повсеместно, но земля еще была мокрой и блестела. И так мне скучно стало глядеть на все это, что захотелось умереть. Напоминаю, что мысли о самоубийстве являлись и ранее, но так приятны они мне никогда не были и никогда так не облегчали мне душу. И причем явились они сейчас не от каких-либо глубоких роковых выводов или тоски, наоборот, мне показалось, что за ночь мне и тосковать-то надоело и стало скучно от своих назойливых самообвинений. Явилась мысль о смерти от мелкого и нелепого чувства, просто подумалось, что ничего интересного в разглядывании окружающих предметов нет. Это был единственный момент в моей жизни, когда я не боялся и желал смерти. (Вообще-то я ее боюсь и даже в прошлые разы, желая, боялся). Правда, в таком состоянии, когда не боишься смерти, трудно убить самого себя, а желательно, чтоб кто-то сделал это со стороны, ибо едва начнешь что-то предпринимать, как состояние легкости улетучится и явится иступленное, истерическое чувство самоубийцы. Поэтому я сидел тихо, стараясь не двигаться, даже и позы не менять, несмотря на то что левая нога моя затекла и было также весьма большое желание подпереть руками, лежавшими на подлокотниках кресла, уставшую от долгого

вертикального положения голову. И постепенно вид за окном начал меняться, зарозовели верхушки деревьев. (К счастью для меня утро хоть и было облачным, но солнце всходило в чистой от облаков части неба.) И первым голосом, который я услышал в то утро, был звонкий молодой девичий. (Наверно, кто-то из обслуживающего персонала.) И вдруг при звуках этого голоса у меня возникло жгучее желание близости с женщиной. Напоминаю, я в этом смысле долгое время был ущемлен, и, за исключением первого момента моего пробуждения в больничном изоляторе, когда я целовал в исступлении руки медсестры, пришедшей ко мне ставить градусник, за исключением этого момента желания меня не посещали. Теперь же они словно ожгли меня, тело мое ныло, и, когда я торопливо одевался, руки мои дрожали от нетерпения. Выйдя в сад, я глубоко вдохнул утренний воздух и пошел наугад к тому месту, где, по моему предположению, я слышал девушку... Я долго бродил среди деревьев, меня ногами грязную, липкую землю и изредка отдыхая, прислонившись к мокрым стволам деревьев. Утро уже полно было звуков, за забором, где проходило шоссе, слышен был шум автомобилей. Было уже время завтрака. Я вернулся к себе в номер, затем опять спустился вниз и использовал на завтрак сразу два разовых талона. (Напоминаю, я обедал в управлении, и потому лишние талончики у меня были.) Это было возрождение. (Как мне казалось.) В действительности же мой организм чрезвычайно изнемог и искал передышки. Но, во всяком случае, никогда за последнее время я не смотрел с такой жадностью сквозь стекла «Волги» на девушек, когда мы проезжали улицами Москвы, и давно я уж так не хотел счастья. (Это было чисто физиологическое весеннее желание.)

Работа в тот день предстояла долгая и серьезная, так предупредил меня Степан Степанович. (Он явно был мной недоволен последнее время.) Мне предстояло работать над папкой с делом Рамиро Маркадера, убийцы Троцкого, которое вел Олесь Горюн и с которым мне в свое время пришлось ознакомиться. Опять же от меня требовалось описать подробности этого ознакомления и вспомнить мои разговоры с Горюном. Работа была важной, и, как предупредил меня Степан Степанович, заказчиком был иностранный отдел Госбезопасности. Тем более что по моим пусть не прямым, но косвенным данным Горюна в живых не было. (Иначе, без сомнения, нам бы устроили очную ставку.)

Утомленный, я вернулся к себе в номер во втором часу ночи, и вместе с ключом от номера дежурная передала мне конверт.

Это меня крайне удивило. Писем я не получал давно. Родственники мои меня из виду потеряли, и, тем более, как могли они определить мое местонахождение? У меня не хватило терпения подняться к себе в номер, и, остановившись на лестничной площадке перед этажами, я прислонился к подоконнику и надорвал конверт. Небольшое письмецо, скорее записка, выпало оттуда. И запах дорогих женских духов подействовал на меня как залпом выпитый натошак стакан водки. На четвертинке писчей бумаги было всего несколько строчек, и я сразу определил Машин почерк, но смысл от волнения долго не понимал, словно они были написаны на иностранном языке. Так, не понимая смысла написанного, поднялся я к себе и, лишь открыв дверь номера и усевшись в мое любимое кожаное кресло (я быстро обживаюсь на новом месте, и у меня сразу же при этом появляется привязанность к предметам), так вот, лишь усевшись в это любимое мое кресло, я сумел разобрать за разлапистыми, по-женски округлыми Машинными строками их смысл: «Приходите, пожалуйста, в воскресенье часам к двенадцати утра»,— и под этим стояла ее такая же разлапистая подпись. Разумеется, о сне в ту ночь не могло быть и речи. Часов до четырех я просидел в кресле, анализируя записку, а затем забылся от усталости на койко-месте, полураздевшись, но и тогда часто просыпаясь и продолжая анализ. Единственным простым пунктом здесь был вопрос: откуда она узнала мое местопребывание? Разумеется, через Романа Ивановича, друга семьи, бывшего партизана и работника Госбезопасности. Но далее возникал целый ряд неясностей. Чья это была инициатива—ее собственная или Риты Михайловны? Рита Михайловна безусловно держала в руках эту записку, ибо Маша никогда бы ее не надушила, считая это мешанством и глупостью. С другой стороны, тон записки был сух и даже без обращения ко мне по имени. Значит, Маша писала ее нехотя и под давлением некоторых обстоятельств. (Ибо она давно уж была независима от родителей и обычные уговоры, не подкрепленные какими-то обстоятельствами, на нее не действовали.) Так что же родителям Маши (вернее, Рите Михайловне, ибо журналист в такие дела не вмешивался), так что же Рите Михайловне надо и почему Маша уступила? И еще один важный пункт—Коля... Встреча в камере заключения при местной милиции, когда Колин крик спас меня от удушения бандой Щусева... И то, что случилось с Машей,—я задыхался, сидя на койке. Я был к утру окончательно обессилен и лежал на койке совсем слабый, как после тяжелой болезни. Таким образом, только-только начавшийся счастливый этап возрождения после того, как на

рассвете я был возбужден женским звонким голосом, звучащим в саду, таким образом, этап этот был смят сразу же в зародыше полученным мною от Маши письмом.

Весь остаток недели работал я дурно, и Степан Степанович даже вызвал меня к себе для разговора. Но поскольку был он человек по натуре не злой, то вскоре понял мое состояние. Я поделился с ним весьма осторожно, но он, пожалуй, знал обо мне больше, чем я ему сообщал, и, пожалуй, многое о связях моих с семьей журналиста. Тем более что темп работ над протоколами Щусева изменился, и они чуть ли не были заморожены. Как стало мне также известно, процесс, который предполагалось провести и на котором я должен был выступить свидетелем, был отменен вмешательством некой важной инстанции, и предложено было все сделать без излишнего шума. К тому времени Щусев умер. По делу же Орлова встал вопрос о передаче его в прокуратуру, из нашего ведомства оно было изъято. Вот почему Степан Степанович, обратив внимание на мой болезненный вид, предложил мне двухдневный отпуск, что с воскресеньем составляло целых три дня. Таким образом, я мог отдышаться, опомниться и подготовить себя физически и душевно к встрече с Машей.

Отлично помню тот воскресный полдень. Я решил несколько запоздать, дабы не выказать свое лакейство. Первоначально я планировал опоздать на час, но ошибочно избрал место, где должен был переждать этот «час престижа», неподалеку от Машиного дома, в старом зажиточном московском переулке. Поэтому с самого начала, едва расположившись в скверике неподалеку от Машиного подъезда, я сбавил «время престижа» до получаса. В действительности же переждал я десять минут. Тем не менее в полдень, на который указывала Маша в записке, я еще не был в доме журналиста, а находился на улице.

Бывает такой весенний период даже и в большом городе, когда все молодо и налито истомой, особенно под полуденным солнцем, все как бы очистилось, обнажилось и жаждет оплодотворения. Даже и городская земля, городской кустарник и городские деревья, то есть нечто давно подчиненное прихотям человека и носящее как бы декоративный характер (даже и городская земля, подчеркиваю), так вот, в весенние моменты в них пробуждается нечто древнее, независимое от человека. Но период этот крайне невелик: с момента, когда после таяния снега все подсыхает, и до того, как начинается цветение. Ибо городское цветение носит уже декоративный характер. Лишь тот короткий промежуток, когда все еще го-

ло, но уже пригрето солнцем, полон живого томления, откровенного, а не скрытого моралью (человек протащил мораль всюду, даже в природу), и откровенного, не скрытого греха. Каково же было мне, натуре возбудимой и лишенной ласки, находиться в весеннем, пробуждающемся скверике среди птичьего крика, еще более усиливающего жажду весеннего греха, и причем в каких-нибудь десяти шагах от Маши. Есть в Третьяковской галерее небольшая картина художника Саврасова «Грачи прилетели», которая считается, во всяком случае бытует такое мнение, чуть ли не родоначальницей российских передвижников. Так мне кажется, что главная ее сила в том, что за голыми ветвями деревьев, на ней изображенных, ощущается аморальная молодая сладость весеннего греха. То есть на ней отлично пойман тот самый обнаженный период весны, весьма короткий и теряющийся с началом цветения. Разумеется, мысли мои в тот роковой весенний полдень не были столь конкретны, но тем более ощущал я жажду и силу нахлынувших на меня чувств. Я даже вздумал отменить визит, ибо вдруг вообразил, что могу не удержаться и начать публично целовать Машу, едва войду и увижу ее.

— Ах ты, Боже мой,— сказал я сам себе вслух (к счастью, скверик был пуст),— ах ты, Боже мой, надо торопиться, дабы развеять мечты.

Реальность и анализ всегда спасали меня, воображение же губило и часто носило элементы почти что преступные. И, призвав этот спасительный анализ на помощь, я понял, что если не пойду немедленно к журналисту, а буду накапливать чувства перед предстоящим визитом, особенно сейчас, в весеннем сквере, то действительно наделаю непоправимых глупостей. Надо было решиться: либо в подъезд, либо — прочь отсюда... Я пересек скверик и вошел в подъезд...

Лишь десять минут перевалило за полдень. Богатый лифт с зеркалом внутри кабины мягко поплыл и остановился перед лестничной площадкой журналиста. Я вспомнил, как впервые явился сюда с ныне мертвым Щусевым, но тут же торопливо отбросил эту мысль, к счастью, быстро и легко от нее отделавшись. При моей нервной организации такая мысль могла быть весьма прилипчива, но ныне, очевидно, я был всецело поглощен встречей с Машей и если возникало нечто побочное, то тут же гасло. Остановившись перед обитыми дверьми, я несколько раз глубоко вдохнул, прочищая легкие и горло, чтоб на вопрос «Кто там?» ответить без дрожи в голосе. Но открыли мне после того, как я позвонил, без вопроса. Впервые, ждали меня, а во-вторых, рассмотрели меня в дверной глазок. Причем открыла мне не Клава-домработница,

а сама Рита Михайловна. Первые минуты взаимоотношений с Ритой Михайловной провел я неожиданно хорошо и ясно, совершенно без суеты. Наоборот, она суетилась, я же отвечал даже излишне сухо. Явилась и Клава-домработница, помогая стаскивать мне синий прорезиненный, китайского типа плащ. Таким образом, эти две женщины учинили вокруг меня в передней такую суету, что я даже испугался, не явится ли сюда также и Маша и застанет меня в таком нелепом положении. Но Маша не явилась. Не явился также и Коля, второй человек, которого я ныне опасался в этом доме, может, даже еще более, чем Машу. (Самого журналиста я в расчет не брал, даже если бы он и явился.) Однако более никто не явился, и у меня возникла тревожная мысль, что вообще, кроме этих двух женщин, в квартире никого. Мы прошли в столовую по сверкающему шоколадному паркету. (За паркетом здесь по-прежнему следили.) И я сразу же увидел Машу. Маша сидела у стола сильно подурневшая, в широком, еще более портящем ее халате. Перед Машей стояла хрустальная дорогая вазочка с вишневым вареньем (она любила вишневое варенье, я узнал это ее пристрастие позднее), итак, стояла вазочка с вареньем и блюдечко с остатками варенья. (Видно, она накладывала из вазочки в блюдечко, а затем уже ела.)

— Вот Гоша пришел,— сказала Рита Михайловна Маше как-то заискивающе, как говорят с дорогим для тебя, но больным человеком, от которого находишься в зависимости вследствие его болезни, во всем стараешься ему угодить,— я ж тебе говорила, что Гоша свой человек и обид не помнит.

Это уже была глупость, очевидно, вызванная чрезмерным волнением Риты Михайловны. Я сразу же заметил, что она волнуется о том, как пройдет моя встреча с Машей, а значит, придает этой встрече серьезное значение. У меня же было состояние двойственное. Едва я заметил, что Маша сильно подурнела, как волнение мое исчезло. (Напоминаю, влюбляюсь я только в очень красивых женщин, что также является следствием моей ущемленности и чрезмерных мечтаний.) Но, с другой стороны, я заметил по выражению Машиных глаз, что я ей тоже не интересен (вернее, по-прежнему не интересен), и это распалало мое самолюбие.

— Садитесь,— сказала мне Маша. (Даже и голос ее изменился, стал более мужским, что ли, и не волновал меня, и это то после полного истомы ожидания у Машиного подъезда.)

Я сел с противоположного конца, так что нас разделяла длина стола. Рита Михайловна уселась посредине между нами и, бросив взгляд на Машу (крайне тревожный), сказала:

— Терпеть не могу Москву ранней весной. Обычно мы

всей семьей выезжаем на юг или на дачу, но вот Машина болезнь...

— Оставь, мама,— грубо перебила ее Маша.— Во-первых, я не больна, а беременна, и всякий элементарно грамотный в этом смысле мужчина легко подобное может понять.

Я не понял и осознал, что Маша беременна, лишь когда она это сказала. Впрочем, Маша, очевидно, сообразила, что я не понял, и в ее высказывании об элементарно грамотном мужчине была не только грубость по отношению к матери, но и язвительный укол в мой адрес. Вообще в Маше совершенно уже оформилась циничная озлобленность на жизнь, личность ее в короткий срок перестроилась окончательно. Очень может быть, что отныне она весьма цинично и просто смотрит на половые отношения с мужчиной и насмехается над святостью любви.

Нечто похожее на ревность шевельнулось во мне, тем более что от слов своих, произнесенных с нездоровым волнением, Маша покраснелась и разом похорошела, да и увядание ее, пожалуй, весьма относительно, временно и было преувеличено мной в первое мгновение.

— Затягивать наше деловое свидание не будем,— между тем продолжала Маша,— вам делается деловое предложение жениться на мне... Чтоб замять грех...

— Маша,— вскрикнула Рита Михайловна.

— Замолчи,— негромко произнесла, но остро глянула на мать Маша, так что та сразу осеклась.— Итак,— продолжала Маша, повернувшись ко мне,— я согласилась не сразу, но, поразмыслив, все-таки согласилась... Отец ребенка неизвестен даже и мне... Изнасиловали меня трое... Но среди них был голубоглазый и самый пожилой... Мужичок... Может, это и от него...

— Маша,— чуть ли не прошептала Рита Михайловна,— за что ты издеваешься надо мной?..

Явилась Клава. (Она все время заглядывала в дверной проем.) Клава подняла Риту Михайловну, и та, опираясь на ее плечо, пошла, волоча ноги, из комнаты.

— Я б таких детей на улицу повыгоняла,— сказала Клава, не глядя на Машу, но громко.

— Ах, оставь,— прошептала Рита Михайловна.

Они скрылись, и слышно было, как в соседней комнате Клава помогает хозяйке лечь на тахту. Мы с Машей остались вдвоем сидеть за столом.

— Подумайте,— сказала Маша, переждав минутку,— я вас не люблю, но буду к вам относиться плохо

только в том случае, если вы захотите сблизиться со мной. Если же вы поймете свое положение, я буду по отношению к вам нейтральна, а временами даже и приветлива. Квартира у нас большая, имеется дача, да и отец мой по-прежнему человек весьма состоятельный, так что все условия у нас есть для того, чтоб друг другу не мешать... Вы же юноша бездомный и, насколько я понимаю, сирота. Так что если наплевать на эмоции и призвать на помощь разум, вам стоит рискнуть. (Здесь меня, тридцатилетнего, особенно царапнуло слово «юноша».) Ваши черносотенные антисемитские взгляды,— продолжала Маша,— вы почти что опровергли своим разрывом со Щусевым, чего нельзя сказать о моем несчастном брате... Кстати, о Коле... Вас он ненавидит, и, не скрою, очень сильно, но он теперь с нами не живет... Он отрекся от родителей и живет в рабочем общежитии... Так что и здесь вы можете быть спокойны... Что же касается моего отца, то вы с ним сговоритесь и, возможно, даже полюбите друг друга... Напрасно мама отправила его сегодня на дачу, он бы вам не помешал... Ну вот и все... А теперь уходите и подумайте над сделанным вам предложением.

Я встал и вышел. Меня никто не провожал. Я слышал, как в соседней комнате плакала и стонала Рита Михайловна и как домработница Клава звенела какими-то склянками. Некоторое время я провозился с многочисленными запорами, но в конце концов отпер их и захлопнул дверь с твердым намерением никогда более не переступать этого порога. Однако, когда к вечеру позвонила Рита Михайловна и говорила со мной так, словно ничего не произошло, я отвечал ей спокойно. (Разговор вращался вокруг каких-то бытовых пустяков.)

А через неделю мой брак с Машей уже был оформлен по всем правилам. Вскоре я жил уже в одной из комнат большой столичной квартиры журналиста, спал на широкой, обтянутой китайским шелком тахте и ел на обед маринованную телятину или сазана, фаршированного орехами. По крайней мере месяца полтора после нашего с Машей брака я жену свою так и не видел. (Она уехала в какой-то подмосковный санаторий закрытого типа.) Честно говоря, меня это даже радовало. Журналист тоже не показывался. Коля же, согласно Машинному заявлению, вообще порвал с родителями. Жили мы втроем с Ритой Михайловной и Клавой, и я постепенно вошел во вкус такой жизни. Работа моя также видоизменилась, более протоколами подпольных организаций мне заниматься не требовалось, и меня устроили работать в одну из крупных библиотек. Причем, помимо моих основных обязанностей, дополнительная нагрузка была крайне невелика: я должен

был еженедельно составлять списки лиц, пользующихся книгами по специальным допускам, то есть книгами, находящимися под запретом. Списки эти я, к сожалению, должен был передавать в иной отдел. Я говорю «к сожалению» потому, что ныне не имел уже связи со Степаном Степановичем. Человек же, в чьем подчинении я находился сейчас, то ли меня невзлюбил, то ли просто отличался дурным характером. Он был, кажется, болен язвой желудка, судя по внешнему виду. (Вообще среди работников аппарата Госбезопасности было множество людей нездоровых, с ранениями или болезнями.) Встречался я с новым моим начальником не более раза в неделю, чаще всего в пятницу, и это меня несколько успокаивало. Впрочем, особых неприятностей я пока не испытывал от него, просто он встречал меня всякий раз сухо и неприветливо, но, в конце концов, с этим уж приходилось мириться. А в целом вторую половину весны провел я спокойно и, можно даже сказать, налаженно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Рита Михайловна крайне дорожила мной по вполне понятным причинам, у меня складывалось впечатление, что даже подчиняла мне ритм и распорядок в семье. Завтракали теперь в семье ранее прежнего, и Клава, которая во всем подчинялась с охотой Рите Михайловне и была ее надежным другом и правой рукой, вставала на рассвете, чтоб приготовить что-либо вкусное и горячее. Обедали после моего приезда со службы. Кроме того, Рита Михайловна передала мне ключ от кабинета журналиста, так что я теперь составлял недельные отчеты в управление Госбезопасности, сидя за широким старинным рабочим столом журналиста. О Коле при мне ни разу не упоминалось, но однажды совершенно случайно я заметил, как Рита Михайловна и Клава на кухне собирали в плетеную корзину передачу. Здесь были разные дорогие и вкусные вещи: балык, копченые колбасы, баночки с красной и черной икрой, коробки дорогого печенья и конфет. Заметив меня, они всполошились, растерялись, и потом Рита Михайловна крайне ненатурально сообщила мне о некоей подруге детства, находящейся в бедственном положении, «ибо двое детей, муж алкоголик...». Ситуация получалась глупая и нелепая. Рита Михайловна знала, что Коля ненавидит меня, и потому она боялась, что я буду возражать против помощи ему, которую он, кстати, как выяснилось, всячески отвергал, и потому приходилось подсовывать передачу через подстав-

ных лиц. Я же сам еще не мог разобраться и привыкнуть к моему положению в этом доме, хоть практически оно меня устраивало вполне и нравилось. Рита Михайловна оказалась меж двух огней: меж своими детьми и мной. Коля меня ненавидел, Маша меня третировала. Но я был нужен Рите Михайловне, чтоб покрыть грех дочери, которая, несмотря на требование Риты Михайловны, отказалась избавиться от ребенка, ибо «когда же еще представится возможность родить от разбойника, а не от литератора или главбуха».

В общем, как известно, противоборство в этом доме существовало давно, еще с того момента, как несколько лет назад журналист вовлек своих детей в активную политическую жизнь, в результате чего они первоначально увлеклись его оппозиционными идеями, а затем, что характерно для молодости, переросли их. Но ныне это противоборство видоизменилось в смысле расстановки борющихся сил вследствие, во-первых, новых обстоятельств, а во-вторых, полного выхода журналиста «в тираж». То есть человек этот окончательно был подавлен развитием событий, и у меня складывалось впечатление, что Рита Михайловна его иногда била. Во всяком случае, раз я, тоже, конечно, случайно, наблюдал, как даже и не Рита Михайловна, а ее тень, домработница Клава, взяла хозяина дома довольно крепко за руку, увела его из кухни, где он зачем-то (не знаю зачем) вертелся и мешал, и, усадив его за стол, как ребенка, поставила перед ним стакан простокваши, которую он тут же начал есть. Тем не менее в кругах официальных и вообще в массе, знакомой с ним лишь по книгам, он по-прежнему «звучал», и я помню, как несколько раз Рита Михайловна и Клава наряжали его подобно манекену, цепляли к его пиджаку орденские планки и медали госпремий, после чего Рита Михайловна везла его в то или иное серьезное учреждение, где он сидел во время заседаний в президиуме. Я не хочу сказать, что журналист отныне был полностью пассивен, как раз наоборот, подобное свое положение в семье и вообще подобное отношение к жизни он сам же и вывел в результате раздумий и анализа. На лице его подолгу оставалась та циничная, но добрая и задумчивая, хоть моментами и не без сатиры, улыбка, которую я впервые увидел у него после пощечины в студенческом клубе. (По-моему, это была одна из последних, если не последняя пощечина политического характера, которая ему досталась, ибо то выступление на студенческом диспуте было, пожалуй, последним общественным актом журналиста.) Первая наша встреча в этих, новых для

меня, условиях и в новом моем положении произошла следующим образом.

Я сидел и составлял очередной недельный отчет в свой отдел, причем отчет двигался на сей раз туго и предстояли неприятности, ибо где-то я ошибся, отметил не точно, либо, скорей всего, скитрил читатель (и не без умысла, очевидно), так что я не мог определить, на какой из абонементов выдавался антисоветский материал. Конечно, можно было бы его в этот раз опустить, список и так был длинен, но я не был уверен в том, что не состоится контрольная проверка абонемента и там это может всплыть. И, учитывая характер материала, отношение ко мне нового моего начальника, больного язвой желудка, а также и тот факт, что читатель умышленно путал, учитывая все это, вряд ли представлялась возможность вообще этого не касаться, и поэтому я в течение длительного времени в раздраженном состоянии рылся в своих бумагах. И в это-то время и раздался осторожный стук в дверь. Я поднял голову, но ничего не ответил, продолжая перебирать бумаги. Когда же стук повторился, я крикнул, признаюсь, резковато под влиянием служебных неурядиц:

— Кто там еще, что вам угодно?..

Я совершенно уж как-то потерял ситуацию и не понимал, что сижу в чужом кабинете и распоряжаюсь чужой собственностью, в то время как хозяин робко просится войти. Но журналист, по-моему, ситуацию понимал, и она его веселила. Именно, как позднее я понял, ему нравилось, что он стучится в свой собственный кабинет, где восседает ныне какой-то приبلудный, фактически на улице подобранный бродяга. На мой окрик он осторожно приоткрыл дверь, и я увидел ту самую, ныне традиционную улыбку.

— Извините, я книжечку хочу взять,— сказал журналист,— вы позволите?

— Возьмите,— буркнул я.

Журналист на цыпочках прошел к одной из полок, взял книгу, приложил палец к губам, но, идя назад, на полдороге расхохотался, что привело меня в растерянность. На смех его тут же явилась Рита Михайловна, которая резко взяла его об руку и сказала ему:

— Я ведь просила тебя не мешать,— и при этом глянула на меня, ища во мне союзника, вздохнула: мол, вот, приходится и с этим мучиться— и увела его.

Позднее, за обедом, она, улучив момент, сказала мне:

— Вы извините,— и назвала мужа по имени-отчеству,— он ведь нездоров, уже давно нездоров... Ох ты, Боже мой...

Журналист, правда, при этом не присутствовал, он обедал отдельно, и ему готовили какие-то особые витаминные каши. (В этом смысле Рита Михайловна продолжала за мужем следить и была внимательна.) Не знаю, что разумела Рита Михайловна под словом «нездоров», но известные отклонения у журналиста действительно наблюдались. Бывали случаи, когда он засыпал с непрожеванной пищей во рту. Жизнь свою называл «существованием». После того случая с книгой он почему-то более всего в этом доме любил встречаться со мной, и у нас действительно с ним состоялся целый ряд бесед самого разного толка. В частности, он мне доверительно сообщил, что «пища для меня без вкуса, ем не знаю для чего, улыбаюсь не знаю почему». О детях своих говорил, что очень их любит, особенно Колю, но боится, что Коля на него поднимет руку и обругает «сталинским холуем», а он этого не перенесет, причем, как он выразился, «не физически, а вот это не выдержит от тоски», и указал пальцем на левую часть груди. О Маше говорил, что она красавица и идеал женщины вообще, но ей не повезло оттого, что она в критический момент своего цветенья (он так выразился и вообще иногда выражался надуманно), в критический момент не встретила мужчину, который бы ей соответствовал и естественно погасил бы ее женский порыв. Вот откуда ее внезапные глупости и это общество имени Троицкого, объявившее своей программой борьбу с антисемитизмом в России. Причем о «мужчине» он говорил при мне совершенно спокойно, а между тем он знал, что я давно был влюблен в его дочь, и, следовательно, он намекал, что я тем мужчиной, который мог бы направить Машину энергию с политического поприща в женское русло, я тем мужчиной не был. И особенно больно мне это было оттого, что соответствовало действительности. Да и кроме того я ведь был сейчас женат на Маше, но тем не менее разлучен с ней. Когда журналист сказал о «мужчине», кровь бросилась мне в голову, и я хотел обругать старика. (За несколько месяцев он совершенно постарел, стал как бы ниже и ближе к земле.) Но, к счастью, сдержался. Были у нас также и беседы политического характера, и воспоминания журналиста по поводу тех или иных эпизодов его жизни. Были и случайные высказывания. Беседы наши стали особенно часты после того, как Рита Михайловна в середине мая уехала к Маше, ибо вскоре ей предстояло рожать и Рита Михайловна хотела, чтобы это по известным причинам произошло вдаль от, как она выразилась, «московских сплетен». Телеграмма о том, что «Все хорошо, родился мальчик», пришла ночью. Я помню эту ночь.

Лил шумный майский дождь, и от порывов теплого ветра хлопали форточки. Мы все — я, журналист и Клава — ходили полуодетые по квартире и весьма бестолково выражали свою радость, то есть повторяли все время одни и те же слова, пожимали друг другу руки, поздравляли друг друга и т. д. Журналист в порыве предложил тут же сообщить обо всем Коле, и я не успел вмешаться, как Клава натянула на домашний халат плащ, влезла в ботинки и убежала, хоть до Колиного общежития строительных рабочих было порядком и сейчас, в сильный дождь, вряд ли можно было поймать такси. Но дело даже и не в этом. Что, если Коля явится сюда и застанет меня? (Я не был уверен, знает ли он обо мне, ибо из дома он ушел еще до меня, порвав с родителями как со «сталинскими холуями».) К счастью, благодаря стараниям Клавы, которая, несмотря на радостную весть, не потеряла благоразумия, Коля не явился. Как выяснилось позднее, Клава сообщила ему, что отец и мать поехали к Маше в Подмосковье и дома никого. Но Коля обещал обязательно прийти повидать Машу и племянника, как только они вернутся, и, несмотря на протесты Клавы, передал из своей недавно полученной зарплаты деньги на покупку подарков.

Рита Михайловна с Машей и Иваном (несмотря на протесты Риты Михайловны, Маша назвала своего сына «Иван»), итак, бабушка, мать и сын вернулись домой недели через три, уже в начале лета. Придя со службы, я застал в передней Риту Михайловну и понял, что здесь и Маша. С колотящимся сердцем я бросился к ней, но Рита Михайловна догнала меня и преградила дорогу.

— Туда нельзя,— сказала она извиняющимся тоном,— ребенок, сами понимаете...

Машу я увидел лишь издали. Она была прекрасна, несмотря на не сошедшие еще с лица родовые пятна. Округлость и мягкость наконец явились в ней — и в облике и в движениях. Она улыбнулась мне издали, и от этой ее улыбки мне захотелось радостно зарыдать. А на диване в богатом и нарядном шелковом конверте лежало дитя насилия Иван Цвибышев. Но идиллия эта длилась недолго. К вечеру Машу и Ивана Рита Михайловна увезла на дачу. Я тоже хотел поехать или хотя бы приехать в воскресенье, но Рита Михайловна заявила мне, что ребенок должен окрепнуть и ему нужна стерильная обстановка. Она была так возбуждена и настолько посвятила себя Маше и ребенку, что даже забыла и пренебрегла тем обстоятельством, что я фактически был нанят, чтоб прикрыть грех и дать ребенку фамилию. И поскольку я являюсь человеком ущемленным, то пренебрегать мной так уж в открытую

не стоит. Ночь я, разумеется, провел без сна и в озлоблении. Состояние это было привычно мне, но, тем не менее, в такой степени давно мной не испытывалось. Наоборот, от сытой жизни я все более последнее время отдавал дань благоразумию, как уже ранее сообщал. Но подобный факт все разом перечеркнул. Я пробовал через Клаву передать Маше письмо, где писал хоть и стандартные для таких случаев, но искренние слова, а именно: о глубокой к Маше любви и желании заменить ребенку отца. Однако в ответ получил короткую записку без подписи: «Не забывайте, что наш брак фиктивен и построен на взаимовыгодной деловой основе». И все. Таким образом стало ясно, что ласковая Машинка улыбалась скорее не ко мне, а к ситуации. После этого решение было принято мною окончательно. Я не только завел себе любовницу, но и постарался сделать этот факт как можно более заметным. Впрочем, быстрота, с какой явилась у меня любовница, скорее объясняется совпадением, чем моей мужской оборотистостью. И совпадение это пришло с неожиданной стороны.

Познакомился я с этой молодой женщиной в кабинете у капитана Козыренкова. Это был совсем уж новый отдел. Правда, располагался он в том же особняке, но этажом выше. Мой «язвенник» в тот день был особенно не в духе и одет как-то неряшливо, так что из-под рукавов майорского кителя у него виднелась теплая, не по сезону, синяя фуфайка. Антисоветский материал из библиотечного фонда я все-таки в список включил, но не был уверен, правильно ли проставил абонемент читателя, пользовавшегося этим материалом в порядке допуска. Учитывая эту неточность и особенно дурное расположение духа «язвенника», очевидно вызванное недомоганием (лицо у него было нездоровое, а губы вовсе какого-то пепельного цвета), учитывая это, я весьма волновался, однако на этот раз он отчет просмотрел быстрее обычного и, подписав его, сказал мне:

— Пойдете в кабинет 52 к капитану Козыренкову.

Это меня настолько озадачило и встревожило, что я едва сам себя не выдал.

— А что? — спросил я. — Какие-то неполадки в отчете?

— Там увидите, — сказал мне «язвенник» и, потеряв ко мне интерес, раскрыл какую-то папку со своими текущими делами.

Неведение хуже опасности для людей с богатым воображением, и я всегда стараюсь быстрее достичь ясности, даже для меня неприятной. Торопливо, чуть ли не бегом, миновал я коридор второго этажа, одним махом взлетел по лестнич-

ным маршам и с колотящимся от резкой перегрузки и волнения сердцем постучал в кабинет 52. Но едва я увидел капитана Козыренкова, как мои тревоги рассеялись, даже еще до того, как он успел мне что-либо сообщить. Это была полная противоположность «язвеннику», совсем еще молодой крепыш, может, даже и моложе меня, то есть и тридцати ему не было. Рукопожатие у него было спортивное, и весь он источал силу и, я бы сказал, некоторую беспечность.

— Слушай, Цвибышев,— сказал он мне,— почему ты до сих пор не отчитался по командировке?

— Мне никто не сообщал,— сказал я.

— Ну ясное дело,— сказал Козыренков,— это у нас случается, напутают. На тебе и деньги висят и отчет. А ты ведь по сведениям местного отдела вел себя молодцом. Участвовал в задержании опасного преступника, был ранен... Лебедь ведь вышку получил, расстрел... Судили уже бандита...

Я с трудом сообразил, что речь идет о русобородом, руководившем толпой громил, том самом русобородом антисемите-профессионале, которому я, защищая Машу, вцепился в глаза. Козыренков вышел из-за стола и, подойдя, дружески хлопнул меня по плечу.

— Да ты прирожденный оперативник, а тебя на геморройную работу посадили, в архив. Вот что, друг, поработаешь у нас по совместительству, покажешь себя хорошо, совсем тебя заберем. Пусть Сидорчук (это майор-«язвенник») себе на ту должность бабу подбирает или такого же, как он, инвалида. Ты сколько у него получаешь?

Я назвал оклад.

— Ах, это тебя, значит, по библиотеке проводят,— сказал Козыренков,— у нас ты только надбавку получаешь. Ясно. Что ж, я тебе обещаю, что на первых порах помимо той надбавки и по нашему отделу доплату получишь. Много не обещаю, но получишь. Кроме того, тебе по характеру работы карманные деньги полагаются. Ну, между нами говоря, деньги эти неподотчетны, то есть проверить, куда ты их истратил, нельзя. Сумеешь обойтись без них, используешь для своих нужд. Это уже от способностей зависит. Все-таки компании, молодежь, пыль в глаза,— он засмеялся,— да это уж тебе Даша объяснит.— Он снял трубку внутреннего телефона и сказал: — Козыренков говорит. Пусть зайдет Даша.

Нельзя сказать, что Даша сразу же меня обворожила, наоборот, вначале она мне активно не понравилась как женщина. Лицо у нее было продолговатое. Его даже можно было бы назвать иконописным, если б не широкий, несколько приплюснутый, почти негроидный нос. Волосы у нее были длинные,

ниже плеч, но не густые и висели не общей массой, а отдельными как бы прядками. Руки тонкие, со столичным маникюром, не очень ярким по тогдашней моде. На руках браслеты средней стоимости — не дорогие и не дешевые — из серебра и янтаря. Если помните, в первый период моего пробуждения, и общественного и мужского, я уже имел дело с уличными женщинами, но там, в провинции, все это было весьма топорно и глупо, с пьянкой и песней. Здесь же эта явно развратная женщина понимала толк во всех тонкостях своей профессии, и в действиях ее и в ее жизненных проявлениях не было ни лихого надрыва потерянной души, ни виноватости души кающейся. Эта женщина знала, что делать, и не боялась ни своей судьбы, ни своей жизни. Ей было поручено ввести меня в одну из молодежных компаний, куда она была вхожа. Что же касается ее личных взаимоотношений со мной, то тут, думаю, никаких официальных распоряжений она не получила и действовала по своей инициативе. Во всяком случае, я впервые ощутил на себе силу воздействия не женской красоты и обаяния, а женского кокетства и женских хитростей. И не в том дело, что это случается редко, а в том, что ни обстоятельства моей жизни, ни сам я лично до сих пор не представляли интереса для женщин такого рода.

Едва мы вышли из кабинета, как она вынула из сумочки завернутый в фольгу кусочек шоколада, разломала его пополам и одну половинку протянула мне. Поблагодарив, я хотел было положить свой шоколад в рот, но она улыбнулась, показав, кстати, довольно некрасивые, росшие неровно зубы, и, не скрывая свой дефект (подлинная женщина, как я понял, никогда не скрывает своих дефектов), зубами своими схватила шоколад из моих пальцев и осталась очень довольна, когда я догадался, взял своим ртом шоколад из ее рук, причем коснулся губами кончиков ее холодных пальцев. (Ее пальцы, несмотря на теплую погоду, были холодны.) Она засмеялась и потрепала меня по щеке, совершенно не осознавая того, что это уж слишком похоже на дрессировку, а может быть, она дурно была информирована о том, какой я мнительный. Во всяком случае, ее прикосновение к моей щеке мне не понравилось, и я начал было настраивать себя против моих собственных глупостей с этой шоколадкой, но тут она, несколько поотстав (мы спускались по лестнице), вдруг как бы бросилась вниз, будучи уверена, что я ее подхвачу, и мне ничего не оставалось, как, подхватив ее, ощутить в своих руках ее тело. Впрочем, в этом ее кокетстве было что-то детское, что-то наивное, если признаться. Вышли мы с ней не через главный вход, а через боковую дверцу-калиточку, причем она пропуск

не предъявила, а лишь улыбнулась дежурному офицеру, который, очевидно, ее знал в лицо. Здесь мы до вечера расстались, назначив свидание на Тверском бульваре, ибо компания, куда Даша должна была меня ввести, собиралась в квартире, расположенной неподалеку от бульвара.

Компания эта, скажу прямо, была мелкого пошиба, пожалуй, даже провинциальная. (И в столице случаются провинциальные компании.) За столом царила совершенно студенческая бедность, которую, тем не менее, не старались, как у Ятлина, например, выставить в знак протеста «против ожиревших мещан», а наоборот, старались прикрыть. Жареная дешевая колбаса украшена была веточками из зелени и красиво уложена на блюде. К чаю подали желейный мармелад. Из напитков была лишь одна бутылка вина, да и та принесенная мной. Вернее, куплена она была Дашей, но передана мне, поскольку мужчине это более соответствует. (Так вот на что выдавались неподотчетные карманные деньги.) Собралось нас семь человек (значит, кроме меня и Даши еще пятеро), распорядилась хозяйка, девушка лет двадцати пяти, очевидно, тревожащаяся уже за свою женскую судьбу и мучающаяся своим девичеством. (Я определил это по блеску ее глаз и нервным движениям, в которых чувствовался нетронутый и неистраченный женский элемент.) Должен заметить, что в наше время женщина вообще весьма часто становилась центром компании, если не духовным, то по крайней мере организационным. (Хоть были случаи — и духовным.) Едва мы уселись за стол, как я приступил к делу, то есть начал осматриваться и анализировать. Напомню, что я и ранее выработал неплохие приемы и навыки в анализе компаний, и это мне ныне весьма пригодилось. Сели мы с Дашей рядом, представляя из себя пару, сформировавшуюся уже до компании. Но остальные пары только еще формировались, причем один парень был лишний. (Лучше бы лишней была девушка, тогда события могли развернуться острее.) Тем не менее это была ничтошка. Я знал уже по некоторому своему опыту, что любую компанию можно расшевелить, даже самого мелкого пошиба, как эту. Собралась компания явно при попустительстве родителей хозяйки, людей, судя по всему, бедных и тратящих деньги на содержание дочери. Родители эти, старые уже люди, когда компания собралась, пожелали нам доброго вечера и ушли, должно быть, в гости или к родственникам, чтобы не мешать молодежи. Дочь их, то есть хозяйку, звали Люсей, и не то чтобы красивой, но даже миленькой ее можно было назвать с большой натяжкой. Личико ее было бы еще сносным, но ноги бесформенны и тяжелы. (Наследство от матери.

У матери ее все это достигло конца в своем развитии и напоминало некие оплывшие большим жиром столбы.) Тем не менее Люся, вполне естественно, тоже хотела женского счастья, и ей явно нравился молодой, бедно одетый провинциал. Причем провинциал не в смысле нарицательном, а в прямом, возможно даже, прибывший в столицу буквально на днях. У меня на этот счет глаз наметанный. Я был уверен также, что провинциал этот постарается себя в компании утвердить, если ему в этом помочь, но он, наверное, встретит сопротивление со стороны того столичного блондинчика, который сел, кстати, по другую сторону от Даши. Помимо этой троицы была еще пара, правда, не сформировавшаяся, но уже потянувшаяся друг к другу, и я их из активных действий заранее исключил. Это были студент и студентка средних курсов, ничем не примечательные, по-моему, во всяком случае, на первый взгляд недалекие и робкие. Пока усаживались, знакомились, приступили к ужину, прошло не менее получаса, и все это время разговор шел копеечный, урывками, причем весьма скованный моралью. Было, правда, несколько случаев, когда касались скользких тем, но при этом отделялись весьма отдаленными стыдливими намеками и даже краснели. Скользких тем касались, разумеется, лишь морального плана, но ни в коем случае не политического. Я отлично понимал, что в компаниях подобного рода, в основе которых лежат мужские и женские желания, политическая смелость невозможна без смелости сексуальной. Впрочем, возможен был и ход от противного, но тут можно было и очень напутать. Не знаю, откуда Даша догадалась об этих моих размышлениях, во всяком случае, можно сделать вывод, что работник она опытный.

— Гоша,— сказала она, поглядев на меня в упор,— будь рыцарем, принеси, милый, платочек из моей сумочки в передней.

Я не успел среагировать, как вскочил блондинчик и сказал:

— Если угодно, я принесу, я ближе к двери.

Это было уж попросту глупое хамство и элементарная наглость. «Впрочем,— подумал я,— поведение его неудивительно. Эта проститутка успела и с ним уже пококетничать».

— Нет, Витя, ты посиди,— сказала Даша (она и имя его знает. Впрочем, ведь познакомились).— Гоше весьма полезно поучиться мужскому рыцарству даже и в мелочах,— и Даша засмеялась так, что ненатуральность ее смеха могло отличить только опытное ухо.

Раздраженный, я вышел в переднюю и принялся рыться в ее сумочке такой взъерепенный, что даже не услышал, как Даша вышла за мной. Она коснулась моего плеча и, когда я обернулся, шепнула мне без кокетства, а скорее делово:

— Не вздумайте первым рассказывать политические анекдоты,—причем шепнула на «вы» и достаточно остро, словно скомандовала.

— Да с чего это вы взяли? — отпарировал я.

— И держите себя поаккуратнее,— не среагировав на мою отповедь, а ведя свою линию, продолжала Даша.

Самое интересное, что, проведя рекогносцировку и решив, что расстановка сил определена, я решил действовать методом от противного, то есть от сальностей в политике к сальности в морали. Мне казалось, что узел — хозяйка дома — провинциал — блондинчик,—растревоженный подобным моим ходом, оживет и возбудится. Более того, анекдотик был мною приготовлен, и для начала я отобрал именно его, потому что слышал этот анекдотик еще в первые годы политического послабления, чуть ли не в 54-м году, а может, и ранее, сразу же после смерти Сталина. То есть, если по прежним суровым временам он был уголовно наказуем, то ныне в компаниях подлинного политического протеста его сочли бы ничтожным и беззубым. Но здесь он, по-моему, был бы кстати. Речь шла о секретаре райкома партии, которому после операции хирург забыл вложить в череп извлеченные мозги. «Подумаешь,—ответил секретарь, когда ему о том с тревогой позвонили,—но партийный билет ведь со мной». Таким образом, с помощью этого анекдота я намерен был возбудить компанию, и чутьем опытного работника Даша засекала это мое намерение. Дальнейшему разговору нашему помешал наглец блондинчик, который вырос в дверях передней и убого пошутил:

— Уже выясняете отношения?

Я едва сдержался, чтоб не толкнуть его, а Даша засмеялась снова весьма натурально, точно он сказал нечто остроумное, и даже взвизгнула по-женски. (Она, кстати, умела очень профессионально взвизгивать, так что мужчин охватывало яростное желание.) Несмотря на то что анекдот пришлось отменить, личный элемент и личное пристрастие мое не утихло, и я решил поддержать провинциала против столичного блондинчика, тем более что хозяйка дома Люся благоволила к провинциалу, может быть, решительней на него рассчитывая. После распития принесенной нами бутылки вина компания, естественно, ожила, но выражалось это главным образом в песнях, причем комсомольско-молодежных,

и смехе. Провинциал вел себя крайне робко и на подковырки блондинчика не отвечал. Все это меня злило, но тем не менее пренебречь заявлением Даши я не мог и в открытую выступить против блондинчика оснований не имел. Поэтому, когда в разноголосице я уловил заявление в приличной компании протеста мелкое, но здесь весьма солидное, обнадеживающее и исходящее с той стороны, которой я решительно пренебрег, а именно, от студенческой пары, сердце мое радостно застучало, ибо всякий человек рано или поздно входит во вкус своей работы.

Не знаю, по какому поводу я упустил начало, но студент (его тоже звали, как и блондинчика, Витя), но Витя этот заявил:

— Стоит выйти на улицу, как поражает отсутствие чувства долга у большинства. Это одно из главных растущих пороков современного общества.

Вот тебе и молчальник, заявил, как сформулировал.

— Это о каком же обществе идет речь,— сразу же взбеленился блондинчик,— послесталинском, что ли?

— Я имел в виду более длительный период,— ответил Витя-брюнет. (Он был брюнет.)

Спор этот был глуп для меня и скучен, учитывая те бесконечные идейные перепалки, в которых мне приходилось участвовать. Но Даша крайне ожила и написала мне на салфетке губной помадой: «Теперь можно». Меня покорило, что она так грубо мной распоряжается, тем не менее я скомкал торопливо салфетку (ошибка — надо было сперва вытереть губы, а потом уж скомкать, к счастью, никто не заметил), итак, я скомкал салфетку и рассказал заготовленный заранее анекдот о секретаре райкома партии. Анекдот особого смеха не вызвал, скорее вежливые улыбки, но, тем не менее, блондинчик выложил свой, конечно же еврейский, очень злой и смешной. Особенно смеялась хозяйка дома Люся, по-моему, еврейка, по крайней мере частично. Смех ее носил помимо всего прочего интернациональный характер и давал понять, что она этим анекдотом ни в коей мере не оскорблена. Не знаю, какое движение после этого произошло в душе провинциала, но, во всяком случае, он полез в боковой карман и извлек оттуда несколько листков, напечатанных на папиросной бумаге.

— Вот,— сказал он сухо и остро, глядя на блондина (пожалуй, провинциал тоже был еврей),— вот чем люди занимаются... Есть наряду с анекдотиками и живая кровь еще на свете...

Выразился он топорно и туманно, но искренне. Я чувствовал, что в провинциале этом что-то сидит, но не мог к нему

подступиться, и вдруг такая удача. Молчал, робел и вдруг на порыве сам протянул, причем публично, семидесятую статью Уголовного кодекса, а именно «антисоветскую агитацию». А если учесть, что папиросные листки были в нескольких экземплярах, то налицо была и 71-я статья, а именно: «антисоветская организационная деятельность». На папиросной бумаге был напечатан некролог на смерть Андрея Лебеда, скульптора и собирателя русской старины, умершего, как указывалось, «в застенках КГБ». И надо же быть такому совпадению! Только сегодня капитан Козыренко благодарил меня за содействие в поимке этого Андрея Лебеда. Речь шла о русобороте, которому я вцепился в глаза, защищая Машу во время экономического бунта.

Остаток вечера помню плохо. Меня почему-то охватил озноб, и я старался не смотреть на провинциала, неожиданно раскрывшегося в такой степени. Вскоре мы с Дашей ушли. За нами увязался блондинчик. Остальные нас не удерживали, ибо в компании как раз осталось две пары, которые явно тянулись друг к другу, разгоряченные вином и духотой. Несмотря на раннее лето, вечер был действительно душный. Парило, и собирался дождь.

— Ну, молодцом,— сказала мне Даша, когда под каким-то предлогом ей удалось отделаться от блондинчика,— вот видишь... Откровенно говоря, на такой улов я не рассчитывала. Я тебя в мелкую компанию сегодня повела. С учебной целью,— она улыбнулась и достала из сумочки экземпляр некролога,— свеженький экземпляр... Семидесятая статья, антиагитация... Будет чем на летучке блеснуть, из провинции иногда этакое вынырнет... Да что с тобой?

— Голова трещит,— с напускным равнодушием ответил я и подумал: «Не очень-то я с тобой пооткровенничаю, стержва».

— Ну пойдём ко мне, отдохнешь,— сказала Даша и добавила: — Или ты жене своей верен?

И тут меня осенило: издевается... Эта уличная девка знает обо мне многое, если не все. Возможно, она знает и Машу, мою безнадежную любовь к ней и ту позорную роль, которую мне в Машинной семье предназначили. На душе стало особенно подло, я махнул рукой и сказал:

— Пойдем...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Заснуть я, разумеется, не мог, лежа рядом с Дашей на очень широкой постели. Даша жила в отдельной однокомнатной квартире. Было у нее не очень богато, но «с шиком»: какие-то особые обои с золотистыми разводами, фарфоровые заграничные статуэтки, обтянутые шелком пуфики и дорогая, из мебели единственно по-настоящему дорогая, кровать. Кровать, повторяю, была настолько огромна и чуть ли не квадратна, что на ней можно было спать не только вдоль, но и поперек. После этой ночи, когда мне временами становилось попросту физически больно, как во время пыток, после всего, что на меня обрушилось, я лежал совершенно разбитый и опустошенный. В нескольких местах на теле моем сладко зудели глубокие царапины, болела поясница и ныл позвоночник. Даша же лежала в спокойной и привычно расслабленной позе, совершенно обнаженная, поверх одеяла и, кажется, довольно быстро начинала погружаться в сон, дыша ровно и глубоко. В комнате царил острый запах чего-то глубинно-телесного, в смеси с знакомым, опьяняющим запахом ландыша. Чувствуя, что заснуть я не могу, и желая отвлечься и прийти в себя, я зажег ночник, протянул руку, достал лежащую неподалеку Дашину сумочку и извлек оттуда добытый в компании материал. Некролог назывался: «Он умер за Россию». Но начинался он не так, как обычно в некрологах, с имени и заслуг покойного, а с фразы совершенно политического характера и с элементами славянофильства: «Русский мужик не раб и рабом не был, чего никогда не понимали его угнетатели». Далее значилось: «Горячая симпатия к русскому мужику всегда характеризовала такие русские характеры, каким был умерший мученической смертью Андрей Лебедь. Конечно, русский мужик любит и верит всякой власти, такова уж его природа, и недовольство свое он направляет первоначально не против власти, а против чиновников, якобы власть эту извращающих. Но недовольство есть недовольство, и оно расшатывает установленный коммунистами в России порядок, взятый ими напрокат из иностранных, чуждых нашей природе космополитических источников. Но для того, чтоб недовольство это стало организованным и осмысленным, нужны такие люди, как Андрей Лебедь, горячо любящие не только Россию в целом, но и каждую мелочь, с ней связанную. И как важно, чтоб люди эти не гибли преждевременно в руках своих кровавых палачей, как важно беречь их, ибо сами себя они беречь не умеют».

Чтение этой бумаги не только не успокоило меня, но каким-то образом причудливо слилось воедино с тем, что недавно происходило между мной и Дашей. Живое лицо русобородого встало передо мной у противоположной стены среди слабо мерцающих при свете ночника золотых обоев. Даша между тем уже спала, лежа все так же обнаженной, с прекрасно развитым, спортивным телом. Мне стало вдруг страшно, однако пришлось несколько раз толкнуть Дашу, прежде чем она проснулась. Она посмотрела на меня удивленно.

— Ты чего? — спросила она.

— Так, — ответил я, не найдя, что бы такое соврать по поводу моих действий.

— Чудак ты, — сказала Даша, прикрывая одеялом свою обнаженную грудь, — ты почему не спишь?

— Я его помню, — сказал я, — скульптора этого...

— Андрея Лебеда? — спросила Даша, зевнув, — 64-ю «а» имел, измена родине.

— Даша, — сказал вдруг я, — Даша, знаешь, я ведь ненавижу Россию...

Сам не знаю, как это из меня вырвалось и как я раскрылся перед этой случайной девкой. Скорей всего мной вдруг овладела ужасная тоска и безразличие к себе. Но, к величайшему моему удивлению, Даша на это мое признание среагировала вяло.

— Да, ну и что? — сказала она. — Что ты переживаешь, миленький? Любишь ты Россию или не любишь, какая разница, если ты русский. Русским родился, русским и помрешь, из своей шкуры тебе не выскочить. В чужую шкуру одни только евреи и умеют влезать, — сказала она с неожиданной злобой, и женская ее вялость разом пропала, — Россию ненавидеть еврею страшно, это согласна... Поэтому он ей все время в любви и клянется... А вот Маша твоя, эта со своим Русским обществом имени Троицкого, вот бы кого по 64-й «а» привлечь...

Должен сказать, что тут Дашу безусловно занесло, такое бывает с девкой путаной и циничной, если коснуться чего-то искренне наболевшего. Как я и предполагал, меж ней и Машей что-то было ранее, возможно, обе, совсем молоденькими девушками, может быть, еще школьницами, участвовали в оппозиционных послесталинских веяниях. И вот теперь Дашу прорвало. Впрочем, Даша тут же опомнилась, но было уже поздно. Вскочив, я лихорадочно одевался. К счастью, Даша была достаточно опытна, чтоб, осознав свою ошибку, не усугублять ее и не удерживать меня. Мне кажется, стоило ей произнести хотя бы одно еще слово, как я бы ее растоптал.

(Конечно, и тогда не растоптал бы, но так подумалось.) Одевшись в полной тишине, я выбежал на улицу. (Даша жила на первом этаже.) Но, разумеется, домой, то есть в квартиру журналиста, не пошел, а весь остаток ночи гулял по набережной Москвы-реки. (Даша жила неподалеку от набережной.) Мыслей особых у меня не было, и я не могу сказать, что это была ночь каких-либо важных раздумий. Просто гулял да слушал плеск речных волн. Может, потому я и явился на службу хоть и с горячими от бессонницы глазами, но зато с посвежевшей головой. Да и вообще, тогда, выбежав от Даши, я думал, что произошло нечто чрезвычайное, в действительности же все быстро улеглось и вошло в русло. С Дашей я встретился в тот же день на работе в управлении во время сдачи отчета. Вместе сидели на лутучке. Затем вечером мы вместе «работали» в некоей компании, весьма, кстати, шумной, с пьянкой и массой антисоветских политических анекдотов. Остаток ночи (был именно остаток ночи, ибо разошлись далеко за полночь), остаток ночи я провел у Даши. В разговорах со мной Даша вела себя теперь осторожней и жены моей не касалась вовсе. О делах она также почти не говорила, за исключением замечания о том, что «компания дрянь» и весь ее шум и антисоветчина не более, чем «плотва», так что «и в докладе почти не о чем сообщать и вообще вечер потерян».

Должен отметить, что удача, подобная подпольному некрологу на смерть Андрея Лебеда, извлеченная из серенького провинциала, вообще была чуть ли не единичной, и последующие компании в целом походили на компанию второго дня с шумной, но весьма глупой и пустой антисоветчиной, которая в серьезный расчет не принималась. (Кстати, тут градация тонкая, и антисоветский анекдот часто ценится гораздо ниже какого-либо совершенно аполитичного вирша, в чем я убедился позднее и, к сожалению, на случае, весьма для меня неприятном.)

Вскоре эти компании мне крайне наскучили, ибо посещать их я был обязан четыре раза в неделю. Что же касается Даши, то связь с ней вошла в спокойное бытовое русло (в значительной степени благодаря Дашиному женскому опыту), и благодаря этой связи во мне, пожалуй, произошли определенные физиологические изменения, то есть я стал менее обнажен в чувствах, стал мягче, и вновь явились даже элементы скептицизма и созерцательности. Пишу вновь, ибо это со мной случалось и ранее, но теперь я более ценил подобное и старался извлечь из своего состояния максимум возможностей, зная по опыту, что такое спокойствие ненадолго. И вот в этом-то состоянии у меня произошел разговор с журнали-

стом, моим фиктивным тестем. Собственно, общения с ним было достаточно, но если я называю то конкретное общение-разговор и выделяю, значит, в нем имелось нечто от других случаев отличное. Правда, начался он стандартно.

Я сидел в роскошном кабинете журналиста, за его широким дорогим столом, закончив очередной отчет по библиотеке. (Отчет по отделу капитана Козыренко как таковой не составлялся, по крайней мере от меня это не требовалось, и все ограничивалось устными сообщениями, которые стенографировались и которые, прочитав, я подписывал.) Итак, закончив отчет, я сидел погруженный в размышления неопределенные, что со мной часто случалось в последнее время, и я бы даже сказал, что это были не размышления, а дремота, о чем даже свидетельствовала поза — поставив локти на бумаги и подперев руками голову. Стук журналиста я к тому времени уже изучил, стучал он, как бы скребясь в дверь, а может, и впрямь скребся. В этом, конечно же, была поза и игра. Как выяснилось в разговоре, тут был «Король Лир», но в современном варианте, то есть который относится к своему падению не трагически, а скептически и насмешливо. Привыкнув к подобному, я и в этот раз на стук внимания не обратил, лишь поморщился досадливо, как на нечто неприятное, но неизбежное. Не обратил я внимания и на то, что, войдя на сей раз, журналист не попросил с ироничной усмешкой у меня разрешения войти и взять «книжечку». Кстати, в его кабинете сидел я не так уж часто, лишь во время составления отчета, и причем работал я там по предложению Риты Михайловны. Но тем не менее журналисту требовалась «книжечка» именно в тот момент, когда я занимал его кабинет. Но я к этому привык и не придавал подобным фактам значения. Учитывая все это, а также мое собственное состояние, можно понять, почему я не сразу разглядел, что глаза журналиста на сей раз не полны веселого скепсиса, а, наоборот, набрякли и, войдя, он ничего не сказал и не спросил, а бочком как-то двинулся к одному из книжных шкафов. (В мое отсутствие приходил Коля, разумеется, со скандалом и обличением, но об этом я узнал позднее, причем значительно позднее, ибо приход Коли от меня тщательно скрывался.)

Некоторое время мы провели в кабинете молча, я в созерцательной дремоте за столом, журналист же в неудобной позе на подлокотнике кресла, подвинутого к книжному шкафу. Когда человек пребывает в приятной созерцательной дремоте, посторонний острый звук (а всякий звук воспринимается тогда как острый) напоминает грубый толчок. Поэтому

на первые громкие слова журналиста я среагировал раздражительно. Слова же эти были:

— Беспокойное любопытство, более, нежели жажда познаний, была отличительная черта ума его...

Я думал, что журналист обращается ко мне, но затем понял, что он просто прочел вслух, возможно даже невольно, фразу из книги, которую держал в руках.

— Вы о чем? — спросил я, как бы стряхивая остатки дремоты и пробуждаясь, ибо фраза эта и для меня прозвучала как неприятный первоначально, но зато приводящий в бодрствование звонкий и заманчивый звук.

— Удивительное сходство, — сказал журналист и поднял на меня новые свои (по крайней мере, для меня новые), набрякшие, уставшие от слез, стариковские глаза, — ах Пушкин, Пушкин Александр Сергеевич... Царское правительство, заковавшее великого русского мученика Радищева в кандалы, не могло подвергнуть его большим издевательствам, чем великий поэт России Пушкин...

Вот в каком странном направлении повернулись мысли журналиста, причем совершенно для меня нелогичном. Но в действительности, если знать толчок, причину (посещение горячо любимого сына, обличавшего и, по-видимому, оскорбившего отца), а также если знать направление раздумий журналиста в последнее время (я вслед за Ритой Михайловной и домработницей Клавой начал относиться к журналисту как-то несерьезно, как к личности больной и вчерашнего дня, то есть ныне представляющей лишь предмет семейной заботы и позора), если знать причину, то можно понять, что у журналиста были раздумья, и раздумья серьезные, я бы даже сказал — подытоживающие жизнь раздумья. (Хоть было ему чуть более шестидесяти и при его материальном благосостоянии итоги эти можно было бы подводить лет на десять — пятнадцать позже.) Так вот, если знать все это, в словах журналиста можно было обнаружить не только логику, но и закономерность. Более того, даже и честолюбие еще не совсем покинуло журналиста и еще не совсем вытеснено было скепсисом, особенно в горькие для сердца минуты. И действительно, встав с подлокотника кресла и приблизившись ко мне, журналист прямо и без аллегорий заявил, что «когда осядет пыль века и потребуются мученик, который в прошлом был не только уничтожен тираном, но и позорно высечен современниками, то лучшей кандидатуры, чем он, не найти». И далее, уж без обиняков, назвал себя советским Радищевым. Впрочем, без аллегорий вообще и даже элементарных фактологических неточностей все-таки не обошлось. Начнем с того

общеизвестного положения, что журналист от тирана не претерпел, а наоборот, пострадал впоследствии, после смерти тирана. Во-вторых, Пушкин современником Радищева не был, что журналист, кстати, тут же сам понял, ибо добавил:

— Хотя я еще мечтать должен, чтоб будущий гений, возможно еще не родившийся, обратил бы на меня внимание и высек публично, вопреки установившемуся обо мне мнению...

Это и был наиболее честолюбивый момент в речи журналиста. (Вообще то, что я назвал разговором, было скорее речью моего собеседника. Я же слушал хоть и с вниманием, но безучастно.) Итак, наиболее честолюбивый момент отличался тем, что журналист выпрямился с надменным, холодным выражением и оглядел меня так, что во мне нечто екнуло, и я даже забеспокоился, не выгонит ли он меня вон, не только из-за своего широкого стола, но и вовсе из кабинета, а может, и из квартиры. Однако вслед за взлетом последовал спад, и мысль о Радищеве, очевидно любимом писателе журналиста, жертва которого осмеяна была Пушкиным (так журналист выразился), на каком-то этапе неизбежно должна была привести к чувству горечи и смять журналиста сперва душевно, а затем и физически. Так и случилось. Журналист отступил, отошел от широкого своего стола, оставив меня сидящим в мягком его кресле, сам же вновь уселся в неудобной позе на подлокотник другого кресла, подвинутого к книжному шкафу.

— Ах ты, Боже мой,—сказал он, опустив набрякшие красные веки свои,—как меня ненавидят собственные дети.

Я тогда подумал, что это пафос и общие рассуждения, а не результат конкретных действий, случившихся в мое отсутствие.

— Ах ты, Боже мой,—продолжал журналист,—как не умеем мы пользоваться уроками друзей. Даже великие люди делают это с большим опозданием... У Радищева был прекрасный друг,—продолжал он совершенно без объяснений, даже не задумываясь, что я, человек случайных знаний, могу чего-то не понимать.—Как сказано у Пушкина: «Ушаков был от природы остроумен, красноречив и имел дар привлекать к себе сердца. Он умер на двадцать первом году своего возраста от следствий невоздержанной жизни; но на смертном одре он еще успел преподать Радищеву ужасный урок. Осужденный врачами на смерть, он равнодушно услышал свой приговор; вскоре муки его сделались нестерпимы и он потребовал яду от одного из своих товарищей. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений».

Единым духом прочтя этот отрывок, журналист поднял голову и поглядел на меня словно бы с вопросом, словно бы ожидая совета по некоему важному для него решению, может быть, решению роковому. Но я, разумеется, молчал.

— Ах ты, Боже мой,— снова вздохнул он тогда постарушечьи (эти вздохи начали меня раздражать),— не воспринят ли урок Саши Фадеева так же бесплодно его друзьями? И с таким же запозданием... Вы ведь знаете историю Христофора Висовина, мы ведь с вами неоднократно касались... Да и вы с ним дружны были, впрочем, как и дочь моя.

Хочу напомнить, что журналист давно уже не говорил толково, пожалуй, при мне последний раз он говорил толково и логично на студенческом диспуте, а после пережитых крайностей в мышлении его то и дело зияли провалы. Однако упоминание Висовина, человека, который давно был заслонен нынешними проблемами и личностями и вместе с десятками иных личностей и проблем, как мне казалось, давно ушел в небытие из моей жизни, подобно, например, личностям и проблемам, кружившим вокруг меня в период борьбы за койко-место, итак, упоминание Висовина меня насторожило. Что-то в этом упоминании показалось мне свежим, то есть по горячим следам идущим, какая-то непосредственная живая опасность, а не мучения совести грешного старика, которыми, в конце концов, я мог бы и пренебречь.

— А что с Висовиным?— нарушил я молчание, причем торопливо, отвергая тем самым попытку журналиста углубиться вновь в сравнение своей судьбы с судьбой Александра Радищева.

— Он опять на свободе,— сказал журналист, скорей рассеянно, чем растерянно, хоть первоначально я думал, что он именно растерян от моего вопроса.

В журналисте явно произошел новый поворот, возможно, он даже о чем-то вспомнил благодаря моему вопросу и, кажется, хотел уйти, встав с подлокотника кресла.

— Подождите,— сказал я, ощущая тревогу и торопливо выходя из-за стола, чтоб в случае надобности удержать старика, ибо, даже не понимая почему, решил, что выяснение о Висовине важно для меня.— Он разве был арестован?— спросил я, подходя вплотную.

— Нет,— сказал журналист, от меня отодвигаясь и, мне показалось, с испугом, мелькнувшим в глазах,— просто он был нездоров и находился на излечении в психиатрической больнице... Да и кто ныне здоров из тех, кого жизнь мяла?... Меня самого бы сдали,— сказал он, потянувшись вдруг ко мне и шепотом.

Теперь настала очередь мне от него отстраниться, но по иной, конечно, причине. Если он в первый момент от меня отступил, то безусловно в страхе, что я его заподозрю в предательстве и в хлопотах по помещению Висовина в психиатрическую больницу. Я же отстранился исключительно из невольной брезгливости, ибо Рита Михайловна, замученная трудными взаимоотношениями с детьми (особенно с Колей), явно запустила мужа, а он по натуре своей, очевидно, был неопрятен.

— Если б не семейный позор,— продолжал журналист,— меня б давно сдали. Я ведь и сам понимаю... Иногда случается, я дурашлив, но чаще эмоционально снижен... Да, есть такой термин в медицине... Я ведь медицинские книги почитаю, а это первый признак.

— Оставьте свою болтовню,— невольно воскликнул я, забывшись.— Вы мне надоели,— воскликнул я, совсем уж забывшись и не отдавая себе отчет, что гоню хозяина из собственного его кабинета.

Журналист спокойно и даже насмешливо на меня глянул и направился к двери. Лишь когда он ушел, я понял, что он, возможно, вел себя не без хитрости, чтоб сбить меня и не дать приступить к расспросам относительно Висовина, что для журналиста было нежелательно. Я остался в состоянии тревожном, а мною уже замечено, что застрявшая в душе тревога редко рассасывается сама собой. Чаще всего она служит как бы зародышем еще более серьезных испытаний.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Начну с того, что в одной из компаний вскоре я встретил Пальчинского. Напомню, это тот самый тридцатилетний юноша с румянцем на лице, отвергнутый обществом имени Троицкого и в полемике перед уходом совершивший непристойность в присутствии женщин. Меня он видел мельком, как, впрочем, и я его, но благодаря этой из ряда вон выходящей детали я его запомнил. Однако я рассчитывал, что на меня он внимания не обратил, будучи отвлечен тогда полемикой со своими бывшими товарищами, а ныне противниками из общества имени Троицкого. Однако он меня запомнил, не знаю уж почему. Вел он себя в этой компании, разумеется, развязно, публично хватал женщин за недозволенные места и если и рассказывал антисоветские анекдоты, то исключительно с сексуальным уклоном. Впрочем, компания эта и в целом была несерьезной, вольного поведения и самого низкого

пошиба, о чем я заранее был предупрежден Дашей, так что даже и она, женщина развратная, посчитала для себя невозможным присутствовать там, дабы не быть скомпрометированной. Тем не менее мне она явиться туда рекомендовала, поскольку в таких клоаках иногда кое-что и «завалиется», выразилась она туманно, но явно на что-то намекая и порекомендовав быть внимательнее.

В компании той было много водки при полном почти отсутствии закуски (лук, хлеб). Вообще должен заметить, что домашняя компания как общественная организация, возникшая в первые послесталинские годы и носившая первоначально черты гражданской демократической вольности, в нынешнее время деградировала крайне и стремительно, чему способствовали определенные общественные разочарования. Так что люди порядочные предпочитали узкий круг, если не вовсе одиночество, то есть замкнулись. Широко же зажило все незрелое либо попросту непорядочное. Я не хочу сказать, что все компании были столь уж низкого пошиба, как данная, но в целом их характер упростился и принял уличный вид случайных сборищ, так что антисоветчина таких сборищ носила скорей несерьезный и случайный характер. Но иногда в подобном хаосе могли мелькнуть какие-то ниточки, за которые можно было бы ухватиться, как мне объяснил капитан Козыренков при нашей последней встрече. Однако о какой организованной антисоветчине могла идти речь, если вскоре почти все уже были обнажены, причем высовываясь в открытые окна, и кто-то (не пойму, то ли мужчина, то ли женщина — я не оглянулся) укусил меня сзади в шею, так что я вскрикнул от боли и, оттолкнув чье-то навалившееся мне на спину тело, бежал. Бежал, кстати, своевременно и благополучно, миновав на лестнице возмущенных соседей. (Явно назревал милицейский протокол.) Отбежав довольно далеко (улицы две-три), я успокоился и уселся на скамейку, чтоб отдышаться.

Был прекрасный московский вечер, почти ночь. (Встречи в компаниях подобного пошиба начинаются весьма поздно.) Движение транспорта, особенно на этой небольшой улочке, почти затихло, дышалось легко, мягко, изредка мимо шли какие-то люди, как я понял, совершенно уж очнувшись, мирные прохожие, живущие тихой, здоровой и прочной жизнью. И так мне вдруг захотелось всего этого, чему и определения-то не подобрать... Вот такой мирной, бездумной, тихой прогулки перед сном... Я встал, принаравливаясь к вкусному, я бы даже сказал, аппетитному какому-то шагу мужчины и женщины, прошедших мимо. Это были люди среднего воз-

раста, под сорок, но шли они «по-молодежному»: женщина держалась за палец мужчины. Я пошел следом, вдыхая аромат благоухающих к ночи цветов на клумбе и поглаживая шею сзади пальцами, ибо на коже остались зудящие вмятины чужих зубов, как бы дьявольское клеймо, напоминающее, кто я такой и случайность моего нахождения в этой мирной жизни. И действительно, я не успел пройти и несколько шагов, как послышался нервный топот спешащего, почти бегущего человека. Я даже не сомневался, что это ко мне, и попытался уйти, достигнув бокового прохода бульвара. (Дело происходило на бульваре.) Но не успел уйти. Это был Пальчинский.

— Я вас искал,— сказал он,— вы так быстро исчезли.

— Что вам угодно?— сухо отпарировал я, давая понять, что во взаимоотношения вступать не намерен.

— Черт возьми,— обиженно сказал Пальчинский, он явно был крайне обидчив.— Черт возьми, вы, кажется, недовольны? Я тоже многим недоволен, но тем не менее бросился вас разыскивать, чтоб выполнить свой долг гражданина, хоть, признаться, лично вы мне нужны как зайцу венерический диспансер.

Это уже было слишком, все накопившееся за этот кошмарный вечер внезапно нашло выход и точку приложения.

— Убирайся, а то я тебя на куски...— крикнул я, багровея. (Чувствуя прилив крови к лицу.) К несчастью, я при этом особенно сильно ощутил зуд в месте укуса и на глазах у Пальчинского прикоснулся к шее.

— Ах, вот оно что,— сказал Пальчинский и захохотал,— это тебя Валька укусила, ее сексуальный метод... Но шутки в сторону... Считаю своим долгом гражданина предупредить, что Виталий стукач, подослан КГБ...

Этот фортель меня насторожил, хоть я первоначально не понял, о ком речь.

— Какой Виталий?— переспросил я невольно.

— Ну ладно, ладно,— сказал Пальчинский,— я хоть и порвал с теми глупцами из общества имени Троицкого, но считаю своим долгом предупредить... Передайте Маше (он явно не знал моих с Машей взаимоотношений) или Анненкову... или Саше Иванову, если он освобожден из-под ареста... Вот список стукачей,— и, вынув из кармана, он протянул мне отпечатанный на папиросной бумаге список фамилий,— вот,— сказал Пальчинский и ткнул в фамилию посередине,— эти данные получены недавно, и мы думаем опубликовать их в самиздате.

Но я уж не слушал слов Пальчинского, которые звучали для меня смутно, словно издали. В списке предпоследним

числилась и моя фамилия — «Цвибышев». Теперь надо было не торопиться и по возможности все проанализировать. Пальчинский просто запомнил меня в лицо там, у Анненкова, фамилии же моей явно не знает. Разумеется, резкость тона надо менять.

— Вам куда? — спросил я, перестраиваясь на ходу. — Вам какое метро?

— Арбатское, — ответил Пальчинский.

— Очень хорошо, — сказал я, — пойдемте, дорогой побеседуем.

Я надеялся еще кое-что выудить из Пальчинского, однако он внезапно начал читать стихи. Должен сказать, что и стихи в компаниях последнего периода правления Хрущева видоизменились, теряя антисоветскую гражданственность, а более переходя к «антисоветской аполитичности» (выражение капитана Козыренкова).

Вот эти стихи, на которые я, удрученный моим разоблачением и опубликованием моей фамилии в списке стукачей, не обратил внимания. (Я встретился с ними позднее у капитана Козыренкова.)

Дети потные в красных костюмах,
Матери потные в тяжких думах,
Бронзовый загар темноты медовой.
Этого лета вдовы
Плачут на кладбищах, томные и молодые,
Дома висят штаны пустые.
Их любимые, обтертые ваткой,
В земле лежат и воняют сладко.
Ах, как душно вдовам в черных платках,
Белым грудям в черных бюстгальтерах,
Они плачут, и по плечам катится пот,
Щекотно вдовам,
Вдовам тяжело подняться с земли,
Колени у них круглые тяжелы
И зады обливает спинной пот,
А кладбищенский рабочий смотрит странно,
Туманно кривит рот.

Вот с этими-то «аполитичными стихами», но зарегистрированными уже, со входящим номером на штампе в углу мятого листка, я и познакомился в кабинете капитана Козыренкова. Причем я сразу же начал с ошибки, а именно, вспомнив о дружеском разговоре нашем с Козыренковым, высказался откровенно и прямо:

— С этим дерьмом сталкивался, но не думал, что оно подлежит представлению и подпадает под инструкцию.

И тут капитан Козыренков меня ошеломил. Куда дева-

лось его простецкое расположение ко мне и его спортивная откровенность. Он затрясся, побагровел, ударил кулаком по столу, в общем, повел себя точь-в-точь как обычный чиновник-канцелярист, получивший нагоняй от начальства впервые за свою безупречную службу и крайне напуганный этим нагоняем, а поэтому ненавидящий того, кому он доверился и кто доверия его не оправдал и подвел.

— Ты что, — крикнул капитан Козыренков, — в белых перчатках работать хочешь?.. Ты что наделал?.. Материал попадает к нам случайно, через случайные каналы... Такое дело упустил...

Тут уж он сам, пожалуй, понял, что перехлестнул, уселся и сказал тише и, как мне показалось даже, с некоторым раскаянием за откровенную грубость:

— Ты понимаешь, что наделал? Ведь там на крючок целую банду взять можно было... Связь с иностранцами... Крупных наших врагов морально можно было опорочить... Разврат в данной ситуации — это даже лучше политических обвинений, а ты сбежал...

— Противно мне стало, — сказал я тихо, ибо с самого начала моего разноса пребывал не в страхе, а в какой-то глубокой тоске, — грязно там... (Я не решился говорить о списке, который видел у Пальчинского, ибо список этот также не был мной добыт и представлен.) — Грязно там, — повторил я.

— Грязно, — согласившись со мной, произнес капитан Козыренков, — но ты пойми, на что пошел, кто за нас будет грязную работу делать? Мы ассенизаторы и водовозы, как сказал Маяковский. Ту компанию иностранцы посещали, а взял их случайно наряд милиции, по случайному вызову какого-то соседа. Понимаешь, какой нам щелчок по носу. Не говоря уже о том, что все было проделано не профессионально, лучший материал уплыл, а попало то, что под рукой... Следственный отдел рвет и мечет, папки у них пустые... На днях будет фельетон в центральной газете о той банде, но это не от хорошей жизни, а для того, чтоб создать общественную атмосферу вокруг дела... Гневные письма трудящихся взамен ценнейшего следственного материала... Вот так, брат...

В это время в дверь постучали. Капитан Козыренков быстро кивнул мне на стул, сам сел за стол против меня и пригласил войти. Вошла Даша и, не глядя на меня, ровным голосом изложила причины, по которым считает дальнейшее привлечение меня к работе нецелесообразным. Из всего ею сказанного я понял лишь то, что она меня топила. (Впрочем, может быть, список, виденный мной у Пальчинского, уже был известен в нашем учреждении.) Что касается Даши, то, как

я узнал позднее, положение ее было еще хуже моего. У Даши накопилось к тому времени достаточно просчетов и срывов, но главное состояло в том, что, будучи направлена в качестве переводчицы к какому-то иностранцу, согласно серьезному заданию, вместо того, чтоб задание выполнить, спуталась с этим иностранцем и чуть ли не полюбила его. Все это в точности выплыло несколько позже, но и тогда она была уже на подозрении. Причем иностранец этот был уже человек немолодой, с лысиной и отвисшими щеками любителя крепких напитков. Я видел его мельком недели через две здесь же у Козыренкова, где он давал показания вместе с Дашей. Так вот Даша эта заявила во всеуслышание, что полюбила впервые в жизни и ей не страшно теперь ничего и она на все готова. Даша осуждена была достаточно сурово, но, не отсидев и четверти положенного времени, она якобы была досрочно освобождена какими-то таинственными хлопотами, чуть ли не через министерство иностранных дел, и вместе с иностранцем выехала в Швецию. Впрочем, по другим слухам, она вскоре после того, как была осуждена, умерла в каком-то уральском концлагере от воспаления легких.

Но все эти факты, слухи и противоречия были уже потом. Тогда же, в кабинете у Козыренкова, она дошла до того, что рассказала даже то, что я по оплошности и в мужском забвении сообщил ей в постели, то есть о моей ненависти к России. Но капитан Козыренков на эту деталь как раз внимания не обратил и словно пропустил мимо ушей.

— Стерва,— сказал он, когда Даша вышла,— стерва, нашкодила и на чужом горбу теперь хочет выехать. Но положение твое, если так по-честному сказать, действительно нелегкое. Незавидное у тебя положение. Тут еще майор Сидорчук на тебя докладную катанул. Ты там что-то с антисоветским библиотечным материалом напутал...

«Значит, и это всплыло,— подумал я с горечью и тоской,— одно к одному».

— В общем, так,— сказал Козыренков, понизив голос,— мой тебе совет, подумай, кто б за тебя мог слово сказать?

— Степан Степанович,— подумал я вслух о подполковнике, первом моем начальнике.

— Да нет,— сказал Козыренков, барабаня пальцами по столу,— человек он не плохой, но в такую ситуацию вмешиваться не будет... Хотя попробуй, желаю тебе,— и он совершенно уж дружески пожал мне руку.

Началось все со злобы и крика, а кончилось по-доброму, и это меня взбодрило, и домой я шел широким шагом. Безусловно, обращаться надо было в тот отдел, где я начинал,

обрабатывая и разбирая протоколы Щусева. Там я ничем себя не опорочил, и там моей работой были довольны. Так решив, я рассеялся и остаток пути прошел, глядя по сторонам.

Молодое московское лето с умеренной жарой и свежими, еще не пыльными листьями деревьев господствовало вокруг. Мода в этом году не видоизменилась, была такая же, как прошлым летом, и девушки шли в юбках колоколом, высоко обнажавших ноги, блузки же были в основном цветастые и на груди свободно висающие. В моде тоже есть разные периоды. Есть периоды демократические, когда количество милостивых женщин резко возрастает, есть же периоды жесткие, сухие, когда мода строга, подчеркивает красоту и обнажает уродство. Вот в таком состоянии свободного парения в мыслях я и вернулся домой. Это была удача, если учесть, что происходило со мной еще некоторое время тому назад. Открыла мне Клава, которая странно, но скорее с сочувствием на меня посмотрела и ворча принялась вытирать что-то тряпкой. Это были следы явно измазанных в мазуте сапог, которые в разных направлениях пересекали переднюю и далее продолжались по паркету. Не успев удивиться и не поняв окончательно, что это, я вошел в столовую и замер на пороге. За столом сидел Коля и обедал. Он сильно похудел, и лицо его то ли сильно загорело, то ли было дурно вымыто, а может, и то и другое. Тонкие же, в отца, руки интеллигента теперь лоснились от въевшейся смазки, несколько пальцев замотано было изоляционной лентой, левая ладонь перевязана грязным бинтом. Когда я вошел, он глянул на меня всего раз, но с откровенной, честной ненавистью, а затем принялся громко хлебать суп, ломая хлеб грязными руками. Рита Михайловна и журналист сидели тут же за столом и, пригорюнившись как-то, прижавшись друг к другу, смотрели на сына.

— Клава,— позвала Рита Михайловна,— где ты там застряла, неси быстрее жаркое.

— Сейчас,— ворчливо отозвалась Клава,— пол протереть надо, мазуту нанес.

— Да брось ты пол,— вспылила Рита Михайловна,— кому я говорю...

— Нет, зачем же,— сказал Коля,— пусть не торопится, я жаркое есть не буду, я вот суп вчерашний похлебаю... Да и вообще,— он резко встал и взял тарелку,— я на кухню пойду... Пусть этот здесь жрет, раз он завладел домом моих родителей... Мое место на кухне... И это закономерно... Мой отец был сталинский холуй и стукач, а теперь мою сестру выдали замуж за стукача... Это уж по династии. Простить себе не могу, что тогда в камере я по интеллигентской хлипкости моей

испугался и закричал. И не дал задушить, уничтожить... Простить не могу... А теперь моя сестра замужем за этим... Я, собственно, не к вам, — крикнул он совсем уж громко, повернувшись к родителям, — я к сестре, к племяннику... К мужичку русскому... К нашей обновленной крови... А вы живите с этим стукачом... Но я добьюсь через суд, что Иван будет носить нашу фамилию, а не этого иуды...

И, явно нажимая, чтоб оставить на паркете грязные следы, Коля с тарелкой в руках прошел на кухню. Было похоже, что речь эту он готовил заранее, но, увидав меня, смешался от ненависти и то, что готовил, выговорил лишь кусками и не по порядку, добавив многое экспромтом. Разумеется, Рита Михайловна заплакала и побежала следом за сыном, это как раз меня не удивило. Удивило меня поведение журналиста, который был хоть и удручен, но не более, чем обычно, то есть пребывал все в том же застывшем созерцательном состоянии. Для того, чтоб как-то скрыться от семейного скандала, я вошел в кабинет журналиста и уселся за его стол, разумеется, без всяких задних мыслей и вызова. Но вскоре дверь распахнулась, и Коля крикнул отцу:

— Приятная картина... Посмотри, папа, дорогой... Наконец-то твой стол используется по прямому назначению... Наконец-то за твоим столом без всяких художественных прикрас пишут доносы в КГБ... Интеллигенция вшивая, мерзавцы...

После этого он закурил «беломор», плюнул на паркет и ушел.

Разумеется, в действиях Коли, несмотря на всю крайность и обнаженность формы, а может, и благодаря ей, проглядывало все то же юношество, все та же быстрота выводов и тяга к силе, честной суровости и честному протесту. Все это лишено было серьезности и выглядело игрой, но в этой игре Коля, насквозь простуженный в ночных сменах строительными сквозняками, кашлял без всякого наигрыша. Он действительно похудел от дурной пищи всухомятку и действительно полон был ненависти к своему «интеллигентному» происхождению.

В тот же день к вечеру с дачи вернулась Маша с Иваном Цвибышевым, дитем насилия. Со мной Маша держалась холодно, но просто и откровенно. Она позволила поцеловать себя в щеку, после чего сказала:

— Ты не мог бы погулять часа три? Пойди к знакомым... Лучше всего к женщине...

Последнее меня особенно рвануло за сердце, но я подавил боль и не показал виду. Тем не менее сдержаться я до конца не смог и сказал:

— Очевидно, к тебе придут эти... Борцы с антисемитизмом из общества Троицкого...

— Да, придут,— спокойно сказала Маша,— Саше Иванову наконец разрешили проживание в Москве. После освобождения он ведь жил в Калуге, а сегодня приехал, поэтому я и вернулась с дачи... Задержимся мы не очень долго, максимум до двенадцати ночи,— она посмотрела на меня и добавила: — А о тебе ходят неприятные слухи... Но я не потому прошу тебя уйти, просто чтоб не было посторонних... А на доносы нам наплевать, ибо скрывать нам нечего.

— Хорошо,— сказал я, надевая пиджак,— я уйду...

Маша вдруг снова пристально посмотрела на меня.

— Ты похудел,— сказала она,— у тебя какие-то неприятности?

— Да,— ответил я,— но, думаю, обойдется.

— Личные или служебные?— спросила она.

— Служебные,— ответил я, с напряжением и жадностью лоя крупицы тепла, мне предназначенные и от Маши исходящие.

— Тогда легче,— сказала Маша,— пойдешь к любовнице.... Если хочешь, на всю ночь.

— Хорошо,— ответил я, тщетно ища в прямом Машинном взгляде то, что мелькало или почудилось мне секунду назад,— но не на всю ночь, я вернусь после двенадцати ночи, можно?

— Разумеется,— ответила Маша,— мы надолго не затянем.

— Кстати,— сказал я,— меня просили передать, что Виталий стукач.

— Знаем,— сказала Маша,— он давно исключен из общества, но спасибо за предупреждение. Кстати, я слышала о дебошах и оскорблениях Коли. Больше он не посмеет, обещаю тебе.

Я вышел, хоть и не совсем освободившись от тяжести на душе, но думая с жадностью о Маше, которую не видел более месяца и которую был совершенно опьянен. А в опьянении все проще получается.

Первым делом, позвонив из телефона-автомата, я сразу же наткнулся на Степана Степановича. Уже по мягкости, с которой он отозвался, узнав меня, я понял, что просьбу мою о помощи вполне можно изложить. Правда, я не знал, как это сделать по телефону, но и здесь он помог, заявив, что в курсе дела, хоть и в общих чертах, что отчаиваться не следует и завтра в три, нет, послезавтра в три я вполне могу явиться к нему для беседы. Думаю, что предварительно с ним уже говорил

капитан Козыренков, несмотря на его сомнения относительно возможностей Степана Степановича. Этот Козыренков хоть и был натурой спортивной и срывался на грубости, в общем, отнесся ко мне прилично. Взбодренный всем этим, я решил три часа, на которые был изгнан Машей из дома, побродить по улицам, тем более вечер был хороший, теплый и сухой. Даже если б не произошел разрыв с Дашей, то после Машиного облика я не в состоянии был бы явиться к этой развратной женщине в ее квадратную широкую постель. Миновав палисадник у дома (я разговаривал по телефону-автомату, висевшему перед нашим подъездом), я остановился, раздумывая, в какую сторону и в какой конец переулка двинуться, чтоб выйти то ли на шумный проспект, то ли на глухие зеленые улочки. Но вдруг кто-то тронул меня за рукав.

Передо мной стоял незнакомый человек той внешности, которую в России именуют «типично еврейской», которая вывезена была из тесных местечек и которая диаметрально противоположна лесостепной славянской: мягкие, но временами цепкие глаза за стеклами очков, плотное мясистое, но явно физически слабое тело и, разумеется, большой горбатый нос. Это была та самая внешность, которая приводила не только в злобу, но и в веселость еврейских недругов и которая выработана была веками патологической, нездоровой жизни в отрыве от земли.

— Простите, пожалуйста,— сказала «еврейская внешность»,— здравствуйте... Моя фамилия, разумеется, Рабинович,— здесь глаза его блеснули обезоруживающей насмешкой над собой, с помощью которой, однако, чувствовалось, он не раз заводил нужные знакомства вот так просто, экспромтом подойдя и протянув руку,— я адвокат. Вы не будете столь любезны поговорить со мной минут десять, ну от силы— двадцать.

Я глянул на адвоката Рабиновича, и мной вдруг тоже невольно овладела некая нездоровая веселость.

— Нет,— сказал я,— двадцать минут не могу и десять минут не могу... Вот три часа— это другое дело.

— Ах, пожалуйста,— сразу вспыхнул и догадался Рабинович,— это совсем хорошо... Я и не надеялся на такую любезность, хоть и хотел ее предложить. Но я боялся, что вы неправильно истолкуете. Три часа на скамеечке не просидишь. Знаете, как раз недалеко есть маленькое кафе. Но поверьте, если тебя там знают, то это лучше ресторана. Обслуживают хорошо, питание высший класс, кабинки имеются.

— Валяйте,— сказал я, глядя сверху на суетящегося адвоката и становясь все веселее от одного его вида,— валяйте... Посидим в кабинке...

Кабинка действительно была, все же остальное оказалось дрянью. Правда, в прежние голодные, экономные времена такой ужин показался бы мне роскошью и, опираясь на него, я мог бы весь следующий день прожить на сокращенном рационе из хлеба, карамели и кипятка, заприходовав тем самым и сэкономив приличную денежную сумму. Но ныне я был ослаблен сперва обедами по талонам в богатых столовых КГБ, а затем и домашним столом в семье журналиста. Поэтому я лишь наполовину съел салат из парниковых огурцов, поковырял порционный лангет, вырезав из него лишь наиболее сочные куски и оставив пережаренное мясо. Вина я вовсе пить не люблю, тем более низкосортный портвейн. Рабинович же ел все это с аппетитом, а портвейна выпил две рюмки, после чего сказал:

— Я адвокат Орлова. Насколько мне известно из протокола первого допроса, вы при этом присутствовали и участвовали в опознании моего подзащитного.

— Да,— ответил я, еще не совсем соображая, куда он клонит.

— Речь идет о некоторых юридических неточностях,— сказал Рабинович,— но прежде всего мне бы с вами хотелось говорить не об этом. Признаюсь прямо, родители Орлова, особенно мать его Нина Андреевна, да и отец тоже специально выбрали адвоката с такой типично еврейской фамилией и внешностью.

— А сам Орлов?

— Он, разумеется, отказывается от сотрудничества со мной, но родителям удалось доказать его невменяемость, так что он лишен права выбора.

— Он абсолютно здоров,— сказал я, в упор глядя на Рабиновича.

— Ну, это не нам с вами определять, это определяют медицинские эксперты. Теперь же речь о другом. Речь идет о вопиющих нарушениях, которые допустило следствие по делу смерти Лейбовича. Вы, надеюсь, честный человек нового поколения и осуждаете сталинские методы нарушения законности. Кое-что мне о вас известно, о вашей тяжелой судьбе. Поверьте, мой подзащитный тоже человек нелегкой судьбы. У мальчика с детства было развито чувство болезненной жажды справедливости. А если учесть его литературный талант и искреннюю есенинскую влюбленность в свою родину, в Россию... Вы читали, конечно, «Русские слезы горьки для врага», за подписью Иван Хлеб? Если отбросить ошибочное содержание, а сосредоточиться только на литературных достоинствах, то они несомненны... Что же касается нашего

брата еврея, то среди нас немало, извините, не евреев, а жидов. Вот они-то нас и позорят. Взять хотя бы того же Лейбовича, который натянул на себя русскую фамилию «Гаврюшин», русскую личину... Разве это порядочно? Казалось бы, мелочь... Но я отвлекся... В конце концов не это меня волнует. Мы, евреи, должны быть особенно большими интернационалистами, чтоб честным трудом доказать свое право есть чужой, но братский хлеб, полученный не из рук Джойнта, а из рук братьев по классу...

От двух рюмок портвейна он несколько опьянел и говорил разбросанно.

— Что вы хотите? — прервал я его.

— Я надеюсь, вы подтвердите разночтение в первоначальном и окончательном протоколе. Налицо явные подчистки и подделки. Лейбович сам совершил преступление, стреляя в толпу и ранив рабочего, после чего и был убит толпой, действовавшей в порядке самообороны. Что же касается моего подзащитного, то действия его, конечно, подпадают под Уголовный кодекс, но только не в качестве подстрекателя убийства, как о том говорится. Разумеется, местным властям надо снять с себя ответственность за допущенные административные безобразия, вызвавшие возмущение рабочих, и они срочно ищут подстрекателя. Но вот недавно я говорил с одним товарищем, занимавшим ответственный пост в местном КГБ, хоть ныне и находящимся в отставке по болезни. Он целиком согласен, что роль Орлова преувеличена. Что же касается его высказываний, то имеется экспертиза, подтверждающая его психическое нездоровье...

Рабинович говорил и говорил, сыпал и сыпал словами, картавя и жестикулируя. Наконец я не выдержал и сильно ударил ладонью по столу, так что задребезжала посуда.

— Что такое? — сразу замолк Рабинович, словно его выключили.

— Все, — сказал я, — лангет жесткий, портвейн дерьмо, так что подкуп не удался...

И, сказав это, я вышел, оставив адвоката в растерянности. То ли от пережаренного лангета, то ли от слов и внешности интернационалиста Рабиновича, адвоката антисемита Орлова, мне было настолько гадко, что я всю дорогу плевался... Да и вообще, весь эпизод с адвокатом подействовал на меня крайне угнетающе, хоть никакого последствия для моей судьбы он, разумеется, иметь не мог. Но бывают такие случайные встречи или экспертизы, которые предвещают приближение каких-то закономерных опасностей. И действительно, вернувшись усталым в первом часу ночи, я застал в комнате моей на

кровати конверт. Это было письмо от Висовина, и он приглашал встретиться завтра к семи вечера, причем не на улице, а в квартире. Адрес указывался.

У нас все спали, видно, члены общества Троицкого сегодня разошлись ранее обычного, и напрасно я бродил так долго по улице. Возможно, вернись я не в начале первого, а в начале двенадцатого, было бы в самый раз и мне удалось бы поговорить о чем-либо, неважно о чем, с Машей, с моей фиктивной, но горячо любимой женой. Однако проклятый адвокат-интернационалист заморочил мне голову, и я не сориентировался во времени. А тут еще это письмо. Я знал, что Висовин честный и хороший человек, более того, лишившись в свое время койко-места, я нашел приют именно у него. Но тем не менее особой тяги к нему у меня не было, а даже наоборот. И дело не в том, что некогда у них с Машей что-то было. Смешно ревновать женщину, которая тебя не любит, к тому, кого она разлюбила. Есть люди во всех отношениях замечательные, с которыми, тем не менее, не хочется общаться и при встрече с которыми до того чувствуешь себя не свободно, что даже в глаза им трудно смотреть. А если к тому же учесть мое положение осведомителя КГБ, которое может быть известно и Висовину, раз слухи об этом так широко распространились, то встреча с ним вообще не сулит ничего хорошего. Впрочем, если он начал ко мне дурно относиться, то разговор у нас получится. Хуже, когда отношение друг к другу хорошее, а свободы общения нет. Вот тогда-то и трудно в глаза смотреть, а во враждебности это проще. Итак, завтра к семи я решил явиться, а там будь что будет. Ну, разумеется, не сразу решил, ибо когда решение во мне твердо установилось, уже посветлело окно и раннее летнее солнце заблестало на подоконнике и стене. Из-за двери доносились шаги квартирной труженицы Клавы, а за стеной несколько раз всплакнул Иван, дитя насилия, и послышалось сонное бормотание укачивающей его Маши.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Висовина я первоначально не узнал, до того он изменился. Кроме него, в квартире по указанному на конверте адресу находилась какая-то молодая пара — похоже, муж и жена. (Что подтвердилось.) Причем муж чем-то, пожалуй, землистым цветом кожи и тревожным блеском глаз, походил на Висовина. Я заметил, когда мы уселись за стол, жена взяла мужа крепко за руку и так держала, не выпуская. Его звали Юлий, а ее Юля. (И здесь не совсем нормальное сочетание или со-

впадение.) Озадачило меня, но одновременно и обрадовало то, что Висовин меня ни о чем не стал расспрашивать, хотя бы для приличия, как водится меж людьми знакомыми, а тем более связанными какими-то делами, но внезапно расставшимися. (Висовин ведь исчез внезапно. Как теперь выяснилось, помещен был в психиатрическую больницу.)

— Гоша,— сказал мне Висовин,— конечно, исторические процессы закономерны и необратимы, но напрасно сбрасывать со счетов и личный момент.

Он начал с середины, что подтверждает известную неправильность его поведения.

— В сегодняшней России гораздо больше людей, стремящихся к высшей власти, чем это кажется на первый взгляд,— высказался и Юлий.

Мне стало не по себе, и я подумал, что эти два психически неправильных человека умышленно пригласили меня, чтоб в лучшем случае надо мной посмеяться, ибо в словах Юлия я усмотрел намек в свой адрес. Я уже внутренне терзал себя за то, что откликнулся на письмо и согласился приехать, причем на окраину, в недостроенный микрорайон. Я оглянулся на двери и решил без всяких объяснений встать и уйти, но Висовин, кажется, разгадал мой жест.

— Юлий,— прикрикнул он на партнера,— перестань говорить не по существу... А ты Гоша, странный человек. Ведь я верю в твою внутреннюю честность, что бы там ни говорили. (Значит, он не так уж прост. Значит, обо мне что-то говорили. Значит, он проверял, но не поверил или пренебрег.)— Гоша,— сказал Висовин,— вот перед тобой человек, который написал гениальный трактат «Нужна ли Россия в XXI веке»,— и он указал на Юлия, который после этих слов как-то особенно тревожно дернулся.— Трактат этот писался ночами, при свете луны,— продолжал Висовин,— на обрывках газет и туалетной бумаги... Писался, когда другие больные спали. Я случайно подглядел, и меж нами чуть ли не драка произошла. А потом мы подружились. Но ныне трактат похищен.

— Кем?— спросил я, невольно, сам того не сознавая, попадая в предложенный мне ритм и утрачивая контроль над реальностью.

— Русскими национал-социалистами,— ответил мне Висовин,— штаб-квартира на станции 3-ская, Московско-Курской железной дороги, куда мы с тобой сейчас и отправимся, ибо мне удалось войти к ним в доверие. Я член «Большого партийного ядра», как это у них называется ... БПЯ...

После ранения черепа во время экономического бунта я, перенеся операцию, некоторое время подвергался и психоте-

рапевтическому лечению. Поэтому я знал, что такое делириозное состояние, характерное наплывом сценopodobных иллюзий. Причем делириозное расстройство обычно усиливается к вечеру, как это и случилось в данном случае. Из всего сказанного я извлек лишь тот факт, что есть возможность и повод покинуть сейчас эту опасную квартиру. Что же касается моих профессиональных навыков, уже выработавшихся за время моего сотрудничества с КГБ, то в данном случае они полностью дремали, так нелеп был предложенный мне антигосударственный материал. Но для того, чтоб продолжить игру, я сказал:

— А Юлий не пойдет?

Висовин посмотрел на меня с искренним удивлением.

— Куда?— спросил он,— что ты такое несешь? Ведь он еврей...

— Ах, прости,— нашелся я тут же.

— В том-то и дело,— сказал Висовин,— кроме тебя, у меня нет никого для этой важнейшей акции...

«Значит, предстоит какая-то акция»,— с тревогой подумал.

Был ненастный летний вечер, хлестал дождь, и ветер был резок, особенно здесь, на окраине, где царила сырость и чувствовалась близость Москва-реки. Висовин держал в руках маленький чемоданчик, изредка прикрывая им лицо от особенно сильных порывов дождя и ветра. С двумя пересадками на автобусе и троллейбусе мы добрались до площади Курского вокзала, а оттуда ехали полчаса на электричке. И все это почти молча, лишь изредка обмениваясь незначительными репликами. Наконец мы вышли на пригородную платформу, слабо освещенную фонарями. Дождя здесь не было, но он, видно, кончился совсем недавно, ибо асфальт был мокрый, а от ветра рябило наполненные до краев лужи. Мы спустились с платформы и пошли по узкому переулку среди садов и собачьего лая.

— Боброк его фамилия,— шепнул мне Висовин,— Алексей Боброк... Вернее, Кашин, но Боброк— это он сам придумал... Русский витязь... А второй, Калашник— правая рука его. Оба в той же психиатричке сидели, что и мы с Юлием... Этот Калашник и похитил трактат... Все, теперь молчи и слушай... Боброк этот мне доверяет. Я его выручил, когда в туалете психиатрички его избивали за какую-то половую пакость.

Мы прошли еще некоторое время молча, свернули за угол и остановились перед крепкими железными воротами. За воротами яростно хрипели, исходя лаем, сразу несколько собак. Висовин нащупал во тьме кнопку электрического звонка и на-

жал его трижды, потом подождал и снова — дважды, потом опять подождал и один раз, но продолжительный. Послышались шаги, и какой-то мужчина спросил:

— Кто?

— От Алексея.

Загремели запоры.

— Опаздываешь,— проворчал встречающий и глянул на меня.

— Это со мной,— сказал Висовин,— из щусевских... Я Алексея предупредил...

Встречающий был в зимнем армяке, наброшенном поверх майки. Это меня удивило, но вида я не подал, а, опустив голову, прошел мимо многоголосого собачьего лая к двухэтажному дому загородного дачного типа. Миновав освещенную веранду, где сидели две кошки и старуха мыла у самовара стаканы, мы прошли обширную комнату, погруженную во тьму, так что убранства ее я не разглядел, и принялись подниматься деревянной лестницей наверх, пока не уперлись в дверь, на которой висел тяжелый замок. Но сопровождающий нас мужик (именно мужик, таков был его вид) сунул в замок ключ и, отперев, пропустил нас внутрь. Я слышал, как замок за нами защелкнулся. И тут уж тревога окончательно овладела мной, еще даже с того момента, как я поднял глаза и увидел перед собой большой портрет Гитлера. Портрет этот, исполненный в карандаше, очевидно срисованный с фотографии, убран был двумя полотенцами, покрытыми русской вышивкой, а на небольшом столике перед ним трещало множество церковных свечей. На деревянной избушной стене помимо портрета Гитлера висело бело-коричневое знамя с зеленым кругом посредине, в котором была белая свастика, а также висело несколько географических карт. Это все первоначально бросилось мне в глаза. Лишь спустя какое-то время я разглядел помещение. Это было нечто вроде утепленной веранды второго этажа с одной стеклянной стеной, сейчас плотно занавешенной. Царил здесь приятный запах сушеных фруктов и вообще хорошо проветриваемого чистого продуктового склада, каковой ранее, очевидно, здесь и располагался. Посреди комнаты стоял плетеный дачный стол старого образца и такие же старые, плетеные скрипучие стулья. За столом сидели пятеро: женщина и четверо мужчин, но я сразу же, еще до представления, определил Алексея Боброка, хоть одет он был, как и все остальные, в белую рубашку с черным галстуком, а на рукаве его была красная повязка с белой свастикой. Лицо его было бледно и как бы измучено постоянным напряжением изнутри, и он явно был подвержен дисфории,

приступообразно возникающим расстройством настроения. В отличие от остальных членов БПЯ, когда мы вошли, он выбросил руку в стандартном нацистском приветствии, как-то мягко и словно бы поглаживая ладонью воздух перед собой.

Мне уже приходилось сталкиваться с ритуалами подполья крайнего толка, хотя бы в организации Щусева, когда присягу подписывали собственной кровью из порезанного пальца. Но там это все-таки носило характер придумки, рассчитанной на юнцов, каковыми Щусев хотел первоначально заполнить организацию. Здесь же костюмированные ритуальные условности были доведены до состояния горячечной веры, и без них все остальное было бы попросту невозможно. Убери эти символы, свечи, значки, рубашки, портреты, каким-то образом изготовленные, и БПЯ русского национал-социализма превратилось бы даже по их собственным внутренним ощущениям в кучку дачников и загородных жителей, собравшихся потолковать на пахнущей сушеной вишней чистой веранде. Манерность и поза необходимы для тех движений, где значительную часть политических доказательств составляет доступная массе политическая поэзия.

— Алексей,— сказал Висовин, также выбрасывая в нацистском приветствии руку,— Алексей, вот рекомендую, Георгий Цвибышев, вместе состояли в организации Щусева. Рекомендую и поручаюсь.

— Ах, это тот,— сказал Боброк скороговоркой,— идеалист Щусев... Это оттуда...

И Боброк глянул на меня большими, напряженными, расширенными зрачками. Беспочвенно разглядывая меня (у меня при этом по спине книзу потекло нечто холодное), беспочвенно разглядывая меня несколько минут (а может, и меньше, время для меня тянулось слишком уж тяжело), Боброк наконец протянул влажную свою ладонь, которую я пожал. Самое интересное, что и здесь была полемика в духе времени, и здесь были споры и отсутствие единства даже внутри БПЯ. Помимо ядра в предполагавшейся структуре построения русской национал-социалистической партии были орбиты — член орбиты первого порядка, второго порядка и так до тысячного... Большинство членов Большого Ядра подвергались лечению либо состояли на учете в психдиспансере, но, например, член Большого Ядра Сухинич на учете не состоял, а, наоборот, был «в миру» преподавателем литературы в железнодорожном техникуме. Он-то и выступал, и его выступление мы прервали своим приходом.

— Вспомните,— продолжал он, когда мы уселись,— вспомните великую сцену у Достоевского... Кошунство и над-

ругательство над иконой русской Богородицы... Жидок Лямшин, пустивший живую мышь за разбитое стекло иконы... И как народ толпился там с утра до ночи, прикладываясь поцелуем к оскверненной русской святыне и подавая пожертвование для покрытия церковного убытка.

— Глупости,— выкрикнул вдруг Боброк, вскакивая,— нас не интересуют ваши литературные примеры... Вы ошиблись дверью, Сухинич... Мы современная партия, а не музейная рухлядь... России грозит современный еврейский заговор, а не какие-то там мыши в иконах...

— Но ведь опора на великие национальные антижидовские традиции России необходимы,— начал было Сухинич.

Однако Боброк в ответ побагровел и топнул ногой. Тут же какой-то жилистый человек, очевидно, тот самый Калашник (как выяснилось, возглавляющий в БПЯ службу безопасности), тут же Калашник, перегнувшись через стол, молча глянул на Сухинича, и тот осекся. Отсюда можно было сделать вывод, что полемика хоть и существовала, но в принципе все-таки на завершающей стадии БПЯ находилось на грани полного единовластия Алексея Боброка-Кашина.

— Изучайте еврейские взгляды современности,— сказал Боброк уже спокойнее и прохаживаясь вдоль стены, где висели географические карты.— Вот трактат,— и он, выдвинув ящик, схватил кипу каких-то нечистых бумаг.

— «Нужна ли Россия в XXI веке»... России в XXI веке более некуда вширь — с одной стороны она уперлась в Китай, в желтую расу, с другой — в Европу, в еврейский утилитаризм... Наш еврейский враг точно подметил, что суть России — это движение... Мы кочевой народ, мы империя... Даже большевики вынуждены были считаться с нашей национальной сутью... Однако правильно поняв национальную суть, они вступили в противоречие с национальной практикой и своей идеологией связали силы народа... Большевики опасны тем, что они точнее других нащупывают нашу национальную суть, но извращают ее в своих интересах. Я не согласен с нашими славянофилами, копающимися в старой рухляди и выискивающими идеи у какого-нибудь Владимира Красное Солнышко... Зачем искать идеи, если великая идея уже существует... Но идея эта должна лишь возбуждать наше славянское воображение... Во всем остальном должна преобладать наша русская энергия... Мертвый, но вдохновляющий Адольф Гитлер и живой могучий Илья Муромец... — Он быстро подошел к картам и, взяв лежащую здесь же, очевидно, заранее приготовленную указку, принялся водить по Европе, Америке, Китаю. Однако, побродив по картам не бо-

лее минуты, он тут же бросил указку и повернулся к нам.— И тем не менее,— сказал он,— главный участок нашей борьбы это внутренний фронт. Мы будем идеалистами и болтунами, если не выдвинем четкой и понятной каждому русскому человеку положительной программы. Основной смысл нашей программы — вернуть крестьянству России его главенствующее положение. В этом наша русская специфика, наш русский национал-социализм. Колхозы распускаются— это должен быть первый акт любого национального правительства России. Крестьяне наделяются землей. Русский трудовой рабочий должен быть почетным членом общества, но в политическом и нравственном смысле руководящая роль у крестьянина. Центр политической жизни должен быть перемещен из города в деревню. Далее, хозяином России может быть только русский человек. Все остальные могут жить и получать определенные права, признав этот основной принцип. Далее— евреи должны быть открыто и ясно объявлены не нацией, а исторически сложившимся преступным сообществом, отбросами и отходами всех наций и рас... Их вакханалии в России должен быть раз и навсегда положен конец... Евреи,— в этом месте он особенно сильно рубанул воздух ладонью, словно пронзая ненавистное ему слово,— евреи должны быть уничтожены, как во время эпидемий уничтожают заразных насекомых вместе с их личинками... Огнем, керосином, ядовитым порошком... Поднимайся, русский народ, беги на площадь, ударь в набат...

Это был максимум, предельный всплеск энергии. Речевое возбуждение его достигло предела, голос был охрипший, но глаза блестели и вообще все движения были целенаправленны.

— Я вижу Россию XXI века избавленную от лицемерия,— говорил он,— от большевистского лицемерия... Свежую, молодую, без примеси семитского яда в обновленной крови...

Он опять замолк и некоторое время стоял, снова схватив указку, но держа ее опущенной и глядя при этом на географические карты.

— Если это не произойдет,— сказал он уже тихо,— тогда на огромном теле умирающей России явятся десятки мелких инородных хищников-паразитов и начнется процесс от объединения к раздробленности... Но и тогда,— он снова возвысил голос,— но и тогда будет новое объединение, пусть на иной основе и вокруг новых русских центров... Русь, отбросив еврейские путы, станет над миром... Русь, восстань...

Последнее он выкрикнул уже в изнеможении, с побагровевшим лицом, после чего, совершенно обессиленный, рухнул на руки Калашнику, начальнику службы безопасности БПЯ,

успевшему подбежать заранее. Следом за ним подбежала женщина, очевидно, стенографировавшая высказывания Боброка, и вдвоем они увели своего обессилевшего вождя в какую-то боковую дверь. На этом короткое заседание Партийного Ядра закончилось, и мы разошлись, соблюдая конспирацию, по одному, по два.

Должен заметить, что во время заседания я находился в той эмоциональной заторможенности, которая напомнила мне мое состояние во время пребывания со Степаном Степановичем во внутренней тюрьме при посещении умирающего Щусева. И дрожать я начал так же, лишь оказавшись на улице, где опять шел дождь. Состояние было такое, что ночной подмосковный поселок этот с собачьим лаем, лужами и редкими фонарями внушал мне страх гораздо больший, чем если бы я, выйдя, оказался в обстановке, более соответствующей только что увиденному и услышанному, например, на широкой яркой площади, заполненной счастливым, беспощадным народом. Очевидно, из членов БПЯ большинство были местные либо ночевали в поселке, поскольку к электричке вышли только мы с Висовиным. На пустынном перроне шла какая-то бытовая пьяная драка с матерщиной, падением тел и треском рвущейся одежды. Но мы благополучно миновали дерущихся, которые на нас не обратили внимания, и пошли в дальний конец к фонарю.

— Я их взорву,—сказал вдруг Висовин,—всех вместе... Уничтожу... Вот только трактат Юлия вырuchu и взорву... Ты трактат почитай... Он не против России, он с горечью, хоть и со стороны, хоть это и горечь постороннего, но ты прочти...

Я посмотрел на Висовина. Глаза у него были нехорошие, замутненные.

— Как взорвешь?—переспросил я.

— В том-то и дело, как?—сказал Висовин.—Если б граната, даже и лимонка, не говоря уже о противотанковой, ты бы мне не понадобился... Да вот придется самодельной... Но ты не волнуйся, тебе это не грозит, ты помещение заранее покинешь... Я все сделаю, дача легкая, разнесет...

Я понимал, глядя на нехорошее лицо Висовина, что убеждать его бесполезно, но все-таки сказал:

— А может, лучше предупредить?

— Ах, ты об этом,—сказал Висовин,—донести... Нет, в первых, это не в моем характере, а во-вторых—ну, поместят их опять в психбольницу, потом опять выпустят... Взорвать их надо... Ты мне только помоги взрывчатку принести... Самodelка—значит, два чемодана, мне одному не справиться...

На площади Курского вокзала мы с Висовиным расста-

лись, договорившись снова встретиться через два дня по тому же адресу, то есть у Юлия.

Утром я, разумеется, явился в КГБ к капитану Козыренкову. Он выслушал меня внимательно, делая по ходу моего изложения какие-то пометки, а потом сказал:

— Молодец... Если только подтвердится, можешь считать, что оправдался... Ах, мерзавцы, мерзавцы... Если все это выплывет... Фашизм в Подмоскovie. Да еще покушения, взрывы. Ведь это для западной прессы, для наших идеологических врагов конфетка... Тем более зарежут они еще какого-нибудь еврейчика, и шум на всю Европу.— Он тут же, при мне, начал звонить куда-то по телефону.

Операция по задержанию была назначена на тот же вечер, когда я условился встретиться с Висовиным, то есть на послезавтра. Как это произошло, помню обрывками, ибо, несмотря на кажущееся спокойствие, все-таки с того вечера я был в состоянии нехорошем и несколько раз ночью чуть ли не срывался то ли на громкий смех, то ли на громкие рыдания, так что вынужден был лежать лицом вниз, чтоб с помощью подушки заглушить вопль смеха или рыдания, который мог испугать спящих в соседней комнате Машу и Ивана.

Тот вечер был тоже дождливый. (Иногда в погоде вдруг является сознательный порядок и цикличность — утром солнце, к вечеру обязательно дождь. И так подряд недели две.) Мы с Висовиным вышли, держа в руках по тяжелому портфелю. (Не знаю, что у Висовина, в моем же портфеле явно бутылки, может быть, с горючей смесью.) Не успели мы отойти далеко, как мимо нас проехала милицейская машина. Я понял — это чтоб арестовать Юлия, автора трактата о ненужности России в XXI веке. Меня такая поспешность покорибила, но, к счастью, Висовин, занятый своим, не обратил внимания на чересчур поспешно принятые меры по задержанию хозяев его квартиры. (Была арестована также и жена Юлия, как выяснилось.) По дороге я вел себя неправильно. Вместо того чтоб своевременно достигнуть пункта назначения, доставив фактически Висовина вместе с вещественными доказательствами к общему протоколу, я внезапно отвлек его опасным разговором, а именно, поделился своей прошлой мечтой когда-либо возглавить правительство России.

— Эх, милый,— сказал Висовин и положил мне руку на плечо. (Дело происходило уже на пригородном перроне, но мы не торопились уходить, а наоборот, стали разговаривать, воспользовавшись безлюдьем в вечернее ненастье.)— Эх, милый ты мой, сердце человека всегда враждебно Богу.

— Ты разве в Бога веришь?— сказал я.— Какие глупости.

— Это верно,—сказал Висовин,—но я все уже в жизни перепробовал и во все уже верил... Кроме Бога, ничего не осталось.

— А я вот Россию ненавижу,—во второй раз доверил я вслух эту опасную тайну постороннему. (Первый раз, как известно, осведомительнице, публичной девке Даше.)

— Вот чему уж завидую, так завидую,—с тоской сказал Висовин,—хорошо бы возненавидеть Россию... Все равно что умереть... Легко сразу вдруг, просто... Но не получается у меня... И Россию люблю... И жить хочу...

Вот в таких разговорах мы и потеряли тот запас времени, который был оговорен и был мне предоставлен. Поэтому в штаб-квартиру русского национал-социализма мы прибыли чуть ли не одновременно с оперативными работниками КГБ. Но, к счастью, все-таки несколько раньше и успели войти на второй этаж, где перед портретом Гитлера, украшенным русскими вышитыми полотенцами, по-прежнему горели церковные свечи и вождь движения Кашин-Боброк стоял перед географической картой, тыча указкой в разные части мира, то забираясь в Китай, то двигаясь по Индийскому океану, а то и пересекая в разных направлениях Европу. Снова произошел обмен нацистскими приветствиями, и мы уселись, причем Висовин сумел расположить портфели с самодельными бомбами в непосредственной близости от Боброка. И тут же раздался обычный в таких случаях окрик:

— Всем оставаться на местах!

После чего работники КГБ, явившиеся точно согласно распорядку, приступили к работе, то есть осмотру, обыску, обезвреживанию взрывчатки, опечатанию захваченных материалов и препровождению задержанных к машинам. Операция проходила без особых инцидентов, за исключением, разумеется, стандартной попытки плюнуть мне в лицо. Причем я ожидал плевка от вождя русского национал-социализма, а плюнула женщина, его секретарь и, безусловно, сожительница. Женщина эта, неопределенного возраста, со следами сексуального напряжения на лице, неожиданно рванула платье у горла, обнажив свою грудь, правда, прикрытую бюстгалтером, и с криком «Иуда-большевик» плюнула. Причем изо рта у нее потекла слюна также и по подбородку, и вся она, особенно сморщенная шея были настолько отвратительны и неженственны, что я в ответ на плевков сильно ударил ее по лицу, разбив его в кровь, чего обычно в таких условиях не делаю... Что же касается самого Кашина-Боброка и остальных членов БПЯ, то они сопротивления не оказали и, подчинившись властям, покинули помещение. Вывели и Висовина.

Я же остался в верхнем помещении, помогая снимать со стены географические карты, на которых большие участки Китая, вся Европа, Турция и часть Канады были заштрихованы и включены в состав Российской национал-социалистической империи. И вот тут-то и случились выстрелы. Сперва один, а потом три подряд. Двое работников КГБ, занятых со мной в верхнем помещении обработкой и опечатыванием захваченных антиправительственных материалов, обнажив личное оружие, тотчас же бросились к двери, я следом за ними. На лестнице, меж этажами, лежал в неудобной позе, умирая, Висовин. Как я выяснил позднее, Висовин, применив десантный прием, выхватил у одного из оперативных работников револьвер, чтоб убить Кашина-Боброка, и даже выстрелил, но промахнулся и ответными выстрелами оперативных работников был убит...

Некоторое время спустя в компаниях определенного толка явился подпольный некролог на смерть Висовина примерно в том же литературном стиле, в каком он явился на смерть скульптора Андрея Лебеда. Но это уже позднее. Тогда же я остановился на лестнице с совершенно, как мне казалось, разом охладившейся грудью, буквально охладившейся до телесного озноба, до омертвления, и так стоял, застывши и мешая подойти к телу. Наконец тело унесли двое сотрудников — один держа за ноги, второй — за спину, то есть неся умершего поперек, чтоб не испачкаться об его сильно окровавленную голову. Я пошел следом, миновал старуху с кошками внизу у самовара и, выйдя на крыльцо, понял: все... хватит... Довольно и я пожил...

О смерти слишком много говорят дурного, а разве же она того достойна?.. Милая ты моя спасительница, подумал я чуть ли не с умилением. И с того момента не переставал думать о смерти как о спасительнице.

Голова моя первоначально сильно болела, причем не надо лбом или в затылке, а сразу во всех ее частях, сплошную, но когда, добравшись домой (подробностей не помню), я улегся наконец в одиночестве, обдумывая план спасения, то голова разом прошла, также сразу и во всех частях. Причем улегся я не скажу в хорошем, но во всяком случае ясном расположении души. Однако поработав над вариантами продолжительное время, чуть ли не до утра (были самые длинные дни года, и солнце восходило рано, почти в четвертом часу), поработав эдак, я понял, что и здесь для меня легко не сложится... Проще убить себя, когда цепляешься за жизнь, когда любишь жизнь и весь измучен эмоциональной борьбой. Тогда на порыве можно убить себя, дождавшись тоскливого приступа, даже

обыкновенным кухонным ножом. Я несколько раз подвергался таким приступам и лишь теперь понял, как был тогда близок к смерти. Но попробуй убей себя сейчас, когда о смерти думаешь с надеждой, как о спасительнице, а каждая минута жизни тягостна и считается навеки потерянной. Когда жизнь — убогая правда, смерть же — мечта. Попробуй достигни этой мечты просто и без препятствий. Оружия у меня никакого не было, а в таких случаях, как я понимаю, хорош револьвер. Даже и при неумении обращаться с ним можно изловчиться и выстрелить с одного раза удачно на основании общих сведений и литературных знаний. Стреляй в рот, и не промахнешься, хотя в рот я бы не решился. Лучше всего в сердце. Приставил к левой части груди, а сам засмотрелся на какой-либо предмет: настольную лампу, стенную литографию или комнатное растение. А палец на спуске, нажал посильнее — только и всего. Правда, в сердце чаще, чем куда-либо, бывают промахи. Относительно того же, чтоб на комнатный предмет засмотреться, это неплохо, хоть по логике вещей лучше всего стреляться в уединенном месте. Отъехать на электричке километров тридцать и в лесу выстрелить в себя. Тем не менее, имей я револьвер, стрелялся бы в комнате, даже и не знаю почему. Беда в том, что револьвера нет. Ножом же убить себя страшно и больно. Лезвие ножа никогда не убивает наповал, это уж точно, и после даже удачного удара все равно предостоят тяжелые физические страдания. Повеситься — целая процедура, стыдная причем, пока будешь прилаживаться, сгоришь со стыда. Да еще неизвестно, приладишься ли толково. Хорош яд, но приличного яда без знакомств не достать, а снотворные таблетки могут подвести. Самое доступное, решил я наконец, броситься вниз с какой-нибудь серьезной возвышенности, каких немало в Москве. Смерть простая, без побочных приспособлений и ужаса, если не считать мгновения полета, которые тоже достаточно длинные, но тут я надеялся одурманить себя алкоголем... С таким решением я и встал. Думать мне ни о чем более не требовалось, все было отныне до смешного лишнее и ненужное. Даже услышав сонные вздохи Маши за стеной, я удивился, как эти ничтожные ночные звуки ранее меня умиляли. Отныне жизнь моя нужна была мне лишь для того, чтобы использовать ее деятельность для спасения в смерти. Осторожно встав (было еще так рано, что даже труженица Клава спала) и не теряя времени на то, чтоб одеться, поскольку улегся с вечера в одежде, я покинул комнату, даже не оглянувшись и не оставив никакой предсмертной записки (предсмертные записки оставляют те, кто любит жизнь), а также не взяв ничего из принад-

лежавших мне вещей. Так покинул я дом журналиста, который, кстати говоря, уже некоторое время отсутствовал, увезенный в какой-то санаторий закрытого типа.

Небо было чистым, но воздух пасмурен и сер, оттого что солнце еще пряталось за домами. Летние ранние рассветы действуют на меня странно. Город светел, как в разгар зимнего или осеннего дня, но по-ночному пустынен и производит впечатление какой-то внезапной массовой катастрофы, коснувшейся лишь людей, но не тронувшей ни зданий, ни растительности. В таком душевном состоянии и в такой обстановке вид идущего тебе навстречу человека всегда радостен. Тем более он радостен, когда, подойдя ближе, узнаешь в нем знакомого. Это был Коля. Это была огромная удача. Вот единственно с кем хочется из ныне живущих и остающихся жить после меня поговорить, объясниться и объяснить если не всю мою жизнь, то хоть что-либо из нее.

— Коля,— сказал я несколько с большим, чем следовало, пафосом, протягивая к нему руки и понимая, что жест мой со стороны выглядит неправдой,— Коля, нам надо объясниться.

— Только не здесь,— сказал Коля.

Он тоже, как мне показалось, был обрадован встречей со мной, но в действительности просто взволнован от мысли, что мог со мной разминуться. И действительно, он невольно в тревоге спросил:

— Куда так рано?

— Это потом,— сказал я поморщившись,— знаешь, вчера умер Христофор.

— Знаю,— сказал Коля и глянул мне прямо в глаза,—это ты убил его, стукач...

И лишь тут, стоя лицом к лицу (мы стояли уже не на бульваре, а в каком-то дворе, в глухом углу у стены), лишь тут я заметил, как Коля исхудал. Он был попросту на грани истощения, отчего глаза его стали больше и смотрели острее.

— За кровь преданных тобой честных патриотов России,— начал Коля глухо, но затем голос его запылулся, и он перешел в какой-то всхлипывающий выкрик,— сталинский стукач! — крикнул он и ударил меня каким-то предметом по голове.

Боль от удара была вполне терпима, и, как всегда бывает в таких случаях, перенести ее было гораздо легче, чем предполагалось.

— Нет,— сказал я,— Коля, ты не прав... Помнишь, мы сидели с тобой у стен Кремля и я поделился тогда тайной... Желанием возглавить Россию... Тут два момента... Жизнь должна сама по себе выстроить пригодную для такого случая

вавилонскую башню... И второй, не менее важный момент,— надо суметь положить в эту башню свой кирпич... Вовсе не обязательно последний... Это ошибка... Тут-то и трудность... Надо угадать, в какой момент и куда положить один кирпич, ибо без этого личного кирпича вся вавилонская башня бесполезна... То ли положить его в молодости, то ли хранить до зрелых лет, то ли держать за пазухой к старости.

Меж тем Коля, ударивший меня по голове, продолжал стоять словно в оцепенении передо мной и, будучи явно невнимателен к словам моим, смотрел сосредоточенно в определенное место, а именно у правого уха, где ощущался теплый, набухающий зуд. Я поднял руку, приложил ее к тому месту, на которое смотрел Коля, и увидел липкую и красную ладонь свою. В то же мгновение Коля, как бы очнувшись, дернулся, метнулся в сторону и побежал прочь, скрывшись с глаз за выступом стены. И тут-то словно откровение снизошло на меня, и я понял свой итог и подвел себе итог.

— Обвинений ваших не признаю,— сказал я неизвестно кому, причем шепотом, поскольку большую часть сил тратил, чтоб удержать равновесие,— справедливый приговор мне уже вынесен, но не вашим антиправительственным обществом... Вот этот приговор: не виновен, но заслуживает наказания... Не виновен, но заслуживает наказания,— я помню, что повторил этот приговор раза четыре-пять,— не виновен, но заслуживает наказания... Это самый человечный и самый справедливый приговор... — И, сказав это, я позволил себе расслабиться, после чего не упал даже, а лег удобнее, без боли, и сразу же ушел отсюда далеко и прочно.

Такое у меня было от всего этого впечатление впоследствии, когда я очнулся в совершенно ином месте, а именно — на белоснежной койке, в белоснежной, хрустально чистой, стерильной обстановке. Это был, как выяснилось, военный госпиталь особого типа, куда я был устроен по личным хлопотам капитана Козыренкова. Голова моя была тяжела и туго стянута, но такова уж судьба моя, такова уж специфика жизни моей, что все в ней не на нормальной, здоровой основе построено. Этот удар чугунным предметом по черепу моему остановил мое самоубийство и спас мне жизнь. Очнувшись и глянув в солнечное окно (второй раз за короткий сравнительно промежуток я как бы просыпаюсь от смерти и первым делом вижу освещенное солнцем окно), глянув в окно, я вдруг разом понял, что теперь буду держаться за жизнь руками и зубами и в этом, может, и будет состоять отныне моя новая идея, теперь уже окончательная. На этот раз в беспомощности я был недолго, несколько дней, тем не менее но-

вости по моем возвращении были, и новости серьезные. Во-первых, арестован был Коля. Причем арестован он был сразу же после того, как я был обнаружен и подобран, ибо все проделал, конечно же, неумело, по-юношески, бросив рядом со мной обернутую в носовой платок чугунную болванку, которой он и проломил мне череп. Обо всем этом я узнал от капитана Козыренкова и еще одного молодого человека, которого Козыренков представил мне как следователя, ведущего дело о покушении на меня. Второй же новостью была записка от Маши. «Гоша,— было в записке,— пишу не только потому, что возмущена безобразным поступком человека, которого более не считаю своим братом, но и потому, что чувствую не менее безобразную вину перед тобой. Прости, если можешь». Впрочем, записка была опять надушена дорогими духами, что меня насторожило. Значит, Рита Михайловна, без сомнения, приложила к ней руку. Конечно же, она засуетилась, вытащила из санатория мужа своего и все подняла на ноги ради спасения Коли. Так что записка могла быть ходом в начатой Ритой Михайловной кампании. Однако если это и было так, то что касается Маши, верно лишь отчасти. То есть Маша могла и уступить напору матери, как она это уже сделала, согласившись выйти за меня замуж, чтоб покрыть грех, но все-таки человек она независимый, и, возможно, чувства ее, выраженные в записке, были искренни. Все так и подтвердилось. О намерениях Риты Михайловны я узнал еще до того, как ей разрешили посетить меня. Узнал от капитана Козыренкова, который почему-то крайне не любил семью журналиста.

— Мой тебе совет,— сказал Козыренков, когда мы с ним остались наедине,— не уступай им. Эта семейка при всякой власти как сыр в масле катается. Отец при Сталине жил припеваючи, две дачи имел... Теперь тоже... Детей антисоветчиной развратил. Недавно за кордоном его антисоветский пасквиль опубликовали по национальному вопросу. Он тут же, конечно, отказался, но стенограмма-то имеется. Он в студенческом клубе этот пасквиль публично произнес... Тем не менее— все с рук... В нашей системе тоже покровителей имеет... Фигура, мол, международного звучания... Сукин сын, в войну дальше штаба носа не показывал.— И в заключение Козыренков так себя возбудил неприязнью к журналисту, что, не удержавшись, выругался, хоть и понизив голос, но с солью, по-уличному.

Насчет штаба тут капитан явно перехлестнул, поскольку мне был известен случай заброски журналиста в партизанский отряд и участия его в атаке на немецкий гарнизон, так печально окончившийся для молодого тогда бойца диверсионной группы Висовина, послужившего прообразом для

создания журналистом вольнодумного очерка «Трус». Что же касается интриг Риты Михайловны ради спасения своего сына Коли, чуть не убившего меня, то это действительно раздражало, и тут я даже думал воспользоваться советом капитана Козыренкова и встретить Риту Михайловну грубостями. Однако Рита Михайловна была в таких вопросах опытна, а несчастье еще более ее обучило. Она явилась на свидание ко мне вместе с Машей и вела себя мягко и осторожно.

Было это дней через десять после того, как я очнулся и к тому времени уже поправился настолько, что мог гулять в госпитальном дворе. Маша была так удивительно красива, как может быть лишь женщина в искреннем, всколыхнувшем ее душу раскаянии. Женщина создана для греха, и потому лучшие минуты ее жизни — это минуты раскаяния. Эти минуты могут принести любящему ее человеку, которого она мучила и против которого она грешила, сладчайшие ощущения. Поэтому когда в дальнем конце большого госпитального сада Рита Михайловна неожиданно явилась перед нами, державшими друг друга в объятиях, и повалилась тут же на колени, прямо в острый гравий, которым здесь посыпаны дорожки, то я растерялся, на Машином же лице обозначилась брезгливость.

— Дети,— сказала Рита Михайловна со слезами, которые текли обильно и искренне по напудренным щекам ее,— дети, спасите неразумного моего ребенка... Его с детства совратил родной отец...

Я тут же бросился поднимать Риту Михайловну, и меж нами произошло нечто вроде борьбы, причем, не поднимаясь с колен, она прильнула ко мне своими сочными, женскими грудями сорока трех лет от роду, и это смущало и туманило мне мысли. Маша же отошла к кустам, сильно побледнев в гнев и терзая свой кружевной носовой платочек.

Кончилось все это тем, что я написал бумагу, в которой говорилось об обоюдной драке между мной и Колей, произошедшей от обоюдных оскорблений. Позднее я узнал, что благодаря связям журналиста, благодаря вмешательству Романа Ивановича, работника КГБ, и благодаря моей бумаге Коля был осужден достаточно мягко — к одному году исправительной колонии. Я на суде не присутствовал по состоянию здоровья. (У меня внезапно началось обострение.) Впрочем, стараниями Колиных родителей и друзей семьи он был признан находящимся в состоянии психического транса и, согласно кассации, хоть и изолирован от общества, но помещен в лечебное заведение, разумеется, высшего разряда.

Конец четвертой части.

Эпилог

МЕСТО
СРЕДИ
ЖИВУЩИХ



Говорить с глупцом все равно, что говорить с дремлющим. Когда окончишь последнее слово, он спросит: «Что ты сказал?»

*Книга Премудрости Иисуса, сына Си-
рахова. 22,8*

* * *

Мы с Машей и Иваном поселились в Ленинграде. Если сегодняшнее России ощущаешь в Москве, то прошлое и будущее ее все-таки в Ленинграде-Петербурге. XX веку так и не удалось покорить этот город, и когда посмотришь из окна на его вид, на его знаменитые и не знаменитые, но столь же строгие строения, то создается впечатление, что нынешнее поколение здесь не господствует, как в Москве и иных городах, а лишь присутствует, проходя мимо, чтоб лет через пятьдесят исчезнуть и небытии.

Квартира наша в две небольшие комнаты с кухней оказалась у Балтийского вокзала, район, кстати говоря, хоть и старый, но для Ленинграда далеко не лучший. Был у нас вариант и на знаменитой Мойке, но Рита Михайловна запротестовала, заявив, что романтика романтикой, а ревматизм и сырость тоже следует принимать в расчет, особенно при наличии в семье ребенка. К сожалению, за ней и осталось последнее слово, поскольку квартирой и обменом мы как-никак обязаны ее энергии, которую она сразу же переключила на нас, едва довела до конца дело о спасении Коли от суда и справедливого наказания. Для обмена она использовала отдельную однокомнатную квартиру журналиста, которая, оказывается, существовала на тот случай, если он хотел уединиться на какой-то срок для серьезной и большой работы. (Либо после разводов с женой, которых случалось два или три, после чего они опять сходились.) Но поскольку журналист давно уже для работы не уединялся и с женой своей не разводился, квартира эта стояла запертая и ветшала. Однако едва Маша заявила, что в нынешней обстановке и после нынешних событий она не желает более иметь ничего общего с непорядочной родительской семьей и, более того, не желает даже жить с ними в одном городе, как Рита Михайловна сразу же вспомнила о забытой квартире, произвела моментально там ремонт и тут же совершила удачный обмен: однокомнатной в Москве на двухкомнатную в Ленинграде. Поспешность же объясняется все

не тем, что она хотела побыстрее избавиться от дочери, а наоборот, опасением, что сумасбродная дочь решит уехать куда-либо в Сибирь, где, находясь вне родительского контроля, свяжется с дурной антиправительственной, проеврейской компанией. Ленинград же был под боком и к тому же устраивал обе стороны: и нас, и родителей.

Едва Иван подросток, как был сдан в ясли, а Маша устроилась на курсы стенографисток. Мне же и устраиваться не пришлось, поскольку я был направлен по переводу в библиографический отдел одной из ленинградских библиотек, чем обязан капитану Козыренкову, действовавшему, кстати, по своей инициативе, а не по моей просьбе. Что же касается моего сотрудничества с КГБ, то при переезде в Ленинград оно прекратилось. По крайней мере, никаких отчетов от меня больше не требовали и никуда больше не вызывали. Правда, в материальном смысле я продолжал получать некоторую надбавку к официальной зарплате, но уже в виде пенсии по инвалидности, хоть и увеличенного размера. Тем не менее нам скрепя сердце (особенно от того страдала Маша) приходилось брать суммы и от родителей. Но Маша утешала себя тем, что это лишь до того момента, как она начнет работать и получит частную практику. После второго, чуть ли не подряд, с промежутком менее года ранения головы я сильно сдал в смысле внешности, но это меня, как ни странно, радует и приближает к осуществлению моей идеи. Да, я по-прежнему не могу жить, не имея руководящей идеи, однако опыт научил меня, что оригинальных идей нет вовсе, даже идея возглавить Россию оказалась массовой и лишеной личного смысла. Поэтому я наконец ухватился за идею простую до того, что удивляюсь, как это она обычно приходит в голову последней, а не первой, едва является сознание и желание выделиться из массы. Идея эта — стать долгожителем. Что же касается конкретного момента ее появления, то он закономерен, учитывая противоречивость моей натуры. Именно после желанного умереть и должна была явиться идея стать долгожителем. Но почему же преждевременное постарение мое приближает меня к моей идее? А очень просто. Долгая жизнь возможна лишь в старости, это аксиома и арифметика. Состариться раньше времени, потускнеть, потухнуть и так застыть на долгие годы. Детство, юность, молодость и зрелость строго отмерены, и лишь старость можно вольно трактовать, и срок ее не ограничен. Место среди живых, место среди живущих на долгий срок забронировать можно лишь в старости...

Бывали, впрочем, у меня и всплески и возврат к прежней политической молодой жизни, но, к счастью, ненадолго.

В частности, подобный всплеск произошел у меня однажды весной, в неожиданный приезд к нам журналиста. Обычно нас посещала Рита Михайловна, а тут вдруг явился сам журналист, причем явно в состоянии душевного напора. Едва войдя, расцеловавшись, поглядев на сильно, не по летам, выросшего Ивана, а затем обратившись ко мне, он почему-то улыбнулся и погрозил пальцем. И от этой улыбки и от этого «пальца» у меня разом молодо и тревожно забилося сердце. Иван действительно сильно изменился, и из него теперь уже окончательно глянул мужичок, но в голубом взгляде этого мужичка проглядывало нечто неестественное, свойственное метисам и смеси противоположностей. Да к тому же, как бы там ни говорили, я убежден, что момент зачатия накладывает отпечаток на предрасположение будущей личности. Здесь же — крайняя чрезвычайность, принуждение и насилие. Иван, кстати, был ребенок ласковый и не капризный, но любил вдруг ущипнуть или укусить, причем не по-детски больно, так что одну девочку в яслях даже водой отливали.

В то весеннее утро Мапа уже была на службе, где практиковала после окончания курсов, и я, сообщив ей о приезде отца, пошел вместе с журналистом и Иваном погулять. Если нет ненастья, то в ленинградской северной весне бывают дни, которые при всем человеческом воображении и алчности к хорошему лучше не сделаешь, чем их воссоздал северный ленинградский климат. Иван, одетый в дорогое заграничное пальтишко, топал крепкими, кривыми мужицкими ножками, радуясь началу своей осмысленной жизни, мы же с журналистом смотрели на него, резвящегося среди вековых дубовых деревьев, огражденных знаменитой (в Ленинграде почти все знаменитое и историческое), знаменитой чугунной решеткой фигурного литья, которую якобы за большие деньги хотели купить иностранцы.

— Вот он, будущий вождь России, — сказал вдруг журналист, — вот он, создатель цвибышизма... Думаю, лет через 20—25 начнется его политическая биография. В конце века весьма часто возникают биографии политических знаменитостей. — Журналист, впрочем, тут же перевел это в шутку, крикнув Ванюшке: — Да здравствует великий Цвибышев! — и при этом заплодировал.

Иван посмотрел на дедушку и рассмеялся, показав свои молочные ровные зубки.

В тот же вечер журналист уехал после неприятного разговора с Машей, при котором я не присутствовал, ибо меня попросили прогуляться. Во всяком случае, у меня складывается

впечатление, что Маша его попросту выгнала и запретила не только приезжать, но даже и писать ей письма. Во всяком случае, перед отъездом он был грустен, задумчив, и, когда я собрался его провожать (Маша ехать его провожать отказалась, сославшись, что пора укладывать спать ребенка), итак, когда я собрался провожать, он вдруг предложил:

— Пойдемте пешком... Это город моей молодости, и хоть после того я бывал здесь редко, но всякий раз как приятно... И всякий раз хочется глупенькой какой-либо связи с женщиной, которая тебя вдвое моложе... Между нами говоря, обычно ездят для подобного на юг, но с тех пор, как я состарился, Ленинград единственный город, где мне вдруг хочется связи с женщинами.— Он приложил платок к глазам и сказал: — Я знаю, как пройти отсюда к Московскому вокзалу пешком... Если вас, конечно, не обременит полуторачасовая прогулка...

— Ну, почему же,— ответил я,— погода хорошая, пойдемте...

Мы долго шли по переулкам прошлой, разночинной России, пока наконец не вышли к России дворянской, императорской. Здесь было ветрено, дуло с Невы, и у журналиста сорвало с головы шляпу. Я помог старику (напоминаю, он ведь был уж совсем старик, даже сравнительно с недавним временем нашего знакомства), итак, я помог старику поймать его шляпу. Он поблагодарил, отряхнул, надел на голову и вдруг заплакал.

— Вы чего?— растерялся я.

— Ах, как жаль,— сказал журналист,— как жаль, что я вижу это все последний раз.

— Да что за дикие глупости,— попробовал я не утешением, а грубостью урезонить старика.

Такой прием часто дает хороший результат, но только не в данном случае.

— Не говорите ничего, друг мой,— сказал журналист (он впервые назвал меня «друг мой», что меня насторожило),— не говорите ничего. Жизнь моя прожита, это ясно. Я не есть, друг мой, я был... А ведь так хочется знать, что ожидает в будущем Россию. Вот здесь, на этой покоренной пролетариатом императорской площади, пролетариатом, оккупировавшим ее своими братскими могилами с надгробными надписями идеалиста от марксизма Луначарского (мы стояли на Марсовом поле), вот здесь вдруг особенно захотелось стать членом грядущего поколения... Я недавно прочел в самиздате в рукописи трактат одного не любящего Россию молодого человека (у меня екнуло сердце, но я тут же понял, что речь идет не обо мне, а о проходившем по нашему подотделу капитана

Козыренкова авторе сочинения «Нужна ли Россия в XXI веке?»). Разумеется,— продолжил журналист,— жизнь России принесла много горя и опасности для мира, но смерть ее будет необратимой потерей, и не только потому, что большая нация потеряет отечество, а потому, что мир, потерявший Россию, изменится до неузнаваемости, так же как изменился мир, потерявший Рим... Может, он будет лучше, но он будет уже не наш, чужой нам. Кто возвысится тогда взамен России, станет ли счастливее ее народ, уйдя на задворки истории, возвысятся ли ее враги, которые были ею подавлены и угнетены? Все это уже не наше, и все это уже за пределами нашей могилы...

Мы пошли далее, и на самом пороге шумного Невского проспекта, блистающего огнями, вечно живущего сиюминутными радостями и интересами тех, кто в данный момент господствует, на самом пороге, на углу журналист остановился, понимая, что Невский подобные мысли и настроения сдует как ветер.

— Если России станет плохо,— сказал он,— и если при этом лучшие люди времени своими справедливыми требованиями и претензиями к безобразиям и ошибкам властей расшатывают государственность, вот тогда-то и явятся спасители... Спасители же являются всегда только с одной стороны в таких случаях... Это не пророчество, это аксиома, это политграмота... Сегодня сила явится только с революционной улицы... А после того, как красная революция ушла с улицы в официальность, на ней осталась только революция национальная... Это будет полное единство нации, это будет счастье нации... Вы обращали когда-либо внимание, как на какой-либо выкрик активного антисемита в автобусе, это бывает и при других выкриках — антитатарских, например, но здесь нагляднее, так вот, как на выкрик активного антисемита объединяется случайная, усталая публика, как мгновенно она превращается в русский народ... Как объединяется она вокруг общей идеи... Такое будет в общероссийском масштабе, если с улицы в трудную минуту придет национальная революция... Это будет трепет, страх и покорность многочисленных врагов России, уж возрадовавшихся было признакам ее падения, это будет миг полного национального счастья, это будет осуществление наяву счастливой мечты Федора Достоевского... Помните его стихотворение на европейские события 1854 года? — И он продекламировал:

...Не нравится,— на то пеняйте сами,
Не шапку же ломать нам перед вами!..
Не вам судьбы России разбирать!

Неясны вам ее предназначенья!
Восток — ее! К ней руки простирать
Не устают мильоны поколений.
И властвуя над Азией глубокой,
Она всему младую жизнь дает,
И возрожденье древнего Востока
(Так Бог велел!) Россией настает...—

Журналист перевел дыхание, отер платком побагровевшие щеки.— Но это лишь миг на наивысшем штормовом гребне волны, с которой, казалось бы, весь мир у ног и как на ладони.... Затем случится падение мгновенное и всплеск такой силы, что поток крови погибающей Римской империи будет в сравнении с рязанской и калужской кровью лишь слабым ручейком... Россия всегда умела обильно лить рязанскую и калужскую кровь, но тут будет Апокалипсис...

Журналист замолк, так и не облегчив свое сердце, судя по его взгляду и взмокнутому, но не разгладившемуся лбу.

— Подлинное спасение России в разумной тирании,— сказал он наконец, передохнув,— я повторяю это часто... Это азбука всякого состарившегося русского политика... Мы начинаем с высшей философии, а кончаем азбукой, и это тоже наше русское своеобразие... Я говорю о разумной тирании, ибо неразумная тирания ведет к тому же, что и демократическая свобода, но только с иного конца... Март 53-го года гораздо более серьезная дата для России, чем июнь 41-го или май 45-го... Эти даты все обострили, но ничего не изменили... В сознании будущих поколений 41-й, 45-й сольется с датами других войн России, но 53-й год навек останется датой переломной, ее запомнят даже самые нерадивые школьники будущего...

Мы вышли на Невский проспект, который разом подхватил нас и обезличил среди сотен иных прохожих и гуляющих. Но позднее, на перроне, уже перед самым отходом «Красной стрелы» Ленинград — Москва журналист на полуслове прервал какой-то мелкий бытовой разговор и, понизив голос, сказал:

— Советская власть самая соответствующая нынешнему состоянию России, ее истории и географии. Ибо только в глазах, ослепленных ненавистью и тоской антисоветских теоретиков, советская власть есть нечто иноземное, западное, еврейское. В действительности же корни советской власти уходят глубоко в русскую историю и русскую государственность... Советской власти не пятьдесят, а тысяча лет... Естественно, при подобном развитии лучшие стороны прошлого оказываются подавленными, а худшие стороны прошлого получают возможности для расцвета... Но надо помнить, что за пятьдесят лет, или сколько их там было, новшества были крайне незначительны, ни карательная сторона, ни бюрократ-

тическая, ни отсутствие уважения к собственным законам — все это не привезено в plombированном вагоне... В настоящее время у русской государственности кроме советской власти есть в запасе только уличный национальный вариант... Пасть на колени надо... Пасть и молиться, чтоб советская власть не покидала Россию... Что? — остановился он вдруг, как бы услышав свои слова со стороны. — Да вот, я сейчас о другом подумал... Как бы интересно было пожить в России со свободой мнений, но без свободы действий... Впрочем, это о том же... Это и есть разумная тирания...

— А разве такое возможно? — спросил я.

— Возможно, — сказал журналист, — нам нужна хотя бы урезанная, куцая свобода мнений, свобода действий обязана всем давать равные права, а разумная тирания может крайности запретить... Ах, как интересно бы пожить... Публичность, гласность — это здоровье общества, это физкультура... Физкультура не производит работы, действия, но сохраняет здоровье... Ах, какая интересная страна стала бы Россия...

— Но под рубрику запрета можно подвести что угодно, — возразил я. — Куда же денется ваша свобода мнений?..

— Вот потому я и говорю, — сказал журналист, — что тирания должна быть разумной... Высшая гениальность политика суметь одно запретить, а другое нет... Воспользоваться запретом плодотворно.

Я посмотрел на журналиста и почему-то вспомнил, что когда первый раз ему публично дали пощечину, он возмутился, когда второй раз дали пощечину — он задумался, а когда третий раз дали пощечину, он только цинично улыбнулся в ответ: ну вот, мол, так, а что же вы хотели?

Поезд тронулся. Журналист, оставаясь в тамбуре, перегнулся через спину проводника и долго махал мне на прощанье снятой с головы шляпой. И я вдруг твердо ощутил наше прощание и поверил в слова журналиста о том, что вижу его в последний раз. Он умер три месяца спустя, душным июльским утром, причем не болея совершенно, и смерть его была так же эксцентрична, как и жизнь. Он умер от сердечного тромба в кресле парикмахера, куда зашел постричься и побриться. О смерти его я прочел в газетах, и лишь после этого с большим опозданием пришла телеграмма. У меня сложилось впечатление, что Рита Михайловна не хотела присутствия Маши на похоронах, но не учла, что муж ее был все-таки человеком, кое-что сделавшим для страны, особенно своими антифашистскими статьями в Отечественную войну, и потому дочь может узнать о его смерти и из других источников, помимо телеграммы. Маша вылетела тотчас же, едва

увидела некролог в газете, и, вернувшись, публично каялась и плакала ночью у меня на груди за то, что последнее время была чересчур прямолинейна и строга к отцу, не учитывая его жизнь и особенности его характера.

— Маме-то что,— сказала Маша, вдруг обозлившись и с горечью,— сойдется в открытую со своим любовником.

Это было настолько остро и цинично, что я даже опешил. Впрочем, Маша быстро опомнилась и сказала мне, что память об отце в целом для нее дороже, чем конкретные бытовые воспоминания о последнем периоде его жизни, когда он стал попросту несносен. И мать свою она осуждать не вправе. Мать немало от него натерпелась, а сейчас еще молода, красива. Сообщила Маша мне также, что похороны были многочисленны и было много венков от организаций самого серьезного ранга, вплоть чуть ли не до наивысшего в государстве. Упокоился журналист на привилегированном Новодевичьем кладбище, втором по значению и почету после кладбища у Кремлевской стены, причем могила его по соседству с каким-то известным генералом, а с другой стороны с крупным государственным деятелем, впадшим в последние годы, однако, в немилость и потому утратившим право на Кремлевскую стену.

Что же касается моей жизни, то после всех этих встряхиваний и чрезвычайностей она опять вернулась к прежнему быту и прежней идее о долгожительстве. Кстати, попутно замечу, что идея эта совершенно исключает мою прежнюю мечту о политической карьере. Политические карьеры в такой стране, как Россия, редко рождают долгожителей, и те, кто на этом поприще особенно удачлив, то есть не просто правители, а любимцы масс, как правило, характерны дурным аппетитом и беспокойным сном — двумя факторами, подтачивающими физические возможности долгой жизни. Основа же долголетия, на мой взгляд, — сон, аппетит и однообразие. Оставайся Сталин Джугашвили и живи он в горах, в пастушьих, охотничьих и иных заботах горного жителя, то, судя по его комплекции и жизненной цепкости, перевалил бы он за сотню лет по крайней мере... Поэтому в дальнейшем я сосредоточил свою энергию на том, чтоб просыпаться в одно время, быть умеренным в пище, но в дорогой, здоровой, высококачественной пище, чему способствовали средства, которые, невзирая на натянутые отношения, по-прежнему присылала нам Рита Михайловна, что с нашим заработком составляло вполне приличную сумму. А также быть умеренным в связях с женщинами, чему способствовала горячо и с каждым днем все сильнее любимая жена.

Должен, однако, рассказать еще о двух встречах, пусть на

первый взгляд и ничтожных. Обе эти встречи, разные по абсолютной своей величине, хоть одинаково ничтожные, да плюс одно письмо послужили толчком к важному, с моей точки зрения, решению. Начну все-таки с письма, чтоб соблюсти хронологию. Письмо я получил от журналиста, причем писано оно было буквально накануне его смерти. (Смерть случилась 23 июля, а письмо датировано 16-м июля.) Адресовано оно было мне, с припиской «лично». (Как известно, Маша запретила отцу писать ей письма.) Начиналось письмо без всякого обращения, а прямо с дела. «К нашему разговору» — значилось в начале, и фраза эта была трижды подчеркнута. «Новая сила России — третья сила, это то, что с социализмом находится в жесточайшем противоборстве, ибо имеет общее с ним питание. Те соки, какие социализм не вытянет из народа своими корнями, этой новой силе достаются, и наоборот. Это сопутствующее растение, и они на одной ниве растут и в одной почве нуждаются. В России только социализм, когда он распространится и опутает корнями родную почву, может отнять питание у той опасной, крайней национальной силы...» Далее журналист повторялся и пресказывал в общем-то одно и то же, но на постскрипту я обратил внимание: «Перед запечатанием письма вдруг глянул на портреты Сталина и Хрущева, которые теперь рядом стоят у меня на столе. Посмотрел и захохотал. Помните, у Блока о людях, которые готовы задохнуться от смеха, сообщая, что умирает их мать, что они погибают с голода, что изменила невеста... Ну хорошо, допустим, тысячелетняя Россия еще слишком молода, чтоб получить право иметь если не порядочное, то хотя бы разумное правительство... И пусть это даже смешно... Но неужели же она не выстрадала право иметь если не порядочную, то хотя бы разумную оппозицию?.. Одно дело подлец или дурак, сидящий в кресле бюрократа или карателя, другое дело гонимый и страдающий подлец или дурак... О, боже мой, какая безысходность... Здесь бесконечность не прямой линии, которая в конце концов где-то в туманных веках пересечется со здравым смыслом (нам ведь всегда недоставало только здравого смысла, все остальное у нас есть), итак, здесь бесконечность не прямой, а бесконечность окружности, которая никогда, нигде ни с чем не пересечется, кроме как сама с собой... Россия меняет политические режимы, а ей надо менять свою историю... Но это случится только тогда, когда мы доживем до разумной профессиональной оппозиции, которая поймет, что Россию можно преобразовать не политическими лозунгами, а экономическими требованиями...» И опять был постскрипту: «Есть люди, которым нужно усиленное пита-

ние, а есть люди, которым нужна диета. То же и нации. Русским, при нынешнем состоянии их истории, нужна национальная диета, а власть и оппозиция каждый по-своему пичкает народ жирными национальными блюдами. Есть нации, у которых национальная дистрофия, у нас же национальное ожирение. Один мой новый знакомый, конечно, еврей, утверждает, что это их нации нужно усиленное национальное питание при религиозной диете, а нам, наоборот, нужна национальная диета при усиленном религиозном питании...»

Письмо было без подписи, без пожелания всего доброго и т. д., то есть обрывалось, как и начиналось, словно бы вдруг. Я над этим письмом долго продумал, и уж тогда во мне шевельнулось желание начать записки, причем не столько для постороннего чтения, сколько для того, чтоб упорядочить на бумаге свои впечатления и самому в них разобраться. Однако вскоре случилась смерть журналиста, затем меня отвлек ряд текущих дел, и желание мое угасло.

Прошло несколько лет моей новой ленинградской жизни под неизменным, кстати, знаком моей новой идеи о долгожительстве... Как-то сочным морозным утром (морозный Ленинград также бывает живописен и неповторим), как-то таким утром, причем в воскресенье, не торопясь, я прогуливался неподалеку от дома. (Мы жили тогда уже не в районе Балтийского вокзала, а в месте лучшем, на Кировском проспекте.) Так вот, прогуливаясь, я вдруг замечаю человека, который тоже на меня пристально смотрит. Первоначально мне подумалось, что это постаревший и осунувшийся Пальчинский, и тут же хотел, оборотившись, уйти, но, приглядевшись, понял, что это не Пальчинский, а человек из более раннего моего периода, хоть и достаточно ничтожный, а именно Вава, муж Цветы. Тот самый Вава, муж той самой Цветы, через которых я в свое время пытался проникнуть в общество. (Вава, кстати, с Пальчинским несколько похожи и одинаково низкорослы.) Обнаружив, что это не Пальчинский, а Вава, правда, также сильно постаревший и сдавший (в свое время он был живчик, а теперь медлителен и с блеклым взглядом), итак, обнаружив, что это Вава, я не стал делать вид, будто не замечаю, а, наоборот, подошел первый.

— Ну,—говорю,—здравствуй... Ну, молодец, что живешь...

— То есть в каком смысле? — говорит Вава обиженно и не удивляясь вовсе, что после стольких лет встретил меня случайно в Ленинграде.

— Да так давно не виделись,—говорю,—что мог бы и помереть...

— Но ты-то не помер...

— В том-то и дело,—говорю,—о себе-то я знаю, как много сил я положил, чтоб не умереть... А ты ведь другое дело... Твоя ведь жизнь все эти годы мне не известна... Как вообще? Что нового? Как Цвета?

— Разошлись мы,—говорит Вава, глядя на меня исподлобья.— А ты,—говорит,—странный... Недаром о тебе нехорошие слухи распространяются...

— Это в каком же смысле?

— А в том,—говорит Вава,—что тебе порядочный человек руки не должен подавать... Подлый ты антисемит и доносчик КГБ... Стукач ты сталинский...

И, сказав такое, поворотился, опередив какое-либо презрительное движение или замечание с моей стороны, и пошел, испортив мне прогулку. Тогда я вновь задумался о записках, дабы выяснить, стоит ли мне подавать руку и стоит ли мне принимать эту протянутую руку и во имя чего вообще мне с ними рукопожатиями обмениваться. Но и на этот раз замысел мой не укрепился.

Наконец, спустя еще полгода, уже осенью, причем ненастной (а что такое ленинградское ненастье, знает всякий, кто хоть когда-либо его вкусил, даже неполной мерой, лишь вымокнув и промерзнув, но без бронхита, гриппа или иной простуды), итак, спустя полгода вдруг звонок в дверь. Маша была на службе, а Ванюша в детском саду. Следовательно, понимаю, что чужой звонит. Думаю—письмо или денежный перевод от Риты Михайловны. Отпираю. На пороге какой-то мальчик. Правда, приглядевшись, понял, что не мальчик, а юноша, но сильно исхудавший, да и вообще не крупного сложения и к тому ж в полной мере хвативший ленинградского ненастья, то есть явно с бронхитом, гриппом и промокший насквозь. Пока разглядывал, мелькнула даже дикая мысль—уж не Коля ли, но сильно видоизменившийся? Нет, не Коля—совсем чужой юноша. Я его разглядываю, он меня разглядывает. Причем стоя на пороге и с ободранным, перевязанным бечевкой чемоданом в руке. (Значит, с вокзала.)

— Ваша фамилия Цвибышев?—спрашивает.

— Да, Цвибышев.

— Вы мое письмо получили?

— А чье, собственно, ваше?

— Зайцев я, Павел.

— Нет, не получал.

— Странно как-то...

— Да, странно...

Потом я выяснил, что Маша здесь без меня получила ка-

кое-то письмо, полное ругательств, и попросту его порвала.

— Ну хорошо,— говорит Зайцев,— я здесь проездом и по дороге зашел в надежде застать вас... Слышал я, что вы Россию ненавидите и публично о том распространяетесь. И поскольку прежде, при Сталине, вас бы за то и в помине не было,— он возвысил голос,— и сибирская бродячая собака на ваши кости давно бы испражнялась, а по нынешним гнилым хрущевским временам вам это сходит с рук, то я от своего имени и от имени тех, кто, несмотря на прозападные еврейские замашки, по-прежнему любит Россию, пришел предупредить вас (ругательства он сочетал с юношеским обращением ко мне на «вы»), предупредить пришел... Все может простить русский человек, но ненависти к России он не простит.

И тут, размахнувшись, он ударил меня по щеке мокрой тощей ладошкой. Не то чтобы эта пощечина меня слишком потрясла (мне, как известно, во время политической деятельности и в лицо плевали), однако то, что, несмотря на мою новую идею долгожителя, меня по-прежнему не оставляют в покое, так возмутило душу, что я схватил хлипкого юношу у ворота за его набрякшее, мокрое пальто и приподнял вместе с его драным чемоданом. (Сил во мне крайне прибавилось после новой идеи и хорошего, умеренного питания.) Однако, увидав совсем рядом посиневшее гриппозное лицо современного русского разночинца, отпустил его и сказал:

— Во-первых, я никогда не заявлял о своей ненависти к России публично. Это явный поклеп. Сказал я о том лишь раза два в интимной обстановке, а как оно распространилось, не знаю. Во-вторых, ненависть моя к России давно в прошлом и несовместима с моей нынешней идеей долгожителя. А в-третьих, почему бы вам не увидеть себя глазами человека, вас искренне ненавидящего? Может быть, из этого вы извлечете что-либо для себя поучительное...

Выслушав это, Зайцев тотчас же повернулся молча и ушел, не знаю в каком состоянии души. Я же на этот раз задумался совсем уж крепко и окончательно решил начать записки о политическом периоде своей жизни.

* * *

Таким образом, с момента встречи моей с Павлом Зайцевым, молодым русским патриотом, замысел мой обрел бесповоротную твердость. Но существование твердого замысла еще недостаточно для его осуществления. Так и прожил бы я с этим замыслом до не скорого моего конца. Прожил бы согласно моей нынешней идее долгожителя, недолгие оставшиеся у меня зрелые годы и долгую старость, позабыв свой

замысел где-то годам к 85-ти. Ведь это только обычная старость уносит с собой в могилу несбывшиеся надежды и неосуществленные желания. Долгожитель ложится в могилу как новорожденный в колыбель, от всего свободный и над всем возвышенный. Уютно долгожителю в могиле. Такое и мне предстоит где-то в середине будущего XXI века, и я, когда задумываюсь, уже сегодня, уже заранее предвкушаю удовольствие, ибо долгожитель — это гость чужой шумной жизни. А всегда приятно бывает, вдоволь погостив у радушных добрых хозяев, покинуть их и удалиться к себе.

Скажу более того, хоть замысел и существовал, замысел твердый и бесповоротный, но временами, задумываясь и соизмеряя его с новой своей идеей долгожителя (я все теперь с ней соизмерял), итак, задумываясь, я приходил к выводу, что неосуществленные замыслы мучают и губят только незрелых людей. Человеку же в высшем смысле созревшему неосуществленные замыслы жизнь продлевают. «Какая же надобность в моих политических записках, — думал я, — если они во вред моей нынешней, столь великой и столь выстраданной идее долгожителя».

Однако случай, который вообще лежит в основе всего, имеющего начало и конец, и таким образом является первоосновой всякого деяния, итак, случай, без которого всякий замысел, даже самый великий, закономерно мертв, случай вдохнул жизнь в мой замысел, как некогда случай вдохнул жизнь в мертвую глину. И замысел этот начал жить и бунтовать против меня, как ожившая глина, как оживший прах, и поныне бунтует против своего Создателя...

Случилось мне после многолетнего перерыва опять попасть в город, где я некогда родился и где некоторое количество лет тому вел с помощью покровителей борьбу за койко-место в общежитии Жилстроя. Борьбу, во многом подготовившую мою будущую политическую деятельность.

В городе этом я оказался проездом и, выйдя на знакомую, малоизменившуюся вокзальную площадь с той снисходительной сатирической улыбкой, с которой мы обычно смеемся над своим прошлым (если, разумеется, мы над ним не плачем), решил над этим прошлым уж вдоволь натешиться и прервать свою поездку часа на четыре-пять. Но по железнодорожному расписанию оказалось, что прервать поездку можно либо на час, либо на семь. Разумеется, то и другое с минутами. Таким образом, я опять, спустя столько лет, стал в этом городе бездомным и, побродив часа два по его по-прежнему тревожным и неуютным для меня улицам, устал, промок и продрог. Сатирическая улыбка, с которой я пришел из ны-

нешней моей жизни в прошлую, исчезла с моего лица, и прошлое перестало быть прошлым. Январская оттепель, столь нередкая в этом городе, залила его улицы холодной бурой жижей. Добротные зимние ботинки мои разбухли, а шерстяные носки, пригодные для сухих русских морозов, налились мокрым холодом, тогда как жарящее по-южному с голубого неба солнце вдвое-втрое утяжелило шубу, давившую мне на плечи. Я, давно отвыкший от физического труда, был весь в поту и волок эту ленинградскую северную шубу и меховую северную шапку, как грузчик, тяжело дыша и меся южный, тающий снег модными, разбухшими, ставшими некрасивыми ботинками, которые так же точно терзали мои ступни, как некогда дешевые, холодные туфли, которые я носил в период моей борьбы за койко-место и которые я сам зашивал цыганской толстой иглой. Опять я был лишен в этом городе места на целых семь часов, хоть и по собственной инициативе, и опять я анализировал, рассчитывал и искал. Можно бы было пойти в кино и там передохнуть и подсохнуть. Или поесть на вокзал, засесть в зале ожидания с газетами и тем самым отказаться от бессмысленного и ныне мне совершенно ненужного противоборства с этим городом. Тем более что главную свою задачу я осуществил и в первый же час пребывания в этом городе посетил общежитие Жилстроя, кстати, расположенное неподалеку от вокзала. Причем посетил еще в состоянии бодром, здоровом и со снисходительной сатирической улыбкой. С этой таинственной улыбкой входил я в знакомые магазины, где некогда покупал хлеб, борщевой соус для бутербродов и карамель к кипятку. С этой улыбкой смотрел я на знакомые дома, знакомые заборы, знакомые вывески, даже знакомые деревья, прочно и безразлично стоявшие столько лет без меня, и в самые адские для меня минуты, вдали отсюда, когда мне казалось, что прошлый мир давно рассыпался в прах, они стояли здесь так же прочно и безразлично. Множество же новых домов, здесь за годы моего отсутствия выросшие и даже успевшие уже состариться, также не вносили подлинной новизны, поскольку дома эти со стеклянными витринами, лоджиями и облицовочной плитой или сделанные из блоков были знакомы мне по другим местам и как будто пришли сюда со мной из нынешней моей жизни. На эти дома я вовсе внимания не обращал, как на надоевшие нынешние лица, а искал лица, которые мог бы узнать и которые могли бы узнать меня. Конечно, я понимал, что меня здесь попросту не знают, но мне казалось, что меня не узнают, я же узнаю, если не людей, то дома, вывески и деревья, и это «инкогнито» возвышает меня над всем здесь су-

щим. И в этом «инкогнито» моя месть всему здесь существу. Впрочем, один раз меня действительно не узнали. Поскольку в городке Жилстроя три одинаковых строения из шлакоблоков в два этажа, я несколько минут колебался и прикидывал, в котором же из них я боролся за койко-место. Один, стоящий пониже и в глубине, где располагалась жилконтора, средоточие главных моих гонителей, сразу отпал. Осталось два: по левую и правую руку от стоящего напротив кирпичного пятиэтажного корпуса сантехников. Прикинув, я определил, что строение, дававшее мне пристанище в течение этих стран-ных лет, предшествовавших моей политической деятельно-сти, расположено по правую руку. Двухэтажные шлакоблоч-ные домики эти, выкрашенные в какой-то оранжево-кирпичный цвет, ничуть не изменились. Только зачем-то сняли балконы, и с двух сторон видны были симметричные темные следы на стенах у окон второго этажа.

Войдя в дверь, я увидел постаревшее, морщинистое лицо Дарьи Павловны, «кошкиной матери», дежурной. Она тоже, как знакомые дома, вывески и деревья, просуществовала здесь просто и безразлично ко всему, что случилось со мной. Кошки, правда, рядом с ней не было, и столик ее стоял теперь не у входа, перед камерой хранения, а у лестницы на второй этаж. Это, наряду с морщинами, было единственным измене-нием, внесенным судьбой в данную, непоколебимую проч-ность, прочность, которой могли бы позавидовать даже од-ноклеточные, размножающиеся делением.

— Вам куда? — спросила Дарья Павловна, глянув на мою шубу.

Я не ответил, начав подниматься по лестнице на второй этаж.

— Интересно, — сказала она, но без особого вызова, оче-видно, пасуя перед моей шубой, и я слышал, как она подня-лась и идет за мной молча.

На втором этаже незнакомая уборщица мыла пол знако-мым способом, окуная намотанную на швабру тряпку в вед-ро. Я ткнул дверь своей комнаты, где боролся за койко-место. Дверь была заперта.

— Там нет никого, — сказала уборщица.

Тогда я ткнул дверь комнаты, где когда-то жил Григоренко и куда я мечтал перебраться. Она тоже была заперта. Вооб-ще было утро, начало рабочего дня, и общежитие пустовало.

— Он кого-то ищет, — сказала Дарья Павловна уборщи-це. Ко мне она больше не обращалась.

— Григоренко здесь живет? — спросил я не у Дарьи Пав-ловны, а у незнакомой уборщицы.

— Давно уехал,— сказала Дарья Павловна.— Много лет как уехал... Где-то квартиру дали...

Я спустился вниз и пошел прочь, месяц мокрый снег разбухшими ботинками. Я уже начал уставать, но еще не потерял величия, вызванного моей шубой и моим «кинкогнито». Поэтому я продолжал на все смотреть сатирически и, заметив у входа на знакомом кладбище одноэтажный домик с надписью «Кладбищенский оркестр», подошел к нему. На скамейке перед домиком сидел музыкант и играл на трубе, очевидно, репетируя похоронные мелодии.

— А что,— спросил я рыжего парня, шофера кладбищенского похоронного автобуса, стоявшего перед воротами кладбища,— разве нужны репетиции, чтоб сыграть похоронный марш?

— Обязательно,— всерьез ответил шофер, не понявший сарказма,— иначе будет халтура... Стакан заложит, и пошел дудеть...

— Значит, покойники обижаются?— спросил я.

Тут уж шофер понял сарказм, посмотрел на меня и засмеялся.

— Чего это они обижаются?— сказал он.

Я кивнул ему и пошел, довольный собой и тем, как легко я перешагнул через свое прошлое. Я пошел вниз пешком по знакомой крутой улице, мимо знакомой школы милиции на площади. Ранее на площади этой была конечная остановка трамвая. Теперь трамвайную линию продлили, и, может быть, поэтому трамваи шли вплотную переполненные. Справа от меня стояли дома новые, но состарившиеся, с полинявшей краской, с облупившейся штукатуркой. Слева стояли дома моего прошлого, непоколебимые и прочные, словно не построенные, а выросшие из земли. Я испытывал странное чувство, точно мне рукой удалось прикоснуться и пощупать одно из основных абстрактных понятий философов — время. Бестелесная абстракция приобрела вес, цвет и объем, она была сложена из прочных строительных материалов. Я понял, что можно состариться в одном и том же времени, можно вернуться во времени, отрезав целые прожитые годы, как отрезают портные лишний кусок и скрепляют в единое целое оба оставшиеся конца. От этих мыслей я и начал уставать, потерял величие, утратил сатирическую улыбку и поволок свою шубу по грязной, мокрой улице, как грузчик, потев и не глядя более по сторонам. Опять мне надо было в течение пяти часов бороться с этим городом, с моей традиционной в нем бездомностью, искать способ, как обмануть этот город и найти место, где я мог бы посидеть, отдохнуть и обсушиться. В ки-

но я пойти не мог, во-первых, потому что кино меня последнее время раздражает, во-вторых, потому что сидеть там в шубе будет невыносимо. Лучшим местом в таком случае является общепит. Но шуба моя не позволяла мне посетить столовую или кафе, к тому ж переполненные и нечистые. Поэтому я разыскал ресторан и, освободившись от шубы, сняв ее на вешалке, рассчитывал посидеть часочек в тепле за крахмальной скатертью. К несчастью, обслужили меня быстро, ресторан был полупустым, и, съев дорогой, невкусный обед, я вынужден был опять, напялив шубу, стать бездомным. Особенно истерзала меня главная улица города, мокрая, шумная, переполненная молодыми женщинами с южными хищными взглядами. В магазине «Мясо», куда я вошел погреться, было почему-то пусто и три продавца спорили о валюте и золоте. У лавки букинистов со всех сторон ко мне бросилась толпа алчных перекупщиков (буквально толпа, человек пятнадцать), бросилась, думая, что в сумке у меня книги. Устав, я всегда перестаю себе нравиться и испытываю недовольство по своему адресу. Пребывая в подобном состоянии ссоры с самим собой и внутреннего препирательства, я никак не мог решить, посетить ли мне крытый городской рынок под стеклянной выпуклой крышей, старинный, похожий на вокзал, рынок, куда я еще в детстве ходил с матерью и который часто посещал для созерцания, будучи отщепенцем. Посетить ли мне этот рынок, продолжая свой замысел возврата в прошлое, или махнуть на этот замысел рукой, уехать в зал ожидания вокзала, закупить газет и сесть наконец надолго, занять место и сидеть, не давая более этой нагретой шубе и холодным ботинкам так мучить себя. Физических сил у меня было уже немного, но все-таки они еще были, и я вошел на рынок.

Зимой, когда нет ни овощей, ни фруктов, самый богатый и цветущий отдел любого рынка это, конечно, мясной. Направившись к мясному отделу, ко множеству цветущих мясных туш на крюках и сочных кусков на мраморных прилавках, я заметил, как из бокового входа (на рынок можно войти не только с главной улицы, но и с боковых улочек), как из бокового входа вошел парень примерно моих лет, упитанный, с намечающимся подбородком. Я поверил, что этот парень Григоренко, раньше, чем понял это. Против того, что это Григоренко, говорила, во-первых, нелепость самой встречи, затем подбородочек, упитанность бати, отца семейства, ну и кроме того, когда от человека отвыкаешь, то естественно можешь спутать его с кем-либо другим, чем-то отдаленно напоминающим. Тем более внешность у Григоренко была усредненная, не выдающаяся, людей с подобными внешностями

ми немало среди юго-западного славянства. И все-таки я поверил, что это Григоренко. Поверил, но еще не убедился. Отойдя в сторону к прилавку, где торговали связками лука, я наблюдал издали. Парень подошел к мясному отделу и начал копаться в обрезках мяса, очевидно, торгуясь с продавцом. Нет, это был, пожалуй, Григоренко. В руках он держал потертый портфель, в котором обычно небогатые интеллигенты носят бумаги и книги. Договорившись с продавцом о цене, он раскрыл портфель и выложил оттуда на прилавок слесарный молоток, плоскогубцы, отвертку, завернул в газету мясо, положил его в портфель и туда же опять вложил слесарный инструмент. Это безусловно был Григоренко! Выждав, пока он отойдет от мясного прилавка и вокруг не будет людей, я подошел и сказал:

— Простите, вы не Григоренко?

Он посмотрел с некоторым испугом на меня и на мою шубу. Это был взгляд человека, который не доверяет закону и который не откровенен с обществом.

— Григоренко...— произнес он неуверенно свою фамилию, точно делая вынужденное признание, но тут же широко раскрыл глаза и закричал радостно: — А-а-а... это ты!..

— Я...

— Где ж ты?

— В Канаде... Вот приехал по делам...

Я знал, что Григоренко поверит. Я помнил, что этот парень наивный, добрый авантюрист, и назвать себя эмигрантом было лучшим способом скрыть свою политическую деятельность.

— Здорово,— сказал Григоренко, тотчас же поверив, как я и предполагал,— повезло тебе. А я под колпаком... Двое детей... Одна девка уже в восьмом классе... Жена на почте начальником...

Мы отошли к стене, и он принялся рассказывать свою жизнь. Работал в основном механиком по ремонту швейных машин. Но сейчас импорт прекратили и заработка нет.

— Наши машины ведь надо кувалдой и зубилом ремонтировать,— сказал Григоренко,— в прошлом году ездил на Камчатку на восемь месяцев. В этом году думаю в тайгу податься. Там начальства поменьше... Жене пятьсот рублей дам, хватит ей... «Москвича» купил... старого, в комиссионке... Подремонтировал, перекрасил, продал... Сейчас новый купил.

И он замолчал, очевидно, думая, что б еще такого рассказать из своей жизни, но так ничего не найдя достойного...

— А я ведь в общежитии сегодня был,— сказал я.

— Да, я туда тоже езжу иногда,— сказал Григоренко.—

Раз в год или в два года раз... Там все по-старому, только балконы сняли...

— Я Дарью Павловну видел,— сказал я,— но она меня не узнала.

— И комендантша там еще ходит,— засмеялся Григоренко,— морду свою уже еле носит... Да, тебе повезло... А тут под колпаком сидишь...

— А Жуков как?— спросил я.— Помнишь Жукова?

— Жуков к матери уехал в Грузию... И там вроде бы умер... Но это не точно, что умер... Уборщицы говорили, но правда ли, не знаю.

— А Кулинич?— спросил я.— Который «Перепелочку» на баяне играл...

— Этот умер.

— Что ж, все поумирали?

— Ну, все не все,— сказал Григоренко,— а этот умер. Он пятнадцать лет по общежитиям жил, квартиры добивался. Получил в доме гостиничного типа, я ему еще столик делал. Пожил два месяца и умер... А Саламов, помнишь Саламова?

— Помню,— сказал я,— азербайджанец.

— Он живет,— улыбнулся Григоренко,— двое детей уже.

— А братья Береговые?— спросил я.

— Пашка в село уехал... Он ведь лентяй, работать не хочет... Женился на девке из села и уехал туда... И брат его тоже в село подался... Помнишь Кольку, которого он проводом лупцевал за то, что тот пьянствовал?... А как у вас в Канаде с неграми?— спросил вдруг Григоренко.— Бьют их?

— Чего это ты о неграх?— спросил я удивленно.

— Ненавижу я их,— сказал Григоренко.— Тут у нас один американец в ресторане негра избил, и мы ему помогли... Пока милиция туда-сюда — мы ходу.

— Что тебе до негров?— сказал я.— Пусть живут, как хотят, а ты живи, как хочешь.

— Нет,— сказал он горячо и заинтересованно,— надо такой агрегат и перерабатывать их на корм скоту.

Налицо было явное последствие широких международных связей и борьбы за мир. Эти места знали настоящую антиеврейскую ненависть, русско-польские противоречия, русско-украинские противоречия, польско-украинские противоречия, но расовых славяно-негритянских противоречий здесь не было никогда.

— Брось ты этих негров,— сказал я,— лучше про наших поговорим... Как Корш?

— Воспитатель?— сразу повеселел Григоренко.— Живет рядом с Саламовым в шлакоблочном доме... Работает и не

изменился... По бабам бегает.— Он вдруг поднял голову, посмотрел на прилавок и сказал:— От гад: я покупал мясо, он обрезки выложил, а теперь хорошее положил.

Я чувствовал, что разговор наш в принципе исчерпан, и чутьем бывшего политического функционера понимал, что пора расставаться.

— Ладно,— сказал я,— мне на вокзал.

— Ну, бывай,— просто и спокойно сказал Григоренко, не пытаясь меня удерживать.

— Канадского адреса у меня пока нет,— сказал я,— собственно, пока я проездом.

— Да зачем адрес?— сказал Григоренко.— Может, опять когда-нибудь так встретимся.

Мы расстались. Я понимал, что особого ума и особой идеи нет в этом неожиданно, по прихоти случая состоявшемся разговоре. Но в нем было какое-то завершение, без которого невозможно ни осознать, ни оценить нечто общее, принципиальное и неуловимое в важном для меня периоде, предшествовавшем политической деятельности и подготовившем ее, как невозможно ни осознать, ни оценить человеческую жизнь без завершающего ее всегда ничтожного, всегда глупого могильного холмика.

Вот почему автобиографии и мемуары даже великих людей сильны бывают частностями, а не целым. Ибо даже великий человек сам себя не способен завершить. Что же касается политических записок, то они уж вовсе обречены на частность и второстепенную деталь. Политические пророчества вообще дело несерьезное и невозможное, и задача всяких политических записок состоит не в том, чтобы предсказать или предупредить будущее, а как раз наоборот, после того, как политические события неотвратимо свершатся и своим существованием подавят и извратят причины, политические записки очевидца должны с помощью частностей и второстепенных деталей объяснить эти причины. Для политического мемуариста это очень важное понимание, ибо он весьма часто подобно моему покойному тестю, журналисту, пытается пророчествовать, учить и предупреждать современников и потомков вместо того, чтобы повнимательней взглядываться во второстепенные детали своего времени, утрата которых невозможна и подмена которых делает историческую истину непознаваемой.

С этими важными для себя мыслями и впечатлениями я вернулся из поездки. Вернулся я в Ленинград седьмого января, и, как узнал из случайного разговора (опять случай), это было православное рождество. Зимой Ленинград город тьмы, так же как летом город света. В пять часов дня уже ца-

рила глубокая ленинградская ночь. На второстепенной улице, по которой я шел, фонари горели редко, и двигаться приходилось осторожно, постоянно напрягая мышцы ног и спины, ибо тротуары были покрыты обледеневшими буграми. Улица была пустынна, прохожие попадались изредка. Лишь впереди меня, также напряженно балансируя, двигалась какая-то фигура, поминутно хватаясь то за стену, то за дерево, то за столб. Я, сам не знаю почему, ускорил шаг и догнал. Это был человек, облик которого, увиденный мной в свете редкого фонаря, можно было бы назвать среднерусским. Средних лет, в ушанке средней стоимости и в пальто с недорогим каракулем на воротнике. Он тоже посмотрел на меня и со свойственной русским людям способностью обращаться на улице к незнакомым с личными разговорами сказал:

— Болтают только — город коммунистического порядка... А пойдешь по улице, нос разбить можно. — Сказав, он посмотрел на меня с некоторой опаской, видно унаследованной от прежних бдительных лет, но, заметив, что я не реагирую официально, выложил свою главную мысль. — Хозяина нет в России, — сказал он тихо и твердо, как говорят давно продуманные слова, — хозяина нет... А кто виноват? Сталин виноват. Вот мы его любим, а он умер и хозяина после себя не оставил...

Я глянул на этого человека и вдруг понял, что шло со мной рядом в ушаночке Ленторга и современном ширпотребовском пальто. Это было Оно, Народное Недовольство, то самое, что раньше носило армяки, кафтаны, поддевки и картузы... То, что, случалось, рушило, резало, жгло и выворачивало булыжники из мостовой, но опасно было Власти главным образом не этим, ибо против этого применялась карательная сила, а своим бытовым существованием, против которого бессильны любые карательные меры. Это было Оно, идущее ленинградским рождественским ночным днем, в пятом часу, при звездах и при луне, здесь, на периферийной улице, освещенной редкими фонарями. Скользя по обледеневшему бугристому тротуару, шло Оно, не раз губившее то, что было не подвластно ни огню, ни мечу. Всего полстолетия с мелочью назад погубило оно самодержца всея Руси, Великия, Малыя и Белыя. Сломало, разорило, преобразило и замолкло, уснуло, устало, умерло. И вот Оно возродилось, бессмертное, в ленинградский рождественский ночной день. Возродилось и вошло в блистающий неоновыми огнями в конце темной улицы современный магазин, где Его пыталась умиловить Власть вареной колбасой, отечественной водкой и заграничными курами в красивом целлофане. Но ныне ничем уж нельзя

было Его умиловить, ни бесплатной путевкой профкома в дом отдыха массового типа, ни квартирой в шлакоблочном доме на окраине. Оно шло, вполне современное, не пиетерское, а ленинградское, имеющее за плечами прочную сталинскую молодость и сознательно направленное в прошлое, а бессознательно в будущее, ибо сталинизм его был плодотворен. Это не был реальный сталинизм чиновников и функционеров, стремящийся закрепить административное насилие. Это был легендарный сталинизм, стремившийся к материальному достатку, к снижению цен и не желающий примириться с тем, что Отец бросил детей своих на произвол судьбы и передал в руки недостойных наследников и ничтожных опекунов. В народе говорят: март зиму ломает... Да, России нужна была еще одна великая смерть, подобная мартовской. Еще одна смерть — революция. Но умирать такой великой весенней смертью в России больше некому было. И вот в отчаянии от этого легендарный сталинизм, глубоко, кстати, чуждый чиновничьему административному сталинизму, и вот легендарный сталинизм бросает несправедливый упрек самому Сталину, легендарному Отцу своему. Несправедливый, ибо всякая тирания со смертью тирана не имеет достойного продолжения и всякий тиран умирает без достойного наследника своего дела. И не потому вовсе, что он не понимает важности продолжения своей идеи. Но рядом с Хозяином личность, равная ему, нетерпима, и неизбежно тирания ведет к тому, что тиран окружен вырожденцами, которые обречены самой тиранией погубить ее собственное дело после могилы тирана. Так было в прошлом, так будет и ныне, это объективный закон истории. Но Легенда враждебна Закону, и именно легендарный сталинизм, а не антисталинские лозунги оппозиции, порождает Народное Недовольство, самого грозного врага Власти, врага, черпающего свои силы не в политической оппозиционной кучке, а в лояльном массовом потребителе.

На этой темной, обледеневшей ленинградской улочке я понял, что идеал покойного журналиста, идеал покойного умеренного оппозиционного интеллигента — стоять с незатянутой петлей на шее, на прочном табурете — возможен лишь тогда, когда на узкой тропе Истории только Власть. Когда же туда, навстречу власти, словно дикий кабан на водопой выходит Народное Недовольство, то первым же результатом их противоборства является двойной удар сапогами по табурету, и миру после этого остаются, в лучшем случае, лишь хриплые, необъективные, как все мертвеющее, запоздалые мемуары угнетенника-интеллигента. И тогда я уж окончательно понял, как важны политические записки, пусть в чем-то

и преждевременные, но зато написанные живой полнокровной рукой полноценно питающегося ныне человека, а не коснеющей истощенной запоздалой рукой удавленника...

Наконец, спустя несколько дней,— новый бытовой случай, явно итоговый и объясняющий, отчего так долго пришлось выжидать и отчего так много случаев понадобилось, чтоб убедить себя заняться писанием этих политических записок.

Сажусь в такси, чтоб ехать по какой-то своей бытовой надобности. Шофер-мальчишка, может, только-только в армии отслужил, смотрит на меня и вдруг спрашивает:

— Бог есть?

После некоторой растерянности, не столько от вопроса, достаточно стандартного и надоевшего, сколько от обстоятельств, отвечаю:

— Нет, конечно,— ибо на этот вопрос проще всего ответить отрицательно человеку, привыкшему думать и анализировать.

— А я вот перед вами высадил старуху,— говорит таксист,— так она мне такое рассказала, что меня уж сомнения одолевать стали.

— Что ж такое она рассказала?— спрашиваю.

— Сестра у нее в деревне,— говорит таксист,— тоже старуха... Померла сестра... А муж ее, бывший партизан, партийный, не дал похоронить жену свою по церковному обряду. Прошло два дня после похорон, и его парализовало. Но Бог дал ему речь (таксист именно так и сказал, видно, употребив выражение старухи), но Бог дал ему речь. И он сказал: «Есть Бог».

Случай этот, рассказанный таксистом, запомнился мне, и я думал над ним ночью. И я понял, что до сих пор не был еще достаточно парализован и был чересчур деятелен, чтоб приступить к сочинительству. Ибо что есть подлинный сочинитель, как не бывший деятель, ныне парализованный грешник, которому Богом сохранена, а вернее, дана речь.

Пока человек деятелен, он словно безмолвен, поскольку слова его второстепенны по сравнению с его деяниями. Иное дело говорящий паралитик, жизнь которого выражена в его речи. И, подобно тому парализованному партийцу, мужу покойной набожной старухи, я заговорил. И когда я заговорил, то почувствовал, что Бог дал мне речь.

Конец

Окончено — февраль 1972 г.

Дополнено — февраль 1976 г.

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая. Койко-место.	17
Часть вторая. Место в обществе	235
Часть третья. Место среди жаждущих	429
Часть четвертая. Место среди служащих	745
Эпилог. Место среди живущих.	825

Фридрих Горенштейн

МЕСТО

Редактор *К. Н. Озерова*

Художественный редактор *Вл. В. Медведев*

Технический редактор *В. Ф. Нефедова*

Корректоры *Г. И. Киселева* и *Т. И. Томашевская*

Сдано в набор 17.12.90 г. Подписано в печать 10.06.91 г. Формат 84 × 108 1/32

Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Столетие». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 44,52. Уч.-изд. л. 54,4. Тираж 50 000 экз. (2-й завод: 10 001 - 50 000 экз.)

Цена 15 руб. Заказ № 756.

СП «Слово». 121433, Москва, Б. Филевская, 37, к. 1.

Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР
по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93

